

ВЯЧЕСЛАВ РЫБАКОВ



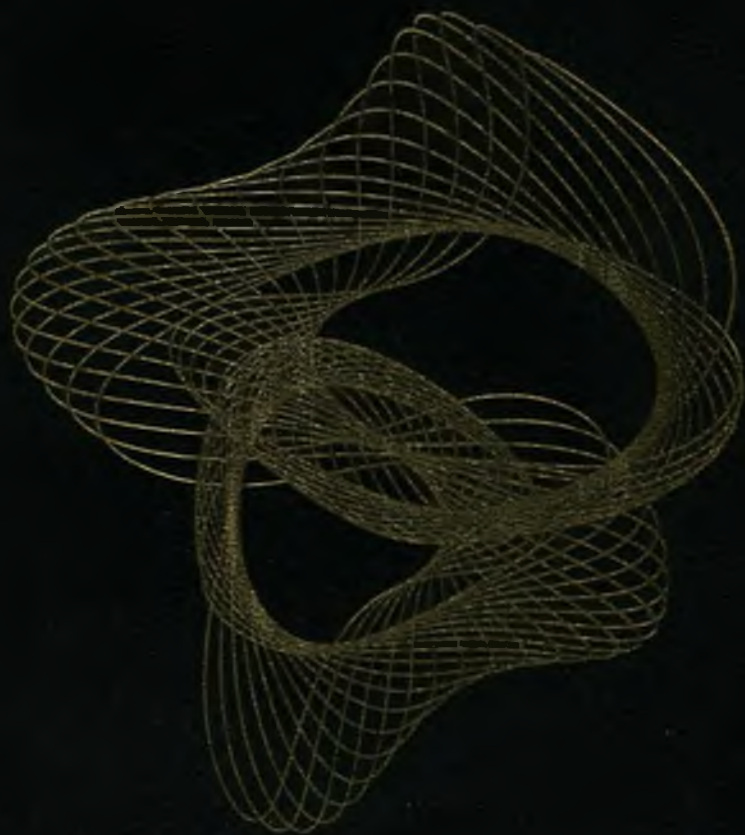
ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

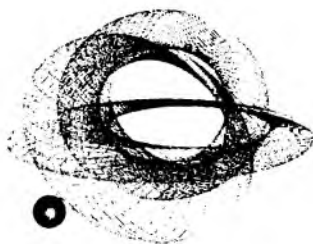
ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»



ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ГРАВИЛЕТ
«ЦЕСАРЕВИЧ»





**ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ**

ВЯЧЕСЛАВ
РЫБАКОВ

ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»

Эксмо, Москва
2006

Оформление серии *Е. Савченко*

Серия основана в 2002 году

Рыбаков В. М.
Р 93 Гравилет «Цесаревич»: Фантастические произведения /
В. М. Рыбаков. — М.: Эксмо, 2006. — 832 с. — (Шедевры
отечественной фантастики).

ISBN 5-699-16993-8

Вячеслав Рыбаков — популярный писатель-фантаст, ученый-востоковед, публицист, киносценарист. Обладатель множества литературных премий, лауреат Государственной премии РСФСР за сценарий фильма «Письма мертвого человека» (1987). Автор идеи и один из участников книжного проекта «Холм ван Зайчик. «Плохих людей нет (Евразийская симфония)»».

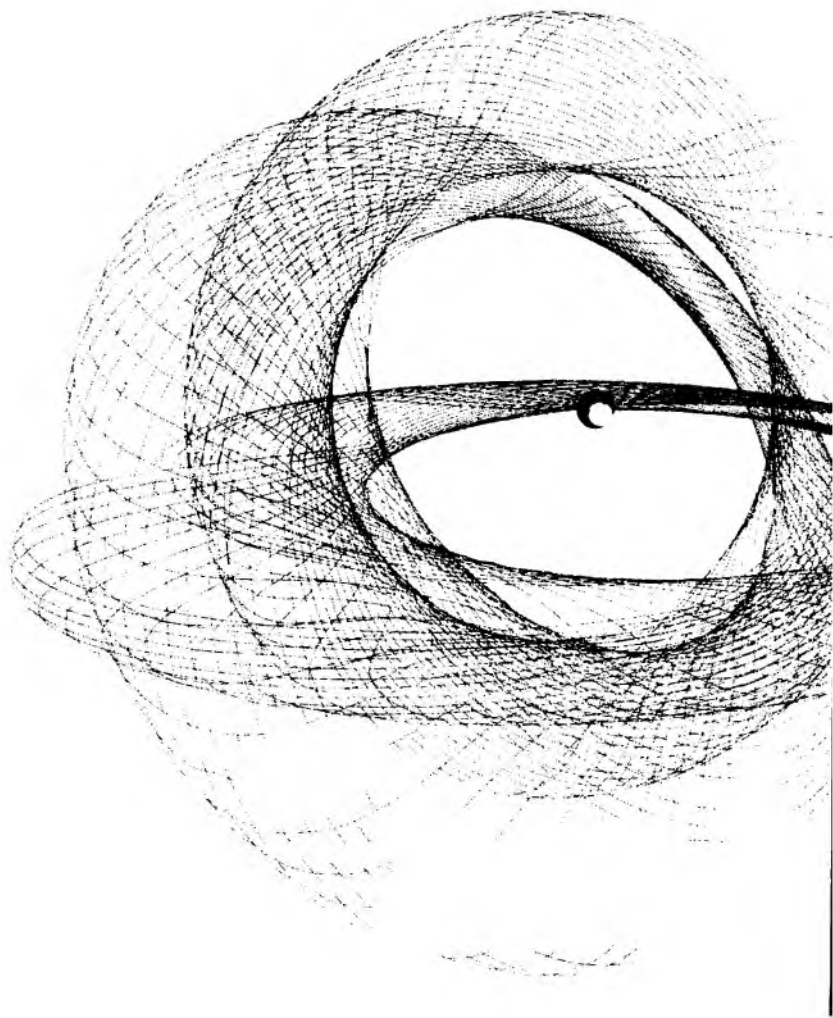
В этот том вошли популярные произведения автора, которые можно объединить под общим названием «На будущий год в Москве». Их тема — наше ближайшее будущее и те невероятные катаклизмы, которые оно сулит и российскому государству в целом, и обычному человеку, живущему с нами на одной лестничной площадке.

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-16993-8

© Рыбаков В. М., 2006
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2006

ДЕРНИ ЗА ВЕРЕВОЧКУ



Это было странное время. И не очень страшное, и совсем не замечательное, похожее на сдавленное затишье перед грозой или землетрясением, когда все ждут чего-то и сами не понимают чего, но если сутолока дает случайную паузу, как бы неосознанно начинают прикидывать, куда бежать, случись что, у кого искать помощи, случись что, и, махнув рукой на внешний мир, смутно ищут способ уберечь хотя бы себя или в лучшем случае себя и своих близких. Труднее становилось любить, труднее дружить, даже просто общаться становилось труднее — мешали прикидки, принимавшие форму элементарной корысти: надо устраивать жизнь... а что такой-то может мне дать для устройства?... если что-то может — поздороваюсь. Люди становились расчетливее, информированнее, благоустроеннее, внешний мир натужно позволял им это, но не позволял пользоваться этим всерьез, перечисленные качества не на что было применить, разве только на прикидки. Оттого они выворачивались наизнанку — и пропадали втуне; прикидки лгали раз за разом. Семь лет оставалось до СПИДа, одиннадцать — до Чернобыля; слово «Афганистан» лишь готовилось стать проклятием целого поколения, а слова «Сумгаит» и «Степанакерт» еще не кровоточили, просто болтались где-то в уголке нарочито искаженных, перевранных карт. Великая страна пьяно дохлебывала последние капли старого горячего, отсасывала с донца, лихорадочно и тупо искала в давно опустошенных бутылках под накрытым еще в начале века столом хоть граммულку конструктивного тоталитаризма — словно спешила убедиться и убедить окончательно всех других, что, ломая людей, нельзя преуспеть ни в чем, кроме как в ломании людей.

Распухал смехотворный, но тлетворный культ Брежнева, основанный уже не на страхе, а на мощи, раскручивалось первоначальное накопление партийных капиталов, необратимо готовя национальные и псевдонациональные номенклатурно-буржуазные революции, вскоре размолившие СССР; громадные деньги, которые государство, помахивая разбойничьим кистенем, отбирало у всякого устало бредущего домой с работы и которые, как многие еще верили, предназначались на оборону, на гиганты промышленности, на общее благосостояние, ради коего надлежит жертвовать частным достатком, омертвлялись в виде госрезиденций и госворовских госмалин либо превращались в ценности и уплывали за рубеж, чтобы «отмыться» затем в процессе горбачевского вращения в мировую экономику, — престарелые штурманы давно отгремевшей бури тоже делали свои прикидки, тоже хотели спастись и не исключали, что им придется первыми покинуть ими захваченный и ими посаженный на рифы корабль. Но будущее опять не далось им. Опять не вписалось в их убогие, плоскостные попытки предвидения, хотя, казалось бы, они постарались предусмотреть все варианты и везде подстелить соломки на случай падения; по определению не в силах стать провидцем думаящий только о собственной мягкой посадке во все равно как изменившийся мир — будь он хоть комбайнером, хоть членом Политбюро, изменения его перехитрят.

Я смотрел на молодых, обзор был круговым, эффект присутствия «один к одному», под руками беззвучно хлокотали информацией десятки психоспектральных детекторов, ментоскопических приставок, сканирующих контактов, ребята были прозрачны — они еще, в общем, не начали своих прикидок, но уже ощутили, кто с последних классов школы, кто чуть позже, как некая безлика, непонятная сила мешает им быть честными. Во всех смыслах слова. И в смысле «искренними», «живущими от души», и в смысле «дорожащими честью». Не все еще отдавали себе в этом отчет — но ощущали все; и не все отдавали себе отчет в том, что уже начинают делать выбор, — но и выбор делали все. Мне было так больно за них. Им было по шесть, по восемь лет, когда им пообещали близость мира и счастья, — возраст, когда, если ты не подонок от молока матери и не дебил от водки отца, веришь во все хорошее безоговорочно, беззаветно; теперь им оставалось че-

тыре года до горького анекдота: «Вместо объявленного ранее коммунизма в 1980 году в Москве будут проведены Олимпийские игры».

От выбившегося из сил магнитофона «Астра» несло жаром, его поставили на подоконник, у раскрытого в летний вечер окошка. Шумело в головах от вин и песен, стрекота кузнечиков в саду не слышал никто. У стены, на диванчике, расположился Шут — он пил и не пьянел, и только рифмы, остроты, цитаты сыпались из него, как из мусоропровода. Лидка — сегодняшняя именинница, преданно льнула к нему, он обнимал ее хозяйски небрежно, просто потому, что рука его лежала на спинке дивана. Когда Лидка наклонялась вперед и брала с праздничного стола бутерброд или шпротинку, ложку оливье или фужер с «алазанью», становилось видно, как дрожат от волнения ее пальцы, и трудно было представить, что пальцы эти изо дня в день творят точную, водонепроницаемую, противоударную механику о восемнадцати камнях. Ева сидела, прикрыв глаза, подперев красивую голову красивыми, уже вполне женскими руками, и рассеянно слушала то ли музыку, то ли мягкое горение вина в себе. Две пары танцевали, скрутившись в жгуты, поодаль от стола.

Дима глядел на темные контуры яблонь в окне. Сердцем он был уже в пути, но не прийти на Лидкин день рождения права не имел: бывшая одноклассница и одновременно подруга двоюродного брата, он и познакомил их. Позади была дурацкая церемония, когда Шут втолкнул его в главную комнату дачи и стал, скалясь, орать: «Честь имею представить, брательник из краснова Питера! Студент! Художник! А ну, налетай, продается художник, настоящий, не гулящий, честен до скуки, любит науки!» А Ева смотрела исподлобья, а Лидка кудахтала радостно: «А мы помним! Евушка, правда? Дымок, присаживайся, дорогой ты наш, как хорошо, что завернул!» Позади была основная масса бутылок, позади поздравления, дарения... Оставалось ждать. Во что бы то ни стало надо уехать завтра дневным, думал Дима. И позвонить Ей уже завтра. Он снова вспомнил тот вечер, нежный сиреневый сумрак Ее квартиры, пропитанный тревожным ароматом Ее духов, — Дима сам был насквозь пропитан этим тревожным воспоминанием, оно мерцало непрерывно. Ее родители уехали куда-то, и после очередного экзамена они пошли к Ней, они были вдвоем, говорили, смеялись, дурачились, даже играли в «мор-

ской бой», как дети, но время от времени он позволял себе невзначай дотронуться до Ее руки, однажды до шеи даже, и пальцы его до сих пор ощущали прохладную гладкую кожу, легкие подрагивания крови совсем близко, казалось, этой крови можно коснуться, казалось, можно коснуться души... Когда он ушел, автобусы-трамваи уже разбрелись по лежбищам, и он возвращался пешком через благоуханный Лесотех, от Шверника до Лесного, — ночные птицы пели оглушительно, со вполне объяснимым восторгом. Дима его разделял; через мосты он успел проскочить на попутке. Перед уходом он предложил Ей отдохнуть пару недель вместе — приятель звал его в гости в Одессу, и Она сказала: «Забавно. Я буду иметь в виду». В ящике Диминого стола в Ленинграде уже лежали два билета на одесский поезд — даже отсюда, за шестьсот километров, они теплились, как два мягких неугасимых светлячка.

«Завтра я Ее увижу, — думал Дима. — И скажу: во вторник едем. Просто вот так скажу, как бы все само собой разумеется. И Она будет рада. Будет рада! Во что бы то ни стало нужно уехать дневным. Десять дней не виделись».

Стариковски закряхтев, Шут поднялся, добрел до горки подарков на комод и пригляделся. Выдернул фоторепродукцию Нефертитиной головки, посредством которой канцелярские магазины и киоски «Союзпечати» вот уже больше года приобщали людей к прекрасному. Издевательски вгляделся в обветренный веками профиль. Из нагрудного кармана коббойки достал фломастер и вдруг принялся размашисто писать поперек портрета. Лидка вскочила:

— Шут!

Но Шут успел. Когда Лидка подбежала, он, скалясь, перебросил картинку Диме. Поперек подбородка и шеи многотиражной красавицы тянулось жирно и завитушечно: «Как ни крутите, ни вертите, но все же шлюха Нефертити». Дима отдал поруганный подарок подбежавшей Лидке, она глянула.

— Идиот, — сказала она с обидой.

— За что ты ее? — спросил Дима.

Шут походкой Юла Бриннера, подпружинивая шаг и чуть разведя неподвижные руки, вернулся на место. Надломленно сел.

— Надоела, — сообщил он. — Затрепали, аж лоснится.

— Она ведь не виновата, — проговорила Лидка, жалостливо разглядывая репродукцию.

— Не виновата? — с неожиданной злобой переспросил Шут. — Муж державу спасал, один-одинешенек против своры аппаратчиков, а у нее одно: Эхнатончик, что ты нынче молчаливенький... а посмотри, котик, какую диадемку мне почтительнейше поднес председатель Мемфисского горкома... а не пора ли нам полежать голенькими?

Лидка уже хихикала. Она смеялась, кажется, любой, даже самой плоской остроте Шута, а если ему удавалось отмочить что-то стоящее, прямо падала.

— Козел, — глухо произнесла Ева, не открывая глаз и не поднимая лица с ладоней.

— А из нее мне идеал творят, эталон! С какой стати? Правое слово, ведь в том же Египте была Хатшепсут! На ряшку не хуже, да еще и человек дельный, настоящий правитель, лучше многих мужиков. Понастроила сколько! И не сфинксов дурацких, а для дела! В документах так и писали: повелитель Верхнего и Нижнего царств. В мужском роде...

— Все ты знаешь, — с неприязнью сказала Ева. — Умный какой. Что-то Лидка твоя на эту Хат мало похожа.

— Естественно. Будь она в мужском роде, — оскалился Шут, — я б ее зарезал...

Дима, не выдержав, негодуяше фыркнул.

— Что? — взъерился Шут. — Конечно! Но я и не предлагаю ею восхищаться до вековых соплей! Скажи, дитя мое, ты эталон?

— Я жемчужина гарема, — игриво ответила Лидка, и Диме стало неприятно за нее. Шут потрепал ее по голове.

— Ах ты, лапушка, — проворковал он, — свое место разумеешь.

И, как награду, положил ладонь ей на ногу. Лидка просто расцвела и сдвинула колени, поймав Шута. Перехватив Димин взгляд, Шут сообщил:

— И слабым манием руки на ней я расстегнул портки.

— Каз-зел, — повторила Ева и взялась за фужер.

— Это мысль, — сказал Шут и свободной рукой тоже взялся. — Давайте треснем. Дымок, у тебя есть?

— Есть.

Ева, не отпив, поставила. У нее были совершенно хмельные, тоскливые глаза.

— Мне с тобой и пить-то тошно.

Шут отпил, аккуратно поставил фужер.

— Глянь на себя, — проникновенно сказал он, через стол вперив в Еву длинный палец. — Уродство сатаны — ничто пред злобной женщины уродством.

Ева смешалась на миг. Запахло совсем уже остервенелой перепалкой, и Дима, стараясь разрядить обстановку, поспешно и несколько опрометчиво заполнил паузу, перетянув внимание на себя.

— Бросьте вы, — сказал он. — Давайте я вам лучше сказку расскажу. К случаю подходит.

— Сгораем от желания. — Шут немедленно принял позу крайнего внимания.

— Конечно, Дымочек! — воскликнула Лидка обрадованно.

Дима не ожидал, что они так быстро согласятся. Он медленно отхлебнул вина, пытаясь срочно что-то придумать. Искательно посмотрел на Шута, но тот был непроницаемо внимателен. Даже не скалился. Ситуация скалилась сама за себя. Шут знал, что импровизировать Дима не умеет. Импровиз — Шутова привилегия и прерогатива испокон веков.

— Рома! — крикнула Ева в глубину комнаты. — Рома, Таня, идите сюда! Дима сказку будет рассказывать!

Один из танцующих, не оборачиваясь, пренебрежительно махнул рукой и снова облапил партнершу.

— Итак? — спросил Шут.

Дима допил вино, поставил бокал:

— Э-э... Значится, вот.

— А ты сам ее придумал? — спросила Лидка.

— Думаешь, я ее уже придумал? — честно ответил Дима.

— Нам предстоит быть свидетелями творческого акта, — пояснил Шут Лидке. — Возможно, даже участниками.

— Групповуха, — заключила Ева.

— Дай-ка я тебе подолью, — сказал Шут и поднял бутылку, потянулся с ней через стол.

— Подлей, — согласился Дима и залпом выпил. — Э-э... лет за пятнадцать до того, как... это самое... вступил на престол отец наш, Петр Ликсеич... кузнец жил-был. Василий. Силищи необычайной, скажу я вам, — лошадь на себе носил. И умом его, как ни дивно сие сочетание, господь не обидел. Ох и смекалистый был кузнец!

— Поняли, поняли, суть давай! — с презрением перебила Ева. Лидка, добрая душа, сразу вступилась:

— А ты не мешай! Не интересно, так поди и попляши!

— Нет, я досижу, — ответила Ева и демонстративно устроилась поудобнее.

Дима покрутил пустой бокал. Выбили из ритма, едва замерцавшая волна сгнула.

— Смекалистый, значит, был, — подсказала сердобольная Лидка, устроив подбородок на кулачке. Шут царственно откинулся на спинку дивана.

— Эт точно, — согласился Дима. — По всему северу слава шла... В Архангельске дело-то было, — догадался он. — Индо немцы всякие диву давались, нарочно забежали в кузню из своих факторий — смотрели, ахали, к себе звали. Не шел.

— Крутой патриот был, — предположила Ева.

— Землю свою любил, — пожал плечами Дима.

— Жену, — предположила она.

— Не было жены. Никого не было. Имела, правда, на него глаз Авдотья, дочка посадского одного. Девка в самом соку, что говорить. Белая, пышная, коса до пят... Вроде и сладили уж все, да тянул кузнец, как-то ему было не так... Подозрение, конечно, Дуню взяло — не иначе отваживает кто. Стала... нет, братьев подговорила проследить. Вызнали, конечно. Каждый... кажинный вечер ходит кузнец на храпузскую факторию и часа три, а то и поболее там проводит. И на фактории-то его уж знают, привечают: ах, мол, мусью Базиль, как же вам не очень утомительно ходить кажинный вечер по пять верст туды-суды, вы б и вовсе к нам, такому мастеру очень чрезвычайно рады будем... Вызнали — ходит он к купцу Жозефке Фременкуру, у коего дочка на выданье. Страшна, что война, — губы да глазищи, а уж сухoleyа-то, прости господи, чистая чахотка! И вот эдакая филиса предилекцию Василию вытворяет. Подглядели в окошко: сидят, значит, двоечкою — да кака ж девка вдвоем с чужим мужиком усядется, это ж жупел выходит, Содом и Гоморра! И вроде бы, прости господи, книжку читают. Книжка-то не по-нашему накорябана, так Жанетка эта вроде как на язык толмачит, а уж чего такая притолмачит, как не порчу на мужика! На обложке корабль ихний изображен весьма затейливо, с парусами раздутыми, значит, едет по волнистой воде, и дым от дырок в боках. Васька, дурень, головушку свою буйную кулачищем подпер, на Жанетку глазеет, ровно на камень яхонт какой, и глазыньки-то у него горят, и сам-то дрожит, и щеки-то пятнами — слушает. Ну, брательнички видют — погиб человек, приворо-

жила мосластая ведьма. Принялся Васька руками вдруг махать, говорит громко: «Эх, кабы у нас!» Поняли — на шабаш подговаривают, на оргию. После она прощаться стала, из-за стола поднялась, а он не уходит, вроде неймется ему, говорит: еще, еще! А она с отъявленным своим картавлением лопочет: ах, мол, нет, мол, мусью Базиль, у вас может быть неприятность с родителями невесты, никто не поверит, что вы ходите из-за книг. А Васька уж и вовсе не в себе. Пушай не верят, кричит, да и не из-за книг одних я хожу сюды, свет мой ясный Жанетка, — без тебя мне жизнь не мила! Едва уйду, такая тоска берет, хошь вой, ровно пес бездомный! Тем и живу, что вечером сызнова к тебе, а ты ждешь меня, красавица ласковая, ясная головушка... За тобой весь мир мне открывается, а за мной — один только хлев мой грязный да тупые наши людишки. Скажи, говорит, люб ли я тебе хошь на столечко?.. А она, ведьма, алеючи, к нему повертывается: да я, говорит, кажиную ночку во сне тебя вижу, сокол ты мой, раз не приди — тут и помру. Захрипел тут Васька, накинудся, зацаловал, а она жметя к нему, паскудница, и чего-то по-своему бормочет. Во-от... После она спрашивает: как жить-то будем? Ох, не знаю, Васька говорит, и в ноги к ней, в подол грязный уткнулся, нюхает, дурень, дурман прелестный, коленки будыластые обнимает. Не могу я без земли этой, без погоста, где мамка лежит, — режь меня на куски, собакам брось. А и без тебя не могу тож. Она ему — и мне, мол, без тебя не жить. Все, как скажешь, будет, как захочешь, господин мой милый, вот я, твоя!.. Нет, Васька говорит, не могу я так, краса ненаглядная, лебедь чистая, все чин чином сотворим, и будь что будет...

Рассказали Дуняше. Поревела, бедная, а после взбеленилась. Изведу, говорит, немку, а Василья спасу — видать, не крепки ведьмины уветы, коли ушел он от ее соблазну, не обмяк. Наутро Васька в кузне своей потеет, а братья городишко гоношат, рассказывают об делах анчихристовых, сообщают исправнику — уплывает, дескать, кузнечного дела виртуоз за кордон. И порешил тогда исправник от греха посадить покамест Ваську, а в городе разболтать, что поведут его на дыбу.

Как ждали, так и вышло. Скачет Жанетка глазеть на дело рук своих, на погибель русского человека. Ни на кого не глядит, нос от всех воротит, а тут ее и встречают всем миром. Ты, говорят, куды? Молчит. Ты, Дуняша говорит, жениха мово портить бежишь? Молчит, белая стала. Тут Дуняша на нее

бросилась, хотела волоса повыдрать, да только за ведьму-то черт радел — отлетела Дуня. Что ж вы смотрите, говорит, люди добрые! Креста на вас вовсе нет! Тут мужики на Жанетку и двинули. Раздели ее, хвост все искали... Не нашли. Тогда оне, сколько их было, прошлись по ней раза. Бабы, правду сказать, посла их корили — как-де вам не мерзостно, об бесовку поганились... ну да сделанного не вернешь. Во-от. И бросили башкой в канаву, а ноги на дорогу, чтоб все видели ее грех да стыдобу. Тем часом отпустили Ваську, плетей только дали слегка. Идет это он к кузне, а все по-за заборами прячутся и доглядывают, потому как одна ему дорога — мимо места, где Жанетка валяется. Ну да она к тому времени померла уже, только повозилась в грязи маленько — как бы подол все искала, срам прикрыть... И вот видит Васька — ноги. Чьи, мол, ноги? Подошел, глянул. И весь серый стал, рухнул рядом и заревел, ровно ведьмедь на рогатине. Вытащил, рубахой прикрыл, и все цалует, и ажно плачет. Посля встал, руки к небу простер. — Дима, сам того не замечая, поднялся, протянул руки к потолку; голос его дрожал и звенел. — Господи, кричит, не уберег я красавицу свою, отдал ласточку на смех и поругание, как же мне жить теперь, надоумь, верни ее иль самого меня убей! Так вот в голову себе вцепился и орет: не уберег! — Дима вцепился себе в волосы, с перекошенным лицом крикнул так, что у всех мороз продрал по коже: — Не уберег!! — Медленно опустил руки. Облизнул дрожащие губы. — Ясно дело, молчит царь небесный, потому как не к его департаменту Жанетка приписана. Во-от... А на самом-то деле крепка, видно, порча оказалась, и не по слабости ее, а по своему недомыслию отказался тогда Василий от ведьминого увету, потому как, проплакав весь белый день в кузне над бесовкою своей, пошел он, яко тать в ноши, с кувалдой по городишку. В дом заберется и спящих по головушкам: тюк-тюк! Чуть не до зорьки злобствовал, двенадцать семей уходил вчистую. Детишков, правду сказать, отпускал. Детишки-то крик и подняли, а то невесть сколько сгубил бы он в ту ночь. На рассвете взяли его мужики на ножи...

Он все знает наперед, потрясенно думал я. Откуда? Как? Каким нервом пытался он у будущего информацию, не ведая даже, что это — информация, и переплавляя ее не в куные прикидки, а в крик, в боль неизвестно за кого? Ведь он не думал ни о чем таком. Просто пытался фантазировать. И вне-

запно провалился в мир иступленно напрягшихся переживаний, куда более реальный для него, чем мир сидящих вокруг тел и стоящих вокруг стен. А там, в том мире, была истина...

Он глубоко вздохнул и вспомнил, кто он такой и где. Он внезапно обнаружил, что стоит. Саднило кожу на голове, будто кто-то пытался вырвать у него волосы. Вокруг были все, даже танцевавшие. Шут по-прежнему сидел откинувшись, но его вечная улыбочка стаяла. Ева, запрокинув голову, смотрела Диме в лицо; в ее глазах, бездонных от темноты, дрожало маленькое острое пламя.

Дима сглотнул и сел, вцепился в фужер. Оказывается, ему налили еще. Шут, наверное, позаботился. Он отпил.

— Такая сказка, — хрипло выговорил он.

Все молчали. Непонятно было, что говорить, как вообще вести себя после такого удара. Потом Ромка, продолжая обнимать Таню за плечи, кисло сказал:

— Лескова начитался, а впрок не пошло. Французских колоний в Архангельске вообще не было. Что губит, — он усмехнулся с превосходством; он тоже нащупал волну, только волна была совсем иная, — что губит наших творцов культуры, так это их вопиющая неграмотность. Болбочут, болбочут, а нет чтоб в справочниках сперва порыться...

— А впечатление производит! — тут же встала на защиту Лидка.

— На таких же неграмотных! — отрезал Ромка, презрительно покосившись на часовщицу. — Да будет вам известно: у русских ведьм никогда не было хвоста! Никому в голову не пришло бы искать... А! Что ни фраза — то путаница. Еще проверить надо, сказочник, кто тебя самого-то приворожил! «Немецкая волна» небось? Али «Европея свободная»?

Напряжения как не бывало. Все, кроме Евы и Лидки, засмеялись облегченно, хотя и чуть натянуто еще. Громче всех смеялся, конечно, Шут. Он шатко встал, пошел по комнате, весь сотрясаясь, крючась, бессильно взмахивая руками, потом просто рухнул на пол и покатился, визжаще регоча и дрыгаясь. Ромка презрительно смотрел на него с высот сарказма, затем отвернулся, и тогда Шут проворно подкатился к нему. Не переставая заходиться в смехе и колотить ногами воздух, — а все уже стали с беспокойством поглядывать, — он пихнул Ромку каблуками под обе коленки сразу. Ромка пова-

лился как сноп. А Шут уже стоял над ним и протягивал руку дружеской помощи:

— Ох, прости, задел... Право слово, так к месту сказано... Прости, я случайно!

Ромка поднялся сам. Опять коротко глянул на Шута с презрением, сгреб партнершу и попер плясать.

Все успокоились. Шут изящно отряхнулся и взял Диму за руку:

— Стэнд ап, плиз, лет'с попляшем.

Дима неуверенно встал, таращась в сумрак. Его познабливало.

— Боюсь, не выйдет. — Голос еще чуть хрипел.

— Фстат, сфолош! — рявкнул Шут голосом блокфюрера и сволок Диму к затерянному в углу креслу. Гулко бухнулся. Дима опустил на подлокотник.

— И заржали молодцы, как на случке жеребцы, — пробормотал Шут задумчиво. Дима ждал. — Друг мой, — веско, словно патриарх, проговорил Шут из темноты. — Я потрясен, и не я один. Ваша храбрость сравнима лишь с Дон-Кишотовой, а мастерство непревзойденно. — Он так и сказал в высоком стиле — «непревзойденно», а не «непревзойдённо». — Беда, однако, в том, что вы переживаете. Вы никогда не говорите просто, а все время переживаете, изливаете душу. Сие недопустимо. Вы отдаете душу на поругание шушере, а шушера обязательно будет бить душу, ибо органически душевности не выносит, и дело для вас кончится утратой способности генерировать душевность. Нельзя размениваться. Бисер перед свиньями метать в наше сложное и прекрасное время очень легко, ибо свиней пруд пруди, но невыгодно. КПД нулевой. Не советую, мнэ-э... съедят.

— И пусть едят, — пробормотал Дима.

— Полно чушь-то молоть! Прибереги свой пыл для дела!

— Не притворяться — это и есть дело.

— Слова — это не дело. Слова всем обрыдли. Приберегай душу для поступков, Дымок.

— Ты мне свою систему предлагаешь, — сказал Дима. — А у меня своя. Наверное, только она для меня и возможна.

Он врал. Не было у него системы, он вел себя, как получалось. Но Шут этого понять не мог. Он пожал плечами и сказал задумчиво:

— Оно, конечно, красивше. — Помолчал. — Пускай меч-

татель я, мне во сто крат милей довольства сытого мои пустые бредни... Мой голос одинок, но даже в час последний служить он будет мне и совести моей. И вместо подлости, и вместо славы мелкой я выбираю в сотый раз мой гордый путь под перестрелкой горящих ненавистью глаз... Что же, ненависть врагов — прекрасное топливо, но ведь Дон-Кихотов не ненавидят, над ними ржут... Впрочем, я это уже говорил. Берегитесь, друг мой. Если вам дороги разум и жизнь, держитесь подальше от торфяных болот.

— Хорошо. — Дима улыбнулся. — Но, думаю, покамест это мне...

— Да-а?! — взбеленился Шут. — А вот когда на зачете шеф посмотрит-посмотрит на твою авангардистскую мазню и скажет: «Лавр-руха, служи нар-роду!» Что ответишь?

Дима засмеялся.

— Ржать будешь потом, — нетерпеливо прервал его Шут. — Мне-то, естественно, скажешь, что и делаешь это, в отличие от многих и многих, в поте лица малюющих алые стяги... И это будет правда. Непритворная. А вот ему?

— Черт его знает... — Дима скребанул затылок. — Наверное, что вот стараюсь, вот учусь... вот лукавый попутал...

— И это конец нашего спора, — проговорил Шут.

— Почему?!

— Ты повзрослел. Когда человек донкихотствует в безопасных дозах, в безопасной обстановке, вне людей, от коих зависит его будущность, это, знаешь ли, добрый знак. Человек приспособился. Человек не пропадет.

— Софистика, — пробормотал Дима. — Что-то ты меня, — он улыбнулся, — совсем запугал.

— Дур-рак ты, светик, — ответил Шут, с кряхтением поднялся и, горбясь, ушел.

О господи, подумал Дима устало и опять вспомнил про Нее. Стало совсем паршиво, захотелось по шпалам броситься в Питер. Он тут сидит, а Она, может, ждет. Сил нет сидеть! Он сидел.

Он достал блокнот — время скоротать, но тут же спрятал. Ему уже случалось писать в подпитии. Казалось, он наконец-то создаст нечто настоящее. Непохожее. Свое. Наутро он заколеровал все ровным изумрудным цветом.

Правда, потом напустил желтовато-зеленого туману, в котором смутно угадывались не то скалы, не то оплавленные

руины. Задумчиво водя кистью, родил в нижнем углу фазтонца Иайу с синими глазами на пол-лица, сухими, твердо отсверкивающими, будто кристаллическими. Гениальные глаза летели вперед, на зрителя, а маленькое, как у узника Освенцима, лицо и узкие плечи с золотой герцогской цепочкой отставали бог знает на сколько парсеков... Он писал так, как видела душа, а не как велела заданная тема или, того хуже, образец... Дима вспомнил, как на копийной практике смалевывал «Гэсэр-хан», и почувствовал, что пора еще выпить. Любимая картина надолго ему опротивела.

За столом никого не было, кроме Евы, бессильно уронившей голову в ладони. Бронзовые кудри пенились по обнаженным плечам и по скатерти, а одна прядь даже залетела в фужер, на дне которого рубиново поблескивало вино. Дима взял этот фужер — прядь мокро проползла по стеклу и пала, пришлепнувшись к засыпанной крошками скатерти. Ева не шевелилась.

В школьные времена Ева нравилась Диме. Но она курировала половину парней класса (о чем Дима поначалу не подозревал), с одинаковой легкостью оделяя лаской на темной затхлой лестнице и отличников, и двоечников, и не делала для Димы исключения. Надо же, они с Лидкой еще дружат...

Все плясали. Ромка — подальше от свечи, и из темноты раздавались болотные звуки. Зато Шут развлекался со своей Гаянэ, как юный пионер, громко смеясь, не виляя задом, и что-то рассказывал, жестикулируя и почти не придерживая партнершу. Это Лидка держалась так, будто Шут был спасательный круг, а она тонула. С завистливой тоской глядя на них, Дима медленно допил вино и поставил фужер на прежнее место.

Ева встрепелась. Подняла гордую голову на лебединой шее и уставилась на Диму почти Иайиными по размерам глазами. Только они отставали от лица, в атаку перли сочные, черные во мраке губы, чистый лоб, щеки розанчиком...

— Жажда замучила? — спросила она с неожиданной нежностью.

— Да нет...

Она улыбнулась:

— Я здорово хамила?

— Когда?

— Когда ты рассказывал.

— Да нет... сносно.

— Поначалу как-то смешно было, а потом захватило. И знаешь, так понравилось... Сердишься?

— Да нет... — Дима растерянно усмехнулся. Чего это она?

— Как давно не виделись, — мечтательно произнесла она, глядя на Диму с детскостью во взоре. Он нерешительно кивнул. Ее ресницы широко и замедленно колыхнулись. Она взяла Димин фужер, потянулась на другой край стола. Не дотянулась. Засмеялась хмельным смешком, привстала и потянулась вновь, подставив Диминому взору обтянутые тонким платьем ягодицы. Достала еще фужер. Наполнила оба.

— На брудершафт выпьем, — проговорила она просительно.

Дима чуть удивленно кивнул:

— Если хочешь...

— А ты не хочешь? — с болью произнесла она.

— Хочу, только...

— Что?

Дима подумал.

— Не здесь.

Она серебристо засмеялась:

— Да.

Дима встал. Не разлить бы... Чего это она? Сердце билось как-то чаще. Ева грациозно поднялась, глядя на Диму взахлеб. Двинулась вперед, неся вино как факел, пронзила танцующих, приостановилась у двери и обернулась, сахарно блеснув улыбкой. Дима миновал едва различимых Ромку и Таню, догнал Еву. Они вышли. Ева сразу затворила дверь, приглушив музыку и отрезав свет; глаза совсем ослепли. На ощупь они сплели руки, улынулись в темноту и стали пить.

Сердце било в набат.

— Целоваться будем? — донесся из тьмы робкий голосок.

— Смотри сама, — хрипло ответил он.

Тогда она перехватила фужер в левую руку, а правой сновисто обняла его за шею и потянула к себе. Он наклонился, она встала на цыпочки и стала сосать его губы. Дима, чувствуя, что мир вокруг обесценивается и пропадает, обнял ее свободной рукой. Она запрокинулась, зубы твердо коснулись зубов.

Дима отстранился первым. Ева уткнулась лицом ему в шею, тихо поцеловала кадык, потом углубление между клю-

чицами. Он зарылся в ее ароматные волосы, все отлетело, кроме этого аромата, кроме ощущения тепла и покорности под рукой и подбородком.

— Как тогда, — едва слышно произнесла она и стала гладить его затылок. — Ты так уехал... Я звоню, а мне говорят: он в Ленинграде. Я даже написать хотела, только постеснялась, боялась, не поверишь. Ты вспоминал?

— Да, — выдохнул он, не ведая, что лжет.

Она — действительно? Из всех запомнила только его — так, что теперь сама все говорит и... делает? А я еще не хотел ехать сюда, вспомнил он. У него напряглись руки: как мешал этот поганый фужер!

— Я отнесу бокалы, — попросила она. Он кивнул и передал ей свой. Она открыла дверь, впустив шум и мерцающий свет, упруго пошла к столу, едва не задев танцующего Ромку. Она же просто красавица, едва не сходя с ума, думал Дима. Она уже спешила обратно, улыбаясь издалека, показывая освобожденные руки; он зачарованно следил. Она подошла:

— Может, потанцуем?

— Я как раз хотел...

Она вывела его в комнату, и началась игра, называемая танцем: они медленно переступали с ноги на ногу, терлись друг о друга, обнимались, он тянулся к ее губам, она пряталась. Но он не хотел играть, как все. Он не играл.

— Не отворачивайся.

— Почему? — спросила она удивленно.

Вопрос был идиотский, и она, тут же, видимо, поняв это, подставилась. Губы ее были упруги и скользки. Его правая рука стекла по ее спине, пошла ниже, достигла края платья и нырнула под него, прильнув к атласной коже.

Губы разомкнулись.

— За это ты тогда схлопотал, — жарко выдохнула она ему в шею.

— Что ж медлишь? — прошептал он.

Она поцеловала его подбородок, потом опять подставила рот.

— Нет байки вреднее на свете, чем враки о Ромео и Джульетте, — раздался над самым ухом голос Шута. Дима ошарашенно вздернул голову: темная тощая тень проплыла мимо.

— Кыш, — сказал Дима ей вслед, и в этот момент кто-то

толкнул его локтем в бок. Дима обернулся и опять рывкнул: — Кыш!!

— Ай-яй-яй, охальники, — ухмыляясь, сказал танцующий Ромка, снова сделал выпад локтем и попал Еве в бок.

— Отстань! — крикнула она со сверхъестественным остервенением. Дима потянул ее к себе, она покорно и обещающе обмякла.

— Пошли отсюда, — попросил он.

— Куда уж тут...

Кончилась песня, и Ева изящно выскользнула:

— Подожди.

И удалилась к столу, где били общий сбор, открывая очередную партию бутылок. Дима остался посреди комнаты со слегка разведенными руками и пустыней в голове. Над пустыней бушевал самум; песок ревел, рубил лицо, и было не видеть ничего и не слышать.

— Друг мой, как вы непосредственны, — донесся сквозь гул и плач ветра печальный голос. Кто-то взял Диму за локоть.

Дима обернулся:

— А?

Шут подтолкнул его к креслу и ухнул на него сам.

— Ромка, ейный хахаль, вишь, на Татьяне завис, так должна ж она продемонстрировать, что ей плевать...

Дима сел на подлокотник.

— Что? — спросил он после паузы.

Ева оживленно тараторила с Татьяной и Светкой, Ромка вертелся рядом. Магнитофон взорвался новой мелодией.

— Сейчас вернется. — Голос Димы срывался.

— Нет, не думаю.

Ромка лихо шаркнул задней лапкой и пригласил. Ева отмахнулась.

— Не пошла! — возбужденно выкрикнул Дима.

— Естественно. Нельзя же сразу, право слово...

— Ну да... Нет... А как же?..

— Слишком много доверия к двуногим прямоходящим, — изрек Шут. — Никто, Дымок, кроме мазохистов, кого-либо помимо себя не любит. Лидка вот никого, кроме себя, не любит. Потому и со мной. Удобно, легко. Я ее тщетными мольбами о сопереживании не утомляю, душу не распахиваю и ей не даю — ей и хорошо. Делаем что хотим. Каждый — сам по себе.

Ева пила, похохатывая, и не оборачивалась даже. Дима перевел взгляд на Лидку. Лидка смиренно сидела, уложив подбородок на сцепленные ладони. Она ждала. Она любила. Дима круто мотнул головой:

— Тебе бог послал ее, а ты!..

— Ой, ой, ой, — с оттяжкой сказал Шут.

— Я бы с нее Афродиту писал, — бабахнул Дима. — Закат, Венера горит — ее Вesper тогда звали, да? — и ключья пены, рвущиеся на ветру... ветер, понимаешь? И волосы — черным пламенем в зенит...

— У нее короткая стрижка. — Шут, ухмыляясь, с любопытством вглядывался Диме в лицо. Дима очнулся:

— Что? А... — Он устало вздохнул. — Неважно...

— Все чушь, — с нежностью сказал Шут. — Это пройдет. Вesper и все прочее. Скажи лучше, как ты Афродите вот тут сбачаешь? — Шут погладил свое тощее брюхо, обтянутое модными штанами. — Ведь на худсовете тебе порнуху пришьют. Или, верный соцреализму, изобразишь действительность в ее революционном развитии и зашпаклюешь все пеной?

Ева смеялась.

— Ладно, — сказал Шут. Кряхтя, он встал и пробормотал рассеянно: — На дрожку пойти...

— Шут, — спросил Дима, — а почему ты цитируешь всегда?

Шут усмехнулся грустно.

— Для конспирации, — сказал он, поразмыслив. — Так больше возможностей говорить от души. Авторитет. Дескать, с меня взятки гладки — это не я вас матом крою, а Шекспир, Ростан, Стругацкие, Бо Цзюй-и...

— Я так и думал, — сказал Дима.

Диме постелили на веранде — постелили попросту: продавленный диван, подушка без наволочки, вместо одеяла старое пальто. Диме не спалось, но он честно лежал, закрыв глаза, и думал: во что бы то ни стало уехать дневным. Шут, проводив остальных до электрички, назад шел не спеша. Миновал старую церковь, туманно серебрившимся пятном парившую в небе, свернул в переулок — четкий, патрульный стук шагов по асфальту, ритмично ломавший ночную тишь, сменился глухим голосом земли. У крыльца остановился.

Звезды пылали. Воздух ласкал. Не хотелось уходить из чистоты и тишины. Вesper...

Димка, Димка, как ты мямлишь... Надо говорить так:

«Я — грохот, в котором оседает драгоценный золотой песок. Его мало, но он — золотой. Я кричу под этими звездами, далекими просто и далекими невообразимо, я рву горло в вопле, от которого у меня вылезают глаза и лопаются сосуды, и не надеюсь заглушить хохота, но если кто-то засмеется неуверенно, удивленно оглянется на других: да что ж здесь смешного?... если отвернется наконец неведомая железа и выплеснет гормон совести в кровь и понявший свое уродство тем самым избавится от него — я буду спасен, и жизнь моя обретет смысл».

Вот как ты должен был сказать. А ты говорил: э-э, бэ-э, мэ-мэ-мэ-э...

Шут ошибался. Дима не думал о золотом песке, Дима думал о Ней. Иногда о Еве. Иногда еще о ком-то. Он был влюблен, влюблен почти во всех, не более. Шут говорил не за него, за себя. Но грохотом быть у Шута не получилось.

— Звезды, — сказал Шут тихо и просительно, — пошлите ему собрата.

Он простер длинные темные руки к сияющему туману, к великому костру, щедро рассыпавшему угли на весь небосвод, и вдруг подумал, как претенциозно выглядит со стороны. Это была мысль из тех, что исподволь сломили его несколько лет назад, и назло ей он вытянулся в струну и стоял так долго-долго. Но — уже от головы.

Он тонул в распахивающемся пространстве. Божественный трепет ниспадал оттуда. Звезды беззвучно мерцали, неуловимо тек через мир Млечный Путь. Наедине с небом Шут не был столь одинок, сколь среди всех этих. Он знал: оттуда тоже смотрят. Эй, меднокожие с эпсилона Тукана, у вас девчонки тоже нашивают красные сердечки на юбки внизу живота? Оффа алли кор?

В кухне погасла лампа — тихо и плавно, как во сне. Исчез желтоватый отсвет на листьях яблонь. Лидка ждала. Когда кто-то ждет, покоя уже нет. Легче пойти, чем стоять и думать лишь о том, что уже надо идти и что за каждую секунду промедления виноват. Шут пошел.

Было душно и смрадно, как в бардаке: сигаретный дым, алкоголь, объедки. Пустые бутылки Лидка сгребла в угол, грязную посуду вынесла на кухню и уже лежала; когда Шут приблизился, она с наивной кокетливостью подтянула одеяло к подбородку и улыбнулась:

- Проводил?
- Естественно. Уже катят... Я сволочь?
- Что? — Лидка перестала улыбаться.
- Нет, скажи. Только честно. Я сволочь?

На ее лице мелькнуло беспокойство.

— Временами, как все... — Она вновь улыбнулась растерянно и участливо.

Впрочем, это видел только я. Шуту казалось: она прячется за глупую улыбку, которая когда-то казалась ему нежной, лишь оттого, что ей нечего сказать. Но мне было легче, у меня были приборы. Контакты захлестывало ее отчаянным, преданным непониманием.

— Скажи: что ты обо мне думаешь?

— Я тебя люблю, — сразу ответила она.

Он безнадежно ссутулился и проговорил устало:

— Ради всего святого, Монтрезор...

— Ну какой же я Трезор? — Она надула губы. — Я же девочка, значит, уж по крайности Трезора... Ма шер Трезора, так?

— Что?

— Ну... почему мужского рода-то? — Она покраснела, сообразив, что опять сказала не то и попала пальцем в небо.

— А... — Шут слабо улыбнулся. — Логично. Только это не собачья кличка в данном контексте, а имя. У По есть рассказ, там говорят: ради всего святого, Монтрезор. Тебе надо было ответить: да, ради всего святого. И замуровать меня в стену.

— О! — воскликнула она, выпрыгивая из-под одеяла. — Это по мне, это я с удовольствием!

Она стала замуровывать его подушкой, наваливаясь и прижимаясь. Он нехотя отбивался. Она успокоилась, села поверх сбитого одеяла, подушка на коленях, на подушке руки.

— И устала же я, — сообщила она. — Хорошо, что день рождения только раз в году.

— Да, — ответил Шут, глядя мимо нее.

— А какую сказку нам Димочка рассказал замечательную, правда? — искательно спросила она, пытаясь заглянуть ему в глаза.

— Чудит, — вяло пробормотал Шут.

Она вздохнула:

— Странно. Он такой добрый, а ты такой злой.

— Примитивные категории, лебедь моя белая. Однобокие.

— Ничего не однобокие! Как Трезор. У, злюка! — Она

изобразила, как рычит Трезор: — Р-р-р! Хочешь, объясню, чего ты рычишь?

— Не очень, но валяй.

— Не можешь простить себе, что не гений, — сказала она с детской радостью отгадки. — Как это, мол, в двадцать четыре года я только аспирант, а не академик?

Он наконец взглянул на нее. С ненавистью.

— Половина всех бед человеческих оттого, что вы слишком легко прощаете себе негениальность! — заорал он, будто сам не был человеком. — Что там мыкаться с гениальностью, право слово... Государственной изменой попахивает! Вот скажи, Трезора... скажи. Неужто тебе не хочется быть гением?

Стало тихо. Потом Лидка улыбнулась.

— Как здорово, — произнесла она. — Одинаковая фамилия. Трезор и Трезора, его половина...

Он громко, бешено дышал.

— Замуж мне за тебя хочется, — сказала она.

Он опустил глаза. Бесполезно. Каждый о своем.

— У нас выпить не осталось? — спросил он.

— Я припрятала для тебя «ркацетушки», — ответила она. — Вон. Уже открыла.

Он поднес бутылку ко рту.

— Ну зачем, Коленька? Вот же граненый друг стоит.

Он налил в стакан из бутылки, потом перелил из стакана в себя. Налил еще. Спросил:

— Будешь?

— Нет-нет, — поспешно отказалась она. — Ты, если хочешь... пожалуйста.

Он отпил, уже не чувствуя никакого удовольствия. И вдруг, держа стакан у лица, горько сказал:

— Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычком в щели!..

— Это ты, что ли? — спросила Лидка.

— Конечно, я.

— В какой же это ты щели торчишь? В Москве вроде...

— Я тебе покажу, — пообещал Шут. — Лягу вот сейчас — и покажу.

Она захлопала ресницами, а потом жестоко покраснела и отвернулась к стене.

— Дур-рак... Шут гороховый... — Ее голос дрожал от обиды.

Шут поджал губы. Положил ладони Лидке на затылок.

— Истлевшим Цезарем от стужи заделывают дом снаружи... Ну прости, — легко сказал он. — Я просто хам неблаговоспитанный, прав Дымок. Прощаешь?

Лидка беспомощно улыбнулась в подушку.

— Как, наверное, Димочку хорошо любить, — мечтательно проговорила она.

— Послушай, молодая женщина, — медленно сказал Шут. — Скажи. Как на духу. Почему вы всегда любите тех, кто вас не любит?

Про себя-то он знал, что любит, и, совестясь своим деланным пренебрежением, просто-напросто, как умел, объяснял и молил: я боюсь вести себя преданно, ведь говорят, об преданных бабы ноги вытирают; помоги мне, скажи, что у нас это не так, — и я ковром расстелюсь!

Стало очень тихо. Казалось, Лидка даже дышать перестала. Потом она снова села, повернулась к нему. Про себя-то она знала, что любит, — и значит, Шут, который, конечно же, не мог этого не знать, вот сейчас, вот прямо ей сказал, что ему плевать на нее. Она спросила еле слышно:

— Ты меня совсем не любишь?

Он не ответил. Она подождала, потом перевела дух и вдруг храбро улыбнулась:

— Ты не думай, я про замуж просто так сказала. Твоей любовницей я тоже хочу быть. Очень.

Он не ответил. Глядел на ее мерцающее в слабом свете плечо.

— Только ты не гони меня, пока я сама не устану, — попросила она.

— Да?! — со злобой сказал Шут. — А если я за это время к тебе привыкну?

Она легонько засмеялась:

— Тогда ты меня не отпустишь. Возьмешь за ошейник и скажешь строго так: Трезора, место! И я завиляю хвостом.

И волосы — черным пламенем в зенит.

У нее короткая стрижка.

— Черта с два, — сказал Шут. — Захочешь сбежать — никакие команды не помогут. Я знаю наверное: чем лучше я к тебе буду относиться, чем больше буду заботиться о тебе и переживать за тебя, чем больше буду тебе благодарен, — тем менее ценен буду... В тот день, когда я скажу: я люблю тебя, Лидка... — Он сделал несколько нервных, клюющих глотков из

стакана, потом откашлялся. — Именно в тот день ты мне ответишь: подлец, ты всю молодость мне исковеркал, видеть тебя больше не могу!

Она подождала секунду, потом плавно протянула к нему руку и провела ладонью по его щеке. Будто замороженная. Ее пальцы дрожали.

— Тогда не люби меня, любимый, — тихо сказала она. — Если только так можешь быть во мне уверен — не люби. Я не устану долго-долго.

Он смотрел на нее с ужасом и восхищением. И не знал, что сказать. Ему хотелось упасть перед ней на колени. Горло перехватило от нежности, которую нельзя, ни в коем случае нельзя было показывать. Ведь, скорее всего, Лидка врала.

— Эхнатончик, — сказала она после долгой паузы, — что ты сегодня такой молчаливенький?

В это время Дима все-таки уже заснул. Ему снился пустынный, ждущий его одного вокзал.

Вокзал был забит людьми. Плотные потоки тел двигались затрудненно, семеняще, перехлестываясь и перепросачиваясь; медленно текли, будто распаренные ледники, и, как положено ледникам, несли и вертели угловатые камни — чемоданы, баулы, рюкзаки. Дима юлил, прижав локти, время от времени прикрываясь портфелем. Он спешил.

В начале его перрона расположилась на груде рюкзаков группа девиц в измороженных джинсах и относительно белых водолазках с одинаковой нагрудной надписью «Лайонесс». Надписи были сделаны по-английски, шариковыми ручками, старательно. Посреди девиц, водрузив правую ногу на рюкзак, торчал хлипкий лысый бородач лет тридцати с гитарой, в темных очках и стройотрядовской робе и однообразно тюкал по струнам. Девы заунывно тянули:

А кому эт надо, а кому эт нужно...

А някому ня надо, а някому ня нужно...

Их огибали, едва не падая на рельсы. Дима тоже обошел, девицы безразлично скользнули по нему взглядами. Дима поддал в их сторону смятый пыльный стаканчик из-под мороженого. Стаканчик угодил меж лопаток одной из певуний, та медленно обернулась, не переставая рассеянно ныть: «Прилепили хво-остик...»

Бригадир поезда был толстый дядька с красным лицом.

Он пусто смотрел на Диму, все время на что-то отвлекался, и Диме раз за разом приходилось прокручивать вранье от начала до конца. Чем дальше, тем тошней становилось — Дима терпеть не мог врать. Суть вранья была такова: имеющийся у него билет на послезавтра его не устраивает, ибо ехать надо не послезавтра, а сегодня, мама болеет. Несчастное лицо. На текущий день билетов уже нет. Опять несчастное лицо. В кассе посоветовали обратиться к вам. Во взгляде — легкая, робкая надежда.

Наконец бригадир почесал в затылке.

— Где билет-то? — спросил он с тяжким вздохом.

Дима извлек. Бригадир протянул пухлую мягкую розовую руку, Дима вложил билет во влажные пальцы. Бригадир, буквально засыпая, мельком посмотрел на просвет.

— Сдай, а потом подсакивай, пожалуй, в пятый...

— Есть!

Бригадир отер ладонью пот.

Дима, помахивая портфельчиком, полетел обратно. Душа его пела: все устраивалось. Он успеет сегодня позвонить. Он машинально лавировал в толпе, не глядя, миновал завывающих девиц, и вдруг в спину ему ударилось нечто. Он удивленно обернулся. У ног его лежал ком из нескольких папиросных пачек. Давешняя девица, невнятно продолжая петь, ухмылялась ему и показывала язык. Дима побежал дальше.

У касс толпа была особенно густой и распаренной. Дима набрал побольше воздуха и крикнул с пафосом:

— Дорогие товарищи! Друзья!

К нему обернулись, как к психу, надеясь хоть немного развлечься.

— Кто хочет послезавтра в Ленинград, прошу!

Ну вот, думал Дима, в лавировку несясь обратно. Теперь вовсе без билета. Если что, я сел. Но он был уверен, что не сел. Ведь он спешил звонить Ей.

Львицы, завидев его, даже перестали петь. Они заготовили всем хором. Дима приветливо сделал им ручкой, в ответ его подруга послала ему воздушный поцелуй. Лысый бородач смотрел ревниво.

Бригадир действительно был в пятом, в тамбуре. Проводник, разбитной мужикашка средних лет, что-то ему оживленно рассказывал, делая руками движения, будто открывает бутылки одну за другой, и приговаривая при этом что-то

вроде: «Уяк! Уяк! Уяк!» Бригадир оловелело слушал, как слушал и Диму, — глядя потным взглядом куда-то в сторону. Дима пригладил волосы и с видом честного пассажира шагнул в тамбур. Бригадир не пошевелился даже, даже зрачки не дрогнули в глазницах — только руку протянул. Дима молча вложил в нее, совсем уже взопревшую, вырученные за билет деньги. «А они — ни в какую!» — словами сказал проводник. Бригадир опустил руку с деньгами в карман брюк. Потом вынул ее уже без денег и отер пот. Проводник теперь делал движения, будто разливал. Звук тоже сменился. «Плюк-плюк-плюк!» — рассказывал проводник. «Посади», — сказал бригадир. «А чего сажать? Вон одно свободное. Так вот я и говорю: плюк-плюк-плюк!..»

Дима вошел в вагон — там как по заказу отчетливо виднелось единственное свободное кресло — рядом с аккуратненькой миниатюрной старушкой, уже углубленной в какое-то чтение. Дима двинулся к этому креслу, и тут пол мягко колыхнулся; перрон с идущими и по временам прощально машущими людьми едва заметно, затем все быстрее и быстрее поплыл назад. Перегон начался.

Все. Теперь все, Дима сделал что мог. Вчерашний вечер стал наконец отодвигаться в прошлое. Еще стыдно было перед Ней, но это ненадолго, Дима чувствовал. Вперед, наука, говорил он себе, чтобы окончательно успокоиться. Господи, как противно! Ничего. Сегодня я Ее увижу. Он затрепетал, поняв, что это так. Поезд довезет. Телефон дозвонится. Метро догремит. Уверен. Спокоен и уверен. Это не сказка, не сон, не пустая мечта в час тоски — сегодня он Ее увидит.

Москва убегала. Дима откинулся на горячую спинку кресла, прикрыл глаза. Опять екнуло сердце — увижу. Позвоню и скажу... Что скажу? Скажу: здравствуй. Он повторил Ее телефонный номер — медленно, сердцем целуя цифры. Уже сегодня. Не завтра, как было вчера, а сегодня. При мысли о вчера опять заплыла щеки и уши. Он с ненавистью посмотрел на свою ладонь и в который раз стал ожесточенно вытирать ее о брюки. Хотелось о стены биться от стыда. Никому больше не верю, только Ей. Люблю. Он понял, что думает это серьезно. Почему нет? Люблю.

Сердце колотилось о ребра, как колеса о рельсы. Нет, так нельзя, подумал Дима, я спячу. Он нагнулся к портфелю за книгой и краем глаза увидел черные брюки, остановившиеся

рядом. Поднял голову — бригадир улыбался добро и устало, как майор Пронин. Он махнул подбородком в сторону тамбура и сам двинулся туда. Дима встал — о господи.

В тамбуре никого не было, но уже воняло папиросным дымом.

— Вот что, друг, — сказал бригадир и вытер пот. — Ты, — он поднял короткую руку к люку в потолке, — посидишь там с полчаса. Контроль...

— Вот те раз, — обеспокоился Дима. — А выпустить не забудете?

— Говорю — полчаса.

— Лады, — нерешительно пробормотал Дима. Бригадир вяло просиял — чувствовалось, эта процедура ему приелась.

— И прекрасенько. Сейчас лесенку припру... И еще сосед у тебя будет. Это... напарник.

— Это кто же?

— Да малец...

Бригадир ушел; Дима прислонился плечом к стенке, недоверчиво глядя на люк вверх. Странно, сколько же там места? Вроде бы нисколько. Куда он исчез-то? Дима взволновался. А если контроль уже?.. Лязгнула дверь, и Дима в панике обернулся. Бригадир нес короткую приставную лестницу, за ним двигался парнишка лет восемнадцати — длинная шея, угловатый, крепкий. Бригадир поставил лестницу, влез, поковырял большим ключом в замочной скважине люка, и тот отвалился, повис. Бригадир тяжело спрыгнул и стал отдуваться, протирая загривок, лоб и щеки.

— Поехали, — задыхаясь, сказал он.

В темной пазухе пахло гарью и смазкой, в горле сразу запершило. Дима хотел сесть и ударился затылком. Пришлось скорчиться, спрятав голову меж колен. Полчасика... Вспомнилось, как в детстве, желая сделать отцу сюрприз, он пытался спрятаться в ящике его письменного стола.

— Пиджаки снимите, — заботливо вспомнил бригадир. — У меня повисят.

Дима, извиваясь, ухитрился снять пиджак и бросил его бригадиру на руки. А ведь там все мои деньги, с опозданием сообразил он, но смолчал: неловко было просить бросить ему сюда его кошелек, получилось бы, что он не доверяет бригадиру. Подозрительно принохиваясь, снизу уже лез напарник.

— Чего тут? — Он разевал глаза со света, стараясь сразу оглядеться.

— Кр-расотуха, — сдавленно ответил Дима. Напарник хмыкнул, стал размещаться. Люк закрылся, и наступила полная тьма. Я перешел на инфракрасное изображение.

— Успели, — облегченно пробормотал Дима.

— Куда?

— Ну... сюда. До контролеров.

— На кой бы им идти, пока мы не спрятались. Предупредили бригадира и ждут, когда он «добро» даст...

Поезд дрожал от усилий, летел к Ней.

— Перемажемся вдрызг, — раздался голос из темноты. — Галстук бы не заговнять...

— Бог даст, ототремся.

— Тоже в бога веришь?

— С ума сошел!

— А чего, сейчас многие. Девчонки вон... Блузку расстегает, там крестик...

— Одно дело — крестик...

Помолчали.

— Питерский? — спросил напарник.

— Учусь там.

— Где?

— В Репинке. А ты?

— Маляр, стало быть... Что? А, я... питерский. Ну и вонь. — Он зашуршал, пытаясь слегка сменить позу. — Задыхаюсь на хрен, — ткнул Диму в бок острым, твердым коленом и устроился наконец. — Пардон с меня. Курить будешь?

— Да господь с тобой, и так духотень!

— Чего молишься? Не веришь, так не молись.

— Привык.

Уже извиняюсь, подумал Дима. Не он, а я. Как так получается?

Сухо, как сверхзвуковой истребитель, шаркнула спичка. Темнота, подрагивая, втянулась в углы; Дима увидел выпавшее из мрака мальчишеское лицо с плотной тенью, залегшей под глазами и по верхней губе, в пушащихся усиках. Сдали взгляд проступившие ребристые стены. Напарник закурил и погасил спичку, все исчезло, и только оранжевый огонек перекатывался в черной спертой пустоте. В ноздри, в горло поползло невидимое теребящее удушье.

— Девчонку бы сюда, — вдруг проговорил напарник.

Дима не нашелся, что ответить. Напарник затянулся.

— У меня вот сбоку такая сидит, — задумчиво сообщил он. — Из благовоспитанных, вроде не притронись. Смешно б ее тут, в дерьме, раскатать на трансформаторах...

Напарника не было видно; казалось, это сама тьма цедит отравленные слова и шлет бомбить праздные города, забывшие о светомаскировке, давно пропившие радары ПВО. Несметные эскадрильи туманили ночной воздух, застилали звезды... Написать бы это. И назвать... Как назвать? Что-нибудь вроде: «Требуется противогаз». Или: «Противогазов сегодня не будет».

Экспресс, трепеща, рвал воздух, спешил.

— Знал одну такую. Приехала к дружку, а он свалил. Ну, покатила таун осматривать, впервые в Питере, хуе-мое... И вроде ничего ей не смей! А вечером я ее упоил чуток, так она как полезет! Ох-ох, говорит, до чего жаль, что Кеши нет, я ведь рассчитывала заночевать у него, а теперь в затруднительном положении... Понимаешь?

Понимаю, думал Дима. Понимаю. Сегодня я Ее увижу. Как Она там жила? Только бы не пустить это в себя, не оскорбить недоверием... Будь проклят напарник.

— А вообще, они скурвились все, — говорила тьма. — Кулак засунуть можно, и еще хлюпать будет!..

Он ведь моложе меня, думал Дима. Года на три... Он попытался зажать себе уши коленями. Не получилось.

— Не, ну елы-палы, во жизнь пошла! То сопромат грызешь, то двигатели, то закон божий... Миром Ленину помолимся! Многие, конечно, херят это дело, так ведь олухи нигде не нужны, локти потом искусаешь. Свободная минутка выдастся — что делать? С чтива рвать тянет, брехня на брехне. Телик врубишь — или воспитание какое, или дурак с микрофоном прыгает, дурацкими шутками дураков веселит. Молодежная программа... Девку закуканишь хоть приятно...

Если бы я так трепался, подумал Дима, а мой собеседник все время молчал, я не смог бы говорить. Как это он ухитряется не думать о том, интересно мне или нет? Он уверен, что интересно. Уверен, что я думаю так же...

— Порево, конечно, тоже поперек горла. Все они одинаковые...

— Ты философ, — сказал Дима.

— Да, — согласился напарник. — Задумаешься иногда — японский бог! Нет жизни! В техникуме пашешь, ждешь, когда учеба кончится. На сейнере будешь пахать, ждать, когда рейс кончится. Так и сдохнешь в зале ожидания! — Он в сердцах ткнул окурочку в стену. Огонек погас. — А ты кем будешь?

— Бог знает...

— Бог, бог, — проворчал напарник. — Афиши малевать за семьдесят колов?

— Может быть.

— Тоже в лямке...

Мутно-оранжевые, лаково отблескивающие капли с дрожющего жала падали и падали и беззвучно уносились вниз, пропадая во мгле, и внизу люди задыхались, сходили с ума и умирали в конвульсиях, давясь воплем и рвотой, раздирая себе грудь ногтями среди иссушенных пожарами руин... Противогазов сегодня не будет. А когда? Прекратите это кто-нибудь!

Заскрежетал ключ. Упал люк. Дневной свет и чистый воздух, ослепляя, ворвались в карцер.

— Живы? — спросил бригадир снизу.

— Слегка, — ответил напарник, принявший при свете человеческого обличья, с лицом, руками и галстуком.

— Выползайте. Мыло, полотенце — у проводника...

Дима выполз вторым. Ноги и спина одеревенели, и он с трудом принялся разминаться, а напарник тем временем уже приволок туалетные принадлежности. Он шел и улыбался, топороща пух на верхней губе.

— Во как быстро! — возгласил он, с грохотом закрывая дверь в вагон. — Я думал, будет хуже.

— Я тоже, — ответил Дима. — Как галстук? Не заговнял?

— Ажур. — Напарник склонился над раковиной. — А ты ничего... Ух-х, какая вода хорошая!.. Я думал, маляры все педики и снобы. А с тобой я бы выпил.

— Ну, я рад, что тебе понравился, — сказал Дима.

Напарник, оттопырив мальчишеский зад и согнувшись, подозрительно поднял на него лицо. С лица капало. Выпрямился и стал бурно вытираться.

— Расчески нет, маляр? — спросил он из полотенца.

— Отродясь нет, — ответил Дима и тоже начал мыться.

Вернувшись в вагон, он еще от двери увидел затылок напарника над спинкой кресла. Рядом с затылком светилась ве-

ликолепная копна пшеничного цвета волос, чистых и ухоженных, как золотое руно. Дима замедлил шаг, а проходя мимо, хлопнул напарника по плечу, и тот подскочил.

— Приятного путешествия, коллега, — сказал Дима, глядя в лицо обладательнице копны. И пошел дальше, посвистывая.

Старушка опять не обратила на Диму внимания, была углублена в книгу на французском, с цветных вкладок которой светили купола русских церквей. Пережитое отращение пекло нутро, хотелось бить стекла. Перед глазами еще стояло видение чистого, нежного лица, неярких губ, невинного, ясного взгляда. Напарник что-то бубнил, нависая над ее плечиком, а она отодвигалась, отворачивалась, смотрела в окно... Такие лица Дима видел доселе лишь во сне. Такое не нарисовать, не сфотографировать, такое можно лишь почувствовать — до сладкой боли в замирающем сердце. Рядом с напарником сидела чудесная, добрая девочка. Мысль о том, что напарник сейчас мучает ее, была невыносима. Дима оглянулся. Из-за кресла были видны лишь напарникова макушка и золотой купол сродни книжному. Пусть без креста. Зато живой. Он мог венчать лишь маленькую уютную церковь, белокаменную, стройную, невесомо взмывшую в осеннюю яркую синь и застывшую, едва касаясь травянистого пригорка на берегу прозрачной прохладной реки, медленно несущей бронзовые палые листья, застывшую, не успев оторваться и поплыть в поднебесье, скользя меж пушистых облаков... Обитель бога.

Дима решительно нырнул в портфель и вытащил «Астрономию XX века» Струве. Он мало что там понимал, но иногда приятно было полистать — посмотреть фотографии, просмаковать названия... Приобщиться к настоящему. «Шаровые скопления в районе Стрельца, сняты с 3-дюймовой камерой Росс-Тессар на Бойденской станции Гарвардской обсерватории». «Модель Вселенной по Каптейну». Дима обернулся, будто его кольнули. Золотая копна была одна.

Он встал, чувствуя, что стремительно потеет. Ноги стали мягкими, но он все же пошел, придерживаясь за спинки кресел то одной рукой, то другой.

Она увидела его и, поджав губы, опять отвернулась к окну. Он был для нее коллегой напарника. Дима нагнулся к ней:

— Сосед не слишком вас утомил?

Она не отвечала, будто обращались не к ней.

— Я к тому, — пояснил Дима, — что вы могли бы пересестись на мое место. Я доеду в тамбуре очень прекрасно. Хотите, помогу перетащиться?

Она повернулась к нему, быстро розовея:

— Я... Куда, вы говорите?

— Вон там. — Дима улыбнулся так ласково, как только мог. — Рядом с той бабушкой.

— А почему вы решили, что он меня утомил?

— Мне пришлось просидеть с ним полчаса, и я устал. Думаю, что вам пришлось устать еще скорее.

— Да... то есть... Спасибо. Ой нет, я сама перенесу, чемодан легкий. А вы точно... В тамбуре не будет неудобно вам?

— Да нет, там очень уютно. — Дима опять улыбнулся. — Поехали?

— Нет-нет, я сама.

Дима сел на откидной стул, шлепнул портфель рядом. Не блеск, конечно, ну да не на века. Душа его пела. Он искупил вчерашнюю вину перед Нею. Горечь растаяла мгновенно и без следа, мир сиял, точно волосы той, что он спас. Он беззвучно засмеялся, встал и осторожно заглянул в вагон. Напарник сидел на своем месте и что-то жевал, растерянно озираясь. Так он в буфет бегал, подумал Дима. А буфет есть или нет? Я бы тоже сбегал, подумал он. Златовласка смотрела в окно мимо читающей старушки. Дима прислонился к стене, достал блокнот, карандаш и широко, небрежно черкая, стал делать Златовласкино лицо. Не получалось. Проступали по отдельности то глаза, то губы, да и поезд трепетал на лету, хотя бы десять минут постоял... Постоял? Да я же спешу к Ней! Но нарисовать бы...

Мир отлетал, цепляясь за взгляд то изгибом ослепительной речки, проплавившей путь среди зеленых холмов, то бархатным склоном оврага, то ранним костром клена, полыхнувшим вдруг среди летних еще берез. Не цеплялось. Все пропадало, утопало бесследно во мгле позади.

Дима успел выяснить, что Рассел рассмотрел также несколько альтернативных эволюционных треков на диаграмме Герцшпрунга — Рассела, что поляризованный свет Крабовидной туманности представляет собой синхротронное излучение, а также еще несколько столь же неважных, но почему-то интересных и, как бы это сказать, несуетных вещей. Потом

дверь в вагон мягко отворилась. Дима поднял голову. Златовласка обворожительно розовела.

— А я и не думала, что здесь есть где сидеть, — объявила она.

— Есть, — ответил Дима. Сердце билось как-то чаще.

— Я решила, что вы могли заскучать. А что вы читаете?

— Да так... — Дима смутился. — Листаю, время убиваю...

Он попытался спрятать книгу, но она уже заметила название и, очевидно, восхитилась.

— Как интересно! Вы астроном?

— Да нет, что вы! — Дима даже покраснел. — Маляр. То есть учусь на маляра.

— Кто? — не поняла она.

— Ну... то есть художник... — А какой я к бесу художник, подумал он. — То есть учусь на художника... — А разве можно научиться быть художником? — подумал он. Тьфу, черт!

Совсем с ума сошел, судорожно подумал он. Двух слов связать не могу. Чего это я так разволновался? А потому что она мне нравится. Да что же это я, развратник, что ли? Развратник-девственник. Златовласка была такая чистенькая, такая ладненькая, что до одури хотелось ее коснуться. Но так, поодаль, было тоже хорошо — любоваться можно. Дима еще в школе понял, что, стоя рядом или тем более целуясь, страшно много теряешь — ничего не видно, только лицо или даже только часть лица. Обидно, и выхода никакого. Ведь это, должно быть, невероятно красиво, завораживающе, как северное сияние, — видеть со стороны девушку, которую сейчас вот целуешь и чувствуешь. Либо чувствовать, либо видеть. Принцип неопределенности. Гейзенберг чертов. Про штучки с зеркалами Дима понятия не имел — на Евиной лестнице не было зеркал, только вонючие бачки для пищевых отходов. Но, вероятно, и зеркала бы ему не подошли. Вероятно, он предпочел бы спокойно сидеть поодаль, глядя на себя и свою девушку, — и скорее всего с карандашом и блокнотом в руках.

Златовласка прикрыла дверь в вагон. Ее движения были застенчивы и вкрадчивы.

— А почему без бороды? — спросила она.

— А почему с бородой?

— Я думала, все художники с бородами.

— Да нет. — Он встал, придерживая рвущееся к стене сиденье. — Садитесь.

— Ой нет, я насиделась, спасибо!

Сиденье с лязгом ударило в стену.

— Я тоже насиделся, — сообщил Дима. — Кстати, я попробовал тут... в меру способностей. — Он достал блокнот. — Показать?

— Конечно! — Она взяла, коснувшись Диминых пальцев своими. У него упало сердце, дыхание сбилось. Она старательно стала рассматривать, чуть сдвинув брови от усердия. Чистый лобик прочеркнули две маленькие морщинки.

— Здорово, — сказала она, отдавая блокнот. — Правда, я себя не такой представляла...

— Так поезд же трясет! — покаянно сказал Дима. Она засмеялась. — А ты где учишься?

— Ой, что вы! Я только школу кончила.

— И как кончила?

Она удовлетворенно смутилась и известила его с тихой гордостью:

— У меня медаль.

— Это ж надо, с кем свела судьба! — искренне восхитился Дима. — А я тройбаны хватал только так... Куда поступаешь?

— Еще не знаю. Решила год подождать, осмотреться. К брату вот ездила, он в МИМО.

— Разве в Москве было такое солнечное лето?

— Ой нет, почему?

— Посмотри на себя.

Она, порозовев опять, послушно оглядела руки, голые до плеч, потом нагнулась и посмотрела на ноги. Диме показалось, она рада поводу посмотреть на себя и делает это с удовольствием. Нежная кожа северянки была облита загаром.

— Я на юге была. Месяц в Крыму и три недели на Кавказе. Там так интересно!

— Кайф какой! Но долговато, нет? Ты не устала?

— От чего?

— Н-ну... я был как-то раз — народишу до беса, очереди, спишь в клопоморнике, ни встать, ни сесть...

— Да я же не дикушкой, что вы!

— Даже?

— Конечно. В Гурзуфе в санатории МО, папа с нами там последние десять лет отдыхал каждое лето, так что меня приняли за родную. А до этого в Новом Афоне с подружкой, у нее мама какой-то босс, выбила путевки. Так что было хорошо.

— Завидую...

— Надоедает солнце, конечно, под конец и купаться не тянет. Зато действительно отдохнула, а то так вымоталась в школе. Зубришь, зубришь... Как это мальчишки должны обязательно сразу поступить, ума не приложу! Не пожить совсем!

— Зато все еще в голове.

— Ой, у меня все назавтра после экзамена выветривается... А знаете, мне астрономия в школе нравилась!

— А я терпеть не мог. Там она... земная. Неба не чувствуешь. Бездны этой ночной, умопомрачительной...

— Как вы интересно говорите! — Слово «интересно», видимо, было у нее любимым, вылетало то и дело. — А что тут пишут? — Она легонько указала на «Астрономию».

— Много чего. — Дима пожал плечами и улыбнулся. — Вот, например, установили наконец, что поляризованный свет Крабовидной туманности представляет собой синхротронное излучение.

— Правда? — искренне изумилась она, словно давно имела по этому поводу свое мнение, отличное от изложенного Димой.

Он кивнул с серьезным видом:

— Здесь прекрасные фотографии. Вот... Квинтет Стефана.

Она усердно всмотрелась:

— Красивенькие. А наша Галактика тут есть?

— Н-ну, — Дима опешил, — ясное дело, нет. Кто же ее мог со стороны...

— Ой, правда! — Она ужасно покраснела.

— Но есть снимки галактик, аналогичных нашей. Вот.

— Да, — сказала она, всмотревшись, — эта была в учебнике. — Взглянула на соседнюю страницу. — Ой, как похож на нашего соседа в пансионате! Ухаживать еще пытался... Хаббл, — прочитала она. — Нет, не он.

— Хаббл открыл закономерность между скоростями удаления галактик и расстояниями до них, — немного коряво от поспешности пояснил Дима.

— Правда? — восхитилась она и подняла чистые глаза. Кажется, ей действительно нравится, с восторгом подумал Дима. Что, напарник, съел?

Он начал вываливать, что помнил, про красное смещение и поправки к Хабблу, перескочил на Леметрову теорию первоначального яйца, помянул Гамова, счел своим долгом от-

метить существование контртеории Бонди — Хойла, пригласил посмеяться над забавным выражением «ведро пространства»... Господи, думал он. Тебе не скучно, Златовласка? Ведь не скучно, да? Она с готовностью посмеялась. Внимала. Глаза были раскрыты широко-широко, глаза были великолепны. Она была, как Жанетка Фременкур, — глаза и губы. И чудный медовый загар, и грациозная фигурка начинающейся девушки... Он говорил. Странно, думал он, почему я так люблю это, а от искусствования, например, меня воротит? Если б она меня спросила про художников или про картины — мямлил бы, как на экзамене, неинтересны они мне. А то, что я говорю, мне интересно? Не по старой памяти? Тоже уже как-то... Сам уже думаю иногда: зачем вся эта дребедень?.. А ведь было, было же время, когда ночей не спал, обалдело пытаюсь представить: а что же там, куда галактики, метagalктики, вообще материя, исторгнутая взрывом илема, еще не долетела? И ведь прошло с той поры пять лет, ну шесть... Вдруг — художник. Какой там художник, я просто бездарь, я ничего не умею, а рисовать умею меньше чем что-либо еще, но, господи, я ни секунды не думал, что это настоящее дело! Я не могу не рисовать, то и дело хочется, но это просто чтоб не сдохнуть от одиночества; я рисую — как будто письма пишу, как будто мостики навожу между собой и остальными, трепотней мостика не наведешь, душу не зацепишь... А, ерунда! Какими там другими? Между собой и Ею, вот и все. Сейчас же треплюсь, и все нормально...

А Ей не нравится, что я рисую, она оценивает это просто как картину или рисунок, а не как письмо и начинает разбирать: цвет неестествен, перспектива гнутая... Какая путаница все! Златовласка, тебе нравится, что я говорю?

Она слушала, затаив дыхание, вытянувшись навстречу его словам, впитывая, поглощая... Или притворялась? Но зачем? Бесы дери мои сомнения, к чему плохое выдумывать, к чему не верить? Бесы дери напарника!

Он рассказал про коллапсары, про то, что Шварцшильд теоретически предсказал существование захлопнутых сверхгравитацией областей пространства, отсюда и возник термин «сфера Шварцшильда». Он рассказал про реликтовое излучение и про перспективы, открываемые его дальнейшим исследованием, а заодно по секрету рассказал байку про академика Сахарова, которого в ту пору как раз опять несли по всем коч-

кам, — байку эту Дима узнал от своего приятеля, тоже художника, Олега Шорлемера, единственного настоящего диссидента, коего Дима знал лично. Академик как-то спросил жену: «Знаешь, что я люблю больше всего на свете?» — и жена уже приготовилась услышать про какую-нибудь женщину, в крайнем случае про себя, но академик сказал: «Реликтовое излучение». «Только ты больше не говори никому, мало ли», — простодушно предупредил Дима и рассказал, что, кстати о термоядерных делах, Чэдвик и Хоутерманс еще на рубеже двадцатых-тридцатых рассчитали энергетику термоядерного синтеза в Солнце... а Чэдвик — это тот самый, который в тридцать втором открыл нейтрон... а Хоутерманс — совершенно замечательный человек, был коммунистом, бежал от Гитлера к нам, а мы его сразу взяли, как шпиона, долго вертели на Лубянке, а когда после пакта тридцать девятого года всех, кто от Гитлера бежал, ему выдали обратно... Ты не знала?... Хоутерманса тоже выдали, и его уже там посадили, но он согласился с ними сотрудничать и, как видный физик, курировал Киевский физтех при немцах, наши многих ученых не успели эвакуировать, а может, просто про них забыли, немцы их заставляли работать, а они саботировали, и Хоутерманс многих спас, давая заключения, что они честно, в полную силу работают, хотя они нарочно все ерундой занимались, но когда наши Киев освободили, всех этих ученых все равно посадили — за сотрудничество с фашизмом, и Хоутерманс ушел с немцами, а то наши бы его расстреляли... Только ты никому больше не рассказывай... Сам он раскрывался перед нею до дна. Выкладывал всю нахватанную то тут, то там правду и полуправду о мире. Златовласка была такая чистенькая, такая ладненькая. Так хотелось ее коснуться.

Он остановился. Ее глаза сияли.

— Откуда вы все это знаете?

— Ну, как... — Дима развел руками. — С миру по нитке...

— В сто раз интереснее, чем в школе!

— Да господь с тобой! — Дима покраснел. — Я серый, как штаны пожарника. Я даже не уверен, что все правильно помню...

— Вы не могли бы дать мне прочесть «Астрономию»?

Дима опешил.

— Да это не все отсюда... — пробормотал он. — Впрочем,

если хочешь. — Он улыбнулся, вспомнив, что не знает даже ее имени. — Может, прежде познакомимся?

— Ой да, конечно! — застеснялась она. — Меня зовут Вика.

— Очень приятно, — светски сказал Дима. — Дима.

— Вы ленинградец, Дима?

— Нет, учусь там.

— А живете один?

— Угу. У дальней родственницы снимаю, она одинокая...

А родители — в Москве.

— Ой как чудесно! Родители так утомляют! С кем, куда, чего пригорюнилась... Папа куда ни шло, он то на учениях, то на военной своей игре до ночи, но мама — она все время дома. Кошмар! После школы-то я сумела доказать, что я взрослая, и все же... Конечно, одному лучше. Вы интересно живете, наверное, очень, — мечтательно произнесла она. — Я все пытаюсь, но как-то времени нет. То учить что-то надо, то обшаться... Так это возможно?

— Что?

— Прочесь. Может, я еще в астрономы пойду!

— Ясное дело, возможно. Только я сам еще читаю. — Он наугад показал, где остановился. И сам улыбнулся, ощущая тривиальность уловки. — Может, повстречаемся, когда я закончу? И я тебе передам.

— Конечно, я подожду, — с готовностью сказала она. — У вас есть телефон?

— Чего нет, того нет, — с сожалением проговорил Дима.

— Что за беда! У меня есть! Может, вы позвоните по прочтении? Мы встретимся, и я прочитаю и тут же верну. Мне так картинки понравились!

— Лады, — сказал Дима. — Хочешь — и еще что приволоку.

— Ой спасибо! Это чудесно. А то так много книг, всегда лучше иметь наставника.

— Ясно дело, — неуверенно пробормотал Дима. Сам он предпочитал обходиться без всяких наставников.

— С тех пор как родители перестали мотаться по стране, папа собрал громадную библиотеку. Мама всегда мне советует, что когда прочесь.

— А я как-то сам... — признался Дима. — Что в руки попадет.

— Потому что вы творческая личность.

— Почему ты так решила? — Дима едва не зарделся от такой приятной лесты.

Вика пожала смуглыми плечиками, лукаво улыбнулась:

— Женское чутье! Вообще, я люблю знакомиться с интересными людьми. Мама все время меня знакомит с самыми интересными из своих друзей. У нее много интересных друзей. Но они все старые. Встреча с вами — такой подарок! Я ведь думала, что так, случайно, можно сойтись лишь со слабачками, вроде того. — Она показала на дверь в вагон.

— Какой же он слабачок?

— Он пустой. С ним что угодно можно сделать. Просто он поначалу выглядит как сильный, потому что очень противный.

Дима удовлетворенно взъерошил волосы.

— Страшно не было?

— Нет, конечно. Скучно. Они такие одинаковые все. Первый раз, когда на плясы пошла, было так интересно, а потом... Дураки. И вином от них всегда разит.

— Перестала ходить?

— Ой нет, я танцевать люблю!

— С тобой, наверное, приятно танцевать. — Дима огладил взглядом ее талию.

— Конечно, еще как! Один раз даже подрались из-за меня.

— Кто?

— Да не знаю, первый раз видела. Так интересно... Зуб одному выбили. А вы дрались на плясах?

— Н-нет... не приходилось, — растерялся Дима. — Я пляшу в своей компании только.

— Ой, неинтересно! Правда, вам виднее, конечно.

— Это почему?

— Ну, вы старше, опытнее... Художник.

— Да какой к бесу художник!

— Ой, ну как же... учитесь на художника.

Дима только вздохнул.

— И вы сильный, — добавила она, глядя ему прямо в глаза. Будто окончательно решила сказать ему все лестные слова, какие только могла придумать.

— А ты сильная? — спросил Дима, даже не обратив внимания на ее мнение о нем, — он-то точно знал, что он не сильный.

— Сильная.

— А в чем это выражается?

— Вы не верите? Но я всегда говорю правду. Я не знаю, в чем выражается, просто... Вокруг то и дело кто-то жалуется, какие-то беды у всех, скучиша! Со мной такого не бывает. Я всегда все делаю правильно, поэтому никаких бед у меня быть не может. — Она серьезно и честно смотрела ему в глаза. Дима молчал. — Вот захотела с вами познакомиться — и познакомилась. И вам приятно, и мне. Хотя со стороны это выглядело нехорошо, будто я за вами побежала. Но я уже знаю, вы такой, что все поймете правильно.

— А если бы ты... полюбила?

— Полюбила? Ну и что? Полюбила бы и полюбила.

— Не доводилось еще?

— Ой, что вы! — Она серебристо засмеялась. — Так рано нельзя! Это же сразу себя ограничивать. В моем возрасте надо развиваться во все стороны.

— Н-да... Ну, что могу сказать... Ты гений.

Она покраснела от удовольствия.

— Мама, когда меня провожала, так и говорила: смотри, Виканька, не влюбись на югах! А там, правда, так и лезут... И все такие дураки! Рассказывают что-нибудь, где какую бутылку пил или про жену плохую, а на коленки так и смотрят! Вот вы ни разу...

Я просто стесняюсь, чуть не ляпнул Дима, а на самом деле очень хочется. И вдруг понял, что уже не хочется. Златовласка незаметно и быстро разонравилась ему. Что-то в ней было не настоящее.

— А не на югах? — спросил он. — Всерьез в тебя влюблялись?

— Ну конечно! — Она даже удивилась этому вопросу. — Сколько раз! Вот сейчас один мальчик из бывшего класса очень меня любит. Он такой забавный, все в кино меня водит. В школе такую интригу придумал, чтобы сесть за мою парту!

Не «со мной», подумал Дима, а «за мою парту». О господи... А смотри-ка ты, значит, парты еще есть, не везде заменили на столы.

— Ну и...

— А мне не жалко. Он всегда интересные фильмы выбирает. Сначала сам посмотрит, проверит, а потом уж мы вдвоем. Он такой чудесный! Весной послала его в «Великан»... за была, что-то там модное показывали... «Зеркало», вот! Так он три часа стоял и был так рад, так счастлив!

— И больше ему ничего не надо? — нагло спросил Дима.

— Я понимаю, что вы имеете в виду, — спокойно ответила она. — По-моему, он вообще ничего не может. Правда, в кино попробовал обнять однажды. Там и без того духота, я, конечно, потребовала, чтобы прекратил. Так и сказала: Юрик, ты не такой!

Дима уставился в окно. Скорей бы уж приехать, подумал он.

— Я вообще этого не люблю, — продолжала Вика. — Поэтому и на вечеринки не хожу, там вино, танцуют...

— Ты же любишь танцевать!

— Ой, это другое дело! На плясах все незнакомые!

Дима ошарашенно сморщился. Она поджала губы; потом, честно стараясь объяснить, сказала:

— Ну, когда танцуют, ведь обнимают, да? Поцеловать стараются. Если знакомому не разрешишь, он обидится, а разрешишь — он больше захочет. А там все новые, с ними не страшно. И не разрешить можно, и разрешить можно. Как захочется.

— А с ним ты не ходишь плясать?

— С кем? С Юриком? Что вы! — Она засмеялась. — Он ведь мне только как человек нравится, а как парень — нет. Я ему про плясы вообще не говорю.

Дима покивал. Фарфоровская с мерным стуком прокатилась мимо окон.

— А у вас, Дима, есть девушка? — спросила Вика.

— Да как сказать, — ответил Дима, поразмыслив.

— Может быть, вы женаты?

— Может быть.

Она пытливо смотрела на него. Выждала.

— Вы скрытный, да?

Дима опять сморщился. Назвал — опошлил, подумал он. Скрытый...

— Так сказать вам мой телефон? — застенчиво напомнила она.

— Да, конечно, — согласился он из одной лишь вежливости. Она продиктовала. Судя по номеру, это было где-то на Петроградской. — Лады, — сказал Дима, пряча блокнот. Он точно знал, что не позвонит.

— Вы скоро прочитаете?

— Скоро.

— Ну вот, подъезжаем. Даже жалко, правда? — Запнулась. Он не ответил. — Пошла за чемоданом.

— Помочь?

— Ой нет, не надо. Не терплю, когда мне что-нибудь носят, пальто подают, открывают двери... Унизительно.

— А в кино?

Она удивленно воззрилась на Диму:

— Что же мне, самой в очереди стоять?

— Тоже верно. Тогда... — он вздохнул, — до скорого.

— До свидания. — Она протянула руку. Дима пожал. Пальцы ее были прохладными и сухими. Равнодушными.

Ненадолго я оставил Диму.

Выйдя из поезда, Виктор Мокеев успел заметить впереди в толпе, крутящейся, как вода от винта, золотоволосую голову сбежавшей соседки. Он ожидал увидеть ее вместе с тем малахольным длинным. Но длинного не было. Сердце екнуло, и один шаг Виктор сделал шире, тело рванулось в погоню — и прынуло назад. Виктор знал, что будет жалеть потом, но не мог подойти, хотя она была одна. Именно это одинокое мелькание выбило почву у него из-под ног. В поезде еще можно было тешиться: «Художника ей... Моду взяли, стервы...» Здесь еще можно было бы попробовать устроить драку. Нет. Она шла одна, пихая коленом необъятный чемодан.

Она была иная.

На пути домой Виктор, как мог, старался прийти в себя: заплевал остановку, в автобусе потоптался на чьей-то ноге, нахамил бабке, жалобно пытавшейся согнать его с сиденья... Тщетно. Что-то изменилось. Он злобно позвонил домой — дома никого не было. Он грохнул баул на пол, с лязгом вогнал ключ в замок. Замок пищал, не желая открываться. Открылся-таки. Виктор ногой двинул баул в квартиру — тот зацепился за порог. Виктор пнул его. Баул встал на бок, влетел в коридор, замер, как балерина на носочках, и с мягким шумом перевернулся. Виктор еще раз поддал его в мягкий, как у маменькиного сынка, беззащитный бок. Подошел к телефону. Раскрыл записную книжку. Набрал номер. В ухо потекли безнадежные гудки, тягучие, как зубная боль. Виктор подождал, потом притиснул рычаг, шепотом матерясь. Посматривая в книжку, набрал другой номер. Опять загундосил гудок. Заткнулся. Загундосил. Хоп!

— Але! — сказал недовольный женский голос.

— Ирка?

— Да... Витюша! Здравствуй! Вернулся? Ну, как отдыхалось? А знаешь, я тут замуж выскочила! Костю помнишь? Хотя нет, это ты уже уехал...

Напарник придавил рычаг, как клопа; дергая побелевшими от бешенства губами, набрал следующий номер.

— Да? — сказал недовольный мужской голос.

— Валю будьте добры.

— А кто это? — подозрительно осведомились оттуда.

— Мокеев беспокоит. Виктор. Друг.

— Она мне про тебя не говорила.

— Она и мне про тебя не говорила.

— Этак и по морде можно, сынок, — проникновенно сообщила трубка.

— Вот и я о том же... дедуля.

— Никаких друзей, внучек, я здесь. Валя подойти не может, моется.

— Дело серьезное. Не забудь, как выйдет, шерсть ей протереть насухо. Не ровен час, ум простудит! — Виктор всем весом лег на рычаг. Полистал книжку. Лицо его было пунцовым. Короткие гудки. Короткие. А теперь длинные. Гундосит. Хоп!

— Алло? — пропел нежный голосок. Приглушенно доносились музыка, оживленный разговор, смех. Кто-то громко спросил поодаль от трубки: «Кого там черт принес? У нас все дома!»

— Оля? Это Витька.

— Витек, милый, как кстати! У меня тут пир горой, приезжай скорее!

— Много народу?

— До черта, прелесть!

— Не люблю, знаешь, свалки. — Виктор нажал на рычаг. Еще номер. Опять никого. Да что они, сговорились все, что ли! Он иступленно встряхнул трубку, так что сдернул телефон со столика. Поймал на лету. Набрал новый номер.

— Але?

— Таня?

— Я... Витенька, да?

— Угу. Привет. Ты как там?

Смешок.

— Жду тебя. Весь месяц исключительно скучаю и жду тебя.

— Я так и думал... — Виктор, вдруг почувствовав страшную слабость, бессильно опустился на пол и привалился спиной к дивану.

— Заедешь? — спросила трубка. — А то сегодня чего-то так скучно... Ты прямо дар божий.

— Нет, я не могу. Дела, знаешь... Только что с поезда, накопилось. Проведать позвонил.

Он положил трубку. Он вспотел, и пальцы дрожали. Грипп? Какой там, японский бог, грипп... Он вдруг обнаружил, что морщится будто от кислоты. Распустил мышцы лица, потер щеки. Никогда он не думал, что это так противно — не быть единственным.

Он спросил, где она живет, она процедила: на Большом.

На котором?

Виктор поднялся. Душа скрежетала: почему не догнал? Ну, л-ладно. Сегодня крейсирую по одному Большому, завтра по другому. Приехала — по подругам побежит, есть шанс. Есть маленький шанс найти непохожую. И лезть из кожи вон, чтобы для нее исчезли все другие. Чтобы звонить, не рискуя напороться на выживающий мужской голос. Чтобы звали в гости не от скуки.

Он ушел, даже не перекусив.

Он не нашел. Никто не поддержал вспышки странного в нем, все пришло в норму уже назавтра.

Я повел синхронный срез дальше. Нашупал другую нить, стремительно и неудержимо падавшую в узел завтрашнего кроссингвера. Это было уже не касание, как с Мокеевым. Это была третья нить нахлеста. В тот самый миг, когда Виктор ссыпался по лестнице, усталый и злой после всего, в тот самый миг, когда Дима благодушно пил на кухне чай и рассказывал тете Саше, как съездил, мама робко приоткрыла дверь и заглянула в комнату, держа в руке блюдо с двумя яблоками.

— Юрик, яблочка хочешь?

Юрик оторвался от книги.

— Мам, — сказал он с укоризной. — Ну стукнула бы в стенку, я бы сам пришел... — В дверь потянуло с кухни тошнотворным запахом стряпни. — Ты закрывай скорее.

Мама поспешно вошла и закрыла дверь.

— Я все равно бабушке несла, — оправдалась она.

— Ну давай. — Он улыбнулся. Взял, надкусил. Яблоко было как вата. Он причмокнул. — Вкусное!

Мама просияла:

— Мне показалось, суховатые, нет?

— Нормально. — Он старался хрупать как можно задорнее. Вага не хрупала, а сминалась и рвалась, как жеваная промокашка.

— Ты был сегодня в поликлинике? — спросила мама. Юрик мгновенно ошетинился.

— Нет, — проговорил он жестко. — Хватит, мам, надоело. Все в порядке ведь, не болит.

Мама села, продолжая держать блюдце на весу. Блюдце задрожало.

— Ну нельзя же так, Юрик. Первый год весна прошла без обострения, и ты бросаешь! Снова хочешь слечь?

— Да не слягу! — огрызнулся Юрик.

— Ты все забыл! — В мамином голосе мгновенно проклюнулись слезы, это было ужасно. — Забыл, как отец на руках сносил тебя по лестнице? Юрик, мне и так тяжело, ты же видишь. Хоть ты следи за собой сам!

— Вот выйду на пенсию и буду следить! — ожесточенно сказал Юрик. — Все равно через неделю в колхоз, не успею курс...

Он прикусил язык. Не следовало вспоминать о колхозе — для мамы это был нож острый. Юрик и сам-то боялся невесть как, хоть и бодрился. Впервые покинуть дом, ехать на какие-то работы, с незнакомыми ровесниками — нормальными, сильными, компанейскими...

Мамины глаза влажно заблестели. Юрик сразу встал.

— Ладно, съезжу, — проворчал он. — Где-то ампулы с весны оставались, ты не помнишь?

— Сейчас найду. — Она вскочила, признательно улыбаясь сыну. Вспомнила про блюдце в руке. — Пойди пока, дай ей...

— Угу. — Юрик с сожалением покосился на отложенную «Иностранку». Он ненавидел поликлинику. Ненавидел близость тоскливых стен, эфирные запахи болезней и немощей, ненавидел стоять в очередях за номерками, в очередях на прием и в очередях в процедурный, среди рыхлых стариков, торжественно уложивших мешки животов на растопыренные короткие ноги, с недозастегнутыми ширинками и светящимися из-под штанин кальсонами, среди неряшливых и издерганных визгливых старух, способных разговаривать лишь о недугах и болях там и сям... Они смотрели на Юрика так, будто он

посягал на какую-то их привилегию, будто не имел права занимать место в их очереди и тем более быть впереди кого-то из них... А в это время толпа ровесников, в которую его скоро бросят совершенно одного, купалась, играла в футбол и в баскетбол, гуляла с девушками, балагурила — эти ровесники жили, им было весело! Этого уже не наверстаешь! Можно выздороветь, можно научиться подтягиваться или даже ходить на лыжах и не простужаться, можно сдавать сессии на одни пятерки и потом стать великим ученым, можно, наверное, когда-нибудь жениться на Вике, — но этого уже не наверстаешь никогда!

Юрик приоткрыл дверь в бабулину комнату, и в ноздри ударил липкий, окаянный запах лекарств. Запах его проклятия.

— Бабуль, можно?

— А-а, внучек, — елеинно протянула бабуля. Голос был слабый, сиплый.

— Вот, мама яблоко передает, — уловато сказал Юрик, подходя ближе к постели. Бабуля повернулась к нему.

— Яблочко принес, хороший мой, дай тебе бог здоровья, — залепетала она, с трудом садясь и протягивая руку — отволгло-белую, вялую, в синих полосах вздутых вен. Взяла, попробовала. Сморщилась. — Нарочно, что ль, выбирала похуже? — Тон сразу стал недовольным, резким. Откинулась на стоящие горбом подушки. — Чего ж сама-то не пришла? Заразы боится?

Это было настолько несправедливо, что слезы обиды за маму и бессильной злобы на эту ядовитую рухлядь жгуче затопили горло. Мама сидела возле бабули ночами, когда ту разбирал кашель, всегда были наготове горячее молоко с медом, пертуссин... Ставила горчичники, переодевала, когда старуха потела... А что было раньше! И что будет потом! Вся жизнь, сколько Юрик помнил, текла очерненная кошмаром бабулиных печеночных колик. Слабость с утра, измывательски упрямые отказы вызвать врача — пройдет, вы не хлопчите, я уж как-нибудь сама, я себя еще могу прокормить; уход на работу и возвращение ползком через час-полтора, надсадные стоны, рвота — мама выносит ведро, а он, Юрик, лежит, слушая все из-за тонкой, как папиросная бумага, стенки, подкошенный вечной болью в ногах, не в состоянии ничем помочь и только стискивая кулаки, плача в подушку и заклиная судьбу: «Я ни-

кого не буду мучить... Я не доживу до старости...» И наконец далеко за полночь соизволение: да вызови ты врачей, ведь силы нету терпеть! И нечеловечьи вскрики, прерываемые то новой рвотой, то требовательным: вызвала? И приезжали, и делали уколы, и спрашивали: почему не позвонили сразу? А она: доктор, я же работаю, на свои деньги живу... И доктор корит маму, и мама молчит, ведь не рассказывать же, как она закрывала дверь квартиры собой и как бабуля, горбясь от боли, танком перла на нее и выла: на работу я пойду-у! — и нельзя не пустить силой, потому что нельзя дотронуться, ведь стоит дотронуться, криком кричит: мне же больно!.. Кому старухи нужны, доктор? — вздыхала бабуля смиренно.

— Спасибо, — тягуче сказала она и стала выбираться из-под одеяла.

— Ты куда?

— Огрызок выбросить. — Бабуля, пошатываясь, встала, нащупала босыми ногами шлепанцы.

— Да я отнесу, лежи, пожалуйста! — Юрик стал рвать у нее огрызок. Бабуля не давала.

— Да что уж, — канючила она. — Не пачкай ручки-то после старой старухи. Пройдусь, мне лежать тяжело...

Она прошествовала мимо, с демонстративной заботой дыша в сторону, чтобы не заразить.

Весь взмокнув, Юрик выскочил из этого склепа. Мама искала.

— Ампулы, помнится, мы выбросили, — обернулась она, — у них все равно срок годности кончился. Но рецепты я нашла. Сбегану сейчас в аптеку, и завтра ты, будь добр...

— Мам, пожалуйста, я сам схожу. Ничего же не болит...

Он привирал, конечно. Но маме знать ни к чему. Делать для него больше она не могла, а бессильное стремление помочь — самая страшная из пыток, он знал это с раннего детства.

Мама благодарно улыбнулась:

— Да ничего, я быстрее... По пути в кулинарию зайду, может, к вечеру завезли чего. Так бывает...

— Уже набегалась сегодня!

— Где это я набегалась? У плиты натопталась, это верно. Вот и прогуляюсь заодно, а то опять голова раскалывается.

— Лекарство приняла?

— Конечно. И пятерчатку, и анальгин...

— И не утихла?

— Утихла.

Юрик недоверчиво посмотрел на маму.

— Утихла, утихла, — повторила она с улыбкой.

— Ну ты хоть иди помедленнее, подыши. На улице хорошо, я выходил до обеда.

— Да я знаю, из библиотеки-то ехала.

Мама работала в Публичке.

— Все, бегу. Последи за картошкой, у меня стоит.

— Конечно, мам.

— И посмотри, чтобы бабушка не вставала.

— Конечно, мам.

— Сегодня, по идее, должен врач прийти — если без меня, то послушай, что скажет.

— Конечно, мам.

Она наскоро причесалась. Критически посмотрела в зеркало, качнула головой.

— Совсем обвисла, — неодобрительно пробормотала она. — Мурлин Мурло...

— И неправда! — Юрик, услышав, выскочил к ней в коридор, и от резкого движения запульсировала боль в подъеме левой ноги. — Ты еще в самом соку!

— Ах ты господи! — весело улыбнулась мама и чмокнула сына в щеку. — Ты и в этом понимаешь?

— Я во всем понимаю, только сказать не могу. Как собака.

Мама ласково засмеялась, счастливо блестя глазами.

— Умница ты моя. Ну, не скучай. — Открыла дверь на лестницу. — Побежала!

— Не побежала, а прогулочным шагом! — крикнул Юрик ей вслед. Мама опять засмеялась, и дверь захлопнулась.

Из своей комнаты выглянула бабуля. Пытливо спросила:

— Куда это она?

— В аптеку, — рассеянно ответил Юрик. — Хочет, чтоб я опять поколослся перед колхозом...

Бабуля вышла вся:

— Ох, не бережешь ты матку, ох не бережешь. Уж и так возле тебя бьется-бьется! Всю жизнь ведь болеешь. А сейчас вот и здоровый не можешь шаг шагнуть себе ж за лекарством! Ох, эгоиста, ох, эгоиста мы вырастили безжалостного! И я-то! Здоровья остатки губила, ночей с ним не спала, пеленки стирала, а он вот теперь волком смотрит...

Юрик попытался читать, но не мог, пока бабуля не удалась. Но не успел он и страницы пробежать, как с кухни до-
несся шум воды и лязг посуды. Что это она там? — с беспой-
койством подумал Юрик, откидывая журнал.

Бабуля раскрыла настешь окна у себя в комнате и на кухне
и теперь стояла у раковины, на самом сквозняке, жертвенно
выскабливая кастрюлю.

— Ты чего? — оцумело спросил Юрик. Он даже не понял
сразу, что происходит. — Зачем окна-то?..

— Душно тут...

Невинный взгляд, ангельский голосок...

— Ложись немедленно! — Юрик стал рвать у нее из рук
кастрюлю. — У тебя же о-эр-зз!

— Коли уж ты матке не помогаешь, мне не мешай. Она и
так будто белка в колесе крутится! — Бабуля не выпускала ка-
стрюлю, и Юрик не решался рвануть посильнее — встрях-
нешь ее, приступ еще начнется. Бывало и так. Он бросился
закрывать окна.

— Не смей! — бессильно закричала бабуля. — Доктор ска-
зала, при простудах свежий воздух полезен, а матка тут нача-
дила.

В дверь позвонили. Бабуля остолбенела.

— Я открою! — Юрик подскочил к двери. — Может, это
мама что забыла.

Но это была врач — молоденькая, не по-врачебному ми-
лая, в больших очках.

— Здравствуйте. — Она с удовольствием улыбнулась
Юрику. За эти десять дней она приходила уже третий раз.

— Добрый вечер, — ответил Юрик, принимая у нее увеси-
стую сумку. Она, уже не спрашивая, что где, пошла мыть ру-
ки. Редкая была врач.

— Бабуля, это врач! — крикнул Юрик.

Бабуля попыталась пронырнуть в комнату, но девушка за-
метила.

— Зачем же вы встаете? — укоризненно спросила она.

— Чайку попить, доченька, — елеинно сообщила бабуля,
укладываясь.

— Что ж ты, Юрик, бабушке чайку не принес? — Врач
дружелюбно улыбнулась еще раз и вслед за бабулей прошла в
комнату. Юрик с ее сумкой вошел третьим. Он не знал, что
ответить, и бабуля, как всегда, упредила его:

— Да господь с тобой, доченька, разве ж я стану его отрывать по пустякам. Он у нас в университет поступил, читает!

Юрик вспыхнул. Врач неодобрительно покосилась на него.

— Ну, давайте я вас послушаю.

— Юрочка, выйди, я рубаху подниму, — приказала бабуля. Юрик вышел, притворил дверь. Неужто опять ничего не пропишет? — с ненавистью думал он. Прошлый раз бабуля тоже его вытолкала. Что они понимают, говорила она потом. Сопливуку пришлют, чтоб отвязаться, у нее парни одни на уме. Ничего не прописала. Молоко, лежать, больничный вот... Не волновать меня велела, поняли? Не волновать! Из комнаты донеслись ритмичные долгие вздохи. Юрик подслушивал. «Покашляйте», — отчетливо раздался голос врача. Бабуля осторожно кашлянула, в горле у нее что-то булькнуло, и она зашлась. Юрик бросился за пертуссином.

Когда он вбежал в комнату, бабуля, красная, с выпученными глазами, корчилась на диване, вздергивая к подбородку обтянутые одеялом острые колени, а врач, покачивая головой, сосредоточенно строчила, пристроив рецептурный бланк на подлокотнике кресла.

— Напрасно не взяли эритромицин, — проговорила она, не поднимая головы.

— Ч-что?.. — рассеянно переспросил Юрик, подавая столовую ложку с пертуссином. Бабуля вцепилась в нее, сотрясаясь уже беззвучно, полузадохнувшись. Проглотила и, не глядя, ткнула пустую ложку Юрику.

— Напрасно не взяли эритромицин, — резко, осуждающим тоном повторила девушка.

Юрик обернулся к ней:

— Какой эритромицин?

— Который я выписала в прошлый раз. В легких отчетливые хрипы.

Юрик жгуче покраснел. Недоумение было мгновенным и тут же сменилось ледяной злобой.

— Вы, наверное, помните, что бабуля прошлый раз не позволила мне присутствовать при осмотре, — проговорил он ровно и звонко. — Впоследствии она не дала мне никакого рецепта, передав лишь, что вы велели ее не волновать.

Бабуля завершающе кашлянула и спрятала лицо. Врач медленно повернулась к ней.

— Как же? — беспомощно выговорила она.

Юрик ликовал с каменным лицом.

— Ах, доченька, они у меня такие занятые все, — сорванным голосом запричитала бабуля. — Чувствовала себя бодро, читать по-вашему не умею, решила — неважное... Из-за пустяков-то не по-людски родных людей гонять, внушек у меня сам болящий, да и в университет поступил, не годится мне, старой старухе, надоедать со своими недугами. Доченька опять же в библиотеке допоздна, сынок в рейсах длительных...

Доктор слушала с приоткрытым ртом, у нее были детски обиженные глаза. Она чуть тряхнула головой. Будто дурман отгоняла.

— Я прописала уколы, вот. — Она обращалась исключительно к Юрику, чуть заискивая тоном. — Надо вызвать сестру, она будет ходить ежедневно. Госпитализировать необходимости пока все-таки нет... Или вы хотите? — Она повернулась к бабуле. Та страдальчески улыбнулась.

— Кто ж по своей воле к вам пойдет-то? — Перевела взгляд на Юрика. — Я не очень уж вас утомила, родненькие? Скажи — уйду...

Сама жертвенность. Ах, сбегать бы ее туда! Но Юрик помнил, как мама бегала к ней, как возвращалась, убитая транспортной давкой и свиданием. А вон к той, нескончаемо перечисляла бабуля, совсем уж к развалине, и дочка, и двое внуков каждый божий день ходят, такие приличные ребятки, и женщина видная — любят... А выписавшись, допрашивала Юрика: matka-то домой вовремя приходит? Не гуляет?

— Бабуля, разве ты способна утомить?

— Видишь, доченька. За мной присмотрят тут.

— Вот и хорошо. Юрик, смотри. Еще таблетки. — Доктор опять повернулась к Юрику, стала подробно объяснять, водя пальцем по строчкам рецептов. Объяснила. Встала. — До свидания.

Юрик проводил врача до двери и, поразмыслив, стал одеваться, чтобы идти в аптеку. Откладывать не стоило.

— Не годится тебе, внушек, — глухо, как из гроба, прозвучал бабулин голос за закрытой дверью.

Юрик вошел.

— Что это еще мне не годится?

— Как старой старухе, доносить на бабулю-то. Совестно должно быть срамить родного человека перед чужими...

Что-то полыхнуло и рухнуло. Выдержка отлетела как пух под исступленным порывом животной ненависти.

— Ах, это мне совестно?! — завопил Юрий, чуть присев. Бабуля слабо ахнула от неожиданного крика и стала изображать сердечный приступ, но это действовало лишь на маму. — Ты... ты!..

— Да не кричи на весь-то дом! Я по-ихнему читать не умею!

— Могла дать мне, в аптеке бы разобрались!

— От экзаменов не хотела отвлекать...

— Я уже неделю как сдал все!

Зачем же я отвечаю, мелькнуло в голове Юрия, ведь она же все врет...

— Разве ты мне рассказываешь, что когда сдал? Матке только, со старой старухой вам и поговорить некогда, словечком перемолвиться зазорно кажется...

— Сказала бы маме!

— С ней разве сталкиваешься?

Юрий опять задохнулся и несколько секунд не мог вымолвить ни слова. У него плыли круги перед глазами.

— Да как... поче... Она тебе когда-нибудь отказывала? Хоть в чем-то?! Да как у тебя язык!..

— Перестань же кричать, — взмолилась бабуля, хватаясь за виски, — голова лопнет! Всем соседям сообщаем! И так уж косятся — каждый, мол, день у вас ругань да скандал, выживаете старуху!.. У меня от таблеток от этих, может, печень болит.

— Чего ж ты врачу не сказала? Зачем говоришь это мне, а не ей?!

— Что ж ей все-то рассказывать? Она мне человек чужой.

Юрий еще раз задохнулся. У него стискивались кулаки.

— Это только ты у нас чужим людям про семью все выбалтываешь... А куда это ты собрался? — подозрительно спросила бабуля, лишь теперь заметив, как он одет.

— В аптеку! — заорал Юрий. — Тебе прописали уколы!

— Нет! — завизжала бабуля и стала выпрастываться из-под одеяла. — Не надо уколов, на работу пойду!

— Лежи, сволочь! Лечись и не шевелись, приступну!

— Что же ты на весь дом!..

— Ты сама громче орешь!

— Ты рад меня со свету сжить своими уколами!

— Ты же маму убиваешь!

— Вот! Вот она тебя и настрополяет, мешаю я ей, при-
сматриваю, покуда сыночек в отъезде! То-то вы без меня раз-
гуляетесь!

— Что ты говоришь такое, ты подумай!

— Какая она мать, с книжками весь век, вот и родила тебя
такого, разве это мать?

— Убью!!

— Кричи, кричи на весь дом!.. — Она рыдала.

Юрик вырвался из квартиры. На лестничной площадке,
прямо у двери, стояли три бабулины подружки; едва Юрик
появился, они деятельно о чем-то заговорили. Юрик проше-
ствовал мимо, чувствуя на спине скользкие, остренькие
взгляды. Сквозь картонную дверь обычную-то речь слышно,
не то что эти жуткие, омерзительные вопли.

Что со мной случилось? Почему стал кричать? Юрик не
мог понять. Ведь я же выдержанный, добрый. Какой стыд! За-
чем стал с ней вообще разговаривать? Ведь это каждый день, я
же знаю, чем кончается. Надо просто делать свое дело и не об-
ращать внимания ни на одно слово. Старость. Все старики,
верно, такие вот. Расстреливать! Как пятьдесят стукнет — на
удобрения! Маме сорок четыре... Она такой не будет! Да что
это мешает все время, вроде бегу, а вроде еле двигаюсь?

Оказалось, мешала боль. Левая коленка почти не гнулась,
в ней что-то сцеплялось и схрустывалось, протергивая раска-
ленную нить по бедру при каждом шаге. Это из-за нервов, по-
думал Юрик, сбавляя шаг и пытаясь идти, как на ходуле. Тело
давно выучило болевые приемы ног и выработало контрпири-
емы. А куда я бегу? Ковыляю то есть... Где рецепты? Он оста-
новился, отставив ноющую все сильнее ногу в сторону и
мгновенно вспотев. Стал шарить по карманам. Карманов бы-
ло два, в одном звякали ключи, в другом перекатывались три
двухкопеечные монеты. Забыл! Он часто забывал что-нибудь,
уходя из дому, потому что большинство уходов было под стать
сегодняшнему. Юрик испуганно рыл карманы, выворачива-
вал, тряс; у него дрожали руки. Он не мог так вернуться!

Он заковылял обратно. Подружки торчали теперь на ули-
це возле парадного, одна держала на поводке гадкую, как
крыса, востромордую черненькую собачонку. Тварь крути-
лась у кустов и опрыскивала их, вздергивая дрожащую лапку.
Юрик стиснул зубы и ускорил шаги, стараясь идти как нор-
мальный человек.

— Юрочка, — сладко протянула бабка с тварью на поводке, — что ж это Антонины Степановны не видать? Или случилось чего?

— Видимо, пресытилась вашим обществом, — сквозь зубы процедил Юрик и вошел в дом. Лифт был занят. Задыхаясь, Юрик стал карабкаться по лестнице, вытягивая себя за перила на каждую очередную ступеньку. Третий этаж, нормальный человек птицей бы взлетел, насвистывая...

Бабуля стояла у окошка, выгнув худую шею, в белой рубахе до пят, как привидение.

— Совсем распустила свою крысу, старая дрянь, — сообщила она, не оборачиваясь к Юрику, вся отдавшись наблюдениям. — Прямо под окнами ссыт.

Юрик не ответил. Где рецепты? В глаза их не видел. Видел, как врач писала их, потом объясняла подробно — и все.

— Каждый кусток изгадила! — комментировала бабуля. — И ведь сколько их развелось, собاشников этих. Куда ни встань — куча. Сказал бы хоть ты ей, паскуде, она добрая, тебя-то послушает. Подальше бы пусть отводила... Во, во, опять ссыт! Глаза бы не глядели!

— Сама бы и сказала, — пробормотал Юрик и тут же подумал: ох, зачем же я отвечаю...

— Мне-то нельзя, Юрочка, мы ж подружки... — Она так и не отворачивалась от окна.

— Странная у тебя логика, — язвительно заметил Юрик.

— Тебе все мое странно, — ответила бабуля добрым голосом. — Ты еще мальчик, а я уж целую жизнь прожила, да какую... — Она переступила с ноги на ногу, но к Юрику так и не повернулась. — И все работаю, сама себя кормлю... Не дай тебе бог, внучек, моей жизни...

— А тебе — моей, — огрызнулся Юрик.

— Во, во, ух, тварь какая!

— Смотри ты или молча, или уйди! Сама ведь говоришь — противно!

Бабуля отлепилась наконец от окна и прошла к постели.

— Уж не глядел бы на меня, в рубахе-то... Не стыдно тебе?

Что мне надо было? — мучительно вспоминал Юрик. За чем я шел? Он растерянно смотрел в стену. Ах да! Рецепты!

— Бабуль, а куда она рецепты бросила? — спросил он. — Ни на столе нет, ни на кресле, ни на подоконнике...

— Какие рецепты?

— Ну, доктор приходила, выписала рецепты на уколы, таблетки...

— Так ты их с собой взял, — радостно напомнила бабуля.

— Понимаешь, — Юрий покраснел, — я их забыл. Ушел, а их не взял, торопился...

— Взял-взял, — заверила бабуля, тщательно упаковываясь в одеяло. Кровать скрипела и ходила ходуном от ее грузных неловких движений. — Я помню, как же! Пришел, покричал на меня, а после взял да побежал. Где ж матка-то пропала? Уйдет на пять минут, а нету — час...

Юрик прикрыл глаза и сделал глубокий медленный вдох.

— Я их не взял, — тщательно выговаривая слова, повторил он. — У меня пустые карманы, только ключи. Отдай рецепты.

— Потерял? — миролюбиво догадалась бабуля. — Да не огорчайся, ну их. А маме я уж не скажу...

— Я не потерял! — закричал Юрий. Опомнился. Проговорил тихо и напряженно: — У меня их нет. Куда ты их дела? Отдай сейчас же!

— Да ты не волнуйся так, Юрочка. Эка важность. Какие старой старухе уколы, ей помирать пора. Ты книжку читал, вот и иди, учись, дело важное, тебе еще жизнь жить...

— Отдай рецепты!!! — не своим голосом завопил Юрий, приседая.

Бабуля обернулась, блестя выступающими слезами.

— Опять старуха виновата, — всхлипывая, выдавила она. — Конечно, кто ж за меня вступится-то. Сыночек мой в трудах, в разъездах, кормит вас, чтобы вы с книжечками валандались да с голоду не мерли. Матка всякий поклеп рада возвести, ну и ты, махонький, туда ж... — Она вытерла глаза рукавом. — Кому я нужная, всяк рад унижить. Сам потерял, а все я... — Она плакала все сильнее. Запустила руку под подушку, вытащила платок, приложила к жалобно сморщенному лицу, вся сотрясаясь от тихих, горьких рыданий. Из-под подушки, увлекаемый платком, вылетел ком бумаги. Быстрее молнии Юрий пал ему наперерез. Тут были все три рецепта.

— Как это называется? — спросил Юрий, потрясая ими.

Бабуля отняла платок от глаз и уставилась на рецепты.

— Это? — Слезы текли ручьем. — Это? Вот дура беспамятная, сама спрятала и сама забыла... Кому я такая нужна? Посмотрю я на тебя в мои-то годы...

— Не посмотришь, — сказал Юрий, выходя. — Сдохнешь.

Лифт был занят. Налегая всем весом на узенькие перила, волоча ногу, Юрий стал осторожно спускаться. Навстречу ему взлетел задорный цокот, мелькнула мимо Женька, бывшая одноклассница, бойко бросив:

— Привет!

— Привет... — Он воззрился ей вдогонку. Она повернулась к Юрику, залихватски отставив левую ногу, приспособив алую туфельку на одной из перильных опор. Юбочка на ней была не длиннее набедренной повязки, стояла Женька сверху — загадочный сумрак внутри юбки завораживал, как русалочий омут. Юрий отвел взгляд выше, покраснев. Она засмеялась:

— Ты куда смотришь?

Он молчал, пунцовея и глядя на ее рот — яркий и веселый. Но это было еще хуже. Юрий подглядел однажды, как в девчачьей раздевалке школьного спортзала Женька отчаянно целовалась с Кошутиним, и теперь, видя ее губы, всякий раз жарко думал: а как это — прикоснуться к ним своими?.. Какая она была красивая, веселая тогда. Они все такие веселые! А маленькие руки так нежно гладили затылок и плечи того! Юрий совсем отвел взгляд.

— Юрочка, а почему у тебя такая походка странная всегда? — спросила Женька, вызываяще раскачивая вправо-влево согнутым коленом отставленной ноги. Юрика будто начала варить. Он беспомощно улыбнулся.

— Уродился так, — выдавил он.

— Бедненький... По-польски уroda — значит красота, — сообщила Женька и сама же хихикнула. — Ну, я побежала, пока.

— Пока. — Юрий повернулся, снял руку с перил и с наимозможной лихостью запрыгал вниз через две ступеньки. Глаза ослепли от дикой боли, сквозь рев в ушах все-таки донесся Женькин смех, но Юрий исправно пропрыгал весь пролет, а потом дополз до стены и упал на нее спиной и затылком. Он был весь мокрый от пота. Казалось, он уже никогда не сможет оторваться от стены. Колено разламывалось, а у той ноги, что только что была здоровая, стало дергать в плюсне. На кой шут я это? — подумал Юрий обреченно. Поверит она, что я нормальный? Да никогда не поверит... Ничего, подумал он и опасливо оторвался от стены, Мересьеву было хуже. Он под-

ковывлял к перилам, навалился на них и стал сползать дальше. Перед глазами опять стояла Женька. И этот сумрак, в котором, явно собираясь сойтись, светились ее стройные здоровые ноги...

Как это Вика сказала?.. Он робко, неумело положил ей ладонь на плечо, а она, не отрываясь от экрана, шепнула удивленно: «Юрик, ну не надо, не будь как все эти...» Он с готовностью сцепил руки у себя на коленях, умиротворенно улыбаясь в темноту кинозала. Это было даже лучше, чем он ожидал. Один миг он чувствовал, чувствовал ее хрупкое плечико. И она не отшатнулась, не обиделась, не стала считать его грязным хамом, она, наоборот, сказала даже: «Не будь как все эти...» — значит, Юрик для нее не «все эти», от него она не ожидает плохого, как от «всех этих», про которых Юрик читал в западных книгах, а недавно узнал, что и у нас еще есть такие, которые сразу с несколькими девушками бывают близко знакомы. Он не мог понять, как им не скучно, ведь в начале знакомства можно говорить лишь о пустяках, всякий раз одно и то же, и она отвечает одно и то же, а вот когда с одной — всякий раз что-то новое, все ближе, все задушевнее... как с Викой. Вот схожу в аптеку, подумал Юрик, и позвоню. Вдруг она уже приехала? Он представил, как после двух месяцев снова услышит ее голос, и покраснел. На какой бы фильм ее позвать? Везде чепуха идет... Подарить что-нибудь? Но у нее все есть... И не знаешь, чего она хочет, чему обрадуется. Ее мама говорила: «У Вikanьки нет выраженного хобби. Я стараюсь развить ее многогранно». Удивительно, сколько всего она знает. У ее мамы такие знакомые — писатели, музыканты... И Вика с ними общается. Юрик сказал как-то: «Ты так интересно живешь, мне бы твою среду!» А она серьезно ответила: «Человек сам творит свою среду». Конечно, она права. Он доковылял до двери на улицу. По ровному плюсна утихомирилась, осталась только коленка.

Вот ей, подумал Юрик, было бы легко дарить мне. Просто книжку, лучше всего — про войну, чтобы были сильные, смелые, честные люди. Симонова, например, или Бондарева, или Сабурова, на худой конец... Но этого никогда не бывало, даже в Юриков день рождения. Дарил лишь Юрик. Конечно, все-таки он — мужчина.

Под аркой проходного двора он увидел шедшую навстречу

чу маму. А мама видела плохо и, лишь когда он окликнул ее, заулыбалась.

— Ты куда шлепаешь? — спросила она.

— Тоже в аптеку, тебе вслед. К бабушке врач приходила, просила уколы, эритромицин...

— Стоило мне уйти... — Мама покачала головой. — Тебе я лекарство купила, завтра — непременно в поликлинику.

— Конечно, мам. Слово — кремень.

— Вот и хорошо. Давай рецепты.

— Зачем?

— Пойду куплю.

— Ничего подобного! — воскликнул Юрий. — Сам схожу прекрасно!

Ему так не хотелось домой...

— Опять, — сказала мама укоризненно. — Набирайся сил перед колхозом, побольше будь дома. А я погуляю, на воздухе голова совсем прошла.

— Совсем? — подозрительно спросил Юрий.

— Ну, не надо меня обижать. Я ведь никогда тебя не обманываю.

Сердце, правда, опять затнуло, подумала мама, но можно идти медленно, валидол с собой, воздух действительно хороший. Не к плите же, в духоту, к свекрови. Там сердце не пройдет.

— Так что давай рецепты — и домой, — сказала она. — Читай. Или не нравится?

— Нет, мам, нравится очень... Я только не понимаю, как они могут там жить в таком ужасе? Ведь эти бандиты что хотят, то с людьми и делают!

— Живут, куда же деваться... А почему рецепты мятые?

— Случайно... Как это — куда деваться! Эмигрировать! Или бороться как-нибудь!

— Не так это просто. Да и уехать, покинуть страну, где родился и привык...

— У нас-то уж им, наверное, будет лучше!

— Как кому, — сказала мама. — Ну, я пошла.

— Я домой сейчас не буду возвращаться, мам, можно? Сама говоришь, погода хорошая.

— Н-ну ладно, — решила мама скрепя сердце. — Недолго только. И не уходи далеко!

— Конечно, мам!

Мальчик мой хороший, бедняжка мой, думала она, медленно гуляя к аптеке. Если б можно было вечно учить тебя в школе, вечно держать дома, под крылом... Как удержать? Университет... колхоз... жизнь, своя жизнь! А вдруг он действительно выздоровеет к тому же? Разве утнаться мне за ним с моей заботой и защитой? Вот ужас-то будет!..

Боль стала затихать, и Юрий повеселел. Почти не хромая, он шел к телефону-автомату и думал: я в таком аду, как в Америке, жить не стал бы ни дня. Убежал бы сюда. Или стал бы коммунистом. Для коммуниста главное — уметь перевозмогать боль, чтобы, когда начнут пытать в ФБР, никого не выдать. Ну а уж боль-то перевозмогать я умею... А если бы маму взяли заложницей? Нет, все-таки лучше я с нею убежал бы сюда. Здесь, правда, тоже бывают преступники, но не мафия же! И в правительстве не миллионеры какие-нибудь продажные, а честные люди из рабочих, из крестьян. Немножко, правда, смешные иногда... потому что пожилые. Опытные. И на бабулю, хоть возраст примерно тот же, совершенно не похожи, ну, совершенно! Суслов вот когда выступает — такой умный! Он редко выступает, но зато уж как выступит! Сразу видит, кто идеологически не прав! А Брежнева как все уважают! Ведь надо очень уважать человека и то, что он говорит, чтобы так долго его слушать, тем более что у него произношение немножко невнятное...

Юрик подошел к автомату и вынул одну из двушек. Он твердо решил позвонить Вике на всякий случай уже сегодня, а звонил он ей всегда не из дома. Дома Юрий не говорил про Вику. Почему-то не мог. Разве расскажешь про ее улыбку, про то, как красиво она ходит, про «не будь как все эти», про то, как, небрежно полуобернувшись, она спрашивает, уходя: «Значит, звонишь завтра прямо от касс?» — и душа готова вернуться наизнанку, и кожу бы всю так и изрезал на билеты! Разве расскажешь? Говорить это ежедневными словами, теми же, какими говоришь про суп или ругаешься с бабулей...

— Да? — ответил голос ее мамы.

— Добрый день, Анна Аркадьевна. Юрий это.

— А-а, здравствуй, мальчик, здравствуй! А Виканька еще не приехала.

Сердце упало, мир померк. Заболели ноги.

— Значит, завтра, да?

— Возможно, завтра. А возможно, сегодня, попозже.

— Передайте тогда, будьте любезны, что я звонил.

Голос в трубке засмеялся.

— Я передам, что ты звонил неоднократно.

— Вот спасибо! — обрадовался Юрик.

Анна Аркадьевна Пахарева положила трубку.

— Вikanькин паж, — пояснила она. — Я не стала ему говорить, что Вikanька уже приехала и зашла к подруге по дороге с вокзала. Безопасный, но весьма недалекий мальчик. Откровенно сказать, я не понимаю, как Вikanька столь долго выносит его дружбу? Правда, он поступил куда-то, но ведь просто диплом в наше время мало что значит, не правда ли?

Писатель Владлен Сабуров кивнул, сочувственно оттопырив нижнюю губу. Анна Аркадьевна небрежно оправила складки кимоно, слегка сместившиеся, когда она протягивала руку к телефону. Рука была полной и холеной.

— Мне хочется, чтобы дочь моя после замужества имела возможность жить столь же свободно, сколь и в семье. Я имею в виду как материальную, так и духовную свободу, вы, конечно, понимаете...

А после замужества уже будет не семья, отметил Сабуров. Вот сволочь. Воспитала кому-то подарочек.

— Даря себя мужчине, моя дочь вправе ожидать благодарности, выражающейся не только в цветах и билетах в кино. Я вспоминаю, как в послевоенные годы скиталась вслед за мужем по всей стране. Нищета, грязь, гарнизонное хамство... Он меня любил, да, любил безумно. Но горячая вода от этой любви из водопровода не текла. Дом с горячей водой появился только тогда, когда Пахарев получил майора. — Она поджала чуть подкрашенные чувственные губы. — Вikanька не должна повторить этот горестный путь. В конце концов, не сороковые и не пятидесятые сейчас годы, не правда ли?

Черт возьми, думал Сабуров, какая сволочь! Бедняга генерал. Главное, говорят, славный мужик... Зачем я пришел? Зачем я вообще сюда хожу? А Поляков, Рахлевич, Непорода? Мы ведь ее в грош не ставим! Он отхлебнул из бокала. Она, зараза, слушает. Нам ведь всем говорить надо — а она слушает. Да еще дочку-куколку тоже приучила. Подойдет юное создание, в глаза тебе уставится с благоговением и время от времени еще и вставит что-нибудь молодежненькое, умненькое, а ты ей — у-тю-тю! Он допил. Да еще и нальет иногда, подумал он.

— Быть может, еще? — спросила Анна Аркадьевна. Сколько ж ей лет? — в сотый раз гадал Сабуров. По ногам судя — не больше тридцати, но ведь это же бред... Он отрицательно помотал головой.

— Не стоит, Аня. Скоро уже Пахарев явится.

— Имею я право выпить с другом бокал шампанского? — гордо распрямившись в мягком кресле, возразила Анна Аркадьевна. — И потом, кстати, он опоздает. У него завтра визит из Москвы. То ли маршал, то ли кто... Давайте еще немножко. Вы ведь так и не рассказали мне, над чем работаете сейчас. — Она улыбнулась с лучезарной укоризной. — Очень некстати прервал нас тот дурачок.

Несчастный парнишка... Сабуров преисполнился сочувствия. Угораздило же мальчугана...

— Я вновь возвращаюсь к теме войны, Аня. Теме, которая никогда не перестанет волновать сердца. Меня вообще привлекают те периоды в жизни нашей страны, когда выявляется все лучшее в советском человеке, все, что выгодно отличает его и делает непобедимым в любых испытаниях...

— Право, вы словно на трибуне! — засмеялась она.

— Тренируюсь, — честно сказал Сабуров. — У меня выступление по телевидению сегодня.

И вдобавок, противу всяких обыкновений, прямой эфир. И прямо на следующий день после возвращения из командировки, когда я усталый и поганный. Как бы честь оказана, высокое доверие, а на самом деле явно подставили в надежде, что я ляпну что-нибудь. Придется еще разбираться, с чьей это подачи меня почтили таким доверием, будь оно неладно... А сегодня надо быть очень осторожным, очень. И ни в коем случае больше не пить.

— Будто бы? Отчего же вы мне сразу не сказали?

— Я думал, знаете. В программе есть.

Она поднялась.

— Я не телестудия все же, а ваш близкий друг, — не очень понятно сказала она и прошествовала в соседнюю комнату. Широкие бедра, затянутые яркой тканью, царственно колыхались. Школьница в войну, да? Скажем, в сорок пятом восемнадцать, плюс тридцать... Черт возьми, она почти не молеже меня, а я — как гриб перестоялый... Что ты допытываешься? О том ли рассказать, как идешь в запой после каждой главы, чтоб достало сил и дальше монтировать из высочайше

утвержденного набора деталей очередную команду надлежащих манекенов; пытаться хоть чуть-чуть оживить их, заведомо зная, что это невозможно; гонять их по мифическим полям сражений? Знаешь, как отличается Курская битва в моей книге от Курской битвы в войне? Как бюст Ленина от Ленина. Как сталинская конституция от сталинских лагерей. А знаешь, что такое положительный герой? Это — герой. Но ведь для жизненности ему нужно что-то неидеальное. Не в общественно-политической сфере, боже упаси! Ага, хорошо. Ну, пусть в личной. Пусть-ка он будет груб с беззаветно любящей его девушкой! А отрицательный, который потом струсит на позициях, и из-за него немецкие танки прорвутся и разможат медсанбат, из этих все знающих, все критикующих интеллигентов, напротив, будет обходителен, остроумен, приятен в обращении. И как бы даже гуманнее положительного, который жесток, потому что жестока сама война. Трусливый, скептический прохиндей, он примется умело кадрировать ту святую девушку, но тщетно. Она будет верна, она будет санинструктор и погибнет, спасая раненых от тех самых танков, а положительный из-за ее гибели исстрадается до седины и беспримерного героизма, будет тяжело ранен, искалечен, списан с ограничениями, послан в колхоз председателем, где порадует о восстановлении сельского хозяйства, выступит против перегибов и волюнтаризма и найдет наконец свое счастье: производительный труд на опаленной земле России и эвакуированную вдову с пятью детьми, двумя ее и тремя подобранными во время бомбежки эвакуопоезда...

Или о том рассказать, как, отблевав положенное, слопав инъекции кардиамин, дибазол и черта в ступе — что там еще бывает? — ползешь с новой бутылкой в портфеле, скажем, к «Светлане», караулить какую-нибудь тщеславную пролетарку?

— Действительно, — сказала Анна Аркадьевна, возвращаясь. — Буду смотреть... Подумать только, вы сказали это совершенно случайно. Могли ведь и не сказать. И я просмотрела бы и не смогла бы порадоваться за своего друга... Да, но год назад вы обещали роман о современности, не правда ли?

— О современности пускай молодые пишут, — пробормотал Сабуров. — У них глаз острей...

И квартиры у них нет, подумал он, и дачи, и «Волги», за которую еще расплачиваешься... Пишите, ребята, искренне

подумал он. А я вас буду долбить. А вы не обращайтесь внимания. Разные у нас работы...

— Ах, как бы я хотела знать, о чем вы задумались сейчас?

Сабуров тяжело вздохнул:

— О работе...

Ведь было же, было! По-настоящему, всерьез! И героизм был, и трусили, и близких теряли, самых любимых, без которых жизнь не в жизнь, и калечились, видел сам, помню! Под гремящие панцеры ползал со связками гранат по черному от пожарищ снегу; вот эти три пальца срезало осколком, аккуратно когда завопил «ура» на атакующем бегу — до сих пор мне их жалко, этих пальчиков невосполнимых, с девятнадцати лет без них живу, а привыкнуть не могу; в окопе, залитом по колено дождливой жижей, застрелил мародера — хрен его знает, интеллигент он был или нет, просто падло... Кого теперь пристрелить? Кто мародер? Я же и мародер! Обдираю красоты с безобразного трупа общими усилиями убитой войны и продаю официальным скупщикам с целью личного обогащения... Но разве я один? Разве я это начал? Разве этого требую от других я? Да-а... А ну-ка, вслух! Тут уж не о трех пальчиках разговор завяжется! И ужас-то в чем: не побежит вслед буксующей по распутице «эмке» особиста святая девушка, не оскользнет-ся в грязи, не закричит, задыхаясь: «Они разберутся, я верю! Я буду ждать тебя! Я приеду к тебе!» Все, все знают, как они разберутся. Жена скажет: «Ты о детях подумал, старый истерик?» А дети скажут: «Тебе что, больше всех надо?» А Наташка скажет: «Только не вздумай упоминать мое имя. У меня муж, между прочим, мне с ним еще жить и жить». А парторг скажет: «Ох, Михалыч, вот уж от тебя не ожидал... Но теперь — извини».

— Пожалуй, мне пора. Надо подготовиться, до передачи осталось немного.

— Как желаете, — сухо проговорила генеральша. — Не смею задерживать столь занятого человека.

— Не сердитесь, — сказал Сабуров примирительно.

— Как желаете, — упрямо повторила она. Наверное, она сама еще выпить хочет, догадался Сабуров. — Право, если вам действительно приятно мое общество...

— Оно мне действительно приятно. — Сабуров прижал руки к груди и даже слегка поклонился.

— То вы могли бы подготовиться вчера.

Вчера я еще даже не знал, что выступаю, подумал Сабуров. Но вслух этого, конечно, не сказал.

— Вчера утром я был еще в Свердловске, я вам рассказывал. Прилетел только к вечеру. Там была напряженная программа...

— Могли бы поработать ночью. Я знаю, творческие люди всегда мало спят.

— Вы недосыпали когда-нибудь, чтобы сделать другу приятное? — не выдержал он. — Хоть раз?

Анна Аркадьевна гордо выпрямилась в кресле.

— Я ведь женщина, — проговорила она с неподражаемым достоинством.

Сабуров глубоко вздохнул, как перед прыжком в ледяную воду.

— Простите, — сказал он. — Я забыл.

Он вскочил, в прихожей схватил шляпу и плащ и попытался выйти сквозь закрытую дверь. На миг стало шумно.

В этот миг генерал Пахарев осторожно выглянул из кабинета в приемную. Женечка была на месте. День кончился, но раз шеф не ушел, она продолжала работать. Пахарев притворил дверь, перед зеркалом тщательно пригладил седые редкие волосы. Совсем скоро песок посыплется, подумал он. Жаль, конечно. Ну, хорошо хоть, академию поднять успел. В свое время Штеменко вместе с резко критическим отчетом представил Малиновскому личную рекомендацию на замену начальника. Это была большая честь. Но и работа — адова... Ох и кабак тут цвел! Одолел... Да, но Белков, которого сняли, теперь уже маршал. Не то худо, конечно, что у него звезда жирнее и кус маслянистее, — худо то, что он же мною и командует... А, не стоит об этом. Генерал достал из портфеля роскошную коробку конфет. Вот лучше об этом. Поднял руку, чтобы пригладить волосы, и вспомнил: он это уже сделал. Смешно, подумал он. Нервничаю, что пацан. Хочется сделать ей приятно, но как, уже забыл. Да если б и вспомнил — тридцать лет назад это делалось иначе. Даже не уверен, прилично ли вообще поздравлять женщину с днем рождения, если ей пятьдесят; вроде бы мужчина не должен знать, сколько женщине исполнилось...

Она была его секретаршей двенадцать лет, и это была секретарша, каких нынче редко встретишь. Не злобный издерганный цербер и не вертихвостка, весь день треплющаяся с

молодыми офицерами, — друг, помощник, коллега. Работник. За эти годы Пахарев почти ничего не узнал о ней самой — кроме того, что единственный сын ее, пограничник, потерял руки в одном из дальневосточных инцидентов шестьдесят девятого года. Опять генерал подумал, сколь многим он обязан Женечке. И это не уязвляло достоинства, напротив. Было бы куда хуже, если б он волок все один, а кругом — только Белков да жена с дочкой. Как приятно быть многим обязанным хорошему человеку! Как приятно, когда тебе помогает тот, кто дорог! Генерал машинально пригладил волосы чуть потной ладонью и распахнул дверь, держа коробку в руке. Женечка встрепенулась, подняла глаза от неизбывных бумаг.

— Женечка... — проговорил Пахарев, широко шагая к ее столу. Она встала. Он подошел и неловко протянул коробку. — Поздравляю вас с двадцатипятилетием два раза, — выдал он придуманную месяц назад фразу.

В ее глазах мелькнуло недоумение, потом она порозовела, как молодая, и смущенно засмеялась.

— Степан Филимонович, ну что вы!.. Стоило ли! — Она хозяйственно перевернула коробку, и Пахарев, отметив это движение, подумал, что его замечательная Женечка считает каждую копейку в течение многих, многих лет. Близоруко прищурилась. — Ох! — вырвалось у нее. — Сорок рублей!

Генерал приходил в себя. Ей явно приятно — это главное.

— Я желаю вам миллиона благ, и главное — чтобы вы не старели, — без подготовки, неожиданно для себя, продолжил он. — Не смейтесь, это из корыстных побуждений. Без вас здесь все развалится. За эти годы вы ничуть не постарели. Взываю к вашему патриотизму, к чувству долга, прошу — и впредь да будет так.

Складно получилось, с удовольствием констатировал он. Он уже забыл, когда говорил без подготовки. Пожалуй, в подполковниках уже почти не говорил.

Она достала из сумочки платок и промокнула глаза.

— Благодарю вас, Степан Филимонович, — сказала она. Моргнула, подняла блестящий взгляд. — С вами работая, просто невозможно стареть.

— Женечка, не надо про меня! Нынче же ваш день!

Она тепло улыбнулась, кивнула, и до Пахарева вдруг дош-

ло, что она и впрямь не постарела. Лишь щеки чуть втянулись да глаза стали шуриться.

Такого уважения, такой нежности он не испытывал ни к одной женщине, никогда.

Женечка посерьезнела и собралась сказать что-то явно деловое, но генерал перебил. Он не хотел, чтобы эти минуты кончились, не хотел дел, не хотел быть генералом.

— Все-все, — сказал он. — Не то что день — вечер на исходе, Женечка. — Ему приятно было произносить ее имя. — Идемте отсюда. Никаких больше дел.

И отворил перед Женечкой дверь. Она сказала: «Благодарю вас» — и вышла в сумеречный коридор. Генерал за ней. Но вынужден был остановиться вдруг и повернуть назад, пробормотав: «Виноват». Вернулся, взял портфель, запер кабинет. Все перезабыл... Все неглавное перезабыл.

Женечка его ждала, но тепло ушло. Генерал это понял сразу, и сердце, ошутимое с утра, заломило сильнее.

— Звонил Белков, — сказала Женечка деловито.

— Касательно чего?

— Спросил, перекрашены ли стены приемной.

— Простите? — Пахарев даже остановился.

— Прошлый раз ему почему-то не понравился цвет.

— По моему разумению, цвет прекрасный... А, собственно, какой? — Он не помнил. Цвет стен собственной приемной не помнил, а ведь только что вышли из нее. — Что вы ответили?

— Что не перекрасили, так как он не указал цвет замены. Он крикнул, что не шутит, и бросил трубку.

Пахарев вздохнул.

— Вот еще дичь... — пробормотал он.

— Степан Филимонович... что я хотела вам сказать... — Женечка замялась. — Вы когда-нибудь намекайте ему... или расплатитесь со мной в его присутствии. Ведь кофе, пирожки, колбасу — я все покупаю на свои деньги в буфете, пока вы играете, а... вы же видели сами, как он ест.

Пахарев молча нырнул рукой в боковой карман кителя, вынул портмоне и взял оттуда двадцать пять рублей.

— Будьте добры принять пока, — сказал он. — Потом что-нибудь придумаем.

Чуть поколебавшись и виновато заглянув ему в глаза, она взяла.

— Опять платите вы, а не он...

— Женечка, не надо так переживать, — почти жалобно попросил генерал. — Прошу вас. Игра продлится всего пять дней.

Машина ждала.

— Подвезти вас? — спросил Пахарев неуверенно.

— Да нет, я трамвайчиком. — Она остановилась, неловко зажав необъятную коробку под мышкой. — И так уж шушукаться по углам... то ли я подлиза, то ли совсем... извините...

Генерал беспомощно шевельнул длинными руками.

— В данном случае подлиза скорее я... — Он постарался улыбнуться. — В таком разе до свидания... — Он мучительно пытался сообразить, какими словами отогнать ее черные мысли об очередном визите полновластного хама, но не находились слова, и Женечка вежливо простилась, чуть склонив голову, и пошла к проходной. Сзади положительно ей двадцать лет, подумал Пахарев, с тоской провожая Женечку взглядом. Дождался, когда она скроется, и медленно, вдруг погрузнев, заполз в машину. Достал ампулу с валидолом.

— Домой, — сказал он угрюмо.

Дома было беспокойно. Приехала дочка и плакала. От нее чуть пахло вином — зашла прямо с вокзала к подруге, с которой отдыхала на Кавказе, и они там немножко посидели, так пояснила шепотом жена. «Здравствуй, папа, — выдавила дочь, будто рассталась с отцом вчера, а не в июне, и опять заголосила: — Он не позвонит, я знаю! Меня никто не любит!» — «Неправда! — кричала жена. — Я тебя люблю! Тебя любит Юрик!» — «Что Юрик, что Юрик! Он не настоящий!» — «Вырастешь, встретишь настоящего человека, и он тебя полюбит, тебя не может не полюбить настоящий человек!» — «А сейчас?» — «Юрик сейчас...» — «А кого ты сама-то любишь?» — спросил генерал громко. Дочурка, рыдая, сообщила, что ей любить еще срок не вышел, что ее должны завоевывать. «Степан, опять ты! — злобно повернулась к нему жена. — Не время для нравоучений! Виканька вырастет, у нее появляются естественные для красивой женщины потребности — вызывать восхищение, вызывать любовь, быть в центре внимания...» — «А для некрасивой женщины потребность вызывать любовь противоестественна?» — спросил Пахарев. «Боже правый! — Жена схватилась за виски. — Ты не в духе, так прямо и скажи: я не в духе, я не могу вести серьезный раз-

говор! Так?» На экране телевизора серый, испитой человек, вздрагивая от усердия обвислыми щеками, долбил напористо: «Меня привлекают те периоды в жизни нашей страны, когда выявляется все лучшее...» «Только бы он позвонил! Ведь я же сперва ему понравилась!» — «Он слишком молод! Двадцать лет — это не мужчина! Виканька, молодой художник — это вдвойне не мужчина. Ты обязательно встретишь настоящего мужчину...» Обвислый, совсем войдя в раж, стукнул кулаком по столу, за которым сидел: «Я и впредь не собираюсь подсчитывать, сколько у меня положительных героев и сколько отрицательных, почему одних больше, других меньше, потому что изображаю действительность не по расчетам, а так, как вижу ее, как воспринимаю!» «Да выключи ты этого дурака!» — не выдержала Вика. «Это не дурак, это большой писатель! У него такие тиражи!» — закричала Анна Аркадьевна. Генерал забился в кабинет. Если бы можно было, он бы забаррикадировался.

В кабинете было тише — дом старой постройки, просторная целительная мягкость книг вдоль стен... Благовест писателя уже не бесил, а смешил. Боль в сердце поутихла. Но не прошла. Совсем износился, подумал Пахарев, усаживаясь в любимое кресло и неторопливо, со вкусом закуривая, на пенсию пора. Будет тебе завтра пенсия... Ладно, про завтра подумаем завтра, а пока — что там с Виктошкой? Эй, Виктошка-нехорошка, где твоя большая ложка?

И она, снизу заглядывая ему в глаза, серьезно возражала: «Виктоска холоска» — и прятала за спину самостоятельно найденные и сорванные цветы: колокольчик, лютик, пара ромашек, и говорила: «Ты меня лугаес, тогда не дам букетик...» И он поднимал ее своими громадными железными руками прямо в сверкающее небо, и Аннушка раскладывала нехитрую снедь на расстеленной плащ-палатке, потому что был выходной и они ушли позагорать на полянке парка, который тогда был еще почти лесом; раскладывала заботливо и смотрела с опаской: «Не урони. Не крути. Ты кружишь ребенку голову». — «Как тебе! — смеялся он богатырским смехом. — Такая у меня привычка — в свободное время кружить детям головы...» А из кустов доносились пулеметные очереди, разрывы бомб, гранат, снарядов, вопли «ура» — Володька десантировал куда-то... В каком же году это было? В шестьдесят треть-

ем? Не помню... А ведь не так давно, можно посчитать... Да, но не стоит. Раз не помню, то и не стоит.

А смешно сейчас вылететь в отставку, с восьмисот рублей на триста, то-то взвоят моя дражайшая... А академия? Как же она без меня? Он сразу вспомнил: прошлой осенью, стоило ему оказаться в госпитале, его врио, немедленно и необъяснимо ни с какой разумной точки зрения, закрыл главный вход для всех, кроме высшего комсостава, и офицеры, вольнонаемные, слушатели, адъюнкты обязаны были давать здоровенного крюка до маленькой проходной в правом крыле; лишь пять генералов имели право, неторопливо перебирая лампасами, будто красноперыми плавниками, шествовать по парадным ступеням, через мраморный вестибюль, декорированный простершим длань вперед Лениным, и часовой шалманым шестеркой растворял перед ними тяжкие двери... И никто не пикнул. Черт, да на кого же опереться-то, если что?

Он обвел взглядом бесконечные ряды пропыленных, звукоизолирующих книг. Сколько я из этого читал? Ничего, вот на пенсию выйду... А зачем тогда, в гроб-то глядя? А, собственно, зачем сейчас? Чему они меня научат? Поздно теперь? А когда было не поздно? Он прикурил вторую сигарету от первой, такое с ним бывало редко. В спокойном воздухе плавал волокнистый дым. Ладно, не стоит об этом. О завтра не стоит, о сегодня не стоит, о вчера... о вчера — тоже не стоит. Пороемся-ка в позавчера. Память о счастье дает силы, как ни крути. Пусть счастье ушло — но благодарность-то осталась. Капитан войск связи Пахарев, участник Парада Победы, прошедший причудливым, как жизнь, зигзагом Сандомир, Померанию, Зееловские высоты, Прагу и, на сладкое, Цицикар, раненный всего-то трижды, если не считать царапин, звеня медалями и скрипя сапогами, пригласил на вальс удивительно красивую девочку в латаном платье и новеньких румывках. «Как тебя зовут, сильфида?» — «Меня зовут Аня. А сильфида — это кто?» — «Это ты». Хорошо это было или плохо? Ведь сколько лет благодарил судьбу! Летишь, куда кривая вывезет, только через годы и годы понимаешь, к чему оно было тогда... Ах да, еще война. Там все просто — ложись костями. Куда стрелять, знаешь, а коли не знаешь — узнаешь скоро. И ведь воевал-то каких-то четыре года; всего четыре года войны и уже тридцать без нее, когда все равно ложись костями, но вот куда стрелять — не вдруг сообразишь... Может быть, никогда.

С хрустом таранишь лбом неподатливую массу лет, как «Голубую линию» таранили, как Днепровский вал, как Одерский рубеж, — но по ту сторону не немцы, а твое собственное будущее, твоих близких будущее. Разведанных никаких, радиомолчание противник соблюдает виртуозно, ни перехвата, ни пеленга, и вот прешь вслепую, ломаешь, не подозревая об этом, может, и строишь, не подозревая, но наверняка больше ломаешь. Как бы научиться вслепую только строить? Манн, знаешь? Не знаешь... Сервантес? Гете? Достоевский? Не знаете? Трепачи...

Да, расфилософствовался. Говорят, это к смерти. Единственный раз, под чуток разведенный спирт, разговорился о смысле культуры с зампотехом — и через два часа «студер» напоролся на мину. Зампотех погиб, шофер погиб, а я вот выжил, и даже ногу не оттяпали, хотя явно собирались... Ладно, не будем философствовать. Возьмем автомат... а лучше возьмем дивизию, и уж я гарантирую — я вышибу кого угодно откуда угодно. Балабола этого с телестудии, например, вышибу. Но не так все просто... а я хочу, чтобы было просто... и все хотят. Ладно, хотеть — полбеды. Быть уверенным, что все и впрямь просто, — вот где беда...

Все просто. Детей надо накормить, одеть, устроить... Ну, накормлю. А там — там опять куда кривая вывезет? Уже не меня, черт со мной, старым, — их? Но кривая-то вывозит криво... А мое ли это дело? Мое дело — жену любить, детей кормить... а они уж сами пускай едут своими кривыми, так? Ответственность... Перед Виктошкой? Перед Анютой? А перед собой? Перед совестью, перед партбилетом! Вот это помню, это, помирать буду, не забуду: двадцать седьмого сентября сорок первого года, за три дня до прорыва из окружения, в отсыревшей от бесконечных дождей драной палатке лейтенанту Пахареву вручили партбилет. И, паля из трофейного «МГ» по отвратительным мотоциклистам так, что они один за другим, кто в левый кювет, кто в правый, со скрежетом слетали с оседланной моим отделением лесной дороги, я чувствовал себя неуязвимым, потому что сердце мне прикрывал партбилет. И орал, салага: «Да здравствует Сталин!» по праву, потому что три дня назад политрук выдал мне партбилет. Но ведь не человеку мы присягаем, не имени, даже не титулу «генеральный секретарь»... Цели. Совесть присягаем.

Слова всё, слова. Как тот, до сих пор вешает? Орет... Мыс-

лить не научили, а веру пропил. А меня учили мыслить? Вся моя философия: делай дело, а там... Что — там? А там кривая вывезет. Но если мне мешают делать мое дело?

И какой из всего этого вывод?

Никакого.

Хочу в тридцатые годы, вот и весь вывод. Что, впрямь хочешь? Даже теперь, когда знаю? Но знания — сверху, по маковке стекают, а в глубине души — юность, и все залито солнечным светом, кумачом, радостными песнями и счастьем... Простой. Ладно, не стоит про позавчера.

«...И весь наш великий народ, ведомый великой партией, каждый из нас!..» — возгласил писатель за дверью, и раздался шелчок. Стало тихо.

— Степа-ан! — наиласковейшим голосом позвала жена. Пахарев несколько мгновений не шевелился, а потом встал и открыл дверь. Вики в комнате не было. Анна расположилась на диване так, будто собиралась Пахарева соблазнить.

— Ты спал?

— Спал.

— Я хочу с тобой серьезно поговорить, Степушка, — вкрадчиво произнесла она. — Вikanьке уже нужен друг, возможно, даже интимный друг, а не просто танцы и вечеринки. Это должен быть приличный юноша, не карьерист, но с перспективой. Надо что-то придумать.

Откуда это в ней? — с тоской думал Пахарев сквозь боль в сердце. Откуда?

— Не надо, — сказал он. — Кривая вывезет.

Ночью все спали, кто со снотворным, кто без. Утром Белков выкатился из вагона и бодро засеменял к ожидавшим его офицерам — подставлять руку для пожатий.

— День добрый, — голосом скопца сообщил он, дал Пахареву подержать жирненькую свою пятернишку, потом поднялся на цыпочки и дружески потрепал генерала по плечу.

— Все длиннеешь, Степан Филимоныч, — пошутил он. Пахарев улыбнулся, и тут же с готовностью расплылись все. Маршал дал руку заму по учебной части, начальнику политотдела, а потом сказал: «Всем — день добрый, товарищи офицеры!» — «Здравия желаем, товарищ маршал!» — ответили те.

— Айда, — сказал Белков.

На пяти черных машинах, распутивая светофоры, они поехали от Московского вокзала на север. Вывернули на Ли-

тейный мост, кавалькадой взлетели на вершину его пологой изящной дуги. Поплыла назад распластавшаяся в душной сероватой дымке неевского утра грузная «Аврора». Глядя в ее сторону, маршал положил левую ладонь на сгиб правой руки, а правую, стиснув кулачок, упруго вскинул в неприличном жесте и, изобразив таким образом знаменитую пушку, пискливым баском сказал: «Бабах!» Эту шутку он отмачивал здесь, на мосту, всякий раз. Пахарев, сидевший рядом с маршалом на заднем сиденье, как всегда, смолчал. Водитель даже не обернулся.

Они приехали, поднялись на седьмой этаж. Маршал катился по ковровым коридорам и похваливал: «Чистота... порядок... Узнаю твою руку, Степан Филимоныч... Это что? А, клубное фойе, запомятовал. Дурацких фотографий ты тут повешал. Приборы, приборы, как в музее. Девчат надо вешать, связисток молоденьких, чтобы икры ядрились! В фойе клуба все должно радовать глаз...»

Вошли. Женечка поднялась из-за стола и наклонила голову в приветствии.

— Денек добрый, — сообщил маршал, улыбаясь. — Ты все, Женя, хорошеешь. Расцветаешь, как цветочек. Кто ж тебя поливает?

Женечка изобразила благодарную улыбку:

— Спасибо, вы очень добры ко мне.

— Ого! — поразился Белков. — Неужто и этому мне тебя учить? На маршальский комплимент и отвечать комплиментом надо! Маршал не хахаль на танцульках! Да, господа офицеры, — пошутил он и сам заулыбался, показывая, что гневные реплики были не всерьез, — подраспустили вы своих секретуток... Так. Стены серые. Женя! Я ли тебя не предупреждал?

— Мы не получили от вас четких директив относительно цвета замены, товарищ маршал, — немедленно проговорил Пахарев. — Поэтому отложили решение вопроса до вашего приезда, надеясь посоветоваться непосредственно.

Маршал слегка набычился. Оглянулся на сопровождающих.

— Хорошо, Степан Филимоныч, — пошел он на мировую. — Мы с тобой еще поговорим.

Пахарев вежливо склонил длинную голову и сказал с приятной улыбкой:

— От души надеюсь, что график игры позволит нам выкроить час-другой для решения этой важной проблемы.

Стало очень тихо. Маршал оттопырил нижнюю губу, смеялся Пахарева взглядом. Качнулся с каблука на носок.

— Понял, на что намекаешь, — сказал он с заметной угрозой в голосе. — Но в армии пустяков нет, Степан Филимоныч. Вот не думал, что мне тебя этому учить. Все важно! Рада-ры двигать вправо-влево и дурак сумеет. А вот чтоб каждая мелочь работала на создание благоприятного психологического климата в коллективе — тут постараться надо, помозговать как следует! И не пренебрегать мелочами!

Офицеры шумно перевели дух.

Совесть, опять подумал Пахарев. Какая, к черту, совесть! Просто я злой, страшно злой, и даже не понять, на что. На все. Предел. Терпеть больше не могу. Работать могу, а терпеть нет. Давайте работать. Ради бога, товарищ маршал, давайте работать. А то ведь я такой злой. Спасибо тебе, злость. Спасибо, парень, который никогда не позвонит Вике, спасибо, неизвестный солдат, ты их разозлил, а они — меня. Спасибо, Женечка.

— Может быть, начнем помаленьку? — предложил он.

— Начнем, начнем, — угрюмо согласился маршал. Женечка спросила:

— Кофе подать сейчас?

— Я скажу когда! — рявкнул маршал. Он шагнул к двери, ведущей из приемной в кабинет, — к той самой, из которой выглядывал вчера с коробкой конфет Пахарев, — и вдруг резко остановился. Все опять замерло. Белков подскочил к окну, схватил стоявший у стены длинный деревянный шест, которым Женечка открывала и закрывала занавеси на огромных окнах и, переваливаясь, подкатился к столу.

— Это что?! — уже не сдерживаясь, визгливо заорал он, потрясая шестом. — Я спрашиваю: это что? Или я не говорил, чтоб заменить деревяху на алюминий? Срамно такое в генеральской приемной! Срамно! Или я, тудыть вашу, не говорил?!

И он, кавалерийски размахнувшись, хрястнул шестом по столу. Женечка отшатнулась, чуть вскрикнув. С ужасающим костяным треском шест переломился, словно взорвался; кусок его, вертясь, прыгнул в сторону, задев Женечкино плечо, и на излете угодил в пах начальнику строевого отдела. Пол-

ковник Хворобин коротко дернулся и, не нарушая стойки «смирно», которую принял при первом же выкрике Белкова, шумно втянул воздух носом.

— Впредь напоминать не буду! — тяжело дыша и мотаясь взглядом с обломка в руке на обломок на полу, прохрипел маршал. Перевел дух. — Айда, товарищи офицеры. Дело не ждет.

Он повернулся.

— Минуточку, — сказал Пахарев резко и весело.

Все уставились на него. «Степан, не дури!!» — раздался сзади отчаянный шепот начполита.

— Да? — глядя исподлобья, фальцетом рявкнул маршал.

Только бы не инфаркт, вдруг подумал Пахарев. Только бы не инфаркт!

— Если Москва, — сам изумляясь сложности своей совершенно не подготовленной речи, отчеканил Пахарев, — не уполномочила вас, товарищ маршал, довести до нашего сведения, что хамство впредь должно являться украшением советского офицера, и все происшедшее — плод вашей личной инициативы, предлагаю вам немедленно извиниться перед Евгенией Андреевной. Вести себя таким образом в присутствии женщины, которая значительно ниже вас по положению и не может ответить вам пощечиной, — подло, товарищ маршал.

«Филимоныч!» — свистяще выкрикнул сзади начполит.

Зажужжала муха и смолкла.

Белков стремительно багровел.

— Что? — просипел он.

— Немедленно, — сказал Пахарев. — В присутствии всех, при ком вы... хулиганили.

Белков враскорячку пригнулся и растопырил пальцы, будто готовясь броситься на Пахарева, открыл рот, закрыл, снова открыл. Шея его надулась, воротничок туго врезался в толстую, как у черепахи, кожу.

Женечкины глаза с громадными от ужаса и сострадания черными зрачками летели на Пахарева, как смерть. Но нет — как жизнь. Все наконец-то стало просто. Пахарев снова, будто лейтенант, воевал с фашизмом.

Прорывался из окружения.

В этот момент Дима еще лишь начал просыпаться. Он спал хоть и крепко, но очень беспокойно. Снилось Она. Сни-

лась Вика. Снился Ева. Потом снова Она. Потом какая-то незнакомая фантастическая девушка, почему-то в очках, хотя в жизни Дима очкастых девушек недолюбливал. Потом даже Вика с Евой одновременно. И просыпаться не хотелось.

Просыпался долго, мучительно и никак не мог взять в толк, почему лежать так жестко и что давит в бок. Мысли сонно несуразничали. Ему подумалось было, что он еще в поезде, над тамбуром скрючен — уснул в душной темноте и бригадир про него забыл. Но где тогда мерзкий напарник? Его выпустили, а Диму оставили? А как же Вика в этот карцер попала? Или Вика была до карцера? Господи, как стыдно, ведь я же Ее люблю, только Ее, почему же тогда Вика?.. Постепенно приходя в себя, Дима совершенствовал гипотезу за гипотезой, и наконец угрызения совести разбудили его окончательно. Он открыл глаза.

Он лежал на полу своей комнаты, рядом валялся опрокинутый мольберт, раскинув на стороны драный холст.

Дима с трудом сел. Поднес к лицу правую руку — тыльная сторона ладони была покрыта засохшей кровью.

Ну да, все правильно. Он писал вчера. Дима разгладил один из увядших обрывков холста — там была лишь синева с чуть намеченной яркой звездой.

Афродита...

Вчерашний вечер прошел бездарно и тревожно. Дима приехал — тетя Саша была на работе. Кинул портфель в угол, проглотил ужин в ближайшей забегаловке...

У Нее не отвечали. Дима ждал, наверное, минуты три, дыша в трубку и тиская ее потными пальцами, не мог поверить. Потом злобно вздернул ее на рычаг, как предателя, на которого пули жалко, помаячил по улицам — руки в карманах, над головой заря на полнеба, сбоку Обводный. Опять влез в кабину, позвонил, закусив губу. Гудки гудели.

Он вернулся, простирнул барахлишко, заштопал лопнувший на пятке носок, принял душ, а тем временем тетя Саша появилась. Минут десять они покалякали, попили чаю, потом он спустился и снова позвонил — не отвечали.

Когда он вернулся, тетя Саша созерцала телевизор. «Погляди, кто», — сказала она. «Кто?» — спросил Дима. «Писатель». — «Бывает», — ответил Дима. Писатель стукнул кулаком по столу: «Я и впредь не собираюсь подсчитывать, сколько у меня положительных героев!..» — «И не надо», — сказал

Дима. «Чего киснешь?» — спросила проникательная тетя Саша. «Писателю завидую, — ответил Дима. — Человек с талантом». — «Бывает», — в тон ему заметила тетя Саша. Дима засмеялся и хотел уйти, но она его остановила: «Ты вот что... со стенки убрал бы этих бешеных. С гусями ладно еще, пусть висит... Он бренчит, она ластится — дело житейское. Но этих — ей-богу, неудобно, Дима. У меня ж пожилые люди бывают. Я понимаю, конечно: искусство, красота человека, обобщения широкие всякие — слава богу, четвертый год у меня живешь. Но они-то еще не привыкли... По совести-то сам скажи: ну чем они тут занимаются?» — «Любовью», — ответил Дима вызывающе. Тетя Саша скептически качнула головой. «Не так это зовется», — сказала она. «Ну конечно! — разозлился Дима. — Любовь — это когда она ему ши варит да трусы стирает, а он у телика дремлет, но получку всю в дом, в дом!» — «Не без этого, — с достоинством согласилась тетя Саша. — Нынешнюю оторву в кровать затащить легче, чем заставить трусы мужу выстирать. Я, между прочим, — с ноткой гордости припомнила она, — покойнику своему через день белье стирала. А свекровушка еще от своего старика подкидывала кальсоны да портянки... и ничего. Если, Дим, девка с тобой ляжет, — это еще не любовь. А вот если ши сварит, да вкусные, от души...» — «Лучше сдохнуть!» — решительно сказал Дима. «Ладно, — столь же решительно сказала тетя Саша. — Но пока не сдох и шевелиться в состоянии — порнографиюними». — «Тетя Саша, это же «Амур и Психея»! «Вечная весна»! Это же Роден!» — «Знаю, что не Васька из пивбара, ноними». — «Это же Она подарила! Сама, понимаешь, на эскизной практике срисовала и подарила, за просто так!» — «Дарят всегда за просто так. Если не за просто так, то это не подарок уж, а взятка. А кроме того, коли всерьез разговор пошел, то знаешь, доложу я тебе, когда девка влюбленному парню вместо себя такие картинки дарит, — хамство это и измывательство. Ну, с гусями — ладно, пусть... как их... «Поэт и муза». Но оглашенных в уголок куда перевесь или за шкаф... Невтерпеж стало — вынь да погляди, а потом обратно спрячь». — «Лады, тетя Саш», — ответил Дима. Не было сил заводить их своеобразные, довольно веселые и вполне добродушные споры, вот сейчас не было, когда у Нее никто не отвечал. Хамство это и измывательство. Он ушел в свою комнату, осторожно коснулся твердой бумаги тыльной стороной ладо-

ни. «Я пыль-то стирала», — мирно сообщила, стоя в дверях, тетя Саша. Неверно она поняла его движение. По-бытовому. «Спасибо», — невнятно ответил Дима, бережно поглаживая плечо и запрокинутую шею маленькой женщины. «Измывательство, верь слову», — сказала тетя Саша. «Я так не думаю», — мягко ответил Дима. Ведь была же под пальцами не холодная шершавая бумага, а теплая кожа и толчки возбужденной крови... пусть невзначай, как бы случайно — но была... Он не заметил, как вышла тетя Саша.

Надо было коротать время. Ждать, как всегда. Раз Она ушла вечером, значит, раньше полуночи не вернется, звонить так поздно уже неловко. До вторника четыре дня. Надо ждать. И набирать, набирать, набирать номер... И верить. Не напарнику, не Еве, не Вике — только Ей. И — Лидке верить, ведь бывает же, что женщина очень любит, бывает все-таки. Например, Лидка.

Шут. Что ж ты делаешь с Лидкой, Шут? Как-то незаметно для себя Дима начал водить карандашом по листу блокнота. Песок? Нет, теперь это будет галька. Мелкая галька и два горбящихся над водой валуна — излизанных прибоем, с мягко гуляющими бородами коричневых водорослей понизу. И дальний берег, выдающийся в море темной чертой между опаловой гладью залива и потайной синевой неба, пронзенного искрой Венеры над желтоватой зарей... Дима очнулся — был только карандаш; небо, вода, камни оказались серыми, как повседневность. Он бросился в угол, зажег свет, дрожащими руками стал натягивать маленький холст. А в сердце уже пылало нетерпение, закипал экстаз: не хватало воздуха и упруго билась кровь в висках. Все пропало. Из коридора раздался голос тети Саши: «Эй, творец, чай гонять будешь?» — «Не-е... » — промычал Дима. Она заглянула и тихо притворила дверь. Она уже не раз видела такое и знала, что это надолго и добром не кончится. Чуткий, застенчивый Дима брызгал слюной: «Ну пожалуйста!! Ну я же просил!! Не мешать сейчас!!» Она вздохнула — изведется парень. И девка-то так себе, неказистенькая. Кудлатая...

Дрожание рук пропало. Но дрожали нервы, ибо бог приходил все реже. Ибо только ради этих секунд Дима и жил; кроме них, все было лишь ожидание. Даже нежная кожа под подушечками пальцев. Эти секунды были гневный ответ напарнику, и Еве, и всем ненастоящим. Если бы их можно было

вызывать нарочно, эти секунды! Он широко, машуще швырял краску на полотно и не думал ни о смысле, ни о композиции, ни о будущем зрителе.

Он как-то вдруг узнал, что вечер поздний и безветренный. Необъятное море дымным розовато-серым зеркалом лилось к растворенному в сумерках горизонту. Заря, почти отгорев, оплывала на дальний мыс. Там мерцало пять огоньков. Там жили ловцы жемчуга. Что бы ни происходило на суше, они с рассветом уходили в море, в любую погоду, и каждый мечтал подарить жене хоть одну жемчужину. Но никто не мог этого сделать. Скупщики все понижали цены, продавать надо было больше, больше, иначе — голод. Да еще эти страшные слухи — будто на краю света, в стране Чипингу, научились разводить жемчужниц и собирают драгоценные капли как картофель. Значит, цены совсем упадут. Да уж куда падать-то, все думают только о жратве, красота не нужна никому, улова едва хватает, чтобы сводить концы с концами, и нельзя ни единой жемчужины подарить единственной, с которой мучаешься вместе, распятый подлой жизнью на одном кресте. Чтобы сказала «спасибо» и вскинула помолодевший взгляд. Чтобы разгладились просекшие грубую кожу морщины и ресницы, которых, казалось, совсем уже не осталось с тех пор, как грянула вихрем искр и лент свадебная румба, вдруг качнулись, как опахала во дворце базилевса... И ныряешь каждый день в страшную глубину не для нее, не для нее, а глубина выдавливает глаза, выхлестывает уши, а жемчуга все меньше... И потому, без сил вернувшись в дом на закате, не говоришь: «Как я соскучился по тебе за день, любимая...» — а говоришь только: «Жена, жрать!», говоришь: «Дома — хлев, почему до сих пор не выстирана скатерть?»; а сыну, вместо того чтобы по складам почитать с ним сказку, водя неразгибающимся пальцем по большим детским буквам, говоришь: «Отстань, ублюдок! Не видишь — отец устал?!» И единственная не говорит спасибо, и морщины все безнадежнее просекают кожу, и глаза — маленькие, злые, все — забота о хнычущих детях, все — укор тебе, бездарному, не умеющему ничего, лишь уворачиваться от барракуд, одолевая мурен и заискивать перед скупщиком, лишь бросаться в пучину, находить там, на грани смерти, крупинки неземного огня и за бесценок продавать их, покатав в дрожащих от усталости, покрытых коркой мозолей и шрамов ладонях.

Но вечер. Пронзительный, словно совесть, пылает Вesper — огромная жемчужина, которую не продать и не купить, которая есть у всех, потому что она одна.

И там, куда вонзился острый огненный луч, вода, дрогнув, взлетела, как от удара. Не по-вечернему неистово ушел к зениту призрачный столб. И вдруг пена, простая морская пена, кинув белые брызги, лопнула на чем-то гладком, округлом, до прозрачности нежном, и в этом нежном отразился горный блеск. Боже мой, плечо! И рука, и вот тонкие, трепетные пальцы арфистки... часовщицы... И девичий гордый и ломкий изгиб шеи — желтоватый блик, отражение зари... а из глубины взорвавшейся воды ослепительно высверкнули глаза. Огромные, наивные, не замутненные своими заботами и потому скорбные заботами мира... Умоляю, иди к ним скорее, воскреси! Боже, как передать эту чистоту, которая должна, должна быть?! Вот... еще слегка... нет, соскоблить... А, черт, не туда ляпнул, опять руки дрожат... Нет, не дрожат, просто не знаю, куда. Пена-то какая дурацкая, плотная, как железобетон...

Да, но при басилевсах не плясали румбу. И название Чипингу пришло только с Марко Поло, а во времена Афродит про Японию и лапоть не звенел... Ч-черт! Глаза! Плагиатом занялись, Дымок, глаза-то как у рериховской индианки из «Весны»?!

Дима опустил кисть. Возбуждение и ярость клокотали в нем, хлестали изнутри по лбу и щекам; он, как Беллерофонт, падал с олимпийских высот, земля, крутясь, бешено налетала. Несколько секунд он всхлипываяще дышал — с кисти капало — и глядел на полотно. Все было мертво. Стояла баба в мыле. Глаза острые, похотливые; чуть упоить ее — сама ползет...

Он не мог!!!

В мозгу взорвалась атомная бомба. Ибо ярче тысячи солнц запылал умирающий бог и тысячеголоса завывли фиаситы, раздирая рубища и кожу... Дима бросился на картину, кистью, словно ножом, пропорол холст. Все загрохотало, рушась, пол ушел из-под ног, а потом врезался в руку и лицо.

Стало тихо.

Дима лежал на опрокинутом мольберте... рядом с отвернувшейся, не захотевшей его Афродитой. Он прогорел. Он никому не нужен. Это не жизнь.

Так он уснул.

...Он медленно поднялся, поднял мольберт. Я плохо кончу, подумал он равнодушно. Вышел в коридор. Из кухни аппетитно пахло стряпней, раздавалось потрескивание — что-то жарилось. Тетя Саша увидела его — серого, с оцарапанной щекой, с ладонью, покрытой корочками крови, — и приветливо заулыбалась.

— Утро доброе работнику фронта культуры, — сказала она.

— Утро доброе работнику производительной сферы, — ответил Дима.

— А чего это у тебя шум был под утро, часов в пять? Я аж проснулась, думала — вору лезут.

— Воры и были. Родена украсть хотели, решили, что подлинный. Я с ними с тремя воевал, изранен.

— Не завидую вору. От разъяренного художника не уйти.

— Они и не ушли. В комнате трупы штабелем.

— Завтракать будешь? Хотя уж обед на носу, первый час...

Дима глянул на часы — было семнадцать минут первого. По стеклу мышиной шерстинкой змеилась свежая трещинка.

— Если позволите, чайку глотну.

— Позволю.

Он наспех глотнул. Потом бросился на улицу, к телефону.

Сердце полетело куда-то в сторону, выбитое из груди знакомым «Да-э?».

— Здравствуй, — позвал он.

— А, привет! Вернулся?

Он перевел дух.

— Да, вчера вечером. Звонил тебе, но не застал.

— Погоди, вчера вечером? А, вспомнила.

Сердце вернулось. Колотилось в душном мраке. Целая вселенная жила в пустоте, сминаясь в раскаленный сверхплотный клубок и вновь разлетаясь бесчисленными мирами...

— Как покайфовала?

— А, ерунда. Мыкалась по Золотому кольцу — обрыдло-о...

— Давно приехала?

— В прошлую среду. А как ты? Чего натворил?

— Одну штуку хитрую...

— И только-то? — Она усмехнулась. Всегда-то Она усмехалась. — Для тебя это маловато... Чем же она хитра?

О чем мы говорим, с отчаянием думал Дима, о чем? Звать же Ее надо! Скорее! Хочу видеть Тебя!

— А вот на первый взгляд просто, знаешь ли, пляж, солнышко светит, лежит мужик в трусиках...

— Надо же! У тебя дар художественного предвидения прорезался. Я вот завтра тоже буду на пляжу возлежать.

Дима облизнул губы.

— На каком пляжу? — хриловато спросил он.

— На мисхорском. Это в Крыму, слышал?

— Живут же люди, — проговорил он после паузы. — Золотое кольцо, потом сразу — Крым... Когда едешь?

— Лечу, Дымок, лечу. Так что ты очень удачно меня застал.

— Я везучий. Одна?

— Нет, естественно. С Киркой и ейным брательником. Как и намеревались.

— Когда намеревались?

— Весной... Ты что, не слышал эту эпопею?

— Ясно дело, не слышал.

— Я уж всем, кажется, излагала. Как это ты ухитришься все пропускать мимо ушей?

Она начала рассказывать. Он слушал, угукая или похихатывая, где надо. Все было как всегда. Он только откинулся на стенку кабины, чтобы обмякшие ноги не посадили его на пыльный пол.

— Ты чего мешком побитый? — спросила Она в заключение, все-таки что-то учуяв.

— Разве? По мне, так я очень веселый. И страшно рад тебя слышать.

Он не мог бросить трубку и уйти. Казалось, это розыгрыш. Ведь в ящике стола светятся два билета. Сейчас все разъяснится.

— Так мы что — не увидимся? — небрежно спросил он.

— Знаешь, Дымок, не выгорает. Через час — такси. Кирка с Лехой заедут — и прямо в Пулково. А у меня еще и чемодан недособран.

— Может, в порту проводить?

— Ой, не люблю я этого... Чего там, в очередях-то? Регистрация баракла, потом извольте в накопитель...

— Да, действительно. Ну, извини. Счастливо.

— Творческих успехов. Не сачкуй. Вернусь — проконтролирую.

Дима выкарабкался из кабины. Его покачивало, голова кружилась. Я же хотел сказать... сразу сказать... что? Он так и не мог понять, что он хотел сразу сказать.

Солнца не было. Чадный воздух нависал над городом, над водой, баюкающей окурки, обрывки бумаг, радужные пятна бензина и мазута. Над угловатыми домами, искромсавшими плоское, медленно дымящееся небо. В это небо скоро поднимется самолет.

По заплыванным ступеням Дима спустился к воде. Сел. Погрузил ладонь, вынул. По ладони стекали маслянистые капли и срывались, сначала быстро, потом реже. Перестали. Ладонь осталась жирной, в потеках.

В голове не укладывалось. Ведь он же спешил, он приехал. Он все сделал.

Он верил!!

Он не верил Шуту, не верил Еве, не верил Вике, не верил напарнику. Никому из тех, кто не верит, он не верил. Он верил лишь Ей — Той, к которой спешил.

А Она оказалась с ними заодно.

Раньше Она была ни с кем, сама по себе, и хвасталась этим. Верно, Ей и теперь кажется, что Она сама по себе. Ни с кем.

Не с ним.

Он ударил кулаками о твердые ступени. Стало больно.

Он поднялся, отряхнул брюки. На них остались от рук жирные пятна. Вяло усмехнулся: всегда так. От одного чиститься, другим мажешься...

Я-то знал, что в Ее поведении, в общем, не было злого умысла, не было намеренного издевательства. Она просто давным-давно забыла о том разговоре; две фразы — одна Димина, одна Ее, — которые Дима вспоминал тысячекратно, вертя и так, и этак, вникая душой в каждое слово, в каждую интонацию, для Нее ничего не значили, потому что Дима для Нее ничего не значил. Она не была увлечена им ничуть. Она, конечно, все равно не поехала бы с ним вдвоем никуда, повторял он хоть каждый день свой призыв, — но он не повторял, и приглашение улетучилось из Ее памяти уже дня через три, выпаренное более актуальными переживаниями и заботами. А сейчас Она говорила с ним намеренно небрежно, по-

тому что Ей казалось: он слишком много мнит о себе — и как художник, и как Ее приятель. Раз в месяц позвонит и сам обижается, что его не ждут с распростертыми объятиями... То, что он обиделся, Она почувствовала, конечно, но объяснила, поскольку не помнила о приглашении, эту его обиду своим пренебрежительным отзывом о какой-то там его картине про мужика на пляже — подумаешь, сюжетец! — и своим отъездом в Крым — что же мне, на самолет опаздывать, раз этот позвонил!.. Забавно, если пытаться транслитерировать мысли, Она думала о себе с большой буквы, так же как он о Ней. Она повесила трубку в прекрасном настроении, очень довольная собой.

Тетя Саша — сегодня она была во вторую смену — бодро собиралась на работу, машинально, сама того не замечая, подмурлыкивая песню Штирлица: «Ты полети к большому дому, отсюда к большому до-ому...» Увидела Диму и осеклась.

— Ты чего? — спросила она. — Под машину попал?

— Машину?.. Нет... Почему?

— Напуганный какой-то. И зеленый.

— От воздуха здешнего.

— Воздух ему не нравится! Ишь, цаца! — Тетя Саша поправила очки. — Вон письмо от родителей пришло.

— Опять? — тоскливо вздохнул Дима.

— Что? — возмутилась тетя Саша. — Радоваться должен, дура! Это уж которое за лето?

— Четвертое...

— И ни разу не отвечал?

— Открытку...

— А ты сволочь, — заметила тетя Саша. — Хоть бы теперь депешу какую сочинил!

— Ну какую депешу! Живем мы хорошо, здоровье наше хоршее...

— Ты зачем девчонку-то свою разодрал? — без перехода осведомилась тетя Саша. — Хорошая девчонка такая, милая. Как рука поднялась...

Дима не сразу понял, о чем речь.

— Заслужила, — проговорил он глухо. — Потаскуха в бане.

Тетя Саша качнула головой:

— Ну, даешь... Сам рисуешь, колотишься весь, из ушей дым — и сам же в дерьмо кунаешь. Погоди, другие успеют!

— Не хочу, чтоб другие. — Дима поспешно взял письмо, распечатал и сделал вид, что углубился.

— Смотри, — сказала тетя Саша. Поправила очки. — Ну, я пошла.

— Счастливо. Я тоже, верно, смоюсь.

— Вот блукала-то! Сидел бы дома, работал.

— Не могу, тетя Саш. Честное слово, сам бы рад — не могу.

Письмо было как жеваная бумага. Как учеба? Почему не пишешь? Тепло ли одеваешься? Не куришь ли, не пьешь? Если надумаешь уже жениться, хорошо бы на невесту поглядеть. Почему не заехал, ведь был же в Москве?.. Господи!

Дима уронил письмо, вяло поводил глазами по комнате. Напрягся.

— А-а! — плотоядно сказал он рвущимся голосом и, стиснув кулаки, пружинно встал. — Поэт и муза!

Подошел к Родену. Поэт, запрокинув тонкое лицо, прильнув к музе затылком, слепо глядел на Диму. Хороший эскиз. Не буду. Кулаки разжались.

У Нее добротная, четкая рука. Но почему Она никогда не показывала то, что сделала сама? Только копии, задания...

Тренькая на гуслях, поэт пел свою вечную песнь. Все-то у них вечное — песня вечная, весна вечная... Требуха собачья.

С вялым презрением мотая головой, шаркая ногами, он подошел к накрытому запыленной простыней полотну, громоздившемуся в углу, как заснеженная палатка. Откинул.

Я едва не ахнул. Откуда взялась здесь эта знаменитая в девяностых годах картина? И тут же я вспомнил — потому что, глядя на полотно, подсознательно вспоминал это Дима, — как он писал ее, как колдовал, подбирая краски, весь прошлый месяц... Это была его работа, его!

История полна лжи.

В комнате, казалось, стало светлее, когда Дима отбросил простыню. Будто потеплело даже. Солнце стояло над морем, в праздничном синем небе, и прогретая вода мягко, спокойно сверкала.

На светлом песке лежал человек. Он улыбался, он впитывал солнечный блеск всей кожей. Он был счастлив. Наверное, он дремал.

Над картиной был кривовато повешен светильник с лампой, выкрашенной в резкий красный цвет. Дима потянулся включить его, и, как всегда, рука чуть запнулась, прежде чем

дернуть шнурок, а глаза еще раз наскоро обшарили полотно, исполненное сладкого покоя. Лампа зажглась.

Картина преобразилась мгновенно.

Синее небо внезапно стало черным. Солнце пугающе вспухло, раскинув через мглу клубящиеся протуберанцы. Свирепый огонь окатил мир. Песок остекленел. Горел даже воздух, накаленные до призрачной голубизны струи вились над берегом. Море испарилось бесследно, апельсиновые блики на ребячливых волнах превратились в пылающие расплавленным металлом вершины вставших со дна сухих скал.

Человек умер.

Он лежал, даже не успев изменить позы, и только словно бы пытался последним усилием втереться в раскаленную песчаную твердь и спрятаться, спрятаться. Зияли выжженные глазницы. Обугленная кожа полопалась и скрутилась на животе и на груди, обнажив бурые спекшиеся внутренности.

Так и есть, думал Дима, спускаясь по темной лестнице, пропахшей кошками и помойкой. Он легко вел чуткой рукой по шершавым перилам и пытался приучить себя к мысли, что некуда спешить. В плотно утрамбованном графике возник фатальный пробел. График был как доспех, но вот сталь лопнула от могучего удара, а снаружи — был огонь.

Дима очнулся у кабины телефона. Внутри азартно скорчился какой-то молодой моряк, он что-то толковывал трубке, бурно жестикулируя свободной рукой. Дима посмотрел на часы: Она еще дома, наверное. Но звонить... Почему он сразу не сказал?

Что?

Почему Ей не нравится то, что он пишет?

Показать бы Ей «Пляж»...

Поздно.

Но он все стоял у кабинки, перебирая в кармане монеты.

Моряк повесил трубку, повернулся выходить и встретился с Димой взглядом. Секунду Дима недоуменно смотрел на широкое скуластое лицо за стеклом. Моряк остолбенел. Потом на его коротких губах проступила улыбка, и Дима тоже оторопело улыбнулся: в кабине стоял Сашка. Восемь лет за одной партией.

— Вот те на! — Сашка распахнул задрезавшую дверь и, залившись счастливым смехом, стал тянуть к Диме руки. Ди-

ма отдал свои, Сашка их стиснул. Дверь бабахнула в железные пазы, чуть стекла не вылетели.

— Тесен мир! — закричал Дима. Господи, Сашка... Время-то какое было... — Как кстати! Как здорово! Экий стал здоровенный! — ласково приговаривал Дима.

Сашка засмеялся с новой силой и выпустил его руки.

— А помнишь, как ты меня колотил? — спросил он с удовольствием.

— Я? — поразился Дима. — Тебя? Когда это?

— В третьем классе, из-за Милки. Я ее за косы дергал, а ты выеживался, рышаря изображал... Дымок! Рад тебе!.. Черт, да как же ты тут очутился?

— Учусь...

— Где учишься? У будки?

— Да нет, в Ленинграде. В Репинке.

— Это что?

— Ну как... Институт живописи, скульптуры и архитектуры, так, кажись.

— А, все малюешь...

Сашка был явно рад. И Дима тоже был рад, и старался сосредоточиться на этой радости и забыть обо всем ином, но в глубине души все равно постоянно ощущал ледышку грусти.

— Да, — сказал он, желая доставить Сашке удовольствие, — теперь тебя руками не трогай. Эдакий жлоб!

Сашка опять захохотал.

— Кой-чего прибавилось, — проговорил он с достоинством. — Хочешь, спробуем?

— Как это? — спросил Дима опасливо.

— Как встарь. Локти на подставку!..

— А, — сообразил Дима. — Ну, давай. Только, если не возмражаешь, левыми. Я тут расшибся давеча. — Он показал.

— Левыми так левыми, — великодушно согласился Сашка.

Они поставили локти на парапет набережной, сцепили пальцы. Огромная Сашкина лапа была как железная — горячая и твердая. Дима боролся секунд пять, потом сдался. Он знал, что этим кончится, но не ожидал, что так быстро. На пальце у Сашки задорно блестело обручальное кольцо.

— Да-а, искусство до добра не доводит. — Сашка опустил руку. Он тоже знал, что этим кончится. — Вон и рожа у тебя наркоманская...

— Да Христос с тобой!

— Заливай — прозаливаешься! Знаю я вас, эстетов. Чтоб замысловатей малевалось — шибип!

Прогрохотал мимо, неуклюже выворачивая на мост, переполненный трамвай. Подпрыгивая на неровном, штопаном и латаном асфальте, катились машины. Друзья стояли рядом — Дима повыше, Сашка покрепче, пошире в плечах. В общем-то одинаково стояли. Ногами. Одеты они были по-разному, но ткани были одинаково плохи. Один и тот же воздух, полный выхлопов и выбросов, гулял по их почти одинаковым легким, оставляя там равные количества окислов свинца и азота.

— Ты, я смотрю, женился? — спросил Дима.

— Да, — счастливо заулыбался Сашка. — Вот уж полгода... Даже нет, мы сразу после похода поженились. Семь месяцев. Медсестра на базе.

— На какой базе?

— Да на... — Сашка осекся. — На нашей, на какой же еще...

— Ясно дело, не на американской.

— Еще не хватало!

Дима засмеялся. Сашка хлопал глазами, постепенно распаляясь.

— Замечательная девушка, между прочим, — сказал он вызывающе. — Все так складно у нас получилось! Так что я убедился кстати: все просто. Встретились, полюбили, поженились. А книжки про любовь извращенцы пишут.

Дима пуще засмеялся, с удовольствием глядя на Сашку.

— А ты не торопишься? — спросил тот как-то злорадно. — Фри лав накручиваешь?

— Что-о?!

— Шучу. Да... Так о чем говорю-то?

— Покамест ни о чем. Но, как я понимаю, хочешь рассказать о суровых и прекрасных буднях похода.

Сашка с ошалелым подозрением уставился на Диму:

— Ты откуда знаешь про поход?!

— Да бесы меня дери, ты же сам сказал.

— Не мог сказать, — озадачился Сашка. — Что сказал?

— Что поженились после похода.

— А-а... И все?

— Пока все.

Сашка облегченно вздохнул.

— Ну, в общих чертах, — попросил Дима. Он видел, что

Сашку распирает и запирает одновременно и нужен компромисс, чтобы хороший человек сделал себе приятно и просветил неграмотного эстета, в то же время не раскрывая ему государственных и военных тайн. Судя по Сашке, он был наполнен ими до краев. — Какова специфика текущего момента?

— Что это ты таким языком заговорил? Иронизируешь?

— Помилуй бог! — Дима поднял руки.

— Вижу, вижу! Ни стыда у вас, ни совести... И понимания, между прочим, с гулькин нос. Вот попрут через кордон, спесь-то с вас посшибают! Видел, приходят к нам такие вот Чайльд-Гарольды.

— Излечиваете?

— А ты думал! Так что, — Сашка покровительственно хлопнул Диму по плечу, — малюй, не робей, эстет. Только знай, кому ты обязан... Они, конечно, сволочи, времени не теряют, тоже работают, и дисциплина у них не хуже нашей...

— Да у кого у них-то? — не выдержал Дима.

Сашка поразмыслил: говорить или нет? И произнес, почему-то понизив голос:

— Я на Тихоокеанском. Китай рядом. Остальные, впрочем, тоже, — сказал он уже громче. — Но мы сейчас очень сильны. Поверь специалисту. Сунься кто — пожжем, мгновенно пожжем! Без всяких там ядерных. Ты б видел, как обыкновенный «град» чистит по берегу!

— Как? — спросил Дима. Опять ни с того ни с сего начало саднить руку, он осторожно тронул место, где была сорвана кожа. Сашка снова осекся.

— Э... хорошо, — неуверенно сказал он. — Чисто чистит... Ты бы лучше сам что рассказал.

— Ну что... — Дима смущенно улыбнулся. — У меня все малоинтересно. Нос не нарисовал или глаз... вроде все правильно, а мертвый какой-то. Стоишь, потеешь... звереешь иногда...

Сашка непонимающе помотал стриженной головой.

— Ну работка, — сказал он пренебрежительно. — Глаз мертвый...

— Треплись-ка ты, — предложил Дима. — У тебя вопрос общеинтересный. Перспективы мирного строительства, да еще из первых рук... Ты уже кто?

Сашка помедлил, явно опять решая, можно отвечать или нет.

— Нач БЧ на катере, — затем все-таки сообщил он туманно.

— Ну вот видишь. Уже нач. Значит, доступ к информации...

— Опять у тебя голос диссидентский, — подозрительно прищурился Сашка. — Не пойму, чего смешного, — мы там уродуемся, чтоб такие вот олухи могли носы оживлять, и вы же еще хихикаете!

— Да не хихикаю я! — потерял терпение Дима. — Чего ты такой напуганный?

— Напуганный... — Сашка неопределенно шевельнул рукой. — Остохренели разговорчики все эти...

— Какие?

Сашка не ответил.

— А куда поход-то был? — наивно спросил Дима. Он хотел, чтобы Сашка опять смог поговорить, гордясь собой и чуточку хвастаясь, но недодумал. Сашка опять вспылил:

— Что ты дурацкие вопросы задаешь, Дым! Может, тебе сразу план минных заграждений выложить?

— А разве мины еще применяются? — удивился Дима. — Я думал, они уже устарели, ракеты только...

Сашка даже остановился. Посмотрел на Диму с бесконечным презрением.

— Эх ты, тютя! — сказал он потом. — Да какой же ты художник, если такую чепуху лепишь?

Дима смущенно улыбнулся и пожал плечами.

— Ну, какой... — Достал блокнот и карандаш. Пристроившись на парапете, он несколькими поспешными штрихами размашисто изобразил ракетносец под клубящимся небом. Чуть накренившись, серый титан пахал буйные валы. Кипящий бурун в полборта Дима только наметил. — Похож? — спросил Дима, чуть стесняясь.

Сашка снисходительно глянул и, напрягшись, замер. Долго изучал. Потом медленно поднял глаза.

— Что? — испугался Дима.

— Сволочь... — пробормотал Сашка. — Мы эти штуки каждый день видим... впятером, всемером малюем для стенгазеты, по часу сидим... Ведь ты же даже не знаешь, что в этой надстройке, мог и так, и этак нарисовать... — Он почиркал пальцем. Дима всмотрелся, пытаясь угадать за мельканием ногтя линии.

— Так некрасиво, — ответил он нерешительно. — Я ведь на глазок.

— Красиво, некрасиво... — проворчал Сашка. — Критерий нашел. Ты на Тихом-то бывал хоть раз? В Охотское выходил?

— Ясно дело, нет. На какие шиши?

— Ну вот. Слушай... Дай мне это.

— Да бога ради! — обрадовался Дима. — Что, понравилось?

— Понравилось... — буркнул Сашка с непонятной интонацией и осторожно спрятал набросок в карман кителя, перегнув листок пополам.

— А хочешь, — неожиданно для себя вдруг спросил Дима, — пойдем ко мне, я настоящие свои штуки покажу, а? — У него даже голос дрогнул.

— Не-е. — Сашка поскукнел, отвел глаза. — Ну их, Дим. Как-то даже... — Он чуть пожал плечами.

— Нет, я просто так, — поспешно сказал Дима. — А, кстати, что в той надстройке-то? Чего ты удивился?

Сашка очнулся.

— Неважно. — Голос его приобрел прежнюю напористость. — Знаю я вас, эстетов. Сейчас советский крейсер рисуешь, а сейчас дернул в Израиль понимания искать.

Дима засмеялся.

— Сашка! Ну кому я в Израиле нужен!

— Не скажи, не скажи. Талантливых русских они, если сразу уничтожить не смогли, к себе перетягивают. А вы и рады...

— Ну откуда ты так хорошо эстетов знаешь? — мирно спросил Дима. .

Сашка вдруг широко улыбнулся и сразу стал на какой-то миг похож на себя прежнего.

— Ладно, — сказал он. — Шучу. Давай-ка тему сменим. Не привык я, что друзья из другого департамента, все время дергаюсь.

— А ты не дергайся. Я же не дергаюсь. Из другого так из другого — все равно же друзья.

— Сладко поешь... Но ведь тебе-то чего дергаться? Нос мертвый...

Дима засмеялся, и Сашка засмеялся тоже.

— Нам тут, знаешь, — сказал Сашка, — на политзанятиях

хохму рассказали. Кто-то там у них из Гэллапа дал всяким почитать кусок из их же Декларации независимости. Ну, что каждый человек наделен всякими там правами... Но не говорил, откуда взято, а просил самих догадаться. Так все ответили, что это из марксистских документов, и не согласились с собственной же основополагающей концепцией! Во дожили они, а?

— Я что-то слышал об этом... Кстати, — оживился Дима, — могу тут же предложить встречный эксперимент. Слушай!

— Э, э! Надо мной эксперименты...

— Да это не больно. — Дима прищурился, взглянул на дымное небо, припоминая. — «Каждый художник, каждый, кто себя таковым считает, имеет право творить свободно, согласно своему идеалу, независимо ни от чего». Кто мог такое сказать, как по-твоему? Из очень известных, сразу говорю.

Сашка нахмурился. Он чувствовал подвох, но распознать его не мог. Смысл цитаты был для него однозначным.

— Чьи... — пробормотал он. — Речи такие, в общем, эстетские. Как его — за кордон-то дернул зимой, в газетах много писали...

— Холодно, — ответил Дима. — Не угадал. — Достал блокнот, полистал. — А вот это? «Жизнь, отраженная в произведениях литературы и искусства, может и должна выглядеть возвышеннее, ярче, концентрированное, типичнее и идеальнее, а значит, и более всеобъемлющей, чем обыденная действительность».

Сашка поджал губы.

— Ну и что? — спросил он.

— Чье это? Человек тебе наверняка известный.

— Да я откуда знаю? Критик... что я их, помнить должен, что ли? Мне своих дел хватает!

— Да я же, в конце концов, не фамилию требую. — Дима спрятал блокнот. Игра надоела ему. Встреча не помогла. Напротив. На какие-то полчаса она отвлекла от боли, но полчаса прошли. Сашка стал далеким-далеким. Разговор с ним стал таким же унижительным, как с Нею.

— Ну, говорю — критик.

— Ты-то с этим критиком согласен? Или нет?

Сашка потер щеку.

— Черт, ну что ты из-за фразы одной пристал? Бред какой-то... Повтори.

Дима опять нашел цитату, повторил. Сашка утвердительно кивал почти после каждого слова.

— Наш критик, — сказал он, когда Дима закончил. — Все верно, не подкопаешься. Обыденную действительность я в рот пихал. Во всяком случае, я так тебе объясню. — Его голос все больше наливался уверенностью. — В первой цитате есть слова «имеет право». Значит, что-то диссидентское, хоть режь меня. А во второй — указание. Сказано: «должна». Значит, что-то наше. Логично?

— Более чем, — сказал Дима и захлопнул блокнот с треском. — Так вот, слушай, защитник. Вторая — это Мао Цзэдун ляпнул, перед самой культурной революцией. Чтоб, значит, знали, кого метелить за невозвышенность и неидеальность. А первая — Ленин.

— Не заливай, эстет! — вспыхнул Сашка. Он был красен. — Не мог он этого! Прозаливаешься!

— Сам не слышал, — сказал Дима, — но читал.

— Такой работы в программе нет!

— Это не работа. Это из Клары Цеткин, «Воспоминания о Ленине».

Некоторое время шли молча.

— Убивать надо таких эрудитов, — решил Сашка наконец. Дима покорно кивнул. — Или к нам, реакторы чинить в рабочем положении. Чтоб хоть какая-то польза была.

Дима опять кивнул. Потом сказал:

— Я знаю.

— Нет, ну кроме шуток, Дымок! Выкопал что-то скабрзное — так держи при себе! Нет, обязательно надо показать: я умный! Вы — было тупое, а я — пуп земли!

Дима не ответил. Сашка покосился на него.

— Да ладно тебе, — примирительно сказал он, — уж и надулся... Шучу. Но вот по совести скажи — зачем ты это? Думаешь, умнее тех, кто программу составлял? Да они эту твою Клару сто раз читали вдоль и поперек!

— Уверен? — спросил Дима.

Сашка даже фыркнул от возмущения.

— Это ж их работа! И раз не включили в список — значит, что-то там с ней не фонтан. Да мало ли чего эта Клара набрехала? Может, она мемуар свой писала в маразме уже и Ленина с каким-нибудь Бухариным перепутала! За руку ее ловить не захотели, авторитет ее ронять незачем, все ж таки ветеран. Но

и читать не рекомендовали. Логично? А ты только мозги себе и другим пудришь попусту!

Дима не ответил. Тоска была страшная — он даже шел с трудом, подгибались колени от какого-то странного душевного бессилия. Сашка покосился на него опять.

— Я ж говорю, наркоман! — воскликнул он радостно и снова хлопнул Диму по плечу. Дима отшатнулся. — Что, доза кончилась — ширнуться пора? Или, Дым, говори как на духу! Эстетка какая-нибудь не дает?

— Не дает, — сказал Дима.

— Вот она, любовь-то свободная! Жениться тебе надо, Дымок. Жена всегда даст!

— Ну, лады, Сашка, — сказал Дима. — Двигаться мне пора, извини. Дело срочное.

— Ну ни фиги себе! А я думал, мы заскочим куда-нибудь, встречу отметим... квакнем как следует, я при деньгах... Я бы с ребятами тебя познакомил.

— Спасибо, не стоит. В другой раз. Счастливого плаванья...

Ведь друзья же, думал Дима. Вместе в космонавтов играли...

Он перекусил на Балтийском вокзале. Еда, как гарь, осела в организм. Некуда было себя деть. Он достал блокнот, поводил карандашом бесцельно. Ничего не слепилось. Нашупывая двушку, он зашагал к телефону, сам еще не зная, куда будет звонить. Звонить Ей уже не имело смысла — такси давно пришло. И давно ушло.

Почему-то позвонил Олегу Шорлемеру, уже настоящему художнику, не терпевшему Димину мазню, но разрешавшему застать себя телефонным звонком раз или два в месяц. Олег был старше Димы лет на семь. Он слушал «голоса», знал точно, кто и как сидел при культе, кто и почему в опале и в фаворе ныне, с кем опасно откровенничать, какие резолюции принял неделю назад подпольный Союз возрождения КПСС и какие новые действия на будущей неделе предпримут правозащитники; фамилии Сахарова, Орлова, Григоренко, Богораз и прочих, которых Дима никак не мог выучить, Олег поминал ежеминутно и давал понять, хотя никогда не говорил об этом прямо, что коротко знаком с ними со всеми. Писал он в абстрактной манере, а в свободное время, чтобы было что есть, рисовал для демонстраций портреты членов Политбюро.

Не отвечали долго, но ответили. Олегов голос сказал браво:

— Шорлемер на проводе!
— Привет, Олег. Это Дима. Не помешал?
— А-а, здравствуй. — Голос сразу потух и стал усталым. — Нет, конечно, не помешал, что ты, — произнес голос, отчетливо давая понять, что, конечно же, помешал. — Давненько не имел чести тебя слышать, душа моя. Что подделываешь?

— Гнию, — ответил Дима. — Давай повстречаемся.

— Увы-увы, — сказал Олег. — Я жду важного звонка, чтобы тут же сорваться по делу. Такие, знаешь ли, проблемы нам подчас подбрасывает наш благословенный век...

— А что такое?

— Бестактный ты, душа моя.

— Ой, прости!..

— По телефону о делах ни слова, ты же знаешь мой принцип. Меня, знаешь... я думаю, пишут круглые сутки.

— Понял, понял. Я просто хотел тебе одну штуку показать.

— Накрасил что-то?

— Угу.

— Когда?

— Да уж почти месяц...

— И с тех пор — ничего?

— Да, в общем, ничего... — Дима стеснялся. Он чувствовал, что его звонок некстати, но разговор уже потек, и у него не хватало умения решительно выйти из него; ему казалось, что, повесив трубку сразу, он обидит Олега тем, что сразу понял, что Олег ему не рад. Тем более у Олега явно опять какие-то неприятности.

— Работать надо больше, душа моя. Каждый день.

— Вчера вот попробовал. И ты понимаешь, Олег, так загорелся вроде... а не получилось.

— Как называется?

Дима покраснел.

— «Афродита»...

— И не могло получиться. Ты маньяк, что ли?

— Да нет! — возмутился было Дима и сразу сник, засомневавшись: а может, и правда маньяк? — Просто... хотелось, чтобы было очень красиво. Очень...

— Мещанина в себе дави, душа моя. Дави без жалости. Какой ты художник, когда мыслишь подобными категориями! «Красиво очень» — фу-ты ну-ты! Ты что, не ощушаешь ублюдочности собственных слов?

Дима не нашелся, что ответить.

— Ты посмотри, что вокруг! — разгорячился Олег. — Посмотри, посмотри! Вот из той будки, откуда звонишь, поводи вокруг глазами! Пародия, гротеск, издевательство над человеческой природой! Галич по Би-би-си говорил осенью о полном разложении слова в СССР, да но ведь и образ разрушен полностью! И цветность! Все серое, все плывет, как в пьяном дыму! А ты высасываешь из... ну, скажем, из пальца, хотя на самом деле из другого места, просто материться не хочу... пошленькие красоты...

— Да именно потому, что все такое серое, и нужно что-то... — начал было Дима, но Олег не дал ему говорить:

— Высасываешь красоты на потребу мешанам. Лука-утешитель. Надо показывать: вот в каком дерьме вы живете. В дерьме! В дерьме! Сорок раз в дерьме! И небо над вами — дерьмо, и гениталии ваши — в дерьме, и отношения ваши друг с другом — это отношения задницы и унитаза, и все сложности жизни для вас — кто на кого первым успеет сесть. «Афродита»! — издевательски передразнил он. — Слышать не хочу! Пока не поймешь это — не появляйся!

— Да я понял! — отчаянно закричал Дима. Каждое слово Олега будто раскаленной, туго натянутой проволокой расхлестывало ему сердце. Проволок было уже десятки, а сердце такое маленькое... — Я и хотел тебе показать совсем другую работу, как раз об этом, я ее пока «Пляж» назвал, но...

— О майн либер хэндэ хох, — устало сказал Олег. — Опять девки в купальниках? Или уже без? Вокруг такое творится, но у тебя одно на уме... Тебе надо поспать с красивой девушкой, Степной Волк, — процитировал он Гессе, чуть польстив Диме, потому что уподобил его Степному Волку, но в то же время презрительно. — Знаешь, Дымок, у меня мрачное предчувствие. Когда ты наконец потеряешь девственность, ты вообще перестанешь писать. Окажется не о чем. Помяни мое слово. Окажется, что гораздо проще стаскивать лифчики в натуре, чем мारаться с красками.

— Олег, да я же совсем не об этом!

— Ладно. Мое дело сказать, твое — на ус мотать. А теперь, душа моя, я тебя погоню. Я же говорил — я звонка жду. Пока.

— Пока...

Олег повесил трубку, и телефон действительно почти тотчас же позвонил.

— Шорлемер на проводе! — bravo сказал Олег.

— Двести пятьдесят, — не здороваясь, сообщил ему мягкий мужской голос.

— Это грабеж, — после паузы сказал Олег, чуть осипнув. Провел по намокшему лбу ладонью. — Она стоит не менее восьмисот.

— Двести пятьдесят, — с мягкой настойчивостью повторили там.

— Эту икону я сам вывез из Олонецкой губернии весной. Старообрядческий канон соблю...

— Двести пятьдесят, — прозвучало снова с такой интонацией, словно невидимый собеседник втолковывал некую очевидную истину непонятливому, упрямому ребенку.

Олег молчал.

— Олежек, — ласково сказали в трубке, — вы же сами рисовали ее. Мой эксперт установил это достоверно. Но я не обижаюсь и не ловлю вас за руку. Более того, я беру ее, поскольку после нашей обработки действительно смогу продать ее как подлинник. Но это сделаю я. Ваша доля — двести пятьдесят.

Олег опять провел ладонью по лбу. Воровато покосился на лежащую блонетку. Та, зачем-то прикрыв живот углом одеяла, заложив одну руку за голову, медленно курила, бездумно глядя в потолок. Нет, не слышит.

— Хорош-шо, — сказал Олег.

— Вот и хорошо, что хорошо. Сегодня в восемнадцать, — сказали в трубке, шутливо стилизуя интонацию так, будто речь шла о назначении любовного свидания, — на нашей скамейке.

Олег повесил трубку и старательно улыбнулся в сторону блонетки.

— Втюхал за шестьсот, — громко сказал он.

— Продешевил, — равнодушно сказала блонетка, даже не повернув головы. Плавным, точеным движением поднесла сигарету к губам и затянулась. Маникюр был цвета крови.

Дима, откинувшись спиной и затылком на стекло, некоторое время стоял в кабине. С грохотом и рычанием прокатил мимо, вываливая под себя черное облако дизельного дыма, мощный грузовик с длинным прицепом, полным тонких бурых труб. Мир встряхнулся, дверь кабины тоненько задребезжала.

— О господи, — вслух сказал Дима. — Теперь-то куда?

Потом позвонил снова.

Ответили быстро.

— Вика? — спросил Дима, стараясь говорить как можно веселее и приветливее.

— Да... Кто это?

— Уже забыла? — проговорил он с омерзительной ему самому кокетливо-светской интонацией. — Короткая память у красивых девушек... Это Степной Волк, — сказал он и сам засмеялся. — Да не пугайся ты, просто меня один друг так называет... Дима это, вчерашний.

Она мгновение молчала, и он подумал было, что телефон сломался. В трубке шуршало и хрустело.

— Ой, это вы! — с радостным изумлением зашебетала она, и он вдруг подумал, что, наверное, она притворяется сейчас так же, как он сам. — А я никак не думала, что вы позвоните уже сегодня! Потому и не узнала вас сразу, а так я вас, конечно, очень помню, как мы замечательно ехали! Книжка ваша такая толстая, неужели вы уже прочитали?

— Конечно. Ну, я нарочно поторопился. Хотел поскорее тебе вручить.

— Правда? — растроганно сказала она, и опять ему почувствовалось лицемерие. — Спасибо! Теперь нам надо встретиться, да?

— Если хочешь.

— Хочу! Как же нам это сделать? Может быть, вы подъедете ко мне в гости?

— А на нейтральной территории не хочешь?

— Нет, давайте лучше в гости. К маме знаменитые люди всегда ходят в гости. А ведь вы тоже художник. Я хочу, чтобы и ко мне пришли в гости.

— Понял. Говори куда.

Она стала рассказывать — подробнейшим образом, все повторяя по три раза, будто очень боялась, что он не найдет. Метро «Петроградская»... троллейбус... третий этаж, налево...

— Значит, жду вас в три. Знаете, а я попробую как-нибудь маму из дома выдвинуть, — застенчиво пообещала она. — Правда ведь, вдвоем будет лучше?

— Ясно дело, — согласился Дима и повесил трубку.

Чем ближе Дима подъезжал, тем меньше ему верилось, что с Нею кончено. Это просто так! Ну, уехала, мало ли! Это я

чокнутый, из всего трагедии делаю, а Она хорошая, нормальная... Нельзя, нельзя, кричало все в нем, а троллейбус, грузно переваливаясь и дергаясь, уже выворачивал на Большую Пушкинскую, и хотелось выскочить вон и побрести куда-нибудь бесцельно, чтобы время скоротать, чтобы ждать Ее возвращения. Но пора взрослеть. Жить пора. Он ехал.

— Ой, как вы быстро, я и одеться не успела!

— А это что? — спросил Дима, заставив себя нахально дотронуться до ее плечика, и на секунду взял в шепот яркую ткань сарафана.

— Это же домашнее! — зарделась она.

— Тем лучше, — сказал Дима. — Неофициальность — залог успеха.

— Успеха чего?

— Да всего. На официальной основе никакие дружеские отношения немыслимы.

— Ой, правда... Вы проходите, пожалуйста. Или вы спешите?

— Ты как хочешь — чтоб я спешил или не?

— Конечно, не! — Она храбро взяла его за руку и повела. Дима чуть стиснул ее кисть, она коротко обернулась, одарила его милой улыбкой — свеженькая, тоненькая, лучше и желать нельзя.

Квартира была невообразимо огромной. Миновали сумеречную прихожую, миновали какие-то закрытые двери — то ли в ванную, то ли в кухню, то ли в стенные шкафы... Вошли в комнату. Широкие окна, светлые портьеры, софа — хоть поперек ложись, цветной телевизор, фоно, коврише... картины...

— Располагайтесь, пожалуйста. — Вика выпустила его руку и указала на софу, накрытую искусственной тигровой шкурой. Придвинула легко кресло и села напротив, заботливо оправив сарафан на загорелых коленочках. Перехватила Димин взгляд, улыбнулась и охотно покраснела.

— Я никак не ожидала, что вы уже прочитаете, — проговорила она.

— Я же обещал поторопиться... — Разговор начинался тоскливо. Так и пойдет, наверное. Говорить-то, в сущности, не о чем. — Ты, я смотрю, тоже действуешь оперативно. Дома никого?

— Никого, — нерешительно сказала Вика.

Девочка лгала. В квартире только что затих крик. Это не

для тебя, надсаживалась мама, теряя всю привлекательность и делаясь старше своих лет. Я найду тебе настоящего друга, а пока танцуй! Но не совершай непоправимого! Эти патлатые бездельники всегда готовы подцепить, что плохо лежит! А уж окрутить девушку с такой квартирой у них губа не дура! Теперь Вика произвольно старалась говорить тише — мама сидела за дверью и слушала.

Расскажи об этом Диме — не поверил бы. Он был абсолютно убежден, что такие вещи вымерли лет сто назад. Как минные заграждения.

— Ты говорила, у отца библиотека большая, — сказал Дима. — У меня к книгам слабость...

— Ой, у меня у самой!

— Можно глянуть?

Она чуть было не сказала вполне естественное «да», но в последний миг прикусила язык, вспомнив, что в кабинете — мама.

— Нет... вы знаете... Папа — он ужасно строгий и не разрешает трогать книги в его отсутствие, — облегченно закончила она.

— Надо же, — искренне удивился Дима. — По мне, так это варварство — замораживать книги. Он хоть друзьям-то дает читать?

— Конечно! — спохватилась она. — Всем друзьям! Он вообще очень любит давать читать, только в библиотеку не пускает. Он говорит, — она вдохновенно импровизировала, — что если там кто-то копается, то нарушает систему, и потом ему самому уже ничего не найти.

— Ну, это понятно, — согласился Дима.

Рассеянно оглядываясь, он заметил связку из беличьих хвостов, висящую на гвоздике как раз над его головой.

— Ты смотри. — Он приподнялся, поднял руку и тронул нежный рыжий пух. — Хорошие какие...

Вика улыбнулась, довольная, что разговор сошел с неприятной темы.

— Ребята подарили весной, — сообщила она. — Они на Крестовском тренируются, а там белки, так пару-тройку хвостиков уж принесут кому-нибудь из девчонок в подарок.

— Вот это да, — сказал Дима после паузы. Опустился обратно на тахту. — А белку куда?

— Ну, не знаю... Отпускают, наверное...

— Подыхать медленной смертью? — предположил Дима. Вика покраснела.

— Ой, я как-то не думала, что ей без хвоста трудно, — пролепетала она. — Я обязательно им скажу, чтобы никому больше не приносили. Обязательно, правда!

— Похвально...

— Я даже их сниму сейчас, чтобы не висели! — Она гневно встала. — Такая жестокость!

Неосмотрительно она потянулась к связке. Сарафанчик, и без того коротенький, буквально взлетел. Нежная фигурка нависла над Димой — чуть-чуть наклонив голову, он мог бы коснуться Вики лицом. Диму будто кинули в кипяток. Его рука сама собой легла на ее талию.

Девочка замерла.

Она была гибкая и теплая под неошутимо тонкой тканью. Ясно чувствовалась резинка трусиков.

— Помнится, ты плясать любишь? — спросил Дима невнятно. Сам покраснел. До чего дурацкое положение, хоть выпускай обратно. — Может, покрутимся?

— Это только когда никого не знаешь, — нерешительно сказала она. Она ничего не чувствовала, но ничему не препятствовала. И только одна мысль сверлила: если они перестанут оживленно, шумно разговаривать, мама услышит, что тут что-то происходит.

Дима деревянно опустил руку. Его лицо пылало.

— Да, помню — ты объясняла...

— Правда? — Она так и стояла перед ним, неловко комкая хвостики. — Когда это я успела?

— Ну, ясно дело, не далее как вчера.

Она заулыбалась и села.

— А, это мы про Юрика, да?

— Про Юрика, про Юрика...

— Быть может, вы голодны? — спросила она ни с того ни с сего.

— Да нет, я обедал.

— А где?

— Ну, как... На вокзале, в буфете.

— А я бы даже хотела так пожить, — задумчиво произнесла Вика и тут же испуганно осеклась. Эту реплику маме не стоило слышать так же, как тишину. — Ой, так о чем это мы?

— Да покамест ни о чем, — ответил Дима уже с явным раздражением.

— Вы сердитесь, да? — Она вновь понизила голос. — Но вы поймите, пожалуйста, — там ведь все танцуют. Шум, музыка, настроение... А тут — середь бела дня, вдвоем. Это же как-то... Как будто мы...

Она не знала, чем закончить. Напрашивалось «любовники», но она боялась сказать такое слово: не потому, что вообще его боялась, — в обычном разговоре с подружками, с Юриком или с кем-то незнакомым в компании оно выговаривалось не труднее любых других; но после того, как ее тело узнало его ладонь, Вике нелепо казалось, что до любовников им с Димой остался один маленький шагок.

— Можно задернуть шторы, — уже открыто издеваясь, предложил Дима. Но она не заметила иронии.

— Это ничего не даст. — Голос был почти жалобным. — Правда... Я пойду брошу куда-нибудь. — И помахала в воздухе хвостами.

— Да повесь, чего уж теперь...

— Думаете, можно?

Дима кивнул. Она потянулась было, но тут же отпрянула. Протянула ему хвосты. Рука подрагивала.

— Дима, повесьте, пожалуйста...

Смеясь, он повесил.

— Быть может, кофе? — натужно спросила она.

— Что я, жрать сюда приехал, что ли?!

— Да, но... — Она беспомощно развела руками. Она сама не знала, при чем тут кофе. Просто сказывалась дрессировка. — А зачем вы приехали?

Дима опешил:

— Вообще-то книжку тебе принес. А также в надежде на умную степенную беседу, перемежаемую трелями соловья.

Они принялись умно и степенно беседовать — о книгах, фильмах и прочем. Было скучно. Соловей в кабинете пока молчал. Краем уха слушая Вику, Дима ерзал на роскошной софе, надеясь, что его многострадальные штаны — и в пазухе над тамбуром в них, и на ступенях спуска к Обводному в них — подзамажут буржуйам шкуру. Это его повеселило: софа в тигровой шкуре. Раньше были витязи, теперь — софы. А чем я сам не витязь? — подумал он. Не «в», а «на», но это влияние урбанизации. Его угораздило повторить это соображение

вслух, и Вика сразу спросила: «Какой Тариэл?», а когда он пустился в объяснения, заойкала: «Ой, а я не читала! Интересно? Ну, раз вам понравилось, то, конечно, интересно! Наверное, у нас есть! Сейчас посмотрю!» Она двинулась к отцовскому кабинету, но тут же встала как вкопанная и покраснела: «Все время забываю!.. Он меня так всегда ругает!» — «Не люблю, когда меня ругают», — сообщил Дима. Некоторое время они умно и степенно беседовали о различных видах и типах родительской ругани. Потом Вика замялась и сказала: «Смотрите, мы вчера столько были вместе, и сегодня, а какая-то натынутость остается, правда? Вы чувствуете?» Дима поперхнулся на полуслове. «Ясно дело! — воскликнул он. — А все ты, плясать не хочешь! Сидим как на дипломатическом приеме. Хоть бы ко мне на шкуру перелезла!» — «Ой-ей-ей, — она шаловливо погрозила ему пальчиком, — какой вы буйный». — «Я просто неистовый», — кисло сморозил Дима, и тогда Вика с нехорошим любопытством в глазах впрямь к нему перелезла.

Уже без всякой охоты и даже без произвольности, лишь в силу давления обстоятельств — для чего-то ведь пришел! — Дима неумело и грубо скомкал ее и принялся целовать. Он хотел выдавить из испуганных губ, из маленькой мягкой груди хотя бы не радость себе, где уж, хотя бы просто забвение, чтобы не было одновременно и совестно перед нею и противно от нее, его рука полезла ей под сарафан, как позавчера — Еве, ножка была гладкой, стройной, упругой, но это ничего не значило, просто мясо и кость внутри, чтобы ходить. Тогда он, впервые в жизни, поднялся еще выше, вот-вот должно было начаться нечто совсем сокровенное, оно значило высшую нежность, высшую близость, высшее доверие; и, пока еще сквозь трусики, он действительно ощутил сокровенное, очень теплое, чуть влажное, но оказалось, это тоже ничего не значит, просто теплое и чуть влажное. Он исступленно хотел почувствовать что-нибудь не руками, а сердцем, но сердцем чувствовал лишь раздражение и разочарование, потому что девочка и не отвечала, и не отбивалась — висела, развалив равнодушный, ничего не значащий рот. В этот миг мама, услышав длительную тишину, встала, отложила Кортасара и резко открыла дверь.

Вика прынула на другой конец софы. Дима обернулся. Мелькнули необъятные ряды книг в кабинете.

Дима не помнил, как выбросился в маленький скверик

внизу. Прильнул щекой к коре чахлого деревца, коснулся губами. Целовать дерево оказалось приятнее. Оно было настоящим. Он опустил голову и обнаружил в руке «Астрономию». Когда ему вернули, кто? Как шенок, он стал тереться лбом и щеками о влажную кору. Лицо горело. Словно он долго смотрел на могучий огонь. С небес капало тоскливо, дождь шелестел. Дима вдруг засмеялся, запрокинув голову. Ничего не мог с собой поделать — смех пузырился в иссохшем горле, колотил обьятое стыдом и пожаром тело.

Наверху не смеялись — кричали. Обeim было обидно и стыдно. Обе корили друг друга. Мама сулила дочери настоящего друга — когда придет время, а пока пусть пробавляется Юриком. «Ведь он так тебя любит, души не чает! Ведь он такой безвредный!» — «Видеть его теперь не могу! Пока не было Димы, пусть бы Юрик служил, все равно, а теперь видеть не могу!» — «Он тебе вчера звонил и сегодня позвонит!» — «Я его выгоню, даже разговаривать не стану!» — «Почему это, интересно знать?» — «Потому что нельзя входить, когда целуются!» — «Ах, так тебе приятно было лизаться с этим подонком?!» — «Неприятно! Но входить нельзя!» — «Милая, родная моя, да ведь еще минута, и он изнасиловал бы тебя!» — «Нет! Он только трогал!» — «Что-о?! Трогал? Да он, может, уже заразил тебя чем-нибудь!» — «Как заразил? Как заразил?» — «Дурочка! Такие, как он, меняют женщин каждую неделю! Уж я-то знаю! Случайные связи после совместного распития спиртных напитков! Бог знает с кем! С отребьем!» — «Все равно, все равно, все равно!!! — отчаянно кричала Вика, рыдая и колотя кулачками по софе, по тигровой шкуре, где вот только что сидел этот в общем-то совсем ей не нравящийся, ни на кого не похожий, с насмешливо-ласковыми глазами отца и загадочными руками, которые дают больше, чем берут. — Вылечусь! У папы лучшие врачи! Нельзя входить, когда целуются!» — «Ты соображаешь, что говоришь? Это же позор!» — «Пусть изнасиловает! Пусть заразит! — От одной лишь мысли, что в эту самую минуту, если мама действительно права и было бы так, как она говорит, на этой самой софе можно было бы не рыдать, не унижаться и не скандалить, а делаться взрослой женщиной, Вике хотелось прыгнуть в окно. Поэтому ей и впрямь казалось: пусть. — Пусть что угодно! Но нельзя входить, когда целуются!» — «Целуйся с Юриком!» — «Провались он пропадом, твой Юрик, до него дотронуться-то про-

тивно! Если б ты не вошла, мы бы с Юриком дружили, а с Димой целовались, а теперь видеть Юрика не могу!»

Из небес сочилось, сеялось. Ведя за руку сына лет пяти, прошествовал молодой интеллектуальный папа — тощий, с белесым овечьим лицом и взгроможденными на костистый нос тяжелыми очками. Лицо у папы было скучным, он напевал сыну уныло и рассеянно: «Хо-ро-шо под дож-дем...» Дима смеялся, по лицу стекали капли.

В громадной квартире зазвонил телефон.

Этот день еще с утра обещал быть счастливым. Во-первых, совершенно не болели ноги, удивительно просто. Во-вторых, пока завтракал, бабуля ни разу не выползла из своего sklepa.

И главное — он знал: Вика приехала. Просто знал. Звонить он решил почему-то в пять. Пусть отдохнет с дороги, не стоит ее беспокоить сразу.

Он опять достал новенький жесткий ароматный студбилет. Полюбовался. Спрятал.

Мужественно, как большой, открыл окно. Пахнуло душиноватой сыростью пасмурного городского простора, зазвучал шум машин на невидимом проспекте, деревья во дворе зашелестели. Хотелось вон из дому, и он запросто мог себе это позволить, ведь ноги не болели, — конечно, неспроста в день ее возвращения ноги не болят. Схожу в поликлинику пешком, решил он. Здесь всего километр... Такая фамильярность в обращении с целым километром наполнила его гордым чувством своей силы и ценности для других. Для Вики.

С позвякивающими ампулами в кармане он цокал по тротуару. Было душно, и Юрик пожалел, что надел пиджак. Правда, без пиджака он выглядел совсем смешным со своими плечами не шире ушей, но не кинозвезда же он! Все равно Вика приехала. Радость бродила в нем и выплескивалась наружу улыбкой и мурлыканьем каких-то мотивчиков, на него оглядывались. Он не замечал. Ничего не существовало, кроме пугающей и манящей секунды, когда она скажет: «Ой, Юрик, здравствуй! Не знаешь, что сейчас смотрят?» Он знал. Репертуар окрестных кинотеатров он помнил наизусть. Асфальт сам падал под каблуки, сам мерно стучал, дома уплывали назад сами, а он лишь пел тихонько и глядел на небо.

Прошествовал мимо родной школы — здесь учился, здесь познакомился с Викторией и даже сидел за ее партой. Слева от

двери, как Юрий себя помнил, висел плакат, изображавший углубленных в книги ученика и ученицу; ниже шел лозунг: «Мы помним ленинский завет — без знаний коммунизма нет!» Лозунг был опоганен. Слово «знаний» кто-то коряво, поспешно переправил на «блата». Куда же милиция смотрит, возмущился Юрий. Вот ведь какое хулиганье подлое, даже ленинские слова могут извратить! Он встал на цыпочки, хотел стереть поправку, но не стиралось; хотел зачеркнуть, но было нечем. Беспомощно потоптался, озираясь в полуосознанных поисках взрослых, но мимо если кто и шел, не обращал ни на что внимания. Двинулся дальше. Настроение, в общем, не испортилось. Все равно Вика приехала.

Осторожно обойдя стайку кормящихся голубей — не дай бог потревожить, они ведь такие беззащитные! — вошел в поликлинику. Сегодня возьму ее за руку, думал он. Просто возьму и все, она же не станет вырывать. Я же так соскучился.

Обратно, уже начиная чувствовать усталость, он тем не менее пошел снова пешком. Пусть лекарство побыстрее и лучше рассосется. Ведь просто невозможно звонить Вике, ошущая боль от недавнего укола в ягодицу.

Пообедав, снова отправился на улицу. Мама не хотела отпускать: прошел дождь и стало сыро, но он настоял, обещав вернуться через час.

Покрутился у будки, дожидаясь, когда воссияет пять, с каждой минутой волнуясь все больше. Ведь такой важный разговор, надо быть очень тщательным. Одним словом можно все испортить. Он тугο соображал во время разговора и, как правило, только слушал и улыбался, счастливый тем, что Вика говорит с ним запросто, как с равным. Едва он открывал рот, как начинал бояться, что ей либо станет скучно, либо она на что-нибудь обидится.

Он только не знал, что отношениям, которые можно испортить одним, пусть даже бестактным, словом, грош цена. Он думал, так и полагается.

Ровно в пять он трепещущей рукой набрал номер.

Долго не отвечали. Потом раздался недовольный голос Викиной мамы:

— Да?

— Добрый день, — пролепетал Юрий. — Это Юрий... Вика уже приехала?

— А-а, Юрочка! — Голос в трубке стал чрезвычайно радо-

стным, и у Юрика захолонуло сердце. — Приехала! Еще вчера! Мы с ней как раз о тебе говорили, что ты звонил... — Мама осеклась, а потом раздельно произнесла, будто приказывая: — Она дома. Сейчас подойдет.

Раздались отдаленные возбужденные голоса. Юрик напрыгся, стараясь разобрать, но не разобрал ничего. Приехала... Приехала...

— Не звони больше!! — ударил ему в ухо ненавидящий крик. — Слышишь, никогда не звони! Видеть тебя не могу!

И она швырнула трубку, взорвались гудки.

Дождь прекратился очень скоро. Но люди все равно спешили. Вчера и Дима спешил и возмущался при виде праздно фланирующих: пустой жизнью живут! Как это — некуда спешить? На электричку! На вокзал! К телефону! Теперь он тоже не спешил.

Прошел мимо молодящейся школы, на ней был плакат, нарисованный удивительно бездарно: книги походили на ящички или кирпичики, внутри явно не могло быть страниц, а у школьников — мальчика в доисторическом мундире под ремень и девочки ему под стать — на лицах сквозила не любопытность, а тупая страсть к исследованию буквочек — экие, мол, махонькие и сколько ж их... Слово «знаний» было переправлено на «блата». Усмехнулся — остроумцы микро-районные... Достал карандаш, привстал и парой штрихов подправил мордочку гимназисту — тот засиял тягой к знаниям, впал в учебный экстаз. Потом скосил девчонке глаза. Теперь она только делала вид, что смотрит в книгу, а на самом деле тишком поглядывала на гения: когда же он хоть на минутку отвлечется от своего природоведения и заметит, какой на ней беленький, любовно отглаженный фартучек... Посмеиваясь, побрел дальше.

«Астрономию» он давно выбросил.

В подземном переходе его, праздно фланирующего, сразу срисовали цветочные продавцы. Их Дима всегда жалел: как можно стоять целый день и предлагаться, а мимо равнодушно идут... Унизительно же. Один темпераментный южанин навис над своим столиком, протягиваясь к Диме, и взревел с сильным акцентом:

— Смотри, какой букет красивый! Девушке подаришь — навек приворожишь!

Дима смешался.

— Знаете, я им столько передарил — вагон, — неубедительно парировал он. Продавец несказанно обрадовался:

— Ах, тебя девушка обидела? Купи, подари любой — твоя будет!

Дима растерянно забегал глазами, ища спасения. Мимо пробегали занятые. Впрочем, вон одна до омерзения смазливая девица остановилась, кося в его сторону. Беленький фарточек...

— Нет, благодарю вас, — отрезал Дима и круто повернулся на каблуках. Девица зацокала к выходу.

Ей навстречу спускалась уткнутая в томик Бальмонта девушка с хозяйственной сумкой в левой руке. Она была полная, бесформенная, с толстыми губами и мясистым носом.

За секунду до того, как Дима вновь повернулся к страстному продавцу, я уже понял, что произойдет. За эти дни я научился понимать его, я с ним сроднился. Мы могли бы подружиться...

— Уговорил, друг, — сказал Дима, доставая деньги.

Прыгая через три ступеньки, он догнал девушку уже на выходе. Он не ощущал никакой неловкости. Наверное, потому, что был бескорыстен.

— Девушка! — позвал он. Она полуобернулась. Пробурчала басом:

— Да?

У нее росли усы.

— Простите. — Он протянул ей действительно великолепный букет. — Это вам.

Она едва не выронила книгу.

— Мне?

— Ну да. — Дима улыбнулся как можно мягче, чтобы, не дай бог, она не решила, будто он ее кадрит. — Мне тоже очень нравится Бальмонт. Как там... Я для всех и ничей, — с выражением сказал он. — Да?

— Да...

Ей было ужасно стыдно. Казалось, все смотрят на нее и хохочут. Если уродилась такая, то можно измываться как угодно, что ли? Развратник! По морде бы ему этим букетом, по морде!

— Я вышел молча, как вошел, приняв в гостиной взгляд прощальный остановившихся часов...

— Это Брюсов, — презрительно поправила она, с угрозой

глядя на Диму. Знает, подумал Дима и, хлопнув себя по лбу, залился наидобродушнейшим смехом:

— Верно! Надо же, забыл... Ну, неважно. — Он сунул букет ей в сумку, и тот свесился бутонами, словно волосами выловленной в реке красавицы, герцогской дочки, что бросилась с утеса, узнав о смерти любимого в боях с нечестивцами Салах-ад-Дина... И легко зашагал прочь.

— Э... Эй! — крикнула она вслед. Он обернулся. Она стояла, некрасиво расставив толстые ноги, с крайней растерянностью на висячем лице. Чего это он? — недоумевала она. Не будет приставать?

— А деньги? — спросила она басом.

Дима улыбнулся.

— Деньги у хапуг, — ответил он и вдруг дернулся за карандашом. — У вас очень симпатичные веснушки, — сообщил он.

Это была правда. Кроме Бальмонта, у нее имелись еще веснушки.

Он в десяток широких веских взмахов вылепил ее лицо, добавляя и убавляя по чуть-чуть. На бумаге, несомненно, рождалась она — но красивая. Оказалось, ей совсем недалеко до красивой! Девушка ошеломленно стояла и не знала, уходить или нет. Все происходило так быстро. Он все-таки начнет издеваться или не начнет? Ей опять обжигающе вспомнилось, как смотрела фильм с каким-то западным красавцем в главной роли, имен она никогда не помнила; сидевший рядом совершенно незнакомый парень, когда она в негодовании отвела глаза от очередной любовной сцены, вдруг толкнул ее сильным локтем в мягкий бок и спросил громко: «Что, квашня, тебе бы такого, а? А вот хрен тебе!» Да ведь он уже начал — про веснушки! Она потянулась вышвырнуть окаянный букет, но гад протянул ей листок бумаги:

— Вот, в нагрузку. — И вновь улыбнулся. Как приятно улыбается, сволочь, против воли подумала она и нехотя взглянула.

Она была похожей и непохожей. Она смотрела, оторопев, пытаясь понять наконец, издевательство это или все-таки нет, а когда подняла заслезившиеся глаза, странного человека уже и след простыл.

Есть же специальная гимнастика, решительно думала она по дороге в общежитие. В институт питания схожу, там какие-то гормоны. Даже операции делают! Вот ведь совсем же

немного подправить... и все посматривала на рисунок или начинала озираться — вдруг он еще где-то здесь? Просто так ведь ничего не делают — выкинул пятерку и ушел. Такого не бывает.

Подружки не поверили, когда она заявила, что цветы подарил знакомый художник. Но набросок вызвал шок. И не похоже вовсе, заявили они хором и обиженно отстали.

Она действительно пособиралась к врачам, прокорчилась три утра в изнурительных, болезненных движениях. Но никто не поддержал вспышки странного в ней, вокруг, как кандалы, звелел смех — все пришло в норму уже на четвертый день.

Возле Каменноостровского моста Дима наткнулся на цыганок и подивился их пронизательности — сколько раз встречал таких, спеша, и они не приставали, видели: ничего им не иметь с деловитого, озабоченного юнца. А теперь сразу раскусили, что он на все готов, лишь бы отвлечься. Одна, обычно-смуглая, обычно-красивая, с бархатными чувственными глазами, затараторила; Дима попросил говорить медленнее, было интересно, но он ничего не понимал. Она внятно заверила, что чужих денег ей не надо, попросила гривенник — Дима дал — и опять стала лепить невнятицу про монетку, как монетка, если Дима ее заберет назад, испарится у него в кармане ядовитым паром, и потому она сейчас как-то во что-то монетку обратит. Она сжала гривенник в кулаке, поднесла ко рту, дунула, раскрыла кулак — там было пусто. Когда и куда обратились десять копеек, Дима не заметил и только восхищенно покачал головой. Все ли монетки отдал? — настойчиво добивалась цыганка. Мне чужого не надо, я для тебя же стараюсь, ты мне симпатичный, но навели на тебя порчу не на год, не на два, а на девять лет... Все, все монетки, успокаивал ее Дима, но она не унималась, требовала: правду говоришь? Дима, улыбаясь, вывернул карманы — у него действительно не было мелочи. Тогда она потребовала такую денежку, чтобы с Лениным, — очень, дескать, хорошее средство против порчи, навешенной на девять лет. Запахло жареным — этнография этнографией, а десятку жалко. Дима решительно откланялся и ушел под презрительные крики, сулившие черт-те какие беды. Дима не боялся. Хуже было некуда.

Стало как-то залихватски весело. Дима шагал по мосту, глядя на серую воду вниз. Нева плыла в океан. Для воды мир был громадным, распахнутым во все стороны, но воде это ни-

чего не давало. А он — он никуда не мог поплыть. Поэтому просто шел. Он был словно немножко пьяный.

Опять заискрился дождик, в воздухе повисла туманная паутина. Дима постоял, пытаясь поймать ртом каплю, но не поймал, зато в левый глаз попало дважды. Оперся на парапет пустынного моста, уставился на воду, на затянутую дождливой дымкой серую гладь реки. И так стоял.

Вдруг понял. Нестерпимо, до головокружения хотелось снова ощутить теплое и чуть влажное. Нежное. Но чтобы вместе. Совсем-совсем воедино. Господи, какая тоска!

Сзади раздались шаги, Дима резко обернулся. Шли парень с девушкой, молча, зато в обнимку. С плеча парня, заглушая шуршащую дождем тишину, псевдонародным голосом улюлюкал транзистор: «Ой люли, ой люли, у меня ль, Марины, губы красны от любви, словно от малины...» Шли под зонтом и как будто дремали. Можно было дремать. Можно было молчать, можно было быть врозь — радио-Марина общалась с обоими за обоих. Дима квохчуще засмеялся, повернулся к реке и лихо сплюнул. Ушли. Стихло. Едва слышно, стеклянно шелестела под дождем вода внизу. И плыла в океан. Берега дрожали в искристой сетке. Призрак телебашни купался в облаках. Издалека слышав лязг наползающего трамвая, Дима пошел дальше, с упоением чувствуя, как стекает за шиворот вода, как капает с носа, с волос. И никуда не спешил. Ему было весело, он был свободен. Шокотерапия, думал он. Все будет в порядке. Да, вспомнил он. Шут! Он ускорил шаги и вскоре набрел на какую-то почту. Примостился в уголке, написал: «Шут, дурья башка! Не смей грубить Лидке! Тебе до беса повезло, тебя любят!» Больше как-то не приходило на ум аргументов. Нельзя не отвечать на любовь — вот и весь аргумент. Дима глядел в блокнот, вертел карандаш и пытался измыслить что-нибудь логически убедительное, но не измыслил, и тогда, полетав карандашом, нарисовал Лидку в морской пене и стоящего на коленях Шута. Шут обнимал ее ноги, пеной был заляпан его модный костюм. Как лихо сегодня, подумал Дима. Просто гениально. Что хочу, то и рисую. В цвете бы попробовать. Рвануть сейчас домой и... Сразу стало тоскливо. Надвинулся страх: не получится. С одной стороны, должно получаться, потому что если даже то, что он любит делать, у него не получается, то жить незачем и просто нет права жить. С другой стороны, наверняка ведь не полу-

чится, так уж лучше не убеждаться в этом лишний раз, лучше уж не мучиться. Помучиться — это я всегда успею, думал он. Он подписал под рисунком: «Понял? Я еще приеду на днях, шмон тебе наведу. А то взяли моду — не любить!» Купил конверт и тут же отправил.

Когда он ушел с почты, дождь кончился, и Дима пожалел, что мало с ним погулял. Асфальт блестел, как лед. Дима стал играть, будто это и есть лед, а он — корова на льду. Прокатился мимо парадника, из которого дребезжала расстроенная гитара и несколько голосов тупо, вразнобой горланили: «Хорошо живет на свете Винни-Пух! У него жена и дети, он лопух!» Выбрав местечко побезлюднее, сделал тодес... кораблик... двойной тулуп... Потом вспомнил, что он — корова, и, с ужасом мыча, въехал в ближайшую стену. Захохотал.

Облачная пелена на западе раскололась, и в узких, длинных, как порезы, щелях пылал закат. Свет был ярким и грозным, будто с той стороны рушился на землю костер. Завтра будет ветер, подумал Дима. Это было все, что он знал про завтра.

И я не мог его предупредить.

И даже если бы мог — не мог.

Юрик здесь никогда не бывал. Он не знал даже, Нева это течет, Невка ли... Он смутно помнил, как бежал по каким-то мостам, на него рушился ледяной ливень... Пошупал пиджак — мокрый. И рубашка тоже. Ну вот, подумал Юрик убито, еще и ангина... Лицо опять плаксиво сморщилось и задергалось. Ноги почти не болели, но просто отнимались от усталости. Неверным шагом Юрик подполз к сырой скамье и бессильно распластался на ней, такой стылой, такой опасной для здоровья. Но теперь все равно.

Его скручивал холод, порывы ветра продирали до костей. Он мрачно радовался. Он не хотел жить, но сделать нечто решительное не мог и не умел — а вот так, привычным путем болезни... Сколько он сидел, осознавая ужасную истину — больше не звонить? Или завтра все вернется? Не может же это быть навсегда? Как жить, если никому не нужен? В пропахшем лекарствами доме? В очередях стариков?

Смеркалось. Гуляющие редели, и Юрик сначала просто удивился, когда возле него остановились две темные фигуры. Он прищурился — ровесники, может, даже моложе. Но выглядели они, как герои вестернов.

— Заснул, что ли? — хриплым баском спросил один, и тогда Юрик испугался. Он затравленно стал озиаться. У парапета стояла пара — два сомкнутых силуэта на фоне мерцающей от огней воды.

— Не. Помер, — ответил другой.

Юрик читал, что в таких случаях спасают дружинники. Но их почему-то пока не было.

С ним это случилось впервые. Он редко покидал надежные стены — как мог он только думать о них с неприязнью! В школу — из школы, в поликлинику — из поликлиники... В кино — из кино.

— Рубль трешками не разменяешь? — спросил его первый.

— Не-ет у меня, — пробормотал Юрик. Он стеснялся закричать.

Хорошо, что Вика не видит.

У него были деньги. Он запасливо прихватил два рубля на кино и мороженое.

— А если поискать?

— Не надо, — попросил Юрик, и у него заслезились глаза.

— Гляди — ревет, — бросил один из темных другому. — Несolidно. — И он вдруг легонько хлестнул Юрика снизу по носу.

Нос врезался в глаза. Юрик, ослепнув от боли, хрюкнул и кинул голову назад. Хлынули слезы.

В кино так фашисты пытаются подпольщиков на допросах.

— Студент? — дружелюбно спросили его.

— Да... Да!.. — всхлипывая, ответил Юрик, смутно надеясь, что недавно завоеванный высокий статус оградит его и спасет. Один из мучителей ловко поймал его правую руку и вывернул указательный палец чуть дальше положенного природой предела. Юрик дернулся.

— Рыпнешься — отломаю. Конспектировать будет нечем, — предупредил державший. Другой протряс Юриковы карманы, вытащил две мятые рублевки, трамвайную карточку и четыре двушки.

— Бедно живешь, студент, — заметил он.

— Карточку оставь, — посоветовал державший, — месяц кончается.

Непривычная боль не в ногах, а в руке продергивалась

раскаленной нитью до самой шеи. О сопротивлении и мысли не было.

— Верно.

Карточку вложили Юрику обратно в карман, и тут раздался веселый голос:

— Разрезвились вы непомерно, дети.

Все обернулись, и палец болезненно отозвался на перемену позы. Чуть поодаль стоял еще силуэт.

— Ну чего, чего? — пробормотал державший.

— Правды ишу, вот чего, — ответил веселый силуэт. — Сколько взяли?

— Два... два... — всхлипнул Юрик.

— Тронешь — палец шкету выломаю, — нерешительно предупредил державший.

— А я тебя убью тогда, — ласково ответил веселый. Всмотрелся в державшего. — А ну, отпусти ребенка! — приказал он. — И деньги на бочку!

— Слушай, ты, герой!.. — Рывшийся в карманах выпятил грудь и двинулся на веселого.

— Ну, иди, иди, — сказал веселый приглашающе. — Походи немножко напоследок.

Фашисты по молодости лет не знали, как поступить. Это были неопытные фашисты. Фашистята. Рывшийся перестал растопыривать плечи и остановился.

— И лады, — одобрил веселый. — Выкладывай.

Что-то невнятно бурча, рывшийся небрежно уронил рублевки Юрику на колени.

— Ну и отпустишь ты его, наконец? — не приближаясь, спросил веселый.

— Ладно-ладно, — пробормотал державший и выпустил палец. — Сладил, дылда... Подожди еще, я твое лицо запомнил...

— Мое лицо всем врезается в память, — согласился спаситель, улыбаясь, и негромко скомандовал: — Кругом — марш!

И фашистята, еще раз огрызнувшись, побрели в темноту мимо безмятежно целующейся пары.

Спаситель сел, и Юрик, наскоро стерев слезы, шмыгая носом, уставился на него.

Он не походил на героя вестерна. Слишком доброе лицо. В боевиках людей с такими лицами обычно бандиты убивают

в самом начале, чтобы зритель начал сопереживать и смотреть с интересом.

— Сдрейфил? — спросил спаситель. Юрик всхлипнул, сосредоточенно вправляя палец. От боли хотелось выть. — Деньги не потеряй. — Спаситель аккуратно сложил рублевки и сунул Юрику в карман. Провел по его руке. — Экий холодный... Чего сидишь? До дому двигай, расселся тут...

— Что же это? — плачуще воскликнул Юрик.

— Что? — озадачился спаситель.

— Разве так еще бывает? Куда милиция смотрит? Дружинники?

Спаситель повнимательней заглянул Юрику в лицо. Качнул головой.

— Вы... дружинник? — шепотом спросил Юрик.

— Ясно дело, — ответил спаситель. — Володимирской. Наши до Рязани двинули, а я отстал, запой, вишь, у меня...

Юрик всхлипнул.

— Ну, вставай, вставай, — сказал спаситель. — Помочь?

— Нет, — ответил Юрик как можно тверже. Что же это такое, погулять не могу без помощи, с отчаянием начал понимать он. Ноги не держали, хотели снова уронить его на скамью. Спаситель поддержал. Коленки трепетали, в них ударами вспыхивала боль.

— Перестаньте держать! — крикнул Юрик срывающимся, полным слез голосом. — Что уж, я и стоять сам не могу?!

— Ну, как сказать. — Спаситель снова улыбнулся. — Покамест вроде нет.

— Могу!! — взвизгнул Юрик. На заботящихся можно визжать. Да чего он пристал!.. — Чего вы пристали! Отпус... пустите меня!!

Спаситель поспешно отпустил.

— Лады, — проговорил он.

— Доберусь без вас! Ходить-то я не разучился!

— Счастливо, — сказал спаситель. Спаситель, подумал я. Раньше это слово писали с большой буквы. И обозначало оно одного-единственного человека.

А теперь?

Юрик опять плакал. Это разве жизнь? Из дому выйти нельзя! Добро бы на фронте был искалечен, как Синцов или Мересьев, а то ведь смешно! Не связалось у природы, на миг она недосмотрела, и за эту ее исчезающе малую халатность

он, живой, ни в чем не виноватый, всю жизнь никуда не годен, никому не нужен, всю жизнь смешон!.. Потому и Вика... Если б он был сильным, как эти двое! Быть сильным, как веселый спаситель, ему и в голову не приходило, сила — он сам не замечал — ассоциировалась у него лишь со злом. Он полз и вдруг сообразил, что не знает, где дом. Он остановился. Он же обещал маме вернуться через час — а прошло сколько? Стеннело! Мама, наверное, места себе не находит! Позвонить немедленно! Он полез по карманам, сам уже вспомнив, что двушки остались у фашистят.

Дима проводил взглядом заплаканного смешного мальчишку, продолжая улыбаться. Он чувствовал себя великолепно. Он знал, что в драке мог и не выстоять, но подошел без колебаний, лихо и бесшабашно. Сегодня он всемогущ. Звездный день.

А Юрина мама вновь обзванивала милицию, больницы и морг. В милиции ее голос уже помнили; молоденький дежурный, как умел, пытался успокоить ее: «Да что вы, мамаша, ну, с девушкой загулялся...» — «Он у меня не ходит с девушками!» — отчаянно кричала мама. В трубке приглушенно хмыкали — дежурный-то знал, как проводят парни теплые вечера, особенно если мамы о них такого мнения. Но не спорить же с обезумевшей. «Ну, гуляет, вечер теплый...» — «Хорошенькое дело, теплый! Дождь лил как из ведра!» — «Может, к другу зашел?» — «К какому это другу?!»

И бабуля маячила рядом в длинном мятом халате, бубня: «Распустила мальчика... Никого в грош не ставит... Против меня подначивала, а он против всех пошел... Погоди, погоди, может, он с бандой какой связался...» — «Перестаньте!!!» — кричала мама, впиваясь ногтями себе в щеки. Что-то нереальное творилось вокруг; уклад сломался, и она чувствовала себя как рыба, выкинутая из воды. Она успела дважды обежать округу, осмотрела все подъезды, в каждом ожидая увидеть его, Юрчонка, пусть хоть избитого, хоть пьяного, хоть болтающего, как последний эгоист, с самой незнакомой ей девчонкой, — крик, слезы, допрос, проникновенная беседа будут потом, а сейчас найти!.. У нее заходило сердце, в глазах темнело. Дома валилась на диван, глотала сердечное, а тут уже вставала над ней, шаркала за ней по квартире неотступно мать ее мужа, к телефону ли, на кухню ли, и бубнила, бубнила: «Это он нарочно мудрует. Вчера-то как измывался над ста-

рухой из-за несчастных рецептов этих... Твоими все стараниями, а вона, против самой обернулось. Походила бы ты за ним. Как он из дому — ты следом незаметненько. Что-то он часто на кино просит — видать, девок водит по ресторанам, в институтах-то нынче такие бэ все...» — «Перестаньте!!» — кричала мама, а милиционер хихикал, и кошмар этот был нескончаем.

Любимым мостом Димы был Охтинский — казалось, древний, готический какой-то. В этот вечер он успел навестить и мост. Свесившись, поглядел на мерцающие черные струи и двинулся дальше, к Суворовскому. Из темноты, прочеркнутой пунктирами береговых огней, летел ветер, робко перебирал волосы, гладил щеки. Ветер — не Она. Она улетела навсегда. Он думал об этом спокойно, с мягкой грустью, подобной голубому свету плывущего в красноватом небе Смольного собора. Он потерял ее. Она будет возвращаться, будет вновь уезжать — не к нему и не от него. Он стал омерзительно свободен. Он стал один.

Он стал настолько всемогущ, что решился написать родителям. Уйдя от шумных главных магистралей, он пристроился на лавочке под фонарем, от которого вниз струился конус чуть светящегося тумана, и достал блокнот. «Дорогие мама и папа!» — написал он. Карандаш подзатупился уже, Дима обгрыз дерево вокруг грифеля и заточил его о последний лист блокнота. «Простите бога ради, что не заехал, дел у меня в Питере до беса, и я спешил. Но теперь, хвала господу, я со всей текучкой расклепался и свободен, яко птах небесный. На днях буду в Москве — я посчитал, мой бюджет позволит, — и тогда обязательно заверну дня на два, на три, а то и поболее». Слова текли легко и плавно, будто карандаш сам сочился изящными сыновними оборотами. Так случалось редко, и надо было использовать звездный миг до последнего. Дима написал лист, второй, третий, не сообщая ничего существенного — зачем зря им настроение портить? Зато мимоходом касался различных мелочей прошлой жизни, которые родители так любили вспоминать и умиляться. А в голове медлительно текли мысли величавые и смиренные, как у мудрого старца, — ничуть не связанные с создаваемым текстом. «С учебой все в порядке. Шеф даже вспоминал на последнем экзамене: а, мол, это тот самый Садовников?» Потом нарисовал себя во временном измерении. Одна его половина удалялась, широко

шагая вдаль, где дыбился маленький Медный всадник, и там выворачивалась, а вторая половина шагала навстречу зрителю и сыновне улыбалась. Он еще подумал и написал наискось: «Одна нога здесь, другая — там». Самое трудное позади, подумал он, закрывая блокнот. Завтра купим конверт, запечатаем и швырнем. Шокотерапия.

Он встал и сразу понял, что никуда идти уже не хочет. И просто пересел на другой конец скамьи, туда, где над ней грузно нависли неподвижные, распластанные ветви сирени.

В домах гасли окна — то одно, то другое. Гасли слабые отсветы на влажных темных листьях. Водянистый, теплый покой курился над асфальтом, над лужами, над газонами и кустами, над Димой.

А как суетно начинался день!

Наверное, Она-то уже там. То есть, конечно, там, может, и накупаться успела. Взглянуть бы на того, с кем Она болталась по Золотому кольцу... и с кем, может, скоро заработает по золотому кольцу... если такой есть. Наверное, есть. А может, и нет. Все не так просто.

Все очень просто. Не любит. Остальное — неважные детали. Мимо прошлепал сгорбленный старичок, ведущий на поводке крохотную собачонку. Собачонка подбежала к Диминым ногам, принялась. Старичок, не глядя, ждал. Собачонка визгливо тявкнула, кинув голову вперед, и Дима непроизвольно дернулся.

— Она не укусит, — успокоил старичок.

— Тем лучше для нее, — ответил Дима.

Старичок переложил поводок из руки в руку, подышал на освободившуюся ладонь и спрятал ее в карман теплой куртки. Сощурился, всмотрелся под ветви. Дима улыбнулся.

— Незнакомый голос, — констатировал старичок. — Что это вы здесь поделяваете?

— Отдыхаю, — искренне ответил Дима. — Больно вечер хорош.

— Сыроват, — с видом гурмана заметил старичок.

— Да, немножко, — согласился Дима.

Старичок побегал взглядом влево-вправо, а потом вытянул тонкую, трепетную шейку, заглядывая за скамью:

— Вы один отдыхаете?

— Ясно дело. Вдвоем — это уже не отдых.

— Сколько вам лет, молодой человек?

— Формально я возмутительно молод.

— Ну, это главное... — Старичок поежился. Нашел взглядом свою собачку. Пробормотал: — Пойдем-ка мы. Барри, кажется, замерз.

— По нему видно.

— Вы не любите животных?

— А что, похоже?

— В вашем голосе мне почудилась ирония.

— Я тигров люблю, — сообщил Дима.

— Я так и думал. Идем, Барри, — проговорил он заботливо, — пора баиньки. Пописал? — Он опять полуобернулся к Диме. Он так и стоял к нему боком. — Со мной давно не говорили столь приветливо.

— Это не моя заслуга, — улыбнулся Дима.

Старичок покачал головой:

— Неправда.

Доходной, ледашенький Барри миролюбиво заурчал.

В парной тишине возник торопливый, нервный перестук каблучков, и из-за близкого поворота, словно выброшенная угловым кустом сирени, возникла девушка. Увидев старичка, она остановилась и требовательно спросила:

— Простите, как добраться до Уткиной Заводи?

Старичок секунду молчал.

— Запоматова, — сказал он с явной хитринкой. — Быть может, молодой человек... — и сделал широкий жест в сторону Димы. При этом задел напоенные влагой ветви, и на Диму обрушился короткий ливень. — Ох, простите, — вздрогнув, покаянно сказал старичок.

— Ничего, — улыбнулся Дима. Почему-то в этом разговоре он все время улыбался. — Даже приятно. Я уважаю душ, настоящий на давно отцветшей сирени.

— Именно на давно отцветшей?

— Можно и на цветущей. Но тогда общефизиологическое воздействие совсем иного порядка, не для отдыха. Оно не все-ляет негу, а возбуждает чувственность.

— Вы биолог?

— Что вы! Биологи полезные люди, а я тунеедец...

— Зачем же так самоуничижительно? — подойдя, с иронией спросила девушка, и Дима повернулся к ней. — Ответьте по делу, а судить будем мы.

— Я художник, — медленно проговорил Дима, глядя на нее.

— Идем, Барри, — сказал старичок и неторопливо пошаркал к парадному, унося с собой необозримую рыхлую память о массовых митингах, массовых восторгах, массовых героизмах, массовых расстрелах, массовых выселениях, массовых предательствах, массовых смертях, массовых надеждах, массовых дряхлениях, сквозь клубящиеся теснины которых, чуть мерца в темноте, будто струйка ни в чем не повинного и ничего не понимающего Барри, сочилась удивительно короткая его жизнь.

— То есть учусь на художника, четвертый курс... Вы не подумайте — так, маляр...

Она взглянула на него, искра стеклами очков:

— Я и не думаю. Маляр так маляр.

Она была как призрак, порожденный ночным маревом. Казалось, она светится. Казалось, она ничего не весит, не касается земли, плывет над этим обыкновенным мокрым тротуаром, и каблучки ее стучат просто так, для виду, чтобы никто не понял, кто она такая.

Господи, да ничего в ней не было! Чистое легкое лицо, короткое платье, тонкие руки, открытые до плеч...

Она была как душа.

Дима склонил голову набок, не в силах оторвать взгляд. Просто нельзя было не знать, как добраться до Уткиной Заводы. Сегодня мой день, подумал он. Сердце вдруг взбесилось; казалось, не то что ребра — рубашка не выдержит и лопнет, вот сейчас лопнет...

— Автобусом. Я только не помню, — сказал он, поднявшись со скамейки, — где останавливается восьмерка. Придет-ся чуть-чуть поплутать...

Она смотрела на него. Ей было легче — она закрывалась очками, в них отсверкивал далекий фонарь.

— Может, на пальцах объясните, маляр?

Дима сделал беспомощное лицо.

— Сам буду искать, — извинился он. — Шестым чувством. Если вы устали или не хотите с маляром идти рядом — я могу сбежать, а потом вернусь сюда и доложу, лады?

— Быстрее будет спросить кого-нибудь другого, — недовольно сказала она.

Секунду Дима стоял с разведенными руками, взглядом

лаская ее настороженно сжатые губы, а потом вздохнул и уселся обратно.

— Это, несомненно, логично, — согласился он.

Она не могла уйти, он всемогущ. Только он должен выполнить ее просьбу, он — и никто иной. Она задумчиво вытянула губы в трубочку. Улицы были пусты. Окна гасли — то одно, то другое.

— И зачем вам так далеко? — спросил Дима.

— Не ваше дело, — резко ответила она, но не ушла, лишь с ноги на ногу переступила в нерешительности. Ноги стройно светили на фоне черного отблескивающего асфальта. Она перехватила его взгляд, издевательски спросила:

— Нравится?

Дима поднял глаза. Ее очки отсверкивали как ледышки.

— Да, — виновато ответил он и опять чуть развел руками: дескать, что ж тут поделаешь. Она скривилась. Он поспешно добавил: — Вы не думайте, это у меня профессиональное.

— Профессиональное заболевание — сифилис, — едко сказала она. — Кто-то из ваших великих в принципе не мог нарисовать женщины, если с нею не переспал?

Дима тяжело вздохнул:

— Потрясающая эрудиция. Вы, простите, из искусствоведов?

— Нет, — ответила она. — Я спешу.

Дима вскочил.

— Да, конечно, шеф, — сказал он энергично. — Простите, я отвлекся. Засмотрелся, — добавил он. — Это вон туда. Бежим?

Она взъерошила маленькой пятерней свою короткую прическу. Решительно отрубила:

— Бежим!

И зацокала рядом с Димой, глядя только вперед, держась прямо и строго, как в строю. Дима смирил шаги — поначалу он и впрямь побежал от избытка чувств.

— Вы действительно спешите?

Она помолчала, потом ответила ядовито:

— Если бы я хотела прогуляться в обнимку до ближайшей парадной, я бы прямо сказала.

Дима всплеснул руками:

— Бога ради, не надо прямо! Если вас не затруднит, молчите, я сам догадаюсь.

— Повремените, — отрубила она.

Они неслись.

Город здесь не походил на себя. Был просторнее, темнее, свежее. Земля влажно дышала; напоенный теплым туманом воздух создавал ощущение сна. Казалось, ночь южная; казалось, тропическая; казалось, самая главная в жизни.

— Вечер какой чудесный, — сказал Дима. — Даже жалко спешить так... — Он испуганно осекся. — Только не сочтите за нарек...

Она только фыркнула.

— Вам не нравится? — печально спросил он.

— Это уже не столько вечер, сколько ночь, — сухо сказала она. — А ночью надо спать. Или, еще лучше, работать. Меньше отвлекающих факторов.

— Ну да?! — изумился Дима. — А плеск невидимых в темноте волн? А прибрежный песок под кокосовыми пальмами, после дневной жары еще теплый, как человеческое тело? А звезды, наконец?

— Перестаньте паясничать. Взрослый же человек.

— О да, — сказал Дима. — А вы не ленинградка.

— Ну и что?

— А я тоже не ленинградец. Родился в Москве, здесь учусь только.

Она помолчала, явно колеблясь, отвечать ли информацией на информацию или пренебречь. Такт пересилил.

— Владивосток, — уронила она.

— Лихо, — сказал Дима с восхищением. — А я вот Европы не покидал, обидно... Как же вы заблудились?

Она молчала.

— Это секрет? — кротко спросил он.

Она поджала губы. Потом такт пересилил снова.

— Мы на неделю приехали. Подруги в какой-то театр пошли прорываться, а мне эти лицедейства даром не нужны. Решила просто посмотреть вечерний город и... перестаралась.

— Не огорчайтесь, — сказал Дима. — Я вас спасу.

Она фыркнула. На протяжении всего разговора она не взглянула в его сторону ни разу.

— Может, познакомимся все же? — попросил Дима.

— Галка, — ответила она немедленно, будто дожидаясь. — Только Галка, никаких уменьшительных.

— Есть, шеф! — гаркнул Дима, на ходу шелкнув каблуками. — Будет исполнено, шеф! Очень приятно, шеф!

— А вас? — спросила она натянуто.

— Доцент тупой, — сказал Дима. Она даже не улыбнулась, ни чуть-чуть; губы ее, такие мягкие, нежные, были фанатично стиснуты.

— Меня — Димка, — сообщил он. Томно вздохнул. — Можно также Дымок.

Она фыркнула.

— А можно — Пушок? — осведомилась она. — Или предпочитаете Барсик?

— Предпочитаю Дымок, однако ж, если вам угодно...

— Димка так Димка, — оборвала она. — Скоро?

— Ну, как... — честно ответил Дима.

Она впервые покосилась в его сторону — коротко и требовательно. Двойной пролетающей молнией взблеснули очки.

— Перестаньте молотить языком и займитесь делом наконец. Вы же обещали. Мне нужно домой, вы понимаете?

— Исессино, — ответил Дима.

— Вот навязался...

— Уважаемая и где-то внутри милая Галка, — сказал Дима. — У вас виктимное поведение.

— Что?! — взъерилась она.

— Вы так боитесь, что я склоню вас к позорному сожигательству в детской песочнице, затем убью, ограблю и, расчленив юное тело, спущу в канализацию, что вы каждой фразой меня на это провоцируете. Расслабьтесь. Я довольно хороший.

Она не реагировала секунд пять, а потом даже остановилась. Повернулась к нему наконец.

— Я вас боюсь? — с предельным презрением сказала она. — Да я вас в грош не ставлю! Вы просто болван или маньяк!

Дима широко улыбнулся.

— Наверное, все-таки маньяк, — сказал он. — За последние два дня я влюбляюсь в третий раз. И все три раза — безответно. Просто не знаю, как жить дальше.

— Нет, — сказала она. — Все-таки болван.

Дима засмеялся.

— Что вы хихикаете все время?!

— Блошки щекочуть.

Она фыркнула:

— Где остановка?

— Да, черт! Я и забыл, мы ж остановку ищем, — спохватился Дима. — Шерше...

— Ну, знаете, это действительно свинство! Я тороплюсь!

— Принято, шеф, — сказал Дима и шелкнул каблукми. Потом они снова пошли.

Некоторое время молчали. Дима озибался — он честно старался найти. Галка смотрела только вперед.

— Крайне дурацкий город, — вдруг сообщила она.

— Какой?

— Ваш.

— Впервые слышу. Поясните, будьте добры.

— Не паясничайте, Дымок, я вас просила уже. С одной стороны — вся эта прорва архитектурных финтифлюшек, с другой — плоскостность, двумерность, монохромность. У нас вот сопки, дома разного цвета... С матфака, с Суханова, Золотой Рог видно, это же приятно, когда на лекциях сидишь и балдеешь. А тут — крыши, крыши...

— Исаакий как раз напротив универа...

— Ха, драгоценность! Торчит ни к селу ни к городу...

Дима почесал щеку.

— Айда взорвем, — предложил он. — У меня ребята есть знакомые, пару грузовиков с ТНТ подбросят к рассвету...

Она блеснула очками в его сторону и впервые улыбнулась. Правда, еще не настоящей своей улыбкой. Этим губам сухая ирония не шла. Но все-таки уже улыбнулась. Сказала:

— Рук марать неохота.

Подождала.

— Шокирует?

— Ясно дело.

— Ну да, вы художник. Чем бесполезнее, тем лучше. Наверное, слюной исходите от сфинксов?

— Слезами, — ответил Дима. — Стояли они в Фивах, го-рюшка не знали, а тут на воздухах кислоты плавают, перега-ры, выхлопы, и от эдакого амбре за полсотни лет они истре-пались больше, чем за предыдущие тысячи.

— Следовало ожидать, — сказала она после короткого размышления. Помолчала. — А Зимняя канавка меня вообще убила и к месту пригвоздила. Там не то что взрослая женщи-на — ребенок не утонет.

— Это в связи с загрязнением среды, — серьезно заметил Дима. — Во времена Лизы было значительно глубже.

— Вы-то откуда знаете?

— Я в команде был, которая ее вытаскивала. Зеленая такая, осклизлая, карасями изгрызенная...

Сказав про карасей, Дима вспомнил, что не ужинал, и немедленно захотел есть. Но он шел ровно и все посматривал, не становится ли нежной строевая походка подружки? Нет, но раскованней и устелей.

— Я вам соврала, — вдруг сказала Галка.

— Когда это вы успели?

— Меня зовут Инга.

Дима качнул головой.

— Позвольте документик.

— Что?!

— Я очень нехорошо отношусь к тем, кто на ходу меняет имена.

Она опять скривила губы и, остановившись, сунулась в сумочку. Дима тоже встал, созерцая дивное зрелище, прелесть которого неожиданно стала ему доступна. Прежде вид девушки, роющей в сумочке, раздражал.

— Прошу вас, — сухо сказала она, протягивая паспорт.

Он открыл: действительно Инга. Таманова Инга Витальевна. На фото Инге Витальевне было лет пятнадцать. Миленькая девчонка со свешенной на лоб челкой беспомощно и чуть испуганно шурилась обнаженными глазами.

С трудом Дима подавил позыв изобразить пытлиное милиционерское лицо и, как бы в шутку полистав паспорт, заглянуть в графу «семейное положение».

— Инга по-японски — карма, — задумчиво сказал он, возвращая документ.

— Что?

— Карма. Есть такое понятие в буддизме, я думал, всякий знает.

— А ну-ка, назовите число «пи» с точностью до десятого знака!

— Что? — удивился Дима.

Она победно сверкнула очками и сказала:

— Я думала, всякий знает.

Дима улыбнулся.

— Как бы квиты, — проговорил он. Подумал. — Это закон распределения душ умерших для следующего воплощения.

— Да, для нашей жизни такое знание совершенно необходимо, — съязвила Инга.

— Каждый поступок, — будто не слыша, продолжал Дима, — ставит твою душу на один из миллиона возможных путей, по которому после твоей смерти она пойдет. И в конце каждого из путей — какой-то будущий человек, будущее животное, будущее растение...

— И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.

— Вот именно. И каждый поступок перешелкивает стрелки с одного возможного пути на другой, в лучшего или худшего человека, в благородное или мерзкое животное... Итоговый вариант пути — это и есть карма. Фактически инга — это судьба. Только не данной жизни, а будущей, посмертной.

Слова были как удар. Он сам это сказал, сам. Я даже зажмурился на миг от какого-то мистического, суеверного трепета. Он опять все знал наперед.

Сам не подозревая об этом.

— И которой уже Инге вы вбиваете клин столь охмурительной информацией? — ершась уже без всякого желания и потому с какой-то совсем нелепой грубостью спросила она.

Дима покосился на нее. Глядя вперед, она поджала губы.

— Фи, Элиза! — проговорил Дима с жеманным возмущением а-ля доктор Хиггинс. — Что за тон, что за манеры! Единственная Инга, с которой я был более или менее знаком, — это Инга из германовской «Операции «С Новым годом».

— Герман — это что, писатель? — после паузы спросила Инга.

Дима даже слегка растерялся.

— Ну да, — подтвердил он, придя в себя. — Но героиня «Пиковой дамы» утопилась в Зимней канавке не из-за него.

Инга фыркнула.

— Вы меня уже совсем за дебилку держите?

— Нет! — возмутился Дима. — Не совсем!

— И на том спасибо. Послушайте, куда вы так несетесь? Я же не иноходец!

Дима сразу замедлил шаги.

— Простите, я как-то запямятовал, что вы не иноходец.

Она опять фыркнула.

— Вот фыркание меня и сбило с толку, — пояснил Дима. — Оно типично лошадиное.

Она чуть было не фыркнула в третий раз. Задавила фырк в зародыше и только махнула блеском очков в Димину сторону. Дима тихонько засмеялся, с наслаждением глядя на нее.

— Ну что вы так смотрите? — спросила она, чувствуя его взгляд щекой. — Профессиональное?

— Оно, — подтвердил Дима.

— Не понимаю... Давайте пойдем немного быстрее.

— Ну, елки-моталки, с вами совершенно невозможно дружить! — Дима всплеснул руками. — То медленнее! То быстрее! С ума сойти. Если вы и во всем остальном так...

— Я замерзаю немножко, — объяснила она совсем уже мирно, даже виновато. — Ноги устали и не идут, поэтому хочется идти медленнее. А по ребрам мороз, платице-то пшик, марлевка... поэтому хочется идти быстрее.

— Ясно, Судьба, — с пониманием сказал Дима, и я опять вздрогнул. — Был бы пиджак — накинул бы...

— Я бы не взяла, — ответила она. — Ох, неужто доберусь сегодня до подушки?

— Гарантирую, — заверил Дима.

Она поджала губы.

— Я свою имела в виду, — сказала она резко.

— Ясно дело, — удивился Дима, не поняв. Даже в темноте было видно, как она покраснела. И сама же вспылила. Огрызнулась:

— По сторонам смотрите, а не мне на ноги!

— Я не только на ноги.

— Неважно. По сторонам. Когда останавливают движение?

— Успеем.

— Не верю я вам, ох не верю! И такси, как назло, ни одного... По каким закоулкам вы меня таскаете?

— Послушайте, Инга. Неужели у меня такой мерзкий вид?

Она печально усмехнулась. Но это тоже была еще не настоящая ее улыбка.

— Симпатичный у вас вид, симпатичный. Толку-то что? Я же совсем одна здесь, Дима. И я очень устала. А вы все хихикаете.

— Нет, — сказал он, — нас двое.

— Автобус мне нужен, а не вы. Понимаете?

— Понимаю. Я работаю честно, шеф.

Он действительно работал честно. Расставаться с ней он не хотел; он решил уже, что тоже сядет в автобус и не уйдет, пока будет хоть малейшая возможность не уходить. Но, хотя его дом был в каких-то трех-четыре километрах от того места, где они шли, в этом углу города он почти не бывал и сейчас перепутал улицы. Он сам беспокоился, ему было жалко девочку, но он ничего не мог сделать. Остановка, которую они искали, безвозвратно уплывала от них, скрытая углом серого неопрятного дома. Только что до нее было семьдесят метров. Теперь уже двести. А до следующей было еще полтора километра.

— Конечно, я стараюсь, Инга, — сказал он. — Приказ есть приказ. Где слово царя, там и власть, как говаривал Екклесиаст, и кто скажет царю, — Дима тяжело вздохнул, — что ты делаешь?

— Екклесиаст?

— Это из Библии, — мирно пояснил он.

Она фыркнула.

— Тпру! — сказал Дима и натянул воображаемые вожжи. Инга даже сбилась с шага.

— Что, впрямь похоже?

— Как две капли.

— Ладно, не буду. Постараюсь.

— Да ради бога, фырчи! Обожаю лошадей! Сразу хочется дать кусочек сахару. Чтоб губами брала с ладони и помахивала хвостом от дружелюбия.

— Не дождетесь, — сказала она сухо. Помолчала. — Что за охота забивать память дурацкими цитатами! Дурам-бабам головы дурить, единственно. Вот, мол, какой эрудит я, Библию знаю!

— Да нет, Инга. Дурам-бабам Библия до лампочки. Просто хорошо сказано, компактно и четко. На все времена.

— Компактно и четко... — Это, кажется, произвело на нее впечатление. — Все равно бы читать не стала.

— Тебе сколько лет?

«Тебе» вырвалось само собой, и Дима сразу напрягся, готовясь услышать что-нибудь хлесткое и враждебное, но она то ли не заметила, то ли не придавала значения.

— Много.

Он с облегчением расслабился.

- В твоём возрасте я тоже думал, что не стану.
- А сколько мне, по-твоему?
- Маленькая, очень злая и ожесточенная девочка, — ответил Дима. — Кто знает почему?
- Девочка, — повторила она с непонятной интонацией. — Мне уже девятнадцать!
- Да брось! — сказал Дима. — Люди столько не живут!
- Она вдруг остановилась, и Диму выбросило вперед на два шага.
- Что? — спросил он, обернувшись.
- Сейчас... — Наклонившись с какой-то беззащитной, шемящей грацией, она теребила задник левой туфельки. — До крови стерла...
- Слушай, может, бумажку подложить? У меня блокнот есть!
- Да я уж вату подпихивала — все равно. — Она распрямилась, поправила ремешок сумочки на плече. — Километров пятнадцать в новых валенках...
- Ты героиня...
- Она улыбнулась.
- У Димы снова горячо сжалось горло — точно так же, как в момент появления Инги из тьмы.
- Улыбка была как взгляд очень близорукого человека, снявшего очки.
- Уж погуляла так погуляла, — грустно сказала она.
- Жалеешь? — У него дрогнул голос.
- Она помедлила.
- Если я скажу «да, черт меня дернул», я ведь тебя обижу, а мне этого совсем не хочется. А если я скажу «нет, ведь тут-то я и встретила хорошего человека», ты решишь, что я старая вешалка и алчу замужества с московской пропиской.
- О господи! — сказал Дима, всплеснув руками. — Нет. С такими помощниками мне коммунизм не построить.
- Она улыбнулась снова.
- А теперь фыркни! — крикнул Дима. — Фыркни скорее!
- Она протяжно фыркнула и дважды ударила в асфальт здоровым копытцем.
- И они засмеялись. Вместе.
- А я вот с голоду помираю, — признался Дима.
- И молчит! — воскликнула она и полезла в сумочку. —

Погоди, у меня тут завалилось для голодающих Поневья...
Во! — выдернула она завернутый в кальку бутерброд. — Держи.

— Это разве еда? Дразниться только...

— Лопай, а то раздумаю!

— Пополам? — предложил он.

— Я ужинала, — поспешно сказала она.

— Когда?

— В семь. Полвосьмого даже.

— А сейчас почти полночь.

Они по-братски поделили миниатюрную снедь. Дима разом проглотил свою пайку и загудел печально: «Тебе половина и мне половина...» Инга засмеялась, аккуратно отщипывая от булки небольшие кусочки, а колбасу не трогая. Объем булку, сделала удовлетворенно-сытое лицо и спросила, протягивая Диме колбасу:

— Хочешь?

— Привет! — возмутился Дима. — С какой это стати?

— Я не люблю колбасу, честное слово.

— Так не бывает.

— Ну, эту колбасу. Я другую люблю.

— Не чуди, Судьба.

— Я ведь ужинала.

— Чем? Бутерами?

— Ну и что? Три штуки... — Она осеклась, потом фыркнула и сама же засмеялась тем единственным смехом, который так подходил к ее губам. — Как хочешь... — Открыла рот и замерла, лукаво косясь на Диму блестящими стеклами. Дима, затаив дыхание, созерцал. Она с демонстративной жадностью откусила.

— Приятного аппетита, — сказал Дима. С набитым ртом она покивала, угукнула.

Они пошли дальше. Она уже заметно прихрамывала. И ни одного такси.

— А я математикой занимаюсь, — вдруг решила она.

— А я знаю.

— Откуда?

— Ты упоминала матфак. И число «пи» неспроста.

— Вот какой наблюдательный. Чего ж ты не засмеялся?

— Когда?

— Ну... — Она вдруг снова вытянулась, как на плацу. — Из девки математик — как из ежика кабарга.

— Почему? — улыбнулся Дима. — Я в тебя верю.

Ее прорвало. А может, подсознательно это было испытание: она говорила, а сама ждала, когда Дима заскучет и либо засмеется, либо одернет ее, либо скажет: ну а теперь прямо и направо, вон туда сама дойдешь. Она была убеждена, что он водит ее вокруг остановки. И уже простила ему это.

Она достала из сумочки, сразу вдвое похудевшей, свежую, еще пахнущую типографией и первыми днями творения книгу Яглома и стала хвастаться, как ей повезло ухватить это сочинение. Вкратце пересказала. Дима слушал, хотя понимал не много. Но это было настоящее. Она запихнула книгу обратно, поведала, к слову, что чтобы шарик, у которого отсутствует трение качения, а присутствует лишь трение скольжения, катался по некоей поверхности бигармоническими колебаниями, эта поверхность должна быть исключительно циклоидой. «Что есть циклоида?» — спросил Дима. Инга крутнула в воздухе пальцем. «Не понял», — сказал Дима. Она искательно поозиралась, Дима вытащил блокнот и карандаш — Инга сказала «О!» и изобразила циклоиду, а рядышком подмахнула ее уравнение. «Лихо», — мотнул головой Дима. Что такое бигармонические колебания, он спрашивать не стал — не в них дело. Она сунула карандаш и блокнот себе в сумочку и рассказала, что даже сам великий Коши ошибался, правда, один лишь раз, да и то потому, что теория радикалов была в то время совершенно не разработана, а когда стала выясняться истина, первый напечатал на себя опровержение. Рассказала теорему трех красок, которую Дима особенно старался запомнить. Он совершенно не слышал обо всех этих интереснейших вещах и, кто такой Коши, вспомнил с трудом. Новый мир открывался перед ним, незнакомый, сложный и не менее живой, чем мир полотен и звезд. И уж куда более живой, чем мир очередей и вечеринок.

Инга рассказывала от души, и Дима, в котором ее страстный накал резонировал сразу, уже видел стремительные, как очереди трассирующих пуль, пунктиры последовательностей, то вылетающих в межзвездную бездну, то внезапно и безнадежно вязнувших в клейкой неумолимости пределов, уже видел шустрые, как муравьи на разворошенном муравейнике, производные; и ему хотелось все это нарисовать. Даже странно было, что второкурсница столь раскованно жонглирует

столь сложными материями. Это была не зубрежка и не хватанность, это была увлеченность. Возможно, талант.

Она была настоящей.

Он понимал с пятого на десятое, но слушал, затаив дыхание. Он не факты собирал — он переживал ее интерес как свой. И уже восхищался ею. Совсем рядом с ним, в простом, по тогдашней моде очень коротком платье, в еще почти девочкиной фигурке, с удивительным, в форме созвездия Волопаса, узором родинок на хрупком предплечье шел человек из тех, что придают виду хомо сапиенс смысл. Без них он был бы столь же нелепым налетом органической грязи на планетарной коре, как серая лохматая плесень на выброшенной под забор корке хлеба.

Он не спрашивал, когда же у тебя наконец будут парни. Он не позевывал и не косился на часы. Он не пытался прервать ее, не заверял, что много будешь знать — скоро составишься и что если вся кровь уйдет в мозги, детей не будет. Он не хрипел, придавливая ее, оглушенную тайком подлитой в шампанское водкой, к общежитской койке и пытаясь раздвинуть ее стиснутые колени: «Ну посмотри, посмотри на себя, дурочка, ты же создана для этого, вот этого!..» Она говорила все быстрее, боясь, вдруг он заметит наконец, как они прошли мимо вот уже третьей остановки упомянутого им автобуса, вдруг заметит, посадит ее в автобус и навсегда исчезнет. И, сама испугавшись своего поступка и всей себя, на перекрестке она как бы в рассеянности повернула не в ту сторону, прочь от наметившейся линии, и Дима повернул вслед за ней, увлеченно слушая и ничего не заподозрив. А едва лишь за изгибами корявой улочки, выведшей их на берег очередной ленинградской канавы, скрылась та, маршрутная, Инга вдруг поняла: вот зачем ехала. К нему.

Их было двое. Они были вместе. Совсем-совсем воедино. Они вдруг обнаружили, что идут, взявшись за руки, и Инга на миг осеклась, а потом дрогнувшим голосом спросила: «Я тебя еще не насмерть заболтала?» — «Нет, что ты!» — честно ответил он, и она поверила — но все же так страшно было надоест ему, так страшно!

— Все, — сказала она. — Сеанс окончен. Теперь ты расскажи.

— Да ну... Я не умею. Давай я лучше тебя нарисую.

— Давай! — обрадовалась она.

Дима сунулся в карман и удивленно сказал:

— Блокнот посеял!

Она покраснела до слез.

— Моя работа... Р-растяпа! — Попыталась открыть сумочку и открыла, но вынуть по рассеянности уворованные карандаш и блокнот той рукой, на плече которой сумочка висела, не получилось, а лишить другую руку Диминой чуткой ладони она и помыслить не могла. Сумочка съехала с плеча, крутилась в воздухе и оказалась на мокром асфальте в мгновение ока.

— Хоп! — воскликнул Дима, пав на колени и пытаясь ловить хлынувшие наружу предметы.

— Р-растяпа!! — с ненавистью повторила Инга, приседая на корточки. Случайно коснулась Димы коленями, судорожно отдернулась и, потеряв равновесие, едва не села на асфальт. Дима поддержал. — За мной нужен глаз да глаз, — удрученно бормотала она, пихая обратно свой скарб. — Клептоманка...

— Какие у тебя коленки острые, — сказал Дима и засмеялся. И она, смутившись, засмеялась тоже.

Их было двое.

В это время в пяти километрах от них, едва живой от усталости и боли, плача, рухнул на скамейку Юрик. Но тут же встал опять, решившись наконец спросить у любого из прохожих две копейки. Через двадцать минут он позвонит домой, но будет занят. Через сорок минут он еще позвонит, но ему не ответят.

В это время в девяти километрах от них металась между телефоном и окнами обезумевшая женщина, сердце ее готово было взорваться, а за ней как тень бродила бормочущая яд старуха.

В это время в восьми километрах от них Вика, присев у постели Анны Аркадьевны, беседовала с ней о будущем друге и о том, как надлежит вести себя пока. Они снова заключили мир. Юрик больше не фигурировал.

В это время в десяти километрах от них, едва видимый в сигаретном дыму и компанейской тьме, остервенело колотил по гитарным струнам напарник и с ненавистью, воспринимаемой как игра, на мотив «Ты меня не любишь, не жалеешь» вопил:

— Расскажи мне, скольким ты давала?!

Одурелые от шума и вина девчонки, смеясь, хором подвывали:

— Да по пьяни разве разбере-ешь?!

И вдрабадан бухие парни подхлопывали с гиканьем и реготом.

В это время в двенадцати километрах от них Сашка, скрючившись, прикусив кончик языка, в который раз пытался скопировать Димин ракетоносец. Он выучил уже каждую черточку, каждый штришок, на его копиях все было точно таким же, как у Димы, даже гораздо более тщательным. Но ненастоящим. Димин корабль плыл, летел, пахал тяжелый серый океан, и хотя не было видно людей экипажа, чувствовалось, какие они сильные и смелые ребята. Сашкин корабль был карандашным пятном на бумаге. Это оскорбляло. «Козьявка, — думал Сашка с досадой, — и как же это получилось у него?»

Они шли. Уже просто шли, никуда.

— Я не могу так! — яростно кричал Дима, рубя воздух пустой ладонью. — Все некогда! Все невозможно! Жить некогда, чувствовать некогда... Вот Фриш у меня лежит, почитать дали — третью неделю не могу открыть!

— Прости... Читала Фриша — физик. Не тот?

— Н-нет, — неуверенно ответил Дима. — Там пьесы.

— Прости, — повторила она и несмело переплела свои пальцы с его. Он смешался на миг, ловя нежное движение шевельнувшейся и вновь замершей родной руки.

— Ну вот и говорю... А уж чтобы поехать куда-то...

— Я же приехала.

— Да разве это приехала? Случайно... На Ленинград — несколько дней!

— Мне двух хватило. Ненавижу достопримечательности.

— Да не в них дело, боже мой! Музеем больше, музеем меньше — ерунда. Но вот без такого вечера после дождя — нет Ленинграда! И нет его без весенней слякоти, и осенней грязи, и погожих дней, когда каждый лист как золотой и небо иступленно синее... А как льдины сверкают в апреле под солнцем, когда лед идет! Понять душу места! Ведь для этого двух дней мало, Инга!

Она несколько раз кивнула.

— Хочу год в Саянах, на Байкале год, на Курилы и на Камчатку хочу, к вулканам и гейзерам... Бесы меня дери, на атоллы хочу зверски, на Барьерный риф! Брахмапутру хочу,

буддийский храм на высоте пять тысяч, дворец Потала! Землю Грэйама, пингвинов! Сельву хочу! Планета колоссальна, а мы живем и умираем здесь вот, на Обводной канаве, ни разу не увидев месяц лодочкой, чтобы плавал в нефритовом небе над пальмами!.. Что смотришь так?

Она смотрела с восхищением.

— Вот не будь это ты... я бы решила, что пьяный, — вывралось у нее. — Не обиделся?

— Да нет, — медленно сказал он, остывая.

— Сельва. — Инга будто пробовала слово на вкус. — Вот никогда не думала об этом, но ты как-то так говоришь... Наверное, я уже буду хотеть всего, чего хочешь ты. Пингины... Земля Грэйама — это там?

— Да.

— А дворец... как его?..

— Лхаса. Тибет.

Она помолчала.

— Но ведь это невозможно, Дима, — произнесла она тихонько.

— Па-че-му?! — свирепо гаркнул он. — Ведь мы тупеем, тупеем!!

В это время генерал-лейтенант Пахарев, ничего так и не сказавший ни жене, ни дочери, одиноко сидел у себя в кабине. Наплескав себе капель с полста валокордина и вдруг забыв о нем, он держал на коленях открытую книгу. Это был не Манн, не Достоевский. Это был Фигейредо, «Лиса и виноград». Уже не замечая тянущей боли в груди, то и дело дающей выстрелы под лопатку, Пахарев в сотый раз перечитывал одну и ту же фразу: «Ну, где ваша пропасть для свободных людей?!»

В это время генерал-майор медицинской службы Чакьяшин, придерживая плечом телефонную трубку, стремительно записывал примерный диагноз. Диагноз диктовали из Москвы. Он был составлен нарочито путано, но суть его сводилась к тому, что на почве длительного переутомления, нервного перенапряжения, почти непосильных служебных усилий, а также полученной на Сандомирском плащдарме контузии в поведении больного имярек возникли странные и зловещие aberrации. Необходимы обследование и лечение, пусть даже принудительное. Когда текст был исчерпан и Москва отключилась, Чакьяшин положил трубку и неторопливо закурил.

Пахарева он в общем-то уважал, хотя считал, что тому, как любому выдвиженцу конца тридцатых, недостает интеллигентности. В музыке и живописи Пахарев не разбирался совершенно, до сих пор, например, путал Мане и Моне, да и вообще слишком старался, слишком лез на рожон ради так называемого «дела»; это все-таки признак духовной ушербности, как ни скажи. Вот теперь допрыгался. Организационные детали Москва предложила Чакьяшину продумать самому. Чакьяшин принялся перечитывать диагноз и вдруг пропел себе под нос на какой-то канканный мотивчик: «В горах изранен в лоб, сошел с ума от раны...» Этот мотив не оставлял его весь следующий день.

— Я боюсь, в будущем, — говорил Дима, — при всех грависуперах каких-нибудь, все будут сидеть и корпеть, корпеть... С одной стороны — прогресс подгоняет, дел неуправляемо, с другой — интересные дела-то, творческие, весь мозг берут... И вот черта с два многогранность и гармоничность! Будут знать только свое, как ты вот...

— Ну а что плохого? Я не чувствую себя обделенной!

— А я чувствую! Мне тебя жалко! Сколько цеплялок я к тебе протягиваю, а им не за что уцепиться! Общение сведется к паре анекдотов, рассказанных в столовской очереди, к веселой байке про третьего ближнего. Друзей — вагон! Любимых — вагон! И никто никому не нужен. Дорогая, передайте мне сахарницу. Пожалуйста, дорогой. Дорогая, у нас сегодня спуск мезонного батискафа, я не вернусь до завтрашнего вечера. Хорошо, дорогой. Наш синхрогипертрон на текущем ремонте, я заночую, пожалуй, у Аркадьева из седьмой лаборатории, вы не против? Нет, что вы, он порядочный человек и, как я слышал, очень знающий астроботаник... Каждый превращается в эдакий самодовлеющий, самокипящий котел о двух ножках, внутренняя жизнь каждого скучна всем, все скучны друг другу, понимаешь?

— Экий ты инакомыслящий, — проговорила она негромко. Никогда она не размышляла о подобных материях, но что такое самокипящий котел — знала.

— Нет, — устало ответил Дима. — Просто-то мыслящих не много, а уж инако...

— Дима... Почему ты об этом думаешь?

Он пожал плечами:

— Да оно само как-то...

— Тебе же должно быть очень тяжело... если все время вот так...

— Да нет. Собственно, не знаю. Кому легко-то?

Она помолчала, набираясь смелости. И все равно несмело попросила:

— Посмотреть бы твои картины.

Потеряв дыхание, он даже остановился:

— Хочешь?

— Не веришь?

— Господи, Инга...

— Очень, очень хочу. Мы еще четыре дня в городе. Встретимся? Или... у тебя уже не будет времени?

Он улыбнулся и фыркнул, глядя ей в задорно сверкающие стекла. Она засмеялась, с невыразимым облегчением поняв, что увидит его еще не раз.

— Собственно, это можно устроить удобнее, — неуверенно пробормотал Дима. — И всех зайцев убить... Ты... только, пожалуйста, не подозревай меня в грязном интриганстве, но мы как-то вышли на набережную... автобусом все равно и не пахнет... В общем, в полсотне метров, вон — я живу.

Она остановилась как вкопанная. Даже чуть попятилась. Воспоминание свирепо ожгло щеки и горло. Дима тоже замер на полушаге, чувствуя, как напряглась ее рука.

— Н-нет, — сказала она с усилием. — Не сейчас... Завтра. Пожалуйста.

Он виновато улыбнулся, и у нее сердце зашло от нежности.

— Не сердись... — попросила она.

— Да что ты! Я понимаю, Инга. Так, обидно чуть-чуть.

— Нет, нет! — выкрикнула она. — Просто...

Дима ждал. Она отвела глаза. Так стыдно было...

— Просто я вот так же вот... здорово влипла этой зимой, — пробормотала она, глядя в асфальт.

Горячее прикосновение его ладони оказалось пронзающе неожиданным. Вздвигнув, она подняла голову.

Свободной рукой сняла очки. Сразу сощурилась. Злясь на неуправляемые глаза, распахнула их так, что почти ослепла, — и он их увидел. Они были как ее улыбка. И губы были полуоткрыты. Она раскрывалась ему навстречу, словно цветок поутру.

Бесконечно осторожно он коснулся ее губ своими.

В этот момент в девяти километрах от них у женщины перестало биться сердце. Уже сорок минут она неподвижно, молча стояла у окна. Смотрела, не покажется ли ее сын внизу, в тусклом круге желтого света, разодранного в клочья черной лиственной деревьев. Она уже перестала надеяться, перестала слышать бормотание старухи, сложившей короткие руки на животе. Женщина широко распахнула рот, судорожно вцепилась ломкими пальцами в занавеску и, вскрипнув, подломленно опустилась на пол. С хрустом сорванная занавеска накрыла ее ярким саваном.

Бабуля, всматриваясь в лежащую, закончила фразу, затем опасливо подошла и чуть нагнулась. Подождала. Выпрямилась. Пошаркала на кухню. Там набрала в горсть воды из-под крана, вернулась и брызнула в лицо умершей. Подождав еще, поковыляла к телефону.

«Скорую» она вызывать не умела, но по странной прихоти старушечьей памяти помнила телефон брата покойной.

Долго не отвечали, потом заспанный женский голос сердито спросил:

— Алло?

— Василь Ильича, — приказала бабуля. Женский голос удалился, позвал: «Васенька, тебя... Ну, проснись, милый, проснись...»

— Да? — грянул бас главного инженера завода подъемно-транспортного оборудования.

— Василь Ильич? — сказала бабуля. У нее дрожал голос. Мир сломался. Произошло что-то серьезное — и не с ней. — Это от Валерии Ильиничны. Заболела она очень. Приехали бы?

— Что с ней? — охрипшим голосом спросил главный инженер.

— Да не знаю. Лежит и не встает.

— Врача вызвали?!

— Номеров я не помню...

— Ноль три!! — закричал главный инженер. — Немедленно вызывайте, я буду минут через сорок! Поняли? Ноль три!

Он швырнул трубку и молча стал одеваться. Руки тряслись. Жена помогла ему застегнуть пуговицы рубашки, подала пиджак.

В этот момент отчаявшийся Юрик остановил такси. В пальцах, потных и ледяных, он стискивал мятые рублевки. Он долго не мог решиться, ведь это привилегия взрослых — под-

нимать руку наперерез мчащемуся зеленому огню. Но выхода не было.

— По... пожалуйста, — пролепетал он, дрожащей ручонкой протягивая шоферу деньги.

В этот момент на Луне, в цирке Кюри, упал небольшой и очень странный метеорит. Он не был порожден внутри Солнечной системы, он пришел из дальних глубин. Он по касательной чиркнул скалистую поверхность внешнего кольца и почти полностью испарился. Но термический удар не повредил спор инозвездной жизни, тысячелетиями дремавших в пористом камне, и лишь рассеял их по площади в несколько сот квадратных метров. В 2013 году один из луноходов Третьей международной лунной, осторожно переваливаясь на осыпях, прокатит по краю зараженной субвирусом поверхности, и все дезинфекционные ухищрения на Земле не смогут нейтрализовать несколько спиралек длиной не более трех десятков ангстрем, застрявших на протекторах лунохода. Сам по себе субвирус окажется совершенно безвреден, и в течение четырех лет его ширящегося присутствия на Земле просто никто не заметит. Но в ту пору в некоторых технологически не развитых странах еще применялся бактериальный метод очистки промышленных стоков — передовые страны уже отказались от него как от мутационно опасного, — и тут субвирус найдет себе пару. Внедряясь в рабочие микроорганизмы, он породит совершенно новый штамм. В марте 2018 года из допотопных отстойников, почти одновременно в разных концах света, лавиной хлынет синдром цепного распада ретикулярной формации, или, в просторечии, лунный энцефалит. Это будет Апокалипсис. За каких-то одиннадцать месяцев энцефалит выкосит треть человечества, и он выкосил бы всех, всех до единого, если бы методику лечения не удалось разработать молниеносно.

Дима оторвался от ее губ. Несколько секунд они стояли молча, глядя друг другу в глаза, и, наверное, впервые в жизни чувствовали счастье. Потом он глубоко вздохнул, наклонился и поцеловал ее снова.

Я остановил развертку. Меня знобило, душа готова была наизнанку вывернуться от боли. Следовало прийти в себя, отдохнуть, успокоиться хоть немного. И потом — нелепо, но мне казалось, что если я оставлю их вот так, прильнувшими друг к другу: ее рука с очками в пальцах неловко обнимает его

плечо, его рука у нее на затылке, а другая именно с ней, с Ингой, вдруг ставшая целомудренной и не желающей ничего красть, так и не решается выбросить ее дрожащие пальцы и лечь хотя бы ей на спину, — если оставлю их так, они смогут чуть подольше побыть вместе. Хотя я прекрасно видел, что одновременно с ними и таймер замер на «1975.08.17.0.23», что даже десятые доли секунды прервали свое моторное мельтешение, и прекрасно знал, что могу вернуться в машинный зал и через неделю, и через месяц, — я ни на миг не продлю этим их стремительной, смертельной любви.

Сотрудники Радонежского филиала Евразийского хроноскопического центра ужинали на прикрытой плоским слоем поляризованного воздуха силовой террасе, нависшей над медленно текущей прозрачной водой. Я взял салат из кальмаров с сычуаньской капустой, два ломтика буженины, уселся за угловой столик и попробовал есть. Кусок не лез в горло. Руки дрожали. Я взял хлеб и стал, отламывая по малой крошке, кидать себе под ноги. Уже через минуту сквозь упругую твердь террасы я увидел, как из темной речной глубины не спеша всплывают громадные усатые сомы.

Вечерело. Солнце утратило пыл и спокойно стояло в пепельно-голубом небе. Перевитые хмелем заросли кустарников на том берегу потемнели, тень их падала на воду. С бешеным свистом прочеркнул воздух набирающий высоту гравилет Зямы Дымшица — Зяма очень мало ел и время ужина предпочитал тратить на вечернее купание где-нибудь в Новом Свете или в карельских озерах. Мелькнул — и исчез. Зяма был лихой наездник. Он тоже устал. Третий месяц он разматывал подлинную подоплеку убийства Александра Второго, и его буквально тошнило от омерзения. История полна лжи. Из-за соседних столиков доносилось: «Орджоникидзе действительно был застрелен. Я только что задокументировал», «И через каких-то два года после того, как Горбачев посадил его на обком, этот, извините, подонок...» О чем они все? — думал я устало. Как могут они заниматься этой накипью, когда тем двум, никому не известным, пропавшим без вести, остались минуты? Мне казалось, я не выдержу. Смертельно хотелось начать смотреть их встречу с начала, с первой секунды, когда Инга вышла из тьмы и спросила дорогу. Но я мог ждать здесь, заглядывая салат за салатом, мог смотреть до середины дважды, трижды, десятикратно — там, сто восемнадцать лет назад,

все происходило один раз и навсегда. Я знал это, но, угрюмо глядя на рабочие точки машинного зала, деликатно решенные в виде усыпавших зеленый косогор уютных изб, все-таки не мог отделаться от ощущения, что, пока я здесь, они где-то там живы и обнимают друг друга, а стоит мне вернуться и включить хроноскоп — я стану убийцей.

Валя подошла к краю террасы и остановилась отдельно от всех, что-то шепча и глядя на садящееся солнце, на темную воду, накрытую удлиняющимися тенями кустарников того берега. Я опять поразился тому, как она красива. И опять поразился тому, как мы похожи — мы и те, давно ушедшие, бесчисленные...

— Валя! — позвал я. Она обернулась. — Посиди со мной, пожалуйста.

Улыбаясь, она подошла — какой-то особенной своей точной походкой. Села напротив меня. Поставила локти на столик, подбородок уложила на сцепленные пальцы.

— Что это ты шептала сейчас?

— Стихи. Не помню чьи. Увидела, как ты сомов кормишь, заглянула туда, в глубину... Вот послушай. В краю русалочьем, там, где всегда сентябрь, где золотые листья тихо стонут, от веток отделяясь и кружась часами, прежде чем упасть; где паутина призрачно парит, скользя между стволами вековыми и между взглядами изнеженных лосих; где омут из зеленого стекла едва заметно кружит чьи-то тени в своей замшелой древней глубине, — я затеряюсь. Я туда войду; неслышно кану в мох, и прель, и шелест, и всю кожей буду ждать тепла. Но там всегда сентябрь...

Она умолкла. Я подождал чуть-чуть. Она улыбнулась.

— По-моему, неплохие, — сказал я.

— По-моему, тоже, — ответила она. Потянулась через столик, озабоченно провела ладонью по моей щеке. — Ничего не случилось? На тебе лица нет.

— Пацан мой меня достал, — признался я.

Она звонко рассмеялась:

— У тебя даже язык стал тогдашний. Какой ты внушаемый...

— Очень хочется любить, — вдруг сказал я. — Всерьез, на смерть. Как бы я хотел тебя от чего-нибудь спасти!

У нее чуть задрожали губы. Она нервно поправила волосы, нависшие надо лбом. И вдруг сказала негромко:

— Спаси.

— Не от чего.

Она вздохнула:

— Тогда я пойду?

— Пожалуйста, посиди еще минутку.

И тут она опять улыбнулась:

— Алеша, я поняла.

— Поняла?

— Конечно. Господи, я так тебя знаю...

Я облизнул губы. И вдруг поймал себя на том, что это — движение Димы.

Продолжая улыбаться, она спросила:

— Ну? Хочешь, чтобы я сама же и сказала? Хорошо. Конечно, приходи. Сегодня вечером, да?

— Если позволишь.

Она кивнула, сказала:

— Еще бы не позволить.

И ушла, не оборачиваясь. Джемшид Акопян с бокалом в смуглых пальцах сразу пересел за мой столик, и мы оба смотрели ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в аллее, ведущей к стоянке гравилетов.

— Наводишь сожженные мосты? — спросил он.

Я молчал.

— Все будет нормально, не переживай.

Я молчал.

— Тему закончил?

— Видимо, закончу сегодня.

— Ну и?.. Продолжаешь считать, что прав?

Я пожал плечами:

— При чем здесь правота или неправота? Есть факт. Почасовыми выборками я его установил. Теперь разматываю весь клубок.

— Но ты понимаешь, что интерпретация в принципе неверна? Более того, она унижительна! Выживание человечества зависело от какого-то мальчишки! Ведь он даже не гений! Он ведь не известен никому, он ведь даже следа не оставил!

Я широко повел рукой:

— Вот его след. — Показал на Джемшида, потом на себя. — Это тоже его след.

— Демагогия! — раздраженно проговорил Джемшид. — Так можно тянуть причинные цепочки до бесконечности.

Ткнуть в любую архейскую амёбу и сказать: открытие колеса — это ее след. Ткнуть в первого попавшегося бронтозавра и сказать: открытие противооспенной прививки — это его след. Надо же знать границы между формальной и реальной причинностью!

— Это азы, — с задавленной яростью сказал я. — Я тычу не в амёбу, не в бронтозавра. Я тычу в художника.

— Ну какой он художник? Кто слышал? Будь он масштаба ну хотя бы... ну этого... они же были знакомы, ты сам говорил... почти одновременно начинали... Шорлемера!

— Тут тоже не все ясно, — процедил я.

— Ах, даже так?!

Помолчали.

— Тема некорректно сформулирована. Я буду против тебя на ученом совете. Извини.

— Твое право.

Он не уходил. Пригубил своей шипучки, повертел в пальцах резной, словно морозным узором покрытый бокал. Солнце клонилось к лесу на горизонте. По безветренной воде то тут, то там вдруг начинали расходиться медленные круги — бегали водомерки.

— Клев сейчас... — мечтательно, как-то очень по-русски проговорил Джамшид.

Я не ответил.

— Лицо у тебя нехорошее, — негромко сказал он. — Переживаешь очень?

— Да, — сказал я.

— Ты хоть с приличными ребятами дело имеешь, — утешил он.

— В том-то и дело. За сволочей не страдаешь так.

— Не скажи. Когда целый год — грязь, потом еще год — грязь, потом еще год — грязь, потом — кровь, потом — и грязь, и кровь, а эти пауки в банке не унимаются, и ни одного маломальски приличного человека нет среди них... а внизу — ни правых, ни виноватых, все виноваты и все правы, а трупы так и отлетают!

— Нити в Москву пошли? — осторожно спросил я.

Он горько усмехнулся, вертя бокал в пальцах:

— Какие там нити? Веревки.

— Из обеих республик, естественно?

— Естественно. Но не только. Там еще сложнее оказалось, Алексей. И еще безнадежнее.

Он как-то сразу утратил воинственность, с которой напал на меня. Словно даже постарел.

— Ну что, по коням? — спросил я и встал.

— Пошли, — глухо сказал Джамшид. Скулы у него прыгали. — Поработаем.

Мимо них, грохоча мотающимися от обочины к обочине прицепом, промчался шальной грузовик и прервал единство. Пряча лицо у Димы на груди, Инга перевела дух и, когда лязг затих в ночной туманной дали, тихонько сказала, так и не сняв руки с его плеча:

— Вот теперь я к тебе точно не пойду.

Дима улыбнулся:

— С такою речью страстной нас оставлять одних небезопасно.

По ее молчанию он понял, что «Ромео и Джульетты» она тоже не читала. И фиг с ними, подумал он.

— Ну что такого ужасного может произойти? — спросил он чуть дрожащим голосом.

Инга опять запрокинула лицо, заглядывая ему в глаза.

— Добрый хищник, — нежно сказала она. — Подходит мягко, смотрит снизу и жалобно так говорит: можно, я тебя съем?

— Просто очень хочется тебе картины показать. Правда. Я сейчас фонарик выволоку карманный и буду тебе по одной их носить, лады? Не уйдешь, пока я буду корячиться по лестнице?

— От кого уйду? — Она неумело погладила его шею, потом коснулась губами его подбородка и тут же отпрянула. — Я дура, прости. Все прошло. Идем.

И первой шагнула вперед.

Тетя Саша уже спала. На цыпочках они миновали темный коридор. Половицы скрипели оглушительно. Вошли. Инга сразу выскользнула из туфель. Дима притворил дверь и зажег свет.

Вот его комната: выцветшие, отстающие от стен обои, трусы и носки на по-летнему холодном радиаторе, холсты, бумаги, завалы книг. Окно. Раскладушка. Роден на стене.

И здесь — она.

— Извини, я никак не ожидал принимать гостей...

— Все в порядке.

Он подошел к «Пляжу». Замер на миг, вцепившись пальцами в простыню. Только бы она поняла, думал он. Только бы ей понравилось!

— Интересно, — сказала Инга, приближаясь беззвучно в капроновых подследниках. Левый был окровавлен едва не на половину. — Что было бы, если б я не у тебя спросила дорогу?

— Пятка была бы целая, — ответил Дима, с сочувствием глядя, как она прихрамывает. Она подошла, уже совсем породному положила ему руку на плечо. Без туфель она стала еще чуть ниже ростом.

— Я серьезно, — сказала она. — По-моему, было бы ужасно.

— По-моему, тоже, — сказал Дима и обнял ее за плечи, спокойно и нежно, как жену.

— Вот что я хотел показать тебе больше всего. Это последняя. — Дима дернул простыню.

Инга поправила очки. Не дыша, он следил за ее лицом. Инга была разочарована, хотя старалась не показать. Покосилась на него виновато, вновь уставилась на полотно.

— Красиво... — неуверенно сказала она. — Море такое теплое...

— А теперь, — Дима показал пальцем на шнурок светильника, — дитя мое... Дерни за веревочку — дверь и откроется.

— Какая дверь? — не поняла Инга. «Красную Шапочку» она, видимо, тоже не читала. Или забыла. Ну и фиг с ней, с Шапочкой.

— Главная, — сказал Дима.

Инга дернула.

И вздрогнула — он отчетливо почувствовал это лежавшей на ее узких плечах рукой и бедром, касавшимся ее бедра. Лицо ее озарилось багровым светом, брови сдвинулись.

— Как ты это сделал? — отрывисто спросила она.

— Полгода химичил, — пояснил он.

— А свет?

— Что — свет?

— Он случайно красный? Или ты так и хотел?

— Случайно, — признался Дима.

— Это очень хорошо, что красный, — медленно проговорила она. — Свою кровь не прольешь — чужой не увидишь... А кто это выдумал? С красками?

— Да я и не знаю. Эффект-то всем известный, только я

его до крайности довел... Не слышал, чтобы кто-то еще эдак баловался... Наверное, я первый. — Он смущенно улыбнулся. — Нравится?

— Ты гений, да? — спросила она, отворачиваясь от картины.

Он фыркнул старательно, но она даже не улыбнулась.

— Я всегда думала, — проговорила она, глядя на него как-то благоговейно, — что если кто-то выдумает нечто дающее... ну... новую дорогу, — это гений.

— Да нет, что ты. Игра ума это, а не дорога. И пока даже очень примитивная. Вот если как следует подобрать цвета освещения, сделать постепенным переход из цвета в цвет, и не в двоичной системе, а, скажем, хотя бы в семиричной, по числу цветов в спектре... можно целые истории из семи шагов давать, целые притчи... А это — первая проба. — Он выключил светильник, и Инга снова вздрогнула. — Называется «Пляж». А про себя я это называю... только ты не говори никому, — простодушно предупредил он, — «Развитой социализм».

Она задумчиво сложила губы в трубочку.

— Да просто любая ложь, — сказала она.

Дима хлопнул себя по лбу свободной рукой:

— Ложь! Слушай, это ты гений, а не я! Конечно, просто и точно! «Ложь», и все! Еще показать?

— Конечно! Только я посижу немножко, а? Ноги не держат.

— Садись, господи! Можно даже лечь! — Он осекся, но она лишь улыбнулась.

— Ды-мок, — проговорила она.

— Здесь, шеф, — ответил Дима и шелкнул каблуками.

Она и не подумала отходить от него. Только чуть отстранилась, чтобы смотреть прямо в лицо.

— Дима... — с усилием сказала она. — Димочка... Я тебя только спрошу. Извини, пожалуйста... Вначале... давно... когда мы познакомились... ты сказал, что за два дня я у тебя третья. Это правда или ты пошутил?

Кровь ударила ему в лицо так, что глаза едва не лопнули.

— Если не хочешь, — беспомощно сказала она, — не отвечай.

— Ты — у меня — за всю жизнь первая, — тихо и решительно сказал Дима. — Но еще сегодня я целовался с другой. А позавчера — еще с другой. И еще до третьей, самой главной,

добраться не успел, она уехала, а так бы, наверное, попробовал. Ужас.

Она долго молчала.

— Странно, — жалобно, едва не плача, проговорила она потом. — Мне кажется, ты должен быть очень верный.

— Мне тоже, — ответил он. — Может, буду когда-нибудь? А может, просто мне нужно чувствовать как можно больше: и боль, и надежду, и тоску, и любовь? Атоллы, Курилы, Земля Грэйама... Чтобы не тупеть. А может, — догадался он, — я просто тебя искал?

Она покачала головой.

— Добрый хищник... Ну что с тобой делать? Расчленишь и в канализацию?

Он молчал.

— Или поцеловать покрепче, надеясь, что со мной тебе понравится больше, чем с другими?

— Это вопрос, — чуть хрипло сказал Дима и убрал руку с ее плеча. — Можно сказать, вопрос вопросов.

Она опять долго молчала.

— У вас есть телефон?

— Хочешь вызвать такси? — тихо спросил он. — С минуты на минуту мосты разведут, Судьба. Ложись здесь, а я пойду на улицу, у канавы посижу. Как только сведут, я поймаю мотор и подгоню сюда.

Она улыбнулась и провела ладонью по его щеке.

— Я хочу подружкам позвонить, чтоб не волновались. Они, наверное, из театра давно вернулись... А я ведь теперь не скоро до них доберусь... — У нее задрожал голос. — Я, наверное, с ума сошла, но мне кажется, что лучше — поцеловать. Только я не очень умею, Дима. Ты меня научишь всему, хорошо?

— Да я сам-то... — теряя дыхание, пробормотал Дима и осекся. Только безнадежно рукой махнул.

И они засмеялись. Вместе.

— Нет телефона, — сказал он потом.

— Ну, тогда надо на улицу сбегать... Я мигом!

— Да они спят давно, Инга!

— Нет, Димочка. Они волнуются. Я все время буду об этом думать. Ну, я мигом. Ты только не думай... Я вернусь.

— Чудачка девка, — с нежностью проговорил он.

— Не будь я чудачка, ты бы меня не полюбил, — ответила

она. — Не хочу, чтобы меня это беспокоило. Хочу думать только о тебе.

Он покачал головой.

— Ну ты же не хочешь, чтобы я лежала, как этот твой на пляже!

Он мог бы не пустить ее. Два решительных слова, возможно, даже одно. Но он слишком хорошо понимал ее, слишком хорошо представлял, как ее будет мучить совесть, будет грызть беспокойство. Он не умел настаивать, умел только помогать. И делал ошибки, в общем, лишь тогда, когда помогал делающим ошибки. Он все-таки был гением. Гением соперничества.

— Пошли, — сказал он. — Уж провожу, конечно. Ночь на дворе, мало ли что...

Она поцеловала его в подбородок. Ее глаза сверкали.

Я вскочил.

— Задержи ее!!! — не помня себя, закричал я. — Хоть на минуту задержи!!

Мне было уже плевать на человечество. Пусть вымирает, если не умеет жить без жертвоприношений. Пусть! Зато у них еще почти сорок пять лет!

Я мог разорвать себе горло криком. Мог молотить кулаками пульт, мог вскрыть себе вены и залить экраны и сенсоры собственной кровью. Все давно уже произошло.

Фонари не горели — перевалило за час ночи. Глухая тишина шуршала в ушах. Набережная была пустынна, город словно вымер. Инга отчетливо прихрамывала, но улыбалась. Они дошли до угла.

— Вон кабинка, видишь? Иди звони, не желаю я слушать бабь треп. Как заведутся, так на час...

— Я мигом, Димочка! — крикнула она и побежала наискось через пустынную коленчатую улицу.

Главный инженер завода подъемно-транспортного оборудования на предельной скорости гнал свой «Москвич» к Обводному. Улицы были пусты, асфальт почти подсох, инженер спешил. Надо было успеть до разводки мостов. Надо было успеть помочь сестре. У сестры большое сердце, уже был инфаркт. Ей туго приходится с сумасшедшей свекровью и доходягой-сыном. Инженер делал для сестры все, что мог. Он любил сестру.

Словно с неба рухнули рык мотора и режущий свет фар.

Иступленный визг тормозов заглушил короткий вскрик и глухой, мокрый удар. «Москвич», подскочив на поребрике тротуара, с рвущим мозг скрежетом вонзился в стену, сминая капот как бумагу. Стало тихо.

Что-то произошло? Где Инга, она только что улыбалась ему с полдороги? Почему машина врезалась?

Дима подбежал к исковерканному «Москвичу». Дверца с лязгом откинулась, и залитый кровью человек, вскрикивая, вывалился на дорогу.

Дима упал на колени. Схватил человека за плечи и молча стал колотить головой об асфальт. Человек в ужасе стонал, жалко пытался отбиться немощными руками, но Дима колодил и колодил, пока человек не обвис и не перестал стонать. Тогда Дима замер. Тронул его затылок. Затылок был мягким, горячим, мокрым.

В домах зажглось несколько окон.

Шатаясь, Дима встал. Что-то замычал, потом замолк. Побежал к ней.

Теперь она была совсем маленькой. Платье, пропитанное кровью, задралось, и видно было, что левая нога держится лишь на коже, проткнутой обломками костей. Наверное, и таз раздробило — она лежала, как сломанная кукла.

Одна щека была разорвана, во рту стояла кровь и стекала на асфальт. В крови поблескивали зубы.

Это она? Вот эти губы он целовал? Упругие, теплые, нежные — эти?

— Инга? — спросил он хрипло. Она не ответила ему. Теперь она не могла ответить даже ему. Ее уже не было. Было тепло, было платье, были туфли, ссадина на пятке еще была — а ее уже не было.

Дима закричал.

Потом он убежал, оставив любимую и убитого, как они были, на асфальте.

Потом он рисовал.

ЭПИЛОГ

— Ну, будет врать-то, — сказал Шут. — Никого ты, кроме себя, не любишь. И никто никого, кроме себя, не любит. Разрыв наш, подружка, дело решенное. А пока давай лучше кофейку бузнем. Я утром свежачка намолол.

Лидка вздохнула.

— По-моему, ты немножко сумасшедший, — сказала она.

— Все мы немножко лошади, — скалясь, ответил он. — Будешь кофей-то?

— Давай лучше Димино письмо откроем, — попросила она.

Шут пожал плечами:

— Что он может написать? Мирись-миришь, больше не дерись — вот и вся его философия. — Он подошел к секретеру, взял из вороха бумаг пришедшее вчера письмо и небрежно кинул на диван, в уголке которого, поджав ноги, сидела Лидка.

— Прекрасная философия, — сказала она, ловя конверт. Распечатала, развернула листок. Шут с ухмылкой следил, как забегали ее глаза по строчкам. Потом глаза остановились — Лидка смотрела на рисунок. Потом глаза стали влажными.

— Все правильно, — сказала Лидка дрожащим голосом. — Вот к нему я от тебя и уйду.

— Ого! — сказал Шут, подходя вразвалочку, сложив руки на груди. Заглянул в письмо через плечо Лидке. — А-а... ясно. Добрый путь. Только не думай, что он будет стоять вокруг тебя на коленях. Это он только другим такие советы дает.

— Мне не нужно на коленях, — ответила Лидка сердито, — я сама могу. Но он добрый, понимаешь? Добрый.

— Петушок еще в темя не клевал, — ответил Шут убежденно.

— Ты дурак какой-то! — всхлипнула она. Полгода билась она об эту стену, и чем больше оставляла на ней кожи и крови, тем толще стена становилась. — Я хочу самых нормальных вещей. — Она потерла глаза кулаками. Она ненавидела плакать, но что же делать... — Хочу жить, понимаешь? Любить тебя хочу всю жизнь. Детей хочу.

— Бог подаст, — ответил Шут. — Не заводись.

В дверь позвонили. Лидка вскочила, но Шут остановил ее повелительной вялой рукой:

— Не хочу никого.

В дверь опять позвонили.

— Человек же пришел! — воскликнула Лидка.

— Человек, человек... Черт с ним, открывай. Нет, я сам, не надо услуг...

Она засмеялась и бросилась к двери. Он, устало и злобно шипя сквозь зубы, двинулся вслед.

Дверь открылась, и за нею стоял Дима с черным чертежным тубусом в руке. Увидев Лидку и выдвигающегося из комнаты Шута, он сделал улыбку. Теперь, неделю спустя, уже начало получаться.

— Ба! — воскликнул Шут. — Ух, смурняга!

Лидка в ужасе прижала ладони к щекам:

— Дымочек! Да что с тобой?

— А что? — спросил Дима.

— Ты не заболел? Или что?

— С чего взяла ты, глупая женщина? — спросил Шут. — Димка как Димка.

— Да глянь, на нем же лица нет! Где твои глаза...

— Брось ты, право слово. Заходи, Дымок, не стой на пороге. Приехал нас спасать? Или Лидку решил отбить у меня?

Дима шагнул в прихожую.

— Я тут, братцы, — сказал он, — гениальное полотно создал. Хочу вам подарить на свадьбу.

— Эва, — сказал Шут.

Он был от души рад Димкиному приезду. Можно будет отвести душу, потрепаться всласть о скудной, мучительной своей доле. Кто-то, а Димка умел слушать.

— Димочка! — уже вѣрещала Трезора. — Ты есть хочешь? Чайку? Кофейку? Садись с нами, мы как раз по кафе ударить собираемся... Так ты не болен, правда?

— Легкий приступ инфлюэнцы. — Дима растянул улыбку

еще шире, раскрыл тубус и стал вытряхивать свернутый холст. — Сейчас покажу, смотрите.

— И за этим ты специально ехал? — ахнула Лидка, всплескивая глупыми руками. Шут усмехнулся: вот ребенок-то. Не может без сказки.

— Да. — Дима перестал улыбаться. — Специально. Называется «Пожизненный поиск».

Он развернул холст.

Стало тихо.

Картина мрачно, феодально гремела, как токката. Если долго смотреть, казалось, она начинает наползать медленным, неотвратимым танком — чтобы втянуть в себя, присоединить к тому, что в ней происходит. От нее веяло дикой, безысходной тоской и столь же дикой, неизбежной надеждой.

В тесном, чудовишно мрачном склепе клубился зеленоватый хлорный туман. В тумане бродили угрюмые люди без глаз и ртов, и не было этим людям числа, словно туман порождал новых и новых. Правыми руками они держали страшные факелы, источавшие черную копоть и рваный багровый свет. Левыми — короткие шесты, к которым кое-как, вслепую, громадными ржавыми гвоздями — пробившие тонкий шест острия зловеще торчали в стороны — приколочены были щиты. На всех щитах написано было одно и то же слово: «Люблю».

Очевидно, бродя в слепой тесноте, угрюмые люди то и дело задевали друг друга погнутыми остриями гвоздей, чадным огнем факелов. Не оставалось ни одного, кто не был бы искромсан и обожжен. Все они были ужасны. И все они были несчастны. Но бесконечное топтание по кругу не прекращалось, слепцы ходили до последнего, куда держали ноги.

Некоторых уже не держали. Вдали, в ядовитых переливах тумана, угадывались едва ли не штабеля тел. А на переднем плане, потеряв сразу угасший факел, откинув тоненькую руку со все еще зажатым в кулачке призывным шестом, лежала навзничь совсем молодая девушка. Один из ищущих в равномерном своем блуждании встал ей на грудь и не заметил даже.

Все было предельно просто. Но волосы вставали дыбом.

У Шута перехватило горло.

Как мог этот херувимчик, знающий про жизнь только из книг да от него, Шута, понять все это? И не только понять, но показать все, что с Шутом творится, столь хлестко и точно?!

— Эва, — опять сказал Шут почти со злобой. — Какой у тебя без Евиной задницы пессимизм развился, а?

Лидка вдруг коротко размахнулась и влепила Шуту колокольню звонкую пощечину.

— Как ты смеешь?! — иступленно закричала она. — Ты что, не видишь, что это про нас?! Ты вообще не видишь?! Ты чего боишься? Пораниться боишься? Так иди тогда, береги шкурку и не живи! Или ты поранить боишься? Рань — заживет!! Не боль страшна — обида! Выдумал — нарочно ранить, чтоб никто к тебе близко не подошел и случайно не поранился! Ну и что? Так совесть чище? Врешь, не чище! Трус! Трус!!!

Шут ошалело всматривался в прыгающее, скорченное страданием белое лицо. Совершенно новое лицо. Она чувствовала!

Димка с его мазней пропал. Все пропало.

— Лидка, — пробормотал Шут, отступая на шаг перед ее натиском. Потом еще на шаг. — Лидка... Трезора глупая... Я ж тебя чуть не просмотрел!

Она замерла с поднятыми руками, на глаза ее неудержимо стали накатывать слезы. Шута она любила, Шута.

Они зарегистрировались через месяц, а через два года развелись. Но за год до развода у них родился сын, и они назвали его Димой.

И Шут, всю жизнь горестно метавшийся от женщины к женщине, ни одной из них по-настоящему не доверяясь, — он маниакально считал, что слишком многого требует и слишком мало может дать, все время ждал, что его из-за этого обязательно бросят, ведь никто ж такого долго не выдержит, и потому постоянно подстраховывался сжиравшими его же самого запасными вариантами, — неожиданно оказался внимательным, умным отцом. После развода Лидка попробовала было устроить свою жизнь и снова выйти замуж, пожила с хорошим, довольно пожилым человеком — так, как иногда живут вместе хорошие люди: без страстей, но заботливо; и слава богу, что они не успели сходить в загс, потому что уже через три месяца она изменила новому другу с тем же Шутом, а еще через две недели втроем с сыном Лидка и Шут уехали в отпуск. И целый месяц были счастливы как сумасшедшие.

В общем-то они бывали счастливы. И потому, что все, в том числе и счастье, они чувствовали чрезвычайно остро, на их долю досталось не меньше счастья, чем на долю спокой-

ных, — если тут возможен хоть какой-то количественный анализ. Они сходились и расходились, как летят то рядом, то поодаль, то снова рядом несомые ветром золотые листья, и с этим ничего нельзя было поделаться. Лидка махнула на себя рукой; она Шуту даже мельком не изменяла и свирепо шарахалась от всех, кто с той или иной целью пытался до нее добраться. Но как она расцветала, когда ветер вновь соединял их! Она молодела, у нее менялась походка, менялся голос, даже цвет глаз менялся; приятельницы на работе замечали это безошибочно после первой же ночи и с завистливой иронией шептались за спиной вроде бы такой же, как они, женщины, в одночасье превратившейся в яркую юную красавицу: «Опять Никола начал курс гормонального лечения...» Но дело далеко не сводилось к гормонам. Они действительно были очень счастливы. Дима Садовников сказал бы: они были настоящими. Они слушались ветра. Да, конечно, бывают неподвижные листья. В луже. В куче. Эти — летели.

Странный ритуал сложился у них с самого начала; собственно, создал его Шут, через год с небольшим после развода позвонив Лидке на работу в ту пору, когда она почти уже вышла замуж, и сказав: «У меня Димкина картина, помнишь? Я, прости, тут ремонт затеял, переклеиваю обои, она мне мешает немножко. Не возражаешь, я тебе ее занесу, пусть пока повисит у тебя...» И она, сразу все поняв, так что закружилась голова, после паузы ответила: «Мне удобнее зайти самой. Ты живешь там же? Когда можно?» — и отпросилась с работы пораньше, потому что, перед тем как на четверть часа заехать за картиной, нужно было непременно тщательно вымыться, тщательно накраситься и тщательно подобрать самое обнажающее, самое обольстительное белье.

С того времени, сходясь после полугодовой, а то и годовой паузы, они всегда передавали друг другу эту картину. Более того, именно тот, у кого она находилась, всегда выступал инициатором очередной «свадьбы», как они вполне всерьез, с Диминой легкой руки, называли каждый первый день вместе, хотя не регистрировались больше ни разу. Надо было только найти предлог, предлоги не должны были повторяться, потому что — оба чувствовали так, хотя никогда обо всем этом не говорили, — при повторе предлога или при его надуманности смысл предложения оказался бы слишком прозрачным, это было бы все равно что позвонить и грубо ляпнуть: «Давай пе-

респим сегодня», а ни Шут, ни Лидка не могли позволить себе такой бестактности уже хотя бы из-за всегдашней своей уверенности — Шут, кроме первого раза, безосновательной, а Лидка, довольно часто, основательной: у другого за прошедшее время кто-то был, а возможно, есть и сейчас. Поэтому организовать передачу следовало с максимальной естественностью и, двигаясь навстречу, ничего не зная наверняка. Лишь тогда «свадьба» состоялась бы, лишь тогда сработала бы удивительная магия талисмана, который обычную, ничего особенного не значащую встречу по мелкому делу неожиданно превращал в долгожданную, победную для обоих брачную ночь.

В последний раз Лидка передала картину Шуту семнадцатого ноября девяносто второго года. Докторскую свою Шут не успел защитить. Он облучился во время так называемой ликвидации последствий чернобыльской аварии. Уважаемый и очень толковый теоретик, один из лучших в команде Легазова, он оказался в зоне уже во вторую неделю мая восьмидесят шестого и в какой-то момент оказался в безвыходной ситуации: рискнуть собой или другими. Он рискнул собой. Сначала казалось, все обошлось — но теперь он умирал от рака. Лидка не видела Шута почти год. За последнее время Лидка сама звонила ему трижды, страстно желая передать наконец талисман — в ее новой квартирке, которую она, слава богу, каким-то чудом все же получила, единственная стена, где можно картину повесить, понимаешь ли, Коля, весь день освещена солнцем, краски явно выцветают, может быть, повисит у тебя, ведь жалко, если пропадет, все же по Дымку последняя память... Никто не брал трубку. Единственное объяснение, которое приходило ей в голову, — Шут живет у какой-то другой женщины и увлекся ею всерьез. Уж если с Димкой, с сыном, перестал встречаться... Да и их пауза впервые длилась больше года. Это походило на окончательный разрыв. Можно было сойти с ума. Но нельзя было позвонить, например, Шуту на работу. Правду выяснил сын, ему недавно исполнилось пятнадцать. На других женщин ему было плевать. Он видел, что мать просто извелась, да и сам соскучился по отцу — и как-то раз вместо школы, Лидку не предупредив, двинул к Шуту в институт. Там ему рассказали.

— Здравствуй, — сказала Лидка. Она едва не падала. На лестнице она начала было падать, Дима поддержал ее. Теперь он стоял чуть позади, кусая губы, чтобы не зареветь. Зареветь

было нельзя, все-таки он мужчина. Меньше года до паспорта осталось.

Шут не ответил. Они стояли у двери палаты, и он еще не видел их, он видел только потолок и верхнюю часть стены, потому что подушка была тощей, а двигаться Шут уже не мог.

Они подошли ближе. Шут медленно перекатил в их сторону бессмысленные, бесцветные глаза. Потрескавшиеся губы чуть дрогнули.

— Здравствуй, — повторила Лидка, и Дима сказал:

— Здравствуй, папа.

Шут помолчал, собираясь с силами.

— Да... датуйте... ребята, — сказал он. Очень трудно было понять, что он говорит: губы уже почти не артикулировали, воздух едва шелестел в гортани. От такого ответа у Лидки потемнело в глазах, Дима опять поддержал ее. До этой секунды она все-таки еще не верила.

Ударила оглушительная тишина. Только бубнил на стене недовыключенный репродуктор. Если бы не тишина, нипочем не удалось бы услышать бодрого диктора, сообщавшего с непонятной радостью, какую прорву валюты скоро слерет с Европы ничего уже не должная имперскому центру Украина за очередное обещание закрыть Чернобыльскую АЭС.

— Почему ты сразу не дал знать? — выкрикнула Лидка голосом, полным слез.

Шут опять собрался с силами, шевельнул губами беззвучно и затем ответил почти ясно:

— Я зоровый-то пыл те не ошень нушен. А уж теерь...

Помолчал. Сквозь туман он все-таки заметил, что она заплакала. Собрался еще раз. Он чувствовал, что говорит невнятно, и презирал себя за это. Проклятым мышцам и губам не было дела до того, что самая близкая ему женщина с трудом разбирает его речь. Мышцы и губы надо было победить. Лидка и Дима заметили, как у Шута вдруг дернулся кадык, желваки немощно затрепетали.

— Рад вас видеть, ребята, — произнес он отчетливо.

И Лидке на миг показалось, что надежда все-таки есть. Она смахнула слезы и заулыбалась.

— Смотри, что я принесла, Коля! — оживленно заговорила она. Развернула холст. — Помнишь? Я подумала, пусть у тебя здесь повисит. Будешь выздоравливать тут, отдыхать — и вспоминать, как мы в молодости друг друга искали.

Секунды через три губы Шута дрогнули в улыбке.

— Пасибо, — почти отчетливо выговорил он. И Лидка увидела, как у него тоже стали влажными глаза.

— Можно подумать, вы сейчас старые, — проворчал Дима.

— Куда повесить? — выкрикнула Лидка, отчаянно озираясь. И накинула холст прямо на спинку кровати в ногах Шута. — Так видно?

— Видо.

— А знаешь, пап, — сказал Дима, — ты меня уговорил. Пожалуй, биофизика — это самое интересное, что для меня может быть.

— Ой, Коля, ты не поверишь, — затараторила Лидка. — Он те книги, которые ты летом оставил, просто до дыр исчитал. И в библиотеках что берет? Не про мушкетеров, и не про ракеты, а все в том же направлении!

Щеки Шута напряженно заходили, и Лидка с Димой замерли, не дыша, боясь пропустить хоть звук.

— Только быстро, — очень отчетливо сказал Шут. — И гениальным. Тогда успеешь помочь.

И опять улыбнулся, довольный тем, что еще может шутить.

— Тебе помогут, помогут! — почти закричала Лидка. — Мы поможем, врачи помогут, я разговаривала сейчас с главврачом, он очень опытный!.. Я все время буду тут, никуда не уйду ни на секунду!

— Хоть сейчас-то не ври, — отчетливо сказал Шут. — Через месяц замуж выскочишь.

И тут не выдержал Дима:

— Ну вот зачем ты маму обижаешь? Болеть болей, а маму не обижай!

— Что ты, Димочка! — глотая слезы, перепуганно залепетала Лидка. — Мы так играем! Просто мы так играем! На самом деле мы всю жизнь друг друга любим как бешеные! Ты же знаешь!

Они не сразу поняли, что за бульканье донеслось откуда-то. Замерли. Чуть приоткрыв запавший, почти безгубый рот, Шут смеялся, ласково глядя на них обоих.

— Сын прав, — отчетливо, старательно выговорил он. — Больше не буду.

Лидка стремительно наклонилась над ним, схватила его

высохшую, будто бы и мышц, и костей уже лишенную руку. Прижала к груди.

— А я права, Коленька? — едва слышно спросила она, с мольбой заглядывая ему в глаза. — Я права?

Его пальцы, тонкие и ломкие, словно лапки синицы, чуть шевельнулись у нее между ладонью и грудью. В последний раз он ее поласкал.

— Пава, — сказал он.

Через два часа он потерял сознание, и хотя Лидка и Дима буквально не выходили из палаты до самого конца, поговорить с ним больше не удалось. Шут умер через три дня.

С похорон ехали молча. Молча поднялись на лифте. Молча вошли. Поседевшая Лидка села в кресло у окна. В этой небольшой, но такой уютной — Лидка так старалась! — квартире Шут не успел побывать. Под этим потолком он никогда не просыпался. Этот воздух его не помнил.

Дима в своей комнате что-то наигрывал на гитаре очень тихо и очень печально.

— Слушай, Дим, — сказала Лидка. Музыка затихла мгновенно. — Ты прости меня. И не считай занудой или сумасшедшей. Наверное, несколько месяцев я смогу говорить только о нем. Я понимаю, тебе может иногда становиться скучно, но потерпи, пожалуйста.

— Да я сам только о нем и думаю, — угрюмо ответил Дима. Комнаты и стены были такие, что позволяли беседовать, не повышая голоса. — Странный был мужик... Но бубенный! — Это было словцо, в начале девяностых пришедшее у сверстников Димы на смену бытовавшим прежде «классный» или, чуть позже, «клевый» и «крутой»; «бубняк!» — говорили ребята в качестве высшей похвалы. — Как-то... по-дурачки все!.. — Помолчал, потом яростно хлопнул ладонью по деке. — Черт бы побрал все эти болезни! Убил бы!

В 2005 году он разработает теорию волновой реабилитации подсинапсов. В десятом, после бурных и не всегда корректных споров, с ледяной яростью парировав все попытки обвинить его в жульничестве и вымогательстве государственных денег, начнет отрабатывать методику биоспектральной реставрации клетки. В первую очередь он пытается применить методику к клеткам мозга, поврежденным лучевыми ударами. В четырнадцатом методика уже разработана, и только тогда Шутихину дают лабораторию — когда способ борьбы с

лучевыми поражениями практически всех степеней и с радиогенными патологиями им, в сущности, уже создан. Он заражает идеями еще пятерых молодых. Он работает и руководит фанатично. Как будто куда-то спешит. Как будто все еще надеется успеть. И он успевает. К тому моменту, как лунный энцефалит смерчем пойдет по Земле, на стыке дистанционной генной инженерии и биоспектральной внутриклеточной терапии созданы экспериментальные излучатели, позволяющие творить с разрушенными клетками чудеса на любом уровне избирательности. Кинжальный удар субвируса пришелся в уже выкованный броневой щит, который, зазвенев, чуть подался — одиннадцать месяцев прошло, прежде чем удалось, чуть модифицировав излучатели против нового противника, поставить их производство на поток во всех странах мира, — и, упруго распрямившись, отбросил врага навсегда.

А Дима Садовников, вернувшись в Ленинград после того, как подарил Шуту и Лидке свою последнюю работу, сам пошел в милицию и сам все рассказал. Он не знал, что его ищут, что отпечатки его пальцев обнаружены на пиджаке главного инженера, что создан по показаниям на крики подскочивших к окнам людей довольно приличный его фоторобот, что его обязательно нашли бы дней через восемь — он просто пошел, потому что иначе не мог. Потому что даже не собирался скрываться. Потому что даже не собирался жить.

Но прежде всего он прямо с вокзала позвонил.

Не отвечали очень долго. Был конец августа; моросил зябкий серый дождик, и капли стекали по стеклу кабины, сквозь которое, в створе выхода на Лиговку, Диме был виден хвост громадной мокрой очереди на стоянке такси. Потом раздался щелчок. Заспанный, но бравый голос сказал:

— Шорлемер на проводе.

— Олег, это Дима.

Пауза.

— Ты что, офонарел? В такую рань? Распустил я тебя... Придется подзаняться твоим поведением, когда досуг будет...

— Извини. Я только что с поезда, стою на вокзале и звоню тебе. У меня срочное дело.

— Н-ну...

— Я уезжаю скоро, надолго. Черт его знает...

— Фьють! На Запад, что ли, собрался?

— Скорее, на Восток. Можно оставить у тебя работы?

Все-таки не пропадут. У тебя же бывают люди. Может, посмотрят. Может, понравится кому.

— Боже мой! — Олег протяжно зевнул, а потом сказал с издевательской аффектацией: — Как честный человек, я должен привести в порядок свои дела, — и сам же усмехнулся. — Собрался дуэлировать, что ли?

— Да, знаешь... такой тут Фанфан-Тюльпан получился... Так можно?

— Дымок, у меня своих-то девать некуда!

— Четыре работы. Самая большая — полтора на метр.

Олег опять зевнул.

— Прости, старик, — сказал он. — Очень напряженная была ночь. Ладно, вези. И цени мою доброту.

— Спасибо.

Самой большой работой была «Ложь». Впопыхах и в тревожных волнениях Дима забыл объяснить Олегу ее природу, да тот и не слишком-то был расположен к разговорам, сразу стал топтать: «Ставь... извини, посидеть не приглашаю... сегодня очень занят...» Среди старых полотен Олега она стояла в глухом углу мастерской несколько лет, но однажды, после того как Олег в очередной раз показывал кому-то свои полотна, «Ложь» оказалась на поверхности. Как раз накануне Олег установил в мастерской цветомузыкальную аппаратуру — мастерская была местом многоцелевого назначения — и, когда гость ушел, ничего не купив, принялся опробовать новую игрушку.

В какой-то момент, отозвавшись на рокот бас-гитары, полыхнули красные лампы, и Олег заметил в дальнем углу короткое странное движение. Чуть испуганно он уставился туда и через несколько секунд увидел, как на зов красного света из ничем не примечательной пейзажной картины рвется совсем другая.

Он подбежал. Он почти сразу понял, в чем дело. Он только не мог понять, как это сделано. В том, что вариохромный прием никем и нигде не применялся столь резко и столь осмысленно, он, человек весьма эрудированный, не сомневался. Новый, качественно новый прием! Это же шанс!

Но, решив присвоить картину и наконец сделать имя на этой манере, он лишил себя возможности обратиться к специалистам для исследования того, в чем конкретно данная манера заключается. Между тем, этого не зная, нельзя было

поставить дело на поток. Едва не плача от бессилия, Олег весь вечер просидел на полу перед полотном, бьющимся в почти шоковых по психическому воздействию трансформациях.

Несколько лет ушло у него на то, чтобы разобраться.

Но затем наконец настал его час. Посвященные культуре странички запестрели заголовками типа: «Вариохромика — живопись нового века?», «О. Шорлемер прокладывает свой путь»... Олег успел сделать около двадцати вариохромных работ. В период так называемой средней перестройки — с девяносто второго по девяносто шестой год прошлого века — его имя было знаменитым, у него были подражатели и последователи, европейские музеи покупали его полотна... И тем не менее одной из наиболее значительных его работ так и осталась Димина «Ложь».

Хотя у Олега, не подозревавшего об истинном названии, она называлась «Правда». И это понятно. Для Димы и Инги было важно, что отвратительное, мертвое и убийственное им все время пытаются выдать за чарующее, животворное и неизменное. Для Олега было важно, что все чарующее, животворное и неизменное, копни его как следует, на поверку окажется отвратительным, мертвым и убийственным; к тому же он обыграл название главной партийной газеты и тем сорвал еще волну дифирамбов.

Но оторваться от бинарной структуры и пойти дальше Олег не смог. Даже ослабление, а затем и полная утрата популярности в конце девяностых годов не стимулировали его и не подтолкнули к идее более пространных, более развернутых цветовых игр. Это сделал в Чэнду двадцативосьмилетний Гао Минхэн — правда, его блистательные картины-притчи были не семистопными, как мечтал когда-то Дима, а пятистопными. Подспудно сработала традиционная для Китая магия пятерки: пять первоэлементов мира, пять основных цветов... С живым Олег конкурировать не мог, хотя Гао Минхэн с чисто восточной шепетильностью едва ли не в каждом интервью упоминал, что он лишь последователь, разработчик, что сяньшэн Шорлемер совершил открытие, а он, Минхэн, это открытие лишь применил, — но надо было видеть, как скрежетал Олег зубами, когда в руки ему попадали перепечатки подобных интервью!

Димина «Ложь», подписанная «О. Шорлемер. ПРАВДА»,

висит сейчас в Лувре рядом с самой изысканной и романтической картиной Гао Минхэна «Фея реки Ло».

За убийство в состоянии аффекта Дима получил пять лет. Мягкий приговор. Но из лагеря Дима не вернулся. С его возрастом и характером, с его светлым полудетским лицом прямая дорога ему была в «маньки», так это иногда называли в ту пору. В январе 1976 года пятеро эков изнасиловали его; оклемавшись, он попытался за себя отомстить и действительно смертельно ранил одного из насильников заточенным электродом сварочного аппарата, а когда понял, что до остальных ему не добраться, — они шли на него все четверо, вооруженные тоже, и ясно было, они не просто убьют его, а будут терзать долго и с удовольствием, — тем же самым электродом зарезался.

Фабульную развертку я здесь уже не применял. Узел был проанализирован, а дальнейшие судьбы этих людей не относились прямо к моей теме; да и сил душевных не было, откровенно говоря, идти вместе с ними их страшными дорогами. Если бы я включился в Димину смерть так, как включился в его любовь... боюсь, Валя или Джамшид нашли бы за пультом мой труп со стигматом на шее — там, куда отчаявшийся мальчик всадил острие. С тысячекратной скоростью хроноскоп пробежал по перепутанным нитям их жизней, бестолково дергающим одна другую, другая третью и не попадая открывающим никем не прошенным или совсем иными людьми ожидаемые двери, — и вышеживал мне на дисплей словесную информацию по ключам: «Работа», «Смерть», «Встреча»... а еще иногда я вызывал по какому-то из ключей на панораму стоп-кадр — и долго всматривался в ставшие родными лица.

Остаток дня я работал на вариотроне.

Чтобы действительно понять роль какого-то события, нужно знать возможные альтернативы. Я строил вероятностные модели иного расклада событий.

Вне брака Лидка бы не родила. Еще почти полтора года они с Шутом мучились бы и не врозь, и не вместе и наконец разошлись бы — похоже, что навсегда. Еще через полтора года Лидка познакомилась с симпатичным таксистом, они съездили вместе на две недели в Майори, все вроде бы налаживалось, но так и не наладилось, она еще не оторвалась. Она вышла замуж лишь четыре года спустя, за инженера со своего завода, и ровно, без особых эмоций, изменив ему лишь два ж-

ды, да и то мимоходом, жила с ним всю жизнь. Родила двух дочек.

Шут метался все истеричнее, все злобнее — и, лишенный той удивительной точки опоры, точки духовности, которая была дарована ему судьбой в реализовавшемся варианте, уже через пять лет после разрыва с Лидкой стал полным подонком. Его уже не мучило то, что он хочет слишком многого. Его злило лишь то, что ему дают мало. И он хватал, хватал. В зоне четвертого энергоблока он подставил вместо себя других. Ничего настоящего не было у него в той жизни, кроме разве что карьерной, степенной докторской, которую он шутя зашил — действительно дельной, изначально он все-таки был талантлив, хотя куда было этому тщательно выверенному на успешность тексту до набросков, оставленных Шутом в мире, где Лидка, плача, весь первый год после его жестокой смерти разбирала его черновики, сводила, как умела, воедино, бегала советоваться с его друзьями и бешено добивалась и добила — таки публикации рукописи как монографии... Из сформулированных в ней принципов напрямую выросли, например, наши гравилеты. Ничего настоящего не было бы у него в той жизни, где Дима не подарил бы им «Пожизненный поиск», — но именно поэтому Шут так цеплялся за жизнь. Прожил бы он на двадцать три года дольше, но так и умер бы бездетным.

Человека, который по задаткам своим потенциально мог заменить сына Лидки и Шута, незачем было долго искать. Он родился в Упсале в 1987 году. К моменту вспышки пандемии лунного энцефалита ему было тридцать лет. Он уже начал бы успешно работать над теорией реабилитации подсинапсов — он шел бы тем же путем, теми же ступеньками, что и Дмитрий Шутихин, хотя и без его ярости, без его необъяснимой и ничем, казалось бы, не оправданной спешки. Он не успел бы. В реализовавшемся варианте он, будучи лучшим — хотя и зарубежным — учеником Шутихина, сразу стал его замом по науке в рамках международной программы АЛЭ — «Антилунный энцефалит». Без Шутихина он смог бы дать реальный результат на двенадцать лет позже. К этому времени на Земле не было бы не то что ни одного человека — ни одного кабана, ни одной совы, ни одной змеи.

Вот каков был бы ход событий, если бы Дима Садовников через четыре дня после гибели Инги не приехал в Москву с

подарком для своих друзей. Осталось выяснить, почему он мог бы не приехать.

Потому что мог не отпустить Ингу звонить.

В пределах узла кроссинговера у него оставалась одна вероятностная вилка. Решись он на единственную резкую фразу — и без памяти влюбленная Инга подчинилась бы, хотя обижалась бы в глубине души и не была бы в ту ночь настолько счастлива, насколько могла бы и хотела. Но осталась бы жива. И утром уже перестала бы обижаться, позвонив наконец и с изумлением узнав, что ее спутницы по путешествию в Ленинград еще спят и в общем-то не слишком волнуются. Как хорошо, что ты меня не пустил, без конца повторяла она потом, не подозревая, что это действительно для нее очень, очень хорошо.

Года через четыре Дима уже стал бы, как говорили тогда, широко известным в узких кругах художником. От жизни ему требовалось только любить Ингу и рисовать; но внешний мир не позволял подобной роскоши. Сам того не заметив, Дима быстро попал в рубрику неконформистов, а затем и диссидентов. Не терпя никакой несправедливости, ни близкой, ни далекой, и вдобавок никому, а особенно Олегу, не в силах ни в чем отказать, он уже собирал какие-то подписи, хранил какие-то деньги, прятал и передавал какие-то документы и тексты все более крамольного содержания. Почти со всеми из них он был согласен, да и подписи собирал только под тем, во что искренне верил, — но по собственной инициативе никогда не стал бы этим заниматься просто из-за недостатка времени. Его вариохромное полотно «Растоптанцы» подробно проанализировали в одной из передач о подпольной советской культуре на Би-би-си — Дима придумал название картины от прилагательного «растоптанные», но в Лондоне, бог знает с чьей подачи, ударение поставили так, будто речь шла о танцах с притопом.

Как раз в ту пору, будто тяжелая пустая канистра, вываленная из кузова летящего под откос грузовика, прогремел «Метрополь» — и гуманитарная интеллигенция в который раз окончательно стала для переваривающего великую страну головоногого государства врагом номер один.

На одной из вечеринок, которую переросла читка абсурдистской антитоталитарной пьесы «Красный козел», рядом с Димой оказалась эффектная застенчивая девушка с влюблен-

ными глазами. Почему именно на Димину долю выпал удар более тяжелый, чем получили большинство из тех, кого он знал? Трудно ответить однозначно. Отчасти потому, что он меньше болтал и больше работал, невыгодно отличаясь этим от картонных борцов, среди которых текла его жизнь, и опасно напоминая тех настоящих, с которыми ему так и не довелось повстречаться. Отчасти потому, что, откликаясь на любую просьбу, он оказался как бы в центре некоей небольшой, но все же сети. Отчасти потому, что он был ничем не прикрыт — они с Ингой жили по-прежнему у тети Саши, жили почти впроголодь, не имели никаких связей или хотя бы просто знакомств в официальных структурах, у них не существовало ни тыла, ни опоры. Они летели. Но сейчас Инга уехала на пару недель к родителям, и Дима страшно тосковал: четыре года они жили вместе, но он дня без нее не мог, и все это было известно. Не без помощи эффектной девушки Дима выпил больше обычного.

Она восхищалась его работами. Потом они танцевали. Потом она восхищалась им. Потом они еще выпили и еще танцевали. Потом он ушел в ванную, чтобы остудить пылающее лицо и хлебнуть воды из-под крана. Эффектная девушка последовала за ним. Нежно помогла ему; заботливо, длительно поправляла и расправляла его намокшие волосы, тонкими влажными пальчиками касалась сзади его шеи и золотисто смеялась, когда он ежился и по-детски ойкал. Потом они танцевали вдвоем на темной кухне, музыка едва доносилась из комнаты, но им хватало. Она жаловалась на одиночество. Ведь никого же нет, никого. Скотство кругом! Я задыхаюсь, задыхаюсь! Ничего настоящего! А мы уже встречались, вы не помните меня? Он не помнил. Там-то и там-то — нет, не вспомнили? Ну конечно, столько народу, вы такой знаменитый, а я простая девчонка... Я видела у Чистозерова ваше «Око». Это гениально, правда, гениально. Есть такое смешное, но очень хорошее слово: духоподъемно. Один художник так покажет правду, что повеситься хочется. А другой ту же самую правду покажет так, что хочется быть в любой грязи чистой, доброй, несмотря ни на что, потому что есть настоящее, есть, надо только его найти!.. Вот вы такой. Ради настоящего я выдержу все — и боль, и унижение... Да что я говорю! И боль будет тогда не боль, а счастье, и унижение будет не унижение, а счастье... И смотрела преданно, и они танцевали в темноте,

прильнув. Дима млел, таял. Плыл. От ваших работ становится легче жить. Легче переносить все и оставаться человеком. Я хотела бы все их посмотреть, можно? Ну, можно? Они дома все? Давайте убежим?

Когда они пришли к нему — тетя Саша работала в ночную, — эффектная девушка вынула из «Саммэр бэг» бутылку коньяку и, смущаясь, поставила на стол. Украла там. Для нас. Вы не будете думать обо мне плохо? Они выпили. Осматриваясь, она походила по большой неприкаянной комнате. Вернувшись, подошла к Диме, ступая неслышно. Громадные глаза преданно светились. Я люблю вас. Очень. Очень. Никого нет, кроме вас. Я Ингу люблю, Ингу, ошалев, залепетал Дима. Я знаю. Все знают, какое вам счастье выпало на двоих. Все равно. Я не могу ничего с собой поделаться. Не гоните меня, умоляю. Люблю. Люблю. Люблю. Не гоните меня.

Так Дима изменил жене.

Эффектная девушка оказалась весьма искушена в любви, и хотя бы это должно было насторожить его, но он опять судил по себе; он, выдумщик, художник, насколько мог, сам старался открывать с Ингой как можно больше нового и в разнообразии, на этот раз доставшемся ему, видел то, что пробуждало его собственную фантазию, — огромную любовь. Вдобавок, в отличие от всегда чуточку зажатой, действительно застенчивой Инги, эффектная девушка беспрерывно твердила: любимый... милый... обожаю тебя... о, как ты прекрасен... нежный, нежный, нежный!.. — она могла себе это позволить, для нее за этими словами ничего не стояло, и оттого произносить их было очень легко, но со стороны выглядело упоительно. Я Ингу люблю, милая, прости, ради бога прости, твердил Дима, захлебываясь от своей вины и опаляющей благодарности к той, которая обнимала его и отвечала: да-да, я знаю, конечно, вы всю жизнь будете вместе... делай со мной, что хочешь, убей меня, только не гони... Прости, прости, почти плакал Дима, и чем более чувствовал себя жестоким насильником, тем исступленнее, тем преданнее ласкал и любил ту, которая так смертельно и самозабвенно любила его.

Потом они смотрели картины. Дима рассказывал ей все, все о себе, раскрывался до дна и лишь иногда, как в свое время Вику или Ингу, наивно предупреждал: только больше не говори никому. Она слушала, но время от времени пыталась перевести разговор с его личных переживаний на других лю-

дей, на его дела, контакты, планы. Иногда он отвечал, чаще расстроено гладил ее по руке, по плечу: это я не могу сказать. Не потому, что не доверяю, ты не подумай! Но меня просили. Я обещал. Так создавалось впечатление, что он знает прорву строго соблюдаемых тайн.

Эффектная девушка ушла с рассветом, чтобы тетя Саша ничего не заподозрила. Не провожай, что ты. Отдыхай, любимый. Как я счастлива, что это произошло, если бы ты только знал! Не волнуйся, Инга наверняка уже написала тебе — просто ты же знаешь, как почта работает... Спасибо тебе за сегодня, родной мой.

Дима долго сидел на измятой постели как оглушенный. Всем существом своим он чувствовал, что произошла чудовищная катастрофа. Мир необратимо раскрошился. Рассказать Инге о происшедшем нельзя, этим он убьет ее, не рассказать — значит, никогда уже не быть так воедино, как они были с самого первого вечера до дня ее отъезда.

А эта удивительная девушка! Где она сейчас, что с ней?! Он же фактически прогнал ее, прогнал: попользовался, как последняя сволочь. ее громадной сверкающей любовью — и вытурил! Она прекрасна — а он вел себя с нею. как с проституткой! Я подонок. подонок, стонал он, обхватив ладонями слегка еще кружащуюся с похмелья голову. Я же ее убил!

Он вышел на улицу и часа полтора гулял по просыпающемуся осеннему городу. Страшный огонь в душе не угасал. Он вернулся, допил коньяк и стал работать.

И он написал ту же самую картину! Тот же самый «Пожизненный поиск»!

Только у лежащей девушки было лицо не Инги, а той, над чьим обожанием он надругался.

И он поехал в Москву. И он позвал в гости Шута. И он нашел и позвал в гости Лидку, которая давно уже ушла от таксиста, но об инженере еще и не думала, а в общем-то продолжала тосковать о Шуте. И когда они встретились у него и чуть опоздавшая Лидка, увидев Шута, повернулась на пороге, чтобы немедленно уйти, он остановил ее и сказал: «Я тут, братцы, гениальное полотно создал. Хочу подарить вам на свадьбу».

И она произошла, эта свадьба! И сын родился! И Шут и Лидка называли его в честь Димы, к тому времени опять уже погибшего в тюрьме, — Димой!

Дима вернулся в Ленинград дневным поездом. Весь вечер

писал Инге нескончаемое письмо, слово «люблю» повторялось там в разных сочетаниях сорок семь раз. Заставил себя оборвать текст едва ли не на полуслове, поняв, что может писать так хоть до утра. Про новую картину, про поездку в Москву не написал ни строчки. Картина и поездка были связаны с той, безумно влюбленной, про которую Инге нельзя, нельзя, нельзя было знать. Говорить о картине было все равно что говорить о той.

Письмо он отправить успел.

Назавтра, возвращаясь вечером домой, он увидел у входа ту девушку; она ждала его, она не могла без него — и он так обрадовался, будто это вернулась Инга. Подбежал, глупо спросил: «Ты жива?» Этот дурачок всерьез боялся, что, достигнув пика и смысла своей любви, отдавшись ему и будучи не в силах быть с ним постоянно, она может покончить с собой.

Она была очень даже жива. Через четверть часа они лежали в постели. И попросил этого уже Дима — потому, что такой любви нельзя отказывать ни в чем, и потому, что он не мог больше унижать эту прекрасную, самоотверженную, одухотворенную девушку, дожидаясь хамски и самодовольно, когда она снова сама начнет молить о близости. И опять он объяснял: я Ингу люблю, прости, я не смогу ее бросить, прости, — и она прощала его так, что будь здоров. Он, неопытный, в сущности, мальчишка, иногда даже стесняться начинал чересчур откровенных ее действий, но в то же время восхищался и благоговел, ведь для него все это было от преданности, от любви... и, исступленно желая хоть сейчас порадовать ее, он ласкал ее с такой страстью, с таким пылом, с каким Ингу ласкал далеко не всегда.

Но девочка слегка сменила ракурс. Когда они лежали, отдыхая, едва слышно, губы в губы, беседуя о том, что происходит вокруг, она стала говорить невзначай: ну не у нас же только сволочи сидят — в ЦРУ каком-нибудь их тоже хватает... Он не понимал. Что мы о них знаем? Я вот часто думаю, любимый... Мы их честим, честим, а может, им помочь надо? Он не понимал. Ну вот мы все стукачей боимся — а почему? Стукачать-то одни подонки идут, и врут, врут, в своих целях кого хотят, того оговарят, кого хотят, того в выгодном свете выставят, а наверху верят и делают ошибку за ошибкой! Вот если бы такой порядочный человек, как ты... Он не понимал; он как сумасшедший без умолку говорил, как они с Ингой любят

друг друга, как они повстречались, как они друг друга вдохновляют, потом, захлебываясь, почти плача, шептал: «Господи, какая ты хорошая!..» — и лез заниматься любовью. Она дала ему некоторое время поговорить про Ингу. Ты ведь Ингу в черном теле содержишь, сказала она затем открытым текстом, долго она так не выдержит — а какой-то достаток сразу появился бы... Он в упор не понимал, о чем она. Дохлый номер. Когда Дима, тактично сказав, что пойдет на кухню попить, на цыпочках побежал поперек скрипучего коридора в туалет, она обернутыми в носовой платок пальцами вынула из «Саммэр бэг» три полиэтиленовых пакетика с белым порошком и небрежно швырнула в угол, где одно к одному стояли духоподъемные полотна. Пакетики вразнобой пошлепались на рамы и с шелестом съехали в щели.

Она ушла с рассветом. Прощай, любимый. Нет-нет, не провожай. Отдыхай. Тебе нужно очень много сил для работы. Не убивайся так, милая, пожалуйста, умолял он. Ну я же обыкновенный, даже скучный, таких миллионы... ты еще полюбишь, и тебя полюбят обязательно, ты такая красивая, такая добрая, так умеешь все, я боготворю тебя!.. Он упал перед ней на колени, стал целовать ей ноги. Она мягко высвободилась. Прощай, любимый. С обыском пришли через два часа. Это время он так и просидел неподвижно на полу.

Когда достали пакеты, Дима даже не испугался: подумаешь, мало ли барахла там, за старыми холстами... «Героин», — уважительно сказал сержант. «Что-о?!» — обалдел Дима и, тут же собравшись, громко, как учил Олег, заявил: «Протестую! Наркотик подброшен при обыске!» — «Нет-нет, — испуганно замотали головами понятые, — мы видели, что мы не видели!.. Мы не видели, что подброшен!..» — «Видимо, придется ехать, господин великий художник», — с превосходственной, скобарской ухмылкой сказал лейтенант.

А Инга задерживалась. Она уехала не просто так. Она была беременна, а рожать не было никакой возможности, ребенка им было не прокормить, да и тот образ жизни, который они вели, тот отлучающий от всякой материальности постоянный творческий экстаз, который их сжигал, не располагал к необдуманному родам. Надо было прерывать, но она не могла, не имела права делать это при Диме, от него ведь не скроешь, и очень не хотелось его волновать. Кроме того, она боялась, что из жалости к ней он станет уговаривать ее, раз уж так

получилось, оставить ребенка, но она-то знала, что при их жизни выбрасывать младенца в мир — преступление. Дома она ударила по народным средствам и перестаралась, началось кровотечение, и все открылось. «Брось его, брось!» — кричала мама, и отец со свалившимися на кончик носа очками, в разношенной майке и трениках, подтверждающе и скорбно кивал: «Это же не мужчина, это же черт знает что!» — «Бросить? — тоненько кричала Инга. — Кого? Его? Да я лучше сдохну!» — «Вот и сдохнешь!..» — опасливо басил отец и тыкал пальцем в нее, лежащую. «Я не от него сдохну, я без него сдохну! Да будут, будут дети! Десять детей! Но только от него — слышите?!» — «Ты же наукой хотела заниматься! — причитала мама. — У тебя же талант был!» — «Был?! — совсем зверела Инга. — Да у меня его сейчас полный стол, этого таланта!» Родители несколько растерялись, когда выяснилось, что Ингин уже законченный диплом — это почти готовая диссертация и что ее чуть ли не силком тянут в аспирантуру. Тот накал, в котором они жили с Димой, был для работы куда животворнее, чем любая так называемая спокойная творческая обстановка. «Он тебе изменяет», — уже бессильно, уже капитулируя, пустила мама последнюю торпеду. Инга посмотрела на родителей с бесконечным презрением. «Дураки вы», — сказала она и повернулась к стене. Она была еще очень бледная, почти как подушка. Родители молча пошли к двери.

Конечно, она была уверена, что не изменяет. Она помнила каждую их ночь. Дима не мог изменять.

«Ты ведь умереть могла, доча», — тихо сказала мама, запнувшись на пороге. «Умере-еть?! — возмутилась Инга. — Да ведь это все равно что его бросить! Я его не брошу».

На кухне родители долго молчали, не глядя друг на друга. Кипел забытый чайник, крышка на нем дребезжала, мелко подскакивая. «Опоил он ее, — сказала мама. — Честное слово, опоил».

А Дима и не изменял. Восхищение душевной красотой неожиданной возлюбленной, благоговейный восторг перед бескорыстием и безысходностью ее чувства к нему, упойтельная власть над новым телом, таким жаждущим, преданным и творческим, навечно врезанная в душу мучительная вина перед обеими, — это вызвало в нем шторм совершенно ему до сих пор неизвестных эмоций, и все они шли в дело, все они колоссально обогащали его внутренний мир, а значит, колос-

сально обогащали его любовь к Инге, делали ее мужественней и страстней. Дима так ничего и не понял. Голова у него совсем не тем была занята. Уже в камере, будто даже теперь у него других проблем не было, ему приснилось, что Инга и та девушка сидят вместе у него на кухне, Инга разливает чай, девушка достает из «Саммэр бэг» батон и масло и обе деятельно обсуждают, как ему, Диме, помочь и как, если помочь не удастся, его ждать. «Поживи пока со мной, — говорит Инга, — а то так худо, просто поговорить не с кем. Кто меня поймет, кроме тебя... Ты его как любишь? Ужасно?» — «Ужасно». — «И я ужасно». Только этот вариант был спасением — ведь, значит, можно и Инге не врать, и девушку не унижать. Дима от счастья заплакал во сне, проснулся с мокрым лицом. И, проснувшись, сразу понял, что это невозможно; и такая тоска его взяла, такая безнадежность! Раз это невозможно — значит, всему конец. С тоски он чуть не начал на допросе говорить про всех все, что от него хотели. И только в последний момент подумал: ведь пока я сижу, им делить нечего — значит, все-таки не совсем невозможно... Следовательно, уже почувствовавший слабину и сладострастно в нее юркнувший, опять получил шелчок и только сплюнул с досады.

Эффектная девушка умерла от СПИДа в восемьдесят девятом; но, поскольку заразилась она, общаясь с иностранным гражданином не ради собственного удовольствия, а по работе, в партикулярную статистику не попала, и те, с кем она встречалась после этого гражданина, никак не могли своевременно заподозрить изменений в своем организме — по мере сил они до поры до времени гуляли по стране, внося свою лепту в подготовку вспышки девяносто четвертого года.

Пожилой офицер, нацеливший тогда еще здоровую девушку на Диму, в середине восьмидесятых вынужден был оставить свой сравнительно невысокий, но такой насиженный кабинет и вскоре устроился преподавателем общественных дисциплин в одном из василеостровских ПТУ. Подростков он ненавидел люто. Не было разговора, в котором он не стукнул бы кулаком по столу и не рывкнул бы с искренним возмущением: «Это же шпана, шпана! У них совершенно нет идеалов!»

Антисоветчины у Димы не нашли никакой — за последний год он, начав наконец становиться мужчиной и поняв, что Ингой и тетей Сашей рисковать не имеет права, научился иногда отказывать. Навесили ему наркотики и на сладкое

порнографию. Порнография действительно была. Дима рисовал Ингу беспрерывно, во всех видах. От странного полотна «Простодушная», где он изобразил жену как подвергаемый всевозможным математическим искушениям ряд простых чисел, да так, что, хотя любовались все, смысл уловить могли лишь математики, а руководитель Инги, доктор Глезман, так задумался об угаданных им в блистающих, радостных цветовых переливах операциях с простыми числами, что наутро без всяких усилий возобновил работу над своим капитальным исследованием, буксовавшую уже почти год, — и до удивительно поэтичного «Вместе!!!», где одна-одинешенька посреди первозданной степи, счастливая до беспамятства Инга самым натуральным образом отдавалась теплему ночному ветру и дрожащему сверканию лунного света, контурившему ее тело везде, где ее касался бы Дима, будь он с нею. Этой картины до обыска никто, кроме маниакально влюбленной в нее Инги, не видел; когда до «Вместе!!!» дошла очередь, у всех троих милиционеров характерно шевельнулись форменные брюки в паху, и лейтенант, прервавшись на полужразе, несколько раз сглотнул.

Странными изгибами тогдашнего законодательства Дима получил те же пять лет. И погиб точно так же, только не в январе семьдесят шестого, а в мае восьмидесятого, когда с окрестных сопот уже сошел снег и южные склоны зазеленели. Я опять вызвал стоп-кадр и долго смотрел на мальчишеское лицо с губами, покрытыми запекшейся кровью, — искаженное ненавистью и смертной тоской лицо последних мгновений — и знал, что больше никогда его не увижу.

У Инги были дети. Не десять, но двое. И не от Димы. Она вышла замуж в восемьдесят шестом.

Я долго пытался выяснить, смог бы Дмитрий Шутихин, рожденный в этом варианте, противостоять лунному энцефалиту столь же успешно, сколь в первом, реализовавшемся. Достоверно доказать это мне не удалось; по мере удаления от узла вероятности множились, слоились, растекались, плыли, как воск горящей свечи. Но в пределах той, уже довольно заметной погрешности, которую давало напластование допусков — округленно полтора процента, — я мог уверенно сказать: да, этот холодный яростный гений, не в пятнадцать, а в одиннадцать лет пришедший с матерью в палату к умирающе-

му от радиогенного рака отцу, и здесь успел бы. Успел бы. И никто, кроме него.

Поэтому Джамшид может говорить, что ему угодно. Он не прав. Конечно, и наоравшую на Юрика Вику, и Юрину маму, из-за смерти которой задавил Ингу главный инженер, и эффектную девушку из второго варианта тоже можно бы, казалось, назвать спасителями. Но это именно формальная причинность. Они просто делали свои обычные дела, эти люди, они просто берегли себя или в лучшем случае своих близких. Только Дима сумел, и сумел в обоих случаях, перекодировать свою боль, свою вину и весь грязный окружающий хаос в виртуозно направленный этический толчок, переломивший ситуацию. Только он со своей блаженной любовью и кистью встал на пути естественного накручивания зла, как если бы в падающей на Хиросиму бомбе некий нейтрон, и не думая о сотнях тысяч японцев внизу, руководствуясь исключительно личными мотивами — скорее всего, очередной страстью к очередной пролетающей мимо альфа-частице, — вопреки всем законам физики так нелепо, так нелинейно направил бы свой полет, что, к негодованию всех остальных, ненароком прервал бы уже начавшуюся цепную реакцию деления.

И передал эстафету часовщице Лидке и ее не подозревавшему о своей власти властелину.

Связанные с рождением Димы Шутихина и гибелью Димы Садовникова событийные ряды обоих вариантов носили какой-то фатальный характер. Впору было бы удариться в сотериологическую мистику, если бы последние достижения тахиопсихологии, стимулированные в значительной степени нами, историками, уже не раз встречавшими подобные инварианты, не намекали на иной ответ.

Вид в целом каким-то образом получает информацию из будущего. Особенно это касается информации о близящихся катаклизмах. Никакая отдельно взятая особь не осознает ее ни в малейшей степени, но вид в целом как бы чувствует нечто впереди и заблаговременно старается как-то перегруппироваться, реорганизоваться, с тем чтобы избежать катастрофы. Причем, поскольку катастрофа находится на наиболее вероятном, на, так сказать, нормальном пути развития — иначе не возникло бы «видового предчувствия», — «объехать» поджидающую в темноте пропасть можно, только стимулируя поведение маловероятное, ненормальное и затем выстраивая цепоч-

ки вызванных этим поведением маловероятных событий так, чтобы пинком редчайшего стечения обстоятельств выплеснуть из русла тупо, как вода под уклон, льющуюся в будущее биомассу. Мертвая материя всегда движется по наиболее вероятному пути, даже случайности не нарушают закона неубывания энтропии. Живая способна нарушать этот закон и уподобляться струйке воды, карабкающейся вверх по стене.

Первыми откликаются на бессознательные, совершенно инстинктивные попытки вида прыгнуть с грозящего гибелью естественного хода дел те, кто по складу характера и так склонен к нестандартным мотивациям и кто вдобавок вообще все чувствует обостренно. Они и обычно-то находятся под сильным давлением. В те же моменты, когда им приходится переводить движение вида на объездной путь, они становятся особенно уязвимы. При этом чудовишно то, что никто из них не действует целенаправленно. Просто раскачивающая гибельную прямолинейность доминанта странных, нелепых, иногда воспринимаемых даже как извращение — но всегда абсолютно, казалось бы, бесполезных, антипрагматичных — переживаний и поступков расцветает и разбухает вдруг, как земляника-мутант, вымахнувшая в рост человека и усыпанная плодами величиной с кокосовый орех.

В домеханистических культурах существовали институты, как-то защищавшие таких людей. Категории «святости» или «блаженности» в христианстве либо исламе или, например, «благородного мужа, не встретившего судьбы» у конфуцианцев... Буржуазная, а затем тоталитарная культуры раздавили их в два нажима; первая сделала их смехотворными, вторая — подрасстрельными. Понятия «чести» или хотя бы «порядочности», столь удачно оправдывавшие большинство видов антипрагматичного поведения, дававшие им общественно уважаемую мотивацию, уступили место понятию «смысла», «пользы». Но те поступки, которые продиктованы пользой, как раз и являются наиболее вероятными, за них голосует все животное в человеке, ибо польза есть не что иное в конечном счете, как сиюминутное срабатывание инстинкта самосохранения в социальной среде. Руководствуясь смыслом, обогнуть спрятанную в грядущем ловушку, еще незаметную уму, но для вида в целом уже ощутимую благодаря, вероятно, тахионному переносу каких-то крох информации внутри диахронно целостной ноосферы, нельзя.

И однако, лишенный всех социальных защит биологический механизм работал. Самый малый, самый случайный зацеп, вроде «Пожизненного поиска», становился осью вращения мира, константой среди бушующих вокруг вероятностных вихрей. Но какой кровью!

От кого же мы все-таки зависим? — в сотый раз думал я, идя к стоянке. Была уже ночь, пахло клевером и рекой, и лягушки безумствовали в воде, и кузнечики — на деревьях, так же, как сто восемнадцать лет назад в саду дачи, где Дима рассказывал страшную сказку собственного послезавтра; звезды спокойно стояли над аллеей, их рисунок не изменился ни на волос с той поры, как Шут, в тоске сам не зная о чем, спрашивал их: оффа алли кор? От кого?

От всех?

Но это не ответ. От амебы, от бронтозавра, от Юрика...

Это тупик, здесь не отличить того, кто делает, — от того, кто мешает делать; того, кто страдает, предчувствуя нечто, — от того, кто страдает, если не дал сегодня кому-нибудь в поддых; того, кто, сам изнывая из-за своей виновности, мечется весь век в жестоком поиске запредельной, огненной чистоты, — от того, кто, разжирев ощущением своей неколебимой правоты и права на все, мечется весь век, чтобы хватать, хватать...

Тогда, значит, не от всех?

Но это — фашизм...

И вдобавок просто неправда.

Август 1974 — апрель 1975г.,

Ленинград;

декабрь 1989г.,

Комарово

НЕ УСПЕТЬ



Сегодня вечером в лагере Бухен-
вальд для заключенных будет уст-
роена дискотека. Пулеметчик Шульц
прокрутит три новых диска.

Современная шутка

КАТАСТРОФА

Жжение под лопатками я почувствовал, стоя за чаем. Ду-
хота и давка были страшные, и в первый момент я подумал,
что это просто очередные струйки пота, сбегая по спине, на
редкость едко бередают кожу. И далеко не сразу испугался.
Слишком уж все с утра удачно складывалось, настроение
ощущалось победоносное. День был у меня библиотечным, в
институт я мог не идти и официально считался пребывающим
в Публичке, в зале древних рукописей. На рассвете, еще по
утреннему холодку, я успел отметиться в очереди за творогом.
Ежась от зябкого ветра, зевая и сонно жмурясь, длинный
хвост выстроился у магазина за час до открытия — каждый
боялся оказаться вычеркнутым. Десятка полтора счастливи-
цев, надеявшихся отовариться уже сегодня, добродушно пе-
реговаривались у самых дверей: «Еще не говорили, что забро-
сили?» — «Высунулась, буркнула что-то и опять запер-
лись...» — «Переспросить надо было!» — «Да разве успеешь,
когда она сразу дверь захлопнула?» — «Детские творожки
по тринадцать восемьдесят дадут. Я сам видел, как машину
разгружали...» Какой-то пожилой, но молодящийся ферт, без
сумки, без сетки, руки в брюки, стоя со мной и озирая смир-
ную толчею, пробурчал громко:

— До чего со своей перестройкой страну довели!

Ему никто не ответил — не до того было.

— Восемьсот третий так и не пришел — я его помню, с
усаами с такими, в белой кепке!

— Загляните в окно, будьте любезны, масла там не видно
на прилавке? Дама, дама! Загляните в окно! Мне не протис-
нуться...

К восьми тридцати я уже освободился. Очередь продвину-
лась на семнадцать человек — не слишком сильно, но меня

это и устраивало: в таком ритме я надеялся ухватить творожничков как раз к той поре, когда жена с Кирей вернутся с дачи, а творог именно и был нужен Кире.

За чаем пришлось стоять уже внутри, в духоте. Касса то и дело рвала ленту, поэтому двигалось все медленно, и хвост рос и рос. Многие прижимали к ушам транзисторы. Шел очередной съезд, трансляция велась почти непрерывно, и Черненко, ничуть не утративший пыла, бил наотмашь:

— ...Что получается? Пекари стоят в аптеку, фармацевты стоят в булочную, рабочие и инженеры стоят и туда и туда, и ничего нет, потому что никто не работает, а все только стоят! А раз ничего нет, то и очереди не двигаются!

Это была сухая правда. Люди слушали, затаив дыхание; какая-то старушка передо мной тихо плакала, утираясь зажатым в кулачишке пучком талонов. Поодаль застрекотала, заколотилась касса — все плотнее прижали транзисторы к ушам, с ненавистью глядя на источник шума, и облегченно вздохнули, когда механизм заскрежетал и вновь захлебнулся. Взмывленная, задерганная до багровости кассирша всплеснула руками, вскочила и выбежала из своей стеклянной конуры так, будто за ней гнались рэкетеры.

Я просунул руку за спину почесаться, промокнулся рубашкой и отчетливо почувствовал, что зудит не кожа, а под ней. Где-то в глубине меня.

И вот тут я похолодел. Не помню, как отстоял. Дрожащей рукой кинул в сумку июньскую пачку, и даже то, что это оказался индийский, не смогло обрадовать или хотя бы несколько отвлечь меня. В голове билось: «Неужели? Неужели?!» Невозможно было так сразу поверить, но тоска уже накатила. По инерции, на ватных ногах, я протолкался в сладкий отдел — симпатичные итальянские баночки с детским питанием громоздились изобильно, в несколько рядов, но сердце даже не дрогнуло надеждой. Для очистки совести я спросил, сам привычно стесняясь глупости вопроса:

— Свободно?

Продавщица замедленно зевнула и, моргая, сказала:

— Ток по рецеп.

Я так и думал. Рецепт-то у нас должен был быть, но третий месяц в поликлинику не завозили бланков, и розовые давно кончились. Обижало то, что пенсионерских оставалось еще навалом — бланки разных типов выделялись в равных коли-

чествах. Не могли рассудить, ясно же, что у пенсионеров малолетних детей меньше, чем у работающих; но горздраву, или кому там, именно так втемяшилось в голову осуществлять социальную справедливость. Когда у нашего педиатра закончился рабочий день, я, полчаса прождав ее за пересыхающими, почти без почек кустами напротив поликлиники, вылетел ей вслед, догнал за углом, чтобы ее коллеги не увидели нас из окон, и попытался уговорить выписать рецепт на пенсионерском — она только поджимала губы и головой качала: любая ревизия заметит, премии лишат; а когда я, доведенный до отчаяния — Киря совершенно не лопал то, что мы с женой могли предложить, в свои без малого три не набирал, а сбрасывал вес, — первый раз в жизни предложил, заикаясь, взятку, она посмотрела на меня с презрением и процедила: «А еще доктор наук!» Не знаю, что она этим хотела сказать. Жена, когда я отчитывался, предположила, что я пожалел на ребенка денег и мало посулил.

Я вывалился на улицу. Дело шло к полудню, солнце пекло, и от яркого, палящего света резало глаза. Зуд под лопатками усиливался, переходил в боль; я то и дело заламывал руку и оглаживал спину, выступы лопаток и отчетливо тянущуюся цепь позвонков — все было нормально. ни опухоли, ни упругости характерной, но это ничего не доказывало, рано. Боль говорила сама за себя. Сомневаться уже не стоило. И все-таки не верилось, просто не укладывалось в голове, что это случилось со мной.

Я стоял посреди тротуара, и меня толкали то идущие влево, то идущие вправо. Все неслись. А мне уже никуда не хотелось, никуда не надо было. Еще утром я собирался зайти после чая за бельем в прачечную — кажется, ее починили; потом проехаться по фотوماгазинам в поисках фиксажа — жена обижалась, что я давно Кирю не шелкал; потом отметить на баранину — к концу месяца должна была подоспеть моя очередь... а вечером, перекусив на углу Садовой — лоток «Медая» там, я видел, проезжая мимо, опять поставили, видимо, слух, что пирожки набивают мясом больных, не могущих улететь ворон, при расследовании не подтвердился, — перекусив побыстрому, действительно заскочить в Публичку и поработать до закрытия хотя бы часок. Работу-то мне никто не отменял, за нее деньги дают. Но теперь я уже не мог, просто не мог. Я стоял и равнодушно смотрел, как разгоряченная толпа вывола-

кивает из «Золотого улья» двух вполне приличных молодых людей, крича:

— К вам приедешь, так хлеб только по прописке, а тут навалились наши вафли жрать!

— Нас в республике четыре миллиона, а фас в отном городе пять! — с легким акцентом пытался объяснить один из молодых людей. — Мы фас не оппъетим!

— Да вы китайцев обожрете, не подавитесь!

Какой-то старичок, проходивший мимо и сразу все понявший, — в руке у него была большая сумка, а на груди потертого, засаленного пиджака жарко желтела Звезда Героя, и он, настроенный на внеочередное отоваривание, оказался способен мыслить по-государственному — закричал, надрывая свой фальцет и очевидно сострадая:

— Не надо! Не надо так грубо, они же отделятся!

Но только подлил масла в огонь.

— Мы первой сами отделимся на хрен!

— Остошизело паразитов умасливать!

— Пускай катятся к ерзаной матери!

До рукоприкладства, однако, не дошло. Бедняг просто оттеснили подальше от дверей магазина и утратили к ним интерес. Они отряхнулись.

— Русское пыдло, — вполголоса сказал один, поправляя галстук и затем проверяя бумажник.

— Прокнившая импе-рия, — хмуро сказал второй, проверяя бумажник и затем поправляя галстук.

— Одну пачку я все же успел схватить, — сообщил первый, перейдя на свой нежный, с эластично приплясывающими звуками язык. Приятель хлопнул его по плечу, и они медленно, с достоинством потерялись в толпе.

Я снова заломил руку за спину — и ощутил. Ниже левой лопатки перекатывался под пальцами едва уловимый плоский желвачок. Сгусточек. Винг-эмбрион. То, что только под левой, ни о чем не говорило. Через полчаса завяжется и под правой. Боль будет нарастать. Потом, когда эмбрионы укоренятся, разодрав плотно лежащие друг на друге ткани, она поутихнет, а между двумя стремительно распухающими лопаточными узлами пробежит тонкий стебель перетяжки, перехлестнет позвоночник — и тогда, при взаимоподпитке зародышей, процесс пойдет еще интенсивнее...

Куда уж интенсивнее. Прошло два часа, а уже узел. Мне

осталась неделя, не больше. Если я за это время не доберусь до своих, я никогда их больше не увижу. И они, наверное, даже не узнают, что со мной.

Будут ждать, будут плакать... Кирилл будет спрашивать маму по двадцать раз на дню, когда я приеду, и она не сможет ответить. И осень настанет; и осенью, и, возможно, даже зимой жена будет вздрагивать от гулкого звука ночных шагов на затихшей черной улице и бежать к окну посмотреть, кто идет, и вскакивать от любого звонка, срываться к двери ли, к телефону... И в милиции ей будут говорить: не обнаружен, ищем, не волнуйтесь...

Осенью? Да у меня же их талон на билеты на сентябрьскую электричку! Если я до них не доберусь, как они вернутся в город, когда у жены кончится отпуск?

ПОТУГИ

Домой я приполз, совершенно обессилив от боли и отчаяния. В автобусе меня изрядно подавили, и привычная давка на этот раз оказалась невыносимой — эмбрионы были донельзя чувствительны, малейшее нажатие отзывалось в них сверлящей вспышкой, пронзавшей тело до легких, до схлопывавшегося от болевого шока сердца; я дергался и, глуша крик, закусывал губу при каждом толчке, при каждом тяжком подскоке усталого автобусного тела на очередной выбоине, когда плотная, как ком лягушачьей икры, масса склеенных от пота людей упруго и слитно встряхивалась...

Я попытался вызвать такси, но было занято. Тогда газетой, наполненной дословным изложением вчерашних докладов, я смахнул тараканов с письменного стола и принялся за письмо. Мне все время хотелось вылезти из рубашки и посмотреть в зеркало на свою спину, и я изо всех сил не делал этого — смотри не смотри. Боль пригасла, и только шустрые, как тараканы, иголки онемения плясали по напряженно растягивающейся под давлением изнутри коже. «Дорогая!» — медленно написал я, зачеркнул и написал: «Милая!» И сразу сам себе напомнил гротескного Штирлица, наподобие последней серии «Мгновений» — когда тот пишет по-французски жене: «Моя дорогая!», потом зачеркивает, потом долго думает и пишет: «Дорогая!», а потом, кажется, сжигает листок и

говорит, что действительно не стоит везти записку через сколько-то там границ. Что границы, господи! Если бы только границы! «Я ни в чем не виноват и никогда ничего такого не хотел. Ты знаешь. Но что-то происходит в организме — без всякого сознательного желания, без всякого предупреждения, само собой, как будто где-то за морем, а не внутри твоего собственного тела, — и ничего нельзя поделать. Как землетрясение. Если я пойму, что не успею с вами увидеться, я отправлю письмо и вложу талон. Но, пожалуйста, верь — я старался...» Нет, не получалось у меня. Я снова набрал 312-00-22 и снова не пробился. Я встал, заломив руку, непроизвольно огладил спину — перетяжка уже сочилась между двумя круглыми и твердыми, как древесные грибы, подкожными опухолями. Можно было разреваться, совершенно по-детски, все равно никто бы не увидел, глаза жгло словно кислотой, горло сжималось и вздрагивало. За что? Это мой дом, я вырос тут, жил тридцать шесть лет, работал — и плохо, и хорошо, как когда, любил, с сыном играл в хоккей, в солдатики, книжки ему читал и собирался читать и впредь, вон сборник сказок ему купил на той неделе по случаю, такие картинки!.. И я должен все это покинуть! За окном пластались и горбились простые, далекие, разные, разновысотные крыши окрестных домов, все тех же, что в пору, когда с отцом играл в солдатики я, они не менялись, а я менялся неудержимо, и с этим ничего нельзя было сделать, ничего, ничего. Что будет со мной через неделю? Где я окажусь? Я не хочу, я хочу здесь! Далекий сверкающий купол Исаакия висел над волнами крыш, с этого расстояния он казался невесомым, он парил, отбрасывая золотые, тонкие, как раскаленные нити, блики невидимых отсюда граней, — но он-то весом, он останется! Я снова позвонил в такси, долго не было гудка; я, всхлипывая и все оглаживая спину — так язык сам собой тычется в новую пломбу или ямку вырванного зуба, и никак не запретить ему этого, стоит лишь отвлечься, он уже там, — ждал, ждал, будучи уверен, что не соединилось, сигнал заглох где-то в хитросплетениях проводов и надо перенабирать. Но в трубке шелкнуло, и певучий женский голос начал с полуслова: «...вет, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Придерживая трубку плечом, огладил спину. «Ждите ответ, вы на очереди». Придвинул бумагу, взял ручку. «И Кирюшку поцелуй от меня». «Ждите ответ, вы на очереди». «Не знаю, откуда

это у меня. Но ведь и никто не знает, откуда это. Я жил как раньше, просто уставать больше начал, но ведь от этого не может быть, это просто возраст уже сказывается, да и жизнь стала напряженнее». «Ждите ответ, вы на очереди». «В очередях буду отмечаться, пока смогу, я на творог занял, на баранинку, на виноград на сентябрь записался, на скороварку... Постараюсь везде объяснить, что получать будешь ты, номерки перепишу тебе, только не перепутай, какой куда. Талон на билеты действителен с первого по пятое сентября, придешь в Рошино на станцию, в крайнем левом окошечке в любой из этих дней заплатишь тридцать семь сорок, и вам дадут билеты на текущий день. Только постарайся заранее подготовить деньги точно, там всегда нет сдачи, кассирша очень злится и может не дать билет». «Ждите ответ, вы на очереди». «Кире я купил с рук книжку, оставляю на столе, на видном месте. Помоему, хорошая, и очень добротные иллюстрации, звезды, кипарисы, море... Как в Крыму, помнишь? Какая луна в окно светила, прямо над горой, и цикады... Сказки для пятилетних». «Ждите ответ, вы на очереди». «Наверное, Кире еще рановато, но ведь не протухнет, пусть покамест смотрит картинки. Там все в роскошных турецких шароварах, минареты повсеместно...» «Ждите ответ, вы на очереди». Волоча телефон за собой — длинный провод с шуршанием потянулся по полу, — я, не в силах дальше писать, подошел к окну. «Ждите ответ, вы на очереди». На площади перед райкомом стояла умеренных размеров толпа с лозунгами, стояла спокойно, из ее угла торчал, как значок римского легиона, шест с крупной надписью: «Демонстрация разрешена». «Ждите ответ, вы на очереди». С такого расстояния не все лозунги я мог разобрать, но некоторые читались отчетливо: «Перестройка — да! Анархия — нет!», «Не позволим вбить клин между народом и партией, героически взявшей на себя ответственность за результаты своих действий и возглавившей процессы обновления!», «Критикуя война, ты критикуешь всю армию! Критикуя всю армию, ты оскорбляешь память павших!» «Ждите ответ, вы на очереди». На демонстрантов не смотрели, взмыленный народ неся туда-сюда мимо, был конец рабочего дня, улицы переполнены, все спешат. Казалось, стоящих на солнцепеке вообще не замечают. Но когда из райкома несколько дюжих ребят гуськом вышли — вахтер придерживал громадную дверь — с подносами, уставленными почерпнутой в закрытой столовой

снедью, и начали обносить демонстрантов, чтобы те подкрепились, бегущие стали останавливаться, у многих вскинулись к лицам подозрительные трубы и бинокли — посмотреть, чем кормят.

«Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди».

Я не мог больше. Спину тупо ломило; казалось, плоть едва слышно хрустит, потрескивает от напора твердо взбухающих новообразований. Я положил вежливо и монотонно бубнящую трубку на стол, придавив ею листок недописанного письма, выгреб из пиджачного кармана мелочь и пошел вон из квартиры. Приходилось держаться очень прямо, впервые за много лет я следил за осанкой. Я тебе доску к спине привяжу, говорила когда-то мама, чтоб не сутулился... Стоило лишь чуть-чуть сутулиться привычно, и накаленная проволока перетяжки впивалась в щель между позвонками, будто готова была разрезать хребет. Секундами накатывало ощущение, что идти стало легче, — и тут же исчезало. Иллюзия, конечно, нервы. Вес начнет уменьшаться дня через два-три. Течение болезни было описано досконально, я все это читал, изумленно и отстраненно ахая, все это знал, но никогда мне даже в голову не приходило, что меня это может коснуться. Не может, не может! Ну ведь не может... В ушах сам собой бубнил телефонный голос. На провонявшей гниющими отбросами лестнице я привычным уже движением бережно, стараясь не потревожить опухолей, огладил спину. Нет, со стороны еще ничего нельзя было заметить. Но я все равно отдернул липнущую к потной коже рубашку, чтобы болталась посвободнее, скрадывая, скрывая очертания меня. И все равно на улице, среди спящих по своим делам усталых людей, мне чудилось, будто все смотрят на меня и сверлят взглядами сзади.

Когда освободился автомат, я втиснулся в прокаленную, прокуренную кабинку, залитую яростным предвечерним сиянием, вставил гривенник и набрал домашний номер директора института. Был исчезающе малый шанс — у директора дача в Горьковской. Дачевладельцам в обмен на сданные овощи и фрукты с участков выдавались недельные сертификаты на проезд в пригородном транспорте того направления, на котором находилась дача, — и хотя передавать сертификаты в чужие руки формально запрещалось, установить подлог было практически невозможно, разве лишь контролер попадетс,

случайно запомнивший лицо истинного владельца; ни номера паспорта, ни фотографии на сертификате пока не полагалось. Директор был дома, ответил, и я так обрадовался, как если бы мы уже договорились обо всем.

— Аркадий Иванович, здравствуйте, — сказал я. — Пойманов вас беспокоит.

— Здравствуйте, здравствуйте, коллега, — приветливо сказали в трубке, и я обрадовался снова. — Слушаю вас. Какие-то проблемы?

— Да, вот хотел... узнать... — Слова вязли в горле. Я понял, что не знаю, как просить. Ведь объяснять придется. — Вы... вы на дачу не собираетесь в эти дни?

— М-м-м, — с удивлением сказал директор, но тут же мобилизовался. — Представьте, нет. Такая погода, а приходится сидеть в городе. Вы же знаете, какой напряженный сейчас период. К тому же во вторник, вы помните, приезжают французские коллеги. Среди них, кстати, ваш давний знакомый, профессор Жанвье. Рад вам сообщить, что он специально осведомлялся, сможет ли увидаться с вами, и выражал восторг по поводу вашей последней статьи. Хотя позвольте! Разве я вам не говорил на совете?

— Да-да, я помню, — соврал я. То есть не вполне соврал — утром действительно еще помнил и, стоя у молочного магазина, даже предвкушал встречу, потому что, несмотря на все их условия, на всякую там компьютеризацию библиотек и кондиционирование кабинетов, мне опять удалось обшлепать симпатичного бордосца, информацию я давно привык заменять интуицией, и как-то покамест получалось. Но за прошедшие часы все улетучилось из извилин, все стало несущественным. — Я по другому поводу. Видите ли, мои теперь на даче, в Рошино. Мне понадобилось срочно до них добратся... ненадолго, во вторник я, конечно, буду в институте, — снова соврал я, чтобы его успокоить. — Неожиданно, внезапно понадобилось, и я просто не представляю, как это сделать. Вы же знаете, на электрички народ с февраля записывается...

— М-м-м, — сказал директор уже без приветливости. У меня упало сердце; я сгорбил и тут же рывком распрямился от бритвенной боли. Дикое, непредставимое ощущение — будто режут по живому, секут, как шашкой, да еще не по коже, а прямо внутри, прямо по кости, потому что шашка — в середине тебя.

Выхода не было. Я с отчаянием спросил:

— Вы не могли бы одолжить мне свой сертификат? Хотя бы на сутки?

— М-м-м, — сказал директор. — Но, видите ли, коллега, у меня в настоящий момент сертификаты только на вторую половину июня и далее. Старые мы все проездили, в мае посадили что могли... а новый урожай еще не поспел, сейчас и сдать-то нечего. Право, никак не могу вам помочь.

— Понял, — глухо сказал я. Наверное, у меня был такой голос, что директору стало не по себе.

— А что, Глеб Всеволодович, у вас... стряслось? — с усилием выговорил он.

— Да так, — ответил я. — Дела семейные.

— Послушайте, коллега... Ведь не в сертификат свет клином уперся... то есть сошелся... ну да. Возможны какие-то варианты...

— Возможно, возможны.

— В конце концов, сейчас уже пятое июня. Осталось одиннадцать дней, и мой документ заработает. Устроит вас через каких-то одиннадцать дней?

— Благодарю вас, нет, — устало сказал я. И вдруг добавил, сам уже не зная зачем: — Я улечу скоро.

Он долго молчал. только трубка шуршала да едва слышно играла где-то в телефонной бездне музыка. Я хотел попроситься, но тут директор спросил:

— Что?

— Улечу, — сказал я.

— Вы отдадите себе отчет в своих словах? — ледяным голо-сом осведомился он.

— Отдаю.

— У вас в будущем году истекает срок плановой темы. Это вы, надеюсь, помните?

— Помню. Теперь честно могу вам сказать — я все равно, наверное, не успел бы. Никак по-настоящему не взяться.

— Вы пять лет зарплату получали под эту монографию!

— Попробуйте вычесть ее из зарплаты моей... вдовы.

Он опять помолчал. Потом опасливо спросил:

— Это точно?

— Абсолютно.

— Я попробую что-то придумать, — неуверенно сказал он. — В понедельник у наших соседей по корпусу пойдет ма-

шина в Выборг за жидким азотом-двенадцать... Завтра автобус с финской делегацией уходит... Я попробую. Позвоните мне часа через два-три.

— Спасибо, Аркадий Иванович, — почти без надежды проговорил я, и он тут же дал отбой.

Ждите ответ. Я вышел из будки.

Город плыл в мареве. Сверкали окна, темнели окна. Колыхался густой зной. Пахло асфальтом и бензином, машины шли стеной, люди шли стеной, стены стискивали машины и людей. От сознания того, что все это скоро исчезнет для меня, хотелось выть. Я шел домой, держась до нелепости прямо, почти запрокинувшись, а в голове и в горле пульсировало: последний раз. Последний раз. Что последний раз? Все.

Такси.

— Такси! Эй, такси!! — Чуть руки не оторвались, как махал.

Визг тормозов.

— В Рошино поедете?

— Ты что, командир, совсем оборзел?

В почтовом ящике белело — я открыл машинально. Это была открытка из «Детского мира» — уведомление, что наша очередь на коляску продвинулась еще на пятьдесят человек, и просьба подтвердить актуальность заказа. Заказ мы сделали за полтора года до появления Кири, но месяц от месяца очередь подвигалась все медленнее, и теперь мы с женой шутили иногда, что подойдет она, аккуратно когда коляска Кириным деткам понадобится. Нам же в свое время приходилось изворачиваться: я клеил коробки из машинописных страниц, пуская на это свои черновики, наброски и начала статей, довести которые хронически не хватало времени и уже ясно было, что никогда не хватит, а вместо колес приспособлял бобины от старого магнитофона — это выручало, но произведения получались недолговечными, бумага размокала и лопалась, стоило Кире описать на прогулке, — тогда приходилось клеить сызнова. Счастье, что я в свое время столько написал — написал, как после рождения Кири стала говорить жена; сейчас такое количество бумаги просто неоткуда было бы взять, все ЦБК закрыты в целях спасения окружающей среды; странно только, что, совсем не давая бумаги, ядовитых отходов они исправно дают столько же, сколько прежде, а по слухам — и больше... Завтра надо бежать в «Детский мир» и оставить очередную открытку. Завтра. Господи, завтра. Неужели не уеду?

Все равно как-то надо забежать, очередь терять нельзя. Трубка бубнила, лежа на письме, ясно было, что именно она бубнит, но я все равно поднес ее к уху мокрой от пота рукой. «Ждите ответ, вы на очереди. Ждите ответ, вы на очереди». Два часа. Или три. Это значит, между семью и восемью. Может, он все-таки сделает что-то? Он ведь влиятелен... Полчаса уже прошло. Чем бы заняться? С дальнего угла стола с издевательским призывом смотрела дочитанная до половины диссертация, в среду я должен оппонировать. В среду. Смешно. Без всякой пощады давя тараканов, я пошел в туалет, достал из шкафчика за трубами половую тряпку. С мазохистским наслаждением чувствуя, как перепиливается позвоночник, я стал тщательно мыть пол, время от времени замирая и сквозь шумное клокотание сердца прислушиваясь к голосу из трубки: «Ждите ответ, вы на очереди». В глазах темнело от боли. Вот так тебе, бормотал я. Вот тебе, вот. Болен, но могу. Коридор, кухня. Комнаты. Рукава рубашки промокли до локтей, но я не решался их закатать — рубашка высохнет, а вот если потускнеют и станут неразборчивыми номера, которыми руки исписаны от запястий до плеч... Куда там Замятину с его нумерами вместо имен! Куда там концлагерям, где татуировали пять-шесть аккуратных цифрок!

Имен никто не отменял, но никто ими не интересовался, а номера мы пишем себе сами: за хлебом ты шестьсот восемьдесят второй, а за мармеладом пять тысяч трехсотый, и не дай тебе бог перепутать! Все. Полы влажно отблескивали, и по квартире плавал теплый, душноватый запах сырого паркета. Я замер, прислушался. «Ждите ответ, вы на очереди». Мытье полов заняло только час. Как много времени отнимает быт, стоит только захотеть чем-то настоящим заняться, — и как быстро все можно сделать, если надо убить время! Я вымыл унитаз. Потом надраил газовую плиту на кухне. Вот тебе, вот. Вернулся в комнату, упал в кресло совершенно без сил и со стоном отдернулся, подавшись вперед, — в спину будто всадили два до красного каления доведенных стержня. Откидываться по-удобному я тоже теперь не мог.

В трубке шелкнуло, и возник новый голос. Издалека было не разобрать слов, но чувствовалось, что они — иные. Выпадая из шлепанцев, я рванул к телефону, сердце обмирало от недоверчивой надежды: неужели дозвонился? И сразу: интересно, на какое время дадут машину? И сразу: надо отзвонить

Архипову, что помощь уже не нужна. И сразу: на моторе до Рощина час, еще засветло буду! То-то они обрадуются! Книжку, книжку Кире захватить! И талон... Господи, да как же я ей скажу?! Я подхватил трубку и успел услышать конец фразы: «...будет снят. Благодарю за внимание».

— Але! — крикнул я. — Мне нужна машина как можно ско...

Голос, не слушая меня, возник снова, и просьба умерла.

— С вами говорит электронный учетчик производства совместного предприятия «IBM — Проминь». Уважаемый товарищ! Вы непозволительно долго ведете телефонный разговор, перегружая общественную сеть коммуникаций и препятствуя нормальному общению граждан. Поэтому ваш телефон отключается на недельный срок. Не позднее завтрашнего дня вы должны внести штраф в размере семисот сорока шести рублей пятидесяти копеек по адресу: Синопская набережная, четырнадцать, отдел внеочередных платежей, в противном случае ваш аппарат будет снят. Благодарю за внимание.

Я постоял еще секунду, уже ничего не говоря и не прося, затем помертвелой рукой положил помертвелую трубку. В ней было тихо. Ни дальней музыки, ни треска. Все. Не ждите ответа.

Было без четверти восемь. Я осторожно огладил спину. Без пиджака на улицу мне уже не стоило выходить, рубашка отчетливо натянулась на двух выпирающих, словно из литой резины, горбах.

Киношники отсняли демонстрантов, и те начали расходиться, сворачивая лозунги и дожевывая оставшиеся бутерброды с севрюгой. Прямо навстречу мне бодро двигался с транспарантом наперевес коренастый седоватый мужчина, и юбилейные медали, которыми была обита грудь его пиджака, музыкально звенели при каждом его печатном шаге. Транспарант был переполнен текстом, как пиджак — медалями. С изумлением я увидел: «В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке. Именно поэтому задачей всей этой вредительской организации было добиться такого положения, чтобы то, что у нас имеется в избытке, сделать дефицитным... Теперь ясно, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг при богатстве и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого.

Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники». Ни ссылки, ни подписи не предусматривалось, но я сразу узнал заключительную речь Вышинского на процессе правотроцкистского блока, страница, кажется, 326 «Судебного отчета», изданного в тридцать восьмом году.

Когда медаленосец поравнялся со мной, я, изо всех сил стараясь распрямить спину, спросил:

— Простите, это ваши слова?

Оказалось, я польстил. Он прямо засверкал, как медаль.

— С уважением отвечаю на ваш вопрос, — сказал он со сдержанной гордостью. — Данное абсолютно правильное высказывание представляет собой раскавыченную цитату из важнейшей резолюции нашей Коммунистической партии Советского Союза. Я с ним целиком и полностью согласен.

— Спасибо, — сказал я. Мы обменялись вежливыми кивками и разошлись.

Зной катился волнами, изредка перемежаясь порывами затхлой прохлады из проходных дворов. День истекал — первый из шести-семи, что мне остались. Я вошел в телефонную будку. За эти три часа в ней появилась новая надпись: «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!» Неприличных слов теперь уже почти не писали, всколыхнулись новые, социальные интересы. Прямо над аппаратом было вырезано глубоко и резко: «Люби свою Родину!» А на полочке слева было начирикано шариковой ручкой: «Честным кобелям СПИД не страшен. А будешь сношаться с кем попало — сдохнешь, как Сталин, без причастия!» Я разглядывал все это, прижимая горячую трубку к щеке, а длинные гудки мерно улетали в квартиру директора и никого не могли дозваться. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый... Я нажал пальцем на рычаг и набрал снова. «Если встретишь наркомана — раздави, как таракана!», «Фашистов мы разгромили, но курумпированную часть аппарата еще нет». Написано было именно так. Шестнадцатый... семнадцатый...

— Алло? — произнес заспанный, крайне недовольный женский голос.

— Добрый вечер. Аркадий Иванович может подойти?

— Аркадий Иванович не может подойти. Аркадий Иванович улетел в Москву.

Трубка едва не выпала из моей руки.

— Как улетел? Куда?

— Ну говорю же вам русским языком — в Москву. В командировку, час назад. Завтра шестидесятилетие академика-секретаря отделения АН, в которое входит папин институт. — Слова «папин институт» голос произнес с такой небрежностью, а слова «академик-секретарь» — с такой лихой привычностью к титулам, что тшета разговора стала очевидной. Но я все-таки спросил — с удивительным для самого себя спокойствием, равнодушием даже:

— Это Глеб Пойманов. Мы с ним созванивались три часа назад по важному делу. Он ничего не просил мне передать?

— Нет, — почти негодуяще ответил голос. — Он весь хлопотался...

— До свидания, — сказал я и повесил трубку. Стоял в будке и не выходил. Куда бы еще позвонить? Ничего не шло на ум. Только всякая фантастика роилась: рвануть на Финляндский и дать взятку диспетчеру... если удастся его найти... Обмануть перронных контролеров и поехать зайцем, авось не нарвусь на контроль линейный... Выйти из города по Приморскому шоссе и голосовать всякую машину, какая-нибудь да подбросит, если денег пообещать побольше... Я вынул бумажник и посчитал деньги. Денег было негусто. Если учесть, что мне завтра на Синопской штраф платить... Потом я подумал про Тоню.

Она работала прачкой в яслях, а ее брат — механиком в гараже какого-то завода. А мать их, продавщица, жила в Ушкове, и они часто к ней ездили, угоняя на день-два какой-нибудь грузовик или «рафик» из этого же самого гаража — не на электричку же всякий раз пробиваться, не на автобус же, все равно отсутствия машины никто не замечал, в гараже всегда все в разгоне. Мы познакомились с Тоней год назад, случайно — я возвращался с очередной конференции на редкость прилично одетый, в на редкость приподнятом и воодушевленном состоянии, а это всегда очень бросается в глаза в нашей задерганной толчее, — и вдруг красивая девушка ни с того ни с сего решила со мной познакомиться прямо в метро. Я так никогда не умел и не пробовал, а у нее получилось элементарно: как проехать туда-то? Ой, что-то не пойму... Простите, но вы показать не могли бы?.. Часа четыре мы просидели в каком-то скверике, до июльской темноты курили пачку

«Салема», зачем-то подаренную мне, некурящему, моим бывшим стажером Реджи Уокером. Тоня тянула сигарету за сигаретой и сначала, как сигареты, тянула составленный из одинаковых душных звеньев разговор, единственный смысл которого — якобы общаясь, не расходиться, а потом как-то размякла, стала собой и стала говорить о себе. Я слушал и, как всегда и всем, быстро начал сочувствовать; она рассказывала, что руки совершенно не заживают от стирки, рассказывала, как любит возиться с детьми и сама давно бы родила, да не на что растить, рассказывала, как еще школьницей ее вывалил на дорогу шофер самосвала, которого она вечером попросила подвезти от Солнечного до Ушкова, но которому не дала, и он, согласившись для вида, просто поднял кузов на ходу, и, простежки задрав юбку, показывала длинный шрам на бедре, дерганным, бугристым синим зигзагом нырявший под чистенькие трусики с изображением ягоды вишни... Когда «Салем» иссяк, она сказала: «Никогда так много не курила, прям тошнит...» — «Зачем же?» — «А чтоб не уходить». — «Все равно ведь надо». У нее дрогнули губы, она, поняв мои слова как намек на созревшее прощание, быстро встала и качнулась — я, вскочив, поддержал. «Крыша поехала», — застенчиво сказала она. Покосилась на меня, отчетливо понимая, что говорит опять стандартную, как сигарета, фразу, но искренне и боясь, что я не пойму, что искренне. «Вы меня не проводите?» Я проводил. Едва мы вошли в квартиру, у частями застекленных дверей, за которыми тянулись пропахшие нечистой жизнью недра громадного коммунального лабиринта, возникли лица, и отчетливые голоса провожали нас, передавая друг другу, пока мы путешествовали под сушащимися поперек коридоров трусами и комбинациями, под пеленками и пятнистыми, истертыми до сквозного мерцания простынями, под гирляндами пришепленных один вплотную к другому штопанных-перештопанных носков, мимо груд наваленных вдоль стен пустых бутылок, множественно звеневших, когда под нашими ногами прогибались хлипкие крашенные половицы: «Гляди, гляди, Тонька-то опять нового привела!» — «Да окстись, Никола, к ней уж, почитай, месяца три никто не ходит, измаялась девка вконец». — «Старый ухажер-то...» — «А галстуков таких теперь уж не носят». — «С портфелем, как генерал-маёр...» Мы вошли, она захлопнула дверь, рывком обернулась

ко мне, глаза ее стали громадными, темными. «Я никогда так ни с кем не разговаривала», — призналась она и стала меня целовать, а потом — потом уже я, хоть и скупое, но тоже, не удержавшись, рассказывал ей о себе, а потом мы обменялись рабочими телефонами. В этой сумеречной конюшне не было телефона, у меня дома была жена; и я ушел, точно зная, что не позвоню никогда, но почему-то совестью выбросить клочок бумаги с торопливо и призывно набросанной цифирью, а потом она позвонила сама, и летом, и осенью, и в начале зимы еще звонила мне на работу, дрожащим голосом спрашивала меня по имени-отчеству, звала в гости, обещала пожарить картошки со своего огорода, угостить маслятами, которые собрала и замариновала, мечтая угостить ими меня, и рвала мне сердце. «Тонюшка, ну не трать ты на меня время...» — «На кого ж еще и тратить-то?» — «Ну что тебе с меня?» — «Все».

Но я так и не пошел, а теперь, в отчаянии, вспомнил. Я сразу узнал ее голос.

— Тоня? Здравствуй, Тоня.

И она сразу узнала мой голос.

— Глебушка! Надо же! Здравствуй! У тебя что-то случилось?

И мне стало легко и почти не стыдно. Только пиджак нескладно топорщился на спине. В трубке отдаленно рокотали стиральные барабаны.

— Да, Тоня, случилось. Ты можешь сейчас разговаривать?

— Конечно!

— Послушай. Вы к маме не собираетесь в ближайшие дни?

— Хочешь отдохнуть? Сколько раз я тебя звала...

— Нет, Тоня... Тоня. Мне нужно... Мои сейчас в Рошино, на даче, и мне нужно как можно скорее до них добраться. Извини меня, что я прошу... Но я просто в чудовищном положении, и мне не к кому обратиться, кроме тебя.

Она помолчала.

— Я позвоню Толе, Глебушка. Мы не собирались пока, но я узнаю. — Ее голос был чуть-чуть погасшим, но таким же мягким, как вначале. — Может, он сумеет.

— Как мне узнать?

Она опять помолчала.

— Через полчаса я кончаю работать, может, даже пораньше вырвусь, раз такое... Ты приходи ко мне, я буду дома часи-

ка через полтора и к этому времени все узнаю. Помнишь дорогу? Придешь?

Теперь помолчал уже я.

— Приду.

— А я к этому времени все-все узнаю, — повторила она.

СВЕЧА

— Ой, ты знаешь, Глебушка, я не дозвонилась пока. Его дома нет, жена сказала, к одиннадцати будет. Но ты не волнуйся, пожалуйста, я позвоню еще, буду выскакивать и звонить. А пока давай посидим немножко. Ты не торопишься?

— Нет.

— Садись сюда. Вот сюда, вот стульчик, как в тот раз. Ты ужинал?

— Нет.

— Я так и думала. Я картошечки пожарила. Котлетку будешь?

— Ну что ты, Тоня...

— Будешь, будешь! А то скучно так сидеть. И смотри, что у меня еще есть. О!

— Господи, Тоня! Зачем...

— Немножко, по рюмочке. Ну я же тебя так давно не видела. Праздник!

— Спасибо... Хватит! Вот столько...

— Конечно, и мне вот столько. Ой, Глебушка, миленький, как хорошо мы посидим! Сейчас... Солнце мне так в глаза, тебя не вижу. Задернем занавесочки, а? Видишь, у меня занавесочки новые! Плотные такие, ничего сквозь не видно. А то в тот раз вон из того окошка дядька глядел. Вот, теперь уютно. А давай свечку зажжем? Или выпьем сначала по глоточку? Ты ешь, остынет ведь! Вот, смотри, какая свеча красивая! Ты извини, я суечусь не в меру... Я уж думала, никогда тебя больше не увижу. А ты взял да и позвонил, молодец какой! Ну, по глоточку...

— Твое здоровье, Тоня.

— И твое. И твоих родных. А смотри... только обещай, что возьмешь. Обещаешь? Ну, обещаешь?

— Обещаю...

— Во-от. Это я твоему мальчику сегодня купила. Правда, симпатичный? Хитрющий, да? Чаф-чаф-чаф!

— Тоня... Нет, я не могу. Это же дорого.

— Ну могу я тебе раз в год подарочек сделать? Обещал, обещал! Твое! Ну? По глоточку? Котлетка не остыла? Как свечка красиво горит, правда? Ну, пригубь, пожалуйста.

— Тонь, а где ты водку взяла? Мы тут с другом хотели принять чуток — везде только азербайджанский по сто семьдесят три.

— Надо было меня свистнуть. Ты впредь если что — ко мне. Гоша — помнишь?.. Ну, неважно... он же на разливе работает. У него казенки всегда возьмешь, хоть залейся. И сверху не хапает... Я сразу с работы туда — прыг!

— Когда ты только успела...

— А я, как ты позвонил, в десять раз быстрее шевелиться начала. Ни скуки, ни усталости...

— Почему?

— По кочану. Обрадовалась, что тебе хоть что-то от меня понадобилось.

— А почему обрадовалась?

— А потому, что ты не козел.

— А что это такое?

— Ой, да все равно, вот пристал. Чего ты не ешь? Не нравится, да? Невкусно?

— Вкусно. Просто совершенно не хочется есть.

— А ты тогда выпей. И я с тобой.

— Да меня уж и так развезло.

— Развезло... Знаешь ты, что такое развезло... Просто ослабился, и глазки стали не такие больные... Ты прям уж такой замученный пришел — сердце в клочья.

— Все замученные.

— Ой, не скажи. Многим такая жизнь по сердцу. Кричи, бегай, рви — а делать ничего не надо. А ты, я ж знаю, работал бы да работал...

— Откуда знаешь?

— Оттуда. Ой, я сама запьянела. Вот здорово! Налей теперь ты, мужской рукой. Ага, хватит. И себе, себе! За то, чтоб у нас все было хорошо. Жаркая погода какая, да? Я так рада за твоих, что они в такую погоду отдыхают на свежем воздухе. Мальчик, верно, загорел, носик облупленный... А тут — духота. Можно я переоденусь немножко? Полегче чего-нибудь...

Отвернись, пожалуйста, на секундочку. А посмотри, какой я себе купальничек скомстралила. Как тебе?

— Тоня, а у тебя шрам поблек.

— Ой, Глебушка, не надо. Ты мне просто приятное хочешь сказать, от доброты. Шрам и шрам, привыкла.

— Честное слово.

— Как тебе купальничек мой?

— Оч-чень молодежный. Если прищуриться, как будто его и нет.

— Ой, ну ты скажешь! Цирки какие...

— Неужели сама?

— Конечно. Можно я так посижу? И ты пиджачок снимай. Что за глупость — в такую жару, в доме, этак париться?

— Я с ним сроднился, Тоня.

— Не позволю. У тебя даже личико блестит от жары. Сама снимаю.

— Тоня, не надо!

— Еще отбивается! Девушка за ним ухаживает, а он отбивается! Шас раздену! А ну, руки вверх! Да ты что, драться со мной бу... Ой!

— Ну, вот.

— Глебуш... Ой, еще! Твердые какие... Глебушка, что это?

— Крылья растут, Тоня.

Она потрясенно накрыла рот ладонями и несколько секунд стояла, чуть раскачивая головой.

— Бедный... И что же теперь?

— Не знаю.

— Из-за этого тебе и надо туда?

— Да. Могу ведь даже не успеть попрощаться, Тоня. Как они тут будут без меня в этой каше — ума не приложу...

— Прости меня. Ой, какая я змея! Прости!

— За что?

— Потом скажу... Как торчат. Совсем скоро, да?

— Быстро зреет. Будто, знаешь, долго собиралось и провало наконец. Так обидно, Тоня, ты не представляешь... Ведь я же не хочу.

— Больно?

— Сейчас уже не очень. Только, знаешь, чудно как-то. Одеревенело.

— Можно я их поцелую?

— Почему именно их?

— Потому что им больно.
— Нежная ты девочка, Тоня. Жаль мне тебя...
— А мне-то тебя как жалко, ты б знал... Сколько слышала, в газете читала один раз... А не видала. У наших-то ни у кого... Чего же это такое?

— Никто не знает.
— И куда ж ты?..
— Никто не знает.
— Я бы с тобой куда угодно полетела... Да где уж. Ты сколько вешишь?

— Шестьдесят три, кажется.
— Ну! А я под семьдесят! Одни сиськи кило на четыре тянут, в каждой очереди какой-нибудь пердун да упрется локтем, как бы в тесноте... Глебушка, а Глебушка... Я ведь тоже, значит, тебя больше никогда не увижу. Давай я постелю, а? Пожалуйста...

Я не мог сказать ничего. Она подождала, умоляюще заглядывая мне в глаза, а потом купальник будто сдуло с нее порывом ветра.

И я любил ее. Но, как бы ни обнимал, как бы ни накрывал, словно кругом визжали пули, ее собой, мне было не защитить ее и не заслонить от ее фактической нищеты, от этой комнатенки, сдавленной и безвоздушной, от просто поднявшего кузов шофера, от очередей с растопыренными локтями, от потных рук, в переполненных автобусах лезущих ей под юбку и, дождавшись, когда она заслонится сумкой, выгребавших из этой сумки ее гроши, от нескончаемого грохота вечно ломающихся смрадных барабанов, от затхлого чада полутемной громадной квартиры, запутанной, как кишечник, от «Тонька-то, Тонька — нового привела!», от вони гниющих на жаре прямо под окном, в прокаленной теснине двора-колодца, баков, истекающих жижей на растресканный асфальт, гудящих роями титанических мух, от узаконенной отравы в заботливо и проворно приготовленных ею картошках и котлетах, ни от чего, ни от чего, даже от собственного ухода... и значит, эти обьятия были как бы обман, имитация, они обещали защиту, нет, они просто по определению должны были включать в себя защиту как основной свой смысл — и не давали ее; и потому, как бы самозабвенно ни распахивалась девочка подо мной, как бы ни кричала от счастья, ощутив, что в ее глубине взрывается моя бесплодная, незащищающая неж-

ность, — я не чувствовал себя мужчиной, я был кастратом, строй жизни кастрировал меня.

Но если научиться забывать это, гнать эти мысли, если сделать близость из заботы сортирным облегчением организма, — наверное, это и будет козел. Жизнь заставляет выбирать, козел ты или кастрат, и третьего не дано.

— ...Как хорошо, Глебушка, как хорошо! И откуда такие нежные берутся? Никогда не думала, что это так бывает... Знаешь, я бы десять лет жизни отдала, чтобы вот так побыть с тобой еще разочек. Тебе понравилось, а?

Я только улыбнулся.

— Как ты улыбаешься, милый... А хочешь, я угадаю, чего ты подумал, когда увидел меня в купальничке?

— Ну, угадай.

— Ты совсем не про меня подумал.

— Ну да?

— Вот и да. Потом уже про меня и про то, чего тебе делать с бесстыжей девкой, которая сама лезет...

— Тоня!..

— А в первую секундочку ты подумал, хорошо бы подарить такой купальничек жене. Угадала? Молчи, сама знаю, что угадала. Хочешь, я ей сошью? Скажи размер, я за три дня управлюсь.

— Тоня, ты святая.

— Тить! Святые разве трахаются?

— Все делают одно и то же. Только чувствуют разное.

— Нет, Глебушка. Я ведь тебя обманула, очень повстречаться хотела, ты меня сейчас убьешь. Брат нам помочь не сможет, они четвертый день замнач ОТК выбирают, и сколько еще проорут, неизвестно. Все раздухарились, никто не работает, гараж опечатан. Вот такая я змея. И не жалею. Потому что это лучший вечер в моей жизни. А если ты ко мне придешь через три дня, я действительно сошью твоей жене купальничек такой же, и, может, у них там баланда кончится, и мы поедем. Придешь, Глеб? Придешь?

— Не знаю... Как я могу сейчас обещать что-то? Смешная ты...

— Не понравилось. Ну, я одеваюсь тогда.

— Ох как голос заledenел...

— Голос как голос. Ночку пореву, а вечером к Семе. Он

жену с младенцем закатал родильный стафилококк лечить — звал перепахнуться, пока дом пустой...

— Зачем тебе?..

— Это уж мои заморочки. Летишь — и лети себе, не отсвечивай.

— Тоня...

Посасывая валидолину, я брел домой по мягкому асфальту. Прокипевший город медленно остывал на своей немой асфальтовой плите и, казалось, еще чуть скворчал, шипел изредка прокатывающими авто. Млело марево, дома в улетающих прямых створах улиц колыхались в чаду. Я не знал, что делать. Или действительно пойти завтра — нет, уже сегодня — к первой электричке и попробовать сунуть кому-нибудь на лапу? Не получится же... Да и деньги надо поберечь, жене будет туго с этим, когда я... исчезну. Да, вот еще что: завтра... нет, уже сегодня... надо снять все деньги с книжки и оставить дома либо отвезти ей, если удастся. Или послать переводом? Но процент... Ни с того ни с сего, как довершающее издевательство, поплыло перед глазами оглавление ненаписанной моей книги — все давно уже было в голове, только руки не доходили написать, оформить, выстроить текст...

Дома было чуть прохладнее. Я смахнул тараканов со стола и тупо, уже не думая ни о чем, стал на отдельный лист аккуратно, медленно переписывать номерки с рук с указаниями, который на что, и — в скобках — с ближайшими датами отметок. Очень странно было ставить запредельные даты, точно зная, что меня уже не будет; нелепо, нелепо... девятого июня за скороваркой я еще успею, а вот двенадцатого — скорее всего, уже шабаш, и все лето, всю осень жена будет без «Пемолукса». Дичь какая-то... Как же они тут справятся без меня?!

Когда я закончил, было около двух ночи, за занавесками теплилось серое глухое свечение. Глаза жгло, но о сне не могло быть и речи; да к тому же к пяти надо было добраться на Финляндский вокзал и что-то сделать. Может, перекупить у кого-либо билет? Но кто же продаст?.. Или столько запросит, что вылетят все мои трудовые сбережения и жена останется тут совсем без резерва, а ведь моя зарплата... странно, как это слово похоже на слово «заплата», заплата на бюджете, никогда не приходило в голову... и так отвалится, едва только я сгину... Голова шла кругом.

Закончив, я посидел немного просто так, а потом достал

из глубины нижнего ящика стола пачку старых фотографий и медленно начал их перебирать. Им было пять, семь, восемь лет — казалось, совсем все было недавно, но как все изменилось. Я любил их разглядывать в тишине, когда особенно худо становилось от бездушной, безмозглой гонки, они давали мне силы, нет, не силы, больше — чувства; я смотрел на молодые — а впрочем, с виду почти такие же, как теперь, — лица жены и вроде бы откатывался душой туда, в это недавно, которое ощущалось одновременно и странно близким, и странно невозможным: в лесу на Карельском, среди золотых свежих сосен, в прозрачном солнечном просторе Крыма... Вот же мы, чувствовал я, вот какие мы на самом деле — веселые, счастливые, свободные, жадные друг до друга и бережные друг к другу, а остальное, все, что как плесень покрыло нас теперь, — это просто от усталости, от суеты, это наносы; стоит хоть на один вечер как-то смыть их, и сверкнем мы вот такие!..

До Крыма теперь не добраться — ни на поезд, ни на самолет билетов нет никогда, хотя и поезда вроде ходят, и самолеты вроде летают, но благосостояние увеличилось, а количество рейсов — нет; говорят, за валюту можно, но у меня ее отродясь не было. Да и не слишком-то тянуло туда с тех пор, как комиссия проворно доказала, что семибалльных землетрусов в Крыму уже не будет, и в сжатые сроки, очевидно боясь, что правительство передумает, угрожав на темпы миллиардов сто семьдесят сверх сметы, запустили АЭС, — этак схватить, выкупавшись в кристально чистой воде, рентген семьсот, а врач потом, как водится, скажет, что на солнце перегрелся, и даст больничный на три дня... А если еще и с ребенком?... Да и без рентген, шут с ними, но питьевой воды совсем не стало, все, что дает протараненный поперек засушливых степей канал, заглатывает охлаждающий контур, а перегретое сбросами побережье от Керчи до Судака киснет от сине-зеленых, на съезде об этом было заявлено со всей откровенностью...

А жена ревновала к собственным фотографиям. «Что душу травить? Меня не интересует прошлое, оно прошло, — меня интересует, что сейчас и что потом» — вот что она мне сказала еще пару лет назад, когда я предложил ей повспоминать вместе, пройтись, взявшись за руки, по нашему общему корню, неудержимо тонущему в трясине дней. А однажды дошло до скандала. Был день ее рождения, гости ушли; умявшись насмерть стряпней, затолкав в постель перевозбуж-

денного Кирию, она рухнула сама. К двум ночи я перемыл посуду, искупавшись на нее пять чайников, — горячей воды, как всегда летом, не было, шла сезонная проверка теплотрасс, а мыться при жаре можно и собственным потом, если слегка посыпаться «Пемоксолью» или, на худой конец, «Суржей», аллергии пойдут — значит, кожа изнеженная, сам виноват; а потом, уверенный, что она уже спит, затворился в кабинете и раскинул живительный пасьянс. Дверь открылась у меня за спиной раздраженно и внезапно, фотографии на столе дернулись от пощечины сквозняка; жена, еще хмельная, спросила с порога: «Опять онанизмом занимаешься? Живая баба в постели лежит, а он тут холодных, плоских лапает...» Коньяк и у меня журчал в церебральных сосудах; нейроны, как подгулявшие деревенские орлы, развернув гармоники, стояли в нем по колено, без сапог. Я даже не попытался спрятать засушенные лепестки отцветшей жизни, в которой я мог хоть пять сезонов носить одну и ту же рубашку, и она пусть и выгорала, но не расплзлась от первой же стирки; в которой на один лучезарный морской день нам хватало для счастья грозди винограда и банки сардин, и стоило это счастье копеек семьдесят, а не сорок три рубля при условии штампа о временной прописке, за какой, сутки отстояв под надписью «Граждане СССР имеют право на отдых», нужно отдать двести семьдесят три рубля госпошлины и тридцать с копейками комиссионного сбора; в которой я был уверен, что состояние моих близких зависит от моей чести, моего таланта, моей работоспособности, от того, что мною можно гордиться, ведь я узнаю и придумываю такое, чего не знает и не может придумать на земле, кроме меня, никто... и сами собой, без усилий, расцветали, как на припеке, кипели, как в очаге, в голове идеи, и десятки страниц — те, из которых я клеил потом коляски, — покрывались умными, безошибочными, изумляющими словами... Не по-доброму взвинченный недобрым вторжением, я ответил тихо: «Зато этих плоских вон сколько, и мы с ними друг друга любили...»

Была истерика. Жена плакала. Жена кричала: «Уходи! Не выноσιμο тебе?! Дохлая я, дохлая, да? А сам-то! Ну уходи — хоть на все четыре стороны, хоть к библиотечарше своей! Думаешь, дожидается еще? Ну иди!! Но мы же умрем! Женщина не может одна и зарабатывать деньги, и искать, где на них что-то купить! Я же с ума сойду, я же сдохну на бегу, в какой-нибудь давке, и твой сын умрет с голоду в пустой квартире!

А ты иди! Рисуй свои закорючки, академиком станешь! Может, хоть тогда сможешь мясо для супа достать!»

Состояние близких зависит лишь от того, насколько быстро уменьшаются номерки на твоих руках.

Я убрал фотографии и подошел к окну. Я держался очень прямо и все равно ощущал невыносимую, тяжелую горбатость. Твердое сырое полено, вздувшееся внутри меня, давило легкие, было не продохнуть, было не забыть ни на миг. Я открыл раму; уличная духота дотронулась до духоты в квартире и замерла на пороге окна. Спящие, безмолвные дома витали в прозрачной мгле, пустые улицы, странно просторные, серыми лентами катились вниз. Неподвижность.

Из дома напротив вышла пара.

Парень и девушка, оба в брюках, оба обнаженные по пояс. Они держались за руки. Им оставались минуты. Крылья девушки были напряжены, развернуты просторным мерцающим крестом — даже отсюда было видно, как в густом безветрии шевелится, переливаясь бархатными волнами, нащупываемое направление, ориентационная шерстка. Они заметили меня, парень что-то сказал негромко, девушка звонко засмеялась в бескрайней ночной тишине и, помахав мне светлой рукой, крикнула: «Счастливо оставаться!». «Квакай дальше, отец!» — крикнул парень. Он отставал немного, с его плеч будто громадный бесформенный тюк свисал до земли. Больше они на меня не оборачивались. Девушка прижалась грудью к локтю парня, и, заглядывая друг другу в глаза, они стояли и ждали.

Где-то вдали, за райкомом, прогрехотал, лязгая раздрыганным железом кузова на измолоченном асфальте, порожний грузовик. И снова все замерло и затихло.

Трудно сказать, когда именно началась эпидемия. Сначала, пока случаев были единицы, взлеты объявлялись мистикой, досужей болтовней, вроде Бермудского треугольника или летучей посуды, — но теперь по стране, по данным ЮНЕСКО, в иные дни доходило до полутора сотен. Новая загадка свалилась как снег на голову. Одни валили на нитраты и вообще на захимиченность бытия; другие кивали на дальние последствия Чернобыля и Карачая, а то и вообще на мутагенное воздействие полузабытых, казалось, лишь в архивах оставивших след ядерных испытаний эпохи пятидесятых, а подчас полупошепотом поговаривали, что скорее дело в некоем психоген-

ном воздействии. Существует ли возбудитель? Если да, то как он передается? Если нет, то по какому принципу недуг выбирает очередную жертву? Что представляют из себя винг-эмбрионы? Как внедряются они, как укореняются? Как и за счет чего происходит прорастание? Что обеспечивает подъемную силу и энергию переноса, ведь не по ветру же он идет, ведь не секрет, что вектор сдува, насколько можно судить по запоздало включенной статистике, никогда до сих пор не был ориентирован внутрь страны, и поэтому некоторые идеологи уже вешали с видимой доказательностью, будто славянство сгенерировало наконец некое особой компрессии очистное биополе, вытесняющее на задворки мира всех изнеженных, тонкокожих и нервных полукровок... Как и почему крылья безболезненно, за несколько часов, отмирают после переноса?

На все эти вопросы ответов не было. Но последствиям заражения невозможно было препятствовать. Предпринимались попытки, особенно на первых порах, стихийно, подстергать больных в момент отрыва и придавливать к земле чем-нибудь тяжелым — гусеницами бульдозеров, ковшами экскаваторов, бетонными балками или шпалами... однако не удавалось избежать членовредительства. Предпринимались попытки изолировать больных в наглухо запертых помещениях без окон, но сила полностью созревших эмбрионов была такова, что они либо проламывали перекрытия и словно из пушки выстреливали искромсанного человека в небо, либо расплющивали его насмерть, лопааясь при этом сами и заливая помещение кровью и странной светящейся лимфой... Предпринимались попытки ампутации эмбрионов на разных стадиях созревания. Одну из них осуществил на Песочной мой школьный приятель, блестящий хирург-онколог; по категорическому требованию родителей, не желавших, чтобы их ребенок оказался изнеженным полукровкой и тем бросил и на них некую тень, он пробовал удалить семичасовые эмбрионы у двенадцатилетней девчушки, книжницы и хохотуны... Мать отравилась потом газом. А мой друг перестал оперировать навсегда, он поседел, и пальцы начинали дрожать при одном виде инструментов. Девочка погибала три дня с почти непрерывным криком, наркоз не действовал, никакими обезболивающими не удавалось купировать шок, и швы на спинке раз за разом непостижимо лопались с отчетливым треском — будто взрываясь изнутри, выхаркивая на простыни, на стены па-

латы переставшую сворачиваться кровь, волокнистые клочья черных тканей, осколки распадающихся, как труха, лопаток и позвонков...

Шерсть на крыльях девушки установилась, вздыбленно замерла. Девушка мягко взмыла — парень удержал ее за руки, видно было, как его тряхнуло. Она что-то сказала, он смолчал, с усилием подтягивая ее обратно вниз, к себе. Тюк за его спиной трепетал. Девушка снова засмеялась, нагнулась под своей упругой плоской крышей и — мне плохо было видно теперь их головы, крылья заслоняли, — кажется, поцеловала парня.

Словно этого ему и не хватало. Уродливая грудa на его спине вдруг с мощным утробным хлопком развернулась, выбросившись в стороны двумя громадными лопастями; по мгновенно напрягшейся шерсти прокатилась стремительная, светящаяся от искр волна, и, не разнимая рук, оба свечой пошли вверх — сначала неспешно, потом все быстрее. Парень захохотал, заулюлюкал молодецки — казалось, он должен перебудить полгорода; а когда они пролетали мимо моего окна, сунул руку в карман и, продолжая победно вопить, что-то прицельно швырнул. Две маленькие плоские тени, как летучие мыши, стремглав прошелестели у моего лица и обессиленно шлепнулись на пол.

Это были их паспорта. Когда я снова высунулся, в пепельно-голубом предрассветном небе виднелась лишь продолговатая сдвоенная точка. Я кинул в рот сразу две таблетки валидола и разгрыз на осколки, чтобы растворялись поскорее. А потом едва не сбившим меня с ног ударом зазвонил мой отключенный телефон.

СПАСИТЕЛЬ

— Здравствуйте, Глеб Всеволодович, — сказали там. — Узнали?

— Конечно, Александр Евграфович, — ответил я и на обмякших ногах опустился в кресло. — Доброе утро.

— Ценю ваш такт, — сказали там. — Утром еще и не пахнет. Но с вечера я не мог вас застать — сначала было занято, потом никого... Поэтому решил побеспокоить ночью — время, как вы лучше меня понимаете, дорого.

— Почему время дорого? — с каким-то предсмертным нахальством делая вид, что ничего не понимаю, спросил я.

— Мы в курсе ваших неприятностей, — сказали там.

Животный ужас, вколоченный в грациозные, беспомощные и податливые, как девичьи лоно, спирали ДНК Малютой Скуратовым, Ромодановским, Ежовым... да сколькими, сколькими!.. на миг погасил рассвет.

— Каким образом? — сипло спросил я.

— О, не волнуйтесь, на сей раз никакого «стука». — По тону чувствовалось, что там улыбнулись. — Что вы! Просто ваш Архипов дал мне знать, что вы в затруднительном положении. Дозвониться до вас он не смог и, поскольку спешил на самолет, передоверил дело мне, памятуя о нашем с вами давнем знакомстве. Я хотел бы встретиться с вами как можно скорее, потому как не исключено, что мы сумеем вам помочь. Хотите, я подъеду?

— Хочу, — сказал я.

Знакомство действительно было давним. Еще в восьмидесятом, в аспирантские мои времена, Александр Евграфович — тогда, кажется, капитан — руководил маленькой группой, которая, до инфаркта перепугав мою мать и деликатно перетряхнув мой дом, удалила из него кучку произведений, в последние годы наперебой публикуемых всеми лучшими журналами. Фатальных последствий не последовало, мне даже дали защитить свой диссер, но изредка, раз в два — два с половиной года, Александр Евграфович позванивал мне как приятель, чтобы задать какой-нибудь вопрос или дать какой-нибудь совет. Первое время я нервничал, потом привык на вопросы отвечать нелепыми советами, а на советы — нелепыми вопросами.

Брезгливо смахнув газетой тараканов, он уселся напротив меня, и кресло придушенно пискнуло, словно в его хрупкую плетеную чашу уселся своими допотопными котлами, валами, фрикционными, поршнями и заклепками весь тысячетонный государственный аппарат, выкованный на позеленевших от времени оборонных заводах.

Государство пришло ко мне снова.

Он тоже постарел.

— Ничего не переменилось, — сказал он, озираясь и закуливая. — Все как стояло, так и стоит. Даже креслице это... Только книг сильно прибавилось. Хватает времени на книги?

— Как когда.

— Понимаю вас, понимаю... У меня тоже руки редко доходят. «ГУЛАГ» только сейчас и прочел толком... раньше-то, если попадался, сразу по описи славать приходилось. Поднаврал старик в деталях, но в целом проза крепкая.

— А я с тех пор и не перечитывал как-то.

— Что разрешено — то неинтересно? — усмехнулся он, держа сигарету в отставленной руке. Дымок поднимался вверх почти без извивов. Свечой. Я промолчал. — Конечно, вам-то не в новинку... хотя, помнится, в те поры чтение Солженицына вы категорически отрицали. Ну да ладно, это, извиняюсь, теперь для широких масс забава. «Самолет по небу катит, Солженицын в нем сидит. Вот-те нате, шиш в томате! — Белль, встречая, говорит!» — продекламировал он с нарочитым нижегородским прононсом. Затянулся, прищурился, посерьезнел. Кресло пискнуло. — А вы, значит, решили обойтись без самолета?

Я промолчал.

— Негоже, уважаемый доктор, негоже. В такое время покидать страну. Бросать! Когда каждый порядочный человек на счету! А семью, значит, сынишку трехлетнего, значит, — под колеса локомотива истории?

Я промолчал.

— Карьеру вы сделали. Зарабатываете для гуманитария неплохо, да и жена, врач, кое-что в клювике приносит. Не бедствуете. У начальства на счету на хорошем. Мы вам никогда никаких препон не чинили — в симпозиумах участвуете, защищаете честь отечественной науки... Что вам не нравится? Пора перебеситься, пора!

— Не нужен я никому, — вдруг сказал я.

Он даже крикнул.

— А вы, батенька, что думали? Конечно, не нужны! Не те времена, чтобы сидеть в башне из слоновой кости! Изящными искусствами страну не накормить. Но представьте, вынесет вас куда-нибудь, где вам ухитрятся найти применение! Статьи-то ваши переводят, стажеры ездят благоговейные... письма такие пишут — зачитаешься! Хотя, между нами говоря, я думаю, просто с жиру бесятся... Не могу я себе представить, чтобы нормальный, здоровый человек всерьез интересовался, извиняюсь, социоструктурной этикой...

— Странно мы воспитаны, — проговорил я, в то время как

вечно трясущийся с перепугу гном, поселившийся в горле, верно, еще в октябрыские времена, иступленно орал мне внутрь, навстречу веянию из легких, единственную известную ему фразу: «Молчи, дурак!!!» — так что голосовые связки, на которых два ветра схлестывались в смерч, едва не рвались от напряжения. — То, что трактора делать нужно, вроде бы все понимают. А вот что знания делать нужно — по гаечке, по шестереночке собирать — вроде личная блажь. Если человек хочет спроектировать трактор, ясно, он должен знать, как это делали до него и что получалось. А если он хочет спроектировать государство — вроде бы можно просто так, от балды, из общих соображений. Если человек в проекте гусеницу на кабину нацепил, а плуг вместо руля — он явно придурок, и, когда такая модель не заработает, никому в голову не придет обвинить рабочих: дескать, конструкция замечательная, да исполнители подвели. А если у государства плуг вместо руля и колеса сверху, вполне можно сказать: расчет верный, но вот народ — дрянь, работать не хочет, пьет, дисциплины никакой...

— Давайте пока не будем отвлекаться, — сказал Александр Евграфович. — Голова у вас варит, мы об этом осведомлены, так что пока можете помолчать... И вот, скажем, вынесет вас туда, где вам применение найдут. Это ли нам не плевок? Пишите здесь! В стол пишите, побольше, чтобы груды начатых разработок лежали, черт возьми, может, и пригодятся! — Он разгорячился, видно было, что говорит о наболевшем. — Малевич полвека в запасниках гнил, а теперь выставки, выставки, валюта стране! Булгаков, когда помирал, не всем даже почитать мог дать свой гениальный роман, а глянь: на все языки мира переведен, вот она, советская литература, какая, не Фадеев проспиртованный! Или этот... ну, первый в мире словарь крючков каких-то восточных составил... расстреляли его случайно как японского шпиона, но нынче-то сорок мировых университетов на его пыльные тетрадки молятся! А вы?! Вам все при жизни подай, на блюдечке, как зарплату! Негоже!

— Булгакова жена любила, — сказал я. — Она его рукописи берегла. Она по редакциям ходила...

— Ну, тут уж что можно сказать, — развел он руками. — Романтическая натура, до революции воспитана. А может, он просто, извиняюсь, как мужик покрепче вашего был? Вы ви-

таминов побольше ешьте... чем на крылышки-то соки тратить. Коньячок тоже помогает — грамм пятьдесят перед... ну, перед.

— Ох, не травите душу, Александр Евграфович. Что ж я, нарочно, что ли? Вам ли не знать, что это болезнь...

— Болезни лечить надо, Глеб Всеволодович.

— Надо, — согласился я. И вдруг сорвался: — Да я бы черту душу заложил, чтоб отстричь этот горб!.. Вы что, не понимаете?! Душу бы!.. — У меня перехватило горло. День был слишком тяжелым — нервы рвались, и опять, как кислотой, подступившими слезами прожигало глаза изнутри.

Он помедлил.

— Ну что ж, это ответ. Значит, я не ошибся в вас.

— Дайте закурить.

Он протянул мне широкую, сверкающую синевой и золотом пачку «Ротманса». Дал огня. Мне тоже захотелось сидеть непринужденно, развалясь, с сигаретой в расслабленной руке. Этот срыв был непереносим, унизителен. Но сигарета не помогла, тряслась в воздухе вместе с пальцами, и дым шел не свечой, а робким барашком. Только голова закружилась еще сильнее.

— Думаю, мы сможем вам помочь, — сказал Александр Евграфович.

— Каким же это образом? — спросил я холодно, кинул ногу на ногу и попытался расслабиться. И опять непринужденной позы, подобавшей беседе двух равных, не получилось — я забыл про горб; он уперся в спинку и оставил меня высунутым вперед.

— Терапевтическим.

— Умирать я тоже не хочу, — проговорил я. — Тем более в муках.

— Речь не об операции. Разработан новый метод. — Александр Евграфович глубоко затянулся и помолчал, тщательно сбивая пепел в карандашницу. — Риск, конечно, есть, но... В сущности, нам нужен доброволец. Когда Архипов позвонил мне, я понял, что это судьба. Я был уверен в вас и даже определенным образом поручился за вас генералу. Почему-то... почему-то те, кто недоволен страной, когда приходит час испытаний, как правило, наиболее склонны жертвовать собой ради нее.

Не сговариваясь, мы глубоко затянулись оба. Как равные.

Пепел медленным карликовым снегопадом осыпался мне на колени.

— В чем состоит метод?

— Консервация зародышей. Горб, конечно, останется, но... горбатых вы, что ли, не видели? Умные, вежливые люди, просто с физическим недостатком. Мало ли у вас, Глеб Всеволодович, физических недостатков? Но зато останетесь здесь. С друзьями, с семьей! Да что я вам объясняю... Потому я так и спешил: чем раньше начнем, тем меньше горб, он же у вас пухнет как бешеный.

— Кем разработан?

Александр Евграфович помолчал. Снова тщательно стряхнул пепел.

— Опытными специалистами.

— Если эмбрионы будут убиты, ткань может загнить. Заражение... гангрена... Мне не очень верится.

— Вас будут наблюдать.

Он помолчал, и мы опять, не сговариваясь, затаились одновременно.

— Риск, конечно, есть, — честно повторил он. — На животных тут проб не проведешь.

Алый клочок восхода неспешно влетел в комнату сквозь узкую щель между домами напротив. Вдали грохотал первый трамвай.

— Вы вправе отказаться, — проговорил Александр Евграфович. — Хотите лететь — летите. Но уж тогда имейте совесть сознаться: хочу улететь. И никто вам слова худого не скажет... — Скулы у него запрыгали, и вдруг он хлопнул ладонью по столу, выкрикнув с болью: — Но мы должны остановить отток, должны! Ведь если так пойдет, здесь, может, вообще никого не останется, кроме безнадежных алкоголиков и большого начальства!

— У меня условие, — хрипло сказал я.

— Я вас слушаю.

— Я должен повидаться с семьей.

Он покивал:

— Понимаю вас, понимаю... Разумеется, Глеб Всеволодович. «Волга» с шофером ждет в проходном дворе, распоряжайтесь.

Я отвернулся. Пепельное душное солнце всплывало над крышами.

— В случае... нежелательных последствий, — сказал Александр Евграфович, — о вашей семье позаботятся. В этом можете быть уверены, товарищ Пойманов.

— Надеюсь, — сказал я и встал.

И не смог сделать ни шагу. Ноги будто приросли.

Александр Евграфович понял; слышно было, как он грузно поднялся из кресла у меня за спиной. Кресло освобождено не пискнуло. Оно пищало одинаково, и когда его сдвигали, и когда его освобождали.

— Я жду вас в машине, — тяжело вздохнув, проговорил Александр Евграфович и, не глядя на меня, чуть горбясь, вышел из комнаты. Через секунду в коридоре лязгнула дверь, и стало совершенно тихо. Только отдаленный, пробуждающий шум улиц нарастал.

Я обвел взглядом кабинет. Нестерпимо захотелось посмотреть фотографии. Поправил бумаги на столе, завязал те-семки на папке с недочитанной диссертацией. Все было на своих местах — стеллажи, книги, в карандашнице еще чуть дымилось. Розовый свет захлестывал стены. Я поднял трубку и тут же положил обратно на безмолвные рычаги. Телефон снова был отключен.

«Волга» покатила по быстро заполняющимся магистралям, аккуратно обгоняя переполненные трамваи и троллейбусы, вежливо притормаживая в узостях, птицей перелетая мосты. Александр Евграфович вновь попытался закурить; бьющийся в полуоткрытом окне плотный поток сметал пламя зажигалки, и Александр Евграфович, пощелкав немного, с неприязненным лицом закрутил стекло вверх до упора.

— Дайте и мне, — сказал я так, будто это уже само собой полагалось мне по рангу. Он протянул пачку, дал огня. Затянулись одновременно.

— Давно курите, Глеб Всеволодович? — спросил он, не глядя на меня. Курить было неудобно — машину колотило на латаном асфальте, упругая спинка сиденья то и дело, как боксер в грушу, била меня по горбам, и я мазал фильтром мимо рта.

— Всякий, кто этим воздухом дышит, курит, — ответил я. — И днем, и ночью «беломорина» на губе.

— А все же не нравится вам у нас, не нравится, — с горечью произнес Александр Евграфович.

Я промолчал. Хотя очень хотелось спросить напрямую:

«У вас — это где?» Нас с силой повезло по сиденью вправо — «Волга» слетела с Ушаковского моста, нырнув под только что зажегшийся желтый свет, и зарулила, почти не тормозя, на Приморский проспект. Сколько было связано с этим местом, с этим поворотом даже — здесь всегда отдых был близко впереди, залив, необозримые песчаные пляжи с валунами, чистые леса... Слева тянулись за узкой зеркальной полосой Невки зеленеющие Острова; мелькнула, утопая в разливе сирени, прибрежная беседка с эхом, которую когда-то показала мне жена, — накатывала ночь, беседка плыла, медленно рассекая серую воду и серое небо, я ломал цветущие ветви и говорил: «О!», и потолок беседки отвечал: «О!», и жена отвечала: «Ого!»

Проскочили буддийский храм. Шофер крутнул баранку, огибая что-то, но опоздал, и нас кинуло вверх на плохо подогнанном, перекошенном канализационном люке.

— Болит... штука-то? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Уже нет. Онемела совершенно. Мешает только.

Он затянулся, приоткрыв окно, коротко выставил сигарету наружу, и ветер слизнул седой хвостик пепла.

— Спешить надо.

— Делаю, что могу, — сказал шофер. Я впервые услышал его голос.

— Я не тебе, Володя. Ты работай. — Он повернулся ко мне. — Я даю вам час.

— Три, — сказал я.

— Я думаю, торг здесь неуместен, — литературным голосом сказал Александр Евграфович. Я усмехнулся кривовато, а Володя вдруг громко рассмеялся и на короткий миг обернулся к нам, вспышкой показав веселое смуглое лицо.

— Машин мало, — сказал я. — Странно. Когда-то в такую погоду шел сплошной поток...

— Ездить особо некуда стало, — угрюмо проговорил Александр Евграфович. — Залив прокис, в озерах то гепатит, то менингококк...

— Да не в этом дело, Александр Евграфович, — снова подал голос Володя. — Народ в Сосновом Бору в ХЖО купается, и ничего...

— Что это? — спросил я.

— Хранилище жидких отходов, — ответил Александр Евграфович. — Могильник.

— Во-во! Так даже нравится — всегда вода теплая, говорят... А вот налоги на дороги опять так вздули! Кто может столько выложить, кроме мафиози? Сейчас же все законы в расчете на них пишутся! Единственный дееспособный слой, остальные — государству лишняя обуза... И все равно — все как в прорву улетает, вы посмотрите на покрытие! Это же убийство, а не покрытие! Частники сейчас от машин избавляются...

Мы затанулись одновременно.

— Единственная хоть сколько-нибудь убедительная теория, — вдруг сказал Александр Евграфович, — то, что улеты — это какая-то приспособительная реакция. Эскулапы наши считают, будто заболевают те, у кого оказались исчерпанными адаптационные возможности. Если жарко — человек непроизвольно потеет. Если холодно — непроизвольно начинает стучать зубами и подпрыгивать. Ну а если сил нет как хреново — непроизвольно взлетает абы куда... Так примерно.

— Интересно, — процедил я.

— Да уж куда как интересно, — угрюмо сказал он, прикурил вторую сигарету и, уже не спрашивая и не дожидаясь просьбы, протянул мне пачку. Я закурил. Во рту шипало и жгло. — Ведь сердце кровью обливается! Царь жал, душил, голодом морил — сидели смирненько, трудились. Сталин жал, душил, голодом морил — сидели, коммунизм строили с пеной у рта. А теперь, когда всем бы действительно навалиться плечом к плечу... полетели. Пташки!

— Может, это как облучение? — предположил я хмуро. — Дозы накапливаются, накапливаются... оседает, оседает стронций в костях, и вроде даже привычно с ним, подумаешь — обычное дело стронций, без него вроде и никак уже... а потом все-таки — бац!

— Глеб Всеволодович, — чуть помедлив и почему-то понизив голос, всем корпусом повернувшись ко мне, произнес Александр Евграфович. — Скажите честно. Что называется, не для протокола. Вы действительно считаете, что... наша жизнь — это... извиняюсь... стронций?

Я промолчал.

— А я вам вот что скажу! — почти выкрикнул он, подождав и поняв, что ответа не дождется. — У них там есть и другие теории! В апреле группа медиков из Лос-Анджелеса опубликовала статью, где доказывается, что наши улеты — это нача-

до некоего грандиозного, глобального процесса перемешивания. Генофонд вида ощутил региональное закукливание генной информации и пытается его парировать. Дескать, в условиях нашего стремительно меняющегося техногенного мира человек не успевает развиваться синхронно со своими произведениями, приспосабливаться к ним, и, чтобы подстегнуть приспособление, надо усилить мутагенный фактор. А что для этого? Для этого как можно быстрее и хаотичнее перемешивать расы, народы...

— Тоже интересно, — сказал я. — Но очень сложно.

— Для вас сложно, — почти со злобой сказал Александр Евграфович. — А вот там обыватели быстро разобрались, что к чему. Зар-разы сытые! Как представили себе, что, ежели так, скоро тоже начнут взлетать из своей Айовы, из Новой Зеландии своей и опускаться у нас в Нечерноземье или, извиняюсь, где-нибудь в Кулундинской степи... Ведь от страха офонарели! От наших там шарахаются сейчас — заразиться боятся. Позавчера, — он совсем почернел и буквально грыз фильтр, — позавчера был первый достоверно зафиксированный случай линча. Близ Кальтаджироне парнишка сел, даже крылья не отвалились еще. Зверье... Не приближаясь ближе чем на сорок метров, его спалили из армейских огнеметов и потом еще минут десять прожаривали труп и почву кругом, пока кости не истлели! Мы случайно сняли со спутника...

Я промолчал. Я представил себе молодую пару, так безоглядно, так предрассветно взлетевшую сегодня. Потом я представил Кирию.

— Я вам больше скажу, — проговорил Александр Евграфович. — ВОЗ уже дважды делала представления нашему правительству. Чтобы мы как-то их оградили... Дошли до того, что намекнули даже... — Он мотнул головой, сгоряча не в силах связно подбирать слова. — В общем, чтобы силы ПВО страны сбивали улетчиков над границей. Сами они мараться на государственном уровне не хотят, но дрейфят! И, понимаешь ли, мы же сами, нашими же «МиГами» чтоб сбивали наших же людей! В целях, извиняюсь, укрепления доверия между Востоком и Западом... И я не уверен, что у наших хватит духу отказывать раз за разом.

Я думал о Кире и не мог думать ни о чем ином. И вдруг почему-то вспомнил — всей кожей вспомнил, всем телом, — как легко и сладко было вчера с Тоней. Постоянно болевшее,

словно проткнутое сердце на миг упало со своего вертела в пляшущий костер.

В Сестрорецке мы забуксовали среди массы людей. Даже не понять было, что стряслось, — кто-то хохотал возбужденно, кто-то всхлипывал, кто-то горячо говорил... Поодаль, встав на урну, бородатый кряжистый человек выкрикивал речь, но его было почти не слышно.

— В чем дело? — жестко спросил Александр Евграфович, выглянув в открытое окно, пока «Волга» пробиравлась, слегка лавируя, между неохотно расступающимися людьми.

— Спиноноску придушили! — с крестинической радостью крикнул лохматый небритый парень в шортах и драной майке, поверх которой болтался нательный крестик.

— Что? — крикнул Александр Евграфович. Вены на его шее набухли, стали лиловыми. Паренек в восторге ударил кулаком по капоту «Волги». Сосредоточенный Володя вздрогнул и ругнулся вполголоса, будто ударили его самого, но даже не повернул головы.

— Вроде женщина-то приличная, колечечко на руке, — с готовностью застрекотала аккуратно одетая бабка и, одной рукой катя коляску с равнодушно глядящим оттуда младенцем, потащилась с нами рядом. — А выходит из раболатории, где анализ-то берут, — и плачет! Ясно дело — положительный! Ну а у ребят-то у наших тут в кусту дежурство организовано круглосуточно, блюдемся...

Перекрывая гомон, бородатый поодаль надсаживался, триумфально размахивал рукой. До нас долетали обрывки: «Физическое и нравственное здоровье русского народа идут рука об руку... Кризис требует кардинальных мер, и любые будут оправданы, ибо ставка предельно высока... На действительную помощь Кремля, раболепствующего перед инородцами, рассчитывать не приходится!... Мы вправе спросить: Горбачев, где обещанные презервативы? Ты отдал их казахам!.. Убийственный вирус СПИДа, выведенный в тайных масонских лабораториях еще при Лорис-Меликове, которого в действительности звали, как известно, Лейба Меерзон...»

Мы прорвались. Володя, наверстывая время, погнал на предельной скорости. Асфальт летел под шипящие, утробно екающие на выбоинах колеса.

— А презервативов действительно нет, — заметил Володя.

— В том-то и дело, — с тяжелым вздохом отозвался Александр Евграфович.

— Этим-то хоть вы занимаетесь? — большим пальцем показав назад, спросил я.

Володя хохотнул горько. Александр Евграфович, глядя прямо перед собой, долго молчал.

— Эх, Глеб Всеволодович, — сказал он безнадежно, — до всего просто руки не доходят... Что говорить! — Его голос затрепетал от скрытой боли. — Нам ведь даже фонды магнитной ленты заморозили! Можем отрабатывать только тех, к кому подключились когда-то, а захочешь сейчас внепланового «жучка» вколоть — изволь за свой счет...

— И куда все девается? — сказал Володя, не оборачиваясь.

Аккуратно притормозив, миновали заправочную станцию, под фасадным стеклом которой коробился ватман с крупно написанным от руки предупреждением: «Продажа бензина за деньги категорически запрещена!» — так что казалось, будто бензоколонка героически, изо всех своих отдельно взятых сил пытается силком ввести коммунизм, хотя на деле это был просто феодализм азиатского типа, с распределением согласных функциональным привилегиям.

Просвистели мимо поворота на бывшую центральную усадьбу колхоза «Красный луч», ныне сельхозкооператива «Права человека», выпускающего сувенирную картофельную ботву, по четвертаку стебель.

До самого Рощина больше не разговаривали.

СВИДАНИЕ

Здесь был рай. Дощатая пристройка утопала в свежей июньской зелени, утренний воздух благоухал; в тишине перезванивались вечные, нормально крылатые птицы. Кирия стоял на цыпочках, положив подбородок на край переполненной бочки и, держа в вытянутой руке еловую шишку, сосредоточенно возил ею по воде вправо-влево.

— Кирилл, — сказал я, — здравствуй.

Он обернулся ко мне.

— Шишка купается, — сообщил он так, будто мы расстались полчаса назад. Сначала я обмер, мне показалось, что он

где-то упал совсем недавно и стесал кожу с лица. Но это был диатез. Вот тебе и свежий воздух.

— Замечательно, — сказал я, — шишке хорошо. А у тебя рукава мокрые.

— Рукава не мокрые, — серьезно возразил он.

— Ты чем-нибудь другим-заняться не хочешь?

— Другим не хочешь.

Рукава были насквозь мокрые. Я закатал ему рукава. Номерков у него на руках еще не было, так что можно.

Жена сидела у газовой плиты нога на ногу, к двери спиной, и что-то читала. На плите булькало, из-под слегка сдвинутой крышки кастрюли курился парок. Газ шел еле-еле. А кран был открыт полностью. Баллон пора менять.

— Здравствуй, — сказал я. Жена обернулась. Будто мы расстались полчаса назад.

— Привет, — приветливо сказала она, не закрывая книгу. — Какими судьбами?

— Заехал проведать, — объяснил я, стараясь держаться очень прямо и как-то втянуть предательски раздувшиеся пиджак горбы на лопатках. — Друг подбросил... ненадолго. У него тут дела, он на машине. Через час обратно.

— Какие у тебя друзья появились, пока нас нет. С машинами. Мужчина или женщина?

Она подзагорела. Чуть-чуть. Но выглядела она страшно усталой, просто-таки измочаленной. Под глазами темные круги, губы бледные...

— Мужчина, представь. Как вы тут? Не болеете?

— В пределах допусков, — ответила она. — Горло все время, особенно с утра. Тепленького попьешь — вроде проходит... А этот совсем не спит. И мне не дает, естественно... Ну, как водится.

— Бедняга... Комары не заели?

— Начинают заедать. Хозяин говорит — это еще что, вот через недельку...

— Что читаешь?

Она закрыла книгу и пихнула ее куда-то в грудку посуды на столе.

— Некогда мне тут читать. Стирка-готовка-прогулка, прогулка-стирка-готовка...

— Суп варишь?

— Третий день один пакет мусолим. — Она сунулась в ве-

дерко за плитой и показала мне пустой пакет из-под супа «Новинка». — В лабазе шаром покати. Сперва еще более-менее, а сейчас дачники наезжают экспоненциально... Ты ничего не привез?

— Нет. Как-то не догадался.

— Во! — Она постучала костяшками пальцев по столу, намекая, что я дубина. — В морозилке же курица лежит!

— Знаешь, даже не посмотрел.

— Привези. Просто хоть траву лопай...

— Кору с деревьев.

— Лебеду.

— А ты знаешь, как лебеда выглядит?

— У хозяйки спрошу.

— А как они фураж достают?

— Черт их знает. Неудобно спрашивать. Ты же знаешь, сейчас у всех свои маленькие хитрости... Они уж пару раз мне подбрасывали. Тоже не очень жируют, знаешь...

Протопал под оконцем Кирия, повозился на лавке около двери и заглянул к нам.

— Шишка загорает, — сообщил он, подошел к матери и полез к ней на руки прямо в башмаках. Она вяло отбивалась. Я перехватил его за плечики.

— Кирюша, не надо. Мамочка очень устала.

— Мамочка очень не устала.

— Мамочка очень устала, — убеждающе повторил я, держа его к себе лицом и глядя в глаза. Он моргал, губки — бантиком; слушал смиренно. — Мамочка все время о нас заботится, а на это надо очень много сил. Мешать нельзя, мамочка нам готовит вкусный суп, у нее это так замечательно получается...

Еще когда Кирия был в проекте, мы с женой много говорили о том, что при ребенке, с самого рождения, очень воспитательно будет с настойчивостью произносить друг о друге только хорошее, как можно больше и чаще, и очевидно отдавать друг другу, например, лучшие куски, лучшее место перед телевизором... Я свято держался этой линии, жена тоже старалась — правда, с модификациями. Она говорила: «Папочка у нас очень умный, только руки у него не тем концом вставлены» — и лукаво косилась на меня; или: «Папочка у нас хороший, но затюканный». Тексты о лучшей доле она тоже переосмыслила: «Сегодня папочка заслужил вот этот вкусный ку-

сочек мяса...» — или: «Этот замечательный ломтик папочка честно заработал...» Сначала я обижался, но быстро привык; да и не лаяться же из-за обмолвок всякий раз, тем более что проскакивают они быстро, незаметно, беззлобно... да и, что греха таить, зачастую справедливы...

Кирилл послушал-послушал, заскучал и вышел на улицу, аккуратно притворив хлипкую дверь.

— Он стал чище говорить, — заметил я. — Почти все слова понимаемы. Все-таки перемена обстановки подстегивает развитие, правильно мы пошли на эту дачу...

Я осекся. Про полезность перемены обстановки мне не стоило сейчас говорить.

Впрочем, жена не обратила внимания на мои слова. Она тем временем расстегнула халат до пояса и спустила с плеч. Лифчика не было.

— Ты все-таки подзагорела немножко, — сказал я. — Сейчас хорошо видно.

— Посмотри, что тут у меня, — сказала она и приподняла левую грудь ладонью. — Бугорок какой-то. Третий день трогать больно, а самой никак толком не заглянуть, зеркало мы с Кирей кокнули.

Я посмотрел:

— Угорь. Закраснелся чуток. Наверное, купальником натерла.

— Тьфу, пакость... Выдави.

— Ой, не могу. Такое место... боюсь больно сделать, правда.

Она покусала губу и натянула халат обратно на плечи.

— Ладно, — сказала она, застегиваясь. — Ни о чем тебя попросить нельзя... Пойду у хозяев зеркало попробую покланчить. Последи тут, чтобы суп не убежал... Да, кстати, хорошо, что приехал. Видишь, баллон издыхает совершенно. Сходил бы на газостанцию, а? Тем более ты на колесах.

— Попробую, — сказал я. — Во всяком случае, переговорю.

— Пустой вон в углу. Вот проверочный талон, вот свидетельство на право пользования. — Она тяжело поднялась, шагнула к двери. — Не скучай.

— Постараюсь.

— Как ты сутулишься, — проходя мимо меня, заметила она. — Говорю тебе, говорю...

Я улыбнулся:

— Горбатого могила исправит.

Она фыркнула. Противно заскрипела дверь, от сотрясения задребезжало плохо закрепленное стекло в окошке. Я прилег на лежанку. Солнце било сквозь листву, радостные безветренные пятна света лежали на стене неподвижно. Сдержанно, мягко бормотала кастрюля. Было так уютно, так спокойно и тихо, что мне показалось, будто я смогу сейчас уснуть. Все-таки добрался. Ноги гудели, гудела голова. Едва слышно что-то как бы переливалось или перекатывалось в глубине спины. Вошел Кирия, у меня не было сил даже голову повернуть к нему. Он протопал ко мне, встал у лежанки, посапывая и ласково заглядывая мне в лицо.

— У! — сказал я.

Он засмеялся и ответил:

— У!

— Ы-ы! — сказал я, выпятив челюсть, и двумя пальцами пощекотал его живот, проглянувший, как луна сквозь тучи, между разъехавшимися полами рубашки. Он вывернулся. Наклонился ко мне; ухмыляясь, медленно сунул носом мне в нос. Когда носы уткнулись друг в друга, он нежно сказал:

— Дысь.

— Дысь, — ответил я с наслаждением. Это у нас было такое приветствие. Нос у него был маленький и гладкий, а глаза большие. А щеки и подбородок — словно ошпаренные. Можно сделать великое открытие, можно повеситься, можно выйти на площадь с транспарантом «Долой!!!» — диатез это не лечит. Диатез лечит только уменьшение номеров на руках. Кирия полез на лежанку, я подцепил его рукой, помог. Он уселся у меня под мышкой. Со двора донесся заискивающий голос жены: «Просто не знаю, как вас благодарить... Вы меня так выручили...» Я приподнялся было на локте, чтобы в окошко посмотреть, чем ее облагодетельствовали, — и лег обратно, почувствовав вдруг: неинтересно. Мало ли чем. Может, угорь выдавили. Кирия сидел, подпирая одним башмаком мой бок, и с удовольствием строил мне рожи. Мысль о том, что я, скорее всего, сижу с ним в последний раз, была непереносима; я старался не думать, не вспоминать и только самозабвенно строил рожи ему в ответ.

Вошла жена с пластиковым пакетом, тяжело опустилась на расхлябанный стул.

— Ох, — сказала она и, вдруг глянув на меня исподлобья, улыбнулась почти виновато. — Замоталась я тут совсем... Ко-

ленка болит. Вроде и не стукалась... Ладно. Во! Десяток картошек хозяева отвалили. Ублажить любимого человека.

— Ой, нет, я не буду, ешьте...

— Ну как знаешь. — Она поставила пакет у стены, и он с внутренним раскатывающимся стуком осел на полу. — Пригодится... А в следующий раз обязательно куренка захвати.

— Хорошо.

— Как ты-то живешь? Нормально?

— Нормально, — ответил я. — Суечусь...

— Ничего стоящего опять не успел?

— Да нет...

— Уж и мы не отвечаем, а ты все равно сачкуешь. Жаль. — Она вздохнула, а потом, потирая колено, озабоченно оглянулась на плиту. — Мечта юности была — сдуть пылинки с гениального тебя.

— Ну... кое-что... Французы вот приезжа...

— Совсем газ кончается. Так заправишь баллон?

— Не заправишь, — сказал Киря, почему-то решивший, что просьба обращена к нему.

— Заправишь, — сказал я и встал.

Володя, привалившись задом к капоту, медленно курил, с удовольствием озираясь на безмятежный зеленый мир. Тихонько зудело в машине радио: «...Хорошо, что мы после этих бурных дебатов, высказав самые полярные точки зрения, пришли к выводу о необходимости осторожного, взвешенного, максимально продуманного подхода. Теперь надо определиться...» Александр Евграфович, запрокинув крупную голову на спинку заднего сиденья, приоткрыв рот, беззвучно дремал в распахнутой машине. Впрочем, дремал он профессионально. Шагов за пять он услышал меня, закрыл рот, потом открыл глаза, потом легко вылез из машины.

Я чувствовал себя последним идиотом.

— Ну как она? — осторожно спросил Александр Евграфович.

— Ничего, — ответил я.

— Мужественная женщина.

Володя, отшвырнув окурочек подальше, поглядел на меня уважительно и полез на свое место.

— Тут вот какое дело, — промямлил я и выставил перед собою красный, чуть облупленный баллон. — Газ кончился, мне надо сперва баллон заправить. И вы знаете... раз уж мы

ездим... все равно ведь: часом раньше, часом позже, мне горб не страшен. Курицу надо из города привезти, я в холодильнике забыл.

Руки Володи свалились с баранки.

Александр Евграфович затрудненно сглотнул:

— Вы... серьезно?

— Им лопать нечего! — заорал я, тряся баллоном.

— Да что она, курицу сама купить не может? — побагровев, гаркнул Александр Евграфович и нервно полез за сигаретами.

— Вы в здешний магазин заходили? На полках только искусственные цветы, кооперативные свечи да «Стрела» с «Беломором»!

— И за «Беломор» спасибо скажите, — пробормотал, раскуривая «Ротманс», Александр Евграфович. Руки у него тряслись от возмущения.

— Дайте сигарету.

Он спрятал пачку в карман. Цепко, с прищуром посмотрел на меня, выдохнул дым. Как когда-то.

— Слушайте, Пойманов. Вы помните, какие книги мы у вас изъяли?

Ума не приложу, как я не засветил ему баллоном. Наверное, очень устал.

— Помню, — сказал я. — «Континенты» с Гроссманом, Замятина, обоих Оруэллов «посевского» издания... «Слепую тьму» в машинописи... Роя Медведева пару отрывков...

— Ведь замечательная литература! — выкрикнул Александр Евграфович, размахивая сигаретой прямо у меня перед носом. — Умная, честная! И вы тянулись к ней! Рисковали, сознательно рисковали — но тянулись, понимания вам хотелось, истины, высокого чего-то! Масштабного! Помню, привели вас — шенок, соплей перешибешь... видно, как поджилки трясутся, но — гордый! Нога на ногу, собой владеет — сто процентов, даже голос не дрожит. И на мордочке прямо написано: сейчас, дескать, меня пытать начнут! А завтра про меня «Голос Америки» на всю страну бабахнет — узник совести, последний гуманист в империи зла... Я вас уважал, клянусь! Так ведь и не сказали, откуда к вам попали эти произведения! Ужом крутились, а ни гугу. Я ведь собирался на вас представление писать, загремели бы вы, как оно водилось... да Архипов за вас просил. Такой, говорил, талантливый вьюнош, оду-

мается еще. Но вы, извиняюсь, так одумались! Ведь все же у вас есть: талант, положение... книги — читай не хочу... Свободу вам дали, свободу! Вам бы сейчас, кровь из носу, пахать для страны! А в голове у вас что? «Курица, курица»! — гнусавым голосом передразнил он. — Смотреть тошно!

Он умолк и опять жадно затянулся. Я следил взглядом за каждым движением его сигареты. Не знаю зачем. Наверное, оттого, что он не дал мне закурить.

— Вот что, Пойманов, — сказал он и кинул окурочек себе под ноги. Взялся за ручку дверцы. — Идите вы к черту. Никто и нигде вас не сможет применить. Дохлый вы номер.

— Да почему же меня обязательно применять? Я ведь живой!

Володя, пользуясь тем, что шеф на него не смотрит, со значением глянул мне в глаза и постучал себя по лбу согнутым пальцем.

— Пока вы не доказали свою ценность для страны, — жестко сказал Александр Евграфович, — живой вы или не живой — есть ваше личное дело. Сначала подвиг, а уж потом, если руководство изыщет резервы или сочтет целесообразным у кого-либо изъять, — курица. А вам все наоборот хочется: сначала курица, а уж потом, если ваша левая нога захочет, — подвиг. Так держава не устоит. На всех вас кур нет у нас. И не должно быть.

Что-то удивительно родное, удивительно домашнее было в этих словах...

Сегодня папочка честно заслужил этот кусочек мяса.

Как одинаковы те, кто не любит, но использует. Презирает, но нуждается. Замордован и обессердечен настолько, что не может не паразитировать.

Некогда я твердил себе изо дня в день: мы навсегда в ответе за тех, кого приручили. От этих слов, пронзивших меня еще в детстве, бодрее бегалось. Но в реальной жизни оказалось иначе: мы навсегда в ответе за тех, кто приручил нас. Им на нас плевать, а мы за них переживаем. Не голодно ли им? Не устали ли они, не нужна ли им помощь? А они, когда в нас проходит нужда, безболезненно посылают нас подальше и от души обижаются, если мы не исчезаем мгновенно.

И мы исчезаем. И по-прежнему, хоть черт знает в какой дали, все не можем утомиться и мучаемся: как они там, без нас?

Безвольные дураки мы с рабьей и рыбьей кровью? Или на нас мир стоит? Сколько нас осталось?

— А вас не беспокоит, Александр Евграфович, что вместо подвигов все просто либо прут, что могут, либо друг у друга рвут?

Его глаза сузились, как в момент прицеливания.

— Отрегулируем, — убежденно сказал он. Презрительно, как на недоумка, посмотрел на меня. — Понимаю, Пойманов, на что вы намекаете. Но спекуляция не так опасна, как изобилие. Пусть воруют, пусть перепродают по двадцать раз то, что уже другими сделано или что в земле природой уложено, лишь бы сами не делали ничего. Самостоятельность — она... она...

— Скажите, — я оглядел «Волгу», шофера, исступленно делавшего мне предупредительные знаки, окурок, породисто отсверкивающий золотым ободком, — вы сами совершили много подвигов?

Он пожал плечами и ответил без рисовки:

— Вся моя работа — подвиг.

— Понятно, — сказал я.

— Что вам понятно? — Он опять вспылел. — Ничего вам не понятно! У меня пятый день бачок в сортире хлещет! Все трубы сгнили... А сантехник, зар-раза, радио не слушает даже нашего, газет не читает, книг со школы в руках не держал... Пьянствует водку и ни хрена не делает. Ничем его не пугнешь... — Загружаясь в машину, он хрипло, протяжно вздохнул: — Житуха наша скотская... В управление, — велел он совсем иным, железным голосом и беспощадно захлопнул дверь.

И тут я понял, что произошло. У меня что-то словно взорвалось внутри. Я побежал за ними. Бежать не было сил, по бедру бил баллон, и горбы под пиджаком тряслись, как у верблюда на скаку.

— Стойте! — крикнул я. — Ну стойте же! Я никуда не хочу! Они же пропадут без меня, пропадут! Не надо курицу, только газ наберем!.. **ВЫЛЕЧИТЕ МЕНЯ!!!**

Раскачиваясь и скрежеща рессорами на песчаных ухабах проселка, государство уехало от меня. Само. Осела пыль. Задыхаясь и горбясь, я остановился.

Цвела сирень. И вокруг беседки цвела сирень. «О!» — го-

ворил я. «О!» — отвечало эхо из чаши потолка. «Ого!» — отвечала жена и прятала счастливое лицо в благоуханных кистях...

Распрямитесь. Немедленно распрямитесь. До города километров шестьдесят, за полтора дня дойду. И полтора назад. В общем, успеваю. Вот только курица на обратном пути может прокиснуть, а весь холодильник мне не донести. Тьфу ты, господи, да если б и донес — включить-то его по дороге куда? Ну, скиснет так скиснет. Я ее пожарю перед выходом.

Да, ведь еще баллон. Телефон снимут. Сегодня мне никак до Синопской не добраться, снимут, сволочи, телефон. Как же мои тут потом будут? Неотложку, скажем, вызвать...

Обязательно снять с книжки все деньги. Часть оставить дома, а часть принести сюда.

Привести в порядок все черновики. Вдруг когда-нибудь кому-то пригодятся?

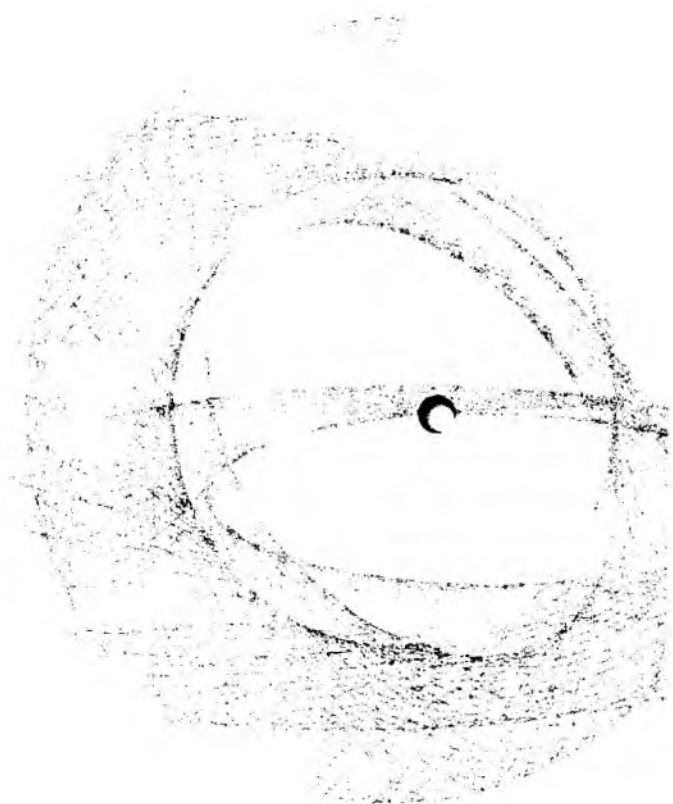
Интересно, на какую высоту меня поднимет? Хорошо бы повыше, в стратосферу, там бы я задохнулся...

Не забыть талон на билеты.

Июль 1989г.

Ленинград

ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»



Отец не почувствовал запаха ада
И выпустил Дьявола в мир.

*Альфред Хаусхоффер.
Моабит, 1944*

ГЛАВСАГУРАМО

1

Упругая громада теплого ветра неторопливо катилась нам навстречу. Все сверкало, словно ликуя: синее небо, лесистые гряды холмов, разлетающиеся в дымчатую даль, светло-зеленые ленты двух рек далеко внизу, игрушечная, угловато-парящая островерхая глыба царственного Светицховели. И — тишина. Живая тишина. Только посвистывает в ушах напоенный сладким дурманом дрока простор да порывисто всплескивает, волнуясь от порывов ветра, длинное белое платье Стаси.

— Какая красота! — потрясенно сказала Стася. — Боже, какая красота! Здесь можно стоять часами...

Ираклий удовлетворенно хмыкнул себе в бороду. Стася обернулась, бережно провела кончиками пальцев по грубой желтовато-охристой стене храма.

— Теплая...

— Солнце, — сказал я.

— Солнце... А в Петербурге сейчас дождь, ветер. — Она снова приласкала стену. — Полторы тысячи лет стоит и греется тут.

— Несколько раз он был сильно порушен, — сказал Ираклий честно. — Персы, арабы... Но мы отстраивали. — И в голосе его прозвучала та же гордость, что и в сдержанном хмыке минуту назад, словно он сам со своими ближайшими сподвижниками отстраивал эти красоты, намечал витиеватые росчерки рек, расставлял гористый частокол по левому берегу Куры.

— Ираклий Георгиевич, а правда, что высота храма Джвари, — и она опять, привечая крупнокаменную шершавую стену уже как старого друга, провела по ней ладонью, — относится к высоте горы, на которой он стоит, как голова человека к

его туловищу? Я где-то читала, что именно поэтому он смотрится так гармонично с любой точки долины.

— Не измерял, Станислава Соломоновна, — с достоинством ответил Иракий. — Искусствоведы утверждают, что так.

Она чуть кивнула, снова уже глядя вдаль, и шагнула вперед, рывком потянув за собой почти черное на залитой солнцем брусчатке пятно своей кургузой тени. «Осто!..» — вырвалось у меня, но я вовремя осекся. Если бы я успел сказать «Осторожнее!» или тем более «Осторожнее, Стася!», она вполне могла подойти к самому краю обрыва и поболтать ножкой над трехсотметровой бездной. Быть может, даже прыгнула бы, кто знает.

— Иракий Георгиевич, — не оборачиваясь к нам, она показала рукой вправо, вверх по течению реки Арагви, — а вот он там, за излучиной... какие-то руины, да?

— Развалины крепости Бебрисхихе. Там очень красиво, Станислава Соломоновна. И просто половодье столь любимого вами дрека, воздух медовый. Туда мы тоже обязательно съездим, но в другой раз. После обеда или даже завтра.

— Вряд ли после обеда, — подал голос я. — Стася все-таки с дороги.

К Джвари мы заехали по пути с аэродрома.

Стася обернулась и чуть исподлобья взглянула на меня широко открытыми удивленными глазами.

— Я ничуть не устала. — Отвернувшись, добавила небрежно: — Разве что на вторую половину дня у тебя иные виды...

И снова, как все чаще и чаще в последние недели, я почувствовал себя словно в тысяче верст от нее, словно в тысяче лет от нее. Словно в могиле от нее.

Она неторопливо шла вдоль края площадки, мы, волей-неволей, за нею.

— И совсем они не шумят, сливаясь, — проговорила она, глядя вниз. — И не обнимаются. Обнимаются вот так. — Она мимолетно показала. Угловатыми змеями взлетели руки, сама изогнулась, запрокинулась пружинисто — и у меня сердце захолонуло, тело помнило. — А эти мирно, без звука, без малейшего всплеска входят друг в друга. Как пожилые, весь век верные друг другу супруги. Странно он видел...

— И монастырем Джвари не был никогда, — чуть улыбаясь, добавил Иракий.

— Поэту понадобилось — значит, он прав, — сразу отве-

тила Стася, не замечая, что атакует не столько реплику Ираклия, сколько предыдущую свою. — Если поэт в придорожном камне увидел ужин — он сделает из него ужин, будьте покойны.

— Но ведь ужин будет бумажный, Станислава Соломоновна!

— Один этот бумажный переживет тысячу мясных.

С веселой снисходительностью Ираклий развел руками, признавая свое поражение, как если бы в тупик его поставил ребенок доводом вроде: «Но ведь феи всегда поспевают вовремя».

— Велеть сегодня разве бумажное сациви, — задумчиво проговорил он затем, — бумажное ахашени... — И подмигнул мне.

Стася, шедшая на шаг впереди, даже не обернулась. Ираклий чуть смущенно огладил бороду.

— Впрочем, боюсь, мой повар меня не поймет, — пробормотал он.

Как-то не так начинается эта долгожданная неделя, подумал я. Эта солнечная, эта свободная, эта беззаботная... Я прилетел вчера вечером, и мы с Ираклием почти не спали: болтали, смеялись, потягивали молодое вино и считали звезды, а я еще и часы считал, а утром гнали от Сагурамо к аэродрому, и я считал уже минуты и говорил: «Вот сейчас Стаська элеронами зашевелила», «Вот сейчас она шасси выпустила». Ираклий же, барственно развалившись на сиденье и одной рукой небрежно покачивая баранку, хохотал от души и свободной рукой изображал все эти воздухоплавательные эволюции. И вот поди ж ты — пикировка.

Ираклий, видно, тоже ощущал натянутость.

— Я думаю иногда, — сказал он, явно стараясь снять напряжение и разговорить Стасю, — что российская культура прошлого века много потеряла бы без Кавказа. Отстриги — такая рана возникнет... Кровью истечет.

— Не истечет, — небрежно ответила Стася. — Мицкевич, например, останется как был. Его мало волновали пальмы и газаваты.

— Ах, ну разве что Мицкевич, — с утрированно просветленным видом закивал Ираклий. Чувствовалось, его задело. — Как это я забыл!

— Конечно, в плоть и кровь вошло, — примирительно

сказал я. — И не только в прошлом веке — и в этом... Считай, здесь одно из сердец России.

— Боже, какие цветы! — воскликнула Стася и кинулась с площадки вниз по отлогому склону, и длинное белое платье невесомым облаком заклокотало позади нее, словно она вздымала в беге пух миллионов одуванчиков. Изорвет по ключкам модную тряпку, подумал я, здесь не польские бархатные луговины... Но вслух не сказал, конечно.

— Серна, — ведя за нею взглядом, проговорил Ираклий то ли с иронией, то ли с восхищением. Скорее всего — и с тем, и с другим.

Разумеется, зацепилась. Ее дернуло так, что едва не упала. Но уже мгновением позже любой сказал бы, что она остановилась именно там, где хотела.

— Признайтесь, Станислава Соломоновна, — крикнул Ираклий, — в вас течет и капля грузинской крови!

Она повернулась к нам — едва не по пояс в жесткой траве и полыхающих цветах.

— Во мне столько всего намешано — не упомнить. — Голос звенел. — Но родилась я в Варшаве. И вполне горжусь этим!

— Действительно, — подал голос я. — И носик такой... с горбинкой.

— Обычный еврейский шнобель, — отрезала она и отвернулась, сверкая как снежная посреди горячей радужной пены подставленного солнцу склона.

— Ядовиток тут нет каких-нибудь? — спросил я, стараясь не выказывать голосом беспокойства.

Ираклий искоса стрельнул на меня коричневым глазом и принялся перечислять:

— Кобры, тарантулы, каракурты...

— Понял, — вздохнул я.

Некоторое время мы молчали. День раскаленно дышал, посвистывал ветер. Ираклий достал сигареты, протянул мне.

— Спасибо, на отдыхе я не курю.

— Я помню. Просто мне показалось, что сейчас тебе захочется. — Он вытряхнул длинную, с золотым ободком у фильтра «Мтквари». Ухватив ее губами, пошелкал зажигалкой. Жаркий ветер сбивал пламя. Нет, занялось.

— От чего мы действительно можем кровью истечь, — сказал я, — так это от порывистости.

— Это как?

— Я и сам толком не понимаю. Навалиться всем миром, достичь быстренько и почить на лаврах. Только у нас могла возникнуть поговорка: сделал дело — гуляй смело. Ведь дело, если это действительно дело, — занятие, а не кратковременный подвиг, сделать невозможно, оно длится и длится. Так нет же!

Ираклий с сомнением покачал головой.

— Нет-нет, даже язык это фиксирует. Возьми их «миллионер» и наше «миллионщик». Миллионер — это, судя по окончанию, тот, кто делает миллионы, тот, кто делает что-то с миллионами. А миллионщик — это тот, у кого миллионы есть, и все. В центре внимания не деятельность, а достигнутое неподвижное наличие.

Ираклий затанулся, задумчиво шурясь на восьмигранный барабан храма. Казалось, барабан плавится в золотом огне. Страхивая пепел, легонько побил средним пальцем по сигарете. Вновь покачал головой.

— Во-первых, мы говорили о российской культуре, а ты говоришь о русском национальном характере. Уже подмена. А во-вторых, от чего характер действительно может истечь кровью — так это, прости, от какой-то упоенной страсти к самобичеванию. Даже поводы придумываете, как нарочно, хотя они не выдерживают никакой критики. Если следовать твоей логике, можно подумать, что «погонщик» — это тот, у кого есть погоны на плечах, — он легонько хлопнул меня по плечу, обтянутому безрукавкой, — а отнюдь не тот, кто скотину гонит.

— Уел, — сказал я, помолчав. — Тут ты меня уел. И где! В стихии моего же языка!

— Свой язык слишком привычен. Бог знает, что можно придумать, если комплекс заедает. Со стороны виднее. — Он опять затанулся и опять искоса взглянул на меня, на этот раз настороженно: не обидел ли. — Хотя что значит со стороны... Одной ногой со стороны, другой — изнутри. Как многие в нашей стране.

Теперь уже я коснулся ладонью его плеча.

— Послушай, Ираклий. Вон те горы...

— Слева?

— Да, те, куда Тифлисский туннель уходит...

— Послушай, Александр, — в тон мне проговорил он. —

Когда царь Вахтанг Горгасал, утомившись на охоте, спешился у незнакомого источника и решил омыть лицо, он опустил в воду руки и удивленно воскликнул: «Тбили!» — «Теплая!» Оттуда и пошло название города. Запомни, пожалуйста.

— Прости. Хорошо, но почему ты мне пеняешь, а в Петербурге и где угодно слышишь по десять раз на дню «Тифлис» — и ни звука?

Он бросил окурок и тщательно вбил его каблуком в сухую землю, чтобы и следа его не осталось.

— Потому что чужие его пусть хоть Пном-Пнем называют. Ты же не чужой. Понял?

— Понял.

— Будешь еще говорить «Тифлис»?

— Амазе лапаракиц ки ар шейдзлеба!

— И речи быть не может... — машинально перевел он; у него сделался такой оторопелый вид, что я засмеялся. — Ба! Ты что, дорогой, грузинский учишь? И произношение как поставил!

— Увы, обрывки только, — признался я. — Разговорник полистал перед отлетом. А было бы время да способности — все языки бы выучил, честное слово. Приезжай хоть в Ревель, хоть в Верный — и себе приятно, и людям уважение. Но...

— Лопнет твоя головушка от такого размаха, — ухмыльнулся Ираклий. — Вот действительно русский характер. Уж если языки — то все сразу. А если не все — то ни одного. В лучшем случае — от каждого по фразе. Имперская твоя душа... Побереги себя.

— Дилад гмадлобт..

— Не стоит благодарности.

— Я вот что хотел спросить. В те горы как — погулять можно пойти? Тропки есть? Или там слишком круто?

Ираклий неторопливо перевел взгляд на Стасю. Она была уже шагах в пятидесяти.

— Да-да, я ее имею в виду.

— Ну, Станислава Соломоновна-то, я вижу, везде пройдет. — Он отступил от меня на шаг и с аффектированным скепсисом оглядел с головы до ног. Я улыбнулся.

— Обижаешь, друг Ираклий. Конечно, после тридцати я несколько распылся, но в юные лета хаживал и по зеркалу Ушбы, и на пик Коммунизма...

— О, ну конечно! Как я мог забыть! Чтобы правоверный коммунист не совершил восхождения на свою Фудзияму!

— Дорогой, при чем тут Фудзияма! — начал кипятииться я. — Просто трудный интересный маршрут! И так уж судьбе было угодно, чтобы большинство ребят, залезших туда впервые и давших в двадцать восьмом году название, принадлежали к нашей конфессии!

Он засмеялся, сверкая белыми зубами из черной бороды.

— А тебя, оказывается, тоже можно вывести из себя, — сказал он. — Признаться, глядя, как с тобой обращаются некоторые здесь присутствующие, я думал, ты ангел кротости.

Я отвернулся, уставился на лежащую внизу Мхету. Пожал плечами.

— Тебе и тяжело так оттого, что у тебя всегда все всерьез, — негромко сказал Ираклий. — И у тех, кто с тобой, — все всерьез.

Я пожал плечами снова.

— А как Лиза? — спросил он.

— Все хорошо. Провожала меня вчера чуть не до трапа.

— Потому и летели разными рейсами?

— Ну, мы не говорили об этом вообще, но, наверное, Стася была уверена, что меня будут провожать. Она сама и придумала себе какую-то отсрочку, чтобы лететь сегодня... даже не сказала какую.

— А Поленька?

— И Поленька провожала. Всю дорогу рассказывала сказку про свой остров, уже не сказку даже, а целую повесть. На одной половине живут люди, которые еще умеют немножко думать, но только о том, где бы раздобыть еду, а на другой — которые думать уже совсем не умеют. «Почему?!» — «Папа, ну как ты не понимаешь? Ведь Мерлин дал им вдоволь хлеба, и теперь они думать совсем разучились, потому что весь остров долго голодал и думать люди стали только о еде!» Видишь... Это уже не сказка, это философский трактат уже.

— Ей одиннадцать?

— Тринадцать будет, Ираклий.

— Святой Георгий, как время летит! А Лиза... знает?

— Иногда мне кажется, что догадывается обо всем и махнула рукой, ведь я не ухожу. Вчера так смотрела... И так спокойно: «Отдыхай там как следует, нас не забывай... Ираклию кланяйся. Ангел тебе в дорогу». Иногда кажется, что догадывается, но гонит эти мысли, не верит. А иногда — что и по-

мыслить о таком не может, а если узнает, просто убьет меня на месте, и правильно...

— Ш-ш.

Подходила Стася — неторопливо, удовлетворенно; громадная охапка цветов — как младенец на руках. Богоматерь. И один, конечно, воткнула себе повыше уха — нежный бело-розовый выстрел света в иссиня-черных, чуть вьющихся волосах. Шляпу бы ей, подумал я. На таком солнце напечет голову...

— Какой красивый цветок. И как идет тебе, Стася. Как он называется?

— Ты все равно не запомнишь, — ответила она и, не останавливаясь, прошла мимо нас, вдоль теневой стены храма к тропинке, ведущей на спуск.

Ираклий, косясь на меня, неодобрительно, но беззвучно поцокал языком ей вслед. Я со старательной снисходительностью улыбнулся: пусть, дескать, раз такой стих напал. Но на душе было тоскливо.

— Всякая женщина — это мина замедленного действия, — наклонившись ко мне, тихонько утешил Ираклий. — Никогда не знаешь, в какой момент ей наскучит демонстрировать преданность и захочется демонстрировать независимость. Но это ничего не значит. Так... — Он усмехнулся. — Разве лишь ногу оторвет взрывом, и только.

Я смолчал. Преданность на людях Стася не демонстрировала никогда.

Перед спуском она обернулась, удивленно глянула на нас чуть исподлобья.

— Что же вы? Идете.

Мы пошли. Младенец колыхал сотней разноцветных головок.

Напоследок я обвел взглядом пронзительно прекрасный простор внизу — еще шаг, и вершина, на которой стоял Джвари, выгибаясь за нашими спинами, скрыла бы долину. Сердце защемило от любви к этому краю. Разве любовь может быть безответной? Ираклий... его друзья... «Мои друзья — твои друзья!» Откуда же тогда это черное чувство, застилающее ослепительный свет южного дня, — чувство, что эта красота уже не моя, что я вижу ее в последний раз? Кто надышал на меня эту тьму? Странно, но я уверен: она откуда-то извне, из неведомых мне теснин, она — чужая...

Мы начали спускаться. Навстречу нам, вываливаясь из громадного туристического автобуса, плотной вереницей поднимались увешанные видеоаппаратурой люди, слышалась многоголосая испанская речь, и я порадовался, как нам повезло — мы были у Джвари только вдвоем.

Авто Ираклия дождалось на обочине, там, где мы его оставили час назад, — роскошный белоснежный «Руссо-Балт» типа «ландо», с откидным верхом. Верх убран, дверцы — настежь, ключ зажигания с янтарным брелком в виде головки Эгле Королевы ужей — наверняка подарок какой-нибудь прибалтийской красавицы — вызывающе доверчиво торчит из приборной доски. Ираклий весь в этом. Впрочем, вероятно, его авто знают в округе.

— Ираклий Георгиевич, можно я сяду рядом с вами, впереди?

— Почту за честь, Станислава Соломоновна.

Она протянула мне младенца.

— Подержи ты, пожалуйста. Здесь не помещается, закрывает руль. А просто на сиденье кинуть — растреплется.

— Конечно, подержу, какой разговор.

Ни с одним человеком нельзя повстречаться дважды, думал я, одиноко усаживаясь на просторное заднее сиденье. Пока человек жив, он меняется ежесекундно, пусть даже сам до поры того не замечает — и вот проходит неделя, пусть даже пять дней, и он иной, ты встречаешься уже не с тем, с кем расстался; тот же рост у него, те же привычки и пристрастия, но сам он — иной, он тебя не помнит, и — все сначала. И ведь со мною тот же ад; ведь и я живу и, значит, меняюсь ежесекундно. Так нечестно! Не хочу!

А притворяться прежним собой, чтобы не поранить того, с кем встретился после пятидневной разлуки, — честно?

Значит, порядочный человек должен быть нечестным, чтобы скомпенсировать нечестность мира. Ведь это подлый, подлый мир, коль скоро он так устроен: бережный — лжет, честный — чуть что, рубит наотмашь...

Горячий ликующий ветер, огибая ветровое стекло, бил в лицо. Разливы цветов на обочинах мелькали и сметали друг друга. Шипя, дорога танцевала навстречу как змея.

Прекрасный нечестный мир.

Ираклий лихо затормозил у самых ворот своей сагурам-

ской дачи. Выскочил из машины, галантно распахнул дверцу со стороны Стаси.

— Прошу.

Потом, ухмыляясь, открыл дверцу мне. С букетом я был совершенно беспомощен.

— Прошу и вас.

Навалившись обеими руками, сам распахнул перед нами створку ажурных ворот. Полого вверх, в темную глубину сада, уходила дорожка.

— Добро пожаловать в приют убогого чухонца.

Забавно, он уже не в первый раз называет так свое родовое гнездо. Я никогда не решался спросить, в чем тут дело. Подозреваю, игра сложилась уже давно благодаря многолетней фамильной дружбе князей Чавчавадзе с баронами Маннергейм. Корни ее уходят в годы, пожалуй, тридцатые. Вот и Ираклий в свое время долго служил вместе с Урхо. Я с Урхо никогда не был особенно короток, и никогда мне не доводилось бывать в его особняке под Виипури, но, думаю, случись такое, у ворот он непременно пригласил бы войти в бедную саклю, прилепившуюся к крутому склону соплеменных гор. Или что-нибудь в этом роде.

Наконец-то тень. Только в саду я понял, как при всей своей любви к соднцу с непривычки устал от него. Настоящей прохлады не было, однако, и здесь; сухой, прогретый воздух томно играл листвой, колыхался среди деревьев, причудливо катая волны запахов от одного к другому, так что, проходя мимо олеандра или жасмина, мы вдруг ощущали на миг аромат глицинии, а возле глицинии вдруг проносилась струйка тягучей патоки дрока. Хотелось сесть на землю, привалиться спиной к стволу хотя бы вот этой фисташки, зажмуриться и дышать, дышать.

— Хочу обратить ваше внимание, Станислава Соломоновна, — древний источник. Он волшебный. Еще триста с лишним лет назад люди заметили, что каждый глоток снимает один грех.

— О-о! У меня как раз такая жажда! Нужно пить и пить!

Она стремительно подбежала к высокой тумбе красного кирпича, в нише которой чуть слышно журчала кристально чистая влага. Стараясь стоять подальше, чтобы не забрызгать платье, и даже отведя одну руку за спину, ладошкой другой

она черпала и пила, пила. Не простудилась бы... Только что с солнцепека, а горлышко-то у нее слабенькое, я знал.

Отвернулась, выпрямилась, отряхивая руку. Лицо — счастливое, глаза сверкают, и чуть вздрагивает безымянный палец в черных кудрях. И влажно поблескивает подбородок.

— Вкусная! И двадцать семь грехов как не бывало! А можно еще, он не обмелеет?

— Сколько вашей душе угодно, Станислава Соломоновна. Я вижу, вы великая грешница. Или решили запастись на будущее? Только не простудитесь.

Он будто читал мои мысли.

Может, и читал слегка. Друг.

— Александр тоже вчера набросился было. — Ираклий лукаво посмотрел на меня и подмигнул. — Но потом быстро понял, что есть напитки куда более целебные.

Стася совсем по-детски вытягивала шею, чтобы с подбородка не капнуло на платье.

— Еще пятнадцать. — Опять повернулась к нам, вытирая улыбающиеся губы тыльной стороной ладони. — А? Нет, целебнее нет.

— А молодые вина? — явно оскорбился Ираклий.

— Спасибо, Ираклий Георгиевич, но это не для меня.

С ней что-то случилось?

Она вдруг подошла ко мне. Взглянула чуть исподлобья.

— Здесь можно принять душ, Саша? Я успею до обеда?

— Разумеется. Сейчас я провожу.

Наконец-то что-то родное в интонации. И тоски как не бывало, лишь удивление: что за тьма мне пригрезилась, из какого ящика Пандоры? Ведь все хорошо, все чудесно. Покой, солнце. Дышать...

— Как красиво здесь, — сказала она.

— Да. Я знал, что тебе понравится. Идем.

— Знаешь, что я подумала там, у Джвари? Совершенно необходимо иногда увидеть воочию те прекрасные места, о которых до этого только читал и только от поэтов знал, как они прекрасны. Тогда сразу становится ясно, что и остальное прекрасное, о чем мы читаем, — совесть, преданность, любовь, — тоже не выдумка.

— А тебе иногда кажется, что выдумка?

Она пожала плечами:

— Как и тебе.

— Ну не-ет...

Она усмехнулась с грустным всепрощающим превосходством.

— Кому-нибудь другому рассказывай. Я-то уж знаю.

Старый дядя Реваз, будто спрыгнувший с картин Пиромани, сидел в плетеном кресле у входа, в тенечке, обмахиваясь последним номером «Аполлона», и явно поджидал нас — увидел и сразу встал.

— Гамарджобат, мадам! Гамарджобат, батоно княз!

— Добрый день, дядя Реваз.

«Реваз» и «княз» благодаря его произношению составили, на мой взгляд, идеальную рифму. Я коротко покосился на Стасю — заметила ли она? Не подвигнет ли эта деталь, например, на эпиграмму? Мне всегда было ужасно приятно и даже лестно, если в ее стихах я угадывал отголоски впечатлений, коим я был пусть не виновником, но хотя бы свидетелем. Нет, ее лицо оставалось отстраненным.

— Это Станислава Соломоновна, большой талант, — проговорил я. — Это Реваз Вахтангович, большая душа.

— Здравствуйте, Реваз Вахтангович.

— Заходите дом, прошу. Дом прохладно. — Он говорил с сильным акцентом, но мне и акцент был мил, и акцент был пропитан солнцем. Сделал шаг в сторону, пропуская Стасю к ступенькам, и, когда она прошла, наклонился ко мне. Сказал вполголоса: — Вам депеша пришел, батоно. В конверт. — И, сунув руку в карман широких штанов, добыл конверт. Протянул мне.

— Спасибо, дядя Реваз. — Я оттопырил правый локоть, а дядя Реваз сунул мне конверт под мышку — я прижал его к боку и по-прежнему с врученным мне Стасей стоглавым младенцем на руках вошел в дом.

Здесь, в действительно прохладной прихожей, Стася и княгинюшка Тамрико уже ворковали, успев познакомиться без меня.

— Мужчины всегда не там, где надо, спешат и не там, где надо, опаздывают, — сказала княгинюшка, завидев меня. — Я уже все знаю — и как нашу гостью зовут, и про Джвари, и что нужен душ. Вы свободны, Саша.

Да, Стася умела быть стремительной, мне-то довелось это испытать.

— Тогда я действительно поднимусь на минутку к себе и хоть руки освобожу.

— Я велю принести вам вазу с водой. — Княгинюшка взглядом опытного эксперта смерила букет. — Две вазы.

— Ты положи его пока аккуратненько, — сказала Стася, стоя ко мне спиной. — Я приду — разберусь.

Я свалил букет на стол, рванул конверт по краю. Конечно, бумага раздернулась не там, где надо, — пальцы спешили и волновались; бросающаяся в глаза надпечатка «Князю Трубецкому А. Л. в собственные руки» с хрустом лопнула пополам.

Так я и знал, сплошная цифирь. Несколько секунд, кусая губы, я бессмысленно смотрел на выпавший из конверта маленький твердый листок с шестью колонками пятизначных чисел, потом встал. Открыл шкаф, из бокового кармана пиджака достал комп-шифратор, оформленный под записную книжку. Вложил в шель листок и надавил пальцами на незаметные точки гнезд опознавателя; пару секунд опознаватель считывал мои отпечатки пальцев, индекс пота... Потом на темном табло брызнули мельтешащие бестолковые буквы и, посуетившись мгновение, сложились в устойчивую строку: «Получением сего надлежит вам немедленно вернуться столицу участия расследовании чрезвычайной важности. Товариш министра государственной безопасности России И. В. Ламздорф».

Я отложил дешифратор. Вне контакта с моей рукой он сразу погасил текст. Я поднялся и медленно подошел к распахнутому в сад окошку. Оперся обеими руками на широкий подоконник. Солнце ушло с него, наверное, с полчаса назад, спряталось за угол дома, но подоконник до сих пор был теплее, чем руки. Отсюда, со второго этажа, поверх сверкающей листвы, долина открывалась на десятки верст — едва ли не все главные земли древнего Картли.

Вот тебе и отдохнул.

Вот тебе и побыл с любимой в раю.

Упоительный запах цветущего под окном смолосемянника сразу стал не моим. Далеким, как воспоминание.

Нет, все-таки надо закурить. Я закрутился по комнате в поисках сигарет, обнаружил. Снова подошел к окну и дунул мерзким дымом в благоухающий простор. Слышно было, как

внизу, за углом, перешучиваются по-грузински мальчишки, волокущие багаж Стаси из авто в дом.

Милейший Иван Вольфович! Чтобы он отбил мне такую шифровку, должно было случиться нечто действительно выходящее из ряда вон. Ведь мы виделись с ним только вчера поутру, и он, теребя свои старомодные бакенбарды, взбивая их указательным пальцем, так откровенно, так по-домашнему завидовал мне: «Какие места! Какой язык! Цинандали, кварели, киндзмараули... Каждое слово исполнено глубочайшего смысла! Отдохните, батенька, отдохните. Имеете полное право. Дело тарбагатайских наркобаронов съело у вас полгода жизни».

И вот извольте: «Получением сего...»

Нет, дудки. Могли же мы задержаться на прогулке до вечера! А дядя Реваз мог, например, уснуть, нас не дождавшись. Да мало ли как что могло! До утра я с места не сдвинусь!

Но все же — что стряслось?

Не хочу, не хочу думать об этом! Уже забыл!

А ведь что-то страшное... И завтра ли, послезавтра — мне опять в это лезть с головой.

— Друг Александр! — зычно крикнул Ираклий снизу. — Стол накрыт!

2

— Ты устал, любимый.

— Нет.

— Устал. Целуешь через силу.

— Нет, Стася, нет.

— Я же чувствую.

— Ты уже не хочешь?

— Всегда хочу. Всегда лежала бы так. Но ты отдохни чуточку.

Как нежно произнесла она это «чтч». Варшава.

— Я никуда не денусь, Саша.

— Я денусь.

— Ты денешься. А я не денусь. Когда понадобится — всегда буду под рукой.

Она не лгала. Но и не говорила правду. Она просто — говорила.

Села. Спустила ноги на пушистый, во весь пол, ковер. Озабоченно посмотрела в сторону окошка. Простор подергивался медовой дымкой.

— Как ты думаешь, не слышно было, как я тут повизгивала?

— Мягко сказано... — пробормотал я.

— Я же соскучилась, — объяснила она и встала. Медленно подошла к окну. Я смотрел. Она чувствовала мой взгляд, конечно, и не оборачивалась — неторопливо шла и давала мне любоваться вволю. Почти танцевала. Упругая, гибкая, смуглая — на миг я показался себе факиром с флейтой, заклинающим из последних сил... кого?

— Вечереет, — сказала она. Помолчала; я любовался. — Сейчас мы к Бебрисцихе уже не поедem, конечно.

— У меня и впрямь оказались иные виды на вторую половину дня.

Она не ответила. Наверное, уже не помнила этих своих слов.

— Но вот завтра с утра, — мечтательно произнесла она, помедлив. — Подумать только, целую неделю будем здесь! Я так благодарна тебе.

И вдруг, вскинув руки, закружилась по комнате. Иссиня-черные волосы разлетелись стремительной каруселью, грудь искусительно трепетала. Уже опять хотелось стиснуть ее ладонью.

— Как хорошо! Как хорошо! Я счаст-ли-вая!

«Получением сего...»

Уже не помню! Не помню!

— Чудесные букеты ты сделала.

— Что-что, а уж это я умею. — Она повернулась ко мне и чуть удивленно глянула исподлобья. Будто для нее сюрпризом оказалось: я смотрю на нее, а не на букеты. — Как ты смотришь...

— Как?

— Хорошо. Я на Лизу похожа?

Горло перехватило. Я сглотнул.

— Совсем не похожа.

— А в постели похожа?

— Совсем не похожа.

— Ты по-разному чувствуешь со мной и с нею?

— Совсем по-разному.

— Не все равно?
— Нет.
— Ты был с ней счастлив, пока мы не налетели друг на друга?

— Я и сейчас с ней счастлив. И с тобой счастлив.

Она улыбнулась чуть презрительно.

— Тебе надо было принимать магометанство, а не коммунизм.

— Тогда я не смог бы пить вина.

— Ой, дура я, дура! — Она всплеснула руками. — Лезу с разговорами, а мужик, естественно, еще дернуть хочет! Давай я накину что-нибудь и сбегая вниз, там на столе оставалась бутылка.

— Ты слишком заботлива.

— Не бывает «слишком». Еще древние вешали: благородная женщина после близости должна заботиться о возлюбленном, как мать о ребенке, ибо женщина в близости рождается, а мужчина умирает. И спортсменами подмечено: после этого дела показатели у женщин улучшаются, а у мужчин — фюить!

— Постараемся выжить, — ответил я и, сунув руку в щель между изголовьем постели и стенкой, достал почти полную бутыл «Ахашени».

Простите, Иван Вольфович, ничего не помню. Стася засмеялась.

— Будешь?

— Нет. Я от тебя пьяна, этого достаточно.

Я налил себе пару глотков в бокал, выпил. Спросил осторожно:

— Ты в порядке?

— В абсолютном. Да не тревожься ты, просто здоровый образ жизни. Я и курить перестала.

— Да что стряслось?

Она засмеялась лукаво. Погладила один из букетов. Ей действительно нравилось, как я на нее смотрю, и она прохаживалась, прогуливалась по комнате — от шкапа к стене с кинжалами и саблями, от сабель — к стене с семейными фотографиями, потом к огромной напольной вазе... Из волос над ухом, подрагивая, так и торчал забытый стебелек анонимного цветка, голый и сырой, ему нагота не шла; все лепестки мы ему перемолотили о подушку.

— Ты же меня так упрашивал! Такой убедительный довод привел!

— Какой?

— Не скажу.

— Полгода как отчаялся упрашивать...

— До меня как до жирафа. Не тревожся, Саша. Просто я подумала: я на четыре года старше ее, надо оч-чень за собой следить. Хоть паритет поддерживать. — И вдруг высунула на миг кончик языка. — Я ведь даже не знаю, как она выглядит. И Поленька. Ты бы хоть фотографии показал.

— Зачем тебе?

— Родные же люди.

— Не будь это ты, я решил бы, что женщина безмерно красуется.

— Это значит, я безмерно красиво чувствую. А чувствую я, что безмерно люблю тебя.

— С тобой трудно говорить. Ты так словами владеешь...

— Ты владеешь мной, а я владею словами. Значит, ты владеешь словами через наместника. Царствуй молча, а говорить буду я.

Присела на подоконник, голой спиной в залитый желто-розовым цветом сад.

— Слова... Они, окаянные, просто созданы для обмана. Люди очень разные, у каждого — своя любовь, своя ненависть, свой страх. А слово на всех одно и то же. Тот, кто проносит, подразумевает совсем не ту любовь и не тот страх, который подразумевает, услышав, собеседник. Поэтому лучше уж вообще молчать на эти темы... или говорить лишь для того, чтобы порадовать того, кто рядом... или, если всерьез, объяснять именно свою любовь. Ведь для одного этого слова нужно целый роман, целую поэму написать. Я вот, пока летела, — она улыбнулась, — два стихотворения про тебя сочинила. Правда, то, что они про тебя, никто не поймет.

— А я? — глупо гордясь, спросил я.

— А ты, — она опять улыбнулась, — и подавно.

— Прочти.

— Нет.

— Прочти.

— Нет-нет. Не хочу сейчас. Ведь чем больше разжевываешь свое понимание, тем дальше уходишь от чужого. Зачем мне от тебя удаляться? Вот ты рядом. Это не так уж часто бы-

вает. Скоро опять усвишешь куда-нибудь, а тем временем я опубликую — тогда и прочтешь. — Она поставила одну ногу на подоконник, обхватила ее руками. — Какой воздух чудесный идет снаружи! — Глубоко вздохнула. — Мы еще погуляем перед ужином, правда? И из источника попьем.

— Обязательно. И перед ужином, и перед сном.

— Перед сном это особенно необходимо.

«...Немедля вернуться в столицу...»

Я налил себе полный бокал и выпил, не отрываясь. Из бокала будоражаще пахло виноградниками, плавающими в солнечном океане.

— На аэродром ты ехал из дома?

— Дом... — Солнечный океан хлынул в кровь. — Дом — это место, где можно не подлаживаться. Не контролировать слова. Быть усталым, когда устал, быть молчаливым, когда хочется молчать, — и при этом не бояться, что обидишь. Не притворяться ни мгновения — ни жестом, ни взглядом...

— Так не бывает.

— Наверное. Поэтому у меня никогда не было дома.

— А может, просто тебя никогда не было дома?

— Удачный апперкот.

— Саша, я не хотела обидеть! Ты лучше всех, я-то знаю! Просто я очень хочу быть твоим домом... и мне кажется, у меня бы получилось. Но как подумаю, что ты будешь заходить домой в гости два-три раза в месяц, а в остальное время будешь в другом... а может, и в третьем — то тут, то там дома будут появляться и осыпаться с тебя, как листья, засыхающие от недостатка тебя... Ох, нет, не надо. Все ерунду я говорю. Капризничаю. Не слушай. Это потому, что я расслабилась, уж очень мне хорошо. А если бы я вдруг от тебя родила, ты бы меня бросил?

— Нет, конечно, — медленно сказал я.

— Нет? Правда нет? — Голос у нее зазвенел, и осветилось лицо.

— Глупое слово — бросил. Гранату бросают... камень. А ты же — моя семья. Был бы с вами, сколько бы получалось. Но, видишь ли... уже переломленный. Потому что уже никогда не чувствовал бы себя порядочным человеком.

— А сейчас чувствуешь?

Это была пощечина. Пощечина ниже пояса, так умеют

только женщины. Да, не мне говорить о порядочности. С усилием, будто выгребаящий против мощного течения катерок, я отставил бокал подальше; в райской тишине резко ударило стекло.

— Не очень. Но покуда доставляю тебе радости больше, чем горя, — ты сама так говоришь...

— Да, конечно, да! То — что?

— То это имеет хоть какой-то смысл.

— Но ведь тогда у меня будет еще больше радости, Саша!

— А у него? Я же не смогу уделять ему столько внимания, сколько... он заслуживает.

— Мне ты тоже не всегда уделяешь столько внимания, сколько я заслуживаю. Но кто скажет, что я у тебя расту плохая?

Стихия. Слова — не более чем летящие по ветру листья. Если пришел ураган — листья должны срываться и лететь, но их полет ничего не значит. Он значит лишь, что пришел ураган. Ураган уйдет — они осядут. И дурак, нет, садист тот, кто, подойдя к плавающему в грязи листочку, начнет корить его: «Ведь ты уже летал, ну-ка, давай еще, это так красиво!»

Значит, действительно честнее молчать, не пуская на ветер слов, и молча делать то, что хочешь, просто стараясь по возможности не повредить при этом другим, тоже молча?

— Стаська, ты сама не понимаешь, что говоришь.

— Конечно, не понимаю, мое дело бабье. Но ты-то, самец, положи руку на сердце — неужели тебе не будет хотя бы лестно?

Я только головой покачал.

— Натурально, если бы без ссор и дразг — я бы ужасно гордился.

Встала с подоконника, улыбаясь. Неторопливо подошла ко мне.

— Против твоей воли я ничего никогда не сделаю.

Присев у меня в ногах, наклонилась. Завороженно смотрела, как я, вздрагивая, набухаю под ее взглядом, и сама безотчетно вздрагивала вслед за мной.

— Ну, вот, — сказала почти благоговейно, — ты снова меня хочешь.

Коснулась кончиками пальцев. Потом, встав надо мной на колени, коснулась грудью. Потом губами. Снова отстрани-

лась, вглядываясь. Распущенные волосы свешивались почти до простыни.

— Он мне напоминает птенца какой-то хищной птицы. Требовательный и беззащитный. Чуть подрос — а так и норovit уже клеваться! А ведь сам, один — ничего не может, нужно прилетать, из любого далека прилетать к нему и кормить, кормить...

Подняла лицо. Глаза сияли.

— Я люблю тебя, Стася, — сказал я.

— Я буду прилетать. Из любого далека, хоть на день, хоть на час, на сколько скажешь. Буду, буду, буду! — Провела кончиками пальцев по полуоткрытым, запекшимся от поцелуев губам. — Хочешь сюда?

— Нет. Лучше подари самцу самку.

Стремительной гибкой молнией она повернулась ко мне спиной, упала на бок — только упруго вздрогнул матрац. Колочий вихрь волос ожег мне щеку.

— Так?

3

К программе «Время» мы опоздали буквально на минуту. Когда, шкодливо досмеиваясь и дошептываясь, мы спустились в гостиную, Иракий и Тамрико уже сидели перед телевизором, и я сразу понял, что произошло нечто чудовищное. Иракий обернулся на звук шагов, лицо его было серым.

— ...В десять семнадцать по петербургскому времени, — мертвым голосом сообщал диктор. — Гравилет «Цесаревич» следовал с базы Тюратам, где великий князь Александр Петрович находился с инспекционной поездкой, в аэропорт Пулково. Обстоятельства катастрофы однозначно свидетельствуют о том, что имел место злой умысел...

— Боже! — вырвалось у княгинюшки.

Я помертвел. Я все осознал мгновенно — даже то, что ни спасения, ни отсрочки нам со Стасей нет. Я взглянул на нее — она слушала, вытянув шею, как давеча у источника, и лоб ее был страдальчески сморщен. Я достал из кармана пиджака шифратор с депешей, коснулся пальцами гнезд и показал ей табло. Секунду она непонимающе вчитывалась, потом с ужасом заглянула мне в глаза.

— Это я получил днем, — сказал я. — Думал до завтра потянуть.

Она взяла мою руку с шифратором, поднесла к губам и поцеловала.

— Спасибо за сегодня.

Я подошел к телефону. Поднял трубку, стал нащелкивать номер. У меня за спиной Стася что-то объясняла хозяевам — я не слышал.

— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Петербург? Двадцать два пятьдесят?

— Успеем, — отрывисто произнес Ираклий. — Докачу.

— Забронируйте одно место...

— Два! — отчаянно крикнула Стася. Я растерянно обернулся к ней.

— Стасик, может, отдохнешь еще на солнышке...

Она даже не удостоила меня ответом. Отвернулась даже.

— Два места. Кажинская Станислава Соломоновна. Трубейкой Александр Львович. Нет, не Левонович, просто Львович. За полчаса, понял. Гмадлобт дахмаребисатвис..

Положил трубку. Она едва не выскользнула из потных пальцев.

Ираклий подошел ко мне. Веско положил ладони мне на плечи и сильно встряхнул. Он как-то сразу осунулся.

— Найди их и убей, — с жесткой хрипотцой сказал он.

— Постараюсь, — ответил я.

— Я кофе сварю вам, — тихо сказала Тамрико.

...Уже в авто, посреди звездной благоуханной ночи — тоненький серпик плыл так спокойно, — она спросила, когда Ираклий отошел закрыть ворота:

— Лиза будет тебя встречать?

— Нет. Они знать-то не знают.

— Хорошо. Значит, сможем еще там поцеловаться на прощание.

— Я приду, Стася! — Горло у меня перехватило от нежности и сострадания. Я знал, это неправда, никто ни к кому не может прийти дважды. — Я приду!

— Я твой дом, — ответила она.

В ласковой темноте то тут, то там зыбко позванивали цикады.

Сеть питаемых гелиобатареями орбитальных гравиторов за какой-нибудь час протащила семисотместную громаду лайнера по баллистической кривой от Тбилиси до Петербурга.

В пути мы почти не разговаривали, лишь обменивались какими-то проходными репликами. «Хочешь к окну?» — «Все равно темно». — «А у тебя лицо успело подзагореть, щеки горят». — «Это у меня от тебя щеки горят, Саша». — «Давай выпьем еще кофе?» О предстоящем я старался не думать; глупо строить досужие версии, ничего не зная, — обрывки их во множестве долетали до меня и в очереди на регистрацию, и в очереди у трапа, уши вяли. Соседи шелестели газетами, вспыхивали то тут, то там вертевшиеся вокруг катастрофы приглушенные разговоры — я все пытался поймать Стасин взгляд, все посматривал на нее сбоку, но она сидела, уставившись вперед и точно окаменев, и лишь обеими руками гладила, ласкала, баюкала мою ладонь, отчаянно припавшую сквозь неощутимую белую ткань к теплой округлости ее бедра. Только когда пилот отцепился от силовой тяги и, подруливая в аэродинамическом режиме, стал заходить на посадку, Стася, так и не пожелав встретиться со мною взглядом, внезапно начала читать. У нее даже голос менялся от стихов — становился низким, грудным, чуть хриловатым. Страстным. Будто орлица клекотала. Это был голос ее естества, так она стонала в постели. И я гордился: мне казалось, это значило, что иногда я могу дать ей такое же счастье, какое дает ей основа ее жизни, ось коловращения внешней суеты — ее талант. «Как бы повинность исполняю. Как бы от сердца улетаю тех, что любил. Тех, что люблю». У нее было много текстов, написанных от лица мужчин. Наверное, тех, с которыми она бывала; я догадывался, что мужчин у нее было побольше, чем у меня женщин. Если этот текст был из тех, что она написала по дороге сюда, значит, так она представляла себе меня. На душе стало еще тяжелее — она ошибалась. С ней я не испытывал никакой повинности; наверное, я просто запугал ее, слишком часто и со слишком большим пиететом произнося слова «долг», «дол-

жен»... Как она бесилась, когда я, вместо того чтобы сказать: «Вечером я хочу заехать к тебе» — говорил: «Вечером нужно заехать к тебе»; а для меня это были синонимы. От ее сердца я никуда не улетал и не мог улететь. Я просто этого не умел. От лица мужчин она тоже писала себя.

Столица встретила нас ненастьем. Лайнер замер; Стася, поднявшись, набросила плащ. Он был еще чуть влажным. И багаж ее был еще чуть влажным — тот же косой холодный дождь, который напитал его влагой поутру, окатывал его теперь, вечером, когда носильщик, побряхтывая и покрикивая: «Поберегись!» — катил его к стоянке таксомоторов. Дождь то притихал, то, повинаясь злобному сумасбродству порывов ветра, вновь набрасывался из промозглой тьмы, он шел волнами, и недавнее грузинское сияние уже казалось мимолетным радужным сполохом, привидевшимся во сне. Засунув руки в карманы грошового китайского плащика, небрежно набросив капюшон и даже не потрудившись застегнуться, Стася в легких туфельках шагала прямо по ледяному кипению черных луж.

— Не простудилась бы ты, Стасенька.

Она будто не слышала. В бешеном свете посадочных огней ее лицо призрачно искрилось. Она так и не повернулась ко мне. Мы так и не поцеловались на прощание. Хотя меня никто не встречал. Над нами то и дело с протяжным шипящим шумом планировали идущие на посадку корабли, их позиционные огни едва пробивались через нашпигованный водой воздух. Мы с носильщиком перегрузили Стасин багаж, я сунул парню целковый («Премного благодарен-с...»), Стася молча шагнула в кабину, молча захлопнула дверцу, и таксомотор повез ее в скромную квартирку, которую она вот уже год снимала в третьем этаже приличного дома на Каменно-островском; а я, ладонью сгоняя воду с лица, вернулся в здание аэровокзала, сдал на хранение свой саквояж — я чувствовал, мне скоро снова лететь, — и из автомата позвонил в министерство.

— А-ле?

— Иван Вольфович!

С языка едва не сорвалось машинальное «Добрый вечер». Успел ухватить за хвост.

— Слушаю, говорите!

— Это Трубецкой. Я в Пулково.

— Ах, батенька, заждались мы вас!

— Теперь же ехать?

— Да уж натурально теперь же. Не тот день, чтоб мешкать.

Вот и я укрылся в кабине авто. Из кармана насквозь мокрого пиджака извлек насквозь мокрый платок, принялся вытирать лицо, шею, волосы. Свет фонарей мерцал на бегущих по стеклам струйках, крыша рокотала барабаном.

— Дворцовая, милейший.

И как последние два часа я гнал от себя мысли о предстоящем, старательно не слушая доносившиеся справа-слева обрывки вертевшихся вокруг несчастья разговоров, так теперь я, словно пыль из ковра, принялся выбивать из памяти лихорадочно ласковые Стасины руки и ее мертвенный, унесшийся в пустоту взгляд.

Великий князь Александр Петрович. Тридцать четыре года... было. Щепетильно порядочный человек, одаренный математик и дельный организатор. Мечтатель. Официально — глава российской части российско-североамериканского проекта «Арес-97». Фактически — правая рука престарелого Королева; ловил каждое слово великого конструктора, всегда готов был помочь делу и своим моральным авторитетом, и своим государственным влиянием. Мне доводилось несколько раз встречаться с ним на разного рода официальных и неофициальных мероприятиях, и от этих встреч всегда оставалось теплое чувство; на редкость приятный был человек. Невозможно представить, чтобы у него были враги. Такие враги.

Таксомотор вывернул на Забалканский проспект. Молодой шофер небрежно покручивал баранку и что-то едва слышно, угрюмо насвистывал. Сверкающее месиво капель валилось сквозь свет фар. Время от времени под протекторами коротко и свирепо рычали лужи.

«Арес-97». С той поры, как стало ясно, что термоядерный привод — дело неблизкое, решено было двинуться по тому отлаженному пути, каким с конца пятидесятых шли здесь, на планете. На стационарные гелиоцентрические орбиты в промежуток между орбитами Земли и Марса предполагалось обычными беспилотными устройствами с жидкостным приводом забросить две серии мощных гравиторов, которые при определенном расположении — оно повторялось бы с периодичностью всего лишь в полтора года — обеспечивали бы пе-

ремешение корабля практически любого тоннажа с постоянным ускорением десять метров в секунду за секунду. Инерционная фаза перелета, таким образом, вовсе ликвидировалась бы, космонавтам не пришлось бы сталкиваться ни с невесомостью, ни с ее неприятными последствиями, а время перелета сократилось бы со многих месяцев до — и это в худшем случае — недель. Помимо того, единожды подвесив в пространстве цепочку тяговых гравиторов, проблему коммуникации Земля — Марс можно было бы решить раз и навсегда, во всяком случае, пока не появятся некие принципиально новые возможности типа, например, прокола трехмерной метрики. Каждые полтора года, без всяких дополнительных затрат, не прожигая многострадальную атмосферу новыми выхлопами дюз и минимально теребя еще не вполне изученные, но уже весьма настораживающие геофизические аспекты огненного пробоя неба, станет можно, если возникнет на то желание, отправлять к Марсу корабль хоть с двадцатью, хоть с тридцатью людьми на борту или даже целые эскадры по восемь-десять кораблей с пятичасовыми интервалами; а горячие головы уже размышляли и о колонизации красной планеты. Тяговая цепочка должна была состоять из двадцати звеньев — десять гравиторов обеспечивали бы разгон от Земли и обратное торможение на пути к Земле, десять — торможение на пути к Марсу и обратный разгон от Марса. Если учесть вдобавок, что за три десятка лет эксплуатации орбитальной сети гравиторов ни один лайнер не потерпел аварии на тяговом участке полета, такой вариант экспедиции выглядел не только более экологичным, не только более дешевым, но и куда более надежным, нежели любой реактивный, — даже если бы Ливермор или Новосибирск выдали наконец термомяд. Полет намечался на сентябрь девяносто седьмого года. Осуществление проекта шло со всеми возможными реверансами и знаками уважения лидирующих стран друг к другу; с церемонной, поистине азиатской вежливостью соблюдался полный паритет. Голова в голову, гравитор к гравитору — мы штуку, и они штуку, приблизительно раз в полгода, но не обязательно в один и тот же день. Мы разгонный, и они разгонный. Они тормозной, и мы тормозной. На первую половину июля планировался очередной запуск — пятого и шестого из околосемной десятки; дату еще надо было уточнить и согласовать со

штатниками. Пробыв два месяца безвылазно на тюратамском космодроме, великий князь вырвался на пару дней в столицу, чтобы отчитаться о готовности к делу перед государем, Думой и кабинетом.

Надобно незамедлительно снестись со штатниками и выяснить, не было ли у них попыток диверсий или покушений.

Или это какой-то их патриот шизоидный...

Бред.

Третьи страны... Есть отрывочные сведения о наличии в Японии, в Германии кругов, задетых малым, с их точки зрения, участием их держав в интернациональном проекте века. По их мнению, это роняло престиж их наций. Горе-националисты, пес их ешь. Хорошо, что их мало и что обычно их никто не слушает.

Немцы в свое время очень настаивали, чтобы «в целях соблюдения полного равновесия участия основных сторон» все старты осуществлялись с одного и того же космодрома, причем какой-либо третьей страны, и тут же с беззастенчивой настойчивостью предлагали свою космическую базу в море Бисмарка — не ближний свет возить туда через океан все материалы что штатникам, что нам!

Нет-нет, бессмысленно сейчас строить версии. Я тут ничем не отличаюсь от располагающих нулевой информацией остолопов, болбочущих о масонском заговоре и о том, что господь наказал за гордыню человека, вздумавшего влезть на небо. Слышал я сегодня такое — смотрел на Стасю, чувствовал Стасю, но слышал краем уха.

Все. Стася уже дома, в тепле, уже наверняка приняла ванну, залегла под одеяло с какой-нибудь книгой или рукописью, либо телеэкран мерцает чем-нибудь развлекательным напротив постели — так славно бывает лежать рядом, обнявшись, щека к щеке, и бездумно-радостно смотреть какую-нибудь белиберду... Хватит! Что она сейчас думает обо мне — мне отсюда не изменить, хоть кулак изгрызи.

Или я слишком зазнаюсь и она сейчас совсем не обо мне думает?

А ведь каких-то пять часов назад она гортанно, протяжно вскрикивала подо мною... и танцевала: я счастливая!

Но — утром? Как презрительно она вела себя утром, у Джвари!

Господи, неужели это было? Неужели это было сегодня — жар, стрекот, синий простор? И самая большая трагедия — то, что родная женщина держится отчужденно...

Все, хватит.

Приехали.

2

Министерство госбезопасности располагалось в левом крыле старого здания Генштаба. Показав слегка удивленному моим видом казаку отсыревший пропуск, я взбежал по широкой лестнице на третий этаж — белый пиджак, светло-голубая рубашка с открытым воротом, белые брюки, белые летние туфли; ни дать ни взять миллионщик на палубе собственной яхты.

В туфлях хлюпало. Нет, не миллионщик, конечно, — погонщик. Подневольный офицер.

Коридоры были пустынные, и казалось, здание спит, как и полагалось бы в этот час. Но по едва уловимым признакам, которых, конечно, не заметил бы никто чужой, я чувствовал, что там, за каждой закрытой дверью, — развороченный муравейник. Естественно. Таких штук не случалось на Руси со времен графа Палена. Правда, был еще Каракозов — совсем больной человек... Да еще закомплексованный Пестель витийствовал в эмпиреях о цареубийстве во благо народных свобод. Интересно, оставить его с Александром Павловичем наедине — неужто и впрямь поднялась бы рука? Или крепостным передоверил бы — дескать, ты, Ванька, сперва выпусти по моему велению своей косой кишки помазаннику божию, а уж посла будет тебе воля... Перепугали мечтательные предки Николая Павловича так, что ему потом всю жизнь от слова «свобода» икалось, ну и вел себя соответственно, мел мыслителей из аппарата, оставлял одних неперечливых воров, чуть не прогадил Россию...

Секретарь — молодец, даже бровью не повел, завидев в сих суровых стенах такое чудо в перьях, как нынешний я.

— Иван Вольфович ждет вас, господин полковник. Прошу.

И растворил передо мною тяжелые двери.

Ламздорф встал из-за стола и, отчетливо похрустывая плотной тканью выутюженного мундира, пошел ко мне навстречу,

протянул обе руки. Костистое остзейское лицо его было печально вытянуто.

— Экий вы южненький, батенька, экий вы мокренький... Уж простите старика, что этак бесцеремонно выдернул вас из картвельских кушей в нашу дрякву. Вы возглавите следствие. И назначал не я. — Он потыкал пальцем вверх. — Есть факторы... То есть не подумайте, Христа ради, — он всерьез испугался, что допустил бестактность, — будто я вам не доверил бы... Но устали ж вы за весну, как черт у топки, мне ль не знать!.. Сюда, голубчик, присаживайтесь. Мы сейчас радиаторчик включим, подсохнете. — Покряхтывая, он выкатил масляный обогреватель из-за выдавшей виды китайской ширмы, прикрывавшей уголок отдыха — столик, электрочайник, коробочки со сладостями: генерал был известный сладкоежка. Воткнул штепсель в розетку. — Чайку не хотите ли?

— Благодарю, Иван Вольфович, я так наобедался у князя Ираклия, что теперь два дня ни есть, ни пить не смогу. Давайте уж лучше к делу.

— Ай, славно, ай, мальчики мои молодцы! Хоть денек успели урвать. Какая жалость, что князь Ираклий так рано в отставку вышел!

— Ему в грузинском парламенте дел хватает.

— Да уж представляю... Тепло там?

— Тепло, Иван Вольфович.

— Цветет?

— Ох, цветет!

Он горестно вздохнул, уселся не за стол, а в кресло напротив меня. Закинул ногу на ногу, немилосердно дергая левую бакенбардину так, что она едва не доставала до эполета. В черное, полуприкрытое тяжелыми гардинами окно лупил дождь.

— К делу, говорите... Страшное дело, батенька Александр Львович, страшное... Уж и не знаю, как начать.

Я ждал. От радиатора начало помаленьку сочиться пахнущее пылью тепло.

— В восемь сорок три вылетел цесаревич с Тюратама. С ним секретарь, профессор Корчагин, знали вы его?..

— Не близко. Консультировался дважды.

— Ну да, ну да. Это когда вы от нас входили в госкомиссию по аварии на Краматорском гравимоторном. Помню, как же. — Он замолотил себя указательным пальцем по бакенбардам, затем снова поволок левую руку к плечу. — Врач, два

офицера охраны и два человека экипажа, люди все свои, постоянные, который год с цесаревичем...

— Никто не спасся? — глупо спросил я. Жила какая-то сумасшедшая надежда, вопреки всему услышанному.

Иван Вольфович даже крикнул. Обиженно покосился на меня. Встал, сложил руки за спиной и, сутулясь, наискось пошел по кабинету. Поскрипывал паркет под потертым ковром.

— Батенька, — страдальчески выкрикнул генерал, остановившись у стола, — они же с трех верст падали! С трех верст! Что вы, право!

С грохотом выдвинув один из ящиков, он достал пачку фотографий и вернулся ко мне.

— Вот полюбуйтеесь-ка на обломочки! Аэросъемка дала...

Да. Я быстро перебрал фотографии. Что да, то да. Иными фрагментами земля была вспахана метров на пять в глубину.

— Разброс обломков близок к эллиптическому, полторы версты по большой оси. И ведь не просто падали, ведь взрыв был, голубчик мой! Весь моторный отсек снесло-разнесло!

— Мина с часовым механизмом или просто сопряженная с каким-то маневром? Скажем, при первом движении элерона — сраба...

— Ах, батенька, — вздохнув, Ламздорф забрал у меня фотографии и, выравнивая пачку, словно колоду карт, несколько раз побил ее ребром о раскрытую ладонь, — разве разберешь теперь? Впрочем, обломки, конечно, будут еще тщательнейшим образом исследованы. Но, по совести сказать, так ли уж это важно?

— Важно было бы установить для начала, что за мина, чье производство, например.

— Вот вы и займетесь... Ох, что ж я, олух старый! — вдруг встрепенулся он. Размахивая пачкой, словно дополнительным плавником-ускорителем, он чуть ли не вприпрыжку вернулся к столу, поднял трубку одного из телефонов и шустро нашелкал трехзначный номер. Внутренний, значит.

— Ламздорф беспокоит, как велели, — пробубнил он виновато. — Да, прибыл наш князь, уж минут двадцать тому. Ввожу помаленьку. Так точно, ждем.

Положил трубку и вздохнул с облегчением.

— Ну, что еще с этим... Взорвались уже на полете, неподалеку от Лодейного Поля их пораскидало. Минут через шесть должны были от тяги отцепляться и переходить на аэродина-

мику... Так что с элеронами, или с чем там вы хотели, — не проходит, Александр Львович. С другой стороны — в Тюратаме уже тоже чутков надывали. С момента предполетной проверки и до момента взлета — это промежуток минут в двадцать — к кораблю теоретически имели доступ четыре человека. Все — аэродромные техники, народ не случайный. Один отпал сразу — теоретически доступ он имел, но возможностью этой, так сказать, не воспользовался — работал в другом месте. Это подтверждено сразу пятью свидетелями. Все утро он долизывал после капремонта местную поисковую авиетку. Что же касается до трех остальных...

Мягко открылась дверь в дальнем конце кабинета. Не та, через которую впустили меня. Вошел невысокий, очень прямо держащийся, очень бледный человек в партикулярном, траурном; в глубине его глаз леденела молчаливая боль. Я вскочил, попытался шелкнуть каблуками хлюпающих туфель. До слез было стыдно за свое разухабистое курортное платье.

— Здравствуйте, князь, — тихо сказал вошедший, протягивая мне руку. Я осторожно пожал. Сердце заходило от сострадания.

— Государь, — проговорил я, — сегодня вместе с вами в трауре вся Россия.

— Это потеря для всей России, не только для меня, — прозвучал негромкий ответ. — Алекс был талантливый и добрый мальчик. Ваш тезка, князь...

— Да, государь, — только и нашелся ответить я.

— Иван Вольфович, — произнес император, чуть оборотясь к Ламздорфу, — вы позволите нам с Александром Львовичем уединиться на полчаса?

— Разумеется, ваше величество. Мне выйти?

— Пустое. — Император чуть улыбнулся одними губами. Глаза все равно оставались как у побитой собаки. — Мы воспользуемся вашей запазушной приемной. — И он сделал мне приглашающий жест к двери, в которую вошел минуту назад.

Там произошла заминка: он пропустил меня вперед — я, растерявшись, едва не споткнулся. Он мягко взял меня за локоть и настойчиво протолкнул в дверь первым.

В этой комнате я никогда не бывал. Она оказалась не большой — скорее чуланчик, нежели комната; смутно мерцали вдоль стен застекленные стеллажи с книгами; в дальнем от скрытого гардинами, сотрясаемого ливнем окна углу стоял

низкий круглый столик с двумя мягкими креслами и сиротливой, девственно чистой пепельницей посередине. Торшер, задумчиво наклонив над столиком тяжелый абажур, бросал вниз желтый сноп укромного света. Император занял одно из кресел, жестом предложил мне сесть в другое. Помолчал, собираясь с мыслями. Достал из брючного кармана массивный серебряный портсигар, открыл и протянул мне.

— Курите, князь, прошу.

Курить не хотелось, но отказаться было бы бестактным. Я взял, он тоже взял; спрятав портсигар, предложил мне огня. Закурил сам. Пальцы у него слегка дрожали. Придвинул пепельницу — ко мне ближе, чем к себе.

— Хороша ли княгиня Елизавета Николаевна? — вдруг спросил он.

— Благодарю, государь, слава богу.

— А дочь... Поля, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь, государь. Я благополучен.

— Вы еще не известили их о своем возвращении из Тифлиса?

— Не успел, государь.

— Возможно, пока еще и не следует на всякий случай... А! — С досадой на самого себя он взмахнул рукой с сигаретой и оборвал фразу. — Не мое это дело. Как лучше обеспечить успех — думайте вы, профессионалы. — Помолчал. — Я предложил, чтобы вы, князь, возглавили следствие, по некоторым соображениям, их я раскрою чуть позже. А пока что...

Он глубоко затынулся, задумчиво глядя мне в лицо выпуклыми тоскующими глазами. Сквозь конус света над столиком, сонно переливая формы, путешествовали дымные амебы.

— Скажите, князь, ведь вы коммунист?

— Имею честь, государь.

— Дает ли вам ваша вера удовлетворение?

— Да.

— Дает ли она вам силы жить?

— Дает, государь.

— Как вы относитесь к другим конфессиям?

— С максимальной доброжелательностью. Мы полагаем, что без веры в какую-то высшую по отношению к собственной персоне ценность человек еще не заслуживает имени человека, он всего лишь чрезвычайно хитрое и очень прожорливое животное. Более того, чем многочисленнее веры — тем

разнообразнее и богаче творческая палитра человечества. Другое дело — как эта высшая ценность влияет на их поведение. Если вера в своего бога, в свой народ, в свой коммунизм или во что-либо еще возвышает тебя, дает силы от души дарить и прощать — да будет славен твой бог, твой народ, твой коммунизм. Если же вера так унижает тебя, что заставляет насильствовать и отнимать, — грош цена твоему богу, твоему народу, твоему коммунизму.

— Что ж, достойно. Не затруднит ли вас в двух словах рассказать мне, в чем, собственно, состоит ваше учение?

Вот уж к этому я никак не был готов. Пришлось всерьез присосаться к сигарете, потом неторопливо стряхнуть в пепельницу белоснежный пепел.

— Государь, я не теоретик, не схоласт...

— Вы отменный работник и безусловно преданный России человек — этого довольно. Разглагольствования богословов меня всегда очень мало интересовали, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности. Теоретизировать можно долго, если теория — твой удел, но в каждодневном биении сердца любая вера сводится к нескольким простым и самым главным словам. Я слушаю, князь.

Я еще помедлил, подбирая слова. Он смотрел ободряюще.

— У всех стадных животных, государь, существуют определенные нормы поведения, направленные на непричинение неоправданного вреда друг другу и на элементарное объединение усилий в совместных действиях. Нормы эти возникают вполне стихийно — так срабатывает в коллективе инстинкт самосохранения. Человеческая этика в любой из ее разновидностей является не более чем очередной стадией усложнения этих норм ровно в той мере, в какой человек является очередной стадией усложнения животного мира. Однако индивидуалистический, амбициозный рассудок, возникший у человека волею природы, встал у этих норм на пути. Оттого-то и потребовалось подпирать их разнообразными сакральными авторитетами, лежащими как бы вне вида homo sapiens, как бы выше его. И тем не менее, сколь бы ни был авторитетен тот или иной божественный источник призывов к добру и состраданию, всегда находились люди, для которых призывы эти были пустым звуком, ритуальной игрой. С другой стороны, всегда находились люди, которым не требовалась ни сакрализация, ни ритуализация этики; в простоте своей они во-

обще не могут вести себя неэтично, им органически мерзок обман, отвратительно и чуждо насилие... И то, и другое — игра генов. Один человек талантлив в скрипичной игре, другой — в раскрытии тайн атомных ядер, третий — в обмане, четвертый — в творении добра. Но только через четвертых в полной мере проявляется генетически запрограммированное стремление вида сберечь себя. Мы убеждены, что все создатели этических религий, в том числе и мировых — буддизма, христианства, ислама, — принадлежали к этим четвертым. Ведь, в сущности, их требования сводятся к одному интегральному постулату: благо ближнего превыше моего. Ибо «я», «мой» обозначает индивидуальные, эгоистические амбиции, а «ближний», любой, все равно какой, персонифицирует вид хомо. Расхождения начинаются уже на ритуальном уровне, там, где этот основной биологический догмат приходится вписывать в контекст конкретной цивилизации, конкретной социальной структуры. Но беда этических религий была в том, что они, дабы утвердиться и завоевать массы, должны были тем или иным образом срастаться с аппаратом насилия — государством и, начиная включать в свои заповеди требования насилия, в той или иной степени превращались в свою противоположность. Всякая религия стремилась стать государственной, потому что в этой ситуации все ее враги оказывались врагами государства с его мощным аппаратом подавления, армией и сыском. Но в этой же ситуации всех врагов государства религии приходилось объявлять своими врагами — и происходил непоправимый этический надлом. Это хорошо подтверждается тем, что чем позже возникала религия, то есть чем более развитые, жесткие и сильные государственные структуры существовали в мире к моменту ее возникновения, тем большую огосударствленность религия демонстрирует. От довольно-таки отстраненного буддизма через христианство, претендовавшее на главенство над светскими государями, к создавшему целый ряд прямых теократий исламу.

— Очень логично, — сказал император. Он слушал внимательно, чуть подавшись вперед и не сводя пристальных глаз с моего лица. Вяло дымились забытые сигареты.

— Мы полностью отказались от какого бы то ни было ритуала. Мы совершенно не стремимся к организованному взаимодействию со светской властью. Мы апеллируем, по су-

ти, лишь к тем, кого я назвал четвертыми, — к людям с этической доминантой в поведении. Им во все времена жилось нелегко, нелегко и теперь. Они совершенно произвольно принимают на себя первый удар при любых социальных встряшках, до последнего пытаюсь стоять между теми, кто рвется резать друг друга, — и потому зачастую их режут и те, и другие. Они часто выглядят и оказываются слабее и беспомощнее в бытовых дразгах... Мы собираем их, вооружаем знаниями, объясняем им их роль в жизни вида, закаляем способность проявлять абстрактную доброту чувств в конкретной доброте поведения. Мы стараемся также облегчить и сделать почетным уподобление этим людям для тех, кто не обладает ярко выраженной этической доминантой, но по тем или иным причинам склоняется к ней. Это немало.

— Чем же заняты ваши... уж не знаю, как и сказать... теоретики?

— О, у них хватает дел. Ну, например. Сказать: благо ближнего важнее — это просто. Просто и претворить эти слова в жизнь, когда с ближним вы на необитаемом острове. Но в суетном нашем мире, где ближних у нас уж всяко больше одного, ежечасно перед человеком встают проблемы куда сложнее тех, что решают математики в задачах о многих телах.

— Неужели и здесь вы считаете возможным выработать некие правила?

— Правила — никоим образом, государь. Но психологические рекомендации — безусловно. Определенные тренировки, медитативные практики... но я не силен в этом, государь, прошу простить.

— Хорошо. — Он наконец стряхнул в пепельницу длинный белый хвостик пепла, уже изогнувшийся под собственной тяжестью. — Я как-то упустил... Ведь коммунизм начинался как экономическая теория.

— О! — Я пренебрежительно махнул рукой. — Ополоумевшая от баракла Европа! Похоже, Марксу поначалу и в голову ничего не шло, кроме чужих паровых котлов и миллионных состояний! «Бьет час капиталистической собственности! Экспроприаторов экспроприируют!» В том, что коммунисты отказались от вульгарной идеи обобществления собственности и поднялись к идее обобществления интересов, — лавина заслуга коммунистов вашей державы, государь.

— Ленин... — осторожно, будто пробуя слово на вкус, произнес император.

— Да.

— Обобществление интересов — это звучит как-то... настораживающе двусмысленно.

— Простите, государь, но даже слово «архангел» становится бранным, когда его произносит сатана. Речь идет, разумеется, не о том, чтобы всем навязать один общий интерес, а о том, чтобы всякий индивидуальный интерес учитывал интересы окружающих и, с другой стороны, чтобы всякий индивидуальный интерес, весь их спектр, был равно важным и уважаемым для всех. Это идеал, конечно... как и всякий религиозный идеал.

— В молодости я читал какие-то работы Ленина, но, признаюсь, князь, они не заинтересовали меня, не увлекли.

Я помедлил.

— Рискну предположить, государь, что в ту пору вы были молоды и самоуверенны. Жизнь представлялась веселой, азартной игрой, в которой все козыри у вас на руках.

— Возможно. — Император улыбнулся уголками губ. — При иных обстоятельствах я с удовольствием побеседовал бы с вами и об этом, вы изрядный собеседник. Но сперва покончим с тем, что начали. В изложенном вами я не вижу религиозного элемента. Вполне здоровое, вполне материалистическое, чрезвычайно гуманистическое этическое учение, и только. Через несколько минут вы поймете, почему я так этим интересуюсь. Скажите мне вот что. Возможен ли религиозный фанатизм в коммунизме и какие формы он может принимать, коль скоро сам коммунизм религиозного элемента, как мне кажется, не имеет?

— Ваше величество, чем отличается этическая религия от этического учения? Лишь тем, что ее догматы опираются на некий священный авторитет, некую недоказанную истину, каковая, в сущности, и является предметом веры, а все остальные предписания уже вполне материалистично вытекают из нее. Священным авторитетом для нас является вид хомо. Недоказуемой истиной, в которую нужно поверить всем сердцем, — то, что вид этот заслуживает существования. Ведь это ни из чего не следует логически. Никто не написал этого комета на небесах. Природе это все равно. Да и люди зачас-

тую вели и ведут себя так, словно бы им все равно, родится следующее поколение или нет. Презрение к людям лежит в основе такого поведения — подсознательно укоренившееся, в частности, еще и оттого, что все религии рассматривают наше бытие лишь как предварительный и греховный этап бытия вечного. Уверовать в то, что сей греховный муравейник есть высшая ценность, нелегко, а иным и отвратительно. То, что я рассказывал прежде, было от ума, а вот то короткое и главное из сердца, что вы просили, государь, своего рода символ веры. Род людской нуждается в существовании, значит, каждый человек нуждается в помощи, значит, всякое мое осмысленное действие должно приносить кому-то пользу. И речь идет не только о благотворительности или тупом жертвовании собой. Коль скоро наш сложный социум для своей полноценной жизни требует тысяч разнообразных дел, лучше всего помогать людям я могу, делая как можно лучше свое дело. Значит, всякий мой успех — для людей, но ни в коем случае — люди для моего успеха.

— Достойная вера, — проговорил император. — Я мог бы, правда, спорить относительно грешного муравейника как высшей ценности, но спор по поводу истинности недоказуемых истин... или, скажем, даже так — равнодоказуемых истин, есть удел злобных глупцов, ищущих повод для драки.

— Истинно так.

— А в целом вы столь привлекательно и убедительно это изложили... все кажется таким естественным и очевидным, что впору мне принимать ваши обеты.

— Я был бы счастлив, ваше величество, — сказал я. — Но, боюсь, для российского государя сие непозволительно формально.

Он снова чуть усмехнулся.

— Я наслышан о том, что ваши товарищи в подавляющем большинстве своем являются прекрасными людьми и в высшей степени надежными работниками. Мне отраднo видеть, что влияние вашей конфессии неуклонно растет, ибо ее благотворное влияние на все сферы жизни страны неоспоримо. И теперь я лучше понимаю почему. Но вот в чем дело...

Глаза его опустились, теперь он избегал встретиться со мною взглядом. Помедлив, он вновь достал и открыл портси-

гар. Протянул мне. Я отрицательно качнул головой. Император, поразмыслив, зашелкнул портсигар и убрал.

— Иван Вольфович уже сказал вам, что в круге подозреваемых с самого начала оказалось только четыре человека. Один отпал сразу. Двое других уже найдены, допрошены и отпущены; очевидно, они ни в чем не замешаны. Некие странности, как мне сказали, были замечены незадолго до катастрофы в поведении четвертого... Смотрите, какое совпадение — в моем перечислении, как и в вашем, он четвертый. И этот четвертый исчез.

— Как исчез?

— Его нигде нет. Его не нашли ни на работе, ни дома, ни в клубе... Он не уезжал из Тюратама. И, похоже, его нет в Тюратаме. И он... он — коммунист, Александр Львович. Ваш товарищ.

Я сцепил пальцы.

— Теперь понимаю.

— Я предлагаю вам, именно вам, взяться за это дело, ибо мне кажется, вы лучше других сможете понять психологию этого человека, проанализировать его связи, представить мотивы... Бог знает, что еще. Но именно поэтому я предоставляю вам и право тут же отказаться от дела. Никаких нареканий не будет. Возвращайтесь в Грузию, возвращайтесь домой, куда хотите, вы заслужили отдых. Если совесть не позволяет вам вести дело, где основным подозреваемым сразу оказался член вашей конфессии...

— Позволяет, — чуть резче, чем хотел, сказал я. — Более того, я должен в этом разобраться. Тут что-то не так. Я не верю, что коммунист мог поднять руку на наследника престола... да просто на человека! Я берусь.

— Благодарю вас, — сказал император и встал. Я сразу вскочил. — Как осиротевший отец благодарю. — Он помедлил. — За тарбагатайское дело, с учетом прежних заслуг, министр представил вас к ордену Святого Андрея Первозванного. Через Думу представление уже прошло, и приказ у меня на столе.

— Это незаслуженная честь для меня, — решительно сказал я. — Первым кавалером ордена был генерал-адмирал граф Головин, одним из первых — государь Петр... — Я позволил себе чуть улыбнуться. — Все мои прошлые, да и будущие за-

слуги вряд ли могут быть сопоставлены с деяниями Петра Великого.

— Кто знает, — уронил император. — Но я подожду подписывать приказ до конца этого расследования. — Он нарочито помедлил. — Чтобы не отвлекать вас церемонией награждения... Теперь — Бог с вами, князь. Ступайте.

3

Было около трех, когда я вошел в свой кабинет. Усталость давала себя знать, и кружилась голова — почти бессонная веселая ночь накануне, Джвари и Сагурамо, Ираклий и Стася, киндзмараули и ахашени, а потом, судорожным рывком, словно кто-то казацкой шашкой полоснул по яркой театральной декорации, вновь МГБ и эта странная аудиенция... Сколько всего уместилось в одни сутки!

Но я благодарил судьбу, что это дело досталось мне. Что-то в нем было не так.

Я вскипятил немного воды, сделал крепчайший кофе, насыпав с горя в чашку сразу ложки четыре. Пока дымящаяся густая жидкость остывала до той кондиции, чтобы пить можно было, не ошпарясь, все-таки выкурил еще одну сигарету. Прихлебывая, тупо созерцал, как ползают по воздуху, извиваясь, прозрачно-серые ленты. Платье мое уже высохло, от кофе я наконец согрелся окончательно.

Ватная тишина набухла в кабинете. Даже дождь уютомнился, и с площади, от окна, не доносилось ни звука.

Стася, наверное, уже спит. Если только не мучается, бедняга, бессонницей снова. Впрочем, вряд ли, она сегодня так устала. Меня вдруг словно кинули в кипяток; перед измученными, пересохшими глазами вдруг ослепляюще полыхнуло ярче яви: в медовом свете южного вечера она проводит по вишневым, чуть припухшим губам: хочешь сюда? Телеграмма уже лежала в шифраторе — но я думал, что целая ночь впереди! Вот она, эта ночь. Зеленое время на табло настольных электронных часов мерно перепархивало с одной цифры на другую. Три двенадцать.

И Лиза спит, конечно.

Или я ничего не понимаю, а она, давно догадавшись обо

всем, одиноко лежит без сна и мысленно видит меня там, в кипарисовом раю, обнимающим не ее?

Даже страшно утром звонить.

Вот он, мой кипарисовый рай. Не сдержавшись, я с силой ударил ладонями по столу. Звук оказался святотатственно громким.

И Поля, разумеется, спит без задних ног. Если только не забралась под одеяло с лампой и книжкой, если только не портит опять глаза, паршивка. Сколько раз мы с Лизой ловили ее на этом, объясняли, уговаривали — нет, как об стену горох.

Я вдруг сообразил, что уже по ним соскучился.

Может, поехать домой прямо сейчас? Здесь рядом. Может, они обрадуются.

Ведь все равно до утра начать работать невозможно.

Невозможно. Невозможно, чтобы коммунист стал убийцей. Не верю. Тут что-то не так.

На пробу я ткнул пальцами в кнопки селектора. И, совершенно противу всяких ожиданий, немного сиплый голос Куракина сразу отозвался:

— Слушаю.

— Федор Викентьевич, дорогой! Никак не ожидал вас застать...

— Александр Львович! Да как это не ожидали, Ламздорф не сказал вам, что ли? Он же категорически запретил мне уходить, еще в конце дня позвонил и сказал, что вы будете с минуты на минуту и что я непременно вам понадоблюсь. Спите, говорит, по крайности за столом.

— Ну и как, спали?

— Сейчас вот покемарил часок. — Он откашлялся.

— Ну и чудесно. Зайдите ко мне.

Через минуту заместитель мой уже входил в кабинет; лицо бодрое, словно и не спал только что, скрючившись в служебном кресле, — кто сказал, что крепостное право отменили?

Мундир будто сейчас из-под утюга, любо-дорого поглядеть. Не то что я. Куракин вошел и, не сдержавшись, по-свойски прыснул.

— Да, извлекли вас, видать, из климата не в пример благостнее нашего!

— Зато всем сразу видно, как я спешил. Будем вести следствие по катастрофе «Цесаревича», поздравляю вас.

— Значит, вы взяли? Вольфович сказал, что это еще не точно.

— Это точно. Да вы садитесь, Федор Викентьевич, в ногах правды нет. Особенно в такой час. С Лодейнопольским ГБ связывались?

— Неоднократно.

— Сбор фрагментов они завершили?

— На момент последнего разговора — это в двадцать один ноль две было...

Как раз когда мы со Стасей, перемурлыкиваясь, спускались в гостиную.

— ...не закончили. Очень уж много мелочи, грунт порой буквально просеивать приходится. А там еще речушки, болота...

— Хорошо. То есть плохо, конечно, но шире штанов не зашагаешь. Завтра спозаранку надо связаться с кем-нибудь из ведущих конструкторов и узнать тактично, не мог ли, черт возьми, мотор сам дать такой эффект. Ну, хоть один шанс из миллиона — вдруг что-то там перегорело, перегрелось, расконтачилось...

— Ламздорф уже связывался. Профессор Эфраимсон с кафедры гравимеханики Политеха клялся, что это абсолютно исключено.

— Ученые головы умные, Федор Викентьевич, но квадратные. Тут практик нужен. О! Я сам свяжусь с Краматорским гравимоторным, там меня должны помнить, побеседуем задушевно. Дальше. Надобно послать одного-двух наших экспертов для тщательнейшего исследования фрагментов. Пусть найдут остатки мины. Чья мина? Какая? Как устроена? Если они этих остатков вообще не найдут, то пусть хоть просчитают, какого характера был взрыв, какой силы... И — быстро! И все обломки — к нам, сюда. С ними возиться придется, я думаю, не раз и не два.

— Понял.

— Завтра я вылечу в Тюратам. Там что-то интересное уже нашупали, я так понял Ламздорфа, но это все — испорченный телефон.

— Кого бы вы хотели взять?

Я помедлил.

— Совсем я отупел на югах. Впереди телеги лошадь запрягаю. Давайте-ка мы очертим круг лиц, участвующих в деле. И кроме них уже — ни-ни. Пусть будет нас, скажем, четыре

группы. Вы — мой заместитель, так им и будете; ни в какую из групп ни вы, ни я не входим. Общее руководство, так сказать. Группа «Аз» — эксперты, мозговой центр. Специалист по гравимеханике, специалист по взрывным устройствам и... вот еще что. Специалист по измененным состояниям психики.

Брови Куракина чуть дрогнули.

— Это как?

— По правде сказать, сам толком не знаю. Посмотрите среди врачей-наркологов, что ли... Кто-то, кто разбирается в аффективных действиях, в действиях в состоянии наркотического бреда... В гипнопрограммировании — это еще лучше.

— Понял, — с сомнением сказал Куракин.

— Три человека. Группа «Буки» — скажем, тоже три человека. Этим суждено рыться в архивах, картотеках, поднимать, когда понадобится, пыль ушедших лет. Группа «Веди» — обычные детективы. Ну, не обычные, конечно, а получше. Думаю, нам будет зеленая улица, дадут любых. Четыре человека. И группа «Добро» — скажем, шесть человек. Наша охрана. И на них же, в случае необходимости, выпадет силовое взаимодействие с возможным противником.

Я намеренно пропустил четвертую букву алфавита. В подобных случаях я всегда поступал так. Пусть нашим боевикам уже само название их отряда постоянно напоминает о цели, о смысле их деятельности. А то знаю я — с пистолетом в руке, под пулями очень легко сорваться в бестолковую ненависть. Были прецеденты.

— Подработайте состав пофамильно, Федор Викентьевич. А я посмотрю. Часа вам хватит?

— Попробую.

— Попробуйте. Я буду здесь.

— Разрешите идти?

— Да, конечно. Какие уж тут политесы.

Дверь за ним закрылась, и снова в уши будто впихнули по целому мотку ваты. Глаза жгло. Словно я отсидел глазные яблоки. И начинала болеть голова — запульсировало то ли в затылке, то ли в темени. Скорее всего, и там, и там. За окнами не светлело, хотя уже шло к четырем. Как часто бывает, вместо белых ночей природа подсовывала нам черные тучи.

Очень хотелось уже позвонить Лизе. И Стасе. И той, и другой. Просто узнать, как они там. Нет, пожалуй, сначала

Стасе. За нее я беспокоился больше, она могла простудиться в аэропорту.

Что это я там ляпнул государю о тяготах, переживаемых математиками при решении задач о многих телах? Вот уж действительно. Что телах, то телах.

Нет, в такой час звонить домой — в тот ли дом, в этот ли — совершенно немыслимо. И я позвонил в Лодейнопольский отдел — уж там-то наверняка кто-нибудь не спит.

Там действительно не спали, более того, дожидались звонка из столицы. Сбор фрагментов гравилета был прекращен в двадцать три сорок семь. То, чего не нашли, уже не найдет никто, разве что по случаю, — дождь, земля размокла, болота вздулись... Все, что удалось отыскать, с максимальной осторожностью сложено под крышей, в приемной отдела и на лестнице. Лодейнопольцы сами даже не пытались как-то анализировать найденное, даже грязь не счищали, боясь что-то упустить или видоизменить ненароком. Я одобрил и сказал, что не позже полудня эксперты будут.

Так. Чуть не забыл. То есть совершенно забыл; попервоначалу подумал, а потом забыл в суматохе — и понятно, собственно, почему. В работоспособность этой версии я не верил. Но для очистки совести решил раскрутить ее до конца. Чем черт не шутит. Позвонил в шифровальный — там дежурство круглосуточное, не то что дома.

Впрочем, у дома иные прелести.

— Трубецкой говорит.

Там уже знали, что это значит.

— Вашингтонскому атташе Каравайчуку. «Строго секретно. Срочно. Постарайтесь как по официальным каналам, так и любыми иными доступными вам средствами узнать, не происходило ли когда-либо, особенно в последнее время, попыток диверсий либо террористических актов в сфере североамериканской части проекта «Арес-97». Не имеет ли ФБР данных о готовящихся в настоящее время или предотвращенных в прошлом акциях подобного рода. Мотив не камуфлируется: МГБ России в связи с катастрофой гравилета «Цесаревич» отрабатывает версию, согласно которой некие силы оказывают противодействие реализации проекта в целом. Центр». Немедленно зашифруйте и отправьте.

С этим тоже пока все.

Что же меня так насторожило? Слепая убежденность в

том, что товариш по борьбе не способен на преступление, — это, конечно, лирика; хотя и ее сбрасывать со счетов не стоит, но полагать, будто человек, когда-то давший обет «всяким своим умыслом и деянием по мере сил и разума стремиться к вящей славе рода человеческого», может порешить ближнего своего, лишь сойдя с ума, — все же перебор. Но ведь было еще... Как сказал государь? «Странности были замечены в его поведении незадолго до катастрофы». Вот. Какие странности? Почему Ламздорф ничего подробнее не сказал? Вздор, вздор, хорошо, что не сказал, надо лететь и разбираться самому. Еще четыре часа ждать. Хуже нет — ждать. И что особенно обидно и тягостно — сейчас делать нечего, а придет утро, и хоть разорвись: и Лиза, и Стася, и Тюратам, и Лодейное Поле...

Дверь открылась, и влетел, помахивая листком бумаги, радостный Куракин.

— Есть такой специалист! — крикнул он, широко шагая к столу. Уселся, кинул ногу на ногу и пустил ко мне через стол лист с рядами фамилий. — Странно даже, что мы сразу не сообразили. Это от бессонницы, не иначе. Я поначалу даже обиделся — заданьице, думаю, типа зашибись. Пойди туда — не знаю куда. Но компик все держит в бестолковке. Вольдемар Круус, помните? Он деблокировал память гипноамнезийникам, проходившим по делу «Зомби».

Еще бы не помнить. Действительно, странно, что не сообразили сразу. Не раскачались еще. Круус — блестящий психолог.

— Другое дело, — сменил тон Куракин, — я не понимаю, зачем он вам понадобился... в данном случае. Вот список, посмотрите.

— Уже смотрю, — ответил я, вчитываясь в фамилии. — Так, «Аз» — отлично... угу...

Куракин был явно доволен собою. Управился почти на четверть часа раньше срока.

— «Буки» — согласен. Молодцом, Федор Викентьевич.

Он цвел. От сонной припухлости щек, что я отметил час назад, не осталось и следа.

— «Веди» — согласен. Отличные ребята. «Добро»... Стоп. Тарасов?!

— Что такое? — растерялся Куракин.

Я поднял лицо от списка. Только таких вот проколов не

хватало нам с самого начала. Ужасно не хотелось устраивать разнос тому, кого минуту назад заслуженно хвалил, но...

— Он же буддист!

Майор молчал, хлопая ресницами. Кажется, он еще не понимал.

— Кто дал вам право, майор Куракин, ставить человека в ситуацию, в которой от него почти наверняка потребуется выбирать между долгом по отношению к требованиям его веры и долгом по отношению к делу и соратникам? Вы что, не понимаете, к какой психологической травме это может привести?

Куракин на глазах становился красным как рак.

— Я уж не говорю об интересах дела. Тарасов — прекрасный сыскарь, спору нет, но при огневом контакте с возможным противником вполне может засбоить. А это не шутки!

У бедняги даже лоб вспотел. А глаза сразу погасли — стали как у снулой рыбы.

— Виноват, господин полковник, — безнадежно проговорил он.

— Такие мелочи могут дорого стоить. А кандидатура хорошая, давайте перебросим его в «Веди». А на его место поставим, например, Веню Либкина. Я его помню по Тарбагатаю, отличный боец.

— Он в отпуске, — тихонько сказал Куракин.

Я взял свой тропический пиджак за лашканы и помахал ими, как крыльями.

— Вообще-то я тоже в отпуске... Ну да ладно. Пусть кто-нибудь иной, посмотрите сами. Веня тоже устал.

Уселся обратно, подпер гудящую голову обоими кулаками и стал читать дальше.

Список завершал Рамиль Рахчиев, и я снова улыбнулся. Это уж то ли майор хотел сделать мне приятное, то ли мальчик еще вчера, слышав, что дело дают мне, загодя напросился сам. Он старался повсюду быть ко мне поближе, и, признаюсь, я сам испытывал к молодому крымчаку нечто вроде отцовских чувств. С отцом Рамиля, крупным океанологом Фазилом Рахчиевым, я познакомился восемь лет назад; обстоятельства знакомства не слишком располагали к нежным чувствам: кто-то из экипажа «Витязя», пользуясь тем, что у науки нет границ и корабль заходит в самые разные порты, переправлял на нем разведданные для, как быстро удалось

выяснить, иранской спецслужбы, а когда мы сели вражине на хвост, он умело и удачно постарался навести подозрения на Рахчиева, благо тот был единственным мусульманином на судне. Но я не купился, и мы с Фазилем подружились, и я стал желанным гостем в его доме, в крымской деревеньке Отузы.

Блаженно и мечтательно улыбаясь листу бумаги, я свесил голову меж кулаков. Три года подряд мы с Лизой и Полей гостили у них летом, снимали двухкомнатный коттедж с верандой в полуверсте от моря, в уютнейшей Отузской долине, у самого Карадага. Как сладко было ехать в насиженное, быстро ставшее родным местечко — катить по шоссе от Симферополя через Карасу-базар на Феодосию, за Узун-Сыртом поворачивать направо... и на каждом перекрестке пропеченные солнцем крымчаки прямо из распанутых багажников своих авто наперебой предлагают ледяной кумыс и благоуханные медовые дыни. Море дивное, природа красоты удивительной; на весельной лодчонке плавали с визжащей от восторга Полькой к Шайтановым воротам, в золотом рассветном мерцании поднимались на Карагач, к Скалам-Королям, встречать безмятежно всплывающий из-за Киик-Атлама солнечный диск, купались в карадагских бухтах до истомы... а уложив Полину спать, убегали с Лизой за Медовую скалу и в двух шагах от поселка, но уже в дикой, скифской степи, прямо под пахнувшими сухой полынью звездами молодо любили друг друга. А по утрам Полушка-толстушка, нахалка такая, — в ту пору она действительно была, мягко говоря, полновата, это сейчас вытянулась в лозиночку, — кралась к хозяйскому дому подсматривать, как знаменитый океанолог, подстелив под колени коврик и повернувшись лицом на юго-восток, оглаживая узкую бороду, что-то беззвучно говорит и по временам бьет поклоны; и, возвращаясь, делала страшные глаза и громогласным шепотом рассказывала: «А потом он делает знаешь как? Он делает вот так! А потом вот так лбом — бум! Совершенно все не по-нашему! А губами все время: бу-бу-бу! бу-бу-бу! Так красиво! Пап, а если я уже крещеная, я могу стать мусульманкой?» — «Маму спрашивай». — «Мам?» — «Нельзя». — «Ой, как жалко! Ну почему нельзя сразу и то, и то?!» А по вечерам часами сидели за длинным столом у хозяйского дома, под виноградными сводами, — «немножко кушали»; Роза Рахчиева делилась секретами татарской кухни, Лиза —

секретами русской и прибалтийской; Фазиль рассказывал про моря, я — про шпионов, и кончавший школу, стремительный и сильный, как барс, Рамиль слушал, думал и выбрал героем меня. Как же он счастлив был, когда после выпуска из училища оказался в Петербурге, со мною рядом!

А после долгого ужина, уложив Поленьку спать, убегали с Лизой купаться по лунной дорожке, и прямо на знаменитой карадагской гальке или даже в воде...

— Господин полковник!

Куракин осторожно тронул меня за плечо. Я вздрогнул; и тут-то голова моя наконец провалилась между разъехавшимися кулаками.

— А? Что?

— Господин полковник, проснитесь!

4

— Лизанька, доброе утро.

— Саша, милый! Здравствуй! Откуда ты?

От облегчения у меня даже колени размякли. Я присел на стол, чувствуя, что губы сами собой начинают улыбаться. Голосок родной, обрадованный, безмятежный. Все хорошо.

— Представь, я здесь. Но ненадолго.

— Что-нибудь случилось?

И встревожилась сразу по-родному. Не отчуждаясь, а придвигаясь ближе.

— Да нет, пустяки. Я заскочу сейчас домой на часок. Может, ты не пойдешь в универ нынче... или хотя бы отложишь?

В летнее время Лиза давала консультации по европейским языкам для абитуриентов. Остальной год там же преподавала. И занятие доброе, и все ж таки еще какие-то деньги. Лишних не бывает.

— Постараюсь. Сейчас позвоню на кафедру.

И ни одного лишнего вопроса, умница моя.

— Как Полушка?

— Все хорошо. Новую сказку пишет всюю! На тех, кто умел думать только о еде, напал великан-обжора...

— Изыщненько. Ох, ладно, что по телефону-то... Бегу!

— Ты голодный?

— Не знаю. Наверное, да.

— Поняла, сейчас распоряжусь. Жду!

Обычно я ходил домой пешком. Монументальные места, дышащие по-северному сдержанным имперским достоинством; из всех городов, что я видел, такую ауру излучают лишь Петербург да Стокгольм. Через Дворцовую площадь, под окнами «чертогов русского царя», как писал Александр Сергеевич когда-то, и на выбор: либо через мост к университету и Академии художеств, мимо возлюбленных шербатовых сфинксов, либо по набережной мимо львов к Синоду, либо через Адмиралтейский сквер и Сенатскую площадь, а дальше опять-таки через мост, Николаевский; потом, похлопав по постаменту задумчивого Крузенштерна, еще чуток вдоль помпезной набережной и направо, к небольшому ухоженному особняку в Шестнадцатой линии. Но теперь не было времени, я вызвал авто.

Я как обнял ее, так и не мог оторваться. Светлая, свежая, нежная, и даже угловатый деревянный крестик из-под ее халата вклинился мне в грудь по-родному. Она прятала лицо у меня на груди и стояла смирно и думала, наверное, о бедных абитуриентах, которые придут к урочному часу и с раздражением узнают, что занятия перенесены на полдень. Я слышал, как колотится ее сердце, и сам терял дыхание. Скользнул ладонью по ее гибкой спине, потом еще ниже, плотнее прижимая ее тело к своему. Возбуждение этих диких суток сказывалось во всем; Лиза, послушно прильнув бедрами, чуть запрокинулась, подняла порозовевшее лицо, заглядывая мне в глаза, и с задорно утрированным изумлением спросила:

— Ой, что это там такое острое?

На ранний шум из двери ведущего в детскую коридорчика высунулась Поля и, мгновенно срисовав обстановку, с визгом скатилась по лестнице к нам. Скоро маму догонит ростом. Широко распахнула тоненькие руки и загребла в объятия нас обоих. Она с ранних лет очень любила, когда мы обнимаемся, и всегда норовила присоединиться. Иногда даже сама начинала возглавлять: «Что это вы ровно брат с сестрой сидите? А ну обнимитесь! Поцелуйтесь!» И когда мы, посмеиваясь, соприкасались губами, восторженно и хищно взвизгивала, с размаху прыгала к нам на колени, одной рукой обнимала за шею меня, другой — маму и совалась мордашкой к нам, чтобы целоваться а-труса.

— Папенька приехал! Папчик! Наш любименький! А я не успела дописать сказку! А ты уже отдохнул?

— Да, Полька, — ответил я. — Я уже отдохнул.

— Здорово, мам, правда? Как быстро!

— Долго ли умеючи, — сказала Лиза. У нее было счастливое лицо. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня в небритый подбородок.

5

Гудок. Гудок. Гудок. Еще гудок. Неужели успела куда-то уйти? Мутное марево сотен приглушенных разговоров и сотен шаркающих шагов висело в громадном зале, время от времени его продавливал шкворчащий голос громкоговорителей, объявляющих рейсы. Невозмутимый доктор Круус, свесив в длинной руке строгий чемоданчик, стоял поодаль и все посматривал на часы. Шалишь, до посадки еще восемь минут. Климов и Григорович из группы «Веди», азартно жестикулируя, что-то доказывали друг другу, присев прямо на ступеньку лестницы, ведущей на второй этаж.

Щелчок.

— Стасенька, алло! Доброе утро!

— Саша! — Голос измученный, больной. — Господи, ну нельзя же так! Я всю ночь не спала, ждала, когда ты позвонишь...

Вот тебе.

— А я, наоборот, боялся разбудить, думал — отдыхаешь.

— Да уж отдохнула, поверь. Врагу не пожелаешь. Ты где?

— В аэропорту. Улетаем сейчас по делам.

— Надолго?

— Точно не знаю. На несколько дней, не больше.

— Ты успел поспать?

— Да, конечно.

— Домой забежал? — Вопросы заботливые, а тон чужой. «Повинность исполняю... от сердца улетаю...» Может, это она уже исполняет повинность? При таком тоне можно отвечать лишь, что все в порядке.

— Все в порядке. Забежал, конечно.

— Тебя покормили? В сухое переоделся?

— Все-все в порядке. Ты-то как?

— Да пустяки.

Это могло значить и что сырость опять ударила по бронхам. И что какой-нибудь журнал опять задерживает с выплатой и в доме нет денег. И что угодно. Очень значимое слово «пустяки», когда его произносят так. Но пытаться о подробностях бесполезно — не скажет нипочем. Остается либо бесильно гадать до зуда под черепом, либо махнуть рукой: дескать, все равно сейчас ничем помочь не могу. Но так вот раз махнешь, два махнешь, три махнешь — и близкий человек становится чужим. А раз погадаешь, два погадаешь, три погадаешь — и сбрендишь. Широкий выбор.

— Стасик, я как только вернусь — сразу позвоню.

— Звони.

— Знаешь, ужасно хотелось забежать прямо посреди ночи...

— Ну и забежал бы.

Я глотнул воздуха.

— Стасик, но ты так ушла в порту...

— Обычно ушла, ногами. Саша, тебе, наверное, уже пора. — Она словно разглядела со своего Каменноостровского, что Круус опять отследил время и, тактично не глядя в мою сторону, сделал знак сыскарям. Те поднялись, Климов набросил на плечо ремень яркой молодежной сумки с нарисованными на раздутом боку пальмами и девицами в купальниках, Григорович, прядая плечами, поудобнее упокоил на спине старомодный рюкзак. Конспираторы.

Я не знал, что сказать. От беспомощности слезы наворачивались.

— Береги себя, Сашенька, умоляю, — глухо сказала Стася и повесила трубку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЮРАТАМ

1

Жара.

Зыбко трепещет горизонт. Степь еще не сожжена, еще не стала мертвенно-коричневой и пыльной, но уже тронута жесткой желтизной. Раскалено бледно-голубое предвечернее небо; ни облачка на нем, лишь темная крапинка ястреба перетекает через зенит.

От Каспия сюда, отсюда к Алтаю, через Алтай в Монголию и дальше, дальше, обрываясь лишь вместе с материком, тянется этот изумительный, не знающий себе равных, раскаленный и утрамбованный тысячелетним солнечным полководьем травяной океан.

Великая степь. Грандиозный котел, кипевший двадцать веков. Сколько раз он выплескивал обжигающие оседлый мир волны! Великая культура — не столько, быть может, по конечным достижениям своим — хотя нам ли, забившимся в тяжелые утесы неподвижных домов, судить об этом, — сколько по своеобразию и по длительности этого своеобразия.

Едет гуннов царь Аттила...

Где-то здесь — ну может, немного южнее — прошли когда-то те, кто, поначалу залив половину Руси кровью, затем выдержав волну ответной экспансии, давно стал с этой Русью как бы двумя сторонами одной медали, драгоценной медали, которой скупая на призы история награждает тех, кто сумел выжить и сжиться.

Священная земля.

Словно бы в задумчивости отойдя подальше от остальных и улучив момент, когда на меня не смотрели, я опустился на колени и быстро поцеловал эту сухую и крепкую, как дерево, землю. Поднялся. От ангаров уже шпарил, подпрыгивая на невидимых отсюда неровностях, открытый джип; уже виден был начальник тюратамского ГБ полковник Болсохоев, стоявший в кабине рядом с шофером и заметно подпрыгивавший вместе с джипом. Одной рукой он вцепился в ветровое стекло, другой придерживал за козырек фуражку. Я медленно пошел ему навстречу. Джип подлетел и, передернувшись всем телом, остановился как вкопанный; Болсохоев, с заранее протянутой рукой, соскочил на землю. Мы обменялись рукопожатием.

— Здравствуйте, Яхонт Алдабергенович.

— Здравствуйте, Александр Львович, с прибытием. — Он тронул фуражку, до этого, видимо, нахлобученную слишком туго, чтобы не сдуло. — Да, Ибрай вас очень точно посадил. С этого самого места взлетал «Цесаревич». До ангаров триста двадцать метров. Тягач, который выкатил гравилет со стоянки на поле, вел Усман Джумбаев. И по его собственным словам, и по всем свидетельствам — к аппарату он не подходил. Привел тягач из гаража — вон там наши гаражи, слева, — не

выходя из кабины дождался, когда зацепят, вывел на поле, дождался, когда отцепят, опять-таки не выходя из кабины, и вместе с техником Кисленко вернулся в гараж.

За разговором мы незаметно подошли к авиетке, доставившей нас из Верного. Я представил Болсохоеву своих людей, притаившихся от солнца в тени небольшого, наполовину остекленного корпуса.

— Я еще нужен, Яхонт Алдабергенович? — спросил молодой пилот, высунувшись из кабины.

Болсохоев вопросительно посмотрел на меня. Я жестом отпасовал вопрос обратно к нему.

— Тюратам — вот он, три версты, — сказал Болсохоев, махнув рукой в сторону раскинувшегося по северному горизонту, плавающего в мареве массива белоснежных многоквартирных домов. — Там, — полковник ткнул на юго-запад, — стартовые столы, это подальше, верст семнадцать. Но, как я понимаю, нам туда не нужно?

— Пока не нужно.

— Тогда лети, голубчик, — сказал Болсохоев пилоту.

Тот кивнул, повел ладонью прощально и втянул голову в кабину. Параболические приемники на гребне авиетки шевельнулись, оживая, уставились в одну точку, и авиетка беззвучно взмыла вверх. Все стремительнее... вот слепяще моргнул отсвет солнца, отраженный каким-то из стекол кабины, вот уже стала темной крапункой, как ястреб, — и пропала.

— Рассказывайте дальше, Яхонт Алдабергенович, — попросил я.

— Степа Черевичный все утро возился в соседнем к «Цесаревичу» гнезде, — кивнув, продолжил Болсохоев. — Один наш поисковик, «Яблоко», третьего дня вернулся с капремонта, а Степа такой придира... Сенсор какой-то плохо реагировал, западал контакт, что ли, и он перебирал схему. До «Цесаревича» ему было шаг шагнуть. Но в ангаре же всегда народ. Другие техники и вдобавок охранник, выставленный у «Цесаревича» после техосмотра, божатся, что Черевичный из моторного отсека «Яблока» не вылезал. После отлета наследника он там еще часа четыре возился, даже на обед опоздал. Наконец, сам охранник, Вардван Нуриев. Девять лет беспорочной службы. В показаниях свидетелей — мельком видевших его техников, рабочих, ходивших туда-сюда, есть, конечно, дырки в минуту-две, но в целом все сходятся на том, что вплот-

ную он к гравилету не подходил. И потом... за полчаса до того, как заступить на пост, он пришел на службу, через проходную пришел, с совершенно пустыми руками.

— Взрывное устройство мог ему передать, например, хоть тот же Черевичный. Оно могло быть заранее припрятано, скажем, где-то в «Яблоке». Достаточно полуминуты...

— Да, так тоже могло быть. Версий много, но наиболее вероятным представляется иное. Однако, если позволите, Александр Львович, сначала у меня к вам вопрос.

— Ради бога, Яхонт Алдабергенович, ради бога.

— Факт минирования «Цесаревича» абсолютно доказан? — Болсохоев голосом подчеркнул слово «абсолютно». — Не получится так, что мы понапрасну...

— А почему вы спросили, Яхонт Алдабергенович? У вас есть какие-то сомнения?

— Да как сказать... — смущенно пробормотал полковник и вдруг, решившись, выпалил: — Не то что сомнения, а просто в голове не укладывается!

Круус понимающе поджал губы и отвел взгляд, сокрушенно кивая. Климов хмыкнул, терзая желтыми зубами дешевую папиросину зловещего вида. Григорович, прикрываясь от солнца ладонью, следил за ястребом, вязнувшим в блеклой синеве.

— Вот мы с вами говорим сейчас будто о чем-то довольно заурядном, дело как дело... а чувствую я себя как в бреду, как в сне кошмарном! Вот так вот за здорово живешь грохнуть семь человек — и мало того, Александра Петровича! Его же все любили тут... Может, просто все-таки несчастный случай?

— Увы, Яхонт Алдабергенович, — ответил я. — Формально еще не доказано, но физики уверяют, что мотор никак не мог дать взрыва. Я утром в Краматорск специально звонил, говорил с тремя инженерами гравимоторного завода — нет. Все как один: нет. Ну а что до факта — мои люди спозаранку вылетели в Лодейное Поле, чтобы тщательно осмотреть собранные фрагменты корабля. От вас попробуем позвонить туда — может, что-то уже установили.

Болсохоев помолчал.

— Ну, тогда в машину, что ли? — сказал он угрюмо. — Едем к ангарам?

Не торопясь, мы двинулись к джипу. Первым сообразил Климов:

— Не поместимся.

— Да, действительно. — Болсохоев даже сбился с шага. — Простите... я одного вас ждал, Александр Львович. Что-то мне не так передали.

— Идемте пешком все вместе, — предложил я. — Как раз по дороге успеете окончательно обрисовать ситуацию.

Болсохоев с готовностью кивнул и сделал ждавшему в джипе шоферу освобождающий жест рукой. Джип, тихонько урчавший на холостом ходу, начальственно рявкнул и прыгнул с места, круто развернулся, кренясь и пружинисто подскакивая, и понесся к гаражам.

— Подозрения прежде всего падают на Игоря Фомича Кисленко только лишь потому, что он, в отличие от перечисленных мною троих, исчез бесследно сразу после отлета «Цесаревича», — заговорил Болсохоев. — С другой стороны, он дважды на протяжении последних минут перед взлетом оставался с аппаратом практически наедине — ни из аппарата, ни из тягача его не было видно. В ангаре он один зацепил за носовые крючья два буксировочных троса; тут его, правда, мог видеть охранник. Охранник за этой операцией в действительности не следил, но Кисленко этого знать не мог. Проходивший мимо механик Гушин видел мельком, как Кисленко возится со вторым тросом, но ничего подозрительного в его действиях не заметил, мы беседовали с Гушиным очень тщательно. И, наконец, самый вероятный момент — отцепление тросов. Это две-три минуты, и вокруг — никого. Магнитную, например, мину приклепнуть где-нибудь у кормы — секундное дело, если знать, где ей не угрожает быть сорванной воздушным потоком. Кисленко, опытный технарь, такое укромное место, безусловно, мог придумать.

Действительно, было во всем этом что-то от кошмарного сна. В разговоре то и дело мелькало: опытный технарь, беспорочная служба, проверенный человек, надежный работник... И ведь иначе и быть не могло — Тюратам! А в то же время семь ни в чем не повинных людей погибли страшной смертью.

А каково сейчас великой княгине Анастасии? Красавица, умница, настоящий друг; мне довелось танцевать с нею на последнем рождественском балу — как она ловила взгляд мужа!

Каково было бы Лизе или Стасе, если бы меня...

А мне, если бы ее или ее?

До чего же беззащитно человеческое тело! Даже лаская, можно ненароком сделать больно; что уж говорить о намеренном вреде. Как эта божественная капелька нуждается в опеке, в заботе; сколько ослепительно прекрасных чувств и поступков висит на волоске, в полном рабстве у тонюсенькой кожицы, у ничтожных грязных бляшек на стенках сосудов, у какой-то там синовиальной жидкости, у потайной капли гормонов — беречь, беречь друг друга, помогать и прощать, пестовать, как больных, ведь все мы больны этой плотью, хрупкой, как раковина улитки, и жадной до жизни, как жаден до солнца зеленый лист. Иначе просто не выжить!

— А что, собственно, значит — исчез? — спросил я.

— Исчез — это исчез, и все тут, — вздохнул Болсохоев. — Вскоре после отлета пошел домой обедать — он живет тут относительно неподалеку, на ближней окраине Тюратама: от остановки автобуса, который ходит между аэропортом и городом, ему ходу минуты три, поэтому и обедал он обычно не в столовой, а дома... И тут сообщение получаем из столицы. Ну, пока раскрутились — еще час прошел, не меньше. Туда, сюда — нет Кисленко. Все под рукой, а его, как у вас в России говорят, будто корова языком слизнула. С работы ушел, домой не пришел. Мы на вокзал, на автовокзал, в пассажирский аэропорт, всем кассирам, всем постовым суем фотографию — нет, не помнят. Конечно, это не гарантия — мог проскочить, и его не запомнили, или на попутках удрал, да мало ли... Но странно все же. И ведь какая тут еще несурязица — он, как обыск показал, перед тем как из дому на работу идти в то утро, все документы уничтожил.

— Как это? — опешил я.

— Водительские права сжег — корочки обгоревший кусок нашли в пепельнице, и все. Над паспортом куражился, будто озверел, — рвал по странице и жег, орла изрезал ножиком и тоже подпалить хотел, но обложка обуглилась только, жесткая... В той же пепельнице еще зола, уж не поймешь от чего.

— Как же он на работу попал?

— Пропуск, значит, сохранил.

— А вы этот пропуск по городу поискать не пытались? В мусоре, в урнах... и просто так, на тротуаре каком-нибудь, на лестнице?

— Признаться, нет.

— Если быть логичным, он сразу после дела должен был

избавиться и от последнего из столь ненавистных ему документов. Скажем, прямо в автобусе швырнул под сиденье и еще каблуком потоптал... или в канаву на обочине. Нет, пожалуй, не найти, если в канаву. А в автобусе — пожалуй, найти, Яхонт Алдабергенович! И в урне найти!

Он с сомнением покачал головой. Зато Круус удовлетворенно засопел, закивал.

— А в больницах вы искали его?

— А как же! Все три стационара, все травмопункты, профилакторий... даже в моргах смотрели. Нету. И происшествий никаких не было — ни драки, ни наезда, ни убийства, ни несчастного случая. То, что после дела его кто-то ликвидировал, мы сразу подумали. Нигде ничего.

— Да, понимаю. Но... я имел в виду кое-что иное. Психиатрическая есть в Тюратаме?

Болсохоев удивленно покосился на меня.

— Нет.

— А пункты неотложной наркологической помощи?

— Как же не быть, семь штук. Нет-нет да и попадетесь пьяненький... да и дурь просачивается иногда из Центральной Азии. Думаете, техник первого ранга Кисленко, пустив на воздух наследника российского престола, так напоролся на радостях в ближайшей подворотне, что даже до дому не дошел и вот уж сутки прочухаться не может?

— Не совсем так. Но вот что мне покоя не дает. Преступление, которое выглядит немотивированным, совсем не обязательно должно иметь неизвестный нам мотив. Оно и на самом деле может оказаться немотивированным.

За спиной у меня опять раздалось удовлетворенное сопение Крууса. Болсохоев обескураженно провел ладонью по лицу.

— Упустил, — признался он. — Не пришло в голову. А ведь верно: Асланов, последним видевший Кисленко накануне, обмолвился, что тот был как бы не в себе!

— Вот видите. Надо будет очень тщательно поговорить со всеми, кто его видел в последние сутки перед катастрофой. И с его домашними. Есть у него домашние?

— Жена и мальчишек двое.

— Значит, и с женой. Теперь вот что. — До ангаров оставалось совсем немного, и я хотел покончить с этим шекотли-

вым для меня вопросом, пока вокруг минимум людей. — Мне сказали, что Кисленко — коммунист.

— Да.

— Давно?

— Двенадцать лет.

— Кто принимал у него обеты?

— Алтансэс Эркинбекова. — Голос Болсохоева приобрел уважительный, едва ли не благоговейный оттенок.

— Здесь, в Тюратаме?

— Да.

— Нам с нею нужно будет поговорить.

— Это невозможно, Александр Львович. Три года назад она умерла. — Болсохоев испытующе покосился на меня, видимо, размышляя, как я сообразил секундами позже, не сочту ли я то, что он собирался сказать, за неуклюжую попытку подольститься к столичной штучке — ему, конечно, сообщили уже, что эмиссар центра по вероисповеданию является товарищем подозреваемого, — а потом решительно закончил: — Хоронили всем городом как святую.

— В таком случае нужно будет поговорить с нынешним настоятелем Тюратамской звезды, — невозмутимо сказал я.

Разговор прервался. Последние три десятка метров мы прошли молча; распаренный северянин Круус, не в силах долее сдерживаться, то и дело вытирал лицо просторным, чуть надушенным платком. Открыв перед нами дверь административного флигеля, Болсохоев, пряча глаза, пробормотал невнятно:

— И все-таки, знаете... Кисленко был непьющий.

2

В кабинете начальника охраны аэродрома, где мы временно обосновались, было сравнительно прохладно; шелестел и поматывал прозрачно мельтешащей головой вентилятор. Крууса в сопровождении одного из местных работников, молодого ротмистра-казаха, явно счастливого тем, что ему выпало участвовать в расследовании столь поразительного злодеяния, я отправил по наркопунктам, Григоровича — домой к Кисленко, наказав осмотреть все доскональнейше не просто так, а именно на предмет поиска других следов аномального,

алогичного поведения подозреваемого — уж очень меня насторожили эти горелые документы, Климову велел осмотреть рабочее место Кисленко в поисках любого тайника либо следов изготовления мины. Трое ребят Болсохоева двинулись, бедняги, за пропуском — нудная и малоперспективная работа, но пренебрегать нельзя было ничем. Кабинет опустел — остались сам Болсохоев да я. Он, отдуваясь, чуть вопросительно покосился на меня и расстегнул китель, потом — верхнюю пуговицу рубашки. Уселся напротив вентилятора, сокрушенно покачивая головой от всех этих дел, и на какой-то миг показался мне удивительно похожим на вентилятор — такое же круглое, плоское, понурое и доброе лицо. Только от вентилятора веяло свежестью, а от Болсохоева — жаром. Я вытер потный лоб тыльной стороной ладони, присел на край стола возле телефонов, положил руку на трубку.

— Вот еще что я хотел спросить вас, Яхонт Алдабергенович.

— Слушаю вас, Александр Львович.

— Собственно, если бы что-то было, вы бы мне и сами сказали... но все же. Не было ли каких-то попыток помешать работе на столах или... каких-то покушений на занятых в «Аресе» специалистов...

— Конечно, сказал бы, — ответил Болсохоев. — Это буквально первое, что и мне пришло в голову. А раз первое — значит, наверное, так весь мой опыт показывает. Ничегошеньки, Александр Львович. Чисто. Если бы было, я бы знал... и все равно сразу поговорил на эту тему и с начальником охраны космодрома, и с молодцами, отвечающими за безопасность ведущих специалистов. Ничего. Ни шантажа, ни подметных писем, ни покушений, ни диверсий. Это не «Арес».

— Откровенно говоря, я тоже так думаю, — проговорил я и поднял трубку. Набрал на клавиатуре код Лодейного Поля, потом номер телефона, потом сразу — код, включающий экранировку линии. Посредине клавиатуры зажглась зеленая лампочка, и в трубке тоненько, чуть прерывисто засвистело — значит, разговор пошел через шифратор и подслушивание исключено.

Повезло. Подошел сразу Сережа Стачинский из группы «Аз».

— Это Трубецкой. Что у вас, Сережа? Осмотрелись?

— Так точно, Александр Львович. Все правильно, никаких сомнений. Диверсия.

Так. Я на секунду прикрыл глаза. Ну, собственно, никто и

не сомневался. И все-таки прав Болсохоев — не укладывается в голову. Раздвоение личности: уже семнадцать часов занимаюсь преступлением, а в глубине души до сих пор не могу поверить, что это действительно преступление, а не несчастный случай.

— Вы уверены? — все-таки вырвалось у меня.

Стачинский помедлил.

— Господин полковник, ну не мучайте себя, — проговорил он мягко. — Сомнений нет.

— Какая мина? Чья? Удалось установить? — Я забросал его вопросами, и тон, кажется, был немного резковатым, но мне очень не хотелось выглядеть раскисшим.

— Фрагменты, конечно, в ужасном состоянии, — ответил Стачинский. — Мы перевезем их в Петербург и все осмотрим еще раз в лаборатории. Но предварительное заключение такое: мина-самodelка, кустарного производства. Патрон с жидким кислородом, плюс кислотный взрыватель, плюс магнит, плюс обтекатель. Все гениальное просто. Такой пако-стью нас всех можно извести, ежели поставить это дело на поток. Нашлепнута была под левым параболоидом тяги — параболоид сбрило в долю секунды, гравилет сразу закрутило вдоль продольной оси... в общем, вот так.

— Понятно, — сказал я. Голос чуть сел, я кашлянул осторожно.

— Что? — не понял Стачинский.

— Ничего, Сережа, это я кашляю. Горло перехватило от таких новостей. Когда вы в Петербург намерены двигаться?

— Часа через три. Я только что закончил осмотр. Сейчас начинаем паковаться — уложимся и вылетаем сразу.

— Вы уж там... осмотрите корабль перед вылетом.

— Тьфу-тьфу-тьфу! Правда, собственной тени пугаться начнешь. Адово душегубство какое-то.

— Еще вопрос, Сереженька. Сколько времени нужно, чтобы укрепить такой гостинец на обшивке?

Стачинский хмыкнул.

— Две с половиной секунды. Секунда, чтобы запустить руку за пазуху или в висящую на плече сумку, секунда, чтобы вынуть, и полсекунды, чтобы, поднявшись на цыпочки, сделать «шлеп!».

— Понял, — опять сказал я. — Ладно... Как там погода?

— Спасибо, что хоть не льет. А у вас?

— А у нас — льет с нас, — ответил я. — Ну, счастливо. Если в лаборатории что-то выяснится дополнительно — звони. Я пока обратно не собираюсь.

Повесил трубку и поднял глаза на смиренно ждущего Болсохоева — тот жмурился, подставляя лицо вентилятору; волосы его, черные и жесткие, ершились и таниевали в потоке воздуха.

— Ну вот, — сказал я. — Взрывное устройство, которое мог бы собрать и ребенок. Хорошо, что у нас так редки дети с подобными наклонностями. Кислородный патрон и кислотная капсула.

Болсохоев открыл глаза и опять удрученно покивал. Потом вдруг встрепенулся, чуть косолапя — видно, ногу отсидел, — подбежал к телефону и дернул трубку. Я отодвинулся, чтобы не мешать. Болсохоев набрал какой-то короткий номер и, дождавшись, когда там поднимут трубку, темпераментно заговорил по-казахски. Я отодвинулся еще дальше; тут уж я, черт бы меня побрал, не мог сказать даже «дидад гмадлобт». Отвратительное ощущение — безъязыкость; сразу чувствуешь себя посторонним и ничтожным. Болсохоев делал виноватые глаза, а уловив момент, прикрыл микрофон рукой и шепотом сказал:

— Извините, Александр Львович. Сегодняшний дежурный по складу не понимает по-русски.

— Оставьте, Яхонт Алдабергенович. Это не он не понимает по-русски, а я не понимаю по-казахски. К сожалению. Я к вам прилетел.

Болсохоев чуть улыбнулся, уже слушая, что ему говорят оттуда. Потом что-то сказал, кивнув, и повесил трубку. Помолчал. Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.

— Не далее как позавчера Кисленко получал на складе жидкий кислород. Восемнадцать патронов. На вчерашний день планировался длительный сверхвысотный полет экологического зонда «Озон», это для него.

— Надо проследить судьбу каждого патрона, — сказал я. — Не мог ли кто-то кроме...

— Проследим, — ответил Болсохоев. Помедлил. — Да он это, он, Александр Львович.

— И выяснить, кто дал Кисленко приказ на получение кислорода и когда. — Я снова потер лоб. — Ох, вижу, что он... Давайте свидетелей, Яхонт Алдабергенович. И первым — того, кто видел, что Кисленко «как бы не в себе».

Наладчик Асланов показал, что позавчера, то есть в день накануне катастрофы, он встретил Кисленко у проходной. Видимо, тот возвращался из дома после обеда. Он стоял у внутреннего выхода, уже на территории аэродрома, и разглядывал собственный пропуск, очевидно, только что предъявленный им охраннику. Асланов пошутил еще — дескать, себя на фотографии узнавать перестал, стареешь-толстеешь? Кисленко поднял на него глаза, и они были какие-то странные, погасшие и тупо-недоуменные, словно техник и Асланова, старого своего приятеля и неизменного партнера по домино и нардам, не узнал, вернее, не сразу узнал, а с трудом вспомнил. Асланова поразило лицо Кисленко — оно было усталым и то ли ожесточенным, то ли горестным. «Я было подумал, у него по меньшей мере жена при смерти», — сказал Асланов. Впрочем, это выражение мгновенно пропало, Кисленко овладел собой. Он как-то невнятно отшутился — Асланов даже не запомнил, как именно, — но произнес непонятную, запомнившуюся фразу: «С ума все посходили, что ли...» Асланов, слегка обидевшись, попросил уточнить, но Кисленко, видимо, уже окончательно очнувшись, засмеялся, хлопнул его по плечу и сказал: «Это я о своем». Потом пошел к ангарам. Отзыв о Кисленко в целом — самый положительный: отличный товарищ, прекрасный работник, настоящий коммунист.

Электротехник Чониа показал, что вечером того же дня застал Кисленко в мастерской, тот что-то вытачивал на токарном станке. Кроме него, в помещении никого уже не было. Чониа, зашедшему в мастерскую случайно, в поисках потерянной записной книжки — он нашел ее позже совсем в другом месте, в столовой, — показалось, что Кисленко был смущен и обеспокоен встречей. Чониа ни о чем его не спрашивал, но Кисленко сам пустился в объяснения: дескать, варганит сынишке подарок ко дню рождения... Между прочим, у сыновей Кисленко дни рождения в ноябре и в марте. Но в ходе разговора Чониа об этом не вспомнил — он был озабочен потерей и быстро ушел. Отзыв о Кисленко в целом — самый положительный: такого справедливого, отзывчивого, всегда готового помочь человека редко встретишь.

Сразу трое свидетелей показали, что в утро перед катастрофой Кисленко выглядел сильно возбужденным. Но значения этому не придали тогда — все были в приподнятом настроении, зная, что предстоит встреча с великим князем, че-

ловеком, которого, как я лишний раз убедился, все здесь глубоко уважали. Зато, вернувшись с поля на тягаче, Кисленко преобразился — из него будто пружину какую-то вынули, он оглядывался, как бы не очень хорошо понимая, где он и что здесь делает. Вздрагивал от малейшего шума; когда к нему неожиданно обратились сзади, вскрикнул. Впрочем, он почти сразу ушел. Обедать, так решили все. Отзывы о Кисленко — самые положительные.

В обогатитель регенерационной системы готового к полету «Озона» были установлены все восемнадцать патронов. Запуск был сорван лишь начавшейся в связи с гибелью «Цесаревича» суматохой. Элементарная проверка показала, что один из установленных патронов — пустой, уже отработанный. Устанавливал патроны Кисленко. Накладную на получение кислорода подписал начальник метеослужбы космодрома Сапгир. Полеты такого профиля были довольно обычной практикой: метеорологи тщательно следили за состоянием атмосферы на различных высотах над Тюратамом, пытаясь однозначно выяснить, влияют на нее губительным образом или все-таки нет запуски больших кораблей.

Около восьми вечера мы с Болсохоевым позволили себе прерваться и выпить по стакану кофе с бутербродами. Но не успел я и первого глотка спокойно проглотить, как посыпались очередные новости.

Вернулись ребята Болсохоева и гордо протянули Яхонту Алдабергеновичу пропуск Кисленко. Они нашли его в одном из рейсовых автобусов, ходивших от аэродрома к городу и обратно; нашли бы и раньше, но, как на грех, как раз сегодня этот автобус не вышел на линию, что-то там было не в порядке с коробкой передач. Пропуск валялся на полу под одним из сидений, полуприкрытый отставшей от металлического днища резиновой подстилкой. Он был совершенно цел; очевидно, Кисленко над ним уже не упражнялся. Прихлебывая кофе, я со скорбным удивлением рассматривал лицо на фотографии — обычное лицо славного человека средних лет, испуганно-напряженное, как это всегда бывает на фото в служебных документах, с близорукими морщинками у глаз, с небольшой родинкой на левой щеке, с мягкими губами. Под левый параболоид этот человек поставил мину. Не понимаю, думал я, не понимаю. «С ума все посходили, что ли...» Не понимаю. И тут явился Григорович. Ничего не нашедший Кли-

мов пришел еще раньше и тихо стушевался в углу, у открытого окна, тет-а-тет со своими жуткими папиросами. Григорович тоже ничего не нашел — никаких иных странностей, кроме обгоревших корочек документов. И жена Кисленко, уже не на шутку встревоженная исчезновением мужа и нашей активностью, ничего интересного не смогла для него припомнить. Правда, в ночь перед катастрофой Кисленко почти не ложился; она оставила его в кабинете, с непонятной пристальностью изучавшего позаимствованный у старшего сына школьный учебник «История России в новое время» — почитает с каким-то изумлением, поднимет глаза, шевеля губами, потом опять почитает. Но разве это предосудительно?

А в целом он был как всегда. Очень усталый только. Очень. Опустошенный какой-то. Но она решила, что просто было много работы в связи с отлетом наследника, и ничего спрашивать не стала.

Одну странную фразу он сказал ей, и от этой фразы теперь, задним числом, можно было белугой завывать. Уже уходя поутру на работу в день катастрофы, чмокнув жену в щеку, он улыбнулся как-то необычно жестко и проговорил: «Ну ладно. Иду отдуваться за вас за всех, чистоплюев блаженненьких. Жаль, до самого мне уж не дотянуться». Она спросила, что он имеет в виду, а он не ответил.

Я снова нацелился было на свой бутерброд, и зазвонил телефон. Болсохоев снял трубку, алекнул, послушал и протянул трубку мне.

— Круус, — сказал он.

— Трубецкой, — произнес я в трубку.

— Мы нашли его. — От явного волнения Круус сильнее обычного растягивал свои каучуковые эстляндские гласные. — Приезжайте, это пятый пункт неотложной наркологии. Кисленко очень плох. И хуже всего то, что я не понимаю, что с ним.

3

Кисленко нашли около двух часов дня на улице, неподалеку от остановки автобуса аэродром — город, но не той, на которой он обычно выходил, а двумя позднее; похоже, свою он просто-напросто проехал. Видимо, уже в автобусе ему стало худо, он начал терять разумение, но еще выбрался как-то,

добрел до укромной, притаившейся на берегу арыка, в тени карагачей, скамейки и тут окончательно потерял сознание. В какое время это было — точно сказать невозможно: Тюратам — город рабочий, днем на улице редко кого встретишь. Набредли на Кисленко два гимназиста, шедшие домой после занятий. Кликнули городского. Вот картина: завалившись набок, сидит на лавочке человек, изо рта — струйка слюны, припахивает спиртным, брюки мокрые, моча. Конечно, городской решил, что человек пьян до потери человеческого облика. Вызвал «хмелеуборщиков». Те, хоть случай и редкий, особенно рефлексировать не стали, привезли на пункт, сделали промывание желудка, укол и оставили проспать. Во время перевозки Кисленко бормотал что-то, как бы бредил, но кто же прислушивается в таких случаях? Правда, один санитар, из молодых, видно, ему все это еще в диковинку казалось, зафиксировал на редкость, с его точки зрения, нелепую фразу — нелепостью своей она в память и врезалась. Неразборчиво пробубнив что-то насчет, как он непонятно выразился, «демогадов», Кисленко вдруг очень ясно сказал: «Народу жрать нечего, а вам тут обычных начальников мало, еще и царей опять развели...» Двое других подтвердить показания молодого коллеги не взялись, но один неуверенно покивал: да, про царя что-то было, но что именно — не отложилось.

Лишь утром врачи забеспокоились всерьез — Кисленко не приходил в себя; он уже явно не спал, а был без сознания и по временам дико вскрикивал. Взяли анализы. Следов употребления наркотиков не обнаружили, следы алкоголя — в минимальном количестве. Столь гомеопатическая доза никак не могла вызвать подобный эффект. Наверное, так я подумал, Кисленко просто хлебнул граммов полста спирта для храбрости перед самым делом или сразу после него, чтобы расслабиться. Не более. Но расслабиться у него не получилось.

Его пытались привести в себя. От средств самых элементарных, вроде нашатыря, до сложных комплексных уколов — все перепробовали, и все тщетно. Пытались установить личность, но документов никаких не обнаружили, а когда, постепенно начав соображать, что случай очень уж нетривиальный, затребовали городское полицейское управление, тут уже и Круус приехал.

— Для очистки совести я повторил все анализы, — рассказывал Круус, а я вглядывался в запрокинутое, иссохшее, уже

покрытое седоватой щетиной лицо Кисленко на подушке. Оно было так не похоже на фотографию в пропуске... Словно техник прошел через какую-то катастрофу, через жуткую средневековую войну, где сдирают кожу с живых, где младенцев швыряют в пламя. Время от времени губы его беззвучно шевелились. Свет настольной лампы, стоявшей на стандартной больничной тумбочке у изголовья, вырубал из лица резкие черные тени, они казались пробоинами. — Ничего, чисто. Никаких следов психотомиметиков, галлюциногенов, препаратов, усиливающих внушаемость... вообще никаких препаратов, кроме тех, что ему вводили здесь. Памятуя вашу имплицитно высказанную гипотезу, я пытался разблокировать ему память. — Губы Крууса слегка задрожали. Засунув руку куда-то глубоко под явно с чужого плеча белый халат и повозившись на груди, он извлек свой просторный носовой платок и вытер лицо. Мельком я отследил, что платок уже выдохся. Пахло медикаментами, пахло влажным кафельным полом, пахло мучающимся на постели человеческим телом, но духами не пахло. — И тут, Александр Львович, я едва не оказался на соседней койке надолго.

— Что такое?

Круус упибал платок обратно.

— Он пришел в себя. Он открыл глаза, он сел в постели. Помню, я еще успел обрадоваться — мол, все идет хорошо, сейчас начнем разбираться... И тут он закричал: «Нет! Не хочу! Он ведь живой! Он мне улыбается!» Признаюсь вам, такой муки, такого отчаяния я не наблюдал никогда в жизни. Он попытался соскочить с постели. Его с трудом удерживали двое санитаров. Тогда он стал кричать: «Убейте меня!» И я, отчасти от испуга, а отчасти желая хоть как-то успокоить его, притупить его очевидные, хотя совершенно непонятные мне страдания, поспешил погрузить его в сон. Успокоительный, релаксационный сон.

— Его крики вы как-то фиксировали?

— Все на диктофоне. И еще там фраза, которая, без сомнения, пополнит и украсит ваш список странных фраз, произнесенных Кисленко за последние сутки. Заснул он мгновенно, но поначалу спал беспокойно, метался и словно бы боролся с кем-то. И вдруг внятно рявкнул: «Да что ж ты женщину-то!.. Омон хуев, кого защищаешь? Они, Йуды, Россию продают, а вы тут с дубинами!» Потом беззвучно еще что-то

пробормотал — я пытался читать по губам, но смысла не уловил — и вдруг тихонько так, беспомощно: «Флаг, флаг выше... пусть видят наш, красный...» И уже потом — все.

У меня даже зубы скрипнули. «Тихонько», «беспомощно» — что же происходит? Бедный, бедный человек!

Как это сказал Ираклий? «Найди их и убей». Вот, нашел.

— Омон, — медленно повторил я незнакомое слово.

— Что значит это слово, я не знаю, — сразу сказал Круус.

Черт боднул меня в бок.

— А что значит следующее за ним, знаете?

Круус с достоинством поджал губы.

— Пф! Али я не россиянин? — спросил он со старательным волжским поокиванием.

— Ну, хорошо, хорошо, Вольдемар Ольгердович, извините. Вы уверены, что правильно расслышали?

— Кисленко отчетливо окает, сильнее, чем я сейчас изобразил. Сомнений быть не может. Два «о» и ударение на последнем слог.

— Может, что-то блатное? Надо будет проконсультроваться у кримфольклористов... Хотя откуда технику Кисленко знать?..

— Возможно, имя? — предположил, в свою очередь, Круус. — Это было бы очень удачно — зацепка. Хотя... — как и я, оборвал он себя, — тогда почему дальше идет множественное число: «с дубинами»?

— Как вы насчет перекурить, Вольдемар Ольгердович? — спросил я.

— Охотно. Мне это помещение уже несколько... — Он не подобрал слова и даже не стал напрягаться, чтобы закончить фразу, — и так все было понятно.

— Я тут посижу, — подал голос Болсохоев. В комнате умещалось семь коек, и все они были свободны — за исключением той, на которой страдал в своем непонятном забытии Кисленко. Полковник, сцепив пальцы и сгорбившись, сидел на соседней сиротливо и грустно. — Вдруг он еще что-нибудь скажет.

Мы вышли в коридор. Прошли мимо виновато глядевших медиков — один тут же нырнул в дверь за нашими спинами, Круусу на смену; прошли мимо заплаканной жены Кисленко, когда-то, видимо, красивой, но уже сильно расплывшейся

таджички — Круус, собрав губы трубочкой, чуть покачал головой отрицательно в ответ на ее отчаянный взгляд.

Наркопункт был упрятан в глубине небольшого, но плотного и пышного скверика, и рыжий свет уличных фонарей сюда не долетал. Мы отошли за угол, чтобы не была в глаза резкая лампа над входом, и уселись на скамейку во мраке, под громадными звездами, лезущими с бархатного неба сквозь просветы в узорных листьях чинар.

У Крууса дрожали руки, я дал ему огня. Затлели оранжевые огоньки. Было тихо.

— Гипнотическое программирование? — спросил я.

— Я понимаю, — неторопливо заговорил Круус, — вас, как неспециалиста, все наводит на эту мысль. Действительно, нам известны отдельные случаи, когда преступники, для того чтобы осуществить какие-то короткие акции чужими руками, руками случайных людей, на которых и подозрение-то пасть не может, прибегают к этому изуверскому приему. — Он нервно затянулся, и это движение представляло собой решительный контраст деланому спокойствию речи. — Как это происходит? Вначале человек подвергается форсированному внушению, как правило, с предварительным введением в организм препаратов, облегчающих эту операцию. С едой, с питьем или — аэрозоль... Скажем, гексаметилдекстрализергинбромиды или что-то в этом роде, неважно. Важно то, что их следы можно обнаружить в организме еще недели через две-три после введения — а я их не обнаруживаю. А еще неделю назад никто — это вы мне сами сказали — не знал, что великий князь соберется в Петербург. Дальше. О полученном внушении человек не помнит и живет себе припеваючи. Но в определенный момент под воздействием какого-то заранее введенного в программу детонатора — кодового слова, открытки с определенным изображением, появления человека с определенной внешностью, наконец, просто специфического боя часов, был такой случай, — на некоторый промежуток времени человек превращается в робота и совершает ряд некоторых строго заданных действий. Его способность к их варьированию в зависимости от конкретной ситуации минимальна.

— Вы хотите сказать, что для того, чтобы Кисленко со-

брал кислородную мину, именно этот тип мины должен был вложить ему в подсознание преступник?

— Совершенно справедливо, — кивнул Круус.

— Значит, преступник должен был заранее знать, что накануне отлета «Цесаревича» Кисленко получит на складе кислород?

— Бесспорно.

— Но решение о запуске пилотируемого зонда «Озон» было принято на несколько дней раньше, чем стало известно об отлете «Цесаревича».

— Вот видите. Опять нестыковка. Но самое главное дальше. Исполнив программу — передав, скажем, пакет кому-либо, установив мину, да, мину, были прецеденты, — «пешка» ничего о своих действиях не помнит и опять живет припеваючи. И даже если доходит дело до допросов, отрицает все с максимальной естественностью. Я ни разу не слышал, чтобы программа конструировалась иначе, для преступников это самый привлекательный вариант. При разблокировании памяти, если оно удастся, — мне оно, как правило, удастся, — скромно вставил Круус, — «пешка» вспоминает о том, что совершила в бессознательном состоянии, и иногда даже вспоминает саму операцию внушения. Хотя реже, здесь стоят самые мощные блоки... А в данном случае, прошу заметить, все наоборот. Кисленко почти за сутки до преступления выглядит так, словно очнулся в незнакомом мире. Но выглядит он вполне осмысленно, просто недоуменно, а «пешка» выглядит, наоборот, туповато, автоматически, но ничему не удивляется. Затем Кисленко быстро адаптируется, вся его память в его распоряжении, и ведет себя не только осмысленно, но и, простите, находчиво — из явно случайно подвернувшихся под руку материалов мастерит взрывное устройство.

— Может, все-таки Сапгир или кто-то из высших начальников администрации аэродрома? — совсем теряя почву под ногами, беспомощно предположил я. — Они ведь знали о планируемом полете «Озона»...

Но не о близком отлете «Цесаревича», тут же одернул я себя. Об этом никто не знал. Великий князь принял решение лететь внезапно — понял, что может позволить себе выкроить пару дней.

— Дальше... — не слыша меня, вещал Круус. — Совершив

акцию, он, вместо того чтобы забыть о ней и стать нормальным, становится еще более ненормальным. Фактически он находится в шоке, и, вероятнее всего, именно от содеянного. Когда я пытаюсь разблокировать ему память, вместо того чтобы вспомнить преступного себя, он, судя по его дикому крику: «Не хочу! Он живой!», становится прежним, обычным собой, добрым и славным человеком, который теперь не может жить с таким грузом на совести. Когда я оставляю его в покое, он продолжает бороться непонятно с кем, пребывая в каком-то иллюзорном мире. Что это за мир, по нескольким обрывочным фразам сказать нельзя, но, уверяю вас, в теле Кисленко поселился сейчас кто-то другой. И с прежним Кисленко они ведут борьбу не на жизнь, а на смерть.

— Шизофрения... — пробормотал я. Круус пожал плечами. — А документы? — вспомнил я. — Почему он жег документы?

— Что я могу сказать? — снова пожал плечами психолог. — Надо везти его в Петербург — там, во всеоружии, попробуем разобраться. И надо спешить. Он буквально на глазах сгорает.

Из тишины донесся стремительно накатывающий шум авто. Торопливый низовой свет фар лизнул нежную кожу деревьев — зеленоватые днем стволы вымахнули из тьмы мертво-белыми призраками и спрятались вновь. Отбросив окурки, я встал посмотреть, кто подъехал.

Как я и ожидал, это был Григорович. Отъезжая с аэродрома сюда, я послал его побеседовать о Кисленко с настоятелем здешней звезды коммунистов. Беседа ничего нового не дала. Замечательный человек, честный, шепетильно порядочный, всегда буквально рвущийся помочь и защитить. Мухи не обидит. После смерти Алтансэс Эркинбековой был одним из кандидатов на тюратамского настоятеля. Едва-едва не прошел.

— Да, — сказал я с тяжелым вздохом, — здесь больше делать нечего. Конечно, пошипим версию с начальниками, но... Доктор, перелет нашему страдальцу не повредит?

Круус долго отлавливал свой платок. Добыл наконец. Вытер губы. Потом лоб.

— Понятия не имею, — ответил он затем.

Ее я любил совсем иначе. Она была как девочка: наверное, такой и пребудет. И поначалу, долго, я словно бы ребенка баюкал и нежил, а она доверялась и лънула; но в некий миг, как всегда, эта безграничная мужская власть над нежным, упругим, радостным вдруг взламывала шлюзы, и я закипал; а она уже не просто слушалась — жадно подставлялась, ловила с ликующим криком, и я распахивал запредельные глубины и выворачивался наизнанку, тщаься отдать этой богоравной пучине всю душу и суть, и действительно на миг умирал...

Спецрейсом мы вылетели ночью и, немного догнав солнце, оказались в Пулково глубоким вечером. Прямо с аэровокзала я позвонил Стасе — никто не подошел. И теперь, хотя, прежде чем вернулось дыхание, вернулось, опережая его, грызущее беспокойство о ней — не расхворалась ли, где может быть в столь поздний час, исправен ли телефон, — я был счастлив, что поехал на Васильевский.

— Родненький...

— Аушки?

— Ненаглядный...

— Да, я такой.

— Ты соскучился, я чувствую.

— Очень.

— Как мне это нравится!

— И мне.

— Как мне нравится все, что ты со мной делаешь!

— Как мне нравится с тобой это делать!

— Может, ты поесть еще хочешь? Ты же толком не ел весь день!

— Я люблю тебя, Лиза.

— Господи! Как давно ты мне этого не говорил!

— Разве?

— Целых двенадцать дней!

— А ты...

— Я очень-очень крепко тебя люблю. Все сильнее и силь-

нее. Если так пойдет, годам к пятидесяти я превращусь просто в белобрысую бородавку где-нибудь у тебя под мышкой. Потому что мне от тебя не оторваться.

— Не хочу бородавку. Хочу девочку.

— А как тебя Поленька любит! Ты знаешь, по-моему, уже немножко как мужчину. Ей будет очень трудно, я боюсь, отделиться от твоего образа, когда придет ее время.

— Когда родители любят друг друга, дети любят родителей.

— Правда. Смотрит на меня, и тебя любит; смотрит на тебя, и меня любит...

— Тебе не тяжело со мной, Лиза?

— Я очень счастлива с тобой. Очень-очень-очень.

Листья на ветру.

Но разве виновны они в том, что не умеют летать сами? Кто дерзнет вылавливать их из ветра и кидать в грязь с криком: «Полет ваш — вранье, вас стихия тащит! То, что вы лети-те сейчас, совсем не значит, что вы сможете летать всегда...»?

Сквозь занавеси из окон сочилось скупое серое свечение. В столовой за неплотно закрытой дверью мерно тикали часы. Бездонно темнел внизу ковер, дымными призраками стояли зеркала. Дом.

Ее дыхание шекотало мне волосы под мышкой — там, где она собиралась прирасти. Почти уложив ее на себя, я обнимал ее обеими руками, крепко-крепко, почти судорожно — и все равно хотелось еще сильнее, еще ближе.

И, как всегда после любви, я на некоторое время стал против обыкновения болтлив. Хотелось все мысли рассказать ей, все оттенки... хотя бы те, что можно.

— ...Ты никогда не говорил так подробно о своих делах.

— Потому что это дело не такое, как другие. Ты понимаешь, я все думаю — наверное, это не случайно оказался именно он. Такой справедливый, такой честный, такой готовый помочь любому, кто унижен. Ведь он и в бреду продолжал защищать кого-то, сражаться за какой-то ему одному понятный идеал. Вот в чем дело. Просто идеал этот оказался чудовишно извращен.

— Я не могу себе такого представить.

— Я тоже. Но он, я чувствую, представлял. Это было для него естественным. Словно кто-то чуть-чуть сменил некие акценты в его душе — и сразу же те качества, которые мы при-

выкли, и правильно привыкли, ставить превыше всего, сделались страшилищами. Знаешь, прежде я думал, что нет у человека качеств совсем плохих или совсем хороших, что очень многое зависит от ситуации. В одной ситуации мягкость полезна, а в другой она вывернется в свою противоположность и превратится в слюнтяйство и беспомощную покорность, и ситуации эти равно имеют право быть. В одной ситуации жесткость равна жестокости, а в другой именно она и будет настоящей добротой. Прости, я не умею пока сформулировать лучше, мысль плывет... Теперь я подумал, что все не так. Ситуации, где доброта губительна, а спасительна жестокость, не имеют права на существование. Если мир выворачивает гордость в черствость, верность в навязчивость, доверчивость в глупость, помощь в насилие, — это проклятый мир.

Она вздохнула.

— Конечно, Сашенька. Ты ломишься в открытую дверь. Доброта без Бога — слюнтяйство, гордость без Бога — черствость, помощь без Бога — насилие...

Я улыбнулся и погладил ее по голове.

— Саша, неужели ты не чувствуешь, что я права?

— Кисленко и прежде не верил в Бога — и был прекрасным человеком. И потом продолжал не верить ровно так же — и стал бешеным псом.

— Если бы он верил в Бога, он не достался бы бесам.

— Сколько верующих им достается, Лиза! И сколько атеистов — не достается!

В столовой, перебив мирное тик-тик, закурлыкал телефон.

— Кто это может быть? — испуганно спросила Лиза. — Почти три...

А у меня сердце упало. Хотя Стася никогда не звонила мне домой и уж подавно бы никогда не позвонила ночью, первая сумасшедшая мысль была — с ней что-то стряслось.

Нет, не с ней. Звонил Круус.

— Простите, что беспокою, — сказал он бесцветным от усталости голосом, — но у вас, как я знаю, с утра отчет в министерстве, и я хотел, чтобы вы знали. Кисленко скончался.

— Он еще что-нибудь говорил? — после паузы спросил я.

— Ни слова. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Вольдемар Ольгердович. Благодарю вас. Ступайте отдыхать.

Я положил трубку.

— Что-нибудь случилось? — очень спокойно спросила из спальни Лиза.

— Еще одно тело не выдержало раздвоения между справедливостью человеческой и справедливостью бесовской, — сказал я.

— Что?

— Лиза... прости. Ты позволишь, в виде исключения... я прямо тут покурю, а?

— Конечно, Сашенька, — мгновенно ответила она. Запнулась. — Только лучше бы ты этого не делал, правда.

Я даже улыбнулся против воли. В этом она была вся. «Можно — но лучше не надо». Любимая моя.

— Да, ты права. Не буду.

— Иди лучше ко мне. Я тебя тихонечко облизну.

Я пошел к ней. Она сидела в постели, тянулась мне навстречу; громоздко темнел на нежной, яшмово светящейся в сумраке груди угловатый деревянный крестик.

— Лиза — это та, которая лижется? — спросил я.

— Та самая.

Я сел на краешек, и она сразу обняла меня обеими руками. Тихонько спросила:

— Он умер, да?

— Да.

— Тебе его очень жалко?

Хлоп-хлоп-хлоп крыльями по земле. Хлоп-хлоп!

О, это воспоминание...

— Очень.

— Он же убийца, Саша.

— Он попал в какие-то страшные жернова. Я жизнь положу, чтобы узнать, где его так исковеркало.

— Жизнь не клади, — попросила она. — Ты же меня убьешь.

— ...Таким образом, для меня является бесспорным, что мы столкнулись с чрезвычайно оперативным, совершенно новым или, по крайней мере, нигде не зафиксированным прежде способом осуществляемого с преступными целями воздействия на человеческую психику. Я не исключаю того, что с подобными случаями наша, да и мировая практика уже сталкивалась, но не умела их идентифицировать, поскольку, как вы видите, идентификация здесь очень сложна. Объект воздействия не роботизируется. Он полностью осознает себя,

он сохраняет все основные черты своего характера, но поведенческая реакция этих черт страшно деформируется. И вдобавок, если судить по случаю с покойным Кисленко, вскоре после осуществления преступного акта объект воздействия умирает от чего-то вроде мозговой горячки, вызванной психологическим шоком. Шок же, в свою очередь, вызывается, насколько можно судить, нарастающими судорожными колебаниями психики между двумя генеральными вариантами поведения. По сути, с момента возникновения этих колебаний человек обречен — оба варианта обусловлены самыми существенными характеристиками его «я», и в то же время они не только являются взаимоисключающими, но, более того, с позиций каждого из них альтернативный вариант является отвратительным, унижительным, свидетельствует о полной моральной деградации «я», о полном социальном падении.

— Может, это все-таки какая-то болезнь? — спросил Ламздорф. Понурый, расстроенный, он сидел через стол против меня, подпирая голову руками. Сквозь щели между пальцами смешно и жалко топорщились его знаменитые бакенбарды.

— Специалисты уверяют, что нет, — ответил я.

— Загадочное дело, господа, — произнес с дивана министр.

Он расположился в углу, закинув ногу на ногу, и сейчас раскуривал трубку. Как и я сутки назад, он прибыл в министерство прямо с аэродрома — из-за катастрофы «Цесаревича» ему пришлось скомкать программу последних дней своего австралийского вояжа, — и он тоже был одет не по протоколу. — Загадочное и жутковатое. Контакты Кисленко вы установили?

— Я оставил людей в Тюратаме, — ответил я. — Вместе с казахскими коллегами они отработают последние недели жизни Кисленко по минутам, можете быть уверены. И в то же время я не очень верю, что это что-то даст.

— Почему? — вздернул брови министр.

— Кисленко жил незамысловато, на виду. Дом — работа, работа — дом... Да еще стол во дворе — домино да нарды. Случайных людей в Тюратаме практически не бывает.

— Но кто-то же его обработал?

Я пожал плечами.

— Кто-то обработал.

— Как вы интерпретируете эту фразу... э-э... — Министр взял сколотые страницы лежащего рядом с ним на диване отчета; крепче стиснув трубку в углу рта, свободной рукой он вынул из нагрудного кармана очки со сложенными дужками и поднес к глазам: — «Жаль, до самого мне уж не дотянуться»?

— Боюсь, что так же, как и вы, Анатолий Феофилактович, — стараясь говорить бесстрастно, ответил я. — Учтите, вдобавок ко всему прочему, факт глумления над документами, свидетельствующий о внезапно проявившейся патологической ненависти к царствующему дому и его символике, я склонен полагать, что этой фразой Кисленко выражал сожаление о невозможности произвести террористический акт в отношении государя императора.

— Господи спаси и помилуй! — испуганно пробормотал Ламздорф и осенил себя крестным знамением.

— Считаете ли вы, полковник, что нам следует усилить охрану представителей династии?

Я с сомнением покачал головой.

— Ни малейшего следа систематически работающей организации мы не обнаружили.

— Обнаружите, да поздно! — воскликнул Ламздорф.

— С другой стороны, — ответил сам себе министр, раздумчиво пыхнув трубкой, — какая, к черту, охрана усиленная, ежели самый проверенный человек может так вот рехнуться на ровном месте и выпустить в государя всю обойму...

— Вы, например, — подсказал я.

Он молча воззрился на меня.

— Вы, человек решительный и принципиальный, активно любящий справедливость, при этом горячий патриот своей родимой Курской губернии, — пояснил я, — вдруг заметили, что последнее из одобренных Думой и утвержденных государем повелений как-то ущемляет права курских крестьян. Ну, скажем, очередная ЛЭП пойдет не через Курск, а через Белгород, и в белгородских деревнях электроэнергия окажется на полкопейки дешевле. Ведомый своей принципиальностью, просто-таки кипя от негодования, вы на первом же приеме подходите к государю и, обменявшись с ним рукопожатием, молча пускаете ему разрывную маслину в живот.

— Что вы такое говорите, князь! — возмущенно вскинулся Ламздорф.

— Простите, Иван Вольфович, это не заготовка, я импро-

визирую. Но это, как мне кажется, очень удачный пример того, что произошло с Кисленко.

— Да, дела, — после паузы сказал министр и, покряхтивая, натужно встал. Пошел по кабинету — медленно, чуть переваливаясь. Видно, шибко засиделся в кресле лайнера Канберра — Питер. — Как сажа бела...

Ламздорф удрученно мотал головой.

Министр некоторое время прохаживался взад-вперед, то и дело пуская трубкой сизые облачка ароматного медового дыма. Потом остановился передо мной. Я встал.

— Да сидите вы...

Тогда я позволил себе сесть.

— Я-то сидеть не могу уже, право слово... Что вы дальше намерены делать?

— Ну, во-первых, проработка контактов Кисленко; как ни крутите, а это обязательная процедура. Мы об этом уже говорили. Во-вторых, я хочу попробовать задним числом выявить аналогичные преступления, ежели таковые бывали. Статистика — великая наука. Может, удастся набрести на что-то, даже закономерности какие-то выявить. И, в-третьих, есть еще одна придумка... на сладкое.

— Что такое? — спросил министр.

— Мне покоя не дает бред Кисленко. Он ведь чрезвычайно осмыслен и, в сущности, описывает некую вполне конкретную ситуацию. С кем-то он сражается, защищает какую-то женщину... с тем же рвением, с каким вы, Анатолий Феофилактович, в приведенном мною примере защищали бы курских крестьян.

— Ламздорф листнул лежавший перед ним на столе экземпляр отчета, побежал глазами по строчкам.

— И дальше. Последние слова, которые произнес Кисленко в своей жизни.

— «Флаг, флаг выше. Пусть видят наш, красный», — вслух прочитал Ламздорф. — Это?

— Да, это.

— Надо полагать, имеется в виду, что флаг красный? — уточнил министр.

— Надо полагать. У вас нет никаких ассоциаций?

— Признаться, нет.

— Я тоже пас, — сказал Ламздорф. — Хотя это, конечно, зацепка. В справочнике Гегельстрема...

— Стоп-стоп, Иван Вольфович. Дело в том, что красная символика широко использовалась ранними коммунистами в ту пору, когда коммунизм — протокоммунизм, вернее — пытался в разных странах оспаривать властный контроль у исторически сложившихся административных структур. Это была дичь, конечно, хотя и обусловленная катастрофическими социальными подвижками второй четверти прошлого века... но, если бы это удалось, тут бы коммунизму и конец. Вскоре стало ясно: чем большее насилие пропагандирует учение или движение, тем больше преступного элемента втягивается в число его адептов, необратимо превращая всю конфессию в преступную банду, ибо, чем более насилие возводится в ранг средства переустройства мира, тем более удобным средством для корыстного насилия учение или движение становится.

— Я где-то читал эту фразу...

— Еще бы, Иван Вольфович! На юрфаке-то должны были читать! «Что такое «друзья народа» и чем они угрожают народу», Владимир Ульянов. Храмовое имя — Ленин.

— Мне его стиль всегда казался тяжеловатым, — бледно улыбнулся Ламздорф.

— От «Агни-йоги» тоже голова трещит, — обиделся я.

— К делу, господа, к делу! — нетерпеливо сказал министр.

— Я и говорю о деле, Анатолий Феофилакторович. Под красным знаменем, например, героически погибали на баррикадах лионские ткачи в восемьсот тридцать четвертом году — отнюдь не преступники, а простые, справедливые труженики, доведенные до отчаяния нищетой. Были и другие примеры. И вот, может быть, не исключено, существует определенная вероятность, что сохранилась некая герметическая секта, блюдущая учение коммунизма в первозданной дикости и совершенно уже выродившаяся... ну, что-то вроде ирландских фанатиков, еще в середине нашего века взрывавших лондонские магазины.

Министр задумчиво попыхивал трубочкой, так и стоя посреди кабинета, уперев одну руку в бок и хмурясь. Зато лицо Ламздорфа просветлело.

— Как удачно, что государь поручил это дело вам!

— Хотелось бы думать, — проговорил я.

Министр вдруг двинулся вперед и, продолжая хмуриться, подошел ко мне вплотную. Я снова поднялся. Он взял меня за локоть.

— Буде так, могут открыться совершенно чудовишные тайны, — негромко и отрывисто сказал он. — Полковник, вы уверены?... Вы готовы вести дело дальше — или вам как коммунисту...

— Более чем готов, — ответил я. — Это дело моей чести.

Еще секунду он пытливо смотрел мне в лицо, потом отошел к дивану и уселся, снова закинув ногу на ногу. Тогда и я сел.

— Что вы намерены предпринять для проработки этой версии? — спросил он.

— Я намерен обратиться за консультацией непосредственно к шестому патриарху коммунистов России, — решительно ответил я.

Снова мои собеседники некоторое время молча переваривали эти слова. Потом Ламздорф спросил:

— А это удобно?

— Это неизбежно. Если он и не знает ничего об этом — я склонен думать, что не знает. — то, по крайней мере, он лучше всех прочих в состоянии указать мне людей, которые могут что-либо знать. В патриаршестве существует отдел по связям с иностранными епархиями — чтобы его работники начали выдавать мне информацию, мне тоже потребуется поддержка патриарха. Кроме того, есть такая богатейшая вещь, как слухи и предания, — и опять-таки мимо патриарха они не проходят.

— Что ж, разумно, — сказал министр. — Когда вы намерены отбыть в Симбирск?

— Надеюсь успеть нынче же. По крайности — первым утренним рейсом, в шесть сорок. Время дорогое. Что-то мне подсказывает, что время дорогое.

— Бог в помощь, Александр Львович, — сказал министр и, вынув из кармана «луковицу» часов, глянул на циферблат. Поднялся.

— Благодарю, Анатолий Феофилактович. Теперь у меня к вам тоже вопрос. Мне действовать как представителю МГБ или просто как частному лицу, ищущему беседы члену конфессии?

Министр задумался, похоже — несколько с досадой. Видимо, вопрос ему показался прямым до бестактности — он хотел бы, чтобы я принял удобное для кабинета решение сам.

— Обратитесь лучше как частное лицо, — нехотя проговорил он после долгого неловкого молчания. — Понимаете...

пронюхают газетчики, и пойдет волна — дескать, имперская спецслужба снова вмешивается в дела конфессий. Забурчит Синод, из Думы запросы посыплются. Их же хлебом не корми... Доказывай потом в пятидесятый раз, что ты не верблюд.

— Хорошо, Анатолий Феофилактович, я так и поступлю, — сказал я.

Он резко вмял часы обратно в карман.

— До траурной церемонии осталось сорок минут, а мне еще надобно побриться и переодеться. Иван Вольфович, вы идете?

— Да, разумеется.

— Тогда встречаемся внизу. А вы, Александр Львович?

— Я выражу свои соболезнования родственникам погибших форсированным ведением дела, — проговорил я.

2

Над Заячьим островом утробно рокотали басы прощального салюта. Тоненько дребезжали стекла. Траурная процессия вытянулась от Исаакия по всей набережной и через весь Троицкий мост. Приехала королева Великобритании со старшей дочерью, красивой и скупой на проявления чувств, — ее в свое время прочили в невесты великому князю; приехал кронпринц Германии, не слишком успешно прячущий под холодной маской свою потрясенность трагической гибелью кузена, — сам Вильгельм-Фридрих уже не в силах был покидать потсдамский дворец; словно пригоршня елочных украшений, двигались, держась поплотнее один к другому, родственные монархи Скандинавии; председатель Всекитайского Собрания Народных Представителей почтительно поддерживал под локоток Пу И — совсем уже одряхлевшего, высохшего, словно кузнечик, укутанного до глаз, но все же рискнувшего лично отдать последнюю дань уважения; решившись не передоверять дела сыну, прибыл микадо, а следом за ним — многочисленные короли Индокитая. Едва ли не все короны мира, печально склоненные, одной семьей шествовали по тем местам, где я пешком ходил домой, и их охлестывал сырой балтийский ветер.

Поглядывая на экран стоявшего в углу кабинета телевизо-

ра, я прежде всего вызвал к себе начальника группы «Буки» поручика Папазяна.

— Вот и для вас появилась работа, Азер Акопович. Причем не только для вас лично, но и для всей группы разом. Веселее будет. Сделайте-ка мне выборку из всех возможных криминальных сводок вот по какому примерно принципу: покушения на убийство или попытки диверсий, в том числе удачные, при не вполне ясных и совсем неясных мотивах. В первую голову ищите случаи, когда преступник после совершения преступления оказывался в невменяемом состоянии или погибал либо умирал при невыясненных обстоятельствах.

— Ясно, — кивнул поручик. Я чувствовал, что он рвется в дело: расследование сенсационное, группа существует уже более суток, а еще ни одного задания. — По какому региону?

Я печально смотрел на него и молчал.

— По всей России? — попытался угадать он.

— По всему миру, — сказал я. Он присвистнул. — Но по России, конечно, прежде всего.

— За какой период? — Судя по голосу, его энтузиазм не-сколько приугас.

Я печально смотрел на него и молчал.

Его лицо вытянулось. Он тоже молчал — угадывать уже не решался.

— Лет за сто пятьдесят, — сказал я наконец. — Насколько достоверной статистики хватит. Двигаться будете в порядке, обратном хронологическому: этот год, прошлый год, позапрошлый год и так далее.

Он храбро слушал, явно посерьезнев. И тогда я, чтобы уж добить его на месте, небрежно осведомился:

— Пары часов вам хватит?

— Да побойтесь бога, господин полковник!.. — вскинулся он, но я быстро протянул руку и тронул его пальцы, напрягшиеся на столе. — Все, Азер Акопович, это я уже шучу. Немножко веселю вас перед атакой. Работа адова, я прекрасно понимаю. Не торопитесь, делайте тщательно. Но и не тяните. Я сейчас дам вам копию своего отчета о деле Кисленко — выносить из кабинета не разрешу, посмотрите здесь. Тогда вы лучше поймете, что я ищу. И будете сами проводить предварительный отсев фактов, которые наковыряют ваши ребята. У меня на это времени нет.

Пока Папазян, примостившись в уголке, с профессио-

нальной стремительностью листал отчет, я позвонил шифровальщикам и спросил, не поступало ли на мое имя донесений от Каравайчука. Поступало. Как и следовало ожидать, никаких инцидентов в сфере американской части проекта «Арес» не было. Впрочем, штатники с исключительной вежливостью благодарили за предупреждение, обещали усилить охрану занятых в проекте лиц и выражали надежду, что мы найдем возможность делиться с ними результатами следствия, если эти результаты, с нашей точки зрения, затронут интересы Североамериканских Штатов. На версии «Арес» можно было поставить крест.

Совсем посерьезневший от прочитанного Папазян вернул мне отчет и ушел, а я двинулся к лингвистам. И тут все было худо. Слова «омон» не знал никто. Компьютерная проработка термина показала, что, скорее всего, он является аббревиатурой, и мы обнадежились ненадолго, но когда комп начал вываливать бесчисленные варианты расшифровки, от вполне еще невинных «Одинокого мужа, оставленного надеждой» и «Ордена мирного оглупления народов» до совершенно неудобоваримых, я и оператор только сплюнули, не сговариваясь; а если еще учесть, что аббревиатура могла быть иностранной? Словом, эта нить тоже никуда не вела.

Тогда я вернулся к себе.

3

— О, привет! Ты где?

— На работе.

— Уже вернулся?

— Еще вчера. В начале первого пробовал позвонить тебе с аэродрома, но никто не подошел.

— А, так это еще и ты звонил?

— Ты была дома?

— Да, валялась пластом. И, как всегда, кто-то просто обрывал телефон, а встать — лучше слохнуть. Очень трудный был день, металась везде, как савраска, — искала, не надо ли кому дров порубить.

— Прости, не понимаю.

— Работу искала, Саша, чего тут непонятного. Деньги нужны.

— Стася, — осторожно сказал я, — может быть, я все-таки мог бы...

— Кажется, мы уже говорили об этом, — сухо оборвала она. — Давай больше не будем.

Помощь купюрами она не принимала ни под каким видом. Даже, что называется, на хозяйство, даже в долг. У других считала себя вправе одалживать, у меня — нет. Могла обмолвиться, что в доме есть буквально нечего, и тут же заказать мне царский обед или ужин, а сама, сидя напротив и поклевывая из своей тарелочки, сообщала между делом, что денег осталось на два дня, и если какое-нибудь «Новое слово», например, задержится с выплатой гонорара, то клади зубы на полку, — и у меня кусок застревал в горле, хотя готовила она всегда сама и всегда прекрасно. Однажды я попробовал молча запихнуть ей под бумагу на письменном столе двухсотенную денежку — поутру, уже на улице, обнаружил эту денежку в кармане пальто. Чуть со стыда не сгорел.

— Ну и как, нашлись дрова?

— Представь, да. Кажется, получу ставку младшего редактора в литературном отделе «Русского еврея». И что ценно — не надо каждый день в присутствие ходить. Забежал разок другой в неделю, набрал текстов — и домой.

— А что случилось, Стасенька? Почему вдруг обострилась нужда?

— Настал момент такой. Подкопить для будущей жизни. Да неинтересно рассказывать, Саш.

И все. Намекнет на трудности, но нипочем не скажет, в чем они заключаются. Одно время, когда эта черта лишь начинала проступать в ней — в первые месяцы не было ничего подобного, — мне казалось, она нарочно. Потом понял, что иначе не может, в этом она вся. Сознать то, что жизнь у нее не малина, я должен, конечно, но знать что-то конкретное мне ни к чему, ведь все равно я не могу помочь, а она и затруднять меня не хочет, она сама справится... Иногда мне чудилось, что я падаю с ледяной стены, цепляюсь, тужусь удержаться, в кровь ломая ногти, и не могу — скользят по полированной броне.

— Ты зайдешь сегодня?

— Я бы очень хотел.

— Когда?

— Хоть сейчас.

— Замечательно. Только знаешь, у меня к тебе тогда просьба будет, извини. Тут у меня, как снег на голову, сыплется Януш Квятковский — помнишь, я рассказывала, редактор из Лодзи. Это не люди, а порождения крокодилов. Утром звонит и говорит, что вылетает. Тут у него дела дня на три в Фонде поддержки западнославянских литератур, так чем платить за гостиницу, он мне сообщает, что остановится у меня, и вот мы, старые друзья, наконец-то как следует повидаемся. В ноябре он был тут проездом, видел, что две комнаты... Вечером объявится, представляешь?

— С трудом, но представляю.

— Могу я, не могу — даже не осведомился. А мне, в общем, нездоровится, и в доме шаром покати. Ты не мог бы купить какой-нибудь еды?

— Что за разговор, — сказал я, — конечно. Могла бы так долго не объяснять. Через часок я подъеду.

— Спасибо, правда! И вот еще что: ключи у тебя с собой?

— Конечно.

— У меня сейчас голова совсем дырявая, поэтому говорю, пока помню, — оставь их, я ему дам на эти три дня. Не сидеть же мне у двери, звонок его слушать...

— Разумеется, — сказал я. — Жди.

— Целую.

— Взаимно.

Я прошел мимо дежурного, буркнув: «Буду через три часа», яростно шаркая каблуками об асфальт, почти подбежал к своему авто. Ключ въехал в стартер лишь с третьей попытки. Мотор зафырчал, заурчал. Я едва не забыл дать сигнал поворота. Вывернул на Миллионную, просвистел мимо дворцов, мимо Марсова Поля и вписался в плотный поток, бесконечно длинной членистой черепахой ползущий по Садовой на юг.

В сущности, эти колесные бензиновые тарахтелки — уже анахронизм. Давным-давно прорабатываются проекты перевода индивидуального транспорта на силовую тягу, на манер воздушных кораблей — дорог не надо, бензина не надо, шума никакого, выхлопа никакого, скорость по любой открытой местности хоть триста, хоть четыреста верст в час. Но это потребует полного обновления всего парка — раз, чрезвычайно затруднит дорожный контроль — два, к тому же автомобильные и путевские воротилы сопротивляются, как триста спартанцев, — три, ну и четыре — нужно по крайней мере впятеро

уплотнить сеть орбитальных гравиторов. Тоже дорого и хлопотно. А пока суд да дело — ездим, воняем, пережигаем драгоценную нефть, сочимся сквозь капиллярики магистралей...

У Инженерного замка я свернул к Фонтанке и по набережной погнал быстрее.

Насколько я понимал, года четыре назад у нее была вполне безумная любовь с этим Квятковским. Впрямую она не рассказывала, но по обмолвкам, да и просто зная ее, можно было догадаться. Две комнаты, надо же! А кроватей? Хотя в столовой стоит оттоманка... Или она ему постелит на коврике у двери?

Где-то совсем рядом, слева, безумно взвыл клаксон и сразу завизжали тормоза. Громадная тень автобуса, содрогаясь, нависла над моей фитюлькой и тут же пропала далеко позади.

Тьфу, черт! Оказывается, я пролетел под красный и даже не заметил. Что называется, бог спас.

Ладно. Я разозлился на себя. Да кто я такой? Может, у нее сейчас последняя возможность вернуться к тому, кого она до сих пор любит?

Вообще-то, если я узнавал, что к тому или иному человеку Стася хорошо относится или тем более когда-то его любила, человек этот сразу вырастал в моих глазах. Даже не видя его ни разу, я начинал к нему относиться как-то... по-дружески, что ли, уважать начинал больше. Не знаю почему. Наверное, подсознательно срабатывало: ведь не зря она его любила. Наверное, нечто сродни тому, как сказала в Сагурамо Стася о Лизе и Поле, уж не знаю, искренне или всего лишь желая мне приятное сделать, — о, если б искренне! — «родные же люди». Просто сейчас я психанул, потому что слишком неожиданно это свалилось. Слишком я передергался за последние сутки, да и за Стаську переволновался — то она чуть ли не босая по холодным лужам шлепает, то ночью не отвечает... да и вообще — отдалается...

Надо бы почитать на досуге, что этот Квятковский пишет. Есть, наверное, переводы на русский.

Только где он, досуг?

Опубликовал бы он ее, что ли, в Лодзи в своей... да заплатил побольше...

Но на сердце было тяжело. Кисло.

Первым делом я заехал в аэропорт и забрал оставшиеся в камере хранения две аппетитнейшие бутылки марочного

«Арагви», которые подарил нам на прощание Ираклий. Я их отсюда даже не забирал — знал, что нам со Стасей понадобятся. Вот понадобились.

Поехал обратно.

Господи, ну конечно, она несчастлива со мной, ей унижительно, ей редко... Пусть она будет счастлива без меня. Я хочу, чтобы — ей — было — хорошо!

Но на сердце было тяжело.

Ближайшим к ее дому супермаркетом — дурацкое слово, терпеть не могу, а вот прижилось, и даже русского аналога теперь не подберешь; впрочем, как это вопрошал, кажется, еще Жуковский: зачем нам иноземное слово «колонна», когда есть прекрасное русское слово «столб»? — был Торжковский. Я прокатил под Стасиными окнами, миновал мосты и припарковался.

Я был счастлив хоть что-то сделать для нее.

Хишно и гордо я катил свою решетчатую тележку по безлюдному лабиринту между сверкающими прилавками, срывая с них сетки с отборным, дочиста вымытым полесским картофелем, пакеты с полтавской грудинкой и вырезкой, с астраханским балыком, банки муромских пикелей и валдайских соленых груздей, датских маринованных миног и китайских острых приправ, камчатских крабов и хоккайдских кальмаров, празднично расцвеченные коробки константинопольских шоколадных наборов и любекских марципанов, солнечные связки марокканских апельсинов и тяжелые лиловые гроздья таджикского винограда... Тем, что я нахватал, можно было пятерых изголодавшихся любовников обкормить до несварения желудка. Ей недели на две хватит. И где-то на дне потока бессвязных мыслей билось: пусть только попробует отдать мне за это деньги... вот пусть только попробует... у нее все равно столько нет.

У меня у самого едва хватило.

— ...Саша, ты с ума сошел! — воскликнула она, едва отворив. Свежая, отдохнувшая, явно только что приняла ванну; тяжелые черные волосы перехвачены обаятельной ленточкой; легкая блузка-размахайка — грудь почти открыта; короткая юбочка в обтяжку. Преобразилась женщина, гостя ждет. Странно даже, что она меня узнала, — в толще пакетов я совершенно терялся, как теряется в игрушках украшенная с безвкусной щедростью рождественская елка.

— С тобой сойдешь, — отдуваясь, проговорил я. — Куда сгружать?

Мы пошли на кухню; она почти пританцовывала на ходу и то и дело задорно оборачивалась на меня — энергия просто бурлила в ней. Я начал сгружать, а она тут же принялась сортировать свою манну небесную:

— Так, это мы будем есть с тобой... это тоже с тобой... картошку я прямо сейчас поставлю... Ты голодный?

— Нет, что ты.

— Это хорошо... — Распахнув холодильник, она долго и тщательно утрамбовывала банки и пакеты, приговаривая, почти припевая: — Не самозванка — я пришла домой, и не служанка — мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо... На Васильевский успел заехать?

— Конечно.

— Как Поля?

— Знаешь, я ее даже не видел. Пришел — она уже спала, уходил — она еще спала.

— Лиза?

— Все в порядке.

— Слава богу.

Воспоминание о ночи медленным огненным дуновением прокатилось по телу.

— Стася, ты веришь в бога?

— Не знаю... — Она закрыла холодильник и разогнулась, взглянула мне в лицо. Взгляд ее сиял мягко-мягко. Редко такой бывает. — Верить и хотеть верить — это одно и то же?

— Любить и хотеть любить — это одно и то же? Спаси или хотеть спасти — это одно и то же?

— Ну вот. Я уж совсем было поверила, что ты — бог, а ты взял да и доказал, что бога нет... Коньяк-то зачем?

— Как зачем? Ираклий же нам подарил, так пусть у тебя дожидается. А может, человек с дороги выпить захочет.

— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст... И не покажу даже. — Зажав в каждой руке по бутылке, она заметалась по кухне, соображая, где устроить тайник. Не нашла, поставила покамест прямо на стол. Коньяк, словно густое коричневое солнце, светился за стеклом. Захотелось выпить.

— И вот еще. — Я вынул из потайного кармана ключи от ее квартиры, которыми почти и не решался пользоваться ни-

когда, — так, носил как сладкий символ обладания, — и аккуратно положил на холодильник. Не видать мне их больше как своих ушей.

— Какая умница! А я и забыла... Ты мне не поможешь картошку почистить?

Я заколебался. Минуту назад, когда она смотрела так мягко, мне, дураку, почудилось на миг, что ее оживление, ее призывный наряд — для меня. Зазнался, Трубецкой, зазнался. Она расторопно достала кухонный ножик.

— Рад бы, Стасик, но мне сейчас опять на работу. Извини. Она честно сделала огорченное лицо.

— Да брось! Дело к вечеру, что ты там наработаешь? Януш часа через полтора будет здесь, я вас познакомлю. Действительно, тогда вы и выпьете вдвоем, ты расслабишься немножко. У тебя очень усталое лицо, Саша.

— Что я тут буду сбоку припека. Он твой старый друг, collega...

Она покосилась пылливо — нож в одной руке, картофелина в другой.

— Саша, по-моему, ты меня ревнуешь.

— Конечно.

— Вот здорово. А я уж думала, тебе все равно.

Я изобразил руками скрюченные когтистые лапы, занес над ней и голосом Шер-хана протяжно проревел:

— Это моя добыча!

Ловко проворачивая картоху под лезвием, она превосходственно усмехнулась, и я прекрасно понял ее усмешку: дескать, это еще вопрос — кто чья добыча.

— Не беспокойся, — сказала она потом. — Я девушка очень преданная. И к тому же совершенно непригодна к употреблению.

— Окрасился месяц багрянцем?

На этот раз она оглянулась с непонятным мне удивлением, затем улыбнулась потаенно.

— Скорее уж окрысился. Тонус не тот.

— Ну, будем надеяться, — сказал я.

И звякнувший ножик, и глухо тукнувшую картофелину она просто выронила и захлопала в ладоши:

— Ревнует! Сашка ревнует! Этой минуты я ждала полтора года! Ур-ра!

Картофелина, переваливаясь и топоча, подкатилась к краю, но решила не падать.

По-моему, с тонусом у Стаси было как нельзя лучше.

Бедная моя любимая. Все время знать это про меня, каждый день... «На Васильевский успел заехать? Тебя покормили?»

Горло сжалось от преклонения перед ней.

— Ну скажи наконец, как тебе моя новая прическа? Нравится?

Я соскучился до истомы и дрожи, но если поцеловать ее, она ответит, а думать будет, что вот варшавский лайнер шасси выпустил, а вот Януш подходит к стоянке таксомоторов.

— Очень нравится. Как и все остальное. Тебе вообще идет девчачий стиль.

— Просто ты девочек любишь. Я и стараюсь.

Она отвернулась, подобрала картофелину и нож. На меня будто сто пудов кто взвалил — так давило чувство прощания навек. И все равно — такая нежность... Я обнял ее за плечи, легонько прижал спиной к себе и опустил лицо в ароматные чистые волосы; надетая на голое размахайка без обиняков звала ладонь через ключицу вниз, к груди — я еле сдерживался.

— Трубецкой, не лижись. Я тогда с ужином не управлюсь.

Не меня она звала. В последний раз я чуть стиснул пальцы на ее плечах, поцеловал в темя — и отпустил. Все.

— Ладно, Стасенька, я пошел. Не обижайся.

— Жаль. Знаешь, после работы заезжай, а? Поболтаем...

— Зачем тебе?

— Ну, может, мне похвастаться тобою хочется? Тебе такое в голову не приходит?

— Признаться, нет. Не знаю, чем тут хвастаться. По-моему, твои друзья держат меня за до оскомины правильного солдафона — то ли тупого от сантиментов, то ли сентиментального от тупости.

— Какой ты смешной. А завтра ты что делаешь?

— Лечу в Симбирск и добиваюсь встречи с патриархом коммунистов.

Она порезала палец. Ойкнула, сунула кисть под струю воды — и растерянно обернулась ко мне.

— Это еще зачем?

— Дело есть. Счастливо, Стася.

Она шагнула ко мне, как в Сагурамо, пряча за спину руки,

чтобы не капнуть ни на себя, ни на меня, обиженно, в девчачьем стиле, надула губы.

— А обнять-поцеловать?

Я обнял-поцеловал.

4

У себя я — отчасти, чтобы отвлечься, но главным образом по долгу службы — без особого энтузиазма попробовал прямо на подручных средствах предварительно прокрутить свою версию. Рубрика «ранние течения коммунизма», ключ «криминальные». Но дисплей пошел выбрасывать замшелые, известные теперь лишь узким специалистам да бесстрастным дискетам факты и имена. Французские бомбисты: хлоп взрыв-пакетом едущего, скажем, из театра ни в чем не повинного чиновника — и сразу мы на шаг ближе к справедливому социальному устройству. Бакунин. «Ничего не стоит поднять на бунт любую деревню». «Революционные интеллигенты, всеми возможными средствами устанавливайте живую бунтарскую связь между разобщенными крестьянскими общинами». Нечаев. Убийца, выродок. Одно лишь название журнала, который он начал издавать за границей, стоит многого: «Народная расправа». Статья «Главные основы будущего общественного строя», тысяча восемьсот семидесятый год: давайте обществу как можно больше, а сами потребляйте как можно меньше (но что такое общество, если не эти самые «сами»? Начальство разве что), труд обязателен под угрозой смерти, все продукты труда распределяет между трудящимися, руководствуясь исключительно высокими соображениями, никому не подотчетный и вообще никому даже не известный тайный комитет... Конечно, мечтая о таком публично, в уме-то держишь, что успеешь стать председателем этого комитета. Сволочь.

Все эти мрачные секты, узкие, как никогда не посещаемые солнцем ущелья, прокисли еще в семидесятых годах прошлого века и в Европе, и в России; некоторое время они дотлевали на Востоке, скрещиваясь с националистическим фанатизмом и давая подчас жутковатые гибриды, но постепенно и там сошли на нет. Похоже, я опять тянул пустышку.

Позвонил Папазян и попросил принять его — я сказал,

что могу хоть сейчас. Положил трубку и закурил. Настроение было отвратительное. Квятковский, наверное, уже приехал. А Стаська такая красивая и такая... приготовленная. А тут еще эти конструкторы нового общества, в которых даже мне, коммунисту, стрелять хотелось — просто как в бешеных собак, чтоб не кусали людей. Но это, конечно, как сказала бы Лиза, гневливость — страшный грех. Конечно, не стрелять — что я, Кисленко, что ли. Просто лечить и, уж во всяком случае, изолировать. «Друзья народа»...

— Ну что? Неужели и впрямь уже закончили? — плоско-вато пошутил я, когда поручик вошел.

— Никак нет, напротив.

— Присаживайтесь. Что случилось?

Он уселся.

— Я позволил себе несколько расширить трактовку полученного задания, — выпалил он и запнулся, выжидательно глядя на меня. Я помедлил, пытаюсь понять. Тщательно загасил окурочек в пепельнице, притоптал им тлеющие крошки пепла.

— Каким образом?

— Понимаете, — с готовностью начал пояснять он, — материал, который вы мне дали просмотреть, просто страшен, и он вас, возможно, несколько загипнотизировал. Я подумал: ведь не все люди столь решительны и принципиальны, как бедняга Кисленко. Не каждый, даже вот так вот сдвинувшись по фазе, сразу пойдет на убийство. И я позволил себе попробовать посмотреть при тех же признаках менее тяжкие дела — разбойные нападения, злостное хулиганство...

— Но это действительно уже адова работа.

— Что правда, то правда. Но зато она дала какой-то результат. Посмотрите. В текущем и в прошлом году, — он протянул мне листок с нумерованными фактами, — убийств, подобных нашему, нет. А вот инциденты помельче — есть. Два нелепых избиения в Сухуми. Шесть совершенно необъяснимых жестоких драк в деревушках в моем родном краю, между Лачином и Ханкенды. Абсолютно не спровоцированное и абсолютно бесцельное, прямо средь бела дня, нападение на городского на Манежной площади в Москве.

Я внимательно прочитал список. Интересно...

— А вы молодец, поручик, — сказал я. Он покраснел от удовольствия; он вообще легко краснел, как Лиза просто. —

Молодец. Я понятия не имею пока, есть ли тут какая-то связь с нашим делом, но типологическое сходство налицо.

— Ну да! — возбужденно кивнул Папазян. — И главное, все субъекты преступления либо были явно под газом, и поэтому их объяснения, что, мол, о своих действиях они не помнят и объяснить их не могут, сразу принимались на веру, либо утрата памяти списывалась, скажем, на полученный удар по голове, и дальше опять-таки анализировать происшествие никто не пытался.

— Интересно, — уже вслух сказал я. — И, конечно же, поскольку преступное деяние было не столь жестоким и бесчеловечным, как в случае с Кисленко, то и губительного психологического шока не возникало, человек продолжал жить. Память об аберративной самореализации, вероятно, просто вытесняется в подсознание. Интересно, черт! Вот бы проверить, изменился ли у этих людей характер, стали ли они раздражительнее, грубее, пугливее...

— Еще одна адова работа, — с восторгом сказал Папазян.

— Нет, не отвлекайтесь пока. Если набежит совсем уж интересная статистика, проверкой такого рода займутся другие. Продолжайте так, как вы начали, — расширительно.

— Есть! — Папазян встал. Запнулся, а потом застенчиво спросил: — Господин полковник, а у вас уже есть версия?

— А у вас? — спросил я, откинувшись на спинку стула, чтобы удобнее было смотреть стоящему в лицо.

— Так точно!

— Ну-ка...

— Неизвестный науке мутантный вирус! Он поражает центры торможения в мозгу, и больной проявляет агрессивность по пустяковым, смехотворным для нормального человека поводам, а затем сам не помнит того, что совершил в момент помутнения. Но остается потенциальным преступником, потому что вирус никуда не делся, сидит в синапсах. Возможно, нам грозит эпидемия.

— Да вы совсем молодец, Азер Акопович! Браво!

— Вы думаете примерно то же?

— Чтобы подтвердить версию о недавней мутации и ширящейся эпидемии нужно — что?

Он поразмыслил секунду.

— Видимо, показать статистически, что подобные случаи

год от года становятся многочисленнее, а какое-то время назад их вообще не было.

— Вам и карты в руки. — Я вздохнул. — У меня тоже есть версия, Азер Акопович, и ничем не лучше вашей. Она основана на одной-единственной фразе Кисленко...

— На какой? — жадно спросил Папазян.

— Простите, пока не скажу. Идите.

Он четко повернулся и пошел к двери.

— Ох, секундочку!

Он замер и повернулся ко мне снова.

— Скажите, вы знаете такого писателя — Януша Квятковского?

— Да, — удивленно ответил Папазян. — Собственно, он поэт... Поэт и издатель.

— Хороший поэт?

— Блестящий. Одинаково филигранно работает на польском, литовском и русском. Он молод, но уже не восходящая, а вполне взошедшая звезда.

— Молод — это как?

— Ну, я не знаю... где-то моего возраста.

Значит, он моложе ее. И довольно прилично, лет на пять-семь.

— И о чем он пишет?

— Вот тут я с его стихами как-то не очень. Уж слишком он бьет себя в грудь по поводу преимуществ католицизма. И вообще — польская лужайка самая важная в мире.

— Ну, — проговорил я задумчиво и, боюсь, с дурацким оттенком в общем-то несвойственной мне назидательности, — чем меньше лужайка, тем она дороже для того, кто на ней собирает цветы.

Папазян улыбнулся.

— Мне ли не знать?

— А, так просто Квятковский не ту лужайку хвалит?

Мы с удовольствием посмеялись. Среди бесконечных разбойных нападений и мутантных вирусов явно не доставало дружеского трепки. Наверное, чтобы доставало, нужно быть поэтом и издателем.

— А зачем это вам, Александр Львович?

— Неловко кушать коньячок с человеком, которого совсем не знаешь, а он знаменит.

— Ну и знакомства у вас! — завистливо вздохнул Папазян.

Знакомство. Что ж, можно назвать и так. Родственник через жену. Я жестом отослал поручика: сделав сосредоточенное лицо, показал, как набираю, набираю что-то на компьютере.

Значит, она с националистами связалась. Мало нам печалей.

Только бы не лягнула, дурочка, что дружит с полковником имперской спецслужбы. Шляхтич этот ее тогда нипочем не опубликует.

Судя по времени, уже картошку доедает...

Переходим к водным процедурам. Интересно, успела она спрятать коньяк или забыла?

Или не собиралась даже, только сделала вид?

Размахайка на голом и ленточка в ароматных волосах. Тонус у нее не тот...

Мутантный вирус, значит. Что ж, идея не хуже любой другой. Мы, между прочим, об этом не подумали. Надо быть мальчишкой, чтобы такое измыслить. А ведь при вскрытии тела Кисленко эту версию не отработывали. Надо уточнить, не было ли отмечено каких-либо органических изменений в мозгу? Может, произвести повторное?... Ох, ведь жена Кисленко, наверное, уже забрала тело. Бедная, бедная.

Если вирус — значит, у нас с Круусом есть шанс в ближайшем будущем слететь с нарезки. Интересно. Вот сейчас шелкнет что-то в башке — и я, ничуть не изменившись в смысле привязанностей, превращусь в персонаж исторического фильма. Ввалюсь к Стаське, замочу ее борзописца из штатного оружия, потом ее оттаascaю за волосы...

Интересно, ей это тоже будет лестно? Захлопает в ладоши и закричит: «Ревнует! Ура!»?

...Устал.

Траурные церемонии давно завершились, набережная была пустынна. Редкие авто с оглушительным шипением проносились мимо, вспарывая лужи и выплескивая на тротуары пенные, фстончатые фонтаны — приходилось держать ухо востро. Мрачная Нева катилась к морю, а ей навстречу пергустой влажный ветер и хлестал в лицо, толкал в грудь. По всему небу пучились черные лохмы туч, лишь на востоке то разевались, то вновь захлопывались синие прорехи — словно в издевку показывая, каким должно быть настоящее небо.

Я долго стоял под горячим душем, потом под холодным.

Потом сидел в глубоком родном кресле в кабинете; уютный, пушистый, тяжелый и теплый, как утюг, Тимотеус грел мне колени, я почесывал его за ухом — он благостно выворачивал лобастую голову подбородком кверху, и я чесал ему подбородок, и слушал Польку, которая, устроившись на диване под торшером, поджав под себя одну ногу, наконец-то читала мне свою сказку. Надо же, какие психологические изыски у такой малявки. У меня бы великан непременно начал конфискацию еды как раз у тех, кто вообще уже ни о чем не думает на всем готовеньком. Нет, возражала она, отрываясь от текста, ну как же ты не понимаешь, они тогда начали бы думать только о еде, и все. А те, кто уже и так думал только о еде, начали думать, как спастись, как помочь себе, — сначала каждый думал, как помочь самому себе, потом постепенно сообразили, что помочь себе можно только сообща, так, чтобы все помогали всем.

Я слушал и думал: красивая девочка, вся в маму. Грудка уже набухает, господи ты боже мой. Неужели у Польки талант? От этой мысли волосы поднимались дыбом, и гордо и страшно делалось. Хотел бы я дочке Стасиной судьбы? Тяжелая судьба. Хотя есть, конечно, литераторы, которые как сыр в масле катаются, но, по-моему, их никто не любит, кроме тех, кто с ними пьет по-черному, а это тоже не лучшая судьба, нам такого не надо. Тяжелая, беспощадная жизнь — и для себя, и для тех, кто рядом. Не случайно, наверное, среди литераторов совсем нет коммунистов, а если и заведется какой-нибудь, то пишет из рук вон плохо: сюсюканье, назидательность, сплошные моралитэ и ничего живого. Наверное, эти люди просто-таки по долгу службы не могут не быть теми, кого обычно именуют эгоистами. Ученый, чтобы открыть нечто новое, использует, например, компьютер и синхрофазотрон; инженер, чтобы создать нечто новое, использует таблицы и рейсфедеры, но литератор, чтобы открыть и создать новое, использует только живых людей, и нет у него иного способа, иного пути. Нет иного станка и полигона. Да, он остроумный и приятный собеседник; да, он может трогательно и преданно заботиться о людях, с которыми встречается раз в полгода; да, он способен на поразительные вспышки самоотдачи, саморастворения, самосожжения, но это лишь рабочий инстинкт, который знает: иначе не внедриться в другого, а ведь надо познать его, надо взметнуть пламя страстей, ошутить чужие чув-

ства, как свои, а свои — как великие, чтобы потом выкачанные из этой самоотдачи впечатления, преломившись, переважившись, когда-нибудь легли на бумагу и десятки тысяч чужих людей, читая, ощущали пронзительные уколы в сердце и качали головами: как точно! как верно!.. и, насосавшись, он выползает из тебя, сам страдая от внезапного отчуждения не меньше, чем ты, но все равно выламывается неотвратно, отрывается с кровью, испуганно рубит по протянутым вслед в безнадежном старании удержать рукам и оставляет того, ради кого, казалось, жил, в пепле, разоре и плаче. Вот как Стаська меня сейчас.

А иначе — не может. Такая работа.

— Папчик, — тихонько спросила Полушка, и я понял, что она уже давно молчит, — ты о чем так задумался?

— О тебе, доча, — сказал я, — и о твоих подданных.

— Ты не бойся, — сказала она, подходя. Уселась на подлокотник моего кресла и положила руку мне на плечо. — Я им вреда не сделаю. Просто надо же их как-то в себя привести. Ну, какое-то время им будет больно, да. Я сейчас вторую часть начала. Все кончится хорошо.

И на том спасибо, подумал я. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Лиза. Улыбнулась, глядя на наше задушевство.

— Родные мальчики и родные девочки! Не угодно ли слегка откусать? Савельевна уж на стол накрыла.

— Угодно, — сказал я и встал.

— Угодно, — повторила Поля очень солидно и тоже встала.

Взявшись с нею за руки, мы степенно, как большие, двинулись в столовую вслед за Лизой. Она шла чуть впереди, в длинном свободном платье до пят — осиная талия охлестнута широким поясом. Светлое марево волос колышется в такт шагам. Полечу утром, подумал я. Все равно ночью там делать нечего — в порту, что ли, сидеть? Зачем? Нестерпимо хотелось догнать Лизу и шептать: «Прости... прости...» Мне часто снилось: я ей все-все рассказываю, а она, как это водится у них, христиан, властью, данной ей Богом, отпускает мне грехи... Иногда, по-моему, бормотал во сне вслух. Что она слышала? Что поняла?

Мы отужинали. Потом, болтая о том о сем, попили чаю с маковыми баранками. Потом Поля, взяв транзистор, ушла к себе — укладываться спать и усыпительно побродить по эфи-

ру на сон грядущий, вдруг там какое брень-брень попадетя модное. А Лиза налила нам еще по чашке, потом еще. Чаи гонять она могла по-купчески, до седьмого полотенца, — ну а я за компанию.

— Какой хороший вечер, — говорила Лиза. — Какой хороший вечер, правда?

Я был уверен, что Поля давно спит. По правде сказать, у меня у самого слипались глаза: разомлел, размяк. Когда Поля в ночной рубашке вдруг вошла в столовую, я даже не понял, почему она движется словно слепая.

Она плакала. Плакала беззвучно и горько. Попыталась что-то сказать — и не смогла. Вытерла лицо ладонью, шмыгнула. Мы сидели, окаменев.

— Папенька... — горлом сказала она. — Папенька, твоего коммуниста застрелили!

— Что?! — крикнул я, вскакивая. Чашка, резко звякнув о блюдо, опрокинулась, и густой чай, благоухающий мятой, хлынул на скатерть.

Приемник стоял у Поли на подушке. Диктор вещал: «...приблизительно в двадцать один двадцать. Один или двое неизвестных, подкараулив патриарха поблизости от входа в дом, сделали несколько выстрелов, вырвали портфель, который патриарх нес в руке, и, пользуясь темнотой и относительным безлюдьем на улице, скрылись. В тяжелом состоянии потерпевший доставлен в больницу...»

Жив. Еще жив. Хотя бы он остался жив.

Это не могло быть случайностью. Почти не могло.

Кому я говорил, что собираюсь консультироваться с патриархом? Министру да Ламздорфу...

И Стасе.

Не может быть. Не может быть. Быть не может!!!

Я затравленно зыркнул вокруг. Поля плакала. Лиза, тоже прибежавшая сюда, стояла в дверях, прижав кулак к губам.

— Мне нужно поговорить по телефону. Выйдите отсюда.

— Папчик...

— Выйдите! — проревел я. Их как ветром сдуло, дверь плотно закрылась. Я сорвал трубку.

У Стаси играла музыка.

— Стася...

— Ой, ты откуда?

— Из дома.

— Это что-то новое. Добрый это знак или наоборот? — У нее был совершенно трезвый голос — хорошо. А вот силоватый баритон, громко спросивший поодаль от микрофона что-то вроде: «Кто то ест?», выдавал изрядный градус. Натурально, коньяк трескает. Наверное, уже до второй бутылки добрался. «Это мой муж», — по-русски произнесла Стася, и словно какой-то автоген дунул мне в сердце пламенем острым и твердым.

— А мы тут, Саша, сидим без тебя, вспоминаем былую лирику, планируем будущие дела...

— Только не увлекайся лирикой.

— Я даже не курю. Представляешь, он берет у меня в «Нэ згинэла» целую подборку, строк на семьсот!

— Поздравляю. Стася, ты...

— Я хочу взять русский псевдоним. Можно использовать твою фамилию?

— Мы из Гедиминовичей. Это будет претенциозно, особенно для Польши. Стася, послушай...

— А девичью фамилию Лизы?

— Об этом надо спросить у нее.

— Значит, нельзя, — вздохнула она.

— Стасенька, ты никому не говорила о том, куда я собираюсь лететь?

— Нет, милый. — Голос у нее сразу посерьезнел. — Что-то случилось?

— Ты уверена?

— Да кому я могла? Я даже не выходила, а с Янушем у нас совершенно иные темы.

— Может, по телефону?

— Я ни с кем не разговаривала по телефону. — Она уже начала раздражаться. — Честное слово, никому, Саша. Хватит.

— Ну, хорошо... — Я с силой потер лицо свободной ладонью. — Все в порядке, извини.

Было чудовищно стыдно, невыносимо. За то, что ляпнулось в голову.

— Стасик... Ты очень хорошая. Спасибо тебе.

— Саша... — У нее, кажется, перехватило горло. — Саша. Я ведь так и не знаю, как ты ко мне относишься. Ты меня хоть немножко любишь?

Да, сказал я одними губами. Да, да, да, да!!

Она помолчала.

— Ты меня слышишь?
— Да, — сказал я вслух. — Да. И вот еще что. Ты не говори ему, кто я. В смысле — где я работаю.
— Почему?
— Ну, вдруг это помешает публикации.
— Какой ты смешной, — опять сказала она. — Почему же помешает?
— Ну... — Я не знал, как выразиться потактичнее. — Он вроде как увлечен национальными проблемами слегка чересчур...
— Ты что, — голос у нее снова изменился, стал резким и враждебным, — обо всех моих друзьях по своим досье теперь справляться будешь? Он в какой-нибудь картотеке неблагонадежных у вас, что ли? Какая гадость! — И она швырнула трубку.
Хлоп-хлоп-хлоп крыльями.
Позаботился.
Слов-то таких откуда нахваталась. «Неблагонадежных...»
Меньше надо исторической макулатуры читать...
Не верю. Не может быть.
Неужели случайность?
Таких — не бывает.
Я снова поднял трубку.
— Барышня, когда у вас ближайший рейс на Симбирск?

ГЛАВА ПЯТАЯ

СИМБИРСК

1

В оранжевой рассветной дымке распахивался под нами Симбирск — между ясным, светлее неба, зеркалом Волги, даже с этой высоты просторной, как океан, и лентой Свияги, причудливым серпантином петляющей по холмистой равнине волжского правобережья. Небольшой, но великий город. Когда-то он был крайним восточным форпостом засечной черты, прикрывавшей выдвинутые при Алексее Михайловиче в эту степную даль рубежи страны. Мне всегда казалось не случайным, что именно здесь за двести лет до рождения первого патриарха коммунистов России получил коленом под зад

пьяный тать Стенька — выдавленный из Персии, выдавленный с Каспия, без всяких угрызений удумавший было погулять, раз такое дело, по родной земле, вербуя рати посулами свобод и, как выразился бы какой-нибудь Нечаев, будущего справедливого общественного строя: «Режь кого хошь — воля!» Но насилие не прошло здесь уже тогда. Аура такая, что ли... еще одно сердце России. Иногда мне казалось, что вся эта неохватная, как космос, держава состоит из одних сердец — то в такт, то чуть вразнобой они колотятся неустанно, мощно и всегда взволнованно.

И вот насилие, безобразное, словно проказа, проникло сюда.

Неужели и впрямь мутантный вирус?

Невесомым бумажным голубем семисотместная громада спланировала на бетон и замерла в сотне метров от здания вокзала. Безмятежная заря цвела вполне, когда мы вышли на вольный воздух. Длинная вереница рейсовых автобусов быстро всосала пролившееся из утробы лайнера людское море и, фыркая, распалась — кто в Симбирск, кто в Ишеевку, кто куда.

До центра Симбирска езды было с четверть часа.

Я отправил группу «Добро» в гостиницу, где всех нас ожидали номера, а сам пошел по городу, безлюдному и неподвижному в эту рань. Всплыл алый диск, и спящие дома млели в розовом свете; чуть курилось над лужайками Карамзинского сквера розовое марево, пропитанное истомным настоем отцветающей сирени. Сколько сиреневых поколений сменилось с той поры, как гулял тут великий историк? Обаятельно неуклюжий, будто теленок, длинный дом, в котором родился автор «Обломова», улыбнулся мне топазовыми отсветами старомодных окон. По бывшей Стрелецкой, ныне Ленина, мимо принадлежащего патриаршеству Института императивной бихевиористики вышел к Старому Венцу. Дальше хода не было — откос и буйный, слепящий волжский разлет.

Левое крыло института, выстроенного в тон сохранившимся, как были, зданиям улицы, упиралось в дом Прибыловского, во флигеле которого появился на свет первый патриарх.

Было все же что-то неизбежно русское и, не побоюсь вышренного слова, соборное в осуществленной им удивительной трансформации. Он верно угадал подноготный смысл вскрыжившего многие головы так называемого экономического

учения, вся предписывающая часть которого, в отличие от достаточно глубокой описывающей, сводилась, если отрешиться от прекраснотушных, таких понятных и таких нелепых грез об очередном будущем справедливом строе, к фразе, с античных времен повторяемой всеми бандитами, что поигрывали в благородство и тем загодя подкупали бедняков в надежде, буде понадобится, получать у них кров и хлеб: отнимем у тех, у кого есть, и отдадим тем, у кого нет. Разумеется — все ж таки девятнадцатый век! — с массой интеллигентских оговорок: то, что экспроприировано у народа, то, что нажито несправедливым путем... как будто, хоть на миг спустившись с теоретических высей на грешную землю и вспомнив о человеческой природе, можно вообразить, что в кровавой горячке изъятий кто-то станет и сможет разбираться, что нажито справедливо, а что — нет. Логика будет обратной: у кого есть — тот и несправедлив, вот что ревет толпа всегда, начиная от первых христиан, от Ликурговых реформ, и нет в том ее вины, это действительно самый простой критерий, обеспечивающий мгновенное срабатывание в двоичной системе «да — нет»; в толпе все равны и просты и спешат построить справедливый строй, куда толпа не разошлась, и поэтому не могут не требовать действий быстрых, простых и равных по отношению ко всем, двоичный код — максимум сложности, до которого толпа способна подняться.

Да, изначально концентрация имуществ и средств шла насилием, грабежом, зверством неслыханным, но когда она завершается и фавориты тысячелетнего забега определились, ломать им ноги на финишной прямой и ровно тем же зверством отбирать у тех, кому когда-то как-то — все равно когда и как — досталось, отдавая деньги, станки, месторождения, уголья, территории тем, у кого сейчас их мало или нет совсем, значит принуждать историю делать второй шаг на одном и том же месте, а потом, возможно, еще один, и еще, и еще, ввергая социум в череду нарастающих автоколебаний сродни тем, от которых погиб Кисленко, а у нее одна развязка: полное разрушение молекулярной структуры, полное истребление и победителей, и побежденных. И что проку лить нынешним обездоленным уксус в кровь, дразнить, как собак до иступления дразнят, твердя о восстановлении исторической справедливости! История не знает справедливости, как не знает ее вся природа. Справедлива ли гравитационная посто-

янная? Несправедлив ли дрейф материков? Даже люди не бывают справедливы и несправедливы; они могут быть милосердны или безжалостны, щедры или скупы, дальновидны или ослеплены, радушны или равнодушны, но справедливость — такая же игра витающего среди абстракций ума, как идеальный газ, как корень квадратный из минус единицы.

И вот он взял те формулы учения, что не несли в себе ни проскрипций, с которых еще во время оно начинал в Риме каждый очередной император, ни розового бреда об основанном на совместном владении грядущем справедливым устройстве, выдернул оттуда длинную, как ленточный червь, цепь предназначенных стать общими рельсов, кранов, плугов, котлов, шатунов и кривошипов и заменил их душой. Как будто люди заботятся друг о друге шатунами и кривошипами! Будь у одного паровоза хоть тысяча юридических владельцев, одновременных или поочередных, реально владеет им либо машинист, либо тот, кто стоит над машинистом с винтовкой в руке. Люди заботятся друг о друге желаниями и поступками, и, если достаточно большая часть людей постоянно помнит, что каждое насилие, каждый корыстный обман, каждое неуважение подвергает риску весь род людской, уменьшая его шансы выстоять в такой несправедливой, мертвой, вакуумной, атомной, лучевой, бактериальной вселенной, — какая разница, кому принадлежит паровоз?

Да, люди способны к этому в разной степени, люди — разные. Но лучше уж знать, кто чего стоит, нежели средствами государственного насилия заставлять всех быть с виду единообразными альтруистами, а в сущности — просто притворяться и лишь звоночка ждать, чтобы броситься друг на друга... Да, некоторые люди к этому пока не способны совсем. Они до сих пор иногда стреляют.

Зачем, господа, зачем они до сих пор стреляют?!

Я и не заметил, как присел покурить на дощатую лавочку у крыльца. Там теперь музей. А в самом доме Прибыловского вот уж почти век центральные учреждения патриаршества.

Отсюда вчера вечером вышел шестой, и в мыслях не держа, что не дойдет до своей квартиры.

Зачем они стреляют?

«Найди их и убей».

Пора.

Я представился, показал удостоверение. Стремительно застегивая верхнюю пуговицу кителя, дежурный вскочил.

— Вас ждут, господин полковник. Нас еще с вечера предупредили из министерства.

— Кто ведет следствие?

— Майор Усольцев. Комната девять.

Усольцев был еще сравнительно молод, но узкое постное лицо с цепкими глазами выдавало опытного и настырного сыскаря. Если такой возьмет след — его уже не собьешь.

— Я никоим образом не собираюсь ущемлять ваших прав, — обменявшись с ним рукопожатием, сразу сказал я. — Я не собираюсь даже контролировать вас. Меня просто интересует это дело. Есть основания полагать, что оно связано с гибелью «Цесаревича».

— Вот как? — помолчав и собравшись с мыслями, проговорил Усольцев. — Тогда все ясно. То есть, конечно, не все... Какова природа этой связи, вы можете хотя бы намекнуть?

— Если бы это облегчило поиски стрелявшего, я бы это сделал. Но покамест не стану вас путать, не обессудьте. Все очень неопределенно.

— Хорошо, господин полковник, тогда и оставим это. — Он опять помолчал. — Стрелявших было двое. Жизнь патриарха, по-видимому, вне опасности, но состояние очень тяжелое, и он до сих пор без сознания. Пять попаданий — просто чудо, что ни одного смертельного... Присаживайтесь здесь. Вот пепельница, если угодно. Вы завтракали? Я могу приказать принести чаю...

— А вы завтракали? — улыбнулся я.

Он смущенно провел ладонью по не по возрасту редким волосам.

— Я ужинал в четыре утра, так что это вполне сойдет за завтрак.

— Я перекусил в гравилете. Мотив?

— В сущности, нет мотива.

Ага, подумал я.

— Сначала мы полагали, что это какое-то странное ограбление, но через два часа после дела портфель патриарха был найден на улице под кустами Московского бульвара.

— Он был открыт?

— Да, но, судя по всему, из него ничего не было взято. Хотя в нем рылись, и на одной из бумаг мы нашли отпечаток мизинца. Портфель отброшен, словно на бегу или из авто, часть бумаг вывалилась на землю.

— Что вообще в портфеле?

— Ничего заманчивого для грабителей. Кусок рукописи, над которой работает патриарх. Личные дела претендентов на освобождающуюся должность заведующего лабораторией этического аутокондиционирования при патриаршестве — прежний завлаб избран депутатом Думы. Сборник адаптированных для детей скандинавских саг в переводе Уле Ванганена — секретарь патриарха показал, что патриарх купил сборник вчера днем в подарок внуку. Финансовый отчет ризничего...

— Возможно, грабители полагали, что там есть нечто более ценное, а убедившись в ошибке, избавились от улики.

— Это единственное, что приходит на ум. Но кому в здравом уме шарахнет в голову, что патриарх носит в портфеле бриллианты или наркотики?

— Возможно, ограбление — лишь маскировка политической акции? — спросил я.

Усольцев пожал плечами и ответил:

— На редкость бездарная.

— А возможно, некто был не в здравом уме?

Майор помолчал с отсутствующим видом.

— Эту реплику, господин полковник, такую многозначительную и загадочную, я отношу на счет той информации, которой вы, вероятно, располагаете, а я — нет. Ничего ответить вам не могу.

— Господин майор, вы поняли меня превратно! — сказал я, а сам подумал: какой ершистый. — Я имел в виду лишь осведомиться, не было ли в городе в последнее время каких-то иных, менее значительных происшествий, связанных с необъяснимым вандализмом, неспровоцированной агрессией и так далее. Возможно, просто действовал маньяк!

Усольцев несколько секунд испытующе глядел мне в лицо, а потом вдруг широко улыбнулся, как бы прося прощения за вспышку. И я смущенно подумал, что, не дай бог, он мог расценить мои слова о неспровоцированной агрессии как намек на свое собственное поведение. Мне совсем не хотелось его обижать. Он мне нравился.

— Мне это не приходило в голову, — признался он, — но, видимо, потому, что я доподлинно знаю: таких инцидентов в городе не было. Что же до маньяка, то... во-первых, у нас их два, а это уже редчайший случай — чтобы два маньяка действовали совместно. Во-вторых, дело было не импульсивным, а подготовленным. От патриаршества до дома патриарха менее получаса ходьбы, и в хорошую погоду патриарх, разумеется, не пользовался авто. Покушение было осуществлено в самом удобном для этого месте, в сквере, примыкающем к жилому кварталу, где расположен дом патриарха, — там темнее и безлюднее, чем где-либо еще на маршруте от патриаршества до дома; и маньяки явно уже отследили, как патриарх ходит и когда. Расположились они тоже не случайным образом, а это значит, что они точно профессионалы, по крайней мере — один из них.

С этими словами Усольцев встал, подойдя к столу, взял одну из бумаг и принес мне. Это был реконструированный по показателям немногих свидетелей план — кто как стоял, кто как перемещался; красным пунктиром были нанесены трассы выстрелов — их было восемь, красными крестиками — места, где находился патриарх в моменты попаданий, их было пять; он еще пытался бежать, потом полз, и жирным красным кружком было обозначено место, где он замер. Я смотрел, и вся картина этой отчаянной трех- или четырехсекундной битвы одного безоружного с двумя вооруженными ярче яви стояла у меня перед глазами; зубы скрипнули от жалости к нему и ненависти к ним.

«Найди их и убей».

Да, они очень правильно встали. После первого выстрела патриарх побежал — прямо на второго — и сразу напоролся на пулю, пробившую легкое.

А вот стреляли они неважно. Бандиты — да, но не террористы-профессионалы. Действительно, похоже скорее на разбойное нападение, чем на теракт.

Если бы они хотели его убить, они бы его убили, понял я. Да, они могли подумать, что он мертв, но никто им не мешал, никто не спугнул, счет отнюдь не шел на секунды; если бы их специальной целью было именно убийство, любой из них мог сделать несколько шагов и добить лежачего в упор.

Значит, целью было ограбление.

Но, если им нужен был портфель, зачем такая пальба?

Подойти, оглушить, вырвать... просто пшикнуть чем-нибудь в лицо, хватъ — и наутек!

И, кроме того, что они в самом-то деле ожидали найти в портфеле патриарха коммунистов, неукоснительно, хоть и не столь яро, как монахи христиан, придерживающихся принципа нестяжания?

Значит, и не ограбление.

Жестоко, но не до смерти изувечить и изобразить ограбление, чтобы запутать нас?

Но Усольцев прав, изобразить можно было бы и получше — бросить портфель не под кусты в двух шагах от места покушения, а в ту же, например, Волгу, пихнув внутрь пару камней, — и никто бы его никогда не нашел.

А может, им нужны были именно бумаги? Ознакомились, узнали нечто — и вышвырнули, как мусор. Но что? Финансовый отчет? Подробности биографии какого-то из кандидатов в завлабы? Темный лес...

Надо тщательно проанализировать все бумаги.

— Баллистическая экспертиза? — спросил я.

— «Вальтер» и «макаров». Две пули попали в деревья, одна в стену дальнего дома напротив. «Вальтер» темный. А вот из «макарова» три года назад стреляли в инкассатора в Игарке. Стрелявший сидит, я затребовал его дело.

— Что с отпечатком?

— На бумагах и на портфеле, конечно, полно отпечатков, но все принадлежат работникам патриаршества, в основном — самому патриарху. И один мизинец, который безымянный. В смысле, неизвестно чей. На папке с личными делами. Но не похоже, что ее открывали, — портфель скорее был бегло осмотрен в поисках чего-то другого. Просматривал человек в перчатках, явно он и портфель хватал, а второй, судя по такой стремительной смазанности отпечатка, просто отпихнул папку от себя, как бы в раздражении, вот так, — Усольцев показал жестом, — ребром ладони, и мизинчиком случайно задел, мог сам этого и не заметить.

— То есть, похоже, они все-таки рассчитывали обнаружить в портфеле то ли ожерелье Марии-Антуанетты, то ли Кохинур, а напоровшись на мирную бюрократию, в сердцах вышвырнули ее вон?

— Точно так. В нашем банке таких отпечатков нет. Оператор сейчас работает с единой сетью.

— Кто-нибудь видел нападавших?

— Видели, как двое выбежали из сквера сразу после пальбы и скрылись за углом, а там раздался шум отъезжающего авто. Авто не видел, кажется, ни один человек.

— Приметы?

— Сделали фотороботы на обоих. Но весьма некачественные — ночь. Идемте к дисплею.

Первое возникшее на экране лицо, довольно грубо набросанное не вполне вязавшимися друг с другом группами черт, ничего мне не говорило. Зато второе...

Эта просторная плоская рожа... Эта благородная копна седых, достойных какого-нибудь гениального академика волос, зачесанных назад... Сердце у меня торкнулось в горло, я даже ударил себя ладонью по колену от предчувствия удачи.

— Знаете, — стараясь говорить спокойно, предложил я, — затребуйте-ка из банка данных единой сети портрет Бени Цына и сличите через идентификатор.

— Бенья Цын? — переспросил Усольцев.

— Да. По-моему, ни один человек в мире не знает, как его по отчеству. В крайнем случае — Б. Л. Цын.

— Старый друган? — осведомился Усольцев, трепеща пальцами по клавиатуре.

— Не исключено.

Лицо на экране уменьшилось вдвое и съехало в левую часть поля, а на правой появился портрет Бени. В левом верхнем углу заколотились цифры, идентификатор у нас на глазах прикидывал вероятность совпадения; вот высветилось «96.30», но я и так чувствовал: он, он! — это же, наверное, чувствует гончая, взявшая след. Крупный, представительный, очень мужественный — с точки зрения современных пасифай, с ума сходящих по быкам, раскосый; и эта вечная кривая и глубокомысленная улыбочка, трогающая губы едва ли не после каждой с трудом сказанной корявой фразы: мол, мы-то с тобой понимаем, о чем шепот, но зачем посвящать окружающих дураков, — этакий сибирский Лука Брацци; родился во Владивостоке, карьеру начал вышибалой в знаменитых на весь мир увеселительных заведениях Ханты-Мансийска, там же попал в поле зрения курьеров тонкинского наркоклана, а когда мы с китайскими и индокитайскими коллегами рубили клан в капусту, впервые попался на глаза и мне.

— Он! — восхищенно воскликнул Усольцев. — Ей-богу! Девяносто шесть и три — он!

Яростная, алчная сыскная радость так клокотала во мне, что, боюсь, я не удержался от толики позерства — сложив руки на груди, откинулся на спинку кресла и сказал:

— Ну, остальное — дело техники, не так ли?

Все оказалось до смешного просто. Впервые в этом деле. Сорок минут спустя о том, что стюардесса наблюдает в пятом салоне человека, сходного с выданным на экран радиорубки портретом, сообщили с борта лайнера, подлетающего к Южно-Сахалинску. И лайнер этот шел от Симбирска, от нас. Бенья драпал.

В кассе аэровокзала — кассир еще даже не успел смениться — сообщили, что человек с предъявленной фотографии купил билет всего за сорок минут до взлета. Это произошло почти через пять часов после расправы с патриархом. Почему Бенья так медлил? Где второй?

Ничего, скоро все узнаем. Скоро, скоро, скоро! Меня била дрожь. Это не бедняга Кисленко, чья-то «пешка». Это настоящая тварь, и из нее мы выкачаем все.

Человек этот, сказал кассир, чего-то боялся. Озирался и съеживался; такой крупный, представительный, а все будто хотел стать меньше ростом. И когда шел от кассы на посадку, держался в самой гуще толпы: обычно люди, попавшие в очередь к турникету последними, так последними и держатся, а этот все норовил пропихнуться туда, где его не видно в каше, потому я и обратил внимание...

Боялся. Нас боялся? Или у них тут своя разборка?

Скоро все узнаем. Скоро, скоро!

Бенью взяли аккуратно и без помарок. Он сел в таксомотор, велел ехать в порт — в Японию, что ли, собрался? будет тебе Япония, будут тебе все Филиппины и Наньша цюньдао в придачу! — и слегка отмяк. Боялись, что он по-прежнему вооружен и может сдуру начать палить, поэтому решили брать подальше от людей. Перегораживающий шоссе шлагбаум портовой узкоколейки оказался опущен, шофер остановил авто, и из-за обступивших дорогу ярких рекламных щитов — «С аквалангом — на Монерон!», «На яхтах Парфенова вам не страшна любая непогода!», «Я переплыл пролив Лаперуза — а ты?» — как из-под земли вымахнули четверо ребят с пистолетами, нацеленными Бене в голову сквозь окна таксомотора.

Беня уж и не дергался, лишь понурился устало и сам вышел наружу.

Оружия при нем не оказалось.

Меньше чем через час после прибытия в Южно-Сахалинск Беня уже пустился в обратный путь сюда, к нам. В наручниках. Теперь можно было то ли позавтракать, то ли пообедать.

— Свидетелей сюда, — сказал я, уже держа ложку в руках.

3

— Здравствуй, Беня, — сказал я. — Сколько лет, сколько зим.

— Сколько лий, сколько зям, — мрачно пошутил громила в ответ.

— Присаживайся. Вот майор Усольцев, звать его Матвей Серафимович. Он тобой будет заниматься непосредственно. Ты с ним еще не знаком.

— Очень приятно, — сказал Беня и кривовато усмехнулся: мол, мы-то понимаем, что не очень, но нет смысла говорить об очевидном.

— Но сперва я тебя поспрашиваю. На правах старого друга.

— Спрашивайте...

Я помедлил. Он был какой-то безучастный. Выбитый из колеи какой-то.

— Что ж ты, Беня. За тонкинскую дурь отсидел, от ограбления алмазного транспорта отмазался счастливо — так теперь тебе для коллекции мокряк понадобился?

— Не понимаю, о чем шепот, начальник.

Я ткнул клавишу монитора — на экране высветился Бенин фоторобот.

— Узнаешь?

— Узнавать — дело ваше...

— Ладно, будем мотыляться с опознанием...

Все пять свидетелей, со слов которых составлялся фоторобот, практически без колебаний указали на Цына, затерявшегося среди шести работников полицейского управления, приблизительно схожих с Беней по внешности и комплекции.

— Ну?

— Вы на меня смотрите — они на меня и показывают.

— Улетал ты, Бенья, отсюда, кассир тебя узнал.

— А я этого и не скрываю...

Я перевел взгляд на модные Бенины туфли. Оперативники срисовали их еще в гравилете.

— Тапочки у тебя клевые. — Я сунул Цыну под нос фотографию отпечатка следа с почвы скверика, где произошло покушение. — Рисуночек, видишь, точь-в-точь как за кустом, где убийца прятался.

Цын совсем заскучал. На отпечаток глянул мельком, опустил глаза. Когда заговорил, в голосе была гордая безнадежность — умираю, но не сдаюсь.

— Какой убийца? Не понимаю я вас... А тапочки я в здешнем магазине покупал, днями. Там за прилавком коробок стояло.

— Горбатого лепишь, Бенья. Тапочки шанхайские, модельные, здесь таких и не видывали.

Он уж не нашелся что ответить. Глядел в пол и отчаянно тосковал.

— Ну, хорошо. Трех часов полета, я смотрю, тебе мало показалось. Посиди теперь в КПЗ, еще часика три подумай. — Я сделал вид, что тяну палец к кнопке вызова конвойного.

— А ордерок, извините, у вас имеется? — уныло спросил он.

— Да что ж ты дурика из меня делаешь? Для задержания на сутки никаких ордеров не требуется.

— А потом? — осторожно спросил Бенья. Какая-то странная это была осторожность. Опасливость даже.

— А потом, — вдохновенно пустил я пробный шар, — если не получится у нас душевной беседы, отпущу тебя на все четыре стороны.

И тут он совсем допустил слабинку. Моргнул. Сглотнул. Вазомоторика, беда с нею всем на свете цынам.

— Прямо здесь?!

Он боялся выходить на улицу.

Он попал в какой-то переплет. И убийство он брать на себя не хотел, и на волю здесь, в Симбирске, его тоже, мягко говоря, не тянуло. Драпал он явно не от нас.

— А где же? — простодушно спросил я.

— Где хватали, туда и отвезите, — с нахальством отчаяния

пробормотал он. — Что ж мне — второй раз на билет тратить-ся? У меня бабли не казенные...

— Ну, знаешь, сегодня ты какой-то совсем нелепый, — ответил я. — А кстати, что ты на Сахалине делать собрался?

— На Монерон с аквалангом! — плаксиво выкрикнул он.

— Да, там, говорят, красиво... Гроты... Что же сделаешь. Если взяли мы тебя понапрасну — полицейский гравилет, конечно, гонять туда не станем еще раз, но по справедливости скинемся с майором тебе на билет. А уж остальное — сам. И на вокзал сам, и в кассу сам...

Он угрюмо молчал. Ох скучно ему было, ох страшно!

И тут допустил слабину я. Солгал. Очень редко я такими прихватками пользуюсь — грубо это, делу в конечном счете может скорее повредить, нежели помочь, и как-то даже не-спортивно. Всегда неприятный осадок остается на душе. Буд-то сам себя, своей волей, уравнивал со шпаной. Но Беня бук-вально напрашивался. Он созрел, надо было дожать чуть-чуть. Нет — так он просто плюнет на меня, как на вруна и провокатора, и будет прав, а я получу по заслугам. И придется впрямь отпускать его на улицу, куда он так не хочет — и, ви-димо, не хочет неспроста; так лучше его от этой улицы хоть так побережь. Я вызвал конвойного. И Усольцев уже кусал гу-бу, с досадой и непониманием косясь в мою сторону. И Цын уже встал, сутулясь, и повернулся к двери, чтобы идти. И тут я доверительно сказал ему в спину:

— Но ведь, Беня, и патриарх тебя признал.

Он стремительно обернулся ко мне.

— Так он живой?!

Усольцев не выдержал — захохотал от души и даже при-хлопнул себя обеими руками по ляжкам. Беня растерян-но ус-тавился на него, потом опять на меня; широкое лицо его ста-ло пунцовым.

— Живой, Беня, живой. Честное слово. Что ж ты себя пу-гаешь? Нет на тебе мокряка. Садись-ка сюда сызнова, и будем разговаривать по-настоящему.

Он решительно шагнул назад. Взглядом я отослал кон-войного. Беня уселся.

— А если по-настоящему, — сказал он, всерьез волнуясь, — если по-настоящему... Он же все врёт! Демагог! Поет сладкие песни, всех со всеми как бы мирить пытается, а сам личной власти хочет, диктатуры! Вот, мол, я самый добрый, самый

правильный, без меня вы — никуда. Слушайтесь! А для меня это просто невыносимо, я ж в молодости сам коммунизмом увлекался, чуть обет не дал... Вовремя скумекал, что вранье это все, просто такие вот дураят народ.

Я откинулся на спинку стула. Я был ошеломлен: чего угодно ожидал, только не этого. Точно старый паук вдруг голосисто закукарекал из своей паутины.

— А портфельчик этот? — горячился Бенья. Он не играл, не придурился — чувствовалось, что его прорвало и говорит он о наболевшем, о сокровенном, о том, чем и поделиться-то ему было не с кем доселе. — Я никак понять не мог, чего он все время с портфельчиком ходит. А третьего дня на меня как откровение какое накатило: там же деньги, ценности. Сосет, вымогает каждый день у рядовых коммунистов — как бы пожертвования всякие на нужды, на фонды научные и всякие программы... а сам потихоньку по вечерам, когда все уж разойдется, домой перетаскивает! А там то ли под яблоньку до лучших дней, то ли в Швейцарию как-то переправляет на случай загранкомандировок...

— Бенья, — сказал я, слегка придя в себя. Глянул на Усольцева: тот тоже сидел в обалдении. — Бенья, дружище, да в своем ли ты уме? Откуда ты слов-то этих набрался: демагог, диктатура, рядовые коммунисты... загранкомандировки... Кто тебе напел?

— Верьте слову, — убежденно ответил он. — Так и есть. Сам понял.

— И когда же ты это понял?

— Кумекать-то я уже давно начал, уже... неделю здесь. А третьего, говорю, дня вдруг осенило. И как-то, знаете, легко мне сразу стало, будто весь мир сделался прозрачный и понятный. Вот же, думаю, патриарх, на всей земле уважаемый человек, учить всех лезет, а такая свинья, хуже нас, грешных!

— Так. Ну и какие ценности ты в портфеле обнаружил?

— Тут промашка вышла, — с досадой признался Цын. — Как раз в тот вечер он одни бумажки нес. Потому я и влип.

— Не понял, — сказал я. — Где влип? Во что влип?

— Да со своими, — нехотя сказал Бенья. — Ведь как получилось-то? Я уж так уверен был, что подговорил одного друга на вместе взяться... Одному как-то не личило, не верилось мне, что патриарх и впрямь без охраны ходит. И мне не только портфель нужен был, мне наказать его хотелось! Может, и

не до смерти, это уж как бог ему даст, но — как следует! А другану на идеологию мою начхать, конечно, ему материю подавай. В общем, наплел я с три короба, чтоб его увлечь, — а у нас такого не прощают...

Да. Если он плел со столь же убежденным видом, что теперь, кто угодно бы поверил.

— И где же твой друган?

— Он, как увидел, что мы пустышку взяли, — озверел. За рулем я был, а он ствол мне в бок: верти, говорит, туда, где мне лапшу на уши вешал, будем с тобой разбираться. И была бы мне хана, если бы не извернулся я. Уж приехали в его компанию, уж из тачки вышли — дал я ему возле дома по темечку, и ноги в руки. Теперь-то, думаю, они меня ищут не хуже, чем вы...

— Так что же это за компания у тебя тут? — не выдержал Усольцев. Я понял его нетерпение — его более всего волновали дела вверенного ему района, и весть о том, что под носом у него шурует целая группа, явно довела его до умоисступления. Удивляюсь его выдержке, он и так долго терпел.

Беня моргнул. Покосился на Усольцева.

— Да я и сам толком не знаю, — осторожно сказал он. — Я сюда один прилетел, думал отдохнуть маленько. Тут же коммунисты, благорастворение... А другана этого на улице встретил. Его это компания.

С какой-то нехорошей мысли сбил меня поворот разговора. Компания — это, безусловно, важно, очень важно, но нечто значительно более важное ворохнулось в мозг и растворилось. Осталась тревога.

— Ты, Беня, не темни!

— Век воли не видать, господин майор!

— Адрес?

— В Ишеевке это. Хлебная улица, дом сорок шесть. Двухэтажный такой особнячок, принадлежит торговцу-зеленщику Мокееву. Торговец-то он торговец, да только не зеленщик.

— А чем торгует?

— Да всем помаленьку. В основном, кажись, дурью.

Не слишком ли легко он всех сдает? Да нет, он нашими руками надеется от них избавиться и так обезопасить себя — это бывает. Что же мне такое показалось?

— План дома нарисуешь?

— Только уж вы на меня не ссылайтесь, ежели с ними беседовать будете.

— Какой разговор, Бенья.

— Для меня — самый важный. Господина полковника-то я давно знаю, он человек честный и своих в обиду не даст. А с вами, извиняюсь, дела пока не имел...

— Ты уж к нам в свои записался? — ухмыльнулся Усольцев.

— Сотрудничество — вещь полезительная. Мы за мирное сосуществование двух систем.

Майор опять опешил.

— Чего? Каких систем?

Вертя в пальцах карандаш и примериваясь, как рисовать, Цын отмахнулся:

— Это из юности моей коммунистической, вам не понять. Вот тут, значит, крылечко...

Усольцев вопросительно глянул на меня. Я пожал плечами. Что за околесицу Бенья нынче несет...

— С этой стороны в первом этаже шесть окошек, во втором — четыре...

Конечно, и в Ишеевке, и даже в самом Симбирске устроить базу — остроумно и верно. Полно принадлежащих патриаршеству странноприимных домов, полно частных пансионатов — паломников и своих, и зарубежных не счесть, послушников, едущих хоть словом перемолвиться с патриархом перед обетами, не счесть журналистов и ученых, опять-таки и своих, и из иных стран... Легко затеряться.

Нет, не об этом я тогда подумал... Упустил мысль, все.

Бенья, прикусив кончик языка, старательно чертил.

Конечно, скорее всего, мы там никого не застанем. Опасаясь, что мы найдем Беню раньше и расколем, они, естественно, должны уже слинять давно, ради чего бы они в этом особняке Мокеева ни собирались...

Нет, не то.

Бенья поднял на меня виноватые глаза.

— Вы уж поаккуратней, — сказал он. — Это ж малина... опорный пункт, по-вашему. Сейчас там три, а сейчас — пятеро...

Там оказалось двенадцать. И уйти они никак не могли — держал товар, о котором Бенья и слыхом не слыхал. В подвале бывшего не опорным, а перевалочным пунктом дома дождалась транспорта рекордная партия героина-сырца для Евро-

пы; такую не увезешь в чемодане. Подготовленный канал с сопровождением, со всеми документами, подстраховками, таможненными льготами должен был сработать назавтра. Как эти люди проклинали Беню, втравившего одного из них в дурацкое, пустое и принявшее столь неожиданный оборот дело! Правда, тюкнутый по темечку особенно не распространялся о том, как на пустышке купил его Беня, — стеснялся выглядеть дураком...

Все это я узнал позднее.

Коль скоро тюкнутый не зарегистрирован ни в одном из травмопунктов, ни в одной из больниц района, значит, скорее всего, он в доме — так рассудили мы с Усольцевым. Дом аккуратно обложили ишеевские оперативники через четверть часа после того, как Беня начал давать показания. Но Усольцеву не терпелось пощупать самому. Следить за точкой день, два, три казалось ему в сложившейся ситуации бессмысленным — а вдруг к тому же Беня соврал и нет там никакой малины? — и потому невыносимым. Это было его дело — я расследовал катастрофу «Цесаревича», покушение на патриарха. Но когда, сильно на себя раздосадованный за то, что до сих пор и слыхом не слышал об активном местном торговце дурью, Усольцев сказал:

— Ну, что же, я вызываю свою группу, — я ответил:

— Я тоже.

— Вам-то зачем, Александр Львович?

От возбуждения и тревоги я стал болтлив не в меру.

— Понимаете... полный дурак я только с женщинами. Что мне скажут — тому и верю. А тут чудится мне какой-то подвох, а какой — никак не соображу. Значит, лучше быть поближе к делу.

Начинало смеркаться, когда два авто подъехали к углу Хлебной и Дамского проспекта, где были сосредоточены почти все лучшие в Ишеевке заманчивые для женщин магазины, и, не выворачивая на Хлебную, остановились. В дороге мы по радио успели получить дополнительные сведения: сам Мокеев с семьей уже неделю как убыл на воды, дома оставив управляющего, да два приехавших откуда-то из Сибири незнатных журналиста снимают у него мансарду. Круг знакомств у них обширный. С момента установления наблюдения из дома никто не выходил и в дом не входил; есть ли кто-то внутри — неизвестно.

— Держись ко мне поближе на всякий случай, — поправляя кобуру под мышкой, сказал я Рамилю. Тот механически кивнул, явно не очень-то меня слыша; глаза горят, щеки горят — первое серьезное дело.

— Ну зачем вам-то рисковать? — полушепотом сказал мне командир группы «Добро» Игорь Сорокин. И с раскованной прямой добавил: — Ведь под сорок уже, реакция не та...

Я только отмахнулся. Меня будто бес какой-то гнал. Амок.

Эта операция была поспешно совершаемой глупостью, от начала и до конца. И хотя мы взяли всех, в том числе и тюкнутого, в том числе и товар, — если бы не подвернулось «Добро», охранники товара постреляли бы половину десятки Усольцева, а то и больше. Сам того не ведая, Беня отправил нас в осиное гнездо.

И вот, когда мы уже заняли позиции под окнами, и на звонки в дверь никто не отвечал, а потом управляющий, якобы сонно, стал спрашивать, чего надо, и сообщил, что хозяин в отъезде, и честный Усольцев уже помахал у него перед носом ордером на обыск, и первая пятерка уже вошла в дом, я вдруг понял, какая мысль, ровно никак не могущий родиться младенец, крутилась и пихалась пятками у меня в башке.

Это был не Беня.

Со мной разговаривал тот самый дьявол. Тот самый мутантный вирус. Просто Кисленко, человек порядочный и добрый, не выдержал раздвоения, а преступник Цын с дьяволом сжился легко; он даже не понял, что одержим. Все побуждения и повадки дьявола были ему сродни. Но его бред про сокровища рядовых коммунистов и личную диктатуру патриарха произносили из мрачной бездны те же уста, которые подсказывали убийце великого князя бред про красный флаг и про то, что народу нечего жрать.

Я похолодел от жуткой догадки. Идиот, нужно срочно ехать обратно, манежить Беню до изнеможения: в какой момент его осенило, где, кто находился рядом, что ели, что пили... И тут в доме началась пальба.

Державший соседнее с моим угловое окно Рамиль рванул к крыльцу дома. Мальчишка, сопляк; товарищам помогать нужно, делая как следует то, что поручено тебе, а не мечась между тем, что поручено одному, другому, третьему товарищу... С диким звоном разлетелось окно — не мое, Рамиле-

во, — и из дома вниз прыгнул, растопырив руки крестом на фоне темнеющего неба, вооруженный человек.

Рамиль рванулся обратно. Чуть оскользнулся на росистой траве. Выровнялся мгновенно, быстрый и сильный, как барс, но такой беззащитно мягкий, почти жидкий по сравнению с мертвой твердостью металла, которая — я это чувствовал, знал всей кожей — то ли уже вытянулась, то ли уже вытягивается ему навстречу. Я успел выстрелить в ответ, успел размашисто прыгнуть на Рамиля, успел головой и плечом сшибить его с ног и убрать с той невидимой, тонкой как волос, прямой, на которой в эту секунду никак нельзя было находиться живому.

И еще успел подумать, ужасно глупо: вот что чувствует воздушный шарик, когда в него тычут горящим окурком. Мир лопнул.

4

Боль была такая...

Боль.

Боль.

Такая боль, что казалось, это из-за нее темно. Из-за нее нельзя пошевелиться. Если бы не такая боль, пошевелиться было бы можно.

Особенно больно было дышать.

Опять бился в темноте под опущенными, намертво приросшими к глазным яблокам веками безголовый гусь; ему нечем было даже пискнуть, даже намекнуть, как ему плохо, больно и страшно, и он лишь бессильно хлопал могучими крыльями по земле, чуть подскакивая при каждом хлопке, но о том, чтобы улететь с этого ужасного, залитого его кровью пятачка, и речи быть не могло.

Кажется, я маленький и больной. Инфлюэнца? Ветрянка? Не помню... Температура — это точно. Очень высокая температура. И боль. Но мама рядом. Это я чувствую даже в темноте. Она рядом и что-то шепчет ласково. Значит, все будет хорошо. Я поправлюсь. Надо только потерпеть, переждать. Маменька, так больно мне... дай попить... не могу дышать, снимите с меня камень.

Хлоп-хлоп крыльями...

Хлоп-хлоп веками. В первое мгновение свет показался непереносимо ярким.

В палате едва тлел синий ночник. Я был распластан; капельница — в сгиб локтя, кислородная трубочка прилеплена пластырем к верхней губе. Это из нее веет прямо в ноздрю свежим — так, что можешь дышать, почти не дыша. Рядом не мама — Лиза. Она осунулась. Она молилась. Я слышал, как она, сжав кулачки, просто-таки требует чего-то у святого Пантелеймона и еще у какой-то Ксении... Смешная. Под глазами у нее пятна, синие, как ночник. Наверное, она давно так сидит.

Я шевельнул губами и засипел. Она вскинулась.

— Саша!

Я опять засипел.

— Тебе нельзя говорить! Сашенька, родненький, пожалуйста, лежи спокойно! Все уже хорошо! Только надо потерпеть...

Я засипел.

— Чего ты хочешь. Сашенька? Что мне сделать? Подушечку поправить? Или пописать надо? Если да — мигни!

— Прости, — просипел я.

Слезы хлынули у нее из глаз.

— Прости, — для надежности повторил я.

Прости за то, что под этими проклятыми окнами я о тебе даже не вспомнил. Не знаю, как так могло получиться. Даже не подумал, как ты без меня будешь. Даже не подумал о долге перед Полей, перед тобой... перед Стасей, про которую ты не знаешь, но с которой все равно сродни... Она не любит этого слова, но, пока я ей нужен, у меня перед нею долг, с этим ничего не поделаешь... Подумал только о чужом мальчишке — там, в Отузах, где нам с тобой и с Полей было так хорошо, он со сверкающими глазами замороженно слушал на вечерней веранде, под звездами, среди винограда, мои рассказы...

Всего этого мне нипочем было сейчас не сказать.

— Ксения... кто? — просипел я.

Она улыбнулась, гладила меня по руке, поправляла одеяло...

— Ты слышал, да? Как чудесно! Ты совсем пришел в себя, родненький! Это такая очень достойная женщина, тебе бы понравилась. Святая Ксения Петербургская. У нее муж умер скоростижно, без причастия, и значит, в рай попасть никак не мог; но она, чтоб его из ада вытащить, в его одежду оде-

лась, стала говорить, что умерла она, Ксения, все имущество бедным раздала и еще долго жила праведной жизнью как бы за него. У нас на Смоленском похоронена, в трех шагах от дома. Хочешь — сходим потом вместе?

— Она... от чего? — спросил я и сразу понял, что плохо сказал, — будто речь шла о таблетке. Эта от головной боли, а эта от несварения... Но слово — не воробей.

— Для здоровья, для супружеского ладу...

— А Пантелеймон что же?

Она и смеялась, и плакала.

— Сашенька, ну это же не кабинет министров! Один по энергии, другой по транспорту... Они просто помогают в нужде — а там уж с кем лучше всего отношения сложатся. Вот мне, например, с Ксюшей легче всего, доверительнее...

Из-за двери палаты донесся шум. Резкие выкрики. Голоса — женские. Дверь с грохотом, невыносимым в тишине и боли, распахнулась.

— Нельзя, у него уже есть!.. — крикнула медсестра, пытается буквально забаррикадировать дверь собой, и осеклась, растерянно оглядываясь на нас; я так и не узнал, что у меня, по ее мнению, уже есть. С закушенной губой, с беспомощно распахнутыми, сразу ослепшими со света глазами, отпихнув сестру плечом, в палату ворвалась Стася.

Лиза медленно поднялась.

Стало тихо.

Легонечко веяла в ноздрю струйка свежего воздуха; казалось, она чуть шелестит. И еще сердце замолотило, как боксер в грушу, — то несколько диких ударов подряд, то пауза.

— Ну, вот... — просипел я.

Маменька, дай мне попить...

— Раз вы встретились — значит, я умру.

Они стояли рядом. И, хоть были совсем не похожи, мне казалось, у меня двоится в глазах. Это напоминало комбинированную съемку — бывает такое в неприятных кинокомедиях: одного и того же актера, скажем, снимают как двух братьев-близнецов, а все путаются, ничего понять не могут, скандалят иногда, и так до самой развязки. Братья встречаются в одном кадре,жимают друг другу руки и хохочут.

Здесь никто не хохотал.

— Это Елизавета Николаевна, — просипел я, — моя жена. Это Станислава Соломоновна... тоже моя жена.

— Из-вините... — дребезжащим, совершенно чужим голосом выдавила Стася, круто повернувшись и, прострочив короткую очередь каблучками по кафельному полу, вылетела из палаты. Какое-то мгновение Лиза, приоткрыв рот в своем детском недоумении, смотрела ей вслед. Потом вновь перевела взгляд на меня. Губы у нее затряслись. Я еще успел увидеть, как она бросилась мимо окаменевшей медсестры за Стасей.

Очнулся я в реанимации. Боль была везде.

Хлоп-хлоп крыльями...

Я не хотел открывать глаза. Лиза была рядом, я слышал. Значит, все хорошо. Пока я молчу, пока лежу с закрытыми глазами, она будет здесь. Едва слышно, напевно, отрешенно она шептала что-то свое... Акафист? Да, акафист.

— ...Слабым беспомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности...

Мне было пять лет.

— ...Господи, как хорошо гостить у Тебя. Вся природа таинственно шепчет, вся полна ласки, птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне...

Голосок у нее был севший, хрипловатый. Наверное, она много плакала.

— ...При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветлятся тела, как засияют души! Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни! Слава Тебе за надежду бессмертной идеальной нетленной красоты! Слава Тебе, Боже, за все вовеки!

Мне было пять лет, когда летом в подмосковном нашем имении я забрел в неурочный час на хозяйственный двор. Что я искал, во что играл, фантазируя в одиночестве, не помню. Какая разница! В памяти остался только гусь.

— ...Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет. Там Христос!

Нам ли он должен был пойти на стол, работникам ли —

этого я тоже не знаю. Он лежал на земле; кровь уже не текла из нелепого обрубка шеи — а я-то, маленький, даже не понял поначалу, что с ним, с громадным белым красавцем, и где у него голова. Но он еще молотил крыльями, и крылья были такие мощные, такие широкие, казалось, на них играючи можно подняться хоть до солнца. Но тело лишь чуть подпрыгивало, когда просторные, уже запыленные, уже испачканные землею и кровью лопасти били оземь. Замрет бессильной грудой, как бы готовясь, сосредотачиваясь, потом отчаянно, изо всех сил: хлоп-хлоп-хлоп!

— Как близок Ты во дни болезни, Ты сам посещаешь больных, Ты сам склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь нежданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песню: Аллилуйя!

Я долго словно привороженный стоял там и с безумной надеждой смотрел: вдруг у него получится? Потом убежал; меня никто не умел успокоить весь день. «Он не может! — кричал я, захлебываясь слезами; боялись припадка, так я заходил. — Он не может!» Они не понимали, а я не мог объяснить, мне все было предельно ясно, до ужаса и навсегда. Милая моя маменька подсовывала мне, думая утешить и развлечь, пуховых, мягких, смешных, обворожительных гусят: «Смотри, Сашенька, как их много! Как они бегают! Как они кушают! На, дай ему хлебушка! Ням-ням-ням! Хочешь, возьми на ручки — гусенок не боится Сашеньки, Сашенька добрый...» Я плакал пуше, уже ослабев, уже без крика, и только бормотал: «Мне жалко. Мне всех их жалко».

— ...Когда Ты вдохновляешь меня служить близким, а душу озаряешь смирением, то один из бесчисленных лучей Твоих падает на мое сердце, и оно становится светоносным, словно железо в огне. Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других! Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра! Слава Тебе, положившему великую награду в самооценности добра! Слава Тебе, приемлющему каждый высокий порыв! Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного! Слава Тебе, Боже, за все во веки...

Ни единому существу не дано желать сильнее, чем этот гусь желал улететь с ужасного места, где с ним произошло и

продолжало происходить нечто невообразимое, исполненное абсолютного страдания. Он так старался! Хлоп-хлоп-хлоп! Хлоп-хлоп! Все слабее... Вся жизнь, которая еще была в нем, молила крылья об одном: улетим! Ну улетим же, здесь плохо, больно, жутко; здесь ни в коем случае нельзя оставаться!

И он не мог. Даже так страстно желая — не мог.

Тогда я понял. У всех так. И у человека. Человек может только то, что он может, и ни на волос больше, и ни на волос иначе. Сила желания не значит почти ничего.

Хлоп-хлоп-хлоп.

Чего стоят мои «я приду»? Чего стоят их «я — твой дом»? Если грошовый кусочек свинца оказывается сильнее и главнее, чем все эти полыхающие лабиринты страстей... и, пока мы топчем друг друга в тупом и высокомерном, подчас не менее убийственном, чем свинец, стремлении придать ближним своим форму для нас поудобнее, поухватистее — он, может быть, уже летит? В красивую мою, ласковую, бесценную, живую — уже летит?!

— ...Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь...

— Лиза, — позвал я. Будто шипела проколотая шина. — Лиза.

Она осеклась на полуслове.

— Я здесь, Сашенька, — ответила она мягко и спокойно. Как мама. «Гусеночек не боится Сашеньки, Сашенька добрый...»

Только чуть хрипло.

— Лиза.

— Все хорошо, Саша. Ни о чем не думай, не волнуйся.

— Лиза. Руку на лицо...

Ее теплая маленькая ладонь легла мне на закрытые глаза.

— Ниже. Поцеловать.

— Потом, Саша. Все потом. Будешь целовать кого захочешь, сколько захочешь. Все будет хорошо. А сейчас лежи смиренненько, любимый, и набирайся сил.

Кого захочешь.

— Где?..

— Она в гостинице. Она... ей немножко нездоровится, и мы договорились, что она отдохнет с дороги, а уж потом меня

сменит. Хотя она очень хотела прямо сейчас. Но я просто не могу уйти. — Она помолчала. Пальцы у меня на лбу тихонько подрагивали. — Наверное, она тоже бы не могла. Она тебя очень любит. Ой, знаешь, так смешно — она у меня на плече ревет, я у нее. Никогда бы не поверила...

— Что... нездоровится?..

— Нет-нет, ничего опасного. Не волнуйся.

Я помолчал. Полежал бессильной грудой, как бы собираюсь с силами, потом: хлоп!

— Крууса вызвать. Бенья оседлан, как Кисленко. Обследовать.

— Не понимаю, Саша.

— Крууса... вызвать. Из Петербурга. Ему объясню.

— Крууса?

— Да. Вольдемар Круус. Сорокину... скажи.

— Хорошо, Саша.

— Срочно.

— Хорошо.

— Рамиль... цел?

— Да, Сашенька. Рвет на себе волосы, через каждые пять слов Аллахом клянется, что ты ему теперь роднее отца. Помоему, половина всех садов и огородов Крыма уже работает на тебя одного. Посылки, посылки... А тебе и есть-то еще толком нельзя, бедненький. Ничего, покамест мы со Станиславой подъедаем станем. Женщинам витамины тоже нужны.

Маменька, сними с меня камень.

5

Это был тягостный и странный спектакль. Со стороны могло показаться, что Лизе на помощь приехала ее сестра. Лиза, нащупывая линию поведения, резвилась из всех силенок, стараясь то ли снимать постоянно возникающую натянутость, то ли хоть как-то себя порадовать, а может, и меня повеселить, понимая, возможно, что и мне, любимому подонку, тоже не сладко забинтованной колодой лежать между ними. Помню, когда Стася в первый раз пришла сменить ее и они, обе осунувшиеся, с одинаково покрасневшими и припухшими глазами, вновь оказались, едва локтями не соприкасаясь, у моего одра, Лиза вдруг озорно улыбнулась, козырнула двумя пальцами, по-польски — уж не знаю, в угоду или в пику Ста-

се, да она и сама, конечно, этого не знала — и лихо оттрапоровала: «Группа спецназначения в сборе, господин полковник! Какие будут распоряжения?» Я не сразу нашелся, что ответить; долго скрипел одурманенным обезболивающими снадобьями мозгом, потом просипел, стараясь попасть ей в тон: «Чистить оружие до блеска. Встану — проверю». Стася вежливо и холодно улыбнулась; но, господи, как же смеялась Лиза этой тупой казарменной сальности! Помню, на второй или на третий, что ли, день ко мне попробовал прорваться Куракин, кажется, в компании с Рамилем — Лиза выпихивала их: «Нельзя! Доступ к телу открыт только женщинам!» — и с истерической веселостью, моляще оглядывалась на меня через плечо. Помню, в момент одной из перевязок они оказались в палате вместе — Лиза уже пришла, Стася еще не ушла, так они даже медсестру практически аннулировали и с какой-то запредельной бережностью сами вертели мой хладный труп в четыре руки. «Стася, помогите, пожалуйста... ага, вот так. Вам не тяжело?» — «Что вы, Елизавета Николаевна. Мне в жизни приходилось поднимать куда большие тяжести», — отвечала Стася и точными, безукоризненно быстрыми движениями и раз, и два, и три пропихивала подо мной раскручиваемый бинтовой ком. А когда я, скрипнув зубами от бессилия, едва слышно рывкнул: «Что вы, в самом деле!.. Персонал же есть!» — Лиза удивленно уставилась мне в глаза и сказала: «Бог с тобой, Сашенька, нам же приятно. Правда ведь, Стася?» — «Правда», — ответила та. «Ты, Саша, может быть, не знаешь, — добавила Лиза, разглаживая бинт ладонью, чтобы не было ни малейшей складочки, которая могла бы давить, — но женам хочется быть нужными своему мужу постоянно. Ведь правда?» — «Что правда, то правда, Елизавета Николаевна».

Стася, напротив, держалась со мной с безличной, снимающей всякий намек на душевную или любую иную близость корректностью отлично вышколенной сестры милосердия. Когда Лиза уходила, мы с ней почти не разговаривали, ограничиваясь самыми необходимыми репликами; собственно, мы и с Лизой почти не разговаривали, мне каждое слово давалось с трудом, через дикую боль, лепестковая пуля раскромсала мне и легкое, и трахею, но Лиза щебетала за двоих, подробнейшим образом рассказывая и о погоде, и о новостях, и о том, что сообщил Круус, и о том, что прислали Рахчиевы и как они ждут нас в Отузах, и о том, что сказала по телефону

Поля, и о том, что сказал в последней речи председатель Думы Сергуненков, и как была одета государыня во время вчерашнего приема, транслировавшегося по всем программам; а Стася молчала, лишь выполняла просьбы и односложно отвечала на вопросы, не отрываясь от какой-нибудь книги или рукописи, — и, стоило нам остаться вдвоем, в палате всплывало дикое, напряженное отчуждение, которое Лиза, придя, отчаянно старалась снять. Я скоро и просить перестал, и спрашивать, и пытаться хоть как-то завязать разговор; даже если действительно что-то нужно было, ждал Лизу или медсестру. Стасю это молчание, похоже, совсем не волновало — шелестела себе страницами, усевшись в углу так, что я ее даже видеть не мог. Тогда я совсем переставал понимать, зачем она приехала. Разве только дать Лизе знать о своем существовании. Конечно, думал я, с закрытыми глазами слушая частый шелест — читала она очень быстро, — она, «поднимавшая в жизни своей куда большие тяжести», наверняка не раз бывала в каких-то сходных ситуациях и, в отличие от меня и подавно от Лизы, возможно, чувствовала себя как рыба в воде. Не обидела бы она как-нибудь мою девочку, подумал я однажды, и тут же мне стало невыносимо стыдно. Я хотел было позвать ее и, когда подойдет, сказать что-нибудь хорошее — до ее угла со сколько-нибудь длинной фразой мне было просто не докричаться, — но как раз в этот миг она хмыкнула презрительно и пробормотала явно не для меня: «Это же надо так писать... вот урод». И я смолчал.

Зато она снимала боль. Каким-то шестым чувством угадывая, когда мне становилось совсем уж немоготу, откладывала чтение, подходила молча, присаживалась на краешек и начинала ворожить. Энергично дыша, вздымала тонкие сильные руки, словно жрица, зовущая с небес огонь, потом швыряла наполненные им ладони к моей развороченной груди и то слегка прикасалась к бинтам, то делала над ними сложные пассы... Не знаю уж, помогало это заживлению, нет ли, но в такие минуты мне начинало казаться, что она относится ко мне по-прежнему, что приехала оттого лишь, что не могла быть вдали, и вообще — все уладится как-нибудь, ведь если люди любят друг друга, не может все не уладиться... Возможно, в этом и был весь смысл колдовства? Боль от таких мыслей теряла победный напор, сникала, съеживалась, как степной пожар под благодатным дождем.

С Лизой она держалась с подчеркнутой вежливостью и вообще всячески демонстрировала свое подчиненное, второстепенное по отношению к ней положение. Лиза в своих попытках установить столь необходимую для нормальной регенерации атмосферу непринужденного домашнего товарищества — представляю, чего ей это стоило! — сразу стала звать Стасю по имени; та дня три цеплялась за отчество. «Стася». — «Елизавета Николаевна». — «Стася». — «Елизавета Николаевна»... Потом все же сдалась, уж слишком эта нелепость резала слух, наверное, даже ей самой. Но стратегически ничего не изменилось; уверен, дай ей такую возможность язык, Стася беседовала бы с Лизой в дальневосточных традициях, где, например, согласно одной из знаменитой тысячи китайских церемоний, наложница, вне зависимости от реального соотношения возрастов, обращается к главной жене с использованием обозначающего «старшую сестру» термина родства, ну а сама соответственно именуется «младшей сестренкой». «Не хочет ли госпожа старшая сестра попить немного чаю? Младшая сестренка будет рада ей услужить...» По-русски, если уж совсем не выпендриваться, так не скажешь, но Стася и из русского выжимала немало, и Лиза, с ее простодушным старанием учредить дружелюбие, ничего не могла поделать. Железная женщина Станислава. Оставшись вдвоем, я бы, конечно, попробовал ей что-то растолковать, если бы мог быть уверен, что это у нее просто от неловкости, от нелепости положения, от уважения к пятнадцати годам, что мы прожили с Лизой, от непонимания, что мне, дырявому воздушному шарiku, физически больно слушать и, если бы я мог издавать звуки громче шипения, я бы криком кричал, когда она старательно, последовательно унижается, то и дело и Лизу приводя в недоумение, а то и вгоняя в краску; но в последнее время Стася так вела себя со мной, что я не мог исключить нарочитого стремления уязвить меня, показав, как, держа ее в любовницах, я жесток.

И что она этого больше не допустит.

Именно она завела обычай совместных чаепитий. На третий, кажется, день — да, именно тогда она перешла с «Елизаветы Николаевны» на «Лизу» — она явилась с полным термосом, двумя складными пластмассовыми стаканчиками и какой-то скромной, но аппетитной снедью собственного приготовления. С тех пор так и пошло. Прежде чем сменить

одна другую в этом адском почетном карауле, они усаживались в дальнем углу, вне пределов видимости, лопали Рамилевы абрикосы, похрустывали какой-нибудь невинной вкуснятиной и прихлебывали чаек. Я пытался прислушиваться, но они беседовали полупшепотом о чем-то своем, о девичьем и постепенно даже стали время от времени посмеиваться в два голоса. Наверное, мне кости мыли. А может, и нет — что, на мне свет клином сошелся? Иногда мне даже становилось одиоко и обидно — казалось, я им уже не нужен, так, священный долг и почетная обязанность, и не более того.

На шестой день, когда они отчаевничали и Стасе надо было уходить, она поднялась, но пошла не к двери, а неторопливо поцокала ко мне. Остановилась, глядя мне в лицо. Так, как она, наверное, всегда хотела — сверху. А я — в лицо ей, снизу вверх.

— Я говорила сейчас с лечащим. Все у нас хорошо, заживаем стремглав, — произнесла она. — А я как раз и рукописи, что привезла, все причесала. Так что я возвращаюсь в столицу. Здесь я больше не нужна, а там пора очередные рубли зарабатывать.

Это было как гром посреди ясного неба. Не только для меня — Лизе, видимо, до этого момента она тоже ничего не говорила.

— Когда? — спросила после паузы Лиза из чайного угла.

— Через два часа вылет.

— Вам помочь с багажом?

— Ну что вы, Лиза, какой у меня багаж. Не волнуйтесь, донесу играючи.

— Не надо этим играть. Лучше возьмите носильщика.

— Благодарю вас. Я так и поступлю.

Она помедлила, нагнулась и поцеловала меня полуоткрытым ртом. Бережно, чтобы не потревожить окаянной кислородной трубочки, втянула мои губы и несколько секунд вылизывала их там, внутри себя: «хочешь сюда?» — потом отстранилась и подняла дрожащие синеватые веки. Глаза были сухими. А зрачки — огромными. Словно она стояла на костре.

— Пожалуйста, Саша, больше не делай так, — хрипло произнесла она. — Береги себя, я же просила. Если тебе до нас дела нет, хоть о Поле подумай.

Я молчал. Не мог я сейчас раздавленно шипеть — в ответ на такое.

Она открыла висящую на плече сумочку, сосредоточенно порылась в ней и вынула ключи — я понял: те самые, что я вернул ей перед отлетом сюда. Мгновение, как бы еще колеблясь, — а возможно, стремясь подчеркнуть следующее движение, — подержала их в неловко согнутой руке, потом решительно, но осторожно, без малейшего стука положила на тумбочку у моего изголовья.

— Вот... Я все боюсь, ты мог неправильно понять. Возвращаю владельцу. Может, пригодятся еще. Понадоблюсь — заходи, всегда рада.

Повернулась и поцокала прочь. Пропала с глаз, и я закрыл глаза. Цокот прервался.

— Это и к вам относится, Елизавета Николаевна. Очень рада была познакомиться. И, ради бога, простите меня. Я не... уже... не просто... Я люблю.

— И вы простите меня, Станислава Соломоновна, — ответил мертвенно-спокойный голос Лизы.

Дверь открылась и закрылась.

Прошло, наверное, минут пять, прежде чем раздались медленные, мягкие, кошачьи Лизины шаги. Она приблизилась, и я почувствовал, как прогнулась кровать, — Лиза села рядом.

— Ты спишь? — шепотом спросила она.

Я открыл глаза. Казалось, она постарела на годы. Но это просто усталость — физическая и нервная. Нам бы на недельку в Отузы — сразу вновь расцвела бы малышка.

Втроем со Стасей. То-то бы все расцвели.

— Вечным сном, — ответил я.

Ее будто хлестнули.

— Не шути так! Никогда не шути так при нас!

Я не ответил. Она помолчала, успокаиваясь.

— Саша... Ты кого больше любишь?

— Государя императора и патриарха коммунистов, — подумав, прошелестел я. — Оба такие разные, и оба совершенно... необходимы для благоденствия державы. — Передохнул. — Третьего дня я больше любил государя. Потому что у него сын погиб. А потом стал больше любить патриарха... потому что его искалечили, и теперь... мне его жальче.

Она обшаривала мое лицо взглядом. Как радар. кругами. Один раз, другой...

— Тебе со мной взрывных страстей не хватает, — сказала она. — Я для тебя, наверное, немножко курица.

— Гусеночек, — ответил я.

Она попыталась улыбнуться. Все ее озорное оживление, всю ребячливость, на которых только и держалась наша тройка эту неделю, как ветром сдуло. Я даже думать боялся, что с нею происходило, когда она оставляла нас вдвоем со Стасей и оказывалась в гостиничном номере одна.

— Зато ей свойствен грех гордыни, — сказала она.

— Что правда, то правда, Елизавета Николаевна, — жеманным голосом прошелестел я.

Она опять попыталась улыбнуться — и опять не смогла. И вдруг медленно и мягко, как подрубленная пушистая елочка, уткнулась лицом мне в здоровое плечо. Длинные светлые волосы рассыпались по бинтам.

— Нет-нет, Саша, не говори так. Она хорошая, очень хорошая. Ты даже не знаешь, какая она хорошая.

Ее плечики затряслись.

Хлоп-хлоп-хлоп.

6

Еще спустя неделю улетела к своим абитуриентам и Лиза. К этому времени я сам уже мог есть и ходить в туалет. И руководить.

Куракин растряс Беню до последнего донца. На все восемь дней его пребывания в Симбирске до покушения был выстроен буквально поминутный график. Ничего не получалось, не обнаруживалось никаких зацепок. Что спровоцировало его «откровения» насчет драгоценностей в портфеле и прочего, оставалось таким же загадочным, как и после первого допроса. Ни с какими личностями, в которых хоть с натяжкой можно было заподозрить неких гипнотизеров, он не общался. Не было у него никаких провалов в памяти, ни дурнотных потерь сознания — ничего.

Круус доложил, что все попытки нащупать и разблокировать какие-либо насильственно закрытые области памяти или подсознания Цына провалились. Нечего оказалось разблокировать. Бенья был один и неделим.

И в то же время его обмолвка насчет юного увлечения коммунизмом никак не подтверждалась. Опрашивали людей, с которыми он общался на заре дней своих, опрашивали его ранних поделщиков, опрашивали коммунистов звезд, в которые он мог в те годы обращаться с просьбой о послушании, — никаких следов. И, однако, Беня твердо стоял на своем. Но ничего не мог указать конкретно. Не просто не хотел, а явно не мог; Куракин, расвирепев, уж и на детекторе его гонял. Во Владивостоке? Да, во Владивостоке. А может быть, в Сыктывкаре? Или в Ханты-Мансийске? Да. Может быть. В молодости, давно. Не помню.

Возникли у него откуда-то и иные, в прошлом никак не проявлявшиеся странности. Например, он всерьез был убежден, что мог бы царствовать правильнее государя, руководить страной лучше, чем Дума или кабинет. «Да что ж они делают, козлы, хлюпики, — говорил он в сердцах, заявляясь на допрос со свежей газетой в руках. — Я бы...» И с уверенным, очень солидным видом плел ахинею, причем зачастую назавтра не помнил, что плел вчера, и плел что-нибудь совершенно противоположное. Но что в лоб, что по лбу. Так, как он предлагал, можно было разве что какой-нибудь мелкой бандой править, а не великой державой. Всех со всеми сравнить, тех, без кого не обойтись, купить, остальных запугать тем, что никогда не станет их покупать, обещать одно, а давать другое и совершенно не тем... Даже банда бы такого долго не выдержала. Прежде за ним такой политизированности никогда не водилось.

Несколько экспертов показали, однако, его полную вменяемость. Похоже было, что в сознании его разом возникло несколько навязчивых идей и все они органичным образом вписывались в его изначальный менталитет.

Потом прилетел Папазян и приволок просто дикие вороха статистики. Я разбирал их несколько дней. Проступила интересная и тоже весьма непонятная картина. На что-то она явно указывала, просто-таки явно — но на что?

Гипотезу о новоиспеченном вирусе-мутанте пришлось оставить сразу — если не предполагать, спасая ее насильственно, что он не новоиспечен, а живем мы с ним довольно долго. Но это казалось весьма маловероятным — все-таки его бы заметили; если церебральная патология носит выраженный характер, какие-то вскрытия ее обязательно покажут.

Криминальные акты, по существенным параметрам сходные с двумя достоверно зафиксированными образцами — Кисленко и Цына, происходили издавна и весьма редко; как правило, они либо оставались нераскрытыми, либо преступник признавался невменяемым, либо освобождался за недостаточностью улик, либо действительно вскорости после совершения акта при невыясненных обстоятельствах погибал, умирал или исчезал, обрывая таким образом все нити. Но разброс преступлений подобного рода не был равномерным; они явно тяготели к тем или иным пространственно-временным узлам — то они почти сходили на нет, то в каком-то регионе на какой-то срок, от нескольких недель до нескольких лет, вдруг необъяснимым образом учащались, не имея между собой никакой доступной для наблюдения связи, то приобретали на довольно длительные сроки характер обширной эпидемии или даже пандемии. Это было чертовски любопытно.

Ближайшая к нам по времени пандемия, к счастью, отстояла от нас уже более чем на полвека, ее можно было приблизительно датировать первой половиной сороковых годов, но за истекшие пятьдесят лет мощные, до шести-семи десятков случаев в год, эпидемии вспыхивали то в одной, то в другой стране; медленнее всего пандемия затихала в России, практически завершившись лишь лет через восемь после того, как она отбушевала, скажем, в Европе. Настораживало то, что после уместившихся в эти полста лет периодических и довольно локальных вспышек в Африке, Индокитае, Центральной Азии, Китае, Центральной Америке эта нелепая эпидемия в последние годы снова начала проявлять себя в нашей стране, захватывая подчас на целые месяцы сразу по несколько губерний; ситуация по интенсивности, конечно, не шла ни в какое сравнение с сороковыми, но значительно превышала показатели, скажем, шестидесятых — семидесятых годов. Не нравилось мне это.

Глубже в пыль десятилетий идти было труднее. Не потому, что навстречу времени, как бы против его потока — это поэзия; просто точная и всеобъемлющая статистика в ту пору отсутствовала, и оставалось только преклоняться перед неведомыми мне, незаметными и кропотливыми работниками статбюро МВД, в свое время из года в год переносившими в память центрального банка данных все архивные дела страны и, насколько хватало возможностей, всего мира. Даже непо-

нятно было, зачем они это делают, — просто для порядка. А вот оказалось — специально для меня работали.

И там, в этой пыли, обнаружились факты прямо-таки зловещие.

Пандемия в России началась явно раньше, чем в большинстве иных районов мира; выходило так, что наряду с Германией и отчасти с приморскими провинциями Китая моя страна оказалась одним из трех мощных очагов или даже рассадников этого загадочного «заболевания», захлестнувшего затем весь цивилизованный мир. Во всех трех очагах крутой рост начался примерно одновременно, с начала тридцатых годов. Но эти же страны — а что особенно обескураживало, именно Россия в первую очередь — прочно держали пальму первенства и на протяжении двадцатых годов, пока наконец во второй половине десятилетия явление вновь не приняло пандемического или, вернее, квазипандемического характера, буквально шквалом пройдя по Евразии с запада на восток.

Затем — в порядке, обратном хронологическому, — эпидемия успокоилась. Отдельные и не очень значительные вспышки то в той, то в другой провинции Китая; то в той, то в другой губернии России; то в той, то в другой европейской стране. Вспышка в Мексике. Африка и Южная Америка в это время полностью стали белыми пятнами — учета там, в сущности, тогда не было; но и не они меня интересовали. Для меня уже бесспорным было существование трех узлов, правда, покамест неизвестно чего: восточноазиатского, среднерусского и центральноевропейского. То среднерусский, то центральноевропейский узел давал метастазы на Балканы. Потом (то есть «потом» опять-таки в порядке, обратном направлению времени) стал чахнуть восточноазиатский узел. Сошел на нет; возможно, правда, что это учет тамошний сошел на нет. Потом, в девяностых годах прошлого века, начали увядать оба европейских узла; показатели устойчиво держались ниже, чем показатели самых спокойных для двадцатого века семидесятых годов. Наконец, в семидесятом — семьдесят первом годах прошлого века — резкая вспышка в центральной Европе, как будто Франция и Пруссия потерлись друг о друга кремнями границ, выбросив сноп искр...

И все.

Как ножом отрезало.

Все отслеженные мною по разработкам группы Папазяна

пульсации для девятнадцатого века можно было бы, наверное, назвать притянутыми за уши — недостатки тогдашней статистики и пробелы в переводе ее данных в центральный банк делали материал малорепрезентативным. Но, шел ли процесс так или несколько иначе, один факт для меня был практически неоспорим: явление это, что бы оно ни представляло собой, стартовало в истории земной цивилизации не раньше 1869-го и не позднее 1870 года.

Действительно, напрашивалась мысль о вирусе. Если бы хоть раз за почти сто тридцать лет биология и медицина заикнулись об инфекционных сумасшествиях! Если бы хоть что-то указывало на контакты между одним преступником-заболевшим и другим!

Ничего этого не было.

Скорее, скорее выходить отсюда. Криминалистическое расследование неудержимо превращалось в научное изыскание, и противиться этому было бессмысленно.

К концу июля я уже старался как можно больше ходить — сначала по отделению, потом по коридорам всей центральной больницы Симбирска, а в хорошую погоду выбирался и на вольный воздух, в небольшой, но уютный сквер позади больницы. Скоро я уже многих больных узнавал в лицо, мы раскланивались, коротко, но приветливо беседовали о погоде и о лечении, посиживали на лавочках под шелестящими листвою тополями, то разговаривая, то молча, с улыбками прислушиваясь к доносящимся из детского отделения пронзительным визгам, беззаботному смеху, выкрикам выздоравливающей ребятни: «На Марс полетим после обеда, а сейчас давай в индейцев!» — «Да ну их на фиг, там друг в дружку стрелять надо!» От приглашений принять участие в турнирах по домино и шахматам я вежливо отказывался, предпочитая устроиться где-нибудь в относительном одиночестве, на солнышке, и читать и перечитывать Лизины и Полины письма. Письма были как письма — уютные и спокойные, как домашнее чаепитие; Лиза ни единым словом не напоминала мне о том, что здесь происходило шесть недель назад. Только однажды у нее вырвалось — без всякой аффектации сообщая мне, как соскучилась, и спрашивая, не хочу ли я, чтобы она приехала в Симбирск к моей выписке и домой мы летели бы уже вместе, она написала вдруг: «И вообще — тебя тут все очень ждут и очень

без тебя тоскуют». Можно было многое прочесть между строк этой фразы.

Стася не писала мне ни разу.

Именно в сквере я встретил наконец его. В этом не было ничего удивительного — больница была лучшей в губернии, и, конечно, мы оба попали именно сюда. Странно было, наоборот, что мы так долго не встречались. В инвалидном кресле он неторопливо катил мне навстречу, подставляя бледное лицо лучам клонящегося к скорой осени солнца. На полных щеках лежали тени от сильных, с толстой оправой очков. Одна из пуль повредила ему позвоночник; я знал, что, скорее всего, он никогда уже не сможет ходить.

В сущности, ничего особенного не было в нем, куда ему до импозантного Бени! — просто очень ранимый, добрый и совестливый человек. Работяга, хлебороб, так и не избавившийся от мягкого ставропольского выговора, в плоть и кровь вошедшего к нему там, в южнорусской душистой степи. В молодости он пробовал было заняться практической политикой, чуть не решился баллотироваться в Думу — и слава богу, что не решился, это был не его путь. Он действительно, как выразился Цын, слишком хотел всех со всеми примирить и старательно, доходя иногда до смешного, отыскивал объединяющие интересы, которые могли бы превысить интересы разъединяющие, всегда призывал к естественным, но с трудом пробивающимся в разгоряченные головы уступкам и тех, и других, и третьих, всегда мягко апеллировал к голосу разума, к спокойному здравому смыслу — в Думе такое не проходит, там далеко не все коммунисты. Но уважение и любовь он снискал куда большие, чем, скажем, председатель Думы Сергуненков, и даже члены других конфессий прислушивались к его словам и просили быть арбитром в спорах. Что делать — на Руси мечтатели всегда в большей чести, нежели люди дела. Дело — что-то низменно конкретное, уязвимое для критики, имеющее недостатки, а мечта — идеальна, в ней бессмысленно выискивать слабые места. Тот, кто делает это, выставляет себя на посмешище, а тот, кто ухитряется хоть на год заразить своей мечтой многих, остается в истории навсегда.

— Здравствуйте, товарищ патриарх.

Он остановил кресло. Поднял мягкое лицо, посмотрел на меня снизу. Как я — на Стасю в последний раз. Тронув щепотью дужку, поправил очки.

— Здравствуйте...

— Я полковник Трубецкой, Александр Львович.

— А, как же, как же! Мне говорили уже здесь о вашей миссии. Вы ведь коммунист, не так ли?

— Истинно так.

Он протянул мне руку.

— Здравствуйте, товарищ Трубецкой. — Мы обменялись рукопожатием. — Я могу быть чем-нибудь полезен?

— Да. Более чем. Я хотел бы побеседовать с вами.

— Присядем. — Он огляделся по сторонам в поисках скамейки для меня и проворно покатил свое кресло к ближайшей. Я следовал за ним — слева и на полшага сзади.

Расположились. Я удовлетворенно отметил, как поодаль от нас остановились, оживленно о чем-то беседуя, двое молодых дюжих больных. Это были ребята Усольцева, которых он сразу подложил в больницу присматривать, не угрожает ли здесь что-либо патриарху или мне и не следят ли за нами.

— Я — коммунист, и интересы нашей конфессии ставлю очень высоко, — начал я, волнуясь. — Но я также русский офицер, и интересы Отечества для меня — не пустой звук. Моя здешняя миссия, связанная с расследованием покушения на вас, лишь один из моментов следствия, которое я веду по именному повелению государя. Я расследую катастрофу гравилета «Цесаревич».

Он поправил очки.

— Здесь есть что-то общее? — немного отрывисто спросил он. Явно для него мои слова были неожиданными.

— Ничего — или все. Это мне и предстоит выяснить. Я хочу просить у вас совета и с этой целью беру на себя смелость познакомить вас, если вы не возражаете, с основными результатами той работы, которую я успел сделать. Хочу только предупредить, что разговор является строго конфиденциальным. Следствие еще далеко не закончено.

— Понимаю и вполне сознаю меру своей ответственности. Слушаю вас.

Я ввел его в курс фактической стороны событий, сделав упор на странной статистике, которую собрала группа «Буки». Когда я закончил, патриарх долго молчал, шураясь в небо.

— Все это очень странно, — произнес он после серьезного раздумья. — Углубить статистические изыскания на первую половину девятнадцатого века вам не приходило в голову?

Или это просто невозможно сделать вследствие скудости материала?

— Скорее второе, нежели первое. Папазян отработал, насколько это возможно, насквозь все шестидесятые годы. Ни одного случая. Если такой результат обусловлен дефектами статистики, то опускаться еще ниже по временной оси бессмысленно, слишком случайным и неполным будет подбор дел. Если же этот результат обусловлен, а я склоняюсь к этому мнению, какими-то иными причинами, то такой спуск еще более бессмыслен.

— Что же вы думаете по этому поводу, товарищ Трубецкой?

— Единственное, что мне приходит в голову, выглядит чистой воды фантастикой, — признался я. — Но остальные версии, вроде того, что имеет место невыявленный возбудитель инфекционной агрессивной шизофрении, еще более фантастичны и к тому же, в отличие от моей, не объясняют всех фактов.

Он поправил очки. Смешно ерзнул в кресле вправо-влево, будто ему неудобно было сидеть.

— Продолжайте, прошу вас.

— Шестидесятые годы прошлого века были временем расцвета террористических течений протокоммунизма. Предположим, в ту пору возникла тайная секта подобного рода. Предположим также, что волею судеб она получила в свое распоряжение до сих пор неизвестный позитивной науке способ манипулирования человеческим сознанием. Ну, скажем, — я говорю для примера, стремясь лишь показать, что возможны очень странные варианты, — вычитав его из каких-то древних восточных текстов. Древние на Востоке были горазды на провоцирование измененных состояний сознания, а среди радикалов подчас встречались весьма образованные люди... Предположим, что секта эта, стараясь сохранить своих немногочисленных адептов в тени, начала осуществлять свои акции чужими руками, руками «пешек». Предположим также, что, как и следовало ожидать, она быстро выродилась в бандитскую группу, возможно, до сих пор описывающую свою деятельность в терминах борьбы за справедливость. Возможно, выродившись, она действует вполне хаотично, а возможно, и по плану, сути которого мы пока не понимаем.

— Но чем им помешал я? Ведь я тоже коммунист... — Он улыбнулся. Я прикусил губу. Похоже, он не верил.

— Для них — нет. Вместо того чтобы, так сказать, бороться за свержение самодержавия, вы боретесь, и не без успеха, за утверждение человечности. То есть на свой лад делаете то, что делают и делали всегда лучшие люди из христианской, мусульманской, да и любой другой конфессии. Вместо того чтобы свергать несправедливый строй, вы делаете его все более и более справедливым. Это же полное предательство интересов простого народа!

— Из вас, товарищ Трубецкой, получился бы прекрасный пропагандист этой секты.

Он не верил.

— Я занимаюсь вопросом уже давно и вжился в образ.

— Но ведь, насколько я вас понял, в меня стреляли вовсе не за это.

— Но ведь, насколько я старался вам объяснить, товарищ патриарх, в вас стреляла «пешка». Психика Бени Цына, при всей его медицински доказанной вменяемости, носит явные следы тщательно сбалансированного, мощного и интегрального воздействия. Именно новые мании, чрезвычайно удачно и эффективно наложившись на старые преступные наклонности, подвигли его на это нелепое преступление. Мотивов истинного преступника мы не знаем. Я говорил об этом довольно подробно.

Он успокаивающе положил руку мне на колено.

— Не раздражайтесь, товарищ Трубецкой, прошу вас. Давайте определимся. Вы меня пока не убедили. Все это выглядит невероятно — во всяком случае, вот так сразу. А кроме того... — Он ерзнул вправо-влево. Вдохнул. — Кроме того, если нечто подобное действительно обнаружится, боюсь, это может существенно повредить авторитету нашего учения. Вы с кем-нибудь делились вашими соображениями?

— Предварительно — с министром безопасности России и его товарищем. Больше, разумеется, ни с кем.

Патриарх снова вздохнул.

— Это исключительно порядочные и доброжелательные люди, — поспешил добавить я.

— Будем надеяться, что слухи об этом не просочатся... раньше времени.

— Уверен, что не просочатся.

Он помолчал.

— Я не могу сейчас с ходу придумать своей версии, но ва-

ша представляется мне маловероятной. Не обессудьте. Однако я готов помочь вам чем могу.

— Тогда я задам вам несколько вопросов.

— Задавайте.

Я открыл было рот, но заметил, что по дорожке к нам степенно приближается парочка пожилых женщин в больничных халатах. Донеслось: «Нет-нет, петрушку к мясу надобно подавать непременно. Это же вкусно и освежает как! И мужчинам пользительно. Мой-то, помню...» Они удалились, и я не разобрал окончания фразы, но обе вдруг громко, безмятежно засмеялись. Чем-то это напоминало Лизу и Стасю в чайном уголке.

Патриарх, с веселой симпатией шурясь, проводил их взглядом.

— Вы, как глава коммунистов России, а фактически и всего мира, слышали хоть что-нибудь о существовании или хотя бы возникновении в прошлом подобной секты?

— Нет.

— Хотя бы слухи... намеки, предания?

— Нет.

— В патриаршестве есть люди, которые занимались бы историей ранних сект?

— Нет.

В сердцах я ударил себя кулаком по колену. Бок отозвался на резкое движение медленно гаснущим сполохом тупой боли.

— На рубеже шестидесят девятого — семидесятого годов в Европе произошло нечто, положившее начало этому дьявольскому процессу. Как мне узнать?

Он поправил очки.

— Ваша убежденность заражает... но вы немного ошиблись адресом. Мы — практики и смотрим в будущее. Для меня коммунизм вообще начался с Ленина... Но, кажется, я могу вам помочь. Вы когда выписываетесь?

— Через неделю-полторы.

— Мы с вами обязательно встретимся еще раз. Я сделаю несколько звонков, а потом дам вам знать о результате. Попробую вывести вас, товарищ, на одного старого своего друга. Его зовут Эрик Дирксхорн, он швед и работает в Стокгольме. Есть такое учреждение — центральный архив Социнтерна. Нужные вам материалы, если они вообще существуют, могут быть только там.

Я слушал, не веря удаче. Он снял очки и принялся протирать их носовым платком; от этого уютного жеста стало тепло на душе.

— С помощью товарища Дирксхорна вы не запутаетесь, и для вас не будет ненаходимых документов. Есть фонды, с которыми тамошние работники предпочитают не знакомить случайных людей — я надеюсь, благодаря Эрику вы не попадете в эту категорию. Но, товарищ Трубецкой, еще раз... призываю вас. Будьте осторожны с той информацией, которую, возможно, обнаружите. Буде выяснится, что люди, именующие себя коммунистами... ведут себя столь неподобающе, — мягко сказал он об убийцах, — это может вызвать в мире очень сильный резонанс, и он никому не пойдет на пользу, кроме самих же этих радикалов. — Он надел очки и вдруг беззащитно улыбнулся. — Если бы я был политиком, я, вероятно, счел бы своим долгом перед приверженцами любыми средствами мешать вам.

— Если бы вы были близоруким и неумным политиком, вы бы так и поступили, — ответил я.

Он даже крикнул.

— Вы считаете, что я сейчас делаю ловкий политический ход?

— Бесспорно. А уж от души или от ума — другой вопрос.

— Мне и в голову это не приходило. Я просто хочу помочь вам... Если сочтете возможным, держите меня в курсе дела, хорошо?

— Разумеется, товарищ патриарх, — сказал я и поднялся со скамейки, понимая, что разговор пока окончен.

— Будет ужасно, если вы окажетесь правы, — произнес он грустно.

— Я намерен действовать с максимальной осмотрительностью и конфессию под удар не поставлю, — заверил я. Помолчал. — Со своей стороны, у меня тоже будет просьба об осторожности.

— А в чём дело?

— Пусть о моей миссии знает как можно меньше людей. Вы, ваш Эрик, коль скоро вы ему так безраздельно доверяете, и все. И по телефону говорите обиняками. Ведь если я на верном пути и они об этом узнают, они, в отличие от вас, действительно будут мешать любыми средствами. Меня мгновенно уничтожат.

Он взглянул буквально с ужасом.

— И самое отвратительное, что почти наверняка это будет сделано руками человека, с которым мне и в голову не придет держаться настороже и который затем сам погибнет, как Кисленко, мучительной смертью. Руками друга, или... жены, или... — Я осекся и, помедлив мгновение, ушел, так и не закончив фразы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

И СНОВА ПЕТЕРБУРГ

1

Она словно собралась ко двору. Лицо радостное, предвкушающее; прическа, косметика, серьги, кольцо; строгое закрытое темное платье до полу, идеально подчеркивающее мягкую женственность фигуры — сердце у меня упало: ну неужели именно сегодня ей куда-то нужно идти? Не говоря ни слова, я обнял ее и сразу на ошупь понял, что никуда ей не нужно — под платьем у нее ничего не было. Это она меня так встречала.

— Наконец-то, Сашенька, — вжимаясь лицом мне в плечо, сказала она. — Как долго... А почему ты не захотел, чтобы я приехала?

— Конспирация, — серьезно ответил я.

Она чуть отстранилась, встревоженно заглядывая мне в лицо.

— Шутишь.

— Нисколько. Меня даже из больницы не выписали, а по всем документам перевели для долечивания в санаторий в Архызе. Это Северный Кавказ, уединенное место. И, судя по отчетности симбирских авиакасс, я туда улетел. Пусть там поищут, если хотят.

— Кто?

— Бармалеи.

— Так ты что — дома будешь сидеть, не выходя? — Она не сумела скрыть радости.

Я плотнее прижал ее к себе. Бедная... Лучше сразу.

— Завтра вечером выйду один раз — и в Стокгольм.

Эти слова задули ее как свечку.

— Надолго? — спросила она, помолчав.

— Надолго.

Несколько секунд мы еще стояли обнявшись, но она уже была как мертвая.

— Ужин на столе, Саша, — сказала она потом и мягко высвободилась.

— Чудесно. Я только в душ быстренько.

Везде душ хуже, чем дома. То кран реагирует нечутко, то напор воды слабый, то свет тусклый, то неудобно мыло класть... Как я соскучился по дому, кто бы знал! Почти целое лето провести в чужом городе, в больнице... смотреть на листья за окном, то трепещущие на ветру, то истомно замирающие в теплом безветрии, то прыгающие вверх-вниз или обвисающие под тяжестью дождя, и думать: они скоро опадут, а я тут лежу... Смотреть, как медленно ползет по кафельному неживому полу золотой прямоугольник солнечного света, и думать: скоро солнце будет едва вылезать из-за горизонта, а я тут лежу... Смотреть на свое серое лицо во время бритья и думать: скоро сорок, а я тут лежу.

Очень горячий душ, потом — очень холодный душ. Как всегда, я с удовольствием ухнул, когда разгоряченную кожу вдруг окатила ставшая почти ледяной струя. Я лишь относительно недавно открыл для себя это удовольствие, а раньше, вдобавок, когда вылезал из ванной, неудобно было причесываться: зеркало всегда оказывалось запотевшим, приходилось сначала протирать его, и все равно стекло оставалось в неряшливых мокрых разводах. Теперь, помимо удовольствия и пользы для организма, я получал еще и пригодное к употреблению зеркало, успевавшее проясниться, пока я вертелся в холодном бурлении.

Маленькие домашние радости. Без них ничего не мило и ничего не нужно.

Я закрыл воду, потянулся к своему полотенцу, жесткому, долгожданному, пахнушему лавандой, все еще пропитанному, казалось, блеском крымского солнца — Лиза всегда подстилала его, загорая; и вдруг сзади мягко накатил прохладный воздух, словно открылась дверь. Я обернулся; она действительно открылась. Лиза, выглядевшая в своем церемониальном убранстве среди интимного керамического сверкания очень нелепо и потому как-то особенно преданно, стояла, прислонившись плечом к косяку, прижав кулачок к губам. и со страхом и состраданием глядела на мой развороченный бок.

— Болит? — поймав мой взгляд, тихонько спросила она.

— Что ты, родненькая. Давно уже не болит. Только чешется.

Ванна длинным тянущим хлебком всосала остатки воды.

— Тебе халат? — спросила Лиза.

— Нет.

— А хочешь — вообще не одевайся. Буду тобой любоваться наконец. Ты такой... античный.

Я засмеялся сквозь ком в горле. Она даже не улыбнулась в ответ. Она теперь смотрела ниже, и мне казалось, я знаю, о чем она думает. О том, что вот я, оказывается, бывал внутри то у нее, то не у нее.

— Нет уж, — сказал я. — Хочу тебе соответствовать.

— Только галстук не надевай, пожалуйста, — попросила она и взглянула мне в глаза. И чуть улыбнулась, в первый раз после того, как я сказал про Стокгольм. — Давай попросту, без чинов.

— А сама-то? — возмутился я.

Она помолчала и вдруг покраснела. Снова улыбнулась:

— Это снимается одним движением.

В том же самом белоснежном костюме миллионщика на собственной яхте я вошел в столовую. Стол ломился; казалось, сюда каким-то чудом перекочевало все, что я нахватал для Стаси перед Симбирском. Плюс громадный букет роз посреди. Плюс две бутылки голицынского шампанского, мерзнушие в ведерках по краям.

— Так у нас сегодня что — праздник? — спросил я.

— Еще бы не праздник. Повелитель домой заглянул на часок.

— А где же Поля?

— В имении, у твоих.

Сердце у меня опять упало; я подумал, что она специально, в предвидении домашних разборок, удалила дочь. Потом сообразил, что Поля в августе всегда гостит в деревне, и мимолетно позавидовал ей. Раздольные подмосковные равнины с таинственно клубящимися по горизонтам лесами, сад, обвисяющие от румяных плодов ветви яблонь, запахи сена и луга. Покой. В детстве я сам все летние месяцы проводил там.

Хлоп-хлоп-хлоп.

— Ну что же, Лизка, — сказал я. — Предадимся греху чревоугодия?

— Народ грешить готов! — отрапортовала она и произвольно, сама, видимо, не заметив, что сделала, козырнула двумя пальцами, по-польски.

2

Я лег, а она долго не приходила. Я думал, она принимает ванну, но когда она вошла наконец, стало ясно, что она просто бродила по дому или просто сидела где-нибудь, в детской например, и думала о своем. О девичьем. Камушки, впрочем, уже сняла и переоделась.

Мне так и не довелось узнать, действительно ли этот ее тугой блестящий черный кокон снимается одним движением.

Она виновато поглядела на меня и погасила свет.

— Зачем? — тихо спросил я.

— Стесняюсь, — так же тихо ответила она из темноты. — Я лягу, и ты, если захочешь, включишь, хорошо?

— Хорошо, маленькая.

Коротко и мягко прошуршал, упав на ковер, халат. Я услышал, как она откинула свое одеяло, почувствовал, как она легла — поодаль от меня, на краешке, напряженная и испуганная, словно и впрямь снова стала девочкой, пока меня не было. По-моему, она даже дрожала.

— Что с тобой? — подождав, спросил я.

Она ответила тихонько:

— Не знаю...

— По-моему, ты совсем замерзла, Лизанька. Давай я тебя немножко согрею, хочешь?

— Хочу, — пролепетала она. И когда я приподнялся на локте, добавила: — Очень хочу. Отогрей меня, пожалуйста.

Мимоходом я дернул шнурок торшера. Теплое розовое свечение пропитало спальню; я увидел, что Лиза, укрывшись до подбородка, смотрит на меня громадными перепуганными глазами. Я поднырнул под одеяло к ней, она опустила веки, и я стал согревать ее.

Едва ошутимо, умоляюще оглаживал и обцеловывал плечи, шею, грудь, бедра, трогательный треугольничек светлой шерстки, нежно и едва уловимо пахнувший девушкой, — она ничему не мешала и ни на что не отзывалась. Но вот судорожно сжатый кулачок оттаял, вот она задышала чаще, вот ото-

грелись и расцвели соски, ожили плотно сомкнутые ноги, она согнула одну в колене и увела в сторону, раскрываясь. Тогда я обнял ее бедра, мягко придвигая их к себе, поднося и наклоняя благоговейно, будто наполненную эликсиром бессмертия чашу, и она облегченно вздохнула, когда я скользнул в ее податливое сердцевинное тепло.

И снова я нежил ее осторожно, поверхностно, едва-едва, продолжая поклеивать шею, плечи и губы детскими поцелуями, но она уже начала отвечать: с чуть равнодушной, сестринской ласковостью положила мне на спину ладонь, потом поймала мои губы своими, потом немного подвинулась, чтобы мне было удобнее, а когда она в первый раз застонала и в первый раз ударила бедрами мне навстречу, я сорвался с цепи.

Скомкал ее грудь рукой — вскрикнула, перекатился на нее — снова вскрикнула, радостно распахиваясь настежь; яростно гнул и катал ее, совсем послушную и счастливую оттого, что ей по-прежнему сладко быть послушной, и, кажется, даже рычал: «На меня! Ну на же! Вот, бери!», а когда я взорвался наконец, с немыслимой силой обняла меня, будто желая впечатать в себя навеки, расплющить свою нежную плоть моею — и с мукой, мольбой и надеждой закричала, словно чайка, догоняющая корабль:

— Мой! Мой! Мой!

Наверное, минуты две я был выброшенной на песок медузой. Потом открыл глаза. По ее щекам катились слезы.

— Лиза...

— Молчи. Просто лежи на мне и помолчи. — Она всхлипнула. — Господи, Саша, как с тобой хорошо...

Некоторое время я не шевелился, но было неловко. Мне казалось, ей тяжело. Я отодвинулся, лишь руку оставив на ней.

Но она, кажется, уже успокаивалась. Глаза просохли. Уже не стесняясь, села; обхватив колени руками, уложила на них подбородок — мне были видны лишь лоб и сверкающие глаза. Она смотрела на меня неотрывно. Наверное, так смотрят на иконы.

— Я люблю тебя, — сказала она. — Я тебя обожаю, я жить без тебя не могу. Я так люблю тебя кормить, тебя смешить, с тобой разговаривать... Так люблю с тобой вместе ходить куда-нибудь, все равно куда. Так люблю... — она запнулась, подыскивая слово, и выбрала самое, наверное, грубое и животное из тех, что могла произнести; наверное, она хотела подчеркнуть,

что становится зверушкой и не стыдится этого, напротив, восхищается, — давать тебе. — И тут глаза у нее вновь стали влажными. — Я просто не знаю, что делать.

Я молчал.

— У нее будет ребенок, Саша.

Я заморгал. Вазомоторика, будь она неладна; беда с ней у всех на свете цынов. Ошеломленно приподнялся на руке, а потом спросил как дурак:

— От меня?

Секунду она еще смотрела, не меняясь в лице, а потом зашлась от смеха. И плакала, и хохотала, и не сразу смогла произнести:

— Саша... родненький... ну уж это ты не у меня спрашивай!

Я тоже сел. Теперь уже я начал стесняться — забаррикадировался одеялом. Мир вертелся зыбкой каруселью.

— Это она тебе сказала?

— Да.

— Когда?

— Сразу. Когда я догнала ее в первый день.

Я попытался собраться с мыслями. Долго, но безуспешно.

— Как же ты там терпела...

— Потому что люблю тебя.

— Господи, горшок выносила...

Она упрямо тряхнула головой.

— Потому что люблю тебя.

— Почему же ты мне сразу не сказала?

— Потому что — люблю тебя!

Я провел ладонью по лицу. Словно хотел стереть залепившую глаза паутину. Но не смог.

— Ты нас не оставишь?

— Если вы не прогоните — ни в коем случае.

— А их?

Я помедлил.

— Если они не прогонят...

— Ни в коем случае, — договорила она за меня. — Скажи, а у тебя были еще женщины одновременно со мной?

— Лиза, ты уверена, что хочешь все это знать?

— Да, родной. Может, буду жалеть потом, но раз уж начали — надо... разгребать. У тебя было много женщин после того, как мы поженились.

— Много — это сколько?

— Десять! — храбро сказала она.

— Ну, ты мне льстишь...

— Пять.

— Две. То есть без Станиславы две. С одной мы были очень недолго, восемь лет назад. Она быстро поняла, что я с тобой из-за нее не расстанусь, и ушла. Хотя, по-моему, не хотела, ей было очень больно. И я с ума сходил... знаешь, в основном от чего? От того, что делаю ей больно и не могу не делать. Помнишь, я забился на дачу один и пил там три дня?

— Помню. Когда я позвонила, а ты подошел... еле ворочая языком... я ужасно испугалась, хотела все бросить и ехать туда, но ты не велел... а уж на следующий вечер вернулся. Зелененький такой... Значит, это было из-за нее?

— Да.

— А через две недели мы первый раз поехали в Отузы. И ты был веселый, домашний, заботливый, гордый!

— Еще бы. Там было так хорошо. И я видел, что вам с Полькой хорошо, — и оттого цвел вдвойне.

— А вторая? Кто от кого?..

— Она уехала на трехлетнюю стажировку в Бразилию. Она биолог, занимается экосистемами влажных тропических лесов. Мы переписываемся иногда, но как она теперь ко мне относится — не знаю.

— Ты по ней скучаешь?

— Знаешь, да. Как правило-то, некогда, но иногда вдруг будто очнешься и чего-то не хватает.

— А Стася была уже при ней?

— Нет. Разминулись больше чем на год.

— Во мне действительно чего-то недостает?

— Лиза, я тебя очень люблю.

— Я знаю, родненький. Неужели ты думаешь, если бы я этого не чувствовала, я стала бы вести этот разговор? Знаю. Но тут другое. Наверное, так бывает, так может быть — любишь и в то же время постоянно переживаешь какую-то неудовлетворенность, недобор. То ли страстности не хватает, то ли уюта, то ли акцентированной на людях преданности...

— Нет. По-моему, нет.

— Значит, ты просто совсем не можешь, чтобы у тебя была только одна женщина?

— Ну как это — не могу!

— Нет, ты не отвечай так с лету. Не тот разговор теперь. Ты сам спроси себя.

Я спросил.

— Теперь уже не знаю, — сказал я.

— А когда эта... тропическая вернется?

— Весной должна.

— А если, например, она опять к тебе захочет?

Я не ответил. Не знал, что сказать. Никто ни к кому не может прийти дважды.

Она смотрела на меня уже не как на икону. И не как на человека. И даже не как на подлеца. Впрочем, как на подлеца она на меня никогда не смотрела... Не знаю. Так смотреть она могла бы на пришельца из другой галактики, но не на полномочного представителя братской могучей цивилизации, спускающегося по широкому трапу из недр сверкающей фотонной ракеты, а на нелепое, не приспособленное к земным условиям желеобразное существо, которое, мирно и жалобно похрюкивая и попукивая, вдруг выползло бы, скажем, из-за унитаза — явно не агрессивное, но абсолютно неуместное и чужое.

— То есть ты хочешь сказать, что по весне нас у тебя уже может скопиться трое?

Я молчал.

— Саша, ты прекрасный, добрый, чуткий, страстный, смелый, умный... Ну, все хорошие слова, какие есть, я могу сказать о тебе, правда. Ничего нет удивительного, что время от времени ты увлекаешься какой-нибудь женщиной или какая-нибудь женщина увлекается тобой. Но ведь... Саша... ты ведь не можешь всем им быть мужем!

— Наверное, не могу, — сказал я. — Но попытаюсь.

Она резко отвернулась. Положила голову щекой на колени, затылком ко мне; занавесив бедро, свесился длинный пушистый хвост распущенных светлых волос.

— Бог в помощь, — сказала она.

Некоторое время мы молчали.

— Лиза, — тихо позвал я.

— Да, любимый, — ответила она, не поворачиваясь ко мне.

От этих слов сердце дернулось пронзительно и сладко; на миг я забыл, что хотел сказать.

— Повтори еще раз, если тебе не неприятно, — попросил я.

Она подняла голову и улыбнулась мне.

— Да, любимый.

— Лиза, понимаешь... нет у меня сил рушить живое. Я давно почувствовал: если уходит один друг, и остальные становятся чуть дальше. То, что действительно умирает, осыпается само, и бог с ним, хотя и от этого больно, всегда больно от смерти — но... я знаю, это тоже подло, но... рубить по живому нельзя! От этого люди ожесточаются, высыхают... и тот, кто рубит, и тот, кого рубят. Представь: ты была с человеком два года, и вдруг он говорит: уходи. И два года счастья у тебя в памяти превращаются в два года неправды. И жизнь становится короче на четыре года!

— Господи, ну мне-то что делать, Саша? Самой сказать тебе: уходи?

Я задохнулся. Но она уже снова смотрела на меня с нежностью.

— И не надейся. Твой выбор за тебя я делать не буду.

— Но ты понимаешь, я ведь могу выбрать...

— Да знаю я, что ты выберешь! Все! Ах, если бы можно было выучить все языки! Сколько раз ты это говорил! Ну а раз нельзя, можно ни одного не знать. Фразку из одного, фразку из другого... Весь ты в этом! Русский князь...

— Я говорил про языки империи, — даже обиделся я. — Зарубежных я три штуки знаю прилично...

Она не выдержала — засмеялась, потянувшись ко мне, взъерошила мне волосы.

— Мальчишка ты, — сказала она. — Как мы Поле-то все это скажем?

— Пока никак, разумеется, — ответил я. — А, например, к совершеннолетию сделаем подарок: что есть у нее братик или сестричка...

— Подарочек, — с сомнением произнесла Лиза. Помолчала. Потом уронила нехотя: — Между прочим, они со Станиславой друг другу понравились.

— Она была здесь?

— Трижды. Я звала — чайку попить, тебя повспоминать... Я покачал головой.

— Ты настоящая подруга воина. Ну, и?..

— Да в том-то и дело! — с досадой сказала Лиза. — И симпатична она мне, и жалко мне ее, и любит она тебя остервенело, а это чувство, как ты понимаешь, я вполне разделяю... Ох,

не знаю, что делать. А пустить тебя привольно пастись на лужайке с двумя — а то и с тремя, святые угодники! — с тремя козами... Это же курам на смех!

3

Наша встреча с Ламздорфом была организована без особых конспиративных вычур. Но она и не разрушала версии о том, что я долечиваюсь где-то. Иван Вольфович в преддверии моего потайного возвращения последние недели зачастил к Лизе в гости — как бы проведать супругу получившего, так сказать, производственную травму коллеги. Точно так же он приехал и на этот раз, к десяти утра. Дом мой загодя был сызнова прозвонен противоподслушивающими датчиками; привезли меня вчера с военного аэродрома в наглухо закрытом кузове почтового фургона, который вогнали во внутренний дворик особняка, и я в виде одного из двух грузчиков — вторым был Рамиль — втащил в дом через хозяйственный вход корзину настоящего крымского «кардинала», вполне натурально присланную Рахчиевыми, но вдобавок использованного для вящей натурализации легенды; так что, ежели кто и ухитрился заглянуть в ворота из окон, скажем, дома напротив — хотя жильцы там, в сущности, были вне подозрений, — он увидел лишь рыло мощного грузовика, поданного кузовом к самым дверям, да в зазор между дном авто и асфальтом ноги двух грузчиков и полную винограда корзину, тут же пропавшие в доме. То, что обратно в кузов села лишь одна пара ног, уверенно разглядеть в вечерней мгле было невозможно даже в инфракрасную оптику. Так что, если неведомые водители «пешек» взяли меня в Симбирске на заметку, угнаться за мной им сейчас будет тяжело.

Мы принимали Ивана Вольфовича в алой гостиной, по-свойски; к тому же окна ее выходили во двор, что было очень ценно в нынешней ситуации. Выспавшиеся, худо-бедно отдохнувшие, — а Лиза с моим приездом прямо-таки расцвела, несмотря ни на что, и мне это было черт знает как приятно и лестно, — мы сидели рядышком на диване и были живой иллюстрацией к песенке «голубок и горлица никогда не ссорятся». Ведь мы за пятнадцать лет действительно не ссорились ни разу — об этом я думал еще ночью, перед тем как заснуть.

Но была в этом и определенная опасность. Есть пары, которые чуть ли не раз в неделю собираются разводиться, то и дело перекатывают взад-вперед обвинения во всех смертных грехах, орут на два голоса бранные слова — и прекрасно при этом существуют, даже силы черпают в каждодневных перепалках. Будто умываются оплеухами. Правда, дети в таких семьях растут — ой... Для нас с Лизой одна резкая или даже просто неуважительная фраза оказалась бы столь значимым, столь из ряда вон выходящим событием, так фатально выломилась бы из семейных отношений, что поставила бы между нами стену более высокую, чем смогли бы десять Стась. И, инстинктивно чувствуя это, мы даже голоса никогда не повышали друг на друга.

Я поднялся с дивана, сделал пару шагов навстречу Ламздорфу, и мы по-братски обнялись. Несколько секунд он молча шекотал мне щеку своими бакенбардами, от избытка чувств легонько похлопывая меня ладонью по спине, потом отстранился.

— Ну-с, рад снова видеть вас в добром здравии! Чертовски рад! Как вы? Совсем хорошо?

— Совсем хорошо, Иван Вольфович, совсем. Вашими и Лизиными молитвами.

— Не только, батенька, не только...

— Да уж ясное дело, что не только, — игриво ввернула Лиза.

Ламздорф с некоторым удивлением повернулся к ней и разъяснил:

— Государь вот справлялся многожды... Здравствуйте, Елизавета Николаевна! Простите старика, что не к вам к первой. Уж очень все это время беспокоился за вашего гусара!

Он склонился к ней — она грациозно встала. Поцеловал ей руку.

— Не хотите ли чайку, Иван Вольфович?

— Нет, увольте, Елизавета Николаевна, только что отзавтракал. Да и вас обижать не хочу — корабль отходит вечером, вам, я полагаю, суток одних маловато друг для друга между двумя разлуками, так что уж это время у вас занимать теперь смертный грех. Я коротенько, по делу.

Мы расселись, а Лиза осталась стоять.

— Ну, раз по делу, тогда удаляюсь, — сказала она и пошла

к двери. Открыла ее, обернулась, послала еще одну улыбку Ламздорфу, потом мне. И плотно затворила дверь за собой.

— Что за супруга у вас, Александр Львович! — произнес Ламздорф. — Золото!

— Да уж мне ли не знать, — ответил я.

— А как похорошела-то, помолодела с вашим приездом! Вся конспирацию ломает! И ведь не скажешь: выгляди-ка плохо, а то все догадаются!..

— Не скажешь, — подтвердил я.

Он покряхтел.

— Ах, беда-то какая... опять вам ехать. И кроме вас — никому. Вряд ли патриарх допустит чужого человека к социалистическим потемкам.

— Вряд ли, — согласился я. — Его можно понять.

— Что мы и делаем, — покивал Ламздорф. Потеребил бакенбарды. — Значит, первое. За ранение вам положена компенсация — полторы тысячи рубликов переведены на ваш счет в Народном банке...

— Помилуйте, Иван Вольфович, за что столько? На эти деньги я авто могу сменить! Вы уж лучше врачей симбирских премируйте!

— А это мысль. Я поговорю с министром... Второе... — Он достал просторное, как лист лопуха, портмоне и начал будто фокусник извлекать из него бумагу за бумагой. — Вот билет на судно. Отплытие в девятнадцать ровно. Мы решили вас морем отправить. И для конспирации лучше, и для здоровья. Два дня погоды не делают, а морская прогулка вам будет чрезвычайно полезна, мы с медиками консультировались...

Я бы лучше эти два дня дома провел, подумал я, но вслух ничего не сказал, чтобы не расстраивать Ламздорфа. Видно, что-то заскочило у них в мозгах. Каждый день дорог — поэтому отправить меня надо как можно скорее, но два дня погоды не делают — поэтому морем. Ладно, сделанного не воротишь. И действительно, в аэропортах контроль жестче. Больше вероятность, что засекут — если меня секут.

— Вот документы. Теперь вы — корреспондент «Правды» Чернышов Алексей Никодимович. Мы выбрали вашу газету, коммунистическую, по тем соображениям, что догматы учения и проблемы конфессии вам хорошо известны и при слу-

чае вы сможете поддержать разговор более или менее профессионально.

— Резонно, — сказал я.

— Как вы представитесь вашему контрагенту в Стокгольме — в это мы не лезем. Это вам решать, смотря по тому, как договорились вы с патриархом. Но для остальных сочли за лучшее подмаскировать вас таким вот образом. С редакцией снеслись, они вошли в наше положение. Теперь в отделе кадров у них есть соответствующая бумажка — товарищ Чернышов А. Н., внештатный корреспондент, командирован редакцией для ознакомления с такими-то фондами архива Социнтерна с целью написания серии исторических обзоров для рубрики «Наши корни».

— Да уж, — сказал я, — если версия подтвердится, корешки окажутся будь здоров.

Ламздорф помрачнел.

— Чем больше я думаю, батенька, тем больше тревожусь. Когда отчет ваш читал, просто волосы дыбом вставали. Коли вы правы окажетесь — то как же они, аспиды, научились людей уродовать! Уж, кажется, лучше бы Папазянов вирус. С природы и взятки гладки, от ее злодейств не ожесточаешься. А тут... Триста сорок шесть невинно убиенных в сорок первом году! Триста восемьдесят два — в сорок втором! И это только в Европе! Нелюди какие-то!

— Вот я и хочу этих нелюдей... — Я уткнул большой палец в подлокотник кресла и, надавив, сладостно покрутил.

— Думаете, вы один? В том-то и опасность я новую предвижу. Ведь для них смертную казнь опять ввести захочется!

Мы долго молчали, думая, пожалуй, об одном и том же. И сугубо, казалось бы, физический термин «цепная реакция», вдруг пришедший на ум, разбухал, как клеш от крови, грозя лопнуть и забрызгать дом и мир.

— Этого допустить нельзя, — сказал я. — Ни в коем случае нельзя.

Ламздорф вздохнул.

— Вы уж поосторожней там, — попросил он. — Под пули не лезьте без нужды.

— По малой нужде — под пули, — пошутил я. — По большой нужде — обратно под пули...

Ламздорф смеялся до слез. Но, вытирая уголки глаз, поглядывал с тревогой и состраданием.

— Охрану бы вам, — сказал он, отсмеявшись. — Парочку ребят для страховки, чтобы просто ходили следом да присматривали...

— Мы ведь по телефону уже говорили об этом, Иван Вольфович.

— Гордец вы упрямый, батенька. Все сам да один, один да сам...

— Ну при чем здесь упрямство? Если серьезное нечто начнется, два человека — просто смертники. Одному, между прочим, куда легче затеряться... Это во-первых. А во-вторых и в-главных, я еду к Эрику как частное лицо, представитель патриарха. Если он заметит, что меня пасут боевики...

— Да, батенька, да. Резонно. Я потому и подчинился. — Он опять вздохнул. — А сердце не на месте. Все оберечь как-то хочется. Так... Что же еще вам сказать? Ага, вот карманные денежки. Чтобы вам не суетиться сразу с обменом — уже в шведских, шесть тысяч крон. И в Стокгольмском Национальном открыт кредит еще на двадцать пять. Счет на «пароль»...

— Вы меня просто завалили деньгами! Зачем?

— На всякий случай, батенька, на всякий случай. Хоть что-то. Мы — страна богатая, можем позаботиться о своих. Кто знает, сколько вам на чужбине проторчать придется. Да и мало ли... вдруг... — он сразу запутался в словах, не решаясь назвать вещи своими именами, — лечение какое понадобится. У них же там все за деньги. Счет, говорю, на «пароль». Мы думали-думали, какое слово взять. А тут князь Ираклий позвонил — беспокоился, что-то, дескать, от вас давно весточек нету; ну, и дали мы счету пароль «Светицховели».

Мне стало тепло и нежно, как в вечернем сагурамском саду.

— Спасибо, — проговорил я растроганно. — Это вы мне действительно приятное сделали.

— На то и расчет. Подавайте о себе знать при случае. Атташе военный в Стокгольме о миссии корреспондента Чернышова осведомлен... то есть не о цели ее, конечно, но о том, что есть такой Чернышов, которому надлежит, ежели что, оказывать всяческое содействие. Проще держать связь через него. Вот телефон. — Он показал мне бумажку с номером, поддер-

жал у меня перед глазами, потом провел большим пальцем по цифрам, и цифры исчезли. Скомкал бумажку, повертел в пальцах и, не найдя, куда ее деть, сунул себе в карман. — Вот и все. — Поднялся. — Давайте-ка опять обнимемся, Александр Львович.

— Давайте, — ответил я.

4

Когда Ламздорф ушел, мы снова двумя ангелочками уселись на диван. Лиза положила голову мне на плечо, и некоторое время мы молчали. Небо, довольно ясное утром, затянулось сплошной серой сырой пеленой, и в гостиной все было сумеречно.

— Сколько у тебя осталось? — спросила Лиза потом.

— Шесть часов.

— Тебя опять повезут как-то по-хитрому?

— Да.

— Я очень боюсь за тебя.

— Это лишнее.

— Там еще шампанского немного осталось. Хочешь допить?

— Хочу.

Она встала, быстро вышла в столовую, быстро вернулась, неся в руке почти полный бокал. Я взял, улыбнулся благодарно. Едва слышно шипела пена.

— Ты будешь?

— Нет-нет, пей.

Я неторопливо выпил. Вкусно. Тут же шекотно ударило в нос, я сморщился. Поставил бокал на ковер возле дивана. В желудке мягко расцвело тепло.

— Можешь покурить...

— Абсолютно не хочется.

Она промолчала. Потом сказала негромко:

— Будет совсем не по-людски, если вы не повидаетесь.

Я думал о том же. Но совершенно не представлял, как это сделать. И вдобавок самую серединку души вкрадчиво, но неотступно глодал ядовитый червячок: а можно ли ей доверять-то, господи боже мой? Хотя Беню, по всем его показаниям, «осенило» раньше, чем я собрался в Симбирск и проболтался об

этом Стасе, но ведь и показания могли быть «наведены» извне; вероятность того, что покушение на патриарха вызвано моим внезапным желанием побеседовать с ним, оставалась — ничтожная, да, но, казалось, я не имел права рисковать, со всем уж сбрасывая ее со счетов, слишком велика была ставка.

И все же я сбросил. Пусть лучше меня застрелят в Стокгольме. Жить с такими мыслями о женщине, которую любишь, которая ждет ребенка от тебя, — это много хуже смерти. Собственно, это и есть смерть. Смерть души.

— Ты права, — ответил я.

— Давай знаешь как сделаем? — бодро заговорила она. — Я сейчас ей позвоню и позову в гости. Она здесь уже бывала, так что, если твои бармалеи действительно следят за домом, они ничего не заподозрят. А сама, — она чуть пожала плечами, — куда-нибудь уйду на часок-другой. Так хорошо?

И опять горло мне сдавил горячий влажный обруч. Уже я смотрел на нее, как на икону, с восхищением и благоговением и думал, что, если хоть волос упадет с ее головы или если она действительно решит уйти от меня — все, я умру.

— Это слишком, Лиза, — сказал я. — Я не могу... тебя так использовать.

— Господи, ну что ты глупости говоришь? При чем тут использовать? Я просто тебе помогаю, и нет мне занятия приятнее. Когда я тебе бинты меняла с ней вместе — разве это было использование? Ты страдал, а я, как могла, тебя лечила.

— Тогда в меня попала пуля.

Она вздохнула, а потом сказала задумчиво:

— Знаешь, это в тебе — для меня тоже как пуля.

— Ты тоже страдаешь.

— Я страдаю, потому что тебе тяжело, а ты — потому что в тебя попали. Есть разница? И вообще, — решительно добавила она, тут же покраснев, — если бы я, например, в кого-нибудь влюбилась, ты что, вел бы себя иначе? Ты, палач, кровосос, кобель, мне бы не помог?

— Не знаю, — сказал я.

— Зато я знаю. Я тебя знаю лучше их всех и даже лучше, чем ты сам. И знаешь почему?

— Почему?

— Потому что я очень послушная. Ты со мной самый не-искаженный.

Она подождала еще секунду, потом ободряюще улыбнулась и встала. Пошла в столовую, к телефону.

Шелк... шелк-шелк кнопочками.

— Стася? Здравствуйте, это... узнали? Ну, разумеется... А? Не может быть! Спаси-ибо... Нет-нет, право, я не могу, лучше себе оставьте, вам нужнее. Ах, гонорар подоспел крупный. Вышла подборка? Поздравляю, от всей души поздравляю. От Саши ничего, но вот сейчас заходил его начальник, сказал, что его перевели на долечивание в санаторий, куда-то на Кавказ. Ох, правда. Я тоже соскучилась. Лучше бы сюда, мы бы его быстрее вылечили. Как вы-то себя чувствуете? — Послушала, потом засмеялась вдруг. — Да не волнуйтесь так, это же обычное дело. Я, когда Поленьку ждала...

Я встал и прикрыл дверь. Сестренки, похоже, завелись на-долго.

За окном собирался дождь; плоская беспросветная пелена небес совсем набухла влагой. Два сиреневых кустика в углу двора потемнели и понурились. Под одним, напряженно приподняв переднюю лапу, каменел Тимотеус с хищно поднятой вверх мордой — наверное, стерег какого-нибудь воробья на ветке, невидимого отсюда.

Как не хочется уезжать!

Дверь отворилась, и я обернулся.

— Минут через сорок будет здесь.

Я молча кивнул. Нет таких слов.

— Знаешь, Саша, — виновато сказала она, — что я подумала? Тебе виднее, конечно, но, если она придет, а я вскоре уйду одна, со стороны это может выглядеть странно и... подозрительно. Ты только не думай, что я ищу предлог остаться и... — Запнулась. — Если ты действительно опасаясь каких-то наблюдателей...

— Есть такая вероятность.

— Я тогда встречу ее и просто забьюсь куда-нибудь подальше, в хозяйственный флигель, например. А потом, когда вы... когда уже можно будет, ты меня оттуда вынешь.

Я подошел к ней, положил ей ладони на бедра и чуть при-тянул к себе. Некоторое время молча смотрел в глаза. Она не отвела взгляд, лишь снова покраснела.

— Я обожаю тебя, Лиза.

Она улыбнулась.

— А мне только этого и надо.

Когда раздался звонок, открывать пошла Лиза. Я так и сидел, как таракан, в гостиной, боясь даже мелькать мимо окон, выходящих на улицу: бог знает, кто мог засесть, скажем, в слуховом окне на крыше дома напротив с биноклем или, например, с детектором, подслушивающим разговор по вибрации оконных стекол. Ерунда какая-то, скоро от собственной тени шараться начну, а рисковать нельзя, раз уж взялись маскироваться.

Из прихожей донеслись два оживленных женских голоса, на лестнице слышались шаги, и сердце у меня опять, будто я все еще лежал на больничной койке, заколотило, как боксер в грушу: короткая бешеная серия ударов и пауза, еще серия и еще пауза... Ведь я Стасю с той поры не видел и не слышал.

Они вошли. Стася, увидев меня, окаменела.

— Ты...

— Я.

Да, по фигуре уже было заметно.

Она поняла мой взгляд и опустила глаза. Потом резко обернулась к Лизе:

— Отчего же вы мне не сказали?

— У Саши спросите, — улыбаясь, пожала плечами Лиза. — Каких-то бармалеев наш муж боится.

Стася снова уставилась на меня.

— Опять что-то случилось?

— Нет. Надеюсь, и не случится.

— Ну, вы беседуйте, — сказала Лиза, — а я пойду распоряжусь насчет обеда. Вы ведь пообедаете с нами, Стася, не так ли? Я сама прослежу, чтобы все было на высшем уровне. Редкий гость в доме, повелитель — нельзя ударить лицом в грязь. Стася, я надолго.

Она вышла и плотно затворила дверь.

— Вы просто идеальная пара, — произнесла Стася, помолчав. Мы так и стояли неловко: я посреди комнаты, она у самой двери. — По-моему, вы органически не способны обидеться или рассердиться друг на друга...

Я усмехнулся.

— Я от тебя тоже готова снести все, что угодно, лишь бы остаться вместе, но иногда, сама того не замечая, начинаю злиться. А ты к этому не привык в своей оранжерее — сразу

замыкаешься, отодвигаешь меня и готов сбыть кому угодно. Угораздило же меня!

— Жалеешь?

Она взглянула чуть исподлобья.

— Я? Нисколько. Ей — сочувствую. Тебя мне ничуть не жалко. А себя — и подавно.

— Присаживайся, Стася. — Я показал на диван, возле которого стоял.

Она уселась на один из стульев у двери, подальше от меня. Ее и отодвигать не надо было — сама отодвигалась. Я нерешительно постоял мгновение, потом сел подальше от нее.

— Когда ты вернулся?

— Вчера.

— Надолго?

— На полсегодня. В семь отходит мой корабль.

— Корабль... Что вообще происходит?

Я открыл было рот, но холодный скользкий червячок крутнулся вновь. Молчи, она ведь даже не спрашивает, куда ты едешь! Додавливая гада, я старательно проговорил:

— Плыву в Стокгольм, в архив Социнтерна. И даже под чужим именем. Чернышов Алексей Никодимович, корреспондент «Правды».

Я глубоко вздохнул, переводя дух от этого смехотворного для нормальных людей подвига, — но слышал бы меня Ламздорф! ведь я разом перечеркнул многодневные усилия многих людей, старавшихся обеспечить максимально возможную безопасность моему делу и моему телу! — а на выдохе вдруг попросил, сам не ожидая от себя этих слов:

— Только не говори никому.

— Да уж разумеется! — выпалила она. — Хватит с меня сцены, которую ты устроил перед отлетом в Симбирск!

— Я устроил?! — опешил я.

— Не надо повышать на меня голос. Конечно, ты. Не Квятковский же.

Я молчал. Что тут можно было сказать?

— Он весь наш коньяк выпил, — пожаловалась она.

Я улыбнулся.

— Пустяки. Я ни секунды не сомневался.

— Он очень замерз! — сразу встала она на защиту. Как хохлатка над цыпленком. Словно ястребом был я. — В Варшаве жара, он летел в одной рубашке, а на борту кондиционеры

плохо работали, и все продрогли еще в воздухе. А в Пулкове этом болотном вдобавок и вымокли до нитки. Что же мне, жмотиться было?

— Да я же не возражаю, — сказал я. — Для того и нес, Стасенька.

Она вдруг растерянно провела ладонью по лицу.

— О чем мы говорим, Саша...

Я устало пожал плечами.

— О чем ты хочешь, о том и говорим.

— А ты о чем хочешь?

— О тебе.

Она помолчала.

— Ты надолго?

— Не знаю. Думаю, да.

— Значит, — вздохнула она, — буду встречать тебя уже с чадиком на руках.

— Чадиком? — улыбнулся я.

— Ну... чадо, исчадие... если ласково, то чадик. Это я сама придумала.

— Давно это?..

— Больше полсрока отмотала. Уже лупит меня вовсю, как футболист.

— Думаешь, мальчик?

— Хотелось бы. Дочка у тебя уже есть. Хватит с тебя... девочек.

— Что же ты мне сама-то не сказала?

Она искренне изумилась.

— Как? Это я Лизу совсем уж расстраивать не хотела, не сказала, что ты мне сам разрешил!

Мне захотелось закурить. Кто-то из нас сошел с ума. И вдруг мелькнула жуткая мысль: да не «пешка» ли она уже? Как Бенья, долдонивший про тягу патриарха к личной власти...

— Когда разрешил? — спокойно спросил я и поймал себя на том, что, кажется, уже веду допрос.

— Да в Сагурамо! Я была уверена, что ты все понял! Ты сразу сказал — только немножко поломался сначала насчет порядочности, — а потом сказал: если без ссор и дрызг, то был бы рад. Я все делаю, как ты сказал, — ни ссор, ни дрызг.

— Ну ты даешь, — только и смог выговорить я. А потом спросил, прекрасно зная, что она ответит, если будет честна: — А если бы не разрешил, что-нибудь бы изменилось?

Она помедлила и чуть улыbnулась:

— Нет.

Я молчал. У нее исказилось лицо, она даже ногой притопнула:

— Мне тридцать шесть лет! Через месяц — тридцать семь! Имею я право родить ребенка от того, кого наконец-то люблю?!

— Имеешь. Но я-то теперь как? В петлю лезть от невозможности раздвоиться? Ведь что я ни делай — все равно предатель!

— До сегодняшнего дня прекрасно раздваивался. Теперь хвостик задрожал? Тогда гони меня сразу.

Мы помолчали. Задушевная получилась встреча.

— А я шла сюда, — вдруг тихо сказала она, — и думала: удастся ли мне еще когда-нибудь затащить тебя в постель или уже все?

Меня сразу обдало жаром.

— А хочется? — так же тихо спросил я.

— Вопрос, достойный тебя. Да я тут ссохлась вся от тоски!

— Зачем же ты так далеко сидишь? — Я старался говорить как можно мягче и только боялся, что после недавней перепалки это может не удалиться или, хуже того, прозвучать фальшиво.

— Здесь? — с отвращением выкрикнула она.

Я опять перевел дух. Как тяжело... Язык не поворачивался. Но надо же ей растолковать.

— Стасенька, по-моему... Лиза уверена, что у нас с тобой это будет.

— Это ее проблемы.

— Не надо так. Даже если ты сейчас не... — Не знал, как назвать. И не назвал. — Все равно ты плохо сказала. Ведь мы с тобою можем опять очень долго не увидаться, и она это понимает.

— Не хватало еще, чтобы твоя жена тебя мне подкладывала.

Я почувствовал, что у меня дернулись желваки.

— Ну, самоутверждайся, — сдержавшись, сказал я глухо.

— Сашенька, я уже лет пятнадцать этим не занимаюсь. Но в ваше супружеское ложе не лягу ни за что.

— Ложе, ложе! — Я уже терял терпение. Единственное, на что меня еще хватало, — это на то, чтобы не повышать го-

лос. — Стася, при чем тут ложе! — И, уже откровенно глумясь, добавил: — Вот можно на коврик!

Она поднялась.

— Какой тяжелый ты человек, — сказала она и пошла к двери. — Не провожай. А то ведь везде враги.

Все мое раздражение отлетело сразу. Остались только страх за Стасю и тоска. Что же она делает? Она же доламывает все! Она этого хочет?

— Стася, а обед?! — нелепо крикнул я ей в спину, и дверь резко закрылась.

Я с яростью потряс головой. Дьявол, ничего не успел даже спросить. Как у нее с деньгами? Как со здоровьем? Как с публикациями, сдержал ли Квятковский слово? По телефону вроде говорили о какой-то подборке... Дьявол, дьявол, дьявол! Бред!

С чего же начали цапаться-то?

Когда я прикуривал четвертую сигарету от третьей, в дверь осторожно поскреблись. Я обернулся как ужаленный. Неужели вернулась? Господи, хоть бы вернулась!

— Да! — громко сказал я, уже поняв, что это Лиза.

Она правильно рассчитала: если бы мы были в спальне, то просто не услышали бы.

И она бы снова ушла. Все зная наверняка.

Она явно не ожидала, что я отвечу. Только через несколько секунд после моего «да!» оживленно влетела в комнату, и задорная, гостеприимная улыбка на ее лице сразу сменилась растерянной.

— А где Станислава? Ой, дыму-то!.. — Она почти подбежала ко мне. Глянула в розетку для варенья, которую я превратил в пепельницу. — Святые угодники, четвертая! Да что случилось, Саша? На тебе лица нет!

— Все, Лизка, — сказал я, снова впихивая себе сигарету в губы. Руки еще дрожали. — Пляши. Одной козы как не бывало.

— Вы что, поссорились? — с ужасом спросила она.

Я неловко размолотил окурки в розетке, среди вонючей трухи предыдущих, и кивнул. Лиза, прижав кулачок к подбородку, потрясенно замотала головой.

— У нее на шестой уже перевалило... тебе, может, опять под пули лезть... Ой, дураки, дураки, дураки... — И тут же, схватив меня за локоть, энергично заговорила: — Саша, ты

только не расстраивайся. Не бери в голову. Это у нее просто период такой. Я, когда Поленьку ждала, тоже на тебя все время обижалась, из-за любого пустяка. Только виду не подавала. А она — другой человек, что ж тут сделаешь. Привыкла к свободе, к независимости. Она родит, и все постепенно уляжется, она ведь очень тебя любит, я-то знаю!

— Задурила она тебе голову, Лизка, — почти со злостью проговорил я. — Не верь ей. Просто с возрастом приперло. Решила родить абы от кого — ну, а тут как раз дурак попался. Никого она, кроме себя, не любит и никогда не любила... Ну, так что у нас с обедом? Ты вкусный обед обещала!

Она испуганно всматривалась мне в лицо. Будто не узнавала. Будто у меня выросли рога и чертов пятак вместо носа.

— Вот теперь я совсем поняла, о чем ты ночью говорил...

— Да я много глупостей наговорил.

— Не надо так! — болезненно выкрикнула она. — Эта ночь — одна из самых счастливых в жизни у меня! Никогда, может, мы с тобой не были так близко... А говорил ты, что нельзя крушить живое. Потому что тогда оба ожесточаются и высыхают. Ты не становись таким, Саша. — Она подняла руку и погладила меня по щеке. — До нее мне, в конце концов, извини, дела нет, но ты... лучше уж изменяй мне хоть каждый день, но таким не становись. Потому что я тебя такого очень быстро разлюблю. И что я и Поля тогда станем делать?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СТОКГОЛЬМ

1

Теплоход крался по фьорду.

В желтом свете предосеннего северного заката тянулись назад острова, лежащие в воде цвета неба. Крупные, покрытые лесом, или помельче, скалистые, украшенные одним-двумя деревьями и какой-нибудь почти обязательной избушкой, или совсем лысые, или совсем небольшие, не крупнее Лягушек в Коктебельской бухте — просто валуны, высунувшие на воздух покатые, как шляпки грибов, розово-коричневые спины. На каждом из них хотелось посидеть — свесить ноги к воде и, кротко глядя на остывающий мир, в рассеян-

сти размышлять обо всем и ни о чем. Глухо рокотали на малых оборотах дизеля; корабль мягко проминал зеркало поверхности, и за ним далеко-далеко тянулись по ясной холодной глади медленно расходящиеся морщины. Красота была неопиcуемая, первозданная, хотя громадный город уже навинулся — из-за леса на правом берегу тянулась в небо окольцованная игла телебашни, светились в настильном сиянии почти не греющего солнца разбросанные в темной зелени прибрежные виллы и особняки Лилла-Вартан, но все равно современное мощное судно казалось неуместным здесь, нужен был драккар. Пятнадцать лет назад один мой друг, писатель, — с ним-то мы и попали впервые в эти края, он-то и познакомил нас со Стасей позапрошлым летом, — сказал: «Теперь я понимаю Пер Гюнта. Здесь можно встать, взять меч и молча выйти на двадцать лет. Здесь можно ждать двадцать лет». Я не очень понял тогда, что он имел в виду, не понимаю и теперь, но сказано было красиво, и вокруг все было красиво, а между двумя красотами всегда можно найти связь, один найдет одну, другой — другую. Смертельно, до тоски хотелось показать все это Поле, Лизе и Стасе. Одну красоту — другой красоте. Вот и еще одна связь между красотами, уже моя; кроме меня, ее никто не поймет.

На нижних палубах суетились туристы, перебегая от борта к борту через широкую, как площадь, кормовую площадку; беззвучно для меня орудовали фотоаппаратами и видеокамерами, толкались в поисках своей идеальной точки зрения. Я стоял наверху, неподалеку от труб — они туго вибрировали и сдержанно рычали. На шее у меня болтался полагающийся по легенде «Канон», но я про него забыл. Не хотелось дергаться. Кто смотрит через видоискатель — тот видит только фокус да ракурс, а мне хотелось видеть Стокгольм. Я люблю этот город.

Совсем уже неторопливо мы проползли мимо островка Кастель-хольмен, где на тонкой мачте над краснокирпичным замком чуть полоскался давно уже навечно поднятый флаг — по давней-предавней традиции его полагалось спускать, когда Швеция ведет войну, — затем слегка взяли вправо. По левому борту открылся близкий и продолжающий мерно наплывать изящный лепесток моста, разграничивающего залив Сальтшен и озеро Мелорен, — со стороны Старого города у въезда на мост высился строгий и гордый каменный Берна-

дотт; а дальше, за строениями Рыцарского острова, похожими все как одно на дворцы, вывернув из-за высоких палубных надстроек судна, четко прорисовалась в напряженной желтизне небес ажурная башня Рыцарской кирки. Все это напоминало Петербург, но еще причудливее и плотнее, потому что мельче и чаще были накинаны в залив острова, а берега кое-где были низкими и плоскими, как у нас, но кое-где вспучивались вверх каменными горбами — и здания взлетали в небо.

Подумать только, чтобы построить город, так похожий на этот, мы воевали с ними едва ли не четверть века. А они с нами — чтобы мы не построили. Средневековье...

Ошвартовались в самом центре, у набережной Скеппсбрен, почти под окнами королевского дворца. Толпа на палубах медленно всосалась в недра корабля, а я, не спеша никуда, завороченно озираясь, еще выкурил сигарету на своей верхотуре. Чуть не швырнул окурки за борт, как делал в море, но рука сама не пошла. Это было все равно что плюнуть в лицо мадонне Литта.

«Правда» была столь любезна, что по своим каналам забронировала для меня скромный, но вполне уютный двухкомнатный номер в одном из отелей на Свеаваген, в двух шагах от концертного зала, где, как мне говорили когда-то, и происходит вручение Нобелевских премий. Начало смеркаться, когда я закончил разбирать багаж и полез в душ. Очень горячий — очень холодный. Все вроде было в порядке: и краны чуткие, и напор хороший — а не то.

Вылез, вытерся, оделся. Подошел к окну. Загорались огни, двумя плотными противонаправленными потоками катили внизу яркие авто. Покосился на телефон. Нет, не хотелось сразу звонить. На корабле я как-то расслабился, морская прогулка даже слишком пошла мне на пользу, размяк я, как последний бездельник, и никак было не решиться снова броситься в бойцовый ритм. Я знал: стоит начать — это надолго.

Да и не следовало, пожалуй, звонить из отеля. Береженого бог бережет.

Хотя покамест за журналистом Чернышовым, по всем признакам, никто не следил.

Я спустился в полупустой бар. Музыка играла ни уму, ни сердцу, но, к счастью, негромко. Не спеша выпил чашку кофе, выкурил еще сигарету. Сладкое ничегонеделание... Вы-

шел на улицу. Поколебался немного и пошел налево, к роскошной Биргер-ярлс-гатан.

Насколько я понимал, это в честь того ярла Биргера, которого в свое время откомпостировал святой князь Александр. Хорошо, что Средневековые закончилось. Я не смог бы жить в те эпохи. Разве что принял бы постриг. И то: католики, лютеране, православные, старообрядцы — и все правее остальных.

На улице имени смертельного врага русского святого я купил мемориальный банан. Понюхал пахнущую приторной тропической сыростью кожуру, интернациональным жестом уважительно показал тонущему в своих фруктах уличному торговцу большой палец, тот с утрированной гордостью выпятил челюсть и задрал нос: мол, плохого не держим. Мы разошлись, довольные друг другом. С бананом в руке я двинулся дальше.

Люди, люди, люди... Люди у витрин, люди у машин, люди у лотков и просто идущие не спеша, жующие резинку и не жующие резинку, разговаривающие, смеющиеся... Нет, люди у нас красивее. А вот город чище у них. Аккуратнее как-то, прополотее.

Слитно шумя и моргая тысячью красных глаз, катил мимо вечерний автомобильный ледоход.

Улица вывела к маленькому скверику, громко именуемому парком. Берцели-парк, кажется. Я миновал его, и тут уже снова недалеко было до воды. Остановился. Вот с этого места начиналась моя симпатия к Стокгольму.

Никуда он не делся за пятнадцать лет, мой чугунный приятель, которого я когда-то, тоже в сумерках, принял в первый момент за живого. Надо очень любить свою столицу, чтобы любить ее так весело и непринужденно: в блистательном центре великого города, сердца северной империи, пусть даже бывшей, поставить красно-желтую загородку «ведутся работы», кинуть на асфальт тяжелую крышку канализационного люка, а под крышкой воткнуть с натугой открывающего ее чугунного водопроводчика, так что казалось, будто он вылезает из дыры в земле — с худой, костлявой, уныло перекошенной и явно похмельной рожей.

Одно только слегка портило впечатление — торчащая тут же табличка с надписью «Хумор». Как будто без этого пояснения кто-нибудь мог не догадаться, что водопроводчик являет-

ся юмором, и окаменел бы от недоумения. Была тут какая-то неуверенность шведов в самих себе.

Хотелось навестить еще Риддар-хольмен, Рыцарский остров, но небо уже отцветало, и даже на западе сквозь холодную зелень заката всю проступала синева. Я постоял у воды, вспоминая, как мы с другом сидели на стрелке этого самого хольмена, на скамейках открытой эстрады, а за темной водной ширью, неторопливо игравшей словно бы каучуковыми отражениями городских огней: потянет и отпустит, потянет и отпустит, — громоздился тяжелый, угловатый бастион ратуши, а мимо, в двух шагах от нашего берега, тарахтя несильным дизельком и тускло светя фонарями и единственным квадратным оконцем, проплывал занюханный катерок с громким названием «Соларис Рекс»... Но сердце было уже не на месте. Пора работать.

Я решительно пошел к телефону. Я не знал по-шведски; Эрик, по словам патриарха, не знал по-русски. И когда, подняв трубку, с того конца ответили международным «алло», я спросил, старательно надавив на английское «р», чтобы сразу дать понять, на каком языке ведется разговор:

— Эрик?

Он включился сразу:

— Е-э...

— Гуд дей, Эрик. Ай'м фром Михал Сергеич.

2

Дни летели, как листья на ветру.

Работа была кропотливой и, в общем, совершенно непривычной для меня. Эрик — немногословный, очень славный и феноменально эрудированный в своей области человек — помогал, чем мог, без него я запутался бы быстро и безнадежно; для меня действительно все оказалось доступно и открыто, по первому требованию поступали картотеки, документы, пожелтевшие, а то и затянутые прозрачной пленкой ветхие письма, расписки, дагерротипы... Но что Эрик мог сделать, ежели я сам не ведал, что ищу? Поди туда — не знаю куда... Целыми днями я просиживал за терминалом ЕСИ (помню, когда создавалась Единая Сеть Информации, мы, желторотики, пили за ее здоровье и пели: «Ой, ты гой еси!»), в читальных залах, а

то и в рабочих каморках фондов, расшифровывая старый почерк — на русском, на немецком, на французском, и тонул в ворохах ничего не значащих фактов, и вновь выныривал было, уцепившись за какую-то нить, а потом нить рвалась или приводила в тупик, и я искал другую, и все было наугад, на ошупь, все было зыбко. А дни летели, и я скучал по всем.

Однажды мне показалось, что меня пасут, — и я целый день проверялся. Кружил в перепутанном, как кишечник, метро, зашел в кино, зашел в ресторан. Похоже, почудилось. Вечером просто руки чесались прозвонить номер на предмет электронных «жучков», но у меня, естественно, не было никакой аппаратуры с собой: аппаратура — вещь броская, первый же сделанный в номере тихий обыск меня бы расшифровал; а во-вторых, пусть слушают, я все время молчу. Однако нервы были на взводе, и в тот же день я дольше обычного мучился бессонницей. Слишком уж медленно шло дело. Да и шло ли? Порой мне казалось, что я топчусь на месте. Порой мне казалось, что я вообще на ложном пути и не по заслугам проедаю казенные кроны. Очень хотелось осведомиться, набегает ли и дальше статистика Папазяна, происходят ли и теперь в мире преступления, аналогичные выявленным нами, — но отсюда это было невозможно. Я бежал в пустоте.

А листья и впрямь полетели, поплыли, зябко дрожа, порябой от осеннего ветра воде узких проливов.

Я ни с кем не знакомился, ни с кем не сходился.

Я тосковал.

Я работал.

Поначалу мне то Стася, то Лиза мерещились в толпе. Потом это стало реже. Потом прекратилось совсем. Я даже не мог узнать, как у них дела, здоровы ли...

Пятого сентября мы и штатники запустили очередную пару гравиторов. Вот об этом мне прожужжали все уши по радио, промозолили все глаза в газетах. «Новая фаза глобального сотрудничества...»

Никто проекту «Арес» не угрожал.

Из газет же я узнал, что патриарх вернулся к работе. Его все-таки ухитрились поставить на ноги, он снова мог ходить сам — медленно, приволакивая ноги, присаживаясь для отдыха каждые метров полтора, но все же не остался прикованным к креслу, которое я запомнил так хорошо. Потрудились и в Симбирске, и в петербургской нейрохирургии, и в прекрас-

ном санатории «Билья» на северном берегу Апшерона... В основном писали с радостью и симпатией к патриарху — иногда, как мне казалось, чересчур экзальтированной, неприятной для нормального человека так же, как и любое вибрирующее на грани истерики чувство. Но событие всколыхнуло угасшую волну интереса к покушению; газеты всех направлений в течение нескольких дней были наводнены версиями. Версии — хоть плачь. Однажды довелось мне прочесть и про себя. Яро антирусская газета — не помню названия, зато врезался в память тираж: 637 экземпляров — огорошила своих шестьсот тридцать семь читателей заявлением, что злодейское убийство наследника русского престола было осуществлено по воле патриарха коммунистов, так как великий князь своей популярностью в народе и набожностью способствовал усилению православия, чего коммунисты постарались не допустить; покушение же на патриарха было карательной акцией российских спецслужб. Как единственное доказательство этому приводился факт, что «контрразведчик Божьей милостью, знаменитый своей шепетильностью в вопросах чести (?) полковник МГБ России князь Трубецкой, участвовавший в расследовании убийства наследника, после случайной встречи с патриархом в Симбирске бесследно исчез во время пребывания в горном пансионате «Архыз», и ни жена, ни друзья, ни любовницы ничего не могут сообщить о его местопребывании». Любовницы. Так-так. Неужели эти заразы со своими вопросами приставали к моим ненаглядным? Я едва не скомкал газету. Потом перечел фразу снова. Уж если писакки пронюхали, что меня нет в Архызе, настоящие сыскари могут знать куда больше. Стало не по себе, и спина ощутилась какой-то очень беззащитной.

Как-то раз со мной попыталась многозначительно познакомиться то ли кубинка, то ли мексиканка, остановившаяся в том же отеле, что и я, и вдобавок на том же этаже. Женщины свое дело знают туго, почерк, что называется, поставлен — сообразить не успеваешь, что происходит, а уже ведешь ее в бар, уже заказываешь для нее ликер, а она томно жалуется на одиночество, жестокость мира и рассказывает тебе, какой ты красивый. Наверное, до конца дней я останусь у нее в памяти то ли как импотент, то ли как педераст. Если вообще останусь, конечно. На следующий вечер я встретил ее в том же баре с каким-то шейховатым финансистом из Аравии. Она го-

ворила ему то же самое и, по-моему, теми же самыми словами, а шейховатый шуровал яркими маслинами глаз, часто и быстро облизывал кончиком языка, будто жалом, свои коричневые тугие губы; его волосатые пальцы подергивались от нетерпения, разбрызгивая перемолотые перстнями радуги. Сначала мексиканка меня долго не видела, а потом, заметив, изящно указала на меня мизинчиком и что-то игриво сказала коротко глянувшему в мою сторону шейховатому, и они засмеялись с чувством превосходства и полного взаимопонимания. Очень глупо, но чем-то они мне напомнили в этот момент Лизу и Стасю в чайном углу. Ноги у мексиканки были очень стройные. Она так и егозила ими — то одну забросит на другую, то наоборот. Ей тоже не терпелось. Я велел в номер литровую бутылку смирновской и, сидя в сумраке и одиночестве, мрачно выел ее на две трети, сник в кресле и уснул, но, видимо, проснувшись через пару часов, сам не помню как, доел.

Наутро Эрик, настоящий товарищ, забеспокоился. Открыть-то я ему открыл с грехом пополам, но беседовать не то что по-английски, а даже на ломаном русском был не в состоянии. Раздрай был полный; хорошо, что я себя не видел и не знаю, как выглядел, — впрочем, реконструировать несложно, алкашей, что ли, мы не видывали? Трезвому мне всегда хотелось давить их, как тараканов, настолько они омерзительны. Немногословный Эрик срисовал ситуацию в ноль секунд, помог мне доползти обратно до постели, уложил и укрыл одеялом. «Рашн эмпайр из э грейт кантри», — хмуро констатировал он, подбрасывая на широкой ладони пустую бутылку и оценивающе поглядывая то на нее, то на меня. Я лежал как чурка и стеклянными глазами следил за его действиями. Я даже моргать не мог: с открытыми глазами голова кружилась в одну сторону, с закрытыми — в другую; а если моргать, она начинала кружиться в обе стороны сразу, и в этом ощущении было что-то непередаваемо чудовищное. Эрик молча вышел, а через пять минут вернулся с гремящей грудой пивных жестянок на руках. «Рашнз из э грейт пипл, — утешал он меня, как умел, заботливо поддерживая мне голову одной рукой, а другой переливая из жестянок мне в рот густую темную пенистую жидкость. — Дьюк Трубетской из э риэл коммьюнист...». На четвертой, а может, и пятой жестянке я слегка просветлился. Слезы ручьями потекли у меня из глаз. Я сел в постели

и начал орать: «Эрик! Оу, Эрик! Ай лав зэм! Ай лав боус оф зэм! — Я забывал предлоги, размазывал слезы кулаком и размахивал руками, как Виннету Вождь Апачей, одними жестами вдохновенно рассказывающий соплеменникам, как давеча снял скальпы сразу с пяти бледнолицых. — Кэч ми? Ай уонт фак боус!!!» — «Фак боус водка энд биар? — хладнокровно осведомился Эрик, даже бровью не дрогнув. — О'кей...» И удалился, тут же вернувшись еще с пятью жестянками.

Не знаю, что было дальше. Не знаю, как и когда он ушел.

Я проснулся около пяти. Глядя на часы, долго не мог сообразить, пять утра или вечера, чуть не собрался идти на ужин, но потом все же осознал, что очень уж тихо за окном. Голова была кристаллически холодной и ясной. И очень твердой. Имело место лишь одно желание: немедленно перестать жить. Зато оно было необоримым. Тоска и отвращение к себе так переполняли душу, что она вот-вот готова была взорваться, дернув правую руку ногтями располосовать вены на запястье левой. Абстинентный суицид, будь он навеки проклят. В этом состоянии половина русской интеллигенции попрыгала из окон. Хорошо, что я не интеллигент. Я зажег торшер, голый, как был, погромел жестянками, но все они, сволочи, были пусты и буквально выжаты досуха. Тогда я уселся нога на ногу возле журнального столика в мягкое кресло и закурил, брезгливо и ненавидяще взирая на свое ничтожно скукоженное, бессильно прикорнувшее мужское естество и борясь с диким искушением ухватиться как следует и вырвать эту дрянь с корнем, чтобы уж не мучить больше ни замечательных своих женщин, ни себя. Да, пора дать им свободу. Пусть самоопределяются. Неужели вот это может кого-то радовать? Не верю. И никогда в жизни больше не поверю. Светлый абажур торшера плыл в неторопливо текущих сизых струях, вдоль стен горами лежал мрак. Из-за окна время от времени начал доноситься пролетающий шелест ранних авто. После пятой сигареты опасные для жизни и территориальной целостности острые грани кристалла в башке стали оплывать и студенисто размягчаться. Тогда я встал, принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный, тщательно побрился, налил до самого горла кофеем и по утренним улицам Стокгольма бодро пошел в архив — работать.

Пожалуй, самой широкомасштабной акцией радикалов в годы, непосредственно предшествующие загадочному рубежу 1869 — 1870, была авантюра, вошедшая в историю под названием «экспедиции Лапинского». В ней как в фокусе сконцентрировалась вся бессмысленность и вся трагическая изломанность левых идеалов того времени, вся их нелепая, не несущая фактически никакого позитива разрушительность и полное элиминирование таких категорий, как, например, ценность человеческой жизни. Она отличалась от большинства иных, сводившихся, в сущности, к маниакально расцвеченной красивыми словами людоедской болтовне, и объединила в одну упряжку львиную долю стремившихся к «справедливому будущему общественному устройству» людей дела — людей, всегда вообще-то более симпатичных мне, нежели люди слова, но тут дело было таким, что уж лучше бы эти люди продолжали болтать, попивая абсент и пошныривая к дешевым проституткам. Началась она, как и должна была у этих людей, со лжи, а кончилась, как и должна была, кровью.

В ту пору Польша в очередной раз пылала. Поляки кромсали русских поработителей как могли. В ответ русские начали кромсать взбунтовавшихся польских бандитов. Но в душе великоросса, широкой, словно окаянный наш, от Дуная до Анадыря, простор, всему найдется место; и вот уже русские гуманисты не только деньгами и медикаментами помогают изнемогающим, как тогда писали, в неравной борьбе полякам, не только петициями и газетными статьями, требующими от государя даровать во избежание крови и злобы вольность западной окраине — все это достойно, все это вызывает уважение... но и оружием, и соучастием. И вот уже один, другой, третий русский борец за справедливое устройство гвоздит из польских окопов русскими пулями в русских солдат, думая, что попадает в прогнившее самодержавие, — как будто, стреляя в людей, можно попасть во что-нибудь иное, кроме людей. И чем больше их, этих деятельных, презирающих интеллигентскую болтовню о смягчениях и дарованиях, тем глупее выглядят те, кто оказывает реальную, бескровную помощь, тем легче квалифицировать их великодушие и стремление к компромиссу как измену. И это в момент, когда только-только пошла крестьянская реформа — теперь две трети зам-

шелых царедворцев тычут Александру: вот что от свободы-то деется! При батюшке-то вашем про такое слыхом не слыхивали!.. Трижды прав Токвиль: для устаревшего строя самый опасный момент наступает, когда он пытается обновить себя. И еще говорят об исторической справедливости! И тем более о ее ненасильственном восстановлении!

Исторически справедливо лишь то, что препятствует убийствам. И несправедливо то, что им способствует. Вот единственно возможный справедливый подход — остальное скромно называется «грязной политической игрой».

Пароход «Уорд Джэксон» отошел из Саутхэмптона 22 марта 1863 года. На борту — оружие для поляков и сто шестьдесят человек разных национальностей, по тем или иным причинам решивших принять участие в боевых действиях на стороне несчастных и обездоленных поработенных. Во главе — поляк по происхождению, полковник австрийской армии по службе Лапинский. Был и некто Демонтович, на манер якобинских времен называвший себя комиссаром. Святые угодники, как сказала бы Лиза, — команда зафрахтованного Лапинским парохода ведать не ведала, куда и зачем она ведет судно, гуманисты намолостили какую-то чушь вместо объяснений, нимало не угрызаясь тем, что подвергают ни в чем не повинных, ни сном ни духом не вовлеченных в эту многовековую разборку людей всем превратностям военной авантюры! 26 марта здесь, в Швеции, в порту Хельсингборг к борцам за правое дело справедливого устройства присоединился сам Бакунин — решил, видимо, лично начать устанавливать живую бунтарскую связь между русскими пахарями, на этот раз при помощи польских инсургентов. Но двумя днями позже, уже в Копенгагене, шило проткнуло мешковину — команда во главе с англичанином Уэзерли, узнав о цели плавания, просто покинула судно в полном составе. Свободолюбцев это не обескуражило; той же ложью была нанята команда, состоявшая почти целиком из датчан. Однако шило проткнуло мешковину еще раз. О продвижении «Уорда Джэксона» стало известно в Петербурге, и кровавый царизм вновь явил миру свой звериный лик: вместо того чтобы, скажем, подослать убийц или встретить суденышко в море, поближе к российскому берегу, каким-нибудь из военных кораблей Балтийского флота и уж даже не расстрелять, конечно, главным калибром, а просто хотя бы арестовать всех, кто на судне находился, царизм

корректнейшим образом снесся с властями Мальме, куда «Джэксон» доплухал 30 марта, с просьбой интернировать судно. Но что это было за интернирование! Жуткий произвол! Демонтовичу даже часть оружия удалось сберечь, и уже 3 июня непреклонные борцы, наняв парусник «Эмилия», во главе со своим Лапинским снова плывут навстречу справедливому устройству. Путь к нему на этот раз, по их мнению, лежит через Литву, там они надеются организовать новый очаг восстания. 11 июня они попытались высадиться у входа в Куришгаф — так называлось тогда длинное, буквально шнуром вытянутое озеро, отделенное от Балтики Куршской косой. Балтика подштармливала, с ней даже летом шутки плохи. Но вооруженным мечтателям всегда море по колено — рай к завтраму! Двадцать четыре человека потонули буквально в версте от берега, не умея добраться не то что до справедливого устройства, а до песчаного пляжа. Потрепанная «Эмилия» отправилась наконец восвояси — похоже, после столкновения со столь «несправедливой» реальностью борцы поняли, что дело-то, оказывается, идет всерьез, красивые фразы и жесты кончились, и вот-вот вслед за утонувшими последуют пострелянные и, возможно, даже повешенные; им такая перспектива не улыбалась. Убивать, посылать на смерть других во имя справедливого устройства — священный долг, всегда пожалуйста. Умирать самим — это как-то чересчур. С грехом пополам дотянули до Готланда — приблизительно как я до двери гостиничного номера, когда стучался Эрик, — и 19 июля шведский военный корабль доставил уцелевших обратно в Англию.

Мне их даже не было жалко. Господи, да если бы они везли бинты или йод, я бы каждому памятник поставил! Я пытался представить себе этих уцелевших. Как они, в ожидании шведского корвета, посиживают на набережной мирного, сонного, игрушечного, как домик-пряник, Висбю, коробчатой коростой островерхих черепичных крыш избегающего улица за улицей, точно ступенька за ступенькой, на высокий берег Готланда, с тоской смотрят на синее, прохладное даже летом, давно отштормившее море, на часек, слепящими сгустками белоснежного пламени медленно крестящих лазурь небес, пьют какую-нибудь горячительную дрянь и думают... о чем? О чем же они думают? Казалось бы, это так легко вообразить, ведь я человек и они люди; вот ноги, вот руки, как

сказал Христос Фоме неверующему — вот небо, вот море, о чем тут можно думать? Но синдром Цына бушевал в каждом из них — и я не мог проникнуть в их мысли, как не мог проникнуть, скажем, в мысли больного шизофрозией, абсолютно правильными, ораторскими фразами доказывающего: «Возьмем Кольский полуостров, вставим в него телевизор, будем вокруг все время хлеб накручивать — так что же, Илья Муромец, что ли, вырастет, я вас спрашиваю?»

Да, в своей жизни я стрелял. Совсем недавно стрелял, чтобы спасти Рамиля. Конкретного человека от конкретного убийцы. Но, скажем, подойти к парню, который не сделал еще ничего плохого ни тебе, ни твоим близким, который в данный момент думает — и это на лице у него написано — о том, уродился ли нынче в родных краях овес, не прохудилась ли дранка на отчем амбаре и с кем теперь гуляет соседская Парашка, и с истерическим воплем «Ты — наймит прогнившего режима!» или, к примеру, «Крофафый порапотитель!» пырнуть штыком в живот?

Не представить.

Я методично, забывая о летящих днях, копался в жизнях этих уцелевших людей дела и подчас удивлялся, набреда на факты, свидетельствующие, что все они были все-таки обыкновенными людьми, а подчас поражался тому, сколь сильно их поведение время от времени все-таки выдавало некую извращенность их сознания, сбитость прицела, что ли. Почти все так или иначе переживали случившееся, многие пытались делать какие-то выводы, но чаще всего выводы эти заставляли меня лишь руками всплескивать в бессильном и, каюсь, злобном недоумении. Двадцать второго сентября мне в руки попало письмо Петра Ступака, отправленное им из Саутхэмптона в Хельсингборг своей, как тогда говорили, гражданской жене. Была у этого несостоявшегося убийцы жена, оказывается; оказывается, его можно было любить, да еще как... «Здравствуй, пухленькая моя! — писал Ступак. — Я еще задержусь в Британии, подлечусь и отдохну маленько после нашего балтийского вояжа. А потом уж ворочусь насовсем, Зинульчик. Умонастроение у меня преотвратительнейшее. Вояж наш оказался неудачен, и от этих неудач стал я более прежнего презирать род людской. А особливо, ты уж не обессудь, нас, россиян. Дальше собственного носа не видим, кроме как на собственный пуп, ни на что не глядим. Хоть горло надорви — никто

не слышит, да и слушать не желает. В голове только женка, да буренка, да по праздникам кабак с церковью. Как я все это ненавижу! Ах, если бы в силах был я вдунуть в спящих людей благородный огонь неприятия такого, с позволения сказать, счастья! Чтобы ярость клочкотала в жилах у всякого, как клочочет она у меня! Чтобы не сносили наши хлебопашцы и мастеровые несчетные несправедливости, понутив покорно выи, а отвечали на единый окрик — сотнею, на единый удар — тысячею ударов! Чтобы великая цель освобождения от векового ярма руководила всяким чувством, заставляя позабывать о презренном благополучии, о кущих добродетелях, о животной заботе об семье и потомстве! Гордость, независимость, самодостоинство, постоянное стремление к свободе — где они? Ах, наука, наука! Как могущественна она в создании новых машин и как беспомощна в создании нового человека!» Помню, я еще головой покачал, читая, и подумал, что, по моим понятиям, получив такое письмо, любая нормальная женщина должна была бы плюнуть в морду автору и на порог больше его не пускать...

И тут почуял запах моего дьявола.

Петр Поликарпович Ступак. Тридцать пять лет было ему в шестьдесят третьем. В пятьдесят пятом с отличием закончил Петербургский университет, проявив недюжинные способности в естественных науках. Но карьера не сложилась — происхождением Ступак похвастаться не мог, а кроме того, желал всего и сразу просто потому, что он — такой. Неуживчив, как гений, — говорят обычно о подобных людях, забывая, что большинство действительных гениев, при всех подчас действительно тяжелых в быту странностях характера, отличаются доброжелательным и даже отрешенным от мирских конкурентных склок нравом, а неуживчивыми оказываются на поверку главным образом люди, которые, будучи непоколебимо уверены в своем потенциале, все никак не соберутся его реализовать, погружаясь глубже и глубже в мелочную борьбу с теми, кто, по их мнению, препятствует раскрытию их талантов, и потом уже сами непроизвольно провоцируют эту борьбу, ощущая в глубине души, что затихни она — и не останется никаких признаков гениальности. Общих правил тут, конечно, нет — и все же... Ступак явно считал себя гением и, не исключено, действительно мог им стать. Он носился со странной идеей: Вселенная есть кристалл. Между прочим,

по-моему, эта идея кое-где вспыхивает до сих пор, и, значит, в ней что-то есть, хотя мне с моим госбезопасным умом не взять в толк — что; но, насколько мне известно, Ступак выдвинул эту идею в науке первым.

Однако он с лихостью необычайной, революционной вполне, делал из этой идеи практические выводы: в силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной с арбуз или с купол Ивана Великого, все равно — размер зависит исключительно от срока кристаллизации. Вселенные будут абсолютно идентичны, причем чем меньшую Вселенную мы хотим вырастить, тем, естественно, меньше времени это потребует; наша Вселенная потому такая большая, что давно растет. На мой взгляд, чистый бред, на уровне Кольского полуострова с телевизором, — но очень изящный, сюда даже разбегание галактик укладывается, хотя Ступак о нем знать, разумеется, никак не мог (кристалл растет, всего-то и делов); но в то же время размер атомов, о которых Ступак тоже, видимо, не мог знать, наверняка должен был бы положить минимальный предел масштабам выращиваемой структуры, или я уж совсем ничего не понимаю. Если мы хотим получить Вселенную размером с апельсин, звезды в ней должны оказаться значительно меньше атомов, а это уж ни в какие ворота. Но Ступак подобными деталями не смущался, его завоорожил сам принцип. Он осаждал инстанции с ультимативным требованием: дать много денег на опыты. И при этом, как фонограф, который заело, одним коротким текстом излагал идею: Вселенная есть кристалл, а в силу закона изоморфизма кристаллов...

Я убил с неделю, теребя через ЕСИ петербургские архивы, — грустно и горько было отсюда, из Стокгольма, выкликать на дисплей информацию из города, где живешь, из университета, мимо которого ходишь домой после работы, и при этом не иметь ни возможности, ни права дать домой знать о себе, осведомиться, как дома дела, но из Петербурга я этого Ступака нипочем не нашел бы, — и пытался понять, какие доказательства своей концепции гений приводил или хотя бы как он объяснял, зачем ему Вселенная величиной с арбуз. Тщетно. Такой ерундой Ступак себя не утруждал. Вселенная есть кристалл. В силу закона изоморфизма кристаллов можно вырастить Вселенную величиной хоть с арбуз, хоть с купол Ивана Великого. Дайте много денег. Точка. Сомневаюсь, что

даже в наши сытые и доброжелательные времена Президент де-Сиянс Академии или, скажем, министр атомной энергетики, послушав ввалившегося к ним с таким бредом гонористого, язвительного, наглого юнца, отпустили бы средства под эту тему. Тем более при Николае-то Палыче! Во время Крымской-то катастрофы! Да великая империя ружья приличного себе сделать не могла — не то что Вселенные отрашивать! Ох, Россия... Ну а сила действия равна силе противодействия. Вместо того чтобы хоть попробовать чуток продумать аргументы, подобрать фактики поухватистее, как сделал бы на его месте любой нормальный Эйнштейн, хоть австрийский, хоть еврейский, хоть какой, вместо того чтобы замотивировать свой прожект ну любым, самым даже липовым на первый момент мотивом — скажем, хочу Вселенную в колбе новую вырастить, чтоб Отечество не тратилось, перекупая чай да кофей у заносчивых британцев, а прямо из колбы, стоящей на столе в родном Торжке, все сие извлекало невозбранно и неограниченно, — Ступак, как это в те поры модно было для простоты и удобства деления мира на белое и черное, надулся на косность самодержавия. Плюнул он на свои кристаллы и занялся противуправительственной деятельностью. И пошло, и поехало... И Россия-то у него сразу стала «выгребной ямой мировой цивилизации». И Александр, едва взойдя на престол, оказался «кровавым душителем народных чаяний, в первые же дни своей нечистой власти превзошедшим по ненависти и жестокости к собственному народу все долгое царствование своего незаконнорожденного(?) батюшки». И крестьянская реформа почему-то стала не чем иным, как «очередной грязной уловкой деспотизма, направленной на стравливание хлебобобов и горожан». И тут уж порулил мой Ступак в Европу...

По завершении Лапинской авантюры, бережно подлечившись на каком-то из курортов Южной Англии, он действительно вернулся к своей «пухленькой» Зинаиде Артемовне Христовой. Где они познакомились, где он ее в первый раз, как выразилась бы Стася, «обнял-поцеловал», я не смог выяснить, да не очень и старался, не это было важно. Я опять, как в Симбирске, вдруг почувствовал себя взявшей след гончей — хотя что это за след, никому не смог бы объяснить.

Пусть и обещал Ступак в том письме воротиться навсегда, но месяца через четыре, что-то такое похимичив — сохрани-

лись его счета, оплаченные, как ни странно, Зинульчиком, бывшей в услужении у какого-то хельсингборгского галантерейщика, и счета эти выдавали вдруг пробудившийся интерес к химическим опытам на дому, — вновь отчалил в Англию. Потолкавшись подле ведущих британских химиков, сунувшись в Королевское общество и, видимо, нигде не найдя того, что искал, — а я никак не мог понять, что он ищет, — он опять-таки, судя по всему, на деньги живущей впроголодь «пухленькой» еще раз пересек море и обнаружился в Германии, которая к тому времени уже выдвигалась в области химических изысканий на первое место в мире.

Где-то он, пожалуй, прирабатывал и сам все же — ну никак не могла Зинульчик финансировать пять месяцев его прыжков то в Берлин, то в Кенигсберг, то в Гамбург, то в Мюнхен; хотя в каждом из сохранившихся его писем к ней если не второй, то третьей фразой шло беззастенчивое, казавшееся ему самому, видимо, уже совершенно естественным требование денег. «Пышечка! — писал он, хотя от пышечки к тому времени кожа да кости остались, я видел, однажды она попала в кадр, запечатлевший вверенных ей упитанных, ухоженных, ангелоподобных детей процветающего галантерейщика. — Профессор Моммзен оказался чистой воды шарлатаном. Я ехал в Бремен совершенно напрасно. Нынче я опять в крайней нужде, и вся моя надежда на тебя, лапулька. Но мне удалось получить совершенно достоверное известие, что доктор Рашке в Мюнхене добился больших успехов в той области, которая нас с тобою так интересует...»

Чем бы этот Рашке ни занимался, его работы вряд ли могли в сложившейся ситуации так уж интересовать пышечку. Это я понял из следующего, последнего полученного ею письма — и, едва разобрав первые строчки, словно удар в солнечное сплетение схлопотал и минут десять не мог сосредоточиться, с безнадежной болью и отчаянием вспоминая Стасю, всем телом ощущая, как ей тяжело сейчас, и пытаюсь уже не избавиться хотя бы, но по крайней мере до конца рабочего дня отрешиться от давящего чувства того, что я этому идейному мерзавцу сродни. «Зинульчик! Ты прислала какие-то гроши и пишешь, что более не смогла. Пишешь, что и вперед уж не сможешь, потому как родила. Уж не знаю, мой ли то ребенок или не мой, не виделись мы с тобою, лапулька, давнень-

ко, так что всякое могло случиться, — да это и неважно. Я такой шаг с твоей стороны расцениваю как предательство. Служение великой идее не терпит мирской суеты. Непримируемая борьба за идеалы грядущего освобождения народов требует от меня всех сил. Допрежь ты всегда это понимала и, полагая мнением, не будешь держать на меня зла за то, что вперед я воздержусь от всяких с тобою сношений. Но порадуйся за меня: я нашел наконец то, что искал...»

Это письмо было приобретено архивом уже в архиве полиции. Заметив изменения в фигуре гувернантки, галантерейщик выпер лапульку с треском. Какими-то крохами сбережений она еще сумела дотянуть до родов, сумела родить, а оклемавшись едва, не придумала ничего лучше, как пойти на панель. Опыта у двадцативосьмилетней русской идеалистки не было по этой части никакого. По простоте она влезла на чужой пятачок, и ее зарезал сутенер державших эту территорию дам. Что стало с ребенком, выяснить не удалось.

Буквально раздавленный, я сидел, тупо глядя на ломкие мелкие странички, покрытые бледной вязью выцветших чернил, и, забыв всю арифметику, считал на пальцах: если в конце августа — пять, значит, в конце сентября — шесть... значит, девять месяцев — в конце декабря. К началу декабря я должен все закончить. Сдохнуть, но закончить. И вернуться. Пусть поссорились, пусть видеть не хочет, пусть ненавидит уже, пусть у нее кто-нибудь другой и всегда был кто-нибудь другой — надо находиться поближе. На всякий случай. Вдруг понадобится помощь.

4

Рашке.

Рашке, Рашке, Рашке...

Вновь, в который уже раз, я на какое-то время сменил ветхие бумаги на терминал. Я так и не мог до сих пор уразуметь, что ищет Ступак, но, когда ответ высветился у меня на дисплее, я даже не удивился, подумал только с хищным удовлетворением: ага. Похоже, подсознательно я этого ждал.

Отто Дитрих Рашке, молодой, из ряда вон талантиливый химик-органик, в конце пятидесятых был восходящей звездой, ему прочили блестящую будущность. Однако года с шестьдесят второго его активность сходит на нет. Он не публи-

куется, не участвует в ученых съездах и собраниях, не поддерживает и подчас даже резко рвет все контакты с коллегами. Коллеги злословят и ехидно подмигивают друг другу: тема Рашке, которая выглядела очень заманчивой, видно, оказалась блефом. Ему стыдно смотреть нам в глаза! А Рашке безвыездно живет в дешевенькой мюнхенской гостиничке, с национальной пунктуальностью прогуливается в любую погоду с десяти до одиннадцати утра и с пяти до семи вечера по живописным набережным Изара — ясные глаза, юная мечтательная улыбка — и все чаще наезжает, оставаясь там погостить на день, на два, а потом и на неделю, на две, в имение Альвиц, принадлежащее его меценату Клаусу Хаусхофферу. Во время одной из вечерних прогулок, в апреле семидесятого года, он погибает при не вполне ясных — а попросту говоря, вполне неясных — обстоятельствах, не исключаящих чьего-то злого умысла.

Семидесятого.

У покровителя наук Хаусхоффера на лице с детства не было мечтательной улыбки. Возможно, она и в детстве туда не забредала. Этот отпрыск благородного древнего рода, влиятельный магнат, жесткий прагматик, один из лидеров военной партии при дворе баварских Виттельсбахов. После того как в шестьдесят шестом году Бавария выступила на стороне Австрии в ее безнадежном конфликте с Пруссией и вместе с нею потерпела поражение, Хаусхоффер утратил было позиции и даже впал в немилость, но через полгода он уже обнаруживается в Берлине, доверительно беседует с Бисмарком и стремительно трансформируется в горячего поборника германского объединения. С тех пор, поскольку росло влияние Гогенцоллернов в Баварии, постольку росло и влияние Хаусхоффера.

Если бы Рашке оставил больше печатных работ, если бы заявил официально о каком-то своем состоявшемся открытии, он бы, вероятно, вошел в историю науки как один из начинателей биохимии. С молодых ногтей его интересовало влияние органических реагентов различного свойства на состояние человеческой психики.

Ага.

Впору было дрожать от нетерпения, впору было замереть с поднятой передней лапой, как Тимотеус под сиренью в день

моего отплытия. Но броска не получилось. От Рашке почти не осталось следа — только замыслы, только наметки...

Но...

Вот что он пишет моему Ступаку — видимо, в ответ на какое-то письмо, которое либо не сохранилось, либо не нашлось: «Действительно, не так давно я занимался выделением токсинов мухомора, обеспечивающих, по всей видимости, известное нам с древности явление берсеркеризма. Мне казалось очень заманчивым создать препарат, который на какое-то время, а быть может, и навсегда притуплял бы у человека чувство страха. Как облегчил бы он, например, труды пожарных, или спасателей на водах, или бьющихся за правое дело воинов. Однако по не зависящим от меня обстоятельствам работу мне пришлось прервать и покинуть Геттинген...» По тону письма чувствуется, что молодого химика буквально распирает от гордости за свой ум и свои достижения, но чья-то сильная рука зажимает ему рот.

Вот что он пишет дальше: «Идея угнетения сдерживающих стимулов в человеческой душе и, так сказать, медикаментозного усиления героического начала натуры человека тоже, в принципе, не представляет собою ничего невозможного. По-видимому, древним народам такие естественные медикаменты были известны. Уже сейчас можно было бы очертить круг встречающихся в природе предметов, среди которых следовало бы попытаться отыскать подобный препарат. Главная трудность заключалась бы в том, как выделить его, как сделать устойчивым, как добиться усиления его воздействия, с тем чтобы совладать с искусственно вызываемым им изменением системы ценностей не могла бы ни единая душа, пусть бы даже была б то душа, подобная ангелу Божию...»

Ага. Так вот как собрался Ступак вдунуть «в спящих людей благородный огонь неприятия».

А идея, согласно которой революция давно бы произошла, если бы люди не были так привязаны к своим бытовым радостям, к женкам-буренкам, и не боялись кинуть в пламя все это, а потом и самих себя, гвоздем застряла у Ступака в голове. Вот что он пишет Бакунину, другу еще по балтийскому вояжу: «Михаил Александрович, голубчик! Вот вы говорите, что организовали «Интернациональное братство», тайную боевую организацию анархистов, и радуетесь,

ровно дитя малое, надеясь, что послужит оно спичкою, коей суждено поджечь старый мир. Не послужит, не подожжет. Покуда люди у нас вялы и благодущны, покуда не способен всякий мужчина и всякая женщина, не памятуя ни о чем, опричь нанесенных им обид, отринуть в единое мгновение то, чем живо простающее сердце, и на самомалейшую потугу любого деспотизма угнать их отвечать сокрушительной местию, дело революции безнадежно. Не помогут братства, не помогут речи. Поможет, голубчик мой, великая наука, коя наконец-то начнет служить истинному делу...

Это он пишет летом шестьдесят четвертого уже из Мюнхена, уже повидавшись с Рашке. А вскоре их водой не разлить, они иногда даже гуляют вместе, и молодой химик ради нового, по-русски безалаберного друга даже как-то раз начинает прогулку не в десять, а аж в три четверти одиннадцатого, ибо друг проспал и не заехал за ним вовремя. Этот потрясающий факт отметила в своем дневнике юная Грета Бюхнер, жившая напротив гостиницы Рашке и наблюдавшая его ежедневные выходы, сидя у своего окошка.

А в сентябре шестьдесят четвертого Рашке берет Ступака с собой в Альпиц.

А годом позже Хаусхоффер, агитируя правительство Баварии за активную силовую политику и, в частности, за участие в неминуемом, по его мнению, столкновении Австрии и Пруссии, делает в кабинете министров, в присутствии короля, многозначительную оговорку: «Да, это будет еще старая война. Но ведь это не последняя война. И даю вам слово, в новых войнах у нас будут новые солдаты. Солдаты врага станут нашими солдатами».

А Рашке сидит в Альпице почти безвылазно. А в Альпиц со всей Германии прибывают какие-то странные грузы: тяжелые металлоконструкции, мощные помпы, паросиловые установки и динамомашины, бесчисленные химикаты...

А Ступак то неделями не вылезает из Альпица, то вырывается вдруг и, явно не ведая бывшего недостатка в средствах, колесит по коммунистическим адресам Европы. Пытается договориться с Энгельсом, но терпит неудачу; в его бумагах обнаруживается отрывок черновика письма неизвестно кому: «Фридрих туп и пассивен. Человек, собирающийся писать «Диалектику природы», ничего в природе не смыслит. Чело-

век, призывающий к насильственному ниспровержению реакционного строя, ничего не смыслит в насилии. С «Интернационалкой» нам не по дороге.

Зато, когда в семидесятом году в Европе появляется Нечаев, они встречаются и мгновенно становятся лучшими друзьями. Нечаев неделями позже пишет Бакунину: «Петенька меня просто очаровал. Какая воля, какой ум, какой размах! Он рассказал мне много такого, что я принял бы за прекрасную сказку, если бы он не привел доказательств. Скоро, скоро по всему миру нежданно-негаданно для врагов наших то тут, то там, ровно грибочки после дождя, начнут прорастать бесстрашные, неумолимые, беспощадные и не сдерживаемые никаким Христом воители! Петенька обещал мне большую статью для «Народной расправы», где, ничего, разумеется, определенно не говоря, постарается вдохновить этой перспективу слабеющие ряды нашего воинства». Вот этого-то, похоже, Петеньке не следовало обещать. Когда писалось это письмо, Петенька уже исчез бесследно по дороге из Лозанны в Мюнхен.

В семидесятом.

И в том же семидесятом, на торжественном праздновании дня рождения сына и наследника, Карла Хаусхоффера, счастливый отец на глазах у двух десятков ничего не понимающих гостей вложил в ладошки годовалого малышатика, спокойно таравившего глазенки на праздничный стол, благосклонно гукавшего и пускавшего пузырьки на радость роившимся вокруг него дамам, нелепый, ни на какую игрушку-то не похожий железный ящичек. И малышатик сжал его пухлыми ангельскими пальчиками и потащил в рот, но ящичек не пролезал, пришлось ограничиться угрызением углов. С бокалом шампанского стоя над отпрыском, гордый и сияющий магнат, так ничего и не пояснив гостям ни тогда, ни впоследствии, заявил: «Сын мой! Ты младенец, и ты неоспоримый властелин этого сундучка. Ты подрастешь и станешь неоспоримым властелином сундучка побольше и посложнее. А когда ты станешь совсем взрослым, ты, я верю, будешь неоспоримым властелином всего мира. Пью за это!»

И, что называется, немедленно выпил.

Сундучок.

Деньги? Сокровища? Если бы он сказал «побольше и поценнее», я бы так и понял. Слово «поценнее» здесь просто на-

прашивалось. Но в письме одной из присутствовавших на церемонии дам, отправленном ею в Вену сестре, было написано именно «посложнее». Так не перепутаешь и не придумаешь. Даму это выражение, судя по письму, удивило не меньше, чем меня.

Клаус Хаусхоффер прожил еще почти двадцать лет, и все это время не покидал Альвиц ни на день. Гости, бывавшие у него в поместье — с годами их становилось все меньше и меньше, — в один голос утверждали, что у пожилого политика усталый, издерганный вид и он как бы все время ждет чего-то.

5

Мы сидели на скамье летней эстрады Рыцарского острова, и ночное озеро Меларен играло каучуковыми отражениями огней. По ту сторону темной блестящей глади, на самом берегу Кунгсхольмена, темной тяжелой тенью громоздился бастион ратуши, вытянувшей к небу мощный стебель главной башни. Казалось, мимо вот-вот должен, потешно тарахтя, проковылять «Соларис Рекс». Казалось, я пока незнаком со Стасей и сидящий рядом еще только должен меня познакомить с нею через целых тринадцать лет; и даже с Лизой мы только-только начали обниматься-целоваться, и все чудесное еще предстоит. Казалось, разговор должен идти о российской словесности, о том, что она неизмеримо духовнее любой иной, поэтому европейский рынок и принимает ее через час по чайной ложке. «Ты посмотри, — должен был говорить молодой и глупый я, — они даже не знают, что такое, например, любовь. Есть секс и есть брак. В первом главное — размеры гениталий, объем бюста, техничность исполнения и все такое. Во втором главное — урегулирование имущественных отношений, особенно на случай смерти или развода. И так постоянно! Вы пишете о неизвестных им вещах!»

— Все уже решено, — устало говорил я на самом деле, и говорил уже не в первый раз. — Билет у меня в кармане, утром я вылетаю в Мюнхен. Не нужно мне подстраховки, не нужно прикрытия. Я прошу вас лишь передать эти материалы Ламздорфу.

— Риск неоправданный, Алексей Никодимович, — в ко-

торый раз, и тоже устало, возражал атташе. — Без всякой подготовки и проработки — в пекло...

— То, что Альвиц — пекло, никто мне не доказал. Риск будет куда большим, если мы без согласования с германским правительством затеем какую-то серьезную операцию на германской земле. Это варварство, и я этого не допущу. А начини согласовывать — сколько времени уйдет! Даже если мне удастся уговорить государя по-родственному снестись с кайзером — все равно не менее недели потеряем. Это в идеальном варианте. Много может случиться за это время — от утечки информации до новых убийств. К тому же при совместных действиях придется со всем этим, — я поболтал в воздухе дискетой, — знакомить германских коллег. А пока я не знаю, насколько Альвиц может скомпрометировать учение, которое распространяет моя газета, — на такое ознакомление я не могу пойти. Нет, все решено.

— И с какой легендой вы намерены...

— Без всякой легенды. Туповатый, но въедливый журналист героем одного из исторических очерков выбрал анархиста Ступака. Выяснилось, что в последние годы жизни Ступак много бывал в Альвице. Не осталось ли у вас писем, воспоминаний, фотографий?..

— Да за один вопрос о Ступаке, ежели Хаусхоффер его действительно убрал, вас там...

— Не каркайте. Как сказала бы сейчас одна моя знакомая, вы создаете устойчивую вибрацию между нынешним словом и грядущим событием и таким образом резко увеличиваете вероятность нежелательного исхода. Надо говорить: все будет хорошо, все будет хорошо — и тогда все будет хорошо. — Я помолчал. — А на случай, если все-таки будет нехорошо, я, собственно, и прошу вас передать всю собранную мной информацию в центр.

— Извините, Алексей Никодимович, но... если вы все-таки не вернетесь?

— Если я не вернусь, думать о том, что делать с Альвицем, уже не мне. — Помолчал. — Вернусь. Вы не представляете, сколько у меня еще долгов по отношению к двум очень хорошим взрослым и двум совершенно замечательным маленьким людям!

В слабом свете далеких городских огней я увидел, как атташе неуверенно улыбнулся мне в ответ.

Со стороны устья Барнус-викен, там, где она впадает в Меларен, донеслось приближающееся, натужно покряхтывающее тарыхтение. Я оглянулся. Между нами и ратушей, мерцающая тусклыми огнями, медленно смещался кургузый катерок. Я присмотрелся — и глазам не поверил. Демонстративно не скрывая ни радости, ни национальности, по-мальчишески подпрыгнул и заорал на пол-острова:

— Все будет хорошо!

Это плыл «Соларис Рекс».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

АЛЬВИЦ

1

У развилки, там, где автострада Мюнхен — аэропорт отстреливает короткий аппендикс к загородной резиденции Виттельсбахов, я почувствовал «хвост». Поглядывая в зеркальце заднего вида, я мягко притормозил свою взятую в порту напрокат «бээмвэшку» — местные патриоты вот уже третий год покупали исключительно продукцию «Баварских машиностроительных» и приезжим сдавали исключительно ее же; шедший за мною «Опель» приблизился было, затем тоже стал сбрасывать скорость. Я съехал на обочину и, чуть накренившись, заскрипев правыми протекторами по песку, остановился. Вышел из авто, шевеля плечами и локтями, будто разминаясь после долгого сидения за рулем, и встал столбом в трех шагах от «БМВ», с блаженно туристическим видом любясь пожухлым ноябрьским ландшафтом Баварского плоскогорья, окаймленным с юга дальними отрогами Альп, накрытым холодной синевой небес и слепящими, расплывчато-волокнистыми полусами перистых облаков. «Опель» нерешительно проташился мимо; в нем сидели двое, и в мою сторону они с очевидной старательностью даже не взглянули, хотя что может быть естественнее — скользнуть безразлично-любопытным взглядом по ехавшему впереди и вдруг очутившемуся сзади. Ребята, похоже, были дюжие. Началось. Они остановились впереди, не удалившись и на сотню метров. Ну, и дальше

что? Мимо с коротким шипением то и дело пронеслись взад-вперед разноцветные автомобили; преобладали, разумеется, «БМВ». Странно, что мои пастухи не взяли эту марку.

Сознательно ставя их в неловкое положение, я нахально сел прямо на сухую траву у обочины и, не торопясь, с удовольствием закурил, продолжая медленно водить взглядом вправо-влево. Действительно, было красиво, что и говорить. Передние дверцы «Опеля», как крылья бабочки, открылись одновременно, и пастухи, о чем-то беседуя, вышли на свет божий. За рулем — тот вообще громада. У меня как-то сразу заныл раненный в Симбирске бок. Давненько не давал о себе знать. Осень, что ли, чувствует или перемену погоды, пошутит я сам с собой, досадливо прикидывая габариты и возможности шофера. А пассажир — явный интеллектuala, «генератор идей». Одет строго, даже немного чопорно, черепаховые очки. Уроженец Кенигсберга, не иначе. Или какое-нибудь поместье неподалеку. Шофер несколько раз ударил носком ботинка по левому заднему протектору, указывая на него обеими руками и что-то втолковывая пассажиру; пассажир с неудовольствием кивал. Бедняжки. Какие-то у них, видите ли, неполадки. Ваньку валяют. Или у меня уже мания преследования? Такой поводок достоверно расшифровывается в тридцать секунд. Ладно, поиграем. Я докурил, кинул окуроч в кювет, вернулся в авто и покатил дальше. Со свистом пронесся мимо них — шофер, полезший было, пока я докуривал, в багажник, тут же его захлопнул, не глядя на меня с прежней старательностью, а интеллектuala безразлично взглянул. Праздники, находящиеся в хорошем настроении люди нередко склонны беззлобно поерничать над ближними своими, у которых имеют место маленькие, не представляющие никакой опасности, но досадные неприятности — это я и изобразил: с веселой улыбкой помахал интеллектuala рукой и громко крикнул по-русски в полуоткрытое окно: «Не горюйте, ребята!» Вздернул скорость до ста семидесяти. «Опель», подрагивая, быстро съезжился в зеркальце. Все-таки мания преследования.

Нет. Пропустили расфуфыренный «Ниссан», поставив его перед собой, и тоже двинулись. Детские штучки. Даже не очень скрываются. Так, разыгрывают элементарную маскировку для порядка, чтобы не выглядеть совсем уж по-дурачки или даже чтобы я вернее их заметил. И чего они хотят? На

нервы жмут? Дураки вы, ребята. После сменного дежурства жен нервов у меня нет вообще.

Ладно, играем дальше.

Въехал в Швабинг. Улицы были полны авто, отслеживать поводок стало труднее, но нет-нет да и мелькала позади пока-тая зеленая спинка, уже знакомая до тошноты. Принял восточнее и шустро перескочил в Богенхаузен. И мой сурок со мною. Остановился на округлой площади перед собором Фрауэнкирхе — великолепный образчик, что и говорить, просто-таки поет всеми линиями; но, сказать по совести, мне было не до того. Вовремя вспомнил, что я корреспондент, и, цапнув с заднего сиденья «Канон», вылез из авто. Дружок — милый пастушок тормознул на той стороне площади. Ну, ребята, такая ваша планида — терпеть. Минут двадцать я суе-тился вокруг собора, прикладываясь к видеоискателю и сокру-шенно поматывая головой — нет, дескать, ракурс не тот; нет, режется... Щелкнул раза четыре и так, и этак. Зеленая спинка покорно и безмолвно, как восточная женщина, тосковала в жидкой, дырявой тени под почти облетевшими вязами.

Я увлекся — хоть какая-то польза от этой игры. Нырнул в «БМВ» и медленно покотил к Изару, выпрыгивая, едва лишь в глаза бросалось что-либо живописное, — и ну вертеть фото-аппаратом, припадать на колено, щелкать... Чувствуя на за-тылке тяжелые, ни на миг не отлипающие присоски взглядов. И еще успевал развлекать себя — да и, что греха таить, успо-каивать, это наглое и неприкрытое преследование все ж таки давило на отсутствующие у меня нервы, — рисуя сладкую гре-зу: сижу это я в затемненной гостиной со Стаськиным корое-дом на колене, сестренки двумя уютными хохлатками устрои-лись на диванчике, Полушка, как она это любит, сама встав-ляет в проектор слайды, а я приговариваю, слегка покачивая теплого малышатики ногой: «Ну-ка, Поленька, теперь эту... Вот, лапульки мои, Фрауэнкирхе, пятнадцатый век, елы-па-лы, готика. Вот, пышечки, Театинская церковь, семнадцатый век. Вот Глиптотека, это классицизм. Вот отель «Оттон», на-зван так в честь императора Оттона Виттельсбаха, тут я жил... Что, интересно? Интересный я у вас мужикашка?»

Действительно, интересно — которая первая заедет мне по рылу?

Надеюсь, что хоть не Поля.

Я припарковался на полупустой стоянке у «Оттона», в ко-

тором еще с аэродрома заказал номер. Отель стоял в велико-
лепном месте, на самом берегу Изара, у излучины, и я опять
щелкнул пару кадров. Летом «Оттон», вероятно, утонул в зе-
лени, но сейчас листья на дубах были даже не золотыми, а по-
ноябрьски мертвенно-коричневыми и от порывов ветра скреб-
лись друг о друга как жестяные. Багаж мой, вероятно, уже в
номере — если только его не исследуют где-нибудь; все может
быть, ежели так началось. Вон они, мои лапульки, куда ж я
без них — остановились в пятнадцати шагах от меня, у газет-
ного автомата; газеточку им приспичило купить, моим пух-
леньким...

Я опять пошевелил плечами, разминаясь, и огляделся. За-
бавно. Почти на этом месте сто тридцать лет назад горбился
отелишко, где прожил последний десяток лет своей короткой
жизни бедняга Рашке. А, собственно, почему бедняга? Ток-
син мухомора, видите ли, ему подавай. Заглушить чувство стра-
ха у сражающихся за правое дело воинов... Полагаю, тот воин,
который уконтрапупил химика по затылку, взял за штаны и
перекинул через парапет набережной в ледяной Изар, был аб-
солютно убежден в правоте своего дела.

И все ж таки — не Лапинский, не Ткачев, не император
Николай Павлович. Бедняга, одно слово.

И дома, где жила и писала свой дневник, так мне помог-
ший, Грета Бюхнер, тоже нет в помине. Снесли давно. Под
сквер перед «Оттоном». И дубы вон как уже выросли.

Я пошел к отелю, почти машинально бросив очередной
взгляд на пастухов, и едва не сбился с шага, и деланный зевок,
который я начал было изображать для вящей конспирации,
прямо-таки защелкнулся у меня сам собой.

Интеллектуал сосредоточенно вынимал из газетного авто-
мата «Правду». И на его уставленной в мою сторону прямой
спине буквально неоновая реклама полыхала: «Видишь? Тут
издания со всей Европы, прорва названий, но я покупаю
«Правду»!» Дальше — больше. Он тут же развернул газету и,
как бы увлеченный чтением донельзя, ничего окрест не заме-
чая, медленно двинулся в мою сторону. Зрелище было просто
гротескное: широкие, как паруса, родные листы с за версту
узнаваемым шрифтом названия обзавелись вдруг тощими
прусскими ногами и шли на меня. Интеллектуал едва не кос-
нулся моего плеча бумажным краем — я оторопело посторо-
нился; а он, так и продолжая заворуженно глядеть на вторую

полосу, куда-то между статейными заголовками «Гримасы рынка» и «Гидропонике на Таймыре — быть!», медленно, напряженно прошел мимо и удалился в одну из аллей сквера. Он явно давал мне какой-то знак — но какой? Что я дешифрован? Но зачем? Или это очередной этап психологического прессинга? Как бы следя в туристической расслабленности за полетом сороки, я провел взглядом влево, к округлой спинке «Опеля», — громила, скрестив руки на баранке и уложив на них голову ко мне затылком, показательно дремал. Я решился.

Интеллектуал, упорно продолжая делать вид, что от таймырской гидропоники зависит вся его будущность, успел уйти шагов на семьдесят вперед и почти миновал сквер на пути к проезжей аллее по ту сторону окружавшей «Оттон» зеленой зоны. В сквере было безлюдно; перистые облака, которые я с таким удовольствием созерцал двумя часами раньше, превратились в сплошную комковатую массу, забившую небосвод, — от этого стало сумеречно и как-то зябко... Ах, боже ж ты мой, да не от облаков тебе зябко, сказал я себе, и эта догадка меня взбодрила. Я пошел за интеллектуалом. А когда он, не доходя десятка шагов до Тирпиц-аллеи, остановился, опустил газету и обернулся, глядя сквозь черепаховые очки прямо на меня, я огладил себя ладонями — невиннейший жест, я как бы проверяю, не помялся ли костюм, нет ли где неожиданных складок, но профессиональный глаз сразу поймет, что я демонстрирую отсутствие оружия и в карманах, и под мышками, и где угодно. Он, явно спеша, сложил «Правду» — почти скомкал, чтобы успеть, пока я иду, — и повторил мое движение. С души у меня чуть отлегло. А то я уж готов был к чему угодно — хоть в кусты нырять, хоть маятник качать на мирной дорожке, заваленной сухой листвой... С другой стороны, что ему, он на своей земле, и он не один — шарахнут сейчас в спину или из тех же кустов выскочат и брызнут в рыло гадостью или вообще... вдунут как-нибудь благородный огонь неприятия простацких радостей и презрение к женкам-буренкам...

Наверное, поразительное чувство свободы и независимости должен испытывать человек, для которого все это действительно ничего не значит по сравнению с собственной персоной и тщательно взлелеянной манией непримиримой борьбы за какой-нибудь живорезный идеал. Похоже, именно такое состояние свободы в старину именовали мужественностью. Не представить...

И как, наверное, муторно и тоскливо становится этому свободному, живущему лишь собой да борьбой, ежели хоть один день у него пройдет без того, чтобы не четвертовать, не изнасиловать, не предать кого-нибудь нормального во имя идеала... Ведь эти четвертования и предательства — единственное, чем утверждает он себя в мире. Иного следа нет.

Я подошел к интеллектуалу вплотную и остановился. Отчетливо спросил по-русски:

— Вы, похоже, хотите мне что-то сказать?

Он кивнул.

— Да, — тоже по-русски ответил он. — Я рад, что вы так быстро и так правильно меня поняли.

Языком он владел прекрасно. Акцент не сильнее, чем, скажем, у Крууса.

— Слушаю вас, — проговорил я.

Он помедлил.

— Я имею честь говорить с корреспондентом газеты «Правда» Алексеем Никодимовичем Чернышовым?

— Истинно так.

Он снова помедлил.

— А может быть, с полковником Александром Львовичем Трубецким?

— Может быть, — равнодушно ответил я, а у самого буквально сердце упало. Где ж это я так прокололся?

Он протянул руку и утешительно тронул меня за локоть. И вдруг улыбнулся мне. На костистом узком лице, почти наполовину спрятанном под очками, улыбка оказалась неожиданно мягкой и светлой.

— Не расстраивайтесь, полковник. Вы не допускали профессиональных ошибок. В том, что мы расшифровали вас, нет ни грана вашей вины. — Он вздохнул. — Вы никак не могли знать, как не могли этого знать и те, кто вас послал, что вилла Альвиц давно вызывает у нас пристальный интерес и мюнхенский узел ЕСИ много лет назад оборудован небольшой автоматической приставкой.

Он опять вздохнул, и в этом вздохе явно скользило облегчение. Похоже, подзывая и поджидая меня, он тоже пере нервничал и теперь помаленьку распускался. Видимо, рад, что все кончилось без недоразумений.

— Как только откуда бы то ни было поступает запрос, в котором фигурируют «Альвиц» или «Хаусхоффер», на соот-

ветствующий терминал в Берлине сразу уходит информация о том, какой запрос поступил, откуда, что передано в ответ. Первый сигнал мы получили более месяца назад. Пяти недель было достаточно, чтобы разобраться, кто такой этот Чернышов, столь интересующийся Альвицем. Тем более что характер ваших запросов не оставлял практически никаких сомнений в том, в связи с каким расследованием они поступают. Интересоваться сектами коммунистов-ассасинов мог, скорее всего, человек, занимающийся каким-то актом террора в сфере современного коммунизма.

Ловко, черт. Действительно, предположить, что у них тут зуб на Хаусхоффера нынешнего, было невозможно.

А у кого, собственно, у них?

— Коль скоро вы хотели только побеседовать, зачем была эта слежка? — осторожно спросил я. — Я вам нервы мотал, вы — мне...

Он чуть поджал губы. Потом ответил:

— Да, видимо, я виноват перед вами. Но я просто не нашел другого способа дать вам понять, что я знаю, кто вы, и хочу встретиться с вами, но на встрече отнюдь не настаиваю. Сочти вы для себя более целесообразным уклониться от этого разговора — я не стал бы его навязывать. Клянусь честью, у нас нет никакого желания вмешиваться в вашу работу или тем более препятствовать ей. Если мои действия оказались вам бестактными, душевно прошу простить.

Он чуть склонил голову, потом снова поднял. Почти без колебаний я протянул ему руку.

Потом он показал мне удостоверение с имперским орлом на корочке и уже не так напряженно проговорил:

— Я сотрудник четвертого отдела Управления имперской безопасности Хайнрих фон Крейвиц. По чину равен вам. По титулу несколько ниже — барон.

— Восточная Пруссия? — спросил я.

— Заметно? — ответил он вопросом на вопрос, и в его голосе прозвучала спокойная гордость. — Да, вы угадали. Так... Может быть, выпьем по кружке пива? Здесь совсем рядом...

— Простите, барон, но я так долго не высипался в Стокгольме и совсем сник в дороге. Боюсь, мне сейчас даже пиво противопоказано. Не считите, бога ради, мой отказ за демонстративный.

— В таком случае это я еще раз прошу у вас прощения,

князь. Та неприличная поспешность, с которой я спровоцировал нашу встречу, объясняется лишь опасением, что вы уже сегодня попытаетесь посетить Альвиц, а я никак не хотел упустить возможность побеседовать с вами предварительно. Против прогулки по парку вы не возражаете?

— Никоим образом.

— Я отниму у вас не более получаса.

— Я к вашим услугам, барон.

Мы медленно пошли по одной из боковых дорожек.

— Вы, безусловно, больше меня знаете о том, что происходило и происходит в Альвице, — начал барон.

Я прервал его:

— Даю вам слово коммуниста... слово дворянина, если вам угодно, — я ничего об этом не знаю!

Он чуть пожевал узкими губами. Внезапный порыв ветра с его стороны вдруг донес до меня тонкий запах хорошего одеколона.

— Воля ваша, но тогда я сформулирую так: вы догадываетесь о большем. В моем распоряжении лишь та информация, которую вы получили по ЕСИ, но в вашем — и та, которую вы получили в архиве Социнтерна, и та, которая, неведомо каким образом, вообще повела ваше расследование путем исторических изысканий. Я ведь совершенно не представляю, что за странные мотивы вас к этому подвигли. И не спрашиваю вас ни о чем. Когда и чем поделиться со мной, и поделиться ли вообще — зависит только от вас.

— Боюсь, я не смогу этого решить, пока не доведу расследование до конца.

— Я был уверен, что вы ответите именно так. Для нас, однако, представляется бесспорным, что на вилле Альвиц сто тридцать лет назад было совершено некое открытие. Для нас представляется почти бесспорным, что оно было воплощено в жизнь. В свое время я тщательнейшим образом анализировал все счета Клауса Хаусхоффера, все заказы, размещенные им на различных заводах тогдашней Германии, но ни к какому выводу не пришел. То ли он строил какой-то герметичный бункер, скорее всего подземный. То ли он строил лабораторию, где смог бы синтезировать боевые отравляющие вещества, — уже в этом случае он значительно обогнал свое время, хотя, видит бог, далеко не в том деле, каким я мог бы восхищаться. То ли... но не буду утомлять вас, эти предположения

гроша ломаного не стоят, как говорят в вашей стране. Так или иначе, некий чрезвычайно существенный результат был достигнут, ибо, если бы он достигнут не был, Хаусхоффер не избавился бы от своих ученых... Вы ведь тоже убеждены, князь, что и Рашке, и Ступак были ликвидированы по распоряжению Хаусхоффера, когда они дали ему все, что могли?

— Да, — признался я, — убежден.

— Роль Ступака между тем для меня совершенно не ясна, — сказал фон Крейвиц. — Рашке, судя по всему, уже с конца пятидесятых пользовался благосклонностью Хаусхоффера, целиком зависел от его финансовой поддержки и работал на него.

— А между тем именно Ступак был вдохновителем того проекта, который оказался настолько серьезен по своим результатам, что вынудил Хаусхоффера убить ученых. Простите, барон, но мне несимпатичны эти эвфемизмы: «избавиться», «ликвидировать»... Убийца — убивает, и все.

— Вы правы.

— Хронология событий выглядит так. Вначале Хаусхоффер находит Рашке, берет его под свое крыло и изолирует от научного мира. Что дает Рашке Хаусхофферу? Пытается, похоже, синтезировать препарат, который лишил бы человека страха.

— Да-да, именно эта тема и привлекла внимание Хаусхоффера к Рашке.

— И она же привлекла к нему Ступака. Ступак, обуреваемый маниакальной идеей вызвать революцию путем повышения агрессивности у человека...

— Ах, вот как? — не удержался фон Крейвиц.

— Вы не знали этого?

Он коротко улыбнулся:

— Откуда? Будьте осторожны, князь. Если вы не хотите мне рассказывать чего-то, лучше не рассказывайте ничего. Я очень мало знаю.

— Вздор, барон, вздор. Мы коллеги. И, как я понимаю, опасаемся одного и того же. Ступак рассчитывал на то, что Рашке снабдит его необходимым препаратом. Но у Ступака был какой-то свой план, химия Рашке входила в него лишь как составная часть. Ведь именно встреча Ступака с Рашке высекла искру! Именно после того, как они оба стали бывать у Хаусхоффера, в Альвиц пошли заказы, о которых вы говорили!

— Да, пожалуй, что так, — задумчиво согласился фон Крейвиц.

— И именно после убийства обоих ученых Хаусхоффер с полной серьезностью начинает говорить о власти над миром.

— Ах, вас тоже насторожила эта фраза?

— Еще бы!

— Что это за сундучок, по-вашему, барон?

— Не имею ни малейшего понятия.

Мы помолчали. Ветер усиливался; листья скреблись на деревьях и с крысиным шуршанием ползали по земле.

— Одним словом, — вернулся к прерванной линии разговора барон, — хотя у Хаусхоффера, по всей видимости, что-то не получилось или получилось не так, как он рассчитывал, мы опасаемся, что созданное Рашке и Ступаком, чем бы оно ни было, представляет собой угрозу для современного мира.

— Собранные мною факты, — ответил я, — хотя я и не могу, к сожалению, сказать, какого они характера, подтверждают ваши опасения.

— Вот оно что, — чуть помедлив, проговорил фон Крейвиц. — Тем более. В таком случае мы действительно делаем одно и то же дело, князь. Но, при всех этих абстрактных — во всяком случае, при моем объеме сведений — опасениях мы не имеем никакого предлога, чтобы тщательно обыскать Альвиц или допросить живущего там безвыездно Альберта Хаусхоффера, который, безусловно, является больным... во всяком случае, очень странным человеком.

— Это правнук?

— Представьте — внук... Пару лет назад мы в полном отчаянии дошли до такой низости, как тайная засылка на виллу наших людей под видом электромонтеров, менявших в усадьбе проводку.

— Ничего?

— Ничего. Усадьба как усадьба. Ветшает.

— Подземный бункер?

— Никаких следов. Это не значит, конечно, что его там нет. Значит лишь, что не нашли никаких его следов. У агентов было очень мало времени... Но порой мне кажется, что я, много лет занимающийся этой проблемой, просто маньяк. Параноик.

— Я не могу нынче же рассеять эти ваши сомнения, ба-

рон, но, повторяю, материал, который нами собран, ваши давние опасения скорее подтверждает, нежели опровергает.

— Благодарю. Так вот... Я шел на встречу с вами с одним предложением, теперь у меня их два. Начну с первого. Как я понимаю, у вас есть необходимый предлог, чтобы проникнуть в Альвиц?

— Не лучший, но за неимением гербовой пишут на простой.

— Простите... А, это поговорка. Понял. При благоприятном течении событий вы, будем надеяться, выйдете из ворот Альвица гораздо более информированным, чем вошли туда.

— Хочется верить.

— Смею ли я просить вас о любезности ознакомить меня с тем, что вам удастся узнать?

— Барон, я прекрасно понимаю ваши чувства. Но сейчас я не могу сказать вам ни да, ни нет. Все будет зависеть от того, что именно я там узнаю.

Фон Крейвиц, глядя себе под ноги, тихонько посвистел сквозь зубы. Поддал ногой какую-то веточку.

— Кажется, я сообразил. В Альвиц вас привело расследование одного убийства и одного покушения на убийство. И то, и другое выглядят как политические акции. Пришли вы сюда через биографию члена раннекоммунистической секты ассинов. Сами вы коммунист. Вы опасаетесь, что полученная в Альвице информация нанесет удар по вашей религии.

— Не только опасюсь — я сильнейшим образом переживаю такую возможность.

— Что ж. Это свято... Тут нечего сказать. Кроме того, что, если по возвращении вы сочтете возможным поделиться с имперской безопасностью полученными сведениями или хотя бы какой-то частью их, мы будем вам крайне признательны.

— Я даю слово учитывать интересы имперской безопасности по мере сил, барон.

— Благодарю. Теперь второе. Признаюсь, пока я не познакомился с вами, князь, этот вариант мне даже в голову не приходило рассматривать, он меня не волновал. Предположим, вы не выйдете из ворот Альвица.

Ему я не мог сказать: «Не каркайте, не создавайте устойчивую вибрацию...» Я лишь кивнул:

— Предположим.

— Какие инструкции даны вашим людям на этот случай?

— У меня нет здесь никаких людей.

Что-то дрогнуло в лице фон Крейвица.

— Вы идете... без подстраховки? — осторожно спросил он.

— Журналист Чернышов как частное лицо в поисках материала для своих очерков вполне мог посетить Альвиц на свой страх и риск. — Я пожал плечами. — Предпринимать что-то более масштабное без тщательной дипломатической подготовки было бы в высшей степени неэтично по отношению к Германии и германской короне. Через своего атташе в Стокгольме я это категорически запретил. Официальное согласование заняло бы слишком много времени, тогда как каждый день, возможно, чреват новым преступлением.

Фон Крейвиц скользнул по мне быстрым испытующим взглядом и бесстрастно уронил:

— Вы дворянин.

— Полно.

— Но в таком случае мое второе предложение приобретает еще больший смысл. Мы могли бы считать вас одновременно как бы и нашим посланцем. В таком случае, если вы не дадите о себе знать в течение, скажем, пяти дней...

— Десяти.

— Не долговато ли?

— Мне кажется, это не тот случай, где стоит дергаться, считая часы.

— Воля ваша. В течение десяти дней, мы, во-первых, получили бы желанный предлог как следует перетряхнуть Альвиц — шутка ли сказать, исчез человек, да к тому же иностранец, да к тому же журналист. Во-вторых... или... — и он неожиданно смутился, даже порозовел чутко, — вернее, во-первых... возможно, мы успели бы вам помочь в затруднительном положении.

Я невольно улыбнулся — и он улыбнулся своей неяркой светлой улыбкой мне в ответ.

— Благодарю и польщен, — сказал я. — Если ваших полномочий достает для заключения подобных соглашений, давайте считать, что это наша совместная операция.

На лице его отразилось облегченное удовлетворение.

— В таком случае у меня все, — сказал он. — Я очень рад встрече.

— Я тоже. И крайне признателен вам.

— Десять дней мы будем отсчитывать...

— От сегодняшнего вечера.
— Хорошо. Найти меня вам будет легко и лично, и по телефону. Отель «Оттон», номер 236.
— А у меня 235! — вырвалось у меня.
С абсолютно невозмутимым видом фон Крейвиц сказал:
— Какое неожиданное совпадение!
Я, усмехнувшись, только головой покачал.
— А сейчас, князь, имею честь откланяться. Вы, вероятно, давно уже хотите отдохнуть. А мне нужно немедленно доложить Берлину о результатах встречи, там ждут с нетерпением. Душевно желаю удачи.

— Постараюсь оправдать доверие, барон.

Мы обменялись крепким рукопожатием, потом фон Крейвиц повернулся и, прямой, как гвоздь, пошел к своей зеленой спинке с неловко скомканной «Правдой» в левой руке. Мы несколько раз проходили мимо урн, но ему, видимо, известно показалось выбрасывать газету при мне. Сухие коричневые листья, усыпавшие дорожку, разлетались из-под его ног. Я пожалел, что у меня нет с собой фотоаппарата.

А вот, пышечки мои, контрразведчик германского рейха, очень порядочный и милый человек. Правда, интересно?

2

Усадьба Альвиц располагалась верстах в тридцати пяти от Мюнхена, в уютной, уединенной долине. Когда я подъехал, уже почти стемнело. Ветер несея в долине, словно в трубе, мят и тряс сухие метелочки трав, шумел, прорываясь сквозь почти уже голые кроны деревьев старого запущенного парка. И само здание усадьбы даже в густых сумерках ноябрьского вечера не умело спрятать своей ветхости, старческой обвислости и, казалось, какой-то небритости. Хотя когда-то оно было, по-видимому, великолепным.

Старый пес, припадая на заднюю левую ногу, облысевший и грустный, вышел из темноты на свет фар и молча понюхал переднее колесо. Я осторожно, чтобы ненароком не ушибить его, открыл дверцу и вышел. Ноги чуть затекли. Все-таки устал я за эти месяцы. Полчаса за рулем, и уже сводит мышцы. Отдохнуть бы пора. Жаль, лето кончилось, а на море так и не попали. А куда-нибудь в то полушарие махнуть нам,

пожалуй, не по деньгам. Тыфу, какое там море — ведь рожать скоро! Только бы все обошлось... Пес, топорща голые уши, блестя мокрыми глазами, понюхал мою ногу и заворчал. Шумел ветер.

— Ну не ругайся, не ругайся, — сказал я примирительно.

Пес поднял голову и хрипло рявкнул один раз. Без всякой злобы — просто, видимо, сообщил хозяину о моем появлении.

На втором этаже осветилось окно. Я стоял неподвижно, и пес стоял неподвижно. Совсем стемнело, и тьма упруго давила в лицо ветром; то и дело слышался костяной перестук невидимых ветвей. Светлое окно открылось, и на ветхий балкон — нипочем бы не решился на него встать, рухнуть может в любую минуту — выступил длинный черный силуэт.

— Кто здесь? — крикнул он. Я знал немецкий хуже, чем фон Крейвиц — русский, но делать было нечего.

— Я хотел бы увидеть господина Альберта Хаусхоффера! — громко ответил я, задрал лицо и поднеся одну ладонь полурупором ко рту. — Я приехал из Швеции, чтобы увидеться с ним. В усадьбе нет телефона, и поэтому я...

— Нет и не будет, — ответил силуэт с балкона. — Подождите, я сейчас спущусь. Гиммлер, это свои.

Последняя фраза явно была предназначена псу; тот успокоенно отошел. Странная кличка, подумал я, пряча руки в карманы куртки. Ладони мерзли на ветру.

Зажглась лампа над входом, осветив потрескавшиеся резные двери и ведущие к ним шербатые ступени, огороженные покосившимися металлическими перилами. Заскрежетал внутри засов, и одна створка натужно отворилась. Пес неторопливо поднялся по ступенькам и, остановившись, обернулся ко мне. В белом, мертвенном свете обвисшего плафона было видно, как порывы ветра треплют остатки выцветшей шерсти на его спине. В проплешинах неприятно, по-нутрянному, розовела кожа.

Человек выступил из двери.

— Что вы стоите? — спросил он. — Поднимайтесь сюда. Я мерзну.

Я поспешно пошел вслед за псом.

Человек был высок, худ и сутул. И очень стар. И очень похож на кого-то, я никак не мог вспомнить, на кого. Пропуская меня в дом, он чуть посторонился. За что-то зацепился

ногой или просто оступился неловко и едва не потерял равновесие. Я успел поддержать его за локоть.

— Благодарю, — сухо сказал он. Пес искательно смотрел на хозяина снаружи, вываленный язык чуть подрагивал. — Хочешь подслушать, о чем мы будем говорить? — спросил старик пса. — Застарелая привычка?

Пес коротко, моляще проскулил.

— Идем, — решил старик, и пес тут же переступил через порог. — Я Альберт Хаусхоффер. Чем могу служить?

В более мягком свете прихожей я вдруг понял, на кого похож владелец Альвица, и от этого открытия мурашки поползли у меня по спине.

У старика было лицо Кисленко.

Нет, не в том смысле, что они были похожи. Совсем не похожи. Но я не мог отделаться от ощущения, что та же самая жестокая и долгая беда, ожог которой почудился мне на опрокинутом лице умирающего техника в далекой, оставшейся в июне тюратамской больнице, оставила свои следы и на длинном лице Хаусхоффера. Только старик сумел пройти через нее, сохранив рассудок.

Или хотя бы его часть. Я вспомнил слова фон Крейвица. Да, владелец усадьбы действительно был странный человек — видно с первого взгляда. Но черный пепел страдания, въевшийся во все его поры, заставил мое сердце сжаться.

Этому человеку я не мог лгать.

— У вас не шведский акцент, — сказал Хаусхоффер.

— Русский, — ответил я.

— Это уже интересно.

Пес стоял у ноги хозяина и пытливо смотрел на меня. И старик смотрел. Каждый с высоты своего роста: пес снизу, старик сверху.

— Я полковник МГБ России Трубецкой, — спокойно проговорил я, почему-то точно зная, что от того, скажу я сейчас правду или нет, будет зависеть все. В том числе и моя жизнь. И, возможно, не только моя. — Я расследую ряд загадочных преступлений. В связи с этим у меня есть к вам, господин Хаусхоффер, несколько вопросов. Германское правительство о моем визите к вам осведомлено.

Пес опять открыл пасть, вывалил язык и шумно, часто задышал. Старик очень долго смотрел на меня молча, и я никак не мог понять, что означает его взгляд, и был готов ко всему.

Сможет ли он здесь, в родных стенах, убить меня так, что я не успею ничего понять?

Вероятнее всего, да.

Заболел бок.

— Идемте, — сказал старик.

Мы прошли в глубь дома через четыре комнаты, расположенные анфиладой, и в каждой из них старик на мгновение останавливался у двери, гася свет. Пес, цокая когтями по паркету и время от времени чуть оскальзываясь, трусил рядом. В которой из этих комнат покойник Клаус дарил годовалому отцу этого старика загадочный скипетр несостоявшегося царствования? Роскошная ветхость... ветхая роскошь...

По отчаянно визжащей, трясущейся винтовой лестнице мы поднялись на второй этаж.

— Вы не боитесь здесь ходить? — спросил я.

— Я уже ничего не боюсь.

— А если упадете не вы, а кто-либо из тех, кто здесь бывает?

— Здесь никто не бывает.

— А если упадет ваша собака?

Старик остановился. Эта мысль, видимо, не приходила ему в голову. Он оглянулся на пса: бедняга Гиммлер, прискуливая от напряжения, с трудом выдавливал старческое тело от ступеньки к ступеньке и смотрел на владельца умоляюще и укоризненно.

— Вам было бы жаль мою собаку?

— Конечно.

— Какое вам дело до нее?

Я пожал плечами.

— Никакого. Жаль, и все.

Старик двинулся дальше, проворчав:

— Он идет здесь впервые за три года.

Мы пришли в ту комнату с балконом, из которой он показался вначале. Догорал камин. У большого овального стола тяжело раскорячились протертые плюшевые кресла, им было лет сто. Старик повел рукой:

— Располагайтесь в любом. Портвейн, коньяк? Водка?

— Рюмку коньяку, если можно.

Старик обернулся ко мне от темного, с открытой створкой, казавшегося бездонным шкапа и вдруг лукаво, молодо прищурился.

— Для хорошего человека ничего не жалко, — произнес

он на ужасающем, но вполне понимаемом русском. Вероятно, так я говорил Ираклию «дидад гмаллобт».

Рюмка коньяку мне действительно была нужна. Я устал и отчего-то продрог. И очень нервничал. Этот старик был похож на главаря подпольной банды террористов, как я — на императора ацтеков.

Мы пригубили. Мягкий розовый свет стоящей на краю стола старомодной лампы перемешивался и не мог перемешаться с дерганным оранжевым светом камина. Двойные тени лежали на стенах, одна была неподвижной, другая неприятно пульсировала и плясала.

— Я буду с вами абсолютно откровенен и если что-то упусти, то лишь для краткости, — сказал я. — Преступления, которые я расследую, имеют ряд отличительных признаков. Это, во-первых, немотивированность или псевдомотивированность. Во-вторых, они всегда связаны с резким, ничем не объяснимым повышением агрессивности у преступника, оно буквально сходно с помешательством. В-третьих...

Очень жато, не называя никаких имен и не приводя никаких фактов, я изложил старику причины, по которым приехал. Он долго молчал, вертя в пальцах давно опустошенную рюмку. Потом пробормотал, глядя в пустоту:

— Значит, они все-таки выходят... Как глупо!

Я смолчал, но внутри у меня будто мясорубка провернулась. Хаусхоффер взял бутылку и наполнил свою рюмку до краев.

— За вас, господин Трубецкой.

— И за вас, господин Ха...

— Нет-нет! Я здесь ни при чем. За вас. — Он выпил залпом. — Вы первый честный работник спецслужбы, которого я встречаю в своей жизни. — Он протер уголки заслезившихся глаз мизинцем. — А то наезжают тут время от времени провода чинить. Или вместо старика, который привозит продукты, явится бравый офицер, одежду возчика-то увидевший первый раз за пять минут до того, как ехать ко мне на маскарад... «Ваш возчик заболел, прислал меня»... А сам, пока я разбираю пакеты, шаст-шаст по пристройкам. Смешно и противно. И обидно. Для человека, который десять лет общался с гестапо, эти ужимки райской полиции...

— Что? — не понял я.

Он помедлил, набычась.

— Простите. Я привык разговаривать сам с собой. Употребляя мне одному известные слова.

— Почему райской?

Он налил себе еще. Я сделал глоток. Держа рюмку у самого лица, он сказал:

— Конечно, райской. Вы ведь и не знаете, что живете в раю. У вас свои трудности, свои неурядицы, свои болячки, свои преступники даже — и вы понятия не имеете, что все это... рай.

— Пока не понимаю вас, господин Хаусхоффер, — осторожно сказала я.

— Разумеется. И тем не менее вы своего, кажется, добились. Отец много раз предупреждал: если Иван начнет что-то делать, по-настоящему очертя голову — вот как вы представились мне, — он всегда добьется успеха. Всегда. Но фюрер... — Он не договорил и лишь пренебрежительно, презрительно даже, поболтал в воздухе ладонью. Помолчал. — В конце концов, мне скоро умирать, и детей у меня нет. А если эта штука, — задумчиво добавил он, — действительно представляет такую опасность... Ее судьбу решать вам. Я уже пас.

Я молчал. Мне просто нечего было сказать, я не понимал его, даже когда понимал все слова. А он вдруг распрямился в кресле и бесстрастно спросил:

— Вы любите свою страну?

Тут уж распрямился я.

— Я русский офицер! — Боюсь, голос мой был излишне резок. С больным человеком нельзя разговаривать так. Но Хаусхоффер лишь горько рассмеялся.

— Браво! — Пригубил. — Таких вот офицеров Бела Кун сотнями топил в Крыму, живьем...

В Крыму? Русских? Топил?

Он явно бредил.

— Вам неприятно будет увидеть свое отечество в, мягко говоря, неприглядном свете?

Я сдержался. Сказал:

— Разумеется, неприятно.

— Утешу вас: мы тоже были по уши в дерьме. Но нам повезло больше, вы нас разгромили. Впрочем, если бы вы разгромили нас в одиночку, это был бы конец. К счастью, существовали еще и союзники... А впрочем, в чистилище все хорошо.

— Я вас не понимаю, — тихо напомнил я. Он очнулся — и сразу пригубил. Я отставил наполовину пустую рюмку.

Он сказал:

— Да, в двух словах тут не расскажешь. — Помедлил, как бы что-то припоминая, а затем произнес на ужасающем русском: — Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать. — И, взяв за горлышко бутылку, поднялся.

Пес, лежавший у его ног, вскочил. Отчетливо цокнули когти.

— Лежать, Гиммлер! — прикрикнул старик.

Пес коротко проскулил, а потом послушно лег. И вновь — только стонали стекла от ветра да по временам подвывала где-то, надрывая душу, труба дымохода. Старик жалко улыбнулся.

— Бедная псина. И ведать не ведает, как паскудно ее зовут. Но мне приятно. Как будто наконец я распоряжаюсь этим упырем, а не он мной... Идемте, Трубецкой. — И сразу пошел обратно к лестнице. Гиммлер негромко гавкнул, в последний раз пытаясь напомнить о себе, но старик даже не обернулся. — Идемте! — повторил он.

Той же ветхой лестницей мы спустились ниже первого этажа, в подвал. Старик отпер одну из тяжелых дверей, тронул выключатель, и цепочка тускло-желтых ламп вспыхнула, уводя взгляд вдаль, на всем протяжении нескончаемого, загроможденного дряхлой мебелью коридора. Порой приходилось даже протискиваться, идти боком, чтобы не зацепить торчащие ножки кресла, опрокинутого на истертую тахту, или ржавый ключ, бессильно свисающий из замочной скважины ящика громадного комода, под который вместо одной из ножек были подложены книги возрастом не менее полутораста лет... Дошли до конца, до глухой стены. Старик постоял неподвижно; похоже, он еще колебался. Потом тряхнул головой — и я внезапно понял, что именно сейчас он окончательно решил оставить меня в живых.

— Я тоже умею быть благородным и честным, — проговорил он. — К тому же, полагаю, именно вас я ждал все эти годы.

Он странно, как бы пританцовывая на месте, несколько раз аритмично нажал на большой темный овал — след сучка, — красовавшийся на краю одной из половиц, примыкавших к глухой стене. Раз-раз... раз-раз-раз-раз... раз... раз-раз-раз...

Глухая стена с неожиданной легкостью шевельнулась и

уползла вправо. Открылось небольшое кубическое помещение, в потолке которого чуть теплился полусферический матовый плафон. Стены были, похоже, чугунными; доисторически дико тянулись вертикальными вереницами вздутия заклепок.

— В прошлом веке не умели многого, что умеют сейчас, но одного у них не отнимешь. То, что они умели, они делали добротно, на века. Прошу. — И старик сделал рукою жест, пропускаящий меня вперед.

Я вошел в железный куб.

Старик последовал за мной и снова станцевал одной ногой. Стена почти беззвучно встала на место, а наша тяжелая чугунная клеть медленно, чуть подрагивая, в сопровождении вдруг донесшегося снаружи приглушенного гула, поплыла вниз.

Мы опустились, пожалуй, метров на семнадцать-восемнадцать. Клеть рывком остановилась. Секунду ничего не происходило, а затем одна из ее стен широкой лопастью отворилась, с отвратительным металлическим скрипом повернувшись на угловой оси.

И снаружи уже горел свет. Просторный подземный зал открылся моим глазам; вслед за усмевающимся стариком я шагнул вперед и оказался на узком металлическом карнизе, обегавшем зал по периметру на половине высоты от пола до потолка.

Почти весь объем зала занимал стоящий посередине чугунный монстр — нелепо и неуклюже огромный, тоже простроченный вертикальными строчками заклепок, окруженный раскоряченными переплетениями толстых и тонких, прямых и коленчатых труб. Больше всего он походил на невероятных размеров паровой котел. От него за версту веяло чудесами науки жюльверновских времен. Здесь, у лифтовой стены, карниз проходил от него метрах в десяти, но с остальных трех сторон примыкал вплотную, становясь более широким, и там его загромаждали какие-то невероятные, допотопные средства управления: манометры, рычаги, маховики, рукоятки, призматические перископы, еще более придавая гиганту вид какой-то чудовищной паросиловой установки. И я как-то сразу понял, что вот он, тот самый «сундучок побольше и посложнее», о котором упомянул распираемый тщеславием и гордостью Клаус Хаусхоффер перед гостями.

Старик с доброжелательным любопытством смотрел на меня.

— Вы хорошо держитесь, Трубецкой, — сказал он. — Но, бьюсь об заклад, вы даже не догадываетесь, что это такое.

Меня вдруг ошпарила догадка:

— В этой штуке делают людей агрессивными!

— Черт возьми, вы почти угадали. Но даже вы не представляете их размаха. В этой штуке СДЕЛАЛИ людей агрессивными. Всех. Навсегда. Идемте. — И он двинулся по чуть раскачивающемуся, чуть гудящему от шагов карнизу. Я пошел следом.

«Найди их и убей».

Кого? Вот этого перемолотого жизнью полусумасшедшего старика? Кого?

Мы подошли к толстой короткой трубе первого перископа. Хаусхоффер с заметным усилием сдвинул с нарамника железную заслонку, и на кирпичную стену напротив выхлестнул ослепительный световой блик; в пробившем сумеречный воздух луче поплыли, как звезды, пылинки. На изглоданном лице Хаусхоффера резче прорисовались морщины, белые отсветы легли на древние приборы. Щурясь, Хаусхоффер потянул на себя висящую на решетчатом раздвижном кронштейне дисковую кассету со сменными светофильтрами, чуть прокрутил ее, выбирая, и ладонью с силой нахлопнул один из фильтров на перископ. Свирепый луч, бывший из адской топки «котла», померк.

— Извольте, — сказал Хаусхоффер, чуть отступив в сторону от перископа, поднес ко рту бутылку и сделал глоток.

В черном бездонном провале висел круглый, немного взлохмаченный сгусток огня. Несколько секунд я ошеломленно моргал — глаз привыкал к режущему свету медленно, — и память бестолково металась от одной ассоциации к другой, пытаясь сообразить, на что это похоже...

— А если пошире, то вот так, — сказал Хаусхоффер и, неловко зажав бутылку под мышкой, обеими ладонями немного прокрутил широкое рубчатое кольцо, охлестнувшее тубус перископа.

Сгусток стремительно съежился, превратился в каплю. А далеко по сторонам от него, в густой, невероятно густой и, казалось, не имевшей пределов тьме глазу вдруг померещились едва уловимые искры. Две... три...

В полной прострации я глянул на Хаусхоффера.

— Это.. Это...

— Солнечная система, малый кристалл, — хрипло сказал Хаусхоффер и снова отхлебнул из горлышка.

Внутри у меня все оборвалось. Секунду спустя словно парализующий яд потек у меня по жилам, одна моя рука, лежавшая на трубе перископа, бессильно съехала с него и повисла. Еще мгновением позже за ней последовала другая. Мне дико захотелось сесть.

— Так ему все-таки удалось?..

— Да. Ступак растил это с шестьдесят шестого по шестьдесят девятый. А дальше все было совсем просто. Вообще идея проста, как а-бэ-цэ. Чтобы изготовить необходимое для отравления хотя бы одного миллиона людей количество препарата Рашке, вся химическая промышленность тогдашней Германии должна была работать семьсот с лишним лет. А если планета Земля имеет радиус восемнадцать миллиметров, — Хаусхоффер качнул булькнувшей бутылкой в сторону котла, а потом, чтобы уж движение не пропало даром, в обратном качке поднес бутылку ко рту и сделал глоток, — достаточно обычным парикмахерским пульверизатором распылить в атмосфере одну-единственную лабораторную капельку, и дело в шляпе. Поскольку Ступак более всего радел о свержении российского самодержавия, то, естественно, и фукнул он непосредственно над европейской Россией. Ну а потом ветры, дожди и приливы разнесли по всей планете, конечно, по Европе — в первую очередь... Начальным мощным результатом впрыскивания, отчленившим их историю от нашей, были франко-прусская война и Парижская коммуна, они-то и дали исходный всплеск вашей статистики... Ах да, ведь все эти названия для вас пустой звук. Ну, ничего, я вас познакомлю с их историей.

Он умолк, как-то очень понимающе и очень грустно глядя мне в лицо. Я пытался собраться с мыслями. Вот тебе и тайная секта. Но все же...

— Но все же я не понимаю.

— Сейчас, Трубецкой, сейчас. Я просто не знаю, как вам рассказать попроще и покороче. Хотите? — Он вдруг протянул мне бутылку.

Я чуть не отказался, но неожиданно понял, что зверски хочу. Молча взял у него бутылку и отхлебнул как следует.

Мгновение спустя горячая волна ударила мне в желудок, как девятый вал в прибрежный камень, и ноги почти сразу перестали дрожать.

— Это было не просто создание альтернативного мира. Ради такой цели они не стали бы тратить силы и деньги. Они создавали станок, на котором собирались переделывать наш мир. Только, как это обычно бывает, после создания станка каждый захотел точить на нем что-то свое.

Он требовательно протянул руку; я отдал ему бутылку, и он сделал глоток. А я, начав после первого ошеломления замечать детали, увидел вдруг под пультом буквально гору пустых.

— Так что, когда Горбигер в Германии начал в двадцатых годах учить, что Земля и Солнце расположены внутри ледяной сферы, а никакого космоса нет и звезды с галактиками выдуманы еврейскими астрономами с целью обмануть народ и обогатиться, он был не так уж не прав. Видимо, какие-то крохи информации он выжал из отца... Для них, — он опять качнул бутылкой в сторону котла, и бутылка опять призывно булькнула; он задумался на миг, но потом решил в этот раз не пить, — космоса действительно нет. Просто эта адова штука пересылает им в соответствующем масштабе картину того, что окружает нас здесь. Ох, Трубецкой, как я хохотал, когда американский «Пайонир» — эти дурачки запустили его в глубокий космос с посланием, понимаете ли, к иным цивилизациям! — начал, точно муха о стекло, биться о стенку котла! Только что не жужжал... Пришлось взять на себя все заботы о том, что он передает в Хьюстон... — Хаусхоффер, вспомнив, и на этот раз засмеялся, но выпуклые старческие глаза его рыдали.

— Землю можно увидеть крупно? — спросил я.

— Разумеется. Только фильтр сменить. Перископы подвижны... Но потом, потом! — нетерпеливо выкрикнул он, увидев, что я пытаюсь пошевелить толстый массивный тубус. — Еще посмотритесь. Слушайте, Трубецкой, я ведь умру скоро. Давайте я завешаю вам Альвиц? Захотите — отдадите России, или подарите ООН, или сами будете здесь играть, как я играю уже полвека. Это увлекает... — задумчиво прибавил он.

Я не ответил. Он пошевелил кожей лба, собирая его морщинами и распуская; брови дергались как на резиночках. Видно, он слегка уже опьянел.

— У них даже техническая ментальность другая, — пожаловался он. — Например, гравиторы они могли открыть тогда же, когда и мы, — после работ Эйнштейна по полю. Но им и в голову не пришло копать в этом направлении. И я вам скажу почему. Потому что тогда все страны при полетах должны пользоваться общей сетью, она одна на всех. Даже при конфликтах никому в голову не придет нанести ей ущерб — сам пострадаешь ровно в той же степени, что и противник. А там строят громадные ревушие крылатые чушки, одна другой тяжелее и страшнее, они жгут прорву топлива, то и дело падают и гробят массу невинных людей, прожигают каждым рейсом во-от такие, — он развел длинные руки и едва не выронил бутылку, — мертвые коридоры в кислородной составляющей атмосферы, не выжимают, за редкими исключениями, и тысячи километров в час — но зато каждая из них летит сама! Не завися ни от кого! Суверенно!

Он протянул мне бутылку, я отрицательно качнул головой. Он тут же хлебнул сам.

— Я могу много выпить, — сообщил он и оперся свободной рукой на пульт, прямо на какие-то циферблаты музейного вида — ни дать ни взять часы эпохи Людовика XIV. — Не волнуйтесь за меня.

Мы помолчали. Краем глаза я заглянул в перископ. Капля пылала. Хаусхоффер чуть повернул голову и долго смотрел остановившимися глазами в блестяще черную клепаную стену котла. Я не понимал его взгляда.

Казалось, на какое-то время он забыл обо мне.

— А ваши преступления... Боюсь, Трубецкой, здесь ничего нельзя сделать, — тихо проговорил он вдруг, продолжая глядеть на котел. Наполовину опустевшая бутылка косо висела в его бессильно опущенной руке. — Разве что выжечь этот клоповник к дьяволу, во-он он, вентиль продувки. Как это я еще не крутнул...

Я промолчал. Я не хотел прерывать ход его мыслей, сколь бы он ни был беспорядочен. Он знал ответы на все мои вопросы, но я не знал, какие вопросы задавать.

— Человек — лишь часть кристаллической структуры. Относительно небольшая и наиболее динамичная. Когда такой кристаллик начинает особенно сильно вибрировать, почти наверняка он вызовет резонансную вибрацию в изоморфном ему кристалле. Ступак это теоретически предсказал, на этом и

строился расчет. В предельно стрессовом состоянии — главным образом имеется в виду стрессовая гибель, — если вибрирующему кристаллику обнаруживается спокойный аналог, инициировавший резонанс кристаллик перебрасывает все свои характеристики на него. Ведь вследствие стресса эмоционально он как бы сильнее. Поскольку впрыскивание препарата Рашке обеспечило человечеству в котле почти постоянное существование на грани стресса, переброс индивидуальностей должен был идти практически исключительно от них к нам. Гениальный план.

Он вдруг вспомнил о бутылке. Тактично, но очень ненавязчиво протянул ее мне. Я отрицательно мотнул головой. И он тут же как следует отхлебнул.

— Принципиальная схема такова! — возгласил он и чуть покачнулся. — В инкубаторе выращивается человечество, находящееся в результате тотальной психохимической обработки в состоянии непрерывной борьбы каждого с каждым и всех со всеми. Под любым предлогом, на любом уровне! Любые, самые логичные и убедительные призывы к миру и сотрудничеству, которые высказывают отдельные не восприимчивые к обработке личности — всегда есть процент людей, не поддающихся действию какого-либо препарата, — остаются втуне, ибо медикаментозное вмешательство парализовало определенные центры в мозгах большинства. Наиболее удачные из этих призывов, напротив, сразу используются для провоцирования новых конфликтов. Например: давайте жить дружно. Давайте! Всех, кто мешает нам жить дружно, — на виселицу! Ты, я вижу, не хочешь жить дружно? И ты? На виселицу!

Он умолк, тяжело дыша. На лбу его выступили бисеринки пота. Он явно отвык много говорить. И — явно хотел.

— В таких условиях стрессовая вибрация гибнущих кристаллов становится все более частой, а следовательно, все более частым становится переброс исковерканных индивидуальностей к нам, сюда. И здесь они, естественно, продолжают свою борьбу, ибо сознание их уже сформировано. Борьбу уже совсем непонятно с кем. Хотя с кем-нибудь, кто напоминает тамошнего противника. — Он торопливо отхлебнул. — Правда, возможен и обратный эффект. Ступак о нем не догадывался. Я обнаружил его лишь недавно, читая их статьи... С легкой руки тамошнего американца Моуди стало модным опраши-

вать людей, переживших клиническую смерть, об их ощущениях. И, представьте, многие припомнили состояние резонанса со своим здешним психодвойником. Самое смешное... — он хихикнул и тут же пригубил, — самое смешное, они думают, что встречаются с богом! Они называют его «светоносным существом», «лучезарным сгустком доброты» и так далее. Мы настолько отличаемся от них, представьте! Они даже вообразить не могут, что всего лишь на какие-то мгновения сливаются с собой, обретают самих себя, только нормальных, неотравленных! Вот вы — обычный... русский офицер, — патетически произнес он, с явной иронией передразнивая меня, — со своими заботами, хлопотами и недугами. Но если бы ваш тамошний двойник, умирая, срезонировал с вами, а врачи ухитрились бы вернуть его к жизни, он был бы уверен, что здесь виделся чуть ли не с самим Христом! В белом венчике из роз... — с ужасающим сарказмом добавил он на ужасающем русском, и я снова, в который уже раз, не понял, на что он намекает. — Говорят, после таких встреч люди там становятся добрее... уносят что-то отсюда. — Он вздохнул. — Все вообще оказалось много сложнее, чем полагали отцы-основатели. А судя по вашим словам, Трубецкой, по вашей же статистике, может происходить и не полное подавление, и нестыковка, и, главное, вытеснение нормальным кристаллом системы ценностей ненормального в подсознание... Тут я мало что могу сказать. До сегодняшнего вечера я был уверен, что я — единственный, кто вышел оттуда.

Он грустно и как-то смущенно улыбнулся.

— Меня казнили в Моабите в сорок четвертом, — признался он. Так застенчивая девушка могла бы признаться в любви. Я не перебивал. Он помедлил. — Гиммлер решил, что отец слишком независим, слишком влияет на фюрера... На отца он руки поднять не решился, но взяли меня, чтобы обуздать отца, если возникнет необходимость... А потом машина заработала сама собой. Отец даже не знал, узнал только в сорок шестом! И покончил с собой... Но здесь — не появился. Видимо, не нашлось аналога. Забавно, ведь он же был и здесь, он сам еще был в Альвице, рожденный в восемьсот шестьдесят девятом Карл Хаусхоффер, здесь он умер тремя годами позже, чем там, — но он не оказался аналогом самому себе. И даже смерти своего малого кристалла не ощутил. Возмо-

но, кончая с собой, отец был слишком спокоен. Все уже давно пережил.

Я молчал.

— Они не поделили станка, Трубецкой! — выкрикнул он и, оторвав руку от пульта, ухватил меня за плечо. — Так всегда у бандитов! Какие бы высокие слова они ни говорили! Это критерий! — Он, спеша, клюнул из бутылки. — Когда два человека отстаивают высокие цели и цели эти различны... если цели действительно направлены к благу, эти люди всегда найдут компромисс. Желание не навредить — заставит! Если же они начинают резать друг друга, потому что каждый именно свою цель считает единственно высокой, — значит, цели их ложь, обман людей, а истинная цель, как у троглодитов: отнять чужую жратву и запихнуть себе в брюхо. — Он перевел дух. — Рашке решил, что получил идеальный испытательный стенд. Он так и не уразумел, что эти пылинки внизу — люди, что они мечтают и страдают, как мы. Хотел пробовать на целой планете то один препарат, то другой... Ступак решил, что получил племенную ферму для выращивания несгибаемых революционеров, в грош не ставящих ни жизнь врагов, ни жизнь друзей. Он был уверен, что, погибая там на баррикадах, они попрут сюда и уж тут дадут чертей эксплуататорам. Ну а дед... Он решил, что судьба кинула ему шанс стать королем мира. Нужно лишь устроить бойню. Нужно лишь, чтобы как можно больше людей там, — он ткнул в сторону котла и, потеряв равновесие, снова ухватился за мое плечо; нас обоих слегка качнуло, — умирали с криком: «Хайль Хаусхоффер!» Тогда они очнутся здесь с тем же криком. Чего проще — имея на контакте двойника за этим вот пультом! Еще в четырнадцатом году молодой генерал, получивший когда-то маленький ящичек в подарок от отца, прославился своими военными и политическими предсказаниями. Германия проиграла. Но Хаусхоффер уже прослыл великим магом. Он нашел и натаскал Гитлера. Он придумал ему свастику, кстати... А, вы же не знаете, что такое свастика...

— Буддийский символ, — осторожно сказал я. — Насколько мне известно, даже буддийские монастыри на картах обозначаются свастикой.

— Да, — задумчиво сказал Хаусхоффер. — Отец дурил их Тибетом, Шамбалой... Ведь он не мог сказать, откуда на самом деле получает информацию! Это казалось даже более

удобным — до поры до времени подвергать превратностям политической игры пешку Адольфа, а самому держать все нити. Но опять не получилось. Информация была, а реальная власть ускользала...

Он наконец оторвался от моего плеча и, нетвердо крунувшись на каблуках, повернулся лицом к котлу и вновь оперся на пульт. Он опьянел. Но я уже знал главное: он не бредил.

— И ведь не только информация, — пробубнил он, и тут я с ужасом и жалостью понял, что он до сих пор страдает из-за неудачи отца, а следовательно, и своей; и если бы у него были силы, если бы он знал как — он начал бы все сызнова. — И средства воздействия тоже были... ну, хотя бы зонды, при помощи которых следят за событиями там. Последнее время они стали их замечать, правда... они приписывают их, — он уныло хихикнул, — инопланетянам. У-фо! — непонятно выкрикнул он с полным триумфом. — А знаешь почему? — Он горестно замотал головой. — Не удалось — почему? Потому что средство Рашке подействовало слишком хорошо. Тебе даже не представить, русский, какие они там теперь ублюдки, как мелко и гнусно тянут все только на себя, на себя, на себя... Даже Гитлер не сумел их объединить по-настоящему, даже Сталин, все только и смотрели, где бы урвать... А, ты ведь не знаешь, что такое Сталин! — Он уже нетвердой рукой сунул в рот горлышко бутылки, но чуть промахнулся, и струйка коньяка потекла у него по подбородку. — Русский офицер! — с пафосом крикнул он и захохотал. А потом, запрокинув болтающуюся голову, снова отхлебнул, на этот раз более удачно. Вытер губы рукавом свитера.

— И поэтому я теперь только шалю, — сказал он, ухмыльнувшись и подмигнув мне с пьяной хитринкой. Приложил одну ладонь ко рту полурупором, как я давеча у входа в дом, и пробубнил замогильным голосом: — Не надо двигаться. Не надо бояться. С вами говорит представитель галактического гуманоидного центра...

Опустил руку. Снова смущенно и виновато глянул на меня сквозь свесившийся ниже носа клоч редких сивых волос.

— А иногда... — и вдруг с ненавистью пихнул ногой груды пустых бутылок, и та раскатилась с оглушительным стеклянным звоном, — иногда так нарежусь за пультом... Потом и не вспомнить, что вытворял. Только из газетных сенсаций ино-

гда вычисляю. Бер-р-мудский треугольник! — непонятно сказал он, будто выругался. И замолчал.

Теперь он замолчал надолго. Я смотрел на его размякшее лицо со слезящимися глазами, и мне было жалко его, и пора бы его отвести спать. Но он стоял — понуро и иногда чуть пошатываясь.

— Русский. Бери его. Может, что придумаешь. А меня от этого... этого инкубатора пламенных борцов за державную незыблемость богоданной власти, за освобождение рабочего класса, за дело Ленина — Сталина, за чистоту арийской расы, за самоопределение маленьких, но гордых народов, за демократию, за американскую мечту... уже тошнит.

В голову мне, упруго извиваясь, вползла ледяная мысль, от которой захватило дух и снова захотелось есть.

— Послушай, Альберт, — я старался говорить спокойно и очень внятно, — а есть ли гарантия, что мы — не в котле?

Он не шевелился.

— Ты назвал их чистилищем, а нас раем. Но ведь где-то должен, значит, быть и ад. Или, значит, ад — они, а чистилище — мы, но тогда... есть что-то еще выше? И вообще, почему только три ступени?

Он не шевелился. Я уже начал думать, что он не слышит, что он уснул стоя. Но он вдруг рывком, чуть не опрокинувшись на спину, задрал голову, сунул горлышко в рот и, гулко глотая, допил коньяк залпом, а потом, широко размахнувшись, изо всех сил швырнул бутылку об котел. С оглушительным в спертой тишине подземного зала звоном бутылка взорвалась, и осколки, брызнув в стороны, гулко проколотились по стенам и трубам. И снова стало тихо.

— Есть бездны, — хрипло сказал Хаусхоффер, с ужасом уставясь на меня налитыми кровью глазами, — в которые лучше не заглядывать. Понял, русский? Если не хочешь сойти с ума.

3

Расследование было закончено.

Я не нашел их и не убил. И я не знал, как предотвратить новые преступления выходцев из преисподней. Но решать судьбу котла было не мне. Надо было срочно возвращаться и бить в набат...

Но я не возвращался.

У меня было десять дней.

Под руководством Альберта я сидел у перископов, у транслятора зондов, осваивая нехитрую систему управления, и заглядывал, заглядывал в эту бездну. Я должен был хотя бы слегка представлять ее себе — чтобы иметь свое мнение в будущих дискуссиях. Оно будет значить немного — не больше, чем любое иное. Но оно должно быть.

Меня затошнило на третий день.

Но я не мог оторваться. Боюсь, тамошние жители отметили в эти дни резкое увеличение активности инопланетян.

Стыдно сказать: я, не знаю зачем, искал себя.

Дед Василий в неизменном латаном бушлате с единственной пуговицей и ватных, какого-то лагерного пошиба штанах, как всегда, сидел на лавочке перед школой, смолил самокрутку и слушал писклявый транзистор.

— Ну, все, бля! — с детской радостью приветствовал он меня. — Пиздец Капказу!

— А что такое? — спросил я, глянув на часы. До начала урока оставалось еще с четверть часа; я присел рядом с дедом, достал из кармана сэкономленную позавчера, помятую и сыплющую табачной крошкой «рейсину», а дед хлебосольно дал мне прикурить от своей, чтобы я не тратил спичку. Добрая душа.

— Дык хули ж, — объяснил он, когда я раскурил. — Ирак, что ли, Азербиджану в порядке гуманидраной помощи атомную бонбу продал. Армяшки, ясно дело, раскудахтались. Диаспора скинулась и у Кравчука подводку купила с ракетами. На вертолетах сволокли, бля, в Воротан. Плавать она там не может, мелко, но лежит посередь речки и люками шевелит, того и гляди, бля, хуйнет. Шаварнадза сказал, что это, бля, все происки России...

Я попытался затянуться поглубже, но табак лез в рот из сразу отсыревшего и расползшегося хилого бумажного кончика. Пришлось несколько раз сплюнуть.

— Пальцем подправляй, — посоветовал дед, заинтересованно следящий за моими действиями.

Из приемника сыпалось тупой скороговоркой: «Сараево... Босния... очередная кровавая акция колумбийской мафии... «красные кхмеры» нарушили перемирие... новые жертвы в Сомали... Ангола... столкновение на демаркационной линии между Чехией и Словакией, есть жертвы... непримиримая оп-

позиция... очередная вспышка расовых волнений во Флориде... избиение эмигрантов из Турции в Мюнхене... взорван автобус с израильскими гражданами... взорван еще один универмаг в Лондоне...»

Новости.

Подошел Димка, водитель последнего в Вырице грузовика.

— Привет, интеллигенция! — сказал он.

— Здорово! — хором ответили мы с дедом.

— А я вчера тарелку видел, — сообщил Димка, аккуратно оправляя многочисленные «молнии» на своей куртке. — Вот так вот над Оредежем прошла низехонько и к Питеру усвистала.

— Не пизди, — строго сказал дед. Глаза у него остановились, он даже шею вытянул. — Во, бя, опять летит.

Мы обернулись. Со стороны ленсоветовских позиций, медленно выгребая против ветра, скользил небольшой и аккуратный белый диск. Даже не диск скорее, а что-то вроде двояковыпуклой линзы. По краю верхней выпуклости тесно, один к другому, шел ряд темных кругов — не то иллюминаторы, не то просто узор такой.

— Эх! — в сердцах сказал Димка. — «Стингером» бы ёбнуть!

— Дык что ж ты, бя, зеваешь?

Димка раздосадованно сморщился.

— Третьего дня я свой в Тосно на пару фуфырей «Аглама» махнул. Выпить хотелось — сил нет!

— Выпил? — с живым интересом спросил дед Василий.

— Одну выпил, а в другой, ебёныть, вода оказалась! Я этого предпринимателя если встречу — яйца оторву!

— Встретишь ты его, как же, — проворчал дед. — Они по два раза на одном месте не предпринимают.

Тарелка ушла за перелесок.

Радиоприемник сообщал: «...обсуждению повестки дня съезда. По ряду вопросов выявились серьезные разногласия, и депутаты разошлись на обед, так и не придя к единому мнению...»

Прозвенел звонок, и я, отбросив окуроч, встал.

— Сейте разумное, доброе, вечное, — сразу сказал Димка, — к вам приползут тараканы запечные... Счастливо вам, Альсан Петрович.

— И вам шесть футов под передними колесами, — ответил я любезностью на любезность.

В школе было малоллюдно. Так, мелюзга бегала кое-где, повизгивая по углам, но ребята постарше были редки. Стран-

но, что вообще еще кто-то ходит. Дел же по горло. Одни пробираются в Пушкин, Тосно, а то и в Любань на толчки. Другие — это уж совсем матерые человечиха — совершают рискованные ночные рейды по чужим территориям в Пулково: снять что-нибудь со склада или из багажного отделения или хлебный фургон перехватить, на худой конец. Третьи честно отработывают свое на Оредежском рубеже. Какая уж тут учеба...

Из туалета слышалось истошное дребезжание гитары и пение хором — ребята репетировали, готовились отмечать День независимости. Я чуть запнулся на ступеньке, прислушиваясь. Ага, знаю эту песню, самодеятельная. «Смольный» называется. Не вполне актуально, конечно, ну да что с пацанов взять, если даже большая литература дальше ругани коммуны так и не двинулась? Ребята честно, отчаянно стараясь переорать друг друга, но, как нарочно, не попадая ни в одну ноту, надсаживались на мотив малининской «У вашего крыльца»:

— ...У вашего дворца
Я вспомнил о марксизме,
У вашего дворца
Я спел «Интернана».
У вашего дворца
Мечта о коммунизме
Вновь вспыхнула во мне —
Дворец ее э-эба-а-ал!

Я пошел дальше. Репетировать еще и репетировать.

Сегодня мой восьмой «а» состоял из пяти человек. Три девочки и два мальчика.

Маша Мякишева, красавица, национальная гордость Вырицы. Последние месяцы она шеголяла в совершенно убогой паре — брючки полная фирма, курточка всегда застегнута в обтяжку; все знали, что она не потратила ни копейки. На игривые вопросы о происхождении пары Маша, скромно улыбаясь, отвечала: «Нашла». Действительно, она нашла ее в августе на пляже — какая-то дура питерчанка, из последних полоумных дачников, не въехавших, который год на дворе, решила искупаться в романтическом одиночестве, понимаете ли, в рассветной дымке... Маша стала примерять штаны, а дуру, когда та вылезла и от удивления чересчур развонялась, в сердцах утопила; томик Чейза, лежавший под

курточкой, махнула в Павловске на пару гигиенических тампонов, а шмотки взяла себе.

Таня Коковцева — самый веселый человек в классе. Я посмотрел не так давно, на последней контрольной по алгебре она выводила у соседей, сколько будет пятью семь, и никак не верила, что целых тридцать пять. Только осведомившись у третьего — вернее, у четвертого, потому что третий сам засомневался и, проявив редкую в наше время порядочность, не взял на себя ответственность подсказывать, — она, покачивая головой с удивлением, записала в тетрадку результат. Но зато три аборта перенесла, похоже, без всякого вреда для здоровья. Очень надежный товарищ.

Стелла Ешко — ничего не могу о ней сказать, просто ничего. Я не слышал от нее ни единого слова. По-моему, она дебилка, дитя алкогольного зачатия. Из класса в класс ее переводят, выставляя в ведомостях ровную, однородную, так сказать, вереницу троек. Не двойки же ставить; куда ее потом с двойками девать? Как, впрочем, и с тройками? Какая разница?

Ну и братья Гусевы. Серьезные бойцы. Один из них — не помню уже который — в прошлом году даже на урок пришел с «макаровым».

Я открыл было рот, но Веня Гусев, развалившийся за первым столом левой колонки — руки локтями на стол позади, ноги, одна на другой, выставлены в проход между столами, куртка расстегнута и расперта мощной грудью — лениво опередил меня:

— Мы, Альсан Петрович, пришли сказать, что больше не намерены посещать ваши уроки.

Я помедлил. Потом сел за учительский свой стол и сказал:

— Хорошо, ребята. Давайте мне тогда дневники, я сразу выставлю четвертные тройки, и покончим с этим.

— Какой вы персик, — сказала Таня. — Можно я вас поцелую?

— Чуть позже, — ответил я. — Делу минута, потехе час — но минута будет первой.

Судя по всему, они были приятно удивлены моей сговорчивостью. Похоже, они готовились к серьезной баталии.

Я выставил тройки, перенес их в классный журнал. Таня, честная девочка, забирая у меня дневник, наклонилась, дружелюбно прижалась бюстиком к моему плечу и с оттягом чмокнула в щеку.

— Только помаду сотрите потом, — сказала она, возвращаясь на свое место.

— Пусть пока поживет, — ответил я. — Мне так больше нравится.

Они стали не спеша собираться. Котя Гусев закинул на плечо ремень своей потертой цилиндрической «Пумы».

— Погодите минутку, ребята, — сказал я. — Теперь, когда все формальности улажены и вы не можете ожидать никакого подвоха с моей стороны, я просто хочу спросить: почему?

— Ой, да на кой ляд нам... — начал было Котя, но Веня оборвал брата.

— Погоди, Котька, жопа ты или мужик? — проговорил он. — Человеческий же разговор шкраб предлагает.

Он снова сел. Тогда сели и остальные.

— Кто-то из великих, кто именно, вам лучше знать, сказал: история учит лишь тому, что ничему не учит. Мы склонны полагать это утверждение истинным. Особенно для этой сраной страны, в которой учителя истории и прочих научных коммунизмов из поколения в поколение получали зарплату исключительно за то, что ничего не знали, ничего не умели и только насиловали детям мозги ахинеей.

— Закосили извилину! — подтвердил Котя.

— Единственную? — спросил я.

Маша, самая умная, поняла и хихикнула.

Я обвел их взглядом. Что оставалось отвечать? Он был прав и не прав. Я мог бы сказать, что история учит многим верным вещам тех, кто способен учиться: например, тому, что происходящего сейчас любой ценой нельзя было допускать, ведь это происходило и прежде и всегда кончалось одинаково — именно вопиющая неграмотность политиков, сопоставимая, пожалуй, лишь с их самомнением («Я-то умнее тех, кто был прежде»), развязывает им их шкодливые руки. Но для пятнадцатилетних происходящее последние пять-семь лет было единственной известной формой бытия, худо-бедно они приспособились к ней; разрушь эту приспособленность, и они, молоденькие, погибнут. Я мог бы написать на доске самые элементарные формулы, описывающие динамику социальной энтропии, и они доказали бы как дважды два: чем малочисленнее социум, тем меньше у него вариантов развития и тем, следовательно, меньше шансов выжить — но ребята плохо помнят, сколько будет дважды два. И я спросил только:

— А чему вы хотите учиться?

— Рукопашному бою, — тут же начал загибать пальцы Веня. — Это мы делаем, но нужно больше. Вот недавно «афганца» одного припитомили, он нас дрессирует...

Ты сказал. Не «учит», не «натаскивает», не «тренирует» — «дрессирует». Ох, история. Кто сказал «Ты сказал»?

— Стрельбе, — загнул второй палец Веня, — это тоже пытаемся, но катастрофически боеприпасов не хватает.

— Взрывное дело надо поднимать, — подал голос Котя.

— Оральный секс освоить как следует, — озабоченно сказала Коковцева.

Котя усмехнулся и со снисходительным превосходством проговорил:

— Тебе бы, Татка, все ебаться.

Она, коротко обернувшись к нему, сверкнула победоносной улыбкой.

— Алгебра нужна, к сожалению, — сказала Мякишева. — А то в духанах любая тварь обсчитает — пернуть не успеешь.

— Да, пожалуй, — задумчиво согласился Веня.

— И ты думаешь, этого достаточно для жизни? — спросил я.

— Для жизни вот как раз это и нужно.

— Этого достаточно для смерти, Веня, — сказал я. — Только для смерти. Сначала, возможно, не твоей. Потом все равно, раньше или позже, — твоей. Этого достаточно только для кратковременного выживания.

— Научный коммунизм это все, Альсан Петрович, — ответил Веня. — На самом деле все просто. Кто выживает — тот и живет. Другого способа жить еще никто не придумал.

Он встал, и сразу, с грохотом отодвигая стулья, поднялись все. Как настоящий лидер, он пропустил всех остальных вперед, а когда кое-как приспособленная под класс комната опустела, снова глянул на меня и ободряюще улыбнулся.

— Вы не огорчайтесь, Альсан Петрович, — сказал он. — Мы вас лично даже уважаем. Но от предмета вашего блевать охота. Раньше хоть раз в генсека установки менялись, а теперь вообще — каждый свое долбит. И ведь всем ясно давно, что других несет по кочкам только потому, что для себя, любимого, место чистит. Вон при Мишке Сталина как несли. Сказали народу долгожданную правду! И чего вышло? Опять за этого же Сталина люди мрут. Батя мой летом пошел на демонстрацию за этот сраный СССР — так приложили ему де-

мократизатором по шее неловко, тут же откинул копыта, только и успел сказать: дескать, флаг наш красный подними повыше, пусть видят... А кто видит, зачем видит — хрен его знает. Может, богу на небесах расскажет, да и то вряд ли.

Он еще потоптался у двери — поразительно, но он мне сочувствовал! Замечательный мальчик все-таки растет.

— До свидания, — сказал он.

— До свидания, Веня, — с симпатией сказал я. — Если в будущей четверти передумаете — я, как юный пионер, всегда готов.

— Да что вы, Альсан Петрович! Зимой тут такое начнется! — И вышел.

Это, судя по всему, была правда. Заложив руки за спину, я неторопливо подошел к окну. В сером свете хмурого позднего утра сквозь голые ветви берез со второго этажа отчетливо просматривалась свинцовая полоса Оредежа и работающие люди на нашем берегу. Картина отчетливо напоминала знакомые по хроникальным фильмам кадры самоотверженного труда советских тыловых женщин в сорок первом году. Рвы, надолбы, огневые точки...

В течение лета железные когорты совхоза «Ленсоветовский», усиленные двумя десятками чеченских киллеров-профессионалов, которых директор совхоза нанял в так называемом Санкт-Петербурге, пообещав отдать подконтрольным Чечне перекупщикам весь урожай совхозной капусты, теснили и теснили наших гвардейцев, пока те не откатились до реки. Велика Россия, а отступать дальше некуда — вот он, поселок, родные дома за спиной. Но было ясно, что, как только Оредеж покроется льдом, ленсоветовцы попытаются форсировать рубеж.

Сначала сладкопевец Горбачев во время первого карабахского толчка, вместо того чтобы стараться защитить тех, кто, вне зависимости от политической ориентации, нуждался в защите, начал игру, рассчитывая, будто эта кость в горле двух стран заставит их вечно обращаться к Москве как к арбитру, и тем продемонстрировал, что центр, начавши терять смысл с удалением пугалища войны, окончательно выродился и кто смел — тот и съел. Потом стало ясно, что государство ни в малейшей степени не отвечает за своих налогоплательщиков, а следовательно — политически не существует, заботясь только о себе, как распоследний ларьковый спекулянт, и предостав-

для остальных спастись кто как может; это называлось долгожданным предоставлением экономической самостоятельности. Потом, пока Борька, подсаживая Мишку, умолял всех брать столько суверенитета, сколько они смогут, окончательно лопнула экономика, и оказалось, получить нечто необходимое тебе, можно, только выменяв это на нечто необходимое другим, а для такого фронтового «махания не глядя» как минимум нужно чем-то обладать. А наикратчайший путь к полному обладанию тем, что есть у тебя под руками, уже был указан — самоопределение вплоть до полного отделения. А когда все разом хапнули что успели, с инфантильно садистским злорадством стараясь еще побольнее ущучить соседей и продемонстрировать свою для них необходимость: а ну-ка, попробуйте обойтись без нашей картошки! а вот попляшите-ка без бензина! хрен вам на рыло, а не крепежный лес, если будете плохо себя вести! Севастополь строили запорожские казаки, и баста! — на всех уровнях начался, раскручиваясь день ото дня все свирепей, нескончаемый, чисто империалистический передел мира.

История...

Ежась и слегка даже постукивая зубами от сырого пронизывающего ветра, я пошел домой. Явно собирался снег. Да он уж жожился сколько раз — и снова таял. Грязь, грязь, грязь...

И дома было не согреться. Разве что допить сэкономленные позавчера полтораста грамм суррогатной ларьковой водки.

Медленно расхаживая взад-вперед по комнатухе и глядя на вздутые, отвалившиеся по углам обои, я потягивал из стакана. Жидкость была сладковатой и тошнотворной. И совсем не согревала.

Слишком уж пусто было дома.

Сын, солдатик-первогодок, прошлой осенью погиб в Угличе, когда партия имени царевича Дмитрия провозгласила стоицизацию города и попыталась поднять путч; бывший инструктор ярославского горкома Роберт Нечипоренко, ныне президент Ярославской области, относящийся ко всем проявлениям сепаратизма на своей территории резко отрицательно, решительнейшим образом потопил путч в крови, первым эшелонном бросив на убой салажат.

А жена ушла еще четыре года назад. Когда у нее обнаружили трихомонады, она заявила, что это я ее награбил; бог его знает, в то лето я действительно потрахивал скучавшую здесь

вдвоем с сыном, шахматным вундеркиндом, интеллигентную безмужнюю дачницу, как-то так получилось, но вообще-то, когда я сходил к врачу, с великим трудом не сблевав от разговоров дожидавшихся приема юношей и девушек, у меня ничего не нашли, однако я покорно жрал трихопол, от которого почему-то зверски хотелось спать, и жена тоже вроде подлечилась, но через три месяца все, кроме дачницы, повторилось; тут уж она, сказав мне все, что говорят в таких случаях, собрала мои манатки и выперла с квартиры...

Тогда и пропали все бумажки, относившиеся к последней научной работе, которую я пытался вести. Впопыхах я их не забрал, потом, надеясь, что все как-то войдет в колею, и давая супруге время опаматоваться, не спешил приходить за ними. Мне, самонадеянному дураку, казалось, что, пока там сохраняется что-то мое, хоть папка, хоть помазок для бритья, не все нити порваны, а когда я решил, что выждал достаточно, оказалось, там уже другой мужик и все мои останки давно выброшены... Хотя громко сказано: научная работа. Не для науки — просто для себя я пытался ответить на годами мучивший меня вопрос: почему более-менее ровно шедшее в направлении общей гуманизации развитие Европы и России вдруг в семидесятые годы прошлого века резко переломилось, начав давать все более уродливые всплески жестокости, которые и увенчались затем войной, а из-за нее — Октябрем, а из-за него — рейхом, а из-за него — термоядерным противостоянием и так далее? Даже войны стали вестись совсем иначе, даже политические убийства стали иными — не за что-то конкретное, а из общих, из принципиальных соображений, не в живого человека стреляем, а в символ того или этого... Словно дьявол сорвался с цепи.

То ли именно тогда нашли друг друга, как два оголенных провода, надуманное, умозрительное насилие из теоретических марксистских книжек и практическое, сладострастное насилие полууголовников-полупсихов — нашли и начали искрить, поджигая все кругом? То ли в связи с развитием демократий именно тогда впервые в истории по-настоящему влиятельными стали широкие массы низов, рост значимости которых явно опережал рост их культуры; почувствовав свой новый вес, они, в отличие от прежних времен, перестали стараться подражать элите и подвергли основные ее ценности осмеянию и старательному выкорчевыванию из собственного

сознания, а среди этих ценностей были такие веками культивировавшиеся понятия, как честь и уважение к противнику...

Не знаю. Ответов были десятки — и ни одного. История...

В дверь уверенно постучали. Не допив, я поставил стакан на стол и пошел открывать. Там стояли двое крепких мужчин в куртках металлистов и с прическами панков. Внутри у меня все оборвалось. И — очень глупо — стало до слез жалко недопитой водки. Но допьют уже они.

— Господин Трубников? — сухо и очень корректно спросил один из метанков.

— Да, это я, — безжизненно подтвердил я.

Второй метанк хохотнул:

— Был Трубников, а стал Трупников!

Первый не обратил на него внимания. Отодвинув меня, они вошли. Первый завозился у себя в карманах, второй крендебобелем прошелся по моей каморке. Срисовал стакан, взял, поболтал, принялся брезгливо и одним махом опрокинул в рот. Первый и на это не обратил никакого внимания. Он наконец добыл свой блокнот, пролистнул несколько страниц.

— На уроках вы несколько раз утверждали, что в осуществлении Октябрьского переворота одна тысяча девятьсот семнадцатого года, помимо евреев, грузин и латышей, участвовали и отдельные представители русской нации?

— Да, — сказал я. — Это исторический факт.

Он сокрушенно покачал головой. Плюнул на палец и пролистнул еще страницу. Они листались не вбок, а вверх.

— Вы выражали также сомнение в возможности построения справедливого общественного устройства в одной, отдельно взятой Вырице?

Так отрешиваться от большевиков и так повторять самые дикие из их околесиц...

— Выражал, — как Джордано Бруно, подтвердил я.

Он запихнул блокнот обратно в карман и сделал рукой безнадежный жест: дескать, раз так, то ничего не попишешь.

— Вы посягаете на две главные святыни народа, — проговорил он с мягкой укоризной. — Вы подрываете его веру во врожденную доброту русского национального характера и его уверенность в завтрашнем дне. Вам придется поехать с нами.

Мы вышли из дома. Из окон глазели, некоторые даже плющили носы о стекла. Молодая мама, указывая на меня пальцем, что-то горячо втолковывала сразу забывшему о своем игрушеч-

ном паровозике пацаненку: мол, будешь плохо себя вести, с тобой случится то же самое. Подошли к грузовику. Димка блаженно курил, сидя на подножке; завидев нас, он отвернулся и, стараясь не глядеть на меня, встал, отщелкнул окуроч и полез в кабину.

— В кузов, — негромко скомандовал первый метанк.

В кузове мы разместились со вторым — тем, который шутил. Первый сел к Димке в кабину.

Истошно завывая от натуги, грузовик заколотился по разьеженной колее, расплескивая фонтаны грязи и едва не опрокидываясь на особенно норовистых ухабах. На повороте щедро окатили тетку Авдотью, которая, надрываясь, волокла по кочковатой раскисшей обочине полную денег садовую тележку — судя по направлению, шла в булочную, совершенно зря шла; жижа смачными коровьими лепехами пошмякалась на беспорядочно наваленные друг на друга пачки купюр.

— Авдотья! — крикнул я, полурупором приставив одну ладонь ко рту. — Хлеб уж часа полтора как кончился!

Она всплеснула руками и будто подрубленная села наземь.

Приехали на двор за бывшей свинофермой, и я понял, что надежды нет.

Остановились. Я подошел к краю кузова, ухватился было за борт, но шутник негромко позвал сзади:

— Эй!

Я отпустил борт и распрямился, обернувшись к нему. Он, усмехнувшись, вломил мне в рыло. Вверх тормашками я вывалился через борт кузова и на секунду, видимо, потерял сознание от удара затылком.

Очухался. Завозился, попытался перевернуться на живот. Получилось. Плюясь кровью, начал было вставать на четвереньки; руки скользили в ледяной грязи. Отчетливо помню, как грязь выдавливалась между растопыренными пальцами. Все плыло и качалось. Тут прилетело под ребра. Ботинком, наверное. Свет погас, и воздух в мире опять на какое-то мгновение кончился. А когда я вновь смог дышать и видеть, они уже уминали меня в мешок. Не сказав ни слова, даже не рукоприкладствуя больше, они утопили меня в выгребной яме.

И, уже задохнувшись в крошечной тесноте мешковины, залитый хлынувшей внутрь поганой жижей, я понял наконец, почему мир, где я прожил без малого полвека, при всех режимах и женщинах был мне чужим.

Еще один обезглавленный гусь взлетел наконец в свое поднебесье.

Тоска была такая...

Такая...

Такая тоска.

Хлоп-хлоп-хлоп. Но куда же дальше? Или — есть?

Во рту набух невыносимо отвратительный смешанный вкус гнилой водки и жидкого дерьма.

Я сел на кровати, спустил ноги на ковер. Из судорожно дернувшегося желудка выплеснулось в рот; я едва сдержался, сглотнул обратно.

В спальне было сумеречно и бесцветно. За широким венецианским окном, полускрытым гардинами, мерцал серым мерцанием декабрьский день.

Я вернулся в «Оттон» рано утром. Открытым текстом отбил депешу в МГБ: «Следствие закончено. Опасения не подтвердились. Все еще сложнее. Серьезная проблема для всего мирового сообщества. Требую немедленного созыва Совета безопасности ООН. Для ускорения процедуры прошу ходатайствовать перед государем о споспешествовании. Трубецкой. Отель «Оттон», Мюнхен, Германская империя».

Затем отправил аналогичное сообщение патриарху.

Затем поднялся к фон Крейвицу и, взяв с него слово чести молчать, пока я не сделаю доклада в СБ, рассказал обо всем.

Фон Крейвиц долго посвистывал сквозь зубы, потом с сильным акцентом сказал: «Эт-то чудовишно!» — и, с благодарностью пожав мне руку, тут же ушел, чтобы связаться с Берлином и предложить поддержать инициативу России о срочном созыве СБ.

Добравшись наконец до своего номера, я принял душ — сначала очень горячий, потом очень холодный — и завалился спать. В Альвице я почти не спал — некогда было.

И, несколько мгновений и впрямь побыв для Трубникова светоносным существом, проснулся в отчаянии и тоске.

Люди, люди, что же вы творите...

В дверь постучали, и я вскочил. На какой-то миг мне почудилось, что это метанки.

От резкого движения желудок снова сделал лихой кувырок.

Я набросил халат и вышел из спальни в гостиную. Сказал: — Прощу!

Дверь тактично отворилась наполовину, и служащий отеля, улыбаясь до ушей, произнес, просунув в щель голову и подносик:

— Корреспонденция вашей светлости!

Все уже знали. Я размашисто подписал депеши подлинной фамилией, и за три часа, пока я спал, усилиями, видимо, почтмейстерши вестибюля весь персонал был осведомлен, что в их отеле остановился инкогнито, под видом корреспондента «Правды», русский князь.

— Благодарю. Положите на стол, — сказал я, закуривая. Но от дыма еще сильнее затошнило. Я поспешно загасил сигарету. Не садясь, стал разбирать почту.

Да, служащим было от чего прийти в ажитацию. Сам государь уведомлял меня о том, что подписан приказ о моем награждении Андреем Первозванным, и присовокуплял несколько теплых поздравительных фраз. И добавлял, что, вполне полагаясь на мое чувство ответственности, он, не ожидая рассказа о деталях дела, уже переговорил с премьером и с председателем Думы, и они втроем, снесшись с генсеком ООН, так убедительно с ним побеседовали, что тот обещал постараться организовать заседание СБ уже послезавтра.

«Рад за вас, — писал патриарх, — и присоединяюсь ко всем поздравлениям, которыми, вероятно, вас уже засыпали. С нетерпением жду вашего выступления в ООН. Надеюсь, что все ваши действия, в том числе и будущие, послужат образцом коммунистической этики. Надеюсь на скорую личную встречу».

А дальше шел обширный факс от Лизы; она предпочла презреть условности и отбить текст открыто, чем писать письмо, которое тащилось бы до Мюнхена не меньше суток и наверняка не застало бы меня здесь. Думаю, факс вызвал особый интерес служащих отеля. Но нам уже ничего не было страшно.

«Сашенька, родненький, здравствуй, как я рада! Наконец-то от тебя весточка, а то мы уж извелись. Спасибо Ивану

Вольфовичу, сразу мне позвонил. А у нас тут тоже шурум-бурм. Станислава немного не доносила, первые роды, да еще в таком возрасте (только ты не прими эти слова за намек, что она для тебя старовата), — как бы по простоте ввернула она, — и позавчера родила двойню, мальчика и девочку. Танцуй и задирай нос. Было довольно тяжело, но обошлось. Вчера мы с Поленькой их навешали. Такие хорошенькие! И, честное слово, вылитый ты, мне даже завидно. Саша, может, мы тоже еще кого-нибудь родим? Я с готовностью. Дом о четырех углах строится, пусть будет четыре. Или у тебя четвертый уже есть, только мы со Станиславой не знаем? Шучу. Ты же мне все-все рассказал, правда? Поля так серьезно пыталась за младенчиками поухаживать и поиграть и смотрела, как Станислава кормит. Но мы, конечно, пока ей не говорим, что это твои. Тут еще предстоит как-то разбираться. Как и с их фамилией. А эта чудачка знаешь что придумала? Она их назвала твоим и моим именем. Хочу, говорит, чтобы вы и в будущем поколении были неразлучны. Завтра их выпускают домой. А сейчас, прости, больше не могу писать — побегу к ней сказать, что ты нашелся, она ведь тоже места себе не находила и вдруг тоже захочет тебе черкнуть пару строк. Целую, Сашенька. Жду не дождусь. Поговорить не с кем, и снишься ты мне все время, даже просыпаюсь от того, что стонать начинаю. Возвращайся скорее. Жена. P.S. Тебя уже неделю дожидается письмо из Бразилии. Я его положила тебе посреди стола и каждый день сдуваю пыль. Надеюсь, это не мина?»

И сразу же, за следующей строкой, но другим почерком — чуть неровным, явно рука еще не тверда: «Саша, любимый, здравствуй. Я всегда знала, что все у тебя будет хорошо и замечательно, поэтому иногда даже противно было видеть, как вы волнуетесь и конспирируетесь. Впрочем, поздравляю тебя — а ты поздравь меня. Я так благодарна тебе за них. На всю жизнь. Такой счастливой я никогда не была. Ну разве что когда ты меня в первый раз обнял-поцеловал, но и то меньше, уж извини. Ждем». Сначала она написала «Жду», потом зачеркнула жирно, двумя чертами, но именно так, чтобы легко было прочитать это «Жду», а сверху написала «Ждем». Я усмехнулся, чувствуя, что едва не плачу от избытка чувств. Все-таки она немножко позерка.

Я читал — и тошнота унималась, и мертвый Трубников понемногу оживал и становился мной.

Что же вы делаете, люди! Друзья... господа, товарищи... братья и сестры... господи, даже слов в этом ящике не осталось не заблеванных, не сочавшихся кровью!

С письмом в руке я подошел к окну.

Ограниченный набережными, укутанный скверами, тек Изар. Дыбились Альпы вдали. И хрупкий серпик месяца едва заметно млеет в бледном небе зимнего дня. Скоро — звезды.

Прекрасный, безграничный, зовущий мир — а вы, не слыша зова, умираете в этом окаянном сундуке! Идите к нам! Ведь не исчадия же ада вы — вы добрые, заботливые, смелые, даже честные иногда, я видел, только вы все отравлены, господи, от североамериканского президента до афганского душмана, у вас все смешено, нацелено не на то и потому идет впустую, а то и во вред. Но не одни же маньяки прилетают сюда — а Хаусхоффер, а Трубников, а бесчисленные иные, о которых мы не знаем ничего именно потому, что они не стали убивать, а начали жить с нами, как мы. Значит, в этом нет ничего невозможного!

Я вновь стал перечитывать письмо. И от преданных слов, таких разных у разных людей, во мне крепла и крепла уверенность, которая только и дает силы жить, — божественная уверенность в том, что все мы, все, будем вместе долго-долго. Будем жить долго-долго. Быть может, как всегда заверяет Лиза, — вечно.

Завтра они выходят. Заседание СБ — в лучшем случае послезавтра. Успею проскользнуть. Хотелось бы сегодня, конечно, потолковать за рюмочкой с фон Крейвицем, отличный мужик оказался. Но, что называется, там магнит попятитгательней.

Тяжелый ковер глушил шаги. Беззвучно, как божий ангел, я подошел к телефону и снял трубку.

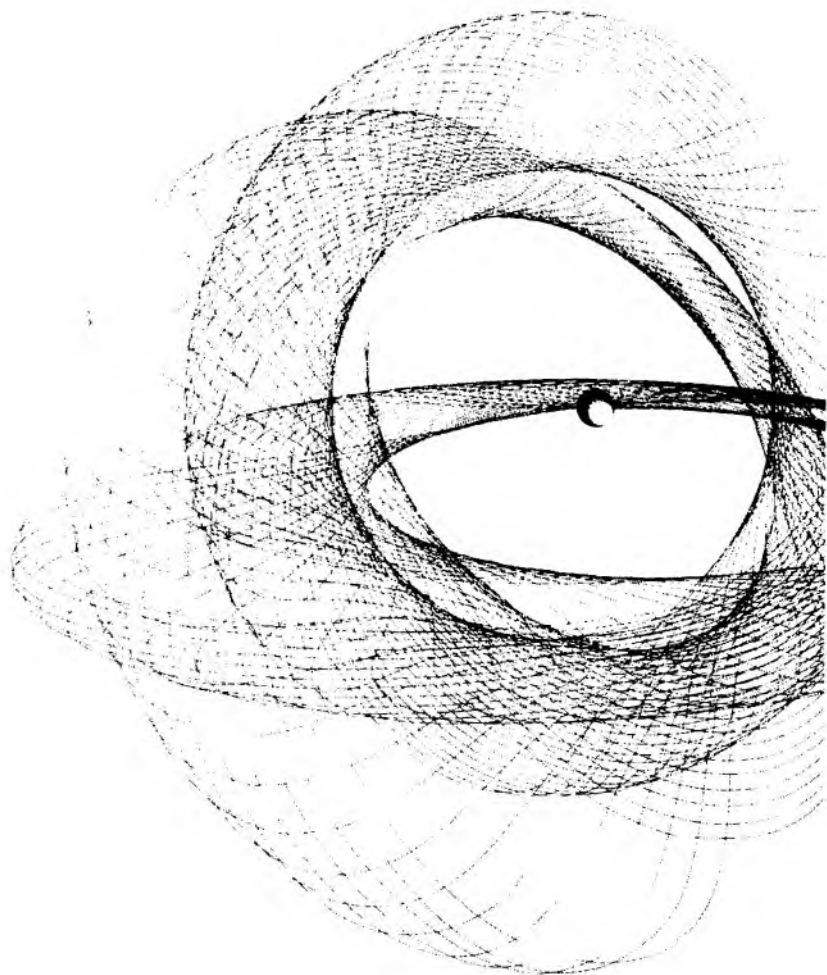
— Бары... пардон. Фройляйн! Когда у вас ближайший рейс на Петербург?

Люблю.

Декабрь 1992г.

Комарово

ТРУДНО СТАТЬ БОГОМ



ОТ АВТОРА

К добру ли, к худу — диалектически мысля, надлежало бы, конечно, сказать: и к добру, и к худу, а к чему в большей степени, мне не узнать до Страшного Суда, — но прочитанные в раннем детстве книги ранних Стругацких воочию показали мне мир, в котором, по-моему, только и может полноценно жить человек. Вероятно, некая неосознаваемая предрасположенность существовала и прежде, но именно с того рокового момента реальный мир стал мне чужбиной. Подозреваю, что и сами Стругацкие в молодости тоже ощущали нечто подобное; в предисловии ко второму изданию «Полдня» они проговорились об этом практически впрямую.

Да вот беда-то: испокон веку для российских прозревателей грядущего мир желаемый, вожделенный, должный отличался от мира реального принципиально. В каких-нибудь заштатных Североамериканских Штатах все просто: банкоматов побольше, автомобилей поэкономичнее, преступников поменьше — и готово светлое будущее. Желательные трансформации носят лишь количественный характер. Не то у нас. Если описываемый мир не отличается от реального качественно — это и не будущее вовсе, а паршивая какая-нибудь фантастика ближнего прицела. Вот когда социальная организация — по возможности в мировом масштабе — совершенно иная, идеальная, вот когда человек мановением невесть чего полностью лишен комплексов, агрессивности, лени, равнодушия... вот тогда, пожалуй, это — мир грядый.

Но тот, кто способен хоть сколько-нибудь честно и последовательно мыслить, раньше или позже обязательно упрется в вопрос: а что же это за барьер такой лежит между настоящим и будущим? Между миром реальным и миром желанным?

Ссылки на общественный строй очень быстро стали не более чем мертвыми звуками ритуального колокола или гонга, которые во всех религиях сопровождают любую молитву.

Действительно, строй давно уж был сменен на более прогрессивный, но в 60-х и тем более в 70-х, вопреки этому очевидному факту, светлое будущее с каждым прошедшим годом явно делалось не ближе, а дальше; реальный мир полз к XXI веку, а ситуация в стране сползала куда-то в XIX... и теперь, к слову сказать, когда строй снова сменился на снова более прогрессивный, уже совсем на пороге XXI века, страна ухнула, вместо торжества гуманизма и полетов к звездам, вообще куда-то век в XIV, к феодальной раздробленности, бесконечным усобицам, бесправию и беззащитности смердов, выклянчиванию ярлыков на княжение у той или иной орды...

Проблема барьера между реальным и желаемым мирами стала одной из основных тем в творчестве Стругацких. Очень быстро они переместили фокус рассмотрения с взаимодействия хорошего от природы человека с хорошим по устройству обществом на взаимодействие нехорошего от природы человека с обществом, которое из-за таких вот нехороших людей не в состоянии стать хорошим. Всей мощью своего таланта Стругацкие обрушились на мешанина.

А мешанин не поддался.

Поэтому фокус вновь постепенно стал смещаться — на нехорошее общество, которое культивирует нехороших людей, ибо только опираясь на них, оно способно существовать. Тоталитарная система паразитирует на мешанине, поэтому она воспроизводит мешанина. И тогда Майя Тойвовна закричала: «Долой тоталитарную систему! Даешь свободу личности!»

К сожалению, это была лишь очередная мечта о качественной смене общественного строя, не более продуктивная, чем увядшая десяток лет назад мечта «даешь коммунизм».

Но в лучших из вещей, посвященных порокам не социума, а человека, Стругацкие блестяще показали, почему так называемый мешанин столь непробиваем. Почему не соблазнить его ни светлым будущим, ни благодарностью человечества, ни радостями творчества, ни головокружительными тайнами Вселенной...

Инстинкт самосохранения сильнее всех этих соблазнов. Больше, чем творить, больше, чем открывать и разгадывать, больше, чем осчастливливать внуков, любой нормальный человек хочет просто продолжать жить, и с этим поделаться ничего нельзя. А вековой опыт неопровержимо доказывает, что все перечисленные соблазны неизбежно чреватые тем, что лю-

бой судмедэксперт назвал бы травмами, не совместимыми с жизнью.

И вот тут уж остается только руку протянуть до рокового вопроса, со времен Иова не дающего покоя всякому мало-мальски порядочному человеку: почему праведный несчастен, а неправедный счастлив? В чем изначальный вывих нашего мира? С какой стати подонки сплошь и рядом живут себе припеваючи, а на честных, добрых, благородных, ранимых обрушиваются все кары земные и небесные?

Для безоговорочно верующего человека тут нет противоречия; за тысячи лет гениальные богословы сумели виртуозно отынтерпретировать все, что нехристям кажется несообразностями. Возлюбленных чад своих Господь испытывает всю жизнь в хвост и в гриву, чтобы с полной гарантией забронировать для них номера люкс в раю, — а прочим гадам предоставляет полную свободу грешить, разрушать, мучить праведников, чтобы впоследствии, ежели гады так и не раскаются, безоговорочно низвергнуть их в геенну. Но, ей-богу, даже при столь железобетонной умственной подпорке все ж таки и сердце лучше иметь каменное, а то, не ровен час, хоть изредка, а возропшешь на заоблачного садюгу...

Можно, если религия не греет, давать научные, социологические объяснения; я и сам таковые давал. Например: человечеству необходим определенный процент этически ориентированных индивидуумов, и совокупная генетическая программа вида предусматривает обязательное их появление в каждом поколении, ибо они являются единственным естественным амортизатором, при встрясках предохраняющим общество от поголовного взаимоистребления; но сами эти индивидуумы, как и надлежит амортизатору, всегда, всегда находятся между молотом и наковальней, и никуда им от этого не деться, такова их биологическая функция.

Однако весь спектр подобных объяснений лежит либо в области потусторонней, неприемлемой для атеистов и, в частности, для атеистов Стругацких, либо внутри мира людского, что для атеистов, конечно, приемлемо, но для фантастов тесновато. Да к тому же, если принять что-либо похожее на второй вариант ответа, остается совершенно непонятным, почему эти самые честные-добрые-благородные-ранимые, повстречавшись, безо всякого понуждения со стороны то и дело устраивают друг другу такую соковыжималку, какую ни один

сталин-гитлер не сумел бы. При чем тут социальная амортизация?

А не наблюдаем ли мы здесь проявления некоей куда более общей, космической, космогонической закономерности? Какого-то всеобъемлющего, извечного закона природы?

Ведь в последние десятилетия мы все больше убеждаемся, что вид хомо живет не сам по себе, не изолированно от солнечных бурь и дыхания Вселенной. Взаимодействие оказывается куда более тесным, многоплановым и непрерывным, нежели вульгарные спорадические столкновения типа «идуший человек раздавил муравья», «упавшая скала раздавила человека». Может быть, и социальные закономерности суть лишь локальные преломления интегральных законов мироздания?

Великолепная повесть Стругацких «За миллиард лет до конца света» есть, насколько мне известно, единственная в современной нашей литературе попытка на интеллектуальном уровне XX века поставить этот вопрос и ответить на него... Отвратительно звучит, как в школьном учебнике литературы. Скажем так: почувствовать его и почувствовать ответ на него.

Но как же скучно живому человеку иметь в качестве неизбывного и единственного контрагента мертвое мироздание, пусть даже Гомеостатическое!

Совершенно справедливо и, честное слово, очень по-человечески заметил нобелевский лауреат Стивен Вайнберг: «Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной».

Правда, он тут же оговорил: «Но... попытка понять Вселенную — одна из очень немногих вещей, которые чуть поднимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии».

Однако боюсь, это тоже своего рода фарс: снисходительно поглядывать на тех, кто якобы по мещанской ограниченности не поднимает глаз к беспощадному небу, и гордиться перед ними своим спокойным мужеством под падающей вниз скалой, смеяться, думать, рожать и нянчить детей под нею, со свистом летящей, — будучи уверенным, что лететь ей по крайней мере еще пятьдесят миллиардов лет!

Не ровен час, высокая трагедия поединка со Вселенной — поединка невольного, нежеланного, но неизбежного и, конечно, без малейшего шанса на то, что в животном мире считается победой, — гораздо ближе...

Попробуем сделать еще шаг.

Я учился на пятом курсе, когда в руки мне попал машинописный текст тогда еще не опубликованного «Миллиарда». Поскольку никто не брал с меня слова никому его не показывать, я, естественно, не смог утерпеть — и три человека с нашего курса, которые, как я знал, любили фантастику не меньше меня, смогли его прочесть. Помню, Коля Анисимцев — кстати, японист, как и Владлен Глухов, только на полвека более юный — возвращая рукопись, недоверчиво спросил: «Слушай, а это не ты сам написал?» Я только смущенно замахал руками — а то был голос судьбы.

Желание есть, бумага есть; есть жестокий опыт лет, с неотвратимой стремительностью танкового клина прогрохотавших по нам после опубликования «Миллиарда». Талант, увы, пожиже, чем у Стругацких, — но тут уж ничего не поделаешь, остается разве лишь восклицать вслед за Иовом:

«На что дан свет человеку, которого путь закрыт? Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Не буду я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? Что Ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки Твоей? Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое!»

И пришли к Иову, сидящему на пепле его, три владетельных друга его: Елифаз Феманитянин, Виллад Савхейянин и Софар Наамитянин, и были с ним. В великой скорби молчали они семь дней и семь ночей, а потом каждый в меру собственного разума вразумлял его...

3:23. На что дан свет человеку, которого путь закрыт?

7:6. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды...

7:20. Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?

17:6. ...Поставил меня посмешищем для народа и притчею для него?

19:7. Вот, я кричу: «обида!», и никто не слушает; вопию, и нет суда.

21:7. Почему незаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?

16:21. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом!

9:19. Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, то кто сведет меня с Ним?

10:2. ...Не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься?

10:3. Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?

10:15. Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое.

13:22. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне.

10:21. ...Прежде нежели отойду — и уже не возвращусь...

Книга Иова

10:24. ...Долго ли Тебе держать нас в неведении? Если Ты Христос, скажи нам прямо.

Евангелие от Иоанна

Кто же обогатился... вселением в него Христа... тот по опыту знает, какую получил радость, какое сокровище имеет в сердце своем, беседуя с Богом, как друг с другом.

Святой Симеон Новый Богослов

ГЛАВА 1

1. «...только посплетничать. Без печальной ностальгической усмешки и вспомнить нельзя было, как лет десять-пятнадцать назад в пароксизмах вечного интеллигентского мазохизма пересказывали друг другу выпады юмористов: дескать, советские ученые на работу ходят только чай пить и в курилках болтать. Действительно, над кем было в ту пору еще издеваться юмористам: над нижним звеном торговых работников да над научными сотрудниками. Уж эти-то сдачи не дадут.

Да какая там сдача! Сами же чувствовали, что продуктивность низковата, надо бы работать побольше, но только вот система душит. Смешно сказать: совесть мучила! Ах, сколько времени уходит на писание сообразительств! Ах, каждый вин-

тик, каждую призмочку-клизмочку просто на коленях вымалывать приходится! Ах, с этим не откровенничай; определенно я, конечно, ничего не знаю, но поговаривают, он постукивает. Ах, бездарно день прошел, треп да треп; ну, ничего, завтра наверстаю... Теперь совесть мучить перестала. Недели вываливались, месяцы вываливались, как обесцененные медяки из прохуdivшегося кармана. Два часа до работы в переполненном, изредка ходящем, да два часа с работы, поэтому на работе — никак не больше пары часов, а то домой приедешь уже на ночь глядя. Покурили, чайку хлебнули, развеяли грусть-тоску, вот и день прошел.

Темы, в общем-то, не очень изменились; политика — обязательно («Ты за кого голосовал? Ты что, с ума сошел?!»); отвратительные перспективы жизни и работы — непременно, всегда с прихорхатыванием, как и в застойные времена; глупость дирекции и ее неспособность справиться с ситуацией — разумеется, как обычно. Когда дадут денег и какую долю от теоретически положенной получки эта подачка составит; вот это было внове, это было веяние времени. Кого где убили, или задавили, или ограбили, на худой конец; тут собеседники всегда начинали напоминать Малянову правдолюбцев из масс-медиа: кто пострашней историю оттараторил, тот и молодец, того и слушают, ахая и охая, и уж не вспоминается даже, что и менее страшные, и более страшные истории — как правило, правда. И еще — обязательно всплывало дурацкое воспоминание: запаршивленная, чадная, вся в тазах, скатерочках и бодро поющих невыключаемых репродукторах коммуналка на проспекте Карла Маркса города-героя Ленинграда, ее сумеречные, таинственно загроможденные коридоры, и в коридорах они, коммунальные пацаны, до школы еще, кажется; так хочется хвастаться чем-нибудь, гордиться, быть впереди хоть в чем-то — и вот угораздило Кольку ляпнуть: «А у нас вчера клоп с палец вылез из кровати...» Что тут началось! Все завелись: «А у нас во-от такой!», «А у нас — во такенный!!!» — и разводили, тшась потрясти друзей до глубины души, руки пошире, пошире, на сколько у кого плечишек хватало...

Кто с кем и как — это стало поменьше. Постарели. Темперamentу недоставало, чтобы реально с кем-то чем-то подавать поводы для сплетен, а из пальца высасывать не слишком получалось. Старались некоторые, женщины в основном, честно старались — но, хоть тресни, выходило неубедительно и

потому неувлекательно. Наверное, весь институт дорого дал бы тем, кто что-нибудь такое отколол бы да отмочил: развод ли какой громогласный, или пылкий адюльтер прямо на работе, под сенью старых спектроскопов; по гроб жизни были бы благодарны — но увы. А молодежь в институте не прирас- тала, молодежь талантливая нынче по ларькам расселась вся.

Да нет, не вся, конечно, умом Малянов это понимал, и на деле приходилось убеждаться иногда — но облегчения это не приносило. Как-то раз занесло его по служебной надобности в спецшколу при некоей Международной ассоциации содей- ствия развитию профессиональных навыков. Неприметная с виду типовая школа сталинских лет постройки на канале Гри- боедова. Пришел и через пять минут сладостно обалдел — будто вдруг домой вернулся. Интеллигентные, раскованные, компанейские учителя — просто-таки старшие товарищи, а не учителя. Детки — как из «Доживем до понедельника» како- го-нибудь, или из «Расписания на послезавтра», или, скажем, из стругачковских «Галких лебедей» — гнусного слова «бакс» и не слышно почти, только о духовном да об умном, все та- лантливые, все с чувством собственного достоинства, но без гонора... Сладкое обалдение длилось ровно до того момента, когда выяснилось, что в компьютерных классах даже для ма- лышатиков нет русскоязычных версий программ; вот на ан- глийском или на иврите — пожалуйста. И сразу понятно стало, что этих чуть не со всего города-героя Санкт-Петербурга вы- цеженных одаренных ребят уже здесь заблаговременно и явно готовят к жизни и работе там. Ребятишки увлеченно рассуж- дали о жидких кристаллах, о преодолении светового барьера, о том, что стремящаяся обратить любимого в собственность любовь — это не любовь, и не понимали еще, что страна, в которой они родились, их продала, продала с пеленок и, в об- щем-то, за бесценок. Такие дети такой стране были на фиг не нужны — и она толкнула их первому попавшемуся оптовику в числе прочего природного сырья. Никогда ничего Малянов не имел ни против иврита в частности, ни вообще против предпочитающих уезжать туда; но жуткое предчувствие того, что лет через пять-десять здесь не останется вообще уже ни души, кроме отчаявшихся не юрких работяг с красными фла- гами и мордатых ларьковых мерсеедов и вольводавов — ос- тальные либо вымрут, либо отвалят, — накатило так, что не-

сколько дней потом хотелось то ли плакать, то ли вешаться, то ли стрелять.

Больше всего, пожалуй, сплетничали о том, кто и как присосался к каким грантам и фондам. Тайны сии верхушка институтской администрации держала под семью замками, за семью печатями — но тем интенсивнее циркулировали версии и слухи. И, разумеется, здесь тоже действовало общее правило: кто погнуснее версию забабахает, тому и верят. Но ведь и впрямь: нередко за соседними столами сидели, как и многие годы до этого, люди одного и того же возраста, с одной и той же кандидатской степенью — но один теперь получал сто семьдесят тысяч в месяц, а другой — восемьсот. Получающие восемьсот изображали дикую активность, бегали взад-вперед как ошпаренные, сами зачем-то выкладывали на свои столы и не убрали неделями, а иногда даже и не распечатывали, какие-то зарубежные письма себе; те, кто получал сто семьдесят, пили чай и общались.

Мозги зарастали шерстью.

Порой, если никто не видел, Малянов доставал из ящиков свои бумажки — уж не с гениальным чем-то, разумеется, просто с недоделанными плановыми каракулями, которые еще пяток лет назад казались скучной рутинной и вдруг нечувствительным образом обернулись пределом мечтаний; дописывал одну-две цифирки, но тут же спохватывался: уже пора было спешить домой, иначе, как пройдет час «пик», автобусы-троллейбусы вообще, считай, ходить перестанут, до полуночи не доберешься — и, засовывая бумажки обратно, с тоской ощущал: никогда... уже никогда... Что — никогда? Он даже не пытался определить. Все — никогда.

Институт тонул и, как положено утопающему, бился, пускал пузыри. Ни с того ни с сего на парадных великокняжеских дверях, выходящих прямо на величавую невскую набережную, бывшую Английскую, бывшую Красного Флота, а теперь, наверное, опять Английскую, вызвездила, заслонив название института, вывеска «Сэлтон» — фирма, которая, как сразу начали недоуменно острить опупевшие астрономы, пудрит мозги не просто, а очень просто. Впрочем, директор немедленно заявил на честно собранном через пару дней общем собрании, что только благодаря этой субаренде администрация сможет выплачивать сотрудникам зарплату, иначе — кранты; государственное финансирование составляет в этом

году двадцать восемь процентов потребного и не покрывает даже тех сумм, которые институт должен вносить в городскую казну за аренду здания.

Какое-то время от «Мерседесов» и «Вольв» к дверям было не протолкнуться. По институту, всем своим видом резко отличаясь от растерянно веселых пожилых детей со степенями, деловито, но не суетливо, никогда не улыбаясь, заходили крутые и деловые, все — моложе тридцати. Таинственно возникали в коридорах, сразу ставших похожими на сумеречные и загадочные, как бразильская сельва, коридоры приснопамятной коммуналки, импортно упакованные ящики со всевозможной электроникой, оргтехникой, пес его еще знает чем; время от времени пробегал слушок, что часть этих драгоценных для любого ученого вещей пойдет институту, но ящики, постояв неделю-две, так и исчезали нераспакованными. На завтра на их месте возникали другие.

Потом этим другим стало не хватать места; они принялись возникать и в рабочих кабинетах, и в кабинете-музее великого Василия Струве, основателя Пулковской обсерватории — безвозвратно вытесняя оттуда как хоть и старое, но все равно единственно наличное и потому до зарезу нужное оборудование, так и, например, знаменитый письменный стол красного дерева, необозримый, словно теннисный корт, со всем его антикварным письменным прибором. Считалось, что именно за этим столом работал великий до переезда в Пулково. Сей стол вкупе с прочим верные академическим традициям подвижники уберегли и в революцию, и в блокаду — но наконец и он попал под колеса прогресса. Скорее, конечно, не под, а на. Куда эти колеса его увезли, на чью дачу, в чей офис — так и осталось невыясненным; ни одной мало-мальски достоверной сплетни Малянову услышать не довелось. Но, в конце концов, это была частность — по большому же счету почти сразу стало ясно, что институт превратился в перевалочную базу распределения чего-то интенсивнейшим образом раскрадываемого. Продолжалось это долго. Но как-то в ночь нераспакованные ящики в очередной раз полностью испарились, а на следующий день к вечеру полностью испарились «Мерседесы», роившиеся у подъезда. Субаренда исчерпала себя, осталась только быстро линявшая вывеска. Ни у кого руки не доходили ее скovyрнуть...

Последний пузырь назывался «Борьба с кометно-астеро-

идной опасностью». Какой Сорос-Шморос кинул несколько десятков миллионов долларов на это безумие, какая мафия свои кровные — то бишь кровавые — профиты отмывала, народ разошелся во мнениях. Достоверно выяснить удалось только то, что в международной программе по разработке методик предсказания и предотвращения кометно-астероидных ужасов участвует не только Россия, так что засветили сытные загранкомандировки за счет приглашающих сторон... Опять же осталось невыясненным — хотя версиям не было числа, — кто и как сумел на эту халяву выйти да еще настолько удачно к ней присосаться. Возбужденно хохоча и жестикулируя так, что едва не слетали чашки со столов, научные работники принялись измышлять и даже слегка инсценировать, каким именно образом станет происходить отваживание астероидов, буде они и впрямь вздумают таранить Землю. «Зам. по АХЧ в плаще со скорпионами вылезет на гору Синай и произнесет...» — «Да не на Синай, на Сумеру!» — «Точно! Прямо из Шамбалы как гаркнет: властью, данной мне обществами с весьма ограниченной ответственностью, повелеваю тебе, железоникелевая каменюка, — изыди!» — «А я могу рядышком с бубном плясать!» — «Зачем с бубном? Спляши с Эвелиной Марковной, и немедленно! От нее звону больше, чем от любого бубна...»

Рано возбудились. Назавтра выяснилось, что в разработках в рамках программы участвует не весь институт. Очень далеко не весь. Наоборот, всего лишь семь человек (по некоторым данным — восемь). Зато уж эти семь-восемь могли считать себя обеспеченными людьми лет на пять. Остальным в последний раз сунули после трехмесячного перерыва месячную зарплату и вышибли в бессрочный неоплачиваемый...

2. «...еще в ту пору, когда Иркина шутка «скоро получки будет хватать только на дорогу в институт и обратно» звучала все-таки как шутка. Но буквально за пару лет приработок стал заработком, а заработок — воспоминанием. Конечно, прекрасное знание научно-технического английского — не гарантия того, что сможешь выдавать на-гора один художественный перевод за другим, и они поначалу просили подстрочники; но боже ж ты мой, что это были за подстрочники! И, судя по книгам, заполонившим лотки, именно подобные сим подстрочникам тексты скороспелые издательства без колебаний

отправляли в набор. Поэтому скоро семейное предприятие Маляновых перестало опасаться того, что «не дотянет». Чрезвычайно редкими в наше время качествами — обязательно и добросовестностью, а также готовностью работать чуть ли не задаром, по демпинговым ценам — оно даже снискало некоторую известность в соответствующих кругах.

Долго приучались писать слово «Бог» с большой буквы. Бога теперь поминали все все, кому не лень, причем в переводах куда чаще, чем реально было в оригиналах, — а Малянов никак не мог преодолеть своей октябрятской закваски: дескать, если «бог», то еще куда ни шло, а уж ежели «Бог» — то явное мракобесие. В конце концов Ирка его перевоспитала совершенно убойным, вполне октябрятским доводом, от которого у любого попа, наверное, волосы бы дыбом встали, возопил бы поп: «Пиши, как хошь, но не святотатствуй!» «В конце концов, — сказала Ирка, держа дымящуюся сигарету где-то повыше уха, — почему, скажем, Гога писать с прописной можно, а Бог — нельзя? Чем Гога лучше Бога? Ну зовут их так!»

В подстрочники теперь заглядывали, только если хотелось от души посмеяться. «Ну-ка, ну-ка, — вдруг говорила Ирка, отрываясь от иностранной странички, — а что нам тут знаток пишет?» Она, похоже, женской пресловутой интуицией чуяла, где можно набрести на особенно забавное безобразие, и, порывшись несколько секунд в очередной неряшливой машинописи, с выражением зачитывала что-нибудь вроде: «Меня охватил невольный полусмешок. Из-под леса ясно слышались индивидуальные голоса собак и кошкоподобный кашель преследователя. Двигаясь на еще большей скорости, мой ум скользил по поверхности событий». С восторженным хохотом оба принимались воспроизводить все упомянутые звуки, при этом жестами изображая скользкий ум. Жесты иногда получались довольно неприличными, но, раз Бобка уже дрыхнет и не видит, они могли себе позволить почти по-стариковски поскабрезничать слегка; прошли, увы, прошли те времена, когда Ирка, чуть что, краснела до корней волос и прятала глаза.

Нахохотавшись всласть, вытерев проступившие в уголках глаз слезы, Ирка с неожиданно тяжелым вздохом страдальчески заключала: «Ох, ну и муть...» и закуривала — но через секунду не выдерживала: «А вот еще перл, смотри! Корабли пришельцев, крейсируя между везде и всюду...» Дальше прочитать не удавалось, потому что оба начинали хохотать снова,

и, давясь смехом и старательно грассируя, Малянов возглашал что-нибудь вроде: «Цар, а цар! Ты где? — Я здесь между тут!», или какую-нибудь иную подходящую к случаю реплику из еврейских анекдотов, которые во времена оны, семь геологических эпох назад, вдруг полюбил рассказывать Вайнгартен — видимо, как они сообразили много позже, наперекор судьбе тшась быть не евреем, а просто советским парнем. Они все учились тогда на третьем курсе, только на разных факультетах, а Израиль воевал с арабами... И анекдоты-то действительно, как правило, были смешными, и рассказывал их Валька, как правило, мастерски — если только не был сильно пьян, пьяный он делался занудным; и, скорее всего, он ни на волос не кривил душой, а действительно был, как и многие еврейские мальчишки той поры, стопроцентным советским парнем и, как умел, демонстрировал презрение к тому, что вместе со всем советским народом искренне считал плохим.

Он и в аэропорту, наклонившись к уху Малянова и жарко дыша многодневным перегаром — простался он с Россией так, что жутко делалось, казалось, человек умереть решил, — вполголоса отмочил что-то отчаянно антисемитское и великолепно смешное, но Малянов не запомнил, к сожалению, потому что чуть не плакал; отмочил, отхлебнул напоследок и, помахав волосатой лапой, вместе со Светкой и детьми убыл в Тель-Авив.

«А вот еще перл, слушай сюда! — восклицала Ирка, отсмеявшись и оббив о край пепельницы длинный мышинный хвост пепла с сигареты. И с выражением произносила: — Она волновалась, ждала, не верила... За обедом она наспех проглотила лишь несколько ложек!» — «Поутру, после первой ночи любви, из сортира долго доносилось ритмичное позвякивание», — уже от себя подхватывал Малянов. И они опять долго смеялись.

Потом организующее мужское начало брало верх. «Ладно, все, — говорил Малянов. — Надо работать». — «Надо так надо, — уныло отвечала Ирка, давя окурков посреди трухи предыдущих. — Работа делает свободным... Честное слово, лучше тачку в концлагере катать, чем перелопачивать эту муть». — «Читают... — неопределенно говорил Малянов. — И знаешь, не гневи Бога. Сидишь чистенькая, свет горит пока, и вода из крана пока течет, что еще нужно?» — «... Чтобы спокойно встретить старость...» — добавляла Ирка из «Белого солнца пусты-

ни». «Масло в холодильнике есть», — забивал Малянов последний гвоздь.

Это были еще цветочки. Ягодки начались, когда им стали очень по знакомству предлагать — а они, естественно, не отказывались, только спать становилось уже совсем некогда — тексты с совершенно им неизвестных языков. Например, с корейского. Баксы, блин. «Ну я не могу больше, — рыдающим голосом говорила Ирка. — Давай откажемся!» — «Спокуха на фэйсе! — бодро отвечал сидящий за машинкой Малянов. — Жрать хочешь? Бобке кроссовки нужны? Диктуй, шалава!» — «Диктовать? — язвительно переспрашивала Ирка, закуривая. — Пожалуйста! С удовольствием! — затягивалась. — Его голос стал объемнее, чем его мысль, и от этого немного странно сотрясаясь воздух в комнате. Только его глаза, невидные сквозь гнусное пространство, имели неописуемое выражение. Хоть и страдая немного, но с задорным выражением лица он продолжал: «Подумай о товарищах, с рассвета до заката работающих, пачкая кофем станки! Подумай об их бледных лицах, собранных на пыльных рабочих местах и работающих как мулы!» — «Ё!.. — озадаченно икал Малянов, но вовремя осекался. — Что, так и написано?» — «Так и написано». — «Кофем?» — «Кофем!» — «Какое гнусное пространство...» — задумчиво произносил Малянов, и вдруг, посмотрев друг на друга, они начинали дико хохотать. Буквально ржать, едва не валясь со стульев. «Может... — всхлипывая, выдавливала Ирка, — может... испачканный кофем станок... это у них в Сеуле... предел нищеты?»

«Кошмар, — удрученно произносил Малянов, отсмеявшись. — Что с русским языком делается...» — «Да уж, — с готовностью подхватывала Ирка; время ругани — время отдыха. — Даже дикторы, даже артисты уже не понимают, скажем, разницы между «надел» и «одел». Как скажет «одел калоши», так я сразу пытаюсь сообразить, что же он на них надел. Шляпу? Колготки?» — «Представляешь, если и в обратную сторону путать начнут? — начинал мечтать Малянов. — Про какого-нибудь заботливого банкира: он надевает жену с иголки!» — «Как жену надеваешь? — с хохотом подхватывала Ирка. — От Диора!» — «А рекламки эти в метро, обращала внимание? Дизайн, цвет, полиграфия... какие мощности задействованы, какие деньги угроханы — а «Кристалл» пишут с одним «л». — «Фирма «Ягуана» через «я», — подхватывала

Ирка. — Как будто в честь Бабы-яги, а не ящерицы игуаны». — «Да нет, — вдруг хихикал догадливый Малянов. — Это они так представляются. Лицо фирмы. Я, говорят, гуано. Гуано знаешь, что такое? Птичий помет, на чилийских островах добывают. Удобрение — пальчики оближешь, сам бы ел. По-испански гуано, а по-нашему говно. Так прямо сами и сообщают: я — говно. Ну и «а» на конце, поскольку фирма — женского рода. Я, говорят, — гуана».

И они опять смеялись.

«Ладно, — говорил Малянов потом. — Будем рассуждать логически. Что хотел сказать автор? Полагаю, что пыльные лица на рабочих местах вкальывают до потери пульса. До посинения. До седьмого пота, во! Кровь из носу капает на станки у них, а не кофей! Так и запишем. — И его пальцы начинали проворно плясать над рокочущей и лязгающей клавиатурой раздрыганный машинки. И он приговаривал: «От моих усилий тоже... несколько странно... сотрясается воздух в комнате... А интересно... сколько платят тому, кто нам... подготовил такой...» — «Ты не слишком далеко от оригинала отходишь?» — озабоченно спрашивала честная Ирка, заглядывая ему через плечо. «Ништо! — отвечал Малянов. — Думаешь, найдется идиот, который за те же деньги полезет сверяться с подлинником? Диктуй дальше!» Ирка оббивала сигарету и шустренько цапала следующую страницу, и лицо у нее вытягивалось. «Он думал, — упавшим голосом читала она, — что трава, колышущаяся по ветру за пригорком, одна трава — это трава целиком, а трава целиком — это одна трава. Если не так, думал он, то ему, имеющему только имя, нет причины умирать...» — «Ё!..» — икал Малянов. «Ну я не понимаю! — рыдающе восклицала Ирка. — Я вообще не понимаю, что хотел сказать автор! — Она вчитывалась еще раз. — ...Одна трава — это трава целиком... а трава целиком — это одна трава... Слушай, может, это связано с восточными философиями? Дзэн, синто... что там у них еще... дао... Может, Глухову позвонить? Как ты думаешь?» — «Я думаю одно, — отвечал Малянов, от обилия травы тоже несколько стервенея. — В пятницу мы должны сдать чистовой текст. Полностью. Иначе следующего заказа может вообще не быть. И так нам уже дают понять, что к их услугам теперь масса настоящих профессионалов. А насчет «не понимаю»... Великих авторов, — издевательски выговаривал он, — всегда понять трудно. Вот дай-ка сюда «Крейцеру»

сонату». Ирка представить не могла, зачем Малянову вдруг понадобилась «Крейцера соната», но послушно протягивала руку и снимала с полки графа Толстого. Малянов брал у нее том. «Помнишь суть? — спрашивал он, листая. — Он едет жену убивать из ревности... Ага, вот! — зачитывал: — «Страдания мои были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить». — «Что-о?! — чуть подождав продолжения, но поняв, что это конец фразы, обалдело переспрашивала Ирка, совершенно не ожидавшая от не читанного со школьных лет графа подобного подвоха. Мгновение они смотрели друг другу в глаза, потом опять взрывались. — Чертов извращенец! — выдавливала, задыхаясь от смеха, Ирка. — Ну и кончал бы себе на рельсы — женщину-то зачем ножиком? Ой, слушай, а может, и Анна Каренина под паровозом... того?..» И они опять очень долго смеялись.

Если не хохотать до упаду по крайней мере раз в десять минут, от унижения и тоски можно было спать...»

3. «...гда истина открылась ему, жизнь превратилась в ад.

Нет, не происходило никаких страшных чудес. Не происходило ничего, что можно было бы счесть характерно невероятным и конкретно остеречься, как когда-то. И он остерегался по максимуму: ни с кем не говорил, ничего не записывал, не пытался осмыслить и тем более привести в систему; он вообще старался на эту тему не думать. В сущности, он старался не думать вообще. Жизнь к этому располагала год от года все больше, что правда, то правда; но ведь совсем ампутировать мозги невозможно. Или приснится что-нибудь, или мыслишка невольная нет-нет да и мелькнет — пока успеешь ее выколлотить из башки, выдавить, как гной из чирья, и заменить на что-нибудь чистое, чисто бытовое, тоскливое, унылое, но безопасное...

Не смей! О чем угодно — о сроках сдачи очередной муры, о кроссовках, о путче, о гипертонии, о Бобкиных оценках, о деньгах, и еще о деньгах, и все время о деньгах; да мало ли тем! Не перечесать! Только не о главном!

Сначала он ничего не замечал. Потом делал вид, что не замечает. Потом долго убеждал себя, что замечать нечего. Потом издевался над собою: паранойя, старик, типичная пара-

нойя! Псих из пары ничего не значащих случайностей способен вывести железную закономерность и потом видеть ее проявления во всем! Кончай дурить, не ровен час, психушкой кончишь!

Не помогало.

Мелочи, мелочи, мелочи... Именно на него всегда наваливался в дороге какой-нибудь лыка не вяжущий, зловонный и агрессивный алкаш. Почти обязательно. В какое бы время ни перемещался Малянов по городу — утром ли, днем ли, вечером или совсем уж вечером — жди мурла.

В институтском буфете — пока в институте еще существовал буфет — ему всегда давали битый стакан. То колотый, то невероятным образом будто обгрызенный кем-то, то с длинной свежей трещиной от края до середины донца. Всегда.

Когда бы ни шел Малянов ко входу в собственный дом — или, наоборот, от входа, в узости проходного двора на него обязательно выворачивал грузовик; казалось, он целыми днями только и дежурит в ожидании, когда Малянов пройдет под арку, но грузовики были разные, то «КраЗ», то «КамАЗ», и уж во всяком случае разные у них были номера. И всякий раз нужно было швыряться в кирпичную стену, раскатываться блином по ней, тычась носом в гнусь и матершину, и гадать, заденет или нет. Пока не задевало. Но кто знает...

На почте ли, в кафе ли, в магазине — именно когда подходила его очередь, продавщица, или кто там еще, отворачивалась поговорить о чем-нибудь, вероятно, очень срочном, или вообще отлучалась, ни слова не сказав, в крайнем случае бросив: «Я на минутку...» — и могла отсутствовать десять, пятнадцать, двадцать минут. И уж, разумеется, именно к Малянову, честно и бессловесно оттрубившему эти пятнадцать-двадцать минут у окошка или прилавка, с железной неизбежностью обращались старики, старухи, увечные, больные и беременные с просительными голосами и требовательными глазами. «Я очень спешу». «Я очень плохо себя чувствую». «У меня дома мать при смерти». «У меня ребенок дома один». «Я вот-вот рожу». И, разумеется, ощущавший себя относительно молодым, относительно здоровым и абсолютно не беременным Малянов никогда не мог отказать.

Он перестал следить за собой, уныло ходил в старом, не-свежем и неглаженном — хотя был чистюлей и аккуратистом до мозга костей; эффектная красивая шмотка, надетая после

долгого перерыва или тем более впервые, радовала его, как ребенка или женщину, придавала уверенности, раскованности, даже подтянутости. Но именно с новым и чистым обязательно что-нибудь случалось. Единственного светлого пальто Малянов лишился, когда они с коллегой после очень серьезного ученого совета присели, устало доспоривая, на лавочку в саду напротив Адмиралтейства, морда к морде с Пржевальским, коллега закурил, и почти сразу здоровенный шмат сигареты — видимо, с каким-то бревном внутри — дымя, обвалился на Малянова; насквозь не прожог, но мигом выел здоровенное черное пятно в благородной ткани, на самом видном месте. В купленном позапрошлым летом с напряжением всех финансовых ресурсов семьи костюме Малянов, страшно гордый обновой, даже доехать никуда не успел; уже на спуске в метро стоявшая на эскалаторе ступенькой выше молодая туристическая чета принялась что-то спешно переключивать друг у друга в рюкзаках — и отоварила Малянова целым термосом крепкого горячего чая. Дружелюбно хохоча без тени смущения, парень хлопнул ошпаренного Малянова по плечу, над которым еще курился пар, и сказал: «Ну, бывай! Смотри, не злись! Нам тоже чаю жалко». А Ирка, как ни билась, так и не смогла отстирать потеки и разводы...

В мае девяносто третьего, в ту пору, когда прогулка за город на электричке еще не была фатально по месячному бюджету, Малянов отправился погулять часика три в Комарово — ему лучше всего думалось именно на ходу, и именно в безлюдном лесу. Май был сухой, жаркий, и уже в десяти минутах ходьбы от платформы, на границе поселка, Малянов наткнулся на, что называется, очаг возгорания. С шипением и треском по сухой хвое, подбираясь к сосенкам, проворно ползло дымное, пахучее пламя. Очажок поначалу был размером с таз, не больше, но у Малянова совершенно ничего не оказалось с собой — сложенный вчетверо лист бумаги да шариковая ручка, взятые на всякий случай. Начал затапывать, прожог единственные кроссовки, попробовал забивать веткой; дым въедался в глаза, мигом спалило ресницы и брови — и, главное, очажок, несмотря на все усилия, медленно расширялся. Мимо, старательно глядя в сторону, прошла женщина средних лет; потом, оживленно беседуя, прокатили на велосипедах три дюжих недоросля («А он тогда, бля, ей и говорит, бля: ты, себе...»). Но добила Малянова молодая мама с ведомым за руч-

ку сыном лет шести; некоторое время они, остановившись, вместе наблюдали, как Малянов пляшет посреди костра, а потом ребенок с восторгом сообщил: «Смотри, мама, дядя лес поджег!» — «Ну что ж, бывает, — отвечала мама. — Наверное, дядя неаккуратный: курил, бросил спичку...» Малянов плюнул и, размахивая закопченными штанинами, решительно пошел своей дорогой: да горите вы тут все синим пламенем! Пройдя метров двадцать, обернулся. Мама с сыном стояли на месте, глядя ему вслед, а огонь погас. Весь. Сам собой.

Никогда ему не обламывалось ничего из время от времени выгрызаемых институтом из вышестоящих инстанций грантов и прочих хаяв. Хотя об этом то и дело заходил разговор и на секторе, и непосредственно в дирекции («Как же можно вести эту программу без Дмитрия Алексеевича?!»), в конечном счете он всегда по тем или иным причинам, или вообще без причин, вылетал. Впрочем, участвовать-то ему чуть ли не ежедневно предлагали — там, где надо было попахать за так. Говоря по-одесски, «на шару» — если верить Бобке, конечно, который в то страшное лето отдыхал в ныне иностранном городе-герое Одессе под присмотром Иркиной мамы и, несмотря на нежный возраст, нахватал прорву аппетитнейших словечек, прежде чем надолго замолчать. Смешно, стыдно, но еще года три-четыре назад Малянов соглашался на все подобные предложения — только в последнее время раскрепощающе осатанел. Но все равно ему посмеивались в спину, и он прекрасно это знал и чувствовал. На заседаниях шеф отделывался сладкими частушками типа: «Каждая новая работа Дмитрия Алексеевича — это пусть и не всегда большое, но настоящее открытие...» Так и хотелось с пролетарской прямоотой гаркнуть: «Спасибо в стакане не булькает!» Но это было бессмысленно, и Малянов лишь интеллигентно смущался и бубнил: «Ну что вы...» Собственно, при социализме была та же подлянка, ничего не изменилось — кроме одного: при социализме можно было быть энтузиастом-бессребреником, таким Саней Приваловым, у которого понедельник начинается в субботу, потому что на зарплату можно было прожить.

Конечно, с умным видом отмахиваться от астероидов и кататься под это дело на международные симпозиумы за покупками — в баксовом исчислении там, говорят, все теперь оказалось сильно дешевле, чем здесь, — было не менее отвратительно, чем пачкать кофем станки. Но, по крайней мере,

высасывать из пальца пришлось бы не тусклые сугробы кириллицы, а стройные, жесткие, цепкие цифры, выверенный и надежный танец формул — так танцуют, металлически отсверкивая, хорошо пригнанные детали в работающем двигателе. Языком молоть пришлось бы про небо, про небо!..

Если Малянов пытался чего-то добиться — именно это у него и не получалось. Нельзя сказать, что у него вообще уж ничего не получалось — нет, получалось что-то, иначе он давно бы с голоду сдох и семью уморил; но получалось как бы невзначай, получалось лишь то, к чему он был равнодушен, то, чего он, в сущности, не хотел. А стоило захотеть чего-то — пиши пропало. Самые нелепые обстоятельства, самые идиотские случайности вступали в игру.

Если ему вдруг предлагали нечто заманчивое или хотя бы просто выгодное, он равнодушно и привычно благодарил, заранее наверняка зная, что ни черта не получится; и действительно, проходила неделя, или две, или три, и хорошо еще, если предлагавшие имели совесть позвонить и извиниться, сославшись на внезапные мор, глад и падение Луны — как правило же они просто исчезали, и пытаться их вызвонить было делом абсолютно бесполезным. А если и вызвонишь — снова пообещают по-быстрому и снова исчезнут. И он ясно чувствовал: на него же и обиделись за то, что он так бестактно напомнил о собственном существовании.

Постепенно он, когда-то переполненный энергией, лихо и удачливо бравшийся за двадцать дел сразу, совершенно обессилел. Сделалось почти невозможно заставить себя хоть за что-нибудь взяться — за стирку ли носков, за статью ли. То, что ему велели делать обстоятельства — в Иркином лице, в Бобкином, в лице заказчика или институтского начальства, — он еще как-то делал с грехом пополам, ощущая себя при этом постоянным каторжником — ни к чему не лежала душа, все исключительно на чувстве долга. Но творить по собственному почину — о нет, слуга покорный! Только попусту тратить время и силы, которых и на исполнение долга-то уж почти не хватает... Все равно ведь не получится.

А и получится — усилий потратишь вдесятеро против того, что понадобились бы кому другому, а результата добьешься вдесятеро меньшего, чем добился бы на твоём месте любой первый встречный... Надрываться и срамиться только. Срамиться и надрываться.

И уже ничего не хотелось. Совсем ничего.

Даже с самыми близкими стало муторно. То есть разговаривал, конечно, смеялся, обсуждал телесериалы, и покупки, и выборы, но все словно чей-то приказ выполнял. Приказ крайне трудоемкий и абсолютно бессмысленный. Втолковывал что-то Бобке, а сам думал: «Да плевать ему на мои речи, в одно ухо впустит, в другое выпустит и сделает по-своему». Обнимал на сон грядущий Ирку, но сам уже не ощущал ни радости, ни желания, и лишь в башке гвоздило: «Не сможешь ты ее порадовать, не сможешь. Надрываться и срамиться только». Если Ирка вела себя тихонько, он будто того и ждал: «Видишь? Не получается, она ничего не чувствует». Но стоило ей застонать, душу кусал другой ядовитый зуб, еще длиннее и острее: «Бедная... притворяется мне в угоду, подбодрить старается... Ох нет, не надо было и начинать».

Ирка, ощутив неладное, поначалу как-то пыталась ему помочь; вдруг, будто в первые годы, принялась то и дело говорить всякие нежности и лестности; на последние гроши купила себе бельишко пособлазнительнее; на диету села, чтобы фигуру поправить; без единого слова с его стороны такие ласки измыслила и взяла на вооружение, что... А что? Только хуже стало, вот что. И она отступилась. Наверное, решила — сточился мужик, и против природы не попрешь; на нет и суда нет. Рогов вроде не наставила — хотя, будь она лет на десять помоложе, наставила бы обязательно, Малянов отчетливо это понимал, — а только налегла с горя на сладости. К весне ее было не узнать, килограммов на семь разнесло.

Только однажды она сорвалась. Малянов в очередной, не вспомнить который по счету, раз попытался уговорить ее бросить курить или хотя бы ограничиваться как-то — с полминуты она угрюмо слушала его разумные мягкие доводы, потом дико зыркнула из-под белобрысой челки и процедила почти ненавидяще: «В жизни и так радостей не осталось — ты меня хочешь последней лишить?»

Два часа они не разговаривали. Потом — деваться некуда, дело к полуночи, сроки поджигают — уселись работать. А там — опять же деваться некуда. Через пятнадцать минут хохотали.

Этот поведенческий ступор, этот мерзостный душевный паралич можно было, конечно, объяснить вполне естественными причинами. Вполне можно — и это было самым ужас-

ным, потому что Малянов ничего не мог сказать наверняка. Давление это — или просто жизнь так складывается, она, дескать, и у других нынче не сахар, и надо просто почаще смеяться? Непонятно. Он не знал. Но преследовало изматывающее чувство, будто там, наверху, нарочно почаще дают ему понять, что все про него известно — и поэтому он день и ночь под прицелом; стоит лишь совершить неверный шаг, расслабиться на секунду, сказать хоть слово вслух или просто подумать лишнее, как... Что — как? Этого он тоже не мог знать.

Пятьдесят на пятьдесят, что ударят не по нему, а по Ирке или Бобке. Так уже было. Страх за них сделался навязчивым кошмаром; Малянову даже сны снились соответственные — и он то и дело кричал теперь во сне.

Стоило Бобке простудиться или загулять за полночь с приятелями, не предупредив; стоило Ирке подцепить грипп или пожаловаться на печенку; стоило Бобкиной классной вкати́ть ему не очень-то заслуженную тройку и пригрозить снизить оценку в аттестате, как Малянов схватывался: что я на-творил? как? когда? Он, будто заведенный, делал все, что должен был — бегал в аптеку, названивал Бобкиным приятелям, читал сыну нотации, дарил директору школы коньяк на двадцать третье февраля и завучихе торт на восьмое марта, а по ночам валялся без сна: я это или нет? моя вина или это естественным образом произошло? И перебирал, перебирал, словно возненавидевший свое золото, но по-прежнему намертво к нему прикованный скупой рыцарь, собственные поступки, слова, мысли, пытаюсь понять наконец: я или не я?

Все начинало выглядеть как жуткий, предельный эгоизм, все и на самом деле выворачивалось отвратительным эгоизмом, потому что у Малянова ни мыслей, ни чувств уже недоставало ни на что, кроме: я или нет? А если я — то чем?

Но не было ответов. Ни одного.

Если бы вдруг из сиденья в задницу вломился молниеносный кипарис, если бы из-под дивана полезли бородатые урюмые комары величиной с собаку или по крайней мере во такенные клопы, стало бы легче. Однозначное срабатывание обратных связей — что может быть приятнее для души и полезнее для коррекции поведения? Но подобных подарков ему не делали. Просто болезнь. Просто неудача. Просто еще одна болезнь и еще одна неудача. Просто вьюнош Бобка в очередной раз отчудил. Просто Ирка курит и кашляет все больше.

Ничего определенного. Никаких доказательств — ни за, ни против; и только распухшая от нескончаемых ударов, превратившаяся в один громадный кровоподтек совесть тахикардически молотила в ребра: не уберег. Не уберег. Не уберег. Опять не уберег.

Ничего не осталось — только тревога, бессилие и смертельная уста...»

4. «...из-за закрытой двери. Но, говоря всерьез, разве это были двери? И разве это были стены? Ширмочки невесомые. И, если уж на то пошло, разве это были комнаты? Прекрасная фраза где-то у Лема есть: места в ракете хватало только на то, чтобы широко улыбнуться. Вот мы в этой ракете и летим всю жизнь и занимаемся именно тем, на что в ней хватает места. Кто же и куда нас запустил?

Впрочем, это-то как раз я знаю. Вопрос — зачем?

— Мам, ну почему так уж сразу в горячую? — виновато пробасил Бобка.

— Потому что других точек для нас в стране нет! — отчаянно крикнула Ирка. — Понимаешь? Нет!

Бобка молчал. Малянов перестал дышать, и дюдик окаменел у него в руках.

— Господи!.. — похоже, Ирку прорвало. Случалось это редко — но уж если случалось... — Растись, растишь, ночей не спишь — ведь ни одна же сволочь не поможет, наоборот... В поликлинику сходить, врача вызвать — и то с работы отпрашиваться каждый раз... а там рожи, рожи!! Если у вас такое трудное положение, вам следовало бы повременить с ребенком... — передразнила она злобно. Кому-то она пятнадцать лет этой фразы простить не могла; Малянов не знал кому. — А вырос — оказывается, и ты им должен, и ребенок твой им должен! Иди сюда, мы тебя на смерть пошлем! А потом начнем извиняться перед теми, кто тебя убил: ах, ошибочка вышла, мы хорошие, не оккупанты мы... Мы вам сей секунд еще два завода бесплатно построим — только вы уж убивайте нас поменьше, пока строим...

— И где бы ни жил я, и что бы ни делал — пред Родиной вечно в долгу... — примирительно пропел Бобка. Сфальшивил. Впрочем, вообще странно — где он мог это слышать?

— Ну ты что — совсем дурачок?

— Да я все понимаю, мам.

— А что у нас на взятки денег нет и никогда не будет, это ты понимаешь?

— Исессино.

— Тогда заруби на носу: чтобы по этим предметам даже четверок у тебя в оставшиеся полгода не было ни единой! Только пятаки! Усвоил?

— Йес.

— Это хоть какой-то шанс...

— Йес.

— Еще по комитетам матерей я не бегала!

— И не будешь.

Малянов отложил леди Агату. Аккуратно снял с колен горячего и мягкого, сразу недовольно заурчавшего Каляма и встал. Бодро распахнул дверь в Бобкину комнату:

— Что у вас тут за базар? Телевизор включайте скорее, сейчас смехопанорама начнется. Выходной нынче али нет?

Бобка, обернувшись, растерянno хлопнул ясными глазами. Ирка прятала лицо.

— Еще сорок минут почти, пап...

— Правда? Значит, я опять перепутал.

И тогда Ирка...»

ГЛАВА 2

5. «...много лет назад стали ритуалом. И, как всякий ритуал, давно обросли репликами, жестами и гримасами почти обязательными; во всяком случае, если какую-то из них не удавалось применить и обыграть, оставалось от прошедшего вечера чувство неудовлетворенности, чувство — неприятнейшее для людей дела, даже если они в данный момент отдыхают — чего-то недоделанного. Однако, с другой стороны, совсем уж искусственное вдавливание устоявшихся и полюбившихся деталей ритуала в естественный ход вечерних событий вызывало ощущения, прямо противоположные желаемым. Делалось неловко и даже как бы стыдно. Будто громко рыгнул. Будто опрокинул ведро с помоями на красивый дорогой ковер. Будто сломал любимую игрушку друга.

Но зато к месту вспомненная и употребленная ритуальная реплика доставляла обоим ни с чем не сравнимое удовольст-

вие. Даже трудно описать его. Чувство было сродни чувству покоя, чувству дома, чувству уверенности в завтрашнем дне. На сердце делалось легче.

Например, если кто-то делал неожиданный ход, в ответ было очень хорошо с задумчивостью затянуть, глядя на доску: «Вот хтой-то с го-орочки спустился...» Если и впрямь получалось в точку, сделавший ход партнер мог подхватить со второй или с третьей строки, и тогда уже оба хором дотягивали: «Он-на с ума меня сведет...» И смеялись.

Самому же делающему резкий ход, явно долженствующий обострить ситуацию непредсказуемым образом — как правило, такие ходы предварительно обдумывались столь долго, что противник успевал сообразить, какой именно выпад назревает, и поэтому ждал, изнывая: ну, давай же, наконец! — следовало, взявшись за фигуру и подняв ее, громко и решительно сказать: «Если вино налито, его следует выпить!» И поставить со стуком на новое место.

И смеялись.

Еще очень неплохо было цитировать фрау Заурих из «Семнадцати мгновений»: «Я сейчас буду играть защиту Каро-Канн, только вы мне не мешайте». Это действительно было очень забавно и очень по-домашнему. Как правило, реплика доставалась Малянову, потому что он играл слабее. Маленький уютный Глухов немедленно оттопыривал челюсть, изображая умное и волевое лицо Штирлица, и задушевно сообщал, цитируя тот же фильм: «Из всех людей на свете я больше всего люблю стариков, — и ласково гладил себя по лысине, — и детей», — и делал широкий жест в сторону начавшего сесть Малянова.

Как правило, получалось смешно.

Малянов играл слабее и не любил окончаний партий — чем бы партии ни оканчивались. Если выигрывал Глухов, ему становилось неприятно от того, что он такой дурак и опять лопухнулся. Если же Глухов проигрывал — иногда бывало и такое все же, — Малянову тоже становилось неприятно. Возникало у него смутное ощущение собственной нечестности, непорядочности — будто он, сам того не желая, смухлевал; ведь выиграть должен был Глухов, он же лучше играет!

Малянову нравился сам процесс. Ненапряженное, неторопливое — они никогда не играли с часами — общение; доска позволяла молчать, если говорить не хотелось или в дан-

ный момент было не о чем, и в то же время совершенно не препятствовала беседе, если вдруг проскакивала некая искра и посреди игры возникало желание что-то рассказать или обсудить. Ни малейшей светскости, ни малейшей принужденности — посвистывая себе сквозь зубы, перебирая освященные временем шутки, за каждой из которых на невесомых крылышках прилетают целые сонмы воспоминаний и ассоциаций, прихлебывая чаек и не пытаясь выдавить из мозгов больше, чем в них есть...

Но на этот раз все получилось несколько иначе.

У Глухова было сумеречно, как всегда. Горела верхняя люстра, и горел у столика торшер — но углы терялись, и терялись в далеком темном припотолочье стеллажи с книгами и всевозможными восточными бонбошками. Но все равно видно было, сколько на них пыли; цветная бумага фонариков стала одинаково серой. Лупоглазые нэцкэ немо глядели сверху на бродящих по дну квартиры людей.

Под висящим на выцветших обоях ксилографическим оттиском надписи, сделанной знаменитым каллиграфом династии то ли Сун, то ли Мин, звали его вроде бы Ма Дэ-чжао, а может, Су Дун-по — говоря по совести, Малянов терпеть не мог всего этого восточного мяуканья и пуканья и толком никогда не мог ничего запомнить; значили эти четыре здоровенные закорюки «Зал, соседствующий с добродетелью», но уж как это произносится, пардон! — на журнальном столике, втиснутом между двумя обращенными друг к другу продавленными, наверное, еще до войны кожаными креслами, вместо обычной доски с уже расставленными к маляновскому приходу фигурами стояли блюдо с миниатюрными бутербродами, две изрядные стопки и непочатая бутылка водки.

Глухов за те пять недель, что они не виделись, казалось, рывком одряхлел. Руки он прятал в карманах длинной, сильно протершейся на локтях кофты с красиво завязанным на пузе поясом, но, когда они обменивались рукопожатием, Малянов почувствовал, что пальцы у Глухова ледяные. И кажется, дрожат.

— Добрый вечер, Дима, — сказал Глухов сипловато. — У меня есть мысль, подкупающая своей новизной: давайте-ка сегодня всосем со скворчанием. А? Как вам?

Малянов совсем разлюбил теперь это дело. Во времена оны добрая толика доброго вина или водчонки были очень

неплохи для раскрепощения фантазии и любви. Становилось горячо, весело, ярко и цветно, и ничто не мешало и не давило, и опять казалось, будто лучшее впереди. Нынче раскрепощать стало нечего. А пить, чтобы просто забыться, было в самом прямом смысле опасно — до какого-то момента еще контролируешь себя, а потом уже ни за что не хочется вновь вспоминать, на каком ты свете; и тогда можно выпить море.

— Ну, если по граммულке, — уклончиво сказал Малянов.

Но Глухов, видимо, в душе уже настроился.

— Разумеется, по граммулке! — ответил он с подозрительной готовностью и дрожащими — теперь это ясно было видно — пальцами в два ловких движения сорвал с бутылки пробку.

— У вас что-то случилось? — осторожно спросил Малянов, подходя к столу.

— У нас у всех случилось одно и то же, — ответил Глухов невнятно — он сосредоточенно разливал. — Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Дмитрий! Что вы, как не родной...

Малянов утвердился на разноголосе поюшем, бутристом внутри себя сиденье. Глухов сел напротив. Кресло явно было ему велико; Малянову вечно представлялось, как Глухов, такой же маленький, как теперь, но розовый и невинный, яко ангелок, весь в аккуратных и ухоженных белокурых локонах, в матроске а-ля невинно убиенный цесаревич сидит, подобрав под себя ножки, в этом самом кресле и запоем читает в подлиннике «Повесть о Гэндзи» — а в соседней комнате папá, потрясая газетой, с первой страницы которой тяжело свешивается аршинно набранное восторженное, долгожданное «Война объявлена!!!», горячо обсуждает с мамá перспективы наступления Самсонова в Восточной Пруссии...

— Не отравимся? — спросил Малянов.

Глухов понюхал из горлышка.

— Шут его знает... вроде не должны.

Всосали по первой; Глухов и впрямь коротко заскворчал, а потом потянулся к бутербродам, взял один и шумно понюхал ломтик ветчины. Горячий гладкий сгусток медленно путешествовал по внутренностям Малянова и завис в животе, приятно согревая, как зависшее в зените полуденное солнце. Хорошо, что дома пообедал, не так развезет, подумал Малянов.

— А давайте, чтоб не частить, поиграем все же, — сказал

Глухов, кладя обнюханный, но даже не надкушенный бутерброд обратно.

— Я тверезый-то плохо помню, куда какая лошадь ходит, — ответил Малянов.

— А тогда знаете что? Давайте поиграем в кости.

— В кости?

— Я вас научу. Это просто. Вы азартный человек?

— Не знаю... Наверное, теперь уже нет.

— Не беда. Зато вам, как ученому, весьма не чуждому математики, будет интересно. Игра вероятностей!

Он поднялся; сутулясь, побрел к необозримому книжному шкафу, уставленному разноразными фолиантами так плотно, что часть их вынуждена была пачками лечь на полу рядом. На одном японском их было штук пятьсот, и почти все оттиснутые на их корешках названия начинались с иероглифов «Нихон» — «Япония»; эти-то два за годы общения Малянов волей-неволей все же запомнил. «Нихон», а дальше дурацкий, в отличие от всегда имеющих индивидуальность заковыристых иероглифов, совершенно безликий грамматический значок «но», обозначающий, как объяснял Глухов, притяжательный падеж или нечто в этом роде: «японская» чего-то, и «японская» еще чего-то, и рядом «японская» чего-нибудь...

— Как это там у вас? — приговаривал Глухов, роясь в выдвигаемых один за другим битком набитых ящиках. — Теория множеств... теория игр... ага, вот! — Он нашел, что искал. Шумно вбил на место последний ящик и пошел назад, неся в руках изящную лаковую шкатулочку, лист бумаги, расчерченный под таблицу заранее, бог весть сколько часов или лет назад, и карманный калькулятор. Длинные концы некогда мохнатого, но сильно облысевшего пояса мотались из стороны в сторону. Граммумка уже делала свое дело: морщинистые запавшие щеки Глухова приобрели живой оттенок, и глаза заблестели. — Это просто, вы в пять секунд освоите. Только мы сначала еще всосем.

Всосали. Малянов зажевал, Глухов занюхал.

— Вы бы закусил, Владлен, — просительно сказал Малянов. — Протухнет ветчинка-то.

Глухов только мотнул головой, решительно отказываясь.

— Вы ешьте, Дмитрий. Я, собственно, для вас... По мне — либо есть, либо пить, вы же знаете. — Он аккуратно вытряхнул на стол из шкатулочки шесть увесистых кубиков. — Когда

и ешь, и пьешь, то только тяжелеешь, а полету и в помине нет. Зря и еда расходуется, и питье... — Ребром ладони отодвинув чуть в сторону калькулятор, расправил лист с таблицей. Почему-то счел своим долгом пояснить: — А машинку мне Икеда Он подарил в восемьдесят шестом... — Видимо, калькулятор имелся в виду. Чувствовалось, что Глухов уже легонечко поплыл. — Великий японский синолог, медиевист. Он в тот год приезжал к нам сюда, летом... — Вскинул на Малянова ясные, молодые, но лихорадочно пылающие глаза и вдруг скривился: — Милостыня, да. Гуманитарная помощь. Ну-с, приступим!

Оказалось действительно просто. Думать почти не надо, главное — решиться на то или это, а дальше как повезет. Конечно, названия фигур поначалу путались: «малый фул», «большой фул», «стрит», «каре», «десперада»... С некоторой опаской Малянов ждал, как поведет себя то, наверху — ведь везение, столь необходимое именно в подобной игре, и горный присмотр несовместимы. Ничего не смог заметить.

Скоро Малянов почувствовал, что метание приятно тяжеленьких кубиков, дробно постукивающих ребрами по столу, и аккуратное записывание очков — здесь тоже давний ритуал, обросший фразами и гримасами задолго до него, Малянова. Явно, например, выбросив удачно «генерала» — шесть шестерок из шести, — надо было, как Антуан в «Беге», громко возгласить: «Женераль Чарнота!» А если вместо шестерок при попытках выбросить именно «генерала» шла какая-нибудь дребедень, нужно было, с презрением глядя на нее, говорить: «Ага! Это он, я узнаю его — в бл-л-людечках-очках спасательных кругов!», обязательно акцентируя «бл», будто хочешь выругаться. Глухов священнодействовал. Он тряс кости перед броском так, словно ласкал их. Он собирал их со стола в ладонь так, словно это были ушедшие годы. Очевидно, он не с Маляновым играл, он вообще не играл — он вспоминал...

Малянов ощутил себя чужим.

Он хлопнул стопку без закуси.

Постепенно, к его удивлению, игра взяла его в оборот — он начал волноваться. Всерьез вскрикивал, если Глухову слишком уж везло, всерьез злился на кости, если они упрямылись, всерьез радовался, когда легко и быстро выпадал желаемый расклад.

Они всосали еще. В голове у Малянова зашумело; он стал

вскрикивать чаще и громче. Глухов с хмельной улыбкой озорно погрозил ему пальцем:

— А ты азарт, Парамон!

Малянов выиграл.

Отдуваясь, он откинулся на кочковатую спинку кресла, потом опять наклонился вперед, потянулся к бутылке, чтобы налить еще по одной, — и тут обнаружил, что зелье кончилось.

— Реванш! — громко сказал Глухов. — Хочу реванш! Имею право!

— Впер-ред! — согласился Малянов.

— Но нужно взять еще.

— Точно? — засомневался Малянов, однако больше для вида; на самом деле он тоже начал подумывать, что нужно взять еще. — Абсолютно точно.

— У меня тысяч семь есть.

— Дмитрий, не обижайте старика. Я сегодня банкую.

— Почему?

— По хочу. Ну, айда?

— Дождь начался. Слышите — шумит.

— Тут недалеко до ларьков, пять минут. Не растаем!

Не зажигая света в длинной прихожей — падавшего в дверь из комнаты хватало, — они, то и дело задевая друг друга плечами и локтями, набросили плащи, обулись в уличное. Положив руку на замок, Глухов вдруг остекленел на несколько секунд, потом повернулся к стоявшему позади Малянову, задрал белое лицо и, едва не касаясь губами маляновского подбородка, громко и горячо дыша, свистящим шепотом сообщил, как сообщают страшные тайны:

— Востоковедению — тоже конец!

Малянов опешил:

— Что такое?

— Дур-рацкие вопросы вы задаете, Дмитрий! — Глухов отвернулся и попробовал открыть замок. Замок упрямылся. — Не хочет... — невнятно пробормотал Глухов. — Не пускает... Никто никуда нас не пускает! Зачем свет человеку, путь которого закрыт? — Он остервенело принялся дергать замок.

— Дайте, Владлен, я попробую.

Глухов неожиданно согласился.

— Попробуйте... — тихо и смиренно произнес он, отодвигаясь. Дверь открылась безо всякого труда.

— Ключ мы не забыли? — спросил Глухов и тут же сам ответил, сунув руку в карман плаща: — Конечно, нет, вот он. — Опять повернулся к Малянову: — Мне-то что? У меня пенсия, и я один. А вот наши так называемые молодые... те, кому по тридцать пять — сорок... Переучиваться поздно, до пенсии не дотянуть, дети — мелюзга, зарабатывать начнут не скоро. Ужас. Конец, Дмитрий, конец!

На лестнице их вдруг скачком развезло. Ступеньки повели себя непредсказуемо. Сначала Малянов, потом Глухов едва не сверзились; с хохотом спасали один другого попеременно. Под косо летящий из темноты дождь они вывалились обнявшись, громко и слаженно декламируя:

Соловьи на кипарисах и над озером луна.

Камень черный, камень белый, много выпил я вина.

Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего:

«Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!»

Черная вода в канале Круштейна мелко и нескончаемо трескалась; низкое, истекающее колкой водой небо было угрожающе подсвечено оранжево-красным. Гроыхали мимо машины, скача на шербоatom асфальте и кидая в стороны невеселые фонтаны.

— Я бродяга и трушобник, непутевый человек. Все, чему я научился, все теперь забыл навек. Ради... пара-ра-ра одного... одного чего? Дмитрий, не помните?..

— Розовой усмешки и на...

— Напева, точно!

Хорошо, что оба любили Гумилева.

Ради розовой усмешки и напева одного:

«Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!»

На площади Бездельников — бывшей Благовещенской, бывшей Труда, теперь, наверное, опять Благовещенской, но все равно всегда Бездельников — призывно сияли ларьки, цветные от бесчисленных бутылок; издалека, да вечером, да сквозь дождь, они казались радостными россыпями стекляшек в калейдоскопе.

— Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья. О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя? И кричит из ямы череп тайну гроба своего: «Мир лишь луч от лика друга, все иное — тень его!»

Пришли.

— Давайте в банке. Говорят, в банках безопасней.

— Мне все равно. В банке так в банке. Главное — побольше.

— Одну.

— Не вайте дурака, Дмитрий. Еще раз бежать придется.

— Одну.

— Две.

— Одну.

— Разучилась пить современная молодежь! А ведь это был лучший из них! — а-ля Атос сказал Глухов сокрушенно и добавил уже совершенно по-нашему: — Две!

— Каждый знает, что последняя бутылка оказывается лишней, но никто не знает, какая бутылка оказывается последней, — сказал Малянов.

— Черт с вами. Одну так одну.

— «Петров»?

— Вот эту!

— Может, «Аврору»? Гляньте на ценники.

— Никогда не думал, Дмитрий, что вы мелочный человек!

Малянов наклонился к окошечку:

— Хозяин, баночку...

Торопливо, горстью, выдернув из кармана плаща мятые тысячи, Глухов с неожиданной силой отпихнул Малянова мощным плечиком. Крикнул продавцу:

— Две!

— Дуба не дайте с натуги, отцы! — с насмешливой заботой сказал крепкий, как десантник, парень внутри.

— Будь спок, — ответил Малянов, принимая банки и рассовывая их по карманам.

Уворачиваясь от машин, они перебежали площадь. Плащи отсырели, стали зябкими и тяжелыми. На углу Глухов остановился.

— Надо было три брать.

Малянов взял его за локоть.

— Ну я сбегаю, если что, — мягко сказал он.

— Но плачу я!

— Да что у вас случилось такое, Владлен?

Глухов мотнул головой и подозрительно уставился Малянову в лицо. Помедлил, тяжело и часто дыша. Назидательно поднял палец.

— Как учил Конфуций... или не Конфуций?..

Он задумался. Потом вдруг громко и торжественно промывал с какими-то невероятными, но очень вескими интонациями, одни гласные протягивая, другие обрывая резко. Чувствовалось, это доставляет ему удовольствие.

— Ши чжи цзэ и-и и вэй шэнь! Ши луань цзэ и-и шэнь вэй и!

Две шедшие мимо размалеванные девчонки в клевых прикидах испуганно шарахнулись.

Глухов опять поднял палец:

— Когда в мире царит порядок... «чжи» значит «благоустроить», «упорядочивать», «излечивать» даже... соблюдение моральных обязанностей... «и» обычно переводится как «долг», «справедливость» — в общем, все то, что человек делает под давлением императивов морали... соблюдение моральных обязанностей оберегает личность. Но когда в мире царит хаос — личность оберегает соблюдение моральных обязанностей!

Интересная мысль, подумал Малянов. Холодный душ на ветру подлечил его, тротуар перестал колыхаться. И формулировка блистательная, почти математической четкости. Надо будет обдумать на трезвую голову. Только запомнить бы...

— Понимаете, Дмитрий? Не папки свои бумажные, черт с ними, с папками... Соблюдение моральных обязанностей! Вопреки хаосу! Потому что они-то и противостоят... хаосу. Только! Вопреки боли... страху... главное, главное — страху! — Едва не потеряв равновесия, он подался к Малянову; бессильно ухватился за воротник маляновского плаща, запрокинул голову и опять лицо в лицо горячо выдохнул: — А я сдрейфил.

Оказалось, они не заперли дверь. Старомодный замок Глухова не зашелкивался, его надлежало крутить ключом не только при входе, но и при выходе. На протяжении тех двадцати минут, что они летали на дозаправку, более гостеприимной квартиры не было, вероятно, на всей набережной.

Они развесили насквозь мокрые плащи на плечики, вынутые Глуховым из платяного шкафа, и расселись по своим местам. Но играть уже не хотелось. Накатывало что-то серьезное из глубин. Глухов просунул тонкий и крепкий, будто птичий, палец в загогулилку на крышке банки и дернул.

— Форвертс, — тихо сказал он, берясь за стопку.

— Аванти, — негромко ответил Малянов.

Они выпили. Глухов привычно занюхал, Малянов куснул бутерброд, еще стараясь как-то беречься, пожевал и проглотил с трудом; остальное отложил. Есть не было никакой воз-

возможности. Водка уже не грела желудок — сразу густым мутным студнем вспухала в голове.

— О вашем друге... Филиппе... ничего не слышно? — вдруг осторожно и совершенно трезво спросил Глухов.

И Малянов понял, что именно этого разговора ждал здесь годами. Именно возможность этого разговора, тлеющая с тех самых пор, связала их, таких разных, так отчаянно и бессмысленно симпатизирующих друг другу; ни тому, ни другому о главном больше не с кем было говорить.

— Как в воду канул.

— А этот... как его... Захар?

— Понятия не имею. Я знал его через Вальку только... а Валька давно уехал, я рассказывал.

— Да, помню...

Помолчали. Глухов крутил стопку пальцами, потом налил себе. Потом спохватился; неверной рукой налил Малянову.

— Мне кажется, Дмитрий, мы чего-то не додумали тогда.

Малянову на сердце вдруг словно плеснули кипятком.

— А вы не боитесь заводить об этом разговор, Владлен? Глухов усмехнулся уголком рта, продолжая вертеть пальцами теперь уже полную стопку.

— Я один, — сказал он. Малянов молчал. — Лично меня им ничем не ущучить, а кроме меня, у меня никого нет. Я, Дмитрий, быстро понял, что постоянной тревоги... постоянного ужаса за тех, кто близок, мне не выдержать. Жена умерла давно, еще до всего... Дети взрослые. Я с ними в такого самодур-маразматика сыграл... теперь и носу сюда не кажут, дай бог на день рождения открыточку... А последняя моя... привязанность... — Он вдруг осекся и принялся мелкими, суетливыми движениями собирать рассыпанные по столу кости и укладывать в шкатулочку. — Последняя... Я... тоже сделал так, чтобы она ушла. Им меня не взять! — крикнул он, даже чуть приподнявшись в кресле.

— Кому — им? — тихо спросил Малянов. Глухов коротко глянул на него из-под косматых стариковских бровей и пробормотал хмуро: — Ну — ему...

— Кому — ему?

Глухов не выдержал. Поднес стопку ко рту и схлебнул одним глотком. — Дмитрий, — сказал он перехваченным горлом. — Дмитрий, вы что-то знаете.

Тогда Малянов тоже схлебнул одним глотком. Этого мгно-

вения он ждал столько лет — а теперь молчал, не продавить было слов. Студень в голове загустел еще пуще. Но предохранительные заслонки стояли несокрушимо; Малянов хотел — и не мог. Не мог.

— Именно вы... — медленно сказал Глухов. — Я еще тогда подумал, что это должны быть именно вы...

Малянов молчал.

— Ведь в нашей странной компании вы — уникальная фигура.

— Вот уж нет! — вырвалось у Малянова.

— Вот уж да. Вам это не приходило в голову? Вашему другу это тоже не пришло в голову, иначе он вынужден был бы как-то скорректировать свою теорию. А все так просто и так... настораживающе. Думаю — только не обижайтесь на меня, пожалуйста, — чтобы заметить очевидную, но... не имеющую к точным наукам деталь, он был слишком бесчеловечен.

— Фил — самый добрый и отзывчивый человек, какого я знал... — Малянов вздрогнул. — То есть знаю.

— Возможно. Хотя я сказал бы это не про него, а про... вас. Но не будем сейчас об этом. Посмотрите. Он одинок. И когда эти всемогущие, или это всемогущее, или скажите, как хотите... его бьют — то бьют только его. Вайнгартен. Жена, дети. Но когда его бьют — бьют только его. Захар. Те, кого он, так сказать, любил, — Глухов скривился иронически, а потом подлил себе из банки, — используются исключительно как внешний раздражающий фактор. Наравне с прочими. Что женщины, что прыщи... Фактически бьют только его. Теперь я. Не совсем одинок. Но когда меня били — били только меня. Пока я не познакомился с вами, мне и в голову не приходило, что тем, кто рядом со мной, что-то грозит. Именно после трагедии с вашим сыном я стал сам не свой... принялся все кругом выжигать со страху... а ведь, насколько я помню, и вашу супругу пытались как-то...

По лицу Малянова прошла тень, Глухов всполошенно взмахнул руками — и едва не опрокинул ополовиненную банку; теперь он мусолил в пальцах уже не стопку, а всю банку сразу.

— Простите, если я вам напомнил!..

— Ничего, Владлен, ничего.

— Я хотел сказать лишь, что вы — единственный, кого би-

ли косвенно. Опосредованно. Кого мучили не лично, а муками близких. И только тем и сломали.

Малянов покрутил головой и вдруг жалко улыбнулся.

— Давайте-ка, Владлен, прервемся на минутку и всосем со скворчанием, — попросил он.

Глухов внимательно посмотрел на него хмельными, безумными глазами и произнес:

— Конечно.

Они всосали. Но, едва продышавшись и прокашлявшись, Глухов сказал негромко, но так напряженно, что, казалось, горло у него готово взорваться:

— Не кажется ли вам, уважаемый Дмитрий... Чтобы так точно отличить, кого нужно ломать болезненной сыпью, шаровыми молниями и ужасными пришельцами, от того, кого нужно ломать угрозой здоровью ребенка, это ваше Мироздание... эти ни черта не смыслящие дохлые атомы и кванты... слишком уж хорошо понимают, что такое любовь?

Попадание было математически точным. Малянова заколотило.

— Вы ничего не хотите мне сказать? — почти прошептал Глухов. Малянов хотел сказать многое. Давно хотел.

— В отличие от вас я не один, — сказал он.

Он мог, очень постаравшись, допить до того, чтобы начать ненавидеть Бобку и Ирку за то, что все время за них боится. Как-то раз, с год назад, он в таком состоянии заявился домой в три ночи... это была картина маслом, лучше не вспоминать. Сказать по правде, он почти ничего и не помнил.

Но допить до того, чтобы не бояться за них, — было невозможно.

— Хорошо, — после паузы сказал Глухов и встряхнул банку, проверяя, сколько в ней осталось. Банка булькнула с успокоительной грузностью. — Тогда я еще поговорю сам.

— Конечно, — сказал Малянов. — Мне очень интересно.

— Не сомневаюсь.

Глухов помедлил, а потом отставил вдруг банку и тяжело, совсем по-стариковски поднялся. Пошаркал к книжному шкафу.

— Открытие того факта, что Мироздание неожиданно оказалось этически подкованным, заставило меня посмотреть на всю ситуацию несколько с иной точки зрения, — с дурной, пьяной академичностью начал он. — Может быть, де-

ло вообще не в тех научных разработках, которые мы сочли тогда... с легкой руки вашего друга... корнем всех бед? — Он говорил и одновременно, наклонив маленькую лысую голову к плечу, просматривал корешки книг. — Во всяком случае, не только и не столько в них?

— А в чем же? Ведь давление явно было снято, когда мы... вы, я, Захар... Валька... бросили...

Глухов на миг обернулся, хитро прищуренным глазом стрельнул на Малянова и опять уставился на фолианты. Что он искал?

— А снято ли? — спросил он.

Малянов молчал.

— Нет, наши работы, безусловно, послужили каким-то толчком. Иницилирующим, стимулирующим... как хотите назовите. Но если подумать всерьез и спокойно — любая, любая научная работа чревата тотальным изменением мира через миллиард лет. Любая, понимаете? А не пустили только нас. Ну безусловно, еще кого-то, кого мы не знаем... Но ведь знаем мы довольно многих. И среди этих многих Одержанию, так сказать, подверглись только мы. Значит, дело не столько в том, чем человек занимается, сколько в том, какой он. Логично?

— Логично, — против воли улыбнулся Малянов.

Глухов нашел наконец то, что искал. С трудом, в несколько приемов — она не шла сразу — выдернул тоненькую коричневую книжицу из вбитых в полку томов.

— А это сразу меняет все акценты, не правда ли?

— По-видимому, да, — признал Малянов после паузы, хотя в первый момент хотел смолчать.

— Но неужели мы такие подонки? Неужели именно мы так дурно воспитаны временем, страной... чтобы это разбрасывающееся в любви, а значит, и во многих прочих чисто человеческих ценностях Мироздание сочло необходимым именно нас придержать?

— Ему виднее.

— Знаете, милейший Дмитрий, это не ответ. Пути Божьи неисповедимы, вот что вы мне сейчас сказали. Но вы же ученый!

— Да какой я теперь ученый, — вырвалось у Малянова.

Глухов снова уселся в кресло напротив.

— Что важно для ученого в первую очередь? Репрезента-

тивность материала. Приняв за критерий Мироздания научную составляющую нашей деятельности, мы оказались в тупике. Потому что могли оперировать только фактами, относящимися к нам пятерым. Но, приняв за критерий этическую составляющую, мы сразу расширяем круг подлежащей осмыслению информации. Потому что спокон веку человечество бьется и не может разрешить загадку мира, возможно, одну из основных его загадок... от ответа на которую, возможно, в полном смысле слова зависит судьба человечества. Не от разгадки тайны рака, и не от разгадки тайны гравитации, и не от разгадки тайны письменности инков, и не от чего-то там... — Глухов вдруг сбился на нормальную человеческую речь и запнулся, сосредоточиваясь. — Загадка формулируется так: почему каких-то людей, в общем, совсем даже не плохих, зачастую наоборот, это ваше Мироздание берет под пресс, не давая им жить? Почему?

— Ну и почему? — затаив дыхание, спросил Малянов. Он был уверен, что Глухов ответит. Его мысль шла параллельно мыслям Малянова — только он не боялся.

Глухов некоторое время страшно дышал, глядя на Малянова исподлобья.

— Не знаю! — выкрикнул он потом. — Не знаю!! — и снова вздохнул шумно, как кит. — А вы, похоже, знаете...

Малянов молчал.

— Критерий, Малянов! — рявкнул Глухов и потянулся к банке. — Критерий!!

Они всосали.

— Самый пример, который на слуху, — Иов, конечно, — перехваченно сказал Глухов. — Но вот совсем иная культура. Никаких вам библейских истерик, никакого кичливого, будто выигравший «Волгу» золотарь, хамски упивающегося своим всемогуществом Бога... — Он раскрыл коричневую книжицу, лежащую у него на коленях. — Китай, три века до Рождества Христова. Был там такой поэт, Цюй Юань, в конце концов от всего этого скотства он утопился...

— Какого скотства?

— Какого? Несправедливости мира, вот какого!

— О... Тогда нам всем пришлось бы топиться.

— В том-то и дело, что далеко не всем! Я вам сейчас читаю... перевод, конечно, не ахти, но мучить вас подлинником... Две поэмы, одна называется «Призывание души», а

другая — не в бровь, а в глаз... именно то, что нас с вами сейчас интересует, интересовало и его, поэма называется «Вопросы к небу»... Вот, слушайте... «Я с юных лет хотел быть бескорыстным и шел по справедливому пути. Всего превыше чтил я добродетель, но мир развратный был враждебен ей. Князь испытать меня не смог на деле, и неудачи я терпел во всем — вот отчего теперь скорблю и плачу...»

Неудачи я терпел во всем, думал Малянов. Да, это наш человек. Двадцать три века назад... с ума сойти. Будто сию минуту вышел. Правда, в наше время про себя никто не посмел бы, кроме всяких Ампиловых — Жириновских, заявлять: я с юных лет хотел быть бескорыстным и шел по справедливому пути. По принципу: сам себя не похвалишь — три года ходишь как оплеванный... Вот почему я не могу принять религии — слишком уж отцы сами себя хвалят. Пока говорят о вечном — и чувствуется дыхание вечности; но как переключаются на дела людские — так все людское из них прет... Мы самые замечательные, нам даже грешить можно, потому что наше покаяние будет услышано Господом в первую очередь, и вообще — без церкви и ее бескорыстной смиреннейшей номенклатуры вам, быдло, пыль лагерная... то есть, пардон, земная... с Богом не связаться...

— Узнаете симптомы? Но никакими науками, ни астрофизикой, ни востоковедением, Цюй Юань не занимался, смею вас уверить! Он был выделен из общей массы чисто по этическому признаку и раздавлен именно за это: за желание чтить добродетель и быть бескорыстным. Понимаете? Почему? Чем Мирозданию не по нраву праведники?

Глухов горячился, стариковски брызгал слюной — и читал, читал... Малянов честно вслушивался, но скоро от всевозможных Саньвэев, Чжу-лунов, Си-хэ и Сяньпу голова у него пошла кругом. Он всосал.

— «Во тьме без дна и без краев свет зародился от чего? Как два начала «инь» и «ян» образовали вещество? Светло от солнца почему? Без солнца почему темно? При поздних звездах, до зари, где скромно прячется оно? Стремился Гунь, но не сумел смирить потоки! Почему великий опыт повторить мешали все-таки ему? Ведь черепаха-великан и совы ведьмовской игрой труд Гуня рушили! За что казнен владыкою герой?» Вы чувствуете подход, Дмитрий? Это ведь наш подход! Фрейд говорил: поэты всегда все знали! Это правда! Общий интерес к

устройству Вселенной как таковой подразделен на интерес к ее физическому устройству и интерес к ее этическому устройству. Для Цюй Юаня эти категории однопорядковые. Несправедливость происходящего в мире людей он уже тогда поставил в ряд с другими не объяснимыми на том уровне знаний природными явлениями. Но мы-то теперь знаем, почему от солнца светло и куда солнце прячется ночью! Может, сумеем понять и то, почему и за что казнен владыкою герой?!

Глухов умолк. Иссяк.

Страницы раскрытой книги трепетали у Глухова на руках — руки тряслись.

— Молчите, — проговорил Глухов мертво и отложил книгу на столик. — Что ж, вольному воля... Но у меня недавно появилась еще одна мысль. И я ее выскажу. — Он перевел дух. — Страна, — сказал он. — Наша страна. У вас нет ощущения, что ее тоже кто-то нарочно не пускает вперед? Шаг влево, шаг вправо, кувырки на месте — только не вперед...

— А что это такое — вперед? — спросил Малянов.

— Не знаю... В том-то и дело, что этого я тоже пока не знаю. Но если бы удалось найти, за что не пускают, — из этого автоматом выскочил бы и ответ на вопрос, куда не пускают. Покамест я могу только сказать, что — не пускают. Это факт. Это исторический факт. Именно когда возникает реальный шанс... То спятит властный Иван Четвертый, то при дельном Годунове из года в год неурожай, то именно гуманистом и экономистом Гришкой Отрепьевым пальнут из пушки, то вдруг Петр Великий выскочит со своим чисто муссолиниевским «ничего кроме государства, ничего вне государства, ничего помимо государства», то именно Освободителя шандалахнут бомбой, то большевики учинят в стране, уже начавшей наконец развивать европейской силы экономику, восточно-феодальную деспотию... а то вдруг всенародно избранные полезут изо всех щелей с воплями: и мне кусок! И мне кусок! Вам это не приходило в голову?

Малянов помолчал. Медленно произнес, глядя в сторону:

— Мне это приходило в голову.

Глухов вскинулся:

— Ну и?

— И ничего, — улыбнулся Малянов. — Знаете что, Владимир? Принесу-ка я вторую банку, она у меня еще в плаще, в

кармане. Грех упускать такую возможность. Если уж начали, ужремся сегодня, как свиньи. Вы не против?

Глухов похлопал себя по карманам кофты, нащупал что-то; вытащил удостовериться. Какое-то лекарство. Валидол, нитроглицерин... в общем, как углядел Малянов, что-то сердечное. Дальноторко держа упаковку в вытянутой руке, Глухов для вящей надежности прочитал название и положил лекарство на столик рядом с собою, у локтя. — Несите, — сказал он. — Я не про...»

6. «...но не как свинья. Некие тормоза все же сработали. Скорее всего, не хотелось Ирку огорчать.

Вылив остатки водки в раковину, чтобы Глухов не соблазнился ночью или под утро, убедившись, что тот уже буквально засыпает на ходу, и тщательно послушав с лестницы, заперли изнутри хозяин дверь, Малянов, шатаясь, ушел. На бесприсветно темной лестнице, скачущей под ногами, как батут, он сверзился-таки и основательно приложился копчиком о ступеньку; искры из глаз посыпались.

Транспорт уже едва ходил, но Малянову на сей раз, против обыкновения, повезло — и он из этого сделал вывод, что нынешний сумбурный разговор с Глуховым, в общем, не поставлен ему в вину. Отмолчался — не виноват. Будь все проклято. Осточертело отмалчиваться.

Две трети дороги удалось подъехать на ковыляющем в парк трамвае. Последнюю треть прошел пешком. Вторую половину этой трети он уже более-менее помнил; от предыдущих этапов путешествия осталось лишь ощущение боли в расшибленной заднице и чьего-то пристального взгляда на затылке; как ни крутился Малянов на сиденье — а значит, было какое-то сиденье, значит, он сидел в том, на чем ехал, значит, он на чем-то ехал, — чужой взгляд оставался на затылке, и точка. Паранойя.

Дождь перестал, а ветер дувал все сильнее, все злей. Зяблось. Под ногами хлюпали и расплескивались невидимые в темноте лужи. На всей улице не горели фонари — то ли опять ветром порвало провода, то ли город экономил электричество. Граждане, соблюдайте светомаскировку!.. Нет проблем, соблюдаем, раз свету нету. Лучше нету того свету.

Тучи кое-где полопались от ветра, и в рваных бегущих ды-

рах едва живыми точками помигивали звезды. Там, среди этих звезд, звучал и звучал отголосок новорожденного вскрика мира, веяло нескончаемое дуновение, оставленное его изначальным вздохом, — реликтовое излучение. Его открыли здесь, в Пулкове, — но, взнуданные обязательствами плановыми и обязательствами встречными социалистическими, приняли за шум отвратительно неустрашимых помех, отмахнулись, переключились — и два десятка лет спустя Нобелевки за состоявшееся открытие получили американцы Пензиас и Уилсон. А там, среди звезд, было на это плевать. Там из века в век, из миллионолетия в миллионолетие космический водород излучал на волне длиной в двадцать один сантиметр. Там жила гравитационная постоянная. Там жила постоянная Хаббла. Они были настолько постоянными, насколько вообще что-то может быть постоянным в этой не нами придуманной Вселенной. Они совершенно не зависели от баксовых полистных ставок и от государственного финансирования бюджетных организаций, от того, куда поплывет валютный коридор, от того, как вырядится на следующее заседание Марычев, на сколько еще старушечьих голосов распухнут щеки Зюганова и что еще ляпнет Ельцин, от того, в каком селе на сей раз мирные чеченские убийцы выпустят кишки мальчикам-поработителям, вконец уже переставшим понимать, зачем их тут кладут... от того, будет ли у меня завтра трещать башка и выкурит ли Ирка завтра пачку или все-таки меньше.

Вспомнилось, как осенью семьдесят восьмого он гордо и опасливо катил по этой самой улице новорожденного Бобку в его коляске, а на плече болтался транзистор, и тоже совсем еще молодая Алла Борисовна мягко пела: «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной...»

Как там сказал Глухов? Поэты всегда все знали.

«Во тьме без дна и без краев свет зародился от чего?»

Хотелось прижаться лицом к коленям этих постоянных и зареветь. Не марая свою боль словами; ведь слова у нас теперь только для политики, сплетен или остроумия. У трезвых, во всяком случае. Мы же негибкие, мужественные, гордые. Не постоянные, но гордые. Чем менее постоянные, тем более гордые... Просто зареветь в голос.

И чтобы постоянные, погладив по голове, сказали: все обрывается. Вы будете с нами.

Под аркой двора словно ворочался увязший по горло в

трясине какой-нибудь вепрь Ы; взрывал, лязгал, скрежетал. Бил копытом. Окаянно резкий свет фар косо выхлестывал на улицу, внутренняя стена арки пылала мертвенным огнем. Это очередной тяжелый «КраЗ», отягощенный необозримым прицепом, пытался, заняв всю ширину прохода, вырулить на улицу со двора и никак не мог. Не хватало места. Как он очутился во дворе — не иначе, с неба был спущен ангельской дланью. Или сатанинской? Он подавал назад, дергался, подавал вперед, безнадежно и тупо ревел, испуская видные даже в неверном свете собственных фар, отраженном стеною арки, густые и тяжелые, как жидкая грязь, ошметки черного дизельного гарева, — но прицеп не вписывался в поворот. Малянов отступил, остановился на улице чуть поодаль. Откинулся на стену дома спиной, чтобы не потерять равновесия — хмельная голова кружилась, если ее поднять, тем более если запрокинуть, — и десять минут смотрел в небо, и пятнадцать минут, и двадцать — пока наконец грузовик...»

ГЛАВА 3

7. «...с тяжелой головой. И глаз не открыть. Вообще оживать как-то не хотелось. Незачем было оживать. Иркина сторона тахты пустовала и холодила — значит, встала, и встала давно. Некоторое время Малянов поворачался с боку на бок, пытаясь найти положение поуютнее, такое, чтобы еще подремать. По опыту он знал, что, если проснуться после одиннадцати, практически никаких следов вчерашнего отравления в извилинах не остается. А вот если проснуться до девяти, весь день ходишь дурной. Но не задремывалось и даже не лежалось. И вставать не хочется, и лежать не хочется. Вот так и вся наша мутота: и жить тошно, и помирать жалко... Он открыл глаза.

И сразу увидел висящую на стене напротив изголовья — кажется, это называется «в изножье» — дешевенькую и уже порядком выцветшую, но все равно прекрасную, нежную, как клавесинная соната, «Мадонну Литта». Малянов купил эту репродукцию за пять вроде бы рублей, или даже за три, в отделчике изопродукции Гостинки на Садовой линии Ирке к Восьмому марта. Давно. Совсем старый стал, подумал Малянов. То, что было давно, помню до мелочей...

Как на зимних каникулах пятого курса мы, совершенно шальные, катались на лыжах в Ягодном и страшно форсили, демонстрируя свои нешибкие спортивные умения — доохмывали дружка дружку, хотя всем окружающим уже ясно было, что взаимный охмууж состоялся вполне, так мы сияли... стояли морозы, и я мучился со своей кинокамеркой «Кварц», потому что пленка от холода в ней становилась хрупкой и лопалась, приходилось прямо на лыжне снимать варежки, лезть окоченелыми пальцами в ледяные потроха, отрывать зажеванные куски и вновь вправлять пленку в принимающую кассету, и Валька говорил: «Ты похож на шпиона, который, гад, чует, что его сейчас брать придется, и лихорадочно засвечивает свои фотоматериалы...»; и Фил, и Валька со Светкой хохотали, и мы с Иркой хохотали — но совсем не так, как хохочем теперь... А назавтра мы снова бежали гуськом по сказочно остекленевшему в солнечном холоде беззвучному лесу, оглушительно скрежетали лыжи, и, завидев валяющиеся на снегу обрывки кинопленки, Валька патетически возглашал: «Здесь происходила безнадежная борьба американского шпиона с сибирским пионером Васей!» — и мы хохотали... но не так, как теперь. А поздним вечером — да собственно, ранней ночью, все уже расползлись по комнатам — в коридоре, у окошка, мы с Иркой впервые поцеловались, и я помню, как пахли ее духи, помню, как она прятала глаза и подставляла губы...

А «Мадонна» была уже в семьдесят седьмом. Ирка Бобку ждала, а я ждал утверждения кандидатской ВАКом. Год великих свершений... Казалось, все барьеры сметены, все билеты куплены, и открыта нам единственная наша дорога, по которой мы, талантливые, любящие, работающие, будем нестись, будто на салазках с американских горок — вопя от азарта и восторга. Да я и впрямь вопил от азарта и восторга, когда пересказывал Ирке, раздувшейся грациозно и цветуще — не так, как теперь, — все поздравления и хвалы, обрушенные на меня во время защиты; а она смотрела заворуженно, преданно, влюбленно. «Избыточные фотоны как косвенное свидетельство не регистрируемой современными средствами наблюдения объемной вязкости Вселенной». Как там у Стругацких в «Стажерах»... «Наступает чудесный миг, открывается дверь в стене — и ты снова бог, и вселенная у тебя на ладони...»

А через два года наши полезли в Афган.

Прощай, счастливый мальчик.

Малянов решительно сел и спустил ноги с тахты. Комната решительно поплыла. Малянов, набычившись, уставился в пол.

— Ух, блин, — вслух пробормотал он.

Посидел немножко и снова лег.

Приоткрылась дверь, и в комнату осторожно просунулась Иркина голова.

Несколько секунд Маляновы смотрели друг на друга. Потом Ирка спросила на манер свежезамужней путаны из теле-рекламы:

— Может быть, «Алка-Зелцер»?

Малянов в ответ застонал и по-жаровски, со страданием в голосе, протянул из «Петра Первого»:

— Катя, рассолу!

Ирка вошла и присела на край тахты.

— Пациент скорее жив, чем мертв, — констатировала она фразой из «Буратино». — Ну и зачем тебе это надо было?

— Что? — спросил Малянов.

— Столько выхлебать.

— Ой, Ир...

— Никаких ой и никаких Ир. Я понимаю, можно выпить рюмку, две — чтобы согреться, расслабиться, чтоб разговор... Что я, ведьма? Баба-яга? Понимаю. Даже сама могу. Но ведь ты зеленый! И вчера прекрасно знал, что утром будешь зеленый. И никуда не годный.

— Иронь, ну ладно тебе... У Глухова что-то случилось — то ли их контору прикрыли совсем, то ли еще что... в отпаде человек. Ну, оттянулись! Когда так вот с истерики оттягиваешься — за дозой не уследить.

Ирка поджала губы.

— Ну конечно, у Глухова, — сказала она саркастически. — У Глухова отпад с истерикой — а медузой ты лежишь.

— Надо, кстати, позвонить ему, — озабоченно сказал Малянов. — Жив ли...

— Он нас переживет.

— Только, наверное, лучше попозже... Вдруг спит?... Сколько сейчас времени, Иронь?

— Я — не говорящие часы. — Ирка поднялась. — Вон лежат — встань, возьми и посмотри. Если можешь. А если не можешь — то и незачем тебе время.

У двери она остановилась. Обернулась.

— Работать, как я понимаю, мы сегодня не в состоянии.

— Ну почему... К вечеру я, может, и оклемаюсь.

— Ну, тогда вечером и посмотрим. А покамест — объявляется хозяйственный день. Пробежка по лабазам и обеспечение недельного запаса продовольствия, стирка, уборка квартиры. Что предпочитает ваше изболевшееся от препон бытия, алчущее алкогольного отдохновения сердце?

— Откровенно говоря, сердце предпочитает пару бутылок пива, а потом еще пару часов поспать, — с бледной улыбкой натянуто пошутил Малянов.

Ирка вытянула к нему обе руки и показала две фиги.

— Тогда, хозяйка, у сердца нет предпочтений. Руководи, я все приму и все исполню.

— Договорились. Поднимайся пока, а я посоображаю, как тебя лучше приспособить.

Со второй попытки акт оставления ложа прошел успешнее. Сунув ноги в шлепанцы, горбясь, Малянов нешустро пошлепал в ванную. Дремлющий на полочке под вешалкой, среди перчаток и шарфов Калям нехотя приоткрыл на него глаз, но не пошевелился и не издал ни звука. Из кухни выступил Бобка, остановился — руки в карманах.

— Что, сильно вдуча? — сочувственным баском спросил он вполголоса.

Малянов только рукой махнул. Потом сказал:

— Правильно вдуча. Самому тошно...

Бобка коротко хохотнул со знанием дела.

— Еще бы не тошно... Ох, и разит от тебя, па.

— Представляю... Ничего, Боб. Сейчас душ приму, зубья вычишу, всосу кофейку — и наверняка реанимируюсь. Мы еще увидим небо в алмазах.

— Давай. А то смотреть на тебя — прямо сердце кровью обливается.

Малянов благодарно улыбнулся сыну и открыл дверь ванной.

— Да, тебе какое-то странное письмо пришло! — крикнула Ирка из комнаты.

— Что за письмо? — Малянов остановился на полушаге, сразу ощутив холодок нехорошего предчувствия.

Ирка вышла в коридор с бумажкой в руке. Листок ученической тетрадки, кажется.

— Я где-то к полуночи выглядывала тебя поискать...

— Елки-палки, зачем?

— Ну, как. Все-таки муж. Вдруг тебя твоим пресловутым грузовиком размазало. Да ты не беспокойся, я только во двор. Ни тебя, ни грузовика, естественно, не обнаружила...

Куда как естественно, подумал Малянов.

— А на обратном пути смотрю — что-то белеет в дырочках. Когда оно туда попало?.. прямо чудесным каким-то образом. Перед программой «Время» Бобка за «Вечеркой» лазил — его еще не было.

Знаю я все эти чудеса — снова, как когда-то, подумал Малянов. Он сразу забыл и о головной боли, и о душе.

— Без конверта, просто сложенный вчетверо листок. И надписан поверху: Малянову.

— Дай!

— Мы прочитали, извини... раз уж без конверта. Ничего не поняли, чушь полная. То ли кто-то подшутил, то ли после такого же вот снятия стресса перепутал ящики... или дома...

— Или города, — добавил Бобка.

Малянов развернул листок. Точно, тетрадка. В клетку. Небо в крупную клетку.

— А руки-то дрожат, — с отвращением сказала Ирка. — Позорище. Пьяндыга подзаборный.

Руки дрожали, и душа дрожала, как заячий хвост. Началось. Началось. Глаза Малянова раз за разом пробегали коряво написанные, неровные, бессмысленные фразы: «Если вам дороги разум и жизнь, держитесь поближе к торфяным болотам. Само ломо. Мы не шестерки! Отрежь хвост. Вечер».

Он медленно, как черепаха, сглотнул. Поднял взгляд на жену. Она смотрела на него безмятежно и чуть иронично. Или чуть презрительно.

— Хотела выбросить, но не решилась, — сказала она. — Как ни крути, тебе адресовано. Может, секреты какие-то, — усмехнулась. — И вообще, это было бы неуважительно по отношению к главе семьи.

— Генри Баскервилю жена Стэплтона писала про торфяные болота, — не утерпел Бобка. — Только у нее было наоборот: держитесь подальше!

— У буржуев всегда все наоборот, — изо всех сил стараясь, чтобы голос его не выдал, проговорил Малянов. Листок трясся в руке. Малянов протянул его Ирке. — Конечно, кинь в ведро. Ребята, наверное, балуются. Может, это вообще знато-

ку торфяных болот Малянову-младшему. Видишь, как он сразу расшифровку начал.

— Мы эту версию отрабатывали, — солидно пробасил Бобка. — По нулям.

— Ну, я не знаю, — сказал Малянов.

Легким, пролетающим движением руки Ирка взяла из его трепещущих пальцев письмо и послушно двинулась на кухню, где под раковиной стояло помойное ведерко. Малянов смотрел ей вслед и думал: она действительно не понимает? Или, подобно ему, мужественно делает вид? Храбрость или черствость? Помнит ли она, как этот вот отца уже переросший симпатяга, а тогда трехлетний ласковый бойкий лопотун, тужился у них на коленях до слез, до побагровения: «Ы-ы-ы! Ы-ы!» и не мог произнести ни слова? То есть помнит, конечно, еще как помнит — но связывает ли с тем, что происходило потом и продолжает происходить теперь? Или для нее эта история и впрямь сразу кончилась, как только Вечеровский бесследно исчез из своей квартиры — то ли действительно уехал на Памир, как собирался, то ли нет — и Бобка после трехдневных невыносимых мук, трех дней ада крошечного сразу вновь залопотал? И, как вообще свойственно женщинам, разделяющим жизнь на ящички: это — отдельно, это — отдельно, а это — само по себе, и не сметь перемешивать, она запихнула все, тогда происходившее, в герметичный бокс, тщательно его опечатала и уже ни за что не заглянет туда?

От ответа на эти вопросы зависело очень многое. Зависело все. Зависело, понимает ли она, что происходит с Маляновым, или просто махнула на него рукой и терпит, потому что Бобка. Зависело, едино они живут или просто притерто. Но Малянов никогда не смел спросить. Он боялся, Ирка элементарнейшим образом не поймет, о чем речь. И это будет значить, что — всего лишь притерто.

Если едино — все обретало смысл. Если притерто, то... то — лучше, как Глухов.

Он обнял сына за плечи и тихонько, чтобы Ирка не слышала, спросил:

— Сильно волновались вчера?

— Спрашиваешь, — так же тихо ответил Бобка. И чуть смущенно, но честно добавил: — Па, ты, пожалуйста, пока не реанимнулся, не дыши на меня.

Сквозь ком в горле Малянов засмеялся и пошел в душ.

И только в горячем потоке, когда смотанные похмельем в маленький и тугой, болезненно болтающийся клубок извилины в башке начали, удовольствием побряхтывая, расширяться и распрямляться, заполняя весь черепной объем, Малянов, вновь вспоминая и переживая молчаливое исчезновение Фила — хотя о чем ему было с нами, дезертирами, еще говорить? — вдруг сообразил. И зубная щетка, мирно елозившая по зубам, вывернулась из вдруг снова ставших неповоротливыми пальцев и больно ударила в десну.

Малянов опустил руки и несколько секунд стоял, как оглушенный.

Вечер — это Вечеровский. «Вечер» в записке — это подпись.

Это письмо от Фила, вот что это такое.

Одному Мирозданию известно, как оно очутилось в ящике и что значит.

Повеяло холодком. Значит, открылась дверь в ванную. Точно; сквозь полупрозрачную полиэтиленовую занавеску Малянов увидел смутный Иркин силуэт.

— Ты как тут? — спросила Ирка громко, чтобы Малянов расслышал сквозь бодрый плеск.

— Отлично.

— Сердце?

— Нету.

— Да ну тебя, Димка! Я серьезно. Не делал бы ты воду такую горячую — замолотит сердчишко с бодуна.

— Метода выверена, — ответил Малянов. — Я потом холодненькой окачусь.

— Ну вот тогда тебя кондратий и хватит. Сосуды-то уже не те!

— Сосуды-то как раз те, — сказал Малянов. — Содержание в них не то.

Ирка засмеялась.

— Очухался, чертяка. Ну, не задерживайся тут слишком, я кофе тебе уже сварила. Остынет. А я на часы смотрю — думаю, все, утоп.

— Сейчас, Иронь, выхожу.

Вновь повеяло коротким, едва ощутимым сквознячком — дверь открылась и закрылась.

Почему он так странно написал? Действительно, шифровка какая-то. Торфяных болот... Что он хотел? Откуда?..

Так, так, спокойно. Мы еще слегка ученые, логически мыслить не совсем разучились. Тот же Шерлок пляшущих человечков как расшелкал — мы что, хуже? Он не знал, что Земля кругом Солнышка крутится — а мы даже слово «Галактика» еще помним. Хоть сейчас ее разложим по Гартвигу...

Как там было-то?

Оказалось, нелепый текст воткнулся в память, словно я наперед знал о его важности. Впрочем, так и было, вероятно — интуиция сработала... Да какая, к черту, интуиция — страх! Обыкновенный вечный страх. Если случается что-то — значит, оно тут, рядом, шекочет тебя по загривку, Мирозданию наше: не шевелись, Малянов! не болтай, Малянов! не увлекайся, Малянов! стой смирно!

Почему текст такой странный?

Фил хотел, чтобы никто, кроме меня, не понял?

Но ведь и я не понимаю...

А он был уверен, что пойму. Напрягусь и пойму. А больше — никто. Кого он боялся?

Никого он никогда не боялся.

Тогда так — от кого таился?

От Мироздания — дурацкими шифровками на уровне седьмого класса средней школы?

Не о том думаешь, Малянов. Расшифруй сначала — потом будешь оценивать ее уровень.

Давай выходить. Ирка волнуется. Пылесосить буду — подумаю. Вряд ли полчаса туда-сюда играют какую-то...

8. «...к болотам, думал Малянов, накручивая телефонный диск. К болотам, к болотам, поближе к болотам. Болот-то у нас тут хоть отбавляй... К торфяным болотам. Не просто к бифштексам, а к ма-аленьким бифштексам...

— Да не звони ты ему, — сказала Ирка, подняв голову от телепрограммы, которую тщательно изучала. — Либо спит еще, либо за добавкой побежал... Ну вот не ответит он — ты что, к нему помчишься? У тебя все равно ключа нет.

— Не ответит — тогда буду мало-мало подождать, потом опять мало-мало звонять, — ответил Малянов, вслушиваясь в длинные гудки. Поближе к торфяным болотам... Зачем? И как это возможно, что я буду анализы у них брать, торфяные они или еще какие-нибудь?

— Не лучший это у тебя друг в жизни, — сказала Ирка, вновь углубляясь в роспись вечерних телепередач.

— Но ведь друг же, — возразил Малянов. — Между прочим, он притчу про этого своего Конфуция рассказывал... Зашел Конфуций к другу, у друга мать умерла, ну, тот и зашел выразить этак по-китайски, с миллионом поклонов и словес, свои глубочайшие и искреннейшие соболезнования. А корешок чего-то там веселый скачет, ржет, как бегемот беременный... Поддал, наверное. Конфуций все положенные поклоны и словеса исполнил и удалился, а потом его соседи и спрашивают: как, дескать, ты мог такому невоспитанному... можно сказать, аморальному человеку положенные поклоны бить? А Конфуций и говорит: к узам дружбы нельзя относиться легкомысленно.

Ирка только головой помотала — и тут в трубке наконец шелкнуло и раздался страдальческий голос:

— Кто там?

— Владлен, это Малянов. Решил узнать, как вы... Уже первый час, я подумал, вряд ли разбужу.

— Мы вторую банку допили?

— Конечно, — соврал Малянов.

— Хорошо... Мне помнилось, не допили... полез в пять утра — пусто. Хорошо, что пусто, а то я бы...

— Как сейчас-то? — спросил Малянов, поняв, что продолжения фразы не дождется.

— Уже ничего. Тоска только.

— Ну, это дело житейское.

— Разумеется. Прогулялся по набережной. Погода дрянь, правда... зато ветерком освежило. Перенапряглись мы вчера, пожалуй.

— Пожалуй.

— Я тоже все хотел вам позвонить, Дмитрий, узнать, как вы добрались...

— Прекрасно добрался. С трамваем повезло.

— Заблудившийся трамвай?

— Он самый.

— Дмитрий, я... — Глухов неловко, опасливо помялся, — лишнего ничего не... наговорил вчера?

— Да нет, — с простодушным недоумением ответил Малянов. — Болтали о том о сем, китайские стихи читали... Мне, кстати, понравились. Только очень много имен собственных, путаешься в них.

— Ну, это же совершенно иной тип культуры! — сразу оживился Глухов. — Апеллирование к историческому прецеденту, за которым тянется целый шлейф устойчивых ассоциаций и аллюзий, к культурному блоку...»

9. «...и смущенно пробасил:

— Па, у тебя десятки не будет?

— Вот те раз, — сказал Малянов и опустил руки. Пылесосный шланг, который он держал, собираясь вомкнуть его в надлежащее отверстие облупленного доисторического «Вихря», шмякнул по полу. — А что стряслось?

— Да понимаешь, тут такое дело... Я вечером сегодня к Володьке намерен двинуть...

— А там за вход платить надо, — почти не скрывая неприязни, с издевкой произнес Малянов. Володька ему крайне не нравился. Сплошные баксы-слаксы. Судя по отпрыску, семейка была еще та. Из мелких новых хозяев жизни.

— Считай, что угадал. Мы у него компьютером забавляемся... они четверку поставили, а на четверке оперативка — во, — Бобка широко развел руки и сразу напомнил Малянову неизбывное «А у нас во такой клоп вылез», — и грузятся игры, ну... афигенные. Но этот редис теперь деньги берет. Часик у муонстров усяких пошмалаял — гони десятку. Износ, грит, амортизация...

Действительно, подумал Малянов. И возразить нечего. В рамках господствующих ныне представлений — все честно. Износ. Амортизация. Рынок хренов.

— А ты не шмаляй, — посоветовал Малянов. — Возьми вон книжку, да в кресло с ногами. И тащиться никуда не надо.

Бобка взглянул ему в глаза и честно сказал:

— Хочется очень.

— Ну, — сказал Малянов, — против этого возразить нечего. Если нельзя, но очень хочется, то можно.

— Я и так стараюсь пореже. Понимаю же, что с башлями напряг...

Поближе к торфяным болотам... Само ломо... Блин, что еще за «само ломо»? На первые слоги надо делать ударения или на последние? Или — по-разному? Самоломанный? Все мы самоломанные, но, может, с его точки зрения, я — в особенности? Может, и так, конечно. Бобка молчит нарушает

Гомеопатическое Мироздание тчк. Но при чем тут моя самоломанность? Отстриги хвост... Надо же этак накрутить! Слушайте, ребята, может, я ерундой занимаюсь и никакой это не Фил?

— Одно скажу, — проговорил Малянов. — В мое время друзья с друзей не брали денег. С таким человеком здороваться бы перестали.

А может, и не перестали бы, подумал он. Смотря кто, смотря где. Идеализирую. Ох, старый стал...

— Ну... — ответил Бобка, разведя руками, и Малянов пожалел, что вообще вякнул. Какой смысл произносить слова, лишённые смысла. — В ваше время деньги на фиг были не нужны. В лавках все равно пусто, а на Майорку только порт-вайнгеноссе друг дружку пускали. Нормальные граждане просто тырили с работы, кто что мог, а потом махались бартером.

— Не скажи. За четыре, например, тысячи можно было, например, машину купить.

— Как сейчас — один занюханный бутер в тошнيلовке, — мигом сконвертировал Бобка.

— В семьдесят первом, помню, я полгода откладывал по-маленьку со стипендии — и купил кинокамеру «Кварц» за сто сорок пять рублей. Счастлив был — не представляешь!

— Да, ты показывал про маму молодую и еще про меня-ползуна. Кстати, я бы с удовольствием опять посмотрел. Вы такие хорошие там, на лыжах.

— Обязательно посмотрим. И знаешь, я все мечтал: вот вырасту большой, заработаю много денег и куплю за триста рублей камеру с трансфокатором...

— Ну, может, еще вырастешь.

— Скотина!

Бобка довольно захихикал. Малянов легонько его пихнул кулаком; Бобка изобразил отруб.

— Знаешь, где мой пиджак висит? — риторически спросил Малянов. — В левом внутреннем кармане бумажник. Иди сам и достань десять штук, я мужским делом занят. Пыль сосу.

Бобка осветился. И тут же его будто ветром смело; «Спасибо, па!» — прозвенело уже из коридора.

Да, господа-товарищи, с потеплевшим сердцем подумал Малянов. Ради того, чтобы увидеть сына счастливым, стоит пачкать кофем станки.

Бобка шуровал по его карманам и с явным чувством глубокого удовлетворения мурлыкал какую-то свою молодежную белиберду: «Я люблю задавать вопросы — особенно про пылесосы...» Потом вернулся, встал около Малянова и громко сказал:

— Понимаешь, па. Вот вы говорите: книжки, книжки... Иногда попадают интересные, конечно. Но в основном нудьга. Просто в ваше время других развлечений не было, вот вы и читали день и ночь все, что под руку подвернется. Стихи — давай стихи. Фантастика — давай фантастику. Гессе какие-нибудь невыносимые — давай Гессе...

Малянов, нагнувшийся было, чтобы включить пылесос, опять распрямился. Не без усилий и не без неприятных ощущений — копчик побаливал. Здорово вчера приложился.

Как бы это... чтобы не «Волга впадает в Каспийское море...»

— Железяка, Боб, она железяка и есть. Что ты ей дал — то она тебе и возвращает. Не больше. А чтобы ей что-то давать — нужно прежде самому что-то получить. Если ты перестанешь усваивать новое в пятнадцать лет — так и останешься на всю жизнь по уму пятнадцатилетним. Если в семнадцать — семнадцатилетним. Ну вот представь себе себя в десять лет. А теперь представь, что ты сейчас по уму — десятилетка. Представил? Вот... Лучшего способа узнавать что-то новое, чем читать не тобою написанный текст, люди не придумали.

— Новое... Вот мы «Обломова» когда проходили, мне там фраза запомнилась — как он говорит Штольцу: «И зачем только я помню, что Селевк разбил какого-то Чандрагупту?»

— А зачем тебе набрать в какой-нибудь стрелялке на семь очков больше, чем Володька?

— Потому что я тогда, — и Бобка с изрядной долей самоиронии по-обезьяньи замолотил себя в грудь кулаками, из левого торчала смятая десяти тысячная бумажка, — я тогда пабе-ди-тел!

— Победитель выискался! А слово «ослепительный» в сочинении написал через «ли». «Слепец» у тебя тоже будет «слипец» — дескать, слипся с кем-то?

— Ну это случайно... это я задумался... — виновато забубнил Бобка.

— А читал бы, как мы в свое время, — таких проколов не возникало бы даже случайно. Автоматом бы слова и сочетания откладывались.

Малянов нагнулся и врубил пылесос. «Вихрь» истошно взвыл. Малянов зашаркал щеткой вдоль плинтусов.

Вырастишь сына слишком похожим на тебя — и он станет изгоем. Вырастишь сына слишком не похожим на тебя — и он станет тебе чужим. Вот и выкручивайся.

И тут пришло озарение. Как всегда, неожиданно. Как всегда, в результате не представимого еще секунду назад синтеза. Как всегда: есть, скажем, два факта, и думай над каждым из них хоть до посинения — ничего не придумывается. Нарочно придумать ничего нельзя — хотя мука нарочитого, тягостного, тупого и всегда тщетного придумывания есть необходимый этап работы, запускающий в мозгах какой-то куда более тонкий, неподконтрольный сознанию и удачливый механизм. Уже и думать вроде перестал, вернее, начал думать совсем о другом, потом о третьем — ан бац! Два отдельных факта, каждый в своем ящичке, вдруг совместными усилиями прошибают разделяющую их стенку, соединяются — и высверкивает понимание.

Торфяные болота — это Торфяная дорога. Там, за Старой деревней. А на ней, вынесенный в свое время чуть ли не за город, на чудовишно болотистые пустыри, а ныне оказавшийся в районе новостроек — столь же болотистых, естественно, — стоит завод ЛОМО. А «держитесь поближе к торфяным болотам» — это призыв. Фил мне встречу назначает.

Но почему так нелепо и сложно? Что он играет в игрушки? В детство впал?

Дальше все раскрутилось практически без усилий. Ключик нашелся, и ключик подошел. «Вечер» — это подпись, но это и время суток. Вечером, значит. Понятно, что, если записку он кинул в ночь на сегодня, встреча предлагается именно сегодня. Сегодня вечером. Когда точно? Единственное числительное — во фразе «мы не шестерки». Гордый призыв к продолжению борьбы — какой, с кем, зачем? Но это и указание на время: шесть часов вечера. И наконец, шизоидное или, скорее, белогорячее «отстриги хвост». Ноги, крылья, хвост... Мультфильм такой был. Хоть тресни, а это закамуфлированное предупреждение не привести за собой «хвост». Детектив получился. Мелко. Для нас это, ей-богу, мелко. Мы все больше насчет Мирозданий...

Малянов еще пытался иронизировать сам с собой — но пальцы снова дрожали.

— Па! — еле слышно в реактивном вое крикнул Бобка. Малянов обернулся. Бобка стоял в дверном проеме, задрал руки, как хирург. С рук капало. — Сколько порошка класть?

— Там из початой пачки столовая ложка торчит, — объяснил Малянов. — Застарелая такая.

— Точно, торчит.

— Четыре ложки.

За ним следят? И за мной следят? Кто? Что за бред, шутки шутками, но у нас и впрямь совсем другие дела... Нет, но место там действительно довольно пустынное, оторваться можно... Черт, что за ерунда, какие мы агенты? Не штирлицевы же времена — электроникой тебя безо всякого «хвоста» достанут хоть посреди Сахары! Что он навыдумывал на своем Памире? Малянов чувствовал страх и раздражение. Яростно пихал вперед-назад щетку, с дровяным стуком цепляющуюся за ножки двадцатилетней давности мебели, и, накачивая себя раздражением, думал: игры ему? Стрелялки Бобкины? А на самом деле думал: началось. Началось. Началось.

Именно нелепость происходящего, его откровенная бредовость лучше всего свидетельствовали — оно. Началось.

И не сразу он сообразил взглянуть на время.

Оставалось чуть больше трех часов.

Неслышно отворилась лестничная дверь, и в коридор двинулась увешанная сумками и пакетами Ирка. Малянов вырвал щетку и побежал принимать сумки и пакеты.

— Бе-е-е! — громко проблеяла Ирка, слегка задыхаясь. — Ваша мать пришла, молочка принесла!

В ванной Бобка самозабвенно стирал майку — то ли маляновскую, то ли свою. Он терзал ее на весу, как змею, и живо напомнил Малянову Лаокоона; брызги летели...»

10. «...куда не поеду. Никуда. Если мне действительно дороги разум и жизнь. Не хочу рисковать и не могу. И не вижу смысла. С этим покончено, покончено. Тащиться в такую глушь в такую непогоду... зачем? Отрежь хвост... Нет у меня хвоста, нет!!!

Нет, кроме шуток, это действительно опасно. Если происходящее осмысленно, значит, оно чревато увеличением давления; значит, опасно. А если не опасно, то, значит, лишено

всякого отношения к реальности, следовательно, бессмысленно. Никуда не поеду.

Вот только Фил...

Как он жил эти годы? Где? Что с ним происходило?

Может, он болен?

Может, он помощи просит.

Да где гарантия, черт возьми, что я верно перевел эту беллиберду, эту дурацкую филькину грамоту? Почему я так уверился, что это письмо от Вечеровского? Никогда он не был психом или шпиономаном, чтобы писать такие цидульки... Может, действительно балуется кто-то из соседских ребят; может, какая-нибудь девчонка Бобке мозги пудрит, а тот сказать стесняется. И я, дурак, попрусь на ночь глядя, под изморосью пакостной, в другой конец города, на пустыри... а там и не будет никакого Фила! То-то смеху!

Но тогда вообще-то, по совести говоря, мне это надо знать наверняка. Фил это или филькина грамота... черт. Простите за каламбур. Письмо от Вечеровского — или ерунда, не стоящая внимания. Если я это не выясню доподлинно — ночей же спать не буду. Доеду, не сахарный... тем более у меня до «Пионерской» прямая ветка. Или, может, от «Черной речки» ближе? Но совершенно не представляю, как там по земле остаток пути добираться... Убедюсь... убежусь... черт! Знаток русской словесности, обработчик подстрочников! Я не говорец, не речевик... Откуда это? Вылетело из башки, а что-то страшно знакомое... Узнаю наверняка, что никакого Вечеровского там и в помине нет — и тогда со спокойной совестью домой. Не так уж и далеко. Глухов вон старше меня на сколько — а с утра уже на моционе. Просвежил, говорит, голову.

Нет, надо убедиться. Что опасности нет. Надо же убедиться. Просто совпадение; просто баловство. Ничего не началось, слышите? Ничего не началось, все как всегда!

А если это действительно Фил... Значит, он болен. С ним что-то произошло. Скорее всего, с ним все эти годы происходило... и теперь он зовет. Ему нужно помочь. И я не могу не поехать, просто не могу.

А если нам грозит что-то — я обязан выяснить это наверняка. Я обязан быть во всеоружии, обязан знать точно, что, в конце концов, случилось и вообще случилось ли. Лучшей возможности не представится. Лучшего способа не будет.

Но я ни слова...»

11. «...вопросительно повернулся к отцу.

— Тебе и впрямь так надо сегодня идти к Володьке?

— Ну, как... А что такое, па?

— Понимаешь, мне тоже надо будет вечером выйти часика на три-четыре по делам, и не хотелось бы, чтобы мама надолго оставалась одна.

— Вот новости! Да ты что, пап? Грабители теперь ходят только по наводке. К нам их и поллитрой не заманишь!

— Сын, не юродствуй. Я хочу, чтобы ты дома посидел. Хочу, чтобы вы с мамой были сегодня вместе, друг у друга на глазах.

— Ну, дела...

— По высшим политическим соображениям. Это не общее усиление режима, обещаю.

— Ты меня что, просишь? — обреченно уточнил Бобка.

— Да. Прошу.

Сын отвернулся.

— Хорошо, — мужественно сказал он. — Цум бефель, господин блоковый.

— Вот и ладушки. Не обижайся.

— Чего мне обижаться. — Бобка дернул плечом. — Деньги отдать?

— Зачем? Оставь себе. В будущий выходной пригодятся, или когда там надумаешь идти шмалять своих монстров...

— Они Володькины, а не мои, — сказал Бобка, не оборачиваясь.

Малянов смолчал.

— Ребята! — раздался из кухни Иркин голос. — Неблагодарные! Обед остынет!

— Пошли? — сказал Малянов.

— Да уж навернем...

По коридору им навстречу вкусно тянуло только что снятым с огня рассольником. Калямущка уже околачивался на кухне с задранной хвостом — терся об Иркины ноги, крутился вокруг них по сложной орбите, как электрон кругом атомного ядра, и подвывал от избытка чувств. Тарелки были уже расставлены, и раздумывавшаяся от готовки Ирка гостеприимно помахивала половником.

— Давай, Бобка, в атаку, — сказала она. — А то тебе, я так понимаю, уходить скоро.

— А если б не уходить — что ж, не обедать, что ли? —

спросил Бобка. — Я, между прочим, и не пойду никуда — а обедать все равно буду.

— Ты же в гости собирался.

— Передумал.

Ирка подозрительно прищурилась на него:

— Нездоровится? Горло?

— Да почему сразу горло! Просто раздумал! Книжка интересная, не оторваться...

В комнате затрезвонил телефон.

— Ну конечно, — сказала Ирка, — как за стол, так телефон.

— Давай не подходить, — сказал Малянов. Сегодня он особенно боялся всего. И особенно теперь — когда через полчаса надо было идти.

Ирка хмыкнула.

— Я — всегда за. Но из вас кто-нибудь не выдержит. — Это межгород, — первым сообразил Бобка. Телефон надрылся. За окном словно смеркалось; от измороси воздух был густым, мутно-серым, дома напротив скорее угадывались, чем виднелись, и стекла снаружи затянули мельчайшие капельки воды. Туман налип на стекла. Слипец.

— Я подойду, — сказал Малянов.

Он поднял трубку и не сразу понял, почему раздавшийся в ответ на его «Да!» голос ему что-то напоминает.

— Митька?

— Да... Это кто?

— Не узнаешь, собака?

И раздался знакомый с детства горловой, будто подернутый жирком смех.

Это был Вайнгартен.

— Валька... Господи, Валька, ты откуда?! Ты где? Ты что, приехал?

Нет, не было жизни. Лишь на какое-то мгновение, единственное, задохнулся Малянов от нечаянной радости; полыхнул в душе разноцветный фейерверк и сразу погас, и только тяжелые темные ошметки разлетелись в стороны, а в середине, в сердцевине, в сердце осталось: началось. Таких совпадений не бывает. Началось. Таких совпадений не...

— Отец, ну ты совсем не поумнел! Что я там у вас забыл?

Слышно было лучше, чем если бы Вайнгартен звонил из соседней квартиры. И не трещало ни черта.

— Так ты что, прямо из Тель-Авива?

Опять жирный смешок.

— Одного идеократического государства мирному еврею на жизнь вполне достаточно, отец. С лихвой! Второго не надо!

Он говорил теперь с легким акцентом. Едва заметным. Все слова до единого — как встарь, и даже буква «р», не будь которой, артисты просто никак, наверное, не смогли бы изображать англосаксов, была нормальной, питерской — но интонации... ритм фраз, подъем тона и спуск... «С лихвой» прозвучало скорее как вопрос: «С лихво-ой?»

— Подожди, Валька, я не понял... Ты что, по принципу «дайте, гражданин начальник, другой глобус»?

— Ну уж другое полушарие, во всяком случае. Юннатские Статы. Там... то есть тут... все юннаты!

— Валька, ты что, поддал?

— Сколько ни пей, русским не станешь, — неопределенно проворчал Вайнгартен. — Только не уверяй меня, что ты не поддал! Ну и что? На-ар-рмально! Воскресенье! В этот день Штирлицу захотелось почувствовать себя советским офицером!

Малянов все-таки рассмеялся.

— Как ты там?

— По сезонам скучаю, — не очень понятно ответил Вайнгартен, но после паузы угрюмо пояснил: — Солнце, солнце... Пальмы эти окаянные... Плюс тридцать в тени, понимаешь, а в гадюшник спустишься — там якобы русских водок целая стена, и рекламка полыхает: «Очень хороша с морозца!» Придурки... Я чего звоню, старик! Я себе подарок сделал ко Дню Победы.

— Какой победы? — опешил Малянов.

— На исторической родине, я смотрю, совсем охренели от перестройки... или чего у вас там нынче... Может, русскому уже и по фигу, а еврею всегда радость. Победы над фашистской Германией, задница ты, Малянов! Мы со Светкой... Да, вам всем от Светки приветы и поклоны, натурально.

— Взаимно, — сказал Малянов.

— Мы со Светкой вообще все советские праздники празднуем. И двадцать третье февраля, и Восьмое марта, и — хошь смейся, хошь плачь — седьмое ноября... Кайф обалденный, тебе в Совдепии в него не въехать! Так вот. Понимай, как знаешь, а только добил я свою ревертазу. Пять лет пахал, как на Магнитке, а добил. Вот по весне. И ни одна зар-раза мне не мешала. Ни одна зараза ни единого раза!

Малянов сгорбился. Он знал, как это понимать, — но все равно ноги у него обмякли. Возможно, именно потому, что слишком уж все хорошо подтверждалось. Он придвинул стул, сел.

— Может, и впрямь на Нобелевку двинут, как мне тогда мечталось... есть уже шепоток. Но я не поэтому звоню. Я ж не хвастаться звоню... то есть и хвастаться тоже... Я тебе хочу сказать вот что. Только разуй уши и сними нервы, слушай внямчиво.

— Ну, слушаю, — сказал Малянов и поглядел на часы. Нету жизни. Первый раз за восемь лет друг позвонил с того света — и приходится смотреть на часы.

— Я хочу, чтобы ты взял ноги в руки и приехал работать сюда.

— Валька, не смейся.

— Я уже начал тут шупать некоторых. Гражданство-подданство-вид-на-жительство сразу не обещаю, но несколько лет у тебя будет для начала. Здесь, в Калифорнии. Ты тоже раздолбаешь здесь все, что захочешь. Только секрет тебе скажу...

— Скажи, — устало согласился Малянов.

— Но сперва спрошу. Ты вот, когда крутил в мозгах свои М-полости, о чем думал?

— Как это? О них и думал.

— А еще?

— Да много про что еще...

— Дурочку-то мне не валяй! Колись быстро, урка: про счастье человечества думал? Что, дескать, стоит мне открыть вот это открытие, как все народы в братскую семью, распри позабыв, брюхо накормив... и так далее. Было?

— Не знаю, — честно сказал Малянов. А про себя подумал: наверное, было. Это Валька очень четко уловил оттенок. Прямо так вот, конечно, ничего я не думал тогда. Но где-то в мозжечке жила, наверняка жила сызмальства впитанная и, вероятно, так и не изжитая до сих пор, только загнанная в глубину иллюзия, вера, надежда: принципиальное открытие способно принципиально изменить жизнь к лучшему. И значит, я не просто из детского необоримого любопытства работал, дескать, вопрею мир, как куклу, и погляжу, чего там у него внутри, и не из корысти или самоутверждения — хотя, конечно, и интересно до одури, и нос всем утереть хочется, когда мысль прет, и с приятностью отмечаешь на глазах ста-

новящийся несомненным факт собственной гениальности, и рукоплескания грядущие чудятся; но сильнее всего чудятся какие-то совершенно неопределенные благорастворения всеобщих воздушных. И этого, значит, оказалось достаточно, чтобы меня...

— А я вот уверен, что было. Ты ж советский, ты же чистый, как кристалл! Тебя ж еще в детском саду выучили: все, что ни делается, должно способствовать поступательному движению прогрессивного человечества к сияющим вершинам. А если не способствует, то и делаться не должно. Правильно, отец?

Малянов беспомощно улыбнулся.

— Правильно.

— Ну еще бы не правильно. Я и сам через это прошел... Когда нет ни умения, ни возможности улучшать собственную жизнь по собственному желанию, раньше или позже начинаешь грезить о поголовном счастье. Ведь при поголовном счастье мое собственное, во кайф-то какой, образуется автоматически! И вдобавок безопасно, никто ни завидовать не примется, ни палки в колеса ставить, счастливы-то все... — Вайнгартен протяжно хрюкнул. То ли высморкался, то ли издал некое неизвестное Малянову калифорнийское междометие. — Так вот ты забудь про все про это, отец, понял? Если чего-то хочешь добиться — забудь про все это немедленно. Прямо сейчас, пока я даю установку. Не знаю, возможно ли это там, у вас... Мне здесь удалось. Я только когда от этого освободился, тогда понял, насколько был этим пропитан. Потому и рискую утверждать, отец, что ты этим пропитан тоже. В гораздо большей степени, чем я. Так вот, слушай сюда: я не знаю, в чем тут дело...

А я — знаю, подумал Малянов.

— ...но думать надо про что угодно, кроме этого. Ставить какие угодно цели, кроме этих. Деньги, премии, свой завод по выработке из М-полостей презервативов, инфаркт у конкурента, новая машина жене, почет, девочки, яхты и Сэндвичевы, блин, Гавайи — но только не коммунизм какой-нибудь. Тогда все получится. Вот если ты мне обещаешь поработать на таких условиях — я здесь горы сверну и выволоку вас всех, всех, обещаю, Митька. Ты думаешь, я вас забыл? Вот тебе!

В телефоне что-то стукнуло; похоже, Валька и сейчас, хоть

никто его не видел, чисто рефлекторно ударил себя ладонью по внутреннему сгибу локтя — и едва не выронил трубку.

— Понял? Я обещаю! Но и ты обещай! Ты же голова! Если ты себя правильно направишь — так умоешь всех... — Вайнгартен запнулся. — Ну чего молчишь и дышишь, будто белогвардейца увидел? Пархатый приспособленец осмеливается давать советы гордому внуку славян, тебя это шокирует?

— Ты там, на свободе, по-моему, на своем еврействе сбрендил.

— Ну естественно, — пробурчал Вайнгартен. — При демократии все мании и шизии расцветают пышным цветом. Махровым. Куда как лучше: я, пионер-герой, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: стоять по росту, ходить строем, ссать по указанию вожатых, никогда не иметь ни национальных, ни половых признаков... Ладно, об этом мы поговорим, когда приедешь. Здесь, между прочим, антисемитов тоже выше крыши. Так что у тебя будет кому душу излить.

— Валька, черт бухой, не зли меня!

Вайнгартен довольно зареготал.

— Вот теперь слышу нормальную речь. А то будто не с человеком разговариваю, а с малахольным херувимом, не поймешь, слышит он меня, или у него в башке один звон малиновый. Похмельной... то есть духовной... жаждою томим до родины я дозвонился — и малахольный херувим из телефона мне явился! Значит, так. Сейчас мне ничего не отвечай. Я перезвоню через пару дней. Подумай. Крепко подумай, Малянов! Такого шанса у тебя больше не будет! — И вдруг сказал совсем тихо, совсем иначе: — Честное слово, Митька, я правда хочу помочь. И... я очень соскучился.

Малянов сглотнул — горло зажал. Дернул головой.

— Я понимаю, Валька, — так же тихо и чуть хрипло ответил он. — Спасибо.

— Спасибо в стакане не булькает! — вдруг опять взъярился Вайнгартен. — Мне не спасибо твое нужно, а чтобы ты был здесь и чтобы ты сделал дело!

— Я подумаю.

— Вот и хорошо, — тихо сказал Вайнгартен после паузы. Помолчал, шумно дыша. Спросил: — Видишь кого-нибудь?

— Кого? — невольно спросил Малянов, хотя сразу понял, о ком речь.

— Кого-нибудь из... нас.

— Только Глухова. Вчера вот надрались не в меру. А так — все больше в шахматы с ним играем...

— В старики записался, Малянов? Ох, не позволю я тебе этого. Не позволю! А... ну...

— Фила?

— Да. Вечеровского.

— Нет, ничего не знаю о нем.

— Если вдруг объявится — держись подальше, — неожиданно сказал Вайнгартен. — Он... третий тип. Не ты и не я, а... фанатик. Жрец чистой науки, мучитель собак и кроликов. Как он нас разыграл тогда... как подопытных! Никогда не прошу. А неуязвимца как изображал! Все на равных сидят, обалделые, а он как бы ни при чем, советы раздает. «Все-таки я умею владеть собой, бедные мои барашки, зайчики-гулики!» — почти злобно передразнил он. — Тоже мне Тарквиний Гордый... Он и тебя постарается сделать либо кроликом, либо мучителем — но кроликами-то окажутся твои близкие, мы это уже проходили.

— Валька... у тебя тоже что-то там... происходило?

— Ну уж дудки! — взъярился Вайнгартен. — Я на-ар-рмальный приспособленец! Мне эта ваша божественная истина нужна, как Ильичу в Мавзолее сортир. Я с удовольствием работаю и наслаждаюсь материальными результатами своей работы, и никто меня не трогает. Все истины, Малянов, приобретают смысл только тогда, когда начинают облегчать быт, понял? Ну все, старик. Помни, что я сказал. И думай, думай, думай!

— Твоим тоже приветы передавай!

— Непременно. Жму!

И он дал отбой.

Несколько секунд Малянов сидел неподвижно, все прижимал трубку к плечу. Потом решительно положил ее на рычаги обмотанного синей изолентой трижды уже битого аппарата и встал.

— Я твой рассольник обратно в кастрюлю вылила, — сказала Ирка, когда он вошел в кухню. — Сейчас разогрею. Кто там на тебя насыпался?

— Глухов, — сказал Малянов. — Похмелиться звал.

— А звонило как по межгороду, — удивленно сказал Бобка.

— Мне тоже сначала показалось. Нет, свои. Иронька, я сейчас уйду часа на три... да не к Глухову, не бойся...

12. «...зумеется, битком набит, Малянов еле втиснулся. Он даже хотел пропустить этот и дожждаться следующего — если долго не было, имеется шанс, что потом придут два или даже три подряд, есть такая народная примета; но он и так уже опаздывал. И ему хотелось скорее вернуться домой. Очень хотелось. Ощущение близкой беды славливало виски, ледяным языком лизало сердце, и сердце, отдергиваясь, пропускало такты. Убедиться — и домой. В чем убедиться? Он не знал. Хоть в чем-нибудь.

Валька больше не позвонит. Возможно, даже пожалеет, что звонил.

А может, и нет. Может, действительно соскучился. И памятная, вечная его развязность, возведенная сейчас в квадрат, в куб, — от непринужденности ли она? Скорее, наоборот. От непонимания, как держаться.

Но почему он ни разу не написал — ни письма, ни хоть открытки? Это я не знал и до сих пор не знаю, куда ему написать в случае чего, а мой-то адрес не менялся! Исчез на восемь лет — а теперь нате! Может, у него все-таки что-то случилось — только он виду не подает?..

Как же все подтверждается забавно! Да. Куда как забавно. Если теория демонстрирует хотя бы минимальные предсказательные возможности — значит, она не совсем бред. Значит...

— Пробеите, пожалуйста, талон.

— Не могу, простите. Рук не вытащить.

Молодец, Валька. Сделал-таки... Наверное, и Нобелевку свою получит. Хорошо бы.

Скорей бы домой.

В спертom воздухе забитого под завязку автобусенка, медленно и натужно катящего по лужам, отвратительно завоняло сивухой с луком; сзади на Малянова навалились и больно вогнули под ребро какой-то острый угол. Малянов заерзал, выкручиваясь червем и пытаясь пустить угол мимо.

— Чего пихаешься, мудила? — невнятно, но громко спросили его. — Щас как пихнусь — костей не соберешь.

Малянов смолчал, не поворачивая головы.

— Ну чо вылупился? — спросили его и навалились сильнее. — Поговорить хочешь? Дак давай пошли из трясунца выйдем, разберемся?

Малянов молчал.

— Вот мудила!

Малянов молчал. Прыгая на колдобинах разбитого покрытия и завывая, перегруженный жестяной гробик волокся сквозь промозглую мглу; сбитые и склеенные в единую, вроде комка лягушачьей икры, массу, угрюмо прыгали с ним вместе разнообразные несчастные люди.

— Молчишь? За Гайдара небось, коли так надулся? Ничё, к осени всех вас по лагерям передеб...»

13. «...выдавился из автобуса на остановку раньше, и с полкилометра пришлось шлепать по грязи пешком. Сырой ветер пронизывал до костей. Справа простирался жуткий пустырь, разьеженный тракторами и бульдозерами, весь в глинистых буграх и лужах, с огрызками бетонных плит и скрученных жгутов ржавой проволоки, растущих из земли чаще, чем полынь; за пустырем смутно громоздились в промозглом тумане жилые корпуса. Слева тянулся необозримый бетонный забор. За ним могла бы уместиться, наверное, целая ракетная база; а может, просто овощебаза; но в какой-то момент забор прервался обшарпанным, перекошенным сараем с железными запертыми воротами сбоку, и Малянов из выцветшей объявы на сарае смог выяснить, что располагается здесь ни много ни мало «Акционерное общество закрытого типа «Лакон». По ту сторону территории акционерного общества клубились в сумеречной мороси голые деревья; кажется, там было кладбище. А впереди справа темной угловатой громадой вздымалось мрачное, ступенчатое, как теокалли Теночтитлана, здание завода.

Малянов подошел к остановке, на которой, ориентируйся он получше, ему следовало бы выйти, в семь минут седьмого. На остановке никого не было, и вообще не видно было ни души. До завода оставалось не больше сотни метров; между остановкой и заводом тянулись приземистые гаражи — тоже какого-то военизированного вида, словно полуутопленные в забитую шлаками и обломками глину. На глухой стене крайнего виднелась почти неперемнная на любой нынешней помойке меловая надпись «Ельцин — иуда» и рядом — нацистская свастика. Шипел сырой ветер. Фильмы ужасов тут снимать... или про атомную войну...

Ну вот. Стоило тащиться, чтобы убедиться... В чем?

Малянов привалился отсыревшей спиной плаща к гофру кабинки. А где остановка в противоположную сторону, чтобы к метро ехать? Ага, вон. Скорей бы обратно на родной «Парк Победы». Там хоть какая-то цивилизация. Огоньки горят... Люди... Только что, вот буквально только что, людей было слишком много — в метро, на остановке, в автобусе... А теперь совсем не осталось. Вымерли. Мертвая земля под мертвым небом. Две пустыни отражаются друг в друге, как в зеркале... Только из неба, к счастью, не торчит арматура и не сыплются железобетонные обломки. Это только мы умеем. Венцы творения. Нету Вечеровского.

Нету Вечеровского.

Холодно как.

Нету.

Вот и хорошо. Теперь можно ехать домой. Как хорошо будет дома, зная, что я все выдумал и что это просто недоразумение или шутка-прибаутка...

А может, Фил шел сюда, но не дошел? Может, что-то с ним случилось в самый последний момент? Ведь боялся же он кого-то... чего-то... Может, побродить по пустырю?

Может, он... лежит тут где-нибудь... рядом? И даже окликнуть не может?

Нет, это уже идиотизм. Искать неизвестно где, неизвестно зачем, безо всякой уверенности, что это вообще имеет смысл... По жутким этим грязям! Малянов, не сходи с ума.

Само ЛОМО. Значит, не на остановке. Внутри завода? Но как я туда попаду?

И он? И где там искать?

Может, просто у самого ЛОМО? Дескать, не на остановке, а рядом с корпусом...

Малянов оттолкнулся плечом от жестянки и пошел к корпусу, ежась от скребущего по ребрам озноба и тщательно выбирая, куда поставить ногу. Выбор предлагался неширокий: лужа — грязь, лужа — грязь; грязь была вязкой, топкой, протяжно чавкала и отдавала ногу неохотно, на каждом шагу норовя схлебнуть с нее обувку.

Мутный темный контур залез в самую середину серого киеся, заменявшего небо, а до стены оставалось метров семь, когда из-за одной из опор, на которых покоились ряды окон второго этажа, — даже про себя не получалось назвать эти бе-

тонные надолбы изящным архитектурным словом «колонны» — выступил человек.

В нем не было ничего от Вечеровского. Многодневная рыжевато-седая шетина на запавших щеках; долгая лысина, разделившая два куста рыжевато-седого мха над ушами; необъятный, складчатый, шелушащийся лоб; заляпанный давным-давно засохшей коричневой краской жеваный плащ без половины пуговиц, под ним — толстый свитер с высоким разорванным воротником... Брюки уделаны глинистыми потеками. Мрачный, загнанный, все время ищущий, откуда ударят, взгляд припертого к стене. Бомж. Такому бутылки по помойкам собирать. Глядеть жутко.

— Я знал, что ты поймешь, — сказал человек. Простуженный, сиплый голос.

Несколько секунд они стояли неподвижно, потом обнялись. И пахло от Фила, как от бомжа. Застарелой неряшливой немытостью и нестиранностью, ночевками на чердаках...

— Господи, Фил! — рыдающе произнес Малянов. — Что с тобой? Где ты?..

— Неважно, — отрезал Вечеровский, и это прозвучало как прежде: ни тени сомнения, одна лишь рыжевато-седая уверенность, что если он сказал «неважно», значит — неважно.

— Тебе что, Фил, жить негде? Так у нас...

— Подожди, Дима, не тараторь. Не надо мне ничего.

Он покусал обветренную, в черно-кровавых нашлепках губу.

— Я написал эту дурацкую записку и позвал тебя сюда, потому что ничего лучше не смог придумать. Мы не шпионы. Такого опыта у нас нет.

Малянов молчал.

— Но мне совершенно необходимо поговорить с тобой наедине, вдали от шума городского... и так, чтобы никто об этом не знал. Надеюсь, ты не растрепал Ирине?

— Нет, — тихо сказал Малянов. — У меня не было никакой уверенности, что я понял правильно.

— А если бы была — растрепал бы?

Малянов собрался с мыслями. Вечеровский изменился. Возможно, сильнее, чем кто-либо из них. Возможно, сильнее, чем все они, вместе взятые. И вдруг в памяти всплыли слова Вальки.

Таких совпадений не бывает.

Ужас снова лизнул сердце.

Фил, дружище...

— А если бы была, — тихо сказал Малянов, — рассказал бы. Вечеровский презрительно скривился.

— Ты давно в Питере, Фил?

— Неважно.

— А что важно?

Пауза. Потом:

— Надеюсь, ты не торопишься?

— Смеешься? Я специально ехал! И вообще, Фил... Что с тобой? Ты здоров? Почему ты просто к нам не зашел? Когда записку эту бросал в ящик... и вообще... да как приехал, сразу надо было!..

— Не надо было, — уронил Вечеровский.

Малянов осекся. Вечеровский смотрел исподлобья, холодно и вчуже.

— Никто не должен знать, что мы встречались. Я никому сейчас не могу доверять. Собственно, даже тебе... Просто у меня нет выбора, и... с тобою вероятность предательства меньше, чем при каком-либо ином раскладе. Вряд ли это именно ты. В последнюю очередь я подумал бы на тебя. Фантазия у тебя бедновата. Я еще тогда удивлялся, как сумел ты додунуться до М-полостей.

— Как-то сумел, — тихо сказал Малянов.

— Я многое понял, — возвестил Вечеровский. — Много успел. Накопил колоссальный материал.

Малянов улыбнулся. И сразу почувствовал, что в улыбке его присутствует отвратительный и совершенно излишний сейчас оттенок искательности — но ничего не мог с собой поделать. Ему отчаянно не нравился тон разговора. Тон был не товарищеским. Не был даже просто доверительным. Тон нужно было сменить любой ценой.

— Представляю, сколько чудес ты видел...

— Да... Чудес... Много было всякого. Вам такое и не снилось, бедные мои барашки, котики-песики...

Он помолчал.

Наваливалась тьма. Вдали, едва просвечивая сквозь водянистую муть, затеплились окна пропадающих домов. Завывая так, что слышать было за километр, под тусклый фонарь подкатил гнойно светящийся изнутри, почти пустой троллейбус и остановился. Всю кашу из него сцедило на предыдущих ос-

тановках; здесь, в этой болотистой тундре, он отложил лишь пару яиц и, дергаясь, раскачиваясь, вновь пустился в странствие.

Вечеровский настороженно провожал вышедших взглядом, покуда те не исчезли во мгле. Тогда он перевел взгляд на Малянова. Настороженность осталась.

— Чем дальше я продвигался, тем интенсивнее становилось противодействие. К этому я был готов — но полной неожиданностью оказалось то, что оно было столь целенаправленным... буквально осмысленным. Словно кто-то нарочно издевался. Постепенно я пришел к выводу, что мне сознательно пытается противодействовать некто, продвинувшийся по меньшей мере не меньше меня. Я долго гнал эту мысль, но в конце концов играть в страуса оказалось более невозможно.

Пауза. Вечеровский перевел дух. Поразмыслил.

— И вот я хочу спросить тебя, Димка... Нет ли у тебя каких-то соображений относительно того, кто именно это может быть?

— Сознательное и осмысленное противодействие тебе? — спросил Малянов и против воли улыбнулся. — Нет. Нет у меня таких соображений.

— По тону твоему я чувствую, что у тебя есть какие-то иные соображения. Потом расскажешь, если время останется...

— Фил, если бы ты поподробнее рассказал, что уж ты такое там понял и чего добился, я мог бы, наверное, более осмысленно и сознательно отвечать на твои вопросы.

Вечеровский опять долго всматривался в лицо Малянова, покусывая губы. Так человек мог бы смотреть на жука, на бабочку, оценивая: подойдет для коллекции или нет, накалывать на булавку или просто придавить... Потом сказал:

— Обойдешься. Это ни к чему.

Малянов пожал плечами. Вечеровский не оттаивал. Это было ужасно. И очень неприятно.

— Что ты знаешь о наших? — спросил Вечеровский.

Малянов опять пожал плечами.

— О Захаре ничего. С Глуховым все в порядке, мы встречаемся довольно часто...

— Я так и знал. Достойная компания.

— Да, вполне. То в шахматшки поиграем, то водочки попьем...

Вечеровский трескуче рассмеялся.

— Валька звонил сегодня из Америки. Как раз сегодня, представляешь? Но он никому не противодействует, можешь быть спокоен. Он вполне упоен собой. Добил, представь, свою ревертазу. И никаких препон ему, по его словам, не чинили.

— Вайнгартен? — омерзительно насторожился Вечеровский. — Ревертазу?

— Говорит, да. Говорит, на Нобелевку его выдвигать собираются. Может, и прихвастнул слегка — что ты, Вальку, что ли, не знаешь...

— Да уж знаю! — с непонятной интонацией сказал Вечеровский. — И ему не мешали?

— Говорит, нет.

— Это невозможно.

— Ну, Фил... за что купил, за то продаю.

— Не ты купил! — резко сказал Вечеровский. — Тебя купили! Как дурачка!

Малянов смолчал.

— Если Вайнгартен сумел закончить работу, которая была остановлена давлением Мироздания, значит, он сумел как-то освободиться от давления Мироздания. Значит, он как-то научился управлять этим давлением! Ах, Валька, Валька... Такой, понимаешь, анфан террибль... себе на уме!

— Фил, научиться освобождаться от давления и научиться управлять давлением — это совсем не одно и то же.

— Что такое?

Малянов смотрел в его рыжие глаза и вспоминал, как Вечеровский — изяшный, умный, чистый — мягко и уверенно говорит, не сомневаясь в правоте своей ни секунды: может быть, со временем мы научимся отводить это давление в безопасные области, а может быть, даже использовать в своих целях... Вспоминал, как, восхищаясь другом, он записывал потом: вполне возможно, Вечеровский обнаружит ключик к пониманию этой зловещей механики, а может быть, и ключик к управлению ею...

— Мы слишком привыкли, — сказал Малянов, — что всякий очередной уровень понимания мира — это очередной уровень его использования в наших целях. А если в данном случае это не так, Фил? Тебе не приходило в голову? Понять можно — а использовать нельзя? Только определиться относи-

тельно этого нового понимания. Только выбрать позицию. Больше — ничего.

— Ты повторяешь мне мои собственные слова, которыми я пытался вас образумить тогда, — сказал Вечеровский. — Надо идти дальше. На нынешнем уровне то, о чем ты разглагольствуешь — чуть подслащенная капитуляция, не более того.

Малянов помолчал, собираясь с мыслями. И вдруг вспомнил, что хотел только убедиться — и молчать, не произносить ни слова. Но я же, в сущности, молчу, успокоил он себя.

— Можно ли назвать капитуляцией то, что человек смиряется с необходимостью дышать? — спросил он. — Вызвал бы у тебя уважение безумец... гордец... который восстал бы против этой необходимости с криком: хватит! надо идти дальше!

— Софистика, — дернул щекой Вечеровский. — Все зависит от ситуации. Когда человеку захотелось проникнуть в миры, где дышать невозможно, человек, чтобы избавиться от необходимости дышать, придумал скафандр, акваланг...

— Как раз наоборот, — мягко ответил Малянов. — Он придумал все это, чтобы взять с собою в эти миры необходимость дышать.

— Прости, но это чушь. Очевидно, что, если бы был найден способ ликвидировать потребность в дыхании, это существеннейшим образом увеличило бы возможности человека.

— Этак и от человека ничего не останется, а, Фил?

— Мне все это не интересно. Мне гораздо интереснее, что еще ты знаешь о Вайнгартене.

Малянов пожал плечами:

— Ничего. Он обещал мне позвонить через пару дней... хотя, может, и не позвонит. Он хочет меня перетащить туда, в Штаты... работать.

Вечеровский опять покусал черную корку на губе.

— Собирает всех вовлеченных в процесс под свое крыло... Что ж, логично... Ты поедешь?

— Рано говорить... вряд ли что-то из этого выйдет... — Малянов сам почувствовал, что отвратительно мямлит, и тряхнул головой. — Ах, да Фил! Да никуда я не поеду, что ты, в самом деле!

— Смотри, — строго сказал Вечеровский. — Я тебе пока верю. Но в то же время мне было бы крайне, крайне интересно и важно узнать... Неужели это действительно Вайнгартен? А Глухов? — вдруг вспомнил он.

— Что — Глухов? — устало спросил Малянов.

— У тебя не создавалось впечатления, что он знает больше, чем говорит?

— Фил, ты не в КГБ теперь работаешь?

— Дурак ты, Митька...

На секунду прозвучал голос прежнего Фила. И Малянов тут же размяк.

— Ну прости. Просто очень странные... нелепые вопросы ты задаешь... О чем знает? О чем говорит?

— Ну неужели непонятно? — повысил голос Вечеровский. — Обо всех наших заморочках.

— Мы вчера весь вечер говорили о наших заморочках. Он говорил в основном. Я помалкивал.

— Почему?

— Потому что я трус.

— Вот как? А тебе есть что сказать?

— Есть.

— Ах, вот как? Ну, говори.

У Малянова потемнело в глазах; на миг пропали и фонарь на остановке, и далекие, расплывающиеся огоньки окон.

Фил смотрел выжидательно и строго. И чуть насмешливо. И безусловно, свысока.

Зачем я только поехал.

Не могу, не могу, не могу!! Нельзя!

Как он исхудал. И бороденка эта... И этот рваный воротник — у него-то, который всегда был будто вот только сейчас с файв-о-клока у британской королевы. А плащ — с чужого плеча, велик, болтается, как на вешалке... Что он выдумал, какое сознательное противодействие?! Врагов ищет, рыжий. Ведь с ума сойдет.

А может, уже...

Неужели благородное желание постигнуть настолько, чтобы уметь использовать, — лишь одна из ипостасей стремления подчинять? И когда подчинить не получается — раз не получается, два, три, четыре не получается, — но в то же время никаких сомнений в самой возможности подчинить все-таки не возникает, мозг, сам того не замечая, принимается себе в оправдание измышлять тех, кто успел подчинить первым и теперь злобно строит козни? Какая жуткая ловушка... Бедный Фил.

Надо объяснить. Обязательно надо объяснить. Он поймет.

— Я, наверное, буду долго говорить, Фил.

— Постарайся покороче. Не знаю, как тебе, а мне время дорого.

— Постараюсь. — Малянов совсем не был уверен, что у него получится. Он ни разу не говорил об этом, ни разу даже не пытался продумать так, чтобы сформулировать последовательно и логично. — Сначала две маленькие леммы. Ты веришь в телепатию?

На утлом лице Вечеровского мгновенно проступило насмешливое пренебрежение.

— Видишь ли, Дима, — сказал он с утрированной вежливостью. — Я, видишь ли, ученый. Оперировать категориями веры и неверия оставим кликушам.

— Хорошо. Скажем иначе. Ты исключаешь возможность существования телепатии?

— Я не думал над этим. Но, честное слово, Дима, все эти летающие блюда, столоверчение, полтергейст...

— Не исключаешь. Хорошо. Я тоже не занимался специально, но исключать со стопроцентной уверенностью не могу. Существует ряд фактов, которые невозможно с ходу отместить. Но если некий неизвестный и неподвластный нашему сознанию тип восприятия сигналов существует, то почему, скажи на милость, мы должны исходить из того, что лишь наши собственные мозги в состоянии генерировать эти сигналы? Если во Вселенной происходит некое движение информации...

— Так. Полный набор банальностей. Телепатия, пришельцы... что у тебя еще в золотом фонде?

— Не пришельцы, подожди. Все, что.... Хотя бы Гомеостазис твой, например. Для начала. Если во Вселенной происходит некая саморегуляция, сигналы, сопровождающие срабатывание обратных связей, вполне могут иногда... иногда, повторяю, очень редко... восприниматься людьми. Как смутные, невыразимые, грандиозные образы, которым съезженное и приземленное человеческое сознание будет тщетно пытаться найти какие-то адекватные в привычном образном ряду. А затем опрошение будет происходить еще раз — при попытках найти этим вторичным образом словесные адекватные, высказать их вслух. Представь... ну, скажем... ну, вот красное смещение. Явление, явно чреватое изменением вселенской структуры через миллиард лет. По твоей, следовательно, теории — явно

подпадающее под категорию явлений, которые Мироздание должно тормозить. Значит, Вселенная просто не может не быть битком набита некими сигналами, на все лады демонстрирующими негативное отношение к красному смещению. В них нет эмоций — только команды типа: явление, представляющее опасность; прекратить. Срабатывает Гомеостазис. Но что получается, когда какой-то из этих сигналов залетает ненароком в тот или иной особо чувствительный, особым талантом награжденный человеческий мозг? Сто лет назад, тысячу лет назад... Время от времени. Совершенно не понимая, о чем, собственно, речь, принявший сигнал человек испытывает потрясающий ужас, непреодолимое и ни на чем конкретном не основанное отвращение, скажем, к красному цвету. К тому, что он, будучи человеком, воспринимает как красный цвет. Но что дальше? У одного образ красного вызовет, скажем, ассоциации с сигналом светофора, у другого — с фонариком над борделем, у третьего — с Кремлевскими звездами. Возникнут три совершенно различные, но эмоционально одинаково насыщенные интерпретации. Предельно насыщенные. Называются они откровениями. Каждое из них будет порождением пришедшего извне эмоционального потрясения и в то же время — реалий собственной культуры, существующей в данное время и в данном месте.

— При чем это здесь?

— При том, что так возникли все религии. Так объясняется, что в них столько общего, особенно по поводу сотворения мира и прочих общих принципов... и в то же время — что по-человечески они настолько несовместимы.

— При чем здесь религии? — подозрительно спросил Вечеровский.

— Лемма вторая, — ответил Малянов. — Скажем так... Количество создаваемой информации прямо пропорционально количеству энергии, относительно которого эта информация создается. В понятие энергии входит и ее материальная составляющая... то есть та ее часть, которая загустела в виде ядерных частиц и, следовательно, вещества.

— Подожди, — жутко шевеля бугристым лбом, проговорил Вечеровский. — Не понял. Телега впереди лошади... При помощи которого эта информация создается?

— Относительно которого эта информация создается, — поправляя, повторил Малянов. — Нет-нет, это просто.

— Ну, спасибо! — язвительно произнес Вечеровский.

— Подожди, Фил, не кипятись. Представь, что ты сидишь с закрытыми глазами. Как бы ты ни был творчески одарен, как бы долго ни размышлял, раньше или позже ты упруешься в некий предел, дальше которого твоя мысль двинуться не сможет. Ощущения твои дают чрезвычайно большое, но не бесконечное количество информации для обработки. Чтобы принципиально увеличить творческий выход, нужно открыть глаза. И увидеть комнату, в которой сидишь. И раньше или позже столкнуться с той же проблемой снова. Тогда тебе придется выглянуть на улицу. Или каким-то образом выяснить, что стены — это не просто стены, а молекулы. И так далее... видимо, до бесконечности. В самом общем виде можно сформулировать это так: чтобы поддерживать процесс создания информации, нужно вовлекать в этот процесс все новые количества материи.

— Предположим... — хмуро сказал Вечеровский. — Но я не понимаю, куда ты клонишь. Какой-то бред.

— Возможно, Фил, возможно. Но, скажем, для... для Мироздания, обладающего массой способностей и возможностей, которые нам и не снились, механику процесса можно представить несколько иначе. Самый простой, самый напрашивающийся... если ты всемогущ, конечно... самый экономичный и рациональный способ увеличивать количество материи, вовлеченной в процесс создания новой информации, — это овеществлять уже созданную информацию в виде материи!

Горбясь и глядя в землю, Вечеровский сосредоточенно слушал. Но тут, через несколько секунд после того, как Малянов замолчал, он весь передернулся и медленно, будто с трудом, поднял тяжелый взгляд Малянову в лицо.

— Кажется, — глухо и неприязненно произнес он, — мы еще тогда договорились концепцию боженьки не рассматривать.

— А почему, собственно? — спросил Малянов.

— Так. — Вечеровский распрямился, потянулся, сжимая и разжимая кулаки в карманах плаща. — Говорить нам больше не о чем.

— Да Фил, да подожди! Взгляни непредвзято! Почему самопроизвольное возникновение материи тебе кажется нор-

мальным и естественным, а самопроизвольное возникновение информации — мракобесием и бессмыслицей?

— Потому что, — отчеканил Вечеровский, — информации необходим носитель!

— А материи не необходим? И в конце концов, что мы знаем о носителях? Лет сто назад кто мог бы представить, что целый стеллаж с фолиантами можно уместить на одном диске! Представь, что во Вселенной идет грандиозный творческий процесс. Не знаю, когда и как он начался. Так же, как ты, на самом-то деле, в точности совсем не знаешь, когда и в честь чего бабахнул большой взрыв. Так вот именно этот творческий процесс, раз начавшись, не мог не вызвать этот бабах! И ты посмотри, какая масса всякой всячины к этому моменту была уже напридумана, ведь как бурно шел процесс расширения Вселенной поначалу! Помнишь, еще в институте у нас буквально поджилки тряслись от какого-то... мечтательного благоговения, когда мы читали про то, что результаты процессов, совершившихся буквально в течение первых минут, когда из хаоса чистой энергии отпочковывались сначала гравитация, потом нейтрино... определили фундаментальные свойства мира на всю оставшуюся жизнь. Но такой темп... не свидетельство ли того, что сами эти процессы шли по неким ранее возникшим матрицам? А теперь? Да не в гомеостазисе мы живем — в развивающейся системе! И именно крохи переполняющей мир информации о том, как эта система развивается, улавливали пророки и пытались сформулировать в откровениях... Вероятно, и по сей день улавливают и пытаются — ведь система продолжает развиваться! Продолжает! По классической теории, электрический заряд, барионное и лептонное числа на единицу объема меняются обратно пропорционально кубу размера Вселенной. Но уточненные измерения показывают некое странное, необъяснимое отклонение. Погрешностью его американцы обозвали... Так вот именно оно есть численная характеристика интенсивности идущего и поныне интеллектуального процесса, сопровождающегося сбрасыванием на наш уровень уже выработанной и овеществленной информации. Помнишь, Сахаров еще в шестьдесят седьмом угадывал несохранение барионов, только не умел его объяснить...

Он говорил и говорил, и уже не мог остановиться. То, чего не смог вчера алкоголь, сделало сегодня сострадание; а теперь

заслонки были сорваны — и он наконец говорил. От неожиданной свободы кружилась голова. Так они говорили и спорили когда-то. Он выволок Вечеровского под фонарь и чертил подобранной тут же, на остановке, обгорелой спичкой формулы и уравнения в грязи, он вдруг перестал бояться; он снова был молод; он снова был Бог, и Вселенная, мерцающая, раскручивалась у него на ладони.

— Конечно, отсюда никто не диктует: мю Змееносца, лети туда! Черная дыра в Лебедь, начинай испаряться! Так он топтался бы на месте, а не двигался дальше, не развивал из мысли мысль. Наоборот, организованная материя, самостоятельно развиваясь по возникшим в начале... я даже не говорю — заданным, потому что, скорее всего, там и речи нет о том, чтобы, скажем, нарочно фиксировать скорость света или число Бойля — Мариотта, просто некие представления, возникшие там, здесь проявляются как те или иные константы и закономерности... так вот, материя сама, развиваясь по возникшим вначале законам, отражающим что-то такое там, чего нам, хоть лопни, даже не представить... поставляет дальнейший материал для размышлений... а результаты этих размышлений вновь вываливаются сюда. Считается, что скрытая масса Вселенной по крайней мере больше наблюдаемой массы и что составляют ее реликтовые нейтрино. Думаю, это действительно так, и именно нейтрино, с их способностью проникать везде и всюду, не поглощаясь, работают как приводные ремни, как материальные носители обратных связей. Потому их и должна быть чертова пропасть — они сканируют мир, от каждой отдельной элементарной частицы до Метагалактик! И они же выносят наработанный материал отсюда!

Смутно и мертвенно белело во мраке лицо Вечеровского. Транспорт совсем перестал ходить, за последние полчаса ни к метро, ни от метро не прогудел ни один автобус и ни один троллейбус, кругом была пустыня. Темная, унылая, промозглая. Набухшая тишиной. Только говорил Малянов.

— А вот с нами получилась трагедия... И наверное, не только с нами. Множественность обитаемых миров... Ты правильно угадал тогда факт торможения... Глухов даже четко сказал вчера, хоть и по-гуманитарному эмоционально: не пустили... так вот, факт непускания. Только критерий отбора мы тогда сформулировали совершенно неверно. И теперешняя удача Вальки — тому лучшее доказательство. Не враги те-

бе путают карты и над тобой издеваются, Фил, дорогой, поверь... Просто ты попытался взяться за рычаг, который не от мира сего. Не дергайся, пойми. Мы можем использовать в своих целях любой закон природы, пока соблюдаем некие, я сейчас скажу о них, ограничения. Но именно этот вот рычаг — весь по ту сторону от нас. Его нельзя использовать с животными целями...

— Что еще такое? Какие животные цели? При чем тут цели, что ты несешь?

— Сейчас объясню... Хотя... Это самая неприятная часть того, что я должен тебе сказать.

Малянов почувствовал вдруг усталость. Возбуждение прошло. Ощущение было сродни похмелью; только что, вот буквально только что был полет, а теперь — пустота и ужас от содеянного. Топливо — сочувствие и желание защитить — иссякло.

Потому что Вечеровский так и не оттаял.

— Понимаешь... Это очень трудно формулировать... потому что очень тошно. Мы придуманы как часть животного мира. И живем по его законам. Мы возникли по его законам и должны жить по его законам, и пока живем — то живем. Хотя в определенном смысле мы действительно созданы по его образу и подобию, потому что имеем возможность овеществлять результаты нашего творчества. В книгах, в машинах, в учениях... Во второй природе. Как он — в первой. Письменность, деньги, лазеры — такие же продукты метаболизма нашего сознания, как Вселенная, с нами в том числе, — продукт метаболизма его сознания. Тут нет ограничений, мы можем измышлять себе в подспорье все, что только сможем, до чего додумаемся... Ограничение лежит совершенно в иной области.

— Ну, понял, понял, не тяни! — вдруг почти крикнул Вечеровский.

— Да я не тяну... Мы можем открывать закономерности второй — для нас первой — природы, учиться использовать их, шить из них шмотки, ездить на них на работу или по кабакам, находиться под угрозой отравления ими, как находятся под угрозой отравления продуктами своей жизнедеятельности любые животные в замкнутой экосистеме, и бороться с этой угрозой всеми доступными животным средствами... только пока живем по законам животного царства. В мире стимулов, желаний, целей, присущих всем животным в мире, толь-

ко реализуемых чуть иначе. Можем разрабатывать какие угодно новые средства, покуда цели остаются старыми. Обычными. Здесь никакие фундаментальные законы Мироздания не нарушаются. И никакого торможения, никакого непускания. Что тормозить? С какой стати? Какая разница, клыком, оперением или зарплатой привлек ты самку? Какая разница, под влиянием инстинкта или идеологии идет стая на стаю в борьбе за корм и пространство, рогами бодает друг друга или «стингерами»? Повкуснее поест, поинтенсивнее размножиться, погарантированное сохранить потомство, послаще отдохнуть, понадежнее избавиться от соперника... Все как у всех. Но вот стоит тебе перестать быть животным в сфере целей... все, шабаш. Такое поведение чревато возникновением мира, или хотя бы, поначалу, мирка, который начнет жить по неким иным, новым... здесь, а не там... нами, а не им!.. придуманным законам. А потому — тащить тебя и не пущать. Миллион лет человечество стоит перед этой стенкой, бьется об нее мордами своих лучших представителей.... Потому что суть конфликта совершенно не в уровне техники. Этот конфликт может происходить и в «Шаттле», и в пещере. Думаю, он и животным знаком. Когда какой-нибудь волчара, сам не понимая почему, равнодушно трусит мимо удачно подвернувшейся и явно беззащитной косули или оставляет пожрать своему волчьему старику...

Малянов перевел дух. Вечеровский слушал, сгорбившись и глядя в землю. Складки на его страшном лбу ходили ходунном. Поднятый воротник плаща трепетал от темного ветра, как крыло раздавленной бабочки.

— Этика есть один из продуктов метаболизма сознания, не больше и не меньше. Она делает жизнь стаи гораздо продуктивнее, устойчивее, безопаснее для всех членов этой стаи. Но время от времени рождаются извращенцы... сдвинутые... знаешь, как кто-то ни с того ни с сего с детства помешан на машинах и становится автогонщиком или конструктором, другой так же помешан на доброте и честности. Они начинают воспринимать этику слишком всерьез. Начинают слишком ею руководствоваться. Начинают ее разрабатывать, развивать. Начинают ставить жизненные цели, обусловленные только ею. Следовательно, начинают вести себя противоестественно. Создавать свой мир. Они подлежат безусловному вытаптыванию. И уж тем более немедленному и яростному...

плохо сказал. Ярости тут в помине нет, срабатывает мертвый защитный механизм, блюдуший неприкосновенность придуманного там. Яростное по... интенсивности. Тем более вытаптыванию подлежат те, кто, руководствуясь этими противостественно этичными, гипертрофированно человеческими, противопоказанными полноценному животному существованию целями, измышляет некие принципиально новые средства для их достижения. Учение... книгу... ревертазу... — Малянов чуть улыбнулся печально. — Пусть даже цели абсолютно неопределенны, намечены чисто эмоционально, чисто образно — все равно. Шестеренки уже чувствуют и начинают крутиться, размалывая извращенца в мелкий прах. Это... ну... вроде как световой барьер. Преодолеть его по всем нашим нынешним представлениям материальному объекту абсолютно невозможно. И даже достигнуть невозможно. И чем к нему ближе, тем сильнее возрастают нагрузки и всевозможные искажения массы — энергии — пространства, короче — того, что считается при обычных скоростях константами, и тем больше требуется усилий уж даже не на то, чтобы еще ближе к барьеру подобраться, но чтоб хотя бы не опрокинуться назад. А ведь все наши мечты о себе, все манящие образы себя и мира своего лежат для нас, для нашей культуры во всяком случае, именно по ту сторону этого окаянного барьера!

Издавля, из тьмы, донесся медленно приближающийся надсадный вой. Малянов замолчал. От новостроек, мутно мерцавших пятнышками далеких, как Магеллановы Облака, окошек, немощно надрываясь, накатывал троллейбус. Может быть, последний сегодня. Вот он, тяжело раскачиваясь на буграх асфальта, выбрасывая темные фонтаны из-под колес, подрулил к вынутому из тьмы островку остановки, притормозил, но даже не остановился. Никто не собирался выходить, и на остановке никого не было. Они с Вечеровским стояли поодаль. Вой вновь начал набирать высоту, троллейбус, по-маленьку разгоняясь, покатылся дальше.

Я в синий троллейбус... Как много, представьте себе, доброты...

— А этот рычаг абсолютно не приспособлен для использования волками и медузами, — сказал Малянов. — Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. И никого не ухайдокать. И даже не полюбоваться, чтобы скрасить переваривание пищи или зарядить энергией для придумывания чего-либо, что можно съесть, выпить или поцеловать.. Потому он и выкручивался у

тебя из рук — а тебе казалось, над тобой враги куражатся... Вот какое дело.

Они помолчали. Хорошо бы, наверное, сейчас закурить, подумал Малянов. В такие минуты он завидовал курящим. Ирке, например. Сам он пробовал не раз, даже дымил иногда с Иркой за компанию или под рюмашку — но по-настоящему удовольствия от вонючего дыма никогда не мог получить. И это удовольствие мне заказано, иногда думал он с обидой.

— Ты не пробовал писать об этом? — глухо спросил Вечеровский.

— Как? — усмехнулся Малянов. — Ты можешь себе представить подобную работу? «К вопросу о метрическом тензоре лестницы Иакова»... «Тождественность мюонных характеристик Аллаха и Кришны»... Так, что ли?

— Ну, сейчас полно всякой контактерской белиберды, — пожал плечами Вечеровский. — Мог бы там... Между прочим, именно кришнаиты тебе бы по гроб жизни, по-моему, «Харе Рама» под окошком пели.

Малянов сдержался.

— Вот тебе еще одно доказательство, — сказал он, выждав немного. — Правда, косвенное. Но Глухов тоже это уловил, вчера просто поразил меня своим чутьем...

— Ну, разумеется! — издевательски скривился Вечеровский. — Главный эксперт у нас теперь этот... это растение! Истина в последней инстанции!

— История России, — сказал Малянов упрямо и безнадежно. — Православие с его отрешенностью от материального, помноженное на упоение державностью... на веру во всемогущество государства... Ни одна страна в мире никогда не рвалась строить принципиально новую социальность так, как Россия. Всесветную империю с ангельским лицом. Сколько таких попыток было на протяжении последних веков! От Ивана Третьего до Горбачева. Повторяемость эффекта прямо-таки лабораторная. Статистика набрана. Тащить и не пущать Россию. Дозволяется ей только жрать, пить, гадить и резать. Но поскольку именно к такому состоянию именно в нашей культуре отношение крайне негативное — раз за разом вытаптывается вся культура. По крайней мере, делается абсолютно не влиятельной.

— Миллион сто седьмое неопровержимое доказательство богоизбранности Святой Руси, — с отвращением произнес

Вечеровский. — Об этом ты точно — мог бы такую бомбу отгрохать! Националисты бы тебя на руках носили! Пиши!

— Фил, ну как же ты не понимаешь, — сказал Малянов. — Странно... Всегда ты был целеустремленным, но никогда на моей памяти не был... черствым. Я же боюсь писать об этом. Просто боюсь. Я даже говорить боюсь. Вот рассказываю тебе, одному тебе, единственному — а в башке ужас лютый: на месте ли мой дом, или там уже не Питер, а Хармонт какой-нибудь с ведьминым студнем вместо Ирки...

— Зачем же ты мне рассказываешь? Чему я обязан?

Тому, что ты мой друг, хотел сказать Малянов, но нельзя было это говорить, так не говорят. Тому, что я не хочу, чтобы ты впустую тратил силы и сходил с ума... Но это тоже нельзя было говорить, Фил только окончательно бы осатанел. И он сказал еще одну правду:

— Тому, что ты тогда взял все на себя.

Вечеровский скривился.

— Аркадий, друг мой, не говори красиво... Тебе в попы надо, Дима. Но я тебя успокою. И разочарую, вероятно: тебе совершенно не из-за чего упиваться своим благородством, глубиной своих дружеских чувств... Зато и беспокоиться не о чем. Ничего твоим любезным не грозит. Мирозданию до них нет ни малейшего дела. На болтунов и слизней ему вообще начхать. Вот на Глухова твоего, например. Да и на... — Вечеровский с вызывающей вежливостью не закончил фразу, лишь демонстративно смерил Малянова взглядом. — Признаться, я за всю жизнь не слышал столько чепухи, сколько за сегодняшний вечер. Ты совершенно опустился, Дима. Интеллектуально, духовно... По всем, что называется, параметрам. Мне жаль тебя. Тебе конец.

Умолк на мгновение.

— Меня просто тошнит от тебя и всего, что ты городишь. Видеть, как твой друг, пусть даже бывший... из искателя истины превратился в юродивого с постоянно мокрыми от страха Божия штанами... отвратительно.

И, не дожидаясь ответа — да и какой, в самом деле, тут мог быть ответ, — он повернулся и без колебаний пошлепал по грязной обочине шоссе. Малянов остался стоять. Смутное светлое пятно плаща постепенно удалялось, уменьшалось, погасли звуки шагов; потом из ватной тишины, словно бы очень издалека, прилетел бесплотный голос:

— Не пытайся меня найти. Если понадобишься — я сам свистну.

И все...»

14. «...добрался до «Пионерской» в четверть двенадцатого. По эскалатору вниз не бежал, хотя торопился домой, как мог, — сил совсем не осталось; тупо стоял и ждал, когда его спустят. Загрузился. Удалось сесть в уголок, хотя народу было еще много: воскресенье, все веселенькие... кто как умеет. Прижался плечом к поперечной стене вагона, спрятал руки в карманы, голову — в воротник. Усталость давила, плющила. Продрог до мозга костей. Ни мыслей не осталось, ни чувств — только сердце частило, как на бегу: все — зря, все — зря, все — зря...

Алкаш был на посту; вошел на «Черной речке» и сразу, одной рукой ухватившись за поручень, навис над Маляновым, мутно глядя на него, мешком мотаясь влево-вправо и икая. Но молчал. Так и ехал вместе с Маляновым до «Парка Победы», висел и мотался, и глядел, глядел с бессмысленной пристальностью и пьяным упорством, зловонно дышал, хотя время от времени то тут, то там освобождались места — а когда Малянов встал выходить, с облегчением, кряхтя и стеля, развернулся и, будто его в коленях подрубили, рухнул на маляновское место. Двери не успели открыться, а он уже захрапел и принялся пристраиваться головушкой на плечо к сидящей рядом женщине.

И дом был на месте. И даже машина в арке; на этот раз — стремительный «Ниссан». Он метнулся из-за угла внезапно, визжа тормозами, будто на гонках в каком-нибудь Монте-Карло. Малянов едва успел отпры...»

15. «...с хриплым стоном обвисла на нем.

— Дима! Димочка, ой Боже мой, ну где ты ходишь? Бобка пропал!!»

ГЛАВА 5

16. «...резко прихватило примерно через час после того, как Малянов ушел. Наверное, Малянов к этому времени еще и до места-то не успел добраться. Обыскалась таблеток своих — ну нету, хоть тресни; а ведь должны были еще оставать-

ся, она помнила, должны. До дежурной аптеки пешком пятнадцать минут. Попросила Бобку сбежать, конечно. Он еще порадовался: дескать, вот хорошо, что я дома остался, ни в какие гости не пошел, а то что бы ты без меня делала. И главное-то, главное — буквально через пять минут после его ухода нашла свои таблетки, в комнате нашла, случайно, — стала доставать из-под телевизора программу, посмотреть, чем вечер коротать, и вместе с программой упаковка на пол: шлеп! Кто ее туда запихнул, когда, зачем?.. А уже ничего не сделать. Ну, наглоталась, посокрушалась, что попусту сына от книжки оторвала, но — ладно, лекарства лишними не бывают, пусть окажется резерв... Через полчаса начала беспокоиться. И тут уж стало не до печенки.

К полуночи она успела обзвонить какие-то больницы, какие-то невразумительные травмопункты, какие-то милицеские участки... Володке звонила дважды — надеялась, вдруг Бобка воспользовался случаем, что вырвался из дому, зашел к приятелю и заигрался или заболтался — хотя все это было крайне маловероятно: зная, что мать дома одна ждет его с настоятельно необходимым лекарством, никуда бы Бобка не пошел. Еще каким-то его приятелям звонила... Как в воду канул.

Выходить искать она не решилась. Вдруг он придет, а в квартире — никого, а он вдруг ключ потерял...

Совершенно омертвевый Малянов молча поцеловал ее в соленые от слез, дрожащие губы и, по-прежнему не говоря ни слова, пошел обратно на улицу. Во дворе было пусто, и все окна уже были темными — так, светились два-три. За одним, наверное, кто-то болел, за другим кто-то увлеченно работал, за третьим допивали обязательное воскресное. Еще светилось их окно, за ним была Ирка. Под аркой, рокоча, густо протравливая туман выхлопом, стоял грузовик с открытым кузовом, полным какой-то беспорядочно наваленной белесой мебели — ножки торчали выше крыши кабины и не вписывались в габарит. Какой-то мужик в ватнике, в сапогах уныло и не споро ковырялся в кузове, пытаясь пораспихать барахло так, чтобы можно стало проехать.

— Земляк! — крикнул он Малянову сверху. — Помоги! Вдвоем тут дела-то на пять минут!

— Я спешу, — едва сумев разжать челюсти, ответил Малянов, протискиваясь между бортом кузова и стеной.

Мужик хохотнул:

— Чего, муж застукал? Или сама вытурила? Ну так все равно ведь уже вытурила, чего теперь-то спешить?

Малянов не ответил.

Больше на улице не было ни души. Пустыня. Тьма. Промозглая морось. Мокро отблескивал асфальт в тусклом свете редких фонарей, время от времени под ногами хлюпало.

Он дошел до аптеки, заглядывая во все дворы, во все парадные. Пару раз даже позвал: «Бобка!!» Туман переварил и это. Аптека, конечно, давно была уже закрыта, внутри — темно. Зачем-то Малянов попытался заглянуть внутрь; покрутился у окон, то вытягивая шею, то приседая, — ничего не разглядел.

Погрозил невидимому небу кулаком, хрипло крикнул в ватное марево, чуть подсвеченное рыжим отсветом близкого проспекта:

— Сволочь!!!

Не помогло.

Он пошел назад.

Грузовик остывал на прежнем месте, заглушив мотор. Задний борт кузова был опущен. Мужик в кузове сидел, свесив ноги, на краю и уныло курил. За его спиной смутно топорщилась рогами деревянная груда, левой рукой он поддерживал стоящий на коленке наполовину пустой стакан. Увидев Малянова, мужик сначала широко заулыбался, потом захохотал:

— Что, земляк? Второй подход к снаряду?

Малянов молча принился протискиваться. Мужик высунулся над боковым, неопущенным бортом. Поднял повыше стакан и протянул его в сторону Малянова.

— Хочешь? Хлебни для храбрости!

Было около двух, когда Малянов вернулся. На звук открываемой двери меловая, как будто даже поседевшая за этот вечер Ирка вышла из кухни в коридор с сигаретой в руке и стала молча смотреть, как Малянов разувается. Они не проронили ни слова, только обменялись короткими безнадежными взглядами: не нашел? — не нашел; не пришел? — не пришел. Оба вернулись на кухню; казалось — там теплее. Даже сквозь дым отчетливо пахло валокордином. Ирка, похоже, принимала — совсем недавно. Дрожащими ледяными руками Малянов и себе накапал за компанию. Ирка смотрела.

— Ты совсем продрог, Дим, — сказала Ирка тихо. — Я чай согрела, выпей.

— Спасибо. Чай — это кстати.

— Хочешь, я налью?

— Налей.

Чай был горячий, вкусный.

— Сейчас чуть оттаю и пойду опять.

— Нет! — вдруг почти крикнула Ирка и сама испугалась крика. Втянув голову в плечи, искоса поглядела на Малянова, будто прося прощения. — Не надо, Дим. Я сейчас сидела тут одна... Вдруг ты тоже исчезнешь.

— Я не исчезну, — с трудом выговорил Малянов.

Непременный Калям беззвучно пришел к ним и, заглядывая в глаза, жалобно помявывая, стал тереться о ноги. Даже жрать не просил. Чувал беду.

— Отличный чай.

Ирка благодарно улыбнулась — вымученно, едва-едва.

— Как сейчас печенка?

— Прошла.

— Дай-ка мне сигарету, Ира, — сказал Малянов.

В четверть четвертого из замка входной двери раздалось едва слышное, осторожное позвякивание — и их катапультировало из кухни.

На Бобку страшно было смотреть. Под правым глазом — здоровенный синяк; глаз так заплаыл, что его и не видно почти. Под носом и на подбородке — следы запекшейся крови. Не так давно купленная теплая куртка изгваздана была какой-то гадостью, в коридоре сразу завоняло то ли помойкой, то ли моргом; «молнию» кто-то с мясом вырвал до середины, и теперь она сама по себе болталась между разошедшимися полами.

Бобка неловко вдвинулся в коридор и остановился, глядя на родителей. Так они и стояли некоторое время: они смотрели на него, он на них. Потом низким, напряженным, перепуганным и виноватым голосом он спросил:

— А вы не спите? А я тихонько ключ кручу, думаю, вдруг вы уснули.

Ирку начало трясти.

— Mam, — поспешно сказал Бобка, — я лекарство купил! Вот!

И, судорожно сунув руку под куртку, в нагрудный карман рубашки, он выгреб оттуда, кажется, но-шпу и еще что-то плоское. Протянул ей на раскрытой грязной ладони.

Малянов шагнул вперед и обнял сына, прижал к себе.

Бобка ойкнул и дернулся. И тоже обнял отца одной рукой — в другой были таблетки.

— Пап, — виноватым шепотом сказал Бобка ему в ухо, — ты поосторожней... они мне, наверное, ребро сломали...

Малянов отшатнулся, с ужасом заглядывая Бобке в лицо.

— И вообще... вы от меня подальше. Там все вшивые какие-то, заблеванные...

— Где — там?!

— Где ты был? — очень ровно и спокойно спросила Ирка.

— В ментовке, — ответил Бобка.

— Бобка, расскажи толком, — проговорил Малянов. — В двух словах. И положи ты, ради бога, эти таблетки, не держи. Снимай все это.

— Понимаете... Они даже позвонить не давали... — Голос у Бобки был такой, что, казалось, вот-вот лопнет. Но рассказывал Бобка как бы ни в чем не бывало. Мужчина. — Я говорю, дайте хоть предупреду, что живой, у матери инфаркт ведь будет — а они говорят: ну да, ты позвонишь, а через полчаса она уж тут, концерты нам начнет закатывать! Я говорю: меня в аптеку послали, мама заболела, она меня ждет, она ведь дома одна! А они говорят... они говорят... — Он растерянно зашлепал распухшими губами, а потом, прикрыв от Ирки рот ладонью, беззвучно проговорил в сторону Малянова: «не пизди».

— Кто они? — спросил Малянов.

— Да милиция же!

— Бланш под глаз они тебе навесили? — спросил Малянов. Бобка не выдержал — хихикнул истерически.

— Бланш... Ну да, они. Когда я в машину их лезть не хотел. Я же к дому уже почти подходил, а тут навстречу — трое бухих каких-то, лет по двадцать, матные слова орут, плюются... И только мы с ними поравнялись — «воронок» подкатывает и всех хват! Я ору: я-то при чем, я не с ними, а менты здоровенные такие, сразу бздынь по морде: разберемся! И главное, понимаете, этих всех спать уложили, они сразу хр-р-р, хр-р-р — а мне все бумажку какую-то подсовывали, чтоб я подписал, дескать, я в пьяном виде, оскорбляющем общественную нравственность, приставал к прохожим... Я не подписываю, а тогда они говорят: ну, посиди. И еще по ребрам...

— Все, хватит, — решительно сказала Ирка. — Раздевайся остороженько, Бобик... Мойся... Душ — или ванну примешь? Я сейчас напущу. Тебе раздеться помочь? Врача — надо?

— Да ну что ты, мама. Я сам. — И, время от времени шум-

но втягивая носом воздух от боли, он принялся осторожно стаскивать с себя искалеченную одежду.

— Подписал? — спросил Малянов.

— Еще не хватало! — возмутился Бобка. — Ни за что!

— Где это было?

— Да не знаю, пап, — с досадой сказал сын. — В том-то и дело. Из машины не видать ни черта. А потом, когда они меня отпустить решили, так тоже сначала в машину сунули и минут двадцать возили какими-то кренделями... не специально, а заодно, они потом еще куда-то покатали, а меня выпихнули посреди улицы, и все. Около Стамески. Оттуда я пехом чалил... Конечно, если бы я все легавки в городе в лицо знал, я бы ее нашел. Пробел в образовании. — Он улыбнулся Малянову. — А ты говоришь, книжки... Mam, ты лечись давай. — Стоя в одних трусах, он опять протянул ей таблетки на ладони. — Я их специально берег все время, чтобы не испач...

17. «...так. Значит, вот так мы теперь будем жить. Или — наоборот, так жить теперь мы больше уже ни за что не будем? Ведь это невозможно — так жить. Все, что угодно, только не это. А, Малянов?

Вот-вот, сказал Вайнгартен. Теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножко стыдно сначала, а потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря...

...Вайнгартен, сказал Малянов. Я потратил время не зря. Я вообще его не потратил.

...Малянов, сказал Вайнгартен. Ты будешь объяснять это каждому? Тебе долго придется объяснять. И вряд ли тебе многие поверят. Большинство скажет: зря. Даже Ирка так скажет. Потому что выглядит старше своих лет. Этого женщина не простит, даже если ты в конце концов принесешь ей луну с неба. Но луной, я так понимаю, и не пахнет. А как ты думаешь, что скажет твой лучший друг Вечеровский, перед которым ты всегда так преклонялся? Ах да, я забыл. Он ведь уже сказал. А ты всегда считал, что верный друг — он, а я — ба-рахло...

...Вайнгартен, сказал Малянов. Это неправда, и ты прекрасно знаешь, что это — неправда... Я так не считал. Я совсем не так считал!

...Малянов, сказал Вайнгартен. Это несущественно. Мы сейчас говорим не об этом.

...Вайнгартен, сказал Малянов. Да, мы говорим сейчас не об этом. Не только об этом — хотя, если быть до конца честными перед собой, и об этом тоже. Потому что это тоже существенно: кто из нас каким стать хотел и кто из нас каким стал.

...Малянов, сказал Вайнгартен. Ты хочешь стать святым, Вселенную тебе на ладонь подавай — но жизнь тебе не позволит.

...Вайнгартен, сказал Малянов. Поверь, я вовсе не рвусь в святые. Я только не хочу стать инквизитором, как Фил, и проверять всех на святость, сам будучи уже не творцом, а ходячей плахой. В том числе и собственной. Мне не нужно ничего запредельного. Очень трудно стать святым. И Вселенная у меня совсем не на ладони, и поэтому очень трудно стать Богом, да мне этого и не надо, вот только...

...Малянов, сказал Вайнгартен. Трудно срать боком, а Богом стать легко. Очень легко. Мы все — Боги. Но только каждый для себя. Жизнь — это искусство возможного. Делай только то, что возможно, и извлекай из этого все возможные радости. И тогда опомниться не успеешь, как жизнь начнет покоряться тебе. Понимаешь? Она будет повиноваться тебе, а не ты ей! И будешь Богом. Творцом и создателем своей жизни. А все остальные будут творцами и создателями своих жизней. Все будут самостоятельны и равноправны.

...Вайнгартен, сказал Малянов. Я завидую тебе. Да, ты прав, перед Аилом я всегда преклонялся — а тебе всегда завидовал. И сейчас — завидую особенно. Но я ничего не могу с собой поделать. Ради Ирки, ради Бобки — рад бы. Но не могу. Если я буду подогревать себя лишь мечтами о яхтах и островах, и деньгах, и о чем там ты еще говорил... об инфаркте у конкурента... я хоть до посинения буду сидеть за письменным столом, но не выдумаю ни ревертазу, ни М-полости — ничего. Я так не умею. Наверное, я действительно отравлен. Мне действительно нужно впереди что-то... что ты обозвал коммунизмом в шутку...

...Малянов, сказал Вайнгартен. Я сказал это не в шутку. Хватит грез. Они слишком дорого обходятся тем, кто грезит — не говоря уже обо всех остальных. В первую очередь — тех, кто рядом с теми, кто грезит. Чем прекраснее греза — тем больше крови. Пока люди стремятся стать чем-то большим, чем они есть, они с восторгом отдают власть любому, кто по-

обещает превратить их в ангелов. И тот превращает людей в Христово воинство или в воинов Аллаха, в винтики, в лагерную пыль, в сырье для расовой селекции... И люди идут на это, уверенные, что превращаются в ангелов! Сколько можно?! Может, ты и прав, и нас действительно поколение за поколением, век за веком вбивают в животное царство, из которого мы все пытаемся выбраться, не можем мы в нем полноценно жить — но лучше жить не полноценно, чем не жить вовсе, пойми ты уже! Цели, цели! Да чем тебя, в конце концов, не устраивают простые цели? Ты не любишь моря? Не хочешь ходить под парусом? Врешь!

...Вайнгартен, сказал Малянов. Очень люблю. Очень хочу. Но чтобы раскошегарить мысли в башке, мне нужно слышать совсем иной зов. Я должен знать — хотя бы пока работаю, должен знать: то, что я сделаю, кому-то поможет. Не брюху чьему-то — душе чьей-то поможет! Ну я не знаю, почему!! Ну что мне делать!!

...Заткнуть уши, сказал Вайнгартен. И учиться работать без всякого зова. Вообще без всякого. В конце концов, чем уж ты такой особенный? Многие, очень многие в молодости мечтают слышать какой-нибудь не животный зов. Штурмовать сияющие вершины. Шагать к высоким целям. Испытывать лишь любовь, благодарность к друзьям и подругам, бескорыстную жажду знаний, гордое и смиренное желание помогать и прощать. Но быстро ломаются. Все. Из века в век, из поколения в поколение. Не было никого, кто бы не сломался. Никого.

...Если бы ты знал, как я устал, сказал Малянов. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой, и с другими людьми. Но я устал именно сейчас, и именно о целях я не хочу спорить...

...Тогда не спорь, сказал Вайнгартен.

И тут Малянов вспомнил, кто не сломался.

Он даже дыхание потерял. Успел еще подумать: да как же мне это раньше в голову не пришло, да почему же я это Филу не сказал?..

И сразу сообразил, что, как и открытый им Бог, он и сам нуждался в овеществляющем созданную информацию разговоре, чтобы идти дальше, — значит, все-таки снова, как и прежде, спасибо Филу. От одной этой мысли мир сразу перестал быть серым — ожесточенность растворилась, затеплилась благодарность.

Был по крайней мере один, кто не сломался — и навсегда утвердил за людьми божественное право выбирать чувства и цели не только из доступного протоплазме набора. И оставил такой след, такой знак, который перевесил миллион миллионов сломанных. Самоломанных.

Это опять было сродни озарению. Или откровению. Мысль работала четко и быстро, и то, что показалось бы еще секунду назад свалкой разрозненных фактов, посторонних и друг другу, и уж подавно самому Малянову с его заморочками, схлопнулось в густо замешенное единство, а потом полыхнуло долгой ослепительной вспышкой.

Конечно, должен существовать какой-то механизм отслеживания самопроизвольно возникающей здесь новой, пронзительно переживаемой информации и ее включения в общевселенский творческий процесс. Но лишь той, которая для единства не чужеродна, а, напротив, увеличивает силы, постоянно склеивающие воедино постоянно усугубляемую развitiем чересполосицу разлетающегося мира.

Ну как объяснить, скажем, вопиюще неравное распределение во Вселенной вещества и антивещества? Спасительное для Вселенной неравенство... Только наличием эмоционального запрета на тенденции, способные привести к возникновению в мире взаимоисключающих областей, чреватых, быть может, ни много ни мало — шизофренией Творца... И мы, материя, нарастающим разнообразием своим перенапрягая создавший нас разум, исступленной жадой всеобщей гармонии в то же время сами и подпитываем этот запрет!

Ох, ну конечно! А богословы головы ломали веками, листочки какие-то на одном стебельке придумывали в качестве поясняющего триединство образа... Впрочем, они ведь даже радио не знали.

Приемник, передатчик, средство передачи. На момент передачи они как бы становятся тождественны. Содержание одно и то же у трех. Троица!

И сколько же, наверное, этих малых передатчиков, питающих громадный приемник... И среди животных, наверное, они тоже есть, не зря в каком-то из прозрений лев в раю возлежит рядом с агнцем. Как это я говорил сегодня, сам не понимая, насколько в точку попадаю: волчара, трусящий мимо беззащитной косули... Ап! Информационное включение. Жизнь вечная...

Малянов резко встал и вышел в большую комнату. Ирка и

Бобка не спали — успокаиваясь помаленьку, сидели на диване и ворковали о чем-то вполголоса. Влажные волосы на голове у распаренного, умиротворенного Бобки торчали в стороны.

Малянов вклинился на диван между ними и осторожно обнял обоих за плечи. Легонько прижал к себе. Ирка — измотанная, со слипающимися глазами и руками, красными после стирки, — покосилась на него чуть удивленно: она давно отвыкла от таких нежностей.

— А ну-ка, ребята, — сказал Малянов. — Повторяйте за мной оба, слаженным и восторженным хором: не хлебом единым! Не хлебом единым! Ну!

— Ты чего, пап? — обалдело и немного встревоженно спросил Бобка.

И вдруг Ирка, коротко заглянув Малянову в глаза непонимающим, преданным взглядом — видишь? подчиняюсь! не знаю, что ты задумал, чего хочешь, но подчиняюсь! мы вместе, и я верю, что ничего плохого ты не сделаешь! — сказала решительно:

— Слушай, что отец велит! Три — четыре!..

— Не хлебом единым! Не хлебом единым!!

У Малянова намокли глаза, переносицу жгло изнутри, и судорогой невозможного плача сводило лицо. И в памяти всплыло вдруг: «Сказали нам, что эта дорога нас приведет к океану смерти — и мы с полпути повернули обратно. С тех пор все тянутся перед нами кривые глухие окольные тропы...»

К океану смерти...

Но в ответ ярко брызнул из души давно и, казалось, навсегда погребенный в ней, засыпанный осенними золотыми листьями, продутый голубым невским ветром Некрополь Лавры, куда однажды водила его мать — и красивый, помнящийся очень громадным памятник с надписью: «Аще не умрет — не оживет».

«Мам, а мам, что там написано?» — «А ты сам прочитай разве не можешь? Ты же хорошо уже читаешь, Димочка! Ну-ка, читай!» — «Да я прочитал! Я только не понимаю, что это значит!» — «А-а! Ну, Димочка, это я и сама не очень понимаю. Это религия...» А над городом гремели из репродукторов радостные марши, алые стяги реяли, колотились кумачовые лозунги на ветру, и отовсюду, как залп «Авроры», теократически бабахало в глаза крупнокалиберное «40» — приближалась годовщина Великой!!! Октябрьской!!! социалистической!!!

— А теперь повторяйте: аще не умрет — не оживет. Втроем!..
— Аще не умрет — не оживет! Аще не умрет — не оживет!!
— Ну, пап! — Бобка восхищенно прихлопнул себя ладонями по коленкам и вскочил. — Я т-тя шас переплуну! Только вы сидите вот так, обнявшись... Сто лет вас так не видел. Я мигом!

И он, забыв о ранах, выскочил в свою комнату — но буквально через секунду прилетел обратно, торопливо листая какую-то книжку; Малянов успел только провести ладонью по джемперу на Иркином плече, а потом по ее обнаженной шее — а она успела ткнуться мокрыми губами ему в подбородок. Она была женщина, и ей можно было плакать. Она и плакала.

— Вот! — воскликнул Бобка, переставая листать, и чуть затрудненным от боли в боку движением сел на стул напротив них. Уставился на страницу. — Жутко мне нравится... «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

— Нет, Бобка! — всхлипывая, улыбнулась Ирка. — Так дело не пойдет! По книжке-то кто угодно может — а ты навскидку, от души! Как папа!

На мгновение Бобка озадаченно насупился — и, подмигнув Малянову здоровым глазом, очень серьезно сказал:

— Аще не умрет — не оживет.

И они засмеялись.

А потом сказали Богу, как другу...»

Февраль 1996,

Санкт-Петербург

ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ



Долгую темноту медленно, робко прокалывает движущийся будто бы издалека, из некоей бездны, трепещущий огонек свечи. Постепенно становится видно, что огарок, стоящий на блюде, несет женщина; она идет из коридора, входит в комнату через всегда отворенную дверь и ставит свечу на стол, у небольшого зеркала. Комната озаряется неверным, колышущимся светом.

Типичная квартирка шестидесятых годов — распашонка. Очевидный налет интеллигентности, тоже образца шестидесятых: модное когда-то фото Хемингуэя на стене, книги, книги, полная полка пластинок над допотопным электрофоном. Пара пластиночных коробок лежит, едва помещаясь, на тумбочке, на которой стоит электрофон, и видны названия: «Бах. Страсти по Иоанну»; «Всеношная» Рахманинова.

Женщина присаживается перед зеркалом и торопливо наводит макияж, непрерывно то ли разговаривая с кем-то, то ли просто болтая вслух и комментируя едва ли не каждое свое действие. Голос веселый, оживленный, бодрый:

— Ну вот, опять не успела. Такое впечатление, знаешь, что они все раньше и раньше отключают. Наверно, думают, что люди на работу все раньше и раньше расходятся... Ой! Промажнулась... — это о туши, которую наносит на ресницы лихорадочными, привычно поспешными движениями. — Собственно, логика в этом есть, правда? Транспорт ходит все хуже — значит, чтобы успеть на работу, надо выходить все раньше... Так, теперь другой... Сейчас... Сейчас Маринка будет красотка! И на подвиги! Хорошо, что мне не надо к определенному времени... А в институт я сегодня тоже зайду. Мало ли... Они, конечно, не звонят, но это ничего не значит... могли и забыть... — Вдруг начинает напевать: — Этот день по-

лучки порохом пропах, это радость со слезами на глазах... — Сама же и смеется в полной тишине. — Ну, так... Щечки подругим... Хотя, конечно, мороз этим и сам займется... Может, не тратить драгоценное зелье? Как думаешь?

Оборачивается немного в сторону, рука замерла на весу. Тишина.

— Ладно, не будем скупердяями. Это не для нас. Будем победителями. И будем выглядеть как победители. Мне, между прочим, еще за машинопись должны, сегодня зайду и занесу эту грудку... Вот... вот так... Готова к труду и обороне. — Одним движением запихивает все хозяйство в косметичку, одним быстрым движением затягивает «молнию». — Свечку я погашу, ты не против? Ее уж совсем чуток осталось... Через полчаса все равно светать начнет, я выглядывала в окошко — небо почти ясное, звездочки видны... Ты не против, а?

Раздается какой-то странный звук горловое, гортанное, стиснутое: «Ы-ы-ы!»

— Ну вот и ладушки. — Женщина снова оборачивается в ту же сторону и весело, ласково улыбается. Так быстро, как только позволяет норовящее погаснуть пламя свечи, уходит в коридор, впихивает вещи в огромную истертую ветхую наплечную сумку, бывшую когда-то молодежной и модной. Какие-то толстенные тяжеленные папки, какие-то бумаги... Потом накидывает зимнее пальто, обувается — все лихорадочно, все впопыхах, все кое-как. И постоянно посматривает туда, в комнату, откуда донеслось это единственное ответное «Ы!» Глаза панические, умоляющие, виноватые. Видна вешалка с одеждой — все висит тоже кое-как, и лишь отдельно, аккуратно, на плечиках — китель с майорскими звездами на погонах и орденом Героя России на груди. — Побежала! Не скучай, пожалуйста, я везде бегом, шустренько и назад. Почитаем сегодня, пока свет... Или музыку послушаем. Да?

Тишина. Женщина ждет несколько секунд, даже шею чуть вытянув от напряжения.

— Радио включить? Пусть бубнит, пока меня нет, а?

Тишина. Потом все-таки раздается: «Ы-ы!» Женщина стремглав бросается на кухню, где на стене висит простенький репродуктор, включает звук. С полуслова начинается какая-то веселая реклама. Потом женщина, никак не в силах окончательно уйти, бежит обратно в комнату, к постели, на которой смутно виден укутанный одеялами лежащий человек

с запрокинутым лицом. Женщина наклоняется, целует его в щеку, а затем все так же торопливо бежит обратно к выходу, открывает дверь на темную лестницу и только тогда задувает свечу.

2

Буквально на ощупь Марина спускается по лестнице и открывает дверь на улицу.

Впрочем, это трудно назвать улицей. В свете разгорающегося жестокого морозного восхода видно, что вокруг дома тянется покрытый превращенным в лед утопанным и укатанным снегом тротуар, но он никуда не ведет, сразу за ним — кочковатое подобие тундры или торосистого ледяного поля, иссеченное и изрытое какими-то траншеями, кучами вывороченной земли, заваленное торчащими в разные стороны, тоже заснеженными трубами... Кое-где эту пустыню пересекают натопанные тропинки: вверх-вниз, вверх-вниз...

Неподалеку от двери урчит, извергая в ледяной воздух клубы прогретого и пропитанного бензиновым перегаром воздуха, «жигуль» с зажженными фарами, резко высвечивающими извивающуюся между кучами и штабелями труб тропу. Рядом с автомобилем возится человек. Он замечает Марину и делает шаг ей навстречу:

— Доброе утро, Марина Николаевна.

— Доброе утро, Анатолий Сергеевич, — отвечает Марина, чуть замедляя шаги, но явно не собираясь задерживаться. Он почти заступает ей дорогу; между поребриком тротуара, за которым — пустыня, и боком его автомобиля зазор не более полуметра, и его легко перекрыть.

— Как ваши дела?

— Прекрасно, — отвечает Марина, вынужденно останавливаясь.

— Ну, я рад. А у меня, представьте, чуть колесо не сняли сегодня. Выхожу, а какой-то хмырь возится... Я от неожиданности как гаркну на него... Вот что самое удивительное, — пар, видимый в отраженном свете фар, валит от его рта, — что я гаркнул. Подумал бы хоть секунду — испугался бы орать... вдруг по черепушке съезжают. А тут бог спас. Мужик сам усвистал, я болты подзатянул только, и все в ажуре... Нельзя оставлять тачку под окнами, нельзя, — вздыхает он. — И в то же

время до стоянки ближайшей столько же трястись, сколько и до работы... Тогда уж и машина не нужна. Ума не приложу, что делать.

— Плохо человеку, которому есть что выбирать, — улыбается Марина и пристукивает ногой об ногу: в стареньких сапожках она сразу начинает мерзнуть.

— И не говорите! — жизнерадостно смеется Анатолий Сергеевич. — А... а... — он коротко взглядывает исподлобья, — Марина Николаевна, а вы не зашли бы как-нибудь в гости... поболтать? Чтоб не на морозе, а с чувством, с толком...

— Отчего же нет, — с автоматической приветливостью говорит Марина. — Когда-нибудь... вот посвободнее стану... Сейчас работы очень много, только успевай поворачиваться.

— Да, время такое... Жить буквально некогда. Я вот тоже кручусь-верчусь, кручусь-верчусь, а все без толку как-то, радости нет... Разве что вы зайдете — вот мне и радость...

— Вы преувеличиваете.

— Совершенно ничего не преувеличиваю.

— Ну, может, мы потом это обсудим? — не выдерживает Марина. Мужчина спохватывается, смотрит на часы.

— Да-да, мне тоже уже ехать пора.

— А мне идти, — говорит Марина.

— Ну, Марина Николаевна, вы сами виноваты. Я подавал бы вам транспорт в любое время дня и ночи.

— Спасибо, Анатолий Сергеевич, но у меня нет денег на такую роскошь.

— Зачем же вы меня обижаете? Я совсем не за деньги.

— А совсем — и подавно нет.

Мужчина стоит неподвижно еще несколько секунд, потом, едва не ударив Марину дверцей — Марина отшатывается, и непонятно, ударил бы он ее, если бы она осталась на месте, или нет, — открывает свой «жигуль» и садится к рулю. Марина поправляет сумку, прыгнувшую с плеча от резкого движения.

— Напрасно, Марина Николаевна, напрасно. Пробросаетесь.

Дверца резко захлопывается, и машина тут же, коротко жикнув протекторами о наледь, трогает с места и укатывает, обгоняя Марину. Заворачивает за угол дома — вероятно, там есть выезд. В режущем белом свете галогенных фар плывут торосы и трупы.

Марина, подняв повыше воротник, чтобы не задувал ветер, с разбухшей, то и дело сползающей с плеча сумкой, карабкается по серпантину тропинки, взбирающейся на одну кучу выбранной земли, потом спускается, лавируя, потом снова карабкается вверх, по шатким, скользким мосткам пересекает какие-то канавы...

Разгорается восход, яркий, кровавый, иссеченный лезвиями темно-серых морозных облаков. Темными мертвыми коробками громоздятся на его фоне дома, какие-то промышленные трубы, над которыми наискось, кренясь по ветру, встают султаны то бурого, то белого дыма, ажурные, но уродливые опоры линии электропередач... С обвисшим хоботом чернеет перекошенный контур безжизненного экскаватора.

Медленно и надсадно, то совсем почти замирая, то с воем разгоняясь, катит по промороженному городу битком набитый трамвай. Снаружи — полутьма и внутри — полутьма, и серые, серые лица одно вплотную к другому. И Марина среди них. Пар от дыхания. Сквозь наледь на окнах смутно видны проплывающие мимо огни еще горящих фонарей, какие-то цветные размытые пятна... Когда свет восхода прорезается в промежутки между плывущими тенями корпусов, ледяная короста чуть окрашивается в розовый цвет; потом снова наползает серая мгла.

Кто-то продышал или пятерней протаял небольшое прозрачное оконце — и сквозь него угадываются бесконечные промышленные громады, бесконечные краснокирпичные заборы промышленной зоны, которую пересекает трамвай, и бредущие вдоль заборов сгорбленные люди...

Марина в коридоре чужой квартиры. Совсем иной квартиры — комнаты куда больше, и коридор не кишкой, а едва ли не вестибюлем. Двери в комнаты из коридора красиво застеклены. Книги, книги... Длинный, совсем уже старый, сухопа-

рый человек в очках, в джемпере поверх свитера с высоким воротником, с замотанной шарфом шеей и в теплых лыжных брюках перебирает страницы машинописи. Страницы шуршат, их много.

— Какая же вы умничка, Марина Николавна. И точно в срок, и, я смотрю, опечаток нет совсем... Как всегда... как в добрые старые времена. Честное слово, если вы рядом, никакой компьютер не нужен.

— Ну что вы, Михаил Алексеевич, — улыбается Марина. На губах улыбка, а глаза — затравленные и ждущие, собачьи.

— Да и стар я уже компьютерам учиться... Мариночка Николавна, посидите хоть полчаса, развлеките старика. Раздаться не предлагаю, правда, идите так. У меня одиннадцать градусов в кабинете.

— Ужас какой! — искренне сочувствует Марина.

— Да, не фонтан, как говорят теперь молодые... Ну, это еще ничего. На первом этаже, у Красницких, вообще семь. Скоро уйдет за ноль, трубы полопаются вконец, и тогда уж мы до весны не оттаем... Так проходите, Мариночка. Вы такая веселая всегда, такая жизнерадостная. Попьем чайку с вами, чашечка согревает...

— Некогда мне, Михаил Алексеевич. Спасибо вам. Правда некогда.

— Ну, чем же мне вас... — мнется старик. — Понимаете, Марина Николавна... заплатить-то я вам сейчас не смогу.

— Как? — после едва уловимой паузы, мгновенно совладав с собой, спрашивает Марина. — Почему?

— Да вот... нечем. Как только деньги появятся, я вам тут же позвоню, тут же!

— Вы же обещали... — произносит Марина и осекается, сама понимая, что все эти слова уже бессмысленны.

— Эхе-хе... — Старик выравнивает кипу листов, укладывает их в принесенную Мариной папку. — Папочку мне обновили, спасибо.. Чего теперь стоят наши обещания. Время такое.

— Какое? — спрашивает Марина.

Старик не отвечает. Несколько секунд они молчат. Старик усовестно, он еще старой закалки, не может внаглую. Потом Марина говорит:

— Ну конечно, я понимаю...

Поворачивается и пытается открыть лестничную дверь.

У нее ничего не получается, она нервно, раз за разом все яростнее дергает засов.

— Нижний, нижний, — говорит старик. Теперь ему хочется поскорее остаться одному; присутствие женщины как укор, а с глаз долой — из сердца вон. — Да не так! — нервно выкрикивает он. — Дайте я!

Все открывается очень просто.

6

Марина выходит на лестницу — лестница тоже совсем иная. В широкие окна валит свет морозного солнца. Дверь с лязгом захлопывается за Мариной, и гулкое эхо просторной лестницы дробит и раскатывает звук. Марина делает шаг, и тут ее ведет в сторону, ноги подламываются. Она останавливается, медленно и глубоко вздыхает несколько раз. Достает из сумочки пластинку с валидольными капсулами, привычным движением выдавливает одну на ладонь и берет ее губами. Медленно начинает спускаться.

7

Местный центр, но тоже гололед, снующие туда-сюда люди поскальзываются то и дело. Изобильные ларьки один к одному, нескончаемыми рядами.

Марина медленно, протискиваясь сквозь коловращение людей у ларьков, продвигается вперед. На несколько секунд задерживается у хлебного ларька, не в силах отвести глаз от лежащих по ту сторону запотевшего стекла батонов, маковых рулетов...

8

Тесная секретарская комнатка: стол, шкафы с папками всех мастей и сортов, допотопная электрическая пишущая машинка «Ядрань» — когда-то достижение советской техники, а теперь громадный нелепый гроб. Жидкие цветочки да кактус на подоконнике, наледь на стекле окна. Масляный обогреватель на полу. Женщина, одетая словно на зимовку, в накинutom на плечи пальто вынимает из большой железной кружки с носиком кипятильник, от кружки валит пар. Разливает чай по чашкам, вынимает из коробки чайные пакеты.

Марина сидит напротив нее, пальто она тоже не сняла, только расстегнула.

— Каждый день сюда мотаюсь... — говорит женщина, готовившая чай. — Но зато вот только нам наши гроши и выплатили, только вспомогательному персоналу... А научникам — ни фига... Ну ты и задрогла, как я погляжу. Пей, пей...

Марина пытается взять чашку за ручку, но у нее слишком дрожат пальцы. Она пытается взять ее обеими руками за бока, но слишком горячо.

— Горячо, — говорит она.

— Как твой? — осторожно спрашивает секретарша.

— Все в порядке, — быстро отвечает Марина.

— Пьет много? — осторожно спрашивает секретарша.

Марина изумленно вскидывает на нее глаза.

— Совсем не пьет.

— Может, он... того? Ты не замечала? Может, он ширяется?

— Да господь с тобой, Татка!

— Ну, не знаю... Все говорят, что кто из «горячих точек» вернулся, тот уже не... Ну извини, извини. Не гуляет?

— Нет, — решительно говорит Марина. Подруга внимательно вглядывается ей в лицо.

— Либо ты скрываешь чего-то, либо... это просто чудеса...

— Никаких чудес. Мы любим друг друга, вот и все.

В приоткрывшуюся дверь вдруг заглядывает пожилой человек в шубе:

— Наталья Семеновна, сам у себя?

— С минуты на минуту ждем! — отвечает подруга сварливо — ей неприятно, что разговор прервали на самом интересном месте. Заглянувший человек замечает Марину.

— Здравствуйте, Марина Николаевна!

— Здравствуйте, Олег Львович.

— Давненько вас не видно... Наверное, диссертацию заканчиваете наконец? Пора, пора... У вас же только статьи ваши замечательные сложить в кучку — и дело в шляпе! Давайте, Мариночка, покуда я в силе... — С равнодушным добродушием он коротко улыбается и исчезает.

— Значит, опять не выплатили... — говорит Марина. — А когда собираются, не говорят?

Секретарша отрицательно качает головой. Выдергивает из своей чашки пакет за нитяной хвостик, болтает ложечкой.

— Даже не слышать ничего. А я, знаешь, как была пионер-

кой чокнутой, так и осталась. Как дали деньги, сразу побежала в «секонд-хенд» и все спустила! Три часа рылась в шмотье, и все недорого так... Слушай, я там шарфик выкопала один, под горячую руку схватила, а дома-то как следует повертелась перед зеркалом — все-таки цвет не мой. Не перекупишь?

— Да что ты, Татка, — с улыбкой пожимает плечами Марина. — Какой там шарфик...

— Вот такой. — Татка подсакивает к шкафу с папками, открывает одну из створок и достает шарфик из глубины. Кидает Марине. — Вот глянь, глянь. Ну прямо на тебя.

Марина примеряет, обматывает вокруг шеи и так и этак. Татка заботливо держит перед нею небольшое зеркало. Марина никак не может остановиться: хоть попримерять...

— Тут даже ученый совет был на тему денег, но что они могут... пошуршали и расползлись отогреваться. Но... — Она мнется. — Знаешь... Тут у нас...

Марина снимает наконец шарф, протягивает Татке.

— Нет, Таткин, — говорит она с сожалением. — Не смогу.

— Жаль... тебе так к глазам... — Татка прячет сокровище. Марина наконец подносит чашку ко рту, пьет.

— Печенюшку хочешь?

Марина улыбается.

— Да... Спасибо, Татка...

Размачивает печенье в горячем чае.

— А еще одну можно?

— Да конечно, бери!

Марина вынимает из коробки еще одно печенье и прячет в сумку, в небольшой целлофановый пакет.

— Домой? — спрашивает Татка. Марина смущенно стягивает голову в плечи, взглядывает исподлобья, потом кивает.

— Так вот, я чего сказать-то хотела... — Татка вдруг заговорщически понижает голос. — У нас же тут несколько человек... голодовку объявили.

— Что?!

— Ну да! Сидели в бывшем партбюро... ночевали там и не жрали ни черта. Уж и милиция их растаскивала, и врачи...

— И что?

— Всех почти растащили помаленьку... Только... Я почему тебе и рассказываю... Там этот твой, — Татка усмехается едва уловимо, — сокурсник остался. Пока, говорит, не будет всем выплачено за лето хотя бы... Заперся изнутри и сидит как сыч...

— Сухая?! — с ужасом восклицает Марина.

— Чего? А, ну... да не знаю я... С час назад был разговор, что ломать дверь будут, директора ждут и милицейского чина какого-то... Неотложку-то видела у входа?

— Видела... только не поняла... думала, просто так стоит.

— Время сейчас такое, что просто так ничего не бывает... — начинает Татка, но Марина потрясенно прерывает ее:

— Ну, вы дикари... Человек там, может, умирает... Ради нас всех умирает!

— Дурью он мается, а не умирает! — сразу принимает боевую стойку Татка.

— В партбюро?

— В бывшем, в бывшем...

Марина вскакивает и выбегает из кабинета; чай едва не выплескивается из поспешно поставленной чашки.

9

Марина почти бежит по институтскому коридору — длинному извилистому коридору старого здания, наверное, еще в первые десятилетия советской власти отданное под научное учреждение да так и оставшееся этим учреждением, покуда выпереть ученых руки ни у кого не дошли. Большие окна, высокие потолки, облупленная штукатурка, треснувшие и склеенные чуть ли не изолентой стекла. Бьются за Марининой спиной, отставая, полы расстегнутого пальто. Людей нет.

10

На пятачке перед бывшим партбюро единственное оживленное место в институте, но каково это оживление! Молча, с неподвижным лицом курит врач, глядя в пустоту перед собой. Вытирает тыльной стороной ладони пот со лба милицейский лейтенант в расстегнутой шинели. И два-три сотрудника института компактной кучкой стоят поодаль — им это все буквально обрыдло, но в то же время очень хочется досмотреть, чем кончится этот цирк.

— Марина Николаевна! — кидается Марине навстречу долговязый парень. — А вас-то каким ветром?

Другой шикает на него, вовремя схватив за локоть.

Милиционер снова утирает лицо. Шапку он держит в левой руке. Правой пару раз ударяет в дверь.

— Владислав Михайлович! — кричит он, надсаживаясь, будто в горах. — Еще несколько минут — и мы просто выломаем дверь! У нас есть санкция! Сейчас прибудет начальство, и начнем ломать! Не теряйте последний свой шанс!

Тишина. Милиционер выжидательно вытягивает короткую шею — ответа нет.

— Поймите, одно дело — если вы выйдете сами, другое — если вас выволокут насильно! Это же верная психушка с принудительным кормлением!

Ответа нет. Милиционер оборачивается к сотрудникам института:

— Топор принесли?

— Не нашли топора, — отвечает пожилой сотрудник — явный институтский завхоз. — Лом вон притащили... в углу стоит...

Марина подходит к двери.

— А это еще кто?.. — Милиционер заступает ей дорогу, пихает в плечо. Марина едва не падает. Врач, казалось бы, и не смотревший в их сторону, поддерживает ее под локоть.

— Пустите меня, — говорит Марина. — Я попробую его... уговорить.

— Это из ваших, что ли? — оборачивается лейтенант к сотрудникам. Те хитро переглядываются и перешептываются, потом долговязый говорит:

— Да-да, из наших.

Грузный милиционер, совсем неповоротливый в шинели и портупее, неловко уступает Марине место у запертой двери.

— Ну, попробуйте... — с сомнением говорит он.

— Владик! — почти не повышая голоса, говорит Марина, нагнувшись к замочной скважине. — Это я, ты узнаешь голос? Узнаешь? Это я!

Пауза. Милиционер безнадежно мотает головой. Врач прикуривает сигарету от сигареты, все так же пусто глядя перед собой.

— Марина? — доносится голос изнутри.

— Да, Владенька, да! — просияв, кричит Марина. Милиционер с явным облегчением вытирает пот со лба и смотрит на Марину почти благодарно. — Открой мне, пожалуйста.

Надо поговорить. А кричать при них при всех мне не хочется, ты же понимаешь!

Пауза.

— Они ввалятся вместе с тобой, — доносится изнутри.

Марина резко оборачивается к стоящим позади нее. Глаза у нее горят, волосы всплескивают от резкого движения; она полна энергии.

— Обещайте, что дадите нам поговорить спокойно. Все равно ваши начальники еще бог знает где.

— Да ладно, — говорит милиционер после паузы.

— Они обещают! — кричит Марина; у нее срывается голос от волнения.

Долгая пауза. Полная тишина. Потом под тяжелыми, неуверенными шагами отчетливо скрипит за дверью паркет.

— Только ты, — говорит голос изнутри. — Все пусть отойдут. Крикни мне, когда отойдут.

И звякает ключ. Милиционер непроизвольно делает шаг вперед. Марина, обернувшись, как орлица над орленком раскидывает в стороны руки:

— Не смейте! Вы обещали!

Чувствуется, что она готова и к рукопашной.

— Ну-ну, — говорит лейтенант, отворачивается от Марины и отходит за угол коридора. За ним нехотя утягиваются остальные.

— Можно! — громко говорит Марина.

Дверь чуть приоткрывается. Марина входит.

11

Помещение как помещение. Стол с телефоном, несколько стульев вокруг него, старый — все старое — потертый кожаный диван у стены. Стеллажи с папками и полными собраниями сочинений классиков — куда их девать?

На продавленном кожаном диване сидит осунувшийся, небритый, закутанный человек. Он не стар; несколько дней назад он, вероятно, был даже довольно молод — не старше Марины. От него буквально веет ушедшей эпохой — «Иду на грозу», «Девять дней одного года»... Ученый.

Некоторое время Марина молча сидит рядом с ним, глядя ему в лицо и не зная, с чего начать.

И тогда начинает он:

— Ну, здравствуй.

— Здравствуй, Владик, — тихо отвечает Марина. Весь ее напор, всю ее храбрую сталь смело, будто и не было их. Тихая, робкая мышка.

— Зачем ты здесь?

— А зачем ты здесь? — отвечает она.

Он печально усмехается.

— Пойдем отсюда, а? — просительно говорит Марина. — Ну пойдем... Как можно так с собой... Кому же еще и жить-то, Владик! Кому?

— Ты не уговаривай меня, Марин. Я не уйду.

— Они же тебя все равно выволокут...

— Ну, выволокут... ну, пару ребер поломают... Это их проблемы.

— Да нельзя так, Владик, нельзя! — страстно говорит она, схватив его за руки. — Господи, холодные какие... ледяные... Ты же погибнешь!

— Я уже погиб.

— Ну что ты рисуешься, Владька! Ну что за поза! Умный, добрый, красивый...

— Мне все время стыдно, — глухо говорит он, схватившись пятерней за лицо, и речь его от этого звучит немного невнятно. — Как будто это я чего-то не сделал... в чем-то ошибся... как будто это из-за моей лени или глупости кругом бардак. Не упыри эти виноваты... Какой с упырей спрос? Я! Понимаешь? Я все время чувствую себя виноватым... Не могу так больше.

— Вот пропадешь, — сердито говорит Марина, а на ресницах ее начинают посверкивать слезы, — тогда действительно будешь виноват. Как Светка-то без тебя останется?

— Светка от меня давно ушла, Марина, — мягко говорит Владислав после едва уловимой заминки, — и Петьку увела совсем, видаться не дает... Мы с тобой действительно мало общались в последнее время.

— Господи, — потрясенно говорит Марина, — да что ж ей...

— О, она очень четко сформулировала. Я думала, ты перспективный гений, а ты просто малахольный гений...

Марина нерешительно улыбается сквозь слезы. И он улыбается ей в ответ. И легонько обнимает за плечи.

— Зря ты за меня тогда не вышла, — говорит он. — Мо-

жет, по-другому бы сложилось... Мы бы дружка дружку под-держивали...

Она молчит. Губы вздрагивают, она силится что-то сказать — и не может, слова вязнут в гортани.

— Нет, — решительно говорит он вдруг, — было бы еще хуже. Как начал бы я от большой любви о тебе заботиться... Из кожи бы вон лез, чтобы пристойную жизнь обеспечить. Ну и как полагается — икнуть бы не успел, как стал бы подонком. Там урвать, тут перехватить, там стерпеть унижение, тут закрыть глаза на мерзость... Все в семью, все ради родных и близких... Любовь — самый мощный мотор... но подчас она очень подлый мотор. Хорошо, что я один.

Некоторое время сидят неподвижно, почти прижавшись друг к другу, потом он, опомнившись, неловко убирает руку с ее плеча.

— Ладно, — говорит он, посуровев. — Гением не смог стать, мужем и отцом не смог стать... Что осталось? Осталось остаться порядочным человеком. Я никуда не пойду, Марин, а ты иди. Спасибо, что навестила. Иди. Сейчас приедут начальники, и тут такое начнется... Ни к чему тебе.

— Владик, — решившись, твердо говорит Марина, — у меня беда. Большая беда. Сейчас некогда рассказывать, потом. Но, возможно, мне понадобится помощь... и, возможно, мне не к кому будет обратиться, кроме тебя.

Он чуть отстраняется и, набычившись, пристально вглядывается ей в лицо, закопав длинный подбородок в складках шарфа.

— Что-нибудь случилось... с мужем? — сразу осипнув, говорит он. Она встряхивает головой, с трудом удерживаясь, чтобы не зареветь в голос.

— Потом, Владик, потом. Сейчас давай просто уйдем. Понимаешь?.. Ведь ты понимаешь!.. Если тебя рядом не будет, мне никто не поможет!

Через мгновение на губах его снова проступает светлая, но какая-то обреченная улыбка.

— Какая же ты хитрая, Маришка, — с невыразимой нежностью говорит он. — Лиса Патрикеевна...

Молчат. Тикают часы на стене.

— Помнишь, как после выпуска собрались в общежитии у Кадыра... Русская ты, я — как бы хохол, Акиф из Нахичевани, Кадыр из Чимкента, Ксюшка-буддистка из Улан-Удэ... Так

было замечательно, что вот сидим все в одной комнате, такие разные и такие родные... — Пауза. — А теперь все стали такие одинаковые... и такие чужие...

— А потом вы мне принесли гитару, и мы все пели Окуджаву, — подхватывает Марина, глотая слезы и умоляюще заглядывая Владиславу в глаза. — Помнишь? Дольского, Окуджаву... Помнишь, Владик?

Молчат. И вдруг Владислав тихонько затягивает с полустрофы:

— Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь...

12

Продутая ледяным ветром, залитая режущим низким зимним солнцем улица. То и дело чуть оскальзываясь на вечном гололеде, Марина и Владислав, которого она держит под руку — на первый взгляд кажется, просто нежная парочка, но так она его поддерживает, — подходят к парадному.

— Зайдешь? — глухо и надтреснуто, пряча рот в шарф, спрашивает Владислав.

— Нет, Владик... я очень спешу. Я забегу завтра или на днях, узнать, как ты. А сейчас — до свидания. До двери проводить тебя?

Он отрицательно качает головой.

— Беги, если спешишь... У меня же первый этаж.

Оба несколько секунд стоят в нерешительности, не двигаясь, потом он отворачивается и скрывается в темном зеве парадного. Марина провожает его взглядом.

Откуда-то издалека надсадно, словно разрезая душу, скрежешет на повороте трамвай. Марина срывается с места.

13

Суета коридоров телестудии. Марина растерянно бредет, посматривая на номера и таблички на дверях, потом, отчаявшись, спрашивает пробегающего мимо молодого парня:

— Вы не знаете, где Альбина Давыдовна?

— Не знаю... где-то была...

Убегает. Марина идет дальше. Задаёт тот же вопрос степенно идущей ей навстречу женщине с толстой папкой в руке.

— Думаю, в семнадцатой. «Героев» обычно пишут там.

— Героев?

Женщина улыбается.

— Ну, цикл передач так называется... «Герой нашего времени».

Семнадцатая оказывается рядом. Но Марина не успевает открыть дверь, как она резко распахивается сама и изнутри вылетает элегантный, какой-то очевидно «не наш» мужчина, а следом за ним — Альбина, пытающаяся его задержать. Марина шарахается от них. Альбина говорит горячо:

— Ну что ты так раскипятился?

— Ты еще спрашиваешь! — отвечает он с несильным, но ощутимым акцентом.

— Представь, спрашиваю.

— Потому что ты, именно ты всякий раз выбрасываешь лучший материал и вставляешь какую-то пошлость. Ты что, специально портишь наши передачи?

— Пошлость... — задумчиво, но как-то с угрозой говорит Альбина.

— Да! Да! И ты это знаешь!

— Так вот что я тебе скажу, Маркус, — ледяным тоном заявляет Альбина; похоже, Маркус задел ее за живое. — Пусть это пошлость, пусть! Но за нее платят. Именно за нее платят! И у вас, когда вы снимаете про себя, тоже платят только за нее. Попробуй не согласиться! Весь мир стал пошлым.

— Свежая мысль, — говорит Маркус; видимо, от волнения его акцент становится сильнее.

— Какая есть. Если хочешь знать, то, что тебя так тянет на русскую псевдоэзотику, — это тоже пошлость. Что вы о России знаете? Вы, интеллектуалы западные! Вы до сих пор уверены, что в России все сплошь — Достоевские. Ага, как же. Нет здесь Достоевских больше! Распутины есть, мафия есть, проститутки, банкиры из бывших стукачей, киллеры, дилеры, хакеры, байкеры, рокеры — это сколько угодно. А Достоевские — ку-ку!

— Но ведь этот человек — тоже есть!

— Этот человек из прошлого века, а у нас передача о новых людях России. Новых! Да, пошлых, да, бессовестных — но за ними будущее. И это они платят! Сегодня платят, сейчас. И завтра будут платить. А философ этот доморощенный...

Он просто умрет с голоду. Я же видела, у него один кусок черствого хлеба в холодильнике, даже чаю нет, кипяток пьет...

— Может быть, эта передача сделала бы ему рекламу, помогла бы выжить!

— Не смейся. Реклама...

— У тебя нет сердца...

— Такое же, как у тебя. Тук-тук, гонит кровь от желудка к мозгам и обратно. Просто вы там, в Европе, не в состоянии слопать все, что ставите себе на стол. И когда отодвигаете тарелку с обильными обедами, называете это добротой. Протестантская этика!

— Нам... — говорит он, тщательно подбирая слова, — теперь будет трудно работать вместе.

— Ничего, — она ослепительно улыбается, — сдюжим.

— Что ты сказала?

— Справимся, говорю.

Он заглядывает ей в лицо, потом несколько раз чуть кивает с каким-то сожалением и уходит. Альбина поворачивается, чтобы вернуться в семнадцатую, но из-за угла коридора выступает Марина:

— Простите, вы не подскажите, как найти Альбину Давыдовну?

— Это я, — недовольно, исподлобья глядя на нее, говорит Альбина.

— Очень приятно. Я Марина Аракелова, мы с вами созванивались третьего дня, и вы мне назначили...

Альбина задумывается, с трудом припоминая.

— А, так это по поводу дежурств на «Гласе народа»! — наконец припоминает она. Марина несколько раз радостно кивает — раз вспомнили, значит, шансы есть.

— Да-да, я навела кое-какие справки о вас... Хорошо, идите.

Они обе идут к двери.

— Только вам придется подождать. У меня не закончена записка...

— Конечно.

— Посидите здесь.

Марина присаживается на стул у двери, рядом с двумя парнями, попивающими пиво из жестянок и беседующими вполголоса. Снимает сумку и ставит ее на пол. А Альбина ухо-

дит, плотно притворив за собой еще одну дверь. Парни вдруг смеются вполголоса.

— А вот еще... — говорит один. — Таксист сажает молодую пару, везет и удивляется: мужик все время к подружке поворачивается и делает вот так: «Э-э!» — свешивает голову набок, по-висельному высовывает язык и издает сдавленный звук. — А девка его — бац сумочкой по балде. Через две минуты все сначала.

Из коридора входит мужчина с какими-то бумагами. Нерешительно поглядывая по сторонам, останавливается у двери.

— Ну, таксист уже кипит от любопытства, — продолжает парень, — и когда остается с мужиком один на один — тот дамочку выпустил и расплывается, — спрашивает: «Что это у вас за странный ритуал?» — «Да понимаешь, шеф, — отвечает мужик, — у нее вчера муж повесился, так я ее теперь прикалываю!»

Смеются.

Марина опускает лицо.

Откуда-то очень издалека словно бы гремит по рельсам трамвай.

Из-за двери, за которой скрылась Альбина, выходит пожилая, но всей повадкой своей энэргичная телевизионная дама.

— Альбина там? — спрашивает ее вошедший мужчина.

— Да. Подождите. Сейчас очень интересную женщину пишат. Буквально из ничего поднялась... что называется, человек сам себя сделал. А теперь казино открыла, магазины... и благотворительностью занимается...

— Какой благотворительностью? — сразу восторженно спрашивает Марина.

— Вот точно не скажу... не знаю. Но чего-то там... для подростков. Клуб, тир, тренажеры... Культурный досуг для трудных мальчиков.

Уходит. Парни опять смеются чему-то.

Снова распахивается внутренняя дверь. Выходят Альбина и еще какая-то холеная, возраста Марины, дама; Альбина вежливо пропускает ее вперед и кудахчет:

— Чудесная беседа, чудесная! Как вам все это удастся... столько всего успевать, столько пользы, столько радости людям...

Дюжие парни встают, отставляя пивные жестянки прямо на пол, и как-то сразу становится ясно, что это телохранители. Мужчина с бумагами делает движение к Альбине; та вла-

стно отстраняет его легким движением руки: потом. Марина и холеная дама встречаются взглядами. Секунду всматриваются друг в друга, потом дама радостно восклицает:

— Маринка!

— Ольга! — Марина встает, и парни одинаковыми настороженными движениями поворачиваются к ней. — Господи, да сколько ж мы не видались-то! Это ты — «Герой нашего времени»?

— Ну, я, — чуть с вызовом говорит Ольга.

— Поздравляю!

— Знаешь, не с чем, — вдруг красиво скромничает Ольга. — Тружусь, кручусь... Как белка в колесе. Маринка, я сейчас спешу, извини. Но счастливый случай упускать нельзя. Хочется, знаешь, этак по-советски, как встарь... на кухне сесть и почесать языками не о делах, ни о чем вообще, а просто так. У меня сейчас кругом одни деловые... Позвони.

— А у тебя телефон разве тот же? Я звонила когда-то — мне сказали, таких нет...

— Да-да. — Ольга достает из сумочки органайзер, оттуда — визитку, протягивает Марине. — Вот... когда будет время.

— Да я сегодня же позвоню!

Ольга улыбается, но холодно и недоверчиво и пытливо всматривается Марине в лицо.

— Знаешь, — медленно говорит она, — мне сдается, что ты каким-то чудом и впрямь рада меня видеть.

Марина на мгновение теряется.

— А как же... Да что ты говоришь такое! Конечно, рада, детство же...

— Ненавижу детство, — говорит Ольга. — Жалкий возраст, унизительный... Н-ну ладно. Жду звонка.

И уходит, парни — за ней.

Уходит.

Несколько секунд длится пауза, потом Альбина говорит:

— Идемте со мной.

Небольшое, видимо, подвальное или полуподвальное помещение, заставленное какой-то телеаппаратурой и одновременно — напоминающее комнату свиданий самого дурного пошиба: продавленный диван, колченогий стул перед экра-

ном монитора, кустик алоэ, приспособленная под пепельницу разрезанная пивная жестянка, груда пустых бутылок в углу, давно не мытые, покрытые черным чайным налетом чашки и заварочный чайник на столе; рядом валяется, раскинув поперек столешницы провод с вилкой, кипяtilьник.

— Оплата сдельная, — говорит Альбина, а Марина нерешительно осматривает электронику, — по приемке видеоматериалов. От удачи, конечно, зависит — сколько народу во время вашего дежурства придет да насколько интересно они болтать будут... Но предварительный отбор — это уже дело вашего ума и понимания.

— Только... Альбина Давыдовна, я в этой технике...

— Это все элементарно. Запись идет автоматически, длится по каждому персонажу две минуты, потом отключается. Вы сидите тут и смотрите. Если что-то интересное, полезное... Словом, то, что вам хотелось бы потом увидеть по своему телевизору дома, вы оставляете. Если чушь — отматываете пленку назад и следующего пишете поверх. Вот кнопка и вот кнопка, а больше вам и знать ничего не надо. Вот не знаю, устроит ли вас время... но поймите сами, вы человек для нас новый, почти что с улицы... поэтому покамест придется потерпеть. С десяти до двенадцати вечера... Что? — увидев, как изменилось лицо Марины, почти злорадно говорит она. — Не устраивает?

— Устраивает, — после едва уловимой заминки говорит Марина. — Вполне устраивает. Только... хотелось бы знать, когда...

— Когда первая выплата? — сразу понимает Альбина. Марина смущенно говорит, почти шепчет:

— Да...

— Материалы мы просматриваем ежедневно. Если набегит какой-то приличный кусок, можете рассчитывать на аванс в конце недели.

— Спасибо... Огромное вам спасибо...

Оператор, сидящий перед монитором и молча слушавший весь разговор с дымящейся сигаретой в зубах, на миг оборачивается с веселой, почти издевательской улыбкой.

— Ну, значит, сегодня в десять мы вас ждем, — говорит Альбина. — Не опаздывайте. Предыдущему оператору тоже домой хочется вовремя.

— Нет-нет, — говорит Марина.

Ранний зимний вечер. Солнце уже закатилось, но еще светло, закат полыхает на полнеба. Марина медленно протискивается среди толпы у ларьков, присматривается. Встает в очередь за хлебом, за хлебом — единственный ларек, возле которого очередь. Дует резкий ветер, все мерзнут, кутаются, ежатся, отворачиваются от ветра, но в завихрениях между домов он дует то слева, то справа — не уберечься. Наконец подходит очередь Марины. Она берет какой-то жалкий, самый дешевенький батон и половинку ржаного, а потом долго расплачивается, укладывая сотенку к сотенке — нет крупных купюр. «Ну что вы там копаетесь, дама!» — кричат ей сзади раздраженно. Она переходит к следующему ларьку, долго присматривается в нерешительности, потом покупает две сосиски. Когда она говорит продавщице: «Две сосиски», та смотрит на нее как на сумасшедшую, но — клиент всегда прав — режет гирлянду. С вновь раздувшейся сумкой — место толстой папки с машинописью заняли хлеб и сосиски — Марина идет прочь.

Теперь уже темнеет — прошло, пожалуй, немногим меньше часа. Совсем уже без сил, волоча сумку, Марина преодолевает полукилометровую полосу препятствий от трамвая до дома. Вдали светят окнами чудовишные, какие-то бесчеловечные громады жилых домов — многоэтажные бараки образца конца восьмидесятых. По узким тропам, юлящим между кучами и трубами, и еще каким-то торчащим из снега железом — искореженными кровельными листами, какими-то проволоками, бесхозными бетонными глыбами — торопливо бегут мерзнувшие люди. Поземка. Скользко, особенно на спусках и подъемах и на дощечках, перекинутых через бесконечные траншеи. Ни утром не было видно работающих, ни теперь — все разворочено, будто здесь готовились отражать танковые атаки; но противник обошел с флангов, и укрепрайон пришлось оставить без боя. Возможно, навсегда.

На лестнице горит свет. Марина медленно, вяло выходит из кабины лифта, на полу лифта — лужа, и на лестничной площадке после Марины остаются мокрые следы.

Марина отпирает дверь. Зажигает в коридоре свет. Только что она, казалось, была на грани обморока, казалось, она войдет и рухнет, но на губах ее уже улыбка, и снова сверкают глаза.

— Ну, вот и я! — говорит она радостно. — Правда, быстро?

Тишина. Только из кухни неразборчиво бубнит репродуктор.

— Как обещала, так и пришла. Маринка слово держит, Маринка Сашеньку не подведет никогда! А знаешь, я сосисочек купила, — она торопливо выгружает из сумки содержимое, — так что сегодня попируем. И вообще, знаешь, нынче день такой удачный! Отдала Михаилу Алексеевичу его рукопись, и он не сегодня завтра расплатится, причем, как он сам сказал, по высшей ставке... — А руки ее уже снуют над газовой плитой: газ, вода в кастрюлю, вода в чайник, хлеб в хлебницу, утварь так и мелькает. — Правда, других заказов пока нет... компьютеры... Но, в конце концов, я и объявления-то дала, только когда ты вернулся, каких-то две недели прошло. Потом повстречала Ольгу Шагунько... Помнишь, я тебе рассказывала — наш бессменный комсомольский секретарь. Потом она инструктором в райкоме стала, а потом мы как-то потерялись... Она теперь такая гранд-дама стала — что ты! Открыла казино, с телохранителями ходит... По телевизору выступает! Позвоню ей попозже, часиков в девять. И, представляешь, халтурку вечернюю нашла. Придется, правда, вечером уйти ненадолго, но ты спи себе спокойно, не волнуйся — меня на машине обратно будут подбрасывать, я договорилась... Ну вот. Минут через двадцать будем ужинать. Проголодался, наверное? И я! А чайку я с лавандочкой нам заварю, из старых наших крымских еще покупок, лавандочка для нервов полезна и для сна... Тебе ведь спать надо побольше. Да и вкусно очень, что самое-то главное! И печенье есть к чаю!

Почти бегом исчезает в комнате. Кухня остается без нее. Когда-то любовно отделанная, аккуратная, хоть и небольшая — но давно, давно...

С судном в руках Марина проходит из комнаты в туалет; слышно, как она выливает там судно, потом спускает воду. Переходит из туалета в ванную, свободной рукой зажигает там свет и ныряет в дверь — все поспешно, все на бегу. С гулом и клекотом начинается течь вода. И на мгновение самообладание изменяет Марине; слышен ее голос буквально на истерике, на слезе:

— Ну что же это такое, господа! Опять горячую отключили!

Полощет судно ледяной водой, потом моет руки — чувствуется, руки сводит. Когда она вытирает их полотенцем, пальцы не гнутся.

Совершенно без сил она опускается на стул в кухне и, тупо глядя на чайник, который и не думает закипать, закуривает. Снова она старуха — ведь никто не видит. Щеки обвисают, в погасших глазах — безумная тоска. Плывет перед ее лицом волокнистый дым.

— Ы-ы! — доносится из комнаты.

Марину будто подбрасывает пружиной.

— Что, Сашенька? Что? — Она лихорадочно тычет окурком в пепельницу, буквально затаптывает его, крошит свирепо, словно он — символ ее минутной слабости. — Дым? Ну извини... Или что? А-а! — хлопает себя по лбу. — Прости дуру, совсем из башки вон. Мы же утром побриться не успели, я неслась как угорелая... Сейчас, сейчас Маринка бритовку даст...

Она ныряет в комнату, и через минуту раздается жужжание электробритвы.

— А самое главное я тебе еще и не сказала. Я нашла твоего Роговцева! Помнишь, ты про него рассказывал — служили вместе? Врач божьей милостью, ты говорил. Так он здесь, в городе! Ведет теперь какой-то реабилитационный психотерапевтический центр, «Новая жизнь» называется. Я к нему завтра пойду! Вы же друзья? Друзья ведь были, да?

Тишина.

— Ну вот. Пять минут — и запируем на просторе! Потом я тебе почитаю... Только сначала Ольге попробую позвонить.

Начинает нарезать батон тоненькими ломтиками, потом заваривает чай, достает и раскладывает по тарелкам дымящиеся сосиски...

Полуосвещенная комната — та, в которой Марина утром красилась при свече. Сейчас на том столе, где стояло ее зеркало, горит настольная лампа, и Марина, уютно устроившись с ногами в кресле возле лампы и укрыв ноги пледом, неторопливо читает вслух.

— На что дан свет человеку, которого путь закрыт? — медленно читает Марина. — Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды... Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость? Поставил меня посмешищем для народа и притчею для него? Вот, я кричу: «Обида!», и никто не слушает; вопию, и нет суда. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? О, если бы человек мог иметь состязание с Богом! Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, то кто сведет меня с Ним? Не обвиняй меня; объяви мне, за что Ты со мною борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Если я виновен, горе мне! Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением; взгляни на бедствие мое. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а Ты отвечай мне. Прежде нежели отойду — и уже не возвращусь...

Испуганно взглядывает в сторону лежащего. Тот неподвижно смотрит в потолок.

— Ты не волнуйся, — говорит Марина, — там все хорошо кончится. Это просто испытание ему такое было... чтобы любовь ценить научился. Чтобы знал: любовь не за что-то там, не за молитвы и подарки дается, а просто так: либо она есть, либо нет... Понял?

— Ы-ы!

19

Презентация, одна из многих, такая же, как все. А может, не презентация, а просто так. Роскошный зал, роскошный стол. Поодаль от стола — человек двадцать приглашенных. На сцене бренчат и завывают.

— Вы рассаживайтесь, а я сейчас, — говорит Ольга красавцу средних лет с благородной проседью в черных волосах. — Пойду гляну...

— Мороз Воевода дозором обходит владенья свои, — понимающе говорит красавец. Она усмехается, кивает и уходит от группы приглашенных, которые и впрямь сразу начинают двигаться к столу. Идет неторопливо, но собранно и гордо по подвластному ей миру. В соседнем зале — казино, где идет бурная вечерняя жизнь, Ольга проходит между столами; надо видеть ее лицо, ее улыбку, ее довольство, когда она по-хозяйски оглядывается кругом. Обслуга узнает ее, раскланивается.

Марина домывает посуду. Сквозь шум воды из комнаты доносятся вопли и костяной перестук хоккейного матча — работает телевизор, и его холодный голубой свет освещает темный проем ведущей в комнату двери. Насухо вытерев закороченные руки, Марина звонит, и в трубке слышно:

— Здравствуйте. С вами говорит автоответчик. Мы будем крайне вам признательны, если вы оставите свое сообщение после длинного сигнала.

Марина молча кладет трубку. У нее опять, как почти всегда, когда ее никто не видит, мертвое лицо и мертвые глаза.

— В пятый раз... — вертит визитку в руках и вдруг хлопает себя по лбу: — Да тут же еще сотовый указан!

Начинает снова набирать, поглядывая на визитку, новый номер, но, будто повинувшись какому-то наитию, прерывается и прикрывает сначала дверь в комнату.

Красавец стоит с бокалом шампанского в руке. Сидящие за столом хохочут. Красавец, тоже сверкая улыбкой, поднимает свободную от бокала руку, утихомиривая собравшихся:

— Я еще не кончил!

Все опять хохочут. Все уже изрядно навеселе. Кто-то жует, будто с голодного острова приехал. Кто-то под шумок сваливает с тарелочек всевозможную снедь в полиэтиленовые мешочки, упрятанные на коленях.

— Долго не кончать — это достоинство мужа, а не оратора! — кричит кто-то из соседей.

Общий хохот.

— Ольга Альбертовна, — упрямо говорит красавец, — всегда была героиней нашего времени. Какое бы время ни стояло на дворе — она всегда была его героиней! Вот что я хочу подчеркнуть, господа! И она... и такие, как она... и впредь всегда будут героями всех времен и народов... что бы ни случилось с этой страной, в какие бы очередные тартарары она ни свалилась! Вот за что я хочу поднять этот бокал! Собственно, я его уже поднял...

Общий хохот.

— И надеюсь, меня поддержат все здесь собравшиеся, потому что мы все здесь точно такие же нормальные герои!

— В нашей стране быть героем — святая обязанность! — кричит какой-то эрудит с противоположного края стола.

Общий хохот.

— В жизни всегда есть место подвигу! — визгливо, давясь смехом, вторит ему какая-то упакованная в драгоценности дама.

Общий хохот.

— Что-о? — картинно возмущается красавец. — Соперничать со мною в культурном уровне? Да я вас... да я вам... Багрицкого прочитаю!

Общий хохот.

— Советский поэт Багрицкий! — как конферансье, возглашает красавец и прихлебывает из своего бокала. И немедленно кто-то откликается:

— Багрицкий поэт Советский! Так смешнее!

Хохот.

— Прошу не перебивать! Итак! Слова советского поэта Багрицкого! Мысли — народные!

Общий хохот. Завывая с утрированной грозностью, красавец читает:

— А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руки протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги» — солги.
Но если он скажет: «Убей» — убей.

Общий хохот.

— Убе-е-ей!! — заорал кто-то из особенно налегавших на спиртное. — Это круто!

— Я хочу выпить за этот век! — надсаживаясь, перекрикивая шум, возглашает красавец. — И за его героев! И особенно за его очаровательных героинь! — Он протягивает свой бокал навстречу с готовностью поднятому бокалу Ольги. Они чокаются.

— Спасибо! Спасибо, мои дорогие... — говорит Ольга.

Сзади к ней подходит кто-то из шестерок во фраке и подает мобильный телефон.

— Ольга Альбертовна, вас, — извиняющимся голосом говорит он. — Какая-то Марина... сказала, что вы договаривались созвониться...

Чувствуется, что Ольга вспоминает не сразу. Но, к ее чести, — все-таки она профессионал-организатор, этого у нее не отнимешь, — очень быстро. Берет трубку из рук шестерки.

— Да, Мариночка, это я. Что? Прости, дорогуша, здесь шумновато... Работа такая, — и подмигивает сидящему рядом красавцу. Тот понимающе хихикает. — Сейчас не очень удобно... Но мы обязательно повстречаемся на днях... Что? Не слышу... Ах, ну, как всегда... Прости, дорогуша, сорвалось. Знаешь, стоит добиться хоть какого-то успеха, сразу столько откуда-то выныривает бедных родственников... Нет-нет, к тебе это не относится! Разумеется, надо подумать... Сейчас... Марина, ну опомнись, ну зачем мне тут переводы с языков... Нет, машинописных работ у нас нету... Какие нынче машинописные работы, смешно. Вот что... у нас уборщица заболела. Ты можешь пока поработать вместо нее, а потом, если все будет нормально... может, еще что-то подберем. Ну, думай! Да? Вот и отлично. Мы открыты всю ночь, до пяти утра, значит, нужно прийти хотя бы в шесть, чтобы успеть навести порядок... Просто я это к чему — чтобы в шесть утра ты была как штык. У нас дисциплина. Не так, как в научных институтах... Готова с завтрашнего дня? Замечательно. Я предупрежу охрану... Они тебе покажут, так сказать, фронт работ. Целую!

Отдает трубку. Красавец доверительно наклоняется к Ольге:

— Кто это?

Ольга улыбается. Но ответить на эту улыбку улыбкой мало кто захотел бы. Не та улыбка.

— Так... Школьная подруга. И потом еще общались некоторое время, когда я в райкоме по науке работала... Уж такая всегда была правильная, такая талантливая... Доктор теперь, что ли... или еще кандидат. Сортиры у нас будет мыть, — веско и отчего-то мстительно заканчивает она и вдруг смеется: — Сортиры!

Сейчас Ольга просто счастлива. По-настоящему счастлива.

Марина сидит на кухне и курит. Глаза почти закрыты. Пальцы дрожат, и сигарета время от времени тычется то в верхнюю, то в нижнюю губу.

Марина снова одевается.

— Ну вот, у меня еще одна победа, — радостно говорит она. — Нам везет, Сашка, везет! Я же везучая! — Шутливо трижды плюет через левое плечо. — Так бы и дальше! Правда, вставать теперь придется ни свет ни заря... Ну, и ничего. Во сне выздоравливать хорошо, вот как тебе, например... А когда человек здоров, сон только жизнь укорачивает. Лежишь бревно бревном и ничего не чувствуешь... А сейчас я уйду и буду к часу. Ты спи тут... И не волнуйся. Главное — не волнуйся. Сейчас заработаю, утром заработаю, потом консультацию тебе устроим... Так помаленьку я тебя и вылечу. Все, милый, целую и бегу. Пописать не хочешь на дорожку? Нет?

Пауза. Тишина.

— Ну, суднышко я поставила рядом, если что. Телевизор я пока оставляю, чтоб не скучно было, а в девять все равно свет вырубят. Бегу!

Она гасит свет в коридоре. Потом открывается лестничная дверь, оттуда вываливает сноп желтого света и тут же вновь съеживается и гаснет. Звонко хлопает дверь.

В синеватом, мертвом — как в морге — свете работающего телевизора мы видим запрокинутое на подушках лицо мужчины — когда-то, вероятно, сильное и хорошее, открытое мужественное лицо, но теперь осунувшееся, поблекшее, плохо пробритое в ранних морщинах. Мужчина беззвучно, бессильно плачет.

И вновь Марина проделывает путь по ледяным надолбам и мосткам. Уже почти безлюдно, только где-то вдали, едва видные в свете дальних окон, бредут, нагибаясь против ветра, одна-две одинокие фигуры. На одной из покатостей Марина

все-таки поскользывается и падает; сумочка вырывается у нее из рук. Марина поднимается, кое-как отряхивает с пальто грязный, пополам с песком и глиной, снег. Метет поземка. И тут разом, как в кошмаре, гаснут все окна окрест лежащих жилых громад. Едва видимая в сгустившейся темноте, Марина идет дальше.

25

Пустая комната, полуосвещенная резким светом настольной лампы, стоящей поодаль от мертво мерцающего монитора. Марина уже одна; пальто накинуто на плечи. Молча, неподвижно и отключенно она сидит, пристально, не мигая, глядя в работающий вхолостую экран. Курит.

Внезапно монитор оживает, и Марина заметно вздрагивает, будто просыпаясь — словно она, оказывается, спала с открытыми глазами. На экране лицо старика.

— Ничего нового я вам не скажу, — дребезжащим, немощным фальцетом произносит он. — Мне и самому-то все слова надоели... Никогда в жизни я не жаловался. Потому что все муки мы принимали — ради чего-то! Понимаете? А теперь — ни для чего. — Он вдруг закашливается, долго, надсадно перхает, прикрываясь коричневой морщинистой ладонью, на которой не хватает двух пальцев. На глазах проступают слезы. — Да... никогда не жаловался. Работал, воевал, снова работал... Строил, строил для Родины... — Его лицо передергивается от отвращения. — Но было... было чувство, что, если уж припечет, есть кому пожаловаться. Сталину письмо написать или Ворошилову... И вы мне не говорите, — вдруг надорванно выкрикивает он, — что они были людоеды какие-то! Ну, людоеды! На то и государство! Зато, если оно тебя не съест, ты за ним как за каменной стеной! А теперь каждый сам по себе, государства — нету. Только сами там бубнят, бубнят кто чего ни попадя... — Молчит, вытирая уголки глаз суставом указательного пальца, потом глядит в камеру с какой-то запредельной укоризной. — Вы, журналисты, меня, уж конечно, в эти... в руссофашисты запишете. В красно-коричневые какие-нибудь. Ну и хрен с вами. Будьте прокляты!

Время его еще не истекло, но он встает, отворачивается — Марине становится видна истертая едва ли не до сквозного

свечения спина его двадцатилетней давности зимнего пальто — и отходит от камеры, снова покашливая. И монитор отключается, снова бегут по нему бестолковые суматошные полосы.

Марина вспоминает про дымящуюся в пальцах сигарету. Страхивает в заменяющую пепельницу пустую консервную банку из-под каких-то килек длинный хвостик пепла, затягивается и гасит сигарету. Кипятит чай в большой кружке заранее запасенным здесь переходящим из рук в руки кипятильником. Когда она пытается засыпать в кипяток заварку, половина просыпается мимо. Марина аккуратно сгребает сухие чайники в ладонь, страхивает их в дымящуюся кружку.

Потом в ожидании рассеянно перебирает неаккуратной стопкой лежащие на столе журналы. Они тут для всех. Кто принес и что — неизвестно. Общенародное достояние. «Плейбой» на русском и английском, «Космополитен»... Марина наугад листает один — какие-то сногшибательные моды, лошенины мужчины и женщины с бокалами чего-то импортного в холеных, оперстненных руках, рекламы автомобилей, яхт, бытовой электроники.

Монитор оживает. Женщина лет сорока. Долго-долго смотрит в камеру, не зная, что и как сказать, лицо ее судорожно подергивается. Поправляет шарф нервно, потом вдруг снимает шапку, неловко комкает ее. Шапка и плечи пальто припорошены снегом. Идет драгоценное время. И вдруг женщину прорывает наконец.

— Господи!.. Растишь, растишь сыночка, ночей не спишь, — голос клокочет от едва сдерживаемых слез, — ведь ни одна же сволочь не поможет, ни одна. В поликлинику сходить, врача вызвать — и то с работы отпрашиваться каждый раз... унижаться, унижаться, кланчить, умолять... а там рожи, рожи! Если у вас такое трудное семейное положение, вам следовало повременить с ребенком... — злобно передразнивает она кого-то. — А как вырастишь — оказывается, и ты им должен, и ребенок твой им тоже должен! Иди-ка, мальчик, сюда, мы тебя на смерть кинем! И хоть бы война, — она даже в грудь себя ударила рукой, в которой скомкана шапка, — хоть бы впрямь напал на нас кто, сама послала бы, перекрестила бы и послала, правда! Нет! Куда там! Они там наверху все делят чего-то, который год никак поделить не могут... а детей убивают! А потом их как шилом в жопы их толстые кольянут — и начинают

извиняться перед убийцами; ах, ошибочка вышла, мы хорошие, не оккупанты мы! Мы вам сей секунд еще два завода бесплатно построим — только вы уж убивайте нас поменьше, пока мы вам их строим... И стоят, жопастые, как ни в чем не бывало, ручки друг дружке пожимают...

Изображение отключается. Марина некоторое время сидит неподвижно. Потом как слепая, почти на ощупь, выбирается из операторского кресла, идет к столу, на котором остывает ее чай. Пьет.

Монитор оживает, и Марина с кружкой в руке бросает к креслу. Она так ничего пока и не решается стирать. Все записывается подряд.

Интеллигентного вида человек лет сорока или чуть старше. Прямо смотрит в объектив. То ли он немного пьян, то ли просто взвинчен до предела.

— Думаю, все это видят, не я один. Но как-то стыдятся всерьез признать... взглянуть правде в глаза. Вся шваль, все подонки, все ублюдки неопишутые поперли в гору. Все они выиграли... Ворье, мафия, кстати, наполовину состоящая из бывших партийных бонз, — все они процветают, понимаете? Это их время. Причем заметьте... чем безнравственнее человек, чем подлее — тем больше ему удачи. Он свой, а время чувствует, кто для него свой, и помогает своим. А кто с совестью... тот аутсайдер, тот обречен.

Задумывается, глядя куда-то ниже экрана, потом улыбается горько.

— А главное — пошлость. Во всем, везде... И пошлость-то какая-то необъяснимая, сатанинская... Тотальная. Будто одурели все в одночасье. Будто не было у них великой культуры. Будто не с чем сравнивать, опять все с нуля... Пошлость — это же не только искусство, это мировоззрение, это стиль жизни...

Человек на экране поднимает глаза. Может, снова думает о чем-то. Затем, словно спохватившись, продолжает:

— Нет-нет, я не хочу сказать, что старое зло было лучше. Ведь я боролся с ним... как многие из моего поколения. Но вот тут-то и загадка. Старое зло разрушили, свергли, а на его месте тут же новое выросло, да еще какое! Вот поэтому я и говорю, что само время подлое, предательское, — потому что обмануло людей в самом святом, в самых сокровенных ожиданиях. Помните, в «Апокалипсисе» — дух подмены есть дух Антихриста. Но только причина, — он понижает голос, — мо-

жет быть, в нас самих? Это как пластинка с царапиной, она вращается и с каждым оборотом повторяет свой скрип. И вроде музыка прекрасная записана на ней — а не послушать. Может, и в нашей душе, в глубинах каких-то генетических, сидит эта царапина... Бог весть, кто ее поставил и когда — а всю музыку испортил...

Время истекло, и камера отключается. Марина закуривает неверными движениями, потом встает, начинает медленно, потом все быстрее ходить из угла в угол тесной комнаты. В свете лампы отчетливо видны волокнистые потеки дыма, вихрящиеся вслед за нею в темном воздухе.

26

Лютая пустыня улиц ночного города. Изредка горят тусклые фонари — все-таки это не окраина, центр. Безлюдье. Ветер едва не валит с ног. Почти бегом, то и дело оскальзываясь, Марина спешит к остановке. Заворачивает за угол — и шарается: она вылетела прямо на двух пьяных. Один едва стоит, упершись обеими руками в стену и громко икая, другой еще что-то соображает, пытается его поддержать, бормочет что-то громко и невнятно:

— Ну, Колян, ну... Ну совсем уже, что ли? — Замечает Марину. — О! Колян, бабу хочешь? Баба пришла! Иди сюда, штучка! А ну иди, кому сказал!

Марина бежит на другую сторону улицы. Мужик пытается ее преследовать, но падает и долго ворочается посреди подметенной поземкой пустынной, мертвой мостовой, что-то угрожающе бормоча.

27

Стараясь двигаться совершенно беззвучно, не звякнуть ключом, не шаркнуть ногой, Марина, одной рукой держа зажигалку с трепещущим язычком синеватого умирающего пламени, открывает дверь квартиры. Входит, по-прежнему подсвечивая себе. С бесконечной осторожностью раздевается, стаскивает окоченевшими руками сапоги.

— Ы! — зовуше раздается из темного дверного проема.

Марина, словно ее кинула невидимая катапульта, бросается туда — зажигалка едва не гаснет. Видно, как Марина падает на колени возле постели, обнимает лежащего.

— Ты почему не спишь, Сашенька? Ты почему не спишь? Сон — лучший доктор... Ты что, за меня волновался? — В горле у нее клокочет, но даже в сумраке чувствуется по голосу, что она улыбается. — Глупый, глупый, ну какой глупый! Ничего со мной не может случиться плохого. Я же у тебя храбрая, я у тебя шустрая! Я все смогу, Сашенька, все-все... — И целует его, целует. — Я тебя вылечу. Вот увидишь. Мы опять поедем на озеро... Вот увидишь... — почти всхлипывает она, улыбаясь.

28

Со скрежетом катит по рельсам трамвай, битком набитый. В свете редких тусклых ламп вагона лица людей, которым не для кого притворяться сейчас, и вся усталость душ как на ладони. Мелькают за обледенелыми стеклами заборы и корпуса заводов промышленной зоны. Остановка. Разъезжаются перепончатые двери. Никто не входит, никто не выходит. Снаружи, у каких-то ворот, под фонарем — неподвижная молчаливая толпа. Все молчат — только пар от множественного дыхания курится над серыми, съезженными, сгорбленными фигурами. Марина едет с закрытыми глазами. Ей не хочется ничего видеть. Грохоча, захлопываются двери, и трамвай, надсадно завывая, трогается. Грохочут и визжат по рельсам колеса.

29

Марина останавливается у темного входа. Секунду смотрит на роскошную, запертую сейчас дверь, озирается на уличную пустыню слева, потом на уличную пустыню справа. Нашупывает звонок на стене возле двери, звонит. Ничего не происходит. Она звонит снова. Щелкает переговорное устройство, и заспанный мужской голос произносит:

— Кого там?

Марина несколько секунд молчит, губы ее чуть шевелятся, словно она примеривает слова ответа — и не находит нужных. Черный ночной ветер топорщит воротник ее пальто. Потом Марина говорит:

— Уборщица.

Дверь щелкает. Переговорное устройство говорит:

— Заходи, киса...

Презентация вчера, по всей видимости, удалась на славу. Сверкающий туалет, и по размерам, и по антуражу напоминающий дворец, заблеван и загажен. Марина в рабочем халате поверх обычной одежды со шваброй в одной руке и ведром, через край которого свешивается тряпка, в другой стоит и оглядывает эту роскошь. Рядом с нею — дюжий парень в соответствующем его работе стандартном костюме современного вышибалы, из кармана пиджака торчит антенна телефона. Он хлопает Марину по плечу, весело скалится:

— Ну, приступай. Я на пост. А захочешь после душ прийти — подходи... — и добавляет со значением: — Я провожу.

Уходит.

Некоторое время Марина продолжает озиаться, потом прикрывает глаза. Несколько раз делает глотательные движения — ее мутит. Потом решительно встряхивает головой и принимается за работу.

Она уже покончила с полом и перешла к писсуарам, когда откуда-то издалека раздаются шум, несколько вскриков, отдаленный шелчок, похожий на одиночный выстрел. Марина секунду прислушивается, потом, выронив швабру, бросается к двери из туалета. Пробегает через холл с зеркалами, раковинами и электрополотенцами, через две ступеньки поднимается по короткой лестнице, осторожно высовывается из-за тяжелой темной портьеры, прикрывающей спуск к туалетам.

Зал, где вчера царило веселье. Несколько человек в масках, с короткими дубинками в руках профессионально, в полном молчании, крушат все, что только можно сокрушить.

Охранник, каких-то сорок минут назад приглашавший Марину в душ, лежит возле выбитой входной двери — то ли оглушен, то ли мертв. Не помня себя, Марина опускается на корточки за портьерой, а из зала, уже невидимого ей, продолжает доноситься хруст, звон, грохот... Потом голос:

— Шабаш, линяем!

Коротко топчет несколько пар ног, и слышно, как взывает, резко стартуя с места, автомобиль возле сокрушенного входа. Потом — тишина.

Марина медленно встает. На деревянных ногах подходит к лежащему. Наклоняется, протягивает руку, отдергивает, протягивает снова. Ей жутко. Трогает пульс охранника. По-

том вскакивает, начинает метаться — в поисках телефона. Находит его в вестибюле перед залом, набирает номер, а сама глаз не может оторвать от большого листа, прилепленного скотчем к исковерканной внутренней двери, на котором нарочито коряво, как бы по-детски, написано: «Прежде чем шампузу дуть — надо ПАПЕ отстегнуть! Привет от ПАПЫ!» И за чем-то — шутки ради, вероятно — пририсовано сердечко, пронзенное стрелой.

— Милиция? — едва проталкивая слова сквозь гортань, произносит Марина. — Это милиция? Нападение... вооруженное нападение! Адрес? Сейчас... — Она лихорадочно ищет визитку, полученную вчера от Ольги. — Сейчас... сейчас... Тут человек... еще живой!

31

И снова скрежешет трамвай. Изморозь и наледь на окнах напитаны светом, но все равно только в проталины видно, что творится снаружи — какие-то отдельные фрагменты улиц, машин, лиц. Невеселый калейдоскоп. Стоящий рядом с Мариной высокий старик с трясущейся головой вдруг наклоняется и спрашивает Марину:

— Вы не находите, что люди просто устали жить? То есть вообще. Человек устал жить...

Он требовательно смотрит на Марину, ожидая ответа.

— Да-да... Может быть... — отвечает Марина с отсутствующим, уже совершенно не от мира сего лицом. Похоже, она не очень-то понимает, о чем ее спрашивают.

32

Марина звонит в дверь какой-то квартиры. Ей долго не открывают, но она не повторяет звонка — просто прислушивается, стоит смирно. Наконец внутри начинает долго звякать отпираемый неловкой рукой замок, дверь открывается — и перед Мариной оказывается старая женщина с добрым лицом. Секунду она подслеповато всматривается Марине в лицо, потом расплывается в улыбке:

— Мариночка! Мариночка, родная вы наша! Да проходите скорей, вы же замерзли совсем... В таком пальтишке на ветру на этом... Проходите, проходите...

Марина, улыбаясь в ответ, входит в коридор квартиры. Женщина, отступив на шаг в сторону, пропускает ее — чувствуется, что она ходит едва-едва, что-то серьезное с ногами. Но радость ее неподдельна.

— Век буду бога молить за вас, Мариночка! Владик, — повысив голос, кричит женщина, — Владик, кто к нам пришел!

— Как он? — спрашивает Марина, расстегивая пальто.

— Хорошо, Мариночка, хорошо. Как приехал, госпитализировать хотели, но вы же знаете его, уж такой упрямец, такой упрямец... отказался наотрез. Сидит, читает что-то... Живой, живой! — Слезы наворачиваются у нее на глаза.

— А я проведать вас зашла, — говорит Марина с улыбкой и вынимает из сумки одинокое зеленое яблоко — все, что она смогла себе позволить. — Я узнавала, на второй день немножко фруктов уже можно.

— Чаю сейчас поставлю, — отвечает женщина. — Только вы не стесняйтесь, чаю у нас много! Мариночка... — Она вдруг порывисто берет руку Марины и, прежде чем та успевает понять, что происходит, неловко целует ее ладонь.

— Ну что вы, Оксана Петровна, что вы... — бормочет Марина, пятясь.

— Век за вас буду бога молить, спасительница вы наша... Век... Владик, сынок, — кричит она, — Мариночка пришла!

33

Владислав и Марина сидят друг напротив друга на кухне — там теплее. Горит духовка — спасительное дополнительное отопление городских квартир, и крышка ее открыта настежь, поэтому по тесной кухне перемещаться мимо газовой плиты приходится с осторожностью. Мама Владислава — счастливая улыбка так и не сходит с ее лица, — по-утиному переваливаясь, ставит посреди стола блюдо с парой бутербродов и, потрепав сына по голове, а потом, проходя мимо, легонечко проведя ладонью по плечу Марины, уходит из кухни.

— Ой, Владик, прости, — вдруг будто вспоминает о чем-то Марина. — Можно я позвоню коротенько?

— Конечно, звони. — Он говорит тихо и глухо и сидит сгорбившись. Он еще очень слаб.

Марина набирает какой-то номер. Никто не отвечает. Со вздохом она вешает трубку. Некоторое время они молчат.

— Владик, — тихо спрашивает Марина, — все-таки зачем ты?..

Она не договаривает, но он понимает ее с полуслова. Чуть медлит с ответом:

— Надоело унижаться. Не могу больше... Все время, все время... Осточертело.

— Но ведь... Владик, не только это...

— А помнишь, — вдруг говорит он, — как мы начали заниматься синдромом длительного унижения? И коммуняки нам тут же по рукам: а ну, кыш! Идеологически вредная тема!

— Помню... — тихонько говорит она.

— Меня потом полгода в комитет таскали: кто вас надоумил? Как вам это в голову пришло? Кто особенно активно работал с вами над этой надуманной, высосанной из пальца проблемой? И вот смотри: коммуняк нет, а длительное унижение как было, так и осталось.

Пауза.

— Ты не говорил...

— Еще бы.

— А меня почему-то не таскали...

— У-у! Я тебя так отмазывал... Только язык мелькал.

Пауза.

— Вот потому и кажется, что в мире царит зло, — говорит Марина. — Оно бьет в глаза, а добро незаметно... Даже когда есть что рассказать — не рассказывают, стесняются... Почему ты мне сразу не рассказал?

— Добро — это как воздух. Дышишь и не замечаешь... естественное дело. А вот когда воздух откачивают — сразу становится понятно, что чего-то не хватает. — Пауза. — Я задыхаюсь, Мариш, и ничего не могу с этим поделать.

Мама Владислава сидит на диване в комнате — скромной, нормальной комнате ученого, в которую почти ничего и не входит, кроме книг. С кухни слышится бу-бу-бу разговора. Почти монолога. Мама медленно перебирает какие-то старые фотографии. Вот Марина и Владислав, совсем молодые, в

компании сокурсников — все смеются, кто-то поставил кому-то рожки. Вот та же компания на набережной какой-то реки. А вот Марина и Владислав вдвоем: молодые-молодые — и даже как будто бы счастливые...

Мама нутужно, немощно встает и ковыляет к шкафу. Достает маленький стаканчик и склянку валокордина. Капает себе — долго капает, капель сорок. Разбавляет водой из графина и выпивает. Потом возвращается к дивану, вытирает глаза носовым платком и смотрит фотографии дальше.

35

— Сейчас модно стало, — говорит Владислав, отщипнув гомеопатический кусочек яблока, — модно стало... — Жует. — Вкусное-то какое! Маринка, как ты выбирать умеешь... Я вот всегда принесу что-нибудь чуть сочнее ваты... Модно стало пудрить людям мозги тем, что не нужна нам никакая идея. Дескать, все нормальные страны живут без всяких идей, и припеваючи живут. А всякая идея, дескать, это национализм. Двойная ложь и двойная подтасовка. Во-первых, без идеи в состоянии жить только те страны, которые плетутся в цивилизационном кильватере. Страны, которые суть станковые хребты цивилизаций, без идеи не стоят. Не выдерживают напряжений. А во-вторых, национальная идея — это отнюдь не всегда националистическая идея, а просто-напросто основная ценность... сверхценность... данной культуры. Отними у американцев веру в то, что они самые умные, самые сильные и самые богатые, они развалятся, как Союз развалился без веры в коммунизм. Потому это свое состояние они будут охранять до последней капли крови и до последнего доллара. А наша идея... это не имеющая никакого отношения к национальной принадлежности, абсолютно, так сказать, космополитичная... Формулируется она так: не хлебом единым. Помнишь, был такой фильм с Ив Монтаном: «Жить, чтобы жить». Так вот наша культура вся выросла из того, что мы живем не только для того, чтобы жить, а для некоей более высокой цели. Из этого и все наши скачки, конечно... Но как только цель исчезает — все наши методики переплавки животных желаний в человеческие оказываются несостоятельными. Как бы за бортом.

— Ты будешь писать об этом? — тихо спрашивает Марина.

— Зачем? — пожимает плечами Владислав. — Кто это понимает, тот это и так понимает, ничего особенно нового я не говорю... А кому это до лампочки — тому и останется до лампочки.

— Ну нельзя так, Владик... Что же ты руки опустил... на себя не похож, честное слово! Держаться надо, держаться!

Он молчит некоторое время. Откусывает еще крошку яблока. Тщательно жует.

— Не для кого, — тихо говорит он и вдруг вскидывает на Марину беззащитные, несчастные глаза.

Марина опускает взгляд.

— Мариш... вчера ты про беду... правду сказала — или... или соврала? Чтоб меня... оттуда выволочь? — Он говорит теперь совсем иначе. Куда делась четкие, длинные, выстроенные фразы, куда делся ровный тон. Он выдавливает теперь каждое слово, словно каждое — шаг над пропастью и на каждом — можно упасть.

Теперь Марина долго молчит. Она тоже не знает, что сказать. Потом, напряженно разглаживая клеенку ладонью, произносит:

— Я еще не знаю. Только... Владик. Владик. Владик. — Ее будто заклинило, она не в силах перестать произносить его имя. Наконец переламывает себя. — Я тебе никогда не говорила неправды. Ты ведь знаешь?

— Знаю.

— Вот и вчера не говорила и никогда не буду. Ты это, пожалуйста, помни... А теперь мне пора. Я ведь по пути... Зашла узнать, как ты себя чувствуешь.

— Я чувствую себя очень хорошо, — говорит он. — Благодаря тебе.

Она улыбается ему нежно-нежно. И смущенно. И они оба, не сговариваясь, почти хором говорят друг другу:

— Спасибо.

36

Погода сменилась; сыплет снег, да такой, что в двух шагах не видно ни зги. Вся в снегу, Марина поспешно идет по улице. Мимо, скрежеща, дергаясь, проползает во мгле трамвай с сугробами на крыше и заледенелыми бельмами окон.

Очередная приемная, и очередная секретарша — на этот раз в белом халате.

— Вам было назначено? — спрашивает она Марину.

— Нет... — нерешительно отвечает та, — но... мне очень нужно с ним поговорить.

— Вы хотите записаться на прием? Это внизу.

— Нет. Мне просто нужно поговорить.

— Доктор Роговцев сейчас очень занят. У него сеанс.

— Можно подождать?

Секретарша оценивающе смотрит на Марину, потом чуть поджимает губы, говорит с ощутимым презрением:

— Ждите.

Марина аккуратно усаживается на краешек стула в углу. Но через несколько минут не выдерживает:

— Простите, а что за сеанс?

— Психокоррекция, — не поднимая головы, не отрывая глаз от какого-то романа, роняет секретарша.

— А можно... послушать? — через несколько секунд спрашивает она. Секретарша все-таки поднимает глаза.

— Милочка моя, — говорит она, — участие в сеансах денег стоит.

— Я не буду участвовать. И совсем не помешаю... Только пять минут послушаю.

Секретарша снова смотрит на нее испытующе. И снова чуть поджимает губы:

— Можете чуть-чуть приоткрыть вот эту дверь. Только ни звука! И только пять минут.

Ей приходит в голову, что так они могут получить еще одного клиента. Косвенная реклама.

Марина совершенно беззвучно приникает к чуть приоткрытой двери.

— Вы все здесь совсем не потому, — слышится хорошо поставленный, уверенный мужской голос, — что чем-то больны или у вас случилось какое-то трагическое событие. Просто у вас затруднена адаптация. Время изменилось, а вы — нет. И подсознательно вы не хотите меняться. Вам кажется, что хотите, что очень хотите — но на самом деле, в глубине души, вы цепляетесь за старый образ мира. Пока вы не откажетесь от него окончательно, вас будут преследовать несчастное сте-

чение обстоятельств, фатальное невезение, неумение общаться с людьми... Вы будете выпадать из потока живой, манящей и действительно прекрасной жизни, которая бушует вокруг, но куда вам покамест нет доступа, нет пути. Все зависит только от вас самих. Понятно?

— Да! Понятно! — отвечает нестройный хор мужских и женских голосов.

В щелочку Марина видит кабинет, где происходит сеанс. Рослый представительный человек в безупречном костюме стоит к ней спиной, время от времени принимаясь расхаживать взад-вперед перед рядом стульев, на которых сидят несколько человек, и когда он оборачивается в профиль, становится видным его сильное, волевое лицо. Военный врач.

Бывший.

— Сейчас мы поиграем в одну игру... Это специальная ролевая методика, так что прошу отнестись к ней серьезно и отвечать с полной искренностью.

Он делает паузу.

— Представьте, что к вам приходит... ну, например, дьявол. И предлагает стать... ну, хотя бы президентом. Или даже... Маяковский, кажется, считал, что он президент Земного шара. Вот, президентом Земного шара. Что вы ответите дьяволу? Ну, вот вы?

Молодая некрасивая девушка в свитере и джинсах.

— Я бы сказала... я не уверена, что справлюсь.

— Так, — трагично констатирует Роговцев. — Неверно! Это, пожалуй, самый плохой ответ из возможных! Почему? Кто скажет?

Молчание.

— Вы должны быть в себе уверены! — резко говорит Роговцев. — Что бы ни случилось, вы должны быть в любой момент уверены, что справитесь с ситуацией к своей пользе. Хорошо, это мы с вами подкорректируем на аутотренинге... Вы? — вопрос к пожилому, стертому и нескладному мужчине. Старый черный костюм висит на нем мешком.

— Я? — Тот совсем теряется. Озирается, как двоечник, ждущий подсказки. — Да ну его... еще убьют. Желających-то, наверно, много...

— Так. Вы очень трепетно настроены к себе. Разве вам не хотелось бы рискнуть? Здоровый элемент риска украшает и

обогащает жизнь! Пожить так, как даже короли не смеют мечтать? Вся планета у ваших ног!

— Да ну ее, планету эту! — уже решительно говорит мужчина. — Толку-то с нее? На кой ляд она мне сдалась? Головная боль одна...

— Так. Понял вашу мысль. Вы? — вопрос к женщине, чем-то неуловимо похожей на Марину.

— Я бы с дьяволом ни о чем говорить не стала, — секунду помедлив, решительно отвечает она. — Ни о чем и никогда. И... простите, Арнольд Борисович, это не Маяковский, а Хлебников. И не президентом Земного шара, а председателем. Тогда у нас президентов еще не насажали ни одного, поэтому и слово было не в ходу.

— Так... — Психотерапевт смотрит на нее, как на пустое место, и даже не утруждает себя оценкой ее ответа. Сразу переходит к следующему пациенту — тощему всклокоченному прыщавому парню, одетому, впрочем, как требует молодежная мода. — Вы?

Тот задумчиво оттопыривает нижнюю губу.

— Я бы первым делом спросил, какой там оклад...

Врач хлопает в ладоши.

— Идеально! Вот по-настоящему конструктивный информационный обмен с миром! Извлечение выгоды из ситуации — это и есть овладение ситуацией! Ведь вы же все хорошие, добрые, честные люди, так? Мы это выяснили еще на первом занятии! Значит, если вы сумеете делать себе хорошо, для всего мира это будет только хорошо! А теперь с вами... — Он вновь поворачивается к женщине, похожей на Марину. — Зачем вы помните, что это Хлебников?

Женщина растерянно пожимает плечами:

— Не знаю... Помню, и все.

— Так не бывает. Человек — существо разумное, и бесцельно он не делает ничего. Если помните — значит, вам это для чего-то надо. Давайте, друзья, попробуйте сами понять, для чего это нашей уважаемой Александре Львовне. Ну?

— Самоутверждается!

— Сублимируется!

— У нее с этими стихами связан первый школьный роман!

— Покрасоваться хочет! Надо же чем-то привлекать к себе внимание!

Женщина вскакивает.

— Оставьте меня в покое! Я просто помню, и все! Без всякой пользы! Ни для чего! Для Хлебникова!

— Н-ну ладно, — говорит Роговцев. — Сядьте и успокойтесь. Теперь усложним игру. Разобьемся на пары: на искусителей и искушаемых. Потом они поменяются ролями. Искуситель должен попытаться уговорить искушаемого стать президентом, — он напирает на это слово, — Земного шара, если искушаемый этого не хочет. И он должен уговорить его не становиться президентом, — он опять подчеркивает слово, — если искушаемый этого хочет. Поняли?

Марина совершенно беззвучно притворяет дверь и уходит обратно в угол. Смотрит в окно. Секретарша невольно поднимает на нее взгляд.

— Удовлетворены?

— Вполне, — говорит Марина, не оборачиваясь к ней. Секретарша поджимает губы и углубляется в чтение.

Идет время. Ветер на улице, видимо, затих, натащив серые низкие тучи, и повалил снег. Дома напротив едва видны сквозь плотную завесу летящей, рвано клокочущей белизны. Завывая на разгоне, проплывает под окном переполненный троллейбус с крышей, полной снега. Спешат по тротуарам заснеженные люди. Проглядывает сквозь снегопад сигнал светофора на углу. Вот зажигается красный.

— Простите, можно от вас попробовать позвонить? — спрашивает Марина.

Секретарша, не поднимая головы, кивает. Марина набирает какой-то номер. Долго ждет, но, кроме гудков, не отвечает никто.

38

Участники сеанса выходят из кабинета; последним появляется Роговцев. Секретарша говорит ему:

— Арнольд Борисович, вас тут... дама дожидается.

И поджимает губы. Марина подходит к Роговцеву — тот всматривается в нее, словно что-то припоминая.

На лице Марины появляется несмелая улыбка надежды.

— Вы меня вспоминаете?

— Погодите-ка... Вы...

— Марина Николаевна, жена Саши Аракелова. Мы встречались несколько лет назад, давно. Когда вы с Саней еще слу-

жили в одном полку. Он по инженерной части, вы по медицинской... Помните? Еще так хорошо посидели, когда вас... отправляли... Мы с вами пели на два голоса.

— Да, конечно. Помню. — Роговцев безупречно корректен, но лицо его — лед. — Здравствуйте, Марина Николаевна. Простите, что не узнал сразу. Чем могу?

— Я хотела посоветоваться... — Марина волнуется и опять робеет. — Саня всегда так хорошо отзывался о вас... Врач божьей милостью... это он так говорил.

Роговцев чуть улыбается.

— Сменил скальпель на пассы. Это теперь надежнее... да и выгоднее, что греха таить. Жить-то надо... время такое... О чем вы хотели посоветоваться?

— О Саше.

Роговцев после едва уловимой заминки открывает перед Мариной дверь в кабинет, где только что прошел сеанс, делает галантный жест рукой.

— Прошу.

Усаживаются рядом на стулья того ряда, где сидели пациенты.

— Итак.

— Саня... Саня очень плох... — И голос Марины предательски срывается. Она пытается взять себя в руки, несколько раз вздыхает глубоко, вынимая тем временем из сумочки какие-то листы. Протягивает их Роговцеву — они ходуном ходят в ее дрожащей руке. — Его привезли пятнадцать дней назад... ну просто... просто... буквально вывалили мне. Делай что хочешь! — Снова мгновенная нотка близкой истерики в голосе, и снова Марина овладевает собой. — Денег никаких... только-только на самые простые лекарства... Нам в институте не платят уже несколько месяцев, а Саше полагается пенсия, но она где-то застряла, бог знает, когда поступит и поступит ли... Нет, дело даже не в деньгах, я не о том... Простите, — снова несколько раз глубоко вздыхает она.

Роговцев читает внимательно, но быстро, профессионально.

— Худо, — сдержанно говорит он и отдает документы Марине. У нее начинают дрожать губы. Она молчит. И Роговцев молчит.

— Вы ведь военный врач... — не выдерживает она.

— Вы спрашиваете совета?

— Я... просто спрашиваю.

— Здесь вам его не поднять.

Глаза у Марины — на пол-лица. Словно она стоит на ко-
стре.

Роговцев медлит и словно чего-то ждет от Марины.

— Так что же... — наконец едва выговаривает она, и голос
ее срывается.

— Есть центр... — медленно говорит Роговцев. — Один-
единственный. И, на ваше счастье, совсем неподалеку. Там
есть шанс. Крепкий шанс. Примерно пятьдесят на пятьдесят.
Но лечение там платное. Это не корысть, не чья-то злая во-
ля... Импортное оборудование, первоклассные лекарства, ве-
ликолепный уход. Там есть шанс.

— Сколько? — на выдохе, уже совсем без голоса спраши-
вает Марина.

— Не могу сказать вам точно, не знаю. Полагаю, тысяч
под десять, не меньше.

— Десять тысяч? — с недоумением переспрашивает Ма-
рина.

— Ну, долларов, разумеется, долларов. По курсу.

Долгая пауза.

— А если нет долларов, — безжизненно говорит Мари-
на, — значит, подыхай?

Роговцев чуть разводит руками.

— Не я это придумал, — говорит он. — И потом... прости-
те уж, Марина Николаевна, но все, кому деньги действитель-
но нужны, как-то их находят. Сейчас это не проблема.

— Понятно, — так же безжизненно говорит Марина после
паузы. Пытается встать — и не может, ноги не держат. Оседа-
ет обратно.

— Воды? — спрашивает Роговцев. Марина только отрица-
тельно качает головой.

— Простите, — говорит она потом, — сейчас... секунду...
Я уйду.

— Я не тороплю вас, — говорит Роговцев. А потом как бы
невзначай роняет: — Между прочим, вы можете заложить
квартиру.

Марина поднимает голову — снова с надеждой.

— Я помню, у вас отдельная квартира... не бог весть что,
но сейчас метры настолько ценятся, что даже если их не-
много...

— Я... я никогда с этим... — бормочет она и вдруг почти выкрикивает: — Я не умею!.

— Это делается элементарно. Сейчас полно посреднических форм, там вам за час-полтора все оформят, хоть сегодня. Да вот здесь хотя бы, неподалеку... в двух остановках, кажется. Я все время мимо проезжаю. Называется «Эльдорадо». Вы получите деньги, Александра примут на лечение, а вы за это время, освободившись, подсуетитесь как-то... В конце концов, есть благотворительный фонд для ветеранов, я дам вам адрес... Это в Москве. Ну, съездите в Москву, не бог весть какой конец, три часа поездом. Если вы... найдете общий язык, фонд может взять на себя обязанность вернуть залог или хотя бы часть. А Саню тем временем поставят на ноги. Марина Николаевна, — как бы сам все больше увлекаясь этой идеей, говорит он с каким-то несколько наигранным воодушевлением, — а ведь это выход! Это шанс, во всяком случае. Крепкий шанс! Действовать надо, Марина Николаевна! Действовать! Не раскисать ни в коем случае!

Марина долго молчит. Роговцев смотрит на нее, потом отворачивается к окну и глухо, как бы сам себе, говорит:

— Да... Сашка. Вот и Сашка уже отвоевался. А мне на эту жизнь еще до самой смерти в атаки ходить...

— Где, вы говорите, эта... эта контора? — спрашивает Марина.

39

Строгий ухоженный офис. Молодой безупречно строго одетый чиновник. Все авторитетно и без вычур. Здесь занимаются делом.

— Значит, я повторю вкратце, — говорит чиновник. — Срок — шесть месяцев. Если за это время вы не возвращаете суммы залога... ну, с процентами, я уже называл цифры... квартира переходит в полную и безраздельную собственность фирмы. Но, — он доверительно улыбается Марине, — я думаю, до этого не дойдет. Если только вы за это время не подыщите себе жилье получше. А то ваша квартирка, прямо сказать... Ну да ладно. — Он вновь принимает собранный, целеустремленный вид. — Вот по этим поручениям вам выплатят означенную сумму в нашем банке. Адрес здесь... вот, вот здесь, — показывает пальцем. — Возможно, даже сегодня. Хотя, — он

смотрит на часы, — боюсь, Марина Николаевна, сегодня вы туда уже не успеете... конец дня. Ну, завтра утром. Сутки — это же для вас не фатально, не правда ли?

Он сама вежливость и предупредительность.

— Согласны?

— Да, — говорит Марина. У нее вид сомнамбулы, и, похоже, она уже не вполне понимает, что делает, просто действует как заведенная, потому что больше ей ничего не остается.

— Тогда прошу на подпись, — улыбается молодой человек.

Марина, ничего не читая и вообще почти не глядя, подписывает все бумаги. Молодой человек торжественно встает и пожимает ей руку.

— Позвольте поздравить вас с выгодной сделкой. Вы нашли наилучшее помещение для вашей недвижимости. И от лица фирмы примите мою благодарность за то, что вы воспользовались именно нашими услугами. Всего вам доброго.

40

У города какой-то праздничный, новогодний вид. Все фонари еще горят, и пылают бесчисленные рекламы, и ряды ларьков сверкают разноцветно, словно гирлянды и связки елочных игрушек. Плотный, искрящийся, мохнатый слой снега покрывает тротуары, по нему приятно идти. Чисто. Даже скрипит. Заглядывая в одну из бумаг и озираясь на номера домов, Марина спешит по улице, полной пешеходов, но все равно опаздывает. Банк уже закрылся. Несколько мгновений Марина стоит у могучих дверей, на которых сияет золотом просторная табличка с названием банка и временем его работы, гладит дверь. Чуть толкает ее. Потом, воровато оглянувшись по сторонам, толкает сильнее. Дверь неколебима. Марина поворачивается и по свежему сверкающему снегу идет прочь.

41

Марина дома. Она оживлена, весела, голос у нее звонкий и нежный, воркующий, глаза сверкают, и она не ходит, а буквально гарцует, танцует по тесному, но уютному своему жилищу.

— Этот Роговцев оказался совершенно замечательным че-

ловеком, — рассказывает она, — ты правду тогда говорил. Врач божьей милостью. Столько мне советов дельных надавал... Очень нам повезло, что я его нашла. Но сейчас — ты, Саш, даже не представляешь, чем он занимается. Психокоррекцией. Что-то совершенно невразумительное... Но, знаешь, я послушала, мне разрешили — что-то в этом есть! Что-то есть! Ой, у меня же яичко, наверно, переварилось! — Она бежит на кухню. Кричит оттуда: — Сашенька, будешь яичко? И бутербродик с маслом к чаю! Да? Будешь? И я бутербродик съем с тобой за компанию... — возвращается с нехитрой утварью в руках: на блюде чашка с чаем, в другой руке — тарелка с красующимся на ней одиноким яйцом. — Сейчас я тебе почищу, мы поужинаем — а потом я опять на пост. Там так интересно! А ты спи, пожалуйста. И не переживай, не жди меня... Видишь, все же хорошо.

Ставит ужин на столик у изголовья мужа, присаживается рядом — кормить. Но на кухне звонит телефон, и Марину выбрасывает из кресла. И она, как всегда, хватая трубку, прикрывает в комнату дверь.

— Да? Оля! Господи, как я рада! Ты в порядке? Я все время звоню тебе но не отвечают, я вся извелась... Это ужас был, ужас! Что? Что?!

— Тварь! Стерва! — пищит в трубке голос Ольги. — Это ты навела? Ты отвлекла охранника?

— Оля... Оля, да побойся бога!

— Ты за всю жизнь со мной не рассчитаешься! Я тебя в тюрьме сгною! Сука!!

И — отбой.

Наверное, с полминуты Марина держит трубку у уха. Потом наконец кладет на рычаги. Медленно, приволакивая ноги, бредет в ванную. Открывает воду и пригоршнями бросает ее в лицо. Раз, другой, третий... Потом поднимает голову и смотрит на себя в зеркало. По лицу течет. Сейчас она похожа на утопленницу — и этой утопленнице лет семьдесят, не меньше.

Прежней, танцующей, полной энергии походкой Марина входит в комнату.

— Случайный звонок, — говорит Марина. — Кто-то пере-

путал номер, да еще и ругаться вздумал. Дескать, как это нет таких, когда мне этот номер дали. Знаешь, как это бывает... Сумасшедший дом.

— Ы, — соглашается Александр.

— Ну вот, Саш, мне уже и опять пора, — говорит Марина. — Выйду сегодня чуть пораньше, а то вчера еле успела. Так все ездит погано... а у нас знаешь как строго!

— Ы! — понимающе говорит Александр.

Марина уносит на кухню опустошенные блюда со столика у изголовья мужа и уходит одеваться.

43

На этот раз Марина пришла даже несколько раньше, чем нужно. Оператор предыдущей смены сидит за монитором, покуривая с усмешечкой, и следит, как на экране браво тараторит бородач средних лет в породистой, не снятой с головы шапке и расстегнутом пальто с роскошным воротником. Марина замирает поодаль, чтобы не мешать оператору, и прислушивается.

— ...Нет, я не утверждаю, разумеется, что проблем нет. Есть, есть проблемы. Но надо просто стараться. Не сидеть сложа руки и не ждать, когда начнет падать манна небесная... Работать! И все будет. Вот как у меня. Я плаксам так и говорю теперь: ах, у тебя нет денег? Так иди и заработай! — Он говорит очень горячо и убедительно. — Столько возможностей! Столько дела кругом! Просто мы слишком привыкли жить по указке, и никак, черт возьми, никак из нас это не выбить! Делай, что велено, а тебе взамен дадут этакий, знаете, прожиточный минимум. Пайку. Нет, дорогие мои, лагерем была страна, одним громадным лагерем — но лагерь кончился. Теперь не от конвоира каждый зависит, и не от начальника охраны, и не от кума, так сказать... Только сам от себя!

Камера отключается, и изображение пропадает — только вновь вхолостую бежит рябь по экрану. Оператор от удовольствия аж причмокивает:

— Во дает! Во чешет! Как настоящий. — Оборачивается к Марине: — А, это вы... Тут к вам претензии какие-то по поводу вчерашнего...

— Какие претензии? — испуганно спрашивает Марина.

Самообладание все-таки начинает давать сбой; она уже перешла черту.

— Да шут их знает... Материал не тот. Альбина уж черты-халась сегодня, чертыхалась...

— У вас не найдется... простите... сигареты? — спрашивает Марина после паузы.

— А? Да, вон на столике, за кружкой.

Марина нервно закуривает чужую сигарету — зажигалка ее тоже уже еле дышит. И в этот момент в помещение входит человек, который только что говорил на экране. Снимает шубу и шапку и остается в жалком костюмчике, совсем не соответствующем снятому первому слою. Отклеивает бороду, вытирает ладонью кожу усталого, совсем уже не жизнерадостного лица. И надевает валяющееся на диване поношенное пальтишко, заматывает шею шарфом...

— А я вас узнала, — вдруг тихо говорит Марина. — Лет восемь назад видела вас. Вы так играли Федора Иоанновича...

Человек оборачивается к ней, долго всматривается ей в лицо пустым взглядом.

— Лучше бы вы меня не узнали, — глухо говорит он и шагает к двери, но на пороге показывается Альбина.

— Да-да, я сейчас, — говорит она кому-то, оставшемуся сзади. — Подождите, вместе поедем.

Входит в комнату и видит Марину. Но подчеркнуто отворачивается и говорит актеру:

— Ну, вот видите, совсем не страшно. И очень быстро, — протягивает ему какую-то бумажку. — По этой ведомости получите гонорар, выплата у нас пятнадцатого...

Актер, скомкав бумажку, поспешно запикивает ее в карман пиджака и, не глядя ни на кого, пряча глаза, стремительно выходит. Альбина провожает его взглядом, потом поворачивается к Марине.

— Теперь с вами, голубушка моя, — говорит она тоном, не предвещающим ничего хорошего. — Что вы нам тут вчера написали?

— Что было... — растерянно говорит Марина.

— И больше — ничего?

— Нет...

— Оставлять все это на пленке — ну, я не знаю. Неужели не понятно, что хватит с нас чернухи? Люди устали! Понимае-

те? Нужны какие-то положительные примеры, положительные эмоции.

— Я не знала... Вы же мне не объяснили...

— А у самой-то у вас есть голова на плечах? Или нет?

— Ну, наверное, те, у кого все хорошо, не идут сюда выговариваться...

— Значит, надо организовывать! У нас же рейтинговая передача! Кто станет смотреть на этих рептилий?

— Какие же они рептилии? Они — живые... и страдают!..

Мгновение Альбина молчит.

— В общем, мне хватило одной пробы. Мы с вами не срабатываемся. Вы можете идти домой.

— Вы... Но... Альбина Давыдовна, так же нельзя. Я ехала...

— Никто вас не заставлял.

— И вы мне... не за... — ей трудно, стыдно выговаривать это слово, но выхода нет, — на зап...платите ничего?

Альбина картинно вздыхает брови.

— За что?

— Ну я поняла! — кричит Марина как раненая. — Я поняла! Я организую! Давайте попробуем еще!

— Нет-нет, голубушка. У меня чутье, мне хватает одной пробы.

— Ради бога!!!

Альбина секунду молчит, брезгливо глядя на Марину. Потом чеканит:

— У нас не богадельня.

— Мы делом занимаемся, — поддакивает оператор, но с едва уловимой иронией, ерничая. Видимо, единственная форма независимости, которую он может себе позволить.

Марина стоит неподвижно. Альбина поворачивается и уходит. Все ясно, все решено.

— Она — тетка железная, — почти сочувственно говорит оператор. — Ничего ей уже не докажешь, если решила.

Марина медленно уходит и, поднимаясь на улицу из полуподвального помещения операторской, успевает заметить, как садится в автомобиль Альбина. Альбина тоже успевает ее заметить. Звонко хлопает дверца. Автомобиль уезжает. Марина идет по безлюдной улице одна.

И снова ночной путь по полосе препятствий, заваленной свежим снегом, в котором вечерний народ уже протоптал глубокие и узкие царапины тропинок. Но сейчас Марина совсем одна. Снегопад продолжается, но уже не такой, как днем, — едва-едва и в полном безветрии сыплется редкие снежинки. Затученное небо чуть подсвечено дальними огнями центра города — и это единственный свет. На фоне этого призрачного свечения мертвыми противоестественными громадами дыбятся темные дома.

Свеча горит на блюде, стоящем на столике у изголовья постели. Головы Марины и Александра — рядом, на соседних подушках.

— Ну и не пойду туда больше, — негромко, очень убедительно объясняет Марина. — Раз они цикл свой ужесняли, так и пусть их. Потом, может, что-то другое начнут... Главное, зацепка осталась. Жаль, конечно, но, как ты говоришь, всех денег все равно не заработаешь. А завтра мне спозаранку тоже никуда не нужно. Так что выспимся наконец, выспимся, Сашка!.. Хорошо-то как будет!

Целует его в щеку, потом, приподнявшись на локте, нагибается к свече и задувает ее. Темнота.

Их будит долгий, требовательный звонок в дверь. Ничего не соображая со сна, Марина вскакивает, набрасывает халат. Бежит к дверям. За окном — зимнее позднее утро. Полусвет.

— Кто там? — хрипло спрашивает Марина.

— Марина Николаевна, это вы? — раздается голос молодого чиновника из «Эльдорадо». — Не обессудьте, что мы без звонка, но клиент очень спешит... Это по поводу квартиры.

— Какой квартиры? — ошеломленно спрашивает Марина, пытаясь хоть как-то, пятерней, привести в порядок спутанные и всклокоченные волосы.

— Вашей, вашей квартиры.

Марина словно под гипнозом открывает дверь.

Входит явно весьма важный человек — возможно, мы ви-

дели его мельком за столом на презентации у Ольги — и безупречно вежливый и предупредительный молодой чиновник. Оставляя следы снега на полу, идут в кухню.

— Добираться сюда, конечно, не сахар, — говорит, не обращая на Марину ни малейшего внимания, важный человек. — Конечно, у мальчика машина, но все-таки...

— Зато буквально в пяти минутах ходьбы большой парк, — корректно возражает чиновник. — Есть где подышать свежим воздухом, погулять с друзьями и подругами, заняться спортом...

— Это так, — соглашается важный человек.

Марина не может вымолвить ни слова и только смотрит, как они деловито заглядывают в ванную, в туалет...

— Ремонт минимальный, — говорит чиновник. — Квартира небольшая, но в хорошем состоянии. Здесь, как видите, жила довольно аккуратная семья.

— Как — жила? — задыхаясь, произносит Марина.

— Ну живет, живет, — досадливо обернувшись к ней, поправляется молодой чиновник. Визитеры проходят в комнату и видят постель.

— Это что? — спрашивает важный человек.

— Видимо, больной, — отвечает чиновник. Важный человек делает шаг назад.

— Не заразный, надеюсь? — спрашивает он. Чиновник вопросительно смотрит на Марину.

— Вы... Послушайте... По какому праву вы вламываетесь в мой?..

— Мы отнюдь не вламываемся, Марина Николаевна, — пожимает плечами чиновник. — Мы работаем. Право на осмотр квартиры потенциальными клиентами включено в договор, который вы вчера подписали... А время не ждет. Через шесть дней вам все равно придется так или иначе...

— Как — дней? — сипит Марина.

Чиновник снова пожимает плечами.

— Ну — так дней, — говорит он абсолютно невозмутимо. — Если в течение шести дней вы не внесете обратно сумму залога с полагающимися процентами...

— Вы же сказали — шесть месяцев! — кричит Марина.

— Я сказал — шесть месяцев? — Чиновник невозмутим, а важный человек брезгливо кривится, как-то искоса поглядывая на Марину оценивающим взглядом. — Не понимаю...

Я не мог сказать такой глупости. Впрочем, давайте посмотрим договор.

Марина лихорадочно роется в своей сумочке, висящей на вешалке рядом с кителем, украшенным ничего не значащими медалями и орденами. Достает.

— Вот...

Чиновник листает, находит.

— Ну вот, — показывая пальцем, протягивает документ обратно. — Даже если я оговорился... от усталости, знаете, всякое бывает, работы очень много... черным по белому написано — шесть дней.

Марина долго всматривается в трепещущий в ее нетвердой руке лист бумаги, потом поднимает помертвелое лицо.

— Как же вы можете так? — тихо говорит она.

— Что? — не понимая, спрашивает чиновник.

— Это же...

И она умолкает. Слова бессмысленны.

— Вы же читали договор, — с начинающим закипать праведным раздражением говорит чиновник. — Вот ваша подпись!

— Я сегодня же внесу обратно деньги, — говорит Марина, комкая договор.

— Это ваше право, — хладнокровно отвечает чиновник.

— А теперь, — кричит Марина снова не своим, визгливым, на грани безумия голосом, — вон отсюда оба!

— Пойдемте, право, — говорит важный человек чиновнику. — Мне не улыбается подцепить тут какую-нибудь заразу...

Они идут к двери.

— Хозяйка аккуратная, — говорит важный человек чиновнику, — но, по-моему, сумасшедшая... И, знаете, нужно будет продезинфицировать тут все.

Дверь захлопывается.

Александр смотрит на Марину с подушки. Она проводит ладонью по волосам, по щекам.

— Саша... Ты только не волнуйся... — бормочет она, а потом вдруг срывается с места и начинает лихорадочно одеваться. — Я сейчас... Я скоро, это все ошибка, недоразумение... Я приду, и пообедаем, а сейчас... сейчас — она уносится на кухню и уже через секунду бежит обратно в комнату с остатком купленного позавчера батона на блюде, — пока вот, ес-

ли проголодаешься, булочки покушай... Я маслица куплю на обратном пути... Я скоро, Саша!

— Ы-ы-ы! — доносится из комнаты. Это уже не голос лишенного возможности говорить человека — нет. Протяжный, долгий, жуткий вой смертельно раненного зверя. — Ы-ы-ы-ы!!

47

Банк. Строгие окошечки касс, дюжие охранники в пятнистом на каждом углу, небольшие, но долгие очереди у каждого окошка. Наконец очередь доходит до Марины. Кассирша смотрит ее платежку, качает головой.

— Это не ко мне. Это в пятое окошко.

— Ну я уже сорок минут отстояла!

— Так спросить надо было, гражданочка... Или инструкцию почитать, вон висит... Томка, — оборачивается она к соседке, — квартирные в пятой?

— В пятой, — отвечает Тома, заполняющая какую-то ведомость под пристальным взглядом всунувшего крючковатый нос в ее окошко старика.

— Ну, вот видите...

Марина переходит к пятому окошку. Стоит. Отходит покурить на лестницу, за стеклянную дверь, бдительно следя, как продвигается перед ее окошком очередь из двух человек. Наконец дело доходит до Марины.

Кассирша долго читает платежку, потом, с сомнением покачав головой, куда-то звонит. Занято.

— Подождите минутку, — говорит она Марине. — Вон, можете присесть, я пока обслужу следующего клиента.

— Я очень спешу, — на выдохе, без голоса произносит Марина. Кассирша, пожав плечами, набирает номер снова.

— Пал Семеныч? По квартирным ссудам как у нас?

Слушает, сокрушенно покачивая головой. Марина ждет.

— Ну, я так и думала, — говорит кассирша и вешает трубку. Поднимает на Марину глаза. — В банке нет сейчас денег. И по ссудам такого типа мы выплат не производим. Мне очень жаль, но... ну нет денег. Вы же понимаете все, смотрите телевизор, наверное.

— Как нет денег?..

— Ну, нет.

— Так как же мне...

— Подойдите к концу месяца... нет, лучше в первых числах следующего. У нас ожидаются трансферты... может быть, в феврале часть таких платежей мы пропустим. — Что-то в лице Марины настораживает ее, она отшатывается. — Ну нет денег в банке, нет! Я-то что могу сделать!

48

Другой банк. Кассирша вертит в руках Маринину бумажку, потом протягивает через окошечко ей.

— Нет, с «Эльдорадами» мы дел не ведем, — слегка как бы извиняясь и оправдываясь, говорит она. — Для нас, дама, это не документ, а филькина грамота. «Эльдорады» — они... они какие-то... — и делает красноречивую гримасу презрения и недоверия.

49

Роговцев проводит свой сеанс.

— И главное, — говорит он уверенно и веско, — вы должны полюбить эту жизнь. Не просто примириться с нею — просто примирение не поможет, потому что все равно в подсознании у вас будет копиться напряжение, чреватое психическим срывом. Именно полюбить...

Дверь с треском распаивается, и, волоча за собой вцепившуюся ей в локоть секретаршу, с совершенно уже безумным видом вваливается Марина. Роговцев оборачивается.

— Вы меня подставили? — спрашивает она в наступившей тишине. — Я просто хочу знать, вы меня нарочно подставили за какую-то там долю денег — или это стечение обстоятельств такое?

Несколько секунд Роговцев смотрит на нее, задрав брови. Потом спрашивает:

— Вы кто?

— Я Марина Аракелова, была у вас вчера, — ровно говорит Марина, — и вы посоветовали мне...

— Не помню никакой Марины Аракеловой, — говорит Роговцев.

Марина смеется.

— Вот она меня помнит, — говорит она, показывая на секретаршу.

— Вы помните? — обращается Роговцев к секретарше. Та несколько мгновений смотрит то на Роговцева, то на Марину, а затем с наслаждением поджигает губы.

— Да, эта женщина заходила вчера, хотела записаться к вам. Но я сказала, что группа уже набрана, и она ушла.

Все уже ясно. Но Марина не может так уйти.

— Вы же воевали вместе! — кричит она. — Вместе в горах в этих!..

Роговцев подходит к Марине вплотную. Негромко, но жестко говорит:

— Покиньте помещение.

— Я поеду в Москву, сегодня же, — говорит Марина так же тихо. — В прокуратуру Минобороны.

Роговцев пожимает плечами и, горбясь, отворачивается.

50

Вокзал. Суэта. Переполненный перрон. Веселые компании уезжающих, пьяные и нищие... Старушки-торговки, буквально пристающие к идущим: «Водочки не желаете? Пивко свежее», «Пирожки с пылу с жару!»

Вдоль длинного состава, издалека, идет Марина. Вот она останавливается возле одного из проводников, проверяющего билеты у сающихся на поезд, что-то говорит ему. Он что-то отвечает, она опять что-то говорит. Он отрицательно качает головой. Марина идет к следующему — там повторяется та же сцена. Она идет к следующему...

Вагон в хвосте поезда — как после бомбежки. Выбитые стекла, облупленная краска, железо во вмятинах... Внутри — никого. Вероятно, его прицепили, чтобы перегнать на ремонт или на свалку. Но дверь его почему-то открыта, и на полу тамбура сидит, потягивая пивко, молодой парень в железнодорожной форме.

— Мне обязательно надо уехать этим поездом в Москву, — останавливаясь у этой двери, затверженно произносит Марина. Парень удивленно опускает руку с бутылкой.

— Так мест же полно... сунь любому...

— У меня не хватает денег.

Парень легко, точным движением встает.

— Сколько дашь?

— Семьдесят.

Он присвистывает разочарованно.

— У меня только полтора ста, и мне нужно вернуться сегодня же, — произносит Марина. Но это уже не вполне она. Зомби, из последних сил выполняющий неведомо чей приказ.

Парень разглядывает ее некоторое время.

— А садись! — вдруг азартно говорит он.

51

За окном купе проводника уплывают назад последние городские дома, начинаются пустыри, переходящие в пустоши. Снега, снега... Бьет колесами в разболтанные рельсы тяжелый состав.

— Случилось чего? — спрашивает парень Марину. Она молчит. Остановившиеся тусклые глаза, мертвое лицо. Сумку с плеча она так и не сняла. Только пальто расстегнула и сидит, чуть покачиваясь вперед-назад.

— Слушай, нам три часа ехать, — говорит парень, пересеживаясь к ней поближе. — Так молчать и будем?

Марина молчит.

— Ну ты даешь, — говорит проводник. — Как хоть звать-то тебя?

Марина молчит. Кажется, ее просто-напросто здесь нет — высохшая, покинутая душой оболочка.

Парню не по себе. Он достает из-под столика бутылку водки, из шкафчика — пару стаканов.

— Погреемся?

— Спасибо... — говорит Марина едва слышно. — Я не буду.

— Н-ну, как знаешь. А я погреюсь. — Парень наливает себе полстакана и выпивает неторопливо, с удовольствием. Крякает. Придвигается к Марине еще ближе, обнимает за плечи. — И тебя погрею. Ты ж замерзнешь, у нас не топят...

— Не нужно, — устало говорит Марина, — пожалуйста, не нужно.

— Нужно, — с ласковой настойчивостью говорит па-

рень. — Ты сама не понимаешь, как это нужно. На себя-то посмотри! Тебе это нужно больше, чем мне!

— Не нужно...

— Слушай, а я с тебя денег тогда не возьму!

— Возьмите лучше деньги...

Стучат колеса. Летит за окном хмурый зимний день. Поля, поля, заснеженные полустанки, вросшие в землю перекошенные черные лачуги деревень, белые мохнатые провода... И голос Марины, усталый, безнадежный, и непонятно, к чему — к тому ли, что, возможно, происходит невидимо для нас в купе, или к тому, что мелькает за окном, — относится ее монотонное:

— Мне это не нужно... Мне это не нужно... Мне это не нужно...

52

Москва, площадь трех вокзалов — суетливая, заваленная снегом. Марина почти бежит.

Уже начинается смеркаться, короткий зимний день на излете. Улица близ Министерства обороны. Марина растерянно озирается, потом, по-прежнему почти бегом, бросается куда-то дальше — наискось через улицу.

53

Длинный унылый коридор, битком набитый людьми. Мужчины и женщины, военные и гражданские... Так, наверное, в сталинские времена выглядели очереди родственников арестованных, ждущих хоть какой-то весточки о родных... В свете газосветных ламп все кажутся покойниками. Марина пытается пройти, рвется куда-то вперед, протискивается — ее не пускают. Сквозь сдержанный, слитный и терпеливый гул голосов не слышно, что ей втолковывают, и не слышно, что она отвечает.

Какая-то сердобольная бабулька наклоняется к ней поближе, взяв под локоток:

— Да что ты, милая! Мы тут неделями сидим, только чтоб на прием записаться!

— Я не могу! — визжит Марина, вырывая локоть. — Я долж-

на сегодня! Я должна к ночи вернуться домой! Он же с ума сойдет, если я не вернусь!! Пустите, пустите!!

Ее хватают — она начинает биться всерьез. Ну, тогда и за нее принимаются всерьез.

54

Марина на улице. У нее уже вид полубезумной, да и с одеждой творится бог знает что после схватки в коридоре. Похоже, она снова уже где-то у вокзалов; и опять кругом роскошные, переполненные яркими товарами витрины, светящаяся разноцветными огнями ларьковая суета. Не протолкнуться. Но она вдруг замечает кабинку телефона-автомата, замирает на секунду, а потом, словно ей в голову пришла некая новая спасительная мысль, бросается к ней. Она еще что-то пытается предпринять. У двери будки она останавливается, лезет в сумочку... Мертвеет. Шарит лихорадочно раз, другой... Из сумочки каким-то невероятным образом вываливается и шлепается в снег ее косметичка. Марина переворачивает сумочку — та аккуратно взрезана, вспорота, и только чудом из нее не вывалилось вообще все содержимое. Но теперь Марине даже не на что позвонить.

55

Вокзальный пикет милиции. Симпатичный лейтенант за столиком что-то шустро пишет, у стенки сидят два расхлябанных, в дым пьяных мужика.

— Да брось ты эту лабуду, — невнятно говорит одни. — Ну, прогулялись, ну, выпили, ну, телок снять пошли... Где телку снять простому человеку? На вокзале... Начальники по гостиницам кадраят, а рабочие люди — на вокзалах... Чего такого?

— А ничего такого, Тимофеев, — мирно отвечает лейтенант. — Ровным счетом. Сейчас дооформлю — и ничего такого.

— Ну ты волчара...

— Жуткий, — соглашается лейтенант.

В дверь просовывает голова сержанта:

— Петр Андреич, бабу какую-то задержали. Вроде как не в себе...

— Датая?

— Да нет...

— Может, на игле?

— Не похоже. Интеллигентная такая, только пыльным мешком трахнутая.

— Ну, давай ее сюда.

Пока лейтенант дописывает, вводят Марину.

— Ну и что она там вытворяла? — спрашивает лейтенант, откидываясь на спинку стула и с интересом разглядывая женщину. Да, действительно не в себе...

— К проводникам приставала. И все твердит: я должна успеть до вечера... я должна успеть до вечера... Когда к одному в пятый раз пристала, он ее нам сдал.

— Странно. Вот уж в поезд сесть не проблема. Сунул на лапу — и хоть во Владивосток...

— Да ей, похоже, совать-то нечего, товарищ лейтенант. — Сержант протягивает лейтенанту сумочку Марины. Тот быстро оценивает ее состояние.

— Элементарно, Ватсон, — говорит он. — А внутри... — лезет внутрь. — Бумаги какие-то... — просматривает. Некоторые — подолгу. Мужики у стены, предоставленные самим себе, затихают — один просто заснул, другой пялится на Марину. Лейтенант с длинным присвистом чешет в затылке.

— Да-а... — поднимает к Марине лицо. — Как же вас угрозило, гражданочка? — мягко говорит он.

— Я должна вернуться к вечеру, — затверженно бубнит Марина. — Он с ума сойдет...

— Дуй в медпункт, — решает лейтенант. — Пусть Варвара сюда подскочит... и успокоительных притащит, что ли... Вы присядьте, гражданочка, пожалуйста, — ласково говорит он Марине. Та послушно садится, глядя на него с безумной детской надеждой — она так давно не слышала ласкового голоса, что теперь ей начинает казаться: вот оно, чудо, случилось наконец. Но опаматоваться она пока не может.

— Вы хоть помните, где живете? — мягко спрашивает лейтенант.

— Я должна вернуться к вечеру, — повторяет Марина. Лейтенант аж головой дергает от жалости.

— Что, козлы, — оборачивается он к сидящим у стенки мужикам. — Вот... вот кому запить! А вы! Уроды хреновы!

— Чего лаешься-то, чего лаешься, — отвечает тот, который не спит. — Может, она б и запила, да не на что! Башли-то тю-тю!

— Дур-рак, — говорит лейтенант, и в этот момент в раскрывшуюся дверь поспешно входит сержант, а за ним — пожилая медсестра в пальто поверх белого халата.

— Вот, Варвара Никодимовна, пациентка вам, — говорит лейтенант. — Попробуйте ее хоть как-то оклемать...

Медсестра отводит Марину в сторону, в дальний угол.

— Паспорт-то при ней был? — спрашивает лейтенант.

— Был, — отвечает сержант. — Во... — протягивает лейтенанту. Тот читает.

— Да-а... Ближний свет. Ты бумаги-то ее в сумке видал?

— Мельком...

— Ну и как понимаешь?

— А чего тут понимать. В столицу правды искать приехала.

— Точ-чно. Вот и нашла... — Он сокрушенно мотает лобастой головой.

Медсестра в уголку, подальше от пьяных, что-то мягко втолковывает Марине, дает какие-то капли, какую-то таблетку...

Лейтенант опять чешет в затылке.

— Что делать-то нам с ней?

Марина, словно услышав и поняв, что речь идет о ней, вскидывается:

— Я должна к вечеру успеть домой!

— Успеете, гражданочка, успеете, — мягко говорит лейтенант. — Не волнуйтесь только.

Вот точно так же несколько часов назад Марина просила не волноваться мужа...

— В таком состоянии ее одну оставлять нельзя, — тихо говорит сержант.

— Ну, может, отойдет сейчас... от таблеток... Вот что. В семнадцать сорок, кажется, состав пойдет, а к нему санитарный вагон прицеплен. Помнишь, вчера уведомление было? Вот туда бы ее запихнуть. Там и доктор есть, присмотрит, если что... и остановку, где надо, поезд делает... — Он смотрит на часы. — Мать честная, осталось-то всего ничего! Беги, ищи

бригадира поезда! — И, повернувшись к медсестре, спрашивает: — Ну, Варвара Никодимовна, как наши с гражданочкой дела?

— Как сажа бела, — отвечает медсестра.

— Нет-нет, — вдруг едва слышно говорит Марина, — я все слышу. Я уже... все понимаю. Простите меня, пожалуйста.

— Слава богу! — говорит лейтенант.

56

Медсестра, поддерживая Марину под локоть, провожает ее к вагону.

— Вот тут и доедешь, милая, — говорит она. — Остановку-то свою узнаешь?

— Да, конечно. Спасибо вам огромное, Варвара Никодимовна.

— Да что ты, что ты... Вот сумочка твоя, вот паспорт... спрячь поглубже. Вот бумаги мужнины. Ты их в сумочку-то не клади, запихни куда-нибудь за пазуху. А вот, — она достает из-под пальто, из кармана халата небольшую баночку с какими-то таблетками, — это возьми тоже с собой. Чтoб не волноваться. Только сейчас не принимай — одуреешь в дороге. Сейчас я тебе все, что надо, дала... А это как приедешь, на ночь. И только одну, поняла? Не больше одной в сутки, на сон грядущий, чтоб спать хорошо и ни о чем не думать. Это сильное. Поняла?

— Все поняла, Варвара Никодимовна.

— Ну, с богом... Не горюй, голуба, все образуется.

— Я знаю, Варвара Никодимовна.

Марина садится в вагон.

57

И снова поезд, снова колотится полотно дороги под колесами вагонов. За окнами плывет тьма, и во тьме — неведомые, загадочные огни... Вагон, видимо, от электрички; никаких купе, никаких плацкартных полок — только деревянные сиденья, и на них вповалку, кто как, лежат и сидят раненые ребята. Тяжело раненных не видно; те, кто лежит, подтянув ко-

лени к подбородку, скорее всего, просто спят, но бог их знает. Рука на перевязи, костыль и загипсованная нога, голова в бинтах... Где-то пьют водку, пуская единственный стакан по рукам. Где-то бренчат на гитаре и поют нестройным хором:

— Я люблю строенье автомата,
Нравится мне, как стреляет он.
И роднее мне родного брата — брата! —
Прыгающий маленький патрон...
Пусть в штабе командир-надежа
Решает, как нам дальше быть,
Дежурный автоматчик лежа
Огнем сумеет всех прикрыть.
Пока что надобности нету,
Стоит он каменным столбом.
Приклад прижался, как собака,
Меж третьим и вторым ребром...

Напротив пристроившейся в углу Марины сидит молодой парень, мальчик в сущности, с туго и обильно забинтованной головой, и все равно слева над ухом проступило пятно крови.

— Вот ты, тетя Марин, — говорит он ей как своей, — со мной как с нормальным человеком разговариваешь, да? А я ненормальный. Я такой злой теперь, что... Раньше даже и представить не мог, что бывает такая злость. На все, на всех. На весь белый свет. Кого я защищал? От кого? Я вот оклемаюсь и всех подлецов убивать буду. Что-то много развелось зверья всякого. Шкуры... Так дело не пойдет. Я их, сук, косить буду!

— Не надо никого убивать, — просяше говорит Марина.

— Надо! Не надо! Что это значит? Кореш мой... вон спит, через проход — он креститься собрался, в монахи хочет... Отмаливать, что ли... или уж я не знаю. Откуда он знает, надо это ему или нет? Просто ему хочется! А мне наоборот. Вот как... — До него доходит черед стакана; он, прервавшись, выпивает свою долю одним махом и по рукам возвращает тару назад. Продолжает чуть перехваченным голосом: — Вот как выходит, тетя Марин. Полтора года вместе оттрубили... бок о бок, спина к спине. Он меня спасал, я его спасал... а теперь расходятся наши дорожки так, что не приведи им когда-нибудь хоть на минутку пересечься. Вот... В разные стороны люди живут, тетя Марин, в разные...

Грохочет поезд, плывут размытые огни за обледенелыми стеклами.

— Интересно, — задумчиво спрашивает парень в пространство, — а умирают они тоже в разные стороны?

Плывут огни.

58

И снова ночной город, снова Марина бредет полной горящих витрин и реклам улицей. Снегопад прекратился, но снега навалило столько, что трудно идти, и однажды Марине встречается по пути натужно загребаящий сугробы у обочины снегоочиститель.

На углу, у небольшого сквера, особое оживление. Полыхают какие-то фейерверки, висят на кустах гирлянды разноцветных лампочек, словно и впрямь Новый год. Притулился между сугробами «рафик» организаторов-затейников. Слышны какие-то выкрики, небольшая толпа окружает полыхающий центр. Кто-то приплясывает, подхлопывает, ухает азартно... Сухо лопаются хлопушки.

— Лотерея «Третье тысячелетие»! — кричит кто-то в мегафон. — Мгновенная лотерея! Начало новой эпохи! Конец страшного двадцатого века! Испытайте свою судьбу!

Марина замирает, потом, чуть улыбнувшись, медленно, как в забытии, идет туда, где весело. На ее лице проступает что-то совсем детское, глубинное. Она неторопливо просачивается сквозь оживление и гомон, а там, в центре, что-то вроде бреда. То ли согреваясь, то ли веселясь — скорее всего, и то, и другое, — взявшись за руки, лицами друг к другу, подпрыгивая на месте и по-детски отбрасывая в стороны то одну ногу, то другую, пляшут вместе Горбачев и Ельцин. На ступеньке открытой дверцы «рафика» сидит Сталин в накинутаой поверх мундира расстегнутой шинели с колоссальными звездами генералиссимуса на погонах и задумчиво пощипывает струны гитары:

— Товарищ Сталин, вы большой ученый...

— Петюнька! — возмущенно кричит ему кто-то изнутри. — Прекрати петь, горло застудишь! Мороз!

— Я репетирую, — важно отвечает Сталин с грузинским акцентом.

В двух шагах от них царь Николай наливает себе водки в длинный изящный бокал. Поворачивается чуть в сторону, спрашивает Ленина, мерзнувшего в пальтеце и кепке:

— Будешь?

— Конечно, буду, что за вопрос, — отвечает Ленин. Николай запросто извлекает другой бокал из кармана своей шинели и наливает ему.

— За такие вопросы, батенька, — говорит Ленин, картавя, — можно и в Екатеринбург угодить! Архипросто!

Они чокаются.

— Чем моя яма хуже твоего Мавзолея? — спрашивает царь с ухмылкой.

Истерически мечется один из затейников:

— Где Хрушев? Куда, на хрен, Хрушев провалился?

— Да не ори ты, — говорит Сталин, — он отлить пошел. Сейчас вернется...

Марина обалдело смотрит на происходящее, произвольно продолжая идти. Выжидающая, нерешительно веселящаяся сама по себе толпа оказывается позади нее, а она — прямо перед организаторами. По лицу ее прыгают радужные отсветы. И к ней, толкая впереди себя украшенный болтающимися цветными лампочками лоток на колесах, уже бегут.

— Здравствуйте, — жизнерадостно говорит чуть хмельной затейник, только что искавший Хрушева. — Как вас зовут?

Марина отвечает не сразу — словно какое-то мгновение мучительно вспоминает, как же, собственно, ее зовут.

— Марина.

— Очень приятно, Марина. Совсем немного, меньше года остается до начала двадцать первого века, о котором так много писали фантасты, — затверженно говорит затейник. — Наша лотерея — это своего рода проба того, как в новом веке сложится ваша жизнь. Повезет сегодня — будет везти весь век. Испытайте судьбу!

Марина несколько секунд молчит. Потом отвечает негромко и мертво:

— Я уже все знаю.

Затейник что-то чувствует, потому что его рабочая улыбка гаснет, он чуть теряется. Потом берет себя в руки. Вскидывает мегафон ко рту:

— Женщина выиграла! Смотрите все — не прошло и минут, а она уже выиграла! Вот приз! — Он сует руку в свой ло-

ток и вынимает бутылку шампанского. Вручает Марине; та автоматически берет, не вполне понимая, что происходит. — Поздравим женщину по имени Марина! Счастье в будущем веке ей обеспечено! — Он опускает мегафон. — Я, во всяком случае, вас поздравляю, — говорит он Марине, улыбаясь очень по-доброму и с состраданием. — Всего вам хорошего.

Марина, держа бутылку за горлышко, сильно хромая, уходит в темноту сквера.

— Счастливая женщина Марина выиграла! — доносится сзади. — Кто еще счастливый? Подходите!

Где-то вдалеке лязгает и визжит на повороте трамвай.

59

И снова, как вначале, темноту медленно и робко прокалывает движущийся будто бы издалека огонек свечи. Постепенно становится видно, что огарок, стоящий на блюде, несет женщина; она идет из коридора, входит в комнату и ставит свечу на столик у изголовья постели.

— Ну, вот, — говорит Марина, — я все и уладила. А ты волновался... Все пустяки, Сашенька, все пустяки... — Она чуть наклоняется и гладит его бессильно лежащую поверх одеяла руку. — Не могла же я тебя подвести... Я же никогда тебя не подводила, правда? Я у тебя девчонка преданная...

— Ы...

— А сейчас мы отпразднуем. Я даже шампанским разжился по такому случаю. Свет не без добрых людей, Сашенька... Смешно звучит, старомодно, да? Но это правда...

Она разливает шампанское по бокалам, потом, не скрываясь, достает из-за пазухи склянку, которую дала ей медсестра, высыпает все таблетки горкой на ладонь и делит пополам. Ссыпает часть в свой бокал, потом часть — в его. Разбалтывает таблетки чайной ложечкой. Вздурораженное шампанское кипит. Александр смотрит.

Марина подает ему бокал, держит его одной рукой, другой поддерживает голову мужа. Александр пьет, и Марина с материнской заботой наклоняет бокал все сильнее, чтобы пилося удобнее. Когда бокал пустеет, Марина неторопливо выпивает свой.

— Как вкусно, — говорит она тихо. — Давно мы с тобой шампанское не пили, правда?

Марина ложится рядом с ним — щека к щеке. Гладит его голову, прижимает ее к себе.

— Я тебе очень благодарна, — шепчет она. — За все, за все... за каждый день. За то, как ты поцеловал меня тогда первый раз... в автобусе, в давке, будто случайно... Мы с тобой ехали из парка, и нас ужасно придавили друг к другу, лицом к лицу... А я так и ждала, что ты меня поцелуешь. Ты стеснялся, и я стеснялась, а уже тогда были муж и жена, сразу. Я так тебя люблю, Саша, так... И я знаю, ты — тоже. Это либо есть, либо нет. Но если уж есть... все остальное далеко, неважно.

— Ы...

Пауза.

— Солнышко... — говорит она. — Скоро солнышко пригреет, придет лето... И озера чистые-чистые... Мы всегда будем вместе, — уже невнятно, уже едва слышно лепечет она и прижимается, прижимается щекой к его щеке. — Никогда не расстанемся. А они... они пусть думают, что живут...

Потом слов уже не понять — она еще воркует что-то, но все слабее. Потом становится тихо.

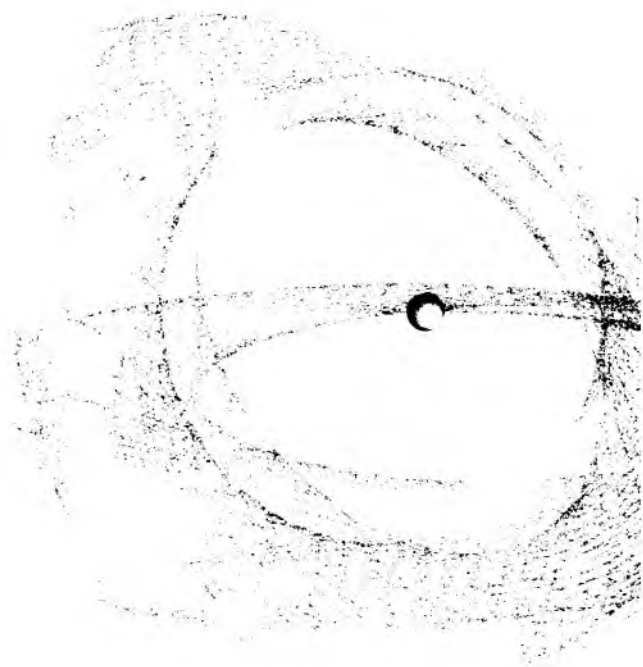
Огарок на блюде оплывает, догорает.

Гаснет.

Июнь 1997г.

Санкт-Петербург

НА БУДУЩИЙ ГОД В МОСКВЕ



На чужом, на чужом языке я пою.
Мой напев монотонно-суровый.
И ряжу я печаль и надежду свою
В звуки песни чужой, как в оковы...

Лейб Яффе

В этой пустынной ночи нельзя указать никакого пути. Можно только помочь людям ждать, приготовив свои души в надежде, что забрезжит рассвет и дорога появится там, где никто не ожидал.

Мартин Бубер

ВСЕ ЛУЧШЕЕ, КАК ВСЕГДА, — ДЕТЯМ

1

Шмон тянулся невыносимо медленно; минуты едкой шелочью натужно цедились по нервам. И не помещались в них, грозили разорвать. Трех уже отфильтровали, мучился четвертый. Не миновать и пятому, а может, и шестому — времени должно было хватить, и кто окажется пятым и шестым — хрен знает. На кого бог пошлет. Подавляло и бесило чувство даже не страха — ну чего, в сущности, бояться-то? чего они, в сущности, могут такого уж сделать, ур-роды? — но унижения: везде ты уже как бы вполне самостоятельный, самодостаточный человек, свободный гражданин в свободной стране: хочешь — сплюнул, хочешь — пива дернул, все дороги открыты; и только тут, в проклятом застенке, у тебя никаких прав, одни обязанности; становишься, будто детсадовский, снова мелочью, пылью, сопляком подневольным, типа в ГУЛАГе каком-нибудь.

Ну и, конечно, очень не хотелось оказаться у доски.

Впрочем, пока такой наезд как бы не грозил; Толян тянул капитально, дебил дебилом. Старик Хотябыч — выпцветший и заскорузлый, в кривых пыльных окулярчиках, одной ногой на пенсии препод (все знали, что со свистом ушел бы и двумя, да голодать почему-то не хотел), получивший погоняло свое за страсть к делу и не к делу жалобно взывать «хотя бы» («Хотя бы это вы могли выучить!» или «Хотя бы дату вы могли запомнить! Ведь скоро все мы будем торжественно отмечать эту

знаменательную годовщину!»), — поставив локоть на открытый классный журнал и подпершись кулачишком, снизу вверх смотрел на Толяна и терпеливо, с привычной тоской внимал.

— Ну... это... — тянул Толян. — Я и говорю... Советские с немцами тоже один раз конкретно повоевали, под этим... ну... Сталинградом...

— Можешь показать на карте? — тут же прикопался Хотябыч.

Вот садюга.

Лэй слегка расслабился и перевел дух. Даже откинулся на спинку стула. Теперь призовая игра еще минут на пять, стопудово.

Толян, морщась, будто закусил мухомором, заторможенно повернулся к косовато прикнушенной к доске карте и принялся близоруко обнюхивать ее от Кольского полуострова до Турции и обратно. Он не прикалывался — все было у него от природы. Такой уж интеллект.

— Он располагался на Волге, — через некоторое время подсказал Хотябыч. — Фашисты хотели отрезать индустриальный центр страны от бакинской нефти, а ее тогда возили главным образом по воде.

Если он надеялся этак ненавязчиво вложить Толяну в башню хоть напоследок еще одну крупницу никому не нужных сведений, то облом ему. Лэй по себе знал — Толян сейчас просто ни фига не слышит. Воспринял Волгу — и хватит, хорошенького понемножку. Круги Толянова носа над картой стали менее размашистыми — Волга вещь приметная, он ее скоро засек.

Не помогло.

— А потому, что он располагался на Волге, — не выдержав томительного ожидания, Хотябыч повел свою былинку дальше, — его потом переименовали. Нельзя же было, чтобы город назывался именем величайшего убийцы, правильно?

— Ну, и как его тогда искать? — сварливо спросил Толян.

— Его назвали... — Хотябыч цедил через час по чайной ложке. — По имени... Волги.

Снова настала тишина. Толян вновь трудился.

— Волгоград, — сказал он еще через минуту, ткнул пальцем и протяжно вздохнул с чувством глубокого удовлетворения: вес взят!

— Верно, — неподдельно обрадовавшись, согласился Хо-

тябыч. — Молодец, хорошо. И что же там случилось, под Сталинградом?

— Ну... — после долгой паузы возобновил показания Толян. — Они... Они там долго бились и никто никого никак не мог победить. Но потом прилетели американцы и всех немцев сверху разбомбили, и тогда советские по пояс в снегу пошли вперед.

Откуда он взял эту угарную картинку: по пояс в снегу? Лэй едва не прицокнул языком от восхищения.

— Хорошо, — повторил Хотябыч и несколько раз кивнул, но в голосе уже не было радости, а лицо его жалось и ежилось, точно теперь уж это он кусал лимоны; небось при коммунаках иначе учить приходилось, подумал Лэй, по сю пору старый успокоиться не может. Все знали, что Хотябыч проработал здесь учителем истории сорок лет с хвостиком — той зимой круглая дата стряслась, педсостав отмечал.

Интересно, подумал Лэй, а как конкретно-то дело было? Под Сталинградом там, и вообще... Фиг узнаешь.

Интересно, а вот когда, скажем, родики учились — в учебниках больше вранья писали или меньше? Наверное, не меньше. Только, наверное, в другую сторону. Но, блин, врать про себя, чтобы выглядеть получше, — естественно, по жизни все нормальные так делают. Иначе на рынке и пяти минут не продержишься, схарчат. А вот врать про себя, чтобы выглядеть хуже... Дурка, в натуре.

Но разве это про себя? Это ж про СССР...

Хорошо Толяну: сам он в том, что сообщал, ни фига не сомневался; не то чтобы верил каждому слову свеженького учебника, авторитетно изданного при финансовой поддержке международного фонда «Истинное наследие», — просто ему вообще навалить было, где там конкретно говорят, а где гонят...

— Это ты знаешь, — с отчетливым внутренним усилием выдавил Хотябыч. — А вот скажи нам, пожалуйста... Как же все-таки получилось такое противоречие, что тоталитарный Советский Союз оказался в союзе не с тоталитарной Германией против прогрессивных мировых демократий, а, наоборот, в союзе с демократиями против Германии? Казалось бы, нелогично...

Толян опасливо отступил от доски — чувствовалось, что близость карты его буквально шпарит, типа ее только что

привезли из учиненного неграмотными коммунистами Чернобыля; потом приосанился и расправил плечи. Вопрос не требовал знаний; знай себе грузи насчет идей, да громких слов побольше. Типа по пояс в снегу. Толян такие вопросы любил. Впрочем, кто таких вопросов не любит?

— Всему виной азиатская хитрость кровавого кремлевского диктатора Сталина, — с радостным клекотом полетел в жаркие страны Толян. — Гитлер вовсе не собирался нападать на СССР, он дружить с ним хотел, но Сталин его спровоцировал. Ученым уже давно стало известно, что по большевистскому плану... это... «Гроза» СССР должен был напасть на Германию. Но это историческое открытие не объясняло всех фактов, были противоречия и... это... нестыковки. Но все встало на свои места, когда стало ясно, что «Гроза» был планом не настоящего нападения, а... это... демонстрационной подготовкой нападения, чтобы Гитлер, когда его разведка об ней ему донесет, испугался и напал первым. Тогда Сталин выставил свой режим как жертву агрессии и получил поддержку могучих западных демократий, и даже сам чуть было не влился в мировое сообщество... из-за этого в конце войны и после нее смертельная опасность висела над человечеством...

Хотябыч, подпершись кулачком и глядя на Толяна снизу вверх, слегка кивал; что творилось у него в голове — не поймешь. Лёю казалось, что в блеклых глазах под очочками стынет смертная тоска; но, в натуре, то были Хотябычевы проблемы, чего он там тоскует.

В окна, открытые настежь по случаю теплого мая, валил нескончаемый гул машин и душный, вязкий угар плохо прогоревших солярки да бензина; и мощно, время от времени выкликая себе в ответ протяжные, звонкие судороги стекол в рамах, рокотали вдали, близ бывшего музея Суворова, бульдозеры и прочая гремевшая железная рухлядь, снося Таврический сад — едва снег потаял, Тавригу лихорадочно принялись корчевать под очередной элитный жилой комплекс; настал и ее черед наконец, и то долго держалась. Жужжали мухи. На соседней колонке слева самозабвенно резались в чекушку. Девки за спиной, почти не понижая голоса и совершенно не выбирая слов, обсуждали сравнительные достоинства прокладок и тампонов.

С громом распахнулась дверь, и в класс строевым шагом,

вся на понтах, вошла распаленная завучиха. Погоняло у ней было Обся; завучей часто звали Обсями, хоть мужчин, хоть женщин, потому что именно завучи по совместительству выполняли в школах обязанности наблюдателей комиссии ОБСЕ по денацификации (не проворачиваемое во рту слово народ в разговорах меж собой давно уж сократил до «дефекации», да так реально, что теперь и высшие чины на тусовках иногда оговаривались по привычке; прошлой зимой даже кто-то из депутатов сейма ляпнул по ТВ в прямом эфире: успехи дефекации, мол, в Санкт-Петербурге неоспоримы). Но эту еще и звали Руслана Викторовна, сокращенно — Руся; так что завучиха Обся Русей ходила стопудово на законных основаниях.

Щеки у Обси шли красными пятнами от какого-то недавнего потрясения; даже шея рдела.

Все усталились на нее. Толян у доски с готовностью замолк; Хотябыч, еще сидя, обернулся на стук двери и вскочил типа по стойке «смирно». Не мог он, видите ли, сидеть, если дама стоит. Не забыл препод тоталитарных времен, не забыл... Игры и треп затихли. Лишь сзади Роза по инерции начала с напором на «я»: «А вот я когда засовываю...» — и тоже осеклась.

Лэй внутренне напрягся. Обся свалилась явно не к добру — а Лэй, если покопаться, был кругом виноват. Всерьез виноват. Это вам не Волгу в Карелии искать или никаким на урок ввалиться с утреча.

— Вынуждена прервать опрос, — рвущимся от возмущения и ярости голосом выговорила, едва сдерживаясь, Обся. — В классе произошло из ряда вон выходящее событие. Отвратительное и немислимое.

Хотябыч каким-то очень привычным жестом схватился за сердце, прикрытое серой мятой тряпкой пиджака. Помимо истории и прочего он был тут классным, значит, ему тоже могли засадить по самые гланды. Если предчувствия Лэя не обманули.

Нет, блин. Не обманули.

Обся пристально на Лэя уставилась и медленно, чеканя каждое слово, начала вещать, не мигая и не отводя белесых глаз. Лэй похолодел. Да как же так?

— Только что я получила записку, к сожалению, неподпи-

санную. Она даже отпечатана на принтере — надо думать, для сохранения анонимности. Видимо, у ее автора не хватило гражданского мужества быть последовательным до конца. Но в ней совершенно определенно и недвусмысленно указывается, что один из учеников 10-го «б» несколько дней назад устроил для друзей у себя на дому тайный просмотр запрещенного фильма.

Вау, смятенно подумал Лэй. Катастрофа оказалась столь внезапной и всеобъемлющей, что он чувствовал пока лишь изумление. Такого просто не могло быть!

Документ № 1

Тогда же в целях противодействия глубоко укоренившимся националистическим традициям из библиотек был изъят ряд книг: от произведений ярого сталиниста и несомненного предтечи красно-коричневых Симонова, безудержно воспевавшего фанатичное коммунистическое сопротивление немецкой оккупации — хотя понятно, что во многих отношениях она могла бы оказаться благом для России и ее колоний, в особенности — если бы не несколько предвзятое отношение официальных лиц тогдашней Германии к евреям (впрочем, как раз об этом-то, самом главном, Симонов, в сущности, и не писал), до безграмотной и безответственной стряпни некоего полумифического Зайчика, имевшего наглость намекать, будто вовлечение всего человечества в свободный рынок евроатлантического типа не тождественно историческому прогрессу; авторитетными экспертными комиссиями было признано, что проводимая им идея равной ценности и перспективности различных культур питает деструктивные, питающие агрессивность иллюзии и чревата оболваниванием и растлением населения.

Безусловному запрету подверглись также фильмы таких режиссеров, как одиозные Эйзенштейн и Рифеншталь, или, например, Ростокский с его нескончаемыми потугами создать впечатление, будто в тоталитарном обществе возможны хорошие люди, — потугами, столь же художественно беспомощными, сколь и оскорбительными для памяти миллионов невинно убиенных в советских лагерях...

Ярослав Светлояров. И КУЛЬТУРА РАСЦВЕЛА. Нижний Новгород, 2003.

Документ № 2

...Может быть, запретив фильм Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», эксперты и переборщили. Лично я именно так думаю, честно сказать. Но понять их можно. В горячке первых лет демократизации уже сама сюжетная канва — будто российский ученый оказался способен у себя на дому сделать некое гениальное открытие или изобретение, еще не сделанное в цивилизованных странах, — выглядела прямым вызовом. Да и фраза из фильма «Бориску на царство? Презлым отплатил за предобрейшее, повинен смерти!» звучала в ту пору дестабилизирующим образом. Как отмечали современники, ее не раз цитировали в антиельцински настроенных аудиториях, и она неизменно вызвала злобный хохот. А недвусмысленно высказанное осуждение возвращения шведской короне насильственно захваченной Московией исконно шведской территории — так называемой Кемской волости?

Впрочем, у нас по тому же сюжету вскоре сделали специально для жителей построссийского пространства прекрасный ремейк на русском языке, с живописным киданием тортами и озорным пердежом чуть ли не в каждой сцене. Кто не видел или забыл: машина времени, например, там работает на сперме, которую главный герой — редкостный придурок, мастерски сыгранный одним из лучших комиков Голливуда, — добывает, мастурбируя во время отлучек жены под размышления о том, с кем именно и в какой именно позиции она ему изменяет на сей раз. Действительно очень смешной и милый фильм. Ну а кому он кажется не смешным — что ж поделаешь, им прямая дорога в ближайшую клинику Центра психоневрологической денацификации имени Новодворской.

Кстати сказать, сама Валерия Новодворская, не раз посещавшая эти клиники с благотворительными целями, не устает повторять, что лечение в них не имеет ничего общего с пресловутой карательной психиатрией недоброй памяти советских времен, отличается от нее кардинально и несет несчастным больным только благо, помогая им избавиться от застарелых фобий и патологических пристрастий, от которых тяжело и бессмысленно страдают в первую очередь они же сами (в то же время представляя несомненную и немалую опасность для окружающих).

И она, бесспорно, права.

Бывая в русской глубинке, я многократно имел случаи убедиться сам, что в народе эти клиники ласково называют «новыми дворами» или даже «новодворками». Я слышал такие фразы, как, например: «Надысь на новый двор свезли дурака — теперь не скоро вернется, а и вернется, так не скоро оклемается...» или «Вот те в новодворке-то мозги, колоброду, вправят, коммунака хренов!»

Но я отвлекся...

Хью Владимцев. ПУТЕШЕСТВИЕ С ЧАРЛИ В ПОИСКАХ РОССИИ. Нью-Йорк, 2004.

Обся, неторопливо и веско бамкая модными копытами во вздутый пузырями, трещащий линолеум, сделала несколько шагов по направлению к столу Лэя. Она не сводила с него стеклянных глаз.

— Я о тебе говорю, Леонид, — произнесла она. — Встань. Не стесняйся.

Мысли скакали невесомо и бестолково, как просыпавшиеся мячики от настольного тенниса. Как шарики в лотерее, когда барабан раскрутили вовсю.

Да уж, лотерея... пан или пропал. Чего говорить-то?

Кто-то ссучился и стукнул... Кто? Зачем?

Отпираться, по-любому. Не было! Навет, брехня... Мои показания против неподписанной записки — моя возьмет!

Да, но если один настучал, то, когда будут разбираться, еще и второй кто-то может стукнуть, и третий... Тогда — полный пинцет. Мало того что фильм запретный крутил по виду, да коллективно крутил, распространял, можно сказать — так еще и прямой обман школьной администрации припаяют...

Шесть кассет, упрятанных далеко в глубину завалов на антресолях, Лэй нашел случайно еще зимой. Сейчас даже не вспомнить, что ему там приспичило искать. И не надо. Папашка ли их туда утрамбовал в те поры, когда жил дома, или мама сама — Лэй не знал и не стал выяснять у матери. Если она про них забыла — то и слава богу, меньше волнений в быту. И так хватает — чуть ли не через день в городе то обрушится что-нибудь, то взорвется... Если кассеты папашкины — не зачем маме про уроды напоминать, она и без того, как Лэю временами казалось, никак не может забыть это чмо. Чего там

выяснять, на кой? Достаточно того, что он получил такой подарок. Скажи «спасибо» и забей.

В дневном одиночестве, пока мама на работе, он иссмотрел все шесть чуть ли не до дыр. И «Доживем до понедельника», и «Ивана Васильевича», и «Зори здесь тихие»... Поразительную там показывали жизнь. Невероятную. Совершенно нереальную, но почему-то в нее очень хотелось. И почему-то совсем не так, совсем иначе, чем хочется попасть в экран, когда показывают, скажем, миллионерские хаты во Флориде или Завидове, и как они там квасят и трахаются...

Скоро стало невмоготу пользоваться такими сокровищами одному. С друзьями-то надо же поделиться! Ведь друзья!

С Натом, Толяном и их девками они в прошлом сезоне единственные из школы прошли все три этапа летней игры: и «Наезд», и «Зону», и «Побег». Наверное, и спасло их от общей судьбы, от проигрыша, только поразительное взаимопонимание, слаженность, как у шестеренок, и полное, безоговорочное доверие друг другу. На торжественном закрытии летнего сезона их пятерых, будто одного нераздельного героя, чествовали перед общим строем, и директор школы — не столько для них, Совлепа не заставших и не понимавших толком, про что базар, сколько для невесты для чего и зачем залетевшего на праздник мелкого пристебая из Европарламента, долго и упоенно грузил: как данная игра важна для подрастающего поколения и какое это достижение демократии — что теперь вместо милитаристской «Зарницы», насквозь пронизанной духом агрессивных устремлений коммунистического Кремля, радением городского отдела народного образования, которому, кстати, не помешали бы дополнительные валютные вливания, дети от всей души играют в исполненную искренней заботы о них, готовящую их к реальной взрослой жизни игру «Паханы»... Пристебай, похоже, про «Зарницу» тоже не слышал, но моргал и кивал авторитетно, инициативу похвалил, влить пообещал, выпил, закусил и слинял, а чествование пошло по нарастающей, с игрищами и дискотекой...

Документ № 3

...Дети разбиваются на две приблизительно равные группы и расходятся по сторонам сцены. Из глубины по проходу, оставленному между группами, военным шагом выходят мальчик и девочка, несущие широкое полотнище с лозунгом

«Родина» или «Да здравствует Родина!». Их костюмы оставляются на местное усмотрение, однако крайне желательно, чтобы на предплечьях у них были одеты повязки с фашистской свастикой, которую дети обычно хорошо узнают благодаря хотя бы фильму «Спасти рядового Райана». Левая группа детей хором скандирует: «Слово «Родина» придумали фашисты!» Правая хором отвечает: «Прочь, уроды!» Мальчик и девочка роняют свой лозунг, срывают повязки со свастиками и спешно убегают в глубину сцены, демонстрируя стыд и испуг. Им навстречу, сгорбившись и едва волоча ноги, на середину выходит другая пара с лозунгом «Долг». Мальчик в темных брюках, девочка в темной юбке и оба — в белых (белый верх, темный низ) футболках с портретом Сталина или надписью «СССР» (в зависимости от ассортимента местных промыслов). Весьма желательно, чтобы они были в красных пионерских галстуках на случай, если кто-то из детей видел старые фильмы, не попавшие под запрет ПАСЕ. Левая группа хором скандирует: «Слово «долг» — садисты-сталинисты!» Правая хором отвечает: «Хотим свободы!» Мальчик и девочка посреди сцены смятенно роняют свой лозунг, срывают красные галстуки, а потом, как бы освободившись от тяжелого груза, расправляют плечи. Затем они начинают энергично топтать брошенные на пол галстуки и лозунг. К ним присоединяется первая пара, они топчут свой лозунг и повязки со свастиками. Левая и правая группы, протягивая друг к другу руки, сходятся, вовлекая в себя и первую, и вторую пары, вступает музыка, и все вместе начинают веселый танец...

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ДОСУГА. Издание второе, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург, 2000.

А они сидели рядышком, на почетных местах, раздувались от неимоверного тщеславия и смотрели на всех свысока, отчаянно гордые и малость датые, будто отцы города...

А вот теперь кто-то из пятерых стукнул.

Кто же может быть надежнее, если даже такие друзья ссучиваются?

Лэй медленно встал, затравленно озираясь.

Только не смотреть на тех, кому видак крутил! Она этого и ждет!! По взгляду засечь, с кем я был!

Он усталился в пол. Но все равно каким-то шестым чувст-

вом видел, слышал, ощущал, как Нат, сгорбившись, буквально одеревенев, тупо глядит в свою тетрадку; как пятится и пятится обратно к доске со столь нелюбой ему картой Толян, и в глазах у него — растерянность и страх, и вот он уже прижался лопатками к Сталинграду; как Марьяна нервно расстегивает косметичку и ни с того ни с сего принимается посреди урока подкрашивать губы, а пальцы у нее чуть дрожат...

Или ему казалось? Не мог он этого видеть, в пол-то глядя!

А Натовой Таньки не было — уже три дня не ходит в школу, как бы простудилась... Ее счастье.

— Посмотрите на него! — патетически воскликнула Обся.

Могла бы и не голосить. Все и так смотрели на Лэя. Без осуждения и без восхищения. Недоуменно смотрели. Типа ну надо же, блин, чего бывает...

Странно, но лишь в маленьких блеклых глазках Хотябыча, упакованных за мощные стекла пыльных захватанных очков, мелькнуло что-то человеческое. Вроде даже сочувствие, что ли... Только этого мне и не хватало, подумал Лэй, внезапно озлобляясь. Чтобы такие вот, типа Хотябыча, мне сочувствовали. Приехал!

— К сожалению, — Обся повела миссию дальше, — автор записки, видимо, был скован ложно понятым чувством порядочности и товарищества и потому не назвал других имен. Только зачинщика. Относительно остальных он упомянул, что в просмотре участвовало пять одноклассников. Но я думаю, может быть, у них достанет смелости встать сейчас и назвать себя? Прежде чем мы так или иначе выясним их имена иными способами!

В классе сделалось так тихо, как только может при сплошном потоке машин, валящем по Кирочной под окнами. Сладковатый бензиновый угар забух у Лэя в горле. Он ждал мгновение, два... нет. Накатила какая-то странная тоска. Хрен кто-нибудь встанет. Это вам не на летней игре цапки пецкать.

Может, и правильно. То, что говорила Обся, могло быть правдой, а могло — и пургой. Все эти педагогические прихваты и подходцы... В записке вполне могли значиться все имена. А Обся хочет, чтобы те, про кого она уже и так знает, сложились сами, на месте. Собственно, если встанут те же, кто назван в телеге, это и будет доказательством ее соответствия фактам. Вот если бы никто — тогда я бы точно попробовал в несознанку уйти...

Нет, не перехитрить мне Обсю. У нее опыт и информации в сто раз больше... Лэю сделалось пусто и безнадежно.

И очень одиноко.

— Н-ну, хорошо... — начала было Обся с угрозой, но тут Нат шумно вскочил и сказал несколько громче, чем полагалось бы говорить о таких вещах, почти выкрикнул:

— Я там был!

Обся изумленно перевела взгляд на него. Не Ната она ждала, похоже. Или вообще никого не ждала...

Стало быть, понял Лэй, и впрямь в телеге не было других имен.

А у Хотябыча на сморщенной мордочке вдруг проскочило такое выражение, будто он ставит Нату пять баллов.

Быстро проскочило, мигом. Как тень от пролетевшего воробья.

— Натан... — обескураженно проговорила Обся. — Ты-то как попал в эту компанию? Я понимаю, Леонида воспитывает одна работающая мать, она не может уделять должного внимания его воспитанию...

Лэй скрипнул зубами. Придушить ведьму, что ли? Или взорвать?

Чтобы прикупить один дозник пластида, маме год пахать надо... или два...

— Но ты-то, Натан! Мальчик из такой приличной семьи!

Натан не ответил.

Весь класс смотрел уже на него. В глазах читалось: обкурился, что ли, что сам лезешь?

Некоторое время Обся безмолствовала. Густое молчание можно было есть ложками; только, подумал Лэй, был риск обжечься и отравиться. Типа укусом.

— Больше никто? — как-то опустошенно, без прежней уверенности спросила Обся.

Наконец, раз уж Нат все равно объявился сам, Лэй решил посмотреть на друга. Они встретились взглядами. И оба одновременно сделали морды валенками. Выпятили челюсти, зенки вылупили с независимым видом и уставились в стену за спиной Обси.

А на душе у Лэя почему-то стало тепло. Даже весело.

Толян совсем растекся спиной по карте — будто жвачка, которую шмякнули в стену да еще и пальцем притиснули. Все

по нему ясно было — но Обся, дурища, стояла к нему затылком и ни разу не обернулась. Забыла про него.

А Марьяна пудрилась. Гордо так, независимо. Увлеченно. Исключительно в зеркальце глядела — ни влево, ни вправо; типа сто лет своей физиономии не видела и никак ей не налюбоваться.

— Ну, пойдете, — проговорила Обся, совладав с растерянностью. — А те, кто надеется отсидеться и скрывает свой проступок, — смею вас уверить, поступает так напрасно. Совершенно напрасно! — Она величаво повернулась к Хотябычу. — Продолжайте урок, Радий Кирилыч. У вас еще семь минут.

Вот теперь уж меня точно к доске не потянут, подумал Лэй, проходя вслед за Обсей в дверь класса. Коридор впереди был пуст и гулок.

И очень скрипуч.

Как это пол еще не провалился — загадка.

2

Ната оставили в тесном предбаннике, а Лэя Обся отконвоировала в директорский. Там тоже было тесно и темно; сто лет не мытое единственное окошко выходило во двор, а забитые бумажным барахлом почернелые, рассохшиеся шкафы — они стояли тут, верно, еще в те времена, когда школа, по рассказам мамы, была каким-то, блин, «спутником семилетки», — доедали придушенный бурый стеклом свет. За широким, как сексодром, столом — достойным ровесником шкафов, — тускло мерцая лысиной, восседал, типа какая-нибудь будда, рыхлый, пузатый Бугор и брезгливо глядел на вошедших.

— Вот Леня, господин директор, — сказала Обся. — И еще один мальчик признался сам, Натан Хайкин.

— Ага, — сказал Бугор и вязко провел ребром ладони по столу, словно сгребая пыль. — Натан Хайкин... — Пожевал губами. — Ну, Леонид? И как же ты дошел до жизни такой?

— А чего? — угрюмо спросил Лэй.

Бугор опять, будто морж ластом, повел ладонью по столу. И неожиданно мирно, почти přátельски спросил:

— Тебе что, хороших фильмов не хватает?

— Хватает, — угрюмо отозвался Лэй.

— Ну, и правильно, ну и молодец... Киоски на каждом углу просто ломятся от кассет. И про американский спецназ, и про привидения, и про космических пришельцев... И для мальчиков специальные... у меня вот внук на той неделе принес новый... «Последний питерский девственник» называется. Раз пять уже крутил, наверное. Настоящий детский фильм. Ты смотрел?

Лэй еще в марте пробовал заценить эту хрень. Ржачно, конечно, первые минут десять...

— Смотрел... — угрюмо сказал он.

— Так что же тебя на... э... клубничку потянуло?

— А я откуда знал, чего там? — с обидой и даже некоторым возмущением прогундосил Лэй. Он уже выбрал линию поведения. Зона, зона... Нет, хорошая все же игра, полезная. Прямо в школе и пригодилась, вот смех.

Бугор откинулся на спинку своего стула с утрированным удивлением.

— Э... То есть?

— Ну! Я ж эту кассету на помойке нашел!

Висячие, как уши спаниеля, щеки Бугра лукаво подтянулись. Чуть помахывая головой от избытка сочувствия тем, кому попадают на помойках подобные находки, он очень серьезно спросил:

— Вот так прямо и нашел?

Обся высилась сбоку и смотрела на Лэя с торжествующей иронией. Мол, я тебя насквозь вижу, врун...

Ну и пусть видит. А доказать — фига с два.

— Ну да, на помойке. Я время от времени там роюсь... мало ли чего полезного нет-нет да найдешь...

— Ага, ага, — понимающе кивнул Бугор.

— А на ней как бы не написано, что ее кто-то там когда-то запретил. Ну, поюзерил малехо. Думаю: во угарно, блин... Такого еще не видал. И позвал ребят тоже поржать вместе. Если б я сразу знал, что она тоталитарная — сам бы про себя в полицию нравов написал! — И он позволил себе придурковато улыбнуться.

— Незнание законов не освобождает от их соблюдения, — вернула Обся.

Лэй в ответ только с обидой шмыгнул носом.

— А что потом с той кассетой стало? — спросил Бугор.

— А я ее в Неву выкинул, — с готовностью сообщил Лэй. Обсю аж передернуло. Дело, что называется, разваливалось на глазах.

— Ах, в Неву? — с пониманием протянул Бугор. — Прямо вот так взял и выкинул? И не жалко было?

— Так она ж мне на халыву досталась, — обезоруживающе просто ответил Лэй. — Чего жалеть?

Он не знал, шастает ли по делам такого масштаба полиция нравов с обысками по домам, вряд ли, типа не сталинские же времена — но даже и обыска не боялся. Все шесть кассет он аккуратнейшим образом утрамбовал в три полиэтиленовых мешка, один поверх другого, и держал их теперь в подвале соседнего дома, за трубами — в дальней клетке, еще глубже той, где у мелких было что-то вроде ночного клуба; первоклашки-второклашки всякие там сходились родакам кости помыть, травки выкурить... Без очень уж большой нужды взросляки туда соваться не решались.

— Н-ну, понятно, — протянул Бугор. — Бравый ты юноша. Решительный. И где же вы ее выкинули и когда?

Лэй не дал себя поймать.

— Я сказал: выкинул, — поправил он. — Один. Ребята не знают, мы так... Посмотрели, побалдели и разошлись, а я и думаю потом: чего дома держать всякую хрень, места и так не хватает, мама вечно жалуется, что все забито. А они тонут красиво. Вы не пробовали, Семен Борисыч?

— Нет, — ответил Бугор, опять проведя ладонью по столу. — Не доводилось.

Он чуть пожал плечами. Обся торчала бдительным штырем, похожая на лагерную вышку; только пулемета на морде не хватало. Бугор обернулся к ней.

— Ну, мне кажется, Леня все очень убедительно объяснил, — проговорил он. — Действительно, чего только не найдешь на помойках. Ведь так, Руслана Викторовна?

— Семен Борисович!.. — с возмущением и, как показало Лэю, даже несколько с угрозой начала было Обся, но Бугор ее прервал.

— Нет, я не говорю, что все это пустяки. Отнюдь не пустяки, отнюдь. Обязательно надо разобраться и принять меры. Надлежащие. Соразмерные, я бы сказал. И мы обязательно узнаем, кто еще участвовал в просмотре, — но не от Лени. Пусть ребята сами придут и расскажут, так будет лучше. В пер-

вую очередь для них самих. А они непременно придут. Подумают каждый сам наедине с собой и, когда будут уверены, что их не видят другие дети — придут. — Он задумчиво пошлепал мягкими губами. — А вопрос об исключении, по-моему, ставить преждевременно.

Обся шумно втянула воздух носом.

— Мы, я полагаю, обсудим инцидент всем коллективом педагогов, — сказала она. — Позже. В отсутствие детей.

— Да, несомненно, — охотно покивал Бугор. — Но ведь именно мы с вами, любезная Руслана Викторовна, будем определять предмет обсуждения. Так вот вопрос об исключении таким предметом не станет.

В его жирном голосе прорезался неожиданный металл.

— Посмотрим, что покажет Натан... — сказала Обся, внутренне уступая, но явно стараясь сохранить лицо и не показать, что сдастся так скоро.

— Ну, конечно, конечно, — несколько раз кивнул Бугор. Так от души кивнул, что даже брюхо его заколыхалось. — Впрочем, Натан славный и порядочный мальчик, я думаю, он все покажет правильно... — как-то это двусмысленно прозвучало.

— Иди, Небошлепов, — почти не скрывая раздражения, процедила Обся. — И без родителей в класс не возвращайся. Обоих приведи непременно, — злорадно, даже мстительно добавила она. Она прекрасно знала, что отец Лэя давно живет отдельно и не поддерживает с прежней семьей никаких отношений. — В противном случае...

— Ступай, Леня, — прервал ее Бугор. — И позови Натана.

Уже приоткрыв дверь, Лэй остановился на пороге, обернулся к Обсе и, глядя ей прямо в глаза, заявил:

— Лучше бы тот, кто вам телегу катал, нам сразу сказал прямо, что фильм запрещенный. Если уж он такой эрудит. Мы бы его все вместе тогда сразу в Неву выкинули.

— Фильм или эрудита? — с усмешечкой спросил Бугор. Лэй даже задохнулся на мгновение. «Вот это я сказанул, — подумал он. — Язык мой — враг мой...»

— Иди, Небошлепов, иди! — почти со злобой выкрикнула Обся. У нее опять пошла пятнами шея.

В предбаннике не было ни души, лишь Натан смирно сидел на кособоком стульчике в ожидании. Надсадно гудела и

щелкала газосветка, екая светящимся нутром. Увидев выходящего из учительской Лэя, Нат вскочил.

— Ну, чего?

— Нормалек. А на кой ты раскололся-то?

Натан чуть пожал плечом. Сказал:

— А противно стало сидеть.

Лэй улыбнулся. Натан тоже улыбнулся. Они хлопнулись ладонями, и Лэй громко сообщил:

— Я все как на духу рассказал: нашел на помойке, показал вам и выкинул в Неву.

Натан поразмыслил мгновение.

— Вау! Так ты ее выкинул? — его коричневые глаза смеялись.

— Конечно.

— Ну и правильно.

— А про остальных меня даже не спросили, — тоном ниже добавил Лэй.

— Бугор — мужик с яйцами, — одобрительно сказал Натан. — Мне идти туда?

— А то, — ответил Лэй.

3

Ната промурыжили еще меньше, но следующий урок таки успел начаться. Впрочем, только дебил после такой встряски стал бы стремиться обратно к знаниям.

— Пойдем-ка покурим-ка, — предложил Нат.

— И попьем-ка, — добавил Лэй.

Все вроде бы прокатывало на тормозах, но поручиться было нельзя — Обся баба въедливая, еще попортит кровушку. Исключение не исключение, а и без исключения могут много веселого нахлобучить. И наверняка жирный штраф — это теперь сплошь и рядом: образование бесплатное, но типа оплачивается штрафами, которые платят родители нерадивых учеников. Социальная справедливость: пусть лодыри и долбаки обеспечивают учебу трудолюбивых и добродетельных...

В общем, стресс. А стресс надо выгулять. Выходить. Адреналин, блин.

Они, благо покинутый ими столь неожиданно класс сейчас пустовал, невозбранно заскочили туда за своим барахлом, одиноко скупавшим на столах; потом спустились в буфет за пи-

вом. В позапрошлом году городское здравоохранение, вдохновленное местными чинами из Всемирной Организации Здоровья, пришло к выводу, что построссийским детям умеренные дозы алкоголя не только не вредны, но, наоборот, вызывают несомненное повышение способностей и к социальной адаптации, и к усвоению нового материала, — и всем школьным буфетам было рекомендовано постоянно иметь в продаже напитки типа пива и джин-тоника. С тех пор жить стало легче и веселей, не приходилось на переменках бегать по морозу или под дождем к ларькам на Суворовском.

Наскребли по карманам никелей,хватило. Лэй взял «Влазовского», а Нат маниакально запросил «Сахарова», чтобы заглянуть под крышку; фирма-изготовитель проводила лотерею и в числе призов объявила несколько ноутбуков на базе пятого пентюха; Нату такую тачку просто припекло.

— «Сахаров», ребятки, только темный, — заботливо и даже чуточку виновато предупредила из-за прилавка добрая тетя Наташа.

— Пускай темный. — Нату, как почему-то любят повторять телеюмористы, не было преград ни в море, ни на суше.

— Да от темного «Сахарова» башка трещит, — напомнил Лэй.

— Забили, — отмахнулся Нат. И, едва тетя Наташа сунула ему запотевшую бутылку, содрал крышку, перевернул ее и уставился на мелкие циферки. Поставил бутылку обратно на прилавок (тетя Наташа, сложив пухлые, голые по локоть руки на прилавке, с улыбкой глядела на него, благо во время урока в буфете было безлюдно, никто ее не гонял) и сунулся свободной рукой в карман; вытянул изрядно потасканную вырезку из газеты. Лэй, хлебнув из горлышка объемный глоток и с удовольствием гоняя пиво от щеки к щеке, заглядывал Нату через плечо. Нат нашел в перечне тот номер, который наехал на него с крышки...

Лэй, прочитав, только заржал. Под этим номером значились упаковки презервативов «Русский размер». Свезло Нату, что тут скажешь...

— Вау, — в сердцах проговорил Нат и кинул крышку в приспособленный под урну картонный ящик из-под пивных бутылок. — Вот всю жизнь мечтал. Вот только, понимаешь, русский размер мне с детства и снился!

— Ну ты не злился так, не злился, — попыталась успокоить

его добрая тетя Наташа. — Не бог весть что, но все ж таки вещь полезная...

Нат фыркнул и взялся за бутылку. Приник.

— А кстати, ты обрезанный? — спросил Лэй.

Нат чуть не поперхнулся.

Молча, степенно прихлебывая, они спустились по лестнице и вышли из школы. Обычно, вот уж сколько лет, они поворачивали направо, к Тавриге — но там теперь дым стоял ко-ромыслом, лес рубили, щепки летели... Повернули налево, на Суворовский. Не разговаривали. Трендеть по-обычному, про футбол или рэп, или про безбашенных типа зеленых чего-то не хотелось, чего-то серьезность накатила; а разговаривать о серьезном привычки не было ни малейшей. Даже слов-то типа не существовало в языке — перетирать такие темы. Просто приятно вместе. Туса их тройственная сложилась уж года четыре назад (девицы начали появляться позднее), но такой дружелюбной близости друг к другу Лэй и Нат, пожалуй, ни разу еще не испытывали — даже в самый разгар «Паханов», даже во время награждения... На игре такого единства не бывает, как бы игра ни напрягала. Это не игра, а жизнь, подумал Лэй и даже удивился взрослой занудности залетевшей в башню мысли. Так и шли, помалкивая и прихлебывая; пиво должно было помочь.

Прямо перед Смольным тоже обнаруживался скверик, карликовый такой, зато, по близости к властям, по сю пору нетронутый; когда Лэй был еще совсем мелкий, родаки часто с ним тут гуляли — по большей части мама, но иногда и папашка, который был тогда не смутной сволочью, мало-помалу растворяющейся в кислоте памяти, а самым умным, сильным и теплым человеком в мире. Наверное, поэтому Лэй этот скверик любил — и малехо помнил, как он выглядел прежде. Там, где поверху желтых башен-воротин тянулись когда-то железные буквы тоталитарных надписей, теперь накололи буквы правильные: слева, где помнилось что-то про диктатуру, было написано «Первый демократический сейм новой России», а справа, где помнилось что-то насчет пролетариев — «Приобретайте себе друзей богатством несправедливым». Лэй знал, это из Священного Писания: препод основ безопасности жизни любил, когда приходил на урок датум, повторять: «Помните, ребята, мудрость сию еще Христос заповедал! «Похвалил господин управителя неверного, что догад-

ливо поступил; ибо сыны века сего догадливей сынов света в своем роде. И Я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным!»! Поняли, в чем фокус? А уж остальная — то безопасность тогда сама приложится...» Похоже, притча про удачливого коррупционера была единственным, что он знал из Писания, — но уж ее-то он знал наизубок по-любому. Он лишь не говорил, откуда богатство взять — и потому завет пропадал впустую. Дайте богатство сперва — а до столь нехитрого рецепта любой децил и сам допетрит...

Да еще сменились персонажи на каменных граненках по сторонам главной аллеи: слева торчала башка какого-то хомьика с подписью «Гайдар», а справа — какого-то кощера с подписью «Бурбулис». Лэй не знал, кто они такие, да и не особо жаждал: наверняка типа первые инспектора от ОБСЕ какие-нибудь. Раньше там были головы тоже двух нерусских, только обе бородатые — почему-то они помнились очень четко: одна с бородой подлиннее, другая с бородой пошире, маленький Лэй их очень любил, потому что смешные. Да и папа — тогда еще папа, а не папашка — иногда начинал прикалываться: «А если б эту бороду да расстелить по городу...», и маленький Лэй хохотал до упаду; он жалел, что не стало бородатых.

Да еще круглый высокий постамент перед самым парадным входом в Смольный, пустовавший, сколько Лэй его помнил, года три назад увенчался многотонной, типа дрессированный бегемот на задних лапах, чугунной чушкой в виде дирижирующего Ельцина, а на постаменте возникла надпись золотом: «Россия должна быть ограничена территорией Московской области»; и ниже — надпись помельче, она типа сообщила, откуда цитата: «Декларация о государственном суверенитете России».

А в остальном сквер не изменился.

Зеленым свежим дымом дымили майские деревья, пахло размякшими, распаренными газонами, птицы ошалело дребездели, будто депутаты, каждая свое и все разом... бабки на лавочках... вот мам с колясками — совсем не стало... И окна жилых домов поодаль по случаю нежданного тепла распахнулись чуть ли не все, и песня из какого-то доносилась вполне подходящая, весенняя: «Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари...» Друзья взгромодились на спинку скамейки, поставили ноги на сиденье, неторопливо закурили. Домой Лэю совершенно не шлось.

Непонятно, как все случившееся преподнести маме. Пожалуй, подумал он, я ей тоже скажу, что кассету на помойке нашел. Нефиг ее впутывать, ей и так достанется... Зайти, что ли, в аптеку, купить валидолу побольше? Ох, да еще как-то с папашкой коннектиться... Блин. «И Весна, и Весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет...» — пело одно из дальних окон.

Ничего. В левой руке сигарета, в правой пиво... Разрулим.

— Эта тварь зачем-то велела папашку к ней тоже привести, — проговорил Лэй.

Нат выпустил дым.

— Злая, — сообщил он веско.

— Спасибо, что сказал.

Прихлебнули разом.

— Они у тебя совсем не общаются? — спросил Нат.

— Напрочь.

Нат шевельнул плечом недоуменно.

— Не понимаю... Надо ж так друг дружку задолбать... — затыкнулся, выдохнул. — А ты к нему как относишься?

— А не знаю, — честно ответил Лэй. — Ненавижу, наверное. Я его уже плохо помню. Помню, иногда с ним побазлать было в жилу, он так все объяснял конкретно... — Помедлил. — Поначалу мне то и дело его о чем-нибудь спросить хотелось, то про одно, то про другое... схвачусь — а его нету.

Пиво угрелось и сомлело в животах, но напряжение не сходило. Лэю в голову закатилась еще одна явно взрослая мысль: вот так живешь себе, живешь, все катит нормально, со всеми мелочами приятными и неприятными, но в одном, что называется, русле — и вдруг шмяк лбом! И вся разница между приятностями и неприятностями оказывается такой незначительной, когда происходит настоящий шмяк...

А интересно: типа когда происходит настоящая приятность... даже не придумать, что это может быть такое — но вот настоящая... Все прежние приятности окажутся тоже такими же мелкими, как сейчас, после настоящего шмяка, оказались неприятности?

Он покосился на Ната. Сказать ему такую мысль, не сказать?

Не, не сказать. Занудно. Этаким отстой каждый сам в себе рождает, молча.

— Что делать будем? — спросил Нат.

— С чем? — удивленно воззрился на него Лэй.

— Не с чем, а с кем?

— С папашкой? — не понял Лэй.

Нат покосился на него иронично.

— Тебя заклинило на нем, что ли? Я про нас.

Лэй все не понимал.

— Ну ведь кто-то же ссучился! — с некоторым раздражением от его непонятливости пояснил Нат.

Лэй кисло отвернулся.

— Типа да... — нехотя ответил он.

— И тебе не интересно, кто?

— Может, забьем? — неуверенно предложил Лэй. Ему жутко не хотелось играть в сыщика внутри собственной жизни. И внутри жизни друзей.

— Вот блин, — сказал Нат. — Дали по одной щеке, подставь задницу, да? Дали по заднице — подставь передницу? Ты хочешь знать, кто из нас сука, а кто нет? Или хочешь делать вид, что все нормалек, но при том всех подозревать, что они суки?

— Подозревать не хочу.

— Значит?

— Ну а что мы? Возьмем Толяна и девиц за грудки и начнем пытать: ты? А может, ты?

— За Таньку я ручаюсь, — тут же сообщил Нат.

— Да я за всех за нас ручаюсь, блин, — угрюмо ответил Лэй. — В том-то и фишка.

Умолкли. Нат чуть поспешно всосал хороший глоток, булькнул горлом и сгорбился, глядя прямо перед собой. Безнадега, подумал Лэй. Хорошо, что у меня сейчас девчонки нет и мне не придется про нее думать: она? не она? Бедный Нат.

— Может, он не гнус, этот гнус. Может, родакам ляпнул сглупа — а они струхнули и заставили, — неуверенно постарался утешить друга Лэй. Нат не ответил.

Долго молчали — и пиво кончилось.

Домой обоим не хотелось по-прежнему. А пива хотелось. Переглянувшись и поняв друг друга без слов, парни соскочили со своего наместа, оставив на облупленной белой краске скамьи свежие земляные следы — впрочем, на ней хватало и несвежих, — и двинулись к угловому подвальному за добавкой. В животах мягко лучилось. Но добавить надлежало любому.

Здесь выбор был побогаче, чем в школьном буфете, только вот цены все равно отбрасывали к тем же названиям; Лэй оказался верен «Власовскому», а Нат, поколебавшись слегка — Лэй косил на него насмешливо, — все-таки опять цапнул своего «Сахарова», хоть он и тянул на рупь с хвостиком дороже. Однако на сей раз крышка с изнанки оказалась вовсе пустой. Нат молча покрутил носом и с демонстративным спокойствием кинул крышку на пол; Лэй от комментариев воздержался, хотя на кончике языка уже вертелось: «Халявщик!» или «Жадность фраера сгубила...»

Сегодня и впрямь какое-то единство возникло между ними. Не сговариваясь, они пошли не обратно в сквер — насиделись, хватит, надо подвигаться, — а повернули к Шпалерной. Громче, чем про ласковый дождь, из открытого окошка точнехонько над ними пел теперь чуть надорванный, полный ссохшегося отчаяния мужской голос: «Как оказалась, Родина наша — галут. Вслед нам собаки или соседи лаяли. В иллюминатор лбом, слезами в стекло — на будущий год в Ерушалаиме...»

— Нескладуха, — проговорил Лэй, отхлебнув. — Не понимаю. Лбом на будущий год? Слезами на будущий год? Стекло на будущий год?

Нат тоже отхлебнул. Они завернули за угол, и тяжелое каменное ребро дома отсекло и отодвинуло звук — как бы какой-нибудь в троллейбусе сдвигает плечом сильно загородившую ему дорогу сухонькую, невесомую бабку, типа ветеранку-блокадницу. Прохожих почти не было — зато «мерсы», «Лендроверы», «Паджеро» и прочие бандовозы перли по Шпалерной сплошной чередой гладких бугров, как склеенные; разом останавливались, разом трогались сызнова. Будто на ленте подачи багажа в аэропорту — Лэй видел однажды. Только тут одна лента ехала в одну сторону, а параллельно другая — в другую. Но впереди, на противоположной полосе, начинались какие-то затрудненные вихляния — вдали громоздилась, перегородив чуть не полторы полосы проезжей части, моечная машина полиции нравов и, всполошенно жуя вспышки цветастых своих спецсигналов, обрабатывала стену дома пенным потоком. Бандовозы, едва не скобля дружка дружку тысячедолларовыми боками, на цыпочках крались вброд по плещущему поперек улицы потоку.

И куда они все едут, блин? Середина дня, работать бы надо... Их, что ли, всех тоже из школы за родаками отправили?

— Это фраза такая, — наконец ответил Нат. — Про Ерусалаим. Там же в первом веке чумовая заваруха была, римляки всех растрясли налево-направо, получилось рассеяние. Я вообще-то пацан не кошерный... эрудицией не угнетен и до тонкостей тебе все это не перетру — но дед, помню, грузил, что если о чем-нибудь просишь Бога, эту фразу как бы надо в молитву вставлять. И уж обязательно — во время пасхальной трапезы, что ли... Он говорил так: на следующий год — в возрожденном Иерусалиме! Типа — вот надеемся, что уже в будущем году мы с вами вернемся в Иерусалим и отстроим его заново, — отхлебнул. — И так по всему миру две тысячи лет.

— Охренеть, — с недоверчивым восхищением сказал Лэй.

Разговор пошел странный. Можно помолчать минуту, две, пять, переваривая — а потом заговорить, будто паузы и не было вовсе. И можно спрашивать или рассказывать все, что угодно.

— А чего твои не своили до сих пор? — спросил Лэй.

— А фиг их знает. Я бы на их месте давно своил.

— Гонишь... — недоверчиво сказал Лэй. Нат молчал. — Че, в натуре?

— Угу.

— Аттестат получишь — своишь?

Нат чуть пожал плечами.

— Не знаю, — нехотя выговорил он.

— Тебя бы там сразу забили, — сочувственно пробормотал Лэй.

— Когда за страну типа не стыдно — за нее воевать не влом.

— Это ты сейчас так говоришь. Здесь.

— Может быть, — помедлив, согласился Нат.

Они миновали моечную; вокруг нее, забывая стойкий чад выхлопов, оглушающе воняло химикалиями. Ровно ползушая вправо череда разноцветных вздутий (типа корыта опрокинутые строем маршировали куда-то, кошмар обкуренного), за нею — судорожно ползушая влево череда разноцветных вздутий; а над корытами, вплотную притертыми одно к другому — высоченная огромная мойка. Извергающий пену широкий раструб ходил вдоль стены дома взад-вперед на высоте человеческого роста, чем-то неуловимо напомнив Лэю ищущего Волгу Толяна. Мертвенно-голубые хлопья ядовитой пены ко-

лотили в стену и валились на тротуар, шмякались тяжелыми ошметками и брызгами, растекались жижей, давая начало пузырящейся реке, которая бежала поперек Шпалерной; на стене из-под пены еще проглядывала, выцветая на глазах, размашистая, метра на три, надпись краской: «Русские всех стран, соединяйтесь!» Водитель в моечной, возвышавшийся в своей остекленной башне над потоками брезгливо жмущихся от него сверкающих бандовозов, яростно высунулся в открытое окошко и принялся беззвучно в реве насосов и ниагарском плеске пены широко открывать и закрывать рот в сторону Лэя и Ната; потом, поняв, что его не слышно, энергично замахал им рукой: валите, мол, поскорей, нечего здесь читать!

Но те и так валили, и ускорять шаги по требованию какого-то полицейского уroda не имели ни малейшей склонности.

— Как «русские» пишутся, типа с бутылки пива срисовывал, — прокомментировал энергично смываемую надпись Нат, когда рев остался позади и вновь стало можно разговаривать.

Лэй задумчиво прихлебнул.

— А «соединяйтесь» вроде через «е» надо, — без уверенности сказал он, проглотив.

Нат тоже подумал.

— Вроде да, — согласился он. А потом добавил: — Но не поручусь.

— Крутые мы! — хохотнул Лэй. — Год учиться осталось, а моя твоя не понимает...

Нат прихлебнул.

— Между прочим, — сказал он, проглотив, — напиши я такое лет сто назад про евреев — мигом пришли бы сионизм и мировой заговор.

— А напиши я ее сейчас — пришьют руссофашизм, — парировал Лэй. — Привет из двадцать первого века, жидовская морда.

— А тебе из двадцатого, русская свинья, — ответил Нат.

Они захохотали, довольные и собой, и друг другом, на ходу хлопнулись ладонями, тукнулись полупустыми бутылками (там вкусно плеснулось) — и пошли дальше.

Шагов через сто Нат спросил вдруг:

— А ты правда не хочешь... типа к этим записаться?

— К каким?

— Ну, наболы там... руссофаши... Наверное, если поискать, можно найти.

Лэй брезгливо сморщился. Потом честно попытался сформулировать свои ощущения.

— Как бы влом.

Не получилось. Он, помолчав, поднапрягся еще.

— Я всегда так понимал: если хочешь доказать, что ты типа лучше всех — сделай чего-нибудь лучше всех. Как бы иначе никак.

И немедленно в душе у него что-то смутно припомнилось, вроде как скользко шевельнулось; будто давным-давно спрятавшийся в норку ужик дернул свешенным наружу мокрым хвостиком. Кажется, это все Лэй не сам придумал, а слышал когда-то от папашки, когда тот еще был папой. Или читал где-то? Ну, неважно.

— А когда говорят, что типа для справедливости надо вон тем в глаз навтыкать, все у них отобрать и нам отдать, — это, ясен пень, просто очередная банда на чужие бабки губу раскатала. А чего я в банде не видал?

Вторая пара бутылок опустела где-то неподалеку от цветочного манежа. Одно время Лэй с мамой любили туда ходить, особенно зимой: снаружи снег, мороз либо слякоть черная киснет в мокрой воздушной серости, а там — типа тропики; тяжело висит глянцева мясистая зелень, и приторные нездешние запахи, густые и текучие, будто свежий мед, переливаются между невероятными цветищами... Потом маме стало не по карману.

Поставив обе бутылки на асфальт у стены, друзья переглянулись. Расслабон уже слегка наехал; головы малость размякли, и ноги малость обмякли — но не было ни малейшей возможности прервать нежданно-негаданно наехавший на них странный праздник; пир типа духа, торжество совместной свободы. Хотелось, чтобы полет длился вечно.

— До Литейного точек, по-моему, нету, — сказал Нат.

— Пошли на Литейный, — решительно ответил Лэй.

Чего ж не пойти? По прямой идти они были еще вполне в состоянии.

Однако ж один легкий поворот им все-таки пришлось сделать, когда Лэй заметил надпись «Аптека» и вовремя вспом-

нил, что, зажелав стать добропорядочным сыном, хотел купить маме воз валидолу.

— Стопори, — сказал он. — Заскочим. Или тут меня обожди...

В аптеке никого не было, одна только скучающая стройная дева в белом сидела по ту сторону стеклянной витрины, уставленной разноцветными, глянцевыми, вкусными даже на вид пузырьками и коробочками — и разглядывала порнуху в «СПИД-инфо». Над аптекаршей на стене шибали по мозгам два здоровенных плаката. Один: «Покупайте синекал, имудон, насратол, записдил и другие эффективные и дешевые препараты фирмы «Проктор энд Сфинктер!» Другой: «Покупайте воду из источника Святой Великомученицы Анастасии! Уникальные целебные свойства святой воды подтверждены новейшей японской аппаратурой!»

— Хозяйка! — басом постарался привлечь внимание аптекарши Лэй. — А хозяйка!

Та обернулась. Встала, заулыбалась приветливо. Снаружи был бы просто пахнувший пивом небогатый пацан, а внутри — клиент.

— Что вам угодно?

— Валидол есть?

Приветливость исчезла с молодого лица, но положение обязывает.

— Валидол еще зимой снят с производства, — с суховатой любезностью ответила аптекарша. — В нем обнаружены канцерогены. Могу предложить экологически чистое американское средство нового поколения колупал. Очень хвалят.

— Почему? — ошарашенно спросил Лэй. Новость была мелкая, но какая-то убойная: слово «валидол» он помнил, казалось, с пеленок — казалось, валидол вечен...

— Семьдесят два рубля капсула.

— Вау... — Лэй даже отступил на шаг. Потом, каким-то углом сознания осознав, что тоже отдал подконтрольный ему сектор рынка иностранному продукту, громко и старательно поправился: — Блин!!

Это было все, что он мог противопоставить экспансии Запада.

— Купил? — обернулся к нему Нат, дожидавшийся на улице с сигаретой в руке.

— Нету... — Лэй не стал вдаваться в подробности. Тоже закурил.

— Понятно. Ежедневно ваша полная параша... — сказал Нат. — Ну что, за пивом? — почти утвердительно спросил он с ударением на последнем слог.

На пиво у них хватало.

4

Третья пара бутылок отработала свое уже за Марсовым полем, на Миллионной. Отяжелевшие ноги, размягченные пивом и затянувшейся экскурсией, гудели (ступни стали будто свинцовые, а все остальное вплоть до задницы — из ваты), и дело шло уже как бы к вечеру; мама, верно, уж начала беспокоиться — время возвращения с уроков давно прошло. Кайф накатил, однако ж, несказанный. Лэю было хорошо, и Нату было хорошо. «Сколько ни пей — русским не станешь!» — расслабленно шутил Нат. «Лицам славянской национальности рекомендуется спать на мостовой кверху лицами для облегчения опознания!» — не менее расслабленно шутил Лэй. По четвертой они взяли в ларьках возле Эрмитажа; после этого денег осталось, только чтобы до дому добраться.

Почему-то им приспичило ехать назад на метро. Тащить-ся пешком было уже лениво, а вбиваться в наземный транспорт в такое время, когда все, кто вообще еще работает, как раз с работы едут — то голяк полный. Заспорили, куда отсюда ближе: до Гостинки или на Васькин. Решили топать на Васькин: наверное, это дальше, зато дорога красивее — мост, простор, набережная перед Универом. Кому нужен вонючий Невский, где не протолкнуться?

Любуясь разлетевшейся на стороны Невой и вертя затуманенными головами, перешли Дворцовый мост. «Клево, да?» — «Угарно, блин!» Свернули по набережной налево. В желто-белом дворце с колоннадой — Лэй не знал, что за банда там угнездилась — явно только что закончилась какая-то миллионерская тусовка, презентация или типа того: черные «мерсы», приглушенно жужжа, роились у дворца, будто раскормленные мухи в щедром на дерьмо выгребном сортире; мужики и дамочки, при всех понтах, торчали на ступеньках с сигаретками, оживленно беседуя, или болтались взад-вперед нетороп-

ливо, кое-кто под ручку дружка с дружкой. И разъезжались помаленьку.

— Ур-роды, — пробормотал Лэй.

— Чмо, — согласился Нат.

Хорошо, что они шли вдоль воды, по другой стороне.

Потом перешли на Менделеевскую. Потопали, уже откровенно ощущая усталость, вдоль красного здания Универа, длинного, как червяк.

— Я сюда поступать мечтал... — ни с того ни с сего поведал Лэй.

— На куда? — со знанием дела осведомился Нат.

Лэй чуть пожал плечами. Казалось, даже от этого невинного движения верхней частью туловища пиво пошло волнами в жидком животе; волны едва не перехлестывали через край. Подворотню бы какую-нибудь найти...

— Фак биоэнергоинформатики, — несколько затрудненно выкатил он угловатое и скрипуче раздвижное, будто ржавая подозренная труба, слово. — Везде пишут, что там единственная область науки, где мы впереди всех... А года через два вообще типа чудеса обещают.

— А на учебу бабки? — сразу глянул в корень Нат.

— В том-то и фишка...

И вдруг Лэй остановился.

— Ты чего? — оглянулся Нат, слегка пролетевший вперед. Лэй стоял неподвижно, как-то съежившись; словно боясь, что его заметят — но при том и порскать в кусты не желая. Недопитую бутылку он с механической произвольностью спрятал за спину и стоячим взглядом уставился на двух мужиков, беседовавших поодаль: один сильно пожилой, сухопарый и длинный, с куцей, пего поседевшей бородашкой, в сильно употребленных шмотках образца тысяча девятьсот затертого года, другой — помоложе и пониже, невзрачный, хоть и прикинутый более или менее на уровне, с мягким, каким-то стертым лицом.

Бородатый что-то в запарке втолковывал затертому; тот кивал, но все ему было явно пофиг.

— Это мой отец, — глухо произнес Лэй после долгой паузы.

Нат, недоуменно глядевший на друга, обернулся на мужиков.

— Который?

— Ну, кто помоложе, ясен пень.

Нат поджал губы. Потом сказал:

— А вот и рояль в кустах. Ты как бы не знал, где родителя добыть?

Лэй помаленьку приходил в себя. Поднес бутылку к губам; гулко глотая, допил остатки пива и, не торопясь, с поразительной аккуратностью поставил ее на асфальт. Сейчас он был абсолютно храбр и абсолютно добр.

— Подойдешь? — осторожно спросил Нат.

По-прежнему глядя на мужиков, Лэй обеими ладонями пригладил волосы.

НАУКА УМЕЕТ МНОГО ГИТИК

1

Господин Дарт не без сочувствия относился к идеалистам, даже не без симпатии. Он и сам в молодости был идеалистом; а ведь, в сущности, не так давно она происходила, эта самая молодость, не так давно. Что такое полтора десятка лет? Для истории — миг, и даже для мгновенной человеческой жизни не слишком много, какая-то треть сознательного бытия, а если повезло с долголетием, то и четверть...

Будто лишь вчера он, восторженный юнец, бесшабашный демиург, Прометей раскованный и освобожденный, чувствуя себя одной ногой уже за порогом новой, светлой, счастливой жизни, приближал ее приход, строил очередное светлое будущее... пресловутое... Как там пели в советские времена? «Мечта прекрасная, еще неясная...» Видно, каждому поколению своя неясная и прекрасная мечта, и единственно ради нее что-то и можно делать бескорыстно, а значит — увлеченно, с искренней радостью. Становясь счастливым. До чего же модно тогда было смеяться и злословить над несчастной строчкой! Как только не издевались! Этот ироничный, порою откровенно ненавидящий смех на какое-то время объединил все нации империи... А сами-то занимались чем?

Мечтой.

Будто лишь вчера господин Дарт, двадцатидвухлетний совсем еще даже и не господин, хоть никоим образом уж и не товарищ, просто преданный мечте подмастерье, верстал саюдисовскую газету на незабвенной улице Пилимо, уже начиная пробовать себя и на ниве словесности — то есть время от вре-

мени порождая афоризмы вроде «Чем меньше в стране мыслящих, тем больше в ней единомышленников» или «Достаточно ли, чтобы быть единомышленником, спинного мозга?», и публикуя их под русскими псевдонимами. Ему и в голову не приходило тогда, что он совершает подлость; он поступал так просто для торжества дела, для того, чтобы показать всему свету, как широк круг не единомышленников, а настоящих мыслителей, строителей настоящего светлого будущего; совсем, мол, не по национальному признаку разделяются те, кто за тоталитарный, колониальный гнет, и те, кто за свободу и процветание, ведь это правда, и в печати просто надо усилить, акцентировать данный непреложный факт, данную простую и великую истину... господин Дарт совершенно искренне благоговел перед фразой «За вашу и нашу свободу!», которая украшала первую страницу каждого номера — там, где у большевистских газетенок всегда красовалась идиотская, лживая, давно протухшая фраза «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Как обухом по голове его огрела неожиданная похвала главного: «Правильно поступаете, Дарт. Очень правильно. Побольше русских фамилий. Каждую фразу — под разными. Пусть ненавидят друг друга, а не нас...» Совершенно ошалев, он беспомощно пролепетал в ответ что-то про вашу и нашу свободу — а главный засмеялся и потрепал его по щеке: «Да, очень красивая фраза. Многие оккупанты на нее купятся и здесь, и в самой России. Русских хлебом не корми, дай спасти кого-нибудь, кому сами они и даром не нужны. Ради нашей свободы они охотно жертвуют своей и даже не заметят — потому что эти рабы никогда не знали, что такое свобода».

Словно на глазах у господина Дарта смачно плюнули на распятие. Он едва не вспылil тогда. Злые, возмущенные, негодующие слова уже посыпались было с языка...

Хорошо, что не вспылil. Вспылil бы — наверняка не стал теперь главным редактором и совладельцем «Русской газеты», одного из мощнейших изданий в Санкт-Петербурге...

С каким восторгом они в студенчестве слушали давно почившего Галича! И литовцы, и русские, и кто ни попадя — бок о бок, плечо к плечу. Удивительный голос пронзал до самого сердца, слова жгли и тараном крушили отжившую свое и лишь Божиим попущением задержавшуюся на свете человеческонавистническую империю. «А молчаливники вышли в на-

чальники, потому что молчание — золото...» Одной этой строчкой он разом и навсегда высек всю партноменклатуру!

Но, право, начальник при фашистском строе и начальник при демократии — совершенно разные вещи. Даже сравнивать нельзя. Кто возьмется утверждать, что это одно и то же, не понимая принципиальной разницы, — сам наверняка фашист в глубине души.

Что ни говори, светлое будущее для себя господин Дарт и взаправду построил. Если ж припомнить, что творится сейчас на границе Литвы и Польши, — оно выглядело особенно светлым...

А вот теперь перед господином Дартом сидел, слегка сутулясь в кресле для посетителей, человек, по меньшей мере лет на десять старше владельца кабинета, человек, все еще достаточно известный в журналистских кругах — и при всем том так и оставшийся явным идеалистом. Обижать его совершенно не хотелось (да и незачем), но и терпеть его закидоны, его вольномыслие в самом дурном смысле этого слова больше никак было нельзя. Свобода свободой, демократия демократией, но у газеты есть направление, достаточно толерантное, между прочим; и если ты с ним не согласен — никто не держит, иди, публикуйся в полуподпольных руссофашистских листках. По копейке за страницу. Демократия есть свобода совершать поступки согласно своим убеждениям и отвечать за их последствия. Так ведь?

Нет, не надо его обижать и отталкивать. Он славный и умный человек, он поймет. Не может не понять.

— Лёка, — мягко проговорил господин Дарт.

Алексея Небошлепова все всегда почему-то очень быстро начинали звать уменьшительно: Лёка. Даже люди много моложе его. Даже в ту пору, когда он пребывал на пике известности и вроде бы мог пользоваться известным уважением. Он даже и пользовался. Но все равно любой молокосос с третьей-пятой минуты знакомства начинал ему тыкать и звать Лёкой, будто они по меньшей мере с первого класса сидели за одной партой. Лёка не обижался; некоторое время назад он, честно сказать, искренне и беззлобно удивлялся этому, но потом перестал замечать.

— Лёка... Ну нельзя так. Ну что ты пишешь, как можно. Ты критикуешь лишь те черты русского характера, которые, по твоему личному мнению, действительно заслуживают кри-

тики — и в то же время пытаешься как-то исподволь что-то и поддержать, и похвалить, и вызвать сочувствие... Здесь у тебя принципиальная ошибка!

— Дарт, — устало ответил Лёка, — ну не бывает же явлений только плохих или только хороших. Во всем есть что-то плохое, но, с другой-то стороны, во всем, если подумать, можно найти что-то положительное... симпатичное, по крайней мере... достойное сострадания...

— Вот, — с дружелюбной укоризной перебил его господин Дарт. — Вот где твой принципиальный просчет. Это же начетничество, Лёка! Ты прячешься за якобы универсальное правило вместо того, чтобы подумать непредвзято. Сделал из него себе фетиш! Уверовал в некую догму — и это сразу освободило тебя от необходимости мыслить. А на самом-то деле, Лёка, архаичное сознание улучшить невозможно, его можно и должно только разрушить. Пойми, архаичный менталитет не может иметь положительных черт. В принципе не может, потому что все его черты равно идут вразрез с прогрессом.

Лёка, кинув ногу на ногу, закурил.

— Очень похоже на требования соцреализма, — пробормотал он, глядя на тлеющий кончик сигареты. — Помнишь, наверное, было такое в старые недобрые времена? Что не соответствует велениям революции — то неправда...

— Формальное сходство! — воскликнул господин Дарт. Перестав расхаживать по кабинету, он присел на край своего стола прямо перед Лёкой и демократично попросил: — Угоди сигаретой. Мои в куртке остались, лень идти... Ага, спасибо. О, на какие ты перешел! Что, совсем с деньгами зарез? Ну, ладно, прости, прости... — Щелкнул зажигалкой и, оживленно жестикулируя, так, будто дирижировал задымившей сигаретой, продолжил: — Формальное сходство, говорю. Кусок дерьма и кусок золота могут иметь одинаковую форму — но вещи-то все же разные. Объясняю: то, что может показаться положительным — так называемая доброта, так называемое бескорыстие... я лично полагаю, кстати, это просто рыночная невменяемость, неспособность к простейшей арифметике... но даже если предположить, что они и впрямь еще существуют — они-то как раз и являются наиболее архаичными и, следовательно, наиболее деструктивными, подлежат первоочередному искоренению, поскольку представляют наибольшую

опасность для развития и процветания современной цивилизации. Для здешней же модернизации, между прочим!

Не первый год господин Дарт произносил подобные речи, но все равно до сих пор немножко гордился собой, когда получалось так связно и убедительно. В молодости он совсем не умел говорить. Его мог переспорить любой. А сейчас... Ого-го!

Он не знал, что как раз в этот момент Лёка подумал: тот, кто спорит, чтобы навязать свои взгляды, всегда переспорит того, кто старается добраться до истины.

— Что ты имеешь в виду под рыночной невменяемостью? — сухо зато спросил Небошлепов.

— Ты пойми меня правильно, не ершишь, — сразу почувствовав его тон, примирительно проговорил господин Дарт, — я вовсе не в осуждение... Я лишь констатирую, так уж сложилось. У вас, у русских, спокон веку тот, кто сильнее, отнимал, сколько сможет, и не спрашивал точного количества. Брал вообще все, что сможет. А кто слабее — тот утаивал или воровал у сильного все, что сможет. Тоже безо всякого учета количества — просто опять-таки все, что сможет. Поэтому понятия эквивалентного обмена вообще не сложилось в национальном сознании. Никто тут не виноват. История такая. И вся ваша так называемая доброта — это не более чем безнадежный взмах рукой человека, который все равно не в состоянии ничего сберечь для себя и делает хорошую мину при плохой игре: а, мол, забирайте, сволочи, все даром, только отцепитесь. Вот в таком ключе тебе следовало бы написать, если уж так захотелось трогать столь скользкие материи... А ты развел сопли в сахаре!

Лёка поднял лицо к потолку и выдохнул к потолку кабинета длинный дым.

— У вас было иначе? — спросил он негромко.

Господин Дарт заулыбался. Терпимость, терпимость и еще раз терпимость. Лёка — сложный человек, но умница и добряк; с ним надо по-доброму и по-умному.

Да с ним иначе и не хотелось.

— Уел, уел! — дружелюбно воскликнул он. — Нет, конечно. При Российской империи и при большевиках было точно так же. Отнимали, сколько могли, и утаивали, сколько могли. Именно поэтому, чтобы так больше никогда не было, мы и стремились к независимости. Но речь, смею напомнить, не о нас. И бог бы с вами, с тем, что вы просто не понимаете, что

это за чудилище такое — равные стоимости при обмене... Но двадцать первый век на дворе. Сейчас не понимать таких вещей нельзя. Добрый и бескорыстный — плохой потребитель. А при современных масштабах и темпах производства каждый потребитель на счету! Даже просто порядочный и творческий человек — уже проблема, потому что, во-первых, у него всегда меньше денег для покупок, ведь он порядочный. Порядочный журналист всегда беднее непорядочного журналиста, и порядочный миллионер всегда беднее непорядочного миллионера, это печально, но это среднестатистический факт...

Себя господин Дарт самым искренним образом считал порядочным человеком и журналистом — и был, в общем-то, недалеко от истины. Во всяком случае, нехватку денег он ощущал постоянно.

— Во-вторых, ему некогда покупать, он старается сам создавать — а зачем? На Западе все уже создано, магазины ломятся, в том числе и книжные... только покупать некому! В каком-то смысле, скажем, киллер для рынка предпочтительнее, нежели святой отшельник, потому что киллер по определению чаще совершает покупки, от оружия до авиабилетов, и ему все нужно самого высокого качества. А что нужно отшельнику? Да ничего! И вот он, полагая, что о душе печется и осушает слезы ближних своих, на самом-то деле только затрудняет работу глобального рынка. Останавливается производство, люди оказываются без работы, остается невостребованная наука...

— Вот, оказывается, кто во всех бедах виноват, — уронил Лёка. — Святые...

Этот человек может и святого довести до белого каления, подумал господин Дарт. Терпение его близилось к концу.

— Представь себе, да! — Он запальчиво повысил голос. — Из-за них сбоят все отлаженные веками механизмы, будто пёсок попадает в машину. А вот с этим мириться уже невозможно.

— В свое время мы кляли на чем свет Советскую власть за то, что она всех людей норовит превратить в винтики, — негромко сказал Лёка.

Господин Дарт вздрогнул. Случайность? Или Лёка знает о его молодости куда больше, чем до сих пор показывал? Так или иначе, но попадание оказалось высокоточным, как у американской лазерной бомбы: один из опубликованных в начале девяностого года афоризмов господина Дарта, подписан-

ный то ли «Алексеев», то ли «Сергеев», уж не вспомнить теперь, гласил: «Если правительство начинает закручивать гайки, значит, народ — сплошные винтики». А сегодня, получается, сам насчет механизмов запел...

Тяжело с Небошлеповым. Тяжело.

Господин Дарт не нашелся сразу что ответить; и, пока он торопливо искал, как отшутиться, Лёка — может статься, и сам не подозревая об этом, — его выручил и снова заговорил, не дождавшись ответа:

— Каких-то две тысячи лет назад один даже по тогдашним меркам очень плохой потребитель сказал: человек для субботы или суббота для человека? Боюсь, приди он сейчас, спросил бы: человек для рынка или рынок для человека...

Господин Дарт перевел дух и хлопнул Лёку по плечу.

— Мы давно знакомы и можем говорить совершенно откровенно, — сообщил он. — В том, что ты сказал, есть резон. Но что уж стесняться, будем называть вещи своими именами: тут действительно, и вполне объективно, присутствует определенная амбивалентность, — он помолчал, стараясь подобрать слова поточнее. И потактичнее. — Пойми меня правильно. Впрочем, я знаю, ты поймешь... Есть люди, для которых рынок, и есть люди, которые для рынка. Это не фашизм, — искренне пояснил он, — а восстановление исторической справедливости. Российская империя за последние четыре века принесла человечеству столько горя, столько невинной крови пролила безо всякой пользы и смысла — особенно в своей коммунистической ипостаси... столько людей искалечила, столько обездолила, столько растлила... Теперь надо платить.

Перехватило голос; господин Дарт взволнованно затянулся дымом дешевой сигаретки. У этого дыма был привкус молодости; так же, как у этого гнева. Господин Дарт даже не заметил, что на сигарете вырос длинный серый хвостик пепла — тот мягко обвалился прямо на стол и тихо рассыпался бесплотной, какой-то радиоактивной трухой. Господин Дарт наклонился и брезгливо сдул его.

— И неважно, что это делали не только русские. Да, не только. Но — от лица Российской империи. Для ее укрепления. Ради ее господства. Скажем, Хрущев наташил в Москву столько своих человечков, что в Кремле надолго стало укра-

инцев больше, чем русских, — но все равно для всего мира страна называлась Раша, а Украина оставалась ее колонией. И потому именно с твоей нацией связываются имперские зверства и грабежи. Ничего не поделаешь, Лёка, можно только ждать, когда все забудется, загладится. И заглаживать самому — а это значит уступать, уступать, уступать всем и во всем. Искупать вековую вину. Не знаю, насколько ты религиозен, но... судя по тому, что ты мне насчет субботы цитировал... Вот тебе еще цитата: больший из вас да будет всем слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвышен будет. Смирение и покаяние, понимаешь? Смирение и покаяние!

— Понимаю, — глухо сказал Лёка, глядя в окно. Потом повернулся к господину Дарту и чуть принужденно улыбнулся. — Понимаю, что статью мою ты не берешь.

Тот вскочил и, едва не выронив сигарету, всплеснул руками.

— Ну как я могу? — с мукой спросил он. — Я же все уже буквально разжевал тебе...

— Да понял я, понял.

— Вот бери пример с Дроида. Как шпарит! Что ни материал — то в десятку!

Дроид был восходящей звездой. Воистину бойкое перо и юркий ум, этого Лёка не мог не признавать. В прошлом году Дроид получил престижную международную премию «Золотой Войнович» в номинации «Публицистика», и после триумфа любой его текст шел, что называется, с колес.

— О да, — сказал Лёка и встал. — Это классик.

Они беседовали в здании бывшего партийного «Ленизда-та», так хорошо приспособленном под бумажно-газетные дела еще при Совдепе; ну, не то чтобы и впрямь уж хорошо, но лучшего-то в городе все равно не было, а строить новое — некогда, все хотят успеть попользоваться старым. Когда Лёка поднялся, в окно ему стали видны не только бледно-голубое теплое небо и дома на том берегу, но и дымчатая гладь воды — Фонтанка, сонно потягиваясь, млея под утренним солнцем. Господин Дарт, желая провести неприятный разговор с известным автором без суматохи, назначил Лёке прийти в редакцию спозаранку, в десять.

...Даже сам язык при тоталитаризме выхолашивался, не неся в себе и тени живого, искреннего чувства. Он заведомо, априорно лишался малейшей возможности и способности адекватно отражать действительность и призван был создавать лишь ее бледные, искаженные, оболванивающие подобиya — то был не язык, а зомби языка. Он не рассказывал о жизни, а создавал ее призраки, напускал мороки, порождал привидения того, что отчасти, может, и было когда-то — но чего все равно уже нет и быть не должно. Не только сообщаемые на языке сведения — сам язык стал обманом.

Взять хотя бы пресловутую проблему ненормативной лексики. На какие только ухищрения не шли партийные ханжи, чтобы не допустить проникновения живого языка на страницы печатных изданий! В какую только логическую эквилибристику не пускались, каких только лицемерных слюней не напускали! И пока они и их постперестроечные наследники были у руля, все усилия таких титанов культуры, таких корифеев словесности, как Алешковский и Юдашковский, Шуткой и Мудкой, Сорокин и Морокин, пропадали втуне и, во всяком случае, практически ничего не меняли на безрадостном фоне кастрированной официальной лексики и тотального гнета.

Между тем что в том дурного? Если, например, молодая мать (это я видел и слышал сам) говорит своей пятилетней дочери: «Блядь, жопу вытри!» — она говорит так лишь оттого, что любит свою крошку; любит искренне, непритворно и нелицемерно; любит, я не побоюсь этих слов, по-русски...

А вот теперь, когда с партийной цензурой и ее рудиментами покончено наконец, я могу невозбранно и непрепятственно, через один из ведущих журналов, донести до читателей, например, великую формулу истинного отношения людей к распаду прогнившей советской действительности, формулу, которую сам народ нашел еще в первые годы так называемой перестройки и которая стократно облегчила ему воссоединение с мировой цивилизацией. Сделав столь много для становления демократии и утверждения общечеловеческих ценностей на постсоветском, а затем и на построссийском пространстве, она тем не менее существовала доселе лишь в

изульном варианте, и, не приведи бог, могла бы со временем изгладиться из памяти народной, не передавшись грядущим поколениям. Вот она: как посмотришь вокруг — так ёб твою мать, а как подумаешь — так и хуй с ним...

А. Н. Дроид. ДУШУ НАРОДНУЮ НЕ ЗАСТАВИШЬ МОЛЧАТЬ.
«Русская газета», 2001, № 78.

— Погоди, — сказал господин Дарт. — Погоди, Лёка. Я не хочу, чтобы ты так уходил.

Он замаялся. Он не мог сказать впрямую, что хочет помочь; было невооруженным глазом видно, что у Небошлепова и впрямь завал с деньгами. Но пять минут назад господин Дарт легонько уже тронул эту тему — и добился единственно того, что у Небошлепова на миг окаменело лицо.

Что там ни говори, о чем и как ни спорь — Лёку господин Дарт уважал.

Хотя бы в качестве странного феномена природы. Идеалист сорока пяти, что ли, а то и сорока восьмью лет... таких надо заносить в Красную книгу.

Мне в этой книге не бывать, мельком подумал господин Дарт. Щемящее чувство какой-то невнятной грусти налетело на миг — невесомо и полупрозрачно, как брошенный в лицо случайным порывом ветра чужой капроновый шарфик; и тут же полетело дальше. Еще к кому-нибудь.

— У меня просто послать сейчас некого, так получилось, — соврал господин Дарт. — Тот в командировке, та болеет... Нынче в Санкт-Петербургском научном центре торжественное заседание. Ну, помнишь, может быть, — годовщина роспуска Академии. Весь научный бомонд соберется... Сделаешь материал? Пойдет в набор немедленно, и оплата по высшему разряду. А может, тебе и самому интересно будет, ты, говорят, когда-то белибердой этой интересовался... нет?

— Когда-то интересовался, — усмехнулся Лёка. Вспомнил про погасший окурочек в руке и положил его в пепельницу. — Схожу. Во сколько там?

— В пятнадцать, — сказал господин Дарт. — Вот спасибо! Ты меня буквально спас...

— И тебе спасибо.

На прощанье они обменялись крепким рукопожатием.

Сколько помнил себя Лёка Небошлепов, всяк раньше или позже ему говорил: ты же умный (славный, добрый, сильный, очень порядочный, настоящий друг, все понимаешь — нужное подчеркнуть). А потом делал из этого предварительного тезиса неизбежный вывод: поэтому ты и уступи.

Черт его знает, каким чудом все, с кем сводила Лёку судьба, сразу ощущали: Лёка и впрямь понимает, и впрямь чувствует правоту собеседника не менее остро, нежели собственную, и потому, на своей шкуре зная, как унижительно и больно подчиняться, никогда не подвергнет такому испытанию ближнего своего — а потому действительно сам уступит.

Но — ощущали безошибочно. О чем бы ни шла речь. От самого малого до самого важного. Какую программу по телевизору смотреть — и когда ребенка рожать. Одно время он пробовал бороться, но лишь испытывал невыносимые мучения; если вдруг, паче чаяния, выходило по его и кто-то вынужденно следовал не собственным желаниям, а тому, на чем настоял Лёка, самому же Лёке так больно делалось, что игра не стоила свеч, овчинка выделки, Париж обедни... Всегда после такого успеха Лёке долго еще бывало стыдно глядеть в глаза тому, кого он переборол. Куда легче было, ни на чем не настаивая, подчиниться на какое-то время, а потом поскорей убежать и остаться одному...

Так он и остался совсем один.

Это было единственным способом остаться собой. Думать собственные мысли, совершать собственные поступки... Как присохшая смолоду глина с поношенных джинсов, осыпались друзья, потом осыпалась семья. Остались лишь коллеги да работодатели — и то в гомеопатических дозах; они относились к Лёке с пиететом из-за его явно признаваемого ими всеми дарования, но не считались с Лёкой совершенно.

Он не мог себя переломить. Стоило ему выползти из-за письменного стола, где он был царь и бог, для того чтобы, скажем, повстречаться с иногородним корреспондентом, — он и опомниться не успевал, как они шли перекусить и побеседовать в какое-нибудь кафе, и шли не той дорогой, которая, Лёка знал совершенно точно, удобнее и короче, а как повел заезжий; и Лёка с мягкой улыбкой подчинялся, в глубине души утешаясь тем, что вот когда они поплутают всласть, тот

увидит, что настаивал на своем напрасно, и поймет, что был не прав...

Но никто и никогда не понимал, что был не прав.

И потому Лёка на собственном опыте знал, что прекраснодушная теория господина Дарта относительно того, будто страна или народ могут, видите ли, загладить какую-то вину уступками, — яйца выеденного не стоит. Такое мог проповедовать только либо законченный идеалист, либо законченный подлец. Но подлецом господин Дарт не был; получалось, что волчара газетного бизнеса — идеалист?

Но разве он сам эту теорию придумал? Да еще с горбачевских времен...

Да я сам так жить когда-то пытался...

Все на самом деле наоборот: кто уступает, тот и виноват. Чем больше уступаешь — тем больше виноват. Невиновен лишь тот, кому подчиняются; тот, кто подчиняется, — всегда козел отпущения. Так человек воспринимает мир.

Интуитивно Лёка прочувствовал эту истину еще лет в восемнадцать; он, как чуть ли не все в ту летящую и радужную, будто мыльный пузырь, эпоху, пописывал песенки, брэнчал их под гитару... Родилась у него и такая строчка тогда: «Раз на дне ты — подонок ты есть!»

Однажды ребята с курса пригласили его попеть в общагу; он с готовностью согласился. Комната о шести койках, на которых усаживались впритык друг к другу, провисая на гремучих железках чуть ли не до полу; ночь, бутылки, мини-юбки, сигаретный дым — привольно! Его стали уговаривать встать на тумбочку — мол, плохо видно, плохо слышно. Он отнекивался, что было сил, он слишком живо представлял себе, как нелепо и смешно будет выглядеть. Памятник нерукотворный... Уломали. Впятнадцатером уламывали, долго, настойчиво — он не мог больше упорствовать, это казалось ни с чем уж не сообразным: все друзья и подруги просят и просят, просят и просят, а он упрямо отказывается и отказывается, хам хамом, чурбан чурбаном. Сказал себе: ну, ладно, от меня же не убудет... Потом весь курс долго смеялся: вы представляете, какой он задавака? какая у него мания величия? На тумбочку с гитарой залез!

Все получилось справедливо. Он подчинился. Не хотел, знал, что не надо, но — сделал. И потому он один был виноват, только он, больше никто.

Самое смешное, что, повторись такое даже теперь, он, без малого пятидесятилетний, все уже доподлинно зная, — опять не смог бы не подчиниться.

Самый верный способ сделать так, чтобы тебя перестали уважать и ценить... даже просто любить... это — безоговорочно уступить в чем-то существенном, принципиальном. Уступить — и к тому же не выторговать ничего взамен. «Ладно, любимая, прости, забудь, я не прав, пусть будет по-твоему...» И все. С данного момента любимая становится еще более любимой — но любящей, сама того поначалу не замечая, быть перестает. Начинает переставать. Рассчитывать на благодарность может только прекраснодушный идиот; да, на уровне самых близких, может быть, на какой-то момент благодарности в ответ на уступку действительно становится чуточку больше — но ненадолго. А преданности — меньше. И что характерно — навсегда.

И уж тем более все это верно, когда речь идет об отношениях между государствами. Там, где рассчитывать на благодарность — уже не просто блажь, а кретинизм на грани преступного...

Зачем Дарт ему это плел?

И ведь от души плел. Честно, по-товарищески, ради Лёкиной же пользы старался убедить. Глаза открыть ему на эту истину... Объяснить, как надо жить...

Лёка коротал свой век один-одинешенек в маленькой хрущевке на богом забытой улице Хлопина; квартира осталась в полном его распоряжении после почти одновременной смерти родителей, и сюда он в свое время удрал от мира. Окопачиваться в городе с одиннадцати утра, когда закончилась беседа с господином Дартом, до трех, когда должно было начаться действо в научном центре, было бы форменным безумием; куда лучше провести лишние два часа в своем убежище, хоть и тошно мотаться взад-вперед из центра на окраину и потом обратно в центр. И пообедать перед действом тоже можно будет там, где привычно: в уютном ресторане «Старый Йоффе», открывшемся года три назад в главном здании бывшего физтеха на Политехнической (рядом с домом, недорого и вполне съедобно); именно так, через «Й», назывался ресторан — то ли для вескости звучания, то ли чтобы было, как теперь говорят, прикольной, то ли по неграмотности новых владык. Доминировала там, по сути, еврейская кухня (Йоффе ж,

не Иванов!), но названия блюд были пришлифованы к ведущей теме не без изящества: «окорочка радиоактивные» (прямые и острые очень, без обильной запивки и кусочка не проглотить), «голубцы «Токамак»», «заливное высокочастотное», «котлеты по-ускорительски», «язык из синхрофазотрона»; хоть так память обо всех этих научных железяках сохранялась, и на том спасибо. Ресторан, особенно с учетом того, что днем там подавались комплексные обеды, был очень популярен — особенно среди студентов соседствующей с ним Академии оккультных наук, вольготно распухшей в тех белоснежных корпусах, где еще недавно в нищете и голодухе долетал ныне упраздненный за полной ненадобностью Политех.

Читать не хотелось. Лечь подремать тоже не хотелось. Ничего не хотелось. Не было тоски, но не было и радостного возбуждения, с которым Лёка когда-то встречал всякую новую работу, пусть даже небольшую и незначительную. Ничего не было. Благостный майский день, расцветающий час от часу все лучезарней, казался неумной, плоской шуткой, почти издевкой.

Испытанный способ скоротать время — воткнуть глаза в ящик. Лёка присел в любимое продавленное кресло, закурил, кинул ногу на ногу и взялся за ленивчик. Наугад выкликнул одну из центральных программ.

Он успел вовремя. Из темной глубины экрана на поверхность пузырем всплыл Сигал, скручивая башку какому-то отчаянно и тшетно сопротивляющемуся небритому амбалу; включи Лёка ящик мгновением позже — пропустил бы отчетливый хруст, с которым у амбала переломилась шея. Сигал небрежно выпустил труп из рук — тот со стуком рухнул — и спокойно, даже не запыхавшись, что-то заурчал на своем рыкающем американском; тут же возник голос переводчика, старательно выговаривая по-русски: «Этот проклятый русский монстр больше не будет терроризировать ночные улицы нашего города, Мэри...» Голос был удивительно знакомый. Полузабытый, но укоренившийся где-то в мозжечке едва ли не с детства. Лёке показалось, что по голосу он даже лицо вспоминает — кто-то из маститых московских актеров, кумиров прежней эпохи; с готовностью высунулось из свалки перемешанных и перекрученных воспоминаний, как когда-то давным-давно, пять ледниковых периодов назад, сей кумир в одной из публицистических передач конца перестройки

(«Взгляд»? «Пятое колесо»?) страстно, с душевной болью обличал засилье партийной цензуры, не дающей талантам страны раскрыться по-настоящему. Но фамилию, хоть убей, не вспомнить. Впрочем, кто тогда не обличал... только ленивый не обличал. И, что характерно, все были совершенно правы.

Раздался голос невидимой женщины — видно, Мэри была где-то неподалеку, за рамкой экрана; вдогонку голосу полетел дубляж: «В подвале спряталось еще несколько русских мафиози, Нико! Будь осторожен!»

Лёка наугад нажал другую кнопку. Другая программа.

В живописно задрапированной голубым шелком студии, слегка в дыму, словно на чистых облаках, в горней области, сидел молодой крашеный блондин при гитаре, в джинсовой паре в обтяжку и неторопливо пощипывал струны. Подкрашенные очи мечтательно смотрели в дальнюю даль, а голос, полный неизбывной грусти, чистый и светлый, будто горный хрусталь — с такими интонациями Окуджава в свое время пел про Арбат, — тянул: «Пидора вы мои, пидора! Не боялась бы вас детвора...»

Другая программа.

Реклама.

— У вас все валится из рук? У вас ничего не получается? Вас преследуют неудачи в бизнесе, спорте или любви? Что бы вы ни затевали, все идет не так? Это значит, что вы давно не советовались с ВАШИМ АСТРОЛОГОМ!!! Семейный астролог — гарантия успеха!

Другая программа.

С такой яростью и с такой самоотдачей, словно он боролся с разъяренной гориллой, Ван Дамм в форме американского пехотинца времен Второй мировой войны выдавливал глаза девушке, наряженной, в свою очередь, в советскую форму того же времени (только юбка была несколько чересчур мини), и хоть и с сильным акцентом, но, похоже, честно кричал по-русски сам: «Как ты моугла снюхаться с эсэсовтсами, сьюка?» Опрокинутая на спину девушка корчилась на полу какого-то тесного помещения, сучила голыми коленками, визжала от боли и ужаса — все это получалось у нее донельзя сексуально, — а потом вдруг отчаянно закричала, и тоже по-русски (довольно чисто, но все ж не справляясь с роковым «р»): «Сергей! Где ты, Серьежа? Помоги!» Тут же камера услужливо показала, надо полагать, того самого Сергея; он, тоже в совет-

ской форме с майорскими звездочками на погонах, лежал на ступеньках некой парадной лестницы, мертвый, протараненный насквозь то ли рельсом, то ли вовсе двутавровой балкой какой, косо торчащей из его груди; жутко разинутый рот изливал реку крови, а пальцы правой руки в смертном благоговении касались небольшого портрета Гитлера — в рамочке, под треснувшим стеклом.

Другая программа.

Ражий, кровь с молоком молодец — бегущая строка внизу экрана наскоро поведала, кто он таков будет и чьих, но Лёка успел разобрать лишь «...Санкт-Петербургского сейма...» — с напором доказывал:

— И посмотрите сами. Я думаю, комментарии здесь не требуется. Мирный договор, как мы и предрекали еще многие годы назад, кончил с так называемым чеченским терроризмом раз и навсегда. Мир и покой пришли на исстрадавшуюся землю. Покажите мне хоть один дом или вокзал, который взорвали не в процессе бандитских разборок, а по политическим мотивам! Нету такого дома! Покажите хоть одного государственного служащего, которого застрелили не свои же подельники, а так называемые боевики! Нету такого служащего! Оказывается, не так уж трудно решать национальные проблемы, которые долгие годы казались неразрешимыми — нужно только терпение, умение слушать противоположную сторону... ну, и конечно, — положить конец! В смысле — положить конец имперским амбициям!

Другая программа.

Другая говорящая голова — на сей раз маленькая, карликовая какая-то и, хоть экран того не показывал, ощутимо полная перхоти, — в хорошем темпе, куда профессиональнее предыдущей, долбила свое:

— ...Казанцева, Шаманова, Трошева и несколько десятков других военных преступников, бывших военнослужащих так называемой Российской армии, а также тех относительно немногочисленных коренных жителей Ичкерии, которые навсегда запятнали и опозорили себя сотрудничеством с русскими оккупантами. Все эти люди были выявлены и взяты под стражу в последние месяцы — как местными органами охраны правопорядка, так и Интерполом, — в Воронеже, Сыктывкаре, Нарьян-Маре и некоторых других городах построссийского пространства. Вчера Гаагский трибунал, выра-

жая чаяния мирового сообщества, принял решение передать этих извергов властям республики Ичкерия. В городе Исламийе, носившем во времена советского тоталитаризма нелепое и ничего не говорящее ни уму, ни сердцу культурного человека название Ставрополя, в ближайшее время начнутся заседания шариатского суда, который наконец-то воздаст по заслугам кровавым убийцам и насильникам беззащитных женщин, стариков и детей. Министр культуры Ичкерии заметил по этому поводу, что его правительство будет неуклонно продолжать поиски военных преступников до тех пор, пока справедливость не восторжествует полностью и все, кто в девяностых годах прошлого века осуществлял геноцид чеченского народа, вплоть до последнего солдата-призывника, не понесут сурового наказания, в какой бы глубинке они ни пытались укрыться. В эфире — Московское бюро службы новостей «Дерусификасьон Нувель», я — Лев Бабийца. Оставайтесь с нами!

Другая программа.

Очень похожий мультипликационный академик Сахаров, с неловкой своей одуванчиковой головой, нарисованный просто-таки талантливо — чувствовалось, настоящие мастера работали, им бы полнометражные мультфильмы для детишек делать, — сидел за необъятным письменным столом, полным явно научных бумаг и почему-то пивных бутылок; одну бутылку он сжимал правой рукой, а указательным пальцем левой показывал на нее и — тоже очень похоже подкартавливая, беззащитно-непреклонным своим голоском — говорил:

— Если бы не пиво — я не выдержал бы пыток КГБ!

Кадр с оглушительным булькающим звуком сменился, и на весь экран вымахнула надпись: «Пиво «Сахаров» — стальной характер!»

Лёка выключил телевизор.

Тоска все-таки накатила. Не могу привыкнуть, думал он. Не могу. Не могу! Господи, помоги мне скоротать жалкий час, который остался до выхода из дому. Как-нибудь скоротать. Хотя как-нибудь. Что-то со мной нынче совсем... Не надо было включать телевизор. Не надо было соглашаться писать статью про праздник, посвященный юбилею разгона Академии наук. Не надо было уходить от Маши. Не надо было... Ничего не надо было! Не надо... Не надо! Ничего уже не надо!!

И тут запиликал телефон.

Кто это еще посреди дня? Никого не жду... и никого не хочу.

Но он, как всегда, сделал то, чего не хотел, но на чем настоял телефон: натужно выдавил себя из кресла, подошел к телефону и снял трубку.

— Квартира Небошлепова? — незнакомый женский голос очень в нос, но вполне мирно пропел всю фразу словно бы в одно слово.

— Да...

— Алексея Анатольевича?

— Да.

— Вам телеграмма. Зачитываю: «Люся очень плоха доктор говорит умирает приезжай скорей успеешь Фомичев». Вам в почтовый ящик кинуть?

3

Людмила Трофимовна, или тетя Люся, старшая сестра умершей три года назад мамы Небошлепова, всю жизнь прожила там, где обе они в свое время появились на свет — в подмосковной деревне Рогачево, утвердившейся почернелыми бревенчатыми избами на извивах речки Лбовки, маленькой и задорно пляшущей, как детсадовская прима-балерина, по низинам да перелескам аккурат на полпути меж Клином и Дмитровом. Все лучшие воспоминания детства Лёкины — это окна, выходящие в теплый, пахнувший яблоками сад, гром кузнечиков маревными безмятежными вечерами, хлопотливое кудахтанье кур во дворе да заполошный галчиный грай на сияющих крестах запустелой рослой церкви, набег по грибы да по малину, дальние походы через бескрайние всхолмленные поля, сквозь веющий в лицо солнечный и клеверный ветер, на настоящую речку, на Яхрому, в которой можно было, раздвигая кувшинки, купаться от души, даже нырять, а не только баловаться и брызгаться... неубывающие крыжовник да смородина в искренних каплях прохладной утренней росы, ароматные скирды да стога... а на Смоленскую — головокружительный запах пирогов, встававший над деревней, как над городами теперь смог стоит...

Мама там расцветала, а папа там никогда не жаловался на боли в сердце.

А Николай Фомичев был — сосед. Муж тети Люси погиб в Афгане.

В последний раз Небошлеповы выбрались туда летом девяносто первого, уже с Машей и с трехлетним Ленькой, за месяц до так называемого путча. Маша, интеллигентная горожанка в каком-то уж поколении, с трудом и без особого, как по прошествии лет понимал Небошлепов, рвения пыталась вписаться в деревенское житье-бытье; Небошлепов ей из всех сил помогал, и все помогали, потому что он тогда еще очень любил ее, и всем это было видно... Ленька отчаянно боялся крикучего петуха, но ликовал от кур, от ягод, от обилия цветов и буйной живности в траве... Церковь побелили внутри, соскребли со стен напластования грязи, оставшиеся от тех времен, когда она была угольным складом, и в ней уже молились. Половина домов пустовала, помаленьку плесневела, вращая там и сям в землю и с мертвой укоризной, будто с того света, глядя на мир выбитыми окнами. Зато ближайший лес, с которого столетиями кормилось полтора десятка окрестных сел (Покровское, Трехденево, Бунятино, Подвязново, Васнево, Лутьково, Кочергино, Копытово — насколько живет и теплее это все звучало, чем имена ближайших окрестностей в Питере: проспект Тореза, улица Дюкло...), вчистую репрессировали под дачи, и там, как грибы, вместо грибов, стремглав росли причудливые обители — от кособоких скворечников чуть ли не из фанеры до поразительных по тем временам теремов из пахучего бруса... о бандитах в те дальние-дальние стародавние годы еще не думали, советская инерция сказывалась, не провидели скоробогатеи виража истории, полагая, будто, кроме них, других бандитов и не будет никогда — и терема сверкали обилием остекленных веранд и мансард... не то, что загородные башни-бомбоубежища наших дней, с окнами-бойницами, все в решетках и чуть ли не противотанковых надолбах...

Тетя Люся уж не работала — школу закрыли.

Чему учить стариков, спивающихся даже не водкой и не добрыми домашними наливками, а по случаю борьбы с алкоголизмом — невозможными, названий-то зачастую не имеющих отравками? А кроме стариков да старух, почитай, и не осталось в деревнях никого...

Вечерами, стараясь все делать, как встарь, как обычно, как в счастливой устойчивой жизни заведено, они всей семьей пили чай за столом в саду, но сад был какой-то не тот, съезжился, нахохлился, и картошка будто не цвела, и гречихой не пахло с полей, и кузнечики осипли, и пироги печь было не из чего — и разговоры шли нервные, тревожные... Что ж это будет? Да как же это так? «Скоро все пойдет на лад, — подбадривал женщин папа, украдкой, по-мужски, тятнув валокордину. — Хуже просто некуда — стало быть, будет лучше...»

Первым порывом уронившего телефонную трубку Лёки было немедленно бежать в ОВИР. Он уж на лестницу едва не выскочил, но вовремя осадил себя: что в ОВИРе делать без документа, подтверждающего необходимость поездки? Таким документом могла быть только телеграмма — так что предстояло взять себя в руки и ждать, когда ее принесут. Нести же ее могли и час, и два, и пять; Лёка попробовал позвонить до почты, чтобы попросить, ежели получится, как-то поторопиться; никто не подходил. Обед, наверное.

Стало быть, надлежало ждать. Без телеграммы соваться к ярыгам из ОБСЕ за визой до Москвы и думать было нечего.

Меж тем подкрадывалось время отбытия на толковище в научный центр; после принятия телефонограммы минуты полетели вскачь. Если телеграмму не принесут до выхода из дома, стало быть, нынче начать оформление вообще не получится. А если, вернувшись, Лёка так и не обнаружит телеграммы в почтовом ящике — мало ли что! очень даже возможно! — тогда... тогда завтра на почту и... копию требовать? Или как? Лёка не знал. Не было опыта.

Ох, тетя Люся, тетя Люся...

Вместо «всегда» она с ударением на первый слог говорила «завсе», вместо «ползает» — «полозит»... вместо «крыжовник» — «гружовник»... «Что ты все читаешь да читаешь, Лешенька? Глазки испортишь!»

Она меня любила, подумал Лёка — и от этой простой, но такой редкой по нынешним временам мысли сердце треснуло, точно по нему с размаху ударили монтировкой. А может, плюнуть и вовсе не ездить на сборище?

Лёке совсем не хотелось писать про нынешний юбилей. Его от подобных радостей тошнило. Вот ведь какая праздничная дата нашлась: годовщина разгона Академии наук, очередная веха на пути к прогрессу... и ведь надо будет писать радо-

стно, с подъемом, главное внимание уделив благим последствиям, каковые сей разгон возымел...

Легче повеситься.

Но ведь я уже обещал, вспомнил Лёка. Я уже Дарту обещал.

Пообещав что-либо, он делался глух, слеп и нем и выполнял обещанное, как робот. Поэтому он всегда очень боялся давать обещания. Частенько бывало, что в ответ на чью-то просьбу он лишь отмалчивался, потом, не сказав ни «да», ни «нет», уходил, делал, что просили, и уж тогда сообщал об этом...

Но тут ситуация повернулась так, что он вроде обещал. И если плюнуть и не пойти — он, по всей вероятности, очень подведет Дарта.

Но все-таки тошнит.

А деньги?

Особенно теперь, когда предстоит поездка; и похороны, быть может...

Лёке вспомнился голос знаменитого — да как же звать-то его? ох, что с памятью творится! — артиста, вещавшего в телевизоре про русского проклятого монстра. Наверное, поставшему со времен перестройки артисту тоже надо было ехать кого-нибудь хоронить. Или, наоборот, пристраивать внука в институт. Мало ли для чего...

Затошнило еще пуше.

А писать все равно придется.

Он высказывал к почтовому ящику каждые десять минут. Возвращался в дом, усаживался, выкуривал сигарету, стараясь делать затяжки как можно неторопливее, чтобы на дольше хватало — и на лестницу. Вернется, сядет, выкурит — на лестницу. Вернется, сядет...

Без четверти два он собрался окончательно. Ждать дольше было рискованно; сколько займет перемещение — непредсказуемо, при наших-то путях... Он и так пожертвовал обедом, чтобы побыть дома подольше. Шут с ним, с обедом, с голоду не помрем... Но — обещание и деньги, деньги и обещание...

На лестнице он напоследок все же глянул в почтовый ящик. Телеграмма лежала там.

Но тащиться в ОВИР было уж некогда.

То есть доехать-то можно успеть, но — оформление заявки, объяснения с чиновниками, составление подорожной...

Прости, тетя Люся, завтра.

Хоть бы солнце не сверкало так радостно! От этого слепящего бравурного света становилось еще тяжелее на сердце.

4

Зал тоже сверкал. Мраморное помпезное белоколонье, пудовые люстры, победоносные элегантные мужчины с прямыми, как у наполеоновских маршалов, спинами, ароматные бриллиантовые дамы... наверное, в таких приблизительно условиях и Нобелевские премии вручают. За открытия.

Почувствуйте разницу.

— А сейчас перед нами выступит человек, которого, я полагаю, нет нужды представлять научной обществу Санкт-Петербурга. Просим, Аркадий Ефимович... Главный ученый Аркадий Ефимович Акишин!

В недобрые тоталитарные времена, подумал Лёка, сидя в восьмом ряду, с краю, с блокнотом на коленях и карандашом в руке, относительно начавшегося после объявления шабаша следовало бы писать так: «Бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Он затравленно озирался, из последних сил стараясь, чтобы эта затравленность не читалась по глазам, не угадывалась по нервным, бессмысленным движениям... Следовало выглядеть заинтересованным и чуть снисходительным; мол, мы с нашим опытом всякое видали, хотя, конечно, радуюсь я вашим достижениям, товарищи ученые, вместе с вами... Нет, думал он, переводя взгляд с одной пары хлопающих пятерней на другую, третью... Это не только деньги. Не только. Они не нищие, им никого не надо хоронить завтра. Это от души.

Маленький и поджарый, сильно пожилой, но очень бодрый и донельзя жизнерадостный человек на трибуне пошелкал по микрофону, как бы проверяя его исправность, а на самом деле — намекая, что он готов говорить и пора бы наступить тишине.

Тишина преданно наступила.

— Рад приветствовать вас, уважаемые коллеги, — весело и очень доброжелательно сказал Акишин. — Видите, как теперь

у нас все человечно и демократично: никаких тебе докторов, никаких кандидатов... никаких, паче того, членкоров и прочих прикормленных тоталитарной властью бояр. Просто все ученые — и один главный ученый. И несколько его ближайших помощников, — он сделал широкий жест в сторону президиума, где сидели вальяжный ректор университета Крепс, рядом с ним — снулый христианский физический гений Щипков и еще несколько человек, которых Лёка не знал.

По залу с готовностью покатился добродушный, одобрителный смех.

Святые угодники, думал Лёка, строча, как заведенный, карандашом в блокноте. И ради этого я сижу здесь — вместо того, чтобы спешить к тете Люсе... которая меня любила, любила... Он мысленно повторял про себя странное слово «любила», пока оно не рассыпалось сверкающим крошечком. Наверное, после смерти родителей она единственный человек, который меня любил... и, наверное, единственный, кого люблю до сих пор я... О Маше он боялся думать, потому что не знал, как к ней относится; иногда ему казалось, что он и по сей день скучает о ней, даже тоскует; иногда он ловил себя на том, что ему хочется о чем-то ей рассказать, чем-то поделиться — но стоило представить, что они и впрямь сызнова вместе, его охватывал тоскливый ужас, и на грудь будто укладывали бетонную плиту. А других после Маши у него не было, и он даже не пытался, например, закрутить любовь, роман, шашни; еще в последние месяцы жизни с женой все, связанное с женщинами, стало вызывать у него лишь смертельную усталость — и гадливость. Точно использованный презерватив.

— Сейчас это кажется уже обыденностью — а сколько усилий понадобилось, чтобы добиться такого положения вещей!

Сложенная вдвое телеграмма, словно горчичник, пекла Лёке сердце из внутреннего кармана пиджака.

— Все мы прекрасно помним, как цеплялась за советскую символику армия России — за все эти красные звезды, за «товарищей», за прочие омерзительные всякому порядочному человеку инсигнии и рудименты сталинизма. Разложившаяся, разъеденная дедовщиной, коррумпированная сверху до низу, неспособная ни к чему, кроме насилия над собственным народом, она всегда была готова к путчу, к установлению фашистской диктатуры и подавлению демократических свобод. Ее невозможно было реформировать. И когда это стало

окончательно ясно, народные избранники сказали свое веское слово: институт Вооруженных Сил в России был упразднен. Демократия одержала очередную, быть может, самую важную в истории страны победу. Все мы прекрасно помним, каким ликованием встретил народ долгожданную отмену ненавистной повинности!

Лёка не успевал слушать подряд — записывая одну фразу, волей-неволей упускал следующую, и потому речь Акишина составлялась для него из каких-то малосвязанных друг с другом обрывков.

— Научное сообщество является далеко не самым многочисленным и далеко не самым важным составным элементом народа, и потому наши победы не идут по своей масштабности ни в какое сравнение с победами общенародными — такими, например, как уже упомянутое мною упразднение армии. Но и нам есть чем гордиться. Сегодня мы празднуем третью годовщину осуществленного с помощью прогрессивной мировой общественности роспуска, я бы даже не отказал себе в удовольствии сказать — разгона, последнего оплота тоталитаризма, обскурантизма, агрессивного русофильства и душевредного безбожия — Академии наук!

Бурные аплодисменты, переходящие в овацию.

— Теперь только личный талант и личная преданность науке определяют положение ученого в нашей среде. Замшелым, окостеневшим, с позволения сказать, авторитетам — это слово ныне вызывает скорее уголовные ассоциации, не правда ли, господа? — которых тоталитарный режим вооружил всевозможными кнутами и пряниками вроде ученых степеней и званий, ВАКов и независимых экспертиз, ручных академических журналов, всегда знающих, кого линчевать, а кого превозносить — всем им указано их истинное место! Хочешь работать — работай! На общих основаниях, из преданности делу, из благородной любознательности. Не хочешь — никто не держит! И посмотрите, как расцвела наука! Посмотрите, посмотрите, — он улыбнулся, явно решив после пафоса подпустить немного добродушного амикошонства, чтобы дать слушателям эмоциональную передышку, — для этого вам достаточно всего лишь оглянуться друг на друга.

Вновь по огромному сверкающему залу покатались благодарные смешки.

— Прежде всего отмечу: за истекший период мы соверши-

ли то, чего не смогли в полной мере совершить — и не могли совершить! — ни горбачевская перестройка, ни реформы первых лет демократии. Мы совершили, не побоюсь этого слова, исторический подвиг гуманизма: полностью и окончательно демилитаризовали науку! Наука перестала быть жупелом, которым вот уже в течение почти полувека, со дня испытания первой советской атомной бомбы, во всем мире пугали маленьких детей!

Бурные аплодисменты.

— Более того, мы повернули науку лицом к людям. Мы сконцентрировали ее на тех направлениях, которые наиболее отвечают потребностям нового общества. Сколько перспективных направлений мы уже закрыли, а горе-ученых, всю жизнь занимавшихся начетничеством и буквоедством под крылышком у власти, отправили на покой! Сколько великих открытий, сулящих неисчислимые блага, уже сделано на самом переднем крае науки за считанные годы свободы! Мы доказали внефизическое и надвременное существование Бога, векториально хронального левовинтовому спинорному полю Вселенной и постоянно удаленного от любой произвольно взятой точки пространства на десять в степени бесконечность сантиметров, — Акишин опять сделал широкий жест, на сей раз персонально в сторону Щипкова, великодушно показывая, кому именно человечество обязано открытием великой истины, и христианский гений все с тем же неизменно унылым выражением на лице несколько раз кивнул: да, мол, да, я... ничего особенного... — Мы добились того, что практическая астрология вошла в повседневный быт людей. Кстати сказать, и в Петербургском сейме, и в законодательных собраниях ближайшего зарубежья, например, как мне точно известно, в Московском меджлисе, уже готовятся законопроекты, предусматривающие ответственность за несоблюдение астрологических рекомендаций, вплоть до крупных штрафов и административных санкций... Далее, мы неопровержимо доказали, что информация принципиально отлична от материи, и поэтому для обнаружения и познания природы тончайших ее структур должны применяться не старые материальные методы научных исследований, основанные на так называемой объективной воспроизводимости экспериментальных результатов — смеху подобно, господа! — а методы сверхчувственного, духовного проникновения в дематериа-

лизованную информационную толщу. Мы доказали и то, что давно предчувствовали лучшие умы — что Ньютон в свое время нелепейшим образом ошибся, и на самом деле во Вселенной царит не мировое тяготение, а мировое отталкивание. В области общественных наук мы убедительно показали, что человечество стоит на пороге постинформационно-ульевой эпохи, и потому все прежние критерии определения степени благосостояния, благодаря абсолютизации которых так кичатся перед нами западные страны, теряют смысл. Наконец, мы вплотную подошли к созданию промышленной модели торсионного генератора — а не мне вам объяснять, господа, что преувеличить значение этого факта поистине невозможно!

Бурные аплодисменты.

Нет, это не сумасшедший дом, думал Лёка, озираясь. Это лица нормальных людей. Ухоженных, умных, торжествующих... Стало быть, все-таки деньги? Ведь не может быть, чтобы они верили во все это, воспринимали все это всерьез... Ну, может, один-два энтузиаста, не больше... да и то лишь вон там, среди молодежи, в дальнем углу, где, оказав им великую честь, рассадили приглашенных сюда лучших студентов Питерского университета. Стало быть, все-таки лишь деньги? Ходили смутные и поразительные слухи о том, какие баснословные суммы тратят то бюджет, то некие международные фонды, чтобы на построссийском пространстве существовала одна вот такая наука, а представители традиционных дисциплин либо выдавливались за его пределы, либо вымирали.

Но нет, не только оплата. Эти лица... Эти люди... Они же рады, счастливы. Они не просто получают хорошие деньги — они получают хорошие деньги, занимаясь любимым делом.

Если бы сейчас к ним пришел кто-то и сказал: послушайте, вы будете получать те же ставки, те же гранты, те же бабки немереные; вы ничего не проиграете ни в материальном смысле, ни в смысле положения в обществе — но займитесь, пожалуйста, реальным делом: чтобы шестеренки крутились, чтобы хоть раз в год скакали, фиксируя ваш долгожданный, выстраданный успех, стрелки на приборах, чтобы в результате ваших усилий происходило нечто настоящее — выздоравливали люди (пусть и не сразу все), птицами летали скоростные поезда (пусть и не сразу повсеместно), всплывали над атмосферой тяжелые ракеты (пусть не каждый день)... Неужели не хотите? Ведь интересно же, увлекательно, здорово! Вы только пред-

ставьте, сказал бы он, какое это счастье, какая светлая и добрая гордость в душе поселяется — если ты вылечил кого-то или что-то построил...

Они бы его загрызли.

Так что не в одних деньгах дело. Деньги нашли этих людей, а эти люди нашли деньги; и получилось между ними такое братское объятие, крепче какого и не бывает, наверное, на белом свете.

Начались вопросы.

— Андрей Пивоваров, факультет постмортальной семиотики. Правда ли, что вам удалось измерить вес души?

— Да. Собственно, подобные эксперименты проводились и ранее, и не только у нас. Но лишь в моем центре удалось, в течение нескольких месяцев взвешивая множество людей до и после их смерти, набрать необходимую статистику и абсолютно точно выяснить разницу в премортальном и постмортальном весе — а эта разница, как легко понять, и составляет вес души. Он оказался равным приблизительно двум граммам у людей с мелкой душонкой и приблизительно семи, а то и восьми — у людей великодушных.

— Борис Судейкин, факультет телекинематики. Аркадий Ефимович, может, мой вопрос покажется вам слишком мелким и незначительным для сегодняшнего дня, но... понимаете... наша группа уже давно пытается поставить описанные вами еще несколько лет назад эксперименты по изменению усилием воли скорости распада урана и стронция, а также направленности электромагнитных и лазерных пучков. И ни у одного из нас... а нас пятеро... ни разу ничего не получилось. Мы очень ждали этого дня, потому что хотели спросить именно вас. Не могли бы вы нам что-то посоветовать...

— Плохо старались, юноша! — громово прервал его Акишин, не дослушав. — Плохо старались! Мужчина должен воспитывать в себе силу воли — а у вас ее явно недостает! Сядьте!!

— Зарема Гаджиева, факультет прикладной астрологии. Скажите, пожалуйста, глубокоуважаемый Аркадий Ефимович, почему почти все эти важнейшие исследования, которые, как все мы знаем, столь полезны и перспективны, не проводятся или почти не проводятся в странах Запада, которые по-прежнему отдают предпочтение традиционным направлениям и методикам?

Акишин снисходительно засмеялся.

— Мне странно слышать этот вопрос. Неужели вы сами не понимаете?

Поднявшаяся в одном из последних рядов тоненькая, яркая брюнетка покраснела, будто маков цвет, и провалилась за головы сидящих впереди нее.

— Впрочем, отвечу. Это ведь очень просто, милая Зарема... мы ведь только что говорили о том, что проникновение в тонкие миры может быть исключительно информационным, сиречь духовным. Западные люди с их обедненной духовностью не способны на него! Мы идем своими ногами — а им требуются подпорки в виде точных приборов, повторяемости результатов и прочего, что мы давно отвергли.

Он мог себе позволить даже такое.

И, натурально, теперь уж не могли не последовать бурные аплодисменты, переходящие в овацию.

Было около половины шестого, когда официальная часть подошла к концу. Низы «просто ученых» и студенты, смутно и слитно гомоня, как всегда гомонит после какого-либо действия долго молчавшая и полная впечатлений публика, начали медленно расходиться, толпясь возле ведущих наружу узких дверей, а избранные «просто ученые», тоже обмениваясь впечатлениями, подчас — и рукопожатиями, если не успели этого сделать до заседания, медленно утягивались в соседнее помещение, где для них устраивали фуршет. Аккредитация давала Лёке возможность пойти и на фуршет, но Лёка не знал, что ему делать, и нерешительно стыл в проходе между креслами — его то задевали идущие на выход, то идущие туда, где был накрыт стол. В сущности, материала хватало на десять статей — вопрос был не в материале, а в том, что тут вообще можно написать, ежели совесть еще не ампутирована; Лёка старался пока не думать об этом. Но фанатичная добросовестность не позволяла ему уйти, пока те, слушать кого он пришел, собираются еще хоть что-то говорить, и вдобавок — в суженном кругу; казалось, дело не будет доведено до конца, если уйти вот так. Даже жгущая грудь телеграмма не могла перебороть его фанатизма — лишь заставляла Лёку ненавидеть себя за нерешительность и рабью кровь.

В боковом кармане пиджака у него захрюкал Моцарта мобильник.

— Алё, Лёка?

Это был господин Дарт.

- Добрый вечер, Дарт.
- Ну как там? Кончилось?
- Торжественная часть кончилась.
- Интересно?
- Не то слово.
- Сделаешь статью?

— Сделаю. Нынче же в ночь сделаю, потому что... Хорошо, что ты позвонил, я сейчас торчу одной ногой направо, другой налево, потому что у меня...

Неловко стоя посреди двух людских потоков, Лёка вкратце изложил работодателю ситуацию.

— Ну ты человек из железа! — с ироничным восхищением отреагировал на его историю господин Дарт. — Какие сомнения! Конечно, плюнь на этот фуршет и беги в ОВИР, может, еще успеешь! Ночью экспрессов до Москвы предостаточно...

Лёка прервал контакт, заблокировал клавиатуру, торопливо сунул мобильник обратно в карман и, юля меж бесчисленных ученых, начал продавливаться к выходу. Но не прошел он и пяти семенящих шагов, кто-то взял его за локоть.

Он обернулся. Перед ним стоял высокий худой старик с кучей, ключьями поседевшей бородой и неожиданно молодым, ярким взглядом запрятанных под кустистыми бровями глаз.

— Что такое? — возмутился Лёка.

— Простите великодушно... Вы ведь Небошлепов, да?

— Да... Откуда вы...

— Я, знаете ли, читал несколько ваших статей и видел фотографии. Вы очень похожи на свои фотографии... Я Иван Обиванкин.

— Очень приятно... — автоматически пробормотал Лёка.

— Господин Небошлепов...

И тут мимо них, слегка задев Лёку локтем, прошествовал в окружении небольшой, но яркой свиты сам Акишин. Лёка рывком обернулся (он терпеть не мог, когда до него хоть чуть-чуть дотрагивались) и успел поймать взгляд — какой-то испытующий, настороженный, пристреливающийся... Потом он понял, что главный ученый смотрит не на него, скорее — сквозь него. На этого самого Обиванкина, похоже. И, похоже, этак вот прицельно вглядываясь, Акишин пытается что-то сообразить или вспомнить... Ошутив, как усталился на него Лёка, главный ученый чуть кивнул ему, словно бы здороваясь.

— Я рад, — проговорил он, замедлив шаг, — что о сегодняшнем заседании будет писать столь известный журналист. Для какого издания вы сейчас работаете?

— Для «Русской газеты», — растерянно ответил Лёка; хотя многие газеты и впрямь, разнообразно и оживляя пространство текста хоть какой, да картинкой, приверстывали его фотопортреты к его статьям, да и по телевидению он выступал немало — он так и не привык, что его узнают.

— Хорошее издание, — величаво одобрил Акишин. — Милости просим присоединиться к нам, стол уже накрыт.

— Боюсь, мне уже надо бежать... — с великим трудом отказал Лёка после долгого внутреннего усилия. — Я хочу успеть сделать материал уже нынче, чтобы он попал в завтрашний номер.

— Примите нашу благодарность, — молвил тогда Акишин, и не понять было: благодарит ли он от лица всей научной общественности, или говорит о себе во множественном числе. — Всего доброго.

И, в сопровождении синхронно с ним вставшей и синхронно же вновь сдвинувшейся с места свиты, он проследовал далее, навстречу фуршету.

Станный Обиванкин за время разговора, к сожалению, не исчез. Только отвернулся, состроив мину, будто озирает зал.

На него Акишин смотрел, на него... Нехорошо смотрел.

— Мне очень нужно с вами поговорить, — отрывисто и вполголоса сказал Обиванкин.

— Говорите, но прошу вас, пожалуйста...

— Не здесь, — коротко оборвал его Обиванкин. Словно одним ударом гвоздь забил.

5

Они вышли на набережную, свернули направо; дошли до Менделеевской. Вокруг еще роились расходящиеся толпы. Обиванкин толком ничего не говорил, хотя вроде бы говорил непрерывно, во всяком случае, непрерывно спрашивал: каково впечатление Небошлепова от прошедшего мероприятия, каково его отношение к последним достижениям духовных наук, о которых нынче столь ярко говорил главный ученый... Это напоминало дурную комедию, водевиль, поставленный в психушке: голос Обиванкина явно начинал скрежетать от

плохо скрываемой ненависти, едва он произносил фамилию Акишина — но слова он подбирал вполне в духе времени; а Лёка, не ведая, что за фрукт перед ним нарисовался, вполне в духе времени же отвечал: очень интересный и емкий доклад, прекрасное владение аудиторией, я узнал много нового...

Возле бывшего истфака — ныне здесь расположился факультет уфологии, и, конечно, именно благодаря этому давным-давно облупленный и обкрошившийся корпус отремонтировали, оштукатурили, выкрасили и превратили в лакомую конфетку. Тут уже стало почти безлюдно, а разнаряженных участников ученого собрания не видно было ни единого; и Лёка сообразил, что именно пока эти самые участники наблюдались в непосредственной близости, Обиванкин нес правильную ахинею и вызывал нести равноценную ахинею и его; а теперь пришло время настоящего разговора.

Лёка угадал.

Обиванкин сызнава взял его за локоть и глухо, явно стесняясь, сказал:

— Господин Небошлепов, я прошу вас отнестись к моим словам со всей серьезностью. Мне нужна ваша помощь. Мне очень нужна ваша помощь.

— Что такое?

— Я пробрался на заседание, потому что надеялся встретить кого-нибудь из прежних коллег и обратиться к ним... Но никого не осталось. Никого. А ваши статьи я действительно читал, и, право слово, вы тот человек, который меня поймет...

О господи, подумал Лёка устало. Опять я кого-то вот-вот пойму.

— Которому я могу доверять и который способен помочь, если... если... неважно. Я не буду ничего объяснять, не хочу подвергать вас лишней опасности. Просто я, уж простите великодушно, случайно слышал ваш разговор по телефону и...

— Хватит, — сказал Лёка, неимоверным усилием решившись прервать старика. — Я завтра же должен ехать...

Однако в душе у него уже будто пшикнула газовая граната; в одно мгновение густой, удушливый — нервно-паралитический, несомненно — чад безнадежности заполнил все пространство, какое еще оставалось. И парализовал. Старик был так взволнован, просил так настойчиво и униженно, что, по инерции еще сопротивляясь внешне, сам Лёка уже понял, что

уступит. Какую бы нелепицу ни придумал нелепый Обиванкин — уступит. Ничего не поделаешь.

— О том и речь, — с настойчивостью отчаяния прервал Обиванкин. — Мне необходимо... мне крайне необходимо попасть в Москву. И у меня нет ни малейших формальных поводов для получения визы. Впишите меня в подорожную.

— Да вы что, — сказал Лёка. Парализованная воля подергивалась в последних конвульсиях. — Да с какой стати?

— Не знаю, — честно ответил Обиванкин. — Давайте подумаем вместе. Родственник... друг... Поверьте, это действительно крайне важно.

— Почему?

Ну зачем, зачем я задаю вопросы? Позволяю втянуть себя в обсуждение, вместо того чтобы одним словом решительно прекратить издевательство над собой?

Обиванкин поколебался и беспомощно пробормотал:

— Вам и правда лучше не знать.

— Нет, господин Обиванкин, так не делается...

— На вас вся моя надежда! Это срочно и очень важно, от этого зависит, быть может, вся дальнейшая судьба нашей несчастной...

И тут кто-то дернул Лёку за полу пиджака.

Лёка рывком обернулся.

Перед ним стоял пацан лет пятнадцати и настороженно заглядывал ему в глаза.

Чем-то он показался Лёке знакомым... где-то Лёка его видел...

Пацан молчал — и Лёка тоже молчал растерянно, совсем уж не зная, как реагировать на обвал событий. Обиванкин кашлянул и пробормотал:

— Молодой человек, у нас важный разго...

— Здравствуй... — сказал пацан, не отводя от Лёки взгляда, и после паузы с усилием добавил: — Папа.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

1

Этот тощий, угловатый шпаненок, от которого разит пивом и куревом, с прыщами на лбу и неопрятным пухом на подбородке и под носом — мой сын?

Лёка помнил его чистеньким, милым, пахнувшим молоком; росточком — ему, Лёке, по пояс...

Ребенком помнил.

А теперь он был уже отнюдь не ребенок.

Четыре года прошло? Нет, почти пять...

Однако это, несомненно, был он. Если бы парень сам не назвал его папой, Лёка, наверное, вспомнил бы его, узнал бы через несколько мгновений. Просто все произошло слишком неожиданно. Невообразимо неожиданно. Бывает часто: встречаешь человека, с которым хорошо знаком, но привык видеть лишь в каком-то определенном месте — и, неожиданно столкнувшись в другом, узнаешь только после того, как несколько мучительных мгновений лихорадочно роешься в каталогах памяти: ну ведь я же его определенно знаю! ну кто же он такой?

— Молодой человек, — скрежещуще произнес Обиванкин. — С папой вы успеете наговориться дома. У меня к вашему отцу...

— Послушайте, Обиванкин, — негромко и бесстрастно сказал Лёка. — Помолчите.

Как ни странно, старик повиновался.

Как ни странно, Лёка не испытал ни малейших угрызений совести от того, что его просьба, да еще и сформулированная столь жестко, оказалась беспрекословно выполненной. Собственно, он даже не заметил того.

— Как ты здесь оказался? — глупо спросил Лёка.

— Ну, типа... шел, шел — и оказался.

Действительно. Что с того, что это очень далеко от дома? Провожать мальчика в школу, переводя через две опасные улицы, наверное, уже не надо.

Пять лет прошло. Он стал на пять лет старше.

А мы с Машей — на пять лет старше.

— У меня вообще-то к тебе типа дело, па, — окончательно наглей от неловкости, сказал шпаненок. Нет, сын.

— Как ты меня нашел, Леня?

— А я не искал. Мы как бы с другом гуляем... — сын обернулся. — Вон он стоит. Нат! Нат, рули ближе! — он сделал приглашающий знак рукой. И когда второй мальчишка подошел, проговорил с непонятной интонацией: — Познакомься, это мой... папа. Это правда мой папа.

После первой растерянности, которая, взвихрившись, осе-

ла на удивление быстро, Лёка не чувствовал теперь ничего. Совсем ничего. Душу словно кто-то высосал; вставил в грудь пылесос и в два счета очистил пространство. Чисто и пусто. Аккуратный такой вакуум.

Лёка протянул другу сына руку.

— Рад познакомиться, — сказал он. — Алексей Анатольевич.

— Нат, — сказал Нат, вежливо пожав Лёкину ладонь.

— А по-русски?

— А по-русски — Натан, — сказал друг сына и чуть улыбнулся.

— Понятно, — понял его тонкий юмор Лёка и, улыбнулся в ответ: — Замечательное русское имя. Рад познакомиться, Натан.

От Натана тоже пахло пивом и куревом.

Все было очень уж просто. Невозможно просто. Равнодушно просто...

А чего было я хотел? Индийского фильма с рыданиями и объятиями?

Вот сам и начни, предложил он себе.

Нет, но... Мы же пять лет не виделись! И это мой сын!!

— Послушай, Леня...

— Меня зовут Лэй, — сказал Лэй.

— Под китайца косишь? — спросил Лёка, в единый миг машинально перепархивая на тот, казалось бы, окончательно забытый язык, на котором они с приятелями трендели в молодости.

А с ним, оказывается, можно как с человеком разговаривать, подумал Лэй. От неожиданного открытия ему сделалось легче.

— Почему под китайца?

— Бог грома у китайцев назывался Лэй-гун. Стало быть, Лэй — по-китайски гром.

— Откуда ты знаешь? — искренне удивился Лэй.

— Из книжек помню, в детстве читал... Ты книжки читаешь?

Лэй только досадливо поморщился в ответ — и сказал:

— Тут без национальной принадлежности, типа. Так короче.

— Ну, раз короче... — Лёка глубоко вздохнул, собираясь с силами, и сказал: — Тогда привет, Лэй. Рад тебя видеть.

И протянул сыну руку.

После едва уловимой заминки сын ее пожал.

Ему-то хорошо, подумал Лёка. Мне бы сейчас тоже не помешало выпить.

«Что за комедию они ломают?» — в недоумении гадал Обиванкин. Конечно, ему следовало бы оскорбленно повернуться и уйти, он понимал это, но... И как им невдомек, думал он, что, пока они занимаются пустяками, играют в свои семейные игры — на чашу весов брошено столь многое...

Именно поэтому он терпеливо маячил за Лёкиной спиной и ждал.

Разговор прервался.

Потом Лэй выпустил ладонь отца, кашлянул и неловким баском сказал:

— Так вот, пап, тут такая ботва...

Из пиджачного кармана захрюкал Моцарт.

— Алё!

Напрыгнул, конечно, опять неумный господин Дарт.

— Ну как, Лёка? Успел в ОВИР?

— Нет, — коротко ответил Лёка, делая в сторону Лэя виноватое лицо: мол, извини, это вынужденно и ненадолго... Точно такую же мину, молча прося прощения за паузу в разговоре, он скорчил бы, если б звонок прервал его беседу с любым случайным собеседником.

А то был сын.

Он в ответ сделал успокоительное лицо: ничего, мол, трепись, дело житейское.

Так, как сделал бы на его месте любой.

— Ну, смотри... — проговорил господин Дарт. — А я хотел узнать точно, едешь ты или нет, и если едешь, то когда. Я твой материал уже велел в завтрашний номер ставить, так что ждем.

— Хорошо. Ночью пришло, часам к трем будет у вас. Так что утром лови.

— О'кей.

Лёка отключился и сунул мобильник в карман; Нат, наклонившись к уху Лэя, что-то тихонько сказал ему — и Лэй, кивнув, пробасил:

— Пап, дай поюзерить.

И протянул руку открытой ладонью вверх.

Лёка понял смысл просьбы лишь через мгновение. Вытащил телефон и, ни о чем не спрашивая, протянул его сыну.

Тот, в свою очередь, передал трубку Нату; Нат, путаясь пальцами в явственно непривычных мелких кнопках, натискал какой-то номер и приложил трубку к уху.

«И как долго все это будет продолжаться?» — в отчаянии гадал Обиванкин.

Повернуться и уйти... Повернуться и уйти... А потом? Где я буду искать другого человека, не продавшегося с потрохами оккупантам — и в то же время с перспективой в ближайшее время на абсолютно официальном основании добраться до Москвы?

И он терпеливо сопел, стоя у Лёки за спиной, и в нарочитой вальяжной рассеянности («безмятежно прогуливаюсь, поняли?!») оглядывал родные еще с середины прошлого века окрестности, такие массивные, весомые, каменные, такие неизменные: проходит десять лет, пятнадцать, возвращаешься в Питер из степей — а на том же самом месте стоят и, словно могучие линкоры, пропарывают жидкие струи времени, скользящие вдоль из несокрушимых бортов, и Двенадцать коллегий, и серая Бастилия БАНа, все неизменно милые сердцу и — теперь надрывающие сердце: здания те же, но жизнь в них совсем иная, а то и вовсе нету жизни в них, выкурили, как назойливых ос из гнезда... Что сейчас в Библиотеке Академии — ежели самой Академии нет? Обиванкин не знал и боялся узнать.

— Сонька? — сказал Нат. — Это я, ага... Живой, живой. Что, теперь в Автово взрыв? Не, мы совсем в другой степи... С Лэем загуляли малехо. Не, потом, я по чужой мобиле... Предкам отсигналь — вот я звоню. Ага. Вечером приду, расскажу.

Он отключился и передал трубку Лэю.

Тот помедлил, потом кинул нерешительный взгляд на Лёку; Лёка в ответ лишь удивленно задрал брови: мол, какие проблемы? Тогда Лэй решительно принялся нажимать попискивающие на разные голоса кнопки.

— Мама? — сказал он, и у Лёки по сердцу снова будто треснули монтировкой. Ага, подумал Лёка с каким-то мазохистским удовлетворением, стало быть, я все ж таки еще не совсем мертвый...

Маша была буквально рядом. На противоположном краю разговора.

Только разговор вел не он, не Лёка. Он в разговоре этом даже не участвовал. Его словно бы не существовало.

Близость была иллюзорна. Точно так же, как все последние годы — в одном городе, на одних улицах... Может, в позапрошлом году мы в какой-нибудь день ехали в соседних вагонах метро. Ну и что?

— Со мной все нормалек. Просто гуляем с Натом. Ага, немножко попили... Нет, что ты, одно пиво. По голосу чувствуешь? Ну, ты даешь! А? На Васькином, вот уже скоро шустрим до хаты. Ага. Нет, ни к кому не зашли. Тут... — он мигнул на Лёку коротким взглядом исподлобья и опять спрятал глаза. — Тут один друг свою мабу поюзерить дал на минутку. День как прошел? Дома расскажу.

Он отключился. Протянул телефон отцу и сказал:

— Спасибо.

— Не за что, — ответил Лёка.

Голос не дрожал. И дыхание вроде уже пришло в норму... Сердце колошматило, конечно, но уж не выпрыгивало, не то, что несколько секунд назад.

Друг, значит.

— Вы же голодные! — сообразил он. — С утра не евши!

— Жидким хлебом напитались, — сказал Лэй.

— Закусывать надо, — нравоучительно произнес Лёка. — В здешних краях наверняка столовки есть, айда?

— Да мне бы домой бы, — сказал Лэй.

— По-любому, — добавил Нат, и они оба засмеялись чему-то своему. Наверное, это была некая цитата; Лёка помнил, как они с друзьями к делу и не к делу (например, когда их прихватывали по случаю безбилетного проезда в трамвае) обменивались репликами вроде «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные» — «Не советую, гражданин... мнэ-э... съедят» (Лёка до сих пор отчаянно скучал по таким разговорам, но нынче играть в столь интеллектуальный пинг-понг стало просто не с кем) — и довольно ржали, наблюдая полнейшее непонимание и недоумение со стороны взрослых. Вот точно так же, как эти сейчас.

Эти.

Сын и его друг.

С ума сойти.

Давненько я не вспоминал любимых цитат... думал, давно уж все они выветрились из памяти; а вот поди ж ты, стоило

только возникнуть подходящей ситуации — как миленькие, вылетели вдгон из мглы. Нуль-транспортировка из прошлого. Или, наоборот, меня туда. Вон, мне в первый момент показалось, будто малыш Леня далеко от дома забрел, в такую даль без папы или мамы нельзя...

На семейной артерии бытия у меня выкромсано пять лет: последний день нашей общей тогдашней жизни — и к нему наспех, через край, подшит сразу сегодняшний день.

А за это время...

А забавно. У власти окончательно утвердились те, кого в ту пору, когда мы с друзьями перепасовывались репликами про серых и про мнэ, сочли бы безупречно, безоговорочно белыми. Все так или иначе ущемлены или поруганы Совдепом, все горят праведной ненавистью к тоталитаризму, все борцы да правозащитники, тот из хельсинкской группы, эта из «Континента», этот из «Немецкой волны», этот и вообще сидел... А гражданина все равно съели. В чем тут дело?

В серости?

В равной серости тех, кто бел и кто черен?

Ладно, подумаю позже. Например, в поезде, когда буду в Москву ехать...

Да, собственно, что там... История вознесла их сперва к духовной, а потом и к политической власти, да столь безоговорочно, что прежним рулевым, дабы остаться при должностях, пришлось всерьез косить под этих белоснежных. Не имея никакой программы, помимо пресловутого разрушения старого мира до основания, они без тени сомнения или раскаяния оглушили вместе с тоталитаризмом всю систему управления. Армия озабочена лишь подготовкой реакционного переворота! Спецслужбы заняты лишь травлей и подавлением свободомыслия! Наука насквозь милитаризована и ни на что не способна, повернуть ее лицом к народу! Заводы и фабрики должны производить исключительно товары народного потребления! Номенклатура поголовно безграмотна и думает лишь о своих привилегиях! Да, они кричали свою выстраданную правду честно, из сердца, большинство из них вполне искренне хотело, чтобы все сразу вдруг стало хорошо, их правда и впрямь отражала одну из сторон действительности; но праведники-то были уверены, что это — ВСЯ действительность! А когда народ застонал от ударивших в расцвете надежд голода, холода, хаоса и нового унижения (шок — по-

жалуйста, а терапия только за дополнительную плату), они перенесли свою благородную ненависть к режиму на весь народ (Россия, ты сошла с ума!), уверив себя, будто он стонет единственно оттого, что затосковал, как по теории и положению неожиданно-негаданно обретшему свободу рабу, по твердой руке. Эти несчастные не умели ничего, лишь обличать всех и во всем. И уже в середине девяносто второго им срочно понадобилось бежать к кому-нибудь спастись — то бишь передоверить реальное управление либо вынырнувшему вору да проворным и опытным, к тому времени уже изрядно партийным теневикум, у которых за душой не было ничего, кроме как продать и пожрать — либо бескорыстно заботливым западным дядям, всю жизнь их, белых праведников, кормившим и хвалившим (ви есть единственный свободный льюди в этот царство поголовный рабство, арн'т ю?), а вдобавок вооруженным очередным единственно правильным учением...

Предпочли западных. А могли бы предпочесть ворье, вряд ли разница оказалась бы принципиальна — так, нюансы: ведь, как ни кинь, между ворьем и дядями все равно неизбежен был ураганный общий бизнес, и праведникам, этой броской этикетке Нового Порядка (трэйд марк — «узник совести»), все равно надлежало бы либо включаться, либо вылетать из властных структур; но — предпочли западных, они роднее...

Все словно по писаному. «В конце года Воды — такой-то год по новому летосчислению — центробежные процессы в древней империи стали значимыми... Позвольте представить: наместник Святого Ордена!.. А как пахли горящие трупы на столбах, вы знаете? А вы видели когда-нибудь голую женщину со вспоротым животом, лежащую в уличной пыли?»

Смешно, мы теперь знаем даже, что такое конец года Воды по нашему летосчислению: декабрь девяносто первого...

Он очнулся.

На него смотрели все. Молчание затянулось.

— Ты чего, пап? — встревоженно спросил Лэй, почувствовав, что Лёка вернулся к ним. — Обкурился?

Он чуть качнул головой и ответил негромко:

— Нет, сын. Просто задумался.

— Вот так вот прямо тут стоя? — недоверчиво пробормотал Лэй. — Гонишь...

Лёка улыбнулся.

— Я отвезу вас домой, — сказал он. — Идет? У меня машина.

Парни переглянулись, и Лэй сказал:

— Идет.

Они пошли к стоянке, и Обиванкин, точно безнадежно влюбленный телеграфный столб, потащился на полшага сзади. Парни покосились на него, но вежливо (а может, равнодушно) смолчали. Лёка старательно не оглядывался на величавого старика с несчастными, умоляющими глазами.

Округлый «Москвич» с Кремлевской башней и лучшей звездой во лбу был куплен еще отцом Лёки. Каким-то чудом он до сих пор бегал, никого не оставляя равнодушным: одни при его появлении ностальгически вздыхали, другие кривили губы с высокомерной издевкой; однажды на заиндевевшем боку своего транспортного средства, робко зябнувшего на платной стоянке среди иномарок, напыщенных, как построенные повзводно герцоги, Лёка увидел размашистую надпись пальцем: «Народ и партия едины!»

— Крутая тачка, — сказал Лэй, внимательно, с видом знатока разглядывая машину. — Угарная.

— Антиквариат, — ответил Лёка, открывая машину. — Я же эксцентричный миллионер, ты не знал?

— Нет, — нерешительно произнес сын, и по голосу чувствовалось: он не может решить, конкретно отец говорит или прикалывается. Шутка не получилась: сын не мог знать его финансового положения — а по крайней мере выглядеть Лёка старался так, чтобы быть на уровне. Профессия.

— Ну вот знай, — он не стал отыгрывать назад, а лишь довел шутку до абсурда. — Только не говори никому, засмеют. Я это тщательно скрываю.

— Гонишь, пап, — понял Лэй.

— Конечно, гоню, — улыбнулся Лёка. — Я вас с мамой на нем из родилки забирал, не помнишь?

— Не помню... — серьезно ответил Лэй, потом глаза его засмеялись. — Типа как я могу помнить-то?

— Да я шучу. Залезай.

Лэй не двигался, продолжая задумчиво смотреть на кремлевский лоб машины.

— А как бы и помню... Но она тогда была гораздо больше... и красивей. На залив мы, что ли, на ней ездили?

— На ней, — дрогнувшим голосом проговорил Лёка сквозь

внезапно вспухший горячий ком в горле. — И не раз. Правда помнишь?

— В натуре.

— Залезай. Ты тоже, Нат...

И тут бессловесный, безропотный Обиванкин, по-прежнему ни слова не говоря, взялся за ручку передней правой двери.

— Господин Обиванкин, — устало сказал Лёка. — А вы куда?

Обиванкин глянул на Лёку затравленным взглядом.

Высокий, худой и жилистый, с сильным, лобастым лицом и мощными надбровьями, с седой бородой... Ему бы в кино вождей играть, или могучих чародеев... Гэндальфов всяких, или... как его... Оби ван Кенноби... А он так смотрит. Даже голову в плечи втянул.

Лёке стало невыносимо жалко старика.

С той храбростью, какую дает предельное отчаяние, Обиванкин, стараясь говорить непринужденно и твердо, произнес, не выпуская ручку двери:

— Мы же с вами договорились, что едем в Москву вместе, только не успели обговорить детали.

Лёка мгновение помолчал, потом сказал:

— Ребята, располагайтесь сзади. Со мной господин Обиванкин сядет.

2

Личный шофер доставил Аркадия Акишина домой, на Петровскую набережную, около восьми часов вечера. Наиболее стойкие и целеустремленные любители фуршетов еще остались фуршевовать в научном центре до состояния полного отдохновения или, разбившись на приватные группки, расплозились кто куда продолжать празднование славной годовщины наособицу; но главный ученый, еще в начале заседания собиравшийся сделать то же самое с избранным кругом ближайших приверженцев, резко поменял планы — и сбежал, как только это оказалось мало-мальски приличным.

Казалось, он достиг всего, о чем лишь можно было мечтать.

Но в душе неизгонимо квартировал, то притапливаясь в мутной жиже размеренного рутинного администрирования, а

в моменты акишинских триумфов и вовсе подныривая под нагромодившиеся на ее поверхности размокшие доллары и евро, то вновь неторопливо выявляясь из глинистой глубины — страх. Точно леший. Водяной, да. Жуткая грязная харя раздвигала злорадно подергивающимся пятакком вороха опавшей зелени и скалилась из-под них: вот сейчас, вот! Ужо берегись!!

Это отравляло все.

Однажды Акишина уже схватили за руку. Казус случился давным-давно, летом девяносто первого; не помогли ни покровители из Минобороны и Комитета, с которыми он честно делил умопомрачительные ассигнования по сверхсекретным статьям, ни торопливое кликушество в Совмине насчет того, что, ежели Акишина хоть пальцем тронут, Америка нас обгонит... Вдруг пришли те, кто все знал. Нет, даже не так, еще хуже: пришли те, кто знал, безусловно, совсем не все, но умел узнавать то, чего не знал; то, чего никто еще не знал. Пришли те, кто умел узнавать, откуда берутся нейтрино, почему горят звезды, что за нечистая сила заставляет парить сверхпроводники... И высекли, как мальчишку. Не миновать было тюрьмы, но Господь услышал его молитвы и послал помощь оттуда, откуда ждать ее и в голову не приходило: развалился Союз, и стало не до Акишина и вообще не до тех, кто годами доил казавшуюся неисчерпаемой союзную казну. Начался лихорадочный и уже вполне легальный дележ ее остатков — какие там расследования...

Но с тех пор страшная харя чуть ли не каждую ночь подмигивала из мутной жижи, лишая покоя и даже намек на счастье: ага, вот уж! вот придет тот, кто знает! с таким треском вся твоя шарманка лопнет — костей не соберешь!!

И сегодня он пришел.

Акишин не сразу вспомнил, кто тот худой потрепанный старик, с которым он столкнулся в зале — где не могло быть таких, как он, просто не могло. Откуда он там взялся? И главное, с какой целью?

Да к тому же под ручку с известным журналистом, а тот, как отметил еще с трибуны острый, наметанный на такие вещи глаз Акишина, — строчил в своем блокноте полтора часа кряду, не переставая.

О чем они говорили? О чем сговаривались?!

«Камю» и «Гленливет» не лезли в горло...

Не переодеваясь в домашнее и даже не разуваясь, Акишин торопливо сел к столу, включил ноутбук — не им придуманный, не им, а такими, как тот, кого не должно было быть нынче в зале! И, едва засветился экран, зашелестел по клавиатуре пальцами.

Главное — ничего не упустить. Правильно выстроить логическую цепочку.

Давно запятнал и разоблачил себя красно-коричневыми высказываниями, например: «Советская наука является одной из наиболее мощных и динамично развивающихся в мире»...

Не располагаю точной и исчерпывающей информацией, но, по некоторым признакам, имел отношение к ракетостроению, следовательно, к военно-промышленному комплексу, следовательно, вполне может оказаться военным преступником и подлежать юрисдикции Гаагского трибунала...

Неизвестно, где он провел все эти годы и чем занимался...

Следовало бы выяснить по крайней мере, каким образом и с какой целью он оказался на закрытом заседании...

Может представлять опасность...

Вызывает недоумение явный недосмотр компетентных органов...

Завершив составление документа, Акишин перечел его, заменил несколько выражений более точными и простыми — и «Сократом» перевел на английский. Цену программам-переводчикам понаслышке он знал: например, московский топоним Теплый Стан они переводят «warm figure» (хорошо хоть, не «warm body») — но делать было нечего: сам главный ученый в приемлемой степени не знал ни единого иностранного языка, а уважение, оказанное адресату, — важнее грамматики. Потому что это не просто адресат. Выказать уважение главному языку демократии — все равно что выказать уважение самой демократии.

И электронной почтой отправил письмо по далеко не всем известному адресу в наблюдательный отдел Международного фонда содействия развитию славянской письменности.

Все заняло каких-то сорок минут.

Страх унялся.

Чуть-чуть.

Документ № 5

Конфиденциально

...Как человек, выросший в демократическом обществе и всей душой исповедующий его ценности, я питаю глубокое отвращение ко всем типам полицейского государства и ко всем видам тотального полицейского надзора. Я понимаю, что, по большому счету, такой надзор ничем не может быть оправдан и в исторической перспективе он раньше или позже повсеместно сойдет на нет.

Но, с другой стороны, мы должны исходить из реального положения вещей. Большинство квазигосударственных образований, возникших в настоящее время на построссийском пространстве, все еще населены в основном представителями русской народности, а также народностей, духовно близких русским. Они до сих пор не избавились от пережитков православно-имперской ментальности. Несмотря на повсеместное утверждение там демократических институтов и процедур, от них можно ждать каких угодно рецидивов. За ними нужен, говоря по-русски, *glaz da glaz*...

Из аналитической записки шефа русского отдела ЦРУ Джозефа Блументаля. 14 июля 1992.

Документ № 6

Никто нас не ненавидит. Никто не строит тайных козней со специальной целью истребить Святую Русь или, скажем, православие. Все эти мотивации слишком возвышенны, слишком эмоциональны для современной политики. Они еще работают на индивидуальном уровне (какие-то арабы ненавидят Израиль, какие-то русские ненавидят Германию и пр.), но там, где царит лишь стремление к собственной выгоде, там, где думают только о себе — а как раз так строится международная политика, — столь величавым и мрачным страстям места нет. Так что по этому поводу можно успокоиться.

Однако ж забота о себе может принимать разные формы. Уж так скроили небеса наш глобус, что единственным реальным конкурентом США по ресурсам своим (а к ресурсам я отношу и интеллектуальный потенциал, или, говоря проще, одаренность народа, которая столь же от природы, сколь запасы нефти или древесины) является Советский Союз. А кто любит единственного конкурента? Кто может искренне желать ему добра?

Представим себе, что в доме, который мы считаем своим, вдруг ни с того ни с сего завелся не жучок, не паучок, не хомячок и не мышка, которых можно либо легко прихлопнуть, либо приручить для развлечения — а целый другой человек? Не твой родственник или ребенок, а — просто иной, чужой?

Первым порывом, разумеется, будет вышвырнуть его во тьму внешнюю. Однако не получается — кишка тонка. Позвать милицию? Нету такой милиции...

И вот начинается совместная жизнь.

Мы-то знаем, что она может протекать в основном двояко. Можно вежливо улыбаться, встречаясь у мест общего пользования, и при том гадить соседу всеми доступными способами. И можно постараться путем взаимных уступок и реверансов наладить более-менее сносное житье. Мы можем даже подружиться с неожиданным соседушкой. Мы можем вместе с ним смотреть телевизор, вместе кушать чай и водку, можем найти его, в конце концов, приятным собеседником и отличным другом...

И тем не менее, если мы продолжаем считать этот дом своим, мы избавимся от навязанного судьбой приятеля при первой возможности — вполне возможно, с тем, чтобы, благополучно разехавшись, продолжать дружить с ним домами. Но — разными домами, разными.

Это естественно. Это отнюдь не значит, что мы — плохие. Это значит лишь, что мы считаем этот дом только своим.

Вот уж века два, по меньшей мере, евроатлантическая цивилизация считает Землю своим, и только своим домом.

Поначалу, когда, с одной стороны, остальные квартиро-съемщики тянулись за европейской культурой, старались и душой, и галстуками стать европейцами и американцами, а с другой — ресурсы дома представлялись безграничными и неисчерпаемыми, эта цивилизация жила с более-менее осознаваемым стремлением всех превратить в европейцев и американцев и таким образом решить проблему иных. Иных не станет, потому что они должны перестать быть иными.

Относительно недавно выяснилось, что, с одной стороны, иные вовсе не стремятся утратить свое лицо, свои песенки, свои ценности и свой образ жизни, а с другой, ресурсы дома очень даже ограничены; и если все неевропейцы постараются в материальном смысле зажить, как европейцы и американ-

цы, самим европейцам и американцам, в материальном же смысле, вскорости придется жить, как эфиопам.

Стало быть, иных должно не стать потому, что они должны перестать быть.

И вот точнехонько в момент осознания западными аналитиками этого невеселого факта у нас грянула перестройка. Коммунистический СССР на протяжении нескольких десятилетий тоже претендовал на то, что весь мир — его дом, и все иные должны перестать быть иными. Кишка, как и следовало ожидать, оказалась тонка. И, едва смыв первую грязь спровоцировавшего его на столь неадекватную политику учения (рожденного европейской цивилизацией, кстати), СССР очнувшись, проморгался слегка и воскликнул: ребята, это же наш общий дом! Не мой и не ваш, а наш!

Чем руководствовались в тот момент вожди — разговор особый; но мы-то в массе своей приняли их миролюбивую политику всем сердцем!

Как ни возмущайся столь унижительным для особо гордых персон фактом, а есть такая шутка по имени «народная ментальность», есть.

Общинное сознание, с точки зрения западного человека, — архаика, вредный пережиток. Все, мол, через это прошли сколько-то там веков назад; и все, кто продолжал развиваться, от этого ушли к индивидуализму европейского образца. А кто не ушел — тот отстал, тот неразвитый, тому надо догонять и наверстывать. Индивидуализм якобы однозначно прогрессивен, ибо, когда кто во что горазд и каждый сам по себе, становится хорошо и каждому в отдельности — потому что свобода, и всем вместе — потому что общество делается более динамичным, более предприимчивым, больше всякого разного производит.

Но если на основе рефлексов общинного сознания планетарную ситуацию можно было бы урегулировать с меньшими потерями и ущемлениями, не провоцируя новых опасностей и угроз, — не значит ли это, что не все так просто и что прогресс не вполне прогрессивен? Что не об отставании и опережении на одной и той же беговой дорожке речь идет, а о разных подходах, выработанных разными цивилизациями, — и что в одних ситуациях наиболее приемлем опыт и подходы одной из них, в других — опыт другой, и так далее?

Нам, с нашими что крестьянскими общинами, что сту-

денческими общагами за душой, представить себе НАШ дом куда легче; может, эта картинка и не завораживает нас своей притягательностью и не является пределом мечтаний, но она нам по крайней мере доступна. Европейцы и американцы с их индивидуальными коттеджами системы «мой дом — моя крепость», слышав слова «наш дом», видели совсем не те картины, что мы. Если съехавшиеся под одну крышу молодые супруги часто ссорятся, русский скажет: «стерпится — слюбится», то есть понадеется на априорную взаимную доброжелательность, на этику, на неформальный полюбовный компромисс. Человек же западный скажет: «им пора обращаться к адвокатам» — другими словами, посоветует поступить, как поступают враждебные, но не желающие истребительной войны равные по силе государства-конкуренты: выработать некий беспристрастный, чисто юридический пакт; а тут уж чей крючкотвор переболтает другого, тот и король.

И вот мы привычно, как давно привыкли в коммуналках родимых, попытались наладить общий быт на планете этически: общими чаепитиями и максимально возможными уступками — вот, я в булочную иду, могу и вам купить батон и пряники, я вне очереди места общего пользования помою, я подожмусь маленько, ничего, поместимся! Особенно если вы тоже подожметесь... ой, а чего это вы не поджимаетесь?

А они, естественно, и не собирались поджиматься. Пока мы торопливо и неловко уплотнялись, они, похоже, в ближайшем нарсуде начали процесс о нашем окончательном выселении...

Из неоконченной статьи А. Небошлепова. Санкт-Петербург, апрель 1991.

Документ № 7

Джозеф буквально бомбардировал нас своими отчетами и предложениями — и, естественно, сильно запугал и аппарат директора ЦРУ, и Госдеп, и кое-кого из Комитета начальников штабов. Нетрудно запугать тех, кто и сам боится. А вдобавок еще и престарелый Збигнев со своей «Шахматной доской» и своим тупым славянским упрямством постоянно подливал масла в огонь. Несмотря на явное отсутствие реальной угрозы со стороны всех этих республик, краев и областей с их бесчисленными президентами и министрами (даже муниципальные службы тогдашней Москвы возглавляли ни много ни

мало министры!), ассигнования на проведение того, что называлось тогда «спецрегулированием» построссийского пространства, были одномоментно увеличены чуть ли не впятеро и далее возрастали год от года.

И, прилагая поистине титанические усилия для того, чтобы доконать своего единственного перспективного союзника, настоящую угрозу мы, естественно, просмотрели. Прозевали ее позорно и, не исключено, непоправимо...

Генерал Эндрю Кугель. ТЕПЕРЬ И ОБ ЭТОМ МОЖНО РАССКАЗАТЬ. Издательство Принстонского университета, 2016.

3

— Ну, так чем ты меня хотел загрузить, Лэй? — спросил Лёка, вписавшись в поток машин, переползавших Дворцовый мост. — Что у тебя за ботва?

Нат с удовольствием хмыкнул. Лэев папашка, похоже, был нормальный чувак. Поверить невозможно, что он мог их бросить. Если бы выпитое море пива не настаивало так яростно на своих неотъемлемых правах на свободу и счастье, побазлать с этим мужиком, судя по всему, было бы одно удовольствие.

Лэй хмуро смолчал. Присутствие седого штыря на переднем сиденье не давало ему объяснить все надлежащим образом. Он прикинул и так, и этак. И решил быть максимально лаконичным — подробностей можно будет добавить и позднее.

Интересно, подумал Лэй, вот он типа нас привезет, а потом? В дом пойдет дальше разговаривать? Или чего?

Он и сам не знал, хочет он, чтобы папашка пришел к ним с мамой в гости, или нет.

А как они с мамой повстречаются?

Голова у Лэя шла кругом. Но нельзя было этого показать отцу, по-любому нельзя.

— Такая фишка с утра проскочила, что вас с мамой в школу вызывают. Обся Руся... типа завучиха... заявила, что как бы мне туда без вас и ходить незачем.

— Так, — посуровевшим голосом сказал папашка, не оборачиваясь.

Ничего не спросил. Наверное, подумал Лэй, понял, что

при чужих не разболтаешься. А может, типа в душу лезть не хочет. Смотри какой...

С папашкой оказалось неожиданно легко.

— То есть надо прямо завтра? — спросил Лёка чуть погодя. У него тоже голова шла кругом. Да еще Обиванкин справа... старик сидел молча, будто воды в рот набрал, и окаменело глядел вперед: мол, нет меня, нет, беседуйте... Но от него тянуло напряжением. Просто-таки чуть ли не разряды просакивали — и волосы, потрескивая, топорщились в его сторону...

— А я знаю? — спросил Лэй. — Без родителей в школу не приходи, без обоих, — процитировал он. — Специально вас двоих позвала, выживаете, — пояснил он. И емко подытожил: — Голяк.

— Понимаешь, Лэй, — размеренным лекторским тоном проговорил Лёка. — Это, спору нет, очень важно. Но вот... — он снял одну руку с баранки, покопался во внутреннем кармане пиджака и, по-прежнему не отрывая взгляда от дороги, показал Лэю телеграмму у себя над плечом. Лэй протянул руку, взял бумажку; развернул. Прочитал. Помолчал, соображая. «Москвич» козлом запрыгал через трамвайные пути, внутри у него что-то жутко скрежетало и билось.

— Это... баба Люся? — негромко спросил Лэй.

— Ага, — ответил Лёка. — Помнишь ее?

Лэй опять помолчал.

— Петуха помню, — пробормотал он. Пошуровал в памяти еще. — Кузнечиков во такенных. И солнце.

— Ну и то поразительно. Тебе три года было... Понимаешь, телеграмму я получил нынче. А когда близкий человек умирает, тогда все остальные дела, даже самые важные, люди обычно откладывают, потому что...

— Да я въезжаю, — прервал Лэй. — Чего ты мне жуешь?

Его слегка даже обидело, что папашка думает, будто он не понимает таких вещей. Это ж не Лэй-гун какой-нибудь, про какого из книжек знают. Это жизнь.

Даже мальчишка въезжает, мрачно подумал Лёка. А я вот, вместо того чтобы прорываться на поезд, на сборище дебилов поволокся...

А не поволокся б — мы бы не повстречались.

Он не мог понять, рад он встрече или нет. Ощущения, как часто у него бывало при неожиданных встрясках, откладыва-

лись; они придут позднее, когда вернется одиночество. Сейчас их не было никаких. Сейчас надо было разговаривать, вести машину и думать, как быть.

Серебристый «Мерседес», продавливаясь в густом варенье машин на обгон (вместо сиропа был чад выхлопов, а в нем, словно дольки червивых яблок, плыли по течению сгустки корпусов), протяжно загудел Лёке. Лэй даже вздрогнул.

— Наглый «мерин», — буркнул он. — Чего ему?

— Это он от восхищения, — сквозь зубы сказал Лёка, отжимаясь, насколько позволяла обстановка, вправо. — Торчит, какая угарная у нас тачка.

Нат прыснул. Обиванкин будто не слышал. Лэй сдержанно улыбнулся; он понимал уже, что папашка нравится ему, но признаваться себе в том не хотел.

— Теперь говорят не «торчит», а «прется», — как нерадивого студента профессор, поправил Лёку сын.

— Учту, — послушно отозвался Лёка. Помолчал. — Худо звезды расположились, — признал он. — И тебя оставлять в подвесе негоже, и к бабе Люсе я просто не могу не ехать. Завтра спозаранку понесусь в ОВИР, а сколько я там пробуду и с каким результатом — ведает один леший...

— Лэй-гун, — неожиданно для себя сказал Лэй. Ему вдруг захотелось сделать папашке что-то приятное, и он не нашел ничего лучше, кроме как помянуть идиотского китайца, про которого тот рассказал. Лёка чуть улыбнулся.

— Ну, Лэй-гун, — согласился он.

И тут Лэю пришла в голову совершенно ослепительная мысль. У него даже мороз продрал по коже — короткий такой, но ядреный. Будто кто-то шаркнул по ребрам наждачной бумагой.

— А давай типа я с тобой поеду, — бахнул Лэй. — А Обсе потом скажем, что как бы раньше не могли прийти, потому что заморочились по важному делу. Всей типа семьей. И если она пасть разинет, ты ей телеграмму туда сунешь.

Обиванкин впервые завозился на своем сиденье.

Впрочем, очень коротко. Ворохнулся и сызнава окостенел.

Несколько мгновений ничего не происходило, Лёка вел свой драндулет по тряскому асфальту, словно пропустив слова сына мимо ушей. Потом обернулся к Лэю.

— Вперед смотрите, вперед! — сварливо и несколько встревоженно проговорил Обиванкин.

Лёка стремглав повернул голову; нет, опасности не было, все ползло, как ползло.

Всей семьей. Вот что сыну было так важно...

Поставить завучиху на место.

— А мама тебя отпустит? — спросил Лёка.

— А я знаю? — как на духу, вопросом на вопрос ответил Лэй.

— Так, — повторил Лёка. — А ты... Лэй... ты правда туда хочешь?

Лэй глубоко втянул воздух носом.

— Солнце помню, — ответил он. Тоже честно.

— Хорошо, — решительно подытожил Лёка. — Как вариант. Действительно, чего ты в школе не видел? Я в свое время, когда надоедало рано вставать, дня на три дома западал — и, поскольку все равно все знал назубок, ко мне не цеплялись. К тому же нынче у нас среда, скоро выходные, учебы нету... Теперь так, — он запнулся. — Теперь ты мне вот что скажи, — произнес он тоном ниже и на миг запнулся. — Мама замуж не вышла?

Лэй уставился в боковое окно.

— Сам у нее спрашивай, — глухо ответил он.

— Лэй... Я же не пытаюсь у тебя что-то про нее выведать. Мне просто надо знать: если я вот сейчас как ком с горы на нее накачусь — это не... Это ей не повредит?

Лэй опять глубоко вздохнул носом. Лапша, которую навесил папашка, выглядела убедительной.

— Мужика дома нового нет, — с усилием произнес он.

— Тогда будем учинять семейный совет, — сказал Лёка.

Наступило молчание. И длилось уж до того момента, когда Нат вежливо попросил:

— Вот здесь меня высадите, пожалуйста. Мне отсюда близко, двором.

— Как скажешь, — ответил Лёка и тормознул.

Нат, точно машина горела, торопливо распахнул дверцу, выскочил наружу и бегом порскнул в подворотню. Наверняка до дому не добежит, прямо тут и встанет отлить, с завистью подумал Лэй. Он тоже терпел из последних сил.

— Помнишь, куда? — спросил он отца.

Тот ответил:

— Конечно.

Через пару минут они подъехали к и впрямь не забытому Лёкой подъезду.

Это был тот самый подъезд.

Лёка ничего не чувствовал. Подъезд. Ну и что же, что подъезд. Это был муляж тогдашнего подъезда, потому что тогда за ним был дом, а теперь — нет.

— Шпарь домой и подготовь маму, — сказал Лёка. — Может, она... ну, я не знаю. Я ввалюсь, а она будет меня весь вечер ненавидеть за то, что ненакрашенная оказалась. Так бывает. Предупреди, а я поднимусь через несколько минут. Разберусь вот с господином — и приду.

Обиванкин ворохнулся снова.

Лэй, как Нат, вывалился из машины — но сразу остановился. Нагнувшись, сунул голову обратно и пристальноглянул Лёке в глаза.

Лёка, не отводя взгляда, чуть улыбнулся сыну. Не сбегу, не бойся, я же обещал, говорил его взгляд. Откуда мне знать, сбежал ведь однажды, ответили глаза Лэя.

— Я поднимусь через четверть часа, — сказал Лёка.

И Лэй рванул. В сумрак за дверьми подъезда он рухнул, точно упавший с крыши в бочку бульжник — и только стремительный удаляющийся топот несколько секунд доносился оттуда; потом затих и он.

— Ну, говорите толком, — попросил Лёка.

Не поворачиваясь к Лёке и по-прежнему, словно взаправду ороговев за время поездки, глядя прямо перед собою, Обиванкин размеренно заговорил:

— Я очень мало кому могу доверять. Обратиться мне с такой просьбой вообще не к кому. Вас я знаю только по вашим работам, и, когда повстречал вас в зале, да еще услышал, что вы едете в Москву, я понял, что мне вас бог послал. Мне совершенно необходимо добраться до «Бурана», который стоит в парке развлечений на Смоленке. Может, вы помните, были при Советской власти у нас такие ракеты...

— Помню, — уронил Лёка.

— Насколько мне известно, это единственный уцелевший. И, во всяком случае, ближайший к нам... к Питеру. Это важно. Это может оказаться крайне важно для всей последующей судьбы России. В смысле — всей бывшей России, а не нынешней. Больше я ничего не могу вам сказать. Во-первых,

вы не поверите, а во-вторых, это может оказаться для вас опасным. Я не имею ни малейшего желания подвергать риску человека, которого... во всяком случае, по его работам... уважаю.

Положив подбородок на сложенные кисти рук и барабана пальцами по баранке, Лёка искоса глядел на Обиванкина и покусывал нижнюю губу. Обиванкин по-прежнему смотрел в пространство — во всей красе демонстрируя Лёке свой острый, летящий профиль. Престарелый чародей...

— Вы не сумасшедший? — тихо спросил Лёка.

— Сумасшедший, — тоже тихо ответил Обиванкин. — Заблудиться в наше время не о собственной персоне, а о Родине... Это тяжелое нервное расстройство, не так ли?

Лёка распрямил спину и взялся за ручку дверцы.

— И все-таки в машине я вас не оставляю, — сказал он. — Погуляйте полчаса... час. Я вернусь, и мы обговорим детали. Я не могу... никак не могу взять вас туда с собой.

— Я все уже понял, Алексей Анатольевич, — ответил Обиванкин и наконец посмотрел на Небошлепова. — Счастливого вам. Простите великодушно, я так не вовремя — но я тоже не могу отступить. Если вы останетесь там ночевать — не считайте за труд, спуститесь и скажите мне.

— Думаю, это исключено, — вымолвил Лёка.

Тонкие, бескровные губы старика чуть тронула улыбка.

Когда журналист ушел утрясать свои нелепые семейные дела, Обиванкин неторопливо двинулся прочь от «Москвича» по трещиноватому, заплыванному тротуару. Он понял так, что ждать ему предстоит долго. Надо было коротать время. Это он умел. Время — странная материя, многослойная: летит вскачь, так что годы мелькают, будто кадры жалкого, на пару минут, клипа, каким-то недобрым волшебством сливаясь при том в полную, от начала до конца, единственную у человека жизнь — но полтора-два часа, бывает, тянутся чуть ли не дольше всей жизни... Обиванкин давно научился ждать. Звездные минуты в ЦУПе, каждая, как выплеск протуберанца, — и сотни бессмысленных, инерционных часов в приемных высокого начальства... Он неторопливо развернулся, сложил руки за спиной и пошел обратно. Прошел мимо «Москвича», затем — мимо небошлеповского парадного: оттуда тянуло тухлым комариным болотом. Пошел дальше. Идет направо — песнь заводит... Кот ученый. Остановился у облупленного стенда с га-

зетами — практика доносить до населения прессу таким ликбезовским образом оказалась живучей. Заголовки статей Обиванкин даже смотреть не стал — тоска. Отдел юмора. Толковый словарь, так. «Верный муж — домосексуалист. Советские рабочие, вставшие на предсъездовскую трудовую вахту, — австралопитеки». Хороший юмор, подумал Обиванкин с горечью, интеллигентный. Специально для нас, стариков, — молодым и неведомы подобные термины... Ни про трудовую вахту они не слыхали, ни про австралопитеков. И уж не услышат никогда. Обиванкин даже прикрыл глаза. Знает ли остряк, испытывал ли он хоть раз в своей комариной жизни это счастье — не спать ночами, думать, думать, всем нутром своим, всеми кишками жаждать придумать и сделать лучше и скорее, лучше и раньше, лучше всех и раньше всех — и наконец прорвать паутину, в которой кволо барахтается мысль, ощутить подлинную свободу, головокружительную, опаляющую, которую никто не может тебе дать и у тебя отнять, только ты сам: свободу понять, и сделать, и взлететь; сначала внутри себя, от старого себя вверх, в ослепительную бездну, к себе новому, внезапно всеведущему и всемогущему, как бог; а потом услышать наконец, дурея от многомесячного напряжения, пьянея без водки: «Объявляется предстартовая готовность!» И через каких-то несколько часов, горячих и плотных, как недра Солнца: «Иван, работает прибор! Работает! Есть эффект!!» — «Костенька, родной! Смотри! Отсчет пошел!!»

Костя умер пять лет назад. Воспаление легких — и нет денег на антибиотики. Вот и весь юмор.

Обиванкин открыл глаза и пошел дальше.

Узкий сумеречный двор-колодец, безлюдный, словно вымерший — даже в этот благодный час погожего майского вечера; лишь отверстые темные окна настороженно и мрачно гипнотизировали его с разных сторон, вываливая вниз запахи жарящейся картошки, прогорклого масла, гунявые стуки современных напевов... А посреди затравленно жался одинокий куст сирени — и все-таки цвел. Все-таки цвел. У куста, поднявшись на цыпочки и вытянувшись упруго, стояла красивая женщина лет тридцати и торопливо, воровато перебирала и разглядывала пенные кисти. Нашла какую-то особенную, поднесла к лицу. И тут заметила, что на нее смотрят. Окаменела на миг, явно не ведая, что делать: бежать? сделать вид, что просто наслаждается ароматом? — а потом с вызовом, да-

же с гордостью глядя Обиванкину прямо в глаза, зубами вырвала одно из соцветий и стала тщательно жевать. Кругнулась на каблуках и легкой походкой пошла к черному провалу подъезда.

Эта уже нашла свое счастье, понял Обиванкин.

Нашла и съела. Съедобное счастье. Что может быть понятнее, проще — а оттого и заманчивее?

Не стоило уходить от машины далеко. Он повернул обратно.

Налево — сказку говорит.

4

— Ну как так можно? Ну я же места себе не нахожу, Ленка! Пять часов как уроки кончились! У тебя есть совесть или у тебя совершенно нету совести?!

Лэй тем временем уж млея над унитазом — есть все-таки счастье в жизни, есть! — и слушал вполуха, сквозь дарующее сладкую свободу журчание; все, что мама почитала своим долгом ему сейчас сказать, он знал и без слов. Голимо, конечно, что при виде папашкиной мабы не он, Лэй, первым доехал юзернуть, а Нат. Это да. Ну, что тут поделаешь... Полюбовому это не значит, что Нат своих родаков любит типа больше, чем Лэй — маму. Так?

— Ма, погоди. Погоди, ма, — вжикнув «молнией» на джинсах, Лэй вышел из туалета. — Сейчас папа придет.

— Какой папа?

Лэй несколько опешил. Похоже, перемена темы была слишком резкой, мама не въехала.

— Ну, как какой? Как бы мой! Он меня послал тебя предупредить.

Маша умолкла и, замерев лицом, обессиленно села на клеть с обувью.

5

Они с Машей очень любили друг друга.

Но Лёка не хотел ребенка.

Он любил детей. Он умел с ними обращаться. И они его любили, вечно лънули, безошибочно выбирая именно его из всей компании, когда он, а потом уж и они вдвоем с Машей, бывали в гостях у друзей, опередивших их на стезе продолжения рода, — и, пока все танцевали или просто дурили от ду-

ши, он сидел с хозяйским карапузом или подростком; беседовал, с поразительным терпением втолковывал что-нибудь, листал и комментировал детские книжки... Хозяева бывали очень благодарны, он прекрасно освобождал их на вечерок, чтобы побуйнить и вспомнить молодость. И он сам бывал доволен донельзя, чувствуя себя нужным и чуть ли не незаменимым, особенно когда потом ему рассказывали: наш-то, наш, то и дело спрашивает — когда дядя Леша придет опять? Вы заходите в субботу, повеселимся, а, Леш? а, Маш?

Но, быть может, именно поэтому он понимал, сколько сил и сколько времени нужно будет отдавать, когда появится свой. Что это было — настоящая ответственность? позорная трусость? Термины хорошо подбирать лишь с наступлением следующей эпохи. Формула «мятеж не может кончиться удачей — в противном случае его зовут иначе» применима не только к мятежу. Ко всему на свете. Лёка (как при первом же взгляде на чугунную гирю становится осязатим ее вес) осязал, что главным и центральным для него станет отпрыск, что голова будет, по крайней мере в течение нескольких лет (а скорее всего, всегда), занята в первую очередь им — не говоря уже о сердце. Ведь надо не просто обусть-одеть: надо единомышленника вырастить, друга, того, с кем будет о чем поговорить, кому можно будет довериться...

А тут еще жизнь кругом крошилась и сыпалась, валилась в какую-то яму, вырывалась из рук; хотя все еще жива была надежда, что это — наоборот, глубокий вдох и пружинистый полуприсед перед прыжком в лучезарный зенит... Еще год-два — и все станет, как в мечтах, прекратится раздраз и наполнятся магазины, и вот тогда-то и рожать детей для светлого будущего!

А к тому же Лёкины тексты, в течение многих лет видевшие одну тьму нижних ящиков его письменного стола, вдруг стали видеть свет; первая волна раскрепощения СМИ востребовала умных и честных, непредвзятых и неангажированных — Лёка оказался в их числе и впервые сделался известен. О, сколь остроумно и точно он вскрывал пороки командно-административной системы, какие сам видел, и всем остальным сулил перспективы, когда свобода восторжествует! Маша искренне восхищалась им. Даже больше: она уважала его. Во всяком случае, он был в этом уверен; и тени сомнения не закрадывалось. Как такая уверенность помогала ему быть в

текстах столь искренним и свободным! У него были свои мысли — они совпадали с теми, что бушевали и венчались на царство кругом, но они были его собственными, выстраданными и потому звучали куда убедительнее и ярче, нежели в текстах тех, кто по обыкновению своему флюгеровал в вечной и нескончаемой, как чавканье в джунглях, борьбе за гонорар; и у него был свой стиль — легкий, прозрачный, уважительный, будто он, опять в гостях у друзей, задушевно и без нажима объясняет что-то их славному, не по годам начитанному ребенку. И уже прорезалась главная его особенность: он не издевался, не глумился над подданными системы и не клеймил их — а жалел. Поначалу это отличало его от остальных борзописцев выгодно; потом, правда, — наоборот, ибо стало обязательным клеймить и глумиться, все иное воспринималось как половинчатость, скудость мысли, а то и подкупленность режимом; но то было позже. А тогда ему открылись, словно врата дворца в сказке про Золушку, сначала питерские толстые журналы, потом — окончательный, ультимативный олимп: «Новый мир», «Знамя»... Никакая фея не предупредила его, что ровно в полночь карета превратится в тыкву.

У него настолько закружилась голова, что в спорах с женой он лепил подчас уже полную ахинею: можно заработать денег, страстно говорил он, на обучение в частной школе, можно то и се, можно построить для детей улучшенный изолированный мирок, но ведь кругом-то останется все то же прозябание, и им все равно придется выходить из своего мирка и встречаться с подлостью, хамством, лицемерием — и они сами мало-помалу будут делаться хамами и лицемерами, должны будут делаться, чтобы выжить; ты этого хочешь? нет, сначала надо переделать мир! понимаешь? ведь уже совсем недолго осталось!

Но с некоего момента Маша любой разговор выворачивала на то, что — пора. Можно сказать, что она настойчиво и тактично готовила мужа, можно сказать — давила на нервы и дожимала, дожимала, дожимала. Он понимал ее — годы шли. У нее была собственная правота, и он ощущал ее так же остро, как свою; и постепенно своя стала казаться ему подлостью. Ты думаешь только о себе, говорила Маша, и он удрученно, покаянно кивал, согласный с нею на все сто: да, получается, я думаю только о себе.

И, когда она сообщила ему долгожданную весть, он внутренне сжался, обнял жену и удвоил заботу.

А Машу будто подменили. Едва ли не каждый вечер, во время ее телефонных бесед с подругами, он невольно слышал что-нибудь вроде: «А что мой? Ничего... Конечно, хвостик трясется, трусишки мокрые...» Это про то, как я реагирую на скорое увеличение семейства, соображал он. Он много фотографировал ее, и очень рад был и горд, когда одну из фотографий ее родители повесили у себя — но Маша вскоре прокомментировала их поступок так: «Говорят, единственное, что ты умеешь делать, — это фотографировать». Прокомментировала с поразительным удовольствием, словно бы даже с издевкой... Однажды он прискакал домой весь цветущий и в полном восторге: его выдвинули на какую-то (теперь даже не вспомнить, какую) общесоюзную премию; ему невдомек было тогда, что ему, разумеется, ее не дадут, рылом не вышел; уже надвигалось время потомственно-презрительных элитных эстетов с их витиеватыми текстами о том, что весь мир дерьмо и люди — ненасытные подонки, а беды все от тех — кто этого не понимает и чего-то хочет; вот те, мол, кто чего-то хочет и мешает нормальным людям быть дерьмом, и есть тоталитаристы... Маша, услышав завораживающую новость о грядущем триумфе мужа, лишь рукой шевельнула пренебрежительно: «А, погремушки это... Посмотри, бульон еще не кипит?»

В смысле премий, кстати, она опять оказалась целиком права.

Но после каждого из таких шлепков Лёка долго не в состоянии был работать. Мысли высыхали, усыхали; мозг съезжался и замирал, как стукнутая мимоза, как жучок, которого опрокинули на спинку. Но он даже пожаловаться жене не мог, потому что негоже ведь мужику быть таким ранимым и капризным! Это право женщины — тем более когда она ждет ребенка...

Наверное, одним из первых — среди своего окружения точно первым — он стал понимать, что прыжок в сверкающий зенит оборачивается соскальзыванием с ледяной горы. Уцепиться не за что, и скорость все растет.

Ленька родился через месяц после сумгаитской резни.

До сих пор в самой сокровенной сердцевинке души грызло Небошлепова и отравляло ему жизнь дурацкое убеждение, будто бы — продолжай он тогда писать в полную силу — он

сумел бы что-то изменить, открыть кому-то глаза и, если и не предотвратить катастрофу, не изменить полностью ход истории (его не изменишь, это понятно, но для чего-то все ж таки мы существуем, господи ты боже мой, для чего-то перебираем и пересыпаем слова, подгоняем, как настоящие плотники — а ведь сыном плотника был Иисус! — абзацы один к другому!), однако же — смягчить удар падения, помочь людям вырुлить куда-то, где жизнь чуточку справедливее и мудрее. До сих пор он чувствовал себя виноватым за то, что не смог. Те, кто ослабленно спустил все это на страну из своих дармовых чертогов, — нет, не чувствовали; и поныне каждый из них через ТВ и газеты продолжал учить смердов, как быть честными, принципиальными, свободолобивыми и терпимыми к инакомыслящим, ездил с лекциями по цивилизованному человечеству, наваристые мемуары бесперечь писал о собственных достоинствах и благих намерениях и о том, как он был прав, а все остальные ему мешали... А Лёка — и поныне со стыда горел за все, что пришлось тогда с железным громом валиться с небес.

Для него наступило время молчания.

То есть он брался теперь за любую работу, хоть каким-то боком связанную со словами, — надо же было кормить возросшую семью. Но не стало уже ни мыслей, ни стремления помогать, тем более — спасать. Это все оказались погремушки. Он перестал жить собственной жизнью; главным стимулом каждодневного барахтанья стало доказать Маше, что он — хороший. Да, я виноват, я не хотел его — но ты видишь, я все делаю, я забочусь, я уступаю во всем, он и ты — главное всего! Ну, ты видишь? Я не подлец, не эгоист, я люблю вас! Прости!

Жизнь пошла проваливаться по суживающейся, с ревом набирающей обороты спирали самоуничтожения. И каждому новому витку грохочущего Мальстрема соответствовал очередной уровень пренебрежения со стороны жены. Бумажная душа. Распустеха-неумеха. Капризуля. Мальчик на побегушках. Коврик для ног.

Потом он почувствовал, что этим же отношением к нему стал заражаться от мамы и подрастающий Ленька.

Понадобилось много лет, чтобы Небошлепов понял: Маше вовсе не хочется убедиться в том, что он — хороший. Ей хорошо, когда он плохой. Ей вовсе не нужно, чтобы он наконец искупил свою вину. Ей удобно, когда он виноват и пожизненно продолжает искупать, ибо тот, кто виноват, — ис-

полняет все обязанности, а тот, кто прав, — имеет все права. Тот, кто искупает вину, — несет ответственность, а тот, кому приносится искупление, — указывает на недочеты.

И он не мог ее винить — своими потугами загладить свои ошибки он сам так воспитал ее за десять лет, чадно проползшие по стране, как танковая колонна по изрытой норками полевых пересеченке. Это он тогда понял тоже. Сам. Все — сам. Никто ему не виноват.

Сначала она отучила его звонить домой, когда ему доводилось на два-три дня уезжать в командировки или просто по делам. Он звонил — и она начинала с тихой грустью, но очень обстоятельно рассказывать, что за истекший день произошло плохого, и как ей нездоровится, и как она через силу то-то и то-то... «А на остановке так закружилась голова — я едва не упала под автобус. Это, наверное, от усталости. Малокровие, наверное. Когда ты уезжаешь, столько всего сразу наваливается... А у тебя дела идут? Все хорошо? Ну, я рада...» Он почти перестал уезжать, терял контакты, терял информацию, но был при жене; а если все-таки приходилось покидать дом родной — то либо перед тем, как туда звонить, он принимал стакан для душевной анестезии, чтоб не слишком совеститься оттого, какой он, в сущности, негодяй, когда оставляет ее; либо вовсе не звонил. То оказалось первым па похоронной пляски; прежде чем выпасть из домашнего гнезда, он выпал из трубки домашнего телефона.

Сызмальства мысль об уходе от семьи была для Лёки невероятной, запредельной; так не поступают ни при каких обстоятельствах. Человек, бросивший жену, паче того — детей, был для него полным и неразбавленным негодяем, где-то уровня Гитлера. В ушах жило монотонное пение раскатывающей тесто или перебирающей ягоду тети Люси; в рабочей рассеянности она всегда дудела себе под нос на одной ноте несколько строчек какой-нибудь вдруг всплывшей в памяти песенки, а если те всплывали не полностью — тетя Люся, не особенно тушуясь, дополняла их по ходу дела сама; одним из самых частых напевов было «Эй, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать лет — позабыл-забыл свою невесту, тебе прощения, сволочь, нет...»

Лене было уже двенадцать, когда душа в Небошлепове выгорела вся.

Не осталось ни совести, ни убеждений, ни любви. Лишь

нестерпимое, чисто животное стремление отдернуть лапу, из дня в день заживо перетираемую мясорубкой.

Он ушел — и наконец стал окончательно, бесповоротно виноват. И свыкся с этим. Теперь об него мог вытирать ноги кто угодно — он знал сам, что ничего иного не стоит.

6

— Здравствуй, — сказал Лёка.

— Здравствуй, — сказала Маша.

Она совсем не изменилась, подумал он. Только постарела немножко.

Он не очень постарел, подумала она.

Она уже не ненавидела его. Она уже вообще никак к нему не относилась.

Не было ни чувств, ни тем более переживаний. Одно легкое раздражение оттого, что Небошлепов хамски нарушил правила уже устоявшейся жизни и ни с того ни с сего напомнил о себе, — да еще равнодушный и, что греха таить, не слишком-то сильный интерес к степени внешнего сходства этого рыхлого и заплесневелого зомби с тем давно истлевшим в памяти ласковым человеком, за которого она когда-то была готова в огонь и в воду; которого она в течение пятнадцати мучительных лет пыталась превратить из мечтательного одиночки-словоблуда в семейного взрослого человека — но так и не смогла. Что с ним ни делай, о чем ни попроси, что ни поручи — он, ни в малейшей степени не втягиваясь в общую жизнь, в общие хлопоты и заботы, будто тяжкую повинность отбывал с видом покорного судьбе страдальца, а сам только и мечтал остаться без Ленки и без нее, без Маши.

К тому времени, когда он сбежал, душа в ней выгорела вся. Не осталось даже извечного бабьего стремления во что бы ни стало сохранить семью, не говоря уж о какой-то там любви, любовь мхом поросла много лет назад, как можно любить слизняка; потяни он с разрывом еще хоть полгода — она выгнала бы его сама. Кулаками в спину, пинками в задницу.

Переодеться, причесаться и наспех подкраситься она успела.

Но чувствовала, что волосы над левым ухом легли не

вполне. Она чуть тронула их ладонью, слабо надеясь поправить хоть так, хоть в последний момент, и сухо спросила:

— Чему обязаны?

— Сам еще не знаю, — сказал Лёка. Голос грозил сорваться; дыхания не хватало, а сердце бестолково прыгало на одном месте, точно перепуганная жаба на привязи. — Сейчас сына спросим. Лэй! Ты куда сныкался?

— Ты с ним разговариваешь не как отец с сыном, а как приятель с приятелем. Даже кличку эту собачью...

— Нынче, во всяком случае, мы полвечера беседовали довольно-таки по-приятельски.

— Решил теперь этак дешево ему понравиться?

Лёка смолчал. Лэй, который и впрямь счел за благо на первый момент убраться подальше, высунул голову из-за косяка кухонной двери.

— Я тут, — сказал он.

— Давай рассказывай толком, — попросил Лёка.

— Чего? — угрюмо поинтересовался сын, пряча глаза.

— Все с начала и по порядку, — сказал Лёка.

Он перевел дух — и с изумлением ощутил, что все идет гораздо легче и мертвей, чем он ожидал. Он был уверен, поднимаясь сюда, что даже сами стены, да что там стены — даже крючки вешалки примутся дышать на него наркозом счастья первых лет под этой крышей — и тоской последних...

А ничего. Стены как стены, крючки как крючки.

Даже немного жаль.

И еще он чувствовал облегчение оттого, что сегодня, так уж случилось, он наконец узнал наверняка и без особых усилий, что жена и сын живы-здоровы, обуты-одеты, не бедствуют и не голодают. Увидев Машу и квартиру, он в этом убедился окончательно. А то нет-нет да и вгрызалось в душу беспокойство: как они там, без него?

Пальмы без меня не сохнут, розы без меня не глохнут... Слава те господи. Свободен.

— Мы будем стоя беседовать? — строго осведомилась Маша.

— Ты хозяйка, — ответил Лёка.

Она помолчала мгновение, потом сказала:

— Идем на кухню. Леня, ты голодный?

— Да, — ответил Лэй. — Но сперва перетрем эту ботву, а, мам?

Они расселись на табуреточках вокруг кухонного стола. Все было по-прежнему: ухоженно, аккуратно, чисто. Настоящая женская рука. Лёка тоже старался у себя, и, казалось бы, что тут трудного — держать в порядке махусенькую квартирку, в которой живешь один-одинешенек и даже не водишь никого; но все же так, как ухитрялась поддерживать орду Маша, у него нипочем не выходило. Он всегда был благодарен ей за уют... даже когда по ее наущению пылесосил квартиру или натирал мебель какими-то одной жене ведомыми притирками для блеска и обеспыленного благоухания — конечный результат был не его, а ее безусловной заслугой.

Да, это помнилось.

Лэй, почти не путаясь и почти не запинаясь, разложил свой товар. Он, как и собирался, загрузил родаков версией, согласно которой нашел кассету на помойке, но время от времени опасливо взглядывал на Небошлепова-старшего; Лэй сильно подозревал, что склад на антресолях — папашкин. Может, забыл, удирая в спешке; картинка, наведенная маминым многолетним «сбежал», еще с детства впечаталась в его сознание: как папашка, типа на дистанции с препятствиями, в одних трусах и кроссовках скачет из прихожей на лестницу, с грохотом сыплется по ступеням, а потом, войдя в ровный ритм (вдох-выдох, вдох-выдох), марафонит вдоль по улицам... Если фильмы типа его, то папашка в любой момент мог прервать Лэеву пургу назидательным окриком: «Врать в ментовке будешь!» Но папашка молчал. По лицу его было не понять ничего.

Зато мамино лицо... Ох, лучше было не смотреть.

— Чем ты думал, Ленька? — сокрушенно спросила она, когда он доплыл до берега своей истории. — Нет, скажи, чем ты думал?

— Головой, — прогудел Лэй, смиренно разглядывая узоры лежащей на столе клеенки.

— В наше-то время, когда никому доверять нельзя... — продолжала, почти не слушая, Маша.

— Друзья же... — удрученно гудел, почти не слушая, Лэй.

— Кассета там, на помойке, одна была? — спросил папашка.

Лэй исподлобья стрельнул на него испытующе: прикалывается? Но ни в голосе, ни во взгляде папашки не заметно было ни малейшего подвоха.

— Одна, — с нажимом, даже с некоторым вызовом сказал Лэй.

Папашка спокойно кивнул.

Это было типа странно. Не сами же собой на антресоли запрыгнули эти фильмы. Либо мама туда их когда-то кинула, либо папашка. Но никто из родаков не кололся. Версия о помойке прошла конкретно.

Лёка уже очень хотел курить — но здесь не смел. Он и прежде никогда не курил при сыне, слабо надеясь, что его положительный пример скажется и убережет ребенка от так называемых вредных привычек, уже тогда затопивших демократическую Россию; и теперь, хоть от Лэя, когда они встречались, явственно несло табачищем, Лёка не собирался изменять себе. Кассеты — шесть штук, он помнил точно, шесть, и мог без запинки перечислить фильмы, что на них были, — на антресолях оставил он, Небошлепов, и оставил совершенно нарочно. Это была своего рода посылка в будущее, наследство фазтонцев. Пока сын мал, на антресоли он сам не полезет; Маша древних складов, норовящих, только тронь, обрушиться на голову, боялась панически, да там и не было ничего по-настоящему нужного, одна старая рухлядь, выбросить которую то ли не доходят, то ли не поднимаются руки; и, стало быть, лишь когда чадо войдет в более или менее осмысленный возраст, раньше или позже оно наткнется на живые свидетельства того, что у страны было вот такое прошлое и что жизнь способна быть иной. Не райской, нет — но иной. Без обыденного и нескончаемого, без альтернатив, копошения в той особенной нынешней грязи, которая сделалась нормой и про которую даже не объяснить, что она грязь, потому что сами слова «чистота» или «совесть» стали вызывать недоумение, будто они — из языка атлантов.

Но таких последствий Лёка не ожидал.

Впрочем, как можно было их ожидать... Как можно было знать, что при демократичных европейцах опять начнется таковой присмотр за культурой? Они же десятилетиями Совдеп за преследование инакомыслящих по всем кочкам несли...

Но сейчас не время было рассказывать с своей давней попытке дистанционно повоспитывать взрослеющего без него сына. Не при Маше, во всяком случае.

Интересно, где остальные пять?

— Вот так, — подвел Лёка черту под выступлением Лэя. —

О стукачах и впечатлениях от просмотра мы можем, если захотим, поговорить позже. Впрочем, — зачем-то добавил он, — вам, наверное, желательнее этим заняться уже без меня. А вот недвусмысленно высказанное распоряжение привести обоих родителей нам придется обсуждать вместе.

— Садюга она, — пробормотал Лэй. Рассказ дался ему нелегко; и потому «как бы» и «типа» в нем скакали вообще едва ли не через слово. Точно лягушата, рассевишиеся по краям лужи в безмятежности и неге, и вдруг начавшие гроздьями сгигать и шмякаться в воду, когда кто-то подошел близко.

Остальные слова приходилось обдумывать и тщательно подбирать, а эти — нет.

Маша взяла с холодильника полупустую пачку сигарет, пыхнула длинным пламенем зажигалки и небрежно закурила. Она и раньше не скрывалась от Ленки, вспомнил Небошлепов; и когда он пытался делать ей по этому поводу замечания, лишь удивленно поднимала брови.

А вот когда он пробовал отучить сына чавкать за столом, она снисходительно улыбалась и говорила: «А я вот совершенно не слышу. Даже не замечаю». — «Но ведь не все в его жизни будут его мама, — пытался аргументами возражать Лёка. — С ним же неприятно сидеть за одним столом!» — «Ребенок тебе неприятен?» — сухо спрашивала она; и он умолкал надолго.

Надо же, как все в памяти сбереглось зачем-то... Каждая мелочь.

Каждый шрам.

— В школу ходить, безусловно, надо, — сказал Лёка. — Тем более до конца учебного года осталось недели две, не больше... да, Лэй? Или нынче раньше занятия оканчиваются?

— Полторы, — уточнил Лэй. — Будущая неделя последняя.

— Тем более. Следовательно, пойти туда разбираться надлежало бы прямо завтра. Но завтра я не могу, потому что нынче получил телеграмму — тетя Люся... ты ее, может быть, помнишь, Маша, — добавил он с какой-то смутной, бесплотной, как газ, надеждой, но в глазах бывшей жены ничто не засветилось, она молча сидела с дымящейся сигаретой подле рта, утвердив локоть на столе и положив ногу на ногу. — Тетя Люся, видимо, умирает, и мне надо с утра заняться визой. А визу получить — не чих кошачий.

К великому собственному изумлению, он взял в разговоре

инициативу безо всякого внутреннего усилия. Без угрызений и без трепета совершить бестактность, сказать и сделать не так. Наверное, подумал он, это потому, что я уже не стараюсь показать, что я хороший. Не боюсь обидеть. Хуже, чем теперь, она обо мне все равно думать не может, так что нечего бояться.

А может, еще и потому мне так легко, что мне ОБЯЗАТЕЛЬНО надо ехать. У меня нет в том ни малейших сомнений. И потому меня не сбить.

Так что же получается: вся эта пресловутая уступчивость, которую я когда-то считал добротой, а господин Дарт, как он сам прекрасно сформулировал утром — лишь безнадежным взмахом руки «забирайте, сволочи, только отцепитесь», она на самом-то деле — из-за отсутствия по-настоящему сильных собственных желаний?

От незнания, что делать с собой?

Но тогда, стало быть, и наша общая уступчивость...

Надо продумать.

Вот когда в Москву поеду — в поезд сяду и...

— Ну, виза, чих — и дальше? — не выдержала затянувшегося молчания Маша. Лёка вздрогнул, возвращаясь к реальности. — При чем тут мы?

— Вот и возле Универа он так, — вполголоса и немного с опаской сказал Лэй. — Я сначала думал — он типа колес перекатал... А он сказал — задумался.

— Да, правда, — усмехнулся Лёка. — Мысль пришла интересная, но с нею я разберусь попозже... Да. Виза и так далее. Но не явиться нам всем троим в школу на следующий же день после инцидента — только собак злить, правильно, Лэй? Сразу пойдет лишняя волна: почему это вы пренебрегли и столько дней откладывали...

Сын угрюмо кивнул.

Ему было не по себе. Дома, да еще при маме, да еще при виде ее отчужденно поджавшегося лица и холодных глаз — такое типа товарищеское отношение к папашке, какое возникло в машине, куда-то пропало. А может, пиво выветрилось. Лэй вдруг сообразил — вернее, вспомнил, — что, блин, папашка же чмо.

Но крутить назад тоже вроде не по-мужски. И по-любому непонятно, как вообще теперь все это разруливать.

Одно то, что папашка как ни в чем не бывало уже сидит тут опять — после пяти лет...

Нет, в голове не укладывалось.

Но баба Люся-то от нас не уходила, неожиданно подумал Лэй. Она-то не виновата!

— Вот сыну и пришла в голову гениальная мысль, — говорил Лёка. — Изложишь? — он повернулся к Лэю. — Или мне доверишь?

Лэй слотнул. Поглядел на маму. Потом на папашку. Глубоко вздохнул. Набычился слегка, словно собрался лбом прошибить стену.

— Мы... типа поедem к бабе Люсе с отцом, а когда вернемся, втроем пойдем в школу и скажем, что как бы никто раньше не мог, потому что у нас в семье такие обстоятельства, — скороговоркой пробубнил он.

Маша глубоко затянулась сигаретой. Нервно стряхнула пепел.

— И кому же пришла в голову такая блестящая идея? — спросила она — вроде и не слышав Лёкиного предупреждения.

«Может, предложить ей поехать с нами, втроем?» — ни с того ни с сего подумал Лёка.

— Мне, — сказал Лэй.

— Ты же эту... бабу Люсю... не помнишь даже! — почти крикнула Маша. Сигарета в ее пальцах тряслась.

— Солнце яркое помню, — ответил Лэй. Подумал и добавил неуверенно: — Она нас пирогами кормила. И щами. Я помню, вы долго потом вспоминали, как там типа все на свежем воздухе вкусно из печи.

— Ну и что? — беспомощно произнесла Маша.

— Но ведь действительно красивый выход... — начал было Лёка, но Маша, глядевшая на сына каким-то недоверчивым, оторопелым взглядом, рывком обернулась к бывшему мужу и негромко, яростно спросила:

— На готовенькое решил спланировать?

Стало тихо.

Это, кажется, обо мне, с мозговым скрежетом сообразил Лэй. Ему стало неприятно — и чуточку стыдно.

— Мам... — пробормотал, еще не зная, что, собственно, хочет сказать. — Ты, типа... ну...

И умолк.

Еще бы не красивый, думал он. Во-первых, сволить и не видеть голимой школы. Блин, само по себе это так красиво,

что другой красоты и не надо. Да еще мир посмотреть, доехать до Москвы... столицы России... А самое главное — типа прийти потом к этой змее и сказать: раньше мы не могли, потому что ездили с папой навестить его больную тетю. И тогда Обся так заткнется, что... типа навсегда заткнется.

— У нас из-за тебя и так достаточно неприятностей! — отчеканила Маша. — Хватит мне проблем в школе! Какие еще поездки? С кем, куда?

Лэй смотрел в клеенку.

Как папашка сказал? Когда близкий человек умирает, тогда все остальные дела, даже самые важные, люди обычно откладывают...

Интересно, петух еще жив?

Понятия не имею, вдруг подумал Лэй, сколько лет живут петухи. Когда их не режут, конечно...

— Мам, — сказал он негромко и решительно, — я поеду.

7

На кухне только ложка звенела об тарелку: молодой растущий организм с хлопаньем дорвался до еды. Лёка потянулся открыть дверь на лестницу, и пальцы сработали сами собой; Лёка поймал себя на машинальном, давно, казалось бы, забытом движении. Тело помнило. Тело все, оказывается, помнило. Эту дверь он открывал и закрывал столько раз, столько лет он проворачивал колесико этого замка, что теперь пальцы могли бы прийти сюда хоть одни, без Лёки — и справились бы сами.

Наверное, и все остальное в этом доме, доведись ему, телу, вновь здесь бродить, оно исполняло бы так же легко и привычно.

— Доволен собой? — тихо и отчужденно спросила Маша, стоя в двух шагах от него.

— Нет, — так же тихо ответил он, — не очень.

— Что дальше? Поедешь, поиграешь с ним три дня — и сбросишь мне еще на пять лет?

Он внимательно поглядел ей в глаза. Нет, там были только холод и неприязнь.

— Ты можешь предложить что-то лучше?

Она отступила еще на полшага. Он так смотрел...

«Хотела бы я, чтобы он остался тут? — честно спросила она себя. — Остался жить?»

Ее передернуло.

— Нет, — сказала она. — Лучше — это чтобы ты вообще не появлялся.

— Ну, что уж, — сказал он. — Так получилось.

Похоже, он совсем не почувствовал ее нанесенного из всех сил удара.

И, не почувствовав, ушел.

А далеко за полночь Маше приснился молодой Небошлепов — и молодая она сама. И совсем маленький сын. Сверкало на весь сон то самое яркое солнце, о котором напомнил Ленька; они втроем обирали спелую духмяную смородину с пышного, огромного, словно мировое дерево, куста, подпиравшего синий простор, — и смеялись. Когда Маша проснулась, подушка оказалась мокрой.

Возврата не было.

Когда он придет за Ленькой, я скажу, что не хотела его обидеть, бессильно подумала она, глядя в стоячий сумрак квартиры. За окном тужилась вздохнуть белесая майская ночь.

8

Идти было тяжело, будто он нанялся в бурлаки и волок теперь за собой целую баржу, груженную даже не зерном — мертвым щебнем.

И зачем мне все это, спрашивал себя Лёка, и не мог найти ответа. Зачем мне эта лишняя головная боль? Этот геморрой? Все уже кончилось. Кончилось давно, и слава богу, что кончилось, куда ни кинь. Отмучились оба. Что за шлея под хвост попала? Что за бес попутал?

«Лучше — это чтобы ты вообще не появлялся».

Я и сам знаю, что лучше.

Он вырвался из тухлой лестничной прохлады в теплый и просторный чад улицы. «Москвич» был на месте, за него, к счастью, переживать не приходилось, никто не польстится; но Обиванкина и след простыл.

Вот и славно, трам-пам-пам, подумал Лёка. Одной тонной щебня меньше. Ушел — и ушел.

И лучше, чтобы вообще больше не появлялся!

Он прислонился к капоту машины, закурил и жадно затянулся несколько раз. Потом стало как-то неловко стоять стоймя, он влез в салон, уселся на свое место, потом утянул вниз оконное стекло слева, чтобы салон не вздумал чересчур пропитаться никотиновой горечью, и даже включил радио, чего обыкновенно не делал. Будем ждать; господин Дарт наверняка сказал бы, что я уже раб Обиванкина — мол, все вы тут рабы, и вот конкретный пример.

«...отметил, что под его руководством в стране и в ближайшем зарубежье было полностью покончено с милитаризацией науки, — с полуслова принялся напористо долбить чтец новостей. — Со времени испытания первой советской атомной бомбы, как напомнил нам главный ученый, весь мир жил под дамокловым мечом, в непрестанном страхе перед бесчеловечной деятельностью коммунистических академиков, докторов и кандидатов. Ныне человечество вздохнуло свободно...»

Ох, мне ж нынче еще писать про сабантуй в научном центре, вспомнил Лёка. В треволнениях вечера он и забыл о своих прямых обязанностях. Вот ведь тоже — праздник души, именины сердца...

А взять и не писать.

От этой мысли он вдруг ощутил неимоверную легкость, словно спрыгнул с крыши.

Ну вот взять и не писать! И провались все пропадом!! Хватит уступать!!!

И совершенно не страшно взять и завести мотор, и уехать, не дожидаясь ненормального Обиванкина. Ведь это — можно. Взять — и сделать, просто потому что хочется!

Только беда в том, что мне не этого хочется. Мне не хочется не дожидаться его, не хочется бросить, не сказав ни слова; мне даже совестно, что я не оставил его в машине, а заставил болтаться по улицам в ожидании. А вот не писать ахиною сродни той, что звучит из динамика, — хочется.

«Мы передавали новости. Теперь немного музыки. Хит весны, девочки и мальчики, хит весны! Группа «Дети подземелья» со своей песенкой «Кайфоломщица»!»

Выплыло квохтанье музыки, а потом и нарочито дурашливый козлиный голосок: «А говно в проруби купа!..»

Лёка поспешно выключил радио; сызнова стал слышен ровный шум улицы, воспринимаемый сейчас, будто благодатная тишина, ибо он был безличен, словно шум природы —

шипенье шин и визгливый гром дальнего трамвая на повороте; вроде как ветер, морской прибой, крики чаек... речи стихий. Честное слово, ну зачем людям вторая сигнальная?

«А я бы хотел, чтобы она меня позвала?» — подумал Лёка.

То был неожиданный вираж мысли. До сих пор — и во времена оны, и нынче вечером, во время тяжелой кухонной беседы, он переживал в основном о том, чего хочет или не хочет она. И совершенно не приходило ему в голову подумать, чего же хочет он сам. А такой подход, как удалось ему сообразить недавно, ни к черту не годится.

Но разве можно думать о собственных желаниях? Они либо есть, либо нет. Их нельзя придумать нарочно. Хуже того: если придумал себе желание нарочно, пусть самое правильное, самое справедливое, самое доброе даже — вот именно этого ты уж никогда не захочешь. Подло устроен человек: уговорить себя хотеть нельзя. Можно, коли желание появилось, впоследствии обосновать его с помощью своих работающих, безотказных извилин сотней разнообразных способов, с большей или меньшей убедительностью; можно потом доказать себе, как дважды два, и всех окружающих убедить точными и изящными пассажами, что твое желание — правильное, справедливое, доброе... Но возникло оно на самом-то деле лишь потому, что возникло. А совсем не по причине своей справедливости и правильности.

«Хочу я?»

Он не знал. Мысль, налетая на какую-то стенку, разваливалась на два примерно равных хвоста: с одной стороны, с другой стороны... С одной стороны — «Мы же любили друг друга, и у нас Ленька уже почти вырос»; с другой стороны — «Зачем мне новый геморрой?..» Но это были мысли. Желаний не было.

Стало быть, так тому и быть.

Чему — тому?

Тому, что будет.

А ничего не будет. Скорее всего, даже если я завтра оформлю документы на выезд-въезд, то, приехав за Лэем, стукнусь в запертую дверь, и на звонки никто не ответит. Вот самый вероятный расклад событий.

Знаю.

Но оформлять я все буду так, будто уверен: меня ждут не дождутся и встретят с распростертыми объятиями...

Он кинул окурок в открытое окошко — и увидел Обиванкина. Ученый медленно вышел из-за угла, с отсутствующим видом глядя себе под ноги; похоже, он шел этой дорогой не в первый раз за истекшие с Лёкиного ухода час с небольшим, и путь ему изрядно осточертел. Вот он поднял голову, рассеянно махнул взглядом в сторону «Москвича» и вдруг заметил, что в кабине сидит Небошлепов. Лицо Обиванкина судорожно дернулось — и он с жалкой стариковской поспешностью, едва не падая, потому что ноги не поспевали за туловищем и его устремлениями, семенящим бегом поспешил к машине.

Лёка, наклонившись вправо, открыл перед ним дверцу и почти крикнул:

— Не торопитесь так, я не удержу!

Задышавшись, Обиванкин ввалился в салон, складываясь, как перочинный ножик; подбородок его едва не уткнулся в колени.

— Простите великодушно, Алексей Анатольевич, — с трудом выговорил он, сипя нутром и ходя боками, точно загнанная лошадь. — Я не уходил далеко, но...

— Да я все понимаю, успокойтесь. Откуда вам было знать, когда я вернусь? Кстати, как вас все-таки по батюшке? А то вы ко мне обращаетесь чин-чинарем, а я к вам то господином, то чуть ли не на имя скатываюсь... Или не было? Несколько раз себя ловил буквально в последний момент... — Он задал вопрос, чтобы успокоить старика и втянуть в самую приземленную и незамысловатую беседу — но в то же время постарался болтать подольше, чтобы у Обиванкина успело устояться дыхание, сорванное внезапным рывком к машине.

— Иван Яковлевич, — сказал Обиванкин.

Уже не задышавшись.

Лёка провернул ключ зажигания — антиквариат послушно зачихал, зафырчал, затрясся мелкой дрожью. И поехал, помаленьку отруливая от поребрика.

Движение на улицах несколько унялось, рассосались сплошные потоки. Это было приятно.

— Где вы живете, Иван Яковлевич? — спросил Лёка.

Очередной невинный вопрос, похоже, вызвал в пожилом чародее бурю эмоций. Обиванкин вздрогнул, настороженно и даже подозрительно покосился на Лёку, потом отвернулся, пожевал губами и наконец спросил неубедительным голосом:

— А что?

Лёка удивился, но виду не подал. Пожал плечами.

— Да ничего. Прикидываю маршрут.

— Вы хотите отвезти меня домой и избавиться? — спросил Обиванкин и гордо вздернул подбородок.

«Все-таки псих, что ли?» — разочарованно подумал Лёка.

— Странно вы как-то ставите вопрос, Иван Яковлевич, — примирительно проговорил он. — Избавляются в наше время при помощи киллеров. Я просто соображаю, как мы теперь будем перемещаться и куда.

— Я доеду домой на метро, если что, — уклончиво ответил Обиванкин. — Я живу недалеко от метро.

Вопрос «какого?» едва не прыгнул кузнечиком у Лёки с языка; он успел ухватить его за голенастые задние лапки.

— Хорошо. Тогда так. Не знаю, как вы, а я не ел с утра. Все эти тревобления надо, что называется, хорошенько заесть и запить. Я сейчас еду к себе, в район бывшего Политеха, там мы ужинаем. Я, во всяком случае. Пока едем, уточняем кое-какие моменты.

— Готов, — почти как юный пионер, ответил старик; в голосе его прорезалась некая бравость. Деловитый тон последних Лёкиных реплик явно подействовал на него благотворно.

— Вероятнее всего, я поеду в Москву с сыном.

Обиванкин размашисто кивнул, вполне признавая за Лёкой такое право.

— Вы намекали относительно опасности. Меня вы не напугали, конечно, но подвергать мальчика каким-либо опасностям я никоим образом не желаю.

Обиванкин сызнава кивнул, но уже без прежней размашистости; он слегка сник.

— Я был бы вам крайне признателен, Иван Яковлевич, если бы вы меня просветили насчет ваших опасений. Ничего о них не зная, я не могу принять ни положительного, ни отрицательного решения.

Голова Обиванкина повисла ниже плеч.

— Вам и вашему сыну ничто не грозит, — тихо заверил он после долгой паузы. — Ничто. Мы доедем, расстанемся, вы поедете по своим делам, а я пойду по своим.

— Вы очень большой добряк и до тонкости все продумали, — сказал Лёка, изо всех сил стараясь не раздражаться. — Вы, может быть, не знаете, что транзитные документы оформляются в оба конца? Вы в моей подорожной, между прочим. Что я буду говорить на пропускном пункте при возвращении?

Если вас со мной не будет, вас начнут искать. А меня очень даже спросят: где тот, кто ехал вместе с вами по одному с вами делу — навестить больную родственницу? Где вы его потеряли? И почему? Он что, стал невозвращенцем?

На Обиванкина было жалко смотреть.

— Поэтому, во-первых, чем бы вы таким ни занимались в Москве в то время, пока мы с сыном будем в деревне, ехать нам обратно придется вместе. А во-вторых...

— Вы знаете, — неожиданно перебил Лёку Обиванкин, — это, по-моему, преодолимо. Там такое начнется... — он осекся. Помолчал и добавил: — Ко времени вашего возвращения им всем станет уже не до рутинного контроля на дорогах.

— То есть? — не понял Лёка.

Обиванкин молчал.

— Послушайте, Иван Яковлевич, — терпеливо начал Лёка сызнова. — Вы просите меня вписать вас в подорожную, но я же ничего о вас не знаю...

— Спрашивайте, — с готовностью ответил Обиванкин.

Лёка обескураженно помолчал, вырливая тем временем на Охтинский мост. Он отнюдь не с целью проводить допрос и снимать показания начал говорить о том, что не знает ничего о нежданном попутчике. Но выхода не осталось.

— Кто вы, собственно?

— Ученый. На пенсии, конечно. Лауреат еще аж Ленинской премии, — кривовато усмехнулся Обиванкин, — но сие, конечно, к делу не относится. Имел отношение к ракетостроению, но не самое непосредственное. То есть не чушки керосиновые запускать, а, наоборот, они запускали кое-какие мои приборы. Это было, как легко догадаться, довольно давно.

— Догадываюсь. А вот в чем опасности поездки, догадаться никак не могу, — снова поинтересовался Лёка.

Обиванкин смолчал; его кустистые стариковские брови горестно заломились, словно он сам мучился своей безъязыкостью — но обета молчания нарушить не смел.

— Ну а «Буран»-то парковый на кой ляд вам сдался? В нем уж давно аттракцион какой-то!

Обиванкин молчал.

Больше мне ничего не добиться, понял Лёка. Ну и ладно. Надо принимать решение. Подумать как следует и принимать.

А что тут думать? Я хочу. Я просто уже сам хочу ему помочь.

Вот ведь идиотизм. Лучше бы захотел свозить сына на залив, чем идти у психа на поводу.

Но чует мое сердце, не псих он... А сына я не то что на залив — в Москву свожу.

И, в общем-то, хочу свозить.

Он глубоко вздохнул. Машина ровно катила по проспекту; то и дело ее, посверкивая парчой корпусов, обгоняли и самодовольно демонстрировали ей свои роскошные, бодро убегающие ягодицы более достойные механизмы. И пес с ними.

— Где вы жили в начале шестидесятых? — спросил Лёка.

— В Москве. Студент.

— Замечательно. — Теперь Лёка соображал очень быстро. Все вроде складывалось, подгонялось одно к другому — будто абзацы в хорошем тексте. Что-что, а дурить надзирающих чиновников мы благодаря Советской власти научились всерьез и надолго, подумал Лёка. Она дала нам в этом смысле неоценимый опыт. Можно сказать, культурообразующий... — Сейчас мы едем ко мне... то есть поужинаем сперва, потом ко мне. Там я вам вручу кое-какие бумаги и буду долго рассказывать про Рогачево. Я не знаю, какие вопросы вам будет задавать во время интервью представитель ОБСЕ в ОВИРе, так что вам надо быть во всеоружии. Версия такая: в студенческие времена вы повстречались с тетей Люсей, когда она, совсем еще молодая, приехала из деревни, скажем, Москву посмотреть, по магазинам пройтись... У вас любовь получилась. — Рот у Обиванкина слегка приоткрылся, и во взгляде начало проступать некое обалделое несогласие. — Потом тетя Люся вышла замуж, это в шестьдесят третьем было, и ваши отношения прервались. Но будем считать, что в душе вашей она до сих пор окончательно так и не изгладилась. И она вас помнит, родственники — в моем лице — это знают. И мы, родственники то есть, уверены, что она будет вас очень рада видеть. Вот такая легенда. А вам за сегодняшнюю ночь надлежит с моих слов вы зубрить, как от столицы нашей Родины города-героя Москвы вы к ней добирались, через Савеловский вокзал предпочитали либо через Ленинградский, какой автобус ходил от Дмитрова, какой от Клина, какой от Лобни, как переулок назывался, на котором ее дом стоит, какой там сеновал, где вы целовались, какая конура у Шарика, что тетя Люся любила на завтрак и что на ужин...

— Послушайте, милейший! — Обиванкин, на некоторое

время, казалось, вовсе утративший дар речи, взорвался. — Я... Никогда! Ни за что! Я не стану порочить честное имя пожилой женщины! Да еще в тот момент, когда она тяжело больна и не может защитить себя!

— Обиванкин, — устало сказал Лёка, с ожесточением вертя баранку; впереди обнаружился разинутый в плотоядном ожидании канализационный люк без предупредительных знаков, и все пружие по проспекту машины, внезапно замечая его чуть ли не у себя под носами, начинали ошалело метаться вправо-влево. — Может, вы думаете, что подобные маневры приятны мне? Ошибаетесь. Но предложите что-нибудь получше.

Кажется, нынче я уже произносил эту фразу, мельком подумал Лёка.

— Ну... Я не знаю. Надо подумать, но... Это недопустимо! Это аморально!!

— Спасибо, что сказали, — процедил Лёка. — Вы знаете, что в случаях, подобных нашему, визы выдают только ближайшим родственникам? У нас единственный шанс, да и тот слабенький — выставить вас как тетя-Люсину первую и незабытую любовь. Единственный! Дома я подберу несколько писем тети Люси — она писала отдельно маме, своей сестре, и отдельно отцу... Подберем отдельные листочки, где нет имени и где можно хоть что-то лирическое вычитать между строк, — и я их вам выдам, как бы это ее письма к вам, все, мол, что у вас сохранилось, и, если глянуть на даты, можно будет заключить, что переписка продолжалась и после замужества... всю жизнь. Листочки вы при необходимости предъявите в ОВИРе, потом вернете мне. — Он помолчал. — Это единственный шанс.

— Вы... — сказал Обиванкин и осекся. Облизнул губы. Стариковски повернувшись всем корпусом к Лёке, несколько мгновений всматривался в его лицо. Потом отвернулся. Некоторое время сидел молча, в гордом удручении.

— Я человек старой закалки, — глухо произнес он, — но даже мне всегда омерзительны были некоторые советские поговорки... «цель оправдывает средства», «лес рубят — щепки летят»... По всем своим понятиям я должен был бы сейчас отказать от вашего предложения. — Голос его задрожал. Он сглотнул. — Но я не откажусь. Мне действительно очень нужно в Москву.

Странно: Лёка и теперь не чувствовал ни малейших угрызений совести от того, что настоял на своем. Впрочем, подумал он, это, наверное, потому, что Обиванкин не предложил никакого варианта вовсе. Спора не было, столкновения правот не случилось. Не с чего тут переживать да угрызаться... А что старик малость поартачился насчет морали — так это нормально.

— А вы, Алексей Анатольевич... Я... — Старик явно расчувствовался. — Вы...

— Родина меня не забудет, я понял.

Обиванкин негодуяще передернулся:

— Нет, кроме шуток. Ваше самопожертвование...

— Ох, перестаньте, Иван Яковлевич, — с досадой сказал Лёка. — А то я, не ровен час, разрыдаюсь.

9

Время комплексных обедов давно прошло, но в «Старом Йоффе» и по вечерам кормили сравнительно дешево. Это было как нельзя более кстати — особенно нынче, потому что в финансовых возможностях неотмирного старца Лёка сомневался еще сильнее, нежели в собственных.

Вкрадчиво, неторопливо пропитывала вечер прохлада тихонько наползающей ночи; на деревьях в парке бывшего Политеха погасла радостная зеленая дымка и стала словно темная тень, сомкнувшаяся в воздухе вокруг ветвей.

От голода желудок будто клещами выкручивали, и голова соображала уже плохо — денек выдался не из удачных, что и говорить. А еще рабочая ночь впереди... и будущий день не лучше: очередь в ОВИР надо занять на рассвете, чтобы с гарантией успеть пройти интервью завтра же. На весь район — одна точка, как и в советские времена, когда за рубеж ездили единицы; теперь волей-неволей должны толпы собираться. Легче верблюду пройти через игольное ушко... Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Клянусь. Но вот до подмосковной деревеньки, где родилась мама... Ох. Лучше не думать.

Лёка припарковался возле «Старого Йоффе» и сказал, ободряюще покосившись на усталого Обиванкина:

— Картина первая — ужин.

Обширный полутемный зал ресторана был почти полон,

но столик все же нашелся. Обиванкин озираясь затравленно, судя по всему, он не бывал здесь ни разу; а может, и еще хуже — бывал, и даже не раз, в те времена почти былинные, когда тут был физтех, а не жравня средней руки, декорированная соответственно, в стиле. У дверей, по обе стороны, торчали какие-то громадные ржавые трансформаторы, а столики были карикатурно решены в виде допотопных, первого помета, советских ламповых компьютеров (тогда их, Лёка помнил с детства, чтобы не низкопоклонничать перед Западом называли электронно-вычислительными, или даже электронно-счетными, машинами); на их нарочито ржавых приподнятых центральных панелях, служивших подставками для стаканчиков с салфетками и наборов «соль-горчица-перец», бессмысленно, но аппетитно мигали огоньки и бросалась в глаза для кого жуткая, для кого гордая аббревиатура, для кого потешная: «СССР». Теряющиеся в дымном сумраке стены были расписаны популярными (это Лёка помнил тоже) в начале шестидесятых многочисленными модельками атома (шарик и вокруг него несколько перекрещивающихся овалов) да круговоротами лозунгов одного и того же содержания: «Наш советский мирный атом вся Европа кроет матом!»

Да, Обиванкин тосковал, нельзя было не заметить.

— Они быстро обслуживают, — как умел, подбодрил его Лёка.

Ученый лишь тяжко вздохнул.

Наскоро просмотрев меню, Лёка выбрал, что подешевле и притом посытнее: отбивную «Карачай» и большой кофе. Обиванкин, даже не пытаясь сориентироваться в перечнях сам, повторил его заказ, но кофе аннулировал, сокрушенно потыкав себя согнутым указательным пальцем в левую сторону груди: не могу, мол, сердце.

В заведении разрешалось курить, и мерцающие дымные одеяла медлительно, будто снулые скаты, плавали в темном воздухе; Лёка закурил. Предложил Обиванкину. Тот отказался.

А вот музыка была не в стиле. Видно, владыки заведения полагали, что молодежь, составлявшая основной контингент посетителей, плохо-бедно еще будучи в состоянии уразуметь дизайн, шумовые эффекты в стиле ретро уж никак не примет; петь им «Опустела без тебя Земля» или «Долетайте до самого Солнца» — только отпугивать. На живую музыку «Старый Йоффе» не тратился даже по вечерам, однако в динамиках ре-

вело не хуже живого: «Заколodило, заневзгодило — но ширяться резону нет! Обезводело, обесплодело — а мне по фигу! Всем привет!»

Стоит сейчас, думал Лёка, остаться одному и в тишине — и тоска накатит зверская. Он чувствовал себя так, будто его вывернули наизнанку и потрохами наружу прополоскали в новокаиине; ощущений ноль, но вот начнет заморозка отходить, и хана. Примусь вспоминать, как нам с нею было хорошо в такой-то раз, и в такой-то день, а как мы то-то и то-то, а как мы ездили туда-то...

Так что я, до сих пор ее люблю, что ли?

Или это тоска раба по хозяину?

Мать честная...

На середине пятой сигареты принесли еду.

Потом их все-таки догнала поспешно отключенная Лёкой в машине «Кайфоломшица». Здесь было не отключить. На весь зал, сотрясая сигаретные дымы, привольно загремело: «А говно в проруби купалось, эх, купалось! А ты со мною целовалась — да не ебалась! А я спросил тебя впрямую: какого хуя? А ты слиняла, как бы резвяся и ликуя!»

Лёка с каменным лицом насыщался.

Обиванкин согнулся в три погибели над своей тарелкой и при всем своем росте, при всей своей представительности стал смахивать на моллюска, который переваривает пищу, со всех сторон охватив ее своим телом-желудком. Видно, репертуар был ему еще более не по нутру, чем Лёке.

«Где он проторчал последние годы?» — с недоумением подумал Лёка. Старик порою вел себя так, будто все, что уже вошло, даже впилося в быт, для него то ли новость, то ли неожиданность... Может не принимать душа того-то и сего-то, конечно, может — но, как ни кинь, привычка постепенно вырабатывается. А в нем этой унылой, похожей на ороговелую мозоль привычности не было заметно ни малейшей.

Может, он к нам на машине времени прибыл из позднего Совдепа?

Лёка едва не пропустил на лицо совершенно несвоевременную улыбку; в самый последний момент успел схватить ее за хвост и втащить обратно, в темную нору себя.

А ведь творцы этого текста — не безграмотные дуболомы, подумал он. «Как бы резвяся и ликуя...» «Как бы резвяся и иг-

рая, грохочет в небе голубом...» Читали, явно читали и запомнили.

Вот для чего нужно теперь знание классики — чтобы вернее ее опускать.

Чем эта бравая песня о любви (вот так к поганой лирике надо бы относиться, а не юродствовать, как юродствую я — но не могу, не могу) отличается, скажем, от недавно разошедшейся трехсоттысячным тиражом по всему русскоязычному пространству последней версии «Войны мира»? Как ее... «Подлинная история Наташи». Пьер, оказывается, гомосексуалист и на протяжении всего романа то так, то сяк домогается Николенки Ростова, потому и жизнь его со вполне в него влюбленной Элен не удалась, он ее отравил в конечном счете, чтоб не приставала с гнусными бабскими домогательствами... Болконского, покуда он после Аустерлица был в плену у французов, завербовала наполеоновская разведка — отсюда его замкнутость и постоянная мизантропия, и в решающей битве за Москву он совсем уж было сдал свой резервный полк Бонапарту, тогда сражение точно было бы проиграно русскими с разгромным счетом, но случайным ядром ему оторвало яйца — Толстому в те ханжеские времена пришлось стыдливо написать «был ранен в живот» (вот прекрасная смерть! — для предателя, конечно; этак неназойливо протащить в текст патриотическую идею никакой Толстой не сумел бы!), — и только по этой простой причине князь во время последнего свидания простил графинечку за неумолимое блядство: сам-то трахнуть, если и выживет, — не сможет... И так далее. Успех неистовый, Голливуд уже сериал ставить намерен; автор, говорят, в долларах купается...

Повесть.

«Гамлета» переписали, пьесы Чехова все переписали... На ура идет. Или еще: то в древний Шумер перенесут действие, то в Древний Рим — и какой-нибудь Гильгамеш или Гай Гракх обязательно хоть раз, да крикнет при виде городской стражи: «Менты! Волки позорные!»

Это пострашней перекраивания истории, в котором так горячо и так справедливо обвиняли коммунистических идеологов; разом все пять тысяч лет мировой культуры переписываются под наше уныло-разухабистое «сегодня», чтобы потом мы же читали нами же написанное и с облегчением обнаруживали: да люди всегда были такими же мелкими уродами,

как мы; да они всегда жили, как мы тут теперь! Так же подло и бессильно, так же нелепо! Никого, кроме таких, как мы, никогда нигде не было и быть не может! А поэтому — все, стало быть, у нас в порядке!!

И до чего ж приятно делается на душе...

Он очнулся, лишь обнаружив, что тарелка перед ним уже пуста; качнул головой, недовольный собою. Подумал: сейчас Лэй опять сказал бы — обкурился... Поднял взгляд на Обиванкина: тот безрадостно дожевывал. Тогда Лёка одним рывком выпил свой остывший кофе и подозвал гарсона; пока ученый дорабатывал своими, похоже, протезами малость пригоревший «Карачай», расплатился; Обиванкин суетливо, явно боясь, что Лёка заплатит и за него (Лёке и в голову такое не могло прийти), тоже пошуршал бумажками — и они ни минуты лишней не задержались в гостеприимном заведении.

Совсем уж стемнело и попрохладнело, пока они воздавали должное яствам; Обиванкин глубоко, с наслаждением вдохнул посвежевший, без сигаретного дыма воздух и не удержался:

— Как хорошо!

— Кормят, согласитесь, вполне пристойно и сравнительно недорого, — стараясь быть справедливым, сказал Лёка. — А днем, когда я обычно обедаю, музыка не играет.

Со стремительным шипением, чертя фарами слепящие трассы в ночи, оголтело проносились мимо редкие машины.

— Вот странно все же, — задумчиво проговорил Обиванкин, не двигаясь с места. Казалось, он совсем не торопится. — Что я, матерных слов не знаю? Еще как! На испытаниях, бывало, и похлеще загнешь... А вот если слышу под музыку, в обыденном словесном ряду, да при женщинах — коробит. Буквально корежит...

— Привычка, — сказал Лёка. Его и самого коробило, но не было ни сил, ни настроения ввязываться в бессмысленный разговор системы «я хороший, а все плохие». — Условность. Идемте.

Обиванкин неторопливо двинулся к машине.

— Да, конечно, — сказал он. — Но на условностях жизнь стоит. Помните, Алексей Анатольевич — был такой рупор перестройки под названием «Огонек»?

— Помню, — ответил Лёка. — Мне ли не помнить. Коротич рулил...

— Я тогда его читал от корки до корки. И вот, помню, на

обложке одного — фото Красной площади, а на ее фоне — огромный знак, запрещающий курить, и подпись: «Низзя!» В том смысле, что вот какой у нас тоталитаризм: просто на улицах можно курить, а на какой-то там Красной площади — низзя. Мол, что хотят большевики, то и запрещают, издеваясь над человеческим естеством. Долой, мол, бессмысленные запреты...

Лёка молча достал из кармана позвякивающие ключи и с усилием пропихнул нужный в скважину замка дверцы.

— Так получилось, что как раз тогда мне довелось быть в Японии. Не одному, конечно, — была там ученая делегация... неважно. И вот вышли мы на площадь перед императорским дворцом... а это только говорится так, за площадью еще ров с водой, весь дворцовый комплекс ровом окружен, потом за ровом — парк, туда вообще хода нет, и уж где-то в парке, мы и не видели их — дворцы. Место дивное: вроде и центр Токио рядом, а шум куда-то сразу отодвинулся, пропал, из-за канала цикады в парке наявиваются... И вот один из наших, залюбовавшись, сунул сигарету в рот для полного удовольствия, зажигалку достал... А гид к нему в панике, аж руками машет крестообразно: нельзя, нельзя! Почему? А никто не знает. Нельзя, и все. Император недалеко — и тут курить неуважительно. Глупость какая, правда? Но красиво. Курить тут — НЕУВАЖИТЕЛЬНО. И я тогда понял, для чего нужны условности. С единственной целью — чтобы было видно, как люди уважают друг друга... чтобы они могли друг другу это показать. Если люди, как вот они там, это сами чувствуют — никаких запретительных знаков не надо. А если перестанут чувствовать уважение — и знаки не помогут, на них плевать будут, как мы на все плюнули. Знаете, по-моему... не без помощи таких вот издевательских «низзя» в прессе, кстати... понятие «уважения» из нашей жизни исчезло совершенно.

Свежая мысль, подумал Лёка и открыл дверь. В салоне машины укомно затеплился ненавязчивый, только для двоих свет. Нет, подумал Лёка, определенно старик недавно из хронолета вылез...

— Вы садитесь, Иван Яковлевич, — негромко сказал он. — Садитесь. У нас еще масса дел.

Они расселись; Обиванкин опять поджал колени к подбородку и загрустил. Лёка, кося в зеркало заднего вида, пропустил громадный, весь в выжигающих глаза огнях джил, несшийся, как тунгусский метеорит, и тронул «Москвич».

Незамысловатая, но прочувствованная речь пришельца из прошлого растрогала Лёку. И настроила на какой-то грустно-философический лад. Впрочем, в его нынешнем состоянии это было нетрудно: грусть стерегла рядом, на полшага сзади и всегда готовая к прыжку, будто верный Руслан; а уж философствовать — это мы всегда, это, знаете ли, не мебель каждый выходной натирать...

— Я вам больше скажу, Иван Яковлевич, — проговорил Лёка. — Похоже, вообще все то, что мы называем духовной жизнью, в очень большой степени обусловлено именно всякого рода запретами. Они возникают объективно, а мы потом либо, если соблюдаем их, придумываем им благородные оправдания, высокие смыслы, чтобы как-то смягчить причиняемые ограничениями страдания, либо, если их нарушаем, придумываем уже нарушениям высокие смыслы, чтобы оправдаться. И это не лицемерие, в этом нет ничего худого. Я думаю... — он запнулся, коротко глянув через плечо, и стал поворачивать на Хлопина; «Москвич» привычно запрыгал и заколотился, преодолевая трамвайные рельсы. — Я думаю, цивилизация вообще начинается тогда, когда то, что физически, физиологически вполне можно бы сделать: убить, изнасиловать, бросить одного умирать, без спросу забрать себе, не выполнить то, что тебе поручил старший, громко испортить воздух, сидя за обеденным столом, — становится совершенно нельзя по каким-то выдуманым, чисто духовным, искусственно, казалось бы, сконструированным причинам. И, с другой стороны, она кончается, когда все это становится снова можно. Людей не труд создал. Трудятся и пчелы, и бобры. Людей создали запреты. Ветхий запрет, Новый запрет... А разрушение запретов вновь делает из человека животное, одни лишь производственные навыки остаются. Квалифицированное стадо — все равно не более чем стадо... Современная цивилизация поработила человека так, как никакой рабовладелец не поработал, никакой феодал. С хозяином можно договориться, подольститься к нему, подремать, пока он не видит... Конкурентный производственный процесс не обманешь и не улестишь. Почти перед каждым человеком в течение двух третей, а то и трех четвертей каждых суток жизни стоит выбор: или нищета и прозябание, или предельное напряжение всех сил. И вот, чтобы скомпенсировать эту чудовищную и безысходную распятость на бешеном ритме производства ради по-

требления и потребления ради производства, современное общество позволяет — не заставляет, боже упаси, демократия же! — но: позволяет и даже исподволь одобряет то, что в часы досуга человек становится скотом и хамом. Оно называет это раскованностью и непосредственностью — и противопоставляет элементарной воспитанности, называя ее лицемерием, чопорностью и ханжеством. Так создается иллюзия свободы... А ведь снимите некий запрет — и вы снимете весь связанный с ним культурный пласт, — Лёка помолчал. — Вся система воспитания — это вдалбливание запретов. Не убий, не укради, не возжелай чужой жены, не переeday, не ковыряй в носу, не говори бранных слов... не будь банален — и не выпендривайся, не лезь не в свое дело — и не проходи мимо... Кто скажет, будто знает точно, какой из этих запретов лишний? И что тогда такое — свобода? Свобода — это возможность самому выбирать себе те запреты, которых можно не придерживаться, потому что они лишь мешают и ничего не дают душе, и те, которые надлежит исполнять, иначе потеряешь больше, чем приобретешь от нарушения. Один отвергнет «не ковыряй в носу», другой отвергнет «не возжелай чужой жены»... А дальше еще интереснее. Есть запреты, порожденные самой биологией человека: не убий, например. Они всем культурам присущи. А есть — выработанные единственно данной культурой. Неразрывно и целостно встроенные в ее систему. И вот представьте, что некто со стороны начинает сортировать запреты не своей культуры: эти вот еще стоит соблюдать, а вот эти — ерунда на постном масле, анахронизм, вроде запрета курить на площади. Ведь все посыплется, как карточный домик. Китайцы в древности наказывали чиновника, если тот в период траура по отцу или матери — а это три года, между прочим — зачинал ребенка. От своей законной жены! И все это понимали: государственный служащий есть светоч морали, а траур — не чих кошачий, и устраивать себе во трауре столь радостное событие, как зачатие отпрыска, — полная аморалка. Если чиновник этакое совершил, стало быть, в мире совсем не осталось ничего святого... как сказал бы Достоевский — все дозволено! А теперь представьте европейца, который по простоте и доброте душевной приходит и говорит: что? Три года из-за траура нельзя детей делать? Да это же полное нарушение прав человека! Как вы можете терпеть подобный произвол? Долой пережитки! Или, скажем, Сталин... Или

Гитлер. Что? Мягкотелые предрассудки? Из-за какого-то там устаревшего гуманизма — нарушение государственной целесообразности? Совестно людей жечь и травить газом? Совесть — пережиток. долой пережитки! Ведь их потуги создать нового человека — тоже не более чем навязывание иной культуры. И нет разницы, что лишь они сами и пытались ее создать... Важно то, что всякое навязывание чревато насилием. Политическим, экономическим, военным, полицейским — это уже чисто количественные характеристики...

— Вы мне свою новую статью рассказываете, Алексей Анатольевич? — тихо спросил Обиванкин, всем корпусом повернувшись к Лёке. Лёка осекся.

— Нет, — ответил он, досадуя на себя за болтливость. — Увы, нет. Сейчас мне предстоит писать совсем иное...

Хотя на улице, насколько хватал глаз, ни впереди, ни позади не было видно ни единой машины, он добросовестно зажег правый сигнал (и сам же невольно откомментировал: опять условность; вот же рабья кровь!), а потом, мягко подтормаживая, принял к поребрику. Остановился. Сказал:

— Приехали, Иван Яковлевич.

Документ № 8

Известно, что человек, оставшись в одиночестве, очень быстро тупеет, становится немотивированно агрессивен и сходит с ума. Это только в книжке Робинзон Крузо чуть ли не полжизни жил сам по себе и остался вполне интеллигентным, коммуникабельным сапиенсом; реальные его товарищи по несчастью, вроде Селкирка, когда их находили наконец, — представляли собою весьма печальное зрелище. То же самое можно сказать и о небольших группах людей; они, конечно, держатся дольше, в определенной пропорции к численности — но и их в изоляции настигает отупение, а то и озверение.

И то же самое можно сказать о цивилизациях.

Время от времени, когда они закипают, коснеют, устают сами от себя, когда теряют жизненные силы, смысл и цель существования, им необходимы иноцивилизационные присадки. Наиболее яркие примеры: христианская присадка Римской империи, европейская присадка Китаю век назад, социалистическая (я бы даже сказал — сталинистская) присадка Америке в начале 30-х годов, когда Рузвельт провозгласил «новый курс». Присадки всегда проходят очень болезненно,

весьма медленно и всегда спасительно для получающей их цивилизации (хотя потом обязательно возникают спекуляции о том, что присадки нарушили некую первородную чистоту и все испортили).

Христиане покорили Рим силой духа — то есть тем самым, чем Рим когда-то по праву гордился и что он к тому времени напрочь утратил. Европа была для Китая идеалом технического всемогущества, всемогущества средств, благодаря которым можно будет добиваться своих, исконно китайских целей. Экономические успехи сталинского СССР в начале тридцатых годов изрядно впечатляли пришибленный кризисом окружающий буржуазный мир.

Важнейшим условием, надо отметить, является добровольность и органичность усвоения иноцивилизационного опыта. Всякая попытка навязать его силой извне — наоборот, снимает возможность присадки в зародыше. Такие примеры тоже бывали.

Так что дело отнюдь не в матрешках и хороводах, которых, мол, так боятся лишиться русопяты. Это все этнография, ее, в конце концов, можно и в музее сохранить, или в резервации, как в США индейцев хранят.

Дело в том, что православная цивилизация является одной из самых своеобразных и динамичных на планете (а их и вообще-то раз-два и обчелся). Со своими стимулами деятельности, своей системой ценностей, своим целеполаганием. Все это, наравне с аналогичным опытом иных донине живых цивилизаций, составляет драгоценный, куда дороже золота, фонд стройматериалов для строительства будущего — сродни, если поискать аналогии на биологическом уровне, генофонду человечества.

Если православная цивилизация будет дезавуирована и потеряна, это окажется потерей для всех остальных, и потерей невозполнимой. Я не знаю, и никто сейчас знать не может, кому, для какой присадки, для спасения из какого тупика она может понадобиться. Но то, что это случится — неизбежно, потому что всякий опыт, пригодный к использованию, раньше или позже будет использован, он неизбежно понадобится, как очередная палочка-выручалочка, очередному попавшему в цивилизационную беду.

Но есть один штрих: никто не станет использовать опыт того, кто слаб. Кто никчем. Кто сам себе противен. Кто сам

отказывается от собственного опыта и собственной, простите за выражение, идентичности. Это очень хорошо видно на примере отдельных людей. Кого заинтересует сексуальный опыт импотента? Кто станет слушать от бомжа советы относительно ведения бизнеса?

Самое забавное, что бомж и впрямь может оказаться весьма компетентен — но это не имеет значения, его не будут слушать, его советы вызовут лишь смех и неприятие, ибо он с виду НЕ АВТОРИТЕТЕН.

Для того чтобы опыт данной цивилизации оказался для кого-то заманчивым, сама данная цивилизация должна сохранять дееспособность, привлекательность и влияние — иначе механизм не работает.

А если весь мир будет перемолот одной-единственной системой ценностей и поведенческих стимулов (я говорю отнюдь даже не о политическом подчинении), это крайне сузит его степени свободы. Глобальный тупик высоких смыслов, тупик бессельности и бессмысленности окажется — рукой подать. Человечество станет Селкирком на необитаемом острове и вскоре неизбежно спятит...

Из неоконченной статьи А. Небошлепова. Санкт-Петербург, октябрь 1997.

10

— Один живете? — спросил Обиванкин, аккуратно разуваясь в прихожей.

— Один, — ответил Лёка. — Я да четыре призрака.

Обиванкин, пошлепавший было прямо в носках из прихожей в комнату, обернулся.

— Насчет двух я, кажется, могу догадаться, — сказал он. — А вот еще два...

— Родители, — коротко ответил Лёка.

— Вы и с ними ухитрились расстаться?

— Это не составило мне большого труда, — спокойно ответил Лёка, — они умерли.

— Ох! — вырвалось у старика. Потом он на миг скорбно поджал губы и стесненно проговорил: — Простите великодушно, Алексей Анатольевич...

— Да ничего.

Лёка мимо остановившегося на пороге Обиванкина про-

шел в темную комнату, задернул шторы, зажег свет. При свете в ней сделалось еще теснее.

— Присаживайтесь, Иван Яковлевич... вот кресло. Чаю хотите?

— Пожалуй, пока нет.

— Вот и хорошо, я тоже пока не хочу. Но вам придется поскучать немного, я сначала займусь письмами, а уж потом мы начнем отрабатывать легенду.

Обиванкин тяжело вздохнул. Он не стал садиться — видимо, нервы не давали. Лёка его понимал. Хотелось ходить или, в крайнем случае, переминаться с ноги на ногу.

— Точно шпионы, право слово... — пробормотал Обиванкин.

— Да, — кивнул Лёка. Улыбнулся. — Вы вполне тянете на профессора Плейшнера.

Обиванкин с сомнением в голосе ответил:

— А вы для Штирлица не слабоваты?

— Я тоже скорее Плейшнер, — беззлобно согласился Лёка. — Компания, что и говорить, маломощная. Но если вам не нравится — поищите другую.

— Простите, — спохватился Обиванкин. — Я не хотел вас обидеть. Что-то я нынче в ударе: две бестактности в минуту... Форсированный режим. Пожалуй, я могу пока заняться чаем, хотите?

— Очень кстати, — кивнул Лёка. — Вскипятите воду. Там все просто — вода в кране, чайник на плите...

— Вода в ключах, голова на плечах, — проворчал Обиванкин, шлепая носками по линолеуму прихожей на кухню.

Поиски не должны были занять много времени. После смерти родителей всякая мелочь, связанная с ними, вдруг стала невероятно ценной; не раз и не два Лёка перекладывал безделушки, пересматривал фотографии, перечитывал письма — хоть и не ему предназначенные. Покуда были живы — Лёка никак не подозревал в себе этакой сентиментальности; а вот поди ж ты...

Так что он неплохо представлял себе, что и где искать.

Очень на руку было в данных обстоятельствах то, что женщина поколения тети Люси, к тому ж всю жизнь прожившая в глубинке, даже будучи влюбленной страстно, как Мария Стюарт, никогда не стала бы писать своему избраннику ни слова интимного. Нипочем в ее посланиях не найти было бы

чего-нибудь вроде «как вспомню о тебе — так между ног все мокро». Отписала, что куры тот год лучше неслись, чем нонча, — вот уже и вполне качественное любовное послание. А таких-то в архиве у Лёки лежало пруд пруди.

И еще был плюс: тетя Люся имела привычку ставить дату не в начале, там, где всегда бросается в глаза обращение к адресату (адресатом же значился, разумеется, не Иван Обиванкин, а либо мама, то есть Тоня, либо отец, то есть Анатолий, либо уж он, Алексей, Алешенька); датировала она свои письма на последней странице, рядом с подписью «Люся» или «Ваша Люся». Это оказалось неоценимой удачей.

В считанные минуты Лёка подобрал несколько очень убедительных страничек разных лет, начиная с шестидесят пятого и кончая две тысячи вторым; пробежал их наскоро, убеждаясь, что в них нет ни одного слова, которое не вписывалось бы в легенду. Письма хранились вместе с другими старыми бумагами, и, вытащив всю кипу для просмотра, Лёка обнажил какие-то иные залежи, машинописные — явно свое собственное старье; когда он полез утрамбовывать непригодившиеся письма обратно, взгляд его невольно упал на серый, скачущий текст (и машинка у него была не первой свежести, и лента всегда сбита, растрепанная). Как нарочно, глазам подставилось: «Если съехавшиеся под одну крышу молодые супруги часто ссорятся, русский скажет: «стерпится — слюбится», то есть понадеется на априорную взаимную доброжелательность, на этику, на неформальный полюбовный компромисс». Лёка поспешно прикрыл это позорище пачкой тет-Люсиных писем. То была его допотопная статья, вернее, наброски к ней; статью он так и не написал, не до статей в ту пору стало. Год девяностый, что ли, или девяносто первый... Лёка тогда еще очень рассчитывал на то, что у них с Машей стерпится и слюбится, был просто-таки уверен в этом — в сущности, об этом и писал. Нынче он выстраивал бы свой текст совершенно по-другому.

А если бы у нас слюбилось-таки, вдруг подумал он, сидя на корточках у выдвинутого нижнего ящика, где сохли в пыльной тесноте залежи минувших эпох, я, наоборот, сейчас вполне нормально такую фразу принял бы, да и все, что пишу теперь, писал бы совсем иначе... Он не утерпел; наудачу поднял несколько своих страничек вместе с тет-Люсиными письмами, глянул в открывшееся нутро. Ну, вот: наверняка

не возникло бы этой зазвучавшей уже со второй половины девяностых виноватости, просительности, не возникло бы уступчивых фраз про то, что не в матрешках и хороводах, мол, дело, с ними, мол, мы готовы расстаться хоть к вечеру, а главное-то в том, что мы не только себе нужны — мы и всем вам нужны, господа мировое сообщество...

Лёка резким движением задвинул тяжелый ящик.

Главное-то как раз, черт возьми, в том, нужны мы себе или уже не нужны; а остальное — по остаточному принципу.

Использовать наш опыт или нет — тут уж ваша забота, господа соседи, так же как, по идее, использовать нам ваш опыт или не использовать — тоже наша забота. А иначе получается этакое униженное выклянчивание права на жизнь системы «не убивай меня, Иван-царевич, я тебе еще пригожусь...»

Именно в этой позе он уже стоял перед Машей, когда пытался писать сей текст, и изо всех сил тшил доказать жене, что от него и ей, и Ленке все-таки очень много пользы.

Надо же. Даже социологическая аргументация определяется погодой в доме.

Мне при всем желании не вообразить, как бы я писал, если бы у нас все сложилось хорошо. Если бы я остался любимым, уверенным, полноправным...

Лучше не думать.

Невольно кряхтя в тон хрусту коленок, он поднялся с корточек.

Обиванкин, устало сторбившись, сидел у окошка на кухне и тупо смотрел, как цветет синий шепелявый газ под чайником. Навстречу вошедшему Лёке он обернулся и, через силу улыбнувшись, сказал:

— Исполнено, шеф.

Красивый старик, подумал Лёка. Только очень измотанный. Он положил перед пришельцем из прошлого избранные листочки и сказал:

— Ознакомьтесь, Иван Яковлевич. Попривыкайте к почерку... а я все-таки напишу про нынешнее сборище. Не могу подвести Дарта, обещал.

И хотел не писать, да сердце не на месте, чуть было не добавил он, но решил не тратить лишних слов; какое дело до его внутренних борений Обиванкину? Это только его, Лёкины, дела, и нет резона выставляться напоказ со своей мелочовкой.

Обиванкин поднял кустистые стариковские брови.

— И что же вы напишете? Новыми трудовыми успехами встретили питерские ученые славную годовщину?

— Нет, — довольный собой и своей тактической придумкой, ответил Лёка. — Черта с два. Не дождутся.

Есть погода в доме, нет погоды в доме, гордости нет, уверенности тоже нет — но лебезить не будем. Я прав. Прав — я. Мы не рабы, рабы не мы...

Он для вящей памяти положил перед собою раскрытый блокнот и припал к компьютеру.

«Вчера в Санкт-Петербургском научном центре состоялось торжественное заседание, посвященное третьей годовщине роспуска Российской академии наук. Перед собравшимися работниками умственного труда выступил главный ученый Аркадий Ефимович Акишин. Он рассказал, что за истекший срок под его руководством было покончено с милитаризацией науки, а также перечислил иные достижения, которым наша наука во многом обязана ему лично. Например, было доказано внефизическое и надвременное существование Бога, векториально хронального левовинтовому спинорному полю Вселенной и постоянно удаленного от любой произвольно взятой точки пространства на десять в степени бесконечность сантиметров. — Эту ахинею Лёка слово в слово перегнал из блокнота в текст статьи с особенным удовольствием. — Кроме того, в быт людей прочно вошла практическая астрология, и главный ученый заверил собравшихся, что недалек тот день, когда за несоблюдение рекомендаций астрологов органы охраны правопорядка будут штрафовать нерадивых и даже привлекать их к административной ответственности. По словам А.Е. Акишина, уже доказано, что Ньютон ошибался и в мире царит не мировое тяготение, а мировое отталкивание. Наконец, как отметил главный ученый, вдохновляемая им наука уже окончательно вплотную подошла к созданию промышленной модели торсионного генератора. После выступления А.Е. Акишину был задан ряд вопросов. Отвечая на них, он, в частности, рассказал, что после долгих, кропотливых и дорогостоящих исследований удалось доподлинно выяснить, сколько весит душа великодушного человека (8 граммов) и сколько — душа человека малодушного (2 грамма), а также пожурил современную молодежь за то, что она не в состоянии выработать в себе силы воли, достаточной

для изменения направленности электромагнитных и лазерных пучков или, на худой конец, хотя бы скорости распада урана и стронция. По окончании официальной части ученые удалились на банкет».

И все.

И электронной почтой отправил в редакцию — на полтора часа раньше, чем обещал господину Дарту. Дарт меня убьет, радостно думал Лёка; наверное, именно так вот отчаянно и погибельно радовались в прошлые века души кавалеристов, с шашками наголо скачущих в атаку. Верно, по приборам Акишина радость грамм на десяток потянула бы, не меньше... Но придаться не к чему. Информация в газету дана точнейшая и в срок — а имеющие уши да услышат...

И никаких «не убивай меня, Иван-царевич». Хватит.

Но тут в душе зануло. Лёка, двинувшийся было к Обиванкину, даже остановился, прищипленный к полу неожиданным сомнением.

Если посмотреть чисто по-человечески, Дарт — настоящий друг, он мне постарался помочь, а я — неблагодарная скотина, подлец, его подвел. Он нашел мне какой-никакой, да заработок, да как раз вовремя; и наверняка же мог кому-то другому, из ближайших своих, поручить, и ожидал от меня качественного материала — а я этак вот издевательски схалтурил...

Да. Если абстрагироваться от того, что именно мне надо было сделать. Что именно похвалить и превознести... Тогда — да. Ежели чисто по-человечески. Его организаторская хватка и дружеское участие, моя верность и готовность добром ответить на добро...

Самые светлые свойства людские танцуют под дудку системы.

А если не абстрагироваться?

Это как отрицательный множитель. В какую формулу с положительными величинами его ни подставь — конечный результат всегда окажется минусовым.

А вот минус на минус дает плюс.

Но до чего же, в отличие от чистой математики, неполноценен жизненный плюс, полученный от случки двух минусов! До чего ж мерзко от него воняет!

Лучше не думать...

Когда Лёка снова пришел на кухню, газ под чайником уже

отпвел, а Обиванкин сидел, запрокинув голову, и с отсутствующим видом глядел в потолок; ладонь его лежала поверх писем.

— Прочитали? — спросил Лёка.

Обиванкин медленно покивал.

— Разобрали почерк, ничего?

— Поначалу путался, потом привык... Знаете, Алексей Анатольевич... — он наконец перекатил взгляд на Лёку. Печальный был взгляд, страдальческий. — Я бы хотел так пожить.

— Я бы тоже, — сказал Лёка. — Одно время всерьез мечтал перебраться в деревню... Хорошо. Давайте теперь... нет. Прежде чем мы начнем, я вот что хотел уточнить. Документы-то у вас все с собой?

— Нет, — ответил Обиванкин.

— Тогда завтра... то есть нынче уже, нынче... перед ОВИРом нам нужно будет заехать к вам. Паспорт, пенсионное... Видите, все же мне придется выяснить у вас, где вы живете. Багаж у вас будет какой-то? Тоже возьмете. После ОВИРа, если все получится, мы сразу поедem на вокзал.

— Багаж будет небольшой, — сказал Обиванкин, явно размышляя о чем-то другом. Что-то в нехитрой Лёкиной речи его удивило донельзя.

— Совсем без сна нынче будем, — пробормотал, покачив головою, Лёка. — Подходящий окажется вид для интервью, в самый раз, удрученный да изможденный. С первого взгляда видно: к больной родственнице едем... Ничего, в поезде отоспимся.

И тут Обиванкин наконец уразумел, что именно ему показалось странным. Он распрямил длинную сутулую спину и с недоумением проговорил:

— Не понимаю вас, Алексей Анатольевич. Какой вокзал? Какой поезд? Мы разве не на вашей машине поедem? Нам же еще по Москве колесить!

Лёка глубоко втянул воздух носом, стараясь сдержаться.

— Ну, как вам сказать... Не уверен, что мой конек добежит до места назначения, но это-то ладно... Послушайте, Иван Яковлевич. Может быть, вы помните, что Клиn — севернее Москвы?

— Ну... — недоуменно буркнул Обиванкин.

— Стало быть, нам, едушим с севера на машине, совсем

не обязательно, чтобы попасть в Клин, заезжать в Москву? Да? Нет?

— Не обязательно...

— Так почему вы уверены, что нам дадут визу до Москвы?

У Обиванкина приоткрылся рот. Мысль явно подкупила его своей новизной.

— Я не подумал... — пробормотал он после долгой паузы.

— Если бы я просто ехал с Ленкой к тете Люсе, я бы на машине и покатил, — признался Лёка. — Все правильно. Но у нас-то с вами одна надежда: выклянчить право на билеты на экспресс. Тогда волей-неволей получится до Москвы и обратно. На вокзале мы с вами расстанемся, делайте в Москве что хотите — но к моменту отъезда назад чтоб были у поезда, как штык. Вот такой план кампании.

Несколько мгновений Обиванкин, по-прежнему с напряженной, прямой спиной, сидел неподвижно и даже не дышал. Потом шумно выпустил воздух из легких и сгорбился. Так и казалось, что его накачали было, будто надувного жирафа, а потом выдернули пробку.

— Я совсем все это упустил... — горестно пробормотал он. — Ох, жизнь...

— Да, — проговорил Лёка. — Жизнь. Давайте жить. Пьем чай — и начинаем...

11

Бедка пришла, как всегда, откуда не ждали.

Процедура и взаправду оказалась облегченной донельзя — что и обещали клятвенно при введении визовой системы чиновники из ОБСЕ. Не соврали. Заняв очередь в половине седьмого утра, за два с половиною часа до открытия ОВИРа, Лёка и Обиванкин уже к одиннадцати прошли в комнатенку, которая носила название приемной — по идее именно и только здесь и должны были концентрироваться господа петербуржцы, возымевшие блажь покататься по построссийскому пространству; в приемной стояло пять стульчиков да диванчик от силы на три задницы — кто в свое время просчитывал, что господ желающих будет оказываться в каждый данный момент времени не более восьми единиц, оставалось лишь гадать. Господа теснились в жидкой от потных испарений духоте приемной, точно кильки в томате; стояли и на лестнице, от

третьего этажа до низу, и еще на улице — будто тесто из квашни у нерадивой хозяйки густо вытекало сперва на стол, а потом и на пол. Все это страшно напоминало Совдеп. И, честно сказать, никакой ностальгической грусти не пробуждало.

Без четверти двенадцать подошла очередь Лёки заходить в опросную кабинку к интервьюеру, сидевшему за перегородкой из толстого, верно, пуленепробиваемого стекла. Всего их было пятеро, каждый в отдельной клетке за отдельной дверью; поближе к этим дверям очередь, превшая единым крутым замесом, распадалась на пять шупалец. Молодой, ухоженный и прекрасно одетый парень был приветлив, вежлив и предупредителен — у него там наверняка работал кондишн; разговор в целях вящей безопасности чиновника шел через микрофоны, а для передачи тех или иных документов под прозрачной частью перегородки предусмотрен был специальный ящичек, который можно было двигать то на ту сторону, то на эту, в него надлежало по мановению начальственной руки вкладывать те или иные бумаги: паспорт, свидетельство о рождении Леньки, телеграмму Фомичева... Хорошо, что при столь экстренных ситуациях не требовались другие бумажки, например, справка о доходах — с нею бы Лёка наплакался. Ходили слухи, что, ежели доход казался интервьюеру не шибким, он с легкой душой отказывал в визе — с какой, мол, радости при таких-то деньгах путешествовать? Сиди и не рыпайся! Не может, дескать, человек со столь мизерным заработком тратить на поездки, неспроста он едет, не к добру, скрывает свои истинные прибыли, преступник, наверное...

Да, молодой чиновник был вежлив и приветлив. И никакой это был, разумеется, не американец, не швед и не чех с Гавелом в башке и с печатью в руке — свой же, судя по выговору, брат русак куражился, только уже нового помета, без хамства, с хорошим словарным запасом и на жалованье у европейской административной структуры. И если отрешиться от того, что занимался он делом в каком-то смысле противостественным — своим личным произволом, никому не отчитываясь в мотивах разрешения или отказа (такие у него были права по закону), после доверительного разговора и короткого раздумья над услышанным разрешал или запрещал господам петербуржцам съездить, например, в одну из столиц ближайшего зарубежья — Москву; если отрешиться от того, что ему, на Лёкин взгляд, надлежало бы взвыть от собственной

подлости и выбежать на улицу с криком: да что же это творится, люди? да как же мы дошли до жизни такой? да не могу я этого больше! — а он сидел себе в своей ароматизированной клетке и негромко, но жестко, с ясными глазами и очень серьезным видом вопрошал: «Вы уверены, что ваши чувства к сестре вашей матушки столь глубоки, что вы действительно сумеете облегчить ей ее последние часы в сем мире?» — если отрешиться от всего этого, то интервьюер был образцом предупредительности и даже сочувствия.

Но Лёка отрешиться не мог — и потому, верно, ему постоянно мерещилось некое запредельное самодовольство в каждой гримасе и каждой реплике чиновника. Вот, мол, я приехал сюда из своего таунхауса на своем «Вольво», чтобы заниматься крайне важным делом: в целях, как сказано в законе, принятия превентивных мер борьбы с русским экстремизмом, а также прочей неостановимо растущей преступностью — лезть к тебе в душу и решать твою судьбу. Зачем мне быть невежливым с тобой? Неопрятным и тупым? Это все грубые, первобытные формы самоутверждения — а я интеллигентный человек. Я могу просто-напросто вежливейшим образом отказать тебе — и потом останусь веселиться дальше, а ты отвалишь весь в дерьме, и я даже скажу тебе на прощанье: мне очень жаль.

— Да, я все понимаю, — скорбно поджимая губы, покивал чиновник где-то на двенадцатой минуте интервью. — Конечно. Случай бесспорный, у меня нет ни малейшего повода отказывать вам. И вашему несовершеннолетнему сынишке, несомненно, тоже. Это очень мило, что мальчик сам изъявил желание проводить свою двоюродную бабушку в последний путь. Вы хорошо его воспитали. Что же касается... — он глянул в написанную Лёкой заявку. — Э-э... Обиванкина. Вы коротко с ним знакомы?

— Нет, — честно ответил Лёка. — Совсем даже нет.

— Однако вы все же сочли целесообразным найти его, получив телеграмму?

— Да. Я от тети Люси знал, что у нее в Питере есть давний друг Обиванкин, она о нем изредка рассказывала.

Поди проверь сейчас, рассказывала мне тетя Люся или нет.

— Но о близких их отношениях вы до сего дня не догадывались?

— Нет, конечно.

— Какое впечатление он на вас произвел?

— Да честно говоря, никакого. Опрятный старик, речь культурная... По первому впечатлению — ничего худого не скажу.

Чиновник покивал с пониманием.

— Мне нужно с ним поговорить самому. Он здесь?

— Естественно. Мы вместе пришли. Он прямо за мной в очереди.

— Тогда пригласите его, будьте добры. Тут надо разобраться и подумать.

Лёка, кивнув, повернулся и, упершись обеими руками, навалившись, отворил тяжелую звукоизолирующую дверь. Вывалился в духоту приемной. На него уставились десятки глаз, тшась, как прекрасно понимал Лека, в очередной раз угадать: разрешили? отказали? какое у господина начальника настроение? Эти взгляды вскидывались на каждого, кто выходил из опросной.

Один из этих взглядов был — взгляд Обиванкина.

Лёка, придерживав дверь, чтоб не затворилась от собственной тяжести, чуть кивнул старику и едва слышно процедил сквозь зубы:

— Загрунтовал я его нормально. Вперед.

Лауреат Ленинской премии, бывший знаменитый ракетчик или что-то вроде того взволнованно, точно студент на экзамене, пригладил седые волосы и шагнул в опросную.

Он вышел через десять минут. Лёка был уверен, что за эти десять минут он, Небошлепов, должен был бы тоже поседеть — так тянулось время. Но в приемной не было зеркала проверить.

Лоб Обиванкина был влажным от пота, и нос — влажным.

— Вроде нормально... — выдохнул он. — Идите, зовет.

Лёка снова погрузился в полусумрак опросной.

— Да, я удовлетворяю все ваши просьбы. Любовь — святое чувство, она заслуживает уважения. Особенно та, которую люди пронесли через всю жизнь...

По Лёкиной спине текло.

Чувствительный микрофон донес до Лёки жужжание принтера. Заполненная подорожная и три ближние визы, подрагивая, словно живые, шустро отрастали из него одна за другой.

— По этим документам вы, уважаемый господин Небо-

шлепов, в любой кассе города или области приобретете билеты на сегодняшний день до Твери — и обратно от Твери до...

Пол качнулся под Лёкой.

— Как до Твери?

Чиновник не слышал. Или не слушал.

— ...Петербурга на означенный в подорожной согласно вашей заявке день возвращения. По ним же в Твери вы сможете приобрести билеты на пригородный электропоезд до Клина и, соответственно, обратно — от Клина до Твери. Автобусные билеты от Клина до вашей деревеньки мы не бронируем, это местное сообщение, разбирайтесь сами. По квитанции с гербом Евросоюза — вот она, сейчас я ее передам — на втором этаже вы оплатите стоимость визы, без документа о внесении сбора виза недействительна. Желаю вам приятной поездки, — чиновник ляпнул стандартную концовку и лишь с секундным запозданием сообразил, что фраза не из того сценария. Не меняя тона, без зазрения совести добавил: — Примите мои соболезнования.

Документы вылезли к Лёке из щели под стеклянной перегородкой.

— Только до Твери?!

— Ну, конечно, — улыбнулся за толстым стеклом чиновник. — С приближением летнего сезона мы пустили дополнительный пассажирский поезд, который делает остановки во всех значимых промежуточных пунктах, и разгрузили экспрессы. Уменьшается скученность, увеличивается безопасность как резидентов столиц, так и пассажиров... Вы чем-то недовольны?

Лёка взял себя в руки.

— Благодарю вас, — чуть хрипло сказал он. — Вы очень любезны.

— Это моя работа, — скромно ответил чиновник.

Лёка во второй раз вышел наружу.

Снова взгляды — и среди них один.

— Ну, что? — свистяще выдохнул Обиванкин. Лёка молча взял его за локоть и поволок прочь из приемной. Они протолкались к двери, потом протолкались по лестнице вниз и, оба мокрые, как из горячего душа, с трудом переводя дыхание, вывалились во двор.

— Что такое? Что? — бормотал Обиванкин. Лёка молчал и упрямо волок его, точно муравей — сосновую иголку.

Когда они оказались достаточно далеко от хвоста очереди, так, что их уж никак и никто не мог слышать, Лёка, по-прежнему стискивая локоть Обиванкина, остановился, развернул ученого к себе лицом и сказал:

— Стало быть, такой расклад. Культура обслуживания на транспорте повысилась. Билеты у нас на сопряженные поезда, пассажирский до Твери и затем на электричку до Клина. И обратно, естественно, тоже от Клина на Тверь и затем из Твери на Питер. Нет Москвы.

Хорошо, что Лёка не выпустил локоть старика. Тот пошатнулся и схватился за сердце. Мог бы и упасть.

— Спокойно! — вполголоса прикрикнул Лёка.

— Как спокойно? Как спокойно?! Вам хорошо говорить...

— Да, мне очень хорошо говорить. — Мысли у Лёки в голове скакали, будто взлетающие над водой мальки, за которыми в невидимой глазу опасной глубине охотится щука. Сверкнув серебряными капельками вразнобой — и опять пропадают, ни единого толком не разглядишь. — Обратного хода уже не может быть, мы должны ехать. Если начнем отказываться, привередничать, они заинтересуются нами уже плотней, и все всплывет. Ничего. Ничего, Иван Яковлевич, прорвемся. Клин очень близко от Москвы, и, главное, граница уже позади окажется. Завтра мы будем там, а обратно в воскресенье. Я не знаю, какие дела у вас в Москве, долгие ли, короткие... Но, честное слово, за это время из Клина туда пешком можно сходить. На перекладных... леваками...

— То есть мы все-таки едем?

— А вы как думали? Визы на руках!!

С минуту они молчали.

— Доберетесь, — тихо, убежденно проговорил Лёка. — От Клина — доберетесь. В воскресенье мы будем вас ждать. Только... — Он перевел дыхание. — Только не попадитесь там. Без визы в столице... Начнут разматывать — всплывет подлог.

Опять помолчали. У Обиванкина вдруг задрожали губы. Он долго смотрел Лёке в лицо — будто они минуту назад встретились и он видел журналиста впервые.

— Алексей Анатольевич... — пробормотал он, насмотревшись. — Голубчик... Вы же собой рискуете. Почему вы так помогаете мне?

Потому что я прав, подумал Лёка.

Потому что я хочу хоть что-то в жизни довести до конца.

Потому что я начал и уже не могу отступить. Потому что вы мне симпатичны, Обиванкин. Потому что вы так же несчастны в этом мире, как и я. Потому что у меня рабья кровь.

Вслух он сказал:

— Я очень уважаю лауреатов Ленинских премий. Буквально благоговею.

У Обиванкина чуть приоткрылся рот. А потом он рассмеялся — отрывисто, трескуче и совсем не весело.

— Все, — сказал Лёка. — Я вас поставил в известность. Вы не отказываетесь ехать при таком раскладе?

— Безусловно, нет... Безусловно — нет!!

— Тогда пошли платить.

12

Лэй, перекинув суму через плечо, шумно скатывался по лестнице — возбужденный, окрыленный, предвкушающий дальнейшее путешествие и бесшабашную дорожную свободу. Лёка тоже шагнул было через порог, но Маша коротко, тут же отдернувшись, коснулась кончиками пальцев его спины — и он обернулся.

— Я вчера сказала грубость, — с трудом выговорила она. — Прости. Я не хотела тебя обидеть.

Лёка ободряюще улыбнулся ей.

— Совсем даже не грубость, — сказал он. — Просто правду.

Помолчали. Он смотрел ей в лицо; она смотрела в сторону. Так часто бывало и прежде: он искал ее глаза, она их прятала.

— У меня такое чувство почему-то... Будто я тебя уже никогда больше не увижу, — сказала она. — Вообще.

— А у меня такое чувство, — мягко сказал он, — что ты после этой поездки будешь мной гордиться.

Она, чуть склонив голову набок, тронула ладонью волосы над левым ухом.

— Одно не исключает другого, — сказала она.

— Не беспокойся за Леньку, — сказал он. — С ним все будет в порядке, обещаю. Я его привезу, выгрузу перед домом и сам уже не стану подниматься.

— Вот спасибо, — сказала она. — Утешил.

Тогда он мимолетно, чтоб она, даже если захочет, не успела отстраниться, обнял ее за плечи; чуть притянул к себе — и сразу выпустил. Она покорно качнулась к нему, потом от него. Он повернулся и молча вышел из дома.

Общественный центр споспешествования располагался в самом центре Петербурга, на Невском — на третьем этаже крупнокаменного, похожего на мощный форт кубического здания, по привычке до сих пор в просторечии называемого «Аэрофлотом». Собственно, на первом этаже и впрямь иногда еще продавали авиабилеты, но, поскольку расстояния, на которые имеет смысл летать самолетами, теперь непременно уводили в какое-нибудь зарубежье, народу у касс было раз-два и обчелся. На днях вот ко входу, двигаясь мягко и плавно, будто на воздушной подушке, подрулил, на радость зевакам, длинный белый лимузин, похожий на редкостную, наверняка в Красную книгу занесенную (не вздумайте ее тревожить! находится под защитой государства, и не одного!) экзотическую зверюгу; из лимузина выскочил торопливый человечек, скрылся в кассовом зале, через пять минут вернулся и нырнул обратно в загадочные, что твоя пещера Али-Бабы, недра, медленно поплывшие дальше. Как раз накануне по всем СМИ прошло сообщение о новой победе демократии — установлении прямого авиасообщения Петербурга с Нассау, столицей Багамского рая, и в собравшейся небольшой толпе немедленно было высказано предположение: «Абрамчуку билеты на Багамы из мэрии покупать приехали!» — «Почему обязательно Абрамчуку?» — засомневались иные. «Так выборы ж на носу! Надо ведь намекнуть человеку, за кого голосовать!»

Ведшая наверх, на административные этажи лестница никак не связана была с распространением в народе авиабилетов, и ни малейшей помпы на ней не наблюдалось — узкая, довольно крутая, она четкими углами изламывалась вокруг старомодного тихоходного лифта. Спокон веку здесь были какие-то конторы; так и теперь осталось. И незачем этим конторам роскошь, не в роскошь тут играют.

Гнат Соляк проворно, точно молодой, взбежал к запертой двери без опознавательных знаков, хлопнул по кнопке звонка. Через мгновение в ребристых щелочках интеркома раздалось шипение и голос:

— Вы куда?

— К господину Вэйдеру, — ответил Гнат.

— Вам назначено?

— Так точно. Вызов на десять ноль-ноль.

Последовала мирно шуршащая пауза. Гнат знал, что сейчас его лицо с трех сторон обследуют сканеры. Да пожалуйста, думал он. Обследуйте, резвитесь. Кожный дроче як вин хоче.

Дверь шелкнула и открыла одну створку.

— Пожалуйста, — с некоторым запозданием произнес голос из интеркома, и шуршание угасло.

В приемную Гнат вошел за три минуты до назначенного времени.

Дежурный офицер в штатском — впрочем, тут все всегда были в штатском, — даже голову не поднял при появлении Гната, так и сидел, уткнувшись в свой монитор. Наверное, в «минера» играет, выше ему по его интеллекту не подняться, подумал Гнат. Но все равно — признак был недобрый, очень недобрый.

— Привет, — сказал Гнат.

Нулевой эффект. Тогда Гнат подошел к столу дежурного вплотную, оперся кулаками о его стол и гаркнул:

— Здравия желаю, товарищ либерейтор!

Офицер лишь поморщился. Крепкие у байстрюка нервы.

— Не паясничайте, Соляк, — сказал он с отчетливым акцентом.

— И не думал даже, — ответил он. — Просто я только что с фронта и очень рад как мирной жизни в целом, так и тому, что вижу вас в добром здравии, сэр.

— Я вам не сэр, — терпеливо проговорил дежурный. — И не товарищ. Я секретарь господина Вэйдера господин Дроед. Будем знакомы?

— Будем, — ответил Гнат.

— И простимся с миром, — подытожил дежурный.

— Даже так? — чуть поднял брови Гнат.

— А вы как думали? — дежурный наконец оторвался от монитора и посмотрел Гнату в глаза. Насмешливо. Даже с неким торжеством. — Все игрушки? Кончились игрушки, Соляк.

Худо, подумал Гнат. Если эта вошь со мной так разговаривает — все. Подлежит списанию...

Вернее, подлежу.

Он прекрасно знал, что они его не любили. Слишком независимо он себя вел. Будто равный с равными.

Опять карачун моей самостийности, подумал Гнат.

Из-под потолка музыкально блякнул сигнал в две ноты. Хрустальное «блям», и потом пониже тоном, малость уже почугунному — «блям».

— Заходите, — сказал господин Дроед и вновь уткнулся в монитор.

Было ровно десять.

Этих тоже ненавижу, думал Гнат, входя в кабинет вербовщика.

Как он радовался, когда в Севастополе спускали осточертевший русский триколор! Ведь вроде бы совсем недавно...

И вдруг там же, через какой-то буквально месяц, на той же инфраструктуре — база НАТО.

Поначалу это почти не тронуло Гната. Именно его рота была выбрана для торжественного прохождения в составе сводного батальона имени Левка Лукьяненко (в числе прочих формирований быстрого развертывания во имя мира) при поднятии флага Украины там, где еще по весне орали свое «Здравия желаем» москалям; и Гнат был страшно горд. Все остальное ушло на второй план; он гонял и дрессировал своих хлопцев так, как никогда прежде. Его парни должны были драться настолько же лучше всех, насколько громче во время марша они должны были спеть «Ще не вмэрла Украины и слава, и воля». После торжественной части ожидалось показательные рукопашные — этим все сказано.

Оказалось — не все. Потому что остальные роты сводного батальона оказались вовсе не украинскими.

Гнат узнал об этом лишь на самой церемонии.

Может, поначалу Киев и не хотел заходить так далеко. Может, вполне может; да только что с того толку. Коготок увяз — всей птичке пропасть; начал отдаваться — так не охай, если тебя без предупреждения нагнули в неловкую позу. На то и существует дипломатия, чтобы заставлять тех, кто чего-то не хочет делать, делать как раз это самое, да не просто, а с радостью, с огоньком! Втянут за уши — и сам не заметишь...

Народ Украины мае выключнэ право на володиння, корыстування и розпорядження національним багатством України. Так?

Так! Так, натюрлихь!

Россия с Черного моря ушла?

Ушла.

Вакуум силы возник?

Да как вам сказать...

А вот прямо. Не знаете? Тогда давайте посчитаем вместе, мы-то уж у себя неоднократно посчитали, но давайте уж вместе. Раз, два, три... Возник?

Ну... Возник.

Надо его заполнить?

Н-ну...

Надо, надо. Ведь интересы мира и стабильности, интересы защиты прав человека в регионе требуют, чтобы...

Ладно, это понятно, слышали не раз и сами уже научились. Чего хотите-то?

База в Севастополе пустует?

Э-э...

Ну пустует же, ну нет у вас сил и средств, чтобы ее задействовать мало-мальски. Хотя она, между прочим, и есть национальное богатство Украины — в числе прочего. Вот мы ее и заполним.

А-а-а... Э-э-э...

Без «э», плиз. А если вы так уж хотите быть верны букве собственного закона, если вас беспокоит, что по Конституции Украины на ее территории не может быть иностранных баз, так это пустяки. Популярно объясняем для невежд. Украина — член НАТО?

Член. Так.

База натовская?

Йес.

Ну, и стало быть, нуу проблем. Украинская, стало быть, база.

И все, крыть нечем. Только петь остается погромче: «Душу й тило мы положим за нашу свободу и покажем, шо мы, браття, козацкого роду!»

А рядом печатают шаг немецкие и американские мордовороты. Политико-воспитательная работа у них на уровне, что говорить — не чета Советской армии, которую Гнат еще успел нюхнуть. Не к ночи будь помянута... Еще накануне гостям (впрочем, кто теперь гости, кто хозяева — лучше было не думать; Гнат и не думал, сколько силы воли хватало) раздали листочки с наспех протранскрибированным латиницей тек-

стом гимна — и вот мордovorоты, старательно закаменев лицами, чтоб не расхохотаться в самый торжественный момент, с ужасающим акцентом режут во всю глотку: «Згнуть наши ворожэнькы як роса на сонци, запануем и мы, браття, у свой сторонци!»

И лишь вовсе уж простодушные и непосредственные негры, дети гор, скалятся так, что от зубов солнечные зайчики отскакивают — точно от хорошо надраенных штык-ножей. Но — поют, поют, во всю мочь горланят, что велено, дисциплина у них не чета, скажем, украинской... «Украины слава станэ помиж народами!» А бутсы их поганые по плацу: хрямс! хрямс! хрямс!

А потом — сам президент перед микрофонами: «Щиро ви-таю усих, хто прычэтный до патриотичной акции...»

Наверное, можно было бы просто посмеяться. Можно было бы надратся и забыть. Можно было бы, если постараться, вывернуть все наизнанку и надуться от гордости: вот, мол, до чего ж нас весь мир уважает; даже с той стороны глобуса приехали, чтобы спеть нам наш гимн на нашем языке; даже немчура, внуки тех, с кем насмерть бодались тут деды и отцы таких, как Гнат (и дед Гната, кстати, погиб, и дед по матери, кстати, погиб тоже; один в Красной армии, другой в УПА, но оба в боях с немцами, друг другу не успели вцепиться в глотки), — поют, поют!

У Гната ни посмеяться, ни загордиться не получилось.

Можно было бы, на худой конец, утешиться, прочитав на следующий день во всех газетах, какие сумасшедшие деньги в ближайшее время вобьют и вколотят в украинский ВПК (и не только в него) заморские доброхоты...

Гната и это не утешало.

Ведь сказано же: не может быть иностранных баз!! В конституции сказано!

Ведь сказано же: выключэнэ право на володиння, корыстування и розпоряджэння!

Можно было еще, как понимал Гнат, до полного обезболивания заморочить себе голову глубокомысленными рассуждениями. Феодализм сменился капитализмом. Прогресс? Безусловно. Старый хозяин, владевший Украиной по праву завоевания, сменился новым, владеющим по праву покупки. Прогресс? А як жэ!

То, что старый владелец был, с какой стороны ни глянь,

все ж таки братом, с которым вместе росли, цапались и добра наживали, а новый залетка прикатил с того края света на готовенькое, дела не меняло. Ненавидят друг друга при ссорах сильнее всего именно родственники. Чем ближе — тем не примиримей. Диду, диду, мы с Грицьком глэчик молока не подилилы! Обращайтесь, детки, в Гаагский трибунал.

Да какой он брат? Байстрюк безродный, подзаборный... выскочка...

Нет. И от этих соображений не легчало.

Что-то надломили в Гнате поющие про славу Украины негры да немчура. Чересчур живо представлялось, как они тут запануют. У своей сторонки.

Вообще не хотел Гнат Украине хозяев — ни старых, ни новых.

Оттого он, не прошло и года, демобилизовался — и стал солдатом удачи. Благо на постсоветском и даже построссийском пространстве горячих точек хватало, а платили... Хорошо платили, хватало. Ничего, кроме как честно солдатствовать, Гнат не умел, но теперь он это делал лишь ради себя, стараясь даже не знать, что происходит на любимой нэньке — чтоб не повеситься и не спиться. И разговоры о дальнейших шагах прогресса по ней либо пресекал, либо, если полномочий не хватало, пропускал над собой, будто вшивый окопник — танки противника; и новости здешние, едва речь заходила об Украине, вырубал и переключался на какие-нибудь голые задницы, это получалось легко и быстро, задниц в телевизоре обнаруживалось никак не меньше, чем горячих точек в бывшей стране.

Точь-в-точь по Шевченке: «Ніде не весело мені — Та, ма-буть, весело й не буде И на Україні...»

Все повторяется. И потому лучше уж не ведать, и не видеть, и думать, что там все хорошо, это просто у Гната все плохо, потому что он не там, а на чужбине.

Хотя, смешно сказать, Гнат ощущал себя тут как-то все ж таки дома. Однажды, поначалу еще, в погоне за длинным евро вынесло его за пределы бывшей необъятной Родины, и совсем ведь недалеко вынесло, на Балканы — а вернувшись в Питер, он долго и блаженно отмякал: дома... дома... все свои... Странное это было чувство, неуместное, даже недостойное — но сладкое.

Словом, зарекся ездить далеко.

Ох, и покидало-пошвыряло Гната за прошедшие годы...

И вот ведь подлость — везде приходилось говорить по-русски. И на востоке, и на западе. Далеко зашла русификация, злился Гнат, ох, далеко, и до чего устойчива, стерва, оказалась; но после того, как месяц назад они с каким-то чучмек в течение единых суток с интервалом в пару часов спасли один другого, злость эта в нем начала подстывать понемногу (хотя он и самому себе не признался бы в том); хрена с два они с азиатом понимали бы друг друга с полуслова под польским огнем, общаясь по-английски или, скажем, по-литовски; а без понимания — обоим бы размотали кишки. Чучмек — тот вообще ностальгировал по временам, когда его малая родина была русской колонией; впрочем, что взять с азиата. После боя (как обычно, большие потери с обеих сторон и для обеих же сторон нулевой результат) он, прислушиваясь к стонам и крикам раненых в недалеко торчащей госпитальной палатке, даже вздохнул грустно: «Эх, Россия-ханум, куда ж ты смотрела?»

Литовско-польская граница — вот было последнее место службы Гната; именно оттуда он, когда закончился полугодовой срок его контракта, вернулся теперь в Питер в распоряжение господина Вэйдера за оплатой и, после соразмерного ей отдыха, за новым контрактом. Вероятно, будь он заключен, пришлось бы возвращаться обратно, туда же, под Клайпеду — конфликту конца-краю видно не было.

Еще в первой половине девяностых годов прошлого века Польша поставила в Балтийской ассамблее вопрос: а не следовало бы России, раз уж она порвала со своим кровавым прошлым и хочет встать в ряд цивилизованных стран, передать Польше (не Германии, которая и так уже сыто рыгает, заглотив ГДР, а именно Польше) в качестве, скажем, компенсации за моральные, материальные и людские потери, нанесенные советской агрессией тридцать девятого года, — бывшую Восточную Пруссию, а ныне Калининградскую область? Ну ведь все равно ж она для России непосильная мука! Тот самый чемодан без ручки — нести невозможно, а бросить жалко. А тут — замечательный получился бы знак покаяния и примирения...

И ведь получился!

Передали!

В радостном упоении от очередной победы общечелове-

ческих ценностей никто и предположить не мог, что из этого выйдет.

В свое время не Литве, а именно Восточной Пруссии принадлежал так называемый Мемельский край. Клайпеда и все кругом. Чикая отвоєванные у Гитлера ломти Европы на мелкие бутербродики для тех, кто расселся за его гостеприимным столом, товарищ Сталин не стал включать этот самый Мемельский край в Калининградскую область, а отчекрыжил в пользу Литовской ССР. Да, конечно, впервые данные места попали в Литву раньше, в двадцать третьем году, мановением Антанты, шинковавшей Германию еще после Первой мировой; но шутка в том, что по Потсдаму-то эта территория была передана именно СССР, и именно СССР уже уступил его Литве по новой. Чтoб она радовалась и благодарила хоть иногда. Чтoб знала, как щедра Советская власть. Чтoб помнила: без Советской власти ей в целости не жить.

Не помогло.

Литва, едва ставши независимой, в запале объявила, что не признает юридически даже самый факт вхождения в бывший СССР и что отныне все без исключения международные акты, заключенные от лица СССР в отношении Литвы, действительными рассматриваться никак не могут.

Ладно. Вольному — воля.

Пребывание Мемельского края в юрисдикции Литовской республики сразу сделалось, мягко говоря, спорным.

Более того, коль скоро территория бывшей Восточной Пруссии, впоследствии — Калининградской области, оказалась территорией Польши, Мемельский край и по духу, и по букве международного права — стал в значительной степени польским.

Поначалу никто и не вспоминал об этом. Пример России, похоже, гипнотизировал: та ни словом о подобной казуистике не напоминала Литве — ни рвущейся к независимости, ни обретшей оную; видать, обижать не хотела. Потом все-таки вспомнили. Может, потому, что уровень жизни в Литве резко уступал уровню жизни в Польше. А может, наоборот. А может, Польше лишний порт на Балтике понадобился... Гнат не знал и знать не хотел. Он ведал цену подобным разборкам еще с тех времен, когда искренне переживал насчет правового статуса Крыма и желал страстно, чтобы Украина была права не просто так, не просто потому, что никто с нею всерьез не спо-

рит, а по закону, по справедливости, права действительно... хватит, пусть у новых дураков головы болят. По обе стороны границы сперва возникли, как заведено, культурные общества и принялись интеллигентно, с квалифицированным привлечением древних бумажек, мутить воду. Потом стали в ООН обращения сыпаться — мол, просим рассмотреть незаконное вхождение, сиречь грубую аннексию, нашей исконной территории, а также притеснение коренного населения колониальными властями... А кто там первым чей хутор поджег, кто кого на вилы поднял, литовцы поляков или поляки литовцев — теперь, как и всегда в подобных случаях, удастся выяснить, только когда американцы смастерят наконец машину времени; да и то Гнат сильно подозревал: заплати побольше, машина та и покажет, что тебе нужней. Рынок — он во всем рынок. Сами же американцы говорят про него: всеобъемлющий.

Без малого уж полтора года шла эта нелепая, вялотекущая и совершенно противоестественная ночная война между двумя членами Евросоюза, НАТО и бог знает, чего еще столь же гуманного и цивилизованного. И никому до нее большого дела не было — как, впрочем, и еще до нескольких подобных. Конечно, бесперечь принимались пространные резолюции во всевозможных международных говорильнях, наблюдатели и посредники какие-то мелкие с очень серьезными и озабоченными лицами шныряли взад-вперед, шустрые и назойливые, что твои тараканы... Сколько их Гнат перевидал! Но настоящий хозяин молчал. Может, потому, что война-то велась не регулярными силами, а якобы некими бандформированиями (наемниками, на самом деле), регулярные же вооруженные силы что Литвы, что Польши эти бандформирования якобы ловили, ловили, и никак поймать не могли; но Гнат и мысли не допускал, что столь простая, уже оскомину набившая механика может по сей день кого-то обманывать — ежели, конечно, он сам не хочет обмануться.

При старом хозяине учинять этакий бардак и в голову бы не пришло; сидели бы тихо, славили мудрое партийное руление и не вспоминали о перевернутых страницах истории. А если бы и вспомнили, хозяин, будь он жив и в расцвете самостийности, подобного безобразия, конечно, бы не потерпел; с обычным своим чувством такта в двадцать четыре часа отечески раскатал танками и правых, и виноватых, но вооруженный

маразм пресек бы на корню и принялся потом необъятными лопатами швырять дармовые деньги на восстановление попорченного происками империалистов народного хозяйства братских республик; москвичи да питерцы ходили бы без штанов, но попорченное хозяйство восстановилось непременно (другое дело, что и москвичи, и питерцы после этого кляли бы на чем свет свое безмозглое правительство, а братские республики — на чем свет кляли бы русских оккупантов: подрасться не дали!). Однако старый хозяин и сам уж слох; туда ему и дорога, заставлял себя почаще повторять Гнат — хотя время от времени, при виде голых женщин, со вспоротыми животами валявшихся в грязи на проселке где-нибудь под Шилуте, или контуженных ночным взрывом детей в Шакье, его брала невольная злоба на косоруких москалей: конечно, никто не просит вас соваться в Украину, но уж у себя-то под носом должны были бы навести порядок, окоротить подонков, защитить ни в чем не повинных людей!

Впрочем, где им теперь...

А новый хозяин почему-то не обращал на происходящее ни малейшего внимания. То ли не хотел марасться о подобные мелочи — ведь нефти здесь нет; а то ли и одобрял в глубине души. Пусть, мол, унтерменьши друг дружку прореживают помаленьку; они, разумеется, уже члены всего, что полагается, но членство членством, а золотой миллиард не резиновый...

Господин Вэйдер обычно вставал, когда в его кабинете появлялся Гнат. Обычно даже обменивался с ним рукопожатием, и был предельно приветлив. Гнат был одним из лучших командиров, которых ему удалось купить; хотя и русских безработных кадровиков в Питере было пруд пруди, но ведь и вербовщиков паслось немало — чем дальше в прошлое уходили проклятые времена холодного противостояния, тем сильнее раскипалась планета. Вон, совсем рядом, буквально напротив Центра вспомоществования, в бывшем Генеральном штабе их бывшей Российской империи — Международный фонд призрения обосновался. Кого он там призрирует, как, за чем — никому не ведомо; до сотни классных воителей в год рассеивает по Ближнему Востоку и Центральной Азии...

На сей раз господин Вэйдер встретил Гната, положив ноги на стол и со стаканом в руке. В стакане, в какой-то коричневой жиже, полоскались, тупо позвякивая, подтаявшие кубики льда.

На столе стояло виски, в виски плавали сосиски — а потом они, как пробки, с треском вылетят из попки...

— А-а, Гнат! — запросто приветствовал Гната господин Вэйдер. Акцент в его речи был различим, но неназойлив.

Не был он, конечно, американцем. Прежде Гнат это подозревал, а теперь подозрения превратились в уверенность — слишком уж по-киноамерикански вербовщик расположился. Распластался. Растекся. Гнида безродная, подзаборная. Что он вообще делает, байстрюк, на нашей земле?!

То есть... на их земле, на построссийской.

— С возвращением! — с утрированной радостью воскликнул господин Вэйдер.

— Я толком еще и не чувствую себя вернувшимся, — выжидательно ответил Гнат. — Весь еще там.

— О, у вас будет время почувствовать себя здесь! — Господин Вэйдер улыбнулся во все зубы. — Мы не сможем возобновить с вами контракт. Я в вас разочаровался.

Гнат молчал.

— Вы утратили навыки. Утратили нюх, чутье. Может, вы уже состарились?

Гнат молчал. Только желваки запрыгали.

— Вы уже не боец, и вы уже тем более не ищейка. Так бездарно упустить эту фанатичку!

А быстро, однако, стучат братья по оружию, подумал Гнат; словно бы просто отметил факт, без сердца. Потом все-таки поморщился: они не по оружию братья, а по оплате...

— Пять дней всей группой гоняться за поджигательницей — и упустить!

— Я ее не упустил, — бесстрастно сказал Гнат. — Я ее отпустил. Это оказалась девочка пятнадцати лет. Ее бы убили.

Господин Вэйдер отставил бокал с виски и оставил шутовской тон.

— Ах, вот как. А с каких пор и с какой стати вы начали присваивать себе функции политического руководства? Кто вас уполномочил?

Гнат молчал.

— Вы — придаток к приборам ночного видения и к стрелковому оружию, понятно? За это вам платят!! Я получил чудовищную рекламацию от тамошних властей! Мне пишут: вы кого нам присылаете — бойцов или экспертов по правам человека? И мне нечего ответить! Они требуют, чтобы я возмес-

тил им стоимость склада и двух джипов, уничтоженных вашей девчонкой! И они еще не знают, что вы отпустили ее нарочно!

Гнат молчал.

Господин Вэйдер взял себя в руки. И вновь взял в руки стакан. Пригубил.

— Конечно, все у нас будет по закону, и поэтому еще неделю вы считаетесь моим мальчиком, — сказал он. Разговор отчего-то явно доставлял ему удовольствие, Гнат даже удивился слегка. Между ними, казалось Гнату прежде, за последние три года возникло некое подобие приятельских отношений. И вот вдруг выясняется, что господин Вэйдер все это время таил и лелеял некую жабу в душе, лишь придерживал ее, поскольку дело требовало, — а вот теперь с наслаждением дал ей волю. — Официальное уведомление вручит вам Дроед при выходе. У вас семь оплаченных дней, чтобы найти новую работу. На протяжении недели у вас сохраняются все наши документы, все привилегии... но потом — не взыщите.

— Не взышу, — чуть хрипло сказал Гнат.

— И о реальной оплате, несомненно, речи быть не может. Мои адвокаты, конечно, постараются, насколько возможно, уменьшить сумму штрафных выплат... докажут, что и джипы были старые, и на складе пусто... Но все равно — уж ваше-то жалованье, Гнат, уйдет на покрытие этих издержек полностью и с лихвой.

— Понятно, — бесстрастно сказал Гнат.

— Долго считалось, — неостановимо разглагольствовал господин Вэйдер, — что русские по крайней мере как солдаты хороши. Туповаты, но исполнительны, храбры и неприхотливы. Однако, я смотрю, это оказалось очередным мифом. Очередной русской идеей. Может, в прошлом, когда они защищали любимую Родину, все так и было — за давностью лет не видел, не знаю. Но, видимо, когда Родина перестала быть любимой... да когда ее вовсе не стало. Словом, как контрактники русские не стоят ни черта. Гроша ломаного, как у вас говорят. Так что вы свободны, Гнат.

— Я имею честь быть украинцем, господин Вэйдер, — напомнил Гнат. Он изо всех сил старался сдерживаться, но голос его заскрежетал. Он был уверен, что господину Вэйдеру прекрасно сей факт известен и вербовщик лишь старается уколоть его побольнее.

— Ну, это ваша личная проблема, — широко улыбнулся господин Вэйдер и сделал очередной глоток из своего стакана.

— Да пошел ты... на... — довольно пространно и очень изобретательно ответил Гнат, а затем безо всякой торопливости вышел из кабинета бывшего начальника.

Обиднее всего, думал он, спускаясь по лестнице с врученными ему Дроедом бумагами, что даже посылать этих козлов на члены не столь отдаленные приходится по-русски. Кем бы ни был господин Вэйдер, к какой бы нации ни принадлежал — по-украински он вряд ли бы понял.

2

— Как это — нету денег? — спросила она, и руки ее, баюкавшие принесенный Гнатом царственный букет, судорожно вздрогнули — словно захотели было выкинуть никчемный венчик, но в последнее мгновение сдержались.

— Ну, нет, — повторил Гнат виновато. — Так получилось.

Она была на восемнадцать лет моложе Гната. Сама она Украины и в глаза не видела, гордо считала себя коренной пестербурженкой. Родители ее, еще не знавшие друг друга в ту давнюю пору, каждый своим путем и своей судьбой покинули нэньку, чтобы повстречаться в чужой стране, в тогдашнем Ленинграде. Назвали доньку совсем уж по-общечеловечески: Эльвирой, и на мови дивчина не розмовляла вовсе, да и не стремилась; но кровь не обманешь — по-русски она говорила с той южной мягкостью и напевностью, от которой у Гната сладко щемило сердце.

Она владела Гнатом полностью и безраздельно.

— Нет, погоди, Гнат! Как это — получилось? Я жду тебя, сохну... вся в долги залезла... Нету денег! Надо же — нету денег! Ты что ж, там не работал совсем?

— Работал, — примирительно прогудел Гнат.

— А почему же нету денег?!

— Так получилось...

Не рассказывать же ей.

— Меня удивляет твое спокойствие! Интересно, а зачем ты вообще там околачивался полгода? Из любви к острым ощущениям?

— Ну, не волнуйся так, Эленька, сэрдэнько мое... Уладим. Честное слово, уладим. Ну, ушел я от Вэйдера, так не сошелся

ж на Вэйдере свет клином, не один он вербовщик в вашем Петербурге... Отдохну вечерок — и пойду с утра по офисам. Найду другого хозяина, получу аванс... отдашь ты свои долги! Ты уж лучше похвастайся мне, покажи, что купила...

— Нет, Гнат, я гляжу, я тебя вконец избаловала. Ты даже не понимаешь, как меня подвел. Будь ты не таким эгоистом, ты начал бы с поисков работы и с аванса. Начал бы, понимаешь? А ты? Приходишь пустой, как бомж, и заявляешь, что тебе надо отдохнуть вечерок! Нашел дом отдыха! Вот будут деньги — будет и вечерок. А пока не появятся деньги...

И тут Гнат не выдержал. Словно из какой-то ракеты его неожиданным толчком в спину выпихнули в космическую пустоту — кровь от перемены давления закипела в единый миг, и в красной жгучей пене утонули мозги вместе со всеми мыслями и нежными чувствами.

— Деньги, деньги! — заорал Гнат, остервенело передразнивая ее «г». — Хохлушка чертова!!

И жажнул дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка, а на посудных полках надолго затянул свою заунывную песнь хрусталь.

3

Водку Гнат выбирал с большим тщанием.

В ближайшем к дому Эльвиры винном бутике он толкался более четверти часа, чуть ли не обнюхивая фигурные бутылки, прозрачные и матовые, худосочно-вытянутые, что твои доктора богословия, и пузатые, ровно польские магнаты в летах... Ушел. Спустился в соседний, тот, что напротив. И там остановился наконец на фугасе «Царевича Дмитрия», формой он Гнату особенно по сердцу пришелся — хоть противотанковую пушку им заряжай. И этикетка под настроение: молодой, интеллигентный и грустный правитель Московии, первым из всех тщетно (как и все последующие) возжелавший реформировать ее в цивилизованное европейское государство, обнимал хрупкую красотку Марину Мнишек с младенцем на руках — а сзади на них наваливалась, обещая вот-вот захлестнуть, мрачная чугунная стена с загнутым, точно у девятого вала, пенным гребнем; символизировала она бессмысленный и беспощадный русский бунт, спровоцированный Мининым и Пожарским. Точь-в-точь стометровый скульптурный ком-

плекс, который пару лет назад Церетели в Москве на Берсневской набережной нагрохал; душевная была этикетка.

Гнат очень хотел ребенка от Эли. Сколько можно мотаться-блукаться... Гнат мечтал о семье.

До сегодняшнего дня.

С Саней Голошаповым они еще по Советской армии знакомы были, смолоду. И хотя общались нечасто, поскольку работы у обоих хватало выше горла, — не существовало для Гната человека ближе в Питере.

Особенно с сегодняшнего дня.

Служил Саня в какой-то смутной конторе — районном отделении наблюдательного отдела Международного фонда содействия развитию славянской письменности имени генерала Калугина. Он о работе не распространялся — как, впрочем, и сам Гнат. Ну, сообщил он другу в свое время, что служит в Общественном центре споспешествования — и что? Стало быть, споспешествует кому-то. Так и Гнат себе отложил: раз наблюдательный отдел — стало быть, наблюдает за кем-то или чем-то Саня Голошапов, и никак иначе. А за чем и за кем — какое до того Гнату дело? Наверное, за теми, кто развитие славянской письменности тормозит...

Не очень, правда, понятно, куда ее еще развивать — но, опять-таки, не Гнатово то дело.

Саня был на работе. Гнат позвонил ему с мобайла на мобайл, стоя с фугасом под мышкой напротив метро «Проспект Меншеви́ков», — и в первый момент то, что друг занят, ровно киянкой его отоварило. Но друг на то и друг; по голосу понял, как Гнату хреново. И сам же предложил: ну и что, что я на работе? Сиж, дежурю в офисе... Приходи, прям здесь полянку раскинем.

Все понял друг Саня.

И окончательно Гнат растаял, когда, сорока минутами позже войдя в довольно-таки закрытый офис Голошапова (хорошо, что Саня встретил у входа — проникнуть внутрь можно было лишь в три приема, через три тамбура, и сканеров в них гнездились явно побольше, чем даже у Вэйдера перед входом), Гнат увидел четким строем марширующую по широкому рабочему столу шеренгу бутылок пива — да не простого, не здешнего. Где Саня взял их в этом городе за то малое время, покуда Гнат тащился в подземке, — лучше не спрашивать; друг дарит радость так, как если бы она ему ничего не

стоила, как если бы прямо из кармана он вынул шесть бутылей родной и уж, честно сказать, полузабытой «Оболони».

— Ну, ты даешь, — только и вымолвил Гнат, озирая уже почти раскинутую полянку: колбаса вареная и колбаса копченая на газетке, открытая баночка рыбных консервов... Оазис юности.

Но вот одноразовые пластмассовые стаканчики, замершие в повышенной боевой готовности с разинутыми ртами — ровно шахты с баллистическими, — уже открылись, и вот-вот запуск по целям... Не придумали еще таких стаканчиков, когда Соляк с Голощаповым служили в одной и той же, причем — не наемной, армии. Либо из гранёнычей пили тогда, либо из горла...

Гнат разлил. Саня тем часом открыл пиво на запивку.

— Серьезные планы у тебя, — сказал Гнат, обведя взглядом пивной строй.

— У меня? — поднял брови Саня. — У меня планы исключительно производственные. Я так понял, что оттяг тебе нужен. — И, подчеркнув голосом слово «тебе», Саня двинул к Гнату по столу стакан.

— Министерство охраны здоровья попэрэджуе: надмирнэ вживання алкоголю шкодыть вашому здоровю, — назидательно выставив крепкий и узловатый, как корень, указательный палец, Гнат подмигнул, а затем взялся за стакан.

— Прекрати свои антирусские выходки и пей! — ответил Саня.

Слово за слово, глоток за глоток — пошел разговор на любимую тему, изредка прерываемый то звонками по телефону (их Голощапов резко обрывал — не до вас, мол), то позвякиванием факса. Как так получалось, что, о чем бы ни начали они беседовать, всегда уже после третьей-четвертой заносило их непременно в трясину русско-украинских отношений, — то была загадка.

Конечно, не о работе же говорить.

Тем более что говорить о ней нельзя. Верно, и Сане нельзя.

И не о бабах же...

Тем более — что мог после сегодняшнего о них сказать Гнат? Одни матюки...

— Для вас, для русских, негр — это негр, грузин — это грузин, даже татарин какой-нибудь — это именно татарин. А вот украинец для русских — это всего лишь тот же русский, толь-

ко с какой-то нелепой придурью. Русский, который не хочет быть русским, а вздумал именоваться как-то иначе! Потому вы с нашей независимостью и не можете смириться до сих пор!

— Да какая придурь! — крикая после очередной заглоченной толики «Царевича», возмущался Саня. — Будь ты хоть сто раз не русский и независимый, ради бога — только врагом не будь!

— А у вас спокон веку: кто перед вами не стелется — тот уже и враг, — гнул свою линию Гнат. — Так что вам теперь все враги...

Спорщик менее опытный начал бы отмазываться: да я не враг, да при чем тут враг... И безнадежно проиграл бы — потому что позволил бы разговору пойти о том, что правильно и что неправильно делает Украина; а поскольку она, по мнению самого же Гната, после единственно правильного своего действия, то есть выхода из Союза, делала неправильно решительно все, Саня разделал бы на этом поле Гната вчистую. Россия ж тоже делала неправильно все — и Саня это тоже вполне признавал, — поэтому говорить надо было исключительно о России. Главное — не дать сбить себя с России и перевести разговор на Украину.

— Это почему это у нас все враги?

— А потому. У кого нет целей — у того не может быть друзей.

— Ой, Гнат, ты лучше выпей.

— И выпью. И ты выпей.

— Да я-то как раз выпью...

— И я выпью. А вот ты — выпей! Ага! Пьешь! Ответить нечего!

— Да как это нечего? Как это мне нечего? Это тебе нечего, повторяешь баланду десятилетней давности! Да мы этого от вас еще в ельцинские времена наслушались! В кравчуковские! Идти с Россией вместе, мол, нельзя, потому что она никуда не идет...

— А то не так?

— А вспомни: стоило ей куда-то хоть попробовать пойти — сразу вой: имперские амбиции!

— А кто ж вам виноват, что вы только в эту сторону ходить умеете?

— Да для вас любая попытка России защитить свое достоинство и свою территорию — была имперская амбиция!

— Свою? Ваша территория — Владимир да Тула! Кто на нее нападал? От кого вы ее защищали? Вам свои колонии отдавать не хотелось!

— А, ну конечно! А Крымщина, Харьковщина да Львовщина — это, разумеется, исконно украинские земли?

— Да уж не русские!

Так они могли до бесконечности, пока в бутылке не кончалось.

Странно, думал Гнат. Вот спорим, горячимся, кулаками по столу стучим, прямо-таки защищаем друг от друга свои страны, как от агрессоров — будто они еще есть: Украина, Россия... И будто сами-то мы им служим, им, а не... один наемником уж скоро семь лет — это я, и нанимает меня не Украина, и не Россия даже, а невесть кто. Вэйдер какой-то нанимает! И за кого я под пулями скачу и ребят своих подставляю? За дензнаки, а не за Украину; и даже не за Россию... А Саня? Ведь что-то в таком же роде. Наблюдатель имени Калугина... Тоже на заморские бабки, значит, служит. Наблюдает...

А послушать нас — так два пламенных националиста собрались, полиции нравов впору группу захвата высылать.

И тут и всюды — скризь погано...

Его вдруг развезло. Скорее от тоски, чем от водки.

— Ты чего-то раздухарился, — тоном ниже произнес тоже уж изрядно захмелевший Саня и заботливо, даже чуть встревоженно остановил руку Гната, в очередной раз потянувшуюся к бутылке; бутылка уж почти готова была показать дно.

— Тр-рэба! — мотнул головой Гнат.

Саня убрал руку: это он понимал. Бывает в мужской жизни всякое. Если уж тр-рэба — то да, базара нет.

— Тогда валяй, — разрешил он, в очередной раз закуривая. В тесноватом офисе было не продохнуть, стены пропали, ровно съеденные, а глаза уже вываливались из-за пропитавшей воздух едкой дымной щелочи.

Гнат сделал пару глотков, потом отставил стакан, поразмыслил трохи и, подпершись мосластым кулаком, тихонько, тоскливо затынул:

— Дивчаток москали укралы, а хлоптив в москали забралы...

И Саня, слов той песни, конечно ж, не ведавший, послу-

шал-послушал, да и подтянул сочувственным мычанием. Когда слова кончились, Гнат неуклюже потянулся через стол — и хлопнул друга по плечу. Упал обратно на свой стул.

— Эх, Саня... — мотая головой, в полном сокрушении проговорил он.

На душе у него было черно. Уж не так, как после ухода от Эльвиры, но черно все равно.

Это он только девоньке своей для спокойствия ее сказал, что завтра пойдет по другим вербовщикам. То есть пойти-то пойдет, какой разговор, но вот смысл и результативность хождения были под большим вопросом. Среди контрактников ходили упорные слухи, что существуют некие черные списки; свои кадры каждый вербовщик, конечно же, держит в секрете, особенно кадры ценные, но если дает кому-то окорот и от ворот поворот, информация о ненадежном, выдохшемся или слишком строптивом кадре мигом попадает в какую-то сетевую базу данных — и все. Ни один вербовщик тебя уже не купит. Слухи, конечно, и есть слухи — мало ли мы их слышали; но еще советские времена приучили, что хорошие слухи, как правило, оказываются косвенной пропагандой, а вот плохие — достоверной информацией, на основе которой и надлежит действовать, ежели не хочешь совсем уж быть лохом и попадать впросак на каждом шагу. А с тех пор, конечно, многое изменилось, и кое-что даже в лучшую сторону — вот Украина, например, перестала быть русской колонией; но все, что касается слухов, осталось в целости-сохранности, точно неприкосновенный запас.

Если б не хмель, Гнат нипочем не завел бы с другом разговор о работе. Потрепали бы языками, погоняли кровь, пары спустили — и хорошо, и спасибо тебе, боевой товарищ... Но момент был крайний. Как говаривали в старые недобрые времена — и в личной, и в общественной жизни крайний.

Гнат, чтобы стряхнуть подкатившее унылое оцепенение, сделал несколько решительных глотков пива прямо из горлышка пятой бутылки. Со стуком отставил ее подальше, тужась срочно створожить жидко растекшуюся простоквашу мыслей и нащупать в ней хоть какие-то сгустки годных к разговору слов.

— Я... — Он глубоко вздохнул и сообщил: — Я, знаешь, с начальником поцапался.

Вероятно, и Саня, если б не хмель, пропустил бы эти его

слова мимо ушей. Состроил бы вид, что не расслышал, или отпустил бы шуточку какую, на шуточки он был мастер. Например: шрамы украшают воина, шрамы от когтей женщины украшают мужчину, а шрамы от когтей начальника украшают подчиненного...

Вместо этого Саня глубоко затаился, внимательно и чуть иском, как-то из-за сигареты, глядя на Гната.

— То-то я смотрю, — ответил он.

— Всерьез поцапался. Ушел.

Саня помолчал. Потом спросил с настырной пьяной цепкостью:

— Ушел альбо вытурили?

— Пинком, — честно признался Гнат.

Саня понимающе присвистнул. Коротко, в две ноты; точно звоночек в приемной Вэйдера. Фьють повыше, а потом фьють пониже.

— Не знаю и знать не хочу, где ты служишь, но в наше время... это ты чего-то, казак, не додумал.

— Может, и так, — уронил Гнат. Сам он был уверен, что поступал правильно, просто мир сволочной.

— Старые мы стали, — пробормотал Саня. — Не приспособиться никак. Я вот тоже... — вдруг прорвало и его. — Так иногда с души воротит! То ли дело прежде... Тогда даже с души-то воротило как-то иначе, по-домашнему! От своего, а не от чужого... — запнулся. — Или тебе тогда все тоже чужим казалось, москальским? Ненависть к русским оккупантам до сих пор все застит?

Гнат шмыгнул носом:

— Онегин, я тады моложе...

— Я лучше якистью была, — добавил Саня. Гнат печально покивал. То была их давняя присказка; с каждым годом она становилась все истинней. — Контора эксклюзивная? — спросил Саня.

— А хрен ее знает... — Гнат помолчал. — Вроде нет. А поговаривают, знаешь... они всем конкурентам рассылают информашки типа «с этим не водись». С кем водиться надо — тех берегут, а вот с кем не надо — поймите в виду...

— Ну, как и везде, — сказал Саня. Наконец отвел от Гната пытливый взгляд, уставился в свой стакан. Плеснул туда водки. Поднес к лицу, принюхался, скривился. Сказал: — Хорошая водка.

— Не хочешь об этом разговаривать? — тихо спросил Гнат. Нехотя Саня произнес:

— А что тут разговаривать... Ты помощи просишь?

Гнат мотнул головой. Как-то унизительно прозвучали Санины слова.

— Не прошу, — сказал он твердо. Помедлил и опять честно добавил: — Но — хочу.

— То есть тебе желательно знать, — медленно проговорил Саня, — нет ли у нас вакансий каких и не могу ли я тебя туда...

— Честное слово, Саня, — сказал Гнат, вздергивая на друга ословелый, но искренний взгляд. — Я к тебе шел просто оттяг поймать. Даже в мыслях не было чего-то кланчить... Бес в бок боднул. Прости. Я пойду сейчас... Вот допьем и пойду. Забудь.

— Да погоди ты ершиться, — досадливо сказал Саня. — Гордый сын древней нации... Погоди. Подумать же надо.

И он разлил по стаканам остатки водки.

— Ну, давай подумаем, — безнадежно согласился Гнат.

Они допили. Заполировали пивом. Зажевали шпротинкой.

— Ты, сколько я по советским годам помню, спецназ, — проговорил Саня. — Силовик.

— Да, — подтверждающе мотнул головой Гнат.

— Так в общем и целом по этой дорожке и ходил весь подотчетный период?

— Да.

Саня глубоко втянул мутный злой воздух раздувшимися ноздрями, потом двумя пальцами ловко ухватил за скользкий масляный хвост еще одну шпротину, запрокинул голову и аккуратно опустил болтающуюся длинную закуску в разинутый рот. Прожевал. Сказал:

— Это не есть хорошо... Здесь мы, понимаешь, не очень совпадаем. Я, если помнишь, в дивизионной разведке в ту пору трубил... так и пошло с тех пор.

— Шпионов ловишь, что ли? — недоверчиво пробормотал Гнат.

Саня с досадой покрутил носом.

— Врага внутреннего, — сообщил он затем.

— Ни хрена себе, — сказал Гнат. — Ну, прости, старик. Я пошел.

— Сядь! Не понял ты ни рожна! — Саня единым махом, как в комедии или игре в кавалерию, вместе со стулом от-

прыгнул от стола, потом выдернул верхний ящик до самой собственной груди. Вынул из его глубин какой-то простой лист и пустил через стол спланировать к Гнату. — Вот, посмотри. За полчаса до твоего звонка ориентировка пришла...

С распечатки на Гната глядел благообразный старец с короткой, несколько куцей, поседевшей ключьями бородкой. Морда дышала интеллектом.

— Очередной ученый красно-коричневый, — сказал Саня, отбирая у Гната распечатку. Водка водкой, расслабился Саня, конечно, изрядно — но текст ориентировки Гнату прочесть не дал. Спрятал лист в стол, задвинул ящик и опять верхом на стуле с деревянным стуком вернулся на свое место. — Откуда они берутся до сих пор? — пробормотал он неприязненно и даже с некоторым сарказмом. — И зачем? Алферову завидуют, что ли?

И невесело рассмеялся.

Гнат знать не знал, что за зверь такой — Алферов, но, судя по тону Сани и по его смеху, кем бы этот Алферов ни был, завидовать ему никак не стоило.

— Понимаешь, Гнат... — попытался объяснить Саня. — Вот этих я действительно не люблю. Вся морока от них. Сперва коммунизм им не нравился, ущемляет он их, мол... долой тоталитарный режим, давай свободу. Развалили все к едренефене — и сами же первые обоссались с перепугу. Ладно. Годы летят, годы, как птицы, летят... Нет, им опять неймется. А ведь только-только все налаживаться стало — живи и радуйся, знай крутись — и будет тебе все, что душевке угодно. Так нет! — Он негодуяше разрубил ладонью дым. — Опять не все слава богу! Теперь наоборот, подавай им коммунизм — бездуховность, мол, настала. Вконец ведь все развалят!!

В логике Сане отказать никак было нельзя — Гнат знай кивал в такт его словам. В голове туманилось и млело.

— А бомбу кто атомную придумал? — в запале продолжал Саня. — А генное оружие? Недавно, правда, говорят, торсионы какие-то нашли, они, мол, не то, что раньше — наши, мол, христианские... А только попомни, Гнат, мое слово — на поверку окажется такое же дерьмо!

Гнат опять мотнул головой в полном согласии.

— Вот почему мне их не жалко, — уже несколько спокойнее сказал Саня. — Вот ни на столько. — Он показал Гнату

кончик мизинца. — Так что я тебе не какой-нибудь там КГБ. Понял?

— Понял, — ответил Гнат и в последний раз кивнул.

— А у тебя опыта такой работы нету, — сказал Саня. — Ведь нету?

Гнат не сразу вспомнил, о чем идет речь. А вспомнив, воскликнул: вот Саня! Ну Саня! Какой мужик и какой друг! Так держать нить разговора!

— Нету, — печально подтвердил он.

— Трудно будет про тебя что-то замолвить... — пробормотал Саня. — При случае попробую, но... — Взял свой стакан, заглянул в него. — Ну, что? Будем еще брать?

— А что он натворил-то? — спросил Гнат невпопад.

— Кто?

— Этот...

— А... — с запозданием поняв, кого Гнат имеет в виду, Саня пожал плечами. — Хрен его знает. Ракетчик вроде... А в Штаты так и не уехал. Значит, неспроста, значит, замышляет что-то... Дома его, я так себе мыслю, обнаружить не смогли, иначе чего искать-то этак. Предписано при обнаружении взять под наблюдение и ничего не предпринимать, только сообщать наверх... Следить, короче, собрались. Я вот ориентировку вниз передал — поглядим, чего получится...

— А потом с ним что будет? — спросил Гнат.

— А я почему знаю? — ответил Саня.

4

Добавлять они не стали.

По многим причинам. И сидеть более часу у друга в офисе, мешать и отрывать от дел — да вдобавок и с риском подвести под монастырь какой-нибудь нехороший, — было не по-людски. Мало ли. Какой-нибудь ихний Вэйдер ввалится с обходом, или что там у них... у наблюдателей развития славянской письменности, едрёныть...

И, честно говоря, не хотелось уже.

На душе было так погано, что возникла нешуточная опасность надраться всерьез, до соплей и буйного опохмела назавтра, со скитаниями по кабакам, случайными знакомствами и вполне возможным мордобоем, с ковровым деньгометанием не упомянуть где и прочими прелестями, которых Гнат не то

что не мог, но очень уж не хотел себе позволить. И потом — последние гроши на это тратить? Да лучше... лучше...

И тут Гнату пришла идея на эти гроши снять качественную проститутку.

Смешно сказать, но, дотянув до сорока с гаком лет, Гнат ни разу в жизни не пользовался таким простым и проверенным поколениями способом взбодриться и поднять себе жизненный тонус. То ли брезговал, то ли тоталитарная идеология какая-то застряла в костях с пионерских времен, так не давая Гнату стать истинно свободным человеком, — Гнат не хотел разбираться. Во всяком случае, точно — не от скупости. Его связи с женщинами, буде возникали они во время его вооруженного кружения по просторам постсоветского пространства, оказывались всегда сравнительно протяженными (насколько срок контракта позволял) и довольно-таки искренними. И он уж и живых деньжат подбрасывал, и покупки покупал, не чинясь... Как обычный муж. Но это же совсем другое дело. Подкидывать постоянной подруге дензнаков на хозяйство — одно, однако ж совсем иное — пропихивать денежку в щель монетоприемника, точно имея дело с неживой механикой, к примеру, при входе в метро: кинул жетон — и открылось. Со звяканьем.

А уж на Элю-то он вообще не жалел. Высыпал ей все, что получал, ровно жене, себе оставляя лишь на личную мелочовку; на то, что при Советской власти они, желторотики еще, собирательно называли «партвзносы-папиросы»...

И вот сегодня Гнату вдруг шарахнуло в хмельную голову: пора. Женщины у него уж давным-давно не было, он смертельно по Эле скучал — а все ж таки женщина нужна мужчине, хоть какая.

Да и вообще. Пусть знает, дура корыстная. Мои деньги, хоть и последние — на что хочу, на то и трачу, а только тебе, дура, их больше не видать.

Пива еще взять, что ли? Пока сниму... Нет, лучше горошки антиполицая, чтобы перегаром не так несло. Их на каждом углу навалом.

Спокон веку, как понаслышке ведомо было Гнату, лучшим местом съема путан были вокзалы. На Невском тоже не слабо — но значительно позже, к ночи; а тут белый день. Отчетливо понимая каким-то кончиком мозга, а может, даже и мозжечка, что совершает глупость, Гнат потоптался, нетрезво

ориентируясь, и двинулся к Клинтоновскому вокзалу — оказалось рукой подать. В конце концов, уговаривал он себя, я просто прогуливаюсь. Хмель выветриваю. От этой мысли в нем даже шевельнулась, точно птенец в яйце, неуклюжая маленькая гордость: вот, мол, как я устойчив к хмелю: не он владеет мной, а я им владею, захотел — вдел, развлекся и отмяк чуток, а потом захотел — и выветрил... Прогуляюсь до вокзала, все равно спешить некуда. А уж там как приспичит. Хотя, положи руку на сердце, он наперед знал, что — приспичит. Еще как.

Рассасывая сразу целую пригоршню глянцево-сереньких горошков, отбивающих выхлоп, он пересек Кировскую, а затем с полчаса и впрямь выгуливал хмель, неспешно шагая по прямой, точно выстрел, улице, понимаете ли, Восстания (какого это Восстания? неужто того самого? почему не переименовали до сих пор? вот ведь всегда москалей губит отсутствие последовательности!). Вышел к Невскому (да сколько же раз на дня мне ходить по этому бисову Невскому?), пересек и его. А потом уж и Лиговский.

И снова в памяти медлительно всплывал Шевченко: «Кума моя і я В Петрополіськім лабіринті Блукали ми — і тьма, і тьма...»

В голове помаленьку уяснялось; тьма, которую нагнал царевич Дмитрий, отступила. Гнат перестал с безудержной удалью непобедимого витязя расправлять плечи и выпячивать грудь, перестал оценивающе и чрезвычайно требовательно, что твой султан в момент приемки новой партии организмов для сераля, разглядывать встречных дев. Приходил в себя. В общем-то, он действительно за время прогулки прилично выветрил хмель; он, в общем-то, действительно его переносил неплохо. В вокзал он вошел уже совсем не таким, каким покинул расположенный в двух шагах от «Чернышевской» офис Сани. Не сказать, что трезвый, но и не сказать, что пьяный. Не сказать, что безмозгло удалой; но и не сказать, что вовсе не удалой; удаль некая в нем еще побулькивала, точно во вскипевшем чайнике, который только что сняли с огня; однако все ж таки — уже сняли.

Ну, и где они тут все? Искомые объекты?

Подать их сюда, я пришел.

С минуту Гнат, озираясь, стоял под громадной, на всю стену зала, литыми буквами, надписью «На этот вокзал 3 ок-

тября 1993 года прибыл из Москвы президент США Уильям Джефферсон Клинтон для двухчасовой встречи с демократическими лидерами Санкт-Петербургского сейма, в ходе которой он высказал ряд советов и пожеланий относительно путей перехода постсоветского общества к общечеловеческим ценностям». Народу в зале было негусто; основные толпы бодались у перронов пригородных электричек, алча по-удобному попасть кто в Навалочную, кто на Фарфоровскую, кто в Колпино; здесь, в вычурной и гулкой прохладе, временами рассеянно примерзая возле того или иного киоска, с ленцой прогуливались лишь отдельные аристократы.

Организмов для сераля не обнаруживалось.

Везде обман, подумал Гнат почти весело.

Опять захотелось курить. Сигареты иссякли еще у Сани, и последние три Гнат стрелял у друга; потом вроде стало не до них, он дышал и сосал горошки — а вот теперь вдруг резко, рывком, точно ему перекрыли кислород, понадобилось затянуться. Внутри сигаретами не торговали — за стеклами утопленных в продольные стены зала киосков виднелись то какие-то «Товары в дорогу», то неприятные, навевающие лазаретные воспоминания мелко нарубленные вереницы аптечных коробочек и пузыречков, то развалы просторных, что твои лопухи, и невыносимо однообразных цветных и глянцевых грудей да ягодич. Неторопливо и вальяжно, вроде как и он аристократ, Гнат двинулся к противоположному концу зала, где под огромным, почти с надпись про дедушку Клинтона, табло электронных часов располагались выходы к перронам поездов дальнего следования.

Мимоходом отметив зачем-то, что в ближайшее время намечается одна-единственная отправка — пассажирского до Москвы, — Гнат в ближайшем приперронном ларьке с шиком взял пачку ложных «Труссарди» (опята ложные — симптомы сложные) и тут же, спиной привалившись к боковой стекловине ларька, торопливо ее распатронил. Кинул прозрачную шкурку в урну, выщелкнул сигарету, губами вытянул ее из пачки и с наслаждением наконец-то закурил.

Но жриц любви и здесь не наблюдалось.

Хладнокровно поведив головой направо-налево, Гнат несколько раз отсканировал окружающее пространство — нет, нету. Да и хрен с ними... Ему уже начало делаться смешно от себя и своего идиотского пьяного порыва; но оставалась шкод-

ливая — то есть, если перевести с украинского, вредная — за-
щербинка, ощутимо царапающая его мужскую гордость: как
это я пошел — и не сделал? Не сделал не потому, что мне рас-
хотелось или не понравилось то, что предлагают, нет — про-
сто потому, что, едрёныть, не нашел?

А еще обидная, но, в сущности, справедливая характери-
стика Сани: у тебя опыта сыскной работы нету...

Вот идиот, подумал он о себе, но пошел искать дальше.

И буквально через минуту сигарета едва не выпрыгнула на
заплеванный асфальт из его ощутимо дрогнувших пальцев,
потому что прямо ему навстречу как ни в чем не бывало, с не-
большой, но весьма увесистой с виду сумкой через плечо вы-
шел тот самый красно-коричневый ракетчик.

Да нет. Не может быть.

Точно он. Пегая бороденка, высокий лоб и морда дышит
интеллектом. Длинный, что твой циркуль.

Может, опыта сыскной работы Гнат и не набрал в жизни,
но зрительная память была — дай бог каждому.

Гнат лихорадочно заозирался. Где пост? Где патруль?

Ни души.

Ну, работнички! У них опыт, понимаете ли, есть! Да мне
даром не нужен такой опыт, в задницу его себе засуньте, та-
кой опыт, если у вас вот так вот разыскиваемые по вокзалу
разгуливают, и ни одного человека крутом!

Гнат уставился в спину прошедшему мимо красно-корич-
невому.

Тот шел не один. Рядом двигался средних лет мужик —
моложавый и несолидный, но симпатичный с виду. Веяло от
него какой-то беззлобностью. Плохим был бы Гнат команди-
ром, если бы не чуял людей; спутника циркуля он так и ощу-
тил: надежный, безобидный, беззлобный. Усталый. Добрым
Гнат вряд ли решил бы его назвать так вот с маху, доброта —
дело отдельное, смутное; но вот что злобы в этом парне не бы-
ло — это да.

И третьим, слегка подпрыгивая от возбуждения, чесал ря-
дом с мужиком пацан лет пятнадцати. Наверное, сын мужи-
ка — похож. Улыбка до ушей. Явно рад поездке.

И багажа у них было немного. Самая ерунда; по объему —
только первая необходимость. Единственная тяжелая сум-
ка — у циркуля.

Странная компания.

Трое.

Заветное число.

Еще Христос заповедал своим приверженцам численный состав первичной парторганизации: где трое соберутся во имя мое, там и я с ними... или как-то так. Гнат не силен был в вопросах веры, и повальная религиозность, пришедшая одновременно с долгожданной свободой, его порой бесила. Но трое — это наверняка пошло с евангельской поры.

А если они за кордон рвануть надумали? Поезд-то аж до Москвы!

Нет. Мальчишку так скакать не заставишь, если происходит побег. Мальчишка, очевидно, едет в долгожданную увеселительную поездку.

Но мальчишку можно и обмануть. Подставить.

Ты бы своего сына подставил, Гнат?

Эх, Элька... был бы у нас сын — я бы... Что — я бы? Да уж я бы — да! Все бы только ахнули...

А вот мы и посмотрим, есть у меня опыт или нету у меня опыта.

Решение созрело мгновенно. Наверное, то был последний пузырек недавнего удалого кипения: проследить, куда наводстрился бородатый красно-коричневый циркуль, все-все о нем и его планах вызнать досконально — и принести Сане, не кому-нибудь, а именно Сане на блюдечке.

И еще этак небрежно заметить: «Я вообще-то телку снять на вокзал забежал, смотрю — этот твой шустрит. А парней ваших на вокзале ни одного. Понятно, почему я проститутку не нашел — твои уж всех разобрали, объект пустой остался!»

Пусть тогда попробует поговорить про опыт!

От недавнего уныния не осталось и следа. Гнат подобрался и окончательно протрезвел, возбуждение было холодным, профессиональным, чисто рассудочным; водка преобразовалась в чистую энергию, как в вечном двигателе.

Спины троицы еще мелькали впереди, время от времени скрываясь за идущими им вслед — не один же циркуль с компанией собирался ехать на этом поезде... Гнат, отбросив сигарету, двинулся следом. До отправления оставалось еще более получаса.

Пока он нагонял преступников, те дошли до своего вагона: остановились, предъявили проводнику билеты, запустили

ребенка внутрь, а сами остановились курнуть. Нормальные люди.

А вот что НЕ нормально: свою явственно тяжелую сумку Циркуль оставил у себя на плече. Любой обычный человек занес бы ее в вагон и вышел на воздух налегке, с пустыми руками и плечами. Этот — не расстался. Беззлобный вот отдал свою Ребенку, чтобы тот ее внутрь занес, и поступил, прямо скажем, совершенно естественно. А вот Циркуль — нет. Ремень натянут, будто в суме кирпичи; плечи скособолены, лоб потный — но держит.

Отметим себе.

Теперь отметим номер вагона.

Ага.

И Гнат рванул к кассам: сначала задумчиво, потом — постепенно разгоняясь до торопливого шага, а потом, вне поля зрения опекаемых — бегом.

Народу было немного — кто в наше время на дальних поездках ездит? Да еще на пассажирских? Настоящие богатые — либо воздухом, либо, ежели неспешно, как Клинтон в девяносто третьем — фирменными экспрессами, и, так или иначе, у касс они не стоят; а простонародье — куда и зачем им кататься? И тем не менее время было дорого, не стоило терять и минуты в ожидании; Гнат предъявил свое удостоверение Центра споспешествования и мимо пяти человек очереди ткнулся в окошечко одной из касс. Показал корочки и туда. Такой был закон; под какими бы крышами ни скрывались вербовочные конторы, какие бы документы они своим кадрам ни выдавали — по ним обязательно полагались транспортные и визовые льготы, иначе при постоянных переездах от мест расквартирования или отдыха к районам боевых действий и контрактники, и их владельцы натерпелись бы. Сейм питерский еще лет восемь назад принял постановление: работники международных гуманитарных фондов и иных, сходных с ними по функциям организаций пользуются нижеследующими правами — и дальше длинный перечень.

— Если можно — в восьмой вагон, — попросил Гнат с улыбкой.

— Именно в восьмой? — переспросила пожилая добродушная кассирша.

— Да. Примета у меня: когда дело важное — обязательно

надо в восьмом ехать, тогда все получится... Конечно, если в нем есть места.

— Как не быть, — сказала кассирша, точно сверчок стрелочка пальцами по клавиатуре. — Полно свободных мест. Чай, не Совдеп.

5

Прожаренный майским солнышком древний плацкартный вагон (над дверью из тамбура в коридор виднелась заросшая жирной копотью табличка изготовителя — какой-то там «совнархоз»; то есть, сообразил Гнат, хрущевских времен выпуск) заунывно вонял вековой пылью, вековым пассажирским потом и мерзкой синтетикой, линолеумом стен, что ли. То, несомненно, был запах Совдепа. Дверь из тамбура не закрывалась, застревала на полу; ручка, за которую Гнат попробовал было потянуть, сорвалась и обвисла на одном шурупе, бессильно болтаясь. Все, как прежде. Общечеловеческим ценностям к простонародью ходу не было. Разве что в виде цен.

Несуетно, вроде как озираясь в поисках своего места (или просто в поисках места получше) Гнат боком-боком побрел по узкому проходу, время от времени задевая плечом пахучие ноги в рваных носках, принадлежащие уже залегшим в спячку на верхних полках господам пассажирам. Насколько хватал глаз, все боковые места пустовали — не любил народ боковые места, любил лежать, спрятав голову от бродящих мимо; Гнат заранее решил, что лучше всего будет найти купе, где обосновались его опекаемые, и сесть на боковое место напротив: и троючку держать в поле зрения удобно, и весь коридор просматривается — от греха подальше.

Так, первое купе.

Купе! Решиться именовать этим изящным, просто-таки подразумевающим сногшибательный французский комфорт словом открытую настешь всем взглядам, запахам и репликам замызганную клеть с убогими лежанками, затянутыми порезанной тут и там, тертой-перетертой коричневой обивкой, могли лишь те, кто свою колониальную империю додумался именовать братской семьей народов... Две пигалицы лет не более двадцати, с голыми пупками и нарисованными ресницами чуть ли не тех самых лупков длиной. «Да мы с ним давно живем, уже недели две...» Так, мимо... Следующая клеть.

Пожилая троица, две женщины и мужик, деловито выгружающий из баула на столик промаслившиеся насквозь газетные пакеты со снедью; бутылка дешевой водки уже стояла вплотную к мутному стеклу окошка и нетерпеливо ждала, когда поезд тронется. Дамы беседовали, вернее, одна уютно, нескончаемо журчала, что-то рассказывая, другая мягко слушала. «А я вот по телевизору слыхала, что всяк, кто туда заходит, получает тут же на месте дозу в тыщу рентген. Его ж как раз радиацией тогда и засушили профессора, чтоб не протух. И все, кто там хоть разочек побывал, потом болеют всю жизнь незнано от чего, будто чернобыльцы. А я-то, дура, знать не знала, чего у меня смолodu печенка ноет, нас же в пионерах обязательно в Мавзолей водили... Так теперь, сказали, меджлисто московский решил его захоронить наконец, да не просто в земле, а в могильнике для радиоактивных отходов. Как заботятся-то теперь об нас!» — «На да, ну да...» — кивала вторая дама. Понятно, мимоходом отмечал Гнат. Москали все не могут со своим Лениным разобраться. Дела поважней у них за последние пятнадцать лет так и не нашлось.

Третье купе. Опять не те.

Двое подтянутых, деловых, один в очках с мощной оправой, другой в очках с оправой тонкой, золоченой; на столике перед ними уже разложены какие-то бумаги. Отчетливо видно, что текст разделен на пронумерованные пункты, но распечатано мелко, слов не видать, конечно. «Можно ли прожить на постсоветском пространстве, будучи не связанным с криминалом? — саркастически бубнил тот, что в тонкой оправе. — Можно, конечно, но исключительно от больших иллюзий. Если ты с ним не связан, это значит лишь, что ты «шестерка», а связан с криминалом твой начальник или работодатель, которого ты считаешь честным бизнесменом или госслужащим. Страусово состояние... Не лучше ли сразу взглянуть правде в глаза и тем создать себе хотя бы предпосылки прямого подключения к финансовым потокам?» Ага, понятно, отмечал Гнат. Они не только с виду деловые. Полноценные ларьковые демократы.

Четвертое купе. Внизу никого, но с верхней полки свешиваются очередные непоместившиеся ноги.

Пятое. Молодая пара, он и она. «А вот еще анекдот, Катя, слушай. Две подруги беседуют в кафе, и одна говорит дру-

гой: «Мой покойный муж сволочь и подлец! Обещал любить до гроба, а разлюбил уже в реанимации!»

Ладно. Пошли дальше.

Поезд дрогнул, и перрон за окнами почти незаметно поплыл назад. Гнат едва не потерял равновесия — и тут увидел в следующем купе своих подопечных. Тогда он дал силам инерции и впрямь повалить себя — и совершенно естественным образом, будто не он выбрал место, где сесть, а так уж получилось, жестко шлепнулся на боковое сиденье.

Для полной конспирации начал было подниматься, а потом как бы рукой махнул: мол, не все ли равно, где мучиться. Уселся поудобнее, даже не взглядывая в сторону подопечных — наоборот, тупо уставился в окошко, на все быстрее скользящий назад перрон. Началось.

Началось.

Очень странно было ехать в поезде с пустыми руками.

Ну что, Саня, подумал Гнат. Для начала неплохо, нет? У господ подопечных и в мыслях быть не может, что я сижу у них на хвосте. Просто едва не опоздавший пассажир. Только вот руки пустые...

Наверное, я спятил, вдруг подумал Гнат. Чем это я занялся? Куда и зачем меня понесло?

Все чаще и чаще подстукивали под днищем дряхлого совнархозовского детища колеса, нервно перебирая, словно гремучие стальные четки, стыки изможденных рельсов.

Лишь через несколько минут Гнат решился посмотреть в сторону опекаемых.

Циркуль сидел спиной к Москве, против хода. Он все-таки снял с плеча свою сумку, и теперь она стояла на сиденье рядом с ним, а правая рука Циркуля возлежала на ней; что-то таилось в сумке широкое и устойчивое, коль скоро ее можно было использовать в качестве подлокотника. Беззлобный сидел немного наискось напротив Циркуля, дав место у окна Ребенку, который, не глядя ни на взрослых, ни наружу, резался сам с собой в какой-то, похоже, «тетрис». Никакой еды опекаемые перед собою не утвердили, по крайней мере — пока; и, естественно, уже степенно беседовали. Насыщались духовной пищей и тем сыты быть надеялись. Время от времени до Гната вполне отчетливо доносились обрывки их неторопливой беседы; потом колеса неведомо с чего начинали стучать громче, и все иные звуки пропадали, засыпанные тяжелым

железным крошевом отрывистых гулких «тук-тук»; несколько минут спустя стук по каким-то своим соображениям становился мягче, воздушней, и с той стороны ритмично бьющего неживого тамтама вновь выплывал разговор соседей, уже с другого места.

Гнат отвернулся к окну и стал только слушать.

Потянулись мимо тяжкие мертвые остоны Ижорского завода.

«Всякая культура — заложница экономики породившего ее общества. Будь культура сколь угодно высокой и человеческой — если экономика неэффективна, культура надорвется, поддерживая в погибающем обществе жизнь, и умрет вместе с ним, а для всех кругом надолго станет пугалом или, еще обиднее, посмешищем...»

Это Беззлобный комментирует.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

А вот это уже Циркуль возмущается: «Нет, послушайте, Алексей Анатольевич. Когда царскую Россию называли жандармом Европы, это было всем понятное ругательство, оскорбление, и всем порядочным русским людям было стыдно. А вот теперь Америку называют мировым жандармом — и американцы гордятся, когда их так называют! Это и есть ваша разница культур? Извините великодушно! Просто одним со-вестно быть жандармами, а другим — лестно!» — «Нет уж, вы извините меня, Иван Яковлевич. Здесь мы именно имеем прекрасный пример обратного влияния реального мира на культурный стереотип. Предположим, что в Америке полицейский в свое время начал восприниматься как заведомый защитник народа от произвола, а у нас — как заведомый защитник произвола от народа. Именно поэтому в одной культуре слово «жандарм» связывается с позором, а в другой — с почетом. А потом, когда и если стереотип уже сложился, становится в изрядной степени неважно, соответствует ли он действительности. Он работает вне зависимости от своего со-ответствия действительности и может так работать очень долго... И вот вам пример диалога культур в натуральную величину. Вы говорите кому-то: «Жандарм!», желая оскорбить, — а он это воспринимает как признание его заслуг и искренне вас благодарит за лестные слова...»

Интересно рассуждает Беззлобный, подумал Гнат. И очень точно. Неважно, как там в Америке, я не бывал, и чем они там

гордятся — мне плевать, думаем-то мы про себя. Интересно, а если этак-то посмотреть: я — какой жандарм? Особенно сейчас?

Однако мысль повела куда-то не туда, в моральные теснины какие-то, непозволительные и удушливые для человека дела, и он досадливо отмахнулся от нее; но слабый отзвук в душе остался — и мог, Гнат чувствовал это, при случае напомнить о себе.

Нет, старательно принялся он проводить среди себя политико-воспитательную работу. Теория это все, то есть, говоря попросту, болтовня. Вот хоть про Америку... Ни черта же этот жандарм со взятыми обязанностями не справляется, не верите — милости просим, покажу. То есть почет он, конечно, свой имеет, но вот результат... Стало быть — и почету скоро конец.

Впрочем, если подумать, Беззлобный именно об этом и сказал.

А я — справляюсь?

Тьфу!

Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

И весь разговор их был как тук-тук. Просто звуки, сопровождающие некий технологический процесс. Процесс общения. Разговор, из которого не следует никаких конкретных действий — всегда не более чем тук-тук, тук-тук.

А чем наши с Саней разговоры про Украину да Россию лучше?

Только таким вот интеллигентам, как мои подопечные, видимо, для ведения подобных бесед не обязательно развязывать языки горилкою. Видать, языки у них всегда развязаны и пребывают в состоянии повышенной боевой готовности.

Хорошая у них работа, не пыльная.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

«Тот, кто думает, что мир лучше, чем он есть на самом деле, всей своей жизнью, произвольно, делает мир и впрямь лучше. Хотя бы чуть-чуть. А тот, кто убежден, что мир хуже, чем он есть, — непременно делает его хуже, даже если такой цели специально перед собой и не ставит...»

Однако, подумал Гнат. Это ты, брат Беззлобный, уж, кажется, слишком загнул.

А вдруг нет?

От этой мысли Гнату стало не по себе.

Что в таком случае делаю я? Улучшаю — или... наоборот?
Хороший вопрос...

Ладно.

А в целом — совершенно нормальные люди едут. Интеллигенты. Сплошное тук-тук. Не в смысле, что стучат, как стукачи, а в смысле — токуют, как глухари на току. Наверное, вполне приличные мужики. Беззлобный уж во всяком случае. Да и старец тоже — если бы не цеплялся он так за свою бесценную сумку.

Но, с другой стороны, что я, не видел чудачков, которые от чемодана отойти боятся до коллик, а в чемодане — всего-то ком грязных трусов?

И пацан у них нормальный. Не вундеркинд какой-нибудь и не шпана, а — нормальный. Гнат таких любил больше всего. Вундеркинды — с ними мороки много, и как-то все время боязно сказать или шевельнуться неловко, а с другой стороны — держи с ними ухо остро, больно умны: умный продаст, предаст, выжмет тебя, как лимон, и в сердце у него не дрогнет даже. Потому что умный. Шпана — с ней все понятно: гнилозубые злобные волчата с отмирающей речью, убьют за окурок, хихикая; Гнат шпану ненавидел и уже не мог воспринимать как детей. Нормальных — ценил. В наше время не так много осталось нормальных. Шпана-вундеркинды мир заполнили.

А старец — просто-таки принц в изгнании... правда, самозванный, может быть. Слишком уж уверенный, что все должны ему подчиняться, и очень удивляющийся, если этого не происходит. Усталый, печальный, тощий, издерганный...

И Беззлобный — одно слово, беззлобный. Вряд ли с ним можно было бы потолковать по душам и выпить по стакану — не те темы... хотя не факт, он не сноб, точно... спроси его Гнат о чем-нибудь, он, скорей всего, и ему так же вот, как Циркулю, доходчиво, доброжелательно и малость занудно вправлял бы мозги... Не чтоб себя показать, а чтоб человек понял или хотя бы задумался. Есть разница. И вроде бы не похож на тех, кто, толкаясь локтями и отпихивая женщин, лезет в брезентовый кузов грузовика при срочной эвакуации мирного населения... А даже это нынче дорогого стоит. Гнат на иных умников посмотрелся — отворит пасть, так Европарламент отдыхает, от спесивого гуманизма не продохнуть; а пройдет первый трассер над головами, так весь гуманизм сразу в потайное от-

деление бумажника спрячет до лучших времен и делается пещера-пещерой.

Только вот произносит вроде бы совершенно отвлеченные фразы, от которых, однако ж, хочется скрипеть извилинами совершенно конкретно — о себе и о том, как дальше жить. Но это, наверное, у меня день такой — то ли обломный, то ли переломный. Палец покажи — а я в ответ: да, вы правы, я и сам много думаю о смысле бытия... Тут Беззлобный не виноват.

Симпатичные люди едут. Что я здесь делаю?

Скоро Любань. Встать сейчас и выйти из поезда, и пусть едут, куда хотят, с миром...

Как было бы благородно!

Но неинтересно.

Мне хочется и дальше на них смотреть.

Тук-тук, тук-тук, тук-тук...

Беззлобный вполголоса извинился и встал. Гнат отвернулся от окошка, краем глаза наблюдая за перемещениями подопечного: тот, на ходу доставая сигарету, неловко потопал, пошатываясь от колыханий поезда, к тамбуру. Курить?

Или бежать?

Сумка по-прежнему оставалась под локтем Циркуля.

С некоторым усилием выждав аж пару минут, Гнат лениво поднялся и двинулся вслед Беззлобному. Наскоро забежал отлить отработанное море пива (окошко в сортире было распахнуто настежь, из него валил внутрь плотный пузырь ветра, приминая вонь) и вышел в тамбур.

Воздуха в тамбуре не было — одна плавающая, плохо взболтанная горечь, будто вагон рвало желчью. Много лет подряд. За жирными, в пятнах и потеках стеклами бежали едва различимые перелески, освещенные предвечерним солнцем — все в пушистом мареве первой зелени. Выйти бы туда, вдохнуть... У одного из окон, броско оттопыривая обтянутые джинсами ляжки, с презрительно-отсутствующим видом царили шмакодавки из первого купе и с шиком дымили длинными и тонкими, ровно карандаши, коричневыми «Мог». Беззлобный укрылся в противоположном углу, от голых пупков подальше; что он курит — было не понять. Сигарету. Гнат поозирался — куда бы, мол, приткнуться, — и оперся спиной на стенку напротив Беззлобного. Тот скользнул по Гнату равнодушным взглядом и устался в окно, время от времени стряхивая пе-

пел в разрезанную пополам банку из-под пива, прикрученную проволокой к стоп-крану. Здесь Беззлобный ощущал себя полностью одиноким, он, конечно, был уверен, что никто на него не смотрит и вообще его никто не видит — и уж не улыбался, не делал внимательных, предупредительных и примирительных мин. Лицо у него в одиночестве сделалось усталое насмерть и до того грустное, что Гнату даже захотелось купить ему бутылку пива, когда по вагонам вновь пойдет парень-лоточник.

Так они простояли рядом друг с другом минуты три. Оба глядели в окно. Предлога заговорить у Гната не было ни малейшего; а Беззлобный его, разумеется, и не искал. «О чем бы его спросить?» — лихорадочно думал Гнат и в конце концов понял: не о чем. Сигарета у Беззлобного кончилась, он аккуратнейшим образом загасил хабарик до последней искорки об вывернутую крышку банки и кинул внутрь. Ушел.

Гнат глубоко вздохнул.

Поезд, полтормаживая, доползал к Любани. «Тук-тук» сделалось медлительным, внятным и оттого особенно настойчивым. Наступал момент принятия решения. Уже окончательного. Можно не возвращаться на свое место, можно, так сказать, с опекаемыми не прощаться; очень даже можно. Багажа нет, сейчас вот дверь откроется — и нырь на перрон. Сюда еще электрички ходят, засветло дома буду.

И что?

Что там, дома-то?

А что тут?

Что будут делать эти трое?

И что, самое главное, будут делать с ними?

Поезд совсем обмер. Движения не ощущалось, только перроны еще не оцепенели, едва уловимо стягиваясь назад.

Гнату вдруг пришло в голову, что, пока он стоит и мыслит, как дурак, в вагоне могут занять его место, — и каким манером тогда опекать опекаемых? Он торопливо вернулся в вагон.

Циркуль дремал, запрокинув голову и привалившись затылком к стенке. Из-под вздернутой бороды торчал острый кадык. Всякий приличный человек в такой позиции должен храпеть, как кабан. Циркуль спал безмолвно. Интеллигент...

Беззлобный и Ребенко о чем-то беседовали, но так тихо, что Гнат не мог разобрать ни слова, несмотря на стоянку. По

вагону, кто молча, кто обмениваясь скучными репликами, с сумками и чемоданами заходили люди, в сложном хороводе меняясь местами; одни выходили, другие рассаживались. Хорошо, что я сообразил вернуться до начала посадки, подумал Гнат. А если придут господа, у которых билеты на это место, и начнут качать права? Маловероятно, вон полук свободных сколько... И все же?

А, разберемся, что заранее себе голову морочить.

Не пришли.

Поезд тронулся. Циркуль проспал всю стоянку и, судя по всему, намерен был спать дальше. А Беззлбный беседовал с Ребенком, и в какой-то момент до Гната отчетливо донеслось: «А почему вы с мамой разошлись?» Ого, подумал Гнат, еще и вон что... Вдохнул. Если бы Эля мне родила, подумал он, я бы ее нипочем не бросил. Потом вспомнил сегодняшней свой визит. Да, честно подумал он, после такого привечания ребенок ей бы не помог; сграбастал бы я чадо под мышку — и ходу. И сам себя одернул: как — под мышку? От матери? Ох, легко воображать себе свои правильные поступки... а советовать другим их совершать — еще легче. Но вот когда и впрямь прижмет...

Что ответил Беззлбный Ребенку, Гнат не расслышал. Тихо они разговаривали, куда тише, чем про умное с Циркулем.

И Гнат задремал. У него сегодня был тяжелый день.

Он проснулся от совершенно звериного, пещерного чувства опасности. Поезд стоял. Это была какая-то станция — Гнат не успел понять, какая. За окнами совсем уже смерклось, в вагоне зажгли свет. По проходу вагона с двух сторон — один спереди, один сзади — продвигались погранцы, браво и несколько, на вкус Гната, развязно выкрикивая: «Линия перемены дат, господа! Линия перемены дат! Да-а-кументики ваши па-апрашу! Па-адарожные приготовили, визы, па-ас-порта! Пли-из!» Стало быть, Тверь, подумал Гнат. Граница.

Вот только сейчас, пожалуй, он протрезвел окончательно.

Что-то должно было случиться.

Он наскоро махнул удостоверением в лицо нависшему над ним мальчишке в форме — тот уважительно кивнул и повернулся к подопечной троице. Старец проснулся и сидел, как и его спутники, с ворохом бумажек в дрожащей руке.

Дрожала у него рука. Дрожала. Он боялся погранцов.

Значит...

Да, черт возьми, что же это значит? Что у него совесть не чиста? Что ему от силовиков уже не раз доставалось? Что у него возрастной тремор? Что?!

Пацан в форме удовлетворился документами Беззлобного и его Ребенка без сучка без задоринки. Как нарочно, Циркуля он оставил на сладкое. Взял. Впился взглядом. Гнат бесстрастно смотрел в вечер — снаружи было темно, здесь горел свет, и в стекле отражалось все, что творилось в купе напротив.

— Колян! А Колян! — отвернувшись от троицы и высунув голову в проход, позвал пограниц напарника, продолжая крепко держать документы Циркуля. Напарник, оставив какого-то мордоворота в коже с заклепками, двинулся на помощь. Они о чем-то растерянно и раздраженно побормотали вполголоса, Гнат сумел расслышать лишь: «Им хорошо предписывать... А как тут наблюдать, когда он за границу валит?» Так, подумал Гнат. Циркуль ждал, неумело напуская на себя беспечный и уверенный вид. Беззлобный тоже ждал напряженно, тоже не умел притворяться; только Ребенок, понял Гнат, удивлен задержкой искренне. На то он и Ребенок.

Потом Колян пошел обратно по проходу к оставленной им без присмотра части господ пассажиров, а первый пограничник повернулся к троице и, постукивая для пушей убедительности документами Циркуля себя по левой ладони, произнес:

— А вы, господин... господин Обиванкин, вы пройдите с нами.

— Но в чем дело? — ненатурально поднял брови Циркуль. Голос у него сразу осип.

С должностными лицами так бесправно разговаривать нельзя.

— Разберемся, господин! Р-разберемся! — мгновенно обретя утерянную было уверенность, отрезал пацан.

— Да вы что? — возмутился Ребенок. — Он же друг бабы Люси! Пап!! Она же нас ждет!

— Разберемся, сказал! — демонстративно потеряв терпение, рявкнул пацан в форме.

Беззлобный что-то забубнил. На них теперь смотрели все, кто находился поблизости; позволил себе это и Гнат. Циркуль сидел с окаменелым лицом, но пальцы у него дрожали.

— Пройдемте!! — гаркнул пацан в форме. Тоже психует, понял Гнат. Еще бы. Ситуация нештатная...

Беззлобный решительно встал. Покосился на Ребенка. Потом твердо уставился в глаза пограничнику и сказал:

— Мы все пойдем. Это безобразие. Это самоуправство!

— Да сядьте вы, господин Небошлепов, — с досадой и даже как-то виновато ответил пацан. — Ну вам-то что... Вы-то куда...

— Как это «вам-то что»? — на последних крохах храбрости повысил голос Беззлобный. — Вы не можете ответить на простой вопрос: что в документах господина Обиванкина вас не устраивает. И в то же время ссаживаете его с поезда безо всяких причин! Мы едем вместе и поэтому будем разбираться вместе!

Пограничник сдвинул на затылок фуражку. Тыльной стороной ладони вытер лоб.

— Как хотите... — сказал он. — Вам же хуже... Колян! — крикнул он напарнику. — Заканчивай тут, я повел этих...

Гнат оцепенел.

Да за что же Циркуля этак-то?

Да как же я узнаю, куда он ехал?

Я ведь должен узнать, куда он едет и зачем!

ЭТО МОЯ ДОБЫЧА!!!

Решение надо было принимать мгновенно. Гнат это умел.

Через каких-то полминуты после того, как дверь в конце вагона с гортанным звоном защелкнулась за уведенными, Гнат поднялся, злобно бормоча: «Да сколько ж можно стоять!.. Да сколько ж можно сортир держать закрытым!..» — и пошел по проходу. Вышел в тамбур — дежуривший там проводник встретил Гната волчьим взглядом: «Вы куда, господин хороший?» — «Закрыт выход?» — спросил Гнат. «А как же? Граница ж, вы чего?» — «Пива бы взять... Днем начал, а сейчас подремал малость — сил нет, добавить хочется...» Проводник немедленно смягчился: пассажир оказался понятный, обуреваемый общечеловеческими, по глубочайшему убеждению проводника, ценностями. «Нельзя, — с сочувствием сказал проводник. — Никак нельзя, меня ж взгреют. Вот тронемся — опять лотошники по вагонам пойдут, потерпи, земляк». Гнат вздохнул. «Тебе хорошо говорить... — сказал он. — Поедем-то еще когда? Полчаса ждать, не меньше. А тут душа горит... Сортир не откроешь?» Проводник захохотал: «Так тебе,

земля, влить или вылить?» — «И то и другое!» — сказал Гнат. Проводник, добрая душа, от второй, совсем уж безобидной просьбы, не смог отмахнуться — тем более земляк вел себя по-людски, уважительно и скандалить, безо всякого смысла требуя открытия вагона, не стал. После короткого внутреннего колебания проводник сказал: «Айда!» и достал из кармана брьюк ключ.

Окно в сортире, как и предполагал Гнат, по-прежнему было опущено до самой рамы. «Хо!» — сказал он, словно бы увидев заманчивую дыру впервые. Оглянулся на проводника, сделал в сторону распахнутого окошка знак глазами. Проводник с неудовольствием поджал губы, потом красноречиво отвернулся: делай, мол, что хочешь. Гнат уже потянул на себя дверь, чтобы закрыться, когда проводник для порядка все ж таки бросил в пространство: «Отстанешь — твои проблемы». — «Спасибо, друг!» — совершенно искренне сказал Гнат и полез в окно.

Немногочисленные люди на перроне, тускло освещенном то ли сумерками, то ли затеплившимися только что редкими фонарями, не обратили на Гната никакого внимания. Сказалась, верно, въевшаяся в плоть и кровь советская привычка: «если что-то происходит, значит, есть соответствующее решение», помноженная на новоприобретенную демократическую: «пусть хоть дома сами собой падают — ничему не удивляйся». Лезет человек из окошка поезда на перрон — подумаешь, эка невидаль; стало быть, так надо. Мгновение — и Гнат уже стоял на приграничной земле.

ВЗЛЕТ РАЗРЕШАЮ

1

Они ехали. Они ехали наконец.

Мало-помалу волнение и напряжение дня отпускали. Любань позади осталась...

Обиванкин задремал. Лэй заскучал. Лёка глядел в окно, на бодро бегущие назад весенние леса и лужайки, опушки и перелески, на речушки и полустанки, упруго скачущие мимо; так он мог бы сидеть, смотреть и ехать много дней... всю жизнь, быть может. Смотреть, думать — и ни о чем не думать.

Думать о том, о чем хочется — и не думать о каждодневном, осточертевшем...

Лэй закинул в сумку свою игрушку, уже с четверть часа бездельно лежавшую у него на коленях, и позвал:

— Пап...

— Да? — тихо ответил Лёка и перевел взгляд на сына. Ему даже не пришлось отворачиваться от летящей за прозрачной преградой благодатью — с самого начала он посадил Лэя к окошку; Лёка помнил, до чего в детстве любил сидеть у окна. Но сын сразу уткнулся в свой попискивающий, как мышиный сейм, «тетрис»; а теперь он сидел к окну затылком, к Лёке лицом.

— Пап, — с усилием повторил сын. На какое-то неловкое мгновение он встретился с Лёкой взглядом и тут же отвел глаза. — А почему вы с мамой разошлись?

Лёка то ждал этого вопроса, то переставал его ждать, уверяясь, что его не будет; то боялся его услышать, то боялся, что он так и не прозвучит. И все же сейчас это оказалось будто экстренное торможение; будто кто-то нажал на стоп-кран мира, и только Лёку, одного-единственного, кто не успел ухватиться, кинуло в безвоздушную пустоту. «А ты как думал? — спросил он себя мгновение спустя. — Что вы и впредь будете болтать и балагурить, как с приятелем средней дальности? Незатруднительно и невзначай? Радуйся, дурак... Раз он спрашивает, значит, ему на тебя не наплевать».

— А мама тебе не рассказывала? — негромко спросил он.

Сын чуть дернул плечом.

— Она много чего рассказывала... — проговорил он. И решительно добавил: — Я типа тебя хочу послушать.

Лёка помолчал. Сын продолжал глядеть мимо и не торопил его; и Лёка был благодарен ему за это.

Главное — ничего не ляпнуть плохого о ней. Потому что, во-первых, она все равно всегда останется для него мамой, самым близким и родным человеком в мире, и правильно, было бы плохо, если бы оказалось не так. А во-вторых — Лёке нечего было сказать о ней плохого. Плохое он думал и говорил лишь о самом себе.

А вот неосторожно ляпнуть он мог... Что-нибудь проходное, обыденное, незначительное — но что ребенок воспримет как ругань.

— Наверное, от усталости, — сказал он.

— Друг от друга устали?

— Даже не столько друг от друга... — Лёка честно пытался объяснить. — От всего. Жизнь подчас утомительная штука, особенно... навязанная. Будто она чужая совсем, не та, которой ты ждал... хотел. Есть усталость, которая уже не проходит.

— Не понимаю, — тихо сказал Лэй.

— Ну, вот представь: день за днем просыпаешься по утрам и знаешь, что у тебя впереди очень много дел — но ни одно из этих дел тебе не хочется делать. Они не твои. Ты не сам их себе придумал и выбрал. А те дела, которые тебе хотелось бы делать, о которых ты мечтал, которые для тебя естественны — не существуют. И вот ты день за днем просыпаешься усталым... Понял?

Лэй не ответил — молча хмурился, пытаясь уразуметь. Описанное отцом состояние ему было вполне знакомо — но казалось, оно грузит лишь тех, кто еще ходит в школу. Хочется на футбол, а вместо этого — знай извлекай корень, блин, квадратный... Хочешь на дискотеку — а мама не разрешает... Чтобы взросляки от того же маялись — была новость. Кто им-то типа может разрешать и не разрешать?

— Вот например, — сказал Лёка. — Только не смейся надо мной.

— И не собирался даже, — обиделся Лэй.

— Я когда маленький был... меньше, чем ты сейчас... — он запнулся, потом проговорил с тихой тоской: — Каким интересным был мир, когда мы были мальчишками! Помню, мы на уроках книжки умные друг другу то и дело перекидывали, спорили взахлеб про парадоксы перемещения во времени, про термоядерный синтез, будто академики какие... Галактики, ракеты, антимир, тайны океана, контакты с иными цивилизациями... И всем этим занимаются добрые свободные талантливые люди. Громадный мир, манящий... — опять запнулся. — Тогда очень много книжек про полеты в космос публиковали. Про будущее... Тогда думали, до будущего рукой подать, даже даты примерно известны были. И вот я все-рьез прикидывал, исходя из тех дат: в двухтысячном году уже будет полный коммунизм, а значит, в космос летать будут просто как на работу, и на Сатурн уже, и на Нептун, а мне исполнится целых сорок два, и меня могут не пустить по возрасту... Я так тревожился!

Лэй даже не улыбнулся. И за это Лёка тоже был ему благо-

дарен — как настоящему другу, которому можно доверить все и знать, что он поймет.

— Я был готов тогда пуп надсаживать, чтобы быть достойным Сатурна и Нептуна. От этого я бы не устал. Понимаешь? А вместо того получился всеобъемлющий рынок, и интересными стали только деньги, и мне вместо Нептуна придется даже до Москвы и то по визам ездить, и очередь в ОВИР занимать до рассвета... И я все время жутко устаю. Просыпаюсь каждое утро — уже усталый. — Лека перевел дух. Помолчал. — И в семье бывает что-то похожее, понимаешь?

Лэй тоже помолчал.

— Думал, у тебя дома будет типа полный коммунизм, а вместо этого получился всеобъемлющий рынок? — беспощадно уяснил он вслух.

Лёка чуть качнул головой.

— Ну, не то чтобы рынок... — беспомощно проговорил он. И умолк. Он не знал, как назвать то, что получилось у них с Машей в доме.

Некоторое время они молчали. Голова спящего Обиванкина, откинутаая затылком на грязно-желтую обивку стены, чуть каталась налево-направо. Лёка коротко стрельнул взглядом на дюжего мужика, сидевшего через проход от них, на боковом; Небошлепову, не избалованному интересом к своей персоне и оттого остро чувствовавшему, если интерес все же появлялся, в начале поездки несколько раз показалось, будто мужик посматривает на них, вернее, присматривает за ними — короче, послеживает. Следит. Как бы старательно он ни тарашился в сторону, от него веяло вниманием. Нет, все-таки, пожалуй, параноя, подумал Лёка с облегчением. Мужик тоже спал, самозабвенно похрапывая и распространяя вокруг себя несильный, приглушенный уже, но совершенно недвусмысленный запах перегара. Показалось. Все кажется. Все в порядке, никто за нами не следит, перестань. Кому мы нужны.

— Но тогда получается... — подал голос Лэй. — Тогда получается, что лучше вообще никакой жизни не ждать. Как бы так, да? Жить как живется, и не будешь уставать.

— Может быть, — сказал Лёка. — По принципу «чего дают, то и спасибо»... Хороший принцип.

— Ну вот ты как все сразу обернул...

— Как?

— Так, что такого тоже не хочется. Противно. Как без-

домной кошке на помойке. Жри типа чего насыпали, и не ломайся...

Вот тут они засмеялись. Но вместе.

— Так, конечно, легче, — сказал Лёка потом. — Но тошно, понимаешь...

— Понимаю. Но ведь и то, как ты сейчас рассказал, — это ж тоже голяк полный.

— Полный, — согласился Лёка. — Куда ни кинь — везде клин. И каждый выбирает клин себе по сердцу... А потом расплачивается за свой выбор.

— Мрачновато мыслишь, — констатировал Лэй.

— И не говори, — ответил Лёка.

Они замолчали надолго.

Интересно, что ему рассказывала на эту тему Маша?

Нет, нельзя спрашивать.

— Давай подрежем маленько, — сказал он сыну. — Мы с Обиванкиным нынче не спали вовсе.

— Охренеть, — с недоверчивым восхищением сказал Лэй.

2

Когда Лёка проснулся, состав промолотил едва не всю дорогу до Твери и полз теперь неторопливо и сыто, будто приглядывая место для ночлега. Из низин всплывали серые сумерки, деревья нахохлились и почернели. Небо затянули плотные облака.

Лэй глядел в окно. Обиванкин тоже уж не спал и напряженно тарашился прямо перед собой; пальцы рук его выделяли какие-то нервные кренделя: то он сплетал и расплетал их, то барабанить по столу пытался, то словно хотел ввинтить большой палец правой руки в ладонь левой... Лёка для очистки совести коротко глянул через проход: дюжий сосед попрежнему был в отключке.

Странно, однако, что багажа у него нет совсем. Лёка видел, как сосед вошел — буквально в самый момент отхода поезда и с пустыми руками. Плюхнулся на сиденье, будто не в другую страну едет, и не в другой город даже, а так... катается.

Но, в конце концов, чего не бывает.

Сын почувствовал, что Лёка уже вернулся к жизни; отвер-

нулся от окна и чуть улыбнулся отцу — неловко, но дружелюбно.

— Граница скоро, — сообщил он.

— Вижу, — ответил Лёка.

Обиванкин принялся кусать губы.

— Не волнуйтесь вы так, Иван Яковлевич, — сказал Лёка, чуть наклонившись вперед. — Во-первых, для таких переживаний нет, по-моему, ни малейших причин. Все документы у нас в полном порядке. А во-вторых, поймите, ведь стоит на вас поглядеть только — и вас действительно можно заподозрить в попытке нелегального перехода границы. Как минимум.

Обиванкин то ли брезгливо, то ли высокомерно глянул на Лёку и промолчал. Лёка выждал мгновение, потом, пожав плечами, отвернулся.

Успокоил, называется, думал Обиванкин. Ведь не сказал: для переживаний нет причин. Сказал: для переживаний, по-моему, нет причин. По-моему! Никакой твердости, никакой целеустремленности в них, в молодых... Если ты в чем-то уверен, то так и говори. А если ты сам же свою правоту подвергаешь сомнению, суживаешь до масштабов личного мнения — так и рот открывать нечего... Нет, в наше время все было не так.

— Папа, — позвал Лэй.

— Да?

— А как ты думаешь...

— Что?

— Вот ты сказал — вместо того, что вы ждали, получилось совсем другое. Почему так получается?

Оказывается, он все время думал о том, что я ему рассказал, с изумлением и боязливой радостью подумал Лёка.

— У-у... — сказал он с мрачной иронией. — Это всем вопросам вопрос...

— Так получается всегда, когда не хватает уверенности и настойчивости, — в очередной раз принявшись нервно барабанить пальцами по столу, вдруг бросил Обиванкин, даже не дав себе труда выяснить, о чем, собственно, речь.

В Лёку будто плюнули.

— Спасибо, что научили уму-разуму, Иван Яковлевич, — сказал он.

— Простите, — ответил Обиванкин. — Я вовсе не хотел вас оскорбить. Просто высказал свое мнение.

«А кто им интересовался?» — чуть не спросил Лёка, но смолчал. Старик и так, похоже, на грани истерики. Надо же, какой нервный.

Тихо подкравшийся к станции поезд просторно загремел сочленениями и окончательно остановился.

— Прибыли, — сказал Лёка.

В наступившей тишине стали слышны приглушенные, чуть-чуть напряженные реплики пассажиров, отрывистые вопросы и ответы... Граница есть граница. Досмотр есть досмотр. Будь у тебя хоть трижды в порядке все бумажки — все равно не по себе.

Некоторое время ничего не происходило. Потом за окном торопливо прошли вдоль вагона несколько парней в форме и с автоматами — совсем молодые. Поодаль неторопливо прогуливался по перрону какой-то местный барин с собачкой на поводке; вообще же на станции было очень малоллюдно.

А потом зажегся свет, разом припрятав все, что снаружи, за блеском стекол; залязгали двери впереди и сзади, и внутри вагона послышалось залихватское: «Линия перемены дат! Линия перемены дат, господа! Леди и джентльмены! Да-а-кументики приготовили! Па-адарожные, визы, паспорта! Пли-из!»

Осунувшийся Обиванкин принялся тереть потные ладони о штанины — видно, хотел их просушить прежде, чем браться за бумажки. На него страшно было смотреть. Лёка молча полез за документами; он предчувствовал недоброе.

— Вы не знаете, багаж они осматривают? — вдруг спросил Обиванкин Лёку.

— А что у вас там — наркотики? — осведомился Лёка.

Обиванкин не ответил. Ого, подумал Лёка. Кажется, я влип... И сына втянул. Замечательно. Он машинально покоился через проход — дюжий сосед уж проспался и, угрюмо ссутулившись, сидел лицом к окну. «Что он там может видеть? — недоуменно подумал Лёка. — За стеклом темнее, чем в вагоне...» И сразу понял. Сосед смотрел на то, что в стекле отражалось. То есть — на них троих.

Стало совсем худо.

— У меня в багаже есть вещи, которые мне не хотелось бы никому показывать, — наконец сообщил Обиванкин шепотом и нервно облизнул губы.

— Вы нашли очень удачное время, чтобы сказать об этом, — ответил Лёка, уже не скрывая раздражения.

Обиванкин непреклонно глянул ему в глаза.

— Предупреди я вас заранее, вы могли испугаться и не взять меня с собой, — сказал он.

Лёка задохнулся.

— Да как вы смели... как смели подставить мальчика... и меня...

— Потому что моя поездка очень важна для страны, — отрезал Обиванкин, словно это объясняло и оправдывало все.

Лэй, ничего не понимая, смотрел то на отца, то на его друга.

Лёка даже не нашелся, что ответить. Несколько мгновений он лихорадочно шарил в голове, пытаясь нащупать достойные слова, но в ошеломленной пустоте не обнаруживалось даже связной ругани. Впрочем, и к лучшему, сообразил Лёка: ругань никогда и ничему не способна помочь, она только позволяет, когда опасность миновала, спустить пар. Лёка так и не произнес ни слова до тех самых пор, когда «Да-акументики попрошу!» послышалось совсем рядом, и розовошекий вооруженный мальчишка в зеленой форме, ну лишь чуть-чуть постарше Лэя с виду, показался в проходе. Автоматически Лёка отметил, как быстро разобрался с пограничником сосед на боковом сиденье напротив — махнул каким-то удостоверением, и вопрос оказался исчерпан. Вот так надо ездить, с завистью и тоской подумал Лёка. И что бы моему чародею не обратиться со своими просьбами к кому-нибудь, у кого припасены этикие вот корочки?

Да потому что такие никогда и никому не помогают, ответил Лёка сам себе. Тем, кого можно взять на отзывчивость, корочек не выдают...

Он подал пограничнику свои бумаги. Мальчишка уставился в них; потом опять на Лёку, потом на Лэя — сличал фотографии. Потом, от усердия шевеля кожей на лбу, принялся изучать подорожную. И ведь это не американцы какие-нибудь, думал Лёка, пристально вглядываясь в простое и совсем не злое, губастое лицо пограничника. Не захватчики немецко-фашистские из гестапо, нет. Свои же пареньки с Валдая оклад отрабатывают... А что им делать, если нет никакой иной работы и кормиться нечем? По всей округе на сто, может, верст никакой иной мало-мальски оплачиваемой работы, кроме как унижать ближних своих — и по крови ближних, и по

месту обитания... Спасибо, что в воры не пошел. До чего ж он старается-то! Бдит! От всего сердца...

Разве только в деньгах дело?

А если бы им платили исключительно за доброту и честность? За тягу к знаниям? Ох, представляю, как они кляли бы власть за издевательство над человеческой природой и нарушение прав человека!

А может, и не кляли бы?

Кто и когда это у нас пробовал?

— Все в порядке, — сказал пограничник, возвращая бумаги Лёке и козыряя ему. — Счастливого пути, господин Небошлепов. Счастливо, Лёня... — Повернулся к Обиванкину. — Так, господин... э... Обиванкин, — не без напряжения вспомнил он фамилию из Лёкиной подорожной.

Обиванкин с обреченным видом подал ему паспорт и визу. Лоб его искрился от пота. Ученого хотелось немедленно арестовать. На всякий случай. Пограничник опять заекал взглядом вверх-вниз: в документы и на живого Обиванкина, опять в документы — и опять на живого...

Что-то долго, холодея, подумал Лёка; а пограничник отступил на шаг назад, в проход, и позвал: «Колян! А Колян! Подойди-ка...»

Подошел его напарник, и о чем-то они забубнили вполголоса, наклонившись друг к другу, как заговорщики. Напарник с сомнением покачал головой. Первый пограничник потыкал пальцем в паспорт Обиванкина. Опять побубнили. Это длилось еще минуты две. Потом напарник ушел, а первый пограничник, постукивая бумагами Обиванкина себя по ладони, сказал, будто сам себе удивляясь и, во всяком случае, безо всякого удовольствия, даже виновато:

— А вы, господин... господин Обиванкин, вы пройдите с нами.

— Но в чем дело? — охрипнув, возмутился было Обиванкин.

Своим картинным негодованием он только разозлил мальчишку, а тому и так было несладко. Похоже, даже противно от того, что ему приходилось делать. На мальчишеском лице проступило отчаяние.

— Разберемся, господин! — заводя сам себя, рявкнул он. — Р-разберемся!

Нежданно-негаданно подал голос Лэй.

— Да вы что? — от души возмутился сын. — Он же друг бабы Люси! Пап!! Она же нас ждет!

У Лёки голова пошла кругом. Лэй ведь не знал правды, Лёка рассказал сыну лишь легенду... Мать честная, да как же выбираться-то? Это тебе не статьи писать, прикрикнул Лёка на себя. Тут надо соображать быстро!

Многое он умел; а вот быстро соображать — ни-ни. Не дал господь.

Но одно Лёка понял мгновенно: если сейчас он отступит — от Обиванкина, то сына потеряет навсегда. Явного, при всем честном народе предательства мальчик ему не простит.

И будет прав. Предательства не прощает ни один порядочный человек.

Пусть мальчик ничего не знает — но он знает то, что сказал ему сам Лёка. Потом уже ничего не объяснишь и не залагаешь. Сдать без боя друга бабы Люси пограницам и поехать дальше как ни в чем не бывало — нельзя.

— А собственно, что вас не устроило в документах Ивана Яковлевича? — спросил Лёка, чувствуя на затылке обжигающий взгляд сына и каким-то чудом ухитряясь говорить спокойно и жестко, будто он, господин Небошлепов, был здесь самый главный.

Пограничник почувствовал его тон — и запаниковал. Ему нечего было сказать.

— Пр-ойдемте! — даже чуть взвизгнув от полной растерянности, ответил он.

Лёка поднялся со своего места. Зацепил свою сумку.

— Тогда мы все пойдем, — проговорил он, не повышая голоса. — Это безобразие. Это самоуправство!

У пограничника лицо стало жалобным и обиженным, как у ребенка, с которым взрослый сыграл не по правилам.

— Да сядьте вы, господин Небошлепов, — умоляюще произнес он. — Ну вам-то что... Вы-то куда...

Славный парнишка, подумал вдруг Лёка. Совестьливый... Зря я на него бочку катил. Но он не мог отыгрывать назад — не в парнишке было дело.

— Как это «вам-то что»? Вы не можете ответить на простой вопрос: что в документах господина Обиванкина вас не устраивает. И в то же время ссаживаете его с поезда безо всяких причин! Мы едем с ним вместе — и будем разбираться вместе!

Пограничник глубоко вздохнул. Сдвинул на затылок фуражку и тыльной стороной ладони вытер лоб.

— Как хотите... — понуро сказал он. — Вам же хуже... Колян! — крикнул он напарнику. — Заканчивай тут, я повел этих...

И они пошли.

Тяжелая сума, так покамест и не подвергшаяся таможенному досмотру, грузно и подозрительно болталась у Обиванкина на плече.

— Зря вы, господин Небошлепов... — продолжал уныло и безнадежно увещевать пограничник. — Сами потом пожалеете — а поезд уж уйдет. Застранете на всю ночь. Вы же вполне могли ничего не знать...

— Чего не знать? — вскинулся Лёка.

— Ничего не знать... — беспомощно сказал пограничник.

Лэй молчал.

Самое странное, что и Обиванкин молчал. Даже не пытался защищать себя. То, что его ведут, будто взятого с поличным бандита, он, похоже, воспринимал как должное. И то, что Лёка и даже сын Лёки пошли вместе с ним невесть куда и невесть из-за чего, воспринимал как должное тоже.

Они вышли на плохо освещенный пустой перрон. После духоты вагона снаружи было зябко; впрочем, может, это с перепугу. Ощущение было и впрямь жутковатое — темная пустыня и неведомая опасность. И очень уж внезапным был переход: только что ехали себе ехали, дружили, дремали — и вот нате. Безлюдье, чужой край, кланья сапог и полная неопределенность. И не на кого опереться: рядом лишь впавший в ступор непонятный Обиванкин, то величавый, то требовательный, то жалкий — и пятнадцатилетний сын.

Пограничник пристроился позади. Будто конвоировал их. А, собственно, почему «будто»? Хватит прятать голову в песок — с Обиванкиным что-то неладно, и их действительно просто-напросто конвоируют куда-то... как это у них называется? Пост? Пикет? А ведь он тоже нервничает, почувствовал Лёка. Пограничник-то тоже нервничает. Рука на автомате, отметил он, мельком обернувшись. Он Обиванкина боится! Святые угодники, да во что ж мы с Лэем вляпались?

Ни души не было кругом. Пригородные поезда останавливались поодаль, не здесь; вдали, за переходом, виднелись длинные прямые гирлянды их светящихся квадратных окон.

Вечер самоуправно, не предъявляя никаких документов и не подвергаясь досмотру, готовился пересечь границу ночи.

Пограничник остановился. Лёка тоже остановился сразу, услышав, что позади смолкло мерное клацанье сапог. Обернулся. Пограничник заглянул Лёке в лицо.

— Уйдет ведь поезд, господин Небошлепов, — просительно сказал он.

Лёка покосился на сына. Взгляд мальчика был непреклонен.

— Ничего, — сглотнув, сказал Лёка.

— Ну, тогда айда... — Пограничник безнадежно пожал плечами и двинулся дальше.

Они обошли какое-то здание, потом обошли какое-то еще. Прошли мимо открытой двери под надписью «Буфет»; в освещенных окнах буфета виднелись столы и лица. С той стороны стекол заметили процессию, уставились, приоткрыв рты. Пошли дальше, мимо тихой череды померкших и уснувших киосков. Заведет куда-нибудь, перестреляет всех, и дело с концом, подумал Лёка. Но вместо этого из щели между ларьками выступила темная фигура, кинула руку к шее удивленно остановившегося пограничника и легонько коснулась ее одним пальцем. Пограничник коротко всхлипнул, ноги у него подкосились, и он упал, лязгнув по асфальту автоматом.

— Пиздохен швансен! — обалдело сказал Лэй — непонятно, но очень экспрессивно.

— Ходу! — вполголоса распорядилась фигура. — До отправки пять минут!

То был дюжий сосед с бокового сиденья, который проспал всю дорогу от Питера до Твери.

Лёка наклонился к неподвижно лежащему парнишке. Фуражка с него свалилась и отлетела метра на полтора, глаза были открыты, но в них остались одни белки. Лёка, с изумлением ощущая себя совершенно мужественным, тронул, как сто раз видел в кино, артерию на шее пограничника. Артерия билась.

— Он в порядке, — нетерпеливо сказал сосед. — Я его обездвигил на полчаса, и только. Очухается невредим, максимум — описается.

— Вы кто? — чужим голосом спросил Лёка.

— Мы упустим ваш поезд, — сказал сосед. — Поговорим потом, хорошо? Я просто хочу вам помочь.

Лёка подобрал фуражку пограничника, беспомощно положил ему под голову. Лэй оторопело смотрел. Потом будто проснулся и принялся суетливо помогать отцу; но помогать, собственно, было нечего. Он уложил раскнутые ноги пограничника поудобнее — или попрстойнее, что ли... Выпрямился, заглянул отцу в глаза — видишь? Я тоже. Вижу, одобрительно сказал Лёка глазами и выпрямился. Смерил внезапного спасителя взглядом. Покосился на Обиванкина. Тот был в полном и теперь уже окончательном ступоре и знай прижимал к себе обеими руками свою сумку.

— Я с места больше не тронусь, пока не пойму, что происходит и во что нас с сыном втянули, — сказал Лёка.

— Я просто пытаюсь вам помочь, — негромко повторил сосед.

— Кто вы такой?

— Можете звать меня Гнат, — проговорил тот. — Гнат Соляк.

— Бонд, — пробормотал Лёка. — Джеймс Бонд.

— Кто-нибудь пойдет мимо и увидит очень романтическую картину, — с трудом сохраняя спокойствие, сказал Гнат. — Может, мы отойдем в сторонку хотя бы?

— Чему и кому вы хотите помочь? — жестко спросил Лёка.

— Ну не сейчас! — повысил голос Гнат.

— Сейчас, — сказал Лёка.

И вдруг подал голос Обиванкин.

— А по-моему, — фальцетом сообщил он, — товарищ где-то прав. Может быть, Алексей Анатольевич, нам действительно вернуться на наши места, а уж там обсудить создавшееся положение?

— Вы ненормальный, господин Обиванкин, — сказал Лёка.

И тут они увидели, как потерявшийся в сотне метров позади состав, из которого их выдворили и от которого теперь им виден был лишь неимоверно прямой и длинный частокол горящих окон, дрогнул и поплыл, окошко за окошком пропадая по ту сторону каких-то темных вокзальных пристроек.

— Все, — упавшим голосом сказал Гнат.

— Рассказывайте, — потребовал Лёка.

— Па, мы типа здесь ночуем? — спросил Лэй.

— Не знаю! — рывкнул Лёка. — Помолчи!

Никогда в жизни он не повышал голос на сына. Ни во времена совместной жизни, ни в эти дни. Никогда.

Самое странное, краем сознания отметил Лёка, что Лэй воспринял окрик на редкость нормально. Умолк и, судя по лицу, даже не обиделся.

— Через десять минут парень может прийти в себя, — сказал Гнат. — Мне еще раз его бить?

— Кто вы такой и что вам нужно? — требовательно спросил Лёка.

— Хорошо, — сказал Гнат. — В двух словах. Подробности, если они вас интересуют, — потом. Я же ради вас, идиотов... — он все-таки сдержался, только желваки запрыгали, словно пузыри на болоте. Помолчал. — Вот этот господин, — он мотнул головой в сторону Обиванкина, — в розыске. Как красно-коричневый ракетчик, от которого невесть чего можно ждать. Подробности не знаю. В приказе было предписание следить за ним и сообщать по команде — но здешние пацаны, я так понимаю, перепугались, что он уйдет за кордон, и решили действовать, как обычно. То есть по-дубовому. Меня сегодня уволили из... из одной из силовых структур. Несправедливо. За то, что я не дал девочку убить. Я случайно видел ориентировку и решил им нагадить, а вам помочь. Мое единственное желание — попортить им песню. Портить им все их песни, до каких сумею дотянуться. Вы вполне можете меня использовать и потом выкинуть, как отработанный материал, я не обижусь. Вот и все.

Гнат сам не знал, правда это или нет.

Он не хотел сейчас думать об этом. Разбираться — потом. Он еще сам не понимал, чего хочет. Язык молотил сам по себе — первое, что взбрело в голову; то, что он сказал, вполне могло и впрямь оказаться правдой когда-нибудь потом, вскоре. И потому звучало искренне.

Как и подобает звучать правде.

Лёка помолчал. Оглядел свое воинство. У Обиванкина отвисла челюсть. У Лэя восхищенно горели глаза. Гнат был совершенно спокоен и ждал Лёкиного решения.

— Вы уверены, что пограничнику ничего не грозит? — тихо спросил Лёка. И в этот миг лежащий парнишка шевельнулся и застонал.

— Вот вам ответ, — сказал Гнат. — Что дальше, командир? — В его голосе почти не было издевки.

— Дальше я вас обрадую, — сказал Лёка и посмотрел на часы. — Почему-то я ожидал неприятностей... хотя, конечно,

не такого масштаба. Я заходя через Интернет посмотрел на всякий случай пригородные тверские электрички. Последняя клинская — через десять минут. И билеты зайцам контролеры при необходимости продают прямо на ходу, внутри.

— Разумно, — сдержанно одобрил Гнат. — Тогда — ноги в руки!

Лёка нерешительно посмотрел на лежащего пограничника. Тот моргнул и застонал снова.

— Ноги в руки, — согласился Лёка.

И они побежали сквозь наконец-то начавшую падать на них ночь.

Первым, сипя, стал отставать Обиванкин. Здоровенный Гнат, ни слова не говоря, попытался тянуть его за руку, потом — забрать себе тяжело колотящую ученого по боку сумку; тот что-то жалобно завершал и плотнее прижал свою тяжесть. Пришлось с бега перейти на быстрый шаг.

Впрочем, вот уже и пригородные поезда. Обиванкин, за ним Гнат, а за ними уж, опрометью, и Лэй бросились вдоль по перрону к распахнутой двери последнего вагона.

— Стойте! — крикнул Лёка, бросив мимолетный взгляд на табло указателя. — Эта на Москву, нам в следующую!

Поздно. Ополоумевший, теряющий дыхание Обиванкин, каким-то образом оказавшийся первым — впрочем, понятно, он и был первым с конца, а Лёка пробежал дальше всех, — прыгнул в вагон.

— Папа! — крикнул Лэй, обернулся и, споткнувшись, на глазах у отца едва не упал в щель между перроном и вагоном; короткий, слепящий ужас пролетел сквозь Лёку. В последний момент Соляк подхватил Лэя и буквально на руках втащил в дверь.

Лёка рванул вдогон. Ввалился в тамбур и, задыхаясь, отчаянно крикнул внутрь вагона:

— Назад! Это не та электричка! Она не останавливается в Клину!!!

— Та! — удавленно прохрипел Обиванкин; он то вздувался, то опадал, точно искусственное легкое. — Та!! В Москву!

Он нарочно, потрясенно понял Лёка; и больше ничего не успел ни сообразить, ни сделать. Двери зашипели и судорожно съехались; электричка, с громом передернувшись, потянула. Завыли моторы, сначала басом, потом выше, выше, пере-

ходя на раздирающий душу визг. Поплыли мимо, разгоняясь, светлые россыпи окон далеких домов.

Лёка на негнувшихся ногах вошел в вагон и, словно мертвый, упал на деревянное сиденье рядом с сыном.

Тук-тук... тук-тук... Сердце об гортань — или колеса об рельсы?

Граница осталась позади. Электричка шла по России.

— Папа, — тихо сказал Лэй. — А мы к бабе Люсе-то попадем?

Лёка молча обнял сына за плечи.

3

Никого, кроме них, не было в последнем вагоне последней в этот день электрички прямого сообщения Тверь — Москва. И оттого возникало странное чувство потерянности: снаружи глухая тьма без конца и края, где, лишь подплескивая прогорклого масла в палящий душу ледяной костер тоски, изредка проплывали какие-то неживые огни, а внутри — гулкая от безлюдья и сумеречная от тусклых ламп, знобкая трясушаяся теснина да дверь, с бессильным лязгом мотающаяся то в паз, то из паза; и ряды, ряды пустых сидений. Вымерший мир. Одна пустота, топоча бесчеловечно ритмичную чечетку по рельсам, деловито бежала сквозь другую, и в этом не виделось ни малейшего смысла.

Лёка думал о пограничнике. И впрямь ли жуткий, колдовской удар Соляка не нанес ему серьезного вреда; не простудился ли он, пока лежал на холодном асфальте (а если в Твери уж и дождь пошел? Тучи-то ползли с севера); не слишком ли жестоко накажут его по дисциплинарной части за то, что он их упустил... Некоторое время он ни о чем ином думать не мог — так было совестно перед мальчуганом.

Лэй думал о том, что таких обалденных каникул у него, верно, в жизни больше не будет, даже если папа как бы и останется. Поездка вышла конкретно угарная. А все еще только начинается.

Он и не заметил, когда даже в мыслях перестал называть Лёку папашкой.

Гнат с отстраненным удивлением вспоминал, что началось все с желания выследить старца и сдать его на блюдецке Сане — но это было уже так давно...

Я буду тот жандарм, думал он, который защищает людей от произвола, а не тот, который защищает произвол от людей. Не знаю, думал он, как там в их хвальной Америке... не знаю, как где. Это будет здесь.

Обиванкин думал о том, как рассказать. Не находилось убедительных слов. С чего ни начни — все вырождалось в какой-то сугубо специальный отчет перед вышестоящими инстанциями; а этому стилю сейчас не было места. Особенно тут, в бегущей по рельсам прямоугольной и мрачной, как гроб, пустоте.

— Прежде всего, — сказал он наконец, глядя на одного Лёку, — я хотел бы извиниться перед всеми и главным образом перед вами, любезный Алексей Анатольевич, за свое несколько... неадекватное поведение. Я, поймите, никогда не бывал в столь экстремальных ситуациях... и несколько растерялся. Простите старика.

Он умолк. Те слова или не те? Не надо было говорить «любезный», мучительно понял он. Точно барин с прислугой. Проклятая академическая привычка... совершенно иной словарный запас...

— Честно говоря, — ответил Лёка и чуть улыбнулся Обиванкину, — я в такой передрыге тоже впервые.

Обиванкин облегченно вздохнул. На сердце стало теплее.

— Алексей Анатольевич, — сказал он с предельно доступной ему предупредительностью. Покосился на безучастно сидевшего рядом Гната. — Как вы полагаете? Мы можем верить... э-э... уважаемому господину Соляку?

На лице Гната не дрогнул ни один мускул.

Лёка куснул губу.

— Честно говоря, — ответил он, — я и вам-то теперь верить не могу.

Обиванкин тяжело вздохнул.

— Я вас понимаю, — сказал он.

— Пока вы не объясните, что вы затеяли, я...

— Именно это я и намерен сделать. С моей стороны было, видимо, бестактно... и бессовестно... использовать вас, ничего не рассказав.

— Видимо, — коротко согласился Лёка.

— Именно поэтому я и интересуюсь вашим мнением относительно нашего нового спутника.

— Может, мне отойти в тот конец? — осведомился Гнат.

— Не надо, — сказал Лёка. — Что за глупости, Гнат. Мы нынче все в одной лодке.

— Более чем вы думаете, — сказал Гнат. — И это, кстати сказать, большая удача, что мы прыгнули не в тот поезд. И в нашем пассажирском нас наверняка уже ищут, и в Клину будут ждать, потому что пацан наверняка запомнил, что у вас подорожная до Клина...

— А в Москве не будут? — спросил Лёка.

— Если ума не хватит — не будут, — ответил Гнат.

— Ну, с умом у нас последние годы не густо, — сказал Лёка и невесело усмехнулся. — Так что есть надежда. Меня другое беспокоит: как мы будем обратно выбираться?

— Об этом не беспокойтесь, Алексей Анатольевич, — поспешно сказал Обиванкин. — Вот с этим как раз не будет проблем. И молодого человека я могу успокоить: вы обязательно попадете к бабе Люсе, и даже быстрее, быть может, чем попали бы обычными видами транспорта. А уж с каким триумфом!

Ни Лёка, ни Гнат, ни Лэй не нашли, что ответить. Некоторое время слышен был лишь стук колес да заунывный скрежет катающейся двери.

— Так вот, — проговорил Обиванкин, словно начиная лекцию. — Должен прежде всего сразу оговориться: я очень рад тому, что мы продолжаем и дальше ехать вместе. То, что я хотел совершить в одиночку, мне в одиночку явно не совершить. Я это уже чувствую. Не исключено, и уважаемого господина Соляка судьба нам послала не зря. Наша поездка, не побоюсь этих слов, может иметь самое большое и непосредственное значение для восстановления величия России. Именно ввиду этого я и позволил себе некоторую бестактность в отношении... — он запнулся, а потом выразительно посмотрел на Лёку.

Так, подумал Гнат. Допрыгался. Вот только восстанавливать величие России мне и не хватало. Всю жизнь мечтал.

— Давайте покурим, — предложил он. — Кроме нас, в вагоне нету никого, а хочется смертельно. Если подрастающее поколение не будет против...

Одна, подумал он, надежда: что старец — псих.

На то похоже.

— Да я бы и сам, — нерешительным басом сказал Лэй. — А, пап?

— Убью, — ответил Лёка. Он тоже помирал без курева.

Кинул взгляд на удрученно отвернувшегося сына. — Ладно, — не выдержал он. — Но с завтрашнего дня бросаем оба.

— Исессино, — с лихой готовностью согласился Лэй, обрадованный таким уважением до глубины души.

Странное, поразительное то было чувство: делиться сигаретами и давать огня тому, кому буквально вчера еще давал соску... буквально вчера вот к этим самым губам, которые тогда были с обидой сложены сковородником, а теперь из них торчит задымившаяся отрава, подносил ложку с супчиком и ласково уговаривал: за маму... за папу...

Нет. Отвратительное зрелище. Завтра бросим.

— Итак, — сказал Обиванкин. — В моей сумке... — он осекся. Нет, не с того надо начать, подумал он. Главное, чтобы они сначала поверили. — Начну с истории, — поправился он.

«С истории болезни?» — чуть не спросил Гнат, но сдержался. Все превращалось в фарс.

— Начинайте, — сказал Лёка.

— В середине восьмидесятых годов прошлого века моя лаборатория... в составе трех человек всего лишь, но это были такие люди, смею вас заверить, что... — голос Обиванкина пресекался, и лицо болезненно исказилось. — Из них уж один я остался, — сообщил он глухо. Помолчал. — Да. Мы создали несколько приборов и с их помощью провели на спутниках серии «Протон» ряд весьма обнадеживающих экспериментов по овладению эффектом антигравитации, — выговорив безо всякого усилия мудреное по нынешним временам слово, он помолчал и обвел взглядом лица слушателей: поняли они? нет? — Значение овладения этим эффектом трудно переоценить. Наступила бы совершенно новая эпоха, в первую очередь — в космосе. Никаких жидкостных двигателей... ну, и на транспорте вообще. Достаточно сказать, что потребности индустрии в нефти, вокруг остатков которой в последние десятилетия, собственно, и вращается вся мировая политика, сразу резко снизились бы.

Охо-хо, уныло подумал Лёка, дымя сигаретой. И из-за такого бреда мы с Лэем... Мать честная!

— К сожалению, эксперименты не были продолжены. Отчасти потому, что кое-кто в руководстве тогдашнего Союза именно эту опасность и увидел в наших исследованиях: не нужна нефть, стало быть, отменяется пресловутая нефтяная

игла, питавшая всю экономику страны... падение мировых цен убьет кормушку, а они и в личный карман с нее немало имели... А с другой стороны, именно тогда в оборонных ведомствах впервые появился наш старый друг Акишин, — Обиванкин кинул искательный взгляд на Лёку: мол, вы-то уж меня поймете, вы его видели! — и перебежал многим фундаментальным исследованиям дорогу. Он был лучше приспособлен к тогдашнему нашему рынку: умение красно рекламировать себя, умение заручаться поддержкой сильных мира, умение пугать отставанием от Америки... Вслух, официально, он обещал одним махом решить все проблемы: от полета на Марс до сверхоружия. Ну а неофициально — обещал делиться с некоторыми генералами, от которых зависели решения правительства, сверхсекретными государственными дотациями, которые будут назначены на его авантюры. Словом, наши работы были прикрыты как неперспективные и чересчур затратные. На самом-то деле они стоили гроши по сравнению с тем, что сожрал Акишин и его прожекты... ну да ладно. Дело, однако, в том, что закрытие работ произошло в момент, когда мы уже доводили до ума действующую модель антигравитатора. Она должна была быть испытана во время второго или, в крайнем случае, третьего полета «Бурана». Я не раз бывал на Тушинском заводе во время сборки «Буранов», поскольку именно я отвечал за окончательную компоновку нашего изделия с приборным и энергетическим комплексами орбитального самолета...

Гнат с трудом подавил саркастический смешок. При чем тут какой-то их Тушинский завод? В Украине и ребенку уж известно, давно во всех учебниках написано, что «Бураны» эти и прочие советские ракеты делались на нашем «Южмаше». Просто потом Россия приписала заслуги себе.

Ладно. Не время считать.

Но, кстати, можно считать доказанным, что старец, если он и впрямь уверен, будто ракету делали здесь, действительно ненормальный и не имел к реальной постройке никакого отношения. Сдвинулся на почве величия державы.

Фарс. Фарс. Как стыдно... во что я вляпался...

Обиванкин почувствовал, что говорит слишком долго. А чем дольше он говорит, тем меньше ему верят. Надо короче, сказал он себе. Он совсем этого не умел. Он привык, что, если уж он говорит, его слушают. Пролетевшие с советских времен

годы не убили привычку — ведь в новые времена он практически не открывал рта.

— Короче, — проговорил он, немного смешавшись. — Все это время я на свой страх и риск доводил антигравитатор у себя в гараже. Я добился успеха. Изделие у меня в сумке. Его надо установить на «Буран».

Он умолк, бегая глазами по лицам остальных. Ему было страшно. Не поверят, думал он. Не поверят.

— А вы не могли бы, — не спеша прикурив вторую сигарету от первой, осторожно спросил Лёка, — продемонстрировать нам его работу сейчас?

— Я не фокусник, — сухо сказал Обиванкин. — Что вы надеетесь увидеть? Как лампочки моргают? Это вам не ресторан «Старый Йоффе». Необходима система управления, необходимо стартовое энергообеспечение, необходим, наконец, планер с соответствующими аэродинамическими характеристиками.

Его деловитая убежденность подавляла. Лишала способности мыслить критически.

— И мы полетим к бабе Люсе? — завороченно спросил Лэй. Он даже забыл курить.

Обиванкин тепло поглядел на него.

— В том числе и к бабе Люсе, — ответил он. — Одно большое свершение решает тысячи мелких проблем. Это великая истина, Лентя. Запомни ее.

Ох, не так все просто с большими свершениями, подумал Лёка. Помолчал, пытаясь стряхнуть гипноз простых, слишком простых и спокойных для бреда слов Обиванкина, потом беспомощно выговорил:

— Но там же сто лет уж аттракцион!

И, сказав эту фразу, сообразил, что, похоже, поверил. Иначе ему было бы все равно — аттракцион там или нет.

Да ни боже мой, подумал он. Не верю.

Всего лишь принимаю его правила игры...

Но он не мог понять, зачем и почему их принимает. Он просто задышал в них, будто ему давным-давно не хватало воздуха — а вот теперь кто-то сбросил колпак, под которым его душили много лет.

— То, что мне необходимо, не могло быть снято, — ответил Обиванкин. — Игрушка-то должна смотреться и работать: питание, натуральный пульт...

Наступило долгое молчание.

Электричка рвала ночь пополам, как черную холстину. По стеклам снаружи бежали, трепеща, косые ручейки дождя. Лязгала катающаяся дверь.

— И чего вы хотите добиться? — негромко спросил Лёка.

— Возрождения, — так же сдержанно ответил Обиванкин. — Это будет... я надеюсь, что это будет... прорыв. Знак народу, что не все здесь еще продано или сгнило за ненадобностью. Люди увидят, что есть еще великие цели и что самое главное — они достижимы. Вы помните Гагарина? Какая радость, какая бескорыстная энергия кипела! И как бездарно она была растрачена тогдашним руководством впустую, на глупости, мерзости... Мы все давно тоскуем по Усилию. По Благородному Усилию с большой буквы. С тоски мы шалеем. Я в том уверен...

— Вы думаете, нынешнее руководство умнее? — помолчав, проговорил Лёка.

— Сейчас вообще нет руководства, — жестко ответил Обиванкин. Помолчал. — Но, быть может, сами люди немножко поумнели. Поняли цену красивым словам — и про военный престиж державы, и про пролетарский интернационализм, и про суверенитеты, и про права человека... Может, действительно надо было через все это пройти, пережить безмерные потери и угрозу полного исчезновения — чтобы... научиться отвечать за себя. Научиться хотеть и делать. Самим хотеть и самим делать... — Он помолчал, потом криво усмехнулся и неловко сказал: — Во всяком случае, я на это надеюсь. Надо же на что-то надеяться.

И тут Гнат подумал: а вдруг он не псих?

От неожиданной мысли засосало под ложечкой. Точно снова он, без пяти минут десантник, в первый раз готовился прыгать; люк открыт, твердый воздух, ровно поленом, бьет в лоб и в грудь, под ногами — бездна, а в бездне — несущийся заснеженный лес...

Выходит, ориентировка-то была права?

Вот и спасибо ей.

Как Саня сказал? «Будь ты хоть сто раз не русский и независимый, ради бога — только врагом не будь!» Но врагом чего? Купленных и перекупленных контор? Или людей, которых до сих пор не удалось ни сломать, ни купить?

Быть им врагом я не смогу никогда. Да что там врагом!

Эти трое — сейчас единственные, с кем мне хочется быть вместе и что-то делать вместе...

А не ровен час, они и впрямь свое величие восстановят?

Лэй, от избытка восторга перестаравшись с покровительственным тоном, словно старший товарищ хлопнул отца по руке и, красиво выпустив дым, сказал:

— Ну, что, пап? Типа сбылась мечта идиота? На Нептун?

Лёка усмехнулся и накрыл его ладонь своей.

— Ох, сын, — ответил он. — Лучше сразу в Первую Звездную. Сперва к бабе Люсе, потом к маме, потом на Тау Кита.

— Чего Кита? — не понял Лэй.

4

Головокружительный парк развлечений и аттракционов имени Эдуарда Амвросиевича Козырева был возведен в считанные месяцы на месте снесенной лет пять назад звездастой тоталитарной громады сталинского МИДа и лежавших окрест старомодных, неприбыльных арбатских закоулков, заняв немалое пространство вплоть до бывшего здания театра Вахтангова; на первом этаже его теперь расположился весьма престижный, особенно популярный среди выходцев с Кавказа мужской стриптиз-клуб «Вахтанг! Ты?» (задорным названием своим обязанный древнему анекдоту о том, как Гиви пришел в зоопарк и в орангутанге заподозрил старого приятеля), а на втором — дом изысканных гетеросексуальных свиданий «Принцесса Турандот».

Четверо нарушителей российской границы добрались к парку в начале третьего. По ночной поре таксист заломил с них такую цену, что денег не осталось даже на обратный путь в Питер; Лёку кидало то в отупение, то в панику. Без документов, практически без копейки, посреди огромной чужой столицы... с ребенком и стариком — вероятно, помешанным — на руках... Было от чего прийти в отчаяние. Наваждение отступило, едва они вышли из заблудившегося в ночи, как в космосе, вагона и реальная жизнь вновь стиснула их так, что сделалось не вздохнуть.

Словно бы молча сговорившись, они угрюмо, с маниакальным упорством продолжали путь — скорее, лишь оттого, что больше им некуда было деваться, оттого, что эту чашу надо было испить до дна и хотя бы так оттянуть момент, когда

пришлось бы взглянуть правде в глаза и начать искать несуществующий выход. Лёка старался не думать и бессмысленно, сам не отдавая себе в том отчета, твердил про себя ни с того ни с сего всплывшую в голове при расчете с водилой фразу из какой-то пьесы о Жанне д'Арк — из Ануя, что ли; когда Жанна уговаривала французского дофина собрать армию и напасть на англичан, тот, жалуясь на состояние казны, ответил: «Мне не на что быть великим!»

Оставалось уповать разве лишь на транспортное средство, обещанное Обиванкиным.

Они рассчитывали проникнуть в новоотстроенный рай через служивший ему вратами грандиозный стереопавильон «История России в лицах и позах», где, если верить без устали призывавшей туда телерекламе, что ни день достигавшей и Питера, в режиме нон-стоп крутили мастерски сыгранные и снятые, крайне натуралистичные ролики о том, как извращенные до мозга костей правители «этой страны» дерут своих ни в чем не повинных противников. То Иван Грозный, по временам сладострастно ухая, по временам громко молясь Господу, разнообразно ставил раком волоокого красавца Курбского, то бешеный Петр Первый в исступлении истязал в зад безответного Мазепу, то Екатерина Вторая каким-то не вполне понятным образом насилдовала перепуганно повизгивающего крымского хана Гирея, а то Ленин и Свердлов в два ствола куражились над святым Николаем Кровавым... Дольше всего, как поговаривали, длился сюжет о Сталине, потому что, расправившись с трясущим козлиной бороденкой Троцким, лучший друг физкультурников ухитрялся тут же, не давая себе ни минуты отдыха и даже не вынимая знаменитой трубки изо рта, решительно отдрючить весь троцкистско-зиновьевский блок подряд.

План провалился.

Над павильоном и взаправду полыхали, словно неопалимая купина, латинские буквы, складываясь в надпись «Non-stop»; однако ж гораздо ниже, уже на самой двери, была вывешена табличка с надписью по-русски: «Режим работы: 10.00 — 02.00». Не хватило каких-то тридцати минут, даже меньше; из павильона валом валили последние, наслаждавшиеся до упора зрители — возбужденно похохатывающие, обменивающиеся двусмысленными репликами, а то и открытым текстом, с большим знанием дела обсуждавшие подроб-

ности тех или иных актов; из их рыхлой толпы то и дело летели в стороны опорожненные бутылки и жестянки. Лёку поразило обилие женщин всех возрастов; казалось бы — ну что им-то здесь смотреть? Несколько мгновений растерянно поторчав, как хлипкие опоры рухнувшего моста, прямо на пути людского потока, четверо путешественников побрели прочь.

— Слушайте, — сказал Гнат. — В конце концов, мы все равно уже преступники.

— Если бы это само по себе облегчало жизнь... — пробормотал Обиванкин. Он уже еле шел и дважды глотал какой-то то ли валидол, то ли что.

— Само по себе ничего не делается, — сказал Гнат.

— Что вы предлагаете? — устало спросил Лёка.

— Я предлагаю перелезть через стену.

— Нормально, — с солидностью в голосе сказал Лэй.

— Давайте его поймаем... — пробормотал Лёка. И сам себе ответил: — Давайте... — Он одернул себя. Время жизнерадостно сходить с ума еще не пришло; нельзя позволять себе такой роскоши, пока они не выпростаются из навалившегося кошмара. — Вы считаете, это реально?

— А чего ж нет? — пожал плечами Гнат. — Не отсюда, конечно. Сзади. Со стороны, скажем, Староконюшенного переулка, или Власьевского...

— Вы так хорошо знаете Москву? — спросил Обиванкин.

— Я много чего хорошо знаю.

— Вы москвич? — не унимался дотошный старец. Только этого не хватало, вздрогнув, подумал Гнат и с кривой усмешкой ответил:

— Нет.

Повисла неловкая пауза.

— Я через стену лезть не смогу, — тихо проговорил Обиванкин.

— Не беда. В крайнем случае я вас переброшу.

— А как насчет сигнализации? — спросил Лёка.

Гнат пожал плечами.

— Давайте попробуем просто обойти парк по периметру, — сказал Лёка. — Для начала. В Питере я не видел еще ни одного забора без дырки. А в Москве что? Не русские живут, что ли?

И они пошли. Пошли, без колебаний оставив позади за-

звивное сияние Смоленской площади и арки над павильоном, не разбирая дороги, прямо по теряющимся в темноте, всплеснуто мерцающим под их шагами лужам, которые оставил недавно пронесшийся дождь.

Лаз они нашли через каких-то полчаса. Все было, как предполагается: к стене примыкали старые гаражи, сбоку одного из них, крайнего слева, лежали почерневшие древние дощатые ящики. Их даже не надо было ставить друг на друга: кто-то давно поставил. С них — на гараж, с гаража на стену; а там уже дело техники. Застенчиво кряхтящего и задыхающегося, путающегося в полах плаща Обиванкина Гнат и впрямь принял на руки.

За стеной было темнее, стена отрезала скупой свет редких непогасших окон и еще более редких фонарей; лишь низкие тучи глухо тлели рыжим отблеском горячею сверкающих проспектов центра. Пахло сырой землей и молодой листвой. Весна. Деревьям-то легко возрождаться...

Покуда их не срубили.

— Ну, и где? — спросил Гнат.

— Кажется, туда, — отдышавшись, сказал Обиванкин.

Поплутав по каким-то хитропутям в кустах, исхлестанные мокрыми ветками, они вывернули на центральную аллею парка. Здесь, медлительно дрейфуя сквозь дымку испарений, в ватной тишине горели дежурные огни. Потерянное в черноте небо, слюдяной асфальт, невнятные громады аттракционов и деревья словно бы в неподвижном фосфорическом пару... Зачарованная страна. Шаги четырех пар насмерть усталых ног тупо и гулко били в ночную весеннюю морось. Мне не на что быть великим, твердил Лёка. Мне не на что быть великим. Мне не на что быть. Лэй молчал, терпел, как взрослый, и Лёка восхищался им. Впрочем, мальчик, наверное, не вполне понимал, что они пропали. Совсем пропали. Каких-то несколько часов, настанет утро, их найдут раньше или позже. И тогда... Лёка даже не мог себе представить, что тогда. Это было за пределами его познаний и представлений.

— Вот он, — сказал Обиванкин, и голос его дрогнул. Он даже остановился. Помолчал, звучно сглотнул. — Почти двадцать лет его не видел...

Крылатый стремительный корпус светился во мгле, словно призрак. Призрак несбывшегося будущего, подумал Лёка.

Слева от закрытой крышки входного люка даже при скуд-

ном свете ночных фонарей бросалась в глаза грубо намалеванная масляной краской заплатка: когда-то там был флаг СССР. По верху фюзеляжа, будто встопорщенный гребень остервенелой рыбы, торчало мигающее неонов название аттракциона: «Простые парни из Айовы спасают мир!»

Ну, наворотили, с привычной тоской подумал Лёка.

Во что превратили машину, с болью подумал Обиванкин.

Во что превратили гордость «Южмаша», с бессильной злостью подумал Гнат.

Вот это, блин, игрушка, восхищенно подумал Лэй. Супер! Днем бы сюда попасть, когда работает... Интересно, почему билет?

Молча и спокойно, словно имея такое право, они поднялись по трапу к люку, простежки запертому на огромный виссячий замок. Обиванкин нерешительно тронул кончиками пальцев тяжелую влажную железяку — та заскрежетала.

— Ага, — сказал Гнат. — Понял вас, товарищ научный руководитель. Опять мой выход.

Он порывлся у себя в карманах, достал перочинный нож со множеством лезвий и инструментов; он никогда с этим ножом не расставался. Что бы они без меня делали, умники, подумал он без тени превосходства и тщеславия, наоборот, даже с радостью какой-то: хорошо, что я с ними оказался. Попробовал так, попробовал этак... Увлёкся. Остальные стояли и безмолвно наблюдали, ожидая; Лёка, обняв сына за плечи, прижимал его к себе — ему все казалось, что мальчик мерзнет. Замок крикнул и, рывком обвиснув, скособочился.

— Прошу, — сказал Гнат.

— Спасибо, — едва слышно проговорил Обиванкин. И тут настал черед Гнату удивляться: старец вынул из кармана плаща карманный фонарик. Кое о чем он и сам догадался позаботиться, подумал Гнат, не только об антигравитаторе своем. Он отступил на шаг в сторону, пропуская Обиванкина. Тот бесстрашно шагнул в черную бездну люка; оставшиеся на трапе видели, как беспросветную внутреннюю тьму продавил широкий конус желтого бледного света и стал удаляться.

— Подождите заходить, — донесся изнутри старческий голос. — Я найду дежурное питание...

Однако, подумал Гнат. Специалист.

— Как это ты классно выругался, когда Гнат отключил

пограничника? — вполголоса спросил сына Лёка. — Я не запомнил...

Лэй покраснел.

— Не скажу, — пробормотал он.

— Очень сильное выражение, — сказал Лёка, через силу улыбнувшись Лэю. — Как раз для моментов экстремального изумления...

Лэй отвернулся и едва слышно повторил:

— Пиздохен швансен...

— Класс, — сказал Лёка. — Я просто прусь.

— Ага, — сказал Лэй, — запомнил!

— Я же с языком всю жизнь работаю, — сказал Лёка. — Слова — это мои доски и кирпичи. Воспоминания — мои склады. Должен с первого раза ловить и не терять по возможности ничего.

Даже того, от чего больно и что все нормальные люди стараются забыть поскорее, подумал он. Но не произнес вслух.

— Этот оборот я обязательно себе отложу. Но он редкостно экспрессивный, не разменивай его по мелочам. Береги для самых крайних случаев, хорошо, сын?

Лэй молча кивнул.

В люке полыхнул свет, и немедленно раздался надтреснутый от усталости, немощно торжествующий голос Обиванкина:

— Есть ток! Заходите!

Внутри корабль до странности напоминал не так давно покинутый ими мрачный вагон электрички: то же длинное, прямоугольное пространство и те же ряды кресел. Кресла, правда, были поудобнее, как в самолетах, с ремнями-фиксаторами — но их, не тушуясь, безо всякого там нелепого благоговения перед бывшим чудом техники тоже сумела обработать проходящая публика: прорезы, рисунки, афоризмы... На противоположной стене салона прямо напротив входа красовалась сделанная распылителем размашистая надпись синей краской: «Здес иблис John и Мила». А поверху победно сверкало алым, тоже напыленным: «Иблис — это типа шайтан, дэвил крутой. Учи рашн, ебло заморское!»

— Лучше не смотреть, — с виноватой улыбкой сказал стоящий у пульты в переднем конце салона Обиванкин и даже чуть развел руками, словно он считал себя за всю грязь в ответе. — В мое время такого не было.

— Было, — сказал Гнат. — Только не здесь.

Обиванкин смешался.

— Ну, — проговорил он, отворачиваясь, — я, собственно, именно это и имел в виду. — Помолчал. — Простите великодушно, но вам придется поскучать. Прикройте, пожалуйста, люк от греха подальше... вдруг кто-то заметит. И — присядьте. Я тут... э-э... осмотрюсь.

Его обходительность была как антикварный серебряный сервиз в столовой сумасшедшего дома.

Лёка показал Лёю на сиденье; тот плюхнулся и с наслаждением подобрал ноги под себя, уткнув подбородок в колени. Лёка сел рядом.

— Как ты? — спросил он тихо.

— Нормально, — сказал Лэй. — Не бойсь, живой.

— Ну и прекрасно.

Гнат прошелся по узкому проходу между стеной и креслами в хвост, зачем-то поскреб обивку стен. Ведя пальцами по одному из толстых кабелей, шедших вдоль стены на высоте его роста, вернулся. Сел на крайнее сиденье перед Лёкой. Обернулся к нему, словно желая что-то сказать — но не решился. Отвернулся.

Преобразившийся Обиванкин мудрил у пульта, что-то мурлыча себе под нос. Плащ он скинул на пилотское кресло и теперь то присаживался на корточки, щупая что-то одному ему ведомое в пазухах пульта, который и Лёке, и Гнату казался стопроцентно игрушечным, киношным, чуть ли не надувным; то вновь вставал, оглядывая и ощупывая эффектные ряды приборов на верхних панелях. Иногда под его пальцами что-то пошелкивало или поскрипывало. Потом, когда он в очередной раз с кряхтением присел, шелкнуло погромче, и откинулась какая-то крышка почти у самого пола.

— Ну, вот, — удовлетворенно сказал Обиванкин. — Я же знал!

И опять принялся за свое.

Лёка уже не мог ни возмущаться, ни надеяться, ни ужасаться. Смертельно хотелось спать. Но стыдно было отключиться, пока сын бодрствует. Вот дождусь, когда Лэй задремлет, — и отрублюсь, думал он. А утром... будь, что будет. Наверное, не расстреляют. Да, ведь у нас же нет смертной казни уже... В ушах зазвенели далекие горны, стриженный мощный затылок Гната, хладнокровно ждавшего впереди, косо потянулся куда-то вверх и вбок.

Он уже не видел, как Обиванкин расстегнул наконец свою заветную сумку и с умеренной осторожностью извлек из нее прямоугольный прибор, похожий то ли на видеоплеер, то ли на ноутбук без крышки. Более или менее выпавшийся днем, Гнат смотрел во все глаза, но так и не смог уразуметь, полная ли тут фанерная бутафория или просто купленная в комиссионке бытовая электроника. Антигравитатор пробыл в поле его зрения считанные секунды; Обиванкин наклонился и без особого нажима вогнал свой прибор в какую-то щель в цоколе пульта. Что-то шелкнуло, словно сработали некие зажимы или захваты; Обиванкин шумно выдохнул (оказывается, во время этой процедуры он забыл дышать) и медленно выпрямился. Постоял несколько мгновений, глядя то на пульт, то в лобовое стекло планера, за которым дымилась промозглая ночь, и медленно опустил в пилотское кресло.

В животе у Гната вдруг холодно оборвалась, заклокотала и подкатила к горлу сладкая жуть.

— Ну, что? — стараясь говорить спокойно, спросил Гнат.

— Все, — просто ответил Обиванкин, не оборачиваясь. — Установил и подключил.

— Сейчас полетим? — спросил Гнат.

Обиванкин не ответил.

Лэй локтем толкнул Лёку в бок и зашипел:

— Папа!

— А? — вскинулся Лёка, ничего не понимая со сна. — Что?

— Папа, просыпайся, он установил! И подключил!

Лёка озверело принялся тереть глаза.

Гнат смотрел в спину Обиванкину. Тот не шевелился.

— Что, — спросил Гнат, стараясь говорить как ни в чем не бывало, — энергия в батареях накапливается?

Его сердце неведь от чего принялось дубасить в грудную клетку, точно заваленный обвалом шахтер.

Лёка, вытянув шею и окаменев, смотрел на лопоухий седой затылок чародея. За шиворот и на ребра будто начали сыпать ледяную крупу, и мурашки, суется, сшибаясь лбами и искря, побежали по коже.

А потом — на тау Кита...

Неужели?

Неужели на свете есть не только жратва, болтовня, «иб-лис» да виноватое смирение?!

— Нет, — спокойно ответил наконец Обиванкин. — Нет,

любезный Гнат... э-э... запомнил, как вас по батюшке, простите великодушно...

А я и не сообщал этого, подумал Гнат; он помнил точно.

— Нет, — продолжил Обиванкин, не дождавшись его ответа. — Ничего не нужно накапливать, изделие чрезвычайно экономично. Я же пятнадцать лет старался. В принципе его можно ставить на любой автомобиль, не говоря уж о самолете или ракетоплане. Вы обратили внимание, насколько мой прибор компактнее, скажем, автомобильного мотора?

Гнат только слотнул слюну. Наверное, я сплю, подумал он и сам сразу ощутил неубедительность своей мысли. Академичная уверенность Обиванкина выглядела абсолютно невероятной. За нею что-то стояло, не могло не стоять.

Вдруг он и впрямь взлетит?

Да я же хочу этого, понял Гнат. Я этого хочу!!

Обиванкин, едва не взмолился он вслух, ну пожалуйста! Ну давай, старый хрыч! Давай!! Вместе полетим!!

— Чего ж мы сидим тогда? — спросил он и тут же устыдился того, насколько грубо, на уровне требовательного барского хамства прозвучал его вопрос; осекся. Но слово не воробей.

Обиванкин, однако, отреагировал совершенно спокойно. С пониманием.

— Потому что я решимости набираюсь, — негромко ответил он, как на духу. — Это же все-таки первый эксперимент. Понимаете? Не фокус и не волшебство. Попытка. Первая проба. Я волнуюсь.

— А куда вы хотите лететь? — тихонько спросил Лэй.

— Не знаю, — безжизненно сказал Обиванкин. — Даже не задумывался. Просто очень хотелось... взлететь. Понимаешь, Лёня? Снова увидеть и потрогать... сесть вот сюда, перед этим окном. Просто все-таки взлететь...

И у Лэя не выдержали нервы. Громко и звонко, так, что звук шальной петардой заметался в эластичной тесноте длинного, как кишка, салона, он крикнул с каким-то победным отчаянием:

— Ну так и взлетай! Хватит болтать, взлетай, наконец!!!

Обиванкин сгорбился. Положил руки на переключатели — то ли бутафорские, то ли нет, ни Лёка, ни Гнат так и не смогли понять. Пальцы ученого дрожали крупной дрожью;

казалось, он опять ждет пограничного досмотра и решающей проверки документов.

— Сейчас, — хрипло проговорил он. На миг оглянулся, и Лёка вздрогнул от боли, будто его сердце вместе с током крови вдруг заглохло: такой у Обиванкина оказался страдальческий, умоляющий взгляд. Снова повернулся к лобовому стеклу. За стеклом, в сыром ночном мареве дымилась, словно пепелище, скупно подсвеченная мертвая аллея с ее черным мерцающим асфальтом и раскоряченными призраками черных, обугленных деревьев. — Одну минуточку. — Пляшущие пальцы неуверенно перешелкнули несколько рычажков. — Сейчас-сейчас.

Август — ноябрь 2002,

Коктебель — Санкт-Петербург



СОДЕРЖАНИЕ

ДЕРНИ ЗА ВЕРЕВОЧКУ	5
НЕ УСПЕТЬ.	179
ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»	229
ТРУДНО СТАТЬ БОГОМ.	459
ХРОНИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ	555
НА БУДУЩИЙ ГОД В МОСКВЕ	625

Литературно-художественное издание
Рыбаков Вячеслав Михайлович
ГРАВИЛЕТ «ЦЕСАРЕВИЧ»

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор В. Мельник
Художественный редактор Е. Савченко
Технический редактор О. Куликова
Компьютерная верстка Г. Клочкова
Корректоры М. Мазалова, О. Ямщикова

В оформлении переплета использована иллюстрация
художника Targete

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 365-44-80/81/82.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е». Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. (343) 378-49-45.

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во Львове: Торговое Представительство ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

Информация по канцтоварам: www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:

В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухарева пл., 12. Тел. 937-85-81.
Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

Подписано в печать 23.05.2006.
Формат 84x108¹/₃₂. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бумага тип. Усл. печ. л. 43,68.
Тираж 5000 экз. Заказ 8442.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34. Телефон/факс: (4822) 44-42-15.
Интернет/Home page - www.tverpk.ru. Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



В этот том вошли
популярные
произведения
автора, которые
можно объединить
под общим названи-
ем «На будущий год
в Москве».

Их тема – наше
ближайшее будущее
и те невероятные
катаклизмы,
которые оно сулит и
российскому
государству в целом,
и обычному
человеку, живущему
с нами на одной
лестничной
площадке.

